АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

ПОБЕДА

№ 14 (876)
1979

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

ПОБЕДА

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РОМАН

Книга первая

Глава первая

НАКАНУНЕ

...и тогда раздался телефонный звонок.

С недоумением посмотрев на аппарат, Воронов подумал: «Кто бы это мог быть?» Правда, при аккредитации он назвал отель, где остановился, и номер своей комнаты. Но телефона никому не давал, да никто и не спрашивал. Может быть это звонил тот самый советник? Хочет справиться, как Воронов устроился? Ну, конечно, только о нем и беспокоиться работнику посольства накануне приезда советской правительственной делегации!..

Перегнувшись из кресла к полочке, на которой стоял аппарат, Воронов снял трубку на белом пружинящем спиральном проводе.

— Халло, — сказал он, стараясь произнести это слово так, чтобы русский воспринял его как привычное «алло», а иностранец — как близкое к английскому «хеллоу».

— Мистер Воронов?.. — раздался в трубке незнакомый мужской голос. По манере говорить слова в нос и по относительно твердому «р» легко было узнать американца.

— Speaking [1], — ответил Воронов.

— Майкл, это ты? — радостно повторил американец.

«Кто же это, черт побери!» — с раздражением подумал Воронов. Может быть, один из тех западных журналистов, которые толпились в пресс-центре? С одними он здоровался, хотя видел их впервые, с другими действительно встречался когда-то за границей или в Москве.

— Это я, — сухо ответил Воронов, — но кто со мной говорит?

— О-о, Майкл! — снова раздался восторженный голос. — Я так рад тебя слышать каждый день справлялся о тебе в пресс-центре наконец мне сказали что ты числишься в списке но пока не приехал вчера я даже попытался проникнуть на этот ваш пароход... «Микаил

[1] Говорю. (Здесь — в смысле «слушаю». — *англ.*)

Калинин» но меня дальше трапа просто не пустили только сейчас я узнал что ты здесь слушай Майкл я еду к тебе. Идет?

Этот неудержимый поток слов окончательно сбил Воронова с толку. Он достаточно хорошо знал характерную для многих американцев фамильярную манеру разговаривать с коллегами по профессии.

Но кто же все-таки говорит с ним?

— Почему ты молчишь, Майкл? — спросил американец. На этот раз в его голосе Воронову послышался оттенок не то тревоги, не то обиды.

— Но я же вас слушаю, мистер... э-э... — умышленно замешкался Воронов, понуждая неизвестного назвать свою фамилию. Впрочем, от того, что тот назовет себя Смитом, Джонсом или хоть Армстронгом, легче не будет. Воронов встречал на своем веку немало Смитов и Джонсов, да и фамилия Армстронг тоже далеко не исключение. Скорее всего, подумал он, американец просто хитрит, сейчас напомнит, как они сколько-то лет назад вместе смотрели бейсбол или регби по телевизору в холле какого-нибудь отеля, а заодно, как бы между прочим, спросит, когда приезжает мистер Брежнев.

— Ты называешь меня мистером, Майкл? — упавшим голосом произнес американец. — Значит, ты не хочешь, чтобы я к тебе приехал? — спросил он уже совсем тихо.

— Но... но зачем?

— Зачем? — с явной горечью переспросил человек на другом конце провода и медленно проговорил: — Я хочу продать тебе часы. За полцены. Те самые, которые у Бранденбургских ворот стоят две тысячи марок...

— Чарли?.. — чуть слышно произнес Воронов, крепко сжав трубку внезапно онемевшими пальцами. — Чарли?.. Ты?!

— Конечно, я, Майкл, — обретая прежнюю жизнерадостность, зарокотал голос в трубке. — Разве я не сказал тебе, Майкл, что это я, я!

— Нет, нет... ты не сказал... — растерянно бормотал Воронов.

— Ладно, не в этом дело. Так могу я к тебе приехать?

— Да, да, конечно!

— Когда?

— Когда хочешь! Сейчас. Немедленно...

— О'кей! Я приеду и позвоню снизу...

— Какого черта! Поднимайся сразу ко мне! Четвертый этаж, в конце коридора. Понял? Ты понял?!

— О'кей!..

В трубке раздались короткие гудки. Воронов положил ее, но не на рычаг, а себе на колени. Сколько времени он просидел так? Минуту? Две? Вечность?..

Еще несколько часов назад Воронов не отдавал себе отчета в том, выгадал он или прогадал, оказавшись в гостинице, а не в одной из кают теплохода «Михаил Калинин». На ближайшие дни «Калинину» предстояло стать советским плавучим отелем.

То, что на теплоходе нет места для Воронова, выяснилось буквально за день до отплытия «Калинина» из Ленинграда. То ли центральные газеты добились дополнительной «квоты» для своих корреспондентов, то ли увеличилось количество всевозможных консультантов и экспертов, а также секретарей, машинисток, стенографисток — так или иначе для обозревателя ежемесячного журнала «Внешняя политика» Михаила Владимировича Воронова, несмотря на своевременно поданную заявку, места на теплоходе не оказалось.

Редактор журнала Антонов был вне себя. Он хорошо знал, что значит, не заказав заранее, получить номер в гостинице. Тем более в городе, где должно произойти событие мирового значения. Однако Антонов оказался человеком настойчивым. Узнав, что поездка его обозревателя под угрозой, он дозвонился до советского посольства в Хельсинки, отыскал — не сразу, конечно! — одного из советников, с которым кончал некогда Институт международных отношений, и взывая к давней студенческой дружбе, упросил его — не без труда, конечно! — раздобыть номер для Воронова.

В Хельсинки Воронов прилетел за полтора дня до открытия Совещания. Раньше он в Финляндии не бывал, но уже на аэродроме, едва сойдя с трапа, почувствовал необычность атмосферы.

Его наметанный глаз сразу заметил, как много здесь сотрудников охраны. Впрочем, в такие дни это было естественно. Правда, охранники выглядели не так броско, не так, что ли, демонстративно, как те в Соединенных Штатах, где Воронов побывал три года назад во время визита Брежнева.

Американцы, казалось бы, вопреки логике выставляли свои меры безопасности напоказ. Пронзительно завывали сирены на полицейских машинах, раздавались шуршащие, искаженные атмосферными помехами голоса «воки-токи» — портативных радиостанций, посредством которых охранники, даже если их разделяло всего несколько метров, переговаривались между собой. Повсюду бросались в глаза рослые полицейские с металлическими бляхами, пришпиленными к синим рубашкам, с большими кокардами над козырьками фуражек, с тяжелыми револьверами в огромных, свисающих на бедра кобурах — обычные автоматические пистолеты считались в Штатах ненадежным

оружием. Жующие резинки охранники в штатском — в белых рубашках, при галстуках, в темных расстегнутых пиджаках, под которыми легко угадывались кобуры с такими же тяжелыми револьверами, — казалось, заботились прежде всего о том, чтобы их не дай бог не спутали с обычными штатскими людьми.

На хельсинкском аэродроме все выглядело иначе, хотя в ближайшие сорок часов здесь ожидались главы многих государств. Полицейские в серо-голубой летней форме — хотя их было и немало — вели себя подчеркнуто скромно. Сотрудников охраны в штатском выдавали лишь их мимолетные настороженные взгляды в сторону пассажиров, двигавшихся к аэровокзалу.

На аэродроме возвышались шесты-флагштоки, но флагам на них предстояло развеваться лишь с завтрашнего дня.

Денег на такси у Воронова, конечно, не было. Статьи «разъезды в черте города» смета, как обычно, не предусматривала. Но Воронов владел двумя иностранными языками — немецким и английским, а в руках у него был всего лишь небольшой чемоданчик. Добраться городским транспортом до советского посольства не составляло для него особого труда.

Автобус-экспресс быстро домчал Воронова до центра города. Первый же встречный, к которому он обратился на всякий случай по-немецки и тут же следом по-английски, объяснил, как и на чем доехать либо дойти до улицы Техтанкату, где помещалось советское посольство.

Воронов пошел пешком — хотелось хотя бы бегло посмотреть город, в котором он никогда не был. Столица Финляндии понравилась ему своим спокойствием и неуловимым сходством со старыми русскими губернскими городами.

С некоторых пор Воронов возненавидел крупные западные города, и особенно столицы. В течение последних двух десятков лет он побывал во многих из них.

Эта неприязнь появилась у него не сразу. Поначалу западные столицы ему нравились. Воронов останавливался в не очень дорогих, но комфортабельных отелях, любовался блеском витрин, наблюдал казавшееся праздничным оживление на центральных улицах и площадях.

Потом произошел перелом. Воронов даже помнил, когда именно. Это было в конце шестидесятых годов. Редакция поручила ему написать несколько статей-очерков «Соединенные Штаты сегодня». Командировка привлекала его и как журналиста-международника, и как просто любителя путешествий. Тогда Воронов еще любил путешествовать — ведь он был почти на десять лет моложе... Ему предстояло пересечь Штаты от Нью-Йорка до Сан-Франциско с остановками в Вашингтоне, Кливленде, Чикаго, Лос-Анджелесе. Больше всего Воронову хотелось побывать в Сан-Франциско. Он прилетел туда во второй половине дня, добрался до отеля, который рекомендовал ему знакомый журналист еще в Нью-Йорке. Второпях побрился, принял душ, сменил сорочку — ему не терпелось еще до наступления сумерек пройтись по городу, о котором он так много читал и слышал.

Когда он спустился в холл гостиницы с намерением отправиться на прогулку, был девятый час вечера.

— Далеко ли мы от центра? — спросил он портье.

— Нет, сэр, минут десять — пятнадцать езды.

— А пешком?

— Какое именно место вам нужно, сэр?

— Никакого. Просто хочу прогуляться по центру.

Портье бросил на Воронова удивленный или скорее настороженный взгляд, но сказал по-прежнему любезно:

— Пешком не более получаса. Вот...

Он протянул руку к стопке карточек, лежавших перед ним, — такие имеются в любой западной гостинице. На одной стороне — название отеля с указанием почтового и телеграфного адреса, номеров телефона и телекса, на другой — миниатюрная карта, на которой жирной точкой или крестом отмечено местоположение отеля и прочерчены основные прилегающие к нему улицы.

— Вот, — повторил портье, обводя шариковой ручкой полукруг на карте. — Главный торговый центр. Но сейчас магазины уже закрыты.

— Спасибо, я не собираюсь ничего покупать. Просто небольшая прогулка, — сказал Воронов, забирая протянутую ему карточку. Он уже направился к выходу, как вдруг портье негромко окликнул его:

— Сэр!

— Да? — Воронов остановился.

— Если вы собираетесь совершить прогулку, то рекомендую закончить ее не позже десяти. — Он посмотрел на стенные часы. Стрелки показывали половину девятого.

— Почему? — с удивлением спросил Воронов. — Разве вы на ночь запираете дверь?

— О нет, сэр, — улыбнулся портье, — вы можете прийти когда угодно. Но... — улыбка исчезла с его лица, и он слегка пожал плеча-

ми, — бродить по городу одному после десяти вечера...

— Вы боитесь, что меня похитят? — в свою очередь, улыбнулся Воронов, уверенный, что человек за стойкой шутит. — Это пустой номер. Ведь выкупа не будет.

Он приветственно помахал портье рукой и вышел на улицу. До центра добрался часам к девяти. Увидев на одном из углов парикмахерскую, вспомнил, что не стригся уже около трех недель.

Хмурый и как будто недовольный чем-то японец стриг сидевшего или, точнее, полулежавшего в откидном кресле клиента. Воронову пришлось подождать. Ожидание и стрижка заняли в общей сложности минут сорок. Воронов расплатился с японцем и, сверяясь с картой, вышел на центральную улицу. Вышел и удивился...

Сиявшая витринами улица была пуста. Точно кто-то провел по ней огромной ладонью и смел с тротуаров все живое. Непонятно было, для кого сияют, кого хотят привлечь эти витрины, для кого вспыхивают рекламы... Ни одного человека. Только проносящиеся на больших скоростях длинные, приземистые автомашины.

Воронов почувствовал, что его охватывает какая-то смутная тревога. Он хорошо знал, что почти в каждой западной столице есть районы, куда без особой нужды лучше не соваться. Например, идти в нью-йоркский Гарлем без сопровождения друга или просто знакомого, но обязательно негра далеко не безопасно. В лондонском Сохо или на парижской Пигаль очень легко оказаться втянутым в какую-нибудь потасовку. Если попадешь в нее, пеняй на себя — ты знал куда шел...

Но здесь, в самом центре Сан-Франциско, Воронова испугало другое: полное одиночество. Он шел один по бесконечной, ярко освещенной улице, а ведь не было еще и десяти часов вечера.

Механически передвигая ноги, он поглядывал на витрины, но ничего в них не различал. Потом услышал далекие шаги. Чьи-то каблуки мерно стучали по тротуару. Издалека навстречу шел человек. Воронову показалось, что, увидев его, человек замедлил шаг. Сам не зная почему, Воронов тоже пошел медленнее. Человек опустил в карман правую руку. Воронов почти автоматически сделал то же самое. «Надо свернуть в ближайший переулок, повернуть назад...» — твердил он про себя. Но продолжал идти вперед. Если правда, что кролик бессилен перед удавом, то Воронов был сейчас именно таким кроликом. «Что у него в кармане? — думал он. — Пистолет? Складной нож? Кастет?» Расстояние между ними медленно, но неуклонно сокращалось. Воронов остановился. Не вынимая руку из кармана, сделал вид, что разглядывает витрину. Время от времени слегка поворачивал голову, искоса следя за приближавшимся человеком.

Нет, Воронов не был трусом. Всю войну он провел на фронте. Но здесь было совсем другое. Пустая улица в городе с населением в несколько сот тысяч человек. Всего лишь около десяти часов вечера. (Портье недаром предостерегал его, а он не обратил на это внимания.)

Между тем человек приближался. Мерный стук каблуков по тротуару раздавался все более отчетливо.

«Что я буду делать, если он кинется на меня? — подумал Воронов. — Главное, не дать ему напасть со спины. Успеть повернуться при его малейшем подозрительном движении. Впрочем, если у него в кармане оружие...»

Человек шел теперь совсем медленно. Каблуки его тяжелых ботинок глухо и редко стучали по тротуару. Нервы Воронова были напряжены до крайности. От приближавшегося человека его отделяли уже не более трех десятков метров. Это был широкоплечий мужчина средних лет в темном легком костюме из блестящей синтетической ткани — такие в это время года носил каждый второй или третий американец.

Когда их разделяло всего несколько метров, человек неожиданно сошел, точнее, спрыгнул с тротуара на мостовую, пересек ее, чуть не попав под очередную машину, и быстро пошел прочь по противоположной стороне улицы. Каблуки его теперь стучали дробно и часто. Воронов с облегчением посмотрел ему вслед и невольно рассмеялся. Этот человек, очевидно, решил, что он, Воронов, поджидает его. Делает вид, что рассматривает витрину, а на самом деле хочет неожиданно напасть. Нервы не выдержали, и, не дойдя до витрины, он свернул на другую сторону улицы. Никто ни на кого не собирался нападать. Но оба боялись. Боялись друг друга...

После того случая Воронов ждал беспричинного, внезапного нападения каждый раз, когда оказывался, особенно вечером, на далеко не пустынных, а, наоборот, кишащих людьми центральных площадях и улицах западных столиц и просто больших городов.

Может быть, дело было в том, что внешний облик людей, толпившихся по вечерам на этих площадях и улицах, за последние годы резко изменился. Большинство из них выглядели неопрятными, так как носили странные и, как казалось Воронову, грязные фуфайки, надетые на голое тело, не заправленные в брюки рубашки с завязанными на животах полами, «блю-джин-

сы», лосиящнеся иа бедрах н на коленях, иарочито, искусствеино, машниным способом потертые, надетые на босые ногн сандалнн, засалеиные, дырявые кожаиые курткн... Волосы у иих былн не просто длиииые, но иепремеино растрепаииые, сальиые, точио месяцами ие мытые.

Вороиов иикогда ие суднл людей по внешнему виду. Ои родился, провел детство н юность в рабочей семье, зиал, что такое иужда, носил одежду, перешнтую с отцовского плеча.

В послевоенные годы часто ловнл себя на том, что с безотчетиой иеприязнью смотрит на молодых журналнстов-междуиародииков н на всех этих начииающнх дипломатов, вылощениых, вежливых, скептически-иасмешлнвых, самоувереииых, никогда ие голодавшнх, не слышавших свиста пуль...

Воронов подавлял это предубеждение, мысленио ругал себя, поинмая, что среди молодых людей есть отлнчиые, серьезиые, знающие, предаииые делу ребята... Одиако детство и юиость наложили нестираемый отпечаток на все его симпатии и аитипатии.

Молодые людн в грязиых фуфайках и лосиящнхся джнисах явио были ие теми, за кого пытались себя выдавать. Оии ие «были», а только «казались».

Группами слоиялись оии по тротуарам, часами сидели иа ступеиьках подъездов, на граиитиых постаментах памятников, иа церковиых папертях... У этих людей — юиошей и девушек — были жесткие черты лица, плотио сжатые рты, страиио поблескивающие глаза. Казалось, от любого из них можио каждую мииуту ожидать выстрела из пистолета, удара иожом, кулаком, ребром ладони. Вороиов поиимал, что большииство из этих подчеркиуто иеопрятиых, вызывающего вида людей вовсе ие помышляют ии о каком иападении, что весь их внешиий облик — ие более чем очередиая мода, а иногда и особая форма протеста протнв мира богатых и сытых. Сам ои ие раз писал о современиой западиой молодежи, обо всех этнх «хиппи», «хипстерах», «детях-цветах», вскрывал их социальиые корни, аиализировал... Но, оказываясь рядом с иими, всегда чувствовал тревогу и чего-то безотчетио боялся.

Может быть, имеино поэтому ои так быстро проиикся симпатией к столице Финляндии.

Вороиов шел по спокойным, чистым улицам иавстречу спокойиым, как ему казалось, доброжелательиым, иормальио одетым людям. Из витрин иа него смотрело изобилие, ио ие крикливое, иавязчивое, алчиое, часто безвкусиое, как в иекоторых других западиых столицах, а тоже спокойиое, разумиое, сообразующееся с нормальиыми потребиостями человека.

Конечно, Воронов предпочел бы, чтобы событие, которому наверияка предстояло войти в историю н радн которого ои сюда приехал, произошло в Москве илн в столице одиой из социалнстнческих страи. Это было бы только справедливо. Имеино мир соцналнзма долгие годы упорно, методнчио, терпеливо и иеустанио доказывал тому, другому мнру, что такая встреча иеобходнма.

Но Вороиов поинмал, что оиа была бы иевозможна ии в Москве, ин в Софии, ин в Варшаве, ин в какой-лнбо нной столнце социалнстнческой страны. Те, другне, на иее ие пошлн бы. Финляидня из всех западиых стран показывала наилучший пример мирного сосуществоваиия, умеиия, готовности жить в ладу с миром соцналнзма. Оставаясь частью капиталнстического мира, оиа не присоедииялась к блокам, сохраияла самостоятельность и вместе с тем охотио развивала экоиомнческие отношеиия и с Западом и с Востоком... То, что имеиио Фииляидия предложила провести Совещаиие в своей столице, и то, что Советский Союз, почти все страиы Европы, Соедииеиные Штаты и Каиада с этим согласнлнсь, было, коиечио, далеко ие случайио.

...Времеиами Вороиов все же обращался к встречиым, спрашивая дорогу. Вскоре ои добрался до советского посольства.

Одиако проиикнуть в здаиие оказалось делом ие таким уж легким. В эти дни во всех дипломатических представительствах были предприняты естествениые меры безопасиости. Оии давали себя зиать и здесь. Воронов, разумеется, ие зиал, что глава советской делегации Л. И. Брежиев иамерен остаиовнться в советском посольстве. Но сотрудиикам посольства это уже было известио. Прежде чем пропустить Вороиова, дежуриый комеидаит долго изучал его «служебиый», в сиией обложке заграиичиый паспорт, расспрашивал, к кому имеино ои идет. Услышав имя советиика посольства, дежуриый долго, ио безуспешно разыскнвал его по виутреииему телефоиу и в коице коицов разрешил Вороиову пройти.

Вороиов зиал, что советская делегация должиа прибыть в Хельсиики завтра, 29 июля. Поэтому его ие удивляло, что в посольстве стоял, как говорится, дым коромыслом. Увидеться с послом Вороиов и не пытался, ио иа месте ие оказалось ии того советиика, с которым когда-то учнлся Аитоиов, ии пресс-атташе. Взад и вперед сиовали какие-то люди. Вороиов сразу определил, что это такие же, как и ои, приезжие, — в углу иебольшого холла громоздилась куча еще ие разобраиных чемодаиов. Мыслеиио кляия того иеизвестиого

соперника, который занял его место на теплоходе, где все точно распределено и каждый знает, что ему надо делать, Воронов вернулся к дежурному. Он решил оставить советнику записку о своем приезде, а затем отправиться на теплоход, найти там кого-нибудь из отдела печати советского Министерства иностранных дел и, что называется, включиться в общий поток.

Дежурный прочел записку, посмотрел на Воронова, как будто видел его впервые, и пробормотал:

— Воронов, Воронов... Товарищ советник, кажется, предупреждал... — неуверенно добавил он и стал листать толстую, конторского типа книгу. Потом, подняв голову и зачем-то держа указательный палец на одной из строчек, сказал:

— Для вас же номер забронирован! Гостиница «Теле». Это недалеко.

И дежурный начал подробно объяснять, в какую сторону надо идти, выйдя из посольства, где повернуть, куда направиться потом и где еще раз повернуть.

Воронов хотел спросить, какого черта он не сказал об этом сразу. Но, взглянув на лицо дежурного, по которому текли струйки пота, на его взъерошенные волосы, понял, что предъявлять ему сейчас претензии просто глупо.

Добравшись до гостиницы «Теле», Воронов подошел к стойке, за которой стоял улыбающийся финн средних лет. После того, как Воронов назвался по-английски, финн неожиданно ответил ему по-русски:

— Да, господин Воронов. Для вас сделана резервация. Кроме того, вас ждет вот это. — Вместе с анкетой он положил на стойку аккуратно сложенную бумажку. Воронов развернул ее и прочел: «Вам необходимо зарегистрироваться в пресс-центре в гостинице «Марски». Привет Антонову. Советник посольства...» Записка была написана по-английски, на специальном бланке. На таких бланках в гостиницах обычно записывают телефонограммы. Сверху дата и час. Подпись советника в английской транскрипции была искажена до неузнаваемости. «Ресептионист», очевидно, плохо или хорошо, но говорил по-русски, однако писать, видимо, не рисковал...

— Спасибо, — приветливо улыбаясь, по-русски же сказал Воронов, заполнил карточку и, вручая ее финну, спросил:

— Далеко ли отсюда гостиница «Марски»?

Финн привычным движением достал зеленоватую картонку и положил ее перед Вороновым. На одной ее стороне была карта, в центре которой находилась отмеченная крестом гостиница «Теле».

— «Марски» здесь, — показал финн, проведя ногтем по карте.

— Спасибо, — повторил Воронов.

— Добро пожаловать, — с акцентом, но правильно выговаривая русские слова, произнес финн.

Поднявшись на четвертый этаж, Воронов пошел вдоль покрытого синтетическим ковром узкого коридора, разглядывая таблички с номерами комнат.

Площадь его номера вряд ли превышала шесть—восемь квадратных метров. Однако изобретательные строители предусмотрели в нем места и для узкой кровати, и для вделанной в стену полочки, где стояли телефон и лампа, и для крохотного письменного стола, и для телевизора, закрепленного на вертящейся подставке, и также для стула и кресла.

Словом, номер был как номер. Как раз по командировочным возможностям клиента. Но Воронов не стал разглядывать свое кратковременное пристанище, бросил чемодан на постель и захлопнул за собой дверь. Он спешил в пресс-центр.

Конечно же, во всей Финляндии, а может быть, и во всем мире не было в эти дни помещения более многолюдного, шумного, наполненного гулом разноязычных голосов, дробью пишущих машинок, телефонным перезвоном, чем гостиница «Марски».

Воронову было далеко не впервой входить в пресс-центр, созданный в связи с каким-либо важным событием международного значения. За последние двадцать лет он побывал во многих пресс-центрах различных стран. Но, поднявшись в просторный холл бельэтажа гостиницы «Марски», переполненный людьми, клубящийся сигарным, сигаретным и трубочным дымом, он поначалу растерялся. Такого сборища журналистов, как здесь, Воронов, пожалуй, никогда не видел.

Конечно, он и раньше не сомневался, что на Общеевропейское Совещание, в котором, если считать США и Канаду, примут участие главы тридцати пяти государств, съедется немало журналистов.

Но столько!.. Впрочем, дело было даже не в количестве — хотя и оно поражало: холл вмещал, наверное, не менее двухсот человек, — а в самой атмосфере, которая здесь царила и которую Воронов сразу же ощутил. Это была атмосфера нетерпения, ожидания, предвкушения чего-то чрезвычайно важного, исключительного. Она ощущалась прежде всего в том, что люди разговаривали друг с другом как бы повышенным тоном. Этой аффектацией они старались скрыть нервозность, порожденную томительным ожиданием события, ради которого

многим из них пришлось преодолеть тысячи миль и километров.

Воронову надо было зарегистрироваться, получить пропуск, а может быть, и вложенную в целлулоидный футлярчик нагрудную карточку с именем и фамилией корреспондента. Процедуру, которую предстояло пройти, он хорошо знал.

Однако осуществить ее было не просто. Людей в холле оказалось так много, а табачный дым висел над ними такой густой пеленой, что невозможно было понять, где именно находится тот или иной стол, за какой стойкой оформляются документы и кем они выдаются. Воронов стал искать кого-либо из знакомых советских журналистов, чтобы получить у него все необходимые сведения.

Он влился в шумную, колышущуюся толпу и стал медленно продвигаться вперед, неустанно повторяя привычные «Excuse me» и «Sorry», «Pardon» [1]. Наконец, кто-то окликнул его по-русски. Вздохнув с облегчением, Воронов стал энергично пробиваться в том направлении, откуда раздался голос.

Человек, протянувший Воронову, так сказать, путеводную нить, оказался корреспондентом ТАСС Подольцевым. Они встречались в Москве. Воронов увидел, что на лацкане его пиджака тускло поблескивает глянцевитая карточка с цветной фотографией ее обладателя. Такие карточки были у большинства людей, толпившихся в холле. В других, более обычных случаях на подобных карточках значилось лишь: ПРЕССА, фамилия и название страны, которую представлял корреспондент.

— Откуда ты? — спросил Подольцев. — На пароходе я тебя не видел.

— Прибыл спецрейсом, — с усмешкой ответил Воронов. — Значит, еще надо фотографироваться? — озабоченно спросил он, кивая на лацкан своего коллеги.

— А ты как думал? Порядка не знаешь, — назидательно ответил Подольцев. — Двигай за мной.

Пробившись сквозь толпу вслед за Подольцевым, Воронов одновременно с ним вошел в дверь, которую раньше не заметил. Они оказались в небольшой комнате, где было пустынно и тихо. Слева стояли два больших фотоаппарата на кронштейнах. Справа на столиках высились механизмы, напоминавшие компостеры в железнодорожных кассах. Три очаровательные белокурые финские девицы в синих униформах — туго обтягивающих талию жакетах и коротких юбках — сидели за столиками. Над ними висела надпись на финском и английском языках: «Регистрация». Желающих регистрироваться, видимо, уже не было, и девицы скучали без дела. В стороне, неподалеку от фотоаппаратов, дремал на табуретке длинноволосый парень в джинсах.

— Вот вам работа, дорогие девушки! — весело сказал Подольцев. — Это мой московский коллега. Он был уверен, что Совещание без него не начнется, и явился в самый последний момент. Не хотел затеряться в толпе. Он — важная персона. Обозреватель. Не то что мы, простые репортеры.

Девицы с улыбкой слушали Подольцева. Очевидно, они говорили или по крайней мере понимали по-русски.

— Здравствуйте. Моя фамилия Воронов, — сказал он тоже по-русски. — Журнал «Внешняя политика». Москва.

— Здравствуйте, — почти одновременно ответили две девицы. Третья смотрела на Воронова с доброжелательной улыбкой, но, видимо, ничего не понимала.

Две девушки стали быстро, в четыре руки, перебирать картотеку, стоявшую перед ними в нескольких длинных, поблескивающих светло-коричневым лаком ящиках. Их тонкие пальцы с остренькими наманикюренными ногтями бегали по картотеке, точно по клавишам рояля.

— Тебе повезло! — добродушно усмехнулся Подольцев. — Три дня назад я простоял тут не меньше полутора часов...

Одна из девиц вынула карточку и, торжествующе приподняв ее, прочла вслух.

— Господин Воронов. Микаил, — она сделала ударение на первом слоге. — Журнал... — она немного замялась и закончила по-английски: «Foreign Policy». — Затем она негромко сказала что-то по-фински парню в джинсах. Тот встрепенулся и указал Воронову на один из пустых стульев.

Съемка заняла мгновение. Фотограф щелкнул затвором, вытянул из аппарата темный квадратик и несколько секунд держал его перед собой. Подойдя ближе, Воронов наблюдал, как на темном фоне постепенно проступала его цветная физиономия. Наконец фотограф сказал: «О'кей», — и протянул фото одной из девушек. Та всунула его в щель «компостера». Раздался щелчок, потом послышалось легкое шуршание, словно невидимый валик обкатывал что-то. Прошло не более минуты, и глянцевитый пропуск — небольшой квадратик, как бы впаянный в целлулоид, — лежал на столе. На пропуске значилась фамилия Воронова и название страны, откуда он приехал. Справа красовалась его цветная фотография.

[1] Извините, простите *(англ., фр.)*.

— Где вы живете, господин Воронов? — спросила девушка по-русски, но с сильным акцентом. — Пароход «Микаил Калинин»?

— Нет, — ответил Воронов, — гостиница «Теле», комната 425.

Девушка сделала запись на карточке Воронова и положила ее обратно в ящик.

— Спасибо, девушки. Гарантирую, что это последний русский, которого я к вам привожу, — сказал Подольцев.

Они отошли в сторону.

— Теперь ты обрел все права человека, — с иронической усмешкой сказал Подольцев, имея в виду бесконечные споры на эту тему, которые велись в Женеве во время подготовки хельсинкского Совещания. — А я могу заняться своими делами. В «Финляндии-тало» ты, конечно, уже побывал?

— Где?

— О господи! Во Дворце конгрессов, а по-фински «Финляндия-тало». Это в парке Хесперия, на берегу озера или заливчика, что ли. Чудо! Лестницы из белого мрамора, стены из черного гранита! Кстати, там же во флигеле и пресс-центр.

— А разве не здесь?

— В дни Совещания будет там. Вся техника там — телефоны, телетайпы, телемониторы...

— Почему же все толкутся здесь?

— До Совещания пресс-центр здесь, я же тебе объясняю. А толкутся, потому что ждут...

— Чего?

— Сообщения, когда прибывает советская делегация, вот чего! Если будет подтверждение, значит, конференция уже наверняка состоится.

— У них есть сомнения на этот счет?

— У западников-то? Они же не первый год сомневаются. Сразу не перестроишься, — пожал плечами Подольцев. — Так идешь в «Тало»?

— Пойду завтра, впереди целый день, — ответил Воронов. — Сейчас вернусь в гостиницу. Посижу подумаю...

— Ясно! Вам, высоколобым обозревателям, нужны не факты, а идеи. Так? А мы — репортеры, «черная кость» — носимся высунув язык, чтобы... как это у Симонова?.. «Чтобы между прочим был фитиль всем прочим...» Ладно, до встречи!

Они вышли в холл. Подольцев нырнул в бурлящую толпу и мгновенно исчез в ней.

Воронов прикрепил карточку к лацкану пиджака. Теперь он принадлежал к журналистской братии, до предела заполнившей холл и примыкавшие к нему коридоры гостиницы «Марски», и уже не ощущал того отчуждения, которое почувствовал, войдя сюда впервые. Шел восьмой час вечера. Снова оказавшись в колышущейся, бурлящей, окутанной табачным дымом толпе, Воронов надеялся увидеть кого-нибудь из знакомых. Мелькнули лица собственных корреспондентов «Правды», «Труда», но вообще-то советских журналистов здесь, по-видимому, сейчас почти не было. Очевидно, все они уже давно покончили с формальностями и пребывали теперь или на теплоходе или осаждали финских и других политических деятелей просьбами об интервью.

Уже никуда не торопясь, Воронов вглядывался в мелькавшие перед ним лица финнов, американцев, англичан, немцев, поляков, чехов, болгар, по обрывкам фраз определяя их национальную принадлежность. Некоторые журналисты были смутно знакомы Воронову — он наверняка встречался с ними на совещаниях, «симпозиумах», за «круглыми столами». Иногда кто-то называл его фамилию и приветственно махал ему рукой над головами других людей.

Не спеша пробираясь к выходу, Воронов решил, что вернется в гостиницу и подумает о плане первой статьи, которую ему предстоит написать.

Подольцев был отчасти прав. Отправлять оперативные корреспонденции Воронов не собирался. Броские детали, первые зрительные впечатления, внешний вид дворца и зала, где будет происходить Совещание, подробности приезда делегаций — все это наверняка тотчас будет «расстреляно» корреспондентами ТАСС и ежедневных газет. Совсем обойтись без таких деталей, вероятно, нельзя, но главное должно заключаться в другом.

Ведь уже в те годы, когда Совещание было еще только целью, достижение которой — это понимали все — требовало немалых усилий, в газетах и журналах публиковалось великое множество материалов на тему «Хельсинки».

Его, Воронова, статья не может, не должна быть повторением пройденного. Редакция ждет от своего обозревателя совсем другого: глубокого осмысления того поистине уникального события, которому послезавтра предстоит начаться здесь, в Хельсинки, его места в истории послевоенных международных отношений.

Перед отъездом Антонов сказал Воронову, что размером статьи он может не стесняться. Пусть будет печатный лист или даже полтора, то есть страниц сорок на машинке. Для такого материала редакция не пожалеет места.

Но как обойтись без повторений, как сказать нечто новое по сравнению с тем, что уже было сказано?

«Ничего, — подумал Воронов, — доберусь до гостиницы, часик-другой посижу за столом, кое-что набросаю, и дело пойдет само собой...»

Но он ошибся. Уже не меньше часа сидел он в удобном, обитом блестящим зеленым синтетическим кожезаменителем кресле, положив на колени блокнот и сжав в пальцах шариковую ручку, а дело не двигалось с места.

Событие, ради которого Воронова послали в Хельсинки, не укладывалось в обычные рамки. Многим оно казалось просто невероятным. Слова «хельсинкское Совещание» уже в течение ряда лет звучали в речах государственных и партийных деятелей, без них не обходилась ни одна сколько-нибудь серьезная статья на международные темы, они мелькали во всевозможных коммюнике и заявлениях, подчас теряя конкретный смысл, способность материализоваться, из благого пожелания превратиться в реальный факт.

В качестве журналиста Воронов много раз ездил в западные страны, сопровождая всевозможные советские делегации, в том числе и парламентские. Были встречи с президентами, премьер-министрами, министрами иностранных дел, руководителями палат. Советские представители каждый раз настойчиво предлагали созвать Общеевропейское Совещание по безопасности. С тех пор как правительство Финляндии выразило желание провести такое Совещание в своей столице, оно стало именоваться «хельсинкским». Отказов, во всяком случае, прямых отказов, советские предложения, как правило, не встречали. «Да, конечно. Да, желательно. Однако нужно как следует подготовиться» — вот что обычно раздавалось в ответ...

Между тем шли месяцы, а за ними годы.

Что же в конце концов сделало европейское Совещание реальностью? Как, когда, каким образом начали таять льды «холодной войны»?

В течение долгих послевоенных лет ледяной покров, сковавший не только действия, но и души людей, казался вечным. Таяние этих льдов представлялось столь же отдаленной перспективой, как и грядущее изменение мирового климата в результате таяния арктических снегов... Как же все это произошло теперь? Как?!

С чего начать статью? С предыстории хельсинкского Совещания? С Декларации, в 1966 году выработанной в Бухаресте Политическим консультативным комитетом государств — участников Варшавского Договора? С будапештского Обращения этих же государств в 1969 году, где содержался призыв созвать Совещание стран Европы, США и Канады? Или с женевского многомесячного подготовительного этапа, со споров и дискуссий, которые, как это порой казалось, способны были похоронить саму идею общеевропейской встречи? Но и об этом писалось уже не раз.

Так как же сковать в статье цепь времен? Где искать точку отсчета? Как найти вершину, откуда можно охватить взглядом послевоенные десятилетия? Особенно последнее — ведь именно оно сделало возможным то, что должно произойти послезавтра.

Наконец — это тоже немаловажно, — как назвать статью? А что если просто и коротко: «Победа»? Подумав об этом, Воронов тут же вступил во внутренний спор с самим собой. Победа чего? Чья победа? Над чем? Над кем?

Но нужна ли здесь подробная расшифровка? Явятся ли «Хельсинки» победой? Да, разумеется. Чьей? Советского Союза? Его политики мира? Победой всего социалистического содружества? Да, конечно. Но в данном случае слово «победа» имеет и более широкий смысл. Победа здравого смысла над силами вражды. Победа народов в борьбе за свое мирное будущее.

Но тогда это слово не исчерпывается самим фактом предстоящего Совещания. Оно становится шире, включает в себя не только эту сегодняшнюю победу, но и все другие, уже одержанные в прошлом...

Так как же все-таки назвать статью?

Воронов так и не принял окончательного решения. Он устало откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Снова открыл их, посмотрел в окно. Наступали сумерки.

«Хорошо бы позвонить Маше, — подумал Воронов. — Интересно, сколько стоит здесь минута разговора с Москвой?»

Впрочем, он расстался с женой сегодня утром в аэропорту Шереметьево и через три дня будет дома. Колька, сын, только что улетел в рейс и раньше чем через неделю в Москву не вернется.

Воронов посмотрел на часы. Было без двенадцати минут девять. Уже девять! А он не только не написал ни строчки, но даже не составил хотя бы примерного плана статьи.

Воронов снова попытался сосредоточиться.

Когда же, если мерять масштабами истории, началась международная встреча, которая фактически откроется послезавтра? Где ее истоки? Не формальные, нет, а, так сказать, глобальные, связанные с судьбами миллионов людей? Когда, в сущности, началась «холодная война»? В сорок пятом, когда над нами нависла угроза американской атомной бомбы? Нашей стране, еще полуразрушенной, кровоточащей, пришлось тратить тогда многие миллионы рублей, чтобы создать свою собственную бомбу... Или в сорок девятом, когда бывшие наши союзники, лишившиеся атомного превосходства, создали пресловутое НАТО, вынудив нас противопоставить опасному мечу, направленному в самое

сердце социалистического мира, могучий щит — Варшавский Договор?..

Когда же, когда началась эта бессмысленная, иссушающая души и сердца, замораживающая человеческую кровь «холодная война»?

Что в конце концов привело к ее затуханию? Где начало начал? Какой старый этап завершит Общеевропейское Совещание и какой новый начнет? Почему здравый смысл, казалось, надолго, если не навечно похороненный под толстым ледяным настом, пробился на поверхность именно сейчас?

«Почему?!» — мысленно повторил свой вопрос Воронов.

...и вот тогда раздался телефонный звонок.

Все, над чем он только что думал, сразу отодвинулось куда-то, ушло в далекие глубины памяти. Грохот войны, который в первые годы после ее окончания так часто слышался ему, а потом постепенно затих, вновь явственно донесся до его слуха.

Тридцать лет жил в памяти Михаила Воронова облик Чарльза Брайта — молодое, веснушчатое, мокрое от жары лицо, рыжеватые волосы, военная с погончиками рубашка — рукава завернуты чуть выше локтей, на погонах маленькими металлическими буквами обозначено: US correspondent — американский военный корреспондент...

Почему он теперь так ждал Чарльза? Что хотел услышать от него? Может быть, он ждал свидания со своей молодостью? С самим собой, с тем двадцатисемилетним майором, каким был тогда? Или подсознательно стремился вернуться в те страшные, кровавые и в то же время лучшие, героические годы своей жизни?

Воронов остановился у двери, надеясь услышать приближающиеся шаги, но синтетика поглощала все звуки. Он нетерпеливо открыл дверь и выглянул в коридор...

Никого не было. Только в дальнем конце коридора официант в белой куртке толкал перед собой столик на колесиках. Воронов захлопнул дверь и с раздражением подумал: откуда, из какого конца города, из какой дали Брайт добирается? Или у него нет машины?

При этой мысли Воронов невольно улыбнулся: ему вспомнилось, как Чарли ведет себя за рулем...

А потом... Потом наконец раздался стук в дверь.

— Come in! [1] — крикнул Воронов так громко, словно боялся, что тот, кто стоит за дверью, не расслышит и может уйти.

Дверь открылась. На пороге стоял немолодой человек в синей куртке из легкой хлопчатобумажной ткани и джинсовых брюках. У него были рыжевато-седые волосы. Веснушки едва различались на покрытом морщинами лице.

Воронову казалось, что вместе с этим не по возрасту одетым пожилым американцем в комнату вошло далекое прошлое. Особым, внутренним зрением Воронов видел сейчас не только этого человека, столь изменившегося с тех пор, — с тех давних-давних пор! — но и неясные очертания того, что их тогда окружало, — седые, покрытые щебеночной пылью развалины, руины, по которым, точно зеленые ручейки, ползли змейки плюща. Из тумана медленно выступали чьи-то полузабытые лица, глядели чьи-то знакомые глаза.

Некоторое время они стояли друг против друга — Михаил Воронов и Чарльз Брайт, застывшие, окаменевшие, точно внезапно оказавшиеся в совсем другом измерении и еще не знавшие, как вернуться из него в сегодняшний день.

Воронов глядел на этого седовласого американца. Встретив на улице, он, конечно, никогда не узнал бы его...

Но это был именно тот Чарльз Брайт, которого Воронов с таким нетерпением ждал. Широко раскинув руки, он крикнул: «Чарли!» — и бросился к человеку, все еще продолжавшему одиноко и нерешительно стоять на пороге.

Глава вторая

НАЗАД, В ПРОШЛОЕ

В июле 1945 года Воронов снова ехал в Берлин. Война опять обступала его со всех сторон.

Правда, теперь не раздавались винтовочные выстрелы, не частили автоматы, не стрекотали пулеметы, не слышались разрывы бомб и снарядов. Но ведь и на войне, окончившейся немногим более двух месяцев назад, тоже бывали минуты, а то и целые часы, когда в лица солдатам молча смотрели пустые или наполненные водой темные глазницы воронок, мертвые развалины домов...

Воронов ехал в купе жесткого вагона. Соседями его были майор в форме пограничных войск и двое армейских офицеров — капитан и старший лейтенант.

Поезд останавливался редко и проделал путь до Берлина менее чем за двое суток. Когда

[1] Войдите! *(англ.)*

Воронов в середине мая возвращался из Берлина в Москву, он добрался до дома лишь к исходу четвертого дня.

Обо всем успели переговорить между собой четверо попутчиков, но один вопрос так и остался без ответа: зачем все они едут сейчас в Германию. Как только Воронов касался этого вопроса, в купе возникало странное, неловкое молчание.

После разговора с Лозовским Воронову было в общих чертах известно, зачем он едет. Но почему в его командировке, кроме Берлина, упоминался еще и Потсдам? И, главное, зачем, с какой целью шел в Германию этот поезд, полный солдат и офицеров? Ведь сейчас тысячи, десятки тысяч солдат двигались как раз в обратном направлении! Почему в этом поезде так много пограничников? Наконец, для какой цели их посылают именно в Потсдам?

Однако все попытки Воронова получить ответ на эти вопросы ни к чему не приводили.

С чего ему самому надо начинать по приезде в Берлин, Воронов хорошо знал. Прежде всего он должен направиться в восточный район города — Карлсхорст. Здесь, в двухэтажном сером невзрачном здании, бывшем немецком военно-инженерном училище, недавно произошло событие, которого мучительно ждали миллионы людей на земле, — была подписана капитуляция «третьего рейха». В Карлсхорсте Воронов уже бывал. Добравшись до Берлина на второй день после захвата немецкой столицы советскими войсками, он — собственный корреспондент Совинформбюро — присутствовал на церемонии капитуляции.

Вплоть до своего отъезда из Берлина Воронов каждый день посылал в Москву корреспонденции и фотографии. Приказы советской военной комендатуры следовали один за другим: о снабжении населения Берлина продовольствием, о восстановлении коммунального хозяйства столицы, о молоке для берлинских детей...

Именно в те дни из Советского Союза в Берлин поступили десятки тысяч тонн муки, картофеля, сахара, жиров. На множестве фотографий Воронов запечатлел раздачу продуктов городскому населению.

Обо всем этом он вспомнил сейчас потому, что, как и в прошлый раз, все для него должно было начаться с Карлсхорста. Там по-прежнему располагался штаб маршала Жукова, а также некоторые отделы политуправления бывшего фронта, а теперь — группы советских оккупационных войск. Туда, в политуправление, Воронову и надлежало явиться.

Воронов подхватил свой чемоданчик, где лежали фотоаппарат, запас пленки, штатский костюм, — хотя он и не знал, зачем этот костюм может ему понадобиться.

...Когда Воронов вышел из вагона, его сразу поразил царивший на вокзале необычный, строгий порядок. Ехавшим в поезде до Потсдама солдатам и офицерам, видимо, приказали не выходить из вагонов в Берлине. Перрон был чист. Казалось, его только что надраили, как палубу военного корабля. Чистыми — то ли свежепокрашенными, то ли тщательно вымытыми — были и стены чудом сохранившегося вокзала Шлезишербанхоф.

По перрону прохаживался советский военный патруль — капитан и трое солдат. За последнее время Воронов встречал множество военных, на которых были старые гимнастерки и кители, в самом прямом смысле слова прошедшие огонь и воду. На капитане и сопровождавших его солдатах была никем ранее не ношенная, новенькая, несомненно только что выданная форма.

Поравнявшись с капитаном, Воронов на всякий случай спросил, где находится сейчас политуправление.

— Документы, товарищ майор, — останавливаясь и поднося ладонь ребром к козырьку фуражки, сказал капитан.

Воронов протянул ему офицерское удостоверение с вложенным в него командировочным предписанием.

Капитан внимательно читал предписание.

— Пропуск на объект имеете? — спросил он потом.

— На какой объект? — с недоумением переспросил Воронов.

— Вы ведь в Потсдам следуете?

— Да. Но сначала должен явиться в политуправление.

— Ясно, — возвращая Воронову документы, сказал капитан. — Политуправление в Карлсхорсте, на старом месте. Транспорт имеете?

— Нет. Откуда?!

— Придется проголосовать. Остановите нашу военную машину...

— Ясно, — в свою очередь, отозвался Воронов. Этот щеголеватый капитан, кажется, собрался учить его тому, как голосуют...

Он козырнул и, не глядя на офицера, пошел к выходу.

Выйдя на площадь, Воронов прежде всего обратил внимание на то, что она тщательно расчищена. Груды разбитого камня и щебенки, развалины домов с зияющими лестничными клетками виднелись всюду, как и два месяца назад. Но если раньше эти груды так загромождали мостовую, что шоферам приходилось искусно лавировать между ними, то сейчас

проезжая часть улицы была освобождена от развалин.

Воронову повезло. Неподалеку от вокзала стоял «додж» с советским военным номером — американская полугрузовая машина, каких в последний период войны в нашей армии появилось немало. Когда Воронов направился к машине, шофер уже включал мотор.

— Эй, друг, подожди! — громко крикнул Воронов. Водитель высунулся из кабины:

— Слушаю вас, товарищ майор.

— В какую сторону едете, товарищ сержант? — разглядев «лычки» на погоне водителя, спросил Воронов.

— А вам в какую, товарищ майор? — в свою очередь, спросил сержант.

— Карлсхорст.

— Садитесь. Как раз туда и еду, — сказал сержант, перебрасывая на заднее сиденье шинель и видавший виды выцветший вещевой мешок.

Воронов забросил туда же свой чемоданчик и уселся рядом с сержантом.

Водитель выжал сцепление, с особой шоферской лихостью, со звоном «воткнул» ручку переключения скоростей и нажал на газ.

Машина тронулась.

Воронов искоса взглянул на сержанта. Тот был еще молод, однако усат. Клок белокурых волос выбивался из-под пилотки, которая была так сдвинута набок, что почти касалась одной из бровей. На груди у сержанта орден Славы третьей степени и поблескивали медали за освобождение многих городов.

— С этим эшелоном прибыли, товарищ майор? — спросил сержант.

— С этим, — подтвердил Воронов.

— Значит, из самой Москвы?

На мгновение Воронов запнулся, — находясь на фронте, он не привык называть случайным попутчикам место отправления или пункт следования воинской части.

— Да не темните, товарищ майор, — широко улыбаясь, сказал сержант. — Я своего начштаба возил этот эшелон встречать.

— Что ж вы его не дождались? — уклончиво спросил Воронов.

— А он дальше эшелон сопровождать будет. Прямиком до Потсдама!

«И этот про Потсдам!» — подумал Воронов. Он хотел было расспросить водителя о Потсдаме, но тот опередил его вопросом:

— Как там, в Москве-то?

— Здорово! — невольно улыбаясь в ответ на заразительную улыбку белозубого сержанта, сказал Воронов.

— На параде Победы не побывали?

— Был и на параде.

— Ух ты! — воскликнул сержант и пристально глянул на Воронова, словно только теперь решил разглядеть его как следует.

— Ну, а у вас тут как? — спросил Воронов, чтобы поддержать разговор.

— У нас? Мир, товарищ майор! Одно слово — мир!

Странно было слышать это слово в городе, который стоил жизни десяткам тысяч людей. Еще совсем недавно здесь бушевало пламя пожаров.

В зрелище аккуратно прибранных берлинских развалин было нечто такое, что отличало этот город от десятков других разрушенных городов, которые Воронов видел за годы войны. Что же именно? Воронов не сразу понял, что это была белая каменная пыль, покрывающая Берлин. «Седой город, — подумал Воронов, — город с седыми волосами...»

Теперь он уже не казался вымершим, как в первые дни после Победы. По тротуарам или по мостовым шли люди, много людей. Почти все они везли тележки с домашним скарбом или несли сумки. Эти люди были уже не похожи на тех, которых Воронов видел в мае. Те пугливо пробирались меж развалин, озираясь по сторонам, словно опасаясь, что на них каждую минуту может обрушиться удар. Встретив солдата или офицера союзных войск, они шарахались в сторону или всем своим видом изображали покорность, даже подобострастие. У женщин, казалось, не было возраста — бледные, неряшливо одетые, они вели за собой таких же бледных, давно не мытых ребятишек. Только проститутки, появившиеся на улицах Берлина одновременно с английскими и американскими солдатами и офицерами, бросались в глаза своими ярко размалеванными лицами.

Прошло всего два месяца, но многое в Берлине коренным образом изменилось. Видно было, что жизнь в городе мало-помалу налаживается.

Воронову бросился в глаза плакат на одной из полуразрушенных стен: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается».

Навстречу машине, в которой ехал Воронов, часто попадались офицеры союзных армий. Сидя в своих «виллисах», они на большой скорости проносились мимо. Иногда они поднимали руки к пилоткам и что-то кричали, но Воронов не мог разобрать, что именно. Видимо, приветствовали советского офицера.

— Веселые ребята, с ними не соскучишься! — сказал водитель с оттенком уважения и в то же время насмешливо.

— Часто видишь союзников? — спросил Воронов, избегая прямого обращения к сержанту.

— Когда на Эльбе стояли, друг к другу в гости ходили. Языка, конечно, не знаем. «Халло, Боб, феньkю вери мач», и все тут! Но ничего, общались. Выходит, есть на свете общий язык. Бессловесный, а всем понятный...

Сержант то и дело поглядывал на Воронова, словно ему было очень важно, как будет реагировать на его слова этот незнакомый майор.

— Правильно говоришь, сержант, — переходя на привычное фронтовое «ты», с улыбкой сказал Воронов. — Если такого языка еще и нет, он должен быть создан...

— А я что говорю! — обрадовался сержант, пропуская мимо ушей последние слова Воронова и не обращая внимания на интонацию сомнения, с которой они были произнесены. — По-ихнему ни бельмеса, а ведь договариваемся! С офицерами-то я дела не имел, а с солдатами запросто! «Феньkю вери мач», и все в порядке! Я ему: «Гитлер капут!» А он мне: «Сталин!..» И кружок пальцами показывает. «О'кей», — порядок, значит, по-ихнему.

— Это они тебе, сержант, «сенькью вери мач» говорить должны, — с усмешкой сказал Воронов, — пусть нас благодарят за то, что в Берлин попали.

— Ладно, товарищ майор, чего нам теперь считаться! — отозвался сержант. — Не в этом сейчас дело!

— А в чем же? — с любопытством спросил Воронов.

— Как вам разъяснить, товарищ майор... Сколько лет мы прожили до войны, а вокруг одни капстраны. Всюду это чертово окружение. Так ведь его в газетах называли?

— Именно так.

— А теперь его нет!

— Как так нет?

— Да что вы, товарищ майор, — искренне удивляясь недогадливости Воронова, воскликнул сержант, — дело-то ведь изменилось. Гитлеру — крышка! Англия — союзник, Франция — союзник, Америка — хоть и далеко, но тоже ведь... Или возьмем, к слову, Европу. Скажем, Польшу, Болгарию, Чехословакию. Неужто они теперь согласятся под буржуями жить? Да ни в жизнь, товарищ майор, это я вам точно говорю! Так кто тогда нам грозить теперь будет? Вроде некому! Выходит, работать можем спокойно. Страну восстанавливать... Может, я неправильно говорю? — неожиданно перебил себя сержант и настороженно покосился на Воронова.

Воронов молчал. То, что в такой примитивно-категорической форме говорил сейчас сержант, как это ни странно, перекликалось с тем, что несколько дней назад он слышал от Лозовского. Разумеется, у того были иные слова, термины, формулировки, но суть тоже сводилась к тому, чтобы сохранить союз, сложившийся в годы войны, продолжить сотрудничество великих держав и в послевоенное время...

— Рассуждаешь, сержант, правильно, — задумчиво ответил Воронов. — Как говорится, правильно в основном.

— Я вам так скажу, товарищ майор, — явно ободренный поддержкой Воронова, продолжал сержант, — какие американцы вояки, да и англичане тоже, вы сами знаете. Со вторым фронтом тянули до второго пришествия. Однако — как бы в скобках добавил он — высадку провели здорово, я в газетах читал. Только главное-то для них другое.

— А что же?

— Торговая нация! В крови это у нее. Я в Берлине нагляделся. Как свободная минута — давай к рейхстагу, на рынок. Русский Иван помогай фрицам город расчищать, продпункты организовывать, патрули выставлять. Ты, может, вчерашний фашист — после разберемся, — а сегодня ты мирный житель, и чтобы никаких там самосудов! А эти — шасть на барахолку! И что любопытно, товарищ майор, — у них, видать, за это не наказывают. Ни на губу, ни даже наряда вне очереди. Раз теперь мир — значит, торгуй. Халло, Боб, что же еще делать? Эх, черт! — встрепенулся сержант. — Проехали, товарищ майор. Мне вон на ту штрассе свернуть надо было. Сейчас дальше поедем, а то тут не развернешься...

— Не надо разворачиваться, — поспешно сказал Воронов, — я эти места знаю. Отсюда до политуправления десять минут ходу. Спасибо тебе, сержант. Притормози.

Машина остановилась.

— Счастливо, товарищ майор. Вы, можно сказать, последний мой пассажир. — В голосе его послышалась печальная нотка, словно ему грустно было расставаться с Вороновым. — Завтра сам пассажиром стану.

— То есть как?.. Почему?

— Демобилизация! Завтра в шесть ноль-ноль на сборный пункт. По машинам — и к поезду!.. У меня под Смоленском дом. Деревня Остайкино, не слыхали? Впрочем, что я, ведь ее ни на одной карте нет. Колхоз — пятьдесят дворов.

«Друг ты мой дорогой! — хотелось сказать Воронову. — Твой Смоленск разрушен страшнее Берлина. Ничего от него не осталось. А Остайкино твое наверняка как корова языком слизнула...»

Сержант, видимо, прочел его мысли.

— Знаю, туго будет. Жена писала — с пацаном в землянке живет. Кругом запустение, трава-лебеда, земли под сорняком не видать.

Ничего, — он тряхнул головой, отчего пилотка сдвинулась на затылок, — не я один возвращаюсь. Таких, как я, много. И вспашем, и засеем, и выполем, и построим! Войны нет, голова на плечах, руки-ноги на месте, что еще человеку надо! Верно я говорю, товарищ майор?

В тоне, каким сержант сказал эти слова, Воронов почувствовал просьбу, почти мольбу поддержать их, подтвердить их правильность.

— Верно, очень верно говоришь, сержант! — горячо сказал Воронов и почувствовал, что голос его дрогнул.

— И союзники-то, — продолжал сержант, — должны нам кое-чем помочь. Ведь мы-то их как выручили!

— Должны, должны помочь, — задумчиво ответил Воронов и крепко пожал руку сержанту. — Всего тебе доброго. Счастья тебе.

По странной случайности Карлсхорст не был тронут ни бомбардировками, ни артиллерийским обстрелом. После взятия Берлина именно здесь разместилось командование Первого Белорусского фронта. Сегодня все в Карлсхорсте выглядело по-старому: шлагбаум, около него — часовые-автоматчики, за шлагбаумом — небольшой двухэтажный дом, по левую сторону от него — несколько домов еще поменьше, крыши — шатром, под острым углом друг к другу.

Возле центрального двухэтажного дома, где так недавно происходила церемония капитуляции, тоже прогуливались автоматчики. В стороне стояло несколько легковых автомашин. Воронов решил, что резиденция маршала Жукова на старом месте. Тут же неподалеку, во флигеле позади центрального здания, раньше размещалось политуправление, во всяком случае, его руководство.

Проверка документов прошла быстро. Оказавшись по ту сторону шлагбаума, Воронов направился к знакомому флигелю в надежде увидеть если не начальника политуправления генерала Галаджева, то его заместителя.

Прежде чем пропустить во флигель, у него снова проверили документы.

Воронов был здесь совсем недавно — меньше двух месяцев назад. Но за этот короткий срок многое в политуправлении переменилось, многое перестраивалось. Из коротких разговоров со знакомыми политработниками Воронов узнал, что бывший командующий фронтом возглавляет теперь всю группу советских оккупационных войск, расположенных в Германии. Кроме того, он является Главноначальствующим советской военной администрации и советским представителем в Союзном Контрольном совете.

Майоры и подполковники, читавшие документы Воронова, никак не могли определить, куда его следует направить и кому подчинить.

Наконец он добрался до Бюро информации — такого органа с сугубо гражданским названием раньше здесь не существовало.

Однако ни начальника Бюро Тугаринова, ни его заместителя Беспалова на месте не оказалось. Оба они, как сказал дежурный майор, уехали в редакцию «Теглихер рундшау» — газеты, которую советская администрация стала издавать для немецкого населения.

Тем не менее майор вписал фамилию Воронова в какую-то книгу и сделал отметку на его командировочном предписании. На вопрос Воронова, где ему жить и что делать, майор молча пожал плечами. В конце концов он посоветовал Воронову обратиться с этими вопросами к высшему начальству.

Воронов помнил, что кабинет начальника политуправления генерала Галаджева размещался раньше на втором этаже.

Поднявшись по лестнице, он оказался в приемной, куда выходили три двери. У одной из них за столом сидел капитан.

— Генерал у себя? — спросил Воронов.

— По какому вопросу, товарищ майор? — устало осведомился капитан.

— Корреспондент Совинформбюро. Из Москвы.

— Генерал сейчас в городе, — все так же устало произнес капитан, но вдруг вскочил и вытянулся.

По взгляду капитана, обращенному мимо него, Воронов понял, что в приемную вошел некто старший по званию. Обернувшись, он увидел пересекавшего комнату генерал-майора.

Воронов подтянулся, едва не свалив поставленный у ног чемоданчик, и откозырял.

Генерал скользнул рассеянным взглядом по вытянувшимся офицерам, небрежным движением поднял руку, не донося ее до козырька, и пошел к выходу. У двери он остановился, словно вспомнив что-то, обернулся, в упор посмотрел на Воронова и неуверенно произнес:

— Михаил... ты?

Широкое лицо генерала было изрезано морщинами, из-под фуражки виднелись седые виски. В лице этого человека было что-то, до боли знакомое Воронову. Это был тот человек, каким Воронов его знал, и вместе с тем вроде бы другой... Почувствовав, как немеют пальцы прижатых к бедрам рук, движимый смутным, но властным воспоминанием, он почти автоматически воскликнул:

— Товарищ полковник!.. — Остальное как бы сама собой досказала его память: — Василий Степанович!..

Теперь у Воронова уже не было сомнений. Перед ним стоял Василий Степанович Карпов, его бывший начальник, командир дивизии, которая обороняла Москву в ноябре сорок первого и в которой он, Воронов, редактировал газету. Тогда еще полковник, а ныне постаревший, тучный генерал-майор...

Самый тяжелый, самый страшный период войны связывал Воронова с этим человеком. Бои шли на ближних подступах к Москве, враг стоял на окраинах Ленинграда, решалась судьба всего, что было свято, дорого и близко миллионам советских людей...

Затем война на целых три с половиной года разъединила Воронова с его бывшим командиром дивизии. Их военные дороги разошлись с тем, чтобы случайно сойтись вновь только сейчас.

Воронов поспешно шагнул вперед, словно хотел обнять генерала, но овладел собой и, покраснев от сознания, что это его движение было замечено, вовремя остановился.

— Здравия желаю, товарищ генерал! — преувеличенно громко отчеканил он.

Но Карпов уже стоял возле Воронова и, положив ему на плечи свои тяжелые руки, тряс его, будто желая убедиться, что перед ним не призрак, а действительно Михаил Воронов...

— Михаил, Михайло, Мишка... — взволнованно твердил генерал. Обращаясь к капитану, который стоял по-прежнему вытянувшись и молча наблюдал эту сцену, он с улыбкой сказал: — Однополчанина встретил!.. Под Москвой вместе дрались... — Снова перевел взгляд на Воронова и спросил: — Ты как сюда попал? Значит, по-прежнему в армии? Майором стал... Орденов нахватал... Герой!

Две орденские планки на вороновском кителе выглядели довольно скромно по сравнению с четырьмя рядами планок на кителе генерала. К первому полученному им ордену — Красного Знамени — Воронов в свое время был представлен именно Карповым. Но — что греха таить! — все-таки было приятно, что генерал обратил внимание на его награды.

— Ты что здесь делаешь? Как сюда попал? — по-прежнему улыбаясь, повторил свой вопрос Карпов.

Воронов уже справился с волнением и, снова вытянувшись, ответил:

— Только что прибыл из Москвы, товарищ генерал...

— Из Москвы-ы? — удивленно протянул Карпов. Дальнейшая судьба его дивизионного редактора была ему неизвестна.

— Я теперь в Совинформбюро работаю, товарищ генерал, — торопливо пояснил Воронов. — Получил приказание отбыть в Потсдам, но сначала велено было явиться...

При слове «Потсдам» генерал разом перестал улыбаться. Лицо его нахмурилось. Уже другим, суховато-строгим тоном он спросил:

— А в Берлине ты зачем?

— В Совинформбюро сказали, что сначала надо...

— Много они там знают, — прервал его генерал. — Пошли, — коротко приказал он.

По лестнице они спускались молча: генерал — впереди, Воронов — шага на два сзади.

Неподалеку от дома, где была подписана капитуляция, теперь собралось еще больше машин — несколько «эмок», окрашенных во фронтовые камуфлирующие цвета, поблескивающий свежей черной краской, очевидно, недавно присланный из Москвы «ЗИС-101», а также иностранные «хорьхи», «мерседесы» и «форды» с английскими и американскими флажками на радиаторах.

Как только генерал в сопровождении Воронова появился на улице, одна из «эмок» быстро подъехала вплотную к нему.

— Садись, — сказал Карпов, открывая заднюю дверь. Воронов был уверен, что генерал сядет рядом с шофером, и попытался забраться на заднее сиденье вместе со своим чемоданом.

— Чемодан-то куда? — спросил генерал. — Возьми его к себе, — приказал он водителю-ефрейтору. Затем опустился на заднее сиденье рядом с Вороновым.

— У тебя в командировочном предписании что написано? — спросил генерал, когда машина тронулась.

Поскольку он произнес эти слова уже не приятельским, а суховато-служебным тоном, Воронов ответил ему так же официально:

— Я вам уже докладывал, товарищ генерал. Потсдам.

— Покажи.

Воронов достал предписание и протянул его генералу.

Карпов внимательно прочел документ и, возвращая его Воронову, сказал:

— Все верно. Значит, фотокорреспондент, — как бы про себя удовлетворенно добавил он.

Шофер, слегка обернувшись назад, спросил:

— Куда следуем, товарищ генерал?

— На объект, — коротко приказал Карпов. Он искоса посмотрел на Воронова, и улыбка снова появилась на его лице.

— Ну, майор, рассказывай, как воевал все эти годы?

Но Воронову было сейчас не до рассказов. По правде говоря, он несколько растерялся.

Генерал явно имел отношение к цели его, Воронова, приезда сюда. Но какое именно? На какой «объект» они едут?

— Товарищ генерал, — робко спросил он, — куда же мне следует сейчас обращаться? Насколько я понял свое задание, мне...

Генерал предостерегающе поднял руку. Снова улыбнувшись, он повторил свой вопрос:

— Как жил эти годы? Расскажешь? Выдай сводку «От Советского информбюро».

Воронов коротко перечислил должности, которые занимал, и фронты, на которых побывал.

— Плохая сводка, формальная, ничего из нее не поймешь, — недовольно пробурчал Карпов, — как в начале войны. Наши войска оставили населенный пункт «Н». Пленный ефрейтор Отто Шварц заявил: «Гитлер капут». Такие сводки печатают, когда дела ни к черту. У тебя, насколько я понимаю, все в порядке. Ну? — произнес Карпов уже иным, добродушным тоном. — Женился наконец? Нашел свою Марью?

«А ведь помнит!» — с восхищением и в то же время с грустью подумал Воронов. Более трех лет назад в один из мрачных вечеров под Москвой он рассказал комдиву, как случайно встретил девушку в кино, как они познакомились, а потом, месяца через три, она пришла к нему на Болотную. Тогда же Мария и Михаил решили пожениться. Но так и не успели соединить свои судьбы. Воронов ушел в народное ополчение. Весь курс Марии — она училась в медицинском институте — подал заявление в военкомат и вскоре был отправлен на фронт.

— Нет, пока не нашел, — с благодарностью ответил Воронов. — Ее еще не демобилизовали.

При этом он счастливо улыбнулся: к его возвращению из Берлина Мария тоже должна была вернуться в Москву. Потом, словно спохватившись, нетерпеливо спросил:

— А вы-то как, Василий Степанович? Вы-то где воевали?

— Где я воевал? — спросил Карпов. — И у Конева и у Жукова...

«А теперь?» — хотелось спросить Воронову. Он надеялся по ответу генерала хоть отчасти разобраться в том, что его волновало. Ведь Карпов наверняка занимал крупный пост в штабе советских оккупационных войск.

Воронов помнил Карпова моложавым, стройным, черноволосым полковником. Сколько раз он приходил к нему в покрытую тяжелыми пластами декабрьского снега дымную землянку со свежим номером дивизионной газеты «В бой за Родину». Вместе с Карповым и другими работниками штаба и политотдела он однажды вел бой прямо на КП дивизии, когда все независимо от должностей и званий взяли в руки оружие и отражали натиск врага. Бок о бок с Вороновым сражался и его непосредственный начальник — комиссар дивизии Баканидзе, старый большевик, пошедший в роту, когда враг предпринял последнюю отчаянную попытку прорваться к Москве. Немцы были остановлены, но Баканидзе из роты не вернулся.

— Вы, товарищ генерал, нашего комиссара помните? — невольно спросил Воронов.

— Ревааз? — тихо сказал Карпов. Это имя, видимо, сразу перенесло его в прошлое. — Таких людей, друг мой, не забывают. — И, не то спрашивая, не то утверждая, проговорил: — Ты знаешь, Миша, он ведь у товарища Сталина был.

— Баканидзе?! — с удивлением переспросил Воронов.

— Полковой комиссар Ревааз Баканидзе. Он знал товарища Сталина еще с молодых лет. В Москве, когда наша дивизия грузилась в эшелон, побывал у него. В Кремле.

Сколько долгих часов Воронов провел тогда рядом с комиссаром, обсуждая планы дивизионной газеты и содержание ее ближайших номеров. В дивизии он вступил в члены партии. Баканидзе дал ему рекомендацию.

Перед тем самым боем два немецких танка с пехотой на броне прорвались в тыл дивизии. Впрочем, какой там тыл! На пятачке в два-три квадратных километра расположились и КП, и штаб, и политотдел, и редакция.

Рядом с ним были тогда и Карпов и Баканидзе. Война сблизила этих людей, столь разных по возрасту, по виденному, испытанному и выстраданному в жизни. Их объединила горечь отступлений, их связывало горькое сознание, что над страной нависла смертная угроза.

Когда в редакции дивизионки принималась очередная сводка Совинформбюро, — завтра ей предстояло появиться в газете — и в этой сводке страшным набатным колоколом звучали названия оставленных городов и новые направления — все ближе и ближе к Москве! — двадцатичетырехлетний старший политрук приходил в землянку к пятидесятишестилетнему полковому комиссару.

Если бы их разговоры касались только содержания газеты! Если бы не звучало в них недоуменно-горькое «почему?»! Почему отступаем? Почему у врага больше оружия? Почему, почему, почему?..

Месяцы, нет, теперь уже годы прошли с тех пор. Но в памяти Воронова были живы все разговоры с Баканидзе, душевные разговоры кандидата в члены партии, вчерашнего студента, со старым большевиком, вступившим в партию еще до революции.

Но о знакомстве со Сталиным, а тем более о той, последней встрече с ним Баканидзе не упоминал никогда. Как странно!

— Он рассказал мне о своем разговоре со Сталиным перед тем, как пошел в роту, — как бы издалека донесся до Воронова голос генерала. — Может быть, чувствовал, что не вернется..

— О чем же они говорили? — с любопытством спросил Воронов.

— В точности не помню, — неопределенно ответил генерал. — Столько лет прошло.

Воронов с удивлением посмотрел на Карпова и чуть было не сказал, что на его месте наверняка запомнил бы такой рассказ на всю жизнь. Но генерал сидел неподвижно, закрыв глаза. Что-то подсказало Воронову, что лучше его больше не расспрашивать.

Между тем машина пересекла западный район Берлина — Целлендорф. Мелькнул дорожный указатель. Широкая деревянная стрелка, прибитая к столбику, была выкрашена в зеленый цвет, и на ней четкими белыми буквами значилось ПОТСДАМ — 2 км.

— Мы в Потсдам едем? — с радостью воскликнул Воронов.

Генерал открыл глаза, глянул в окно и иронически-добродушно сказал:

— Так тебе же, кажется, в Потсдам и нужно?

— Точно, — подтвердил Воронов. — Но я не знал, что мы туда едем.

— У нас тут заранее ничего не предскажешь, — улыбнулся генерал. — Так что привыкай. Может, найдешь здесь и тех, кого в Карлсхорсте искал. Весьма возможно...

Воронов хотел выяснить, что имел в виду генерал, произнося эту туманную фразу, но не успел, потому что Карпов тут же спросил:

— В Потсдаме раньше бывал?

— Нет, не приходилось.

— Значит, что за место — не знаешь?

— Вообще-то кое-что знаю. Я все-таки на историческом учился.

— Ну, и что же ты знаешь? — с едва заметной иронией спросил генерал.

— Это место связано с прусским королем Фридрихом Великим, — напрягая память, ответил Воронов. — То ли он здесь жил, то ли построил дворец...

Карпов слушал, слегка прищурившись. Воронов ничего не мог больше выудить из своей памяти относительно Потсдама и решил отыграться на Фридрихе.

— Фридрих был любимым королем Гитлера, — продолжал он. — Я где-то читал, что фюрер возил с собой его портрет в золоченой раме.

— Вон как! — усмехнулся Карпов. — За что же он его так жаловал?

— Считал идеальным полководцем. Если говорить всерьез, Фридрих был символом прусского милитаризма. Много воевал, удвоил армию, ввел палочную дисциплину...

— Символ, значит, — задумчиво произнес Карпов.

Тем временем машина въехала в небольшой городок. Он пострадал от войны меньше, чем Берлин. Жилых, обитаемых домов сохранилось здесь больше, хотя следы разрушений отчетливо виднелись на каждой улице.

Воронову бросилось в глаза, что советские военнослужащие встречались здесь гораздо чаще, чем в Берлине. На каждом перекрестке стояли девушки-регулировщицы с флажками в руках.

Машина быстро проскочила по улице. Теперь дорога шла среди деревьев, за которыми виднелись нарядные виллы. Городок и дачный пригород как бы сливались, переходя друг в друга. На этом коротком пути машину дважды останавливал советский военный патруль. Заглянув в машину и увидев генерала, патрульный офицер козырял и, обращаясь к шоферу, говорил: «Можете следовать».

Наконец машина остановилась.

— Слезай, приехали, — первым выходя из машины, сказал генерал.

Воронов вышел и застыл в изумлении. Ему почудилось, что он находится не в Германии, а в какой-то другой стране, совершенно не тронутой войной.

По обеим сторонам неширокой улицы-аллеи тянулись чистенькие, в большинстве своем двухэтажные особняки. Некоторые из них были отгорожены от тротуаров решетчатой оградой, у калиток чернели кнопки звонков.

Особняки казались необитаемыми: окна закрыты, ни занавесок, ни обычной герани. Вдоль тротуара стояло несколько «эмок». Солдаты разгружали грузовики с мебелью. По улице сновали советские офицеры в новенькой форме и до блеска начищенных сапогах. Среди них выделялись люди в штатских костюмах явно советского покроя.

— Это и есть Потсдам? — спросил Воронов генерала.

— Это Бабельсберг, — ответил Карпов, — в общем, считай, что Потсдам. Дачная местность при нем. Раньше киношные заправилы здесь жили.

— Но почему... — начал было Воронов, однако генерал прервал его.

— Заходи, — сказал он и указал на крыльцо двухэтажного домика, возле которого остановилась их «эмка». У подъезда стояли двое

часовых, а на самом крыльце Воронов увидел старшего лейтенанта в форме пограничных войск.

Карпов пошел первым. Офицер козырнул ему, но тут же обратился к Воронову:

— Документы!

Старший лейтенант, конечно, видел, что Воронов вышел из машины вслед за генералом. Судя по всему, он знал Карпова в лицо. То, что офицер все же потребовал документы, разозлило Воронова. Он пожал плечами и вопросительно посмотрел на генерала.

— Покажи, покажи, — строго и вместе с тем добродушно сказал генерал. — Здесь, брат, порядки особые.

Старший лейтенант тщательно проверил документы Воронова — удостоверение и вложенное в него командировочное предписание с магически-загадочным словом «Потсдам».

— Проходите, товарищ майор, — сказал он. — Оформляйтесь. Первый этаж, вторая дверь направо.

Генерал, молча наблюдавший за проверкой документов, сказал:

— Потом заходи ко мне. На второй этаж. Тебе покажут. — И быстро скрылся в дверях.

Воронов подхватил свой чемоданчик и шагнул к входной двери.

Итак, ему было приказано явиться в Карлсхорст. Случай свел его с Карповым. Оказалось, что генерал имеет отношение к этому самому Потсдаму. Но вместо Потсдама Воронов очутился в некоем Бабельсберге, райском уголке, где стоят нарядные виллы, цветут сады, щебечут птицы и не видно ни единого следа войны...

Вместе с тем чутьем военного корреспондента, за годы войны не раз побывавшего в приемных крупных военачальников, Воронов сразу ощутил, что его окружает особая атмосфера строгости и секретности. Миновав маленькую прихожую, он оказался в просторном холле. За столом, спиной к широким окнам с полуспущенными шторами — «маркизами» сидел лейтенант. Перед ним стояли пишущая машинка и несколько телефонов. Воронов отметил, что аппараты, кроме одного, полевого, были обычного городского типа.

Лейтенант перебирал бумаги и при появлении Воронова даже не поднял головы. В холл выходило несколько дверей. Воронов приоткрыл одну из них и произнес обычное: «Разрешите...»

Получив разрешение, он вошел в комнату и увидел подполковника, сидевшего за большим письменным столом. На столе стоял телефон и лежала фуражка с малиновым околышем. Рядом, у стены стоял сейф высотой почти в человеческий рост. На стенах висели буколические картины с изображением летающих амуров. Но фуражка, лежавшая на письменном столе, и стального цвета сейф придавали комнате строгий и официальный вид.

Воронов козырнул и назвал свою должность, звание, фамилию.

— Ваши документы, товарищ майор, — сказал подполковник.

Просмотрев удостоверение и командировочное предписание, протянутые ему Вороновым, он положил их на стол рядом с телефоном.

«Это еще что за новое дело? — с тревогой подумал Воронов. — Что-нибудь не в порядке?..»

Подполковник встал, подошел к двери и, полуоткрыв ее, крикнул:

— Лейтенант! Список номер шесть!

Затем вернулся и снова сел за стол.

— Значит, так, товарищ майор, — сказал подполковник. — Жить будете в доме номер четырнадцать... Номер комнаты сейчас выясним. Питаться будете в столовой номер три. Дом на этой же улице, столовая на параллельной. Теперь вот что...

Вошел лейтенант и положил на стол папку-скоросшиватель.

— Та-ак, — протянул подполковник, открывая папку и листая подшитые к ней бумаги. — Кино- и фотокорреспонденты... Герасимов, Гурарий... Воронов Михаил Владимирович, Совинформбюро. Лейтенант, — обратился он к стоявшему у стола офицеру, — выдайте документы фотокорреспонденту майору Воронову.

Лейтенант вышел. Воронов остался на месте.

— Собственно, я не фотокорреспондент, а журналист, — сказал он. — Мне поручено...

— Журналисты сюда не допускаются, — резко прервал его подполковник. — В вашем предписании написано ясно: фо-то-кор-рес-пон-дент!

— Так точно, — быстро ответил Воронов, по-прежнему ничего не понимая.

— Вот и хорошо, — кивнул подполковник, но тут же сказал тоном, не допускающим возражений: — Во время мероприятия ничего при себе не иметь. Только документы и фотоаппарат.

«Какого мероприятия?» — подумал Воронов.

— Блокнот, надеюсь, можно? — спросил он.

— Никаких блокнотов.

— Как же я буду делать записи?

— Никаких записей. Только фото. Разве вам в Москве не сказали? Вы направлены сюда в качестве фотокорреспондента.

— Так точно.

— Гражданское платье имеете?

Он почему-то так и сказал: «платье», а не «костюм».

— Имею.

— Как только устроитесь, сразу переоденьтесь. Вы прибыли первым. Остальные начнут прибывать завтра. Кстати, как у вас с транспортом?

— Каким транспортом?

— На чем собираетесь передвигаться? Значит, не имеете? Тогда советую объединиться с кем-нибудь из вашей братии. Теперь получайте у лейтенанта документы и устраивайтесь. — Это, — подполковник указал на лежавшее перед ним воинское удостоверение Воронова, — останется пока здесь. — Потянувшись к сейфу, он взялся за его белую металлическую ручку.

Воронов козырнул и молча вышел.

Лейтенант его ждал.

— Распишитесь, товарищ Воронов, — сказал он, раскрывая толстую тетрадь. — Здесь и вот здесь...

Достав из сейфа две небольшие белые карточки, лейтенант протянул их Воронову.

— Держите, — сказал он. — Месторасположение знаете?

— Подполковник объяснил.

— Тогда следуйте. Это недалеко.

— Генерал Карпов сказал, чтобы я зашел к нему.

— Второй этаж, третья дверь направо.

Выйдя в маленькую переднюю. Воронов поставил на пол чемодан и стал рассматривать свои новые документы. Обе карточки размером напоминали пропуск, который Воронов в свое время получил в Информбюро на парад Победы. На одной из карточек значилось: «ПРОПУСК НА ОБЪЕКТ». В верхнем левом углу перекрещивались древки трех изображенных в цвете флажков — советского, американского и английского. Далее следовали имя, отчество и фамилия Воронова — русскими и латинскими буквами. На другой карточке после слова «ПРОПУСК» и строки «Воронов Михаил Владимирович» было напечатано: «Нарком внутренних дел СССР Круглов».

Воронов вспомнил, что на вопрос шофера, куда ехать, генерал скомандовал: «На объект!»

«Сейчас выясним, что это за «объект», — подумал Воронов и поднялся по лестнице на второй этаж.

В небольшом кабинете генерала Карпова на столе стояли два телефона — полевой и городской. На стене висела большая карта Германии. Воронов обратил внимание, что она заштрихована в разные цвета. На противоположной стене виднелись следы от картин, снятых, видимо, совсем недавно.

— Ну как? Самоопределился? — встретил Воронова генерал.

— Как будто, — ответил Воронов, протягивая Карпову только что полученные белые карточки.

Генерал посмотрел на них и удовлетворенно сказал:

— Ну вот, теперь ты, как говорится, вполне допущенный.

— Куда, Василий Степанович? — воскликнул Воронов. — В жизни не был в таком нелепом положении, — горячо продолжал он. — В Москве спрашиваю: каково мое задание? Говорят — будете писать о Контрольном совете, о сотрудничестве с союзниками. Спрашиваю: почему я значусь фотокорреспондентом? Отвечают: так надо. Спрашиваю: почему Потсдам? Говорят: на месте разберетесь. А здесь и вовсе ничего не пойму. Со мной держатся так, будто я все знаю и нужно только уточнить некоторые детали. А мне, честно говоря, стыдно сознаться, что я ничего толком не знаю. Все вокруг темнят. Даже вы, Василий Степанович, и то все время чего-то не договариваете. Ведь верно?

Несколько мгновений Карпов молчал.

— Садись, — сказал он, указывая на один из двух старинных стульев с высокими резными спинками, стоявших возле его письменного стола.

— Вот что, — сухо и коротко, словно диктуя приказ, начал Карпов. — В Потсдаме скоро откроется конференция руководителей трех великих держав: Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании.

Он умолк. Воронов тоже сидел молча, пораженный тем, что сейчас услышал.

...Конечно, столь опытный военный журналист, каким был Воронов, не мог не задумываться над тем, что есть некая связь между его командировкой в Германию и предстоящей конференцией «Большой тройки». Однако разговор с начальником Совинформбюро, то добродушный, как бы ни к чему не обязывающий, то настойчивый и строгий, создавал впечатление, что Лозовский чего-то не договаривает.

Если Воронов и предполагал, что ему поручают нечто связанное с будущей конференцией, то это смутное предположение не выдерживало проверки элементарной логикой. Почему главы государств поедут в Берлин, превращенный в гигантскую груду развалин? Где они будут жить? По каким дорогам передвигаться? Ведь не случайно же для двух предыдущих встреч были выбраны далекий от полей сражений Тегеран и тихий, безмятежный уголок — Ялта?

Правда, в командировочном предписании Воронова значился еще и Потсдам. Но это слово являлось для Воронова совершенно отвлеченным понятием. Выезжая из Москвы, он был уверен, что в Потсдаме находится теперь тот штаб или политорган, с которым ему придется согласовывать свою работу в Берлине. Конференция же, если она и произойдет именно в эти дни, соберется в одной из не тронутых авиацией и артиллерией европейских столиц, в Париже, например.

Слова, произнесенные Карповым четко и ясно, без всяких предисловий и оговорок, оглушили Воронова. Мысли его мгновенно вернулись назад, в Москву. Все, что казалось ему странным и непонятным в кабинете Лозовского и по дороге в Берлин, внезапно приобрело предельную, как бы режущую глаза ясность.

«Неужели я был так глуп, что ничего тогда не понял?» — мысленно спрашивал себя Воронов.

В тот июльский день в коммунальной квартире на Болотной улице, где Воронов жил в одной комнате с отцом, рабочим-мастером на Электрозаводе, зазвонил настенный, установленный в общем коридоре телефон. Воронову сообщили, что завтра, 11 июля, к десяти часам утра он должен явиться к Лозовскому.

Лозовский был начальником Совинформбюро. Он сменил на этом посту умершего на второй день после окончания войны Щербакова.

Воронов пошел в Совинформбюро пешком. После возвращения в Москву он вообще пользовался городским транспортом только при крайней необходимости. Прогулка по московским улицам сама по себе стала для него праздником...

У входа в гостиницу «Новомосковская» толпились иностранцы — американцы, англичане и французы в военной форме. Молоденькая девушка, очевидно, гид, что-то щебетала по-английски. Воронов пересек мост и вышел на Красную площадь.

Отсюда до Леонтьевского переулка, где находилось Совинформбюро, было минут пятнадцать — двадцать ходьбы. Стрелки часов на Спасской башне показывали только четверть десятого, так что Воронов мог не торопиться.

Он медленно шел по Красной площади мимо здания ГУМа, возле которого так недавно стоял среди людей, приглашенных на парад Победы. Пропуск на парад он получил тогда в Совинформбюро и решил хранить этот маленький красный картонный квадратик до конца своей жизни.

Красная площадь, несмотря на рабочий день, выглядела оживленно, — в Москве было множество людей только что демобилизованных и не успевших начать повседневную трудовую жизнь. Молодые люди в гимнастерках с еще не споротыми с плеч петельками для погон, в старых кирзовых сапогах, с потрескавшимися голенищами, однако тщательно начищенных, девушки в легких летних платьях с завивкой «перманент», выглядывавшей из-под беретов, с накинутыми на плечи шарфиками, бродили парами и порознь по площади или стояли, глядя на голубей, в большом количестве появившихся неизвестно откуда.

Воронов снова и снова вспоминал, как меньше трех недель назад по этой площади проходили войска, как со стуком ударяли о брусчатку древки фашистских знамен, когда солдаты-победители швыряли их к подножию Мавзолея. «Мир! — мысленно произнес Воронов. — Как это хорошо, когда никуда не надо спешить, не надо идти в снега или в хлюпающую под ногами грязь размытых дорог, в ночь, туда, где свистят пули, рвутся снаряды и бомбы, идти, не ведая, удастся ли поймать попутную полуторку, не зная, когда и как доберешься до нужного тебе КП дивизии, полка, батальона, где прислонишь голову, чтобы хоть немного поспать, наконец, будешь ли вообще существовать...»

...Дойдя до гостиницы «Москва», Воронов остановился у газетных стендов, где были выклеены свежие номера «Правды» и «Известий». В течение четырех последних лет он, как и миллионы людей на фронте и в тылу, торопливо раскрывал любую оказавшуюся под рукой свежую газету, чтобы прежде всего прочитать сводку Совинформбюро или приказ Верховного Главнокомандующего.

Ныне все изменилось. Война была позади. Другое, совсем другое интересовало теперь людей в газетах.

Воронов пробежал глазами сообщение о встрече воинов-победителей в Ленинграде, письмо металлургов Урала, обещавших работать так же ударно, как и во время войны, информации о пленумах обкомов партии, о результатах наблюдения солнечного затмения, о новых назначениях на высокие посты в советской зоне оккупации. Потом бегло просмотрел четвертую страницу. Вашингтонский корреспондент агентства Рейтер сообщал, что президент Трумэн отплыл на корабле в Европу. На борту корабля происходят ежедневные консультации президента со своими многочисленными советниками — последние перед встречей «Большой тройки»...

«Где же она будет, эта встреча?» — спросил себя Воронов. Короткие сообщения о подготовке конференции «в верхах», подобной тем, что были в Тегеране и Ялте, уже не раз мелькали в газетах. Они — эти сообщения — исходили от иностранных агентств. Никаких подтверждений с советской стороны не публиковалось.

«Может быть, США и Англия запускают пробные шары? — подумал Воронов. — Хотят посмотреть, как будет реагировать на идею такой встречи Советский Союз? И где же она могла бы произойти? Снова в Ялте? Во всяком случае, наверняка в каком-нибудь тихом, спокойном месте, не тронутом войной...»

Он пробежал передовую «Правды». Ни слова ни о Трумэне, ни о готовящейся встрече. Передовая называлась «Труд и подвиг советского врача». На первой странице публиковалась также статья «Не медлить с силосованием трав».

Часы на Спасской башне пробили половину десятого. Это напомнило Воронову, что пора идти.

Улица Горького тоже была полна людей. Хотя день был не праздничный, из громкоговорителей, тех самых, что были в свое время установлены для объявления воздушной тревоги или долгожданного отбоя, звучала музыка. Воронов встретил двух улыбающихся девушек, но ему казалось, что улыбаются не только они, но вообще все встречные, что все еще охвачены радостью оттого, что настал мир, что июльский день так солнечен и прозрачен, что музыка Дунаевского возвращает их в молодость и в детство...

Возле Центрального телеграфа, нервно поглядывая на большие круглые часы и стараясь не замечать друг друга, топтались девушки, а юноши стыдливо прятали за спинами скромные букетики цветов. Все они делали вид, что оказались здесь совершенно случайно и вовсе никого не ждут.

Воронов и сам много-много раз так же нетерпеливо топтался на этом углу в ожидании Марии. Он всегда приходил задолго до назначенного времени, и Мария никогда не опаздывала...

Часы на телеграфе показывали без четверти десять, и Воронов ускорил шаг. Без пяти десять он рассчитывал быть в приемной начальника Совинформбюро.

Лозовский принял Воронова сразу. Когда тот вошел в его кабинет, он улыбнулся, вскинул свою небольшую квадратную бородку и сказал:

— Рад видеть вас, товарищ Воронов. Садитесь, пожалуйста. Ну-с, каковы ваши послевоенные планы?

Уже давно привыкший по первым же словам начальства догадываться, для чего он вызван — для нагоняя, для поощрения или для получения нового задания, — Воронов решил, что Лозовский дает ему, так сказать, прощальную аудиенцию. Это несколько опечалило его — все-таки последние полтора года он был тесно связан именно с Информбюро, — но в то же время и обрадовало. Прощание как бы еще раз подчеркивало, что с войной покончено и отныне он, Воронов, может строить свое будущее как ему хочется.

Он улыбнулся и весело сказал:

— Учиться собираюсь, Соломон Абрамович.

— Вы ведь кончали исторический? — спросил Лозовский.

— Да. Но я имею в виду аспирантуру. Правда, мой институт — ИФЛИ — больше не существует...

— Но есть МГУ; есть педагогический, — заметил Лозовский. — В какой области истории вы собираетесь специализироваться?

— Еще окончательно не решил. Хотелось бы заняться историей Соединенных Штатов.

— Вот как! — снова вскидывая свою бородку, произнес Лозовский. — Вы ведь языки знаете. Немецкий и...

— Английский.

— Да, да, и английский. А какой период американской истории вас интересует?

— Борьба за независимость.

— Что ж, это достойный период, — задумчиво произнес Лозовский и замолчал.

Воронов ждал, что сейчас Лозовский протянет ему руку, поблагодарит за добросовестную службу в Совинформбюро и пожелает успехов в мирном труде. Он уже готов был сказать в ответ, что, в свою очередь, благодарит за доверие, оказанное ему во время войны, и что, работая в Информбюро, он многому научился...

— Вам надо будет поехать в Берлин, — неожиданно, без всякого перехода, сказал Лозовский.

Воронову показалось, что он ослышался.

— Командировка продлится недели две, — добавил Лозовский.

— Соломон Абрамович, как же так? — жалобно воскликнул Воронов. — Ведь мне уже сообщили в ПУРе, что я... ну, как вам сказать, почти демобилизован! Я думаю, что приказ уже подписан или находится на подписи.

Лозовский посмотрел на него с укоризной и настойчиво сказал:

— Все же вам надо поехать. Надо!

На мгновение перед глазами Воронова воз-

никли груды развалин, изуродованные дома, немцы, пугливо озирающиеся, точно каждую минуту ожидающие удара. Короче говоря, все то, что он уже забыл, вычеркнул из своей памяти за полтора месяца, проведенные в солнечной, веселой, родной Москве.

— Прошу вас, освободите меня от этой поездки! — воскликнул он.

— Освободить? — с недоумением переспросил Лозовский.

— Соломон Абрамович! — уже с мольбой заговорил Воронов. — Вы же знаете, во время войны я не уклонялся ни от одного задания. Мотался с фронта на фронт, ночи не спал, чтобы вовремя отправить материал. Но теперь же мир! Война кончилась! Мне уже под тридцать, у меня свои планы, я уже говорил вам, что хочу дальше учиться. Мне нужно немедленно сесть за книги, каждый день ходить в библиотеку, чтобы подготовиться к экзаменам в аспирантуру. Ведь за годы войны я все перезабыл! Словом, хочу начать мирную жизнь, наверстать упущенное, как все обычные люди!

— Вы не обычный человек, товарищ Воронов, — сухо проговорил Лозовский, — вы коммунист.

— Ну при чем тут это? — с обидой возразил Воронов. — Ведь сейчас не только беспартийные, но и коммунисты возвращаются к мирным делам. Кроме того, я... я собираюсь жениться!

Эти последние слова вырвались у Воронова невольно, и он с испугом посмотрел на Лозовского, ожидая увидеть на его стариковском лице насмешливую улыбку.

— На всю жизнь? — спросил Лозовский.

Воронов посмотрел на него с недоумением. Они с Марией решили пожениться сразу после войны. «На время?...» Что за нелепая мысль!

Правда, мужем и женой они еще не стали. Кем же они были? Женихом и невестой? Но эти слова невольно казались старомодными и странно прозвучали бы в дни, когда на страну обрушилась такая страшная беда.

Теперь война кончилась. Мария должна была очень скоро вернуться из армии. Их дальнейшая уже совместная жизнь представлялась Воронову как нечто само собой разумеющееся.

— Когда женятся, — продолжал между тем Лозовский, — то непременно на всю жизнь. А жизнь вам предстоит длинная. Какую роль играют в ней две недели?

— Но я совсем не шучу, Соломон Абрамович! — обиженно сказал Воронов.

— Я — тоже, — заметил Лозовский, — поэтому перейдем к делу. Ваша задача состоит в том, чтобы поехать в Берлин и написать несколько корреспонденций.

— Но я уже написал несколько десятков корреспонденций! И о восстановлении Берлина, и о помощи наших войск немецкому населению! Снова писать об этом?

— Нет. На этот раз корреспонденции ваши должны быть посвящены сотрудничеству с союзниками. Послевоенному мирному сотрудничеству.

Лозовский взял со стола коричневую кожаную папку, раскрыл ее, заглянул в лежавший сверху лист, положил папку на место и снова перевел взгляд на Воронова.

— Мне не очень ясно задание, — хмуро сказал Воронов. Он уже понял, что дальнейшее сопротивление бессмысленно.

— Вы ведь побывали во многих европейских странах, — вновь заговорил Лозовский. — Писали о встрече союзных войск на Эльбе. У вас есть связи с журналистами союзников?

«Связи?..» — мысленно повторил Воронов. Он вспомнил Торгау, город на Эльбе, где 25 апреля произошла историческая встреча советских войск с американскими.

Вихри и смерчи войны разом стихли, штурмовые батальоны Первого Украинского фронта, оставившие позади Вислу, Одер, Шпрее, готовые с ходу форсировать и Эльбу, получили приказ остановиться...

Удивленный этим неожиданным приказом, Воронов узнал в штабе фронта, что Эльба является тем самым рубежом, где, согласно достигнутой договоренности, должна произойти долгожданная встреча советских и американских войск.

Он вспомнил, как готовились к ней советские офицеры и солдаты, как мылись, чистились, пришивали свежие подворотнички к гимнастеркам и кителям, как нетерпеливые американцы первыми пересекли водный рубеж на ветхом суденышке, без мотора и без парусов, орудуя досками вместо весел, как они высадились на берег и устремились навстречу русским...

А потом... Потом объятия, поцелуи, обмен звездочками, значками, восторженные крики американцев в честь Сталина: «Дядя Джо! Дядя Джо!»

В те и в последующие дни на Эльбе, а затем в Берлине у Воронова были многочисленные встречи с американскими солдатами и офицерами и, конечно же, с журналистами...

— Связи? — переспросил Воронов. — Что вы имеете в виду? Я встречался с американцами в Торгау. Ну и в Берлине, после подписания капитуляции. Впрочем, обо всем этом я писал в своих корреспонденциях.

— Будет правильно, если вы теперь возобновите свои знакомства.

— Но для чего?

Лозовский молча провел рукой по своей бородке.

— Как вы полагаете, Михаил...—он вопросительно посмотрел на Воронова, — Михаил Владимирович, верно?.. Так вот, как вы думаете, Михаил Владимирович, что сейчас является главным и определяющим в мире?

До войны Воронова звали «Михаил», «Миша», «Мишка». Во время войны — «товарищ старший политрук», потом «товарищ майор», иногда просто «Воронов». К обращению по имени-отчеству он не привык, и оно удивило его. Однако на вопрос Лозовского ответил, не раздумывая:

— Наша победа.

— Верно, — подтверждая свое одобрение кивком головы, сказал Лозовский. — Теперь очень важно, чтобы она послужила на благо тех, ради кого сражались и умирали наши люди. А сражались и умирали они не только за нашу страну. От нашей победы зависело будущее всех народов мира. Народов Европы в первую очередь. Но и Америки тоже. Вы с этим согласны?

Сказанное Лозовским было столь элементарно, что спорить не приходилось.

— Но в Европе сейчас находимся не только мы, — продолжал Лозовский. — Вы, товарищ Воронов,—коммунист,— повторил он,— а следовательно, интернационалист. Так ведь? — В прошлом Лозовский был одним из руководителей Профинтерна, и Воронов подумал, что начальник Совинформбюро решил коснуться издавна близкой ему, любимой темы.

— Конечно, так,—ответил Воронов.

— В таком случае позвольте задать вам еще один вопрос: какая задача возникает перед нами в связи с окончанием войны?

— Восстановление!

— Естественно, — кивнул Лозовский. — А над другой, тоже очень важной, задачей вы не задумывались? Я опять-таки имею в виду будущее Европы и, если хотите, всего мира.

Воронов пожал плечами.

— Конечно, Соломон Абрамович, это важный вопрос,— сказал он.— Но мне кажется, что для рядового советского человека важнее всего мысль о своей стране. После таких тяжелых испытаний...

— Согласен, — прервал Воронова Лозовский. — Но, как коммунист-интернационалист, вы не имеете права забывать, что война принесла огромные страдания не только нам, но и народам Европы. Они с нетерпением ждут ответа на вопросы: какова будет их собственная судьба? Они должны быть уверены, что фашизм в Германии уничтожен окончательно. Вырван с корнем! Ответить же на этот вопрос нельзя до тех пор, пока великие державы не договорятся между собой, не решат те сложные внешнеполитические проблемы, которые поставило перед ними окончание войны. От этой договоренности зависит не только будущее Европы, но и безопасность нашей страны.

— Но будущее Европы предопределено ялтинскими решениями, — возразил Воронов. — Там же все было согласовано.

— Тогда еще шла война,—быстро ответил Лозовский.—В большой политике нередко случается, что грозная опасность заставляет государственных деятелей принимать взаимовыгодные решения. А когда опасность удается предотвратить, возникает желание сделать выгоду односторонней.

— Вы имеете в виду союзников?

— Не могу сказать, что они ведут себя безупречно. Будущее во многом зависит от наших совместных действий.—Лозовский немного помолчал. — Вам известно, что в Берлине начал работать Контрольный совет? — спросил он после паузы.

«Ах вот оно что! — мысленно воскликнул привыкший думать по-журналистски Воронов.—По крайней мере теперь ясно, что от меня требуется. Так бы прямо и сказал!»

— Значит, я должен писать о работе Контрольного совета? — спросил он.

— На месте вам будет виднее. Кто возьмется предсказать, какие события могут произойти в Берлине,—неопределенно ответил Лозовский.—Но задача ваша одна: показать трудящимся зарубежных стран, что наша страна выполняла и будет выполнять те решения, которые были согласованы между союзниками.

— Ялтинские решения?

— И тегеранские и ялтинские. Я вижу, Михаил Владимирович, ваша мысль работает в правильном направлении, — улыбаясь, сказал Лозовский.

В памяти Воронова возникли строчки, только что прочитанные в «Правде».

— Соломон Абрамович, — обратился он к Лозовскому,—я прочитал в газете, что Трумэн отправился в Европу...

— Вас интересуют передвижения Трумэна?—с усмешкой спросил Лозовский.

— Меньше всего,— пожал плечами Воронов.—Но в информации сказано, что предстоит встреча «Большой тройки». Это верно?

— Кем передана информация?

— Не помню. Кажется, агентством Рейтер.

— Туда и обращайтесь,—снова с усмешкой, но на этот раз снисходительной, ответил Лозовский.—Я вижу,—добавил он,—вы интересуетесь «Большой тройкой»?..

— Не больше, чем любой советский журналист, — сухо ответил Воронов. — Но если такая встреча состоится, к ней будет приковано внимание всего мира.

— Что из этого следует?

— Только то, что мои корреспонденции о жизни Берлина будут никому не нужны. И я просто не понимаю...

— Вы понимаете ровно столько, сколько должны понимать, — снова переходя на официальный тон, прервал Воронова Лозовский. — Итак, вы отправляетесь в Берлин завтра утром, в семь тридцать. Поезд уходит с Белорусского вокзала. Называется «литер А». Военный комендант сообщит вам, с какого пути этот поезд отправляется. Поедете в военной форме, но обязательно захватите с собой штатский костюм. Надеюсь, он у вас сохранился.

— Есть, конечно. Еще довоенный.

— Отлично. На месте зайдете в политуправление. Вы знаете, где оно находится?

Старый большевик, но человек сугубо гражданский, Лозовский так и не привык к военной терминологии.

Воронов хотел сказать, что в политуправление не «заходят», а «прибывают» или «являются», но вместо этого ответил:

— В Карлсхорсте. Если, конечно, не переехало.

— Отлично, — повторил Лозовский. — В Берлине во время вашего пребывания будет находиться группа киноработников. Свяжитесь с ними. Это вам поможет, — сказал Лозовский. — Кстати, ваш фотоаппарат в порядке?

— Фотоаппарат? — удивленно переспросил Воронов. Вернувшись в Москву, он забросил свой «ФЭД» в дальний угол стенного шкафа. — В общем-то в порядке. Вот только с пленкой...

— Пленку получите заграничную, — прервал его Лозовский. — «Кодак». Она гораздо лучше, чем наша. К сожалению. А теперь...

Он снова взял со стола коричневую папку, достал из нее продолговатый узкий листок бумаги и протянул его Воронову:

— Ваше командировочное предписание.

Воронов взял листок и рассеянно посмотрел на него. Сколько таких командировочных предписаний получал он во время войны! В особенности во второй ее половине. «Звание, имя, отчество, фамилия...» «Направляется в...» «Цель командировки...» «Срок действия...»

Однако, прочитав предписание внимательнее, Воронов удивился.

— Почему тут написано «в качестве фотокорреспондента»? — спросил он Лозовского. — До сих пор я был просто корреспондентом. Кроме того, «место назначения Берлин — Потсдам». При чем тут Потсдам? Наконец, если я еду в форме, почему не указано мое воинское звание?

— Если вам надо будет его подтвердить, у вас есть офицерское удостоверение.

— А почему...

— Послушайте, товарищ Воронов, вы мне напоминаете одного английского профсоюзного деятеля, из социал-демократов. Я подсчитал, что на конгрессе Профинтерна он задал докладчику одиннадцать вопросов.

— Спасибо за сравнение, Соломон Абрамович, но, согласитесь, все это довольно странно...

— Когда читаешь некоторые литературные произведения, — прищурившись, произнес Лозовский, — вначале кажется, что одна глава не имеет никакого отношения к другой. А к концу все они связываются в один тугой узел. Читали такие?

— Разрешите идти? — вместо ответа хмуро спросил Воронов. Этой военной формулой он как бы подчеркивал, что не забыл армейской дисциплины и хотя и неохотно, но подчиняется приказу.

— Всего наилучшего, — ответил Лозовский. — И неожиданно добавил: — Если бы вы знали, как я вам завидую... Нет, нет, только без новых вопросов! Желаю успеха!

Теперь, сидя в кабинете Карпова и осмысливая слова, только что сказанные генералом, Воронов понял, что тогда, в Москве, явно недооценил свой разговор с Лозовским. Теперь ему стало ясно, что, несмотря на условия строгой секретности, Лозовский сделал все возможное, чтобы он, Воронов, понял, зачем его посылают в Берлин.

Тогда он этого не понял. Он помнил, во что превращена Германия, видел руины Берлина, знал, что на территории этой поверженной страны все еще действуют всевозможные «вервольфы», и просто не мог себе представить, что главы великих держав могут встретиться именно здесь.

... — Вот это да! — невольно воскликнул Воронов.

— Что с тобой? — Карпов смотрел на него с удивлением.

— А то, что я такого дурака чуть не свалял! Я ведь в Берлин-то не хотел ехать. Можете себе представить, Василий Степанович, не хотел! Всячески уламывал Лозовского, чтобы не посылал. Такое событие мог пропустить! Потом всю жизнь локти бы себе кусал!

— Тебе и в самом деле не сказали, зачем посылают? — недоверчиво спросил Карпов.

— Теперь я понимаю, почему Лозовский сказал эту фразу! — не отвечая на его вопрос, пробормотал Воронов. — Он сказал... Как это он сказал? — Воронов наморщил лоб. — Я эти слова тогда мимо ушей пропустил. Словом, что в Берлине могут произойти события... Тогда меня сбило с толку упоминание о Контрольном совете. Значит, я смогу присутствовать на конференции? — спросил Воронов, глядя на генерала широко раскрытыми глазами.

— Ну, это ты хватил! — рассмеялся Карпов. — На конференции будут только члены делегаций, их советники и переводчики.

— А пресса? — упавшим голосом спросил Воронов.

— Насколько я знаю, время от времени будут допускаться кино- и фотокорреспонденты.

Наступило молчание.

— Тогда о чем же я буду писать? — нарушил его Воронов. — Мне ведь с людьми встречаться надо. С американцами, с англичанами...

— Ну и встречайся, раз у тебя такое задание.

— Где же я буду их ловить? В Берлине или тут, в Бабельсберге? К кому из наших товарищей обращаться, если надо будет посоветоваться? Может быть, к вам, товарищ генерал? Ведь я — простите меня — до сих пор не знаю, какой пост вы теперь занимаете!

— Служу в штабе маршала Жукова. Точнее, под начальством генерала Соколовского.

Воронову было хорошо известно, что Соколовский — заместитель Жукова и начальник его штаба.

— Значит... значит... — неуверенно, точно извиняясь, что отнимает время у генерала, занимающего такой высокий пост, пробормотал Воронов, — вы... заместитель Соколовского?

— Больно ты скор на назначения, — рассмеялся Карпов. — Впрочем, подчинен я действительно Соколовскому. И во время конференции буду находиться здесь. Вроде офицера связи, если тебе так понятнее. Теперь по поводу других твоих вопросов. Ты помнишь, как поступали в войсках во время операции? Командир имел свой КП и НП. Так вот, пусть твой наблюдательный пункт будет здесь, в Бабельсберге, как тебе чекисты сказали. Что же касается КП, то советую оборудовать его поближе к Карлсхорсту. Комнату тебе подберем. Наши офицеры на две недели потеснятся.

— Но мне же нужно общаться с союзными журналистами. Да и с немцами тоже!

— Тогда оборудуй НП в Потсдаме. Берлин рядом и Бабельсберг под рукой. Найдут тебе комнатку в немецкой семье, из порядочных, конечно. Вот тебе и НП или запасной КП, называй как хочешь. Согласуем с политотделом СВАГА и живи.

— О чем же я все-таки буду писать? — в раздумье проговорил Воронов. — О сотрудничестве между союзниками?

— Это уж ты соображай сам. Я в твоих журналистских делах не советчик, у тебя свои командиры есть. Конечно, и о сотрудничестве неплохо...

Последние слова Карпов проговорил не то чтобы с сомнением, но как бы размышляя вслух. Потом медленно произнес:

— О необходимости сотрудничества — так, пожалуй, будет вернее.

Воронов пристально посмотрел на Карпова. От него не укрылась интонация, с которой генерал произнес эту фразу.

— Какие-нибудь нелады? — глядя в упор на собеседника, спросил Воронов.

— Сам знаешь, как отношения складывались... — уклончиво ответил Карпов.

— Второй фронт? — поспешно произнес Воронов. — Во время встречи в Торгау мне все время казалось, что они помнят, как заставляли нас драться одни на один. Во всяком случае, многие из них чувствовали свою вину перед нами.

— Что ж, — задумчиво произнес Карпов, — чувствовать вину — это, конечно, неплохо. Грудь под пули подставлять — куда опаснее. Мне рассказывали, что на воротах гитлеровских концлагерей висел лозунг: «Каждому — свое». Одному, значит, миром повелевать, а другому в крематории гореть. Нам — кровью расплачиваться, а твоим друзьям в Торгау — чувствовать свою вину. — В тоне Карпова послышалась горечь.

— Конечно, вы правы, Василий Степанович, — сказал Воронов. — Но теперь ведь мир. Хочется верить, что в мирных условиях легче согласовывать свои действия, чем в переменчивой военной обстановке.

— Тогда почему они сразу не ушли в свои зоны? — с неожиданной резкостью, жестко спросил Карпов.

Этот вопрос застал Воронова врасплох.

— В какие зоны? — неуверенно спросил он. — Я совсем недавно читал в «Правде», что Союзное Командование начало отвод английских и американских войск из советской зоны оккупации.

— Недавно, говоришь? — по-прежнему жестко переспросил Карпов. — А полагалось им это сделать давно! Сразу после победы. Как было ранее договорено и подписано. А они топтались в нашей зоне почти два месяца. Американцы — в Тюрингии, англичане — в Виттенберге.

— Но все же ушли?

— После того как Жуков заявил, что не пропустит в Берлин ни одного из них до тех пор, пока соглашение о зонах не будет выполнено. Думаешь, маршал сам на такую меру решился? Москва ему приказала. Словом, этот вопрос урегулировали. А как с другими? Что будет с Германией? Или, скажем, с Польшей...

Слушая Карпова, Воронов подумал о том, что в специфических международных вопросах генерал разбирается меньше, чем в военных. Во всем, что касалось минувшей войны, его бывший командир по-прежнему оставался для него непререкаемым авторитетом. Но сейчас Воронов почувствовал некоторое превосходство над своим собеседником.

— Вы ялтинские решения читали? — спросил он Карпова.

— Читал, — с едва уловимой иронией ответил генерал.

— Но ведь там все было решено! Германия будет разделена на зоны. Уже разделена, так? В Крыму было достигнуто единодушное согласие и насчет искоренения фашизма. Что же касается Польши, то она получает за счет Германии новые территории на севере и западе. Это тоже было согласовано. Кроме того, в Декларации об освобожденной Европе...

— В Декларации, говоришь? — прервал Воронова Карпов и с усмешкой добавил: — Деклараций как будто и впрямь хватало. Хороших и верных. Насчет зон ведь тоже договоренность была. А на практике союзничков чуть ли не силком выводили. Слушай, майор, — уже без тени иронии, серьезно проговорил Карпов, — ты что же полагаешь, главы государств приедут сюда только для того, чтобы друг другу ручки пожать?

— Не настолько я наивен... — с оттенком обиды начал было Воронов, но Карпов резко прервал его:

— А раз не настолько, то думай! Соображай. Крути шариками. — Он приложил к виску указательный палец правой руки. — Но хочу предупредить: не думай, что только на войне воронки, ухабы да колдобины, а мир — это накатанная дорога. Хотелось бы, конечно, да не выходит. Ты на Ялту ссылаешься, — разоружить, мол, Германию согласились, все ее войска распустить. А я тебя спрошу: если такое решение было, почему англичане немецкие части не распускали, ну, пленных? Оружие их в порядке содержали. Раз-два — и снова вооружить можно. Да разве только это... — Карпов махнул рукой.

— Вы что-то скрываете от меня, Василий Степанович? — с упреком сказал Воронов. Превосходство над собеседником, которое он только что испытывал, незаметно растаяло.

— Ничего я не скрываю. По старой фронтовой дружбе и так больше положенного наговорил.

Карпов помолчал и сказал уже прежним своим добродушным тоном:

— Ладно, забудем пока об этом. А насчет того, что писать — соображай сам. Ты ведь теперь, как я вижу, дипломатом заделался. Международником!.

...Нет, Михаил Воронов не был профессиональным журналистом-международником. Им сделала его военная судьба.

В Совинформбюро от Воронова не требовали ни международных обзоров, ни аналитических статей. Тем и другим занимались специалисты в области международных отношений и собственные корреспонденты за рубежом.

Но сложившаяся в годы войны антигитлеровская коалиция вызвала к жизни новый, своеобразный тип советского военного журналиста. Он должен был рассказывать народам союзных стран о событиях на советско-германском фронте.

То, о чем писали журналисты этого типа, разумеется, не предназначалось для дипломатов, конгрессменов, министров. Их читателями были рядовые американцы, французы, англичане, канадцы, словом, подписчики и покупатели популярных газет, в которых при посредстве Советского Информбюро печатались репортажи и очерки о великой битве на Востоке.

Теперь Воронов хорошо понимал, что никогда не попал бы в Потсдам, если бы не счастливое стечение обстоятельств. Прежде всего важно было то, что он уже имел опыт общения с американскими и английскими журналистами. Побывал в Европе, судьба которой должна была решаться в Потсдаме. Даже такая второстепенная деталь, как пристрастие к фотографии, сыграла свою роль. Во всем этом Воронов теперь отдавал себе полный отчет.

Он не сомневался, что из Москвы в Берлин приедет сейчас немало специалистов-международников. Но воочию увидеть великое событие, ради которого они сюда приедут, из всей пишущей журналистской братии будет суждено только ему. Пусть урывками. Пусть частично. Но все же увидеть! Он сможет воспользоваться столь важным в журналистском деле эффектом присутствия. Командировка, которой он в начале своего разговора с Лозовским не придавал серьезного значения, от которой даже отказывался, сейчас приобретала особое значение. Воронов почти физически ощущал груз

огромной ответственности, ложившейся на его плечи...

— Ну, до дипломата мне пока еще очень далеко... — тихо сказал Воронов.

— Тогда ты, так сказать, отдельная воинская часть, подчиненная главному командованию, — пошутил Карпов. — Скажи-ка мне, дружище, о чем думает военный корреспондент, отправляясь на задание? — неожиданно спросил он.

— То есть?..

— Он думает о том, чтобы его хорошо накормили, сто граммов выдали, в приличную землянку поместили и транспортом обеспечили. Так?

Теперь наступила очередь рассмеяться Воронову.

Когда-то он действительно говорил все это командиру своей дивизии.

— Так вот, — продолжал Карпов, — накормят тебя без моей помощи. Приличной землянкой тоже обеспечат. А как у тебя с транспортом?

— Этот же вопрос мне задал подполковник, от которого я пришел к вам. Откуда у меня транспорт?

— Так и быть, помогу тебе по старой дружбе. Как-никак не зря мы с тобой вместе служили. Получишь «бенца» или лучше «эмку». Все-таки своя, родная.

— Спасибо, товарищ генерал... Спасибо, Василий Степанович, — горячо поблагодарил Воронов. Он благодарил генерала не только за обещание дать машину. Сказанные им слова как бы вырвались из глубины того, уже ушедшего в прошлое времени, связавшего их навечно, — из тьмы подмосковных ночей, из отгремевших боев...

Наступила пауза.

— Значит, все приедут? — тихо спросил Воронов. — И Черчилль, и Трумэн, и... товарищ Сталин?!

— Поживем — увидим, Михайло, — ответил Карпов, крепко пожимая ему руку на прощание.

Глава третья

ЧЕРЧИЛЛЬ

Внезапно он почувствовал усталость — ощущение, которое еще месяц назад было ему чуждо. Его личный врач Чарльз Вильсон — в награду за долгие годы службы у своего знаменитого пациента он получил титул: стал лордом Мораном — требовал, чтобы премьер-министр, прежде чем отправиться в Потсдам, непременно отдохнул.

Черчилль и сам знал, что это необходимо. Местом отдыха избрали замок Бордаберри, принадлежавший давнему другу Черчилля генералу Брутинеллю. Замок был расположен на юге Франции, почти на самой границе с Испанией, — Черчилль издавна любил эти места.

Вместе с женой Клементиной, дочерью Мэри, лордом Мораном, телохранителем Томпсоном и лакеем Сойерсом, захватив с собой холсты, мольберт, кисти и краски, Черчилль поехал на юг.

Он любил живопись и, несомненно, обладал даром живописца, но не любил рисовать на родине. Английские пейзажи казались ему унылыми, его глаза жаждали буйных красок — голубых, ярко-зеленых, лазорево-синих...

Черчилль захватил с собой также и несколько стоп писчей бумаги. Но ему не писалось. Утром, собрав рисовальные принадлежности, он выходил на натуру и возвращался за час до обеда, чтобы раздеться, — обязательно раздеться, как если бы он располагался на ночь! — и хотя бы немного поспать — привычка, которой Черчилль не изменял даже в то время, когда со дня на день можно было ожидать вторжения немцев через Ла-Манш.

Накануне вылета в Берлин Черчилль, как обычно, отправился на натуру. Он шел в «сирене» — излюбленном комбинезоне, который он сам придумал и носил все времена года, в светлой соломенной шляпе, зажав в углу рта незажженную сигару, держа в руках мольберт и ящик с красками. Но нести эти вещи было ему сегодня непривычно трудно.

Расставив легкий, почти невесомый раскладной стул, Черчилль тяжело опустился на парусиновое сиденье, закурил сигару и огляделся. Его окружало то, что он так любил в минуты отдыха, — синее безоблачное небо, ярко-зеленая трава, покрытые утренней прозрачной дымкой горы.

Но сегодня все это нисколько не радовало его. «Что происходит? Разве неудачи когда-нибудь лишали меня сил?» — с внезапно вспыхнувшей тревогой думал он.

Нет, прежде они лишь приводили эти силы в действие.

Конечно, неудачи случались и раньше. Некогда, еще в юности, он потерял право на титул. По сложным правилам наследования законным герцогом Мальборо стал двоюродный племянник юного Черчилля. Мечтавший о военной карьере Уинстон дважды проваливался на экзаменах в военное училище Сандхерст. Позже, когда он уже избрал политическое поприще, тогдашний премьер Бальфур не включил его в свое правительство. Это было публичное оскорбление. Черчилль отомстил тем, что пере-

шел из консервативной партии в либеральную, за что получил прозвище «Бленхемская крыса» — Бленхемским назывался замок, в котором он родился. После революции в России он вознамерился задушить русский большевизм в его колыбели, но тщетно.

Теперь ему предстояло отправиться в Берлин, где празднуют победу те же самые русские большевики...

Кто же такой был человек, которого звали Уинстон Леонард Спенсер Черчилль? Журналист, политический деятель, дипломат, военный руководитель, он десятилетиями не сходил с государственной арены, играя на ней то главенствующую, то второстепенную роль, но неизменно стремясь быть первым.

Природа наградила Уинстона Черчилля сильной волей, личной смелостью, даром литератора и живописца, талантом политического деятеля. При всем том он стал одной из самых трагических и противоречивых личностей двадцатого века. Он был трагической фигурой не потому, что испытал на протяжении своей долгой жизни триумфальные взлеты и головокружительные падения. Наделив Черчилля многими талантами, природа совершила по отношению к нему одну непоправимую ошибку — слишком поздно произвела этого человека на свет божий. Аристократ до мозга костей — и по рождению, и по воспитанию, и по строю мыслей, — Черчилль презирал человеческие массы. В то время как умами и сердцами миллионов людей уже овладели идеи Карла Маркса и Владимира Ленина, он все еще оставался в плену реакционно-романтических концепций Томаса Карлейля. Народ никогда не был для Черчилля действующей силой истории, но всего лишь огромной безликой массой, покорно повинующейся сверхчеловеческой воле своих героев-вождей.

Во многом он преуспел, из многих схваток с врагами вышел победителем. Но с самым заклятым и неумолимым своим врагом ему так и не удалось справиться. Этим врагом была История.

Сознавал ли это сам Черчилль? Знал ли он в лицо своего самого жестокого и неумолимого противника?

С юных лет он бросался в самые невероятные авантюры. Участвовал в англо-бурской войне 1899 — 1902 годов, попал в плен, бежал, едва унеся голову, за которую уже было назначено вознаграждение. Писал книги, менял союзников, добивался высоких правительственных постов, терпел поражения, уходил в тень, чтобы затем вновь появиться на политической арене...

Вот фотограф запечатлел гусара на белом коне и в пробковом тропическом шлеме. Снимок сделан на юге Индии в конце прошлого века. Черчиллю всего двадцать два года, он смотрит на нас строго и надменно, словно уже и тогда чувствовал себя великим полководцем, покорителем стран и народов...

Вот снимок, сделанный три года спустя, — Черчилль в роли корреспондента газеты «Морнинг пост» на англо-бурской войне. На нем полукитель-полуфренч с множеством карманов на груди и на боках. Над левым верхним маленьким карманом — орденская ленточка. На голове — широкополая, с загнутыми полями шляпа, над тонкой верхней губой — тщательно подстриженные усики.

На другом снимке, относящемся к тому же году, Черчилль уже не в военной форме, а в порядком поношенном партикулярном пальто. Широкополая шляпа помята и растерянно прижата к груди, на лице просящая улыбка. Таким Уинстон Черчилль вернулся на родину после бегства из бурского плена.

Но всего годом позже Черчилль уже стоит на трибуне, возвышаясь над внимающей ему толпой. За его спиной — британский флаг. В Лондоне идут очередные выборы в парламент. Черчилль стоит в распахнутом пиджаке, горделиво подбоченившись.

Наконец, Черчилль — премьер-министр Великобритании. На крупной голове тускло поблескивает цилиндр, по черному жилету вьется массивная золотая цепь. В углу рта — длинная толстая сигара, знаменитая сигара Уинстона Черчилля. Он не выпускает ее изо рта и фотографируясь с Рузвельтом, поднимаясь в военно-морской форме на палубу крейсера «Аякс», приветствуя лондонцев...

Черчилль с неизменной сигарой. Черчилль со стеком в руке. Черчилль в цилиндре. Черчилль в котелке. Черчилль в «сирене». Черчилль в визитке. Черчилль в военной форме. Черчилль... Черчилль... Черчилль...

Когда его постигали неудачи, он приписывал их кому угодно — политическим партиям, их лидерам, премьер-министрам, изменившим друзьям, невежеству или неблагодарности избирателей. В водовороте событий он не мог разглядеть только своего главного противника — Историю. Ему не дано было понять, что именно История — ее объективные законы классовой борьбы, великое предназначение пролетариата стать могильщиком капитализма — обусловила крах одной из самых крупных авантюр, которые он когда-либо предпринимал, — интервенции против только что родившейся Республики Советов. Именно История долгие годы не допускала его к наивысшим постам империи — он с

легкостью занял бы их, родившись на несколько десятилетий раньше. Подобно рыбе, которая, повинуясь зову природы, плывет на нерест против течения, обдирая себе бока, преодолевая острые пороги, глубины и мелководья, Черчилль с отчаянным упорством плыл против хода Истории и вопреки ее законам.

Только один раз в жизни этого человека случилось, казалось бы, невероятное. Хотя он и опоздал родиться, хотя и пытался как бы остановить время или заставить его не отразиться на могуществе Англии, хотя и не желал считаться с законами Истории, однажды она сама вознесла его на один из самых высоких своих гребней. Преследуя собственные цели, он сделал шаг, который мог стать шагом в бессмертие. Он принял вызов гитлеровской Германии.

Что подвигнуло Черчилля на этот шаг? Во всяком случае, не только ненависть к фашистскому мракобесию. Сердце Черчилля было полностью и бесповоротно отдано британской короне. Именно ради нее он принял вызов Гитлера.

История уже предопределила крушение империи. Изучивший до последнего винтика британскую политическую машину, Черчилль не замечал, однако, что она сработалась, износилась, обречена на слом. Никто не знал и срока, когда должно произойти ее крушение.

Разгромив Польшу, а затем выйдя на берега Ла-Манша, Гитлер поставил под угрозу не отдаленное будущее Британии, а ее завтрашний день. Повинуясь логике своей жизни, Черчилль ответил на вызов Гитлера, тем самым предрешив союз с Советской Россией, когда фашистский фюрер устремился на восток. Первый раз в жизни Черчилль начал сражение за правое дело, первый раз пошел в основном русле Истории, благодаря чему оказался на пороге подлинного величия.

Однако перешагнуть этот порог ему не было суждено.

Когда Черчилль родился, добрые феи-дарительницы многих талантов осчастливили его своими прикосновениями. Но последней, как в «Спящей красавице», оказалась фея зла — старая ведьма империализма. Ее невидимая печать на лбу новорожденного определила его дальнейшую жизнь.

Все дарования Черчилля засияли новым ярким блеском, когда История из невидимого, но непреодолимого врага, постоянно возникавшего на пути этого человека, стала его союзником. Черчилль проявил себя как мужественный воин и гражданский лидер. Его упорство слилось с упорством народа, который он теперь возглавлял. Его речи перестали сверкать бенгальскими огнями книжного красноречия и приобрели неподдельный пафос, зажигающий человеческие души.

Но печать старой ведьмы и теперь не утратила своей магической силы. Вскоре Черчиллю пришлось убедиться, что Советский Союз не только не рухнул под натиском танков Гудериана, под разрывами бомб Геринга, но опрокинул миллионные армии фон Бока, фон Лееба и Рунштедта, а потом сам перешел в наступление. С тех пор образ Советского Союза, от стойкости которого в конечном итоге зависела и судьба Англии, стал вытесняться в сознании Черчилля прежним, ненавистным образом большевистской России.

Он стал делать все от него зависящее, чтобы оттянуть открытие второго фронта. Теперь, когда угроза, непосредственно нависшая над Англией, исчезла и война гремела на далеких русских просторах, не было смысла помогать Советской стране войсками. Пусть Россия и Германия окончательно обескровят друг друга...

Но как в любом из тех случаев, когда Черчилль пытался противопоставить логике Истории свою собственную логику, он допустил крупный просчет. Оказалось, что у Советского Союза достаточно сил, чтобы разгромить Германию вообще без помощи союзников. Кошмарная мысль о том, что безраздельными победителями в Европе могут стать советские войска, неотступно преследовала Черчилля. Второй фронт надо было открывать немедленно...

Да, Черчиллю удалось оттянуть высадку союзных войск в Нормандии. Но преуспев в многомесячной тактике оттяжек и проволочек, Черчилль дождался того, что армия Советского Союза уже приступила к освобождению Европы. Он сохранял душевное равновесие, когда английским островам угрожала опасность высадки гитлеровских войск. Он клялся в любви и преданности Красной Армии и, очевидно, делал это порой искренне, поскольку было время, когда от стойкости русских зависело само существование Англии. Он призывал к бескомпромиссной, беспощадной борьбе с немецким фашизмом «на земле, на море и в воздухе». Однако все это было в прошлом. Теперь Черчилль считал, что не Гитлер и его войска, а Сталин и Советская Армия являются для него главным врагом. Выход из создавшегося положения Черчилль видел только один: фактически прекратить сражение на западе с тем, чтобы дать возможность Гитлеру с новой яростью и полным спокойствием за свой тыл продолжать битву на востоке.

Сын своего класса, представитель высших имперских кругов, Черчилль был по-прежнему

убежден, что Британия должна править повсюду, где не правит Америка. При одной мысли, что русские войдут в Европу, он терял всякую способность рассуждать логически, всякое представление об окружавшей его реальной обстановке.

Все развитие отношений Великобритании и Соединенных Штатов Америки с Советским Союзом, начиная с конференции в Тегеране, теперь представлялось Черчиллю цепью роковых ошибок. Документы, подписанные им, Рузвельтом и Сталиным, воспринятые всем антифашистским миром как символ нерушимого единства союзников, ныне казались Черчиллю свидетельствами англо-американской капитуляции перед большевиками.

Он во многом винил Рузвельта. Американский президент и в самом деле порой мягко осаживал его, Черчилля, когда между ним и Сталиным вспыхивали споры. Но главного противника, конечно, видел в Сталине, который вежливо, но твердо и непреклонно отводил все попытки устранить Советский Союз от участия в послевоенном устройстве Европы.

Однако Рузвельта Черчилль обвинял даже больше, чем Сталина. Сталин исходил из своих большевистских интересов. Это было естественно. Но Рузвельт! Его, казалось, не страшила большевизация Европы, которая представлялась Черчиллю неизбежной, если бы советские войска хлынули туда до того, как союзники достигнут Берлина.

Народам Европы, их желаниям, их воле Черчилль не придавал никакого значения. Их будущее должна была определить Англия вместе с Соединенными Штатами. В противном случае хозяевами Европы, по мнению Черчилля, неизбежно становились большевики. Но понимают ли это в Америке? Такой вопрос он задавал себе снова и снова. Впрочем, то, что американцы недооценивают европейскую проблему, казалось Черчиллю вполне объяснимым: ведь Соединенные Штаты отделены от Европы океаном. Кроме того, они заняты войной с Японией, той самой войной, в которой Сталин дал слово принять участие спустя два-три месяца после капитуляции Гитлера. Но для Черчилля Европа не могла быть только географическим понятием. Вернет ли себе Англия после войны ту роль, которую она раньше играла на европейском континенте? Ведь после победы над Германией Франции потребуются годы, чтобы встать на ноги. В этих новых условиях роль Англии в Европе, по убеждению Черчилля, должна была стать не просто важной, но решающей. Вот в чем заключалась для него суть дела.

Конечно, Черчилль сознавал, что если Германия будет разгромлена именно Советским Союзом, Англия вряд ли окажется в состоянии кроить европейскую карту по своему усмотрению. По необходимости Черчилль готов был делить руководство Европой с американцами. Но и в этом случае следовало заставить Рузвельта до конца осознать, каким ударом для англосаксонского мира оказалось бы продвижение советских войск в глубь Европы.

Черчилль верил только в силу оружия. Почему вступление фашистских войск в Европу было встречено ее народами с ненавистью и положило начало мощному движению Сопротивления, а приход Советской Армии восторженно приветствовался ими? Над этим вопросом Черчилль никогда не задумывался. Европейские народы были для него лишь шахматными фигурами, послушными воле сражающихся игроков.

Из всех европейских проблем, связанных с победоносным наступлением Советской Армии, главной для Черчилля была проблема Польши.

В Лондоне обосновалось эмигрантское польское правительство, а в Люблине, находившемся под контролем советских войск, действовал Польский комитет национального освобождения. Лондонские эмигранты представляли старую, панскую Польшу — главное звено в цепи так называемого «санитарного кордона», которым в предвоенные годы был окружен Советский Союз. Люблинский комитет символизировал новую, еще не родившуюся, но в муках рождающуюся Польшу. Она была связана с Советской страной совместной борьбой против общего врага и видела в Советском Союзе будущего гаранта своей независимости, могучего союзника в случае новой германской агрессии.

Черчилль умел не только размышлять, но и действовать. В то время, как советские войска под командованием Рокоссовского и части Первой армии Войска Польского, сражавшейся бок о бок с советскими солдатами, прорвались в район Варшавы, от которой их теперь отделяла только Висла, в оккупированной гитлеровцами польской столице вспыхнуло восстание.

Это восстание, начавшееся в сентябре 1944 года, вошло в историю освобождения Европы как одна из самых трагических ее страниц.

Ни Рокоссовский, ни командование Первой армии Войска Польского не были предупреждены об этом восстании. Более того, они услышали о нем от нескольких перебравшихся через Вислу варшавян лишь после того, как восстание уже началось.

Знало ли о нем лондонское эмигрантское правительство? Несомненно! Возглавивший вос-

стание генерал Бур-Комаровский был представителем Лондона в варшавском подполье.

Знал ли о предстоящем восстании Черчилль, без поддержки которого польские эмигранты в Лондоне были бессильны? Ответ напрашивается сам собой. Предупредил ли Черчилль Сталина? Нет, постоянно обмениваясь с ним строго конфиденциальными посланиями, английский премьер-министр не проронил о готовящейся операции ни слова. Известны ли были ее истинные цели тысячам варшавян, отчаявшихся, измученных голодом, кровавым фашистским террором, плохо вооруженных, решившихся противопоставить танкам и орудиям оккупантов лишь ненависть к ним, любовь к своей родной Польше и волю к свободе?.. Может быть, им казалось, что начинается совместная с советскими и польскими войсками операция по изгнанию гитлеровцев из Варшавы? Ведь уже слышался гул советских орудий, доносившийся из-за Вислы. Могли ли они предполагать, что в Лондоне было решено использовать их любовь, ненависть, патриотизм для безнадежной попытки ценой жизни тысяч поляков расчистить путь для сформированного с помощью Черчилля антисоветского польского «правительства» и на английских самолетах перебросить его из Лондона в Варшаву до вступления туда войск Советского Союза и народной Польши?

Ничего этого варшавяне, конечно, не знали. Их лозунгом было: свобода или смерть.

Гитлеровцы жестоко подавили восстание. Они бросили против сражающихся варшавян танки. Немецкая артиллерия била прямой наводкой по домам, где укрывались восставшие. В течение нескольких дней Варшава превратилась в гигантскую груду развалин.

Только тогда Черчилль послал Сталину телеграмму с просьбой предоставить аэродромы для английских самолетов, которые должны были доставлять оружие восставшим. Он уговорил Рузвельта также подписать эту телеграмму.

Ответ только что узнавшего о восстании Сталина дышал сдержанным гневом. Рано или поздно, писал Сталин, правда о группе преступников, предпринявших варшавскую авантюру, чтобы захватить власть, станет известна всему миру. Преступники воспользовались доверчивостью жителей Варшавы, бросив почти невооруженных людей против германских орудий, танков и самолетов. Возникло положение, при котором каждый день идет на пользу не восставшим, а гитлеровцам, зверски расстреливающим варшавян...

...Пройдут годы, и Черчилль в своих мемуарах будет лить крокодиловы слезы на могилы жертв варшавского восстания. Он будет метать громы и молнии против Сталина, якобы препятствовавшего английской авиации доставлять вооружение восставшим. Но он ни словом не упомянет о том, что именно Верховный Главнокомандующий Советскими Вооруженными Силами, как только ему стало известно о варшавском восстании, приказал Рокоссовскому немедленно перебросить в польскую столицу советских офицеров-парашютистов. Преодолев море огня, они должны были пробиться и пробились к штабу Бур-Комаровского для связи и согласования дальнейших совместных действий, хотя войска Рокоссовского вышли на берег Вислы после изнурительных боев и нуждались в отдыхе. Но советские офицеры напрасно рисковали своими жизнями: Бур-Комаровский просто отказался их принять.

В своих мемуарах британский премьер-министр ни слова не скажет и об этом. Даже тогда, когда все попытки восстановить антисоветскую Польшу окончатся полным провалом, он будет всеми средствами утверждать легенду о «русском предательстве».

Но в сорок четвертом году до этого окончательного провала было еще далеко. Хотя уже и тогда Черчилль со свойственным ему упорством пытался плыть против неумолимого течения Истории.

Советские войска вели наступление от Вислы к Одеру. В Крыму в начале сорок пятого состоялась конференция «Большой тройки», вошедшая в историю под именем «Ялтинской». Именно там, в Ялте, вопреки всем усилиям Черчилля были приняты решения, явившиеся как бы черновым наброском послевоенного устройства Европы. Именно тогда, в начале февраля 1945 года, за три месяца до того, как Кейтель, бессильно отложив в сторону фельдмаршальский жезл, сменил его на перо, которым подписал безоговорочную капитуляцию Германии, руководители союзных держав условились об основных принципах оккупации Германии и контроля над ней, о репарациях, об освобожденной Европе и учреждении международной ассамблеи для поддержания мира и безопасности, об единстве в организации мира, как и в ведении войны.

Именно там, в Крыму, было предрешено установление Англией и Соединенными Штатами дипломатических отношений с уже признанным Советским Союзом новым Польским Временным Правительством Национального единства и предопределено существенное увеличение размеров Польши за счет гитлеровских территорий на севере и на западе.

Черчилль потерпел очередное поражение. Но оружия он не сложил. Теперь он жил на-

деждой на сепаратный мир с Германией, на успех тайных переговоров, которые американская разведка вела с представителями вермахта, — сначала очень осторожно, нащупывая почву, стремясь не давать никаких авансов, а затем столь регулярно и деловито, что все это уже не могло оставаться секретом для Сталина.

Был ли осведомлен о действиях своей секретной службы президент Рузвельт? Трудно сказать. Но за спиной Даллеса, который вел переговоры с немецким генералом Вольфом, разумеется, стояли весьма могущественные силы Америки.

Тем не менее попытки Черчилля склонить Рузвельта на свою сторону и толкнуть его на прямую конфронтацию со Сталиным не увенчались успехом.

В отличие от Черчилля Рузвельт никогда не страдал комплексом антисоветизма. Конечно, американский президент был не менее далек от коммунизма, чем его английский коллега. Но все-таки именно при Рузвельте Соединенные Штаты признали Советскую Россию. Рузвельт видел в этой стране храброго союзника в борьбе с общим врагом и крупнейшего экономического партнера в будущем. Кроме того, американскому президенту нужна была помощь Советского Союза в войне с Японией. Поэтому на возмущенное письмо Сталина, разоблачавшего тайные переговоры американской разведки с представителями гитлеровской Германии, Рузвельт 12 апреля 1945 года ответил посланием, в котором заявил о своем твердом намерении укреплять сотрудничество Соединенных Штатов с Советским Союзом.

Это послание американцы вправе были бы считать завещанием одного из своих великих президентов: в тот же день Франклин Делано Рузвельт скончался...

«В какой мере можно положиться на Трумэна? В какой?» — спрашивал себя Черчилль.

Он по-прежнему неподвижно сидел на своем парусиновом стуле. Ящик с красками так и лежал на траве, мольберт так и не был установлен...

Черчилль не видел безоблачного голубого неба, не слышал ни пения птиц, ни стрекотания кузнечиков. Он мучительно размышлял о той последней, быть может, самой трудной, хотя на этот раз бескровной битве, в которой ему предстояло участвовать в Германии, в Потсдаме.

Черчилль страстно хотел этой битвы: в ней виделась ему последняя возможность отнять у России плоды ее победы.

Как только новый американский президент пришел к власти, Черчилль стал бомбардировать его посланиями и телеграммами, умоляя добиться у Сталина согласия провести встречу «Большой тройки» как можно скорее. Он верил, что в союзе с Трумэном сумеет перечеркнуть принятые в Крыму решения и заставит Сталина пойти на восстановление старой Европы. Старой — значит «английской» — ведь Соединенные Штаты далеко, а Францию пока что можно не принимать в расчет. Он жаждал восстановления «санитарного кордона» на западной границе с Советским Союзом. Ему нужны были Польша Пилсудского-Бека, Румыния Антонеску, Болгария царя Бориса, Венгрия диктатора Хорти, Чехословакия должна оставаться слабой и существовать лишь милостью Британии. Черчилля не тревожило, что большинство этих царей, диктаторов, парламентских говорунов отошло в лучший мир или находилось на свалке Истории. Ему важно было завладеть их креслами, а уж кого посадить в эти кресла, он нашел бы потом.

Но осуществить свои замыслы он мог лишь выиграв предстоящую битву в Берлине.

Черчилль страстно хотел этой битвы и... боялся ее. Боялся, потому что все еще не знал, в какой мере может положиться на Трумэна. Боялся, потому что за спиной Сталина стояла Победа...

«Все ли я сделал для того, чтобы обеспечить себе безоговорочную поддержку Трумэна?» — снова и снова спрашивал себя Черчилль. Он встречался с Трумэном лишь мимолетно, приезжая в Вашингтон. Ему и в голову не приходило, что этот человек станет американским президентом.

Недавно Трумэн сообщил, что пришлет к нему своего представителя. Черчилль с нетерпением ждал этой встречи. Теперь мысли его вернулись к ней. Он как бы заново переживал ее, вспоминая все произнесенные слова, все вопросы и ответы.

Человека, которого с нетерпением ждал тогда Черчилль, звали Джозеф Эдвард Дэвис. Ему было шестьдесят девять лет, в государственном департаменте США он числился послом для особых поручений.

— Здравствуйте, господин Дэвис, — сказал Черчилль, вставая навстречу вошедшему в комнату американцу. — Я ждал вас. Как прошел полет?

— Вполне благополучно, господин премьер-министр, — ответил Дэвис, — хотя последнюю треть пути над океаном немного болтало.

— Мы поужинаем?

— Нет, благодарю вас. Я плотно закусил в самолете вместе с экипажем.

— Это, конечно, непростительно — везти вас ко мне в Чекерс в такой час и прямо с самолета. Вам следовало бы лечь в постель, комната приготовлена. Но если говорить откровенно, мне не терпится... Вы курите?

— Нет, благодарю вас.

— Виски? Может быть, нашему шотландскому вы предпочитаете американский «Бурбон»? Я сейчас узнаю, есть ли у нас...

— Не беспокойтесь. Меня вполне устраивает шотландский.

— Признаться, никак не могу привыкнуть к вашему «Бурбону». Во всяком случае, я рад, что вы хотя бы пьете. Когда в прошлом году я возвращался из Ялты, со мной произошла курьезная история. В Египте я договорился о встрече с Ибн-Саудом. Встреча была организована в отеле, в оазисе Файюм. Сауд прибыл со свитой в несколько десятков человек и с придворным астрологом. За ним везли множество овец, которых надлежало закалывать по мусульманскому обряду...

Черчилль любил произносить речи, любил, чтобы его слушали. Каждую беседу он старался превратить в собственный монолог. Сейчас ему хотелось как можно скорее узнать, с чем приехал от Трумэна Дэвис. Но отказать себе в удовольствии произнести очередной — хотя бы и краткий — монолог, он был не в состоянии...

— Самое смешное, — продолжал Черчилль, — заключалось в том, что перед прибытием короля ко мне явился министр двора и сообщил, что в присутствии его величества нельзя ни пить, ни курить. Я хотел ответить: «Какого черта!» Но, подумав, сказал, что если религия его величества запрещает ему курить и употреблять алкоголь, то самый священный мой ритуал — курить сигары и пить виски или коньяк до, во время и после всех трапез...

Черчилль рассмеялся, сигара, зажатая в углу его рта, запрыгала.

— Как реагировал на это король? — улыбаясь, спросил Дэвис.

— Он оказался достаточно любезным человеком. Кстати, его личный чашник подал мне воду, привезенную из Мекки. Это и в самом деле была самая вкусная вода, которую я когда-либо пил.

Широкое, массивное лицо Черчилля наконец стало серьезным.

— Итак, — точно заново обратился он к Дэвису, — какие вести посылает мне президент?

— У меня нет письменного послания от президента, господин премьер-министр. К тому же вы не раз обменивались с ним письмами и телеграммами. На словах же... — Дэвис замолчал, словно собираясь с мыслями.

— Что вы должны передать на словах? — нетерпеливо спросил Черчилль.

— Прежде всего то, что президент озабочен значительным ухудшением отношений между Советами, Англией и Соединенными Штатами...

— Это заботит также и меня, — прервал Дэвиса Черчилль.

— Президент полагает, что страны-победительницы должны сделать все возможное, чтобы попытаться разрешить возникшие между ними разногласия. Он исходит из того, что только единство между союзниками способно создать справедливую и долговечную структуру будущего мира. К сожалению, президенту кажется, что Россия подозревает сговор против нее.

— Чей сговор?

— Соединенных Штатов, Великобритании и новой Организации Объединенных Наций. Президент уверен в необходимости рассеять эти подозрения. Он хотел бы иметь беседу с маршалом Сталиным еще до тройственной встречи в Берлине, с тем чтобы провести эту встречу в обстановке взаимного доверия.

Дэвис умолк, удивленный, почти испуганный тем, как изменилось лицо Черчилля: глаза сузились, морщина, пересекающая широкий лоб, стала еще глубже. Черчилль выхватил изо рта сигару и, тыча ею чуть ли не в нос Дэвису, воскликнул:

— Никогда!

— Что вы хотите этим сказать, господин премьер-министр? — с недоумением спросил Дэвис.

— Это было бы предательством по отношению к Британии — вот что я хочу сказать! Президент великой державы — Соединенных Штатов Америки — намерен отправиться в Каноссу?

— Я не нахожу это сравнение подходящим, — холодно возразил Дэвис. — Речь идет только о том, чтобы рассеять подозрения Советов и создать наиболее благоприятную атмосферу для встречи «Большой тройки».

— Ах, вас беспокоят подозрения Советов? — с иронией и вместе с тем с затаенной угрозой переспросил Черчилль. — Я решительно не понимаю, что происходит! Неужели президент не отдает себе отчета в реальном положении вещей? Над советским фронтом опущен железный занавес. Во время продвижения русских через Германию к Эльбе произошли страшные вещи. Все будет еще страшнее, если американцы отведут свою армию оттуда, где она сейчас находится. Я говорю о Тюрингии.

— Но линии оккупационных зон согласованы между русскими и нами в Европейской Консультативной Комиссии. Ее решения утверждены правительствами. Идентичные карты имеются как в Вашингтоне и Лондоне, так и в Москве, — снова возразил Дэвис.

Он был прав.

В октябре 1943 года в Москве состоялась конференция министров иностранных дел союзных стран. Конференция создала Европейскую Консультативную Комиссию, работавшую в Лондоне буквально под носом у Черчилля и принявшую ряд важных решений. Теперь английский премьер-министр готов был бросить их в горящий камин.

Согласно решениям Комиссии, к гитлеровской Германии применялся принцип безоговорочной капитуляции с уничтожением всей германской военной и государственной машины.

Но Черчилль во что бы то ни стало хотел сохранить заслон перед советскими войсками, продвигавшимися в глубь Европы. Он считал, что принцип безоговорочной капитуляции выгоден лишь одному Сталину.

Комиссия решила, что большая часть Восточной Пруссии, Данциг и часть Верхней Силезии переходят к Польше. Это решение было подтверждено в Ялте. Сегодня оно представлялось Черчиллю еще более неприемлемым, чем во время заседаний в Ливадийском дворце.

Ненавистным было ему и другое решение — о Берлине как особом районе. Оно подразумевало, что столица Германии оказывается в Советской зоне оккупации.

Сейчас Дэвис напомнил Черчиллю о том, что Консультативная Комиссия определила зоны оккупации Германии.

Черчилль сознавал, что американец прав. Но именно это-то и привело его в ярость.

— К черту карты! — воскликнул он. — Отход американцев на запад будет означать дальнейшее распространение русского господства. Я приказал Монтгомери не отводить британские войска из района Виттенберга. Если англичане и американцы уйдут, Польша будет зажата и похоронена в землях, оккупированных русскими. Уйти из Европы должны не мы, а русские. Иначе... Иначе русский контроль распространится на всю Прибалтику, на всю Германию до оккупационной линии, на всю Чехословакию, на большую часть Австрии, на всю Югославию, Венгрию, Румынию, Болгарию... Своей очереди дождется Греция, где и сейчас все кипит! Берлин, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София — все это окажется в руках Сталина! Вы думаете, что он на этом успокоится, если мы будем спокойно взирать, как он захватывает Европу? Я предсказываю, что неизбежно возникнет вопрос о судьбе Турции...

Черчилль тяжело дышал. Сунув в рот потухшую сигару, он спросил:

— У вас нет спички? Впрочем, вы же не курите.

Он подошел к двери, приоткрыл ее и крикнул:

— Сойерс!

Лакей появился через мгновение.

— Дайте спичку! — раздраженно сказал Черчилль. — Почему здесь нет спичек?

— Они на столике, сэр, — невозмутимо ответил Сойерс, однако достал из кармана коробку и зажег спичку. Черчилль стал водить кончиком сигары над огнем, чтобы она раскурилась равномерно.

Дэвис внимательно наблюдал за премьер-министром. Насколько можно было судить по телеграммам, показанным ему, Дэвису, Трумэном, Черчилль все последнее время находился в крайне раздраженном состоянии. Он настаивал на быстрейшем созыве нового совещания в верхах, хотя с момента Ялтинской конференции прошло всего три месяца. Истинную цель этого совещания, как бы она официально ни формулировалась, Черчилль видел в том, чтобы заставить Сталина не только остановить свои войска, но и отвести их. И уж во всяком случае принудить его согласиться на создание таких правительств в Болгарии, Румынии, Чехословакии и в Польше — прежде всего в Польше! — которые целиком находились бы под английским влиянием.

Сосредоточенно наблюдая за тем, как Черчилль зажигает сигару, Дэвис понимал, что премьер-министр нарочно затягивает этот процесс, так как хочет взять себя в руки и успокоиться.

Дэвису трудно было поверить, что Черчилль начала сороковых годов и нынешний Черчилль — один и тот же человек. Он вспоминал прежние, исполненные неподдельного пафоса, драматические речи, в которых английский лидер превозносил мужество и героизм советского союзника и заявлял, что дружба между двумя странами ничем не может быть нарушена. Он вспоминал тексты посланий Черчилля Сталину — Рузвельт обычно получал их в копиях. В них также содержались заверения в дружбе и сотрудничестве на многие годы.

Да, между Черчиллем и Сталиным были порой разногласия и даже столкновения и в связи с Балканами и в особенности в связи с проблемой второго фронта. Но в основном их переписка все же велась в духе дружбы, бескомпромиссной воли к победе над общим врагом и боевого сотрудничества.

Нынешний Черчилль скорее напоминал того, который был заклятым врагом русской революции, яростным организатором антисоветской интервенции.

— Я думаю, — негромко начал Дэвис, — что вы несколько драматизируете ситуацию, господин премьер-министр. Вы не считаетесь с психологией русских. Было бы странно, если бы, принеся такие огромные жертвы во имя победы, они не захотели воспользоваться ее результатами.

— Перестаньте! — резко, почти грубо перебил Дэвиса Черчилль. — Сколько времени вы провели среди русских? Не слишком ли вы прониклись их психологией?

Этот выпад возмутил Дэвиса.

— Да, господин премьер-министр, — сдержанно, но твердо ответил он, — я действительно был послом в Москве в течение двух предвоенных лет. И не жалею об этом. Как не жалею о другом: именно тогда я пришел к выводу, что Великобритания и Франция совершают огромную ошибку, пытаясь умиротворить Гитлера...

— К этой ошибке я, как известно, не причастен, — прервал его Черчилль.

— Я был прав и тогда, — пропуская мимо ушей слова Черчилля, продолжал Дэвис, — когда через два дня после нападения Гитлера на Россию публично утверждал, что мир будет удивлен сопротивлением, которое окажут русские.

— Я всегда воздавал должное храбрости и мужеству русских, — вставил Черчилль.

— Когда английские и американские газеты стали кричать, — продолжал Дэвис, — что, разгромив Германию, Россия захочет поработить Европу, я утверждал, что это неверно и что Советы вовсе не намерены навязывать свою волю другим странам...

— Послушайте, мистер Дэвис, — вынимая изо рта снова погасшую сигару, со злой усмешкой произнес Черчилль, — кто вас послал ко мне? Президент Соединенных Штатов или Сталин?

— Премьер-министр шутит, — нахмурившись, сказал Дэвис.

— Да, разумеется. Тем не менее не могу скрыть своего разочарования. Вы, несомненно, недооцениваете тот факт, что Европа стоит на грани катастрофы.

— Я не стал бы употреблять это слово, — пожимая плечами, ответил Дэвис, — хотя отдаю себе отчет в том, что русские и мы несколько по-разному относимся к проблемам послевоенной Европы. Кроме того, если говорить откровенно, у Сталина есть причины относиться к некоторым нашим шагам с недоверием. Это тоже надо учитывать.

— Мы честно помогали ему, — с несколько наигранной обидой возразил Черчилль.

— Не всегда, сэр. Вспомните хотя бы, сколько времени русским пришлось настаивать на открытии второго фронта. Можете не сомневаться, они весьма реально ощущали его отсутствие, когда немцы угрожали Москве, Ленинграду, Сталинграду или бакинским нефтяным промыслам... Вы, господин премьер-министр, упомянули о Польше. Я думаю, что в Ялте Сталин вряд ли был удовлетворен нашей позицией по отношению к этой стране. Ведь если бы не советские победы, ее вообще не существовало бы на географической карте. Сталин, видимо, не понимает, почему мы не хотим признать, что польская проблема имеет для Советов жизненно важное значение. Ведь сам он в свое время наверняка не слишком охотно, но все же пошел на признание Виши в Африке, Бадольо и короля в Италии, а также на доминирующую роль Англии в Греции.

— Я — реалист, — прервал Дэвиса Черчилль, — и вижу вещи такими, каковы они есть.

— Но вы не можете забыть, сэр, что в тысяча девятьсот сорок втором году сами заключили со Сталиным двадцатилетний договор. Стороны, подписавшие его, исключали возможность сепаратного мира и обязывались сотрудничать не только в годы войны, но и в послевоенное время. Теперь это время настало, не так ли, сэр? Боюсь, что вы рискуете разрушить здание, которое с таким трудом сами же создавали. В годы войны, когда вам казалось, что Сталин проявляет излишнюю подозрительность, вы отправлялись в Кремль, чтобы восстановить доверие.

— Мне надоело ублажать Сталина! — воскликнул Черчилль, раскуривая погасшую сигару. — В конце концов я тоже могу напомнить ему о том времени, когда Англия сражалась с Гитлером один на один...

— Простите за откровенность, сэр, в этом случае Сталин может вспомнить первые годы после Октябрьской революции...

— Это далекое прошлое! — Черчилль пренебрежительно махнул рукой.

— У русских, — продолжал Дэвис, — немало поводов проявлять подозрительность и теперь. Я имею в виду наши секретные переговоры в Швейцарии. Сталин о них знает. Думаю, что он весьма чувствителен также и к тому, что англо-американские войска продвинулись далеко за пределы согласованных зон оккупации. Не будем забывать и о Польше. Словом, русские смогли бы предъявить нам достаточно длинный счет.

— Я выброшу его в корзину! — выхватывая изо рта сигару, воскликнул Черчилль.

Дэвис снова пожал плечами. Наступило молчание. Черчилль перегнулся к столику на колесах, стоявшему возле его кресла, налил себе виски и, не разбавляя его, сделал большой глоток. Затем кивнул Дэвису, приглашая его сделать то же самое.

Американец сидел молча.

«Почему Трумэн послал в Лондон именно меня? — размышлял он. — Видимо, это так же не случайно, как и то, что через несколько дней в Москву должен вылететь Гопкинс. Этот человек всегда был для Сталина выразителем доброй воли покойного президента. Рузвельт посылал Гопкинса в Москву каждый раз, когда на советско-германском фронте складывалась наиболее критическая ситуация. Разговаривая со мной перед моим отъездом в Лондон, Трумэн дал понять, что я должен не только выяснить нынешнюю позицию Черчилля, но также информировать его о намерении американского президента до предстоящей конференции встретиться со Сталиным один на один».

Но едва услышав об этом намерении Трумэна, Черчилль выкрикнул свое гневное «никогда!», и Дэвис ясно понял, что самолюбие премьер-министра уязвлено. Поскольку это зависит от него, он никогда не согласится на встречу Трумэна и Сталина за своей спиной. Может ли президент игнорировать такую позицию Черчилля?

Однако главное для Дэвиса заключалось теперь уже не в том, как Черчилль относится к намерению президента предварительно встретиться со Сталиным. Гораздо важнее для него была та совершенно очевидная перемена, которая произошла в отношении Черчилля к России вообще. О своем бывшем союзнике премьер-министр говорил теперь открыто-враждебным, угрожающим тоном. Это убеждало Дэвиса, что норовистый английский конь закусил удила и в таком состоянии способен на самые безрассудные действия.

Дэвис опасался худшего, потому что хорошо знал биографию Черчилля и его склонность к авантюризму в критических ситуациях.

«Послушайте, Уинстон, — мысленно обращался к своему собеседнику Дэвис, — если говорить начистоту, вы повторяете сейчас ту же самую доктрину, которую Гитлер и Геббельс твердили в течение четырех лет, убеждая мир, что спасают Европу от большевизма. Теперь хотите спасать ее от большевизма вы... Так не лучше ли прямо заявить во всеуслышание, что Англия в свое время совершила ошибку, не поддержав Гитлера, когда он напал на Россию?..»

По мере того, как Черчилль ожесточался, еще одна мысль все больше стала беспокоить Дэвиса. «Известны ли мне истинные намерения Трумэна?» — с тревогой спрашивал он себя. Да, президент решил послать в Москву именно Гопкинса, а в Лондон попросил поехать его, Дэвиса. Судя по этому, Трумэн искренне заинтересован в восстановлении дружеских отношений с Советским Союзом.

Но мог ли Дэвис поручиться, что дело обстоит именно так? Он не принадлежал к «команде» Трумэна, мало знал его в роли президента, а в последнее время вообще отдалился от Белого дома. Но Дэвис был многоопытный дипломат и давно постиг истину, что сущность большой политики отнюдь не всегда выражает то, что лежит на поверхности. Однако, направляясь в Лондон, Дэвис меньше всего предполагал, что английский премьер-министр занимает столь агрессивные позиции по отношению к Советскому Союзу. Эти позиции казались Дэвису просто опасными для дела мира. Но теперь он спрашивал себя: «Насколько мои убеждения совпадают со взглядами Трумэна? Поддержит ли он меня в стремлении несколько осадить Черчилля?»

Тем временем сам Черчилль думал о том, что вряд ли новый президент Соединенных Штатов займет по отношению к Советскому Союзу более твердую позицию, чем Рузвельт. Иначе он не послал бы в Лондон именно Дэвиса.

Черчилль недолюбливал Рузвельта, хотя внешне всегда оказывал ему знаки особого внимания. В то время как Рузвельт в своих посланиях часто называл его «Уинстон», Черчилль именовал его не иначе, как «мистер президент». В стычках Черчилля со Сталиным и в Тегеране и в Ялте Рузвельт далеко не всегда соглашался с советским лидером, но и редко объединялся против него с английским премьером.

Впрочем, Черчилль не любил Рузвельта не только поэтому. Его отношение к американскому президенту во многом определялось неприязнью руководителя дряхлеющей, теряющей былое могущество империи к лидеру молодой, еще полной сил, избыточно богатой и самоуверенной державы, к тому же отделенной океаном от своих нынешних и будущих противников.

Черчилль, конечно, понимал, что теперь, в ситуации, создавшейся после войны, Англия сможет господствовать в Европе только при безоговорочной поддержке Америки. Сознавал Черчилль также и то, что за эту поддержку Англии придется платить. Но никакая денежная цена не казалась ему слишком высокой за

право распоряжаться в Европе. Ведь в конце концов та же Европа за все и заплатит...

Все это, однако, было вопросом будущего. Сегодня же Черчилль видел перед собой единственную цель: остановить большевиков, изгнать их из Европы, окружить Россию «санитарным кордоном» вроде того, которым ограждался от нее цивилизованный мир в довоенное время. Советский мавр сделал свое дело и теперь должен уйти. Если он не уйдет добровольно, придется применить силу. Черчилль предусмотрел и этот вариант, хотя осуществление его означало бы третью мировую войну.

— Я прошу вас передать господину президенту, — нарушил наконец молчание Черчилль, — что я не смогу принять участие ни в какой встрече, если ей будет предшествовать совещание между президентом и Сталиным. Вместе с тем я очень заинтересован в том, чтобы наша встреча втроем состоялась как можно скорее.

Он произнес эти слова твердо и с нарочитым спокойствием. Потом посмотрел на часы: был уже пятый час утра.

— Простите меня, мистер Дэвис, — сказал Черчилль, — с моей стороны было варварством так задержать вас. Если вы не возражаете, мы продолжим нашу беседу завтра, то есть сегодня, после того, как немного поспим. Сойерс проводит вас в спальню.

— И все же, сэр, — не вставая, ответил Дэвис, — я должен уже сейчас выполнить главное поручение президента. Он хотел бы знать ваши предложения относительно повестки дня в Потсдаме.

— Некоторые из них вытекают из решений Ялтинской конференции, — ответил Черчилль. — Будущее Германии, репарации... Но основной для меня, — хочу верить, что и для президента, — является проблема послевоенного устройства Европы. В Ялте Сталин не возражал против создания в Польше демократического правительства с участием Миколайчика, Грабского и других поляков, находящихся в Лондоне. Он согласился, что граница Польши должна проходить на востоке по «линии Керзона», а вопрос о ее западных и северных границах, по существу, остался открытым.

— Это зафиксировано в ялтинских решениях? — с некоторым недоумением спросил Дэвис.

Черчилль прекрасно знал, что такое решение в Ялте не принималось. Наоборот, главы трех правительств договорились, что «линия Керзона» — восточная граница Польши, установленная после первой мировой войны, — в некоторых районах должна быть изменена в пользу Польши. Что же касается ее западных и северных границ, то прямо предусматривалось «существенное приращение территории» Польши за счет Германии.

— В протоколах заседаний этого нет, — ворчливо ответил Черчилль на вопрос Дэвиса, — но там нет многого другого.

— Вы имеете в виду обязательство Сталина вступить в войну с Японией? — снова спросил Дэвис.

— На этот счет соглашение, как вы знаете, имеется, — с раздражением ответил Черчилль. — Оно зафиксировано в секретном протоколе. Наши интересы в ряде европейских стран, например, в Болгарии или Румынии, Сталину известны. Так или иначе, — торопливо продолжал Черчилль, предупреждая новую ссылку Дэвиса на ялтинские решения, в которых об этом ничего не говорилось, — мы должны призвать Сталина к порядку и любой ценой спасти Европу от нависшей над ней советской угрозы.

Эти слова Черчилль произнес снова таким тоном, что Дэвис предпочел не спрашивать его, какую цену он имеет в виду.

Черчилль, видимо, и сам почувствовал, что хватил через край. В его намерение не входило полностью раскрывать карты даже перед американским послом. В особенности перед таким послом, как этот явно просоветски настроенный Дэвис...

Черчилль долго сидел, ссутулившись, по привычке зажав в углу рта давно погасшую сигару и восстанавливая в памяти события двух послевоенных месяцев.

Это были горькие события. Американцам и англичанам все-таки пришлось выполнить решение Европейской Консультативной Комиссии и отвести свои войска и из Тюрингии и из района Виттенберга. Сталин опять показал свою железную хватку. Конечно же, по его приказу на первом же заседании Контрольного совета Жуков категорически заявил, что не пропустит в Берлин ни одного американца или англичанина до тех пор, пока войска союзников не уйдут в свои зоны.

Монтгомери пытался возражать, но оказался в одиночестве: Эйзенхауэр сдался, очевидно, полагая, что присутствие в Берлине достаточно высокая плата за Тюрингию...

«Почему на свете так мало умных людей?» — мысленно восклицал Черчилль. Почему в решающие, поворотные моменты истории к его мнению не прислушивались? Еще в конце первой мировой войны он, Черчилль, будучи

военным министром Великобритании, договорился в Париже с маршалом Фошем о том, чтобы два миллиона свежих солдат были двинуты через побежденную Германию в Россию. Этот план подавления большевизма непременно осуществился бы, если бы тогдашний премьер-министр Великобритании Ллойд-Джордж — старая лиса, не способная на прыжок льва! — не телеграфировал Черчиллю в Париж (содержание этой телеграммы он до сих пор помнил слово в слово, хотя прошло два с половиной десятилетия): «Убедительно прошу вас не ввергать Англию в чисто сумасшедшее предприятие из-за ненависти к большевистским принципам...»

«Именно с тех пор все и началось!» — ощущая новый прилив горечи, подумал Черчилль и тут же спрашивал себя: но было ли все-таки время, когда он восхищался большевиками? Произносил ли он тосты за Сталина, как «великого советского лидера»? Писал ли он в многочисленных посланиях этому лидеру слова, в которых сливались воедино торжественный пафос, восхищение стойкостью Красной Армии и заверения в вечной дружбе?

Да, восхищался, да, произносил, да, писал. Был вынужден это делать. Потому что в те месяцы и годы судьба России воспринималась им как судьба самой Англии. Перед этой взаимосвязью, перед этими чувствами, возникшими временно, в обстановке нависшей над Англией катастрофы, отступало на задний план чувство, которое он неизменно питал к Советской России и которое можно было определить одним словом: ненависть.

Теперь это чувство проявляло себя с новой силой, определяя отношение Черчилля к Советскому Союзу, к Сталину, ко всем русским — от маршала до рядового солдата.

«Почему на свете так мало умных людей?» — снова и снова повторял Черчилль. Даже самые дальновидные из них, которые, несомненно, обладали политическим и жизненным опытом, в решающие моменты истории проявляли свойственную глупцам недальновидность. Уступчивость Рузвельта в Тегеране Черчилль еще понимал: шел только 1943 год, война была в разгаре, исход ее целиком зависел от Красной Армии. Но в Ялте! Почему Рузвельт согласился на уступки русским в польском вопросе и во многих других?

Однако Черчилль был явно несправедлив к своему заокеанскому союзнику. Рузвельт, конечно же, не забывал о послевоенных американских интересах и в Европе и во всем мире, неизменно отстаивая их. Но делал это тоньше, чем Черчилль, думавший только о том, как сохранить Британскую империю и восстановить ее довоенное влияние в Европе. Черчилль хотел перевести стрелки часов истории на много лет назад. Рузвельт смотрел вперед. Он понимал, что с разгромом Германии положение в Европе и во всем мире кардинально изменилось. Сталин не такой человек, чтобы забыть и о своем роковом просчете относительно срока нападения Германии на его страну и о погибших миллионах советских людей. Для населения Европы, для ее рабочих и крестьян не может пройти бесследно тот факт, что гитлеризм был разгромлен именно советской Армией. Сталин сделает все, чтобы закрепить результаты победы, достигнутой столь дорогой ценой. Рузвельт отдавал себе отчет в том, что, обеспечивая американские интересы в Европе, следует учитывать все эти новые обстоятельства, а не игнорировать их.

Но Черчилль не желал с ними считаться. Всю жизнь он полагал, что только выдающиеся личности, только люди, стоящие высоко над толпой, делают историю. Эту фатальную ошибку он усугублял, думая, что такой выдающейся личностью сегодня является в мире лишь он один...

Что Черчилль любил больше всего на свете? Что было для него самым главным в жизни? Конечно же, могущество Британской империи, которое он жаждал сохранить вопреки всему.

Однажды его спросили: «Что вы любите больше всего?» Он ответил: «Все самое лучшее».

Любил ли Черчилль деньги? Да, разумеется. Но он не фетишизировал их, как это делает типичный буржуа. Они были необходимы ему, потому что обеспечивали те максимальные жизненные блага, к которым он привык и без которых не мог обходиться.

Для того, чтобы обеспечить себе все самое лучшее, Черчилль стремился к богатству и к власти. Огромные гонорары, которые он получал за свои литературные труды, в соединении с наследством герцогов Мальборо давали ему возможность жить так, как жили его предки. Он старался убедить себя, что в окружающем его мире ничто не изменилось.

Когда беспощадная история наносила Черчиллю сокрушительные удары, он приходил в ярость и готов был броситься на нее, как исступленный бык бросается на дразнящее его красное полотнище.

До самого конца его долгой жизни Черчиллю так и не суждено было понять, что все его действия и поступки, все его взлеты и падения определялись не только его личными качествами — даром предвидения и красноречия, бурным темпераментом, сильной волей или, наобо-

рот, прямолинейностью, самомнением, склонностью к авантюризму, — не только происками его политических соперников и врагов.

Черчилль был верным слугой Британской империи. Его породили, воспитали и выдвинули на государственную арену те правящие — прежде всего потомственно-аристократические — круги Британии, которые на протяжении многих десятилетий тесно срослись с буржуазно-монополистическими кругами, переплелись с ними и социально и даже семейно, составив элиту, глубоко убежденную в том, что ей предстоит вечно править страной и распространять свое могучее влияние на весь мир.

Черчилль всегда делал то, что диктовала ему логика породившей и воспитавшей его социальной системы.

Все, что происходило в мире, в частности в Европе, после окончания второй мировой войны, Черчилль привычно объяснял субъективными факторами. Воля европейских народов к свободе и к самоопределению, их отношение к Красной Армии, как армии-освободительнице, их стремление самостоятельно решать свою судьбу — все это было ему чуждо. Он не понимал и не мог понять, что в годы второй мировой войны, как и в годы антисоветской интервенции, русские победили не только благодаря силе своего оружия, но прежде всего благодаря своей преданности идеям коммунизма.

«Все, все могло быть иначе!» — продолжал твердить про себя Черчилль. Если бы Трумэн не начал отвод своих войск из Тюрингии, если бы два месяца назад он согласился преградить русским путь в глубь Европы, то Конференция, которой предстояло начаться через два дня, происходила бы в совершенно иных условиях. Ведь еще 17 мая он, Черчилль, приказал Монтгомери не распускать сдающиеся англичанам немецкие части и держать наготове отобранное у них вооружение, а десятью днями позже лично обсуждал с английским фельдмаршалом возможности использования немецких самолетов для удара по русским, чтобы остановить их продвижение... Семьсот тысяч немецких солдат и офицеров — около тридцати дивизий — собрал в своей зоне английский главнокомандующий, готовый по первому приказу бросить их на восток.

О, эти немцы вместе с американцами и англичанами сумели бы поставить непреодолимый заслон на пути русских солдат!

Думал ли тогда Черчилль, что все это означало бы новую войну, которая велась бы, однако, во имя совсем иных целей, чем только что закончившаяся? Допускал ли возможность ее возникновения?

Да, безусловно думал и безусловно допускал.

За неимением другого это был бы лучший выход из создающегося положения. Россия разгромила мощную и агрессивную Германию, угрожавшую Англии, а в случае ее поражения и Соединенным Штатам Америки. Высшей целью минувшей войны было для Черчилля спасение Англии. Но раз цель достигнута, России больше нечего делать в Европе.

Если не удается убедить ее в этом за столом переговоров, надо прибегнуть к силе оружия.

Черчилля не послушались. Опять не послушались! Рузвельт, как некогда Ллойд-Джордж, не дал ему возможности осуществить свой план.

После внезапной смерти Рузвельта Черчилль возлагал все свои надежды на Трумэна. Он ждал, что Трумэн начнет президентство с резкого ультиматума Советскому Союзу, что он сумеет одернуть зарвавшихся русских. Но вместо этого новый американский президент, видимо, втянулся в дипломатическую игру со Сталиным. Снова возник Гопкинс, этот прорусски настроенный гонец покойного Рузвельта, а в Лондон явился Дэвис, само имя которого давно уже стало одним из символов американских симпатий к России. Озабоченный ходом войны с Японией, заинтересованный в советской военной помощи, Трумэн, судя по всему, растерялся и смирился с тем, что страшная тень России нависла над Европой...

«Все равно, — с бульдожьим упрямством мысленно произнес Черчилль, — пока я у власти, буду бороться».

Но даже мысленно произнеся эти слова, Черчилль невольно содрогнулся. Он не мог не сознавать, что находится в цейтноте. Ему хотелось, чтобы Россия была поставлена на колени, «пока он у власти», чтобы конференция «Большой тройки» состоялась, «пока он у власти».

Он и оставался пока еще у власти. Результаты всеобщих парламентских выборов, начавшихся 5 июля, должны были стать известны лишь в самом конце июля, когда в Лондон придут избирательные бюллетени от сотен тысяч англичан, находящихся за пределами своей страны.

Сомневался ли Черчилль в том, что останется у власти в результате выборов?

Вряд ли. Он считал себя спасителем империи и был уверен, что такого же мнения придерживается подавляющее большинство англичан. Ведь именно он принял вызов Гитлера, стоя во главе государства и британских вооруженных сил с самого начала войны вплоть до дня победы. Мысль о том, что теперь его могут лишить власти, казалась Черчиллю дикой, нелепой, парадоксальной.

Со злой усмешкой отбрасывал он газету, в которой лидеры лейбористов называли предвыборные речи премьера «смесью брани и старческого лепета». Сколько подобных нападок пришлось ему пережить за долгие годы государственной деятельности!

3 июля Черчилль произнес последнюю предвыборную речь — на этот раз с трибуны Уолтомстоунского стадиона. Тысячи людей приветствовали его. Минуту-другую премьер-министр стоял на трибуне, наслаждаясь громом аплодисментов, приподняв над головой мягкую шляпу, окаймленную светлой лентой. Люди привыкли видеть его в «сирене». Теперь он сменил комбинезон на респектабельную одежду государственного деятеля: темный пиджак, традиционные, серые в полоску, брюки, жилет, по которому вилась золотая цепь с длинными плоскими звеньями, белая сорочка с галстуком-«бабочкой». Черчилль понимал, что эти люди, аплодируя ему или поднимая руки с раздвинутыми в виде буквы «V» указательным и средним пальцами, приветствуют премьер-министра военных лет, вчерашнего Черчилля. Тогда он требовал от английского народа жертв, и народ с готовностью шел на эти жертвы, зная, что приносит их во имя победы, во имя будущего мира!

Что мог Уинстон Черчилль предложить английскому народу теперь, когда долгожданный мир наконец настал?

Лейбористы были достаточно хитры. Воздавая должное Черчиллю как военному лидеру, они подчеркивали его неспособность выиграть мир, дать отдых стране, измученной войной, осуществить назревшие социальные преобразования.

В ответ Черчилль пугал Англию угрозой коммунизма. Речи его звучали теперь почти так же, как в годы антисоветской интервенции. Открыто нападать на Советский Союз он все-таки еще остерегался: в сердцах миллионов британцев слово «Россия» было неразрывно связано со словом «Победа». Поэтому Черчилль лишь убеждал избирателей, что приход к власти лейбористов и им подобных покончил бы с британской демократией, свел бы к нулю роль английского парламента. Лейбористы, утверждал он, готовы применить насилие, «чтобы быстро и покорно принять благостные идеи этих автократических филантропов, которые стремятся изменить человеческое сердце словно волшебством и в то же время стать нашими правителями».

Черчилль не был суеверен, но фразу «пока я у власти» произносил из чистого суеверия. Так сказать, на всякий случай. Главным образом из суеверия же он пригласил на конференцию «Большой тройки» лидера лейбористов Клемента Эттли. И еще, конечно, для того, чтобы продемонстрировать свою преданность принципам демократии.

В представлении Черчилля демократия ограничивалась парламентаризмом, межпартийной борьбой и существованием царствующего, но не управляющего страной монарха. Демократия была для Черчилля просто-напросто правом членов элиты свободно бороться за власть. Когда на это право однажды посягнул народ, Черчилль, будучи министром внутренних дел, приказал дать ответ огнем из винтовок и пулеметов.

Во имя этой же демократии лидеру оппозиции предоставлялось право занять свое бесправное место в Потсдаме.

Мысль о том, что Эттли может прийти ему на смену, казалась Черчиллю нелепой. Этот человек решительно ничем не проявил себя в годы войны. Конечно же, он, Черчилль, был и останется лидером нации, покорным слугой его величества короля Великобритании, а фактически ее некоронованным королем.

«А все-таки, что если...» — на мгновение мелькнула в голове Черчилля тревожная мысль.

Он попытался представить себе Эттли в роли руководителя страны, а грубого, бесцеремонного, бравирующего своими плебейскими замашками Бевина на месте корректного, безупречно воспитанного джентльмена Идена. Нет, это было непредставимо! Такие люди не имеют шансов завоевать голоса избирателей.

Черчилль вспомнил предвыборные речи лейбористских лидеров. Ни одного веского аргумента! Обычная либеральная болтовня. Какие у них были козыри против него? В сущности, никаких. Все, что они говорили или могли сказать, ничто по сравнению с самым главным: ведь именно он и никто другой привел Британию к великой победе!

Но чем настойчивее Черчилль повторял про себя, что Британия не предаст забвению своего национального героя, тем упорнее всплывало со дна его памяти одно короткое слово, которое он, несмотря на все старания, никак не мог забыть. Это слово «Ковентри» напоминало о трагических событиях, случившихся пять лет назад.

Английская разведка располагала тогда машиной, которая была названа «Энигма», то есть «Загадка». Благодаря ей англичане получили возможность расшифровать немецкий военный код. Сверхсекретное отделение «Интеллидженс сервис», занимавшееся этой расшифровкой, именовалось «Ультра».

Та немецкая радиограмма была перехвачена и расшифрована 14 ноября 1940 года. Гитле-

ровское командование приказывало своим военно-воздушным силам предпринять массированный, террористический налет на английский город Ковентри. Пятьсот бомбардировщиков «Люфтваффе» получили задание стереть этот город с лица земли. Бомбардировка должна была начаться в двадцать часов. Радиограмму перехватили и расшифровали в пятнадцать.

Сейчас Черчилль мучительно вспоминал подробности того чудовищно страшного дня.

Руководитель «Ультра» Фредерик Уинтерботэм пытался связаться с премьер-министром через его канцелярию. Но тщетно. Черчилль находился в Чекерсе, своей загородной резиденции. Он спал. Это был его предобеденный отдых. Спать накануне обеда стало для него неискоренимой привычкой. Как он мог следовать ей в те трагические для Англии дни? Что помогало ему? Крепкие нервы? Может быть, он был подсознательно убежден, что, пока спит, время стоит на месте и ничто не может случиться, как не может начаться день, пока не взошло солнце?..

Когда Черчилль наконец проснулся и ему доложили содержание радиограммы, до начала трагедии оставалось не больше трех часов.

Уинтерботэм ждал, что премьер-министр отдаст экстренный приказ. Он гадал: каково будет содержание этого приказа? Немедленно эвакуировать из Ковентри гражданское население? Поднять в воздух все наличные силы истребительной авиации?

Наконец приказ пришел. Он гласил: ни в коем случае не принимать никаких чрезвычайных мер. Никого не эвакуировать. Объявить обычную в таких случаях воздушную тревогу...

В двадцать часов город Ковентри — один из древнейших городов Англии, ее гордость — подвергся адской бомбардировке. Он был превращен в руины. Погибли тысячи мирных жителей. Короткое слово «Ковентри» стало символом одной из величайших трагедий второй мировой войны.

«А что если...» — снова спросил себя Черчилль. Теперь, когда война окончилась, многое из того, что было окутано непроницаемой пеленой секретности, постепенно становится явным. Оппозиция может узнать о приказе, который фактически обрекал Ковентри на гибель, и предать этот приказ гласности. Даже если он, Черчилль, победит на выборах, ему может грозить поражение в парламенте. Он уже слышал крики «Убийца!», доносящиеся со скамей оппозиции.

Разумеется, он будет защищаться. Ему есть что ответить на любые обвинения. Если бы он предпринял чрезвычайные меры, чтобы спасти Ковентри, немцы сразу поняли бы, что их код расшифрован, и сменили бы его. Ценой Ковентри важнейший источник информации был сохранен. А ведь этот источник уже не раз выручал англичан. Именно благодаря «Энигме» стало известно намерение немцев окружить и уничтожить британский экспедиционный корпус в Бельгии, в районе Остенде. Приказ штаба вермахта был расшифрован. В результате корпус своевременно эвакуировался и отошел к морю, к Дюнкерку, навстречу идущему на выручку британскому флоту. Именно «Энигма» позволила британскому командованию расшифровать радиопереговоры между Роммелем и Кессельрингом и сорвать наступление Роммеля в Египте. Да и многие другие успехи британских вооруженных сил стали возможны благодаря «Энигме».

«Я был прав, прав, тысячу раз прав!» — мысленно восклицал Черчилль. В большой политике и большой войне цель всегда оправдывает средства. Так было бы, например, в Польше: если бы варшавское восстание удалось, то имело смысл пожертвовать десятками тысяч мирных жителей, чтобы лондонские поляки могли обосноваться в Варшаве в качестве законного правительства...

Ну а в том, что информация, получаемая с помощью «Ультра», никогда не доводилась до сведения советского союзника, лейбористы упрекать его, конечно, не будут...

Черчилль невольно задумался: а как бы поступил на его месте советский военачальник? Стал бы спасать обреченный город или пожертвовал бы им?

Впрочем, он тут же оборвал себя — психология русских была ему недоступна. Ведь они, даже имея явное преимущество в силах, прекращали огонь, если наступавшие гитлеровцы гнали перед собой мирное население — женщин, стариков, детей...

«Тодо модо» — «любым способом» — эти латинские слова, девиз ордена иезуитов, и поныне казались Черчиллю целиком определяющими политику любого крупного государственного деятеля.

Наконец, Черчилль встал, поднял мольберт с красками, сложил стул и, так и не сделав ни одного мазка, медленно пошел обратно к замку.

Он оставил внизу рисовальные принадлежности, молча прошел мимо своего врача Морана, сидевшего в нижней гостиной с газетой в руках, — Моран невольно отметил, что походка его пациента была сегодня необычной, стариковски-шаркающей — и, тяжело опираясь о деревянные перила, поднялся наверх.

Его жена Клементина сидела в верхней гостиной за книгой и удивленно посмотрела на мужа, вернувшегося раньше, чем обычно.

Не встречаясь с ней взглядом, Черчилль все так же молча направился в спальню.

С этой уже немолодой теперь женщиной он прожил около сорока лет. Женщины никогда не играли сколько-нибудь заметной роли в жизни Черчилля — все его душевные силы, все его страсти целиком сосредоточивались на государственной деятельности, на политической карьере.

У него были и свои особые причины презирать женщин. Он всегда считал их существами низшего порядка. Когда в начале своей карьеры он баллотировался в парламент, руководительницы движения суфражисток обратились к нему с просьбой выступить за предоставление женщинам избирательных прав. Он ответил коротким и высокомерным отказом.

Впоследствии это стало для Черчилля источником многих неприятностей. При каждом удобном случае суфражистки устраивали ему бурные обструкции. Они преследовали его по пятам, кричали, свистели, потрясали зонтиками, забрасывали камнями, кусками угля, тухлыми яйцами, а однажды даже пытались избить его хлыстами.

Черчилль презирал женщин. Но Клементина была умна, тактична, спокойна, обладала здравым смыслом. Эта сухощавая крупная женщина с длинным лицом и теперь уже седыми, но по-прежнему тщательно причесанными волосами хорошо изучила своего мужа. Если бы Черчилль знал, как глубоко проникает она в его душу, в самые сокровенные его мысли, он, несомненно, восстал бы, и вряд ли этот брак оказался бы счастливым.

Клементина никогда не заблуждалась относительно своего мужа. Как никто другой, она видела его недостатки, давно изучила его характер — властный, эгоистический, упрямый. Ей было хорошо известно то пренебрежение, с которым муж относился к людям, в особенности к так называемым простым людям. Он испытывал физическое отвращение к толпе, к человеческим массам. Один раз в жизни воспользовался метро да и то заблудился в подземных переходах. Никогда не интересовался тем, что думают другие, считая главным лишь то, что думает он сам.

Но Клементина никогда не показывала мужу, что видит его насквозь, что читает его мысли. Она читала их только про себя и делала из этого необходимые выводы. Догадываясь, что жена проникает в самые затаенные его чувства, Черчилль высоко ценил ее природный такт. Человек крайне самолюбивый, упрямый, самоуверенный, нередко вздорный, он не потерпел бы возле себя женщины, которая постоянно давала бы ему понять, что отлично разбирается во всех состояниях его души и в подлинных целях всех его поступков. Но, наверное, его еще меньше устраивало бы постоянное присутствие и такой женщины, которой были бы попросту недоступны и чужды все его радости и печали. Клементина как бы совмещала в себе и то и другое: способность видеть мужа насквозь и никогда этого не обнаруживать. Благодаря этому она стала по-настоящему необходимой Черчиллю, который любил ее, любил детей — их было четверо — и вместе с тем не любил никого, кроме себя, своей власти над людьми, своей политической карьеры.

...Клементина была удивлена тем, что муж так рано вернулся и, не сказав ей ни слова, молча прошел в спальню. Выждав несколько минут, чтобы дать ему раздеться и лечь в постель, она последовала за ним.

Однако постель, заботливо приготовленная Сойерсом для дневного отдыха своего хозяина, была пуста. Черчилль понуро сидел в кресле около ночного столика.

Клементина смотрела на мужа с тревогой и болью. За долгие годы совместной жизни она привыкла к этому крупному, слегка сутулившемуся человеку с огромной головой, по-бычьи склоненной и выдвинутой вперед, с массивным подбородком, над которым вызывающе торчала неизменная толстая, длинная сигара. Этот человек, казалось, всегда был готов к действию — к нападению или к отпору. Он напоминал крокодила, неповоротливого с виду, но каждую минуту готового сомкнуть свои мощные челюсти или нанести губительный удар хвостом.

Сейчас в кресле сидел обессиленный старик. Массивная голова его поникла, опущенные плечи, казалось, едва удерживали ее, руки были безвольно опущены.

— Я ничего не написал сегодня, — угрюмо сказал Черчилль, — даже не раскрыл мольберта. Я устал.

— Ты много работал вчера, — подчеркнуто бодрым тоном: она знала, что муж не терпит, когда его утешают, — сказала Клементина. — Потом это палящее солнце...

— Нет, — по-прежнему не делая ни малейшего движения, сказал Черчилль, — дело не в этом. Я еще никогда не находился в столь подавленном состоянии. Моя энергия иссякла. Мне ничего не хочется делать. Я не знаю, пройдет ли это...

— Ты знаешь, что пройдет.

— Нет, — возразил Черчилль. — Не знаю.

— Я скажу Сойерсу, чтобы он принес тебе виски.

— Я не хочу виски. Я вообще ничего не хочу, — тихо произнес Черчилль.

Клементина еще никогда не видела мужа в таком состоянии и никогда не слышала от него таких слов. Даже в безнадежных, казалось бы, положениях он не терял присутствия духа. Так было, например, когда провалилась его очередная авантюра — безуспешная попытка во время первой мировой войны захватить полуостров Галлиполи, а затем и Константинополь. Матери бесцельно погибших английских солдат проклинали тогда морского министра Великобритании Черчилля, а газеты единодушно называли авантюристом и невеждой...

Но Черчилль не менялся. Он оставался самоуверенным, по-прежнему презирал толпу и твердо верил, что его решающий час еще не пробил.

Он не дрогнул, когда началась война с Гитлером. Наоборот, им овладело сознание, что наконец-то час его настал, что с порога этой войны он шагнет прямо в вечность, в бессмертие, в Историю...

Но сейчас, когда наступила долгожданная победа, силы покидали его. Это было странно, противоестественно.

— Может быть, позвать Чарльза? — стараясь скрыть свою все усиливающуюся тревогу, спросила Клементина.

— К черту докторов! — вяло махнул рукой Черчилль. — Этих болезней они не лечат.

Состояние, в котором находился муж, и, главное, весь его столь неожиданно изменившийся облик побудили Клементину отступить от раз и навсегда заведенного правила. Присев на край кровати, она негромко спросила:

— Тебя беспокоит подсчет голосов?

Слегка искривленный левый угол рта — природный недостаток Черчилля, который он обычно скрывал, почти постоянно держа в зубах сигару, — дрогнул в презрительной усмешке.

— Мне наплевать на выборы. Кроме того, я еще не потерял веры в порядочность англичан. Не могут же они забыть, кто спас Британию.

— Конечно, они не забудут этого, — поспешно согласилась Клементина. Слишком поспешно, потому что хотела скрыть свои сомнения.

Настроения рядовых англичан были известны ей лучше, чем ее самоуверенному мужу.

До войны круг знакомых Клементины ограничивался министрами, лордами, депутатами, крупными бизнесменами — Черчилль питал необъяснимую неприязнь к «интеллектуалам».

Но с тех пор как Гитлер напал на Советский Союз, Черчилль заключил с прежде ненавистной ему большевистской страной договор о дружбе и совместной борьбе, жена премьер-министра возглавила Комитет общественного фонда, созданного в Англии для оказания медицинской помощи сражающейся Красной Армии.

В связи с этим она расширила свои связи, отношения, знакомства, стала бывать у шахтеров, докеров, металлистов: ведь все они были активными членами возглавляемого ею Комитета.

Однажды после собрания в порту к ней подошел старый докер, один из профсоюзных руководителей.

— Мы никогда не любили вашего мужа, леди, — сказал он. — Мы провалили его на выборах еще в двадцать втором году, потому что он не послушался нас и не убрал руки прочь от России. В двадцать шестом, в дни всеобщей забастовки, когда не выходила ни одна газета, он заодно с Бивербруком создал газетенку, чтобы поливать нас грязью. Но сейчас мистер Черчилль делает правое дело. Пока он будет его делать, мы пойдем вместе с ним. Передайте это своему мужу, леди...

Тогда она ничего не рассказала мужу. Ей не хотелось расстраивать его. Кроме того, она знала, что ничто не в силах поколебать его самоуверенности и самовлюбленности — он с презрительной усмешкой отмахнулся бы от слов безвестного рабочего.

Но теперь Клементина вспомнила слова этого докера. Однако и на этот раз решила промолчать. Вряд ли стоило вспоминать о том разговоре сейчас, когда силы, казалось, оставляли мужа.

Помолчав немного, Черчилль сказал все так же тихо:

— Прежде чем мы узнаем результаты голосования, от меня останется полчеловека. Но дело не в этом...

Он задумчиво покачал головой.

— В чем же дело, Уинни? — участливо спросила Клементина.

Черчилль внезапно вцепился в подлокотники кресла и, подаваясь вперед, громко воскликнул:

— Неужели ты не понимаешь? Сейчас, именно сейчас мне необходимо сознание всей полноты власти! Я должен сломить Сталина в Потсдаме. Но как я смогу это сделать, не зная, премьер я или уже нет!

Клементина понимала, что возражать мужу бесполезно. Она никогда не спорила с ним. Если предполагала, что ее слова вызовут гневный отпор, она просто писала их на клочке бу-

маги, передавала этот клочок вздорному супругу и молча выходила из комнаты.

Но на этот раз она не могла смолчать.

— Ты уверен, что тебе необходимо сломить Сталина? — негромко спросила Клементина.

— Я уже не раз объяснял тебе, что присутствие Советов в Европе несет ей гибель! — снова воскликнул Черчилль и, оттолкнувшись от подлокотников, резко встал.

Клементина чувствовала, что его переполняет злоба и что именно она, эта злоба, придает ему сейчас новые силы.

Черчилль выхватил из стоявшего на столике ящичка сигару и, закурив, стал торопливо ходить взад и вперед по спальне.

— Меня никто не слушает! — выкрикнул он. — Американцам нельзя было уходить в свою зону, пока Сталин не выполнит наших требований. Нельзя!

— Тебе не кажется, Уинни, что, встретившись с тобой теперь, Сталин будет удивлен тем, как ты к нему переменился? — осторожно, но вместе с тем настойчиво спросила Клементина.

— Мне плевать на это!

— Очевидно, он будет ссылаться на заключенные соглашения... — еще настойчивее произнесла Клементина.

— Было бы катастрофой, если бы мы соблюдали все свои соглашения! — Черчилль энергично взмахнул зажатой между пальцами сигарой.

Клементина молчала, и это, видимо, окончательно разозлило Черчилля.

— Ты придерживаешься другого мнения? На моем месте ты, кажется, готова была бы преподнести большевикам на серебряном подносе всю Европу? Пусть бы они установили свои коммунистические режимы в Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, а заодно уж в Греции и Италии?

— Ты думаешь, это будет возможно, если сами народы не захотят большевиков?

— Народы! Какие народы? Они идут туда, куда их ведут лидеры! А лидеры опираются на силу. Только на силу!

— Но, Уинни, — стояла на своем Клементина, — согласись, что в дни войны ты относился к русским иначе. Ведь я была в Москве. Я помню, какое ликование было там в День Победы... Москвичи восторженно приветствовали английских и американских офицеров. Сотни рук подбрасывали их в воздух, люди кричали «ура»... Я выступала по Московскому радио. От имени нашей страны. От твоего имени, Уинстон. Я говорила, что, пройдя по мрачной долине жертв и страданий, мы могли бы идти в дружбе и дальше...

— Набор высокопарностей!

— Я сказала только то, что ты сам написал, — с упреком возразила Клементина.

— Забудь об этом!

— Да, конечно. Постараюсь... Но мне трудно забыть тот солнечный день в Москве. Девятое мая...

— День нашей беспомощности! — воскликнул Черчилль. — После того, как немцы капитулировали перед нами в Реймсе, не надо было уступать Сталину и допускать всю эту трагикомедию в Карлсхорсте! Где Сойерс? Я хочу выпить.

— Я тебе принесу сама. Виски или коньяк?

— Хоть цианистый калий! Тогда мне не пришлось бы идти на эту Голгофу в Потсдаме!

На другой день автомобили доставили Черчилля, его дочь Мэри, лорда Морана, Томпсона и Сойерса из Сен Жан-де-Люз в Бордо. Отсюда им предстояло лететь в Берлин. Самолет Черчилля назывался «Скаймастер», по-русски «Повелитель неба».

В тот же день со взлетной дорожки английского аэродрома в Тэнгмире, в графстве Сассекс, поднялся в воздух самолет с британским министром иностранных дел Антони Иденом на борту. А с лондонского аэродрома Нортхолд взлетел еще один самолет — главным пассажиром его был лейбористский лидер Клемент Эттли.

Оба эти самолета также взяли курс на Берлин.

История начала писать свою новую страницу...

Глава четвертая

ТРУМЭН

Англичанин Уинстон Черчилль был потомком герцога Мальборо. Американец Гарри Трумэн родился в семье мелкого фермера в штате Миссури.

Честолюбие и склонность к авантюризму отличали Черчилля с юношеских лет. Он еще не решил, какую карьеру избрать — политическую, военную или журналистскую, — но был твердо уверен, что его ждут великие дела. Гарри Трумэн полагал, что жизнь его окончится там же, где началась, — на ферме, которую он унаследует от отца.

Отец Гарри Джон Андерсон Трумэн, если верить биографам будущего президента, всю

жизнь хотел разбогатеть, но был типичным неудачником, к тому же несколько претенциозным в одежде и манерах. Некоторое время служил ночным сторожем, потом пытался торговать скотом — по преимуществу мулами, но безуспешно. В конце концов стал фермером, разводил земляные орехи, за что получил прозвище «арахис». В 1914 году умер, так и не дождавшись случая, который должен был сделать его миллионером.

Несмотря на врожденную близорукость, Гарри много читал. Мать обучила его грамоте, когда ему не было и шести лет. Кроме того, его учили игре на рояле.

Первой книгой, которую маленький Гарри прочел после букваря, была Библия. Впоследствии он перечитывал ее постоянно и выучил чуть ли не наизусть. За Библией последовали книги по истории и кое-что из беллетристики, — все, что можно было найти в библиотеке ближайшего маленького городка Инденпенденса. В ней насчитывалось около трех тысяч книг. По собственным словам Трумэна, он прочитал их все до одной, включая энциклопедию.

Кроме Библии, его увлекала история. Он буквально заучил биографии первых американских президентов и «отцов конституции», — Вашингтона, Гамильтона, Медисона, Адамса. Впрочем, интересы Трумэна не ограничивались отечественной историей. В то время, как его сверстники разгуливали с бейсбольными битами под мышкой, юный Гарри, чтобы избежать насмешек с их стороны, переулками пробирался домой из библиотеки, прижимая к груди толстые тома с жизнеописаниями Юлия Цезаря, Александра Македонского и Цицерона. Он жил в мире великих теней.

В школе маленького Гарри дразнили «четырехглазым». Он не мог, подобно своему брату Вивиану, участвовать в спортивных играх. Его видели либо за школьной партой, либо с нотной папкой по пути на урок музыки. Дома он тотчас брался за свою любимую Библию или за очередную книгу по истории. Его прозвали «сиси», что означало нечто среднее между девчонкой и маменькиным сынком.

Семи лет от роду Уинстон Черчилль был отдан в закрытую и очень дорогую школу в Аскоте, потом в среднюю школу Херроу, также весьма привилегированную, а затем — увы, далеко не сразу: он дважды проваливался на вступительных экзаменах — в военную академию Сандхерст. В двадцать один год Черчилль жаждал проявить себя на войне, но пушки стреляли тогда только на Кубе, где испанцы подавляли национально-освободительное движение. Пользуясь родственными связями, жаждущий подвигов и славы молодой офицер получил от испанского правительства разрешение отправиться на кубинский фронт.

Гарри Трумэн начал самостоятельную жизнь в американской лавочке «драгстор», представляющей собой причудливую смесь аптеки и закусочной. За три доллара в неделю он выполнял здесь роль мальчика на все руки — убирал помещение, стоял за стойкой, мыл посуду. Унаследованная от отца и пришедшая в упадок ферма не могла прокормить его мать, сестру Мэри Джейн и брата Вивиана.

Окончив среднюю школу, он покинул «драгстор» и поступил конторщиком в управление железной дороги, затем работал банковским клерком, а по вечерам посещал юридическое училище.

Прежде чем понять, что его призвание — политика, Черчилль рвался в бой, жаждал воинской славы. Трумэн участвовал в первой мировой войне, но не по призванию, а по призыву.

Он не попал, подобно Черчиллю, в плен, не бежал из него и не написал книгу о своих отчаянных приключениях. Назначенный офицером по снабжению артиллерийского полка, Трумэн вместе с неким Эдди Джекобсоном открыл полковую лавочку и торговал в ней довольно успешно. Правда, ему все-таки пришлось участвовать в боевых действиях. Это было в самом конце войны во Франции, куда Трумэн прибыл в составе экспедиционных войск и был назначен командиром конной батареи.

Все обошлось для него благополучно. В 1919 году Трумэн был демобилизован.

В тридцать два года Черчилль, уже будучи членом парламента и заместителем министра, получил звание тайного советника. С тех пор депутаты, обращаясь к нему во время парламентских дебатов, должны были именовать его не иначе, как «досточтимый джентльмен».

Трумэн в этом же возрасте открыл вместе со своим бывшим компаньоном Эдди Джекобсоном галантерейный магазин в Канзас-Сити. Через два года они обанкротились.

В тридцать четыре года Черчилль женился на Клементине Хозье, внучке лорда Эйрли.

Трумэн был на год старше, когда женился на своей школьной подружке, ничем не примечательной девице по имени Бесс Уоллес.

Каким же образом он оказался вовлеченным в сферу большой политики? Может быть, Соединенные Штаты Америки по крайней мере в то время были обетованной страной, где человек достаточно предприимчивый мог стать кем угодно вплоть до президента?

Хотя будущий президент Соединенных Штатов до поры до времени и жил в царстве великих теней, это отнюдь не значит, что он был мечтателем, идеалистом, не приспособленным

к суровой американской действительности. Комплекс неполноценности, которым Трумэн страдал из-за своего физического недостатка — сильной близорукости, стал для него источником не слабости, а силы. Все время ощущая этот недостаток, он научился его преодолевать и всегда держался подчеркнуто бодро, как человек, дела которого идут отлично во всех отношениях. Пройдут годы, и один из биографов Трумэна напишет: «Он всегда выглядел так, как будто хотел сказать: — Я чувствую себя превосходно! А вы?..»

Но, разумеется, он не был столь наивен, чтобы полагать, будто одной лишь манерой бодро держаться можно завоевать себе место под американским солнцем.

Да, в обществе, в котором он жил, господствовала сила денег. Тем, кто ими обладал, прощалось все. Только сила денег заслуживала признания и поклонения. Это Трумэн отлично понимал. Но он рано осознал и другое: сильные мира сего нуждались в людях, которые готовы были служить им верой и правдой. Самый циничный и беспринципный политический босс нуждался в помощниках с репутацией честных, бескорыстных, богобоязненных людей, слуг господа и народа, — ещё сказывались пуританские традиции первых американских поселенцев. Финансовый и промышленный воротила нуждался в преданном бухгалтере, одно имя которого олицетворяло бы такие святые понятия, как честь, совесть, бескорыстие. Каждому акционеру хотелось верить в то, что об его интересах пекутся денно и нощно. Хозяину требовался респектабельный приказчик, который мог бы внушить покупателю, что скорее даст отрубить себе руку, чем обсчитает его хотя бы на один цент...

Вряд ли Трумэн столь отчетливо понял все это уже в первые годы своей сознательной жизни. Лишь впоследствии ему стало окончательно ясно, что лицемерие в облике высокой нравственности может стать капиталом, не менее ценным и надежным, нежели наличные деньги. Из множества масок, доступных ему, впоследствии он выбрал наиболее выгодную для себя — маску человека совести.

Выбрать ее помог ему ангел, посетивший Трумэна в те дни, когда Гарри стоял за прилавком своего магазина, невесело размышляя о надвигающемся банкротстве.

Джентльмен, вошедший в магазин, внешне ничем не напоминал херувима. Это был Майк Пендергаст, босс местной организации демократической партии. Жуя резинку, он обвел скучающим взглядом полупустые полки. Потом выплюнул резинку на пол и, облокотившись о прилавок, сказал Трумэну:

— Хочешь стать окружным судьей?

Ангел явился к Гарри Трумэну, конечно, не случайно.

Родной город Гарри Инденпенденс входил в графство Джексон. Это графство, в свою очередь, входило в штат Миссури. Та часть графства Джексон, в которой находился Инденпенденс, имела свою организацию демократической партии. Боссом ее был Майк Пендергаст, отец Джеймса, с которым Гарри служил в армии.

Надо полагать, что Трумэн не раз жаловался фронтовому товарищу на свое бедственное положение, а тот, видимо, обратил на него внимание своего отца.

...Пройдет двадцать лет, и вокруг братьев Пендергастов разразится один из громких скандалов, регулярно сотрясающих Америку. В конце концов один из братьев — Том — сядет в тюрьму по обвинению в коррупции, взяточничестве и связях с преступным миром.

Но в те дни, когда ангел спустился к прилавку, за которым тосковал Гарри Трумэн, Пендергасты были фактическими хозяевами штата Миссури.

Зная, что Трумэну грозит банкротство, они решили заполучить преданного человека, который никогда не забудет оказанной ему услуги. Кроме того, партийные боссы считали нужным обновить ряды политиканов, достаточно намозоливших глаза избирателям. Гарри Трумэн был новым человеком, к тому же ветераном войны.

— Так хочешь или нет? — повторил свой вопрос Майк Пендергаст. — Если хочешь, считай, что место за тобой.

Трумэн согласился. Это согласие стало началом его политической карьеры. На ближайших выборах окружного судьи он, кандидат на этот пост от демократической партии, услышал о себе такие вещи, о которых раньше и не подозревал. Оказывается, он был выходцем из народа, героем-фронтовиком, вынесшим на своих плечах чуть не всю тяжесть войны, любимцем солдат, широко известным в армии офицером и вместе с тем скромным, простым человеком, смелым, честным, неподкупным, инициативным рядовым американцем. Всем своим поведением он, как выяснилось, олицетворял традиционную американскую демократию.

Об этом Трумэн не без тайного изумления узнал из местных газет и бесчисленных предвыборных речей. Это же провозглашали расклеенные повсюду плакаты.

Трумэн был избран окружным судьей.

Только ли поддержка Пендергастов, а впоследствии иных партийных боссов обеспечила Трумэну его политическую карьеру?

Нет, в дальнейшем он был многим обязан и себе самому. Работоспособность Трумэна — он приходил в свою канцелярию первым и покидал ее последним — вызывала восхищение. Бухгалтерская дотошность, с которой он рассматривал любой финансовый документ, снискала ему репутацию человека неподкупного и кристально порядочного. Его набожность — Трумэн не пропускал ни одной церковной службы — привлекала к нему симпатии святош. В 1934 году он был избран в Конгресс Соединенных Штатов — сенатором от штата Миссури.

Когда Бесс и Гарри Трумэн переехали в Вашингтон, ему уже было пятьдесят лет.

Как только президент Америки Франклин Делано Рузвельт провозгласил свой новый курс, Трумэн проявил себя его активным сторонником.

Чем завоевал Рузвельт симпатии миссурийского сенатора? Естественно, Трумэн, к тому времени уже достаточно поднаторевший в вопросах политики и главным образом в делах большого бизнеса, понимал, что отчаянная попытка нового президента вывести страну из потрясшего ее в начале тридцатых годов небывалого кризиса не имеет альтернативы. Немалую роль сыграл, впрочем, и тот факт, что Рузвельт возглавлял демократическую партию, с которой были связаны все политические успехи Трумэна. Так или иначе миссурийский сенатор не упускал случая, чтобы заявить о своей поддержке линии президента.

Внешней политикой он не интересовался и в международных вопросах чаще всего плыл по течению, присоединяясь к большинству в конгрессе. В середине тридцатых годов, когда господствующим настроением в Америке был изоляционизм, то есть невмешательство в европейские дела, Трумэн голосовал за принятие закона о нейтралитете. Когда Гитлер развязал вторую мировую войну, а затем напал на Советский Союз, это не произвело на Трумэна особого впечатления. Подобно миллионам американцев, он еще находился во власти иллюзии, что на Соединенные Штаты, отдаленные от Европы океаном, война никак не повлияет. Что касается Советского Союза, то Трумэн имел о нем туманное представление. Коммунизм был для него автоматически связан с безбожием и воспринимался как чудовищный антипод всем тем жизненным устоям, без которых Трумэн не представлял современного цивилизованного общества. Впрочем, и Гитлеру миссурийский сенатор тоже не симпатизировал, хотя считал, что немецкий фюрер заслуживает некоторого снисхождения, поскольку несет на себе основную тяжесть борьбы с коммунизмом.

Вообще же Трумэн считал, что любые события в мире следует оценивать лишь с одной точки зрения: выгодны или невыгодны они для американского Бизнеса, который для Трумэна был синоним Америки в целом. Сам господь бог предначертал этой стране служить образцом для всего человечества, не жертвуя для него ни малейшей частицей своих неисчислимых богатств. Именно тогда Трумэн произнес фразу, которая вошла в историю как яркий пример убийственной автохарактеристики: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если будет выигрывать Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше, хотя я не хочу победы Гитлера ни при каких обстоятельствах».

Сенатор из Миссури не был бездарным человеком. Он обладал своего рода талантом дотошности и работоспособности, особенно когда дело касалось финансовых вопросов, — а Трумэн был членом двух связанных с финансами комитетов сената: по ассигнованиям и по межштатной торговле. Если бы конституция Соединенных Штатов Америки предусматривала должность главного бухгалтера страны, лучшей кандидатуры, чем Гарри Трумэн, невозможно было бы найти. Он рассматривал свою родину как гигантское хозяйственное предприятие и мечтал навести в нем идеальный порядок, то есть все учесть, все сбалансировать и из каждой операции извлечь максимальную прибыль.

Страсть к учету и контролю всегда способствовала популярности Гарри Трумэна. Во время же второй мировой войны она принесла ему общенациональную известность.

Популярности Трумэна во многом способствовало и то, что в начале 1941 года по его инициативе был учрежден специальный сенатский комитет для анализа финансовой стороны национальной военной программы. Инициатор создания комитета стал, естественно, и его председателем.

В вопросах военной стратегии и тактики Трумэн разбирался очень слабо. Но военная экономика — именно потому, что она была экономикой, — стала его родной стихией. От колючих близоруких, прикрытых толстыми стеклами глаз сенатора, казалось, не мог укрыться ни один факт расхищения государственных средств, ни одна сделка сомнительного характера.

Но — странное дело — вскрываемые комитетом Трумэна неблаговидные факты, как правило, не получали широкой огласки. Американцы узнавали из газет, что въедливый миссуриец никому не дает спуску, что, израсходовав на свои расследования менее полумиллиона долларов, он сэкономил государству около

пятнадцати миллиардов. Тем не менее ни один казнокрад не сел по инициативе Трумэна на скамью подсудимых, не был публично назван по имени. На закрытых заседаниях комитета эти казнокрады — чаще всего руководители крупных промышленных монополий — выслушивали отеческие внушения, иногда даже подвергались острой критике. Но комитет никогда не возбудил ни одного судебного преследования. Никогда и ни одного!

Трумэн отлично понимал, кто на деле управляет гигантскими предприятиями «Соединенные Штаты Америки». Главный бухгалтер крупной корпорации не только имеет право, но и прямо обязан следить за ее доходами и расходами. Ему простят даже резкий разговор в тесном кругу, если один из директоров проявит чрезмерную заботу о собственном кармане, грозящую нанести ущерб корпорации в целом. Но на этом контрольные функции главного бухгалтера кончаются. Всякая попытка вынести сор из избы и обратиться к рядовым акционерам неизбежно приведет к тому, что этот бухгалтер лишится должности.

Трумэн хотел сохранить свою. Он уже давно ощутил пьянящий вкус власти. Но когда на очередных президентских выборах председатель национального комитета демократической партии Ханнеган предложил сенатору от Миссури баллотироваться в вице-президенты, Трумэн растерялся. На мгновение он почувствовал себя, как много лет назад, когда в его прогоравший галантерейный магазин зашел Майк Пендергаст и задал свой неожиданный вопрос: «Хочешь стать окружным судьей?»

Разумеется, сейчас это был уже другой Трумэн, старый сенатор, свой человек на Капитолийском холме. Но все-таки он растерялся, так как о столь высоком кресле и не помышлял. Он никогда не был политическим деятелем в точном смысле слова. Ему были чужды международные проблемы, он никогда не принимал решений, которые влияли бы на судьбы десятков миллионов людей, никогда не определял государственный курс. Трумэн понимал, что все это и не входит в обязанности вице-президента, — этот пост имеет главным образом представительный характер, — но само слово «вице-президент» все-таки подавляло его своим величием. Он решительно отказался.

Большинство людей, добившихся высокого положения в капиталистическом мире, достигали вершин власти, затрачивая на это максимум усилий и средств. Одних, стоявших поперек пути, они расталкивали, других так или иначе устраняли. При этом они произносили сотни тысяч слов, всячески рекламируя свои дарования, свою честность, свою любовь к народу.

Трумэн оказался парадоксальным исключением из этого правила. Казалось, сама судьба ведет его вверх по иерархической лестнице. Хотя осведомленные люди и знали, что он был «человеком Пендергастов», партийный аппарат демократов всячески поддерживал его репутацию как человека честного, прямого, не погрязшего в коррупции и, судя по всему, не рвущегося к власти. Ходили слухи, что Рузвельт хотел иметь в качестве вице-президента Уоллеса, но, столкнувшись с упорным, хорошо организованным сопротивлением демократов-южан, согласился на Трумэна.

Война в Европе близилась к концу, гитлеровская Германия сотрясалась под ударами советских войск. Постепенно во весь свой гигантский рост возникали проблемы послевоенного устройства. В то же время на Дальнем Востоке продолжалась другая, чисто американская война — с Японией. Соединенные Штаты несли в ней большие потери. По убеждению Рузвельта, победоносно закончить эту войну можно было только с помощью Советского Союза.

Президент знал, что человек, подобный Трумэну, не будет вмешиваться в его внешнюю политику, — она его попросту не интересует. Однако своей репутацией честного, порядочного, неподкупного американца он еще более укрепит авторитет верховной власти.

Вероятно, поэтому Рузвельт и остановил свой выбор на Трумэне. Впрочем, не исключалось и то, что на Рузвельта был оказан известный нажим: крупные монополии видели в Трумэне своего человека, тем более выгодного, что народ, точнее «средний американец» никак не связывал их с ним.

Узнав о том, что Трумэн упрямится, Рузвельт передал через Ханнегана несколько резких фраз несговорчивому миссурийцу. Отказ Трумэна, подчеркнул президент, может привести к расколу в демократической партии.

Случилось так, что Трумэн был в кабинете Ханнегана, когда тому позвонил Рузвельт. Ханнеган умышленно держал телефонную трубку на некотором расстоянии от уха, чтобы до его посетителя доносился сердитый голос президента.

Трумэну предстояло сделать выбор. Несколько минут он метался по кабинету, садился в кресло, вскакивал, бормотал какие-то слова, словно разговаривая с самим собой, упрекал Ханнегана в чрезмерной настойчивости, а Рузвельта — в том, что он не нашел времени переговорить с ним, Трумэном, лично, поставить в известность о своем намерении.

Наконец Трумэн остановился перед Ханнеганом, вытер платком выступивший на лбу пот и обреченно сказал:

— Что ж, если дела обстоят так, я согласен.

Упрекая Рузвельта в том, что тот не нашел времени предварительно поговорить с ним лично, Трумэн не знал, что вскоре у него будут еще более веские причины для упреков подобного рода. В течение всего последующего времени и вплоть до самой своей смерти Рузвельт имел с вице-президентом всего две беседы, да и то очень короткие. Правда, Трумэн регулярно посещал заседания кабинета министров, зато Рузвельт никогда на них не присутствовал...

Трумэн все еще верил, что в конце концов Рузвельт вспомнит о нем, пригласит для продолжительной беседы, введет в курс внешней политики, посвятит во все детали взаимоотношений с руководителями других стран, обсудит планы дальнейших действий...

Но его надеждам не было суждено осуществиться.

В четверг, 12 апреля 1945 года, в Уорм-Спрингсе, штат Джорджия, в то время как художник заканчивал работу над его портретом, Рузвельт внезапно вытянулся в кресле, словно желая встать на свои парализованные ноги, конвульсивно содрогнулся и упал на ковер.

В тот же вечер, не приходя в сознание, президент Соединенных Штатов Америки скончался. Последним подписанным им документом было послание Сталину с заверением в дружбе и честном сотрудничестве.

Спустя час после того, как врачи, склонившиеся над постелью Рузвельта, констатировали, что он мертв, в Вашингтоне агенты секретной службы примчались к Трумэну, через черный ход поспешно вывели его на улицу, усадили в машину с темными пуленепробиваемыми стеклами и под завывание сирен доставили к Белому дому.

«Как же все это произошло?!» — спрашивал себя Трумэн, когда наконец остался один. Он попытался привести в порядок свои мысли и чувства. В глубине души он не верил, что все случившееся в последний час — не сон и не игра воображения. Как же все это произошло?

Кажется, было так... После заседания сената он сидел в своем кабинете в здании Капитолия и писал письмо матери. Нет, нет, он писал это письмо, еще председательствуя на заседании, — в Соединенных Штатах вице-президент одновременно является и председателем сената. Выступал сенатор от Висконсина, правый республиканец Уайли. Его можно было не слушать.

Да, еще во время заседания он, будто бы делая пометки в своем блокноте, на самом деле писал письмо в Индепенденс, жаловался на многословного сенатора и просил мать завтра, в девять часов тридцать минут, включить радио и послушать речь сына, который как председатель сената обратится к нации по случаю Дня памяти Джефферсона.

«Как председатель сената!» — мысленно повторил Трумэн. С почти мистическим трепетом он подумал, что эти слова писал уже не председатель сената, а президент Соединенных Штатов...

После того, как заседание кончилось, Трумэн вернулся в свой кабинет в том же здании конгресса на Капитолийском холме. Ему сказали, что уже два раза звонил Рейборн, спикер палаты представителей. Трумэн хотел связаться с ним, но Рейборн снова позвонил сам. Пригласив Трумэна в свой кабинет, он сказал, что его срочно разыскивает пресс-секретарь президента Стив Эрли.

Трумэн велел соединить его с секретарем Рузвельта. Тот говорил резко, пожалуй, даже грубо. Видимо, он хотел скрыть свое волнение... Впрочем, в том, что сообщил Эрли, Трумэн не почувствовал ничего необычного, Эрли коротко сказал, что Трумэн должен немедленно, сейчас же приехать в Белый дом и через центральный подъезд пройти в комнаты жены президента госпожи Элеоноры Рузвельт.

Трумэн и тогда еще ничего не понял. Он решил, что президент вернулся из Уорм-Спрингса, чтобы присутствовать на похоронах епископа Атвуда. Покойный был его другом. Кроме того, Рузвельт и сам имел титул Почетного Носителя Епископской Мантии.

Но что все-таки заставило президента столь срочно вызывать своего вице-президента чуть ли не во время заседания сената? Мысль об этом мелькнула в голове Трумэна, но он на ней не задержался.

По дороге в Белый дом он не заметил и того, что на этот раз агентов секретной службы было вокруг него больше, чем обычно.

Что сказала ему Элеонора Рузвельт, ожидавшая его на пороге своей комнаты? Как она выглядела? Трумэн не запомнил ни выражения ее лица, ни того, как она была одета. Только слова.

— Гарри... президент скончался...

Что было потом? События развивались все быстрее. Трумэну казалось, что он, маленький, беспомощный, беззащитный, внезапно оказался в центре страшного вихря, самума, смерча...

Едва придя в себя и осознав, что произошло, он, кажется, попросил Стива Эрли немедленно

вызвать в Белый дом министров, членов конгресса и прежде всего председателя верховного суда Харлана Стоуна. Потом он пошел в кабинет покойного президента, расположенный в западном крыле Белого дома. В ушах все еще звучали роковые слова: «Президент скончался». Люди, окружавшие жену — теперь уже вдову — президента, всхлипывали, плакали, рыдали. Он ничего не видел, кроме мелькания белых платков.

Трумэн попытался позвонить в Инделенденс. В горе и радости он всегда оставался хорошим семьянином. Его долго не соединяли...

Кто-то — он не запомнил, кто именно, — сказал ему, что в Белом доме собрались все официальные лица, которые должны присутствовать на церемонии принесения присяги новым президентом.

Но церемония почему-то не начиналась. Трумэну объяснили, что не могут найти Библию. В Белом доме как назло не оказалось ни одного экземпляра...

Наконец, нашли — обычное гидеоновское издание, какое есть в любом номере любой американской гостиницы. Трумэн запомнил, что Библия была в красной обложке.

Принеся традиционную клятву, Трумэн бросил взгляд на стоявшие неподалеку часы. Было ровно семь часов девять минут. Это он запомнил точно.

Трумэн и до этого не раз бывал в Белом доме, но теперь обошел все его помещения уже как хозяин, знакомясь с многочисленными сотрудниками канцелярии президента и охранниками. К концу своего долгого обхода он понял, что каждый из людей, кому он пожимал руку или дружески трепал по плечу, приветливо кивая головой, не испытывал никаких добрых чувств к новому президенту. Почти никто не поздравил его, но каждый так или иначе говорил о смерти Рузвельта как о невосполнимой утрате.

Розовощекий, голубоглазый, старавшийся выглядеть энергично, одетый несколько крикливо, с галстуком-«бабочкой» и в двухцветных туфлях, Трумэн внешне был полной противоположностью полуразбитому параличом, изможденному долгой болезнью покойному президенту. То, что никто в Белом доме при встрече с ним не нашел слов уважения и поддержки, то, что он не услышал ничего, кроме сожалений о неутешном горе, постигшем Америку, вызывало в Трумэне глухое раздражение против ушедшего. Новому президенту отводилась роль бледного фона, на котором образ Рузвельта приобретал еще более величественный ореол. Трумэн понимал, что все бывшее окружение Рузвельта относится к нему как к случайному человеку, волей слепого рока неожиданно превратившемуся из простого статиста в вершителя миллионов человеческих судеб.

Обходя сейчас помещения Белого дома, думал ли Трумэн о том, кого и что будет он здесь представлять?

Если бы ему задали такой вопрос, он бы, конечно, ответил: «Соединенные Штаты Америки, ее лучшую в мире социальную систему, всех американцев вместе и каждого в отдельности».

Но каким бы путем государственный деятель буржуазного мира ни пришел к власти, — проложив ли себе дорогу огнем и мечом, добившись ли победы с помощью явных, тайных, прямых и косвенных голосований, совершив ли дворцовый переворот, сговорившись ли со своими сообщниками в скрытой от посторонних глаз прокуренной комнате, — такой государственный деятель неизбежно должен был выполнять волю класса господствующего, соблюдать его интересы.

Воля и интересы этого класса вовсе не обязательно фиксировались в каком-либо программном документе. Да и сам этот класс вовсе не обязательно был един. Наоборот, в нем яростно боролись противостоящие друг другу группы, отстаивая свое право на обладание капиталом, а следовательно, и властью.

Трумэн понимал, что, в общем-то случайно став президентом, он сможет оставаться им лишь до тех пор, пока будет выполнять волю своих подлинных хозяев. Эти хозяева — американские монополии — жаждали европейских и иных рынков сбыта, потерянных во время войны, стремились вытеснить с мирового рынка своих ослабевших конкурентов. Америка рвалась к власти над миром — экономической, а значит, и политической, — ведь былое могущество Британии утрачено навеки, а Советский Союз после понесенных им гигантских потерь сам нуждается в помощи. Явившись кровавым испытанием для России и для всей Европы, вторая мировая война не сделала ни шага по Соединенным Штатам, однако до предела загрузила американскую военную промышленность и принесла ее магнатам астрономические прибыли.

Согласно американской конституции, президентом мог стать и стал только он, Трумэн. Но никакая конституция не гарантирует ему успеха, если среди многих дел — больших и малых — он забудет о главном. Главное же состоит в том, чтобы обеспечить власть над миром той Америки, которая избегает гласности, не стремится к чинам, орденам и другим знакам

отличия, но мечтает о мировом господстве. Проникнуть в тайное тайных этой Америки дано не каждому — оно зашифровано в колонках магических цифр, в постоянно меняющихся курсах акций, в быстро растущих суммах заграничных капиталовложений...

Обо всем этом Трумэн вряд ли размышлял в первые часы своего пребывания в Белом доме.

Сейчас его гораздо больше тревожило то, что отныне он не принадлежит ни самому себе, ни своей семье. Честолюбивый, достаточно обеспеченный, признанный «своим» на Капитолийском холме, Трумэн тем не менее привык к образу жизни среднезажиточного обывателя. Он сам водил автомобиль и никогда не имел шофера. Сам чистил обувь. Сам шел на вокзал, если нужно было купить билет, и, экономя на носильщике, сам нес свои чемоданы. Отныне он обречен жить в этом огромном многокомнатном здании, среди не любящих и не уважающих его людей. Отныне он не сможет как простой смертный покинуть этот дом, выехать из Вашингтона, зайти на биржу, посидеть в баре, поиграть с кем хочет в свой любимый покер...

Трумэну захотелось остаться одному. Из западного крыла Белого дома, где размещались канцелярия президента и другие служебные помещения, он пошел в пустынные сейчас парадные комнаты.

Вид широкой мраморной лестницы, ведущей на второй этаж, в зал приемов, заставил Трумэна содрогнуться. Он представил, как поднимается по этой лестнице со своей женой Бесс. Гремит оркестр. Музыканты в красных мундирах военно-морских сил приветствуют президента и первую леди страны традиционным маршем «Hail to the chif»[1]. Два рослых гвардейца несут флаги — личный штандарт президента и государственный флаг Соединенных Штатов Америки...

Так бывало во время официальных приемов, на которых Трумэн не раз присутствовал.

Но при одной мысли, что по этой священной лестнице будут идти он и Бесс, — и не в свите президента, а во главе торжественной процессии, — Трумэна охватывала дрожь.

Быстро поднявшись по лестнице, он из зала приемов прошел в парадную столовую. Его привлекали сейчас не огромный, рассчитанный на десятки гостей стол, не отливающие золотом парчовые драпировки и не великолепие лепного потолка. Он пришел сюда, чтобы увидеть и прочесть начертанные золотом над камином слова первого хозяина Белого дома президента Джона Адамса. Это были слова молитвы, которую Адамс произнес, вступая в новую резиденцию американских президентов:

«Я МОЛЮ НЕБО БЛАГОСЛОВИТЬ ЭТОТ ДОМ И ВСЕХ, КТО БУДЕТ В НЕМ ОБИТАТЬ. ПУСТЬ ЛИШЬ ЧЕСТНЫЕ И МУДРЫЕ ЛЮДИ ПРАВЯТ ПОД ЭТИМ СВОДОМ».

Трумэн долго стоял, читая и перечитывая эти торжественные слова. Ему казалось, что он слышит ободряющий голос Адамса, что именно его, Трумэна, из глубины почти двух столетий благословляет один из основателей Соединенных Штатов.

Это ободрило и подкрепило нового президента, но лишь на несколько мгновений. До тех пор, пока он не перевел взгляд на портрет Авраама Линкольна. Автор портрета Джордж Хилли изобразил шестнадцатого президента Соединенных Штатов Америки погруженным в глубокое раздумье. Но Трумэну сейчас не было дела до раздумий Линкольна. Другая мысль повергла его в смятение. Ведь Авраам Линкольн погиб от руки убийцы!

Будучи простым сенатором, Трумэн жил в безопасности. А теперь?! Кто знает, может быть, здесь, в Вашингтоне, вблизи Белого дома, какой-нибудь немецкий или японский диверсант уже готовит покушение на жизнь нового американского президента...

«Нет, — твердо сказал себе Трумэн. — Это пустые страхи. Богу было угодно сделать меня президентом, длань божья незримо лежит на моем плече! Я буду жить и управлять страной. Я докажу, что достоин своего высокого предназначения».

Мысленно произнеся эти слова, Трумэн быстро вышел из столовой.

В Красной комнате, стены которой были обиты пурпурным шелком, Трумэн задержался. Эта комната служила своего рода портретной галереей. Здесь висели портреты всех президентов Америки. Не хватало только Франклина Делано Рузвельта. Трумэн невольно подумал, что когда-нибудь здесь, на свободном месте, будет висеть и его собственное изображение. Эта мысль обрадовала его и тут же заставила содрогнуться: ведь сам он тогда уже будет мертв...

Пытаясь отвлечься, Трумэн стал вглядываться в лица президентов. Он надеялся увидеть в них нечто такое, что отличало их от обычных людей. Но все президенты — от Вашингтона до Гувера — смотрели на него отрешенным взглядом. Мысли их были непроницаемы, словно они не хотели иметь дела с умоляюще глядевшим на них тридцать третьим президентом Соединенных Штатов...

[1] Слава лидеру *(англ.)*.

Трумэн перешел в Восточную комнату. Здесь висел старейший из оригинальных портретов, которыми обладал Белый дом, — портрет Джорджа Вашингтона. В глубине комнаты стоял огромный рояль на ножках в виде орлов. В этой комнате выступали знаменитые пианисты, певцы, скрипачи.

Не сознавая, что он делает, Трумэн подошел к роялю, поднял крышку, присел на стул и опустил руки на клавиши.

Он неплохо играл на рояле — упорные занятия музыкой в детстве не прошли даром — и сейчас взял несколько аккордов. В зале с задрапированными окнами они раздались негромко, глухо, но Трумэн почувствовал внезапный испуг, словно не ожидал их услышать. «Это грех! — подумал он. — Я совершаю грех в доме покойника!»

Поспешно закрыв рояль, Трумэн встал со стула, облокотился о крышку рояля и сложил ладони.

Он молился. Повторял слова Адамса. Просил бога дать ему силы на новом поприще, сделать его мудрым, покарать его врагов, в том числе и тех людей, которые только что смотрели на него с презрением, сожалением или просто снисходительно.

Окончив молитву, Трумэн почувствовал себя лучше, увереннее. «К делу! — мысленно произнес он. — Я президент! Надо работать! К делу!»

Вечером того же дня Трумэн созвал заседание кабинета министров. Это было чисто информационное заседание. Попросив каждого из министров коротко доложить о главных проблемах своего ведомства, Трумэн хотел сразу войти в курс дела. Он молча выслушал сообщение военного министра Генри Стимсона о положении на Дальнем Востоке. Япония ожесточенно сопротивлялась и, видимо, не помышляла о капитуляции. Государственный секретарь Стеттиниус обрушил на нового президента столько вопросов, что Трумэн с трудом их запоминал. Речь шла, в частности, о предстоящей новой встрече «Большой тройки». Необходимо было окончательно определить наконец позицию Соединенных Штатов по отношению к будущему Германии. План Моргентау предусматривал, в частности, раздробление побежденной страны на ряд карликовых государств. Он еще не был окончательно отброшен, но находился в прямом противоречии с планом сохранения Германии как экономического целого, как будущего партнера Америки, впрочем, целиком от нее зависящего.

Трумэн молча слушал своих министров. Никогда еще, думал он, американскому президенту не приходилось решать такое количество сложных и противоречивых проблем.

В двенадцатом часу ночи Трумэн закрыл заседание, так и не приняв ни одного решения.

Он неприязненно глядел вслед выходившим из Овального кабинета министрам, пока не заметил, что Стимсон, видимо, не собирается уходить.

Трумэн посмотрел на него вопросительно и вместе с тем недовольно. К военному министру он относился с безотчетной внутренней неприязнью. Стимсон еще до первой мировой войны назначался военным министром Соединенных Штатов. Когда война разразилась, он был полковником в экспедиционных войсках во Франции. В тех же войсках бывший интендант Трумэн пребывал всего лишь в качестве командира конной батареи. После войны, в то время как Трумэн пробовал свои силы на торговом поприще, Стимсон уже управлял Филиппинами, а затем стал государственным секретарем США. В 1933 году он, казалось, сошел с политической арены. Но через семь лет Рузвельт предложил ему снова занять пост военного министра.

Некоторая двусмысленность положения состояла в том, что Рузвельт был демократом, Стимсон же — одним из активных деятелей республиканской партии. Может быть, приглашая Стимсона, Рузвельт хотел заткнуть рот оппозиции. Но возможно и другое: противник акта о нейтралитете, сторонник сотрудничества Соединенных Штатов с западными демократиями против Гитлера, крупный военный специалист, Стимсон оказался наиболее подходящей фигурой теперь, когда началась вторая мировая война.

Яркий послужной список семидесятивосьмилетнего Стимсона и его длительное сотрудничество с Рузвельтом как раз и вызывали у Трумэна неприязнь к этому худощавому старику.

Став президентом, Трумэн решил сразу показать, кто теперь хозяин в Белом доме.

— Я выслушал ваш доклад, — сказал он, пригласив Стимсона сесть. — Признаюсь, он не произвел на меня слишком оптимистического впечатления. По вашим словам, мы не сможем разгромить Японию без помощи русских. Следовательно, мы, по крайней мере в ближайшем будущем, не можем проявить никакой инициативы без согласия большевиков.

— Господин президент, — ответил Стимсон, как бы пропуская мимо ушей то, что в несколько вызывающем тоне произнес Трумэн, — я остался для того, чтобы информировать вас об

одном... — Стимсон мгновение помолчал, — об одном весьма важном обстоятельстве военного характера.

— Я уже принял во внимание все эти обстоятельства, слушая вас, — сказал Трумэн.

— То, что я хочу вам сообщить, не упоминалось ни в моем докладе, — продолжал Стимсон, — ни в каких-либо других. Речь идет о государственной тайне, которую нельзя доверить бумаге.

Если бы, услышав эти слова, Трумэн взглянул на часы, он мог бы с точностью до минуты запомнить время, от которого начался отсчет его политики на ближайшие годы. Но Трумэн не сделал этого. Слова Стимсона вызвали у него даже не любопытство, столь естественное в такой ситуации, а раздражение. Перед ним, судя по всему, возникала необходимость решать еще одну нелегкую проблему.

— Какая тайна? — сухо спросил Трумэн.

— Моей обязанностью, господин президент, — официальным тоном произнес Стимсон, — является сообщить вам, что в стране заканчивается разработка нового взрывчатого вещества. Скоро произойдет испытание...

Трумэн недовольно передернул плечами. «Взрывчатое вещество! — мысленно повторил он. — Рутинное дело военного ведомства. Неужели президент должен заниматься и этим?»

— И что же?.. — сказал он, вопросительно глядя на Стимсона.

— Это особая... штука, господин президент, — медленно проговорил Стимсон. — Взрывчатка почти... почти невообразимой силы.

Познания Трумэна в этой области остались на том уровне, когда он командовал артиллерийской батареей. Кроме того, он знал — об этом часто писалось в газетах, — что немцы применяли для бомбардировки Лондона особые ракеты под названием «Фау».

— Что же вы собираетесь делать с этой взрывчаткой? — спросил Трумэн. — Начинять ею снаряды? Или бомбы?

— Мне трудно сейчас ответить на этот вопрос, — сказал Стимсон. — Исследовательские работы ведутся уже несколько лет. Фактически с сорокового года. Кодовое название «Манхэттенский проект».

— При чем тут Манхэттен?

— Главным производителем работ, по крайней мере строительных, является Манхэттенский инженерный округ, — объяснил Стимсон. — Речь идет, господин президент, не просто о новом взрывчатом веществе в обычном смысле этого слова. Не о чем-то похожем на, скажем, динамит, аммонал или тринитротолуол. Ученые полагают, что есть возможность высвободить энергию вещества...

— Энергию вещества? — переспросил Трумэн. — Что это значит? Какие ученые?

— На эти вопросы тоже не так легко ответить. Пришлось бы начать слишком издалека. Словом, после того, как Гитлер пришел к власти, из Германии бежали многие ученые. В большинстве случаев евреи.

Как каждый стопроцентный американец, Трумэн чувствовал неприязнь к неграм, евреям и вообще к иностранцам.

— Что же дальше? — нетерпеливо спросил он.

— Повторяю, это длинная история. Кажется, еще до войны француз Кюри и венгр Сциллард высказали предположение, что материю можно заставить расщепляться. В результате распада высвобождается сила...

«Что за тарабарщина?» — еще более раздражаясь, подумал Трумэн. Он ожидал услышать от военного министра существенные комментарии к только что сделанному им докладу — например, что-нибудь весьма важное о положении на американо-японском фронте...

Вместо этого Стимсон невнятно говорил об ученых евреях-эмигрантах, о расщеплении материи... Какое дело президенту Соединенных Штатов до этого расщепления?

— Вы можете сформулировать все это проще и конкретнее? — спросил Трумэн.

— Господин президент, я не специалист. Сциллард в конце тридцатых эмигрировал в Штаты. Ферми тоже.

— А это кто такой?

— Ученый, итальянец.

Час от часу не легче! Евреи, венгры, итальянцы... В чьих же руках находится государственная тайна, которую, по словам военного министра, нельзя доверять даже бумаге?!

Стимсон почувствовал, что президент не в силах схватить сущности того, что он пытается ему доложить. Впрочем, ему и самому было ясно, что доклад его носит по меньшей мере сумбурный характер.

— Господин президент, — смущенно сказал он, — мое сообщение только предварительное. Я считал своим долгом без промедления посвятить вас, хотя бы в общих чертах, в один из самых тщательно охраняемых государственных секретов. Позже вы будете информированы более подробно.

— Но, черт побери, это же нелепо. Стимсон! — уже не сдерживая раздражения, воскликнул Трумэн. — Ведь вы ничего толком мне не сообщили!

Стимсон посмотрел на часы. Было без пятнадцати двенадцать.

— Господин президент, — с обидой сказал

Стимсон, — неужели вы думаете, что я в состоянии в двух словах объяснить сущность проекта, который разработали самые выдающиеся ученые мира? Я пытался вникнуть в содержание некоторых составленных ими бумаг. Они касаются лишь отдельных сторон проекта, поскольку упоминать о нем в целом строжайше запрещено. Почти каждая строка этих бумаг содержит самые непонятные математические и химические формулы, которые когда-либо писались пером, карандашом или мелом. Для осуществления проекта созданы специальная лаборатория и два завода. На них работает около пятнадцати тысяч человек.

— Вы полагаете, что проект остается тайной? — с иронической улыбкой спросил Трумэн.

— Да, сэр, я полагаю, что о проекте в целом знает строго ограниченная группа лиц, включая его непосредственных руководителей, а также меня и Гровса.

Пропустив мимо ушей ответ Стимсона, Трумэн размышлял, как ему следует реагировать на все, что тот сообщил. Может быть, он должен был выразить удивление по поводу того, что военный министр в свое время предоставил такое число людей и такое количество средств в распоряжение ученых, имена которых он, Трумэн, вообще раньше не слышал и которые пытались реализовать явно фантастический проект?

Стимсон сказал: «взрывчатка». Какая взрывчатка? Сильнее динамита, аммонала и прочих уже известных взрывчатых веществ? Во сколько раз сильнее? Вдвое? Втрое? Что она собой представляет? Порошок? Жидкость? Судя по всему, Стимсон и сам этого не знал. Может быть, приказать ему, чтобы он немедленно прекратил транжирить силы и средства? Ведь неизвестно, когда это предприятие вступит в строй, какую продукцию намерено выпускать, какая предусмотрена прибыль...

С другой стороны, если осуществление проекта в свое время было разрешено, то неужели только по прихоти каких-то эмигрантских ученых крыс?

Наконец до Трумэна все-таки дошли слова Стимсона о том, что с проектом в целом знаком лишь строго ограниченный круг лиц.

— Покойный президент знал об этой затее?

— Разумеется, — с готовностью ответил Стимсон.

Трумэн хотел сказать, что Рузвельт проявил в данном случае странное легкомыслие, но промолчал. До поры до времени он решил воздерживаться от гласного осуждения любых действий своего предшественника.

Была и другая, почти безотчетная причина, по которой Трумэн решил не высказываться слишком определенно. Ему не верилось, что Рузвельт мог одобрить явно фантастический проект просто так, без всяких серьезных оснований.

— Англичане знают обо всем этом? — спросил Трумэн.

— В общих чертах, сэр.

— Кто же осведомил их? Рузвельт? — нахмурившись, спросил Трумэн. — Но зачем? С какой целью?

Он почувствовал себя бизнесменом, который рассчитывал единолично завладеть богатейшим наследством, но вынужден делить его с другими родственниками.

— Видите ли, сэр, — понимая состояние своего нового босса и как бы защищая перед ним его предшественника, начал Стимсон, — этот вопрос тоже имеет свою предысторию...

— Вы можете изложить ее коротко?

— Попробую. Дело в том, что англичане приступили к работам по расщеплению материи еще до войны. До них этим занимались немцы.

— Дальше!

— Когда Гитлер начал преследовать интеллигентов, которые к нему не примкнули, эти люди эмигрировали во Францию.

— Не вижу связи...

— Минуту внимания, сэр! Вскоре англичанам стало ясно, что Гитлер готовит нападение на Францию. Их разведчики на специальном пароходе вывезли из Франции немецких ученых и имевшийся там запас «тяжелой воды»...

— Какой воды? — удивленно переспросил Трумэн, полагая, что просто ослышался.

— Тяжелой, — повторил Стимсон. — К сожалению, я не могу детально объяснить, что это такое. Знаю только, что без этой штуки работы по расщеплению невозможны.

— Вы хотите сказать, что Черчилль имел время заботиться о каких-то научных работах, когда самой Англии угрожало вторжение? — удивленно спросил Трумэн.

— Это было несколько раньше, сэр. Кроме того, Черчилль, видимо, знал, что работы начались еще в Германии, и боялся, что немцам все же удастся довести их до конца. Тогда Англия была бы обречена. Но если бы взрывчатку удалось добыть в Англии, Черчилль перестал бы нуждаться не только в помощи русских, но и в нашей помощи. Короче говоря, для англичан это был вопрос жизни или смерти. Поэтому они начали работать над созданием нового оружия. Оно получило название «Трубчатые сплавы».

После «тяжелой воды» еще какие-то «Трубчатые сплавы»! Это было уже слишком!

— Прошу вас избегать ученой тарабарщины, — резко сказал Трумэн. — Только факты!

— Когда Англия стала подвергаться бомбардировкам, Черчилль понял, что Британские острова не самое подходящее место для длительных и обширных научных исследований. Кроме того, ученые требовали огромных средств. Поэтому Черчилль посвятил в проект президента Рузвельта. По-моему, это было в конце сорок первого.

— Что ответил президент?

— Я не присутствовал при их беседе, сэр. Судя по всему, он предложил перенести работы в Штаты. В сорок третьем — это я знаю точно — Рузвельт и Черчилль заключили соглашение. Оно сделало Манхэттенский проект реальностью.

— С тех пор работы вели только мы?

— И да и нет, сэр. По данным нашей разведки, англичане пытались продолжать работу. На базе своего концерна «Империал Кэмикэл Индастри». Но у них ничего не вышло. Теоретические проблемы были в основном решены. Центр тяжести переносился на технологию, то есть на инженерную сторону дела. В этой сфере мы были гораздо сильнее. Покойный президент хорошо понимал это. Словом, фактически мы устранили англичан от участия в проекте.

— Значит, о предстоящих испытаниях и обо всем прочем Черчилль ничего не знает? — с надеждой спросил Трумэн.

— Вы сделали правильный вывод, сэр.

— А русские? — Трумэн с тревогой посмотрел на Стимсона.

— Вы думаете, что мы посвятили Сталина в то, что держали в секрете даже от Черчилля? — саркастически произнес Стимсон.

Трумэн молча, но с явным удовлетворением кивнул. Им руководила все та же логика бизнесмена, которая требовала, чтобы крупная сделка, сулящая огромные личные выгоды, держалась бы в тайне от тех, кто мог бы ее разгласить, или, что еще хуже, стать потенциальным конкурентом.

Этическая сторона вопроса Трумэна не интересовала. Ему было безразлично, что подумает его союзник Черчилль, когда испытания состоятся. Реакцию другого союзника Америки — Сталина — Трумэн представлял себе не без злорадства.

Бизнесмен не только мог, но и должен был громогласно рассуждать о морали. Это украшало его образ в глазах окружающих. Но на бизнесмена, который решился бы руководствоваться моралью в практических делах, Трумэн не поставил бы ни цента.

Он понимал, что в открывшуюся перед ним тайну посвящено не так уж мало людей. Конечно, иначе и быть не могло, но Трумэн думал об этом со смешанным чувством тревоги и раздражения.

— Кто из американских ученых играет ведущую роль в проекте? — спросил он.

— Роберт Оппенгеймер.

— Эмигрант?

— Американец. Но из семьи немецких эмигрантов.

— Он и руководит всем этим делом?

— Нет, руководителем проекта является бригадный генерал Лесли Гровс.

Теперь, когда Стимсон во второй раз назвал имя Гровса, Трумэну показалось, что оно ему знакомо.

— Гровс?...

— Да, да, сэр, тот самый, который руководил строительством Пентагона. Тогда он был полковником. Мы сочли, что более энергичного администратора трудно найти. Дали ему звание генерала и назначили руководителем проекта.

— Кому этот Гровс подчинен? — спросил Трумэн.

— Через меня вам, господин президент.

Стенные часы пробили двенадцать.

— Послушайте, Генри, — медленно начал Трумэн, по американской привычке переходя к обращению по имени, — вы сказали, что эта самая взрывчатка обладает невообразимой силой?

— По предварительным расчетам, да.

— Следовательно, армия, которая получит эту штуку на вооружение...

— Говорить о ее практическом применении еще рано, — торопливо сказал Стимсон. Он понял ход мыслей Трумэна, и его испугало, как бы прагматически мыслящий президент не стал требовать от него, Стимсона, чуть ли не ежедневных докладов. Это было практически невозможно. Задолго до смерти Рузвельт дал Стимсону указание содействовать осуществлению проекта, но не вмешиваться в него.

— Гровс говорит, — продолжал Стимсон, — что до решающей проверки пройдет еще несколько месяцев. Может быть, полгода.

Но Трумэн, казалось, не слышал Стимсона. Он повторял про себя: «Невообразимая сила... Невообразимая!..»

Когда Стимсон произнес эти слова, Трумэн не понял всего их значения. Теперь они целиком захватили его. «Невообразимая сила...»

Может быть, именно эти слова — награда за весь сегодняшний длинный, бесконечно

трудный день. Может быть, именно они — путеводная нить в том клубке противоречий, с которыми Трумэн столкнулся.

«Взрывчатка невообразимой силы...»

Было бы наивно полагать, что эти произнесенные Стимсоном слова уже сейчас на годы вперед определили политику Трумэна. Они воздействовали скорее на его чувства, чем на его разум. Но, повторяя их про себя, президент все же испытывал некоторое облегчение.

— Скажите, Генри, — неожиданно спросил он Стимсона, — насколько я помню тридцатые годы, вы, будучи государственным секретарем, всегда активно выступали против установления дипломатических отношений с Россией, не так ли?

Стимсон с удивлением посмотрел на президента, стараясь понять, куда он клонит.

— Я вышел в отставку в тридцать третьем году, — ответил он. — Покойный президент вновь призвал меня в сороковом. К тому времени Соединенные Штаты уже признали Россию.

— Да, да, конечно, — задумчиво произнес Трумэн. Взглянув на часы, он сказал уже иным, обычным своим голосом: — Первый час ночи. А я читал, что американские президенты всегда рано ложились спать.

— Таким образом, вы будете первым президентом, ломающим традиции, — с улыбкой сказал Стимсон. — Впрочем, это моя вина.

— Для того, чтобы сломать любые традиции, всегда необходим первый шаг, — в тон ему ответил Трумэн. — Благодарю вас, Генри, за важное сообщение. Спокойной ночи.

В последующие дни, читая документы или принимая министров, Трумэн все время думал о взрывчатке. Генри Стимсон рассказал о ней в общих чертах. Вызванный в Белый дом вслед за Стимсоном генерал Лесли Гровс более основательно познакомил с проектом президента. Не будучи ученым-специалистом, он говорил с Трумэном на понятном языке, избегая специфической терминологии, в которой и сам, видимо, был не слишком силен. Трумэну понравилась резкая определенность суждений, присущая Гровсу. Чувствовалось, что этот генерал знает свое дело и способен подчинить себе высоколобых интеллигентов, по отношению к которым следовало применять политику кнута и пряника.

Гровс дал Трумэну понять, что эти профессора — как эмигранты, так и американцы, вся эта «коллекция битых горшков», как с претензией на остроумие отозвался о выдающихся ученых бравый генерал, — находится в его надежной узде. Всякой интеллектуальной болтовни Гровс явно чуждался. На него можно было положиться.

Уже полностью сознавая значение того, что Стимсон назвал «взрывчаткой невообразимой силы», Трумэн с удовлетворением убедился, что Манхэттенский проект действительно скрыт непроницаемой завесой секретности. Специалисты, где бы они ни находились — в Лос-Аламосской лаборатории, которая разрабатывала конструкцию взрывного механизма и технологический процесс его изготовления, на Хэнфордском или Клинтонском заводах, которые обеспечивали реализацию проекта исходными материалами, — действовали в некоем вакууме, созданном усилиями Гровса. Без его разрешения они не имели права общаться не только с внешней средой — от нее они были изолированы, — но даже и между собой.

Гровс разработал целую систему слежки за каждым специалистом и создал внутри Манхэттенского проекта службу разведки и контрразведки, по существу, автономную от федеральных органов.

Трумэн полностью оценил и одобрил эту систему. С особым удовлетворением воспринял он слова Гровса о том, что сделано для устранения англичан от какого-либо участия в работах по подготовке предстоящих испытаний. Разумеется, еще важнее было, чтобы проект оставался строжайшей тайной для русских.

В своем предварительном докладе Стимсон не называл определенных сроков предстоящих испытаний. Гровс же был, видимо, абсолютно уверен в успехе. На вопрос президента он прямо ответил, что испытания состоятся через три, максимум через четыре месяца.

Недружелюбный прием, оказанный Трумэну в Белом доме, стал для него дополнительным источником энергии. Желание доказать, что он личность, личность с большой буквы, все более и более овладевала им. Соединенные Штаты Америки по-прежнему представлялись ему гигантским экономическим предприятием. От тех, с которыми он имел дело до сих пор, оно отличалось лишь своими масштабами, огромной экономической мощью и вдобавок располагало могучей военной силой. Став президентом, Трумэн повел себя так же, как если бы оказался во главе огромного банка или влиятельнейшей компании, имеющей филиалы во всех странах мира. Он приступил к изучению промышленно-экономического и финансового потенциала страны.

Но трудности подстерегали Трумэна на каждом шагу. Соединенные Штаты находились в состоянии войны. Новый президент каждую

минуту должен был принимать те или иные серьезные решения.

Немало времени Трумэн потратил на чтение переписки Рузвельта со Сталиным и Черчиллем. Особенно сильное впечатление произвели на него письма и телеграммы, которые Черчилль посылал Рузвельту после Ялтинской конференции. Из них явствовало, что победа уходит из рук американцев и англичан, что захват русскими всей Европы неотвратим, если не будут приняты самые срочные меры.

Трумэн никогда ранее не беседовал с Черчиллем и лишь эпизодически видел его на приемах в Белом доме. Теперь, читая послания знаменитого англичанина, он как бы слышал его голос, исполненный трагического пафоса, иногда умоляюще, а иногда и с угрозой взывающий к президенту.

Весь мир делился для Трумэна на две части. Одной из них — главной! — были Соединенные Штаты. Другую составляли все остальные страны. Некоторые из них были более или менее доступны его разумению. Великобритания, например, представлялась ему стареющим родственником, живущим где-то далеко. Его не следовало к себе приближать, но о нем приходилось заботиться. Затем шла Франция. Древнюю историю этой страны Трумэн, увлекавшийся в детстве историческими сочинениями, знал лучше, чем современную. Затем шли Германия и Советский Союз.

К гитлеровской Германии Трумэн стал относиться отрицательно с тех пор, как понял, что она претендует на ту роль в мире, которая самим господом богом предназначена Америке. Победы Гитлера он не хотел ни при каких обстоятельствах. Что же касается Советского Союза, то Трумэн представлял его себе примерно так, как правоверный христианин геенну огненную. То, что СССР уже не первый год является союзником США, казалось Трумэну своего рода историческим парадоксом.

Из посланий Черчилля следовало, что эта богопротивная страна теперь сама претендует на господство, если не на мировое, то по крайней мере на общеевропейское. «Вот к чему привела политика Рузвельта, — с раздражением и плохо скрытой яростью твердил Трумэн, — вот результаты пресловутого «ленд-лиза»! Мы вложили массу средств в предприятие, которое превращается в нашего могущественного конкурента! Конечно, — продолжал Трумэн свои размышления, — Рузвельт был выдающейся личностью. Но физическая немощь, столь прогрессировавшая в последние месяцы, а также сила инерции мешали ему пересмотреть свое отношение к Советскому Союзу, сделать выводы из присутствия русских в Европе! Не выпала ли эта миссия на мою долю? Не предстоит ли мне войти в историю как истинно американскому президенту?»

Истинно американским президентом был для Трумэна такой президент, политика которого исключала бы любую конкуренцию с Соединенными Штатами в любой части света.

Одним из конкурентов Америки вознамерилась стать Япония. Для Трумэна японцы были врагами, вероломными азиатами, своего рода инопланетянами, коварно напавшими на Пирл-Харбор. Японию следовало безжалостно разгромить.

Но в этом разгроме решающую роль должен был сыграть Советский Союз. Трумэн внимательно проштудировал не только протоколы и декларации Ялтинской конференции, но и секретное соглашение с Советским Союзом относительно Японии. Оно только усложняло ситуацию, которая и без того казалась Трумэну достаточно запутанной.

Главная сложность состояла в том, что после разгрома Японии Советский Союз мог не опасаться более за свой дальневосточный тыл и получал полную свободу действий в Европе. Открыто дать понять Черчиллю, что он полностью с ним согласен, Трумэн еще не решался. Он знал необузданный нрав британского премьера и боялся, что тот каким-либо необдуманным действием может преждевременно раскрыть карты и окончательно поссорить Сталина и с Англией и с Соединенными Штатами. Преждевременно — то есть до полного разгрома Японии общими усилиями Америки и Советского Союза.

Трумэн решил послать в Лондон Дэвиса, а в Москву — Гопкинса, чтобы выяснить реальные намерения Черчилля и в то же время усыпить подозрения Сталина.

Но в глубине души он уже был уверен, что Черчилль прав.

Внять его предупреждениям и не допускать захвата Советским Союзом Европы — это теперь представлялось Трумэну задачей первоочередной важности.

Прежде всего не отдавать большевикам Польшу! Эта страна была для Трумэна не более чем географическим понятием. Однако он знал, что в США живут несколько миллионов выходцев из Польши. Ведь это же сотни тысяч избирателей на следующих выборах!

Он подолгу рассматривал карту Европы, висевшую в Овальном кабинете Белого дома. Значительная часть европейского пространства, почти вся Восточная Европа, была заштрихована цветом Советского Союза.

«Но это же противоестественно! — мысленно восклицал Трумэн. — Разве Америка не

внесла свой пай в европейскую войну? Она затратила сотни миллионов долларов, помогая союзникам и, следовательно, имеет все права на дивиденды. Более того, Соединенные Штаты — полнокровная, могучая страна, обладающая самой совершенной экономической и политической организацией. По предначертанию самого господа бога она призвана утвердить идеалы христианства там, где человечество страждет, где разрушены дома, сожжены деревья, распались семьи, где убийство уже несколько лет является главным занятием людей!..»

Трумэн почти наизусть знал Нагорную проповедь Христа. Он опьянял себя мыслью, что настало время для ее воплощения. В его голове причудливо переплелись библейские тексты и современная экономика, учение Христа и уверенность в том, что именно Соединенные Штаты воплощают его с наибольшей полнотой, приверженность к евангельским догмам и бездушная расчетливость прижимистого финансиста.

Если Советская Россия не откажется от своих планов захвата Европы, то — прав Черчилль! — ее надо заставить!

Трумэн углубился в изучение документов, анализирующих экономическое и военное положение Советского Союза. Это были доклады Комитета начальников штабов, меморандумы, записки, адресованные покойному президенту.

В одном из докладов, датированном 3 августа 1944 года, Трумэн подчеркнул следующие строки: «После поражения Японии Соединенные Штаты и Советский Союз останутся единственными первоклассными военными державами... Хотя США могут перебросить свои силы во многие районы за океаном, тем не менее соответственная мощь и географическое расположение этих двух держав исключают нанесение поражения одной из них другой, даже если одна из сторон находится в союзе с Британской империей».

Тем временем глава американской военной миссии в Москве генерал Дин напоминал новому президенту, что потери, которые понес Советский Союз за годы второй мировой войны, оцениваются в многие миллиарды долларов. Следовательно, русские не смогут обойтись без американской помощи. Исходя из этого, утверждал генерал Дин, и необходимо строить американскую политику по отношению к русским.

Американский посол в Москве Гарриман, хотя и был активным сторонником послевоенного американо-советского сотрудничества, также считал, что экономика должна стать тем рычагом, при помощи которого Соединенные Штаты смогут полностью обуздать Советский Союз. Черчилль в своих очередных посланиях вновь настаивал на встрече «Большой тройки». Во время этой встречи Соединенным Штатам и Великобритании следовало, по его мнению, в ультимативной форме предъявить свои требования Советскому Союзу, и, в частности, заставить его признать польское эмигрантское правительство в Лондоне.

Среди людей, окружавших покойного президента, был, пожалуй, только один человек, с которым Трумэна связывало нечто вроде дружбы и в то же время тайного соперничества, возникшего во время выборов вице-президента. Его звали Джеймс Фрэнсис Бирнс. Он занимал должность директора Управления военной мобилизации. Трумэн и Бирнс были знакомы давно. Особенно же тесно они соприкасались в то время, когда Трумэн был председателем сенатского комитета по анализу финансовой стороны национальной военной программы. Умный, запальчивый, колючий Бирнс всегда импонировал Трумэну. Их политические взгляды полностью совпадали. Оба они считали, что Соединенные Штаты представляют собой самую совершенную в мире политическую систему. Кроме того, Бирнс, подобно Трумэну, питал особое пристрастие к миру цифр, к сфере финансовых расчетов. В глазах бывшего сенатора и нынешнего президента это качество отличало подлинно деловых людей от пустозвонов-политиканов.

В первый раз обойдя Белый дом и, можно сказать, не только умом и сердцем, но и кожей своей почувствовав, что люди, окружавшие Рузвельта, всегда будут уничижительно сравнивать его с покойным президентом, Трумэн решил обновить кабинет министров. Должность государственного секретаря — важнейший пост в правительстве — он решил предложить Бирнсу.

В том, что его решение правильно, Трумэн убедился несколькими днями позже. Разговаривая с Бирнсом, он выяснил, что тот хорошо осведомлен о Манхэттенском проекте. Видимо, Бирнс входил в тот круг лиц, о котором упомянул военный министр.

— Стимсон говорит, что это взрывчатка невообразимой силы, — сказал Трумэн Бирнсу. — А Гровс утверждает, что ее сила будет во многом превосходить тринитротолуол.

— Взрывчатка?! — воскликнул темпераментный Бирнс. — Да при ее помощи можно взорвать весь мир!

...Только из разговора с Бирнсом Трумэн окончательно понял, что речь идет о высвобождении атомной энергии.

Что это такое, Трумэн, в сущности, не знал. Мучительно напрягая память, он вспомнил, как

давным-давно школьный учитель физики рассказывал о молекулах и атомах, из которых состоит любая материя. Показав классу обыкновенную спичку, учитель сказал:

— Если бы сила, которая сцепляет атомы, заключенные в этой спичке, разом освободилась, от нашего города ничего бы не осталось.

Тогда Трумэн воспринял это просто как сказку и вскоре забыл о ней. Теперь Бирнс вслед за Гровсом рассказал ему о гигантской работе огромного коллектива ученых, инженеров, конструкторов, стремящихся изготовить не просто взрывчатку, но авиабомбу неимоверной силы. Слушая это, Трумэн почувствовал себя Алисой в стране чудес.

— Гровс утверждает, что все будет готово в ближайшие месяцы, — сказал он.

— Раньше Гровс не называл точных сроков. Вероятно, боялся, что не выдержит их, — с усмешкой ответил Бирнс. — Но мне тоже известно, что решающее испытание уже планируется. Очевидно, оно и впрямь состоится через несколько месяцев. Если все пройдет успешно, изготовление бомбы станет делом техники.

Трумэн молчал. Губы его едва заметно шевелились. Он читал молитву, благодаря всевышнего за то, что становится единственным президентом Соединенных Штатов, обладающим таким преимуществом, о котором не мог даже мечтать никто из его предшественников.

Неожиданная тревожная мысль прервала молитву.

— А русские? — спросил Трумэн. — Гровс говорит, что утечка информации полностью исключена. Но что если и они...

— Это нереально, Гарри! — мгновенно поняв его, ответил Бирнс. — Все эти годы русские стремились лишь сравняться с немцами в количестве танков и самолетов. В конце концов они добились паритета, а сейчас имеют даже некоторое преимущество. Но Манхэттенский проект потребовал миллиардов долларов. Откуда русские их возьмут?! Когда мы, располагая самыми блестящими учеными Европы, приступили к работе, немцы стояли под Москвой и на окраинах Петрограда. Чтобы создать нечто подобное Манхэттенскому проекту, им потребуются многие годы.

— Значит, как только бомба будет сделана, мы сможем разом покончить с Японией? — осторожно спросил Трумэн. Он хотел добавить: «И без русских?» — но промолчал.

— Я убежден, Гарри, что вам следует мыслить сейчас более широко, — назидательно сказал Бирнс. — Вы помните, почему русские проиграли Крымскую кампанию? Потому что англичане уже обладали флотом с паровыми двигателями. А русские по-прежнему пользовались парусами... Между парусом и паровым двигателем во сто, в тысячу крат меньше разницы, чем между сегодняшним обычным вооружением и тем, которое готовит Гровс. Делайте из этого необходимые выводы, мистер новый президент! — торжествующе закончил Бирнс.

Но Трумэна не нужно было об этом просить. Он уже сделал выводы. Если верить преданию, Александр Македонский вместо того, чтобы развязывать гордиев узел — что до него тщетно пытались сделать многие, — попросту разрубил его. Теперь сам господь бог вкладывал в руки Трумэна меч исполинской силы, способный разрубить все мировые гордиевы узлы, вместе взятые. Бирнс прав: сейчас необходимо мыслить масштабнее и шире. Прошло время, когда Рузвельту приходилось идти на уступки Сталину и убеждать Черчилля делать то же самое. Теперь все проблемы войны и мира будут решаться коротким «да» или «нет», которое произнесут Соединенные Штаты!..

Всю свою жизнь Трумэн проповедовал умеренность, осторожность, сдержанность. Он любил повторять, что люди, подобные Александру Македонскому, Юлию Цезарю или Гитлеру, терпели крах потому, что не умели вовремя остановиться.

Он утверждал, что если есть выбор между первым местом и вторым, всегда нужно занимать второе.

Но теперь он претендовал на первое.

До сих пор Трумэн был уверен, что ничто не ново под луной, и все, что происходит в мире, так или иначе уже происходило в эпоху римских императоров от Клавдия до Константина.

Теперь он присутствовал при начале новой эры, которой не знала мировая история. Вершителем этой новой истории предстояло стать именно ему.

После разговора с Бирнсом Трумэн находился в крайне возбужденном состоянии. Черчилль продолжал бомбардировать его телеграммами, по-прежнему настаивая на том, чтобы Соединенные Штаты и Великобритания совместно потребовали от Сталина немедленной новой встречи «Большой тройки». В каждой телеграмме британский премьер напоминал, что любое промедление может оказаться гибельным. Главным является сейчас вопрос о Польше. От того, с кем будет послевоенная Польша — с западными демократиями или с Советской Россией, во многом зависит новая расстановка сил в Европе.

Кроме того, приближалась обусловленная в Ялте конференция в Сан-Франциско. На ней предстояло учредить новую международную организацию «для поддержания мира и безопасности»...

Все эти проблемы требовали от президента немедленных решений. Однако до того, как Манхэттенский проект будет осуществлен, необходимо соблюдать осторожность: ни в коем случае не вспугнуть подозрительного Сталина и как-нибудь сдержать норовистого Черчилля.

Свою новую мировую политику Трумэн начал с того, что пригласил в Вашингтон Молотова, главу советской делегации в Сан-Франциско. Обдумывая предстоящую встречу, Трумэн решил вести себя осторожно и вместе с тем решительно. С одной стороны, показать, что Соединенные Штаты хотят наладить отношения с Советским Союзом, осложнившиеся за последнее время. (Об этом Трумэн писал в послании, которое Молотов должен был передать Сталину.) С другой стороны — и в этом заключалось главное! — русским надо осторожно дать понять, что либеральное отношение к большевистской России, связанное с именем Рузвельта, отошло в прошлое. Настало время осознать, кто будет хозяином послевоенного мира.

Накануне встречи Трумэн пытался представить себе, что бы произошло, если бы он, новый американский президент, сразу же заявил советскому министру, что вскоре может одним движением пальца стереть его страну с лица земли...

Но, разумеется, никаких заявлений, даже малейших намеков подобного рода он не собирался делать. Тайна до поры до времени должна была оставаться тайной. Не следовало настораживать Россию сколько-нибудь явной переменой отношения к ней. Преемственность — хотя бы внешняя — должна сохраниться. Звездный час Соединенных Штатов Америки был близок, но еще не настал.

Трумэн энергичной, пружинистой походкой сделал несколько шагов навстречу входившему в Овальный кабинет Молотову. Всем своим внешним видом он как бы подчеркивал разницу между собой и физически немощным покойным президентом. Умышленно крепко пожав Молотову руку, он коротким жестом указал советскому наркому на кресло. Молотов, его переводчик Павлов, советский посол в Вашингтоне Громыко, представитель государственного департамента Болен (отлично владевший русским языком) и председатель американского Комитета начальников штабов адмирал Леги расселись по своим местам. Только после этого сел за стол и Трумэн.

Психологическое давление на Молотова он решил оказать не сразу. Сначала Трумэн произнес короткую речь о своей заинтересованности в сотрудничестве с Советским Союзом. И уже затем обратился к советскому гостю, как недовольный начальник обычно обращается к вызванному им провинившемуся подчиненному.

— Однако, мистер Молотов, — сказал он, строго глядя на своего собеседника, — некоторые вещи значительно осложняют наши отношения. Так, например, я с огорчением узнал, что никакого прогресса в польском вопросе не достигнуто.

— Мы также сожалеем об этом, — спокойно ответил Молотов.

Всем присутствующим было ясно, что Трумэн и Молотов вкладывают в свои слова прямо противоположный смысл. Трумэн возлагал вину на разногласия по польскому вопросу на Советскую Россию, Молотов же, конечно, имел в виду Соединенные Штаты.

Своими близорукими глазами Трумэн внимательно вглядывался в бесстрастное лицо Молотова. Об этом русском Трумэну говорили, что он является ближайшим сотрудником Сталина, отличаясь от своего босса сухостью и отсутствием каких-либо внешних проявлений доброжелательности.

— Я внимательно прочитал переписку нашего покойного президента с мистером Сталиным, — снова заговорил Трумэн. — В частности, незадолго до своей кончины, 1 апреля, президент Рузвельт дал маршалу понять, что наша страна может проводить только такую политику, которая пользуется поддержкой американского народа.

Молотов сидел прямо, не касаясь спинки кресла. Его глаза бесстрастно смотрели из-за овальных стекол пенсне. Ни улыбки, ни легкого кивка головой.

Это раздражало Трумэна. Несколько повысив голос, он продолжал:

— Любая наша мера в области внешних отношений нуждается в утверждении конгрессом. Нет никаких шансов провести какое-либо решение через конгресс, если оно не будет пользоваться поддержкой избирателей. Премьер-министр Великобритании и я уже направили в Москву, как вы, очевидно, знаете, наши совместные пожелания по поводу будущего правительства Польши. Уполномочены ли вы дать на них ответ?

— П-правительство Советского Союза, — едва заметно заикаясь, заговорил Молотов, — в отношении Польши, а также и по всем другим вопросам придерживается решений Ялтинской конференции. Мы считаем д-делом нашей чести быть верными совместно принятым решениям.

Что же касается послания от 1 апреля, то маршал Сталин ответил на него 7 апреля.

— Но дело не двинулось с места! — нетерпеливо воскликнул Трумэн.

— Если оно не д-двинулось с места, — невозмутимо ответил Молотов, — то лишь потому, что ялтинское соглашение не в-выполняется.

— Кем? — резко спросил Трумэн. Уже задав этот вопрос, он заметил, что Леги бросил на него предостерегающий взгляд. Узкие, глубоко запавшие глаза адмирала неодобрительно глядели на него из-под низких седых бровей.

«Какого черта! — мысленно выругался Трумэн. — Почему я обязан украшать свою речь политесами? Пусть этот человек передаст своему кремлевскому боссу, что в Белом доме настали новые времена!»

Молотов чуть заметно приподнял плечи, но тут же принял прежнее неподвижно-напряженное положение.

— Советское правительство выполняет ялтинское соглашение неукоснительно, — спокойно произнес он. Это был прямой намек на то, что соглашение не выполняется другими подписавшими его сторонами.

— Но в Ялте пришли к соглашению, что в Польше будет сформировано новое Временное правительство. Правительство... — Трумэн вопросительно посмотрел на Болена, синхронно переводившего разговор.

— ...Национального Единства, — торопливо подсказал Болен.

— Вот именно: Национального Единства! — со значением повторил Трумэн. — Это предусматривает включение в правительство поляков из заграницы...

— ...и демократических деятелей из самой Польши, — как бы цитируя, продолжал Молотов.

— Но правительство до сих пор не сформировано! — воскликнул Трумэн.

— Да, — чуть наклонил голову Молотов, — вследствие сопротивления английской и, судя по всему, американской сторон.

Раздражение Трумэна все возрастало. Он собрался разыграть нечто вроде спектакля, который должен был произвести впечатление не только на Молотова и Громыко, но и на присутствующих здесь американцев. Однако этот план явно проваливался.

Более того, со стороны Трумэн мог показаться драчливым, задиристым, но неловким мальчишкой, чьи удары, не достигая цели, били по нему самому. Во всяком случае, Леги смотрел на президента с явным неодобрением.

— Речь идет о составе правительства... — уже менее решительно проговорил Трумэн.

Словно избавляя своего собеседника от необходимости закончить фразу, Молотов сказал:

— Вот именно. Мы достигли соглашения о составе югославского правительства. Почему та же самая формула не может быть применена к Польше? Маршал Сталин этого не понимает.

Трумэн хотел, в свою очередь, прервать Молотова, но тот, в первый раз делая более или менее заметное движение, поднял с колена руку и как бы остановил президента.

Уже открывший рот Трумэн так ничего и не сказал. А Молотов спокойно, раздельно, словно учитель, имеющий дело с непонятливым учеником, продолжал:

— Мы не раз говорили, что у Советского Союза общая граница с Польшей и ему далеко не все равно, какое там будет правительство: демократическое и лояльное или откровенно враждебное, вроде эмигрантского лондонского. В Ялте позиция Советского Союза по этому поводу была признана закономерной. Насколько я понимаю, теперь делается попытка отойти от ялтинских решений.

Это была самая длинная речь, которую Молотов произнес за все время встречи.

«Черт побери! — хотелось крикнуть Трумэну, — в Польше будет такое правительство, которое устраивает нас. Так и передайте вашему Сталину!..» Но он сдержался.

— Правительство Соединенных Штатов готово выполнять соглашения, достигнутые в Крыму, — официальным тоном произнес Трумэн, — но мы настаиваем, чтобы Советское правительство делало то же самое. Мы не хотим, чтобы на улице было одностороннее движение.

Эта фраза неожиданно пришла ему в голову. Конечно, он не мог предвидеть, что три десятилетия спустя она войдет в пропагандистский арсенал Соединенных Штатов. Взяв со стола листок бумаги и протянув его Молотову, Трумэн сказал:

— Будем считать, что обмен мнениями состоялся. Это пресс-коммюнике, которое я намерен сегодня вечером передать нашей печати.

Молотов прочитал, сказал, что не возражает, и вернул листок Трумэну. Словно в обмен на этот листок Трумэн передал советскому министру кожаную папку.

— Это послание, — сказал он, — я прошу вас передать маршалу Сталину.

Трумэн встал. Остальные тоже поднялись со своих мест. Молча с ним попрощались и вышли. В кабинете остался только адмирал Леги.

— Ну как? — нетерпеливо спросил Трумэн адмирала.

— Встреча была бы бесплодной, если бы не одно обстоятельство,— ответил тот.

— Что вы имеете в виду?

Старый адмирал чуть приподнял свои еще густые, лохматые брови.

— Вы убедились, что русские не отступают от своих решений. В данном случае я имею в виду вопрос о польском правительстве.

— Я думаю,— сказал Трумэн,— Молотов тоже в кое чем убедился. В частности, в том, что мы не намерены играть с русскими в поддавки. Это, я надеюсь, мне удалось ему показать?

Леги промолчал.

— Вы намерены кардинально менять политику по отношению к России, мистер президент? — неожиданно спросил он.

— История никогда не простила бы мне, если бы я не использовал тех преимуществ, которыми располагает сейчас наша страна,— торжественно сказал Трумэн.

Леги пристально поглядел ему прямо в глаза.

— Вы имеете в виду бомбу? — тихо спросил он.

— Конечно.

— Мистер президент,— все так же негромко, но очень отчетливо сказал Леги,— у меня создалось впечатление, что все последнее время вы действуете под влиянием ложной информации.

— Что вы имеете в виду? — нахмурившись, спросил Трумэн. — Мне точно известно, что работы идут быстрым темпом и близки к завершению. Уж не хотите ли вы сказать, что и Стимсон, и Бирнс, и Гровс меня обманывают?

Леги пожал плечами.

— Насколько я знаю,— сказал он,— работы действительно ведутся полным ходом. Но, сэр, будучи экспертом по взрывчатым веществам, я смею вас уверить, что эта чертова супербомба — чепуха, выдуманная проклятыми профессорами. Они уже выкачали из казны сотни миллионов долларов и хотят получить еще. Эта штука никогда не взорвется! Вот вам мое честное мнение!

...Леги ушел, оставив Трумэна в полном смятении. Президент не знал, кому верить и что предпринять.

Убежденность, с которой столь авторитетный в военных делах человек, как адмирал Леги, утверждал, что Манхэттенский проект неосуществим, требовала решительных действий.

Лично разобраться в положении дела Трумэн был не в состоянии ввиду полной научной некомпетентности. Но кому верить: Гровсу или Леги? От ответа на этот вопрос зависело слишком многое.

Назначить авторитетную комиссию? Но из кого она будет состоять? Из людей, уже работающих над проектом? Но они могут дать необъективное заключение. Ввести же в комиссию новых людей — значит, поставить под угрозу сохранение тайны. Кроме того, не поссорит ли его создание такой комиссии и со Стимсоном и с Гровсом?..

После продолжительного совещания Трумэна с руководителями проекта комиссия все же была создана. Она получила название «Временного военно-политического комитета». Возглавил ее тот же Стимсон. Вошли же в нее Гровс, начальник отдела научных исследований Манхэттенского проекта Буш, еще один ученый — Коннэн, а также генерал Стайер и вице-адмирал Тернелл. Все они участвовали в руководстве работами. Главное же, что на этих кандидатурах сошлись и Стимсон и Леги.

Итак, бомба оставалась делом будущего, хотя и не столь отдаленного.

Но многие вопросы, продолжавшие возникать перед Трумэном, нужно было решать незамедлительно. Прежде всего это были вопросы международных отношений, в том числе отношений с Советским Союзом.

Последовать советам Черчилля и силой преградить дальнейшее продвижение русских в Европе Трумэн не решился. Оказать нажим на Сталина с целью скорейшего созыва «Большой тройки»? Но это имело смысл только в том случае, если бы Соединенные Штаты смогли диктовать русским свои условия. А это, в свою очередь, зависело от того, как скоро Америка будет обладать новым могучим козырем. Пусть специалисты называют его, как хотят,— «взрывчаткой», «бомбой», «супербомбой». Лишь бы он не оказался блефом и действительно стал оружием «невообразимой» силы.

В противном случае торопить Сталина выгодно было одному Черчиллю. Его нетерпение — Трумэн это, конечно, понимал,— объяснялось не столько жаждой спасти Европу от большевизма, сколько стремлением провести встречу «Большой тройки» до того, как станут известны результаты всеобщих выборов в Англии.

Настойчивость Черчилля злила Трумэна. В письме к матери, продолжавшей жить в родном Индепенденсе, Трумэн назвал английского премьера «взбесившейся мокрой курицей».

Черчилль упрекал его в медлительности, а Трумэн отвечал, что занят подготовкой послания конгрессу о новом бюджете.

Он и в самом деле с полной готовностью погрузился бы в цифры нового бюджета, если бы оставался сенатором или даже вице-президентом. Но сейчас, будучи президентом, он не имел на это права.

Перед ним маячила бомба. Одна только бомба. Почти ежедневно он справлялся у Стимсона, как идут работы. Вызывал в Вашингтон Гровса. Снова и снова черпал уверенность в разговорах с Бирнсом, который ни на минуту не сомневался в удаче.

От Стимсона и Гровса Трумэн требовал, чтобы они назвали ему не приблизительный срок, а точную дату предполагаемых испытаний нового оружия.

Но оба тянули. Называли числа, потом отменяли их. Называли новые...

Оба они порой уходили от Трумэна раздраженные упрямой требовательностью президента, но каждый из них в отличие от адмирала Леги твердо верил в конечный успех.

Трумэн был глубоко раздосадован тем, что во время встречи с Молотовым ему не удалось сыграть свою роль так, как он ее задумал и отрепетировал. Но своего рода контрудар был все же предпринят: Трумэн распорядился отсрочить намеченные Рузвельтом меры помощи Советскому Союзу, в частности поставки по «ленд-лизу».

На большее он пока не решался.

Между тем Черчилль не унимался. В телеграмме, посланной 21 мая, он умолял президента дать ему «хоть какое-то представление о дате и месте, которые были бы подходящими, с тем чтобы мы могли высказать Сталину наши требования». Черчилль уверял Трумэна, что «Сталин будет стараться выиграть время, чтобы остаться в Европе всемогущим, когда наши силы уже сойдут на нет».

Наконец настал день, когда Гровс после своих обычных проклятий по адресу ученых, не признающих ничьей власти, ни бога, ни черта, ни самого президента, сказал Трумэну, что эти чертовы профессора обязались провести решающее испытание в двадцатых числах июля.

Только тогда Трумэн обратился к Сталину с предложением провести встречу «Большой тройки». Он сделал это неохотно. Он предпочел бы отправиться за океан, так сказать, с бомбой в кармане. Но ему было ясно, что на дальнейшую оттяжку Черчилль категорически не пойдет. Выборы в Англии уже произошли. Однако результаты их станут известны не раньше конца июля. Настаивая на том, чтобы встреча состоялась до этого срока, Черчилль был прав.

Сталин предложил начать конференцию 16—17 июля в примыкающем к Берлину Потсдаме. Трумэн согласился. По предложению Черчилля кодовым названием конференции было утверждено английское слово «терминал», что в русском переводе означает «конечный пункт».

В июле 1945 года мир все еще упивался победой.

Европа лежала в развалинах. В Советском Союзе трудно было найти семью, в которой не было бы погибших, раненых или пропавших без вести. На землях, вспаханных авиабомбами, проутюженных гусеницами танков, сотни тысяч людей жили в землянках, в дощатых бараках или в бывших дотах и блиндажах. Над Белоруссией и Украиной, над Германией и Польшей еще не улегся пепел Майданека, Бухенвальда и Освенцима. Еще стояли опустевшие вышки немецких концлагерей, еще висели обрывки колючей проволоки, через которую несколько месяцев назад проходил электрический ток. По дорогам Европы еще бродили люди в тщетных поисках своих домов, своих родных и близких. В лесах еще раздавались выстрелы обезумевших «вервольфов», подстерегавших свои случайные жертвы...

Хотя на далеком Дальнем Востоке продолжалась война Америки с Японией, миллионы людей на земле были счастливы: многолетняя кровопролитная битва в Европе кончилась. Солнце — днем и звезды — ночью снова господствовали в небе...

Ликующий мир все чаще обращал свои взоры к Советской стране. Пожалуй, еще никогда о Советском Союзе не говорили так много и с таким благодарным чувством. Даже те люди, которые клеветали на эту страну в предвоенные годы, пророчили ей неминуемую гибель в первые недели и месяцы войны, теперь либо смолкли, либо, подчиняясь духу времени, твердили о подвиге России, о храбрости русских, о мощи Красной Армии. В будущее смотрели без боязни. Кого можно было теперь бояться? Гитлеровская Германия, наводившая ужас на миллионы людей в течение долгих лет, более не существовала. Три самые могучие державы мира находились в дружеском союзе. Разве это не было надежной гарантией того, что новая мировая бойня не повторится?..

...Только небольшая группа людей, сопровождавших Гарри Трумэна в Потсдам, знала, что президент Соединенных Штатов едет в далекую Германию не с оливковой ветвью.

Отъезд был назначен на вечер 6 июля.

В этот день у президента было особенно много посетителей. В списке значились члены конгресса, высшие правительственные чиновники, французский посол.

Вечером состоялся небольшой прием. На южной лужайке Белого дома стояли столы с напитками и сандвичами. Джаз-оркестр военно-воздушных сил исполнял специально для президента его любимые мелодии.

Находясь среди гостей, Трумэн уже знал, что у западного крыла Белого дома его ждет автомобильный кортеж. Он постарался уйти как можно незаметнее, поднялся на второй этаж, где была квартира президента, нежно попрощался с женой и дочерью и направился к машинам.

Автомобильный кортеж тронулся в путь к вокзалу «Юнион Стейшн»...

7 июля в шесть часов утра специальный поезд доставил Трумэна на станцию Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Кроме президента, в поезде находились пятьдесят три человека, включая корреспондентов газет и радио.

Группа генералов, адмиралов и высших чиновников, которую возглавлял новый государственный секретарь США Джеймс Фрэнсис Бирнс, сопровождала Трумэна на пути к пирсу. Многочисленные сотрудники секретной службы следовали впереди, по бокам и замыкали процессию. Президент шел, заложив руки в карманы.

Было раннее утро, когда президент и его свита поднялись на палубу тяжелого крейсера «Аугуста», которому предстояло пересечь океан. Трумэн распорядился, чтобы ему не оказывали никаких особых почестей. Поэтому на палубе корабля его встретили лишь командир «Аугусты» Джеймс Фоскетт, командир крейсера «Филадельфия» Аллан Мак-Кенн, а также несколько старших офицеров. «Филадельфии» предстояло эскортировать «Аугусту» по пути через океан.

Вскоре Мак-Кенн вернулся на «Филадельфию», а Фоскетт проводил президента в адмиральскую каюту, которая на предстоящие дни должна была стать его домом.

Трумэн приказал поднять якорь.

Глава пятая

«ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ»

Благодаря незримому участию генерала Карпова пока все складывалось для Воронова как нельзя лучше. По крайней мере с жильем. Он получил маленькую комнату в бабельсбергском особнячке, где разместились советская киногруппа и несколько фотокорреспондентов центральных московских газет.

В комнате он нашел кровать, несмотря на летнее время, покрытую пуховой немецкой периной, маленький письменный стол на гнутых тонких ножках, — видимо, все, что уцелело от некогда нарядного ампирного гарнитура, и возле него два типично московских канцелярских стула. Вешалки в комнате не было.

На следующее утро за Вороновым заехал некий капитан Белов, заявивший, что он из Бюро полковника Тугаринова и готов помочь товарищу майору обосноваться в Потсдаме.

Когда Воронов сел в «эмку» Белова, то рядом с собой на заднем сиденье увидел человека в штатском.

— Знакомьтесь! — сказал Белов, усаживаясь рядом с водителем. — Товарищ Вернер Нойман. Вы ведь, товарищ майор, кажется, говорите по-немецки?

— Гутен морген, — вместо ответа сказал Воронов, протягивая руку своему соседу.

Как тут же выяснилось, капитан Белов и сам бегло говорил по-немецки. Машина тронулась. Оборачиваясь и глядя попеременно то на Воронова, то на немца, Белов объяснил, что товарищ Нойман родом из Потсдама, сидел в гитлеровском концлагере, а после войны вернулся домой. Он с удовольствием пригласил бы Воронова к себе, но сейчас временно живет в Берлине, где работает по поручению немецкой антифашистско-демократической коалиции в одном из районных магистратов. Жена Ноймана и ее мать были арестованы, когда его забрали в концлагерь. До сих пор он не имеет о них никаких сведений. Квартира его в Потсдаме пуста и заброшена. Он предлагает Воронову остановиться у его знакомого Германа Вольфа, с которым уже договорился по дороге сюда.

Все это, переходя с русского на немецкий и снова на русский, Белов быстро рассказал Воронову, Нойман только кивал головой и вставлял отдельные слова: «Я-а... Яволь... Гевисс... Натюрлих!..»

— Этот ваш знакомый, — обратился Воронов к Нойману, — коммунист?

— Нет! — ответил Нойман. — Он никогда не состоял ни в одной партии. Рабочий. Высококвалифицированный рабочий. Майстер...

— Товарищ Нойман говорит, что квартира вполне надежная, — вмешался Белов.

— Я-а, я-а, — поспешно закивал Нойман, — я за него ручаюсь. Правда...

Он замялся.

— Вы хотели что-то сказать? — насторожился Воронов.

— У него несколько надоедливая жена, — с улыбкой произнес Нойман. — Как это вы называете по-русски? — обратился он к Белову. — «За...нуда»? Так? Я слышал это слово от нашего районного коменданта.

Воронов и Белов рассмеялись.

Вскоре машина остановилась.

— Приехали! — посмотрев в окно, сказал Нойман. — У вашего шофера хорошая память.

— Он говорит, что у тебя хорошая память, — сказал Белов сержанту-водителю.

— Так недавно же заезжали! — не снимая рук с баранки, ответил сержант. — На войне по обгорелому пню дорогу отыскивали. А тут какой-никакой, все-таки город...

Дом был двухэтажный, с небольшой деревянной мансардой. Между открытыми оконными рамами стояли длинные узкие ящики с геранью. К двери вели несколько каменных ступенек. Нойман поднялся первым. Хотя у двери чернела кнопка звонка, он постучал. Дверь открыла женщина лет сорока пяти. На стареньком выцветшем платье сверкал ослепительной белизной передник.

— Вот, Гретхен, привез! — сказал Нойман, показывая на стоявших у лестницы Воронова и Белова.

Женщина улыбнулась, полная грудь её заколыхалась. Широко распахнув дверь, она быстро произнесла:

— Вилькоммен, майне хэррэн. Добро пожаловать, господа офицеры!

Они вошли в маленькую прихожую. Из нее открытая дверь вела в просторную комнату. Судя по круглому столу посредине и большому посудному шкафу у стены, это была столовая. Женщина провела их сюда.

— Господа офицеры будут жить... — начала она.

— Ты перепутала, Грета, — укоризненно прервал ее Нойман, — я же все сказал Герману. Здесь будет жить только товарищ майор. — Он слегка поклонился Воронову.

— О, яволь, яволь, хэрр майор! — затараторила Грета, в свою очередь, кланяясь русскому офицеру.

«Видимо, это и есть зануда», — подумал Воронов.

— Боюсь, что стесню вас, — сказал он. — Но ненадолго. Самое большее недели на две. Кроме того, я и появляться-то буду редко.

— О, хэрр майор, когда угодно! Комната к вашим услугам. Я вам ее сейчас покажу...

— Герман дома? — спросил Нойман.

— Нет, — поспешно ответила Грета. Она двигалась и говорила так, как будто все время куда-то торопилась. — Ушел сразу после того, как ты заезжал. Но, пожалуйста, идемте.

Вернувшись в переднюю и поднявшись по узкой лестнице с расшатанными, скрипящими ступенями, они оказались на небольшой площадке. Отсюда лестница вела еще выше, в мансарду.

Это была уютная комнатка с маленьким окном. Грета тотчас распахнула его, и белая занавеска заколыхалась от ветра. На подоконнике стояла неизменная герань.

Здесь имелось все необходимое: кровать, застеленная такой же толстой пуховой периной, как и та, в Бабельсберге, с горкой подушек в изголовье, стол, который одинаково мог служить письменным и обеденным, книжная полка и даже несколько десятков книг на ней.

Воронов подошел к полке.

— Я приготовила для господина майора все чистое. Да, да, все сменила — и постель и полотенце, — заторопилась Грета. — Раньше в этой комнате жил брат Германа, но он погиб на войне. Это его книги...

Испуганно посмотрев на Воронова и Белова, она тут же ушла от щекотливой темы и с еще большей поспешностью продолжала:

— Я думаю, господину майору здесь будет удобно. Конечно, я понимаю, он привык к большему комфорту, но сейчас в Потсдаме все забито. Вы знаете, из Бабельсберга выселили всех немцев. Сказали, что временно... В Бабельсберге, конечно, удобнее, все дома целые. Потсдам сильно бомбили, а Бабельсберг почему-то нет. Сейчас туда все время идут машины и ваши, и американские, и английские. Наверное, там хотят жить большие начальники, нихт вар?[1]

Грета вопросительно посмотрела на Воронова.

Но он не слушал ее. Подойдя к книжной полке, он испытал острое любопытство: что читали в т о й Германии?..

— Вы разрешите?.. — спросил Воронов, беря наугад одну из книг. Это было дешевое издание «Избранного» Гёте. С ним соседствовал «Железный Густав» Фаллады. Рядом — «Туннель» Келлермана. Все эти книги были известны Воронову. Он ставил их на место, едва взглянув на заглавие. «Закат Европы» Шпенглера он полистал. Взял потрепанный учебник «История Германии». Раскрыв книгу наугад, прочитал: «...Нет, не войска «Антанты» победили Германию. Евреи и коммунисты нанесли ей удар в спину, в то время как немецкие солдаты проливали кровь на полях сражений...»

Воронов невольно передернул плечами. Это его движение не осталось незамеченным. Увидев, какую книгу он держит в руках, Нойман сказал:

— Стиве. Школьный учебник. Я думал, что всю гитлеровскую дребедень вы выкинули.

---

[1] Не так ли? *(нем.)*

— Эту книгу Герман■ сохранил в память брата, — вмешалась в разговор Грета. — Он был школьиым учителем. Все немецкие дети учились по этой книге.

— Да, разумеется, — с горечью произнес Воронов.

— Ее следует выбросить? — поспешно спросила Грета.

Воронов не ответил. Поставив книгу на место, он взял следующую. Она иазывалась «Потсдам и его окрестиости».

— Простите, — сказал Воронов Грете, — вы ие позволите мне взять у вас ненадолго эту книгу?..

Она и в самом деле могла ему понадобиться. Кроме того, это был повод перемеиить тему разговора.

— О, коиечио! — воскликиула Грета, словио и оиа была рада такому поводу. — Господии майор может считать ее своей. Вы бывали раньше в Потсдаме? — иеожиданно спросила оиа.

Воронов посмотрел на нее с иедоумением.

— Да, да, я понимаю, это глупый вопрос, — заторопилась Грета, — но если бы вы знали, как здесь было красиво! Какие устраивались парады!..

— Грета! — резко оборвал ее Ноймаи.

— Но я... я же только... — робко проговорила Грета и смолкла, опустив глаза.

— Ладио, Грета, спасибо, — сказал Нойман, чтобы нарушить наступившее неловкое молчаиие. — Ухаживай за товарищем майором. Так, как ты умеешь. — Он помолчал и тихо добавил: — Слишком много мы причииили им горя...

— О, война, проклятая война! — скорее простонала, чем проговорила Грета и поднесла к глазам угол передника. Затем опустила передник и, разгладив его, спросила:

— Господа офицеры выпьют кофе?

— Нет, — быстро ответил Воронов, — мне иужио ехать. С вашего разрешения я буду наведываться и, может быть, иногда ночевать.

— В любое время, господин майор, в любое время! — воскликнула Грета. — У нас звонок не работает, долгое время не было электричества, мы уже привыкли стучать... Но Герман сегодня же все исправит... Может быть, все-таки по чашечке кофе?

— Нет, — твердо сказал Воронов и, устыдившись своей резкости, сразу добавил: — Большое вам спасибо. Вы очень любезны. Книгу я иа днях верну. Вообще постараюсь причииять вам как можно меньше хлопот. Скажите, пожалуйста, как называется ваша улица? Какой номер вашего дома? Я еще плохо ориеитируюсь в Потсдаме.

— Конечио, я забыла сказать! Ради бога простите, господин майор. Шопенгауэрштрассе, восемь.

«Шопенгауэр... Шпенглер...» — мысленно усмехнувшись, повторил про себя Воронов. «Закат Европы»... А если восход?!..»

Журналист не чувствует себя по-настоящему включенным в работу до тех пор, пока он не иаписал и, главиое, не отправил свою первую корреспонденцию. Но для того, чтобы написать хоть что-то, связанное с предстоящей Конференцией, Воронову иеобходимо было узнать, что сообщают о ней московские газеты.

Вериувшись в Бабельсберг, Воронов раздобыл в секретариате советской делегации последние три номера «Правды». Однако его ждало разочароваиие. Ни одиого официального сообщения, ни одной статьи, посвященной Конфереиции, он не нашел. Впрочем, на четвертой странице «Правды» от 15 июля было напечатано «Международное обозрение», начинавшееся словами: «Мировая печать придает огромное значение предстоящей встрече руководителей СССР, Великобритании и США». Далее говорилось, что в иностранной печати появляются различиые прогнозы — как трезвые и объективиые, так и пессимистические. В конце статьи высказывалась мысль о том, что великие державы должны и в послевоенное время сотрудничать на благо своих иародов.

Следующие разделы обозреиия касались возрождения Польши. Критиковалась подрывиая деятельность лондонских поляков, давался отпор крикливой кампании, которую вела против СССР, Болгарии, Югославии и Румынии турецкая печать.

Ни одного слова о том, когда Конференция откроется и где будет происходить. Очевидно, все это еще держалось в секрете.

Воронов понимал, что для такой секретности, очевидно, имеются веские основаиия, ио иастроение его испортилось.

Вернувшись в Бабельсберг, Воронов все же написал свою первую корреспонденцию.

Он назвал ее «Что еще человеку надо?!». В основу статьи легла беседа с сержантом, который вез его с вокзала в Карлсхорст. Воронов рассказал о солдате, прошедшем сквозь всю войну, собирающемся вернуться в свою дотла сожженную деревню и убежденно говорящем: «...и вспашем, и засеем, и построим!.. Голова, руки есть, войны нет, — что еще человеку иадо?!.»

Рассказывал он и об отношении сержанта к союзиым солдатам, приведя его слова: «...и

союзнички должны нам кое-чем помочь... Ведь мы-то их выручили!..»

Нельзя сказать, что, перечитав свою корреспонденцию, Воронов остался вполне доволен ею. Но неожиданно для самого себя он испытал при этом некое новое чувство личного причастия к тому, что вокруг него происходило, и, главное, к тому, что должно было произойти.

На войне это чувство жило в нем постоянно. Разве только в самые первые дни, оказавшись в народном ополчении, он воспринимал войну как бы со стороны. Тогда все было для него новым, необычным, резко отличающимся от той жизни, которую он вел раньше. Война, точно лезвие гигантского топора, как бы разом отсекла прошлое от настоящего, но это настоящее не стало еще для Воронова его новым бытом. Ледяные ночи на снегу, райское тепло землянок, жесткие нары, вой и разрывы бомб и снарядов, «голосование» на раскисших от весенней или осенней грязи фронтовых дорогах, шелест типографской машины, на которой печаталась дивизионная газета, законные фронтовые сто граммов — символ отдыха и возможности хотя бы несколько минут бездумно побыть рядом с товарищами, постоянная изнурительная погоня за сведениями, где и когда произойдет нечто важное, и самое главное — ярость, гнев, печаль при виде первых развалин и пепелищ — все это вошло в сознание, в душу Воронова несколько позже, чтобы на четыре долгих года стать его повседневной жизнью. Но сюда, в Берлин, в Потсдам, в Бабельсберг, Воронов ехал как бы со стороны. Настоящая, реальная, послевоенная жизнь оставалась позади, в Москве.

Теперь же все, что Воронов пережил за последнее время — разговоры с Лозовским и Карповым, не смутное предчувствие, а уже уверенность, что приближается событие, которому предстоит определить послевоенную жизнь планеты, — все это, вместе взятое, породило в его душе новое чувство личной причастности к тому, что происходит вокруг него.

Воронов ехал сюда в обычную журналистскую командировку, которая отвлекала его от того главного, что осталось в Москве. Но теперь не только умом, но и сердцем он ощущал, что именно здесь произойдет нечто самое главное, пусть он еще и не разобрался в нем до конца.

С точки зрения здравого смысла дело складывалось для Воронова весьма неудачно. На Конференцию его, конечно, не допустят. Поговорить с руководителями делегации ему не удастся. Даже повестка дня Конференции ему неизвестна.

Но в то же время — скорее подсознательно, чем осознанно — Воронов каким-то образом ощущал, что стал снова и снова лично причастен к предстоящему важнейшему событию современности. Может быть, ему даже суждено сыграть в этом событии некую роль, сделать важное и серьезное дело. Какова будет эта работа, в чем может заключаться это дело, Воронов не знал.

Ему сказали, что между Бабельсбергом и Москвой регулярно курсируют самолеты. Свою корреспонденцию он сдал в пункт фельдсвязи.

На другой день с утра Воронов снова поехал в отсеченный от Бабельсберга Потсдам. Карпов выполнил свое обещание. Воронов получил «эмку», правда, основательно потрепанную. Целью его было не только обосноваться в квартире Германа Вольфа, но и осмотреть Потсдам.

Никто еще не знал, под каким названием — «Берлинская», «Потсдамская» или «Бабельсбергская» — войдет в историю предстоящая Конференция. Но, решив пока что поближе познакомиться с Потсдамом, Воронов уже видел первый абзац своей будущей статьи: «В Потсдаме, бывшей резиденции одного из столпов германского милитаризма, короля Фридриха, ныне закладывается мирная основа послевоенной Европы».

Он выехал из Бабельсберга рано утром в надежде увидеть хозяина квартиры на Шопенгауэрштрассе, но снова не застал его; «зануда» Грета сообщила, что муж уже ушел на завод.

Оставив машину у крыльца, Воронов прошелся по потсдамским улицам, а когда вернулся в Бабельсберг, то узнал, что чуть было не пропустил важное событие: самолеты с президентом Трумэном и премьер-министром Великобритании Черчиллем на борту прибывали на аэродром Гатов.

Гатов находился на окраине западной части Берлина. «Эмка» Воронова рванула через все зоны Бабельсберга — советскую, американскую и английскую.

Кинооператоры уехали гораздо раньше. Им надо было установить на месте свою тяжелую аппаратуру.

Воронов сидел рядом с шофером, опустив боковое стекло кабины и предъявляя встречным патрулям свой пропуск, подписанный Кругловым.

Выехав из советской зоны, он спрятал пропуск в карман пиджака и достал другой, с тремя союзническими флажками. Советские патрули проверяли пропуск придирчиво. В англий-

ской и американской зонах все было проще: стоявшие на проезжей части офицеры, еще издали увидев пропуск, пренебрежительно-залихватским движением руки сразу пропускали машину.

Приехав на аэродром, Воронов узнал, что прибытие Трумэна ожидается примерно через полчаса. На поле не было ни одного самолета. У взлетно-посадочной полосы толпились люди в американской, английской и французской военной форме. Человек двести, не меньше. Над их головами возвышались установленные на штативах кино-и фотокамеры, а окружало их овальное кольцо американских солдат. Несколько в стороне расположился американский почетный караул.

Английский офицер остановил машину Воронова метрах в двухстах от летного поля. Он бросил беглый взгляд на «эмку», подошел к дверце, которую приоткрыл Воронов, держа наготове пропуск с тремя флажками, и сразу спросил:

— Русский?

— Советский, — по-английски ответил Воронов.

— Одно и то же, — глянул на пропуск офицер. — Паркуйтесь вон там. — Он указал на несколько десятков машин самых разнообразных марок, сгрудившихся в отдалении.

— Ол райт, — кивнул в ответ Воронов и показал своему неразговорчивому старшине-шоферу, куда поставить машину. Затем подхватил лежавший на заднем сиденье «ФЭД», в просторечии именуемый «лейкой», и быстрыми шагами направился к толпе, стоявшей у взлетной полосы.

Подойдя ближе, он увидел, что в оцеплении американских солдат есть узкий проход. Солдаты стояли плечом к плечу, образуя сплошную цепь, но среди них были два офицера, которые находились друг против друга на расстоянии шага. Между ними в лучшем случае мог протиснуться один человек.

Когда Воронов приблизился, офицеры сомкнулись и настороженно посмотрели в сторону одетого в штатский костюм человека, на плече которого висел фотоаппарат. Воронов протянул одному из офицеров пропуск с тремя флажками и сказал по-английски:

— Советский фотокорреспондент.

Несколько секунд оба офицера внимательно разглядывали пропуск. Один из них сжимал рифленую рукоятку пистолета, выглядывающего из кобуры. Было жарко, по лицам офицеров струился пот. Возвращая Воронову пропуск, офицер сказал:

— Проходите. Правый третий квадрат.

«Какой еще квадрат?» — удивился Воронов.

Снимать прибытие американского президента он не собирался, прекрасно понимая, что это гораздо лучше сделают настоящие фото- и кинокорреспонденты.

Разглядев в толпе знакомые лица корреспондентов советской кинохроники, Воронов стал пробиваться к ним и оказался в журналистской толкучке. Беспорядочной и пассивной она казалась только издали. Здесь все были заняты делом. Фотокорреспонденты вскидывали экспонометры. Короткими очередями стрекотали и тут же замирали кинокамеры — операторы проверяли свою аппаратуру. Люди то и дело вглядывались в сторону горизонта, боясь пропустить появление самолета.

Но в небе ничего не было видно.

Вдруг кто-то оглушительно крикнул по-английски:

— Тихо!

Многоголосый шум тотчас смолк. Откуда-то издалека донеслось едва различимое гудение, похожее на вой ветра в горах.

Рядом с Вороновым стоял молодой американец-корреспондент. Он прижимал к груди фотоаппарат. Рыжеватый, веснушчатый, с мокрым от жары лицом, в рубашке с расстегнутым воротом и закатанными ниже локтей рукавами, в сдвинутой набок пилотке, он то и дело вставал на цыпочки, стремясь приподняться над толпой. Полные, мальчишеские губы его были плотно сжаты от напряжения. Время от времени он вскидывал вверх свою фотокамеру, как бы репетируя бесприцельную съемку.

Гудение становилось все отчетливее. Наконец на горизонте показались три серебристые точки — одна впереди и две несколько поодаль, справа и слева. Над головами людей взметнулись фотоаппараты и ручные кинокамеры. Иностранные корреспонденты бросились к взлетной полосе, но стоявшие в оцеплении солдаты прикладами автоматов преградили им путь.

Постарался пробиться вперед и веснушчатый американец, но толпившиеся впереди коллеги и соотечественники, не оборачиваясь, локтями вернули его на прежнее место.

Самолет уже мчался по бетонной полосе, замедляя ход и с каждой секундой увеличиваясь в размерах, а сопровождавшие его истребители промчались над аэродромом и скрылись за горизонтом. Это была огромная четырехмоторная машина с изображением герба президента Соединенных Штатов на фюзеляже.

Откуда-то появился трап — несколько американских солдат катили его навстречу само-

лету. Взревели и сразу же смолкли моторы. Самолет остановился. Воцарилась тишина.

Прошло несколько минут томительного ожидания. Наконец дверь самолета раскрылась и на трапе показался человек.

Застрекотали кинокамеры, часто защелкали затворы фотоаппаратов.

Еще не успев как следует рассмотреть стоявшего на площадке человека, Воронов вскинул «лейку», щелкнул затвором, поспешно взвел его, щелкнул еще раз. Он снимал без особой цели, просто на всякий случай, повинуясь журналистскому инстинкту. Потом, опустив камеру, стал с интересом разглядывать президента, все еще стоявшего на площадке трапа.

Трумэн был в сером двубортном костюме, с ослепительно ярко-синей с белым горошком «бабочкой» вместо галстука. Такой же синий с белым горошком платок высовывался из кармана его пиджака, прикрывая край лацкана. Двухцветные туфли из сморщенной, словно старый пергамент, видимо, крокодиловой кожи выделялись на фоне трапа, покрытого красным ковром. В первое мгновение лицо Трумэна показалось Воронову неприятным. Тонкие, как ниточки, губы были плотно сжаты. Рот казался от этого злым, а лицо, на котором поблескивали овальные очки в тонкой оправе, — птичьим.

Но в следующее мгновение губы президента разжались, он широко улыбнулся и приветственно помахал рукой...

Стоявший рядом с Вороновым веснушчатый американец высоко поднял свой аппарат, торопясь запечатлеть улыбку президента, но тяжелая камера выскользнула у него из рук и с треском упала на землю.

— О, боже! — воскликнул американец. Он растолкал соседей, поднял камеру и, чуть не плача, смотрел на разбитый объектив.

Воронову показалось, что окружающие смотрят на парня без всякого сочувствия, насмешливо и даже злорадно.

— Возьмите мой аппарат! — неожиданно для самого себя воскликнул Воронов, протягивая американцу свою «лейку» — «ФЭД».

Тот бросил на него растерянный взгляд.

— Да берите же, черт побери! — тыча «лейкой» в грудь американца, громко крикнул Воронов. — Здесь еще десятка два неиспользованных кадров!

— О, нет, сэр... Благодарю вас, сэр! — пробормотал американец, но тут же почти вырвал из рук Воронова фотоаппарат и, по-бычьи наклонив голову, рванулся вперед.

Трумэн все еще стоял на площадке трапа, по-прежнему широко улыбаясь. Видимо, он хорошо понимал, что должен быть многократно запечатлен, и точно рассчитал, сколько времени для этого потребуется.

Не опуская руки и продолжая улыбаться, Трумэн стал наконец медленно спускаться по трапу. В дверях самолета показались американские военные. Толпа корреспондентов хлынула вперед, но ее быстро оттеснили американские полицейские, расчищая путь неизвестно откуда появившейся группе военных и гражданских лиц.

Эти люди по очереди подходили к президенту, пожимали ему руку и отходили в сторону.

После этого к трапу были допущены и корреспонденты. До Воронова, двинувшегося вместе со всеми, донеслись обрывки английских фраз: «Как долетели, мистер президент?..», «Два слова для «Нью-Йорк таймс», мистер президент...», «Для ЮПИ...», «Для Эй Пи, мистер президент...»

Ответов Воронов не слышал. Он только видел, как шевелятся тонкие бескровные губы Трумэна, как голова его поворачивается из стороны в сторону. Президент спустился на землю и сразу очутился в толпе. Отовсюду к нему тянулись руки с блокнотами. Это продолжалось недолго и разом кончилось. Казалось, до Трумэна никому больше нет никакого дела. Корреспонденты отхлынули от президента так же поспешно, как бросились к нему. Теперь они устремились к почетному караулу, который был выстроен неподалеку. Между тем Трумэн, сопровождаемый солдатами с автоматами в руках и офицерами, державшими руки на пистолетах, шел по направлению к стоявшему неподвижно Воронову.

«Задать ему вопрос? — мгновенно подумал Воронов. — Но мне этого никто не поручал...»

Слыша свой голос как бы со стороны, он громко сказал:

— Я советский корреспондент, мистер президент. Как вы рассматриваете перспективы советско-американских отношений?

Как только корреспонденты разбежались, лицо Трумэна приняло прежнее холодно-замкнутое выражение. Услышав вопрос Воронова, президент снова улыбнулся.

— О-о! — произнес он, замедляя шаг. — Мы союзники! Следовательно, союз и дружба!

— Спасибо, мистер президент, — пробормотал Воронов уже в спину удалявшемуся Трумэну.

Оркестр заиграл американский гимн. Все застыли там, где в данную минуту находились. Трумэн обошел строй, затем мимо него продефилировали представители разных родов войск. Подкатил огромный черный лимузин с голубыми стеклами. Трумэн еще раз помахал рукой

и сел в машину. Ее со всех сторон немедленно окружили «джипы». Вооруженные солдаты расположились не только на сиденьях — они висели на машинах буквально гроздьями — и на подножках, держась за металлические поручни, и прямо на капотах...

Раздался пронзительный вой сирены. Ей ответила другая. Сигналя, лязгая включаемыми скоростями, машины с особым шиком развернулись и под несмолкаемое завывание сирен, с места набирая скорость, исчезли в облаках пыли.

Воронов пошел по направлению к стоянке, где ждала его «эмка». В его ушах все еще слышались голоса кричащих, перебивающих друг друга людей, звучал американский гимн, шумели автомобильные моторы, пронзительно, словно возвещая воздушную тревогу, вопила сирена.

За спиной он услышал возглас:

— Простите! Одну минуту, сэр!

Воронов обернулся. К нему быстрыми шагами, почти бегом, приближался веснушчатый американец. Разбитая камера болталась у него на груди, а в руках он держал вороновскую «лейку».

«Черт побери, — мысленно выругался Воронов, — я же забыл о своем аппарате!..»

— Вы меня здорово выручили, сэр! — улыбаясь, сказал американец. — Позвольте представиться. — Он протянул Воронову руку. — Чарльз Брайт. «Ивнинг геральд». Штаты. Вы ведь не американец?

— Легко догадаться по моему английскому, — с усмешкой ответил Воронов.

— О, ваш английский превосходен. Вы француз?

— Михаил Воронов, Совинформбюро, Советский Союз.

Американец крепко пожал протянутую ему руку, дважды сильно тряхнул ее и с недоумением посмотрел на Воронова:

— Бю-ро?..

Воронов сообразил, что произнес все это по-русски. Он повторил то же самое по-английски:

— Русский?! — восторженно воскликнул американец. — Спасибо, сэр... Как вы сказали?

— Воронов.

— Это имя?

— Фамилия. Зовут меня Михаил.

— Можно называть тебя просто Майкл? — с истинно американской непосредственностью спросил Брайт. — А меня зови Чарли. Легко запомнить. Все американцы — Чарли. Не знаешь, как зовут, называй «Чарли». — Он заразительно расхохотался.

— Хорошо, Чарли. Рад был тебе помочь. Давай камеру.

— Майкл, — неожиданно жалобным тоном произнес Брайт, — можешь съездить мне по физиономии. В колледже я занимался боксом, но сейчас стерплю.

Все это начало раздражать Воронова. Он не мог понять: паясничает американец или говорит всерьез.

— Давай камеру, Чарли, — сухо сказал он, — скоро прилетит Черчилль...

— Уинни прилетит через час, — ответил Брайт, посмотрев на часы, — а в твоей камере заела перемотка...

Воронов не настолько хорошо знал английский, чтобы понять последние слова Брайта, но жалобная мина, с которой говорил американец, подсказала ему, что аппарат не в порядке.

Он решительно протянул руку. На этот раз Брайт покорно отдал ему камеру.

— Я отщелкал всю пленку, — виновато сказал Брайт. — Всю до конца. А с обратной перемоткой что-то заело.

Воронов попробовал покрутить ручку перемотки, но она намертво заклинилась. Очевидно, перфорация пленки соскочила с зубцов. Автоматическим движением Воронов хотел открыть камеру.

— Стоп! — неожиданно гаркнул Брайт, выхватывая аппарат из его рук. — Ты засветишь пленку! У меня вылетят из кармана пятьсот долларов. Ты хороший парень, Майкл, будь им до конца. Рванем сейчас в Берлин. В доме, где я живу, есть фотограф. Немец. Он проявляет мне пленку за блок «Лаки страйк». Через сорок минут мы вернемся или я на твоих глазах сожру объектив этого проклятого «Спида». — Он тронул висевшую у него на груди разбитую камеру.

«Какого черта!.. — с раздражением подумал Воронов. — Ехать с этим растяпой в Берлин, значит, наверняка прозевать Черчилля».

Но как старый фотограф-любитель, он понимал, что положение в самом деле безвыходное. Открыть камеру, не засветив отснятой пленки, можно было только в абсолютной темноте. Но и тогда пришлось бы отдать этому неудачнику всю пленку, в том числе и те несколько кадров, которые Воронов все же снял и которые могли ему пригодиться.

— Едем, Майкл, — умоляюще произнес Брайт, — будь союзником до конца!..

«Пропади ты пропадом!» — хотелось сказать Воронову, но он не знал, как перевести это на английский. Кроме того, растяпа Брайт искусно сыграл на союзнических чувствах. Воспользовавшись минутным замешательством Воронова, он уже тянул его к стоянке машин.

— Мой шофер не знает дороги, мы наверняка опоздаем, — бормотал Воронов на ходу.

— Твой шофер пока что может сделать бизнес и подбросить кого-нибудь за доллары или марки. Мы поедем сами...

Все дальнейшее произошло молниеносно. Старшина-водитель уже включил мотор, но Воронов крикнул ему:

— Жди здесь!

Лавируя между машинами, Брайт подбежал к стоявшему в отдалении «виллису». Водителя за рулем не было. Брайт плюхнулся на сиденье, подвинулся, освобождая место Воронову, и повернул ключ зажигания, который, видимо, оставался в замке. Машина тронулась.

За всю свою жизнь Воронов не испытывал такой сумасшедшей езды. Брайт сидел не прямо или чуть склонившись к рулю, как обычно сидят русские водители, а откинувшись на спинку, чуть ли не развалившись. Покрытые рыжеватым пухом руки его небрежно лежали на рулевом колесе. Всей своей позой он демонстрировал залихватскую беспечность. Только губы были плотно сжаты, а глаза чуть сощурены.

«Виллис» мчался, почти не разбирая дороги, с ходу, как танк во время атаки, врезаясь в груды разбитых камней, подпрыгивая, словно самолет в первые минуты взлета или посадки. При этом Брайт оглушительно сигналил. Люди в военной форме и в гражданской одежде, едва завидев эту взбесившуюся машину, торопливо отбегали в стороны.

Воронову казалось, что прошло несколько минут, а машина уже ворвалась в Берлин и, не сбавляя скорости, мчалась по незнакомым ему улицам.

Резко затормозив чуть ли не на полном ходу, Брайт остановил машину около дома, не тронутого ни бомбами, ни снарядами.

— Приехали! — сказал он. Это было первое слово, произнесенное им с тех пор, как они сели в машину.

— Четырнадцать минут сюда, — самодовольно продолжал Брайт. — Десять минут здесь. Четырнадцать обратно. Мы вернемся на двадцать минут раньше, чем прилетит английский толстяк! О'кей!

Над одной из дверей дома висела небольшая самодельная вывеска. На ней было написано: «Фотография. Ганс Гетцке».

— Я помог этому Гансу восстановить его бизнес. Это ведь наша зона. У вас частный бизнес, кажется, не поощряется, — быстро говорил Брайт. — Гетцке обязан мне по гроб жизни.

Пинком ноги он распахнул дверь. Звякнул укрепленный над дверью колокольчик. Брайт, а за ним и Воронов почти вбежали в маленькую полутемную комнату-клетку, к тому же перегороженную прилавком. В противоположной стене виднелась еще одна дверь. Как только звякнул колокольчик, за прилавком появился немолодой худощавый человек в длинном пиджаке, похожем на пальто.

Положив на прилавок обе камеры — разбитую и целую, Брайт обрушил на фотографа поток слов. Он говорил по-английски, время от времени вставляя немецкие слова. Фотограф растерянно глядел на него, кивая головой, но, видимо, не понимая, чего хочет от него этот возбужденный американец.

— Погоди! — сказал Воронов, кладя руку на плечо Брайта. — В этой камере заела обратная перемотка, — продолжал он по-немецки, — нужно вынуть пленку, проявить ее и снова зарядить. Другая камера разбита. Не можете ли вы на день одолжить ему свою, тоже заряженную. В нашем распоряжении десять минут.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Брайт, когда Воронов смолк, а немец мгновенно исчез за своей дверью.

— Все в порядке, насколько я понимаю.

— Тогда поднимемся ко мне, — сказал Брайт. — Я здесь живу. На втором этаже.

— Но какой смысл? — Воронов посмотрел на часы. — Мы должны выехать через десять минут.

— Тем более, — категорически заявил Брайт, направляясь к выходу.

«На кой черт я с ним связался? — выругал себя Воронов. — Зачем дал ему свою «лейку», верой и правдой прослужившую мне всю войну? Зачем поехал с ним сюда?»

Но делать было нечего, и он покорно поднимался вслед за Брайтом по грязной, давным-давно не мытой лестнице.

Судя по всему, Брайт занимал однокомнатную квартиру. В ней стояли небольшой столик, превращенный в письменный, и очень широкая кровать, прикрытая армейским одеялом. В углу — один на другом — громоздились картонные ящики. В них были то ли сигареты, то ли бутылки. На вешалке висели шинель и фуражка.

— Смешная квартирка, — сказал Брайт. — Кровать, как пульмановский вагон.

Воронов выразительно поглядел на свои часы.

— Да, да, — заторопился Брайт, — сейчас отчалим. Погоди минутку...

Он подошел к стоявшему у стены комоду, открыл один из ящиков и, достав оттуда что-то, протянул Воронову.

— Держи. Тебе.

На широкой ладони лежали небольшие квадратные часы в металлическом браслете.

— Швейцарские, — с гордостью сказал Брайт.

Воронов почувствовал, что краснеет.

— У меня есть часы, — пробормотал он.

— Швейцарские? — деловито спросил Брайт.

— Советские. Отец подарил.

— Почему ты не хочешь взять швейцарские? — по-прежнему держа часы на протянутой ладони, спросил Брайт. — Что-что, а банки и часы у них самые надежные в мире.

— Спасибо, Чарльз. — Воронов все-таки чувствовал себя растроганным. — Моя скромная услуга не стоит таких подарков.

— Кто говорит о подарках? — удивленно спросил Брайт, подбрасывая часы на ладони, — купи! По дешевке. У Бранденбургских ворот такие стоят две тысячи марок. Отдаю за тысячу.

— Мне они не нужны. — Вместо растроганности Воронов уже испытывал раздражение.

— Бери за пятьсот. Ты хороший парень и здорово выручил меня. Мы же союзники.

— Нет!

— Тебе они просто не нравятся! Иди сюда!

На дне ящика лежало десятка полтора часов. Ручные, карманные, с браслетами, на ремешках...

— Бери любые, за одну цену. Как у Вулворта. Если нет денег, отдашь после.

— Мы опаздываем, — сухо сказал Воронов.

— Ну, как хочешь, — с обидой произнес Брайт. К удивлению Воронова, эта обида казалась искренней.

Он вышел из квартиры и стал спускаться по лестнице, прислушиваясь, как Брайт возится с замком.

Два фотоаппарата уже лежали на прилавке: вороновский «ФЭД» и немецкий «Контакс», приготовленный для Брайта.

Как только Воронов вошел, Гетцке торопливо заговорил с ним по-немецки.

— Что он лопочет? — спросил Брайт.

— Он говорит, что с твоим «Спидом-грэфиком» дело плохо. Надо менять объектив. Вряд ли можно найти его сейчас в Германии.

— А, чёрт! — воскликнул Брайт. — Придется выложить монету за новый.

— У Бранденбургских?

— Да нет! У наших фотокорреспондентов, — не поняв или не оценив язвительности вопроса, ответил Брайт. — Среди них есть запасливые ребята.

Об этом они говорили уже на ходу и усаживаясь в «джип».

«Странный парень», — подумал Воронов. Чем-то он был ему все-таки симпатичен. Чем именно? Может быть, беззащитной растерянностью, с которой он глядел на свой разбитый аппарат? Или порывом искренней, даже восторженной благодарности, охватившим его, когда Воронов предложил ему помощь? А может быть, просто ребяческой, улыбчато-веснушчатой физиономией. Но какова бестактность с часами! После нее Воронов с удовольствием отделался бы от Брайта.

Прежде чем включить зажигание, американец посмотрел на часы.

— Все в порядке, — сказал он. — У нас вагон времени.

— Пожалуйста, не гони, — угрюмо попросил Воронов.

— Боишься быстрой езды? — с добродушной усмешкой спросил Брайт, включая двигатель. — Но ведь ты храбрый. Это у тебя ордена? — Он посмотрел на орденские планки на пиджаке Воронова и, не глядя вперед, тронул машину.

— Теперь у всех ордена, — не отвечая на вопрос, неприязненным тоном отозвался Воронов.

— У меня тоже есть, — увеличивая скорость, сказал Брайт.

— За что?

— А-а, — мотнул головой Брайт, — не хочется вспоминать. Тащил на себе раненого командира полка. До медпункта. Жирный был боров!

— Это же подвиг!

— Какой к черту подвиг! Толстяк вообразил себя Патоном! Сначала выгнал меня из полка, а потом я же его тащил. Полез куда не надо. Видеть не хочу эту медаль. Валяется где-то в комоде.

Воронов понял, что этот парень, очевидно, отведал пороха.

Брайт опять разогнал машину — ездить спокойно, с нормальной скоростью, он просто не умел.

— Как тебе понравился Гарри? — неожиданно спросил он, поворачиваясь к Воронову. То, что Брайт вел машину на такой скорости, не глядя на дорогу, пугало Воронова.

— Какой Гарри?

— Наш президент.

Пренебрежение, с которым Брайт говорил о новом президенте США, показалось Воронову дешевым снобизмом. Впрочем, и самому Воронову Трумэн не понравился, но он не хотел обсуждать это с Брайтом.

— Ты говоришь о президенте так, будто он твой близкий знакомый.

— Первый раз в жизни вижу,— пожал плечами Брайт. — Мой старик рассказывал, что в свое время не раз заходил к нему в лавочку.

— Какую лавочку?

— В его лавочку. Я ведь родом из Инденпенденса. Ты, видимо, не знаешь биографии нашего нового президента. Впрочем, не смущайся, ее и в Штатах мало кто знает. А Инденпенденс — маленький американский городок. Его тоже мало кто знает. Все вы думаете, что Америка — это Нью-Йорк, Вашингтон и Чикаго.

— При чем тут лавочка?

— Я же тебе объясняю: Трумэн был хозяином галантерейной лавочки. Мой старик покупал в ней товары.

— Значит, в прошлом он бизнесмен?

— Отец? Нет, у него была ферма под Инденпенденсом. Мы родом из Миссури.

— Я говорю о президенте.

— А-а... — пренебрежительно протянул Брайт. — Трумэн имел грошовый бизнес. Потом стал сенатором. У нас это быстро делается. Страна равных возможностей. Но машина у него хороша! Шесть тонн веса, броневая сталь, пуленепробиваемые стекла... Кстати, тебе удалось что-нибудь заснять?

— Что именно?

— Ну, президента. Его «Священную корову»...

— Какую корову?

— Боже мой, так называется его самолет! Ты не заснял и тех, кто его встречал?

— Зато ты это сделал,— сухо ответил Воронов, делая ударение на слове «ты».

— Верно,— самодовольно улыбнулся Брайт. — Один ноль в твою пользу. Впрочем, и в мою тоже. Стимсон, Гарриман, Мерфи — все они оказались в твоей коробочке. Ты хоть своих-то узнал в лицо?

— Своих?!

— Слушай, парень, при самом огромном спросе на фотокорреспондентов в Штатах у тебя не было бы никаких шансов. Я говорю о вашем после Громыко, Вышинском и...

— Разве они тоже были? — с искренним удивлением воскликнул Воронов.

— Были! И Колли, и Спаркс, и Клей! А кто нес почетный караул, знаешь? Солдаты и офицеры из дивизии «Черт на колесах».

«Этот парень, кажется, умеет работать!» — подумал Воронов, с невольным уважением посмотрев на Брайта.

Дорогу преградила группа военных. Насколько Воронов мог разобрать, это были англичане. Они стояли спиной к машине и о чем-то разговаривали. К удивлению Воронова, Брайт нажал на газ, хотя машина и так мчалась на огромной скорости. Метрах в десяти от военных англичан он дал оглушительно-резкий сигнал. Люди разбежались в разные стороны.

— Ты в уме? — воскликнул Воронов.

— Не люблю снобов,— сквозь зубы процедил Брайт.

...В ветровом стекле показалось поле аэродрома.

Теперь подъезды к нему охраняли уже не американские, а английские патрули. Первым предъявил свою белую карточку американец.

— Мистер Брайт? — спросил офицер.

— Герман Геринг, сэр,— с насмешливой почтительностью ответил Брайт.

— На виселицу не сюда,— без тени улыбки сказал офицер, возвращая Брайту карточку.

Потом он взял в руки документ Воронова.

— Россия?

— Советский Союз!

— Поторопитесь, джентльмены,— сказал офицер, протягивая Воронову его пропуск.

— Эти снобы не лишены юмора, о-уу, май диэ-э-э... [1],— пробормотал Брайт, пародируя английское «оксфордское» произношение. Он рванул машину вперед. Через минуту они уже были неподалеку от стоявшей на прежнем месте «эмки» Воронова.

Оставив ключ в замке зажигания, Брайт выскочил из машины почти одновременно с Вороновым.

— Я побежал,— торопливо сказал он. — Надо еще отвоевать себе место. Еще раз спасибо тебе, Майкл. Ты отличный товарищ, но... никудышный бизнесмен. И все-таки...

Он запнулся и с огромным усилием, едва ворочая языком, сказал по-русски:

— Я тьябя... лу-у-у... блу!

Помахивая «Контаксом», Брайт побежал к своим коллегам, уже толпившимся у взлетной полосы.

Воронов отсутствовал не более сорока пяти минут, но за это время на аэродроме все изменилось. Вместо американского почетного караула стоял английский. Солдаты строились в некотором отдалении друг от друга, примерно на полшага. Музыканты в черных мундирах, высоких меховых шапках, с трубами, тромбонами и флейтами напоминали персонажей экзотической оперы. Особенно странно выглядели барабанщики, одетые в своего рода фартуки из леопардовых шкур.

Однако время шло. Воронов заспешил к оцеплению. Протиснувшись в толпе к группе советских кинематографистов, стоявшей на

[1] О, мой дорогой! *(англ.)*

прежнем месте, Воронов пристроился рядом. Два-три раза прокрутив и спустив затвор своего «ФЭДа» он убедился, что все в порядке.

Самолет появился над линией горизонта минут через пять.

Все повторилось с самого начала. Над аэродромом снова промчались два истребителя эскорта. Опять взметнулись кинокамеры и фотоаппараты. Примитивной «лейкой» Воронова снимать самолет с такого расстояния не имело смысла. Как и в первый раз, Воронов ограничился тем, что наблюдал за своими иностранными собратьями. Из спокойно стоявших и негромко разговаривающих между собой людей они на глазах превратились в стадо буйволов или носорогов. Плечами, локтями, всем корпусом расталкивая соседей, они устремились к посадочной полосе. Своего нового знакомого Воронов среди них не видел. Очевидно, Брайт извлек уроки из предыдущей неудачи и на этот раз опередил всех возможных конкурентов.

Едва самолет коснулся земли, английские солдаты покатили трап. Вздрогнув, самолет остановился. Десятки кинокамер и фотоаппаратов с длинными трубами телеобъективов нацелились на еще закрытую металлическую дверь. Из-за нее слышалось какое-то лязганье. Стрекотание киноаппаратов постепенно смолкло. «Что происходит? — спросил себя Воронов. — Нагнетается атмосфера ожидания? Или с дверью и впрямь что-то случилось?»

Наконец дверь открылась, но Черчилль все еще не появлялся. Снова смолкли ожившие было камеры. И в этот момент вышел Черчилль, заполнив своей массивной фигурой весь дверной проем.

Час назад Трумэн шагнул на площадку трапа легко и подчеркнуто энергично. Так появляется в зале правления компании ее председатель, заставивший всех ждать и делающий вид, что очень торопился.

Черчилль же возник, словно медленно воздвигнутая на пьедестал тяжелая статуя. Он был в военном мундире, из-под отворотов которого виднелся темный галстук. Над фигурным клапаном верхнего левого кармана пестрели длинные орденские планки. На погонах можно было различить нечто похожее на звезды. Огромную голову, посаженную, кажется, прямо на плечи, увенчивала фуражка с широким козырьком такого же цвета хаки, как и сама фуражка. В правой руке Черчилля были зажаты перчатки и стек с белой, очевидно, перламутровой ручкой.

Черчилль стоял неподвижно, как монумент. Лицо его казалось застывшей крупной маской: пристальные немигающие глаза, большие губы — нижняя значительно толще верхней, приподнятый широкий подбородок.

Так он стоял секунду, три, пять... Само Время, взирающее на мир с высоты! Затем, переложив стек и перчатки в левую руку, он поднял правую и раздвинул два пальца, образуя знаменитую букву «V».

В толпе прошелестели аплодисменты.

Воронов сделал несколько снимков. Потом, повесив аппарат на плечо, он аплодировал вместе со всеми. Ему был неприятен фамильярно-пренебрежительный тон, каким Брайт говорил об американском президенте, хотя Трумэн не понравился и ему самому. Воронов привык к иному облику президента Соединенных Штатов Америки. У того, ныне уже ушедшего, было длинное, аскетическое лицо с тонкими чертами мыслителя. Рузвельт напоминал Воронову Ромена Роллана. Нынешний президент показался Воронову обыкновенным и вместе с тем крикливым. Он был явно немолод, но демонстративной энергичностью, легкостью походки как бы хотел показать, что полон сил и энергии.

Черчилль же и впрямь произвел на Воронова сильное впечатление. Из-за его широких плеч, из-за его массивной головы, казалось, глядела на мир сама Эпоха. Какая? Сейчас, устремив взор на Черчилля, Воронов не задавал себе этого вопроса. Ему казалось, что за Трумэном не было ничего, кроме пустоты. Черчилль же как бы олицетворял собой Историю. Он был импозантен. Именно это слово пришло на ум Воронову, когда он пристально глядел на Черчилля из толпы.

Тем временем монумент сошел со своего пьедестала и стал тяжело спускаться по трапу. Во рту Черчилля уже была толстая длинная сигара. Путь по лестнице он проделал, зажав незажженную сигару в левом углу своего широкого рта. Когда премьер достиг земли, в дверях самолета появилось несколько военных. Среди них — молодая женщина, тоже в военной форме.

Подавляющее большинство кинокамер и фотоаппаратов было, однако, по-прежнему направлено на Черчилля. Корреспонденты начали бомбардировать его вопросами.

Оркестр грянул британский гимн. Черчилль обошел ряды почетного караула. При этом он снизу вверх заглядывал солдатам в лица, иногда, задерживая на ком-нибудь из них свой сурово-сосредоточенный взор.

Воронов вспомнил советский киножурнал, посвященный Ялтинской конференции. В Ялте почетный караул состоял из советских солдат. Черчилль, обходя его, так же заглядывал в ли-

цо каждому солдату. На советских людей это произвело тогда сильное впечатление. Одни были уверены, что английский премьер смотрел на наших солдат с откровенной неприязнью, другим казалось, что его пугали их боевые качества, третьи считали, что сам Черчилль своим бычье-пристальным взглядом хотел их испугать.

Наблюдая за Черчиллем сейчас, Воронов понял, что все эти догадки были лишены основания. Очевидно, Черчилль просто-напросто выработал себе такую манеру. Он привык именно так обходить ряды почетного караула. Точно так же как привык постоянно курить или просто держать в углу рта толстую сигару, приветствовать людей знаком «Victory» — «Победа», появляясь на лондонских улицах, носить противогаз в сумке через плечо.

Пока Воронов предавался этим размышлениям, английский премьер продолжал свой обход, а оркестр, к удивлению Воронова, играл легкомысленные мотивы, переходя от фокстрота к вальсу и от вальса к польке.

Наконец подошли машины. Черчилль с трудом забрался в лимузин с английским флажком. Из все еще открытой дверцы снова появилась его рука с двумя раздвинутыми пальцами. Молодая женщина в военной форме села вместе с Черчиллем. В остальных машинах разместились вышедшие из самолета военные. Кортеж двинулся по направлению к Бабельсбергу. Сирены не завывали, солдаты не висели гроздьями на «джипах». Черчилля встречали гораздо скромнее, чем Трумэна.

Корреспонденты направились к своим машинам.

«Правильно ли я поступил, что не задал ему никаких вопросов? — подумал Воронов. — Но зачем? Только для того, чтобы потом похвастаться в Москве?»

— Хэлло, Майкл! — услышал Воронов, усаживаясь в машину.

Неподалеку уже сидел в своем «джипе» Брайт. С лязгом включив скорость, он рванулся вперед и через мгновение вплотную притерся к вороновской «эмке». Старшина-водитель испуганно посмотрел на него.

— Ты должен оказать мне еще одну услугу, парень, и на сегодня хватит, — весело сказал Брайт. — Скажи: когда прилетит ваш босс? — спросил он, понизив голос.

— Кто? — переспросил Воронов.

— Ах, святой Иаков! — воскликнул Брайт. — Президент прибыл, толстяк на месте. Надеюсь, они приехали не для того, чтобы полакомиться яичницей с беконом? Я тебя спрашиваю: где Сталин?

— Не знаю, — растерянно ответил Воронов.

— Темнишь, бой! — все так же весело сказал Брайт. — Тогда я тебе скажу, ведь я же твой должник. Сегодня Сталин не прилетит. Это факт. Придется пощелкать нашего миссурийца и этого толстяка. Если удастся... Надеюсь, мы увидимся. Может быть, вечерок выпадет свободный. А? Бай-бай, бэби!

Зачем-то подпрыгнув на сиденье, Брайт дал газ. Как и прежде, не выбирая дороги, он умчался в сторону Берлина.

— На объект, — сказал Воронов своему водителю.

Старшина стал осторожно выводить машину на дорогу.

— Вот ездит! — обернувшись к Воронову, с осуждением сказал он. — Будто ему ртуть в задницу вспрыснули! Все они такие. Что за народ!

Воронов не расслышал его слов. «В самом деле, когда приедет Сталин?» — спрашивал он себя. Но узнать об этом было не у кого. Задавать такие вопросы начальству не полагалось. Воронов это прекрасно знал. Но все же когда?.. Когда приедет Сталин?

Глава шестая

СТАЛИН

Поезд из трех салон-вагонов и восьми обыкновенных спальных стоял в десятке километров от Москвы, как бы перерезая Можайское шоссе. Рельсов не было видно — их скрывала высокая трава. Казалось, что поезд стоит в чистом поле, оказавшись здесь неизвестно каким образом.

Кроме паровоза, находившегося во главе состава, неподалеку стояли еще два — один поблизости от первого, другой — в нескольких метрах от вагона, замыкавшего состав. Тендеры первого и третьего паровозов были обнесены деревянными решетками. За ними угадывались люди и пулеметы. Возле состава по обе его стороны, образуя два длинных полукольца, расположились автоматчики. У ступенек одного из салон-вагонов стояли генералы и офицеры в звании не ниже полковника. Время от времени они поглядывали на часы и всматривались в сторону близкого, но не видного отсюда Минского шоссе.

...В седьмом часу утра вереница автомобилей на большой скорости устремилась по Арбату к Дорогомиловской заставе.

В этот ранний час Москва была еще почти пустынна. Люди, направлявшиеся на работу, невольно оборачивались вслед мчавшимся автомобилям. Как обычно в таких случаях, прохожие не сомневались, что в одном из них находится Сталин.

Но ни в одной из этих машин Сталина не было. В них ехали работники Наркомата иностранных дел: одни в светло-серой форме, введенной для дипломатического состава еще во время войны, другие в обычных штатских костюмах. Это были ответственные работники Наркомата, а также шифровальщики, радисты, секретари, стенографистки. Не менее пятидесяти человек, обремененных портфелями и папками, которые были туго набиты всевозможными документами — докладными записками, рефератами, справками.

Промчавшись километров десять по Минскому шоссе, машины свернули направо, в сторону Можайского. Метрах в пятидесяти от пересекавшего шоссе поезда они остановились.

Высадкой из машин, проверкой документов, посадкой в вагоны руководили несколько полковников в фуражках с малиновой окантовкой. Полковники то и дело повторяли: «Из вагонов пока не выходить!» Вся эта процедура заняла около получаса. Выгрузив своих пассажиров, машины тотчас развернулись и, набирая скорость, пустились в обратный путь. Возле неподвижного поезда снова остались только автоматчики и военные в форме Наркомата Госбезопасности. Особая атмосфера напряженного ожидания царила вокруг. Ее не в состоянии были нарушить ни яркое летнее солнце, уже поднявшееся над горизонтом, ни легкий теплый ветер, колыхавший высокую траву, ни птичьи голоса, ни стрекотание кузнечиков.

В семь утра на шоссе появилось еще два автомобиля. Они мчались почти рядом — встречное движение было перекрыто. Генералы и полковники устремились навстречу. Автоматчики вытянулись. С легким скрипом тормозов машины остановились, почти вплотную подъехав к поезду. Из одной машины вышли Молотов, его помощник Подцероб и сотрудник охраны. В сопровождении встречавших наркома военных Молотов прошел несколько десятков шагов и скрылся в одном из вагонов, находившихся в центре состава. Автоматчики, словно услышав команду «вольно», стояли теперь, переминаясь с ноги на ногу.

Зашипели паровозы, звякнули буфера вагонов. Но атмосфера напряженности не исчезла. Военные разговаривали между собой вполголоса, все чаще и чаще поглядывая на часы. Стрелки показывали двадцать три минуты восьмого.

В половине восьмого на шоссе показались три машины. Они приближались на большой скорости, все время меняясь местами. Первая машина оказывалась то второй, то третьей, третья то первой, то второй.

Люди, стоявшие вблизи поезда, не говоря друг другу ни слова, одновременно, словно по команде, одернули кители и гимнастерки. Автоматчики снова вытянулись, хотя команды «смирно» никто не подавал.

Первая машина остановилась, едва не коснувшись радиатором подножки одного из вагонов в центре поезда. Передняя дверца машины открылась еще на ходу. Из автомобиля выскочил офицер личной охраны Сталина Хрусталев. Он быстро распахнул заднюю дверцу кабины и замер позади дверцы, придерживая ее за ручку...

Сталин вышел из машины медленно, как бы нехотя. В белом кителе, без фуражки — ветер слегка шевелил его редкие рыжевато-седые волосы, — он огляделся, словно не замечая ни людей, ни самого поезда. Из других машин вышли секретарь Сталина Поскребышев, начальник Главного управления охраны генерал Власик, нарком внутренних дел Круглов и еще несколько военных. Как только Сталин шагнул на землю, Хрусталев взял с заднего сиденья машины темно-серый плащ Сталина с маршальскими погонами, — новых, соответствующих званию генералиссимуса, так и не ввели, — и его фуражку. Теперь Хрусталев стоял ближе всех к Сталину, с плащом и фуражкой в руках.

— Ну... что? — негромко спросил Сталин, обращаясь к встречавшим его военным.

Из-за спин генералов и полковников появился человек в железнодорожной форме и, сделав шаг вперед, громко сказал:

— Состав к отправлению готов, товарищ Сталин. Начальник поезда Ковалев.

— Еще вчера вы были наркомом путей сообщения, — чуть улыбаясь и щуря глаза от солнца, медленно произнес Сталин, — вас что же — повысили или понизили?

— Как вам сказать, товарищ Сталин... — ответил Ковалев, понимая, что Сталин шутит, но в то же время не испытывая полной уверенности в этом.

— Я полагаю, что все-таки повысили, — в обычной своей манере растягивая отдельные слова, а другие произнося скороговоркой, сказал Сталин. — Мы все теперь только пассажиры, а вы — начальник. — Он отвернулся от Ковалева и, не обращаясь ни к кому в отдельности, спросил: — Молотов уже здесь?

— Так точно, — ответил один из генералов.

Сталин медленно обвел взглядом поезд — от головного паровоза до замыкавшего состав.

— Если все готово, так чего же мы ждем? — слегка пожав плечами, спросил Сталин.

Ковалев поспешно сделал приглашающий жест, указывая на дверь салон-вагона. Сталин взялся за поручень. Слегка поддерживая локоть его левой руки, Хрусталев помог Сталину подняться на ступеньку. Через несколько мгновений Сталин скрылся в тамбуре. Хрусталев, Власик и Поскребышев последовали за ним.

Через две-три минуты поезд тронулся медленно, словно по-пластунски пробираясь в буйной траве, и вскоре перешел с короткой ветки на железнодорожную магистраль, берущую начало у Белорусского вокзала и ведущую на запад.

Это было пятнадцатого июля 1945 года.

Войдя в вагон, Сталин осмотрелся неприязненно и с некоторым недоумением. Казалось, его удивили блеск полированного красного дерева, начищенных медных ручек, хрустальной люстры, висевшей над овальным столом. В своих предвоенных поездках на юг Сталин тоже пользовался салон-вагонами, но те были гораздо скромнее. Они, как правило, состояли из небольшого рабочего кабинета, служившего и столовой, и трех обычного типа двухместных купе. Одно из них занимал Сталин сам, а два других — те, кто его сопровождал.

А этот же вагон, видимо, сохранился от старых, давно прошедших времен. Теперь его извлекли из дальнего железнодорожного тупика и тщательно реставрировали.

Хрусталев повесил плащ и фуражку Сталина на вешалку и направился к выходу.

— Позовите Молотова, — негромко сказал Сталин.

Молотов появился через две-три минуты. В отличие от остальных работников Наркомата иностранных дел он был в обычном штатском костюме.

Не здороваясь — со своими ближайшими товарищами он обычно не здоровался и не прощался, — Сталин спросил:

— Громыко и Гусев уже там... на месте?

— Да, — ответил Молотов, — прибыли вчера.

— А те?.. — снова спросил Сталин, делая рукой неопределенное движение.

— По данным на двенадцать часов ночи, оба должны прибыть в Берлин сегодня или завтра.

— Так... — слегка растягивая букву «а», произнес Сталин и подошел к окну. Сквозь зеркальное пуленепробиваемое стекло виднелись заброшенные доты, полные воды воронки. Война прошла по этим местам три года назад, но следы ее еще были видны повсюду.

— Что же, — стоя спиной к Молотову и глядя в окно, как бы про себя проговорил Сталин, — пусть немного подождут. Мы их ждали дольше... — Все так же, не оборачиваясь, он сказал: — Хорошо. Иди к себе. Работай.

...На заседаниях Политбюро, на совещаниях с участием военачальников, ученых, конструкторов и других командиров промышленности, во время встреч с иностранными дипломатами Сталин не имел при себе никаких справочных материалов и никаких документов. При нем никогда не было ни портфеля, ни папки.

Более того: Сталин обычно не делал никаких записей. Следуя своей излюбленной привычке, он ходил по комнате, курил трубку — на людях он всегда появлялся именно с трубкой — и прислушивался к тому, что говорили сидевшие за столом. Время от времени он прерывал их репликами. Когда же ему самому приходилось сидеть за столом, он порой сосредоточенно водил карандашом по листку бумаги.

Но Сталин ничего не записывал. Он рисовал. Иногда это были профили людей. Иногда — фигуры различных животных. Чаще всего волков.

Надеялся ли Сталин на свою память? Она его действительно редко подводила. Но главное все же было в другом. Все аспекты вопроса, по которому Сталин предполагал высказать свое мнение или который он считал нужным включить в повестку дня материальной или духовной жизни страны, как правило, разрабатывались для него специальными группами партийных работников, крупных ученых, опытнейших хозяйственников, выдающихся военачальников. Сталин же отличался редкой способностью быстро оценить ситуацию, схватить самое главное и сделать необходимые, с его точки зрения, политические обобщения и выводы.

Тем не менее распространенное в те годы мнение — он и сам немало способствовал его распространению — о том, что Сталин благодаря своей гениальности способен все предвидеть и единолично решать самые сложные проблемы, было, конечно, неправильным.

Окончательное решение действительно всегда оставалось за ним. Но Сталин никогда не был бы в состоянии его принять, если бы до этого, в тиши своего кабинета, не изучил множество документов — политических обзоров, исторических справок, проектов самых различных — иногда прямо противоположных — решений. Все эти документы готовил для него мощный партийный, государственный и дипломатический аппарат.

Однако Сталин обладал неизменной способностью всегда видеть перед собой основную цель.

Впрочем, целей могло быть и несколько, но при этом всегда была одна, самая важная. Чтобы помнить о ней, Сталину не требовались никакие документы. Он как бы отодвигал в сторону предварительно прочитанные им бумаги со всеми их смысловыми, цифровыми и прочими деталями и выкладками.

Из цифр он запоминал только две-три — наиболее важные, выражавшие самую суть дела. Из всех подробностей отбирал лишь немногие, как бы овеществлявшие цель, которую он перед собой ставил. Если его собеседник, в особенности если им оказывался представитель другого государства, отклонялся от существа дела, Сталин мягко, вежливо, а иногда и с легким сарказмом останавливал его и возвращал беседу к ее главной теме.

Среди государственных деятелей, ставших историческими личностями, трудно найти характер столь цельный и вместе с тем столь противоречивый.

Людей, анализирующих исторические события и характеры личностей, поднятых на гребень истории, всегда подстерегает соблазн простых, однозначных решений. Поддавшись такому соблазну, выбрав из всех красок только одну — белую или черную, эти люди оказываются одинаково далеки от исторической правды.

Конечно, в истории были и будут события, были и будут характеры, для изображения основной сущности которых вполне достаточно белого и черного цветов.

Революция и контрреволюция. Исторические деятели, чьи мысли и действия всегда были подчинены заботе о благе народа, и люди, вошедшие в историю как его злейшие враги. Здесь не требуется никаких других красок, кроме полярно противоположных.

Но деятельность Сталина такой оценке не поддается. В его характере причудливо сплелись добро и зло. Только меч Времени оказался способен рассечь это сплетение.

Последний раз он поднялся и опустился над Сталиным в годы войны, казалось, отсекая то зло, которое не раз с такой силой сказывалось в его характере.

Пятнадцатого июля 1945 года в широкое зеркальное окно салон-вагона смотрел человек, возглавивший страну во время четырехлетней кровавой битвы с самым жестоким из ее врагов.

Поезд, в котором ехал Сталин, мчался почти без остановок. Но война как бы сопровождала его неотступно. Куда бы Сталин ни взглянул из окна, повсюду он видел траншеи, ходы сообщений, окопы. Длинными и глубокими незаживающими шрамами выглядели они на полях, уже покрытых буйной ярко-зеленой травой. Сталин видел разрушенные доты и дзоты, обожженные огнеметной лавой мертвые остовы домов, закопченные стены...

Конечно, обо всех этих разрушениях он хорошо знал и раньше — по фотографиям, сделанным с самолетов-разведчиков, по кадрам кинохроники, снятым в районах, освобожденных от врага.

Но подлинные, еще кровоточащие раны, нанесенные войной, Сталин воочию видел впервые. Перед ним был искаженный недавними муками лик истерзанной, истоптанной, вздыбленной советской земли.

За долгие годы руководства страной Сталин ездил по ней не часто: в конце двадцатых годов — в Сибирь, на хлебозаготовки, позже — в Ленинград и ежегодно на Кавказ, в Сочи. Но тем не менее знал он многое. Мог безошибочно указать по карте, где и какие рождаются города, где воздвигаются заводы, где строятся электростанции, где прокладываются русла каналов, где и какие простираются земли — черноземные, глинистые, песчаные, где располагаются огромные лесные массивы и где пустынную землю все еще опаляет горячий ветер-суховей.

Перед войной он легко представлял себе облик преображенной за две пятилетки советской земли с возвышающимися над ней башнями домен, шахтными терриконами, с искусственно созданными водопадами, приводящими в движение мощные турбины. Еще не покидая Кремля, он, конечно, знал, что на значительной части советской земли — той части, по которой неумолимо прошагала война, — теперь ничего этого нет. Все разбито, взорвано, искорежено, затоплено...

Далекий от чувствительности, презиравший сентиментальность, иногда бывший неоправданно жестоким, Сталин застыл теперь возле широкого зеркального стекла и с мрачной сосредоточенностью глядел на мелькавшие перед ним картины разрушений.

Сталин видел и людей — изможденных, с темными от недоедания и бессонницы лицами, мужчин и женщин в солдатских гимнастерках, в ватниках, несмотря на июльскую жару, в довоенных обносках...

Исхудавшие ребятишки со вздутыми животами бежали к приближающемуся поезду, протягивая тонкие, как жердочки, руки. Они просили хлеба...

Ту же картину Сталин наблюдал на одном из подмосковных полустанков, где стоял встречный поезд, полный демобилизованных солдат.

Десятки, сотни детских ручонок тянулись к вагонам этого поезда, ловя на лету сухари, краюхи хлеба, консервные банки, куски сахара. Солдаты бросали все это поспешно, словно боясь, что поезд тронется и они не успеют отдать все, что у них есть...

Поезд, в котором ехал Сталин, мчался на запад с редкими, короткими остановками. Увидев его, люди уже привычно спешили к железнодорожной насыпи, но, разумеется, не знали, кто едет в этом составе, столь не похожем на обычные солдатские поезда.

«А если бы знали?!.» — подумал Сталин.

О чем спросили бы они его? Как будем жить дальше? Будет ли хлеб? Будут ли дома? Когда?!. Ведь он, Сталин, все должен знать, ведь ему все известно наперед, ведь он может ответить на все вопросы...

Поезд мчался мимо населенных пунктов, названия которых еще три-четыре года назад звучали в ушах Сталина как громовой набат. Он как бы совершал путь в прошлое. Значит, здесь, думал Сталин, стояли немцы, готовясь к решающему штурму советской столицы. Вызвав к телефону Жукова, он произнес тогда слова, каждое из которых падало на мембрану микрофона как окровавленный камень: «...Скажите честно, как коммунист... Как вы думаете, удержим ли мы Москву?..»

Смоленск, с именем которого было связано столь длительное сражение. Смоленская земля, ставшая могилой для многих десятков тысяч вражеских солдат. На ней умирали, но не сдавались советские бойцы, Минск, вернувший мысли Сталина к самым первым и самым горьким дням войны. Уже в конце июня сорок первого этот город оказался во вражеских клещах.

Снова тянулись пустые поля и степи, опаленные черной копотью войны. Снова мелькали города, которых больше не существовало.

Иногда мимо проносились встречные поезда. При виде их Сталина охватывало счастливое сознание несмотря ни на что выполненного долга. Эти поезда шли с запада на восток. Стук колес сливался с песнями и звуками гармоник, доносившимися из открытых дверей и окон. Во главе длинных составов шли паровозы с обвитыми зеленью портретами его, Сталина, укрепленными на лобовой части.

Советские солдаты возвращались с войны. Они толпились в тамбурах, выглядывали из окон пассажирских вагонов, сидели в распахнутых дверях теплушек, свесив ноги в тяжелых кирзовых сапогах. Воротники их выгоревших на солнце и выцветших от пота гимнастерок были расстегнуты; загорелые, усатые лица — солдатская, да и офицерская мода, стихийно возникшая на фронте в последний год войны, — сияли от счастья. Растягивая меха своих гармоник, баянов и аккордеонов, они весело приветствовали проносившийся мимо поезд.

Если бы они знали, кто в нем едет!

Четыре года назад, стоя на трибуне Мавзолея, Сталин провожал солдат на фронт. Прямо с Красной площади они шли туда, где решалась судьба столицы, а Сталин стоял, подняв руку с ладонью, обращенной к шагавшим мимо Мавзолея солдатским колоннам.

Теперь, глядя из окна на солдат, приветствовавших встречный поезд, Сталин думал: «Есть ли среди них те, кто шел по Красной площади 7 ноября 1941 года? Остался ли в живых кто-нибудь из тех?..»

Он, этот человек, сменивший привычную серую тужурку с мягким отложным воротником на военный китель, многих потерял в годы сражений и сам лично. Без вести пропал захваченный немцами в плен и, конечно же, убитый ими сын Яков. Ушли в холод и мрак, в вечную ночь многие из друзей юности, — позже у Сталина уже не было таких личных друзей. Среди них ушел Реваз Баканидзе. Почему он сейчас вспомнил о нем? Потому ли, что Реваз один решился использовать не только старую дружбу, но свои права коммуниста и прямо в глаза спросил его, Сталина: «Почему?!» Почему врагу удалось вплотную подойти к Ленинграду и к Москве?..

Думал ли тогда Сталин о речи, которую произнесет после победы? В ней он уже не с вынужденной, а с добровольной искренностью сказал об «отчаянных моментах», имевших место во время войны, и поблагодарил многострадальный, но навечно преданный идее коммунизма, героический народ за его доверие к правительству в эти «отчаянные моменты»...

Если бы Баканидзе остался жив! Он взял бы его с собой в этот поезд. Сейчас они стояли бы вместе у окна и глядели бы на встречные поезда, переполненные веселыми, счастливыми людьми. Вместе они постояли бы потом и у рейхстага, глядя на красное полотнище, развевающееся над его куполом.

«...Сначала надо разгромить врага... Остальное — после победы!..» — эти слова Сталин сказал в сорок первом, в кабинете своей кремлевской квартиры, глядя в широко открытые, требовательные глаза Баканидзе.

Теперь время «после победы» наступило!

Для миллионов советских людей победа означала мир, встречу с родными и близкими, возможность отложить наконец оружие и работать, строить, пахать, изобретать, творить...

Для Сталина победа означала еще и очень многое другое. Он размышлял о том, какой ценой она досталась. Двадцать миллионов человеческих жизней и почти семьсот миллиардов рублей! — такими астрономическими цифрами, оглашенными недавно на Политбюро, исчислялся ущерб, который нанесла Советскому Союзу война.

Страна разорена. Раны еще кровоточат. Десятки шахт заброшены или затоплены. Десятки заводов — первенцев предвоенных пятилеток — превращены в груды развалин. Взорван Днепрогэс. Разрушены Сталинград, Севастополь и еще бесчисленное множество городов и сел. Десятки тысяч рабочих и колхозников живут в землянках и дощатых бараках. Для того, чтобы поднять из руин города, села, заводы, электростанции, для того, чтобы достичь довоенного уровня жизни, потребуются неимоверные усилия миллионов людей и огромные денежные средства. Несмотря на все пережитое, советские люди должны найти в себе силы, чтобы совершить новый подвиг, теперь уже не военный, а трудовой. Во что бы то ни стало нужно изыскать необходимые средства. Иначе победа, рожденная в таких страданиях, может превратиться в «пиррову».

В эти часы напряженных раздумий Сталин размышлял и о том, как будет выглядеть Европа после войны.

Еще в 1943 году, когда битва была в разгаре, но сталинградская победа как бы мощным прожектором осветила ее конечный исход, специальная группа людей по поручению ЦК начала предварительную разработку предположительных контуров послевоенного мира. В группу входили дипломаты старшего и молодого поколений, ученые — экономисты и социологи, руководящие работники международного отдела ЦК.

Деятельность этой группы являлась важнейшей составной частью многосторонней, кропотливой работы, имевшей целью выяснить, какой послевоенный мир более всего соответствует интересам советского народа и народов Европы. Какие спорные вопросы могут возникнуть между нынешними военными союзниками? Какова должна быть советская позиция в каждом из этих спорных вопросов?

Эти и многие другие проблемы обсуждались на Политбюро и на заседаниях Государственного Комитета Обороны.

Таким образом, Сталин всегда располагал важнейшими материалами, необходимыми для принятия окончательных решений.

Сейчас, по пути в Берлин, его особенно заботила проблема безопасности западных границ Советской страны.

В течение долгих предвоенных лет, фактически с первых дней революции, западная граница на всем своем протяжении была границей вражды. На землях Прибалтики Юденич формировал свои отряды для броска на Петроград. Гнездом, где зрели антисоветские заговоры, плацдармом, откуда забрасывались в Советский Союз шпионы и диверсанты, в течение многих лет оставалась Польша. Враждебной была Румыния. Фашистский террор царил на Балканах.

Сам собой напрашивался вопрос: неужели советские люди даром пролили кровь, защищая свою Родину и освобождая Европу от гитлеровского ига? Неужели теперь, когда наступил мир, пограничные с Советским Союзом государства снова окажутся под властью антисоветских правительств, царей, королей, диктаторов?

Значит, советский народ снова будет жить под постоянной угрозой? Значит, надо будет опять тратить гигантские средства на вооружение, на строительство все новых и новых укреплений на западной границе? И это в то время, когда каждый рубль, каждая копейка необходимы для того, чтобы залечить раны все еще кровоточащей земли...

Можно ли рассчитывать, что делу восстановления страны помогут союзники, и прежде всего еще более разбогатевшие за годы войны Соединенные Штаты Америки, с начала прошлого века не видевшие на своей территории ни одного вражеского солдата?

Нет, на серьезную помощь рассчитывать нельзя. Сталин хорошо помнил, как расчетливо и скупо оказывала ее Америка даже во время войны против общего врага.

Относительно такой помощи у Сталина была договоренность с Рузвельтом. Но Рузвельта нет. Новый же президент Соединенных Штатов Трумэн начал с того, что «временно» приостановил поставки по «ленд-лизу».

Этот явно недружественный шаг Трумэна серьезно настораживал Сталина, хотя он, несмотря ни на что, искренне верил, что военный союз, сложившийся в годы борьбы с гитлеризмом, может перерасти в послевоенное мирное сотрудничество.

Сталин не был эмоциональным человеком. Он обладал характером рациональным и расчетливым. Веря в возможность послевоенного сотрудничества, он, конечно же, не забывал о неизбежных противоречиях двух антагонистических социальных систем, о коренном различии во взглядах, в идеалах, в образе жизни.

Однако Сталин исходил из того, что даже по капиталистическим понятиям такое сотрудничество должно быть выгодно союзникам, и прежде всего Соединенным Штатам. Не только потому, что Советскому Союзу, как это было реше-

ио в Ялте, предстояло вступить в войну с Японией. Сталин исходил из более долгосрочных прогнозов. Советский Союз не имеет общих границ с Соединенными Штатами. Военная угроза с его стороны исключена. Не является он и торговым конкурентом Америки. Вместе с тем советские рынки в первые послевоенные годы,— естественно, лишь сырьевые — были поистине необозримы...

Да, Сталин не раз совершал серьезные ошибки, нарушал законы, утвержденные партией, выработанные Лениным. Но ленинская концепция мирного сосуществования государств с различными социальными системами всегда оставалась для Сталина незыблемой. Альтернативой ей являлась война. Для каждого мыслящего государственного деятеля такая альтернатива после только что окончившейся мировой трагедии была невозможна. По крайней мере в обозримом будущем...

Сталин верил в реальность послевоенного мирного сотрудничества. Верил и в то же время сомневался...

В данном случае причиной этих сомнений отнюдь не была присущая Сталину подозрительность. Дело было серьезней и глубже.

Уже через две недели после Ялтинской конференции, 25 февраля 1945 года, посол Советского Союза в Соединенных Штатах Громыко прислал в Наркоминдел донесение, которое Молотов тотчас переслал Сталину. В этом донесении красным карандашом были подчеркнуты строки о том, что в госдепартаменте США вынашивается план создания послевоенного блока стран Западной Европы: Франции, Бельгии, Голландии, Испании и Италии.

Громыко писал, что, по замыслу его инициаторов, этот блок во что бы то ни стало должен находиться под влиянием США и Англии. В экономическом отношении его должны были поддерживать главным образом Соединенные Штаты.

Сталин долго размышлял над этими строками.

Конечно, намерение Англии и после войны играть доминирующую роль в Европе было ясно ему и раньше. Понимал Сталин и то, что дряхлеющая Британская империя может играть такую роль только при активной поддержке Соединенных Штатов. Но на Ялтинской конференции Рузвельт, прежде всего заботившийся об интересах Соединенных Штатов, страны, которая была и осталась империалистической, вовсе не собирался целиком передоверять Черчиллю заботу об этих интересах в Европе. Судя по всему, Рузвельт действительно верил в возможность послевоенного сотрудничества с Советским Союзом.

Однако последующие события и главное из них — сепаратные переговоры Даллеса с Вольфом и Берне — привели Сталина в ярость. Такое предательство в масштабах целого государства внушало Сталину отвращение. Уполномочив Даллеса вести переговоры с немцами за спиной еще продолжавшего войну Советского Союза, Соединенные Штаты совершили именно такое предательство. Пусть переговоры окончились безрезультатно. Пусть Рузвельт, отвечая на возмущенный протест Сталина, в предсмертном послании вновь и вновь заверил его в своих дружеских чувствах к Советскому Союзу и в готовности довести совместную борьбу с общим врагом до полной победы. Все равно подозрения в душе Сталина не улеглись.

Сталин отчетливо представлял себе намерения Черчилля. С большей или меньшей точностью он, пожалуй, мог предсказать, как поступит английский премьер в тех или иных обстоятельствах. Но Трумэн, ставший президентом Соединенных Штатов Америки всего лишь три месяца назад, был Сталину не ясен ни как человек, ни как политик.

Молотов подробно рассказал Сталину о своей встрече с Трумэном в Вашингтоне после санфранцисской конференции, положившей начало деятельности Организации Объединенных Наций. Судя по всему, новый президент Соединенных Штатов явно отступал от курса, намеченного в Ялте. Но, с другой стороны, он послал в Москву Гопкинса...

Чем руководствовался Трумэн, направляя в Кремль именно Гопкинса и, конечно же, зная, что этому человеку будет оказан самый дружественный прием? Чего хотел американский президент? Убедить советских руководителей отказаться от мысли сделать свою западную границу границей мира? Заставить их согласиться на восстановление старой Европы, со всеми ее антисоветскими очагами и гнездами?

Но стоило ли с подобными намерениями посылать в Москву Гопкинса, имя которого стало символом американо-советского сотрудничества? Ведь это имя столь тесно переплелось с именем Рузвельта, что после смерти президента Гопкинс как бы остался его тенью на земле.

Неужели этот человек согласился сыграть роль троянского коня? Или ему самому были неизвестны подлинные намерения Трумэна? Ведал ли Гопкинс, что творит? Верил ли в то, что способен сцементировать трещины, которые дало здание американо-советского сотрудничества? Но как могла эта вера сочетаться с ролью, которую ему предстояло сыграть? При несомненном уме Гопкинса, при его личной честности, в которой Сталин никогда не сомневался, подобное сочетание представлялось необъяснимым.

Где же разгадка?..

Сталин искал ответа на этот вопрос, мысленно возвращаясь к встрече с Гопкинсом в Кремле 26 мая — меньше двух месяцев назад...

В то время как Джозеф Дэвис выслушивал в Чекерсе антисоветские филиппики Черчилля, Гарри Гопкинс входил в кабинет Сталина в Кремле также со специальным поручением нового американского президента.

Худой, изможденный, подтачиваемый тяжкой болезнью, бывший помощник президента Рузвельта после смерти патрона формально продолжал занимать свой пост, но фактически был уже не у дел. Неожиданно его вызвал Трумэн и предложил отправиться в Москву, чтобы обсудить со Сталиным вопрос о предстоящей встрече «Большой тройки».

Первый раз Гопкинс приехал в Москву в конце июля 1941 года. Печать всего мира писала тогда о молниеносном продвижении гитлеровских войск в глубь Советского Союза и предсказывала его падение если не в ближайшие дни, то через две-три недели. В американском посольстве держались того же мнения. Гопкинсу показывали по карте, где находились тогда передовые части группы немецких армий «Центр» под командованием фельдмаршала фон Бока. Бои шли под Смоленском. Это был последний крупный населенный пункт на пути от Минска, захваченного в конце июня, к Москве.

Столицу почти ежедневно бомбила немецкая авиация. По советским сообщениям, к Москве прорывались лишь отдельные бомбардировщики «Люфтваффе». Но на улицах города каждую ночь вспыхивали пожары. От грохота зениток и разрывов бомб сотрясались стекла американского посольства.

«Выстоит ли Советский Союз хотя бы ближайшие месяцы? Есть ли смысл оказывать ему помощь?» — на эти вопросы Гопкинс должен был тогда, в сорок первом, ответить президенту Рузвельту.

Что же произвело на Гопкинса решающее впечатление? Беседы со Сталиным, во время которых загадочный советский руководитель категорически утверждал, что Россия выстоит? Нет, одно это на Гопкинса бы не повлияло. Достаточно было сопоставить слова Сталина с реальным положением на советско-германском фронте, чтобы они показались неубедительными.

Вместе с тем Сталин ничего не скрывал. С необъяснимой на первый взгляд откровенностью он обрисовал американскому представителю то поистине отчаянное положение, в котором оказалась Красная Армия. Гопкинс ждал, что, следуя элементарному расчету, Сталин постарается преуменьшить успехи гитлеровских войск. Но советский лидер рассказал о них даже больше, чем знали в американском посольстве. Поэтому-то его уверенные слова о том, что Красная Армия будет сражаться за каждую пядь советской земли, что Советский Союз не покорится Гитлеру ни при каких условиях, произвели на Гопкинса огромное впечатление.

Впрочем, дело было не только в Сталине. Москва, в которой Гопкинс пробыл несколько дней, повлияла на его душевное состояние не меньше, чем беседы в Кремле.

Из сообщений американской печати, из бесед с возвращавшимися на родину дипломатами Гопкинс знал о панике, царившей в столицах европейских стран, на чью территорию вступали немецко-фашистские войска.

Ничего подобного он не обнаружил в Москве. «Ни шагу назад!», «Победа или смерть!» — этими лозунгами, казалось, жила тогда советская столица.

По ночам грохотали зенитки. Лезвия прожекторов бороздили темное небо, выхватывая из мрака неподвижно висевшие аэростаты воздушного заграждения. Но по утрам трамваи, автобусы и троллейбусы были полны людьми, спешившими на работу. Иногда милиционеры останавливали движение, чтобы пропустить воинские колонны. Это были солдаты и люди в брезентовых или стеганых куртках, однако с винтовками за плечами. В посольстве Гопкинсу разъяснили, что это так называемое народное ополчение — добровольческие отряды из граждан, почему-либо не призванных в армию.

Все, вместе взятое — спокойный, грозно-сдержанный вид Москвы в сочетании с откровенностью и вместе с тем уверенностью Сталина, — побудило Гопкинса сообщить Рузвельту, что Россия, по его убеждению, будет сражаться до последнего солдата и ей следует оказать помощь боевой техникой.

В последующие три года Гопкинс со Сталиным не встречался. Однако из далекого Вашингтона он внимательно следил за великой битвой на полях России, переживая поражения советских войск и радуясь их успехам.

Почему? Только ли потому, что в самом начале войны, когда судьба Советского Союза висела на волоске, он был одним из тех, кто склонил президента помочь этой стране или, говоря на языке бизнеса, вложить деньги в, казалось бы, безнадежное предприятие? А может быть, и потому, что Гопкинс сочувствовал идеям, во имя которых вел войну советский народ?

Нет, Гопкинс не больше сочувствовал коммунизму, чем сам Рузвельт. Но приход Гитлера к власти, фашистские бесчинства в Германии, претензии гитлеровцев на господство в Европе, а затем и попытка осуществить эти претензии с помощью самолетов и танков — все это привело руководящую группу американских политиков и бизнесменов к выводу, что настало время сказать Гитлеру решительное «нет».

Итак, с одной стороны был Гитлер. После первых успехов в войне против Советского Союза, после нападения Японии на Пирл-Харбор он претендовал уже не только на европейское, но и на мировое господство.

С другой стороны, существовал Советский Союз. Это государство никогда не угрожало Соединенным Штатам. Об американской интервенции в России, казалось, забыли. Границы страны были гостеприимно открыты для американских бизнесменов, и особенно для инженеров, техников, высококвалифицированных рабочих. Многие из них, пострадав от кризиса, потрясшего Америку в тридцатых годах, нашли себе применение именно в Советском Союзе, приступившем к выполнению гигантских индустриальных планов.

Таким образом, сама жизнь способствовала тому, чтобы в Соединенных Штатах появились люди, которые, оставаясь далекими от коммунизма, тем не менее глубоко симпатизировали Советскому Союзу.

К таким людям относился бывший американский посол в Москве Джозеф Дэвис. К ним принадлежал и Гарри Гопкинс.

...В последний раз Гопкинс встречался со Сталиным в Ялте, во время Крымской конференции. Специальный помощник президента США был тогда членом американской делегации.

Теперь Гопкинсу, представлявшему нового американского президента, предстояло расчистить почву для первой послевоенной конференции трех союзных держав.

Прошло около трех недель с тех пор, как в Москве был торжественно отпразднован День Победы. Но Гопкинсу казалось, что праздник все еще продолжается. В июле 1941 года огромный город по вечерам погружался во тьму. Улицы быстро пустели. На тротуарах не оставалось никого, кроме медленно шагавших патрулей. Сейчас Москва сияла тысячами огней. Центр города заполняли толпы людей, казалось, наслаждавшихся самой возможностью ходить по улицам, не ожидая пронзительного воя сирены, грохота зениток, разрыва бомб.

Большинство мужчин еще носили военную форму, хотя многие уже и без погон. Не со всех оконных стекол были смыты пересекавшие их крест-накрест бумажные полосы. Со стен домов покоробившиеся от зимних стуж и летних дождей плакаты еще звали советских людей стоять насмерть. Но, несмотря на все это, Гопкинс ощущал атмосферу праздника, которым продолжала жить советская столица.

Привычка Сталина работать вечерами и ночами была известна Гопкинсу. Поэтому он не удивился, когда встретивший его на аэродроме посол Соединенных Штатов в СССР Гарриман сказал, что первая встреча со Сталиным должна состояться сегодня же поздно вечером.

В назначенное время Гопкинс, сопровождаемый Гарриманом и представителем государственного департамента Боленом (ему предстояло быть переводчиком с американской стороны), шел по кремлевскому коридору. Все было здесь так же, как в 1941 году, и в то же время както иначе.

Может быть, лампы под потолком горели ярче или паркет был тщательнее натерт, или на ковровых дорожках не осталось следов от десятков сапог, покрытых фронтовой дорожной пылью и грязью...

Дверь из приемной в кабинет Сталина была полуоткрыта. Как только американцы появились, уже знакомый Гопкинсу Поскребышев указал на эту приоткрытую дверь. Гопкинс вошел в кабинет первым. В центре комнаты стояли Сталин и другие, также известные Гопкинсу люди: Молотов и переводчик Павлов.

Сталин и неотступно следовавший за ним Павлов пошли навстречу Гопкинсу.

Впервые после 1941 года Гопкинс видел Сталина в Ялте. Уже тогда он был поражен тем, как Сталин изменился за это время. Волосы его, особенно на висках, поредели и приобрели желтовато-седой оттенок. Поседели и пожелтели усы. Под глазами отчетливо обозначились изрезанные морщинами мешки.

На тысячах портретов Сталин был запечатлен в тужурке с отложным воротником, в брюках, заправленных в сапоги. Тогда, в сорок первом, Гопкинс видел его именно таким.

Сейчас Сталин был в мундире с высоким, подпирающим щеки твердым стоячим воротником, с широкими погонами, на которых сняли расшитые золотом крупные звезды, в полуботинках вместо привычных мягких сапог. На левой стороне мундира поблескивала золотая звездочка.

— Здравствуйте, господин Гопкинс. Мы очень рады снова видеть вас на советской земле, — сказал Сталин, глядя Гопкинсу прямо в глаза и протягивая ему руку. На мгновение

продлив рукопожатие, он повторил: — Очень рады.

Гопкинс поздоровался с Молотовым и спросил, оправился ли господин министр после битв в Сан-Франциско.

Молотов слегка пожал плечами и ответил обычным своим ровным, лишенным эмоций голосом с легким заиканием:

— Не помню особых битв. Настоящие битвы уже закончились. Там были лишь споры.

По обе стороны длинного стола стояли стулья. Сталин указал Гопкинсу место не напротив себя, а рядом.

— Разрешите мне, господин Сталин, — сказал Гопкинс, — сесть там же, где я сидел... тогда. — Он указал на стул по другую сторону стола.

— Вы верите в приметы? — с добродушной усмешкой спросил Сталин.

— В хорошие приметы. Вернее, в хорошие традиции, — тоже с улыбкой ответил Гопкинс.

Все расселись — американцы с одной стороны, Сталин, Молотов и Павлов — с другой.

— Прежде чем перейти к сути возложенного на меня поручения, — первым начал Гопкинс, — мне хотелось бы рассказать вам, господин Сталин, о последних днях президента Рузвельта.

Это было начало, несколько неожиданное для Гарримана и Болена, но последний быстро перевел то, что сказал Гопкинс.

Сталин медленно наклонил голову, как бы соглашаясь с намерением Гопкинса и в то же время отдавая дань памяти покойного.

— Смерть президента Рузвельта явилась для всех нас тяжелой утратой, — негромко сказал он. — В Ялте еще ничто не предвещало такого быстрого и трагического конца.

Покойный президент, — продолжал Гопкинс, — был человеком большой воли. В Ялте шла речь о делах важных не только для наших стран, но и для всего человечества. Сознание этого придавало ему силы.

— Сознание большой цели всегда придает людям силу, — слегка покачав головой, сказал Сталин. — Низкие цели лишают ее даже сильных, — добавил он после паузы. — Мы слушаем вас, господин Гопкинс.

— На обратном пути из Ялты мне уже было ясно, что силы президента на исходе. При его состоянии здоровья он сделал все возможное и даже невозможное. Я был уверен, что он исчерпал все свои жизненные ресурсы. Но, к счастью, их оказалось больше, чем можно было предполагать. Вернувшись домой, президент продолжал активную деятельность. Он не раз говорил мне, что надо закрепить союз стран и народов, разгромивших гитлеровскую Германию. Для этого, указывал он, надо много работать. В день своей смерти президент написал несколько писем и подписал некоторые важные документы.

— В том числе и письмо товарищу Сталину, — произнес Молотов. — Оно датировано двенадцатым апреля.

Сталин молча посмотрел на Молотова. По его взгляду трудно было понять, одобряет он Молотова или осуждает за то, что тот прервал Гопкинса.

— Да, — сказал Гопкинс, обращаясь к Сталину, — письмо президента к вам было последним из вообще написанных им...

Голос Гопкинса чуть заметно дрогнул.

— Вы, конечно, помните содержание этого письма, — продолжал он. — Президент снова подтверждал то, что руководило им по отношению к России много лет: чувство искренней дружбы. Я позволил себе напомнить то, что вам известно из самого письма, потому что это имеет прямое отношение к моей теперешней миссии.

Сталин снова молча наклонил голову, как бы заранее соглашаясь, что между последним письмом Рузвельта и нынешней миссией Гопкинса должна существовать прямая связь.

— Ни один из врачей президента не ожидал, что это случится так внезапно и кончится так быстро, — тихо проговорил Гопкинс. — После удара президент уже не приходил в сознание и умер без страданий.

— От такой же болезни умер наш Ленин, — сказал Сталин. — Кровоизлияние в мозг. Это произошло уже после удара, из-за которого его рука оказалась парализованной.

— С частичным параличом президент, как вы знаете, свыкся давно. Ум его оставался могучим. Никто не знает, о чем президент думал до того, как потерял сознание. Но если бы меня спросили, я бы без колебаний ответил: он думал о близкой победе.

— Я полагаю, — медленно произнес Сталин, — он думал и о том, что будет после победы.

— Несомненно, — согласился Гопкинс. — Когда мы возвращались из Ялты, президент говорил мне, что покидает конференцию с обновленной верой в то, что наши страны смогут сотрудничать в дни мира столь же успешно, как и во время войны. Он не раз возвращался к этой теме.

— Мы здесь, — сказал Сталин, делая широкий жест, словно подчеркивая, что имеет в виду не только Молотова и Павлова, — также не раз беседовали на эту тему.

— Наконец, — продолжал Гопкннс, — я хочу сказать о том чувстве уваження и восхнщеиня, которое покойный президент испытывал к вам личио, господин Сталии. Впрочем, вам приходилось выслушнвать это не раз н не только от президента Рузвельта.

Сталин виимательно взглянул иа Гопкииса, как бы желая определить, нет лн в его последиих словах какого-либо подтекста. Но осунувшееся лицо амернкаица ие меняло своего выражения. По-вндимому, воспомннання о Рузвельте захватили его целнком.

— Иногда подобиые чувства выражаются людьми привычио, по инерции, — после короткого молчаиия заметнл Сталин, — а иногда для того, чтобы скрыть совсем иные чувства. Но президент Рузвельт никогда не опускался до этого. Он говорил то, что думал.

Теперь настала очередь Гопкинса виимательно посмотреть на Сталиил. Он знал, что деятельность Даллеса в Берне осложннла отиошеиия между Советскнм Союзом и Соедннеиными Штатами. Не хотел ли Сталин косвенным образом напомнить об этом сейчас?

Их взгляды встретились. На виешне невозмутимом лице Сталина обычно нельзя было прочесть ннкаких чувств. Но Гопкнису показалось, что иа этот раз лнцо Сталнна как бы говорило: «Нет, нет, ие сомневайтесь, я сказал то, что действительио думаю. Случнвшееся больно раннло меня, но не нзменило мнения о Рузвельте. Когда после смертн амернканского презндента мы назвали его велнкнм, то сделалн это нскренне».

— На обратном пути нз Ялты, — сиова заговорил Гопкинс, — преэндент много говорил н о новой встрече, которая обязательио должна состояться. Он не сомиевался, что эта встреча произойдет в Берлнне.

— В Ялте товарищ Сталин предложнл тост именно за встречу в Берлнне, — вставнл Молотов.

— У Молотова хорошая память иа тосты, — с усмешкой произнес Сталин. — Впрочем, у него вообще хорошая память, — уже серьезно добавил ои.

Гопкиис подумал, что, может быть, напрасно ои так много говорнт о прошлом. Ведь его послали сюда ие для этого. Он вндел, что Гарримаи бросает иа иего нетерпеливые взгляды, а Болен переводнт с таким видом, как будто его заставляют делать вовсе не то, что иужио.

«Нет! — мысленио воскликнул Гопкннс. — Прошлое так легко ие забывается! В особенности такое прошлое. Четыре года отделяют иашу первую встречу от этой. Четыре года и миллиоиы трупов. Я выполню порученне Трумэна, но не как чужой человек. В этом кабннете я оставил частицу себя...»

— Господин Сталии, — сказал Гопкинс, — я хорошо помию первую встречу с вами. Вы говорилн мие тогда о готовности вашего народа вестн войиу против Гитлера до тех пор, пока победа ие будет обеспечеиа. Вериувшись домой, я сказал президеиту Рузвельту, что Советскнй Союз иикогда не покорится Гитлеру. Прензидент предложил программу помощи вашей страие. Миогие люди у нас были тогда убеждены, что Гнтлер победнт. Но Рузвельт пошел против течения.

— Таким людям, как президеит Рузвельт, часто прнходилось идти против течення, — сказал Сталии, — ио онн достигалн берега победителями.

— Рузвельт мертв, — продолжал Гопкинс, — что же касается меня, то я устал н болеи. Еслн я ие отказался от миссии, которую возложил на меия президеит Трумэи, то лншь потому, что хотел лично передать эстафету...

— Мы иадеемся еще ие раз видеть господиина Гопкииса в Москве, — с несвойствеииой ему сердечностью сказал Сталии. — Мы увереиы, что встретим его и на предстоящей Коиференции...

— Это зависит от бога и... — Гопкиис запиулся. — Существуют вопросы, — продолжал он уже иным, официальным тоиом, как бы давая понять, что переходит к исполиеиию возложеиной иа иего миссии, — которые я н посол Гарриман хотели бы обсудить с вами, господин Сталии, и с господином Молотовым. Прежде чем к ним перейти, мие хотелось бы иачать с самого главного. Речь идет об осиовиых, фуидаментальных отиошеииях между Советским Союзом и моей страиой.

— Разве в этих фундаментальных отношениях произошли какие-либо перемены? — спросил Сталнн, подчеркивая слово «фуидаментальных».

— Разрешнте мне высказать все по порядку, — как бы давая Сталину понять, что просит ие перебивать себя, быстро сказал Гопкинс. — Вы зиаете, что еще совсем недавно, скажем, два месяца назад, америкаиский народ проявлял огромную симпатию к Советскому Союзу и полиостью поддерживал хорошо известную вам политику президеита Рузвельта. Разумеется, всегда иаходились всякие Херсты и Маккормики, которые былн против иашего сотрудничества с Россией и всячески старались помешать Рузвельту. Но иарод их не поддержал. Иначе он не избирал бы Рузвельта четыре раза подряд. Большиинство американцев верило, что, иесмотря на огромиое различие между иашими странамн — полнтнческое н ндеологи-

ческое, — мы можем сотрудничать и после войны.

Гопкинс на мгновение замолчал, думая, что Сталин, может быть, захочет прокомментировать его слова.

Но Сталин слушал его молча. Вынув из кармана трубку, он положил ее на стол возле себя.

— Однако сейчас, — продолжал Гопкинс, — возникла опасность, что общественное мнение Соединенных Штатов может измениться. В чем-то оно уже изменилось.

— Значит, после смерти президента «всякие Херсты и Маккормики» стали брать верх? — не с иронией, а скорее с участием спросил Сталин.

— Я не хотел бы упрощать дело, — с упреком возразил Гопкинс. — Причин, меняющих настроение американцев, несколько, но сейчас я констатирую лишь сам факт. Президент Трумэн, посылая меня в Москву, выразил обеспокоенность нынешней ситуацией.

— Президент Трумэн хотел бы внести коррективы в политику Рузвельта? — настороженно спросил Молотов.

— О нет, — поспешно ответил Гопкинс. — Он хочет продолжать политику Рузвельта. Но тем не менее ситуация кажется мне серьезной. Я слишком болен, чтобы предпринять такое путешествие без серьезных причин...

Сталин сочувственно наклонил голову. Из сообщения Громыко он знал, что Гопкинс действительно болен. Кроме того, ему было известно, что после прихода Трумэна к власти этот человек фактически находится не у дел. Не Гопкинсу, а Бирнсу — новой звезде, восходящей на американском дипломатическом небосводе, — поверяет новый президент свои мысли и намерения. Но для поездки в Москву Трумэн все же выбрал именно Гопкинса. Почему? Чтобы продемонстрировать преемственность своей политики? Или наоборот, чтобы замаскировать перемены?

Об этом сейчас думал Сталин, хотя лицо его оставалось внимательным и бесстрастным.

Как бы отвечая на его раздумья, Гопкинс сказал:

— Я приехал сюда не только потому, что считаю положение серьезным, но главным образом потому, что верю в возможность приостановить нынешнюю тенденцию и найти базу для движения вперед.

Не прикасаясь к лежавшей перед ним трубке, Сталин взял из открытой зеленой коробки папиросу и закурил. Он делал это подчеркнуто медленно, как бы давая возможность Гопкинсу высказаться до конца.

Но Гопкинс молчал.

— Каковы же конкретные причины изменения того, что господин Гопкинс назвал общественным мнением Соединенных Штатов? — слегка наклоняясь вперед и переводя взгляд с Гопкинса на Гарримана, спросил Сталин.

— Точные причины не так-то просто назвать, — ответил Гопкинс. — Я пока что хотел лишь подчеркнуть, что без поддержки общественного мнения, без поддержки бывших сторонников Рузвельта президенту Трумэну будет очень трудно продолжать прежнюю политику по отношению к Советскому Союзу. В нашей стране общественное мнение играет особую роль...

— Может быть, господин Гопкинс хочет сказать, что «всякие Херсты и Маккормики» теперь признаются в Соединенных Штатах подлинными выразителями общественного мнения? — продолжал Сталин, кладя дымящуюся папиросу на край хрустальной пепельницы. — Господин Гопкинс сказал, что «пока что» хочет сослаться на общественное мнение как на одну из общих причин. Будем считать, что он это сделал. Может, теперь он перейдет к причинам более конкретным?

Гопкинс почувствовал, что атмосфера постепенно сгущается. Ссылкой на такой объективный фактор, как общественное мнение, он хотел дать Сталину понять, что ни президент Трумэн, ни он, Гопкинс, здесь ни при чем... Но, судя по всему, Сталин воспринял это как простую риторику.

— Хорошо, — с отчаянной решимостью начал Гопкинс, — перейдем к конкретным причинам. Прежде всего это вопрос о Польше.

— Ах, так, — кивая головой, насмешливо произнес Сталин. — Кстати, сколько километров от самой крайней западной границы Польши до любого из побережий Соединенных Штатов? Тысяч шесть? Или больше?

— Я понимаю вашу иронию, маршал, — сказал Гопкинс, — но есть вопросы, в которых расстояния играют не главную роль.

— Проблема Польши относится именно к таким вопросам?

— Если говорить об Америке, да.

— А если говорить о Советском Союзе, то нет, — жестко сказал Сталин. — Для нас, живущих рядом с Польшей, расстояния играют очень важную роль.

Сделав небольшую паузу, он заговорил ровным и спокойным тоном, обращаясь не только к Гопкинсу, но и к остальным американцам:

— Молотов рассказал мне о своей беседе с президентом. Насколько я понял, президент недоволен тем, что ялтинское решение не выполняется. Так? — спросил он, обернувшись к Молотову.

Все молчали.

— Да, решение Ялтинской конференции о Польше до сих пор не выполнено. Это правда, — продолжал Сталин. — О чем мы договорились в Ялте? У нас, политиков, должна быть хорошая память. Но иногда она нам все-таки изменяет. Тогда нашу память надо... освежать. В Ялте мы договорились о том, что Польша получит существенное приращение территории на севере и на западе.

— Но о размере этих приращений было условлено проконсультироваться с новым польским правительством, — заметил Гарриман.

— Вот! — удовлетворенно произнес Сталин. — У господина Гарримана, я вижу, хорошая память. «С новым польским правительством», — раздельно повторил он, не спуская глаз с Гарримана. — Но где оно, это «новое польское правительство»? — Сталин даже посмотрел по сторонам, словно желая убедиться, что такого правительства и в самом деле нет. — Есть Временное правительство Польши, с которым мы, Советский Союз, поддерживаем дипломатические отношения. Никакого другого правительства нет.

— Мы движемся по заколдованному кругу, господин Сталин, — нетерпеливо заговорил Гарриман. — В Ялте было решено создать такое правительство, которое имело бы более широкую базу, чем это было возможно раньше, до освобождения западной части Польши. Поэтому вы, главы государств, условились, что нынешнее Временное правительство Польши будет реорганизовано на более широкой демократической основе, с включением в него и лондонских поляков. Но в Соединенных Штатах Америки создалось сейчас впечатление, что Советский Союз отступает от согласованного решения. Правительство так и не реорганизовано.

— Советский Союз никогда не отступает от согласованных решений, господин Гарриман, — назидательным тоном произнес Сталин. — Не отступал, не отступает и не отступит никогда. Наши союзники, — вот они — порой действительно отступали. Однако мы старались смотреть на это... снисходительно.

— Но проблема Польши сводится сейчас к реорганизации правительства. Новое правительство Польши не может быть создано без прямого содействия Советского Союза. Ведь территорию Польши занимают ваши войска! — воскликнул Гопкинс.

— Вы ошибаетесь, господин Гопкинс, — отрицательно покачав головой, сказал Сталин. — Проблема Польши, как выяснилось, в другом.

— В чем же? — почти одновременно спросили Гопкинс и Гарриман.

Глаза Сталина неожиданно сощурились, на губах заиграла злая улыбка, открывая подпалины усов и пожелтевшие от постоянного курения зубы.

— В том, — медленно проговорил он, — что Советский Союз хочет иметь своим соседом дружественную Польшу, а господин Черчилль и его лондонские поляки желают воскресить на наших границах систему «санитарного кордона».

— Но ни у правительства, ни у президента Соединенных Штатов такого намерения нет! — быстро сказал Гопкинс.

— Господин Гопкинс, конечно, лучше знает намерения Соединенных Штатов. Что же касается меня, то, говоря о санитарном кордоне, я прежде всего имел в виду Англию. Английские консерваторы не желают дружественной Советскому Союзу Польши и хотят создать там правительство, соответствующее их намерениям. Но мы на это не согласимся. Уверен, что и поляки тоже.

Сталин говорил сухо и отчужденно. А ведь еще совсем недавно он был добродушен, подчеркнуто вежлив, даже мягок...

Гопкинс хорошо знал, что, сказав «нет», Сталин уже не отступит ни на шаг.

С внезапной тоской Гопкинс подумал, что напрасно приехал сюда, напрасно, вопреки врачам, встал с постели, напрасно пересек океан и напрасно сидит теперь в этом кремлевском кабинете.

Размышляя о неминуемо близкой смерти, Гопкинс говорил себе, что прожил жизнь не зря. Добившись, чтобы России была оказана помощь, он не подвел ни свою страну, ни столь любимого им президента. Он не обманул и этого порой загадочного, порой прямолинейно-жесткого, не скрывающего своих намерений человека, который сидел сейчас напротив него. Большинство людей в Вашингтоне — в Белом доме и на Капитолийском холме — считали Сталина восточным деспотом, коварным византийцем, чуждым, враждебным всему тому, чем руководствовались в своей жизни американцы. Гопкинс знал, что порой этот человек может быть и жестоким, безжалостным. Однако он всегда поражал Гопкинса своей прямотой и, несомненно, огромной волей.

«Чьи же интересы я защищаю в Москве на этот раз?» — с горечью спрашивал себя Гопкинс. Рузвельта? Но его уже нет на свете. Трумэна? Но Гопкинс недостаточно хорошо знал этого человека, столь случайно оказавшегося президентом Соединенных Штатов. Черчилля? Его Гопкинс знал хорошо. Перед отъездом Гопкинса в Москву Трумэн показал ему последние письма и телеграммы Черчилля. Дым войны еще заволакивал небо Европы. Рука об руку

сражаясь за дело победы, еще гибли люди — русские, американцы и англичане, — а строки, написанные Черчиллем, дышали ненавистью к русским.

...Человеку, которого звали Гарри Гопкинс, оставалось жить не больше года. Он всегда был истинным американцем. Поэтому воспринимал как само собой разумеющийся тот факт, что его страна выходила из войны самой богатой, почти не пострадавшей от военной бури, если не считать жертв, которые унесло и еще продолжало уносить сражение на Дальнем Востоке. Но исход и этой войны — Гопкинс, естественно, знал о секретном Ялтинском соглашении — был теперь тоже связан с Советским Союзом. Все это должно было привести и действительно привело Гопкинса к самому важному для него выводу: будущее мира прямо зависит от отношений между его страной и Россией...

Как бы Гопкинс ни старался казаться спокойным, сейчас его раздирали противоречивые чувства. Он вынужден был вести словесный бой со Сталиным из-за Черчилля. Отдавая должное уму и воле британского лидера, он, как и президент Рузвельт, никогда его не любил.

Дома, в сорок первом году в Кремле и уж, конечно, совсем недавно в Ялте все казалось Гопкинсу ясным. Сейчас же он находился в смятении. В польском вопросе Сталин был, конечно, прав, но в то же время в ушах Гопкинса звучали панические предупреждения Черчилля о «закате Европы», если она станет «красной».

Наконец Гопкинс решился нарушить тягостное молчание.

— Господин Сталин, — твердо произнес он, — я представляю здесь не британского премьер-министра, а президента Соединенных Штатов. Хочу заверить вас, что президент хочет существования такой Польши, которая дружески относилась бы к Советскому Союзу. Более того, вдоль всех советских границ он хочет видеть дружественные вам страны.

Сказав эти слова, Гопкинс подумал: «Хочет?..» Усилием воли он постарался погасить сомнения.

— Если это так, — уже прежним своим добродушным тоном произнес Сталин, — то насчет Польши мы могли бы легко договориться. Когда я говорю «мы», — пояснил он, — то имею в виду и поляков и Советский Союз.

Сомнения снова проснулись в душе Гопкинса. «Не слишком ли категорически сказал я о позиции Трумэна? — думал он. — Достаточно ли учитываю тот факт, что уже не Рузвельт является сейчас президентом Соединенных Штатов...»

Впрочем, отношения между Рузвельтом и Гопкинсом тоже не всегда развивались гладко. Иногда Рузвельт отдалял от себя своего помощника. Затем приближал его снова. Но главное, в чем Рузвельт и Гопкинс всегда находили общий язык, была взаимная вера в то, что надежной гарантией будущего мира является сотрудничество с Советским Союзом. Пусть не всегда и далеко не во всем. Но сотрудничество в главном — в том, от чего зависит мир на земле.

Что же касается Трумэна... Новый президент недвусмысленно дал Гопкинсу понять, что намерен во всем следовать линии покойного президента. Следовательно, Гопкинс имел право сделать свое заявление. И все же...

Гопкинс снова напомнил Сталину, что общественное мнение Америки меняется, что антисоветские настроения растут, но что готовность маршала положительно решить польский вопрос, несомненно, будет способствовать улучшению ситуации.

— Конечно, польский вопрос можно уладить, — с едва уловимой усмешкой сказал Сталин. От него не укрылось, что Гопкинс повторяется. — Но только не в том случае, если британские консерваторы попробуют возродить «санитарный кордон».

Точка над «и» была поставлена. К вопросу о Польше возвращаться более не следовало.

— Разумеется, — снова заговорил Гопкинс, — Польша не единственный вопрос, который мне поручено поставить. У президента Трумэна есть, например, желание встретиться с вами, господин маршал, и обсудить все проблемы, возникающие в связи с окончанием войны в Европе.

Сталин молча наклонил голову.

— В случае вашего согласия, — продолжал Гопкинс, — можно было бы наметить время и место такой встречи.

— Относительно места я уже ответил президенту, — сказал Сталин. — Мы предлагаем Берлин.

— Очевидно, президент получил это ваше послание после моего отъезда из Вашингтона.

— Молотов вручит вам и господину Гарриману копии, — сказал Сталин.

Молотов тотчас же сделал пометку на лежавшем перед ним листке бумаги.

— Мы ожидаем, — снова заговорил Гопкинс, — что Советское правительство назначит своего представителя в Контрольном совете для Германии. Нашим представителем президент уже назначил генерала Эйзенхауэра...

— Что же, — сказал Сталин, — Советский Союз будет представлять маршал Жуков.

— Есть и другие вопросы. Например, о да-

те вступления Советского Союза в войну с Японией, о перспективе созыва мирной конференции, о составе комиссии по репарациям...

— Мы готовы обсудить все это, — сказал Сталин, — вы, очевидно, еще не раз встретитесь с Молотовым. Что же касается меня, то я всегда готов вас видеть.

— Тогда, может быть, сегодня мы не будем больше отнимать у вас время, — сказал Гопкинс, поглядев на Гарримана. Тот кивнул. Американцы сделали движение, чтобы подняться со своих мест, но Сталин остановил их движением руки.

— Мне хотелось бы кое-что высказать, прежде чем мы расстанемся, — спокойно сказал он. — В начале нашей беседы господин Гопкинс сослался на общественное мнение Америки. Я не хочу использовать советское общественное мнение в качестве маскировки и буду говорить от имени Советского правительства и от себя лично. Вы сказали, господин Гопкинс, — пристально глядя на американца и как будто желая проникнуть в самую глубину его души, продолжал Сталин, — что в американских кругах произошло охлаждение к Советскому Союзу. Да, мы это чувствуем. Соединенные Штаты не только без всякого предупреждения начали маневрировать с поставками по «ленд-лизу». Вместе с Англией вы односторонне провели акт капитуляции немецких войск в Реймсе без нас. Потребовалась вторая, берлинская, капитуляция, чтобы восстановить справедливость. Вы, — делая ударение на этом слове, повторил Сталин, — задерживаете значительную часть немецкого торгового флота, на который имеем право и мы. Есть и некоторые другие факты, — он сделал легкое движение рукой, — о них мы еще успеем сказать. Таким образом, возникает вопрос: нет ли у Соединенных Штатов намерения оказать давление на Советский Союз, вести с ним переговоры под нажимом? В таком случае мне хотелось бы... разрушить эти ваши иллюзии.

— Вы неправы, маршал! — воскликнул Гарриман. — Неужели вам не ясно, что, направив в Москву Гарри Гопкинса, президент Трумэн не случайно выбрал человека, который не только был близок к покойному президенту, но известен как один из поборников политики сотрудничества с Советским Союзом? Президент Трумэн послал Гопкинса именно потому, что знал: с ним вы будете говорить с той прямотой, которую, как мы все знаем, вы так любите!

Сталин перевел свой взгляд с Гопкинса на Гарримана и поглядел на него внимательными, немигающими глазами.

— Да, — негромко сказал он. — Я люблю прямоту и откровенность. Потому прошу и вас быть откровенным. Господин Гопкинс утверждает, что причина охлаждения к нам со стороны Соединенных Штатов кроется в проблеме Польши. Но почему это охлаждение произошло, как только Германия была побеждена и вам, американцам, стало казаться, что русские уже больше не нужны?

Хотя Сталин говорил, почти не повышая голоса, но в его словах столь явно прозвучали гнев и горечь, что американцы растерянно молчали.

Наконец Гопкинс сказал:

— Мне больно выслушивать такие подозрения. Поверьте, они необоснованны! Что же касается Польши, то у меня нет никакого права решать эту проблему. Я просто хотел пояснить, что польский вопрос стал для американского общественного мнения как бы символом нашей способности решать те или иные проблемы вместе с Советским Союзом. Сама по себе Польша для нас особой роли не играет. Проблема имеет для нас скорее нравственную сторону, чем политическую.

— Нравственную? — с нарочитым удивлением переспросил Сталин. — Что ж, это очень удобная позиция, господин Гопкинс: заслоняться то общественным мнением, то нравственностью. Кто же отныне будет решать, что нравственно, а что нет? Соединенные Штаты? Но ведь невозможно соединить в одном лице функции президента и папы римского.

— Президент Соединенных Штатов никогда не имел подобных намерений, — возразил Гопкинс.

— Прошу извинить меня, — с затаенной усмешкой произнес Сталин. — Я не имел в виду конкретного американского президента. Я просто использовал... некий символ. Еще мне хочется сказать, — уже без всякой иронии и даже с оттенком сердечности продолжал Сталин, — что я далек от предположения, будто господин Гопкинс умышленно хочет прятаться за американское общественное мнение. Я знаю, что он честный и откровенный человек.

С этими словами Сталин, опираясь на край стола, стал подниматься.

Встали со своих мест и все остальные.

Гопкинс выходил из комнаты последним. На самом пороге он задержался. Сталин и его переводчик стояли в нескольких шагах от двери.

Гопкинс подошел к Сталину и тихо спросил:

— Неужели здание дружбы, заложенное вами и президентом Рузвельтом, дает серьезную трещину?

— Если это и так, то нашей вины в том нет, — ответил Сталин.

— Я очень болен, господин маршал, — с грустью сказал Гопкинс. — Для меня нестерпи-

ма мысль, что это здание, в фундаменте которого есть и мои камин, становнтся неустойчивым. Скажите положа руку на сердце: вы счнтаете возможным, чтобы теперь, когда иаступил мнр, отиошения между нашимн странамн остались такими же, как н тогда, когда у нас был общнй враг?

— Я счнтаю это не только возможным, но и необходнмым, — убеждеиио ответнл Сталнн.

— Тогда последиий вопрос: люди не вечны. Вы увереиы, что другне... ну, те, что придут после иас, будут придержнваться вашей точки зреиия?

— Если говорить о иашей страие, — ответнл Сталии, — то да, увереи. Не потому что это точка зреиия моя, а потому, что ее диктует сама жнзнь.

— Спаснбо, — сказал Гопкнис, — сегодия мие легче будет засиуть. До свндання, до следующей встречи.

Ои протянул Сталину руку...

«Вот так...» — молча пронзнес Сталин, мыслеино восстаиавливая все деталн своей иедавией беседы с Гопкинсом.

Время текло медлеино. Два нли три раза в вагои заходил Молотов с шнфровками, только что получеииыми нз Москвы н Берлииа. Радиостаицня поезда работала непрерывио. На некоторые нз телеграмм Стални тут же диктовал короткие ответы. Вскоре после ухода Молотова его старшнй помощинк Подцероб приноснл этн ответы иа подпись.

Пообедал Сталнн в одинночестве. Все остальиое время стоял у окна...

Изредка мимо проноснлись встречные поезда. На переднних площадках паровозов Сталин вндел свон портреты. Уже в маршальской форме. Только лицо на этих портретах оставалось молодым, таким, каким было до войны. Черные усы. Черные бровн. Черные волосы...

«Время!» — с не свойственной ему грустиой нитонацней тихо проговорил Сталнн. Ои сознавал, что войиа ие прошла для иего бесследио. Ои быстро стареет. Иногда сдает сердце. Врачи, к которым Сталнн ннкогда не любил обращаться, неопределенно и вместе с тем успокаивающе говорят: «Сосуды!..»

«Мие нужио еще несколько лет! — подумал Сталнн. — Хотя бы год! Вынграть еще одиу бнтву, добнться еще одной победы, может быть, не меиее важной, чем уже достигнутая... И тогда...»

Наступнл вечер. Сквозь зеркальное стекло уже трудно было что-нибудь разглядеть. Но Сталин по-прежнему стоял у окна, поглощеииый своими мыслями...

Глава седьмая

КЕМ ОН ПРОСНЕТСЯ ЗАВТРА?..

Аэродром в Гатове отделяли от Бабельсберга ие более пятиадцати километров. До предоставленной ему резнденции машина домчала Трумэна в считанные мннуты. Броснв беглый взгляд иа облнцоваииый желтой штукатуркой трехэтажный особняк, где ему предстояло жить в течение блнжайших двух иедель, Трумэи тотчас иазвал его «малым Белым домом».

Осмотрев «малый Белый дом», Трумэи взял себе верхннй этаж. Нижние он предоставнл государствеиному секретарю Джеймсу Бирнсу и своей многочислеиной охраие. Адмиралу Леги, пресс-секретарю презндеита Чарльзу Россу, дипломату н переводчику Болену предстояло поселнться в иебольшом домике, примыкавшем к особияку.

«Малый Белый дом» в Бабельсберге, на Кайзерштрассе, 2, видимымн и иезримымн иитямн — телеграфными н телефоиными проводами, подводным кабелем, радиоволиами — был связаи с Франкфуртом-на-Майие, где располагалась ставка Эйзенхауэра, Вашингтоиом, Дальним Востоком. При желанни Трумэи мог позвоннть даже в свой родной Индепенденс.

Бирнс н другне высокопоставлеиные америкаицы, сопровождавшне Трумэна, еще ие прнбылн, — самолеты типа «С-54», на которых оии летелн, подиялись в воздух несколько позже «Священной коровы». После осмотра «малого Белого дома», президеит вызвал к себе Гарримаиа и геиерала Паркса, ответствеиного за размещенне америкаиской делегацни.

Трумэна больше всего интересовали два вопроса: прибыл ли Сталии н есть ли какие-нибудь нзвестия из Вашнигтоиа?

Ответы иа оба вопроса былн отрнцательными. Как удалось выясиить в советском протокольном отделе, Сталииа ожидают завтра. Узиать точный час н место прибытия, как всегда у русских, было невозможно. Из Вашиигтоиа же, кроме обычиой, так сказать, рутииной ииформации, ничто не поступало.

Собствеиио, другого ответа иа этот вопрос Трумэн н не ждал. В теченне десяти дией своего морского путешествня он был постоянно связан по радно с Вашнигтоном. Сообщеиня от геиерала Гровса он приказал доставлять ему в адмиральскую каюту в любое время, даже если бы оин пришлн глубокой ночью.

Перед тем, как покинуть Вашингтои, Трумэи в последиий раз выслушал доклад комитета,

иазначенного им для руководства завершающим этапом Манхэттенского проекта.

Гровс заявил, что все идет нормально. Испытание предполагалось провести пятнадцатого, самое поздиее, шестиадцатого июля. Следовательио, президент будет осведомлён о его результатах либо иакануне коиференции в Потсдаме, либо в первый же ее день.

Тогда это заявленне успокоило Трумэиа. Поиравилось ему и то, что предстоящему испытанию дали кодовое название «Тринити», то есть «Троица». Тем самым как бы испрашивалось благословеиие божье на «взрывчатку», с помощью которой, по выражению Бирнса, можио «взорвать весь мир».

Местом для испытаиия был избран малоиаселениый район Аламогордо, в нескольких десятках километрах от Лос-Аламоса, в штате Нью-Мексико. В самом Лос-Аламосе долгое время велись подготовительные работы. Несмотря иа всю их засекреченность, оии все же могли привлечь внимаиие. Трумэн согласился, что Лос-Аламос, как место испытаиия, не подходил, — взрыв иеизбежио вызвал бы догадки о характере производимых работ.

Избраииый местом для испытания район Аламогордо включал в себя территорию военной авиациоииой базы, ио располагался вдалеке от самого аэродрома. Таким образом, можио было соблюсти максимальную секретиость.

Гровса смущало, что в этом районе обитали его редкие аборигены-индейцы, которых ои считал искоииыми врагами Америки. Геиерал позаботился, чтобы их оттуда заблаговременно убрали.

Теперь все зависело от того, как пройдет испытаиие.

Трумэи даже думать не хотел о возможной иеудаче. Ему уже виделся трон совремеииого Зевса-громовержца. Чтобы подняться на этот трон, оставалось сделать несколько шагов, иет, теперь уже всего одии шаг. Мысль о том, что видеиие может оказаться миражем, была иевыиосима. Из радиограмм Гровса, поступавших иа «Аугусту», Трумэи зиал, что в эти самые дии и часы в Аламогордо доставляются составные части взрывного механизма. Любуясь океаиом, ои представлял себе места, где ему никогда ие приходилось бывать: горные ущелья, голые скалы, безлюдную пустыню... Там сейчас шли работы, от которых, по глубокому убеждеиию американского президента, зависело будущее всего мира.

Из радиорубки «Аугусты» Трумэну приносили уже в расшифрованиом виде сводки с дальневосточиого военного театра, доклады Эйзенхауэра из Франкфурта, донесення многочисленных разведчиков. Но президент прежде всего читал сообщення генерала Гровса. В Антверпене Трумэиа поджидало разочарование: пришла шифрограмма, в которой Гровс сообщал, что над Аламогордо проиеслись сильные грозы. Разбушевавшаяся стихия могла нарушить все планы и сломать все графики...

Впрочем, Трумэн так н не знал точно, какой же в конце коицов день и час были нзбраиы для решающего испытания. На выбор окончательной даты влияло множество самых различных факторов. Учитывая это, ученые страховались и иичего строго определениого не сообщали даже Гровсу.

Трумэн невольно вспомннл адмирала Леги с его увереииостью в том, что затея с бомбой обречена иа провал.

Из Дании Трумэи направился в Германию. Во Фраикфурте он собирался иеиадолго остановиться, чтобы переговорнть о текущих делах с геиералом Эйзенхауэром.

Еще по дороге из Антверпена в Брюссель Трумэну были оказаиы непривычные для него почести. Моторизованные части дивизии, в которой Трумэн, тогда еще в чине капитаиа, служил во время первой мировой войны, выстроились вдоль шоссе. Президеитский кортеж приветствовали толпы бельгийцев, освобожденных от немецкой оккупации. Гремели оркестры, развевались зиамена. Трумэн то и дело выходил из машины, чтобы принять рапорт очередного почетиого караула, пожать сотни протянутых к нему рук. Необходимость улыбаться и позировать фотографам превратилась в пытку.

Впрочем, если говорнть откровенно, это была сладкая пытка. После своего поспешиого вступления в Белый дом Трумэи еще ни разу ие испытывал такой полноты власти. Никогда еще эта власть не представлялась ему столь ощутимой и реальной.

Трумэиу и в голову не приходило, что тень покойного Рузвельта и теперь еще продолжает стоять за иим. Все зиаки виимаиня ои воспринимал как адресоваииые ему, и только ему.

Это опьяиеиие властью достигло предела во Фраикфурте. Здесь президеиту США были оказаиы высшие воиские почести. На время Трумэи забыл даже о Гровсе. Но тот иапомннл о себе иовой телеграммой. Увы, из иее можио было поиять только одио: при благоприятиой погоде и если ие возиикнут иепредвидеииые обстоятельства, испытаиие состоится в самое ближайшее время.

...Оказавшись в тихом, как бы отрезанном от остальиого мира Бабельсберге и узиав, что в Аламогордо все еще ничего решающего ие

произошло, Трумэн почувствовал усталость. Только мысль о бомбе удерживала его на ногах. Одиако, как послушный сыи, ои приказал соединить себя с Индепенденсом и поговорнл с матерью.

Из всех развлеченнй Трумэн больше всего любил музыку н карты, а из всех карточиых нгр — покер. Обладая хорошей комбииацией, он взвинчивал ставкн. Если его партнеры не выходилн нз игры, а иа каждое повышенне отвечали тем же, зиачнт, они лнбо располагали исключнтельно хорошей комбииацней, либо попросту «блефовалн» в надежде на то, что нервы их сопернHка ие выдержат н он отдаст баик...

Для игры со Сталиным Трумэну ие хватало решающей карты. Ему иужеи был «джокер», который по желанию нгрока может замеиить собой любую недостающую карту н тем самым придать комбинацни особую силу.

Но «джокера» у Трумэна пока не было. К тому же ои еще ие знал, что иад Аламогордо опять разразнлась буря н что испытаине вновь отсрочеио.

Засыпая поздией ночью, Трумэн не зиал, кем проснется завтра — самым могущественным нз всех, кто когда-либо заинмал пост президеита Соединенных Штатов АмерNew, или по-прежиему бледиой теиью покойного Рузвельта, человеком, волею слепого случая оказавшимся в Овальиом кабииете Белого дома и обречеиным иа то, чтобы через трн года бесславио его покииуть...

Пытаясь забыть скептическне предсказания Легн, Трумэи сиова и снова возвращался к мечте о «джокере», который помог бы ему составить самую выгодиую комбииацию, решнть все самые сложиые вопросы, иаучнть Черчилля безропотной покориости, а Сталина заставить поиять, кто теперь является истиниым хозяином положеиия...

Если бы у иего был «джокер», если бы испытание бомбы удалось, он стал бы ие просто Трумэиом, калифом на час, ио обладателем силы, которой иикогда ие располагали президенты, короли, премьеры и днктаторы всего мира.

Пробыв уже трн месяца на высшем государствеином посту Соедниенных Штатов Америки, Трумэи отдавал себе отчет в том, сколь сложны вопросы, которые предстояло решнть в Потсдаме. Полнтика по отношенню к Германнн. Польша. Репарации. Проблема Балкаи, Италии, Греции, Турцин... Каждый из этих вопросов распадался иа десяткн других, связаиных с государственнымн границами, с судьбамн мнллиоиов людей, с миллиардами долларов...

Но поистине вопросом всех вопросов оставалась для Трумэна атомная бомба. От иее зависело главиое: могут лн Соедниеныые Штаты разгромить Япоиию без помощн Советского Союза? Военные утверждалн, что Штатам потребуется не менее года подготовкн и около мнллнона солдат, чтобы осуществить вторженне на японские острова. Но еслн в руках у президента США окажется «джокер»...

В завнсимостн от этого можно будет решнть н как вести себя со Сталнным н до какой степени поддержнвать Черчилля.

...Засыпая, Трумэн слышал доноснвшиеся снизу прнглушенные голоса, шум осторожно передвнгаемой мебели. Это устраивалнсь прилетевшие позже члеиы его «команды».

Наконец шум утнх. Но Трумэи все-таки положил иа ухо маленькую подушку и повериулся лнцом к стене.

...На другой день — шестнадцатого июля — Трумэи встал рано. Выйдя в пижаме на застекленную террасу, он огляделся.

Картииа открывалась понстине ндиллическая. Перед ним была неподвижиая зеркальная гладь большого озера. Ведущий к озеру склон покрывала сочиая зеленая трава. Идиллия была бы полной, если бы не залетевшие в комиату комары, которых все время прнходнлось отгонять.

Вернувшнсь в спальню, Трумэи сказал иачальинку своей охраны Фреду Кенфилу, что проснт Бнриса н Леги зайтн к нему, как только онн будут готовы.

Принял душ — ои всегда счнтал, что ваина расслабляет, а душ бодрнт, — иабросил махровый халат, через мннуту сиял его н стал растираться суровым, жесткнм полотенцем.

«Прибыл лн наконец Сталин?» — думал Трумэн. Вчера вечером его еще не было. Семнадцатого, то есть завтра, должна открыться конферeнцня. Предположить, что Сталнн прямо с самолета проследует в зал заседания, было трудио. В коице концов он был уже далеко ие молод.

Следовательио, Стални должеи прнбыть сегодня. Но если это так, то каким будет протокол его встречн?

Вчера Трумэи ин от кого не мог получнть ответа на этот вопрос. Но, может быть, ему ответят хотя бы сегодня?

Ои стал медленно одеваться. Стоя перед зеркалом, долго размышлял, чему отдать предпочтение — своей любнмой «бабочке» нли обычиому галстуку...

Решил, что лучше галстук — серый в белый горошек. Оставалось выбрать костюм. Трумэи остаиовнлся на темиом двубортном пиджаке. О туфлях нечего было раздумывать — свои

мягкие двухцветные он не променял бы ни на какие другие.

В семь утра, когда Трумэн был уже готов, в комнату вошли Бирнс и Леги.

Трумэн приветствовал их улыбкой и энергичным взмахом руки. Предложив позавтракать втроем, он спросил:

— Что со Сталиным? Выяснили, наконец, когда он прибывает?

— Нет, — покачал головой Бирнс. — Русские говорят: «Товарищ Сталин прибудет вовремя». Добиться от них большего невозможно. — Слово «товарищ» Бирнс произнес по-русски, с ироническим ударением.

— Так, — кивнул Трумэн, — а... оттуда?

Он многозначительно посмотрел на Бирнса.

— Пока ничего, — ответил Бирнс. — Возможно, завтра мы будем знать что-либо определенное.

Трумэн посмотрел на Леги. Адмирал скептически усмехнулся.

— Что же мы будем делать после завтрака? — нетерпеливо спросил Трумэн.

Бирнс и Леги пожали плечами.

— Вы были в этом замке, дворце или как он там называется? — спросил Трумэн. — Я говорю о месте, где будет проходить конференция.

— Нет, — ответил Бирнс, — по протоколу...

— Наплевать на протокол! — прервал его Трумэн. — Русские тоже плюют на протокол. Иначе Сталин был бы уже здесь. Почему я и Черчилль должны его ждать? Словом, поедем и осмотрим это место!

Когда Трумэн, Бирнс и Леги в машине, сопровождаемой двумя «джипами» с охраной, начали поездку по Бабельсбергу, городок, казалось, еще спал.

Трумэн приказал Кенфилу, чтобы на этот раз не было ни сумасшедшей гонки, ни воя сирен. Он слышал о привычке Черчилля поздно просыпаться, первые утренние часы работать и даже принимать посетителей лежа в постели. Кроме того, он полагал, что если Сталин и не приехал, то его высокопоставленные сотрудники могли уже быть в Бабельсберге и, возможно, тоже еще спали.

Они не спеша ехали вдоль кокетливых вилл, обвитых густым плющом. У некоторых из них стояли часовые. Бабельсберг был разделен на три сектора. Перед машиной Трумэна покорно поднимались все шлагбаумы. Очевидно, Кенфил успел предупредить советскую и английскую протокольные части о намерении президента совершить экскурсию. Лишь по форме часовых и по флагам Трумэн мог определить, в каком секторе он сейчас находится.

На один из домов — это был скромный, белый трехэтажный особняк, огороженный невысокой металлической решеткой, — Леги обратил внимание Трумэна:

— По нашим сведениям, здесь будет жить Сталин.

— Поезжайте медленнее! — тотчас же приказал Трумэн шоферу. Нажав кнопку — оконное стекло плавно опустилось, — президент внимательно оглядел дом. Если он чем-нибудь и выделялся среди остальных, то своей подчеркнутой обыденностью. Сквозь решетку были видны дверь и несколько ведущих к ней ступенек. На площадке у подъезда стоял советский автоматчик. Но, судя по наглухо закрытым окнам, дом был еще необитаем.

— Наша вилла выглядит лучше, — удовлетворенно заметил Трумэн.

— Но ведь Сталин здесь хозяин и должен заботиться о гостях, — с едва заметной усмешкой проговорил Леги.

— В каком смысле «хозяин»? — недовольно переспросил Трумэн. — Все мы здесь равны.

— Это не военная терминология, мистер президент, — снова усмехнулся Леги. — Мы, военные, определяем силу вражеских войск не по должностям и званиям генералов, а по количеству солдат и мощи оружия.

— Вы считаете...

— О нет, сэр! Просто территория, на которой мы находимся, занята войсками Сталина. Это русская зона оккупации. Именно Сталин пригласил нас сюда. Деление на секторы — пустая условность, действительная лишь на время Конференции. Со стороны дяди Джо было бы дурным тоном забрать себе лучшее помещение, а нам отдать худшее.

— Полагаю, что все эти соображения чужды Сталину, — резко сказал Бирнс. — Просто агентам его охраны этот дом, наверное, показался более безопасным...

Машины подъехали к воротам, ведущим во внутренний дворик замка Цецилиенхоф. Трумэна, Бирнса и Леги сразу же окружили американские военные.

Затем, узнав, что президент намерен осмотреть замок, Кенфил договорился с советскими властями, что на время осмотра сюда будет допущено американское воинское подразделение. Однако основную охранную службу здесь несли советские пограничники. С автоматами в руках они неотступно следовали за президентом, не сводя с него настороженных взглядов.

Трумэн и его спутники подошли к дворцу Цецилиенхоф. Он был внешне невелик, но выглядел импозантно. Через несколько часов Черчилль будет презрительно фыркать, разглядывая это эклектическое архитектурное сооруже-

ние, фасад которого напоминал английский замок елизаветинской поры, а крыша с бесчисленными дымоходами была как бы перенесена с некоей исландской постройки...

Но Трумэн не слишком разбирался в архитектурных стилях. Сердце миссурийского демократа затрепетало, лишь когда он узнал, что этот дом связан с именем супруги наследника германского престола.

Сопровождаемый своими спутниками, охраной и советскими солдатами, Трумэн обошел дворец и заглянул в его внутренний двор. Он увидел три портала в стене, наполовину покрытой плющом и увенчанной треугольной черепичной крышей. У центрального входа бросалась в глаза огромная клумба — красные цветы, высаженные в форме пятиконечной звезды.

— Подобная демонстрация вряд ли уместна, — язвительно произнес Трумэн. Искоса поглядев на Леги, он добавил: — Вы, кажется, говорили что-то о вежливости русских...

Леги промолчал.

Зал заседаний произвел на Трумэна более выгодное впечатление. На красном ковре, покрывавшем весь пол этой просторной комнаты, стоял огромный круглый стол, покрытый красной же скатертью. Вокруг стола были расставлены стулья с высокими спинками. Среди них, на равном расстоянии друг от друга, — три кресла. Они отличались от стульев более пышной обивкой, шириной сидений, более крупными шарами-набалдашниками на спинках и красным плюшем на подлокотниках. В центре стола стояла белая подставка с тремя небольшими флажками: советским, американским и английским. Такие же, но значительно большего размера, флаги были укреплены на стенах. С высокого потолка свисали две люстры в виде огромных длинных стаканов из матового стекла, оплетенных тонкой бронзовой чеканкой.

Стены были облицованы деревянной панелью, разделенной на рельефные прямоугольники. В зал заседаний вели три двери. Двухмаршевую, ведущую на второй этаж лестницу с резными перилами покрывала широкая голубая дорожка.

За окнами расстилалась водная гладь.

— Как называется эта река? — громко спросил Трумэн.

Ответ прозвучал не сразу.

— Юнгфернзее, сэр. Это озеро.

— Юнгфер... Что сие значит?

— Озеро невинных дев. Приблизительно так, сэр.

— Очень подходящее название, — с саркастической усмешкой произнес Трумэн. Обращаясь к Бирису, он вполголоса добавил: — Сталин умеет выбирать места.

Потом взгляд Трумэна снова задержался на столе и креслах. Его охватило непреодолимое желание сесть в одно из них. Но все кресла были одинаковы, и он не знал, какое именно предназначалось ему.

— Откуда и как будут входить делегации? — спросил Трумэн. — Все вместе?

— Нет, сэр, — ответил кто-то из американцев, толпившихся за спиной президента. — Каждая делегация будет иметь свой вход в замок и свою рабочую комнату. Американская — вот эту...

Трумэн направился к одной из трех плотно прикрытых дверей, но кто-то резко сказал несколько слов по-русски. Трумэн в недоумении остановился.

Леги на мгновение склонился к переводчику.

— Вы ошиблись, сэр, — почтительно произнес адмирал. — Это дверь в комнату Сталина.

Трумэн сделал поспешный шаг в сторону.

Впоследствии он никогда не признавался в этом даже себе, но сейчас внезапно почувствовал безотчетный испуг. Трумэн был уверен, что Сталина еще нет в Бабельсберге, но мысль, что он мог бы оказаться наедине с этим человеком, испугала его.

— Сюда, мистер президент, — сказал американский офицер, открывая дверь в противоположной стене. — Сюда, пожалуйста.

Преувеличенно бодрым шагом Трумэн вошел в открытую перед ним дверь.

Эта комната тоже была облицована деревянной панелью. У одной из стен стоял книжный шкаф. С потолка свисала люстра серебряного цвета. Весь пол был покрыт голубым ковром. На нем лежал другой, меньшего размера, с персидским рисунком. На этом ковре стояли небольшой круглый стол и четыре стула, обитые темно-розовой материей. В другой стене была дверь, которая, очевидно, вела к одному из подъездов дворца.

Постояв на пороге комнаты, Трумэн подошел к книжному шкафу. Судя по переплетам, книги были старинные, к тому же немецкие или французские, а этих языков Трумэн не знал.

«Заметил ли кто-нибудь, как я только что оробел?» — с запоздалым стыдом спросил себя Трумэн. Приподняв полы пиджака, засунув руки в карманы и распрямив плечи, он сделал несколько шагов взад-вперед по комнате и вернулся в зал. Теперь ему захотелось посмотреть апартаменты Сталина и убедиться, что они не лучше американских. Комната Черчилля Трумэна не интересовала, она не могла быть лучше той, которую предоставили ему, а

могла быть и хуже. Но взглянуть на апартаменты Сталина все-таки стоило бы! Обратиться с подобной просьбой к сопровождавшим его советским военным Трумэн все же не решился.

— Что ж, я думаю, пора возвращаться! — громко сказал он, обращаясь к Бирнсу и Леги. Посмотрев на часы, добавил: — Уже десятый час и...

Трумэн хотел сказать: «...и, может быть, уже есть новости оттуда!» — но оборвал себя на полуслове.

Он медленно пошел к машине. За спинами солдат оцепления теперь толпились люди с кино- и фотоаппаратами.

— Откуда появились корреспонденты? — с напускным недовольством, но все-таки замедляя шаг, спросил Трумэн. Он не обращался ни к кому в отдельности, и ответа не последовало. Только стрекотали кинокамеры и щелкали затворы фотоаппаратов.

Трумэн сел в машину вместе с Бирнсом и Леги. Завтра или послезавтра его портреты появятся во всех американских газетах. «Кем я буду к тому времени? — спросил он себя. — Рядовым американским президентом или... властелином мира?..»

Когда Трумэн возвращался в Бабельсберг, Черчилль еще спал.

Проезжая мимо особняка, по словам Леги, предназначенного для Сталина, Трумэн снова приказал шоферу замедлить ход. Никаких перемен он, однако, не заметил. Окна были попрежнему закрыты. Все так же неподвижно стоял советский солдат-автоматчик.

«Когда же он приедет? — с раздражением подумал Трумэн. — И сколько может длиться полет от Москвы до Берлина?»

Ему хотелось громко спросить: «Где же, наконец, Сталин?»

Но он понимал, что на этот вопрос никто из его спутников ответить не сможет...

(Окончание следует)

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Борисович Чаковский

ПОБЕДА

Роман

Книга первая

Редактор З. РАДИШЕВСКАЯ

Художественный редактор *С. Гераскевич* Технический редактор *Т. Таржанова*

Корректоры *Т. Максимова* и *Л. Лобанова*

© Фото на первой полосе обложки *Н. Кочнева*

Сдано в набор 27.04.79. Подписано в печать 12.06.79. А11660. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура «Новогаэтная». Печать высокая. 10,08 усл. печ. л. 11,813 уч.-изд. л. Тираж 2 495 000 экз. (1-й завод 1—645 000 экз.). Заказ 634. Цена 57 коп.
Издательство «Художественная литература»
107078, Москва, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская, 26
Обложка отпечатана на Ленинградской фабрике офсетной печати № 1, ул. Мира, 3

№ 15 (877)
1979

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

ПОБЕДА

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РОМАН

Книга первая

(Окончание)

Глава восьмая

В ОЖИДАНИИ...

В Бабельсберге Воронову отвели комнату на третьем этаже дома, предоставленного советским кино- и фотокорреспондентам.

Вернувшись в Бабельсберг из Потсдама, Воронов попытался узнать, когда же все-таки прибывает Сталин.

Но нигде он не мог получить определенных сведений — ни в протокольной части советской делегации, ни в киносъемочной группе.

Он хотел разыскать Карпова, но генерала на месте не было: он уехал в Карлсхорст.

Среди советских журналистов оказался фотокорреспондент журнала «Луч» Николай Дувак, с которым Воронову уже доводилось встречаться.

Как и все, Дувак был теперь в гражданской одежде. На груди у него болтались два фотоаппарата.

Воронов и Дувак дружески поздоровались.

— Загораем? — спросил Дувак. — Сегодня хозяин не приедет, — добавил он, понизив голос. — Это точно.

— Откуда ты знаешь?

— Я много чего знаю, — хитро подмигнув, ответил Дувак.

Судя по всему, никаких событий сегодня не предвиделось.

Поднявшись в свою комнату, Воронов уселся за стол и раскрыл книгу «Потсдам и его окрестности», взятую у Греты. В этой книге его интересовал именно Потсдам, а точнее, расположенный на его восточной окраине дворец Цецилиенхоф, где должна была состояться Конференция.

В книге говорилось, что дворец был создан во время первой мировой войны немецким зодчим Шульце-Наумбургом. Здание, построенное

Окончание. Начало см. «Роман-газета» № 14, 1979 г.

«в стиле английских загородных замков», было закончено в 1916 году и стоило восемь миллионов золотых марок. В 1917 году замок, состоящий из десятков комнат и залов, стал резиденцией германского кронпринца и был назван в честь жены наследника трона Цецилии — Цецилиенхоф.

«Непостижимо!» — подумал Воронов. Конечно, первую мировую войну невозможно было — и по масштабам разрушений и по количеству жертв — сравнить с только что закончившейся. Но Воронов не мог себе представить, что в то время, когда жернова войны перемалывали немецких солдат, рабочие-строители возводили дворец «в стиле английских загородных замков». Еще более парадоксальным казалось, что менее чем за год до крушения монархии в этом дворце обосновался германский кронпринц.

Потратив на чтение книги весь вечер, Воронов лег спать, а утром прежде всего спустился вниз в надежде узнать, нет ли чего-нибудь нового о приезде Сталина. Но ни на втором, ни на первом этаже никого не оказалось. Все ушли завтракать. Воронов тоже пошел в столовую.

Он медленно шел мимо особняков, огороженных каменными заборами или узорными металлическими решетками. Теперь возле этих особняков появилось особенно много солдат-пограничников. По тротуарам шагали патрули.

Эти меры предосторожности были приняты, конечно, потому, что где-то поблизости жили Трумэн и Черчилль.

«Где же их поселили?» — подумал Воронов.

Спрашивать об этом было не только глупо, но и небезопасно.

«А может быть, — продолжал размышлять Воронов, — все эти меры приняты из-за того, что в Бабельсберг все-таки прибыл Сталин?»

Пропустить это было бы непростительно!

Но тут же Воронов успокоил себя: его коллеги кино- и фотожурналисты, конечно, узнали бы о прибытии Сталина заблаговременно. У себя на третьем этаже Воронов не мог бы не услышать движение внизу. Но оттуда не доносилось никакого шума. Очевидно, все эти строгости — первый же встретившийся патруль потребовал у Воронова пропуск — были предприняты в связи с приездом Трумэна и Черчилля.

Миновав узкий переулок, Воронов вышел на параллельную улицу. Часовые-автоматчики попадались и здесь через каждые пятьдесят — сто метров.

Предъявив свой «Пропуск на объект», Воронов вошел в столовую, помещавшуюся на первом этаже одного из особняков. В просторном зале стояли столики, накрытые белоснежными крахмальными скатертями. Сев за столик, Воронов по привычке заглянул в меню и сразу почувствовал себя как дома. На выбор предлагались те же блюда, что в хорошем московском ресторане: щи, борщ, мясная и рыбная солянки, котлеты по-киевски...

Подошедшая к столику официантка оказалась москвичкой. Она сказала Воронову, что почти весь персонал столовой до приезда сюда работал в гостинице «Москва»...

Руководитель группы кинематографистов известный советский режиссер Герасимов сидел у окна. Все места за его столиком были заняты. Воронов подошел к Герасимову, с которым его познакомили вчера, поздоровался и, наклонившись к нему, тихо спросил:

— Ничего нового?

— Абсолютно ничего, — ответил Герасимов. По его интонации нетрудно было понять, что и он находится в нервном состоянии. — Ждать надо, голубчик, — добавил он. — Набраться терпения и ждать...

— Пожалуй, я вызову машину, — как бы про себя сказал Воронов.

— Зачем?

— Хочу съездить в Цецилиенхоф. Боюсь, потом не будет времени.

— Намерение похвальное, — с усмешкой сказал Герасимов, — но для этого вовсе не нужно гнать машину из Карлсхорста. До Цецилиенхофа отсюда километра два...

...Когда Сталин предложил, чтобы «Большая тройка» встретилась в Берлине, он руководствовался, конечно же, не просто географическими соображениями. Берлин символизировал победу Красной Армии. Над рейхстагом развевалось Красное Знамя Победы. И хотя было условлено разделить город на четыре зоны оккупации, взяли его в жестоком бою именно советские войска. Лишь благодаря советскому оружию в столицу бывшего немецкого рейха вступили другие союзные державы.

Все это, разумеется, учитывал Сталин, предлагая, чтобы «Большая тройка» встретилась именно в Берлине.

Найти же в этом городе подходящее место Сталин поручил Жукову. Однако в самом Берлине такого места попросту не оказалось: слишком велики были разрушения. Потсдам же, а точнее, Бабельсберг и расположенный неподалеку Цецилиенхоф, являясь, по существу, берлинским пригородом, удовлетворяли всем необходимым требованиям.

Впрочем, к приезду высоких гостей предстояло сделать немало. Нужно было привести

в порядок все помещения дворца и обставить их — ведь все, что оказалось возможным снять и демонтировать, оборотистый кронпринц захватил с собой в западную часть Германии.

Тем не менее для того, чтобы прибрать и обставить все помещения дворца, времени не хватало. Решили капитально отремонтировать тридцать шесть комнат и конференц-зал. В нем было достаточно места, чтобы установить большой круглый стол, кресла для глав государств и стулья для членов делегаций, советников и переводчиков. В Германии такого большого стола найти не могли, он был доставлен из Москвы...

Ничего этого Воронов еще не знал.

Когда он начал свою экскурсию, в районе Цецилиенхофа царило полное спокойствие.

Казалось, что, кроме советских пограничников, здесь никого не было.

Попавшегося ему навстречу советского офицера Воронов спросил, далеко ли до дворца.

Офицер потребовал документы. Проверив их, он сказал, что до «Цецилии» еще примерно с километр.

Двинувшись в указанном направлении, Воронов услышал у себя за спиной шум автомобильных моторов. Прямо по дороге мчались «джипы», переполненные американскими солдатами.

Наконец Воронов увидел здание с остроугольной крышей — судя по описанию, прочитанному в книжке, это и был Цецилиенхоф — и сразу наткнулся на оцепление, состоявшее из американских военных. В стороне стояли «джипы», на которых они, очевидно, только что приехали.

Отыскав американского офицера, Воронов показал ему свой пропуск с тремя флажками.

— Нет, сэр, — вежливо, но твердо сказал офицер. — Пройти в Цецилиенхоф сейчас невозможно.

— Но почему?

Офицер пожал плечами.

— Как же мне осмотреть Цецилиенхоф хотя бы снаружи? — умоляющим голосом спросил Воронов. — Все-таки мы же союзники!

Эти слова внезапно подействовали на американца.

— Первый раз вижу русского, говорящего по-английски, — с улыбкой сказал он.

— Я был на Эльбе! — невольно вырвалось у Воронова.

— Я тоже, — улыбнулся офицер. — Торгау?

— Именно!

— Вот что, парень, — понизив голос, сказал офицер, — через мое оцепление я тебя пропущу. Но к замку ты все равно не пройдешь. С минуты на минуту сюда приедет наш босс.

Обращаясь к стоявшим за его спиной солдатам, он крикнул:

— Пропустите этого русского парня!..

Однако пробиться дальше Воронову действительно не удалось. Находясь в некотором отдалении от Цецилиенхофа, он видел, как к трехарочному подъезду дворца подошла уже знакомая ему тяжелая бронированная машина. Из нее вышли Трумэн, Бирнс и Легн. Тут же в парк разом нагрянула толпа английских и американских журналистов. В ней волей-неволей оказался и Воронов.

Трумэн и сопровождавшие его лица скрылись во дворце. Пробыв там недолго, они вернулись, сели в машину, которая сразу набрала скорость. Американские военные быстро погрузились в свои «джипы» и последовали за машиной президента. Один за другим уезжали и журналисты.

Когда автомашина президента и сопровождавшие его «джипы» выехали из ворот, Воронов почувствовал на своем плече чью-то руку.

— Хэлло, Майкл! — услышал он знакомый голос. — Я не знал, что и ты тут!

Воронов обернулся и увидел Брайта. Он выглядел так же, как и вчера, только на груди у него висел новенький «Спид-грэфик».

— Достал? — с улыбкой спросил Воронов, кивая на аппарат.

Несмотря ни на что, этот человек вызывал в нем симпатию.

— Купил! Двести пятьдесят баков![1]. Приятели меня порядком обчистили. Жалко, но что поделаешь. А ты почему без камеры?

— Я здесь случайно. Осматривал замок, а в это время...

— Черт знает что за порядки! — выругался Брайт. — Мы в Берлине узнали, что президент едет сюда, минут за двадцать до его выезда из Бабельсберга. Пришлось нажать на газ...

Воронов усмехнулся, представив себе эту езду.

— Послушай, — продолжал Брайт, — я хочу познакомить тебя с нашими ребятами. Джентльмены! — обратился он к стоявшим поодаль людям в английской и американской форме с корреспондентскими обозначениями на погонах. — Это тот самый русский журналист, который выручил меня вчера на аэродроме. Его зовут Майкл... — он запнулся.

— Воронов.

— Мистер Воронов, — громко объявил Брайт. — Знакомьтесь!

— Рад видеть вас, мистер Воронов, — сказал стоявший ближе других человек средних

[1] Долларов *(амер. жарг.)*.

лет в очках с золотой оправой. На вид ему было лет тридцать пять. Протянув Воронову руку, он сказал:

— Вильям Стюарт, «Ивнинг геральд», Великобритания.

Воронов пожал руку ему, а затем и всем остальным корреспондентам, скороговоркой называвшим свои фамилии и наименования представляемых ими газет. Когда процедура знакомства окончилась, Брайт сказал:

— Слушай, Майкл, ребята хотят заявить тебе протест. Вчера вечером нам объявили, что с завтрашнего дня вход на территорию Конференции строго запрещается. Каждый, кто там появится, будет немедленно выслан из Берлина. Нас всех разместили в Целлендорфе, а оттуда до Бабельсберга миль четырнадцать.

Воронов почувствовал, что все взгляды обращены на него.

— При чем же тут я? — с недоумением пробормотал он.

— Территория Бабельсберга находится под русским контролем, — многозначительно сказал Стюарт. — Следовательно, порядки устанавливаете вы.

— Порядки установлены представителями всех трех сторон, — не очень уверенно ответил Воронов.

— Но сам-то ты живешь в Бабельсберге! — воскликнул Брайт.

— Я живу в Потсдаме, — возразил Воронов. — А Потсдам все же не Бабельсберг. Оттуда даже немцев не выселяли. А теперь, — пользуясь короткой паузой, добавил он, — извините, джентльмены, я очень спешу.

Он уже подходил к воротам, когда вновь услышал за спиной голос Брайта.

— Слушай, Майкл, — слегка придерживая Воронова за руку, сказал американец, — это правда? Или ты нас обманываешь?

— Что ты имеешь в виду? — переспросил Воронов, не останавливаясь.

— Насчет Потсдама...

— Я никого не обманываю. Хочешь проверить? Потсдам, Шопенгауэрштрассе, восемь.

На листке блокнота он написал свой адрес и протянул листок Брайту.

— Теперь все? — Не дожидаясь ответа, Воронов пошел по направлению к мосту через речку Хавель, отделяющую район Цецилиенхофа от Бабельсберга.

— Еще один вопрос, Майкл, — не отставая от Воронова, просительным тоном проговорил Брайт. — Когда же наконец прибывает Сталин?

— Не знаю, — не глядя на Брайта, ответил Воронов. — Прости, я тороплюсь.

— Но из Москвы он уже выехал? — не унимался Брайт. — Скажи хоть это...

— Не знаю, — повторил Воронов. — Говорю тебе, что ничего не знаю.

На следующее утро Воронова разбудил резкий стук в дверь.

— Да-да! — крикнул он, взглянул на часы — было лишь четверть восьмого, — и, на ходу натягивая брюки, запрыгал к двери.

На пороге стоял Дувак.

— Что случилось? — спросил Воронов. — Приехал?!

— Приезжает... — многозначительно ответил Дувак.

— Говори толком, — уже с раздражением прикрикнул на него Воронов. — Когда приезжает? Где встреча?

— Не знаю, — откровенно признался Дувак, — Герасимов приказал всем собраться в девять часов.

— А ты не мог пойти и спросить?!

— Это уж вы, товарищ корреспондент Совинформбюро, спрашивайте. Вам скорее сообщат.

Но Воронов уже не слушал. Перепрыгивая через несколько ступенек, он сбежал вниз.

Герасимов был уже одет и чисто выбрит. Казалось, он успел где-то побывать и только что вернулся.

— Товарищ Сталин, — ответил Герасимов на вопрос Воронова, — прибывает в Берлин сегодня в одиннадцать утра.

— На какой аэродром? — быстро спросил Воронов.

— Товарищ Сталин прибывает поездом, — назидательно ответил Герасимов. — Поезд приходит на Силезский вокзал в одиннадцать ноль-ноль. Свою группу я собираю в девять. В девять тридцать мы выезжаем в Берлин. У вас, кажется, есть машина?

— Да, но она в Карлсхорсте.

— Вызовите к девяти. Поедем вместе. Так будет лучше для вас.

Времени оставалось еще много. Позвонив в Карлсхорст и приказав водителю приехать к девяти, Воронов решил прогуляться по Бабельсбергу. Вернувшись, он обнаружил, что его «эмка» стоит возле дома. Старшина открыл дверцу и сказал:

— Они уже уехали, товарищ майор! Им аппаратуру устанавливать долго.

Воронов испуганно посмотрел на часы. Стрелки показывали без десяти девять. Он бросился к себе наверх, схватил «лейку»...

— Сколько езды до Шлезишербанхофа? Ну, до Силезского вокзала? — торопливо спросил он, как только машина тронулась.

— Минут за сорок доедем. От силы за сорок пять.

По дороге Воронов с замиранием сердца думал о том, что скоро, совсем скоро воочию увидит Сталина.

Никогда раньше он не видел его вблизи. Только на Красной площади во время майской и ноябрьской демонстраций.

Воронов, конечно, понимал, что приблизиться к Сталину ему и теперь не удастся. Но когда Сталин выйдет из вагона, можно будет сделать несколько снимков.

Однако Воронова постигло горькое разочарование — первое со дня его приезда в Берлин. Здание вокзала было оцеплено двумя рядами пограничников.

Офицеры в фуражках с зелеными или малиновыми околышами равнодушно взирали на пропуска, которые предъявлял им Воронов.

— Прохода нет, — коротко отвечали они.

Герасимова нигде не было видно. Мысль о том, что если бы он, Воронов, выехал вместе с кинематографистами, то наверняка тоже находился бы сейчас на перроне, приводила его в отчаяние.

Но делать было нечего. Пришлось не солоно хлебавши возвращаться в Бабельсберг.

Вскоре в Бабельсберге появился и Герасимов, который рассказал, что киногруппу тоже постигла неудача. Пробиться в здание вокзала ей удалось, но на перрон так никого и не пустили. Впрочем, никакой торжественной встречи и не было. Ни оркестра, ни почетного караула. Сталина встречали Жуков, Вышинский, Антонов и еще несколько высших военачальников.

Из Берлина поезд проследовал прямо в Потсдам, но об этом почти никого не известили...

Ни Герасимов, ни тем более — Воронов не знали, что причиной их неудачи был приказ, переданный Сталиным Жукову еще из Москвы: «Никаких торжественных встреч. Никаких церемоний...»

«Надо заняться делом», — сказал себе Воронов. Одну корреспонденцию он уже передал в Москву. Теперь надо было подумать о второй.

«А почему бы мне, в таком случае, не поехать в Потсдам и не поработать над статьей?» — подумал Воронов.

В Бабельсберге сосредоточиться теперь было трудно. В Потсдаме же было тихо и спокойно.

Минут через пятнадцать он уже подъезжал к знакомому дому на Шопенгауэрштрассе. Приказав старшине заехать за ним в восемь вечера, Воронов постучал в дверь.

Ему открыла Грета.

— Was wollen Sie?[1] — резко спросила она.

— Я был у вас вчера, — также по-немецки ответил Воронов. Тон этой женщины озадачил его.

Грета еще продолжала смотреть на Воронова неприязненно, но тут же на лице ее расплылась улыбка.

— О-о, господин майор! — воскликнула Грета. — Простите меня! Я не узнала вас в цивильном платье! Простите, я заставила вас ждать!

Она отступила в сторону, давая Воронову дорогу.

Он поблагодарил и поднялся по лестнице в свою комнату. Все в ней было так же, как вчера. Только на столике стояла чернильница, и возле нее лежала старенькая ученическая ручка.

Разложив на столе захваченный из Москвы план Берлина и раскрыв блокнот, Воронов написал крупными буквами:

ВОКРУГ КОНФЕРЕНЦИИ
«БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ»

Начало статьи сложилось у него в голове еще по пути в Потсдам: «Только одна ночь отделяет мир от открытия Конференции, которой, несомненно, предстоит стать исторической. Самолеты с президентом Трумэном и премьер-министром Черчиллем на борту приземлились вчера на берлинском аэродроме Гатов. Генералиссимус Сталин прибыл сегодня поездом...»

Воронов уже знал, что́ напишет дальше, но его внимание отвлек донесшийся снизу приглушенный мужской голос.

«Очевидно, вернулся с завода хозяин», — подумал Воронов. Он вспомнил слова Ноймана о том, что Герман Вольф — высококвалифицированный рабочий.

Время шло уже к пяти. Размышлять о Вольфе было некогда.

Воронов напомнил своим будущим читателям, что Потсдам некогда был центром прусского милитаризма. «Тот факт, что Конференция «Большой тройки» состоится именно здесь, — писал он, — имеет глубокий символический смысл».

Воронов дал читателям общее представление о внешнем виде замка Цецилиенхоф. Так как попасть внутрь замка ему не удалось, он решил оправдаться в глазах читателей ссылкой на то, что Конференция приступает к работе в обстановке строгой секретности, и корреспон-

[1] Что вам нужно? *(нем.)*

денты пока что лишены возможности проникнуть в здание дворца.

Продолжая работать, он услышал на лестнице чьи-то шаги.

На часах было уже пятнадцать минут седьмого.

Кто-то осторожно постучал в дверь.

— Войдите! — сказал по-немецки Воронов.

На пороге появился высокий, несколько сутулый мужчина. На нем была синяя выцветшая куртка, напоминавшая спецовку. Из-под ее отворотов выглядывала свежая белая сорочка с аккуратно повязанным темным галстуком. Человек казался преждевременно постаревшим, но все еще сильным. Резкие морщины, пересекавшие лоб, и густые брови придавали его лицу выражение сосредоточенной энергии.

— Прошу прощения, майн хэрр, — все еще стоя на пороге, произнес этот человек. — Я позволил себе зайти, чтобы представиться. Меня зовут Герман Вольф. Простите, если помешал.

Неуловимым движением Вольф слегка расправил плечи и сдвинул ноги, словно собираясь щелкнуть каблуками своих сильно стоптанных, но тщательно начищенных ботинок.

— Здравствуйте, хэрр Вольф, — приветливо сказал Воронов, вставая. — Это я должен просить прощения за то, что вторгся в ваш дом. Меня зовут Михаил Воронов.

— О-о, хэрр майор... — начал Вольф, но Воронов прервал его:

— Не надо называть меня по званию, господин Вольф. Сейчас я гражданское лицо. Журналист Михаил Воронов. Но почему вы стоите? Входите, пожалуйста. Кстати, с разрешения вашей супруги я взял отсюда одну книгу. Теперь она уже на прежнем месте.

Осторожно ступая по полу, словно боясь поскользнуться, Вольф сделал несколько шагов по комнате.

— Присядьте, пожалуйста, — сказал Воронов, указывая ему на единственный стул. — Ваш друг, товарищ Нойман, — продолжал он, — сказал мне, что вы работаете на заводе. Это верно?.

— Да, — коротко ответил Вольф.

— Что вырабатывает этот завод?

— Станки, господин Воронофф, — после короткой заминки сказал Вольф.

— Как хорошо, что он уцелел. Вы работаете в утреннюю смену? Я не застал вас ни вчера, ни сегодня.

— Я ухожу рано, — сухо ответил Вольф. — Моя жена Грета, — продолжал он уже иным, приветливым тоном, — будет очень польщена, если вы спуститесь вниз и выпьете чашечку кофе.

Несмотря на то, что он говорил почтительно — может быть, даже чуть-чуть подобострастно, — вид его вызывал уважение.

— С удовольствием, — отозвался Воронов.

— Прошу вас, майн хэрр! — оживился Вольф. — Грета ждет. Вообще мы в вашем распоряжении, — неожиданно добавил он.

В нем как бы сосуществовали два человека. Один — спокойный, уравновешенный, с чувством собственного достоинства, другой — подчеркнуто почтительный, ни на минуту не забывающий о дистанции, которая отделяет побежденного от победителя.

— Вот что, господин Вольф, — сказал Воронов. — Давайте условимся: я поселился у вас не как представитель оккупационных войск, а просто как человек, пользующийся вашим гостеприимством. Мой отец — такой же рабочий человек, как и вы. Кстати, он тоже мастер. Вы поняли меня?

— Яволь, майн хэрр, — поспешно ответил Вольф. Однако в его настороженном взгляде из-под густых бровей Воронов уловил оттенок недоверия.

В столовой за столом, накрытым кружевной скатертью, некогда белой, а теперь пожелтевшей от времени и частых стирок, сидела Грета. На столе стояли чашки и блестящий эмалированный чайник.

— Прошу вас, хэрр майор, — залепетала Грета, но Вольф строго оборвал ее:

— Хэрр майор просит называть его по фамилии. Хэрр Воронофф.

— Как можно... — начала было Грета, но густые брови ее мужа сурово сдвинулись на переносице, и она поспешно сказала: — Прошу вас, чашечку кофе... К сожалению, у нас нет сахара.

— Я привык пить кофе без сахара, — сказал Воронов просто из вежливости.

Вольф поднес чашку к губам, сделал глоток и строго посмотрел на жену.

— Почему ты не подала настоящий кофе?

— Настоящий?! — переспросила Грета таким тоном, будто у нее попросили птичьего молока.

— Не притворяйся, — на этот раз уже добродушно произнес Вольф. — Грета ездит в Берлин, — пояснил он Воронову, — и выменивает у американцев и англичан кофе на разное барахло. Мы ведь разбитая, побежденная страна, — с горечью добавил он. — Приготовь же настоящий кофе, Грета.

Покорно достав из шкафа стеклянную банку с притертой крышкой, Грета ушла на кухню. Через некоторое время она вернулась с подносом в руках. На нем стояли три крошечные кофейные чашки.

— Простите, хэрр майор, — забыв о предупреждении мужа, сказала Грета. — Я берегу этот кофе для Германа. Он так привык пить хороший кофе по утрам...

— Хорошего кофе я ие пил уже много лет, — угрюмо произиес Вольф. — С тех пор как мы стали делать пушки вместо масла.

— Честиое слово, я равнодушен к кофе, — вмешался Вороиов. — Мие все равно, какой кофе пить. Я пришел просто посидеть с вами.

Он с досадой подумал, что наверху его ждет иеокончеииая работа. Но прежде чем уйти, ои должеи был допить кофе и хотя бы иесколько мииут побыть с хозяевами.

Накоиец кофе был выпит. Воронов уже встал, чтобы попрощаться, как вдруг раздался сильиый стук в иаружную дверь. Затем оглушительно прозвеиел звоиок.

Воронов вопросительно посмотрел на Гермаиа, потом иа Грету, ио увидел, что и они испугаиио глядят друг на друга.

Вольф встал и пошел в переднюю.

До Вороиова тотчас донеслась английская речь вперемежку с отдельиыми словами на ломаиом иемецком. К его удивлению в столовую ввалился Чарльз Брайт.

— Хэлло, Майкл-бэби! — широко улыбаясь, крикиул он. Почти оттолкиув Вольфа и ие обращая иикакого виимания иа Грету, Брайт бросился к Воронову. — Я объездил весь этот городишко в поисках твоей проклятой Шопииго-орстрессн! — быстро заговорил он. — Записку твою я, коиечно, прочел, потом потерял, а иазваиие запомиил. Но ни один немец ие знает такой улицы. Мы заключили пари с этим аиглийским сиобом — он уверял, что ты живешь в Бабельсберге. А я утверждал, что ты честиый парень и живешь в Потсдаме. Мы поспорили на сто баков. Я уже решил, что ты и вправду соврал. Никто в городе не зиает этой чертовой улицы...

Брайт словио строчил из автомата.

— Хватит, Чарльз! — воскликнул Воронов. Его раздражало бесцеремонное вторжеиие Брайта в чужой дом. — Во-первых, не «Шопиигоор», а — «Шопенгауэр» и не «стресси», а «штрассе». Во-вторых, ие мешало бы поздороваться с хозяевами дома.

— О-о, — будто только сейчас увидев Германа и Грету, крикнул Брайт, — простите, леди, простите, сэр! — Он поднес руку к пилотке.

— Американский корреспоидент Чарльз Брайт, — сказал Воронов по-немецки, — просит извиниить его за столь шумное вторжеиие.

— Яволь, яволь, — улыбаясь, залепетала Грета. — Скажите мистеру Брайту, что мы очень любим американцев. Я сейчас сварю для него чашечку кофе!

— Тебе предлагают выпить кофе, — перевел Вороиов. — Но имей в виду: он без сахара.

— К черту кофе! Я выиграл сто баков. По этому поводу иадо выпить. У них есть виски?

— Это бедный немецкий дом, — укоризненно сказал Вороиов. — Рабочая семья...

— Яволь! — теперь уже по-иемецки воскликнул Брайт. — Айн момент!

Ои стремглав кииулся к двери и через несколько мииут появился в столовой с бутылкой виски в руках. Приложив ее к плечу и иаправив горлышко на Вольфа, он радостио крикиул:

— Баиг-баиг! Гитлер капут!

Болезнеииая гримаса иа мгновение исказила лицо Вольфа. Но ои тут же овладел собой и натяиуто улыбиулся.

— Стакаиы найдутся? — деловито осведомился Брайт.

Грета достала из шкафа иесколько маленьких стопок.

— В России, кажется, пьют так? — Брайт опрокинул виски в рот, вытаращил глаза, расправил воображаемые усы и крякиул.

Не глядя ии иа кого, кроме Вороиова, он решительио сказал:

— Поехалн, Майкл!

— Куда?

— Разве я ие сказал? — искренне удивился Брайт. — Черт знает, как это здесь называется. Мы зовем это место просто «Underground». Собираемся там по вечерам. Поехали!

«Underground»? — мысленио повторил Вороиов и подумал: «Что это такое?» По-английски это слово могло означать «подполье», вообще иечто подземное, а в самой Аиглии так, кажется, называют метро.

Неожиданное предложеиие, сделаниое Брайтом, и, главиое, уверенность, что оно будет безоговорочно принято, окончательио разозлило Воронова.

— Никуда я не поеду! — резко сказал он.

— Но я же получу сто баков, если предъявлю тебя Стюарту! Помнишь того английского парня в золотых очках, с которым я позиакомил тебя утром? Ты хочешь лишить меия сотни баков?

Все это Брайт проговорил жалобно-просительиым тоиом.

— Я работаю, — решительио сказал Воронов, думая о том, что с Брайтом невозможио разговаривать всерьез. — Пишу кое-что и никуда ие поеду.

— А мои сто баков?

Нет, на этого парня нельзя было сердиться!

— Я напишу тебе расписку. Предъявишь своему Стюарту, — добродушио усмехнулся Воронов.

Брайт на мгновение задумался.

— Не пойдет! — убежденно возразил он. — Если ты напишешь по-русски, Стюарт ни черта не поймет. А если по-английски, то как я докажу, что писал именно ты?

Воронов пожал плечами.

— Послушай, Майкл, — продолжал Брайт уже серьезно. — Неужели тебе не интересно поближе познакомиться со своими западными коллегами? Или русским журналистам запрещено общаться с нами? Тогда скажи прямо, и я исчезну.

Слова Брайта задели Воронова за живое. «Мне не только не запрещено, а, наоборот, поручено как можно чаще общаться с вами, — подумал он. — Вместо того чтобы вымучивать статью, не лучше ли потолкаться среди иностранных журналистов? Тогда и название «Вокруг Конференции» будет оправдано. В конце концов впереди еще целая ночь. К завтрашнему утру статья может быть готова».

— Ты доставишь меня обратно? — нерешительно спросил Воронов.

— Конечно! — с готовностью ответил Брайт.

— Господин Вольф, — спросил Воронов после паузы, — я не очень обеспокою вас, если переночую сегодня здесь?

— Комната в вашем распоряжении в любое время дня и ночи.

— Тогда у меня к вам просьба. — Встреча с иностранными коллегами уже казалась Воронову чрезвычайно заманчивой и полезной для дела. — В восемь часов сюда придет моя машина. Я напишу записку и попрошу вас передать ее шоферу.

— Яволь, майн хэрр.

Подняться наверх, написать записку и вручить ее Вольфу было делом нескольких минут.

— Едем! — сказал Воронов Брайту. — Мы поехали. — Он повторил это по-немецки для Вольфа.

— Минутку, хэрр Воронофф, — задержал его Вольф. — Возьмите, пожалуйста, ключ. Так вам будет удобнее.

— Спасибо, — отозвался Воронов, беря ключ. — Думаю, что вернусь не поздно.

Глава девятая

«UNDERGROUND»

Седой город медленно окутывался вечерним сумраком. Улицы были пустынны. Лишь изредка попадались машины с американскими, английскими или советскими солдатами. Все они мчались по Потсдамерштрассе в направлении к Бабельсбергу.

Брайт сидел за рулем, откинувшись на спинку сиденья и задрав голову поверх ветрового стекла.

— Твоя хозяйка — боевая баба, — усмехнувшись, сказал он Воронову. — Пока ты был наверху, мы с ней сварганили небольшой бизнес.

— Бизнес? — удивился Воронов.

— Пять пачек кофе, три блока «Лаки страйк» и четыре фунта сахара в обмен на дюжину серебряных ложек. Доставка за мной.

— Как тебе не стыдно, Чарльз! — вырвалось у Воронова.

— Стыдно? Но ведь она сама попросила. У Бранденбургских ворот ей дали бы вдвое меньше.

— На кой черт тебе ложки?

— Совершенно ни к чему. Я подарю их Джейн.

— Кому?

— Моей девушке. Ее зовут Джейн. Мы скоро поженимся.

— Где она сейчас? В Индепенденсе?

— В Бабельсберге.

— Где?!

— Она служит в Госдепартаменте. Стенографистка. Когда я узнал, что ее берут в Европу, то из кожи вылез, чтобы моя газета послала меня сюда же. Только напрасно.

— Почему?

— Ты же знаешь, что Бабельсберг для меня не ближе, чем Штаты! В течение всех этих дней я видел Джейн только один раз — сегодня!

— Разве она не может приезжать к тебе в Берлин?

— Она завалена работой. С утра до поздней ночи.

Некоторое время Воронов и Брайт ехали молча.

— Послушай, Майкл, — прервал молчание Брайт. — Хочу предупредить тебя. Ребята очень недовольны. Мы не привыкли, чтобы так обращались с прессой.

Воронов молчал. Сам он был на особом положении. Правда, оно, в сущности, ограничивалось тем, что ему разрешили находиться в Бабельсберге. Но об этом Воронов не хотел говорить. Кстати, он мог бы сказать Брайту, что прибытие Трумэна и Черчилля снимали все корреспонденты, а приезд Сталина не удалось запечатлеть даже советским.

— Слушай, — неожиданно сказал Брайт, — а я ведь не очень честно выиграл свою сотню. Ты-то имеешь доступ в Бабельсберг, словом, живешь там. Ребята тебя видели.

— Я живу в Потсдаме, — упрямо возразил Воронов.

— Да и я, пожалуй, напрасно жалуюсь, что не могу попасть в этот райский уголок. Джейн находит способы... Впрочем, все это тонкости. Бизнес есть бизнес. Ты сказал при Стюарте, что живешь в Потсдаме, Шопингоор восемь, и я нашел тебя именно там. Верно?

— Шопенгауэр, Чарли, Шопенгауэр!

— За сто баков я готов произносить это имя как угодно. Кстати, этот Шопе... Кто он был такой? Наци?

— Философ. Очень пессимистический философ. Жил в прошлом веке. Написал книгу «Мир, как воля и представление».

— «Мир»... как что? Слушай, Майкл, когда ты успел напичкаться всей этой тарабарщиной?

— Занимался историей в институте.

— История начинает делаться только сегодня. Между прочим, я тоже недолго учился в колледже. А потом бросил. Увлекся этой проклятой фотографией.

Небо нахмурилось. Все вокруг было по-прежнему пустынно. Развалины домов в сочетании с воронками от бомб и снарядов напоминали мрачный лунный пейзаж. По крайней мере таким Воронов представлял его себе в детстве...

— Здесь, — сказал Брайт, — наш пресс-клуб. — Он указал на двухэтажное здание, которое через мгновение уже осталось позади.

— Какая это улица? — спросил Воронов.

— Черт ее знает! Район Целлендорф. Американский сектор.

Резко затормозив машину, Брайт сказал:

— Стоп! Дальше не проедешь.

Машина действительно уперлась в тупик, образованный руинами домов. Впереди уже стояло десятка полтора «виллисов». Брайт поставил свою машину впритирку к другой. Та, в свою очередь, упиралась капотом в наполовину разрушенную стену.

— Послушай, Чарли, — сказал Воронов, — хозяину той машины из-за нас не выбраться.

— Разве он купил эту землю? — пробурчал Брайт. — Тогда пусть поставит табличку «Private property»[1]. — Он подхватил сумку с заднего сиденья. — Следуй за мной.

— Куда?

— Ну, в этот ресторан, бар, локал, черт его знает, как это тут называется!

Лавируя между машинами, они выбрались из тупика. Со всех сторон их по-прежнему окружали развалины. «Какой тут может быть бар?» — с удивлением подумал Воронов.

[1] Частная собственность *(англ.)*.

Но откуда-то прямо из-под земли до его слуха донеслись отдаленные звуки музыки.

Он замедлил шаг, прислушиваясь. Музыка звучала приглушенно, но явственно.

— Ты чего отстал? — Брайт остановился, поджидая Воронова.

— Где же твой бар? — спросил Воронов, хотя звуки музыки доносились все более отчетливо. — Тут же нет ни одного уцелевшего дома!

— У домов, помимо этажей, бывают подвалы. Где ганс укрывались, когда их долбили с воздуха, понял? Ну, вот...

Брайт стоял возле лестницы, которая вела вниз. Видимо, бар и в самом деле находился где-то под развалинами.

— Пошли, — решительно сказал Брайт. — Дать руку?

Воронову казалось, что он спускается не то в ад, не то в подземелье, где живут боящиеся дневного света морлоки вроде уэллсовских.

Лестница круто повернула в сторону. Воронов сделал еще несколько шагов вслед за Брайтом и застыл от изумления.

Перед ним был огромный подвал, заставленный столиками. У дальней его стены возвышался небольшой помост, на нем расположился оркестр, состоявший из нескольких музыкантов.

Только теперь он окончательно понял, почему Брайт назвал это заведение «Underground». Оно и в самом деле располагалось глубоко под землей.

За столиками в клубах табачного дыма сидели люди в военной форме. Штатских мужчин почти не было, если не считать сновавших между столиками официантов.

Женщин было довольно много. Они сидели почти за каждым столиком. Шум голосов, звуки музыки, шарканье официантов — все это сливалось в общий непрерывный гул.

Брайт все еще стоял на ступеньке, Воронов — за ним.

— Погоди, — сказал Брайт. — Сейчас я отыщу Стюарта. — Он приподнялся на цыпочки. — Вон он, со своей Урсулой. Нравится тебе его девочка?

Ни Стюарта, ни его «девочки» Воронов не видел.

— Пошли, — решительно сказал Брайт, — сейчас я предъявлю тебя, как чек кассиру.

Он был здесь своим человеком. «Хэлло, Чарли!» — кричали ему почти из-за каждого столика.

Стюарт и его «девочка» сидели спиной к эстраде и лицом к входу. Два места за их столом были свободны.

— Кто эта женщнна? — поинтересовался Воронов.

— Я же тебе сказал, что его Урсула. Черт знает, откуда она взялась. Я вижу ее второй раз.

— Англичанка?

— Англичанок у него хватало в Лондоне. Немка, конечно!

— Но кто она такая?

— Прежде чем лечь спать с женщиной, вы требуете у нее удостоверение личности? — насмешлнво спросил Брайт.

Онн подошлн к столнку, за которым сидели Стюарт и Урсула. Англичанин держал в руках стакан, наполненный светло-желтой жндкостью. На столе стоялн фужеры с жидкостью ядовито-зеленого цвета.

Обращаясь к продолжавшему сидеть Стюарту, Брайт отчеканил:

— Мистер Воронов. Собственной персоной. Живет в Потсдаме на... — Он запнулся. — Словом, на той самой чертовой улице. Ты проиграл. Платить будешь налнчными или чеком?

Не глядя на Брайта и не отвечая ему, Стюарт встал н вежлнво поклонился.

— Добро пожаловать, мистер Воронов, — сказал он. — Присоединяйтесь к нам. Леди зовут Урсула, — снова усаживаясь за стол, продолжал Стюарт. — Урсула, разрешите вам представить нашего русского коллегу и союзника: хэрр Воронофф.

К удивлению Воронова, это было сказано на вполне прнличном немецком языке.

Урсула искоса поглядела на Воронова и едва заметно кивнула.

— Садитесь, пожалуйста, — снова переходя на английский, обратился Стюарт к Воронову. — Этот Шейлок сядет и без приглашения.

Брайт и впрямь уже сидел, вытянув под столом длинные ноги.

— Как ты меня назвал, Вилли? — спросил он.

— Шейлок! — иронически повторил Стюарт.

— Это еще кто такой? — чуть нахмурившись, переспросил Брайт.

— Шекспир ошибся. Ему следовало бы назвать своего Шейлока Брайтом, — уже не скрывая насмешки, проговорил Стюарт.

Он явно издевался. Чарли, очевидно, никогда не слышал имени Шейлок. Но смутить его было не так-то легко.

— На вашем месте, мистер Стюарт, сэр, — чеканя слова, сказал он, — я прежде всего покончил бы с делами. С вас сто баков.

Стюарт достал из кармана узкую, длинную чековую книжку.

— У тебя есть ручка? — со вздохом спросил он Брайта.

— К вашим услугам, сэр.

Стюарт раскрыл книжку, черкнул в ней что-то, вырвал листок и вместе с ручкой отдал его Брайту.

— О'кей! — сказал Чарли, внимательно прочитав чек. — Теперь пойдем и разменяем его.

— Что?! — воскликнул Стюарт.

— Надеюсь, — жестко сказал Брайт, — здесь найдутся люди, которые подтвердят, что на твоем счету есть сто баков. Короче говоря, я хочу разменять чек на наличные.

Из бесшабашного, болтливого парня, каким привык видеть его Воронов, Чарли Брайт на глазах превратился в совершенно другого человека. Лицо его приняло непривычно холодное выражение — брови нахмурились, губы плотно сжались.

Некоторое время Стюарт молча смотрел на Брайта.

— Хорошо. Пойдем, — сказал он, вставая. — Простите моего недоверчивого друга, мистер Воронов, — небрежно добавил он. — На несколько минут мы оставим вас наедине с Урсулой.

Урсула внимательно наблюдала всю эту сцену, но, казалось, думала при этом о чем-то своем.

Лицо Брайта приняло уже обычное ребячески-бесшабашное выражение.

— Айн бисхен бизнес. Кляйне, кляйне... — сказал он Урсуле на своем невозможном немецком языке, подмигнул и пошел вслед за Стюартом.

Оркестр заиграл танго «Ich küsse Ihre Hand, Madame». Воронов хорошо знал эту мелодию, столь распространенную в годы его юности. На площадке, предназначенной для танцев, тотчас образовалась давка. Танцевали главным образом американцы и англичане. Все они были в военной форме. Немногие штатские мужчины — по-видимому, немцы — продолжали сидеть за столиками.

Пройдясь по головам танцующих, луч прожектора на секунду осветил лицо Урсулы. Воронову показалось, что он видит одновременно два ее лица. Одно как бы проглядывало сквозь другое. Первое было гораздо моложе, и черты его были мягче.

Впрочем, эта особа мало интересовала Воронова. Судя по всему, она была одной из тех немок, которых подкармливали американцы или англичане.

Но кем бы она ни была, пренебрежительное отношение к женщине претило Воронову. Стюарт не должен был оставлять Урсулу наедине с незнакомым мужчиной.

— Они сейчас вернутся,— сказал он по-немецки. — Возникло неотложное дело.

Урсула рассеянно улыбнулась.

— Это танго,— сказал Воронов, чтобы хоть что-нибудь сказать, — напомнило мне студенческие годы...

— Вы действительно русский?

— Да, конечно. — Воронова удивил резкий тон, которым был задан этот вопрос.

— Почему вы не в форме?

— А зачем? — улыбнулся Воронов. — Ведь война кончилась.

— Вы учились в Германии? — В узких глазах Урсулы мелькнула затаенная злая усмешка.

— В Германии?! — с недоумением переспросил Воронов. — Как это могло прийти вам в голову? До войны я никогда не был в Германии.

— Разве в вашей России не было своих песен? Или вас заставляли танцевать под немецкие? — В словах Урсулы прозвучал уже явный вызов.

Воронов смотрел на эту немку со все возрастающим удивлением. Сквозившая в ее словах неприязнь к России была вполне объяснима. Но поражало то, что она не скрывала этой своей неприязни.

— Нас никто ничего не заставлял,— резче, чем ему бы хотелось, ответил Воронов.

Он тут же осудил себя за резкость. «Нашел с кем сводить счеты,— с горечью подумал он. — Этой несчастной немке, может быть, и есть-то нечего... Наслушалась геббельсовской пропаганды и в каждом русском все еще видит кровожадного врага!»

Воронову захотелось разговориться с этой странной девушкой. Коснуться ее души, убедить, что теперь ей нечего бояться русских.

— В годы моей юности у нас были распространены самые разные танцевальные мелодии. В том числе немецкие и польские.

— Польские? — нахмурившись, переспросила Урсула.

— С польским танго «Мале́нька Манон» у меня связаны очень дорогие воспоминания. Я его танцевал с девушкой, которая потом стала моей невестой.

Но Урсула уже перестала его слушать. Почувствовав это, Воронов тотчас и сам потерял интерес к разговору. «Разоткровенничался,— подумал он с неприязнью к Урсуле. — Плевать ей на все мои воспоминания».

Не глядя на него, Урсула взяла стакан с виски. Рука ее наполовину обнажилась. На ней четко обозначился большой красный шрам, словно от сильного ожога.

Не сделав ни глотка, Урсула поставила стакан на стол. Заметив, что Воронов пристально смотрит на ее обнаженную руку, поспешно опустила ее на колени.

Черт ее знает кто она такая,— подумал Воронов. Неприязнь его к этой особе росла. — Может быть, из «Гитлерюгенд». Чего доброго, совсем недавно швыряла гранаты в наших солдат.

Воронов хотел уйти, но у него не было машины. Волей-неволей приходилось ждать Брайта.

Уже не обращая внимания на Урсулу, он привстал в надежде увидеть Брайта или Стюарта.

Но танцы продолжались, прожектор по-прежнему скользил по головам танцующих, а все остальное тонуло в полумраке.

— Gestatten Sie mir, bitte, Ihre Dame einzuladen...[1]

Эти слова раздались за спиной Воронова.

Повернувшись, он увидел немолодого немца в потертом, лоснящемся на рукавах пиджаке с плохо отглаженными лацканами.

— Пока не вернулись эти чарли... — вполголоса сказал немец, очевидно, принимая Воронова за своего соотечественника.

— Спросите даму,— пожав плечами, ответил Воронов.

— Я не хочу танцевать,— резко сказала Урсула.

— Но, детка... — начал было немец.

— Не хочу! — повторила она.

— Грубо, детка! — мягко произнес немец. — Хорошо,— добавил он другим тоном. — Мы запомним, кто, где, когда и с кем танцевал, и вспомним об этом, когда чарли уйдут. Ведь они не будут здесь вечно. Не правда ли, майн хэрр?

Он явно обращался к Воронову за сочувствием.

Воронов ничего не ответил. К столику, за которым он томился, пробирались Брайт, Стюарт, а за ними еще человек пять в военных френчах или армейских рубашках.

— Знакомься, Майкл,— сказал Брайт, когда все они подошли к столику. — Это наши друзья. Газетные акулы и шакалы. Рассаживайтесь, ребята!

Но за столом было только два свободных стула.

— Мне пора! — сказала Урсула, приподнимаясь со своего места.

— Останьтесь, Урсула,— вежливо и вместе с тем властно произнес Стюарт.

[1] Разрешите мне, пожалуйста, пригласить вашу даму *(нем.)*.

Она покорно опустилась на стул.

Итак, мест не хватало. Вытащив из своей сумки несколько пачек сигарет, Брайт уверенно направился к соседнему столику, за которым сидели трое немцев в штатском. Один из них только что приглашал Урсулу танцевать.

Подойдя к столу, Брайт бросил на него сигареты и громко сказал:

— For Sie. And now get out. Got it? Heraus! Take a walk! Spazieren! O'key? [1]

Немец в потертом, лоснящемся пиджаке быстро ответил:

— Jawohl, mein Herr! [2]

Все трое встали и пошли к выходу, рассовывая по карманам пачки сигарет.

Воронов невольно взглянул на Урсулу. В глазах ее он прочел не осуждение, а скорее злорадство.

В конце концов все расселись. Некоторые по двое на одном стуле. Брайт вытащил из своей поистине бездонной сумки две бутылки виски.

— Мистер Воронов, — сказал Стюарт, — все это ваши коллеги — американские и английские журналисты. Вы видели их сегодня утром около Цецилиенхофа.

Воронов не помнил ни одного из них, но наклонил голову в знак согласия.

— У нас назревает бунт, мистер Воронов, — продолжал Стюарт. — Мы были бы рады поговорить с вами, прежде чем что-нибудь предпринять...

В отличие от Брайта, Стюарт говорил неторопливо.

— Конечно, — продолжал он, — удобнее было бы поговорить в пресс-клубе, но советские журналисты туда не ходят. Вы игнорируете нас по собственной инициативе или выполняете приказ? — Стюарт спросил это с деланным простодушием.

Несколько минут назад все мысли Воронова были заняты странной Урсулой. Когда Стюарт заговорил, Воронов подумал, что сейчас можно будет, наконец, приступить к тому, ради чего он сюда и приехал, — к дружеской беседе о предстоящей Конференции.

Но, судя по вопросу Стюарта, дело поворачивалось совсем другой стороной. «Впрочем, — подумал Воронов, — может быть, остальные вовсе не разделяют явно агрессивных намерений этого англичанина...»

— Во-первых, — стараясь говорить в тон Стюарту, ответил Воронов, — я не знаю, где находится ваш пресс-клуб. Во-вторых, меня туда никто не приглашал.

[1] Это для вас. А теперь выкатывайтесь! Понятно? Валяйте отсюда! Прогуляйтесь! Ясно? (Смесь *англ.* и *нем.*)

[2] Слушаюсь, господин! *(нем.)*

— А вы бы пришли? — спросил один из американцев, высокий худой человек средних лет с волосами, подстриженными ежиком.

— Почему бы и нет?

Воронов ответил совершенно искренне. Он и в самом деле с удовольствием побывал бы в пресс-клубе, о существовании которого уже слышал от Брайта.

— Но раз уж мы встретились здесь... — начал Стюарт.

— Какой черт «встретились», — с насмешливой укоризной прервал его Брайт. — Вы же впились в меня, как пиявки, чтобы я притащил его сюда.

— Мы действительно попросили об этом Чарли, когда узнали, что у вас с ним установился профессиональный контакт, — сказал американец с волосами ежиком.

Со всех сторон раздались одобрительные возгласы. Многих, видимо, шокировал тон, каким Стюарт задал свой вопрос.

— Вы были в Торгау, сэр?

Воронов внимательно посмотрел на спрашивающего. Это был невысокий широкоплечий человек в английской военной форме.

— Был.

— Не исключено, что мы встречались! — с явным удовольствием сказал англичанин.

— У вас богатая фантазия, сэр, — вмешался в разговор Стюарт. — Насколько мне известно, в Торгау англичан не было. Русские встретились там с американцами. Может быть, вы, Джеймс, служили тогда у американцев?

— Я служил и служу в английской армии, сэр, — повышая голос, ответил тот, кого Стюарт назвал Джеймсом. — Когда вы протирали брюки на Флит-стрит в Лондоне, я высадился с союзными войсками в Европе. А в Торгау был как английский журналист с армией Брэдли.

— Не терпелось встретиться с русскими? — усмехнулся Стюарт.

— No comment! [1] — сухо ответил англичанин.

Раздался одобрительный смех.

— Давайте говорить прямо, — заговорил Стюарт, явно стараясь ввести разговор в прежнее русло, неприятное для Воронова. — Здесь происходит нечестная игра. Все, что касается Конференции, наглухо засекречено вашими властями.

— Почему нашими? — Воронов решил выиграть время.

— Вам нужны факты? — воскликнул Стюарт. — Пожалуйста. Мы были заранее извещены о том, когда прибудут президент Трумэн и наш премьер. Вы, очевидно, тоже.

[1] Комментариев не будет *(англ.)*.

Вороиов кивнул.

— Ну вот! — торжествующе произиес Стюарт. — А мы до снх пор не зиаем, прнбыл ли маршал Сталнн.

— Прнбыл. Сегодия днем.

Сказав это, Воронов тут же виутреиие одериул себя: может быть, прнезд Сталнна все еще держнтся в секрете. С другой стороны, он ие хотел, чтобы западиая пресса спекулнровала иа том, что ее представнтелям иичего ие нзвестио о прибытнн Сталнна. Вороиов уже видел перед собой газетный заголовок: «Трумэн и Черчилль на месте. Где Сталнн?!»

Как только Вороиов ответил Стюарту, однн за другнм посыпалнсь вопросы: «Как выглядел Сталин?», «На какой аэродром или вокзал и куда нменно прибыл?», «Кто его встречал?».

Поскольку Воронов храинл молчание, сиова заговорнл Стюарт:

— Спаснбо за откровеиность, господнн Вороиов, но, зиачнт, советские журналнсты присутствовали иа встрече, а аиглнчане и американцы — нет. Разве этот факт, — повыснл голос Стюарт, — не свндетельствует о явиой дискримииацнн? В конце коицов все мы имеем здесь равные права.

— Нет, — упрямо ответнл Воронов. — Не свндетельствует. Советскне журналнсты тоже не присутствовали иа встрече. Что же касается равных прав...

Он на мгиовение запнулся: «Что я делаю? Вместо того чтобы иалажнвать контакты, нду иа обостреиие!..»

— Что же касается равиых прав, — тем ие менее продолжал он, — то онн предполагают равиые обязаиности.

— Что вы хотнте этим сказать?

— Для того чтобы расчнстнть вам путь в Берлин, десяткн тысяч советскнх солдат погнблн на его подступах. Нн амерڅканских, ин англнйских воеиных средн инх ие было.

Этот Стюарт, судя по его тону, явно не нмел права называть себя союзннком. Союзинкамн были амернканскне н аиглнйскне солдаты н офнцеры, сражавшнеся с иемцамн. Да и собравшиеся здесь журиалнсты, судя по нх реакцнн на вопросы Стюарта и ответы Вороиова, тоже в большннстве своем былн союзинками...

— Что ж, — прнмнрнтельио сказал после неловкой паузы Стюарт, — мы узиалн от господниа Воронова самое главиое: маршал Сталнн здесь. Простите, теперь ои геиералиссимус. Зиачит, Конфереицня состонтся.

Он посмотрел на Урсулу. Во время разговора оиа сндела молча, виднмо, ие поиимая ни слова. Впрочем, Воронову показалось, что раза два она взгляиула на него по-прежиему неприязнеино, если не враждебно.

— Нам пора, — сухо сказал Стюарт. — Я обещал доставнть леди домой. Нам пора ехать, — по-немецкн обратнлся он к Урсуле.

Все подиялись со своих мест.

— Для меня было большнм удовольствием поближе познакомнться с вамн, господнн Вороиов, — скороговоркой пронзнес Стюарт. — Уверен, что для Урсулы тоже.

Оии вышлн из-за стола н иаправились к выходу.

«Что я наделал, черт побери, что я наделал! — повторял про себя Воронов. — Вместо того чтобы хоть как-то повлнять на иастроенне этих людей, иа содержаине нх будущнх корреспонденцнй, сцепился со Стюартом!.. Но, с другой стороны, как я должен был поступнть? Подставить правую щеку после того, как меня ударнли по левой?..»

Нет, он не мог ин смолчать, ни сделать вид, что слова Стюарта его не задевают. Этот тоикогубый незунт явно пытался броснть теиь на Советскую страну. Пусть дело касалось только Конференцнн... Судя по всему, Стюарту нужен был лншь повод...

— Глупо все получнлось, — сказал Воронов, когда онн с Брайтом селн в машнну.

— А я доволен! — отозвался Брайт.

— Еще бы! — усмехнулся Вороиов. — Получнл свою сотию долларов.

Неожнданно Брайт с такой силой нажал на тормозную педаль, что Воронова чуть было не выброснло из машииы.

— Ты что, с ума сошел? — воскликиул Вороиов.

— Послушай, Майкл, — медленно, с несвойствеииой ему жесткой иитонацней пронзнес Брайт. — За кого ты меня прннимаешь?

Таким тоиом Брайт раньше ннкогда с ним не разговарнвал.

— Я сказал тебе, — продолжал Брайт, — что поездка нмеет важное зиачение. Я был прав. Я им доказал, что советскнй журналнст не лгун. Не все так просто, как кажется. А деньги... Эй, мистер! — прнподнявшнсь с сндеиья, крнкнул ои во весь голос.

Вороиов не поиял, к кому он обращается. Но сразу же увндел старнка, в ярком свете фар пересекавшего дорогу перед машнной. Несмотря на жаркнй июльскнй вечер, на нем были пальто с потертым бархатным воротинком н шляпа, давно потерявшая форму. Этот старый немец, очевндио, жил иеподалеку и пробнрался домой.

— Эй, мнстер! — сиова крнкиул Брайт. Включив мотор, он одиим рывком броснл машиؚиу вперед и снова затормозил, на этот раз почти рядом со старнком, нспуганио прнжавшнмся к остаткам стены. Не заглушая двнгателя,

Брайт тоном приказа обратился к Воронову:

— Спроси, кто он такой!

— Да ты и впрямь сошел с ума!

— Не хочешь? — с необъяснимой злобой сказал Брайт. — Ладно, обойдусь без тебя. — Высунувшись из кабины, он громко спросил: — Хей, майн хэрр! Вн альт зн? Вифиль? Вифиль ярен? Зи, зи![1]

Немец молчал. Руки его, сжимавшие трость, дрожали. Дребезжащим, старческим голосом он, наконец, пролепетал:

— Ахт унд зибцих...

— Что он бормочет? — обернулся Брайт к Воронову. — Сколько?

— Семьдесят восемь.

— О'кей! — удовлетворенно произнес Брайт. — Значит, не воевал.

Резким движением расстегнув нагрудный карман своей рубашки, Брайт вытащил пачку денег, перехваченную резинкой.

— Держи! — крикнул он, обращаясь к немцу по-английски. — Возьми, я сказал.

Растерянный старик молчал.

— Немен! — снова гаркнул Брайт, на этот раз по-немецки. Еще дальше высунувшись из машины, он протянул руку и сунул деньги старику за отворот пальто. Затем откинулся на спинку сиденья и дал газ.

— Слушай, Чарльз, — не выдержал Воронов. — Можешь ты объяснить, что все это значит?

— Могу, парень. Только не сейчас.

Ответ Брайта прозвучал задумчиво, почти печально. Рядом с Вороновым сидел за рулем еще один — как бы третий — Чарли Брайт. Первый был лихой, хвастливый парень, очень похожий на тех американских ковбоев, которых Воронов много раз видел когда-то на московских киноэкранах. Второй предстал перед Вороновым в подвале — немногословный человек, умеющий быть злым и жестоким. Теперь перед ним был третий Чарли Брайт — тихий, задумчивый, охваченный необъяснимой грустью. Этот третий Чарли и машину вел неуверенно и безвольно.

— Мы правильно едем? — спросил он после долгого молчания.

— Правильно.

— Как ты сказал, кто такой этот Шопенгоор?

— Философ. Философ-пессимист.

— К черту пессимистов! — словно очнувшись, воскликнул Брайт своим привычным бесшабашным тоном. — Слушай, Майкл-бэби, давай переименуем твою улицу. Назовем ее улицей Рузвельта. Нет, лучше авеню Сталина. Все-таки вы были первыми в этой войне!

— Ты думаешь, названия улиц зависят от нас? — улыбнулся Воронов.

— Все зависит от нас, парень, — убежденно ответил Брайт. — Решительно все! Кажется, мы приехали? — спросил он, притормаживая машину.

...Осторожно, чтобы никого не разбудить, Воронов открыл дверь ключом. В передней горел свет. Ложась спать, хозяева позаботились о том, чтобы Воронову не пришлось добираться до своей комнаты в темноте.

Было еще не так поздно — около одиннадцати, но в доме стояла тишина.

Вольф, видимо, рано ложился спать, так как уходил на работу рано утром.

Медленно, чтобы не скрипели ступени, Воронов поднялся к себе.

Он был под впечатлением того, что произошло в «Андерграунде».

До сегодняшнего вечера Воронову казалось, что все ждут предстоящей Конференции с радостным единодушным нетерпением. Это нетерпеливое ожидание как бы сближало людей разных национальностей и разных взглядов.

Но дело, по-видимому, обстояло сложнее. Еще никто, по крайней мере из журналистов, не знал, какие вопросы будут на Конференции обсуждаться, а борьба вокруг нее — вернее, вокруг подготовки к ней — уже началась. Поездка в «подполье» убедила Воронова в этом.

«Но не преувеличиваю ли я?» — думал он. В конце концов вызывающе вел себя только Стюарт. Остальные журналисты как будто отнеслись к Воронову более или менее дружелюбно.

Однако достаточно было и одного Стюарта.

Воронов понимал, что невозможность получить необходимые сведения всегда раздражает журналистов. То, что им не только не разрешили встретить Сталина, но до сих пор держали его приезд в секрете, не могло не вызвать у них естественного недовольства.

От западных журналистов — это было общеизвестно — читатель ждет сенсаций. Ему всегда хочется заглянуть в замочную скважину запертой двери, будь то кабинет президента или спальня кинозвезды. Серьезные мысли доходят до него лишь в обрамлении сенсационных подробностей.

Каким же образом западные журналисты могут удовлетворить запросы своего читателя сегодня? В Бабельсберг их не пускают. Приезд Сталина держат в секрете. Прибытие Трумэна и Черчилля они уже достаточно «обыграли». Что им остается? Строить всевозможные догад-

[1] Эй, господин! Сколько вам лет? Сколько? Сколько лет? Вам, вам! (ломаный *нем.*)

ки? Снова и снова твердить о том, что предстоящая Конференция должна решить послевоенные судьбы Европы?

«Ладно, хватит попусту тратить время!» — сказал себе Воронов. Усилием воли он заставил себя закончить статью. Завтра утром ее надо было сдать на узел фельдсвязи, чтобы она в тот же день смогла уйти в Москву. Ведь там ее должны еще отредактировать, перевести на иностранные языки и передать в английские, американские и в другие телеграфные агентства...

...Он проснулся в половине седьмого. Машина должна была прийти к семи. Столовая в Бабельсберге открывалась тоже в семь. Значит, у него еще будет время перепечатать корреспонденцию, позавтракать и выяснить у Герасимова, как планируется сегодняшний день. Конференция открывается сегодня, но Воронов полагал, что раньше десяти она не начнется.

Спустившись по лестнице, он думал только о том, чтобы избежать встречи с Германом или Гретой. Но это ему не удалось. Дверь из столовой открылась, и в переднюю вошел Герман. На нем была серая потертая спецовка, из-под которой выглядывал аккуратно повязанный галстук. В руке он держал кепку. Очевидно, Вольф собрался на работу.

— Доброе утро, хэрр Воронофф, — приветливо сказал он. — Мы не думали, что вы встанете так рано. Как же вы пойдете, даже не выпив чашку кофе?

— Доброе утро, господин Вольф. Я позавтракаю в Бабельсберге.

Они вышли на крыльцо. Машина уже стояла у тротуара.

— Ваш завод далеко? — спросил Воронов, чтоб поддержать разговор.

— О нет! Два-три километра в сторону от Потсдама. Я обычно выхожу из дому пораньше. Утренний моцион.

— Садитесь в машину, — предложил Воронов. — Я вас подвезу.

— О, нет, нет, что вы! — поспешно и, как показалось Воронову, даже испуганно воскликнул Герман.

«Не хочет утруждать господина офицера? — подумал Воронов. — Или не желает ехать в советской машине, потому что боится своих соотечественников?»

— Садитесь! — скорее приказал, чем попросил он.

На лице Вольфа снова промелькнуло испуганное выражение, но категорический тон Воронова сделал свое дело.

Они расположились на заднем сиденье.

— Куда ехать? — спросил Воронов.

— В обратную сторону, — нерешительно произнес Вольф.

Несколько улиц они проехали молча. Вольф указывал направление. Вскоре машина оказалась на окраине Потсдама.

— Спасибо, хэрр Воронофф, — сказал Вольф, — мы приехали. Отсюда мне совсем близко.

— Я довезу вас до места, — упрямо ответил Воронов.

— О нет, нет, прошу вас этого не делать! — уже с явным испугом воскликнул Вольф.

«Не хочет, чтобы его видели в советской машине», — окончательно решил Воронов. Никакого завода поблизости не было видно. Правда, он мог скрываться за руинами, громоздившимися впереди.

Воронов пожал плечами.

— Хорошо, — холодно сказал он. — Желаю вам успешного рабочего дня. До свидания.

— Спасибо, хэрр Воронофф! — с облегчением откликнулся Вольф, выходя из машины. — Большое спасибо!

Он сделал несколько шагов, обернулся, приветливо помахал Воронову и зашагал еще быстрее. Вскоре его фигура исчезла среди развалин.

— Слушай, друг, — неожиданно для самого себя сказал Воронов своему водителю, — сделай-ка небольшой бросок в ту сторону, куда пошел этот немец. Посмотри-ка, что за завод там расположен.

— Яволь! — понимающе подмигнув, ответил старшина. — Сейчас проверим, товарищ майор!

— Только поторопись, а то на объект опоздаем.

— В два счета!

Минут через пять старшина вынырнул из развалин и бегом направился к машине...

— Ну что? — нетерпеливо спросил Воронов.

— Был, товарищ майор, завод, да сплыл! — махнул рукой старшина, усаживаясь на свое сиденье.

— Что это значит?

— Лом железный — вот и все, что от завода осталось, — трогая машину, ответил старшина. — Наверное, фугасок десять в него угодило...

Воронов ничего не понимал. В том, что никакого завода здесь нет, он уже не сомневался. Но зачем Вольф обманывал его?

— А вашего фрица я там видел! — весело сообщил старшина. — И еще десятка два фрицев.

— Что же они там делают? — с удивлением спросил Воронов.

— А хрен их знает, товарищ майор, извините за выражение. Железяки разбирают и в

кучи сносят. Тряпочкой вытрут — и в кучу! Одним словом, мартышкин труд!

«Может быть, немцы восстанавливают разрушенный завод?» — подумал Воронов. В Берлине уже к концу мая действовало несколько линий метро, вступили в строй железнодорожные станции и речные порты. Правда, всеми этими работами руководило советское командование.

— Послушай, — обратился Воронов к старшине, — наших солдат там не было?

— Ни одного не видел, товарищ майор.

— А немцев, говоришь, сколько?

— Десятка два с половиной, не больше.

— Неужели они такими силами хотят восстановить завод?

— Не могу знать, товарищ майор.

Старшина отвечал, поминутно оглядываясь на Воронова и в то же время следя за дорогой.

«Зачем же все-таки ходит туда этот Вольф? — думал Воронов. — Кто ему платит? Кому могла прийти в голову нелепая мысль силами двух десятков человек, без всякой техники восстановить разрушенный до основания завод?..»

Между тем машина пересекла Потсдам. Перед въездом в Бабельсберг ее остановил советский военный патруль.

Доставая свои пропуска, Воронов сразу забыл и о Вольфе и о разрушенном заводе. Все заслонила собой самая главная мысль: сегодня, семнадцатого июля, открывается Конференция!

Глава десятая

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Тот день был не похож на все другие.

В первой его половине Черчилль поехал в Берлин. Он обошел то, что осталось от рейхстага, осмотрел развалины новой имперской канцелярии и бункер Гитлера.

Вернувшись в свою резиденцию, Черчилль прошел через пустые комнаты на террасу и, не снимая шляпы, мокрый от нестерпимой жары, в покрытом пылью костюме, грузно опустился в кресло, отмахиваясь от назойливых комаров.

Сойерс принес виски.

Лорд Моран, давно изучивший своего пациента, знал, что после короткого отдыха Черчилль придет в себя.

— Вы не забыли, сэр, — сказал Моран, — что сегодня вам предстоит визит к президенту Трумэну?

— Я никогда ничего не забываю, — раздраженно отозвался Черчилль, продолжая сидеть неподвижно. — Разрушения ужасны, — произнес он после долгого молчания.

Моран наклонил голову в знак согласия — вместе с Кадоганом он уже успел съездить в Берлин.

Сознавая, что Черчиллю необходим отдых и его надо хотя бы на полчаса удержать в кресле, Моран попытался завязать беседу.

— Что произвело на вас наибольшее впечатление? — спросил он.

— Наибольшее впечатление, если хотите знать, на меня произвел плакат, — резко ответил Черчилль.

— Какой плакат, сэр? — с недоумением переспросил Моран.

— Большой плакат в ярко-красной рамке. Он установлен перед рейхстагом. Мне перевели то, что на нем написано. По-русски и по-немецки. Красными буквами.

— Что же на нем написано?

Черчилль закрыл глаза и медленно произнес:

«ОПЫТ ИСТОРИИ ГОВОРИТ, ЧТО ГИТЛЕРЫ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ, А НАРОД ГЕРМАНСКИЙ, А ГОСУДАРСТВО ГЕРМАНСКОЕ — ОСТАЕТСЯ. СТАЛИН». — Открыв глаза и сощурившись, он спросил: — Как вам это нравится?

— Вы хотите сказать... — начал Моран.

— Я хочу сказать, — прервал его Черчилль, — что Сталин уже открыл свою Потсдамскую конференцию. Притом задолго до ее начала.

Моран с удивлением смотрел на своего пациента.

— Неужели вы не понимаете? Сталин начал войну за души немцев. Заявил, что вопреки американцам не собирается расчленять Германию. Самое же главное, он успокоил немецкий народ, отделив его от Гитлера. Объявил, что не намерен мстить. Как вам нравится этот хитрый византиец?

— До сих пор, — сказал Моран, — насколько я знаю, русские везде писали: «Смерть немецким оккупантам!»

— Вот именно! — воскликнул Черчилль. — Но они никогда не писали: «Смерть немцам!»

— Вы хотите сказать, что Сталин всегда думал о том дне, когда его войска войдут в Германию? Не переоцениваете ли вы его дальновидность, сэр?

— Запомните, Чарльз, — нравоучительно произнес Черчилль, — когда речь идет о русских, всегда опаснее недооценить их, чем переоценить.

Наступило молчание. Черчилль сосредоточенно смотрел на озеро, раскинувшееся неподалеку отсюда. На противоположном берегу виднелись фигуры советских солдат.

Моран понял, что именно на этих солдат пристально глядит сейчас Черчилль.

Как бы очнувшись от своего раздумья, Черчилль вновь обратился к Морану.

— Лейбористы утверждают, — сказал он без всякого перехода, — что я буду иметь большинство в тридцать два голоса. Этого мало. Если преимущество будет столь незначительно, мне придется подать в отставку.

Морану показалось, что Черчилль ждет его возражений, хотя в своих предвыборных речах премьер-министр заявлял, что не потерпит никакой победы на выборах, кроме абсолютной. Теперь его, видимо, устроило бы и незначительное большинство голосов.

Но Моран промолчал. В конце концов он был только врачом, заботившимся о душевном спокойствии своего пациента.

— Забудьте о выборах, сэр, — сказал он. — Считайте, что победа вам обеспечена.

— Там! — Черчилль кивнул головой куда-то в сторону. — А здесь?

...Во второй половине дня Черчилль поехал к Трумэну с визитом вежливости.

Это была первая беседа Трумэна с английским премьер-министром. Около часа президент слушал все то, что Черчилль писал ему в течение последних трех месяцев. Несколько раз прерывал Черчилля одобрительными замечаниями и, как показалось англичанину, рвался в бой со Сталиным.

Во время визита к президенту Черчилля сопровождали Иден и его заместитель Кадоган. Вернувшись в свою резиденцию, премьер-министр сказал им, что доволен беседой. Трумэн произвел на него впечатление человека решительного, энергичного и, судя по всему, готового дать отпор русским.

Поздно вечером Черчилль вновь остался наедине со своим врачом. Моран спросил его, что он думает об американском президенте. На этот раз ответ Черчилля прозвучал менее определенно: «Думаю... что он в состоянии...»

Облачившись в длинную ночную рубашку, доходившую почти до пят, Черчилль положил руку на тумбочку: Моран каждый вечер измерял ему кровяное давление. Оба они знали, что сегодня давление вряд ли будет нормальным.

Так оно и оказалось.

— Сто пятьдесят на сто, — объявил Моран. — Впрочем, для такого дня вполне естественно. Но, с другой стороны, если вы, сэр, удовлетворены беседой с президентом, то волноваться нечего.

Черчилль лег в постель и с наслаждением вытянулся.

— Вы уверены, что у меня нет поводов для волнения? — усмехнувшись, спросил он.

— Для человека вашего положения и характера такие поводы всегда найдутся, — примирительно ответил Моран. — Надо стараться отличать главные от второстепенных и отбрасывать второстепенные.

— Вам это всегда удается?

— Я никогда не был премьер-министром. Но как врач убежден, что самый могучий интеллект в состоянии заниматься глобальными вопросами лишь полчаса в сутки. Иначе он обречен.

— Вы хотите напомнить, что мне уже семьдесят?

— Я говорю о человеческом организме вообще.

— Тогда, может быть, вы объясните, какие проблемы следует считать главными и какие второстепенными? Вы даете мне полчаса, чтобы думать о еще не подсчитанных избирательных бюллетенях? О будущем Европы? О тактике Сталина? О позиции Трумэна? Полчаса на все это?

Черчилль повысил голос. Моран почел за благо не раздражать своего пациента перед сном.

— Если говорить о позиции Трумэна, — мягко сказал он, — то она, кажется, вам ясна...

— Да, президент слушал меня внимательно и с сочувствием. Но вы понимаете, Чарльз, я все время не мог отделаться от ощущения, что, слушая меня, он думает о чем-то другом... Будто ждет чего-то... Как вы думаете, чего?

— Не знаю, сэр. Вероятно, он поглощен мыслями о завтрашнем заседании.

— Трумэн может себе это позволить. А я вынужден ждать известий. Кто я теперь? Мне нужно знать это как можно скорее. Иначе я не могу думать о самом главном.

— Сейчас вам нужно только одно, — твердо сказал Моран, — крепко заснуть.

— Сейчас мне нужен хороший глоток бренди, сэр, — поднимаясь в постели, сказал Черчилль. — Нальете сами или позвать Сойерса?..

...В то время как Черчилль разговаривал с Мораном, к «малому Белому дому» подъехал автомобиль. Офицер, сидевший рядом с шофером, выскочил и распахнул дверцу. Высокий, пожилой человек в штатском вышел из машины и направился к калитке в решетчатой ограде, у которой стояли солдаты американской морской пехоты.

Все они вытянулись, увидев военного министра Соединенных Штатов.

Было ровно восемь часов вечера, когда Стимсон, держа в руках темно-коричневую папку из крокодиловой кожи, вошел в кабинет Трумэна. Президент сидел за письменным столом. Стимсон раскрыл папку и молча положил на стол только что полученную шифрограмму.

Чувствуя, как сразу зачастило его сердце, Трумэн прочел:

«ПРООПЕРИРОВАН СЕГОДНЯ УТРОМ. ДИАГНОЗ ЕЩЕ НЕ УСТАНОВЛЕН ПОЛНОСТЬЮ, НО РЕЗУЛЬТАТЫ, ПО-ВИДИМОМУ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫ И УЖЕ СЕЙЧАС ПРЕВОСХОДЯТ ОЖИДАНИЯ. ДОКТОР ГРОВС ДОВОЛЕН. ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ ЗАВТРА. БУДУ ДЕРЖАТЬ ВАС В КУРСЕ ДЕЛА. ГАРРИСОН».

Президент крупнейшей американской страховой компании и старый друг Трумэна Джордж Гаррисон заменял Стимсона на посту председателя Военно-политического комитета, руководившего Манхэттенским проектом.

«Свершилось!» Трумэн торжествующе посмотрел на Стимсона. Получив долгожданное сообщение, президент на время лишился дара речи.

Все же он нашел в себе силы, сложив руки под столом, прочитать короткую молитву. Он благодарил бога. Наконец исполнилось то, о чем он мечтал все эти три долгих месяца.

Но тут же Трумэн инстинктивно резким движением разъединил сжатые в молитвенном экстазе ладони. Он подумал: «Не напрасно ли мы назвали испытание священным именем «Троица»? Не разгневается ли бог? Не решит ли он наказать человека, претендующего на власть, которая доселе принадлежала одному лишь провидению?!»

Снова соединив ладони, он мысленно попросил прощения у всевышнего...

Как бы то ни было, отныне он, Трумэн, стал властелином мира. Еще так недавно Черчилль давал ему советы, как вести себя со Сталиным, на чем настаивать категорически...

«Настаивать! — с торжеством повторил Трумэн. — Теперь мне ни на чем не надо настаивать. Теперь я могу диктовать!»

Незадолго до прихода Стимсона Трумэну сообщили, что русские предлагают открыть Конференцию завтра, в пять вечера. Он согласился.

Но теперь ему хотелось все переменить. Почему бы, несмотря на поздний час, не начать Конференцию сегодня же? Немедленно! Вызвать Бирнса, поручить ему связаться со Сталиным — Черчилль не в счет! — и объявить, что президент Соединенных Штатов Америки потребовал начать Конференцию сейчас же...

Разумеется, Трумэн не думал об этом всерьез. Но его опьянило сознание, что все это он мог бы осуществить. Ни здесь, в Бабельсберге, ни во всем мире никто не смог бы ему противостоять.

Наконец Трумэн обрел дар речи.

— Это победа, Генри! — воскликнул он.

Против ожидания ответ Стимсона прозвучал сдержанно:

— Да, конечно, они добились успеха. Но сообщение носит слишком общий характер.

«Какого черта!» — едва не гаркнул Трумэн на своего военного министра, но вовремя сдержался. «Что он, собственно, имеет в виду? Может быть, взорвана не сама бомба, а ее, так сказать, эквивалент?»

После первых сообщений о Манхэттенском проекте, сделанных Стимсоном, Гровсом, а затем и Бушем, Трумэн полагал, что никогда не разберется в ученой тарабарщине, с которой связано производство нового оружия. Теперь он, наоборот, был уверен, что все постиг. Он твердо усвоил, что атомная бомба — не что иное, как два блока, наполненных ураном или плутонием и разделенных свободным пространством. В нужный момент взрыватель срабатывает и блоки приходят в соприкосновение. Тогда-то и происходит тот самый «супер-взрыв», который, по выражению Бирнса, способен потрясти весь мир.

Почему уран обозначается цифрой «235», а плутоний — «239»? Как их добывают? Почему они, соединившись, образуют массу, которая превосходит «критическую»? Ничего этого Трумэн так и не понял. Контейнер, два блока, взрыватель... Вот и все, что он усвоил.

Кроме того, Трумэн теперь знал, что для начала должна быть взорвана не сама бомба, а небольшой, размером в грейпфрут, плутониевый шар, укрепленный на стальной вышке высотой примерно в сто футов.

Заводы, секретно построенные в местности Оук-Ридж, штат Теннесси, уже получили плутоний в количестве, достаточном для производства трех бомб.

Если экспериментальный взрыв пройдет успешно, это будет означать, что проблема нового оружия решена. Изготовление настоящих бомб станет технологическим вопросом.

Но ведь шифрограмма Гаррисона показывает, что этот плутониевый шар взорван!

...С трудом сдержав раздражение, вызванное скептическим тоном Стимсона, Трумэн схватил шифрограмму и, поднеся ее почти вплотную к глазам, стал вчитываться в каждое слово.

По мере того как Трумэн ее перечитывал, настроение его ухудшалось.

«Диагноз *еще не установлен* полностью... Результаты, *по-видимому*, удовлетворительны... Буду держать вас в курсе дела...»

Как он мог не обратить внимания на эти уклончивые фразы?!

— Что все это значит? — нерешительно спросил Трумэн. От его приподнятого настроения не осталось и следа.

— Это значит, что все идет успешно, но окончательный результат...

— Но мне нужен окончательный результат, сэр! — с неожиданной яростью крикнул Трумэн. — Я не могу больше ждать. Завтра открывается Конференция...

— Будем надеяться, что завтра придет более подробное сообщение, — сказал Стимсон. — Но уже из этой шифрограммы, — продолжал он, чтобы успокоить президента, — совершенно ясно, что все протекает успешно.

— Вы так думаете, Генри? — с надеждой спросил Трумэн.

Не дожидаясь ответа, он закрыл глаза и с дрожью в голосе произнес:

— Да поможет нам бог...

Открытие Конференции было назначено на семнадцатое июля в пять часов.

Утром президента известили, что в полдень к нему хотел бы приехать Сталин с визитом вежливости.

Какие чувства испытывал Трумэн, узнав, что ему предстоит первая в жизни встреча со Сталиным? Какие цели ставил перед собой?

Подробный отчет из Аламогордо все еще не пришел. Да и каков он будет, этот отчет!..

Ведь Трумэну нужны не просто сведения о том, что материю можно разложить на атомы, соединить эти чертовы массы и добиться их «критического состояния». Ему требуется бомба, которую можно погрузить в самолет или подвесить к его фюзеляжу, поднять в воздух и сбросить в нужный момент над нужной целью.

Бомба дала бы ему невероятную силу. Если бы он обладал бомбой, исход войны с Японией в пользу США можно было бы считать решенным.

Военные говорили Трумэну, что без помощи СССР война на Дальнем Востоке может сильно затянуться. Таким образом, США находились в косвенной зависимости от Советского Союза.

Говоря о том, что он желает продолжать политику Рузвельта, Трумэн на деле стремился резко изменить ее. Но это стремление ему приходилось скрывать. Обладание же бомбой настолько усилило бы Соединенные Штаты, что военная помощь русских стала бы, по мнению Трумэна, просто ненужной...

Все зависело от окончательного сообщения из Аламогордо. Но его все еще не было. Ни вчера, шестнадцатого, ни сегодня, семнадцатого июля.

Первый в истории человечества атомный взрыв произошел сутки назад. Но президент США, возлагавший на этот взрыв столько надежд, мечтавший построить на нем всю свою внешнюю политику, еще не знал, что же, в сущности, произошло в Аламогордо вчера, в пять тридцать утра...

Бывали минуты, когда Трумэну казалось, что Гровс медлит с отчетом, потому что конечного успеха все еще нет, и генерал обдумывает, как бы замаскировать свою неудачу...

В полдень семнадцатого июля, когда Сталин, Молотов и переводчик Павлов подъехали к «малому Белому дому», доклад от Гровса так еще и не прибыл.

У подъезда Сталина встречали личные помощники президента Гарри Воган и Джеймс Вардамен. Воган был известным дельцом и политиком. Вардамен, банкир из Сент-Луиса, некоторое время служил во флоте и теперь носил военно-морской мундир, хотя, по утверждению очевидцев, не переносил шторма даже в три балла...

Трумэн, Бирнс и Болен ждали советских гостей наверху, в кабинете президента.

Зная, что вскоре ему предстоит встретиться со Сталиным, Трумэн всячески старался составить себе представление о советском лидере. В Вашингтоне после того, как была назначена дата Конференции, и здесь, в Бабельсберге, Трумэн не раз беседовал о Сталине с Гарриманом и Дэвисом, Гопкинсом и Боленом. Но его собеседники высказывали самые противоречивые суждения. Сталина называли восточным деспотом и вместе с тем человеком любезным и вежливым, прямолинейным тираном и дипломатом, полностью постигшим искусство переговоров. Коварным византийцем и человеком, на которого можно положиться, если он сказал «да», и на которого бесполезно оказывать давление, если он сказал «нет».

После всего этого личность Сталина приобрела для Трумэна легендарно-мистический оттенок.

Определеннее других высказывался о Сталине Бирнс. В качестве советника он сопровождал Рузвельта на Ялтинскую конференцию и выработал свое особое мнение о Сталине.

Бирнс утверждал, что советскому лидеру удавалось осуществлять свои планы в Ялте лишь вследствие уступчивости Рузвельта и скрытой неприязни, которую покойный президент питал к Черчиллю. По словам Бирнса, на этом постоянно играл Сталин. Кроме того,

у него был в Ялте крупный козырь: обещание вступнть в войну с Японней после того, как с Гитлером будет покончено. Рузвельт не мог не считаться со своим будущим дальневосточным союзником.

Однако теперь, убеждал Трумэна Бирнс, Соедниенные Штаты ннчем не связаны. После успешного испытания атомной бомбы участие русских в войне с Японией становнтся не только ненужным, но попросту нзлишним. В успехе этого нспытания Бирнс не сомневался.

Трумэн страстно хотел верить ему, но не мог забыть осторожность, с которой Стимсон оценнвал то, что произошло в Аламогордо.

Ах, как Трумэн мечтал поставить Сталина на место, показать, что теперь ему придется иметь дело не с мягким и уступчнвым Рузвельтом, а с человеком, полным твердой решимостн настоять на своем. В то же время он, не признаваясь в этом даже самому себе, боялся встретиться лицом к лицу с загадочным советским лидером. Тем более что окончательные результаты нспытання атомной бомбы до снх пор былн нензвестны.

...И вот теперь Сталин поднимался по лестннце «малого Белого дома».

Что он, Трумэн, скажет сейчас Сталину? Пусть встреча будет неофнциальной, но ему же все-такн придется сказать хоть что-то о предложеннях, с которыми амернканская делегация приехала в Потсдам. Но что он может сейчас сказать?..

Во время путешествия на «Аугусте» Трумэн подолгу совещался с Бирнсом, Стнмсоном, Легн. Они совместно вырабатывали американские предложення, добиваясь предельной точности формулировок.

Тем не менее Трумэн, несмотря на всю свою самоуверенность, поннмал, что отсутствие государственного опыта, внезапность, с какой заурядный сенатор превратнлся в президента могущественной державы, не могут не сказаться на предстоящей Конференции.

Тревога, которую он испытывал, порождалась не только молчанием Гровса. Перед самым отъездом нз Вашингтона Трумэн повздорил с министром финансов Моргентау. Хотя его план превращения Германии в группу раздробленных сельскохозяйственных государств был отвергнут еще в Ялте, Моргентау после смертн Рузвельта снова стал настаивать на своем н потребовал, чтобы его включили в делегацию, направлявшуюся в Потсдам.

Бирнс категорически возражал против плана Моргентау. Вместе с Трумэном он полагал, что Германия должна быть сохранена и как один нз рынков сбыта для Соединенных Штатов и как кордон против коммуннзма в Европе. Трумэн и Бирнс соглашалнсь, что вермахт и все нацистские организации должны быть уннчтожены, но главным образом потому, что в противном случае возмутилось бы мировое общественное мненне.

В то же время хитрый Бирнс уверял президента, что демонтаж многочисленных промышленных предприятий, составлявших военный потенциал Германии в Руре и других районах, вызовет у немцев ненависть к американцам и усилит влияние коммунистов на послевоенную Германию.

Моргентау предъявил ультиматум: участие в Потсдаме или отставка. Свой пост он занимал почти все время, пока существовала админнстрация Рузвельта, н, помимо всего прочего, был своим человеком в Белом доме — его жена дружила с Элеонорой Рузвельт. Отставка Моргентау могла бы повредить авторитету нового президента. Тем не менее ее пришлось принять.

Трумэн отправнлся в Европу, сознавая, что и внутренняя его политика далеко не отрегулирована. В особенностн это относилось к возникшей после окончания войны угрозе ннфляции, а также к росту безработицы. Назревали серьезные разногласия с конгрессом. Покойный Рузвельт мало счнтался с ним. Теперь конгрессмены были не прочь взять реванш...

По убеждению Трумэна успех в Аламогордо склонил бы общественное мнение страны в его пользу. Но, отправляясь в Европу н теперь ожидая встречи со Сталиным, он так н не знал, есть у него бомба или нет.

Пожалуй, еще нн разу в жизни Трумэн не нспытывал такого острого ощущения надвигающейся на него опасности. Ему страшно захотелось вернуть прошлые годы, оказаться вновь в родном Индепенденсе, сндеть за ужином в кругу семьн, видеть лица жены Бэсс н дочери Маргарет н не думать об этой чертовой бомбе, о предстоящей Конференции, о проклятой Европе, до которой ему еще так недавно не было никакого дела...

«Господн! — мысленно воскликнул Трумэн. — Простн меня за гордыню, за обуявшую меня жажду власти...» Но услышав эту молитву как бы со стороны, Трумэн понял, что не о том проснт бога. Именно власти, могучей, всесильной, всеобъемлющей, должен он просить сейчас у всевышнего...

Гнетущая тревога не проходнла.

Трумэн убеждал себя в том, что намерение Сталина первым отправиться к президенту многое значило уже само по себе. Сталин как бы соглашался признать решающую роль Соединенных Штатов в послевоенном мире.

Но предостерегающий внутренний голос говорил Трумэну, что визит Сталина не больше

чем элементарная вежливость гостеприимного хозяина. Первым приветствуя своего гостя, Сталин тем самым подчеркивает, что именно он здесь хозяин.

...Трумэн стоял посреди кабинета, прислушиваясь к шагам поднимавшегося по лестнице Сталина.

Время от времени он оглядывался на Бирнса и Болена, словно желая убедиться, что они не покинули его в эту трудную минуту.

Наконец дверь открылась. Генерал Воган распахнул ее и тут же отступил в сторону.

Мягко ступая по ковру, в кабинет вошел Сталин в сопровождении Молотова и переводчика, но Трумэн смотрел только на Сталина. Кроме него, он не видел сейчас никого.

Несколько секунд президент неподвижно стоял, сравнивая живого Сталина с теми его портретами, которые печатались в американских газетах и журналах. Очнувшись, он неестественно выпрямился, как солдат на смотру, и сделал несколько поспешных шагов навстречу Сталину.

Они обменялись рукопожатиями.

Потом Сталин заговорил. Переводчик Павлов синхронно переводил каждое его слово. Но Трумэн поймал себя на том, что слушает не Павлова, а Сталина. До Трумэна не сразу дошло, что Сталин приветствует его и извиняется за некоторую задержку с приездом в Бабельсберг.

Вслушиваясь в то, что Сталин говорил на непонятном языке, Трумэн с невольным облегчением отметил, что советский лидер произносит слова негромко, мягко, с едва заметной улыбкой на рябоватом лице.

Да, Сталин извинялся за небольшое опоздание. Его задержали в Москве переговоры с представителем Чан Кай-ши и легкое недомогание...

Трумэн встрепенулся. Оцепенение прошло. Он поспешно выразил надежду, что здоровье генералиссимуса теперь в полном порядке. Сталин ответил, что чувствует себя вполне прилично, но врачи нашли все-таки непорядки в легких и запретили лететь. Пришлось ехать поездом.

Только сейчас Трумэн сообразил, что в данном случае хозяином является он, и стал торопливо говорить, что давно мечтал о знакомстве с генералиссимусом, что чрезвычайно рад ему и что эта личная встреча, по его мнению, имеет огромное значение для послевоенного мира.

Когда Трумэн, а вслед за ним и Болен, переводивший его торопливую речь, умолкли, Сталин, как и прежде, негромко, мягко и доброжелательно сказал, что вполне разделяет мнение президента о важности личных контактов. Он выразил надежду, что главы государств быстро придут к соглашению по всем вопросам.

Еще несколько минут назад Трумэн был уверен, что в его кабинет сейчас войдет резкий, угрюмый, далекий от всякой светскости азиат, упоенный своей победой и не желающий идти ни на какие компромиссы. К тому же Трумэн не сомневался, что Молотов в достаточно мрачных красках описал их встречу в Вашингтоне и что Сталин сразу заговорит о приостановке американских поставок по «ленд-лизу».

Но перед ним стоял человек, казалось, вовсе не собиравшийся спорить, требовать и тем более угрожать. Вежливый, даже мягкий, человек, само воплощение любезности и доброжелательности...

Трумэн полностью овладел собой. Бог не оставлял его раньше, не оставит и теперь!

Его пугали Сталиным. Что ж, может быть, с Гарриманом, Гопкинсом, Боленом Сталин и в самом деле вел себя как диктатор, как человек, уверенный в своем полном превосходстве. Но перед американским президентом советский лидер явно предпочел предстать в образе скромного, вежливого, уравновешенного человека. Разве это не свидетельствует о том, что он отлично сознает великую мощь Соединенных Штатов?!

Трумэн вспомнил, что до сих пор не предложил гостям сесть. Пока Сталин шел к мраморному столику, стоявшему у стены, Трумэн держал ладонь над его твердым погоном с крупной пятиконечной звездой, словно желая и не решаясь к нему прикоснуться.

Наконец все расселись.

Теперь Трумэн уже полностью вошел в роль хозяина. Он сказал, что хотел бы ознакомить генералиссимуса с американскими предложениями по повестке дня предстоящей Конференции. Бирнс, сидевший за спиной у Трумэна, протянул ему листок бумаги с машинописным текстом. Положив листок перед собой, Трумэн начал перечислять вопросы, которые предлагает обсудить американская делегация.

Сначала он делал вид, что осведомлен настолько, что может говорить по памяти, затем стал искоса поглядывать на лежавший перед ним листок. В конце концов поднес листок к глазам и попросту стал читать: Германия, страны Восточной Европы, особенно Польша, свободные выборы...

Сталин слушал с подчеркнутым вниманием. Время от времени кивал головой. Когда Трумэн закончил чтение, последовала короткая пауза.

— Что ж, — нарушил молчание Сталин. — Все это, конечно, важные вопросы. Когда мы соберемся все вместе, вероятно, возникнут некоторые дополнения. Мы считаем, например, что следует обсудить вопрос о фашистском режиме Франко в Испании. Но главное, конечно, в другом...

Трумэн насторожился. Слова Сталина показались ему хотя вполне корректными, но несколько неопределенными. Создавалось впечатление, что Сталин уклоняется от разговора по существу. Не желая поддержать американские предложения, он вместе с тем не говорит об этом прямо.

— Видите ли, генералиссимус, — решительно сказал Трумэн, — я не дипломат, а, можно сказать, рядовой американец, волей провидения и народа ставший президентом...

Трумэн запнулся. Воля народа тут была ни при чем, поскольку он стал президентом автоматически после смерти Рузвельта. Ссылка же на провидение, очевидно, показалась смешной безбожнику, сидевшему напротив него.

Чтобы сгладить свой промах, Трумэн поспешно сказал:

— Конечно, господин Сталин прав: все это не самое главное. Главное, по крайней мере для меня то, что я приехал сюда как друг вашей страны и хочу, чтобы все вопросы решались открыто и дружески. Именно поэтому я и напомнил, что не являюсь дипломатом.

— В течение всей войны наша страна честно и открыто сотрудничала с Соединенными Штатами, — дружелюбно сказал Сталин, как бы давая понять, что не заметил промаха, допущенного Трумэном, или не придал ему никакого значения.

В ответ на это Трумэну захотелось со своей стороны сделать по отношению к Сталину дружеский жест. Ему льстило, что советский лидер разговаривает с ним столь уважительно.

Впрочем, желание Трумэна продемонстрировать Сталину свою лояльность было продиктовано еще и другой причиной. Глядя на этого человека в военном мундире, на котором поблескивала небольшая золотая звезда, на его негнущиеся погоны, Трумэн с невольным злорадством подумал, что грозный советский лидер ничего не знает о том оружии, которым, может быть, уже обладают Соединенные Штаты.

— Я хочу сказать генералиссимусу, что вчера у меня был Черчилль, — понизив голос, словно доверяя Сталину тайну, произнес Трумэн. — По многим вопросам у него имеются очень резкие суждения.

Сталин слегка сощурил глаза, достал из кармана трубку и, поглаживая ее большим пальцем, тихо спросил:

— Может быть, эти суждения Черчилля приобрели особый вес, потому что он решил помочь Соединенным Штатам в их войне с Японией?

Трумэн опешил. Сталин насмехался над ним? Или упрекал его в том, что он придает слишком большое значение суждениям Черчилля? Во всяком случае, Трумэн не ожидал, что Сталин столь неожиданно и прямолинейно, без всяких дипломатических обиняков выложит свой главный козырь. Трумэн понял, что не следовало пугать Сталина Черчиллем. Однако на вопрос нужно было ответить.

— Душой своей он в этой войне полностью на нашей стороне, — неуверенно произнес Трумэн.

— Душой? — с явной иронией переспросил Сталин. — Что же он предлагает? Душу или своих солдат, танки и бомбардировщики? — Впервые за все время встречи Сталин посмотрел Трумэну прямо в глаза. Трумэн отвернулся, чтобы не видеть его пронзительного, уничижительно-насмешливого взгляда.

Молотов все время сидел молча. Лицо его было бесстрастно. Но сейчас Трумэну показалось, что пенсне советского министра задорно блеснуло, а по лицу пробежало подобие улыбки. Уж не хотел ли он напомнить президенту их встречу в Вашингтоне...

Самоуверенный, весьма разговорчивый, Бирнс на этот раз молчал. Он видел, что президент оказался не на высоте, но предпочел пока не вмешиваться. Он выступит на сцену, когда на ней, кроме Трумэна и Сталина, окажутся Черчилль и Иден.

Президент тоже молчал. Кажется, он начал понимать, как неожиданно может повернуться спокойная и на первый взгляд безмятежная беседа со Сталиным.

— Нет, — задумчиво поглаживая свою трубку, снова заговорил Сталин. — На Англию падали не японские, а немецкие бомбы. Когда Германия угрожала интересам англичан, они сражались. Что же касается войны с Японией, то они будут помогать Америке, как вы выразились, только душой. Но ведь вам нужны войска. Или я ошибаюсь?

Взяв в рот пустую трубку, Сталин с улыбкой посмотрел на Трумэна, вынул трубку изо рта, с глухим стуком положил ее на мраморный столик и медленно сказал:

— Советский Союз готов выступить против Японии в середине августа. Как это было условлено в Ялте, — после паузы добавил он.

— Да, да, конечно... Мы глубоко ценим это... — поспешно проговорил Трумэн.

О чем он думал сейчас? Скорее всего снова о том, что в руках Америки, очевидно, уже есть такое оружие, которое сможет поставить на колени не только Японию, но и Россию. Но действительно ли есть это оружие? Что если испытание все-таки не дало необходимых результатов?

А может быть, Трумэн думал о том, что этот усатый человек в наглухо застегнутом мундире с прямоугольными плечами лишь обман-

чиво спокоен, пожалуй, даже ленив во всем своем поведении и в манере разговаривать. На самом же деле он все время настороже, готов на лету подхватить направленную в него стрелу и едва уловимым движением, однако с огромной силой послать ее обратно, прямо в сердце противника.

Но во всем облике Сталина решительно не было ничего агрессивного. Он не спеша опустил трубку в карман кителя и, глядя на Трумэна с мягкой, доброжелательной улыбкой, сказал:

— Ну, что же... Нам пора.

— Вы не останетесь на ленч? — спросил Трумэн.

В его голосе невольно прозвучало разочарование.

Трумэн и в самом деле испугался, что Сталин сейчас уйдет, при первой же встрече осадив его, да еще в присутствии Бирнса и Болена.

Президенту хотелось продлить разговор, чтобы проявить себя. Ни у него самого, ни у его помощников не должно быть такого чувства, что все они потерпели поражение. Пусть незначительное, пусть чисто словесное, но всетаки поражение.

— К сожалению, мы не можем... — начал Сталин.

— Вы все можете, если захотите! — прервал его Трумэн.

Он не вкладывал в эти слова никакого особого смысла. Но прозвучали они так, будто Трумэн действительно считает Сталина всесильным.

С досадой подумав об этом новом своем промахе, Трумэн с тревогой посмотрел на Сталина, ожидая реакции с его стороны.

Но Сталин добродушно глядел на Трумэна, как бы желая сказать: «Не беспокойтесь, я понял вас совершенно правильно».

— Что ж, хорошо, — просто сказал он. — Мы останемся.

Обед прошел весьма оживленно. Говорил главным образом Трумэн. Сталин ограничивался отдельными фразами. Отчаявшись расшевелить молчаливого, замкнутого Молотова, Бирнс спросил Сталина:

— Убеждены ли вы, что Гитлер действительно мертв?

Сталин пожал плечами:

— Все еще не исключено, что Гитлер бежал куда-нибудь, например, в Испанию или Аргентину. Фашизм живуч.

Однако Сталин, видимо, не был склонен превращать застолье в своего рода увертюру к Конференции. Разговор шел о погоде, о живописном виде на озеро Гребниц, который открывался с примыкавшей к столовой терассы, о национальных кушаньях в Америке, России и Грузии.

Трумэн задавал вопросы. Сталин вежливо отвечал. Ел мало. Слушая Трумэна, смотрел ему прямо в глаза. Вел себя за столом так, будто никуда не спешил и не был обременен делами.

Трумэну казалось, что он полностью овладел вниманием Сталина. Наблюдая за ним, президент постепенно пришел к выводу, что растерянность и даже испуг, которые он испытал, впервые увидев Сталина, были лишены оснований. Видимо, он просто переоценил Сталина, поддался предварительным разговорам о нем и стал придавать самым обычным его словам некий особый смысл.

Но то, что Сталин время от времени пристально смотрел ему прямо в глаза, как бы оценивая его, все-таки продолжало смущать Трумэна.

«Почему он так смотрит?» — с тревогой и в то же время с раздражением думал Трумэн. В пристальном взгляде Сталина он хотел бы прочесть то или иное отношение к себе, но близорукость мешала ему сделать это. Он не мог определить даже, какого цвета глаза у советского лидера.

Неожиданно ему пришло в голову, что точно такими же оценивающими взглядами встречали и провожали его сотрудники Белого дома в тот памятный апрельский вечер. Так же, как и они, Сталин, конечно же, сравнивал его с Рузвельтом. От впечатления, которое он, Трумэн, произведет сейчас на Сталина, во многом зависят все их дальнейшие отношения.

Трумэну страстно захотелось произвести на Сталина впечатление человека волевого, способного принимать самостоятельные решения. Наблюдая за своим гостем, за его спокойной, несколько усталой, однако добродушно-мягкой и подчеркнуто вежливой манерой держаться, Трумэн уверял себя, что произвести такое впечатление на Сталина ему удалось.

Сталин, задавший свой неожиданно резкий вопрос о Черчилле, был вовсе не похож на Сталина, сидевшего сейчас за обеденным столом. Этот Сталин вежливо слушал президента и отвечал ему любезными общими фразами. Только однажды он проявил явно неподдельный интерес.

Подали мясо. Негр-официант разлил по бокалам красное вино.

— Очень хорошее вино, — сказал Сталин, сделав небольшой глоток. — Я, как грузин, знаю толк в винах. Какое это вино — французское или немецкое?

— Американское, — с гордостью ответил Бирнс. — Калифорнийское.

— Очень рад узнать, — улыбнулся Ста-

лин, — что у американцев есть еще одно хорошее качество — умение производить такое отличное вино.

Трумэн сделал знак Бирнсу. Государственный секретарь на минуту отлучился. В тот же день в резиденцию Сталина был послан ящик калифорнийского вина.

Наконец, Сталин посмотрел на часы. Все стали подниматься.

Сталин уже готов был откланяться, но Трумэн попросил его и Молотова выйти на балкон, чтобы американские фотокорреспонденты и кинооператоры могли запечатлеть эту встречу.

Сталин сразу согласился. На мгновение Трумэну показалось, что советский лидер выполнил бы сейчас любую его просьбу.

Балкон, куда хозяева пригласили гостей, выходил в небольшой сад. Среди деревьев толпились, мешая друг другу, американские кино- и фотожурналисты.

Сталин протянул руку Трумэну. Президент поспешно пожал ее.

Встреча советского и американского руководителей была запечатлена для истории.

Через несколько минут Сталин, Молотов и Павлов покинули виллу Трумэна.

— Ну?.. — спросил Трумэн, оставшись наедине с Бирнсом.

— Дядя Джо показал зубы, — с усмешкой ответил Бирнс, — но, в общем, вел себя вполне благопристойно. В конце концов это же он пригласил нас в Бабельсберг. Хозяин должен быть учтивым.

— При чем тут учтивость? Этому человеку наплевать на все условности. Если он и стал вести себя, как вы выразились, благопристойно, то лишь потому, что получил отпор.

— Какой отпор?

— Он полагал, что одно упоминание о помощи на Дальнем Востоке заставит нас трепетать перед ним. Но этот номер не прошел.

Еще совсем недавно Бирнс, стремясь поддержать нового президента, уверял его, что Рузвельт сильно переоценивал личность Сталина. Но теперь он опасался, что президент воспринял его слова слишком буквально. Хвастливый и самоуверенный тон Трумэна покоробил его.

Бирнс был достаточно умен и хорошо понимал, что Трумэн отнюдь не та личность, которая может поставить Сталина на колени.

Давний знакомый Трумэна, Бирнс в душе никогда не считал его деятелем крупного масштаба. Настанет время, когда Бирнс заговорит о нем попросту пренебрежительно.

Мысленно ругая себя за неосторожный разговор об отношении Рузвельта к Сталину, Бирнс решил, пока не поздно, исправить дело.

— Я думаю, сэр, — сказал он, — что нам все же не следует недооценивать Сталина. С ним всегда надо быть настороже. Говоря, что распространенное мнение о нем сильно преувеличено, я вовсе не имел в виду...

— Чепуха, Джеймс! — прервал его Трумэн. — Все мы убедили себя в том, что это человек-загадка, дьявол во плоти, Маккиавелли по хитрости и уму, Тамерлан по могуществу и жестокости. Современный Геракл с мечом в руке! Но все это блеф. Самовнушение! Вы читали Амброза Бирса?

Бирнс недоуменно приподнял брови.

— Вы мало читали, Джимми, — со снисходительной усмешкой произнес Трумэн. — Амброз Бирс — знаменитый американский писатель.

Бирнс молчал.

Трумэн понял, что задел его больное место. Почти в каждой газетной статье, где упоминался Бирнс, говорилось, что новый государственный секретарь, будучи опытным и даже изощренным политиком, страдает, однако, полным отсутствием общей культуры.

— Может быть, вы только выиграли от того, что мало читали, — как бы в утешение Бирнсу сказал Трумэн, — я, например, любил читать и расплатился за эту любовь своим зрением. Так вот, в одном рассказе Бирса речь идет о человеке, который умер от разрыва сердца из-за пары башмачных пуговиц.

— При чем тут пуговицы?

— Они были блестящие. А человек знал, что змеи обладают магнетическим взглядом.

— Но пуговицы...

— Вот именно. Человеку почудилось, что на него смотрит страшный удав. Он хотел убежать, но вместо этого, словно загипнотизированный, в ужасе сам двинулся навстречу своей гибели. И умер от разрыва сердца!

— Но при чем тут пуговицы? — нетерпеливо повторил Бирнс.

— Они были вставлены вместо глаз какому-то чучелу. А человек оказался под их магнетическим воздействием. И погиб.

— Детская сказка! — презрительно заметил Бирнс.

— Сказка? Конечно! Но не для детей. Речь идет о пагубной силе самовнушения. Вы были совершенно правы: и Черчилль, и Гарриман, и Дэвис внушили себе, что Сталин — сверхчеловек. А он просто босс огромной нищей страны. Вы знаете, сколько стоила ему война? Четыреста восемьдесят пять миллиардов долларов! Что делает бизнесмен, явившись на деловые пере-

говоры с таким дефицитом за спиной? Блефует! Хочет внушить кредиторам, что у него есть тайный золотой запас. Но как только трюк разгадан — дебитор обречен! Он заплатит тот процент, какой продиктуют ему партнеры. Или объявит себя банкротом и выйдет из игры. Процент, который заплатит нам Сталин, — это Польша, Болгария — словом, Восточная Европа. За это мы разрешим ему немножко ободрать Германию. Вот вам ключ к нынешней Конференции.

Решительно взмахнув рукой, словно отрезая уже отсутствующему Сталину все пути к наступлению, Трумэн сделал несколько быстрых шагов взад и вперед по кабинету.

Самоуверенный тон президента по-прежнему раздражал Бирнса. Впрочем, ему было ясно, что вызвала этот тон не нарочитая простота Сталина, не благожелательность, с которой советский лидер похваливал калифорнийское вино, а... телеграмма Гаррисона. Именно она светила Трумэну путеводной звездой.

Так или иначе, было бы ошибкой сеять в душе президента сомнения сейчас, когда до открытия Конференции оставались буквально минуты...

— Вы правы, Гарри, — переходя на интимный тон, произнес Бирнс. — Тем более, что если у Сталина только башмачные пуговицы, то у вас...

Трумэн остановился как вкопанный и, понизив голос, быстро спросил:

— Есть что-нибудь новое?

— Не знаю.

— Может быть, во время нашей беседы... Срочно свяжитесь со Стимсоном, — приказал Трумэн. — Передайте Вогану, — добавил он, посмотрев на часы, — чтобы готовились к отъезду. Конференция начнется через двадцать минут. Мы уже опаздываем.

...В то время, как Сталин обедал у Трумэна, советские кино- и фотокорреспонденты изнывали от нетерпения в зале заседаний Цецилиенхофа. Осветители уже который раз включали и выключали «юпитеры», операторы то и дело припадали к своим камерам, нацеливая их то на двери, которые вели в комнаты делегаций, то на огромный стол, за которым еще никого не было.

Воронов попал в этот зал впервые. От нечего делать он пересчитал ступени широкой двухмаршевой деревянной лестницы, сфотографировал кресла с высокими спинками и набалдашниками в виде мифологических фигурок, а также флажки трех государств, укрепленные на широких белых настенных панелях. Офицеры охраны рассказали Воронову, что стол, за которым предстояло работать Конференции, был заказан в Москве и доставлен сюда в специальном товарном вагоне. Что касается мебели, то ее привезли из дворцовых помещений парка Сан-Суси. «Сукин принц» вывез из Цецилиенхофа все, что только было возможно.

Воронов понимал, что его фотографии не нужны никому, кроме него самого. Ему было важно другое, — то, что он находится в этом зале, которому наверняка суждено войти в историю. Коллеги же его интересовались лишь тем, что можно запечатлеть на кино- и фотопленке.

Разглядывая зал, Воронов старался запомнить как можно больше деталей, в том числе и не поддающихся фотографированию. Все эти детали он сможет использовать в работе над своими корреспонденциями.

Стрелки часов приближались к пяти. В зале по-прежнему никого, кроме советских журналистов, не было. Но напряжение возрастало. Советские офицеры охраны — в военной форме и в штатском — заняли свои посты у дверей. Герасимов приказал прекратить все приготовления.

Воронову почудилось, что сама История отсчитывает секунды на своих невидимых часах...

Без четверти пять Герасимов резким движением вскинул руку. В то же мгновение в зале вспыхнул ослепительно яркий свет.

Дверь, на которую сейчас были устремлены все объективы, открылась. В зал вошел Сталин.

Воронов щелкнул затвором своей «лейки», быстро перевел кадр, снова щелкнул затвором.

Сталин медленно подошел к столу. Постояв несколько секунд, он посмотрел на две другие плотно прикрытые двери.

— Ну вот... — негромко сказал Сталин. — Один раз захотел прибыть вовремя...

Эти слова были произнесены с несколько ворчливой и вместе с тем добродушной интонацией. Усмехнувшись, Сталин безнадежно махнул рукой и ушел. Как только он перешагнул порог, кто-то невидимый быстро закрыл дверь изнутри.

Журналисты с недоумением смотрели на Герасимова.

Как бы в ответ им из открытых окон зала послышались вой сирен и резкие автомобильные гудки.

Воронов устремился к выходу. Оказавшись под порталом, прикрывающим главный вход в Цецилиенхоф, он увидел, как прямо к замку мчатся американские мотоциклисты.

Сталин приехал в Цецилиенхоф так тихо, что его прибытие вряд ли было замечено кем-нибудь, кроме сотрудников охраны.

Американцы же мчались на своих мотоциклах и в автомобилях будто на пожар.

Особенный грохот издавали мотоциклы — казалось, что у них нарочно были сняты глушители.

Сиденья мотоциклистов располагались так близко к рулю, что длинные полусогнутые развилки охватывали их точно рогатины. Поблескивали пряжки на широких белых поясах, ослепительно горели красные фары, завывали сирены, шуршал гравий под колесами, нетерпеливо раздавались автомобильные гудки...

«Свадьба приехала!» — услышал Воронов чье-то ироническое замечание.

Обернувшись, он увидел одного из офицеров-пограничников.

— Почему свадьба? — спросил Воронов.

— С шиком ездят, — усмехнулся тот в ответ.

Все это механизированное скопище, мчавшееся, как стадо обезумевших быков, не доезжая до замка, на полном ходу свернуло налево. Перед глазами Воронова мелькнули «виллисы», за ними — уже знакомый ему огромный «кадиллак» с голубыми стеклами, за «кадиллаком» — мотоциклисты, за мотоциклистами — еще три или четыре «виллиса» и, наконец, грузовик с солдатами, державшими наготове автоматы и ручные пулеметы.

После всего этого грохота и треска приезд Черчилля показался Воронову почти бесшумным. Автомобиль английского премьер-министра подъехал к своему входу, сопровождаемый лишь двумя «виллисами».

Воронов поспешил в зал и занял место неподалеку от двери, из которой выходил Сталин.

Через несколько минут в зал с шумом ввалилась ватага американских и английских корреспондентов. Раздались громкие возгласы, послышался смех и тут же началась борьба за места.

Советские журналисты уже давно обосновались на своих позициях, а оставшуюся территорию бурно делили между собой американцы и англичане.

— Хэлло, Майкл! — услышал Воронов знакомый громкий голос.

Брайта зажали в дверях. Видимо, он приехал последним и, несмотря на свою прыть, отстал от остальных. Теперь он барахтался в дверях, высоко держа над головой свой новый «Спид-грэфик».

— Мистер Брайт, подойдите сюда! — крикнул Воронов.

Брайт сделал попытку прорваться.

— Пропустите! — завопил он. — Меня зовет тот русский парень!

Упоминание о «русском парне», видимо, привлекло общее внимание. Брайт воспользовался этим. Сделав отчаянный рывок, он оказался рядом с Вороновым.

— Становитесь на мое место, — быстрым шепотом сказал ему Воронов.

Сам он присоединился к советским кинооператорам.

Наконец наступила тишина. Снова вспыхнули «юпитеры». Почти одновременно открылись все три двери. В зале появились Сталин, Трумэн и Черчилль.

Несколько секунд они неподвижно стояли в дверях, как бы помогая кинооператорам и фотографам выполнить свои обязанности. Затем, сопровождаемые переводчиками, не спеша, направились к огромному круглому столу. На полдороге переводчики задержались, давая возможность журналистам запечатлеть встречу глав государств. Сталин был в светло-кремовом кителе, с золотой звездочкой на груди. Трумэн сменил «бабочку» на темный галстук, оставшись, однако, в своих любимых двухцветных туфлях, Черчилль был в военном мундире, с орденскими планками на груди. Во рту он держал сигару.

Все трое подошли к столу и обменялись рукопожатиями, более продолжительными, чем обычные.

Приблизились переводчики, Сталин, Трумэн и Черчилль сказали друг другу несколько фраз. Из открытых дверей стали выходить люди в военной форме и в штатских костюмах.

Советские газеты сообщали лишь о том, что в Берлин прибыл Сталин. Но Воронов узнал от кинематографистов, что в советскую делегацию, кроме Сталина, входили Молотов, его заместители Вышинский, Майский и Кавтарадзе, начальник Генерального штаба Красной Армии Антонов, адмиралы Кузнецов и Кучеров, послы Громыко и Гусев, ответственные работники Наркоминдела Новиков, Царапкин, Козырев и Лаврищев, представители Советской военной администрации в Германии Сабуров и Соболев.

Некоторых из этих людей, не говоря, конечно, о Сталине и Молотове, Воронов уже знал в лицо, — кинематографисты указывали ему на них, когда он приходил в бабельсбергскую столовую.

Сталин сделал широкий жест по направлению к столу, приглашая всех рассаживаться.

Трумэн, Черчилль, а следом за ними и Сталин сели в кресла с высокими спинками, стоявшие на равном удалении друг от друга. Члены делегации также заняли свои места.

Чей-то голос громко объявил по-русски:

— Съемки окончены. Журналистов просят покинуть зал заседаний.

Из двери, ведущей в комнаты американской делегации, вышел высокий, грузный генерал, похожий на боксера-тяжеловеса.

— Эй, ребята, вы что, не слышали? — скорее прокричал, чем проговорил он по-английски. — Сматывайтесь отсюда!

Фото- и кинокорреспонденты покидали зал молча, словно еще продолжая переживать то, что сейчас увидели.

...Брайт догнал Воронова по дороге к мосту, отделяющему Цецилиенхоф от Бабельсберга.

— Ну, бой, — воскликнул Брайт, — ты настоящий друг! Знаешь, как я его снял! Крупным планом! Даже звездочка на груди наверняка получилась. Я был вблизи от него, ярдах в трех, не дальше! — Он буквально сиял от восторга. — А ты? — словно опомнившись, спросил Брайт. — Тебе удалось?

— Удалось, — не вдаваясь в подробности, ответил Воронов и, в свою очередь, спросил: — Кто этот генерал, который гнал вас из зала?

— Генерал? — переспросил Брайт. — Это Гарри Воган! Ты знаешь, как его зовут в Штатах? «Личная каналья президента»! Слушай, бой! — возбужденно продолжал Брайт. — Такая удача мне и не снилась! Ребята от зависти съедят свои камеры, когда увидят мои снимки в газете! Теперь — все! Главное дело сделано!

— Нет, Чарли, — задумчиво сказал Воронов. — Главное только начинается. Я много отдал бы, чтобы оказаться сейчас там... Слышать хотя бы первые слова...

— Первые слова? — беззаботно прервал его Брайт. — Хочешь, я тебе их скажу? Гонорара не надо. Слушай. Ты заметил, как Сталин пригласил всех садиться? Значит, он и откроет Конференцию. Он хозяин, это всем ясно. А слова? Пожалуйста, записывай. «Джентльмены, позвольте считать Конференцию открытой». Как это будет звучать по-русски?..

Глава одиннадцатая

«ТЕРМИНАЛ»

Едва все расселись, Черчилль вынул изо рта сигару и спросил:

— Кому быть председателем на нашей Конференции?

Он произнес эти слова быстро, словно боясь, что их произнесет кто-нибудь другой.

— Предлагаю президента Соединенных Штатов Америки Трумэна, — без промедления ответил Сталин.

— Английская делегация поддерживает это предложение, — сказал Черчилль, зажег спичку и поднес ее к сигаре.

Трумэн молчал. Он как бы давал возможность предложить другую кандидатуру. После того как Сталин и Черчилль высказались в его пользу, это ему, естественно, ничем не угрожало.

Трумэн обвел взглядом всех, кто сидел в первом ряду у стола: своего соседа Бирнса, Сталина, Молотова, Вышинского, Громыко, Черчилля, Идена, Эттли. Все молчали.

Черчилль, видимо, недовольный задержкой, жевал кончик сигары.

В зале стояла тишина. Сотрудники охраны — советские, американские, английские, в военной форме или в гражданской одежде — безмолвно стояли вдоль стен и у дверей. Слышно было только, как жужжат комары.

Снаружи, под большим зеркального стекла окном, выходившим на озеро Юнгфернзее, расположились советские автоматчики. Посредине озера стояли три небольших военных корабля под советским, американским и британским флагами. Контуры кораблей четко и рельефно вырисовывались на водной глади.

Трумэн посмотрел на корабли, словно надеясь, что и там выскажутся за его избрание.

Молчание затягивалось. Все ждали, согласится Трумэн или откажется.

Президент молчал. Ему хотелось продлить эти исторические секунды. Мельком он взглянул на часы. Было пятнадцать минут шестого.

В эти минуты Трумэн внутренне торжествовал. Оказывается, вершить судьбы мира не так уж сложно! Всего три месяца назад он стал президентом Соединенных Штатов, а сегодня Сталин и Черчилль уже просят его председательствовать на Конференции, решающей судьбы послевоенной Европы.

Трумэну еще никогда не приходилось возглавлять совещания подобного масштаба. Предложение Сталина застало его врасплох. Такой чести, такого признания, пусть пока просто формального, он никак не ожидал еще пять минут назад.

Но как только короткий шок прошел, Трумэн подумал: «А чем, собственно, эта Конференция отличается от заседания любой Сенатской комиссии или правления крупного консорциума, где президент являлся бы и главным акционером? Тем, что происходит не на Капитолийском холме и не в каменном мешке нью-йоркского небоскреба, а в старомодном поместье, столь непривычном для американского

бизнесмена? Но в конце концов и дом Вашингтона, где начиналась история Америки, тоже был подражанием английской архитектуре! В чем же разница? В том, что здесь собрались самые могущественные люди века? Но разве не этот сидящий напротив человек, о котором ходит столько противоречивых легенд, разве не он только что выдвинул кандидатуру американского президента?..»

Чувствуя, что его молчание затягивается, Трумэн сказал:

— Принимаю на себя председательствование на нашей Конференции.

Он произнес эти слова отнюдь не торжественно, а сухо и деловито, как бы подчеркивая, что считает Конференцию обычным, будничным делом, а свое председательствование на ней само собой разумеющимся. Энергичным движением приподнявшись, Трумэн пододвинул тяжелое кресло к столу.

— Я позволю себе, — продолжал он, сразу переходя к делу, — поставить перед вами некоторые из вопросов, накопившихся к моменту нашей встречи и требующих неотложного рассмотрения. А затем мы обсудим сам порядок дня Конференции.

Итак, никаких приветствий! Ничего похожего на тосты! К делу!

Трумэн говорил быстро, как человек, который уверен в том, что люди, сидящие перед ним, заранее сознают неоспоримость всего, что им будет сказано.

Это слегка покоробило Черчилля. Не вынимая изо рта сигары, он пробурчал:

— Надеюсь, мы будем иметь право сделать добавления к порядку дня.

Трумэн бросил мимолетный взгляд на Сталина, пытаясь понять, как он реагирует на эту реплику.

Но Сталин спокойно курил. Судя по всему, он в отличие от Черчилля не видел ничего предосудительного ни в словах, ни в тоне президента.

Это ободрило Трумэна. Не отвечая Черчиллю, он продолжал:

— Одной из самых острых проблем в настоящее время является установление какого-то механизма для урегулирования вопроса о мирных переговорах... Опыт Версальской конференции...

Трумэн говорил долго.

Он говорил бы еще дольше, если бы не комары. Они стаями вились над озером и, залетая в открытое окно, меньше докучали Сталину и Черчиллю, которых постоянно обволакивал табачный дымок, но жалили некурящих, в том числе американского президента. Во время своей речи Трумэн то и дело отгонял комаров листком бумаги, но однажды не выдержал и с силой ударил себя по щеке.

Закрыть окно было невозможно из-за жары и табачного дыма. Но размахивать листком или давать себе пощечины Трумэн считал неприличным. Приходилось терпеть. Стараясь отвлечься от комаров, он продолжал говорить. Сослался на недостатки Версальской конференции, которая была проведена без должной подготовки. Предложил создать специальный Совет министров иностранных дел, состоящий из министров Великобритании, СССР, США, Франции и Китая.

— В этом духе и по этой линии, — закончил он свою речь, — и составлен мною проект создания Совета министров иностранных дел, который я и представляю на ваше рассмотрение...

Во время речи Трумэна в зале стояла тишина. Порой ее нарушал только шелест бумаг: из дверей американской и английской делегаций появлялись люди, — далеко не всех Трумэн знал в лицо, — бесшумно шагая по ковру, они подходили то к Бирнсу и Леги, то к Идену или Керру. Приносили одни бумаги, забирали другие и так же бесшумно удалялись.

Сначала Трумэн невольно оглядывался на каждого, кто появлялся в дверях комнаты американской делегации. Если бы от Гаррисона или Гровса поступили какие-нибудь сообщения, их должны были немедленно передать ему. Но никто ничего подобного не передавал, и вскоре Трумэн перестал обращать внимание на тех, кто входил в зал заседаний и кто из него выходил.

Как только президент окончил речь, его советники раздали членам советской и английской делегаций напечатанный на машинке текст проекта, о котором он говорил. Помощник Молотова Подцероб немедленно вышел из зала — документ требовал срочного письменного перевода.

Когда эта процедура была закончена, Трумэн воззрился на Сталина и Черчилля, пытаясь понять, какое впечатление произвела на них его речь.

Черчилль проявлял явные признаки нервозности. Он хмурился, сигара подрагивала в углу его рта. Время от времени он передергивал плечами, всем своим видом давая понять, что Конференция занимается не тем, чем нужно.

«Европа»! — в одном этом слове концентрировались для Черчилля все вопросы. Недаром же он приложил столько сил, чтобы встреча «Большой тройки» наконец состоялась. Разве он вчера не договорился обо всем с этим Трумэном? Разве Трумэн не согласился, что глав-

ная цель Конференции — поставить перед русскими непреодолимую преграду в Европе, добиться создания таких европейских правительств, состав которых был бы продиктован Британией и Соединенными Штатами?..

Какого же черта Трумэн тянет? Разумеется, у него больше времени, чем у Черчилля: американский президент знает, что еще долго останется на своем посту. А судьба Черчилля должна решиться через неделю, самое большее, через десять дней. Это ее олицетворяет сидящий рядом с ним тихий, невзрачный человек с жалкими остатками волос на висках и затылке. Через десять дней станет известно, кто будет править Великобританией — по-прежнему он, Черчилль, или Клемент Эттли.

А что же Сталин?..

Советский лидер по-прежнему спокойно курил, сосредоточенно наблюдая за дымом своей папиросы.

Он понимал, что все происходящее сейчас за этим столом не больше чем первая рекогносцировка. Даже разведке боем еще только предстоит начаться. Когда? Может быть, завтра. Может быть, позже. Словом, тогда, когда речь пойдет о самом главном, и прежде всего о будущем Германии и Польши.

Однако Трумэну недолго пришлось вглядываться в лица своих партнеров.

— Я предлагаю, — вынимая изо рта сигару, нетерпеливо сказал Черчилль, — передать этот вопрос на обсуждение наших министров иностранных дел, для доклада на следующем заседании.

— Согласен, — кивнул головой Сталин. — Мне не ясно только, — продолжал он после короткой паузы, — относительно участия представителя Чан Кай-ши в этом Совете. Ведь имеются в виду чисто европейские проблемы? Насколько подходяще тут участие такого представителя?

— Этот вопрос, — быстро ответил Трумэн, — мы сможем обсудить после доклада нам министров иностранных дел.

— Хорошо! — Сталин произнес это слово спокойно, даже кротко, как будто заранее решив во всем соглашаться с Трумэном.

По крайней мере так показалось американскому президенту.

— Теперь о Контрольном Совете для Германии, — снова заговорил Трумэн. Сознание, что он, как опытный железнодорожный машинист, ведет Конференцию по накатанным рельсам, придавало ему энергию. — Я хочу поставить на ваше обсуждение принципы, которые, по нашему мнению, должны лечь в основу работы этого Совета...

— Я не имел возможности прочитать американский документ, — перебил его Черчилль. — Но прочту его с полным вниманием и уважением, — добавил он с оттенком язвительности. — Этот вопрос столь обширен, что не следует передавать его министрам. Сначала мы должны изучить его сами...

— Тогда, может быть, перенесем этот вопрос на завтра? — Трумэн вопросительно посмотрел на Сталина.

С особой тщательностью погасив папиросу о дно хрустальной пепельницы, Сталин неторопливо сказал:

— Что ж, можно и завтра. А министры могли бы познакомиться с этим документом параллельно с нами. Это не помешает...

— Наши министры имеют уже достаточно задач по первому вопросу, выдвинутому президентом, — сказал Черчилль. — Может быть, можно передать им и этот, второй вопрос, но не сегодня, а завтра?

— Хорошо, — с прежней готовностью согласился Сталин. — Давайте передадим завтра.

Трумэн поглядел на него со смешанным чувством удивления и благодарности.

«Что происходит с этим человеком? Ведь мне говорили о нем как о завзятом спорщике! Но он со всем соглашается! Может быть, он нездоров и отбывает здесь неизбежную повинность? Впрочем, тем лучше!»

Однако Сталин не выглядел ни больным, ни усталым. Его живые глаза желтоватого оттенка смотрели спокойно и, как казалось Трумэну, доброжелательно. Время от времени он протягивал руку к стоявшей перед ним на столе зеленой папиросной коробке и медленно закуривал.

Черчилль, не вынимая сигары изо рта, непрерывно переговаривался со своими советниками. Сталин ни разу ни к кому не обратился. Перед ним не было никаких документов. Только небольшой чистый листок бумаги, который так и оставался нетронутым.

«Успокаиваться рано! — сказал себе Трумэн. — Посмотрим, как дело пойдет дальше!»

Сняв очки, он тщательно протер их светло-серым, под цвет галстука, носовым платком.

— Теперь, — сказал он, — мне хотелось бы огласить подготовленный американской делегацией меморандум...

Трумэн объявил это с некоторой торжественностью, словно хотел подчеркнуть, что считает меморандум главным документом Конференции, который должен определить ход сегодняшнего заседания, а может быть, и всех последующих.

По существу, это были те самые предложения, которые Бирнс и его сотрудники начали

готовить еще в Вашингтоне, приступив к работе над «Меморандумом», и которые каждый вечер обсуждались в каюте Трумэна на «Аугусте».

Часа два назад, перед обедом, Трумэн пытался в общих чертах информировать Сталина об этих предложениях. Боясь конфликта на самой Конференции, Трумэн хотел заранее согласовать со Сталиным спорные вопросы или хотя бы связать его тем, что американская позиция была ему заранее известна и не встретила возражений с его стороны.

Сталин выслушал его тогда внимательно и произнес несколько ни к чему не обязывающих фраз. Затем разговор зашел об американо-японской войне, об отношении к ней Черчилля. Единственное, что удалось тогда Трумэну, это накормить Сталина обедом...

Бирнс взял со стола папку и хотел передать ее президенту. Но Трумэн не торопился ее брать. Он вновь обвел взглядом людей, сидевших в первом ряду, как бы проверяя их готовность выслушать то, что он намерен сказать.

Сталин, словно покоряясь неизбежности, склонил голову. Молотов кивнул, что можно было определить по зайчику, на мгновение блеснувшему в стеклах его пенсне.

Черчилль не скрывал своего удовлетворения. Когда Трумэн посмотрел на него, английский премьер ответил ему поощрительным взглядом. Он хорошо знал, что в меморандуме содержатся именно те вопросы, которые особенно тревожили его все последнее время.

Трумэн, наконец, взял из рук Бирнса папку, однако не раскрыл ее, а положил на стол перед собой.

— Основной смысл меморандума, господа, — начал он, — сводится прежде всего к напоминанию, что в Ялте наши три государства приняли на себя ряд обязательств в отношении освобожденных народов Европы и бывших сателлитов Германии. Верно?.. Так вот, мы вынуждены констатировать, что эти обязательства до сих пор остаются невыполненными.

Трумэн видел, что Черчилль кивает ему удовлетворенно и поощряюще. Пепел с кончика сигары отвалился и упал на стол перед английским премьером. Взглянуть на Сталина президент не решался. Несмотря на свое миролюбие, этот человек, как предполагал президент, должен был предпринять сейчас нечто непредвиденное. Поэтому Трумэн решил сманеврировать, чтобы Сталин не мог истолковать его речь как прямой вызов себе.

— По мнению правительства США, — по-прежнему стараясь не встречаться со Сталиным глазами, продолжал Трумэн, — невыполнение этих обязательств мир воспримет как отсутствие единства между нашими державами. Это будет подрывать веру в искренность и единство целей недавно созданной Организации Объединенных Наций...

Слово «единство» Трумэн не случайно повторил дважды. Из бесед с Гопкинсом он знал, что именно проблема единства больше всего беспокоит Сталина. Следовательно, то, что он, Трумэн, сказал сейчас, не может не вызвать сочувственного внимания с его стороны.

Теперь Трумэн сделал над собой усилие и взглянул на Сталина. Но советский лидер закуривал очередную папиросу. Определить выражение его лица было трудно.

«Что ж, — с вынужденной решимостью человека, которому предстоит прыгнуть в холодную воду, подумал Трумэн, — рано или поздно все равно придется раскрыть карты. В конце концов для этого мы сюда и приехали».

— Я предлагаю, — решительным тоном как бы подбодряя себя, сказал он, — чтобы выполнение ялтинских обязательств было бы полностью согласовано на этой Конференции. Три великих союзных государства должны согласиться с необходимостью немедленной реорганизации теперешних правительств Румынии и Болгарии...

Бирнс над его ухом прошептал: «...Пункт «d» параграф «3»...»

— ...в соответствии с пунктом «d» параграфа «3» «Декларации об освобожденной Европе», — громко произнес Трумэн.

Итак, борьба за будущее Европы началась! Английский премьер, а вслед за ним и американский президент считали необходимым сохранить Румынию и Болгарию, как звенья довоенного «санитарного кордона», который отделял бы Советский Союз от западного мира и являлся постоянной угрозой Советам. Главные вопросы — будущее Германии, западные границы послевоенной Польши — были еще впереди, но первый выстрел за столом Конференции уже прозвучал.

Это поняли все. За исключением Сталина.

Да, да, именно так показалось Трумэну. Заставив себя еще раз взглянуть на Сталина, Трумэн не заметил в нем никаких перемен. Сталин сидел с видом почетного гостя, приглашенного в театр на заведомо скучную премьеру. Вежливое внимание — и ничего больше!

Трумэн был обескуражен. Не мог же Сталин не понимать, что кроется за «немедленной реорганизацией теперешних правительств Румынии и Болгарии»...

Но Сталин сидел с вежливо-скучающим видом. Он как бы говорил: «Что же вы умолкли?

Продолжайте. Раз я здесь, то уж придется слушать...»

Трумэну пришло в голову, что у Сталина есть некий план, который он до поры до времени держит в секрете. Но Трумэн тут же подумал: «А может быть, все обстоит гораздо проще? Может быть, Сталин просто смирился со своим поражением? Понял, что с американцами и англичанами ему не совладать, что его возражения ни к чему не приведут?!»

Ощущая на себе сочувственный, заинтересованно ободряющий взгляд Черчилля, Трумэн с подъемом говорил о выработке процедуры, необходимой для реорганизации румынского и болгарского правительств и включения в их состав представителей всех значительных демократических групп...

Трумэн ни одним словом не обмолвился о том, что нынешние правительства Румынии и Болгарии не устраивают ни Черчилля, ни его самого. Ведь эти дружественные Советскому Союзу правительства возникли после его победы над гитлеровской Германией, разгрома ее войск в Европе и в результате антифашистских восстаний против тех сил румынской и болгарской реакции, которые сотрудничали с Гитлером.

Эти прогитлеровские и одновременно прозападные силы имел в виду Трумэн, когда говорил о «демократических группах».

Он ясно дал понять, что признание со стороны США и Великобритании получат только те правительства, которые будут «реорганизованы» подобным образом.

Как заменить нынешние временные правительства другими? Конечно же, путем «свободных и беспристрастных выборов». США и Англия, разумеется, помогут провести такие выборы. В Румынии, в Болгарии. «Возможно, — заметил Трумэн, — и в других странах».

Из «других стран» он назвал Италию, но по иному поводу: поскольку эта страна недавно объявила войну Японии, он предложил поддержать вступление Италии в Организацию Объединенных Наций.

Неожиданно прервав самого себя, Трумэн спросил:

— Надо ли читать весь этот документ? Есть ли у вас время?

Все молчали.

— Тогда я прошу вручить текст нашего меморандума советской и английской делегациям, — сказал Трумэн.

Процедура повторилась. На этот раз генеральный секретарь советской делегации член коллегии Наркоминдела СССР Новиков, получив документ, передал его своему помощнику Труханoвскому, который быстро вышел из зала.

...Черчилль слушал Трумэна с молчаливым одобрением. Раздражение и злоба, которые терзали его сердце с тех пор, как советские войска вступили в Европу, на время затихли. Даже исход британских выборов, казалось, тревожил его меньше, чем раньше.

И все же он еще жаждал невозможного: восстановления прежнего британского влияния в Европе. Но если альтернативой ему становилось советское влияние, то он готов был отдать первую скрипку американцам. Черчилль давно мечтал о Соединенных Штатах Европы. В мечтах он видел себя президентом этой антисоветской и, конечно, проанглийской федерации. Все, что говорил Трумэн, пока не противоречило ее созданию.

Но после того, как президент упомянул об Италии, Черчилль почувствовал раздражение.

Италия всегда соперничала с Англией на Средиземном море, не говоря уже о юге Европы. Кроме того, она была активным союзником Гитлера в недавней войне. «На кой черт, — подумал Черчилль, — Трумэну понадобилось благотворительствовать Италии и соваться в чисто британские дела?..»

Черчилль воспользовался паузой и, не скрывая раздражения, сказал:

— Господин президент, это очень важные вопросы, и мы должны иметь время для их обсуждения. Дело в том, что наши позиции в этих вопросах неодинаковы. На нас Италия напала в самый тяжелый момент, когда она нанесла удар в спину Франции...

Все более распаляясь воспоминаниями о минувшей войне, он продолжал:

— Мы бились против Италии в Африке в течение двух лет, прежде чем Америка вступила в войну...

Закусив удила, Черчилль не заметил, что сидевший рядом с ним Иден торопливо написал что-то на листке бумаги и положил этот листок прямо перед ним.

«Спокойнее, сэр!» — прочел Черчилль. Резким движением отодвинув листок, он с нескрываемой обидой стал говорить о том, какие жертвы понесла Англия в морских сражениях с Италией. Послав свои войска в Африку, Англия поставила под угрозу собственную безопасность...

Иден осторожно подвинул листок, чтобы он снова оказался перед глазами Черчилля. Тот недовольно посмотрел на своего министра, но все же сделал короткую паузу.

— Мы имеем наилучшие намерения в отношении Италии, — уже успокаиваясь, сказал он, — и мы это доказали тем, что оставили им корабли.

Черчилль замолчал. Мягкие погоны военно-

го мундира топорщились на его плечах. Он напоминал огромного старого орла, обессиленно прервавшего полет, но еще не успевшего сложить крылья.

В полной тишине раздался спокойный, умиротворяющий голос Сталина:

— Все это очень хорошо, но я понимаю дело так, что мы сегодня должны ограничиться составлением порядка дня... Когда он будет установлен, можно будет перейти к обсуждению любого вопроса по существу.

— Я совершенно согласен, — поспешно сказал Трумэн. Выходка Черчилля рассердила его. Этой репликой он благодарил Сталина за восстановление порядка.

Черчилль с досадой отметил, что своим выступлением как бы объединил Трумэна со Сталиным.

Уже другим, спокойно-дружелюбным тоном он сказал:

— Я очень благодарен президенту за то, что он открыл эту дискуссию и этим сделал большой вклад в нашу работу. Но я думаю, что мы должны иметь время для обсуждения любых вопросов, которые кому-либо из нас кажутся важными... Я не хочу сказать, что не могу согласиться с высказанными предложениями, но надо иметь время для того, чтобы их обсудить. Я предлагаю, чтобы президент закончил свои предложения, а уж затем составить порядок дня.

— Хорошо, — коротко сказал Сталин.

Казалось, что неожиданно раздавшийся далекий удар грома еще более неожиданно затих и над замком Цецилиенхоф снова сияет спокойное, голубое небо.

Трумэн, словно оправдываясь перед Черчиллем, стал многословно объяснять, почему он затронул вопрос об Италии. Эта страна являлась «совоюющим» государством. С другой стороны, она безоговорочно капитулировала. Ее положение требует нормализации. Затем, как будто забыв об Италии, он вдруг сказал:

— Так как меня неожиданно избрали председателем этой Конференции, то я не мог сразу выразить свои чувства. — Однако момент для выражения чувств был выбран не слишком удачно: перед глазами Трумэна, отвратительно жужжа, вился комар. Вступать с ним в борьбу президент не решился: это могло бы выглядеть комично. Оставалось ждать укуса и продолжать торжественную речь. — Я очень рад познакомиться с вами, генералиссимус, и с вами, господин премьер-министр...

Трумэн запнулся. Слово «познакомиться» прозвучало не вполне уместно: ведь и с Черчиллем и со Сталиным президент встречался еще до открытия Конференции. Да и вообще, если уж следовало произнести эти протокольные слова, то гораздо раньше.

Тяжело вздохнув и опустив голову, словно на траурной церемонии, Трумэн встал со своего места.

— Я отлично знаю, — продолжал он торжественно-проникновенным тоном, — что заменяю здесь человека, которого невозможно заменить — бывшего президента Рузвельта. Я рад служить хотя бы частично той памяти, которая сохранилась у вас о президенте Рузвельте. Я хочу закрепить дружбу, которая существовала между ним и вами...

Несколько секунд Трумэн стоял, не поднимая головы. Черчилль быстро оглядел присутствующих. Эттли сидел съежившись, лицо его ничего не выражало. Казалось, всем своим видом он подчеркивал, что его присутствие на Конференции носит формальный характер и что он представляет собою скорее символ, чем живое существо.

Сталин... Чуть заметно улыбнувшись и положив на край пепельницы очередную папиросу, Сталин полузакрыл глаза. Черчиллю казалось, что он то ли дремлет, то ли наблюдает за тоненькой струйкой дыма, поднимавшейся от папиросы. Лицо Молотова было, как обычно, холодно-бесстрастным, словно раз и навсегда высеченным из камня вместе с укрепленным на переносице пенсне.

«Сейчас я разбужу дядю Джо!» — подумал Черчилль. Уважительно и в то же время с едва заметным оттенком озорства он обратился к Сталину:

— Вы желаете что-либо сказать, генералиссимус, в ответ президенту или предоставите это сделать мне?

Так же, как и Черчилль, вежливо, но с едва уловимой усмешкой, Сталин ответил:

— Предоставляю вам.

Черчилль произнес короткую, однако исполненную пафоса речь. Он всегда предпочитал монолог диалогам и, наконец, оказался в родной стихии.

В своих многочисленных речах Черчилль-политический деятель нередко уступал место Черчиллю-драматическому актеру. На этот раз оба Черчилля — политик и актер — действовали на равных правах.

Черчилль-политик хотел дать понять президенту Трумэну, что недавно возникшая между ними конфронтация не больше, чем случайный эпизод. Американский президент может положиться на британского премьер-министра. Ту же мысль Черчилль-актер воплощал в высокопарные фразы. В его речи было все: искренняя благодарность президенту «за то, что он принял на себя председательствование», и за то,

что «он выразил взгляды великой республики», заверения в том, что «теплые чувства, которые мы испытываем к президенту Рузвельту, мы будем питать и к нему», то есть Трумэну, а также и в том, что «мы питаем уважение не только к американскому народу, но и к его президенту лично...».

Сталин мельком взглянул на часы и чуть заметно пожал плечами, словно хотел спросить, зачем он сюда приехал — произносить тосты или обсуждать судьбы Европы?

Когда Черчилль закончил свою речь, Сталин, как бы выполняя ненужную, но неизбежную формальность, сказал ровным, лишенным интонаций голосом:

— От имени русской делегации могу заявить, что чувства, выраженные господином Черчиллем, полностью нами разделяются.

Черчилль достаточно хорошо знал советского лидера по прежним встречам и не мог не заметить, как Сталин посмотрел на часы и пожал плечами. Это вызвало у английского премьера острый приступ раздражения: он не мог допустить, чтобы его речи кем-нибудь регламентировались.

Пока что Конференция напоминала ему велосипедную гонку, во время которой все участники движутся с одинаковой скоростью, как будто на легкой прогулке. В то же время каждый зорко и хищно следит за соседями. Наконец, один из гонщиков решительно бросается вперед, подавая тем самым сигнал к началу подлинного состязания.

Черчилль не знал, что Трумэн не хочет делать рывок первым. Американский президент ждал своего звездного часа. Сообщения же от Гаррисона или Гровса до сих пор не было.

Проникнуть в мысли Сталина Черчилль не пытался, по предыдущему опыту зная, что это бесполезно. Однако он склонялся к выводу, что Сталин терпеливо ждет, когда западные участники Конференции заявят, наконец, чего они просят и чего требуют. Тогда он и выложит на стол свои козыри.

Но сам Черчилль ждать больше не мог. Потому что изведся от многомесячного ожидания этой встречи, а также потому, что результаты выборов должны были стать известны в самом недалеком будущем.

Решив сделать первый бросок — еще не самый главный, а так сказать, пробный, — он заявил:

— Я полагаю, что нам следовало бы теперь перейти к вопросам порядка дня и составить хотя бы некоторую программу нашей работы. Мне кажется, что не нужно определять весь перечень вопросов сразу, достаточно, если мы ограничимся порядком работы на каждый день.

Черчилль сделал паузу, ожидая, как будут реагировать на его предложение Трумэн и Сталин. Убедившись, что ни тот, ни другой не собираются что-либо сказать, он громко произнес:

— Мы, например, хотели бы добавить польский вопрос.

Это напоминало фальстарт. У одного из спортсменов, занявших исходное положение на беговой дорожке, нередко сдают нервы. Не выдержав напряжения, он срывается с места раньше времени. Все начинается сначала.

Как будто не расслышав последних слов Черчилля, Сталин медленно сказал:

— Все-таки хорошо было бы всем трем делегациям изложить те вопросы, которые, по их мнению, должны быть обсуждены...

Черчилль недовольно передернул плечами — очередная порция пепла упала на лежавшие перед ним бумаги. Сталин явно разгадал скрытый смысл его с виду невинных, чисто протокольных предложений. Советский лидер не желает иметь дело со все новыми, однако заранее согласованными американо-английскими требованиями, каждый раз оставаясь при этом в меньшинстве. Он хочет, чтобы партнеры раскрыли свои карты.

Заметив недовольную мину Черчилля, Сталин спокойно кивнул ему в ответ. «Да, да, вы правы, — как бы говорил он. — Я имею в виду именно то, о чем вы сейчас подумали».

Тем же рассудительно-деловым тоном Сталин неторопливо продолжал:

— У нас, например, есть вопросы о разделе германского флота и другие. По вопросу о флоте была переписка между мною и президентом, и мы пришли к согласию...

Сталин сделал короткую паузу и взглянул на Трумэна, видимо, ожидая, что тот подтвердит его слова.

Трумэн сделал вид, что поправляет галстук. Он перечитал кучу посланий, которыми с начала войны обменивались Сталин и Рузвельт, но удержать в памяти каждое из них был не в состоянии. «Черт подери, — подумал он. — в конце концов у меня было только три месяца!» Он искоса посмотрел на Бирнса, но государственный секретарь сосредоточенно читал какие-то бумаги.

Не обратив никакого внимания на замешательство Трумэна, Сталин продолжал:

— Второй вопрос — это вопрос о репарациях. Затем следует обсудить вопрос об опекаемых территориях...

— В Европе или во всем мире? — быстро спросил Черчилль.

Сталин слегка пожал плечами, словно удивляясь его торопливости.

— Посмотрнм... Обсудим... — сказал ои.

«Сколько ои собирается здесь заседать? Месяц? Два? Три?!» — с иовым приступом раздражения подумал Черчилль. Ои уже выхватнл изо рта сигару, чтобы дать волю своим чувствам, но Сталии, словио вндя состояние Черчнлля и как бы иарочно играя иа его нервах, продолжал:

— Отдельно мы хотели бы поставить вопрос о восстаиовлеиии дипломатическнх отиошеиий с бывшими сателлитами Гермаиии...

Сталии медлеиио перечислял другие вопросы, которые также иеобходимо рассмотреть: отиошеиие к режиму Фраико в Испаинн... Таижер...

«Это ие человек, а какая-то счетиая машина!» — с завнстью подумал Трумзн. Перечисляя все новые н иовые вопросы, Сталнн при этом ии разу ие заглядывал в запнсн. Да их у него, судя по всему, и ие было!

Завнсть американского президеита к Сталииу была чисто профессиоиальиой. Качества бухгалтеров, финансистов, коммерсаитов Трумзн прнвык оценивать по тому количеству даииых — цнфр, скрытых взаимосвязей между цифрами, сроков предстоящих получеинй н платежей, — которые эти людн держали в памятн.

У Трумзиа всегда была хорошая память. Все самое главиое, о чем предстояло говорнть иа Коиференцин, он, разумеется, помиил. Необходимо было, например, сохраинть промышлеиность Германии, разделеииой на три зоиы оккупацин, в том числе и военную промышлеиность.

Бирнс н Стнмсон уверялн, что, прииняв советское предложенне о так называемой «демилитарнзацин» Германии, Соедииеиные Штаты пошли бы на резкое сннжение экономического потенциала страиы. По миеиию Бириса и Стимсоиа, это привело бы к обнищанию иарода, создало благоприятную почву для распространения коммуиизма.

По той же самой причиие Трумзи собнрался возражать против ялтинской договореиности о сумме репарацнй в двадцать миллиардов долларов. Пятьдесят процентов этой суммы Германия должна была выплатить Советскому Союзу, ие говоря о техннческих поставках иатурой.

Намечая подобные размеры репараций, ялтиискне решення имелн в вннду уничтожнть военный потенциал побежденной Германии. Но иа такое уиичтоженне ин в коем случае нельзя было соглашаться.

Против демилитаризацни решительио был иастроен н Черчилль, стремившийся во что бы то ни стало сохраиить постояниую угрозу для Советского Союза.

Все зто, а также миогое другое Трумэи отличио помиил — недаром ои всегда гордился своей памятью. Но помиить все, о чем Сталии и Рузвельт перепнсывались годами, он ие мог.

У него была хорошая память, ио Сталнн, видимо, обладал феноменальиой.

...Черчилль иесколько раз пытался прервать Сталина. Время от времеии он бросал реплики. Обсудить положеиие в Испаиин ои согласеи... Решать что-либо о Танжере невозможио из-за отсутствия французов... Сталии внимательно выслушивал каждую реплику и переходил к очередному вопросу, который, по его миению, следовало обсуднть.

Тем же рассудительно-монотоииым голосом Сталнн, иакоиец, произиес то, чего так иетерпелнво и пока что безуспешио добивался Черчнлль.

— Необходимо обсудить и польский вопрос, — сказал Сталии. — Конечно, в аспекте тех обстоятельств, которые вытекают из факта устаиовлеиня в Польше правительства национального еднинства н необходимости в связи с зтнм лнквидацин змигрaнтского польского правительства...

Черчилль почувствовал себя охотииком, который, затаив дыхаиие, наблюдает, как ничего не подозревающнй зверь подходит к тщательио замаскнрованной западие. «Сталии решился иазвать польскнй вопрос потому, что ои жаждет уничтожения «лоидоиских поляков»! — подумал Черчилль. — Он, видимо, не отдает себе отчета, что тем самым ввязывается в обсуждеиие польского вопроса в целом. Этот человек уже на краю ямы — западин! Теперь еще маленькая прнманка...»

— Я вполие согласеи, чтобы польский вопрос был обсужден и в этой связи был бы рассмотреи вопрос о лнквидацнн польского правительства в Лондоие, — не давая Сталиiу уйти от польской проблемы, быстро проговорил Черчилль.

— Правильно, правильно! — поощрительио сказал Сталии. Ои произиес эти слова таким тоиом, каким взрослый человек обращается к туповатому ребенку, неожидаиио совершившему разумный поступок.

Однако Сталии отиюдь ие счнтал Черчилля туповатым ребеиком. Ои вообще был далек от иедооценки своих англосаксоиских оппоиеитов. Отиошення же между Сталииым н Черчиллем былн особеино сложиы. В них сочетались такие противоречнвые чувства, как уважеиие н иеприязнь, призиаиие достоииств друг друга и неиавнсть.

Властолюбивому Черчиллю ие могли не импонировать железная воля Сталииа, его способность проннкать в затаенные мысли собе-

седника, умеющие оценивать военную обстановку.

Сталина привлекали в Черчилле несомненная сила характера и ума. Кроме того, Сталин всегда помнил, что Черчилль был почти единственным государственным деятелем Западной Европы, не вставшим на колени перед Гитлером.

Но качества, которыми обладали эти люди и которые вызывали в них интерес друг к другу, были и причиной их взаимной неприязни, временами переходившей в ненависть. Вся жизнь каждого из них посвящалась тем главным целям, которые другой считал ложными и враждебными своим.

Только один раз цели совпали. Борьба против гитлеровской Германии на время объединила этих людей, столь противоположных и, казалось бы, совершенно несовместимых друг с другом.

Но, вступая в борьбу с Гитлером, Сталин и Черчилль по-разному представляли себе ее конечный итог. Союз их был преходящим. Корни антагонизма оставались.

То, что разыгрывалось сейчас за круглым столом Конференции, было лишь глухим проявлением этого антагонизма, обусловленного самой Историей.

Случайному наблюдателю все происходившее здесь могло показаться парадоксальным.

Одна из главных целей Черчилля заключалась в том, чтобы заставить Сталина пойти на обсуждение польского вопроса. От этого обсуждения во многом зависели границы послевоенной Европы. Черчилль был убежден, что Сталин считает польский вопрос решенным еще в Ялте и хочет уклониться от его нового обсуждения. Английскому премьеру казалось, что президент недостаточно энергично ведет заседание, тем самым давая советскому лидеру возможность маневрировать.

Но Сталин, в свою очередь, тоже хотел, чтобы польский вопрос был поставлен в повестку дня. Его цель заключалась в том, чтобы положение, сложившееся в Европе после победы советских войск, было признано всеми участниками Конференции отныне и навсегда.

Черчилль добивался такого политического устройства в Польше, которое по своей антисоветской направленности могло бы послужить образцом для других восточноевропейских стран. Сталин, добиваясь прямо противоположной цели, не только не собирался уходить от польского вопроса, но хотел обсудить его как можно скорее.

Черчилль настойчиво ломился в дверь, которая, как ему казалось, накрепко закрыта Сталиным. Он уже начал терять всякую надежду, как вдруг дверь открылась и, что было удивительнее всего, открыл ее сам Сталин!

Его реплика «правильно, правильно!» сбила Черчилля с толку. Но он тут же вернулся к своей первоначальной догадке: Сталин согласился обсуждать польский вопрос только потому, что хотел ликвидировать эмигрантское правительство в Лондоне.

Решить весь вопрос в целом Сталин, видимо, не рассчитывал, опасаясь встретить упорное сопротивление Трумэна и Черчилля.

Эта догадка казалась Черчиллю тем более правильной, что у Сталина было много причин ненавидеть «лондонских поляков». Они подняли восстание в Варшаве, дав возможность создать легенду о том, что восставшие были преданы советскими войсками. Они организовали диверсии в тылу советской армии — суд над организаторами этих диверсий Окулицким, Янковским и другими менее месяца назад состоялся в Москве...

Что ж, Черчилль был готов бросить эту кость Сталину. Все равно «лондонское правительство» изжило себя. Вся территория Польши находилась под контролем советских войск. В Варшаве действовало явно просоветское правительство Национального единства. Теперь важно было другое — включить в это правительство «лондонских поляков». Но не просто включить, а обеспечить им руководящую роль.

Все же Черчилль решил сделать вид, что ликвидация «лондонского правительства» явится для Англии огромной жертвой, крупной уступкой Советскому Союзу.

Он произнес короткую, но темпераментную речь, подчеркнув, что Англия в отличие от других участников Конференции имеет по отношению к «лондонскому правительству» особые обязательства. Кроме того, ей трудно обеспечить дальнейшую судьбу солдат «Армии крайовой», которые этому правительству подчинялись. Посчитав, что он достаточно отвлек внимание Сталина деталями вопроса, решение которого было уже фактически предопределено в Ялте, Черчилль сказал:

— В связи с польским вопросом мы придаем очень важное значение выборам в парламент и, следовательно, составу нового польского правительства. Необходимо, чтобы эти выборы явились выражением искреннего желания польского народа...

Черчиллю показалось, что в глазах Сталина метнулись едва заметные злые огоньки. «Что ж, — удовлетворенно подумал Черчилль, — он меня правильно понял. Сейчас, очевидно, заявит, что нынешнее варшавское правительство как раз и является выражением этого искреннего желания...»

Вместо этого Сталин спокойно пронзнес:

— У русской делегацни пока нет больше вопросов для обсуждения.

«Как?! — чуть было не воскликиул обескураженный Черчнлль. — Но мы же ие решнлн ин одиой из главных проблем! Тех, ради которых я сюда ехал!..»

Конечио, обсуждеине этих проблем было еще впереди. Поручнв мнинстрам иностранных дел готовить повестку дня для каждого заседання Коифереицнн, главы государств тем самым договорнлнсь о порядке своей работы и не моглн забегать вперед.

Поинмая все это, Черчилль тем не менее почувствовал глубокое разочароваине. «Приговор» русскнм откладывался...

Неужелн Трумэн позволит, чтобы первый день Конференцнн закоичнлся, так и не принеся инкакой выгоды нн Соедииеиным Штатам, ин Англин?..

По иесколько смущеиной улыбке президеита Черчнлль понял, что тот и сам обескуражеи. Ждать от Трумэна какой-лнбо инициативы было сейчас, внднмо, напрасио.

Черчнлль сделал попытку продлить заседаиие хотя бы за счет органнзацноиных вопросов. Ои напомннл, что мнинстры иностранных дел должиы собираться утром каждого дня н вырабатывать повестку для вечернего заседаиня Коифереицни.

— Не возражаю, — сказал Сталнн.

Снова наступила тишиииа. «Сейчас Трумэн объявнт заседанне закрытым! — с досадой подумал Черчнлль. — Вместо того, чтобы высказать иаши требоваиня хотя бы по польскому вопросу!..»

Но, взяв иинциативу иа себя, Черчилль мог бы создать у Сталнна впечатление, что польский вопрос — это спецнфнчески английское дело, в котором Трумэи мало заннтересоваи.

Он сделал еще одну попытку затяиуть заседанне, снова повторнв — в иесколько измеиеиной форме, — по существу, принятое уже предложеине о работе миннстров иностраиных дел.

— Согласеи, — с прежией готовиостью произнес Стални. — А чем мы все же займемся сегодня? — Он посмотрел на Черчилля и, словно сочувствуя его пережнваниям, сказал: — Я думаю, мы моглн бы обсудить вопрос о созданнн Совета мнинстров как подготовнтельиого учреждення будущей мириой коиференцнн.

Черчнлль внутренне усмехнулся, поннмая, что Сталнн явно хнтрнт. Конечно, необходнмость мнрной конференцин прнзнавалась всемн тремя державами. Этой конференцнн предстояло утверднть решення, которые будут прииять здесь, в Бабельсберге. Но ведь решеиий-то еще никакнх ие было! А Сталин вел себя так, будто Конфереиция уже закаичнвалась и положенне, создавшееся в Европе после войны, было еднподушно узаконеио.

Черчилль уже собрался выложнть все это в более нлн меиее приемлемой форме, но Трумэн иеожиданио сказал:

— Согласен.

— Согласен, — иехотя буркнул н Черчилль. Ннчего другого ему теперь не оставалось.

Между тем Сталин стал задавать вопросы одии за другим. Ои, в частности, спросил, отпадает лн решение Крымской конфереицнн, по которому мнннстры иностраиных дел должны пернодическн встречаться для совещаний по разным вопросам?

Трумэн ответнл, что, с его точкн зрення, ситуация сейчас нзменнлась н Совет мннистров должен быть создан лишь для выработкн условий мирного договора н для подготовкн мирной конференции.

Сталнн ие понял нлн сделал внд, что ие поинмает.

— На Крымской конференцнн было установлено, — сказал он, — что мнинстры собираются каждые трн-четыре месяца н обсуждают отдельные вопросы. Виднмо, сейчас это отпадает? Тогда отпадает, по-виднмому, н Европейская Коисультативиая Комнссия? Я так поинмаю и прошу разъясннть, правнльно ли я поинмаю, нли иеправнльно?

В отлнчие от Черчнлля он говорнл по-прежнему без всякнх эмоций. Свой вопрос он задал как прнлежный ученнк, который проснт разъясннть ему то, что ои не понял. Втягнвая в эту игру Трумэна, он как бы помогал ему стать ие только номннальиым, но и фактнческим председателем Конференцнн.

— Совет миннстров создается только для определенной целн, — повторнл Трумэн, — для разработки условий мирного договора.

— Я не возражаю, чтобы Совет мнинстров был создан, — сказал Стални, — ио тогда совещання мнинстров, устаиовлеииые решеннем Крымской конфереицин, очевидно, отменяются, и надо считать, что отпадает н Европейская Консультатнвная Комнссня.

Черчилль пытался поиять, что кроется за словами Сталина. Вряд ли это было просто уточиеиие иекоторых фактов. Наконец, Черчнллю показалось, что он догадался, в чем дело. Хотя Сталин н предложнл обсуднть вопрос о созданни Совета мнинстров, вместе с тем он, очевидно, хотел констатировать, что западные державы отходят от ялтннскнх решений. «Помннт лн Трумэн, — думал Чер-

чилль,— то, что он сам мне рассказывал? Ведь, по его словам, он еще в Вашингтоне заявил Молотову, что ялтинские решения нарушает не кто иной, как Сталин...»

Сейчас стоило бы публично отметить, что создание Совета министров не означает отхода от ялтинской договоренности, а просто вытекает из новой обстановки. Но формальных оснований для спора не было, поскольку Сталин сам предложил обсудить вопрос о создании этого Совета...

В конце концов Черчилль решил перевести разговор в несколько иное русло. В Ялте, сказал он, встречи министров предусматривались для того, чтобы главы государств получали рекомендации по вопросам, касающимся Европы. Бегло остановившись на этом, он стал подробно аргументировать, почему не следует включать в предполагаемый Совет министров представителя Китая. Когда министры начнут обсуждать проект мирного договора, касающегося не только Европы, но и всего света, представителя Китая можно будет пригласить.

Произнося свою речь, Черчилль незаметно наблюдал за Трумэном. С одной стороны Бирнс, а с другой Гарриман все время нашептывали что-то на ухо президенту. Видимо, и они почувствовали, что Сталин готовит почву для последующих обвинений Англии и Соединенных Штатов в отходе от ялтинских решений.

Черчилль не ошибся.

— Я предлагаю,— сказал Трумэн, взявший слово сразу после него,— чтобы обсуждение вопроса о прекращении периодических встреч министров, установленных решением Ялтинской конференции, было отложено.

Затем президент перешел к задачам Совета министров, как новой организации, тем самым отделив этот вопрос от предыдущего.

— По нашему проекту,— заявил он,— устанавливается Совет министров иностранных дел, состоящий из министров иностранных дел СССР, США, Великобритании, Китая и Франции...

Возникла дискуссия.

Черчилль, по-прежнему стремясь предотвратить возможные упреки в отходе от ялтинских решений, предложил сохранить все консультативные органы, созданные в соответствии с этими решениями.

Сталин продолжал задавать вопросы: «Кто кому будет подчинен?», «Чем будет заниматься Совет министров: мирным договором или мирной конференцией?»

Когда Трумэн согласился с Черчиллем относительно исключения Китая из Совета министров, Сталин промолчал. Потом все так же спокойно порекомендовал передать все эти вопросы министрам иностранных дел. Ведь министрам, как это уже было установлено, предстояло собираться ежедневно и готовить материал для очередного заседания Конференции.

Время близилось к семи. В семь тридцать русские устраивали прием в честь участников Конференции. Значит, с минуты на минуту заседание должно было закончиться. Черчилль смотрел на Трумэна с мольбой и в то же время с негодованием. «Чего же мы добились? — безмолвно вопрошал он. — Мы же предполагали сразу припереть Сталина к стене, обвинить его в том, что, явочным порядком захватив Восточную Европу и насадив там нужные ему правительства, именно он нарушил ялтинские решения! Именно он наделил Польшу огромными территориями, создав тем самым как бы четвертую зону оккупации... Бог мой, неужели завтрашнее заседание будет похоже на сегодняшнее?..»

Неизвестно, дошел ли до Трумэна молчаливый упрек английского премьер-министра.

— Следовало бы,— сказал президент,— наметить конкретные вопросы для обсуждения на завтрашнем заседании.

— Вот именно! — воскликнул Черчилль. Видимо, Трумэн все-таки понял его.— Я хочу, чтобы каждый вечер, когда мы возвращаемся домой, у нас в сумке было бы что-либо конкретное!

— Так оно и будет,— умиротворенно сказал Трумэн.— Наши министры будут собираться по утрам и представлять нам нечто конкретное для обсуждения.

— Я согласен,— вынимая из коробки очередную папиросу, произнес Сталин.

«С чем согласен?! — хотелось крикнуть Черчиллю.— С уже давно принятой процедурой?! Скажите, пожалуйста,— он согласен!»

— Я предлагаю начинать наши заседания в четыре часа вместо пяти,— сказал Трумэн.

— Че-ты-ре? — медленно, с расстановкой переспросил Сталин.— Ну, хорошо, пусть в четыре,— сказал он, закуривая.

— Мы подчиняемся председателю,— саркастически произнес Черчилль.

— Если это принято,— сказал Трумэн,— отложим рассмотрение вопросов до завтра, до четырех часов дня.

«Все! — с тоской подумал Черчилль. — Надо вставать и уходить. Вместо сражения или хотя бы разведки боем произошло скучное, рутинное заседание...»

Он уже собрался встать, как вдруг услышал голос Сталина.

— Только один вопрос,— почти синхронно произнес по-английски переводчик Павлов.—

Почему господин Черчилль отказывает русским в получении их доли германского флота?

Черчилль уже успел расслабиться. Неожиданный, резкий, прямой вопрос Сталина, не подготовленный всем предыдущим ходом Конференции, застал его врасплох.

Да, оставшийся на плаву немецкий военный флот был захвачен британскими вооруженными силами. Черчилль рассматривал его как законную военную добычу.

Разумеется, он ждал, что этот вопрос может возникнуть, когда Конференция будет обсуждать судьбы послевоенной Германии. Но то, что он прозвучит сейчас, когда заседание фактически уже закончилось...

Черчилль с недоумением и даже с некоторым испугом посмотрел на Сталина. Но взгляд советского лидера был безмятежно спокоен. Более того, на лице Сталина мелькнуло подобие улыбки. Это окончательно обескуражило Черчилля.

— Я... я не против... — пробормотал он. — Но раз вы задаете мне вопрос, вот мой ответ, — уже твердо добавил он, заставив себя собраться с мыслями. — Этот флот должен быть или потоплен, или разделен.

Черчилль тут же пожалел, что эти слова сорвались с его губ. Они были подготовлены на тот случай, если бы Сталин, прижатый к стене и вынужденный пойти на решающие уступки, попытался выторговать себе хоть что-нибудь. Только тогда надо было сказать эти слова, а вовсе не сейчас!

В зале наступила полная тишина. Члены делегаций перестали собирать бумаги. Слышалось только непрерывное жужжание комаров.

— Вы за потопление или за раздел? — спросил Сталин. На этот раз голос его прозвучал резко. Выражение лица изменилось. Глаза были прищурены, а усы чуть приподнялись.

— Все средства войны — ужасные вещи... — сознавая, что говорит невпопад, опустив голову, глухо произнес Черчилль. Он поймал себя на том, что боится глядеть Сталину в лицо. Но не поднять глаза на Сталина значило признать свое поражение в этом мгновенно возникшем, неожиданном поединке.

Черчилль заставил себя поднять голову. Сталин смотрел на него по-прежнему спокойным, невозмутимо доброжелательным взглядом.

— Флот нужно разделить, — назидательно сказал Сталин. — Если господин Черчилль предпочитает потопить флот, — добавил он, улыбнувшись и обращаясь уже ко всем присутствующим, — то может потопить свою долю. Я свою топить не намерен.

— Но в настоящее время весь флот в наших руках! — воскликнул Черчилль.

— В том-то и дело! — с почти неприкрытым сарказмом, как бы радуясь, что до Черчилля дошел, наконец, смысл его слов, подчеркнул Сталин. — В том-то и дело! — повторил он. — Поэтому нам надо решить этот вопрос.

Черчилль посмотрел на Трумэна. Президент поправил галстук, дотронулся до своих очков с толстыми, в едва заметной оправе стеклами и неуверенно сказал:

— Завтра заседание в четыре часа.

Глава двенадцатая

«ШУСТРЫЙ МАЛЬЧИК»

Прием, который советская делегация устраивала в честь участников Конференции, должен был состояться в зале, расположенном в одном из крыльев замка Цецилиенхоф.

Когда Трумэн объявил заседание закрытым, первым из-за стола поднялся Черчилль. Тяжело ступая, он направился к двери, которая вела в рабочий кабинет английской делегации.

Минутой позже, видя, что Сталин вежливо ожидает, пока другие участники заседания встанут со своих мест, поднялся и Трумэн.

Дверь перед Черчиллем распахнул Томми Томпсон. В качестве охранника из Скотланд-Ярда он был прикреплен к Черчиллю, когда тот еще был рядовым министром. Постепенно Томми превратился в нечто среднее между помощником и главным телохранителем британского премьера.

На полшага позади Черчилля шел Антони Иден. «Первый денди Англии», как в свое время называли Идена газеты, человек, мягкий в обращении, на этот раз он готов был обрушиться с упреками на своего шефа.

До сих пор у него никогда не возникало такого желания. Свою нынешнюю государственную карьеру Иден делал как бы под сенью Черчилля. Все его настоящее и будущее было связано с этим властным, своенравным, честолюбивым и по-своему ярким человеком. Иден давно смирился с таким положением и никогда не помышлял о каком-либо бунте.

Но сейчас он чувствовал, что не в силах сдержаться. Едва они очутились в рабочем кабинете британской делегации, Иден, обращаясь к Черчиллю, воскликнул:

— Я не нахожу слов! Я удивляюсь вам, сэр!

Черчилль даже не обернулся. Он медленно шел по темно-синему ковру, покрывавшему весь пол рабочего кабинета. Приблизившись

к письменному столу, стоявшему на другом ковре — сером, с розовыми узорами, — он неожиданно сказал:

— Странный стол, Антони, не правда ли?

Стол и вправду был странный. Небольшой, из белого полированного дерева, со столешницей, опоясанной с трех сторон резными загородочками, он был бы уместнее в женском будуаре, нежели в деловом кабинете. Возле стола стояло кресло, обитое синим плюшем, но было просто невозможно представить себе, что грузный Черчилль может сесть в него и работать за этим декоративным столиком.

Слова Черчилля лишь усилили возмущение Идена. «Как он может думать сейчас о такой ерунде!» — мысленно воскликнул Иден.

— Я удивляюсь вам, сэр! — повторил он. — Неужели вы забыли, что вопрос о германском флоте был одним из наших серьезных козырей!

— Забыл?.. — переспросил Черчилль. — Что вы, Антони! — сказал он, усмехнувшись. — У меня всегда была отличная память. В свое время я получил первую премию в Херроу за то, что прочитал наизусть примерно тысячу двести строк из Маколея. Это была книга о древнем Риме... А вы смогли бы это сделать?

— Я читал Маколея, полагаю, вы в этом не сомневаетесь, — не принимая иронии Черчилля и еще более раздражаясь, ответил Иден. — Но сейчас речь идет не о Маколее, сэр! У нас не так много козырей в этой игре. Германский флот был одним из них. Мы могли пойти навстречу русским только в обмен на существенную уступку с их стороны. Я имею в виду репарации, Польшу, восточноевропейские правительства, словом, все то, ради чего мы сюда приехали. Сталин грубо, бестактно поднял вопрос о флоте, а вы вместо того...

— «Бестактность — признак мужества», — прервал его Черчилль. — Это цитата, Антони, — снисходительно пояснил он. — Эти слова произнес кто-то из окружения Вильгельма Второго. Не помню, кто именно. Вы правы: меня стала подводить память.

«Он явно не хочет серьезного разговора, — подумал Иден. — Никто и никогда не мог заставить этого самовлюбленного человека признать свою ошибку».

Все же он сделал еще одну попытку...

— Сталин застал нас врасплох, — с упреком сказал Иден. — Он на это и рассчитывал. Грубый прием! Вам ничего не стоило ответить, что вопрос слишком серьезен и что нельзя решать его походя.

Черчилль молчал. Словно забыв об Идене, он медленно подошел к одному из стеллажей, установленных вдоль стен комнаты. Проведя рукой по корешкам книг с золотыми обрезами, Черчилль вытащил одну из них наугад. Книга называлась «Портрет сенбернара». На обложке ее был изображен огромный пес с белой шерстью и массивной головой. Чем-то он напоминал самого Черчилля...

Не раскрывая книгу, Черчилль поставил ее на место и взял с полки другую. Из-за его спины Иден прочел название: «Жизнь Марвица».

Марвиц был генералом, и Иден это знал. Однако сейчас его не интересовали ни Марвиц, ни сенбернар. Он хотел добиться, чтобы Черчилль признал свою ошибку.

— Все же он мне нравится, — тихо сказал Черчилль.

— Нравится? — с недоумением переспросил Иден. — Кто? Марвиц?

— Дядя Джо, — горько усмехнувшись, ответил Черчилль. — Вы знаете, Антони, если бы этот человек оказался в моей власти, я бы с ним... расправился. И все же... Мне нелегко было бы это сделать.

Теперь Иден глядел на Черчилля уже не с негодованием, а скорее с испугом.

«Неужели этот человек рухнул? Видимо, он в глубине души тяжело переживает свою ошибку и старается замаскировать ее сентиментально-элегическими рассуждениями».

Иден невольно вспомнил слова, которые Герберт Уэллс написал в одной из своих статей, посвященных Уинстону Черчиллю. Этот человек, утверждал Уэллс, наивно верит в свою принадлежность к особому классу, которому должны подчиняться все остальные люди. Воображение его одержимо мечтами о подвиге и карьере. Он напоминает итальянского профашистского писателя Д'Аннунцио. В Англии Д'Аннунцио был бы Черчиллем, а Черчилль в Италии стал бы Д'Аннунцио...

Прочитав в свое время эти строки Уэллса, Иден решил, что писатель, в сущности, прав. Разумеется, приходилось делать скидку на то, что Уэллс был либерал, фабианец. Люди, подобные Черчиллю, вызывали в нем естественную неприязнь.

Но в чем-то Уэллс был, несомненно, прав. Недаром Черчилль столь тщательно изучал все, что касалось Наполеона.

Сейчас перед Иденом стоял отнюдь не Наполеон, а просто старый, усталый человек в мешковато сидевшей на нем военной форме.

Что-то угнетало этого человека. Нет, рассуждал Иден, только что допущенная им ошибка — фактическое согласие отдать часть флота русским, — не могла так взволновать его. Он оказался в цейтноте, вот в чем дело! Скоро, очень

скоро станут известны результаты выборов. Но неужели он допускает мысль о поражении?!

Работая бок о бок с Черчиллем, Иден видел то, чего не могли разглядеть люди, находившиеся на расстоянии и от парламента и от резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10. Он знал о чудовищном самомнении Черчилля, о его презрении к массам, о его непоколебимой вере в то, что историю делают герои.

Хорошо представляя себе все эти крайности премьер-министра, Иден в то же время испытывал на себе его огромное влияние.

Черчилль был сильной личностью, Иден — не более чем образованным, хорошо воспитанным дипломатом. Он понимал, что Черчилль не будет править Великобританией вечно, но не мог поверить в то, что человек, который привел страну к победе, может быть теперь отвергнут народом.

Однако сейчас, видя, как Черчилль угнетен и подавлен, Иден невольно встревожился и сам. Закат Черчилля означал бы и его собственный закат. Иден был слишком связан с Черчиллем, чтобы начать самостоятельную борьбу за власть. Предположить, что ее заново начнет Черчилль, которому перевалило за семьдесят, было трудно. На мгновение Идену стало жалко Черчилля. Он уже ругал себя за резкость. Ему захотелось смягчить ее и подбодрить Черчилля. Он лихорадочно думал, как это сделать.

— Вы правы, Антони, — неожиданно сказал Черчилль. — Я допустил просчет. Но он ничто по сравнению...

Он не договорил и, казалось, задумался.

— По сравнению с чем, сэр? — мягко спросил Иден.

— По сравнению со всеми ошибками, которые нами допущены, — с горечью воскликнул Черчилль. — Вспомните хотя бы пятое июня! Это роковой день для всех нас, для западной цивилизации! Пятого июня мы смирились с требованием Советов и пошли на отвод своих войск. Вы знаете, куда мы их согласились отвести?

— К границам, предусмотренным Консультативной Комиссией и утвержденным нашими правительствами.

— Нет! — Черчилль резко взмахнул рукой, едва не задев Идена. — Мы отошли за железный занавес, которым Сталин отделил нас от всего, что находится на востоке! Пятое июня, когда отход был предрешен, и первое июля, когда он начался, — роковые дни послевоенной истории!

Опустив голову, Черчилль тихо сказал:

— Когда Трумэн согласился начать отвод своих войск, это решение отозвалось в моей душе похоронным звоном. Я понимал, что отныне Советская Россия обосновывается в центре Европы. Вот в чем трагическая ошибка, Антони, а не в том, что я согласился отдать русским часть германского флота. Частные ошибки вытекают из общей. Но тем не менее я буду драться. Драться до конца!..

Иден хотел снова напомнить Черчиллю, что зоны оккупации были предопределены единогласным решением союзников. Заинтересованный в том, чтобы Советский Союз участвовал в войне с Японией, Трумэн не мог нарушить принятое раньше решение.

Но напомнить об этом сейчас значило бы только подлить масла в огонь, бушевавший в душе Черчилля.

— Я не могу понять Трумэна, — переводя разговор на другую тему, сказал Иден. — Когда Сталин задал свой вопрос, президент мог заявить ему, что заседание уже закрыто.

При упоминании имени Трумэна Черчилль оживился. Достав из нагрудного кармана сигару, он надкусил ее кончик и сказал:

— Во время моей беседы с ним он произвел на меня впечатление энергичного и решительного человека, готового к бою. По всем основным вопросам у нас сложилось единое мнение. Но сегодня он вел себя странно.

— В отличие от вас я вижу Трумэна впервые, — сказал Иден. — Мне кажется, что по сравнению с покойным Рузвельтом...

— Не говорите мне о Рузвельте, Антони! — взмахнув сигарой, вскричал Черчилль. — Я всегда относился к нему с уважением. Но именно на его совести все то, что Сталину удалось выторговать в Ялте. В Крыму я не раз оказывался в меньшинстве. Что же касается Трумэна, то он полностью отдает себе отчет в красной опасности, нависшей над Европой. Такой вывод я сделал из переписки, которую мы с ним вели, когда он стал президентом, и, главное, из вчерашнего разговора с ним.

Черчилль подумал немного и сказал:

— Возможно, его связывает то, что американцы нуждаются в помощи русских на Дальнем Востоке. А может быть... Может быть, он просто боится Сталина. Ведь он видит его в первый раз.

Идену показалось, что он понял скрытый смысл этих слов. Премьер-министр, очевидно, хотел сказать, что понимает американского президента и сам побаивается Сталина, хотя видит его далеко не впервые...

Ни Черчиллю с его неистребимой верой в то, что историю делают герои, ни Трумэну с его уверенностью в том, что советский лидер просто «блефует», так и не суждено было по-

нять, в чем состояла подлинная сила Сталина. Оба они считали Сталина личностью, сочетающей в себе азиатское коварство, сверхчеловеческую волю и непроницаемые тайны русской души (хотя оба, конечно, знали, что по национальности Сталин грузин).

Однако ни Черчилль, ни Трумэн не сознавали, что при всем своем уме, при всей проницательности, настойчивости, воле главную силу свою Сталин черпал в том, что представлял новый социальный строй, общество, сплоченное великой идеей, народ, не разделенный на враждующие классы, партию, вооруженную знанием объективных законов истории.

Сталин боролся за дело, конечную победу которого предопределила сама История.

Но этого не дано было понять ни Трумэну, ни Черчиллю...

В то время как Черчилль вел свой разговор с Иденом, остальные участники недавно закончившегося заседания находились уже в просторном зале, где на столах, покрытых белыми скатертями, стояли напитки, холодные закуски, хрустальные фужеры и рюмки.

Сталин в сопровождении Молотова, Вышинского и переводчика медленно прохаживался между столами. Время от времени он останавливался, чтобы сказать своим гостям несколько слов.

Не оборачиваясь к спутникам, но обращаясь именно к ним, Сталин спросил:

— Где Черчилль?

Но Черчилль, сопровождаемый Иденом, уже входил в зал. Сталин направился ему навстречу.

— Пошел утешать старика, — с усмешкой сказал Трумэну Бирнс. Они стояли на противоположной стороне зала за небольшим столом. — Из головы не идет сказка, которую вы мне вчера рассказали... Насчет пуговиц.

— Вы тоже считаете, что Сталин... — начал Трумэн.

— Вот именно! — прервал его Бирнс. — Теперь я тоже уверен, что все россказни о нем — типичный блеф. Его солдаты дрались с Гитлером. Все, кто был так или иначе заинтересован в поражении Гитлера, помогали Сталину. Они просто не могли ему не помогать. Элементарная логика событий! Когда же Сталин стал побеждать, с нашей, между прочим, помощью, мы сами же принялись приписывать ему черты то ли бога, то ли дьявола.

— У меня создалось впечатление, что Черчилль ненавидит его и в то же время боится, — сказал Трумэн. — Посмотрите, Джимми, — неуверенно продолжал он, наблюдая за стоявшей в отдалении группой, центром которой были Сталин и Черчилль, — дядя Джо, кажется, закуривает сигару. Разве он курит сигары?

— Никогда об этом не слышал.

Сталин действительно держал во рту сигару и подносил к ней зажженную спичку...

— Наверное, старик его соблазнил, — предположил Трумэн.

Он был прав. Угощая Сталина одной из своих длинных толстых сигар, Черчилль хотел смутить его и был уверен, что встретит отказ. Но Сталин как ни в чем не бывало взял в рот сигару, наверно, первую и последнюю в своей жизни. В то время как Черчилль торопливо озирался в поисках фотокорреспондентов, Сталин зажег спичку и спокойно закурил. Однако запечатлеть Сталина с сигарой, предложенной Черчиллем, было некому: журналистов на прием не пригласили. Замысел Черчилля остался неосуществленным...

— Одна сигара за германский флот! — насмешливо сказал Трумэну Бирнс. — Не такая уж дорогая цена! Черчилль совершил очевидный промах, — продолжал он. — Расслабился и дал Сталину себя поймать. Слишком затянул игру и сам стал ее жертвой. Но все же, Гарри, — оставаясь с глазу на глаз с президентом, Бирнс позволял себе называть его по имени, — я уверен, что Сталин — обыкновенный смертный. Пожалуй, ему даже не хватает энергии и напора. Я внимательно следил за ним на заседании...

— Он был сговорчив, — вставил Трумэн.

— Более чем! — убежденно подтвердил Бирнс. — Я пытался подсчитывать, сколько раз он произнес слово «согласен». Раз пять, не меньше! Если не считать тех случаев, когда он соглашался, не говоря об этом прямо.

— Однако он все-таки поймал Черчилля и вырвал у него обещание...

— Черчилль просто растерялся и сам поднес русским часть германского флота.

— Теперь у Сталина может разыграться аппетит.

— Не забывайте, Гарри, что повестка каждого дня будет предопределяться мною и Иденом.

— И Молотовым.

— Но мы в большинстве. А сейчас не пора ли...

Бирнс взглянул на часы и вопросительно посмотрел на президента.

Было двадцать минут восьмого. На восемь Трумэн назначил обед в честь сопровождавших его высших военных начальников — Стимсона, Леги, Маршалла, Арнольда, Кинга.

Но в эту минуту и Трумэн и Бирнс увидели, что к ним направляется Сталин.

Он шел обычной медленной, словно тигриной походкой, мягко касаясь пола подошвами, в сопровождении своей свиты, которая, однако, следовала за ним в некотором отдалении, — и Молотов, и Вышинский, и другие. Только переводчик не отступал от него ни на шаг.

Подойдя к столу, за которым стояли Трумэн и Бирнс, Сталин остановился и, обращаясь к президенту, сказал:

— Хочу поблагодарить вас, господин президент, за ваше прекрасное вино. Я получил его. Вы очень щедры.

Бирнс, несколько задетый тем, что Сталин, не глядя на него, обращался только к Трумэну, сказал:

— Да, я распорядился послать вам ящик. Всегда приятно доставить неожиданное удовольствие союзнику!

Он произнес эти слова полудоброжелательно-полуиронически.

Как бы отвечая Бирнсу, однако по-прежнему глядя в глаза Трумэну, Сталин сказал:

— Вот именно. Неожиданное. — Он едва заметно усмехнулся. — Это всегда очень приятно. Спасибо.

Когда переводчик перевел эти слова, Сталина у стола уже не было. Он шел дальше, приветливо улыбаясь гостям, стоявшим за другими столами.

— Он хотел сказать... — начал было Трумэн, но умолк и задумался. Что означала усмешка Сталина? Почему он как бы подчеркнул слово «неожиданное»? Уж не бомбу ли он имел в виду? Казалось, Сталин не вкладывал в это слово никакого особого смысла. Нет, не может быть!.. И все же...

Желая отделаться от этой тревожной мысли и отвлечься, Трумэн посмотрел на стол, за которым стояли Стимсон и начальники американских штабов. Но Стимсона там теперь не было. Однако пять, самое большее десять минут назад военный министр стоял между Гарриманом и Дэвисом. Трумэн отчетливо помнил это.

Теперь Стимсона нигде не было видно.

«Очевидно, уехал раньше, чтобы отдохнуть перед обедом, — подумал Трумэн, — в конце концов старику под восемьдесят».

Он снова пришел в хорошее настроение, президент Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэн, — сама мысль, что Сталин мог проникнуть в тайну бомбы, казалась ему теперь абсурдной.

После вчерашней встречи со Сталиным ему не хотелось вспоминать, как он боялся этой первой встречи, которая, слава богу, была уже позади.

Конечно, ни одной серьезной схватки на Конференции еще не произошло, если не считать заключительного эпизода. Но Черчилль действительно растерялся — Бирнс был прав. Что же касается других вопросов, например, польской проблемы, то она была лишь упомянута, да и то вскользь. Трумэну казалось, что тактика Сталина ему полностью ясна: советский лидер держался вежливо, даже мягко. Судя по всему, он делал все от него зависящее, чтобы не обострять ход обсуждения. Сознавая, что он всегда останется в меньшинстве, Сталин, видимо, избегал прямой конфронтации и был готов идти на любые компромиссы.

Тем не менее — Трумэн отлично понимал это — приходилось быть настороже. Сталин в любую минуту мог проявить твердость и настойчивость. Возможно, что сейчас он просто пытается усыпить бдительность своих «союзников-противников»...

Но ведь Сталин и сам еще не испытал, сколь твердыми могут быть и Черчилль и Трумэн.

«Что ж, — сказал себе президент, — за этим дело не станет. В особенности если...»

Но об этом «если» он теперь старался не думать. Стимсон охладил его пыл, обратив внимание на осторожные формулировки Гаррисона. После этого Трумэн дал себе слово во всей своей тактике пока не принимать в расчет событие, которому, быть может, предстояло изменить ход мировой истории. Он боялся преждевременно оттолкнуть Сталина и потерять будущего союзника в войне с Японией, хотя страстно хотел перестать в нем нуждаться.

Об этом «если» Трумэн не желал думать сейчас. Он предвкушал удовольствие от спокойного обеда в своем кругу. Для его участников Трумэн подготовил сюрприз. В гостиной своего бабельсбергского особняка он обнаружил отличный «Блютнер» и тут же пожалел, что не взял с собой из Вашингтона хорошего пианиста, — музыка, как и в юности, оставалась любимым развлечением президента.

В тот же день Трумэн узнал, что где-то поблизости находился молодой талантливый нью-йоркский пианист по прозвищу «прыгающий младенец». В форме сержанта он объезжал на своем «джипе» Европу, выступая перед американскими войсками.

По странному совпадению этот сержант был однофамильцем великого композитора и пианиста. Его звали Юджин Лист.

Трумэн распорядился немедленно найти этого Листа и доставить в Бабельсберг. Это и был сюрприз, который он собирался преподнести участникам обеда...

— ...Нам пора, — еще раз взглянув на

часы, сказал Трумэн. — Надо еще успеть принять душ и переодеться. Стимсон правильно сделал, что уехал раньше...

Но военный министр Соединенных Штатов Америки раньше всех покинул Цецилиенхоф вовсе не потому, что хотел отдохнуть перед обедом у президента.

Уезжая на Конференцию, Стимсон приказал начальнику узла связи: если будут какие-либо кодированные сообщения от Гаррисона или Гровса, тотчас же прислать офицера в Цецилиенхоф. Сотрудник американской охраны, имеющий доступ в зал заседаний, в свою очередь, должен был немедленно доложить об этом Стимсону.

Во время заседания Стимсон то и дело поглядывал на двери. Все, что говорилось, он слушал рассеянно, за исключением тех случаев, когда слово брал Сталин.

Каждый раз, когда одна из дверей открывалась и в зал входил человек в американской военной форме, старое, изношенное сердце Стимсона начинало биться учащенно.

Но каждый раз оказывалось, что этот человек появлялся для того, чтобы передать бумаги кому-нибудь из членов американской делегации или унести с собой папку с тисненым гербом президента Соединенных Штатов Америки.

После заседания Стимсон вместе с другими американцами стоял возле стола с едой и напитками, помня о предстоящем обеде у президента и ни к чему не притрагиваясь. До его слуха донеслись слова, произнесенные шепотом:

— Передача, сэр.

Обернувшись, Стимсон увидел спину поспешно удалявшегося американского офицера.

Сделав шаг назад, Стимсон незаметно отошел от стола и быстро пошел к выходу.

Через несколько минут машина, сопровождаемая двумя офицерами-мотоциклистами, рванулась вперед. Военный министр Соединенных Штатов Америки спешил в Бабельсберг.

Когда Стимсон вошел в особняк Трумэна на Кайзерштрассе, 2, президент и его гости уже сидели за обеденным столом. Дверь в соседнюю гостиную была открыта настежь. Оттуда доносились звуки рояля.

— Вы опаздываете, Генри! — весело крикнул ему Трумэн и тут же осекся. Он увидел, что Стимсон держит в руке папку. Конечно, в ней могло находиться что угодно: военная сводка с Дальнего Востока, донесение от Эйзенхауэра... Но чутье подсказало Трумэну, что на частный обед к президенту военный министр мог явиться с деловой папкой только в особом случае.

— Я вам нужен, Стимсон? — быстро спросил Трумэн.

— Да, сэр.

— Джентльмены нас извинят, — сказал Трумэн, вставая из-за стола. Он уже не видел никого и ничего, кроме черной кожаной папки, которую держал военный министр.

Они быстро прошли через гостиную, где тонкий, с непомерно длинными руками молодой человек в форме американского сержанта тихо играл на рояле. Увидев президента, он сделал движение, чтобы встать. Но Трумэн, сказав на ходу: «Нет, нет, продолжайте, пожалуйста», быстро прошел мимо него в кабинет.

Следом вошел Стимсон, раскрыл папку и положил перед Трумэном листок папиросной бумаги.

Трумэн схватил листок.

Совершенно секретно.
Вне всякой очереди.
Военная 33556

ВОЕННОМУ МИНИСТРУ ОТ ГАРРИСОНА. ДОКТОР ТОЛЬКО ЧТО ВЕРНУЛСЯ ИСПОЛНЕННЫЙ ЭНТУЗИАЗМА И УВЕРЕННЫЙ, ЧТО МАЛЬЧИК ОКАЗАЛСЯ ТАКИМ ЖЕ ШУСТРЫМ, КАК И ЕГО СТАРШИЙ БРАТ. СВЕТ ЕГО ГЛАЗ ДОСТИГАЛ ОТСЮДА ДО ХАЙХОЛЬДА, И Я МОГ СЛЫШАТЬ ЕГО ВОПЛИ НА МОЕЙ ФЕРМЕ.

Трумэн несколько раз перечитал телеграмму Гаррисона. Он понимал, что она свидетельствует об удаче, но все-таки спросил:

— Что это значит, Генри?

— Все очень просто, сэр. «Старший брат» — это бомба, взорванная на воздушной базе в Аламогордо. «Мальчик» — бомба номер два, уже пригодная для использования. «Хайхольд» — моя ферма. Она расположена на Лонг-Айленде, довольно далеко от Вашингтона...

— Но тут упоминается еще одна ферма, — нетерпеливо прервал его Трумэн.

— Речь идет о ферме Гаррисона, в Аппервилле, милях в сорока от Вашингтона.

— Следовательно... — неуверенно произнес Трумэн, глядя на Стимсона с тревогой и затаенной радостью.

— Успех, сэр! — негромко ответил Стимсон. — Мы имеем ее!

Трумэну показалось, что Стимсон боялся произнести вслух имя грозного божества, чтобы не вызвать его гнева.

Наступило короткое молчание.

Наконец Трумэн спросил:

— Что же мы все-таки имеем, Стимсон?

— Бомбу, сэр! Бомбу!

— Но какую?! — воскликнул уже оправившийся от шока Трумэн. — Какова ее мощь? Каким образом ее можно использовать? Что она собой представляет? Как выглядит?

— Все это мы узнаем очень скоро.

— Когда?!

— Когда придет подробный доклад Гровса. Его следует ожидать со дня на день. Но ясно, что бомбу мы уже имеем. — Стимсон улыбнулся. — Шифровальщики, которые работали над телеграммой, поздравили меня. Они решили, что в семьдесят восемь лет я стал отцом...

Но Трумэн уже не слушал его.

«Что же все-таки представляет собой новое грозное оружие? — спрашивал себя президент. — Как выглядит эта бомба?»

Обычные авиационные бомбы он, конечно, видел не раз. Во время первой мировой войны, когда авиация применялась в сравнительно малых масштабах, они были невелики. Силу современных бомб Трумэн мог себе представить по огромным воронкам, которые он наблюдал недавно по пути в Германию, а также в разрушенном Берлине.

Сейчас Трумэн был не в состоянии что-либо рассчитывать или исчислять. Какова мощь бомбы в тринитротолуоловом эквиваленте, какой вариант будет избран для ее практического применения — ответ на эти вопросы придет позже.

Подобно бизнесмену «средней руки», ожидавшему исхода финансовой операции, которая в случае успеха сулила ему неслыханное богатство, теперь, когда это богатство пришло, Трумэн еще не мог думать о том, куда выгоднее всего вложить свой фантастический капитал. Сознание, что он владеет тем, чему раньше не было даже названия, некоей магической силой, пьянило и в то же время пугало его. На мгновение Трумэну представился пылающий мир. Все было охвачено огнем, кроме гигантского острова, остававшегося в полной безопасности. Кроме Соединенных Штатов Америки. Это было Второе Пришествие. Видение, перед которым бледнели картины Апокалипсиса.

Мысль об этом сейчас пугала Трумэна. Но пройдет совсем немного времени, и президент Соединенных Штатов заявит, что огненная смерть, на которую он обрек Хиросиму и Нагасаки, была необходима для спасения сотен тысяч американских солдат...

Это будет всего через несколько недель. Но сейчас Трумэн испытывал только счастье обладания такой властью, которой доселе не имел ни один из смертных. Как бы в трансе он повторял про себя слова шифрограммы: «шустрый мальчик... шустрый... шустрый!..»

...Из гостиной донеслись тихие звуки музыки. Юджин Лист продолжал играть. Теперь это был Шопен — любимый композитор президента.

Закрыв глаза, Трумэн несколько секунд с упоением слушал первый этюд Шопена.

Все это время Стимсон молчал, понимая состояние президента.

Наконец Трумэн открыл глаза.

— Как вы думаете, Генри, — спросил он, возвращаясь в реальный мир, — должны ли мы сообщить Черчиллю о том, что испытание прошло успешно? Полагаю, что должны, — добавил он, не дожидаясь ответа. — Рано или поздно это станет известно. Мы можем оказаться в неловком положении.

— Может быть, подождать доклада Гровса? — неуверенно произнес Стимсон.

— Нет, — решительно сказал Трумэн. — Черчилль поймет, что мы открыли ему секрет не сразу. Могут возникнуть осложнения. Старик и так взвинчен до крайности. Покажите ему телеграмму, расшифруйте ее смысл и скажите, что мы сами знаем не больше того, что в ней говорится. Если у него возникнут вопросы, ответьте, что мы ждем дальнейших сведений из Вашингтона. Только получив их, можно будет обсудить практические шаги, которые предстоит предпринять.

Стимсону хотелось спросить: не намерен ли президент информировать также и русских?

Еще месяц, еще неделю назад такой вопрос прозвучал бы нелепо. Работа над новым оружием была строжайшей государственной тайной. Если уж англичане ничего толком не знали, то о русских нечего было и говорить.

Но теперь Трумэн решил информировать Черчилля о взрыве. Поэтому вопрос насчет русских был вполне уместен — ведь до начала совместных с ними военных действий против Японии оставалось меньше месяца...

Однако мысль о том, что Сталин может узнать атомную тайну, все-таки казалась Стимсону крамольной, и он промолчал.

Трумэн истолковал его молчание как согласие выполнить только что полученные указания.

— Вернемся к нашим гостям, Генри, — сказал Трумэн. — В конце концов столь высокопоставленные американцы должны знать, о чем мы с вами тут секретничаем...

Он первым вошел в гостиную и остановился у рояля.

— Отлично, мистер Лист, — поощрительно улыбаясь, сказал Трумэн. — У меня к вам просьба: сыграйте, пожалуйста, вальс Шопена. Тот самый, опус сорок два.

— Боюсь, сэр, что я не очень хорошо помню его наизусть, — ответил Лист, вставая. — А нот у меня с собой нет.

— Я распоряжусь, чтобы их доставили как можно скорее. Вы сыграете этот вальс, когда у меня в гостях будет Сталин. Составьте, пожалуйста, программу, которая понравилась бы русским. Как вы полагаете, Генри, — с усмешкой спросил Трумэн Стимсона, стоявшего у него за спиной, — дядя Джо любит музыку?

— Не знаю, мистер президент, — сухо ответил Стимсон.

— Шопена не любить нельзя. — Трумэн любезно кивнул Листу и направился в столовую.

Глава тринадцатая

ПЕРВЫЕ ЗАМОРОЗКИ

Восемнадцатого июля я проснулся в отвратительном настроении. Сначала, как это часто бывает, не мог понять, в чем, собственно, дело. Потом понял: причина в том, что меня с некоторых пор преследуют неудачи.

Вчера журналистскую братию вытурили из Цецилиенхофа. Теперь я вряд ли еще раз увижу «Большую тройку». Правда, генерал Карпов предупреждал меня, что на заседания Конференции журналисты не будут допускаться. Но я все же надеялся на чудо, на счастливый случай, на то, что встречу среди начальства кого-нибудь знакомого по фронту или уговорю офицеров охраны — в конце концов Цецилиенхоф, как и сам Бабельсберг, находятся в советской зоне оккупации, — помочь мне проникнуть в зал заседаний...

Но вчера я понял, что все эти надежды тщетны. У ребят из охраны лица становились каменными, как только я намекал на то, чтобы попасть хотя бы на антресоли зала заседаний и краем уха послушать, о чем идет разговор за круглым столом.

Лежа в постели, мокрый от жары, потому что спал под немецким пуховиком, я стал обдумывать свое положение.

Хорошо, говорил я себе, в первых двух корреспонденциях мне, по-видимому, удалось обойтись общими рассуждениями, сдобрив их кое-какими деталями, создающими эффект присутствия.

Но теперь все эти детали наверняка использованы и союзными журналистами. О чем же писать дальше? Первый день Конференции прошел, но что я знаю о нем? Между тем в советских газетах уже объявлено, что Конференция началась, а в западном мире о ней уже и раньше знали по сообщениям об отъезде Трумэна в Европу!

Когда я проснулся и посмотрел на часы, было двадцать минут седьмого. Я встал, не спеша оделся, побрился и вошел в столовую минут через десять после того, как она открылась.

Однако большой зал на первом этаже был почти полон. Кинематографисты еще не пришли, — значит, подумал я, никаких протокольных мероприятий утром не предполагалось. Но несколько знакомых лиц я все-таки разглядел.

За одним из столиков сидел черноволосый стройный молодой человек с сосредоточенным, неулыбчивым лицом, а напротив него — другой, постарше, широколицый и широкоплечий. Оба были в серой наркоминдельской форме. Теперь, после вчерашней съемки, я уже знал, что это наши послы в Соединенных Штатах и Англии — Громыко и Гусев.

За тем же столиком сидел Подцероб, первый помощник Молотова.

Все они о чем-то беседовали, но так тихо, что даже стоя рядом нельзя было бы расслышать ни одного слова. Я подумал, что любая из фраз, которыми они обменивались, вероятно, могла бы стать темой моей будущей корреспонденции.

На мгновение у меня мелькнуло желание подойти, представиться и спросить, что происходило вчера на Конференции. Но это было бы, конечно, глупо. При той атмосфере секретности, которая окружала Цецилиенхоф, я попросту не добился бы никакого ответа, а впоследствии, может быть, получил бы и взбучку за неуместные вопросы.

«Карпов! — решил я. — Только Карпов может мне помочь! Надо увидеть его как можно скорее!»

Съев свою яичницу и запив ее стаканом кофе со сливками, я вышел на улицу.

Мои часы показывали без десяти восемь.

Я быстро добрался до того особнячка, к которому три дня назад подвез меня Карпов. С трудом удерживаясь, чтобы не козырять встречным офицерам, я подошел к часовому, показал ему «ПРОПУСК НА ОБЪЕКТ» и поднялся на второй этаж.

Карпов разговаривал по одному из двух телефонов, установленных на его столе. Кивнув мне, он некоторое время продолжал слушать своего собеседника, потом коротко сказал:

— Понял. До свидания, — и положил трубку на рычаг.

— Здорово, Михайло! — То, что Карпов обратился ко мне столь неофициально, обрадовало меня. Я надеялся на доверительный разговор с генералом.

Опасаясь, что его могут куда-нибудь вызвать или позвонить по телефону, я быстро сказал:

— Василий Степанович! Я в отчаянии!

— В отчаянии? — удивленно приподнимая густые брови, переспросил Карпов. — Что так?

— Мое пребывание здесь просто бессмысленно. Меня никуда не пускают. В Цецилиенхофе мне удалось пробыть несколько минут, и то до начала Конференции. Этого достаточно для кинематографистов и фотографов, но не для меня... Я же писать должен!

— Значит, хочешь сидеть за столом переговоров? — сочувственно спросил Карпов.

— Не шутите, товарищ генерал!

— Жалеешь, что приехал? — На этот раз в тоне генерала не было сочувствия.

— Как вам сказать, Василий Степанович. Первые два-три дня я немало интересного повидал. Встречал Трумэна и Черчилля. Сталина видел вблизи. С английским корреспондентом сцепился. Немца любопытного узнал. Словом, впечатления были. Я отправил в Москву две статьи. Но теперь, когда началось самое главное, я ничего не вижу и не слышу...

Обращенный на меня взгляд генерала становился все более строгим и отчужденным.

— Василий Степанович, — умоляющим тоном продолжал я, — представьте себе, вы командир дивизии, я — редактор дивизионки. Мне надо выпускать номер, а меня не пускают ни к вам, ни к комиссару.

— Ловишь меня, Воронов? — усмехнулся Карпов. — На прошлой нашей жизни ловишь? — Тем не менее взгляд его снова потеплел. — Только ловить меня бесполезно. Не мной порядок Конференции установлен, и не мне его менять.

— Но дело не только во мне! — воскликнул я. — Западные журналисты тоже ропщут, что их никуда не пускают!

— Вот, вот, — подхватил Карпов. — А ты бы хотел, чтобы наших пустили, а тех нет. Представляешь, какой крик поднялся бы?

— А если и тех и наших? — робко спросил я.

— На Конференции всякое может быть, — уже с досадой возразил Карпов. — И споры и разногласия. Думаешь, твои западные коллеги будут ждать, когда договорятся? Да они при первой же схватке шум на весь мир поднимут!..

В этом, конечно, был резон.

— Вы сами-то на вчерашнем заседании были? — попробовал я подойти к Карпову, так сказать, с другого конца.

— Нет.

— Что там происходило, не знаете?

— Не знаю.

— Значит, вам ничего, ну, совсем ничего не известно?

— Мне известно, — снова хмурясь, ответил Карпов, — что Конференция должна решить будущее Германии. Определить границы Польши. Обеспечить стабильный мир в Европе...

Но об этом я хорошо знал еще из решений Ялтинской конференции.

— Это, Василий Степанович, элементарно, — опасаясь, что мои слова обидят его, все-таки сказал я.

— Но не столь легко достижимо. Что же касается того, что происходило вчера на Конференции... Могу тебе сообщить... Договорились, что министры иностранных дел будут встречаться в первой половине дня и готовить повестку для каждого заседания Конференции. Даже самый осведомленный человек не может заранее сказать, что именно будет обсуждаться завтра, а что послезавтра.

— Но как же мне тогда ориентироваться? — снова впадая в отчаяние, воскликнул я.

— Если будут встречи, на которые допустят корреспондентов, узнаешь об этом в протокольной части советской делегации, — сухо ответил Карпов. — Заходи туда ежедневно с утра. Если же возникнет особая надобность, тебя вызовут.

— Куда?

— К генералу Карпову, Василию Степановичу. Знаешь такого?

— Почему же вы до сих пор...

— До сих пор надобности не было. А когда будет, найдем. Либо здесь, либо в Потсдаме. Ты оборудовал там свой НП?

— Да. Спасибо за помощь.

— Кто у тебя там хозяин?

— Немец один.

— Ясно, что не турок. Человек-то приличный?

— Говорят, что да.

— «Говорят»!.. А сам ты какого мнения о нем?

Сейчас мне меньше всего хотелось говорить о Вольфе и его болтливой супруге. Но Карпов, видимо, нарочно уводил разговор от темы, которая меня волновала. Поэтому я решил ничего не рассказывать ему о Вольфе.

— Он меня мало интересует, — хмуро ответил я. — С немцами мы свои счеты покончили. Девятого мая. Сейчас для меня главное — Конференция.

— Конференция? — переспросил Карпов. — А она, значит, к немцам отношения не имеет?

О, господи! Да понимаю я все это!

— Василий Степанович!.. — с невольным упреком начал я.

— Что «Василий Степанович»? — прервал меня Карпов с неожиданно злой усмешкой.— Это мне позволительно было бы так думать. Я солдат, строевой командир. Раз война кончена, значит, я свое дело сделал. Это очень легко так думать: гитлеровскую Германию наказали, за миллионы наших людей отомстили, а теперь хоть трава не расти! Нельзя так рассуждать, Михаил, нельзя! Как тебе может быть безразлично, что сейчас в душе у немцев происходит? Куда, в какую сторону они пойдут? Ведь нам и дальше рядом с ними жить придется!

Карпов говорил с несвойственной ему горячностью.

— Ну чего молчишь? — спросил он.

— Думаю.

— О чем?

— О том, что отходчив русский человек.

— Гитлеру все казалось просто,— пренебрегая моим замечанием, все так же горячо продолжал Карпов,— разгромить Россию, посадить в Кремле своего гауляйтера, надеть ярмо на наших людей, и все тут. Ну, мы ему дали ответ. А теперь другую войну ведем. За души немецкие. Кстати, ты сказал, что с кем-то из англичан сцепился. Из-за чего?

— Из-за того же самого. Почему их в Цецилиенхоф не пускают.

— Переживут,— усмехнулся Карпов и посмотрел на часы.

— Спасибо, Василий Степанович,— с тяжелым вздохом сказал я, вставая.

— Будь здоров. — Карпов протянул мне руку через стол.

В протокольной части советской делегации меня ждали два документа. Первым была телеграмма Лозовского.

КОРРЕСПОНДЕНТУ СОВИНФОРМБЮРО ВОРОНОВУ. В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ЗАПАДНОЙ ПЕЧАТИ СВЯЗИ КОНФЕРЕНЦИЕЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ МНОГО СТАТЕЙ АНТИСОВЕТСКОГО ХАРАКТЕРА. СОСРЕДОТОЧЬТЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗОБЛАЧЕНИИ БУРЖУАЗНЫХ ВЫДУМОК, БУДТО МЫ СТРЕМИМСЯ ПОДЧИНИТЬ СЕБЕ ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ. НАША ПОЗИЦИЯ: ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ДЕМИЛИТАРИЗОВАННАЯ ГЕРМАНИЯ И СУВЕРЕННАЯ ПОЛЬША С РАСШИРЕНИЕМ ЕЕ ГРАНИЦ НА СЕВЕРЕ И ЗАПАДЕ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ В ЯЛТЕ. ДВЕ ВАШИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ОДОБРЕНЫ И ПЕРЕДАНЫ ЗАПАДНЫЕ ТЕЛЕАГЕНТСТВА. ЖЕЛАЕМ УСПЕХА. ЛОЗОВСКИЙ.

Вторым документом было письмо в длинном, узком белом конверте. Из него я узнал, что корреспондент Совинформбюро мистер Воронов в любое удобное для него время — с десяти утра до одиннадцати вечера — приглашается посетить пресс-центр союзников, расположенный в Целлендорфе-Вест.

Вчера, когда мы с Брайтом ехали в «Underground», то проезжали мимо здания, о котором Чарли сказал: «Это ваш пресс-центр». О нем же упоминал Стюарт...

Сунув письмо в карман, я перечитал телеграмму Лозовского. Она звучала тревожно и вместе с тем жестко. «Много статей антисоветского характера»... С чего бы это? Может быть, у западных журналистов есть такие сведения о Конференции, которыми не располагает даже Карпов?

Я давно не видел американских и английских газет. Последний раз просматривал их, когда меня вызывали в Совинформбюро, задолго до окончания войны.

Вернувшись в Москву после Победы, я заходил на Леонтьевский уже, как говорится, проформы ради, зная, что со дня на день демобилизуюсь. Голова была полна планов на будущее, мыслей о Марии. Словом, мне было не до иностранных газет.

Впрочем, читая сообщения из-за рубежа, печатавшиеся в наших газетах, я, конечно, чувствовал, что западная пресса стала писать о Советском Союзе несколько иначе, чем в дни войны. «Правда», например, ссылалась на выступление турецкого журналиста Ялчина, раздувавшего наши разногласия с Англией на конференции в Сан-Франциско. Упоминался американский военный журнал, пытавшийся запугать своих читателей советской «военной угрозой» — растущей мощью Красной Армии.

Видимо, это было исторически неизбежно, думал я: всякий раз, когда смолкал звон мечей или переставали рваться снаряды, начинался новый спор, уже не на полях сражений. Побежденные старались выторговать уступки у победителей, да и среди победителей нередко возникали конфликты. Так повелось издревле.

В недавней войне против общего врага объединились страны, столь различные по своему социальному укладу, как Советский Союз, Англия и Соединенные Штаты. Не было ничего удивительного, что после Победы между ними возникали противоречия и споры.

Но все же опыт Тегерана и Ялты убеждал в том, что человеческий разум прогрессирует. Когда смерть становится единственной альтернативой жизни, различие в социальных системах не может быть непреодолимым препятствием для объединения усилий в борьбе за жизнь.

Однако теперь, когда война кончилась...

Нет, все-таки прав был великий Сервантес:

никто и ничто не в силах остановить время или заставить его пройти бесследно. Слишком страшна была недавно отгремевшая война, чтобы не извлечь из нее уроков.

В то же время, если судить по телеграмме Лозовского, речь теперь шла уже не об отдельных выступлениях буржуазной прессы, вроде статьи Ялчина, а о целой кампании против Советского Союза, связанной с Конференцией в Потсдаме.

Но разве Конференция созвана против воли Соединенных Штатов и Англии? Какие же аргументы содержатся в этих самых «статьях антисоветского характера»?..

Ведь еще месяц назад во всех советских газетах было опубликовано заявление Трумэна на пресс-конференции в Вашингтоне. Президент утверждал, что единство и взаимное доверие, существовавшие между союзниками во время войны, должны укрепляться во имя прочного мира. В этой связи он, Трумэн, выражал свое удовлетворение миссиями Дэвиса в Лондон и Гопкинса в Москву.

Польша?.. Но в том же заявлении Трумэн сказал, что поездка Гопкинса была удачной и с этой точки зрения.

Вообще, судя по нашей печати, еще совсем недавно отношения между союзниками складывались весьма благоприятно.

Я почувствовал старое озлобление — то самое, которое в тяжелые первые годы войны испытывали мы, фронтовики, при мысли о том, что союзники не выполняют свое обещание и всячески оттягивают открытие второго фронта в Европе. Но, с другой стороны, все это было уже давно позади. Ведь в конце концов мы же все-таки добились единства! Разве советские газеты не писали о доблести союзных войск после высадки в Нормандии? Разве не стала праздником боевой дружбы союзников встреча в Торгау? Разве тот же Лозовский не слал мне тогда телеграммы, в которых требовал как можно больше материалов об этой боевой дружбе?..

— Больше для вас ничего нет! — услышал я женский голос у себя за спиной. Торопливо поблагодарив, я вышел из дома, где размещалась протокольная часть.

...Теперь, по прошествии более трех десятилетий, уже находясь в Хельсинки накануне крупнейшего события современности, правильно ли я воспроизвожу мысли, владевшие мною тогда? Я был молодым человеком, в чьих ушах еще не смолкло эхо четырехлетней войны. Волей случая я оказался вблизи политического вулкана, в кратер которого мне не дано было заглянуть.

Действительно ли миллионы людей, подобно мне, двадцатисемилетнему журналисту, вчерашнему фронтовику, жили тогда в состоянии эйфории, вызванной нашей великой победой? Действительно ли они были уверены, что весь мир понимает, кому он обязан своим спасением?..

Сейчас я, уже пожилой человек, прошедший сквозь годы холодной войны, видевший, как застывали ее ледяные глыбы и какие огромные усилия потребовались для того, чтобы они начали таять, со снисходительной печалью и с тоской по дням, которым уже нет возврата подобно гегелевской сове, смотрю на молодого человека, стоящего на залитой солнцем улице Бабельсберга. Этот молодой человек с недоумением размышляет о тех явлениях, которые кажутся ему столь дикими в атмосфере обретенного человечеством счастья мирной жизни.

...Продолжая думать об еще не известных мне «статьях антисоветского характера», которые упоминал в своей телеграмме Лозовский, я пришел к выводу, что должен прочитать их сам. Может быть, таким образом я проникну в тайну Конференции? Ведь редакции западных газет получают информацию не только от своих корреспондентов, но и непосредственно из правительственных кругов Вашингтона и Лондона.

Тут-то меня и осенило: пресс-центр! Там наверняка есть свежие газеты — и американские и английские.

Я вынул узкий белый конверт. «С десяти утра до одиннадцати вечера»...

Было двадцать минут десятого. Машину я вызвал к девяти. Очевидно, старшина уже пригнал ее. До Целлендорфа менее получаса езды. Но где находится этот пресс-центр? Никакого адреса в письме не было. Только район: Целлендорф-Вест. Впрочем, и улицы и номера домов в нынешнем Берлине были понятием условным, — вероятно, поэтому их и не сочли нужным указать.

Но я не сомневался, что, оказавшись в Целлендорфе, найду улицу, по которой вез меня вчера Брайт.

...Мою «эмку» я увидел еще издали. Старшина-водитель был человеком не только бывалым, — если судить по тому, как ловко и незаметно он выследил Вольфа, — но и точным.

Предупредив его, что едем в Берлин, я поднялся на второй этаж, чтобы узнать, нет ли у Герасимова каких-либо новостей. Сергей Аполлинариевич сказал, что протокольных съемок сегодня не предвидится.

В половине десятого я выехал из Бабельсберга в Берлин.

— Куда следуем, товарищ майор? — спросил водитель, когда мы уже подъезжали к Берлину.

— Целлендорф знаешь?

— Бывал. Только редко. Американская зона.

— Ее-то мне и нужно.

— А место какое?

— Сам точно не знаю. Вчера мельком видел этот дом, но улицу не запомнил. Покрутимся по Целлендорфу, может быть, вспомню.

Мой ответ, видимо, не смутил водителя. Он молча кивнул головой.

Мы въехали в Целлендорф. Это была юго-западная часть Берлина. Она резко отличалась от других районов города богатством зелени. Однако следы войны виднелись и на деревьях. Верхушки их были иссечены, листья покрыты белым налетом известки или каменной пыли, многие стволы надломлены.

— Раньше тут богачи жили, — неожиданно разговорился мой молчаливый старшина. — Нам лекцию читали, где что было. На экскурсию водили... в зоопарк. Страшное дело, товарищ майор! Все звери перебиты. Только один слон жив остался. А слониха лежит убитая. Он стоит над ней и плачет. Ну, может, и не плачет, слез-то не видно, а тоскует. Хоботом по ней елозит и головой качает...

Я слушал его, как говорится, вполуха, и все время глядел по сторонам. Брайт показал мне пресс-центр незадолго до того, как поставил свой «виллис» в тупичке, из которого мы направились в подвал. Кажется, возле того дома была вогнута, словно с большой силой вдавлена, металлическая ограда.

Мы уже колесили по Целлендорфу минут тридцать. Около одного из особняков — над входом в него развевался небольшой звездно-полосатый флаг — я увидел машину американской военной полиции.

— Поставь свою карету за той машиной, — сказал я старшине.

— Да это же полиция, товарищ майор! — с неприязнью отозвался водитель.

— Знаю. Остановн.

В «виллисе», к которому я подошел, сидел, точнее полулежал, задрав ноги на спинку соседнего сиденья, белобрысый парень-шофер в форме американского не то солдата, не то сержанта. Его пилотка была продета под погончик на плече, кремовая военная рубашка расстегнута почти до пояса.

— Простите, сержант, — сказал я по-английски, — не знаете ли вы, где здесь находится пресс-центр?

— Sure[1], — не меняя позы, ответил американец. Поняв, что имеет дело с иностранцем, он все-таки спустил ноги и, сощурившись, спросил:

— Ты кто, парень?

Этого нахала хорошо было бы поставить по стойке «смирно»!

— Советский журналист, — миролюбиво ответил я. — Показать документы?

— Пока ты не напился и не затеял скандала, мне твои документы не нужны, — с добродушной усмешкой ответил сержант. Оглядев меня с явным любопытством, он спросил: — А ты и в самом деле русский?

— Никогда не видел русского?

— Почему? — обиделся сержант. — И солдат знаю и офицеров. Две маленькие звездочки — лейтенант. Одна побольше — майор. Верно?

Он посмотрел на меня с гордостью.

— Верно, — подтвердил я. — Где же пресс-центр?

Сержант сунул руку под сиденье, вытащил сложенную вчетверо карту Берлина и расстелил ее на коленях:

— Мы сейчас здесь. Соображаешь?

— Соображаю.

— Твои писаки собираются здесь. — Ногтем с грязным ободком он провел по карте черточку. — Понял?

— Понял. Спасибо.

Пресс-центр оказался совсем близко, — надо было свернуть в первый переулок и немного проехать прямо.

— О'кей! — небрежно сказал сержант и снова развалился на сиденье.

...Как я мог не заметить этот дом? Ведь мы только что здесь побывали. Дом без всяких следов разрушений. Только узорчатая металлическая ограда, некогда отделявшая его от тротуара, частью разбита, а частью вдавлена внутрь, словно танк ударил ее и прошелся по ней своими гусеницами. Возле дома, сгрудившись у бровки тротуара, стояли «мерседесы», «вандереры», «виллисы»...

Полутемный холл, в который я вошел, показался мне пустым. Но откуда-то со стороны тотчас раздался голос:

— Your card, sir?[2]

За столиком у двери сидел пожилой американец в военной форме.

— Я — советский журналист. Корреспондент Совинформбюро.

— Your card, please! — настойчиво повторил американец, добавив, однако, слово «пожалуйста».

[1] Конечно! *(англ.)*

[2] Вашу карточку, сэр *(англ.)*.

— Советский журналист. Из Москвы. — Я протянул американцу полученное утром письмо.

— Пройдите к шефу, — сказал американец, заглянув в письмо. — Второй этаж, вторая дверь налево.

Когда я, входя в этот особняк, пытался представить себе, как должен выглядеть пресс-центр, в моем воображении возникало нечто вроде тех западных клубов, о которых я читал у Голсуорси или у Моэма: глубокие кожаные кресла, столы полированного красного или черного дерева, груды журналов и газет. Сидя в креслах, джентльмены, — леди сюда не допускаются, — потягивают виски или херес, покуривают сигары или трубки и в полной тишине просматривают газеты или журналы...

Вряд ли нечто похожее могло существовать в сегодняшнем Берлине. Тем не менее стереотип, некогда отпечатавшийся в моем сознании, давал себя знать.

Но, поднявшись на второй этаж, я увидел длинный коридор, тянувшийся направо и налево. Ко второй двери налево была прикреплена картонка, на которой значилось «ШЕФ ПРЕСС-ЦЕНТРА».

За небольшим столиком спиной к окну сидел офицер. Держа в одной руке блюдце, а в другой чашечку, он прихлебывал не то чай, не то кофе. Из-под стола выглядывали его длинные ноги в брюках кремового цвета. Я растерянно подумал, что не знаю, в какой армии носят такую форму.

— Доброе утро, сэр, — сказал я на всякий случай по-английски. — Я — советский журналист Воронов. Получил ваше письмо.

Увидев у меня в руках узкий белый конверт, шеф — видимо, это был он, — встал и приветливо сказал:

— Добро пожаловать, мистер Воронов!

Он заговорил так быстро, что я с трудом его понимал. Несомненно, английский был родным языком этого человека, но его произношение неуловимо отличалось и от английского и от американского.

Из его довольно длинной речи я все-таки понял главное. Шеф пресс-центра, полковник канадской армии, — фамилию я не разобрал, — приветствовал первого советского журналиста, откликнувшегося на приглашения, которые он разослал. Пресс-центр объединяет, однако, западных журналистов. Если мистер Воронов хочет при нем аккредитоваться, об этом должно ходатайствовать высшее советское командование, чуть ли не сам маршал Жуков...

Полковник любезно спросил, не хочу ли я кофе и нет ли у меня желания зайти с ним в бар. Я понятия не имел, надо ли там платить и если надо, то какими деньгами. Вежливо поблагодарив полковника, я сказал, что хочу лишь посмотреть свежие газеты, если пресс-центр их получает. Полковник повел меня в конец коридора и распахнул одну из дверей.

Стоявшие в комнате длинные столы были сплошь завалены газетами.

— Сейчас здесь никого нет, — пояснил полковник. — Ребята на брифинге. К сожалению, не могу пригласить вас туда, пока вы не аккредитованы.

На англо-американском западе брифингом называлось инструктивное или информационное совещание, на котором присутствующим сообщались важные для них новости.

— Спасибо, полковник, — сказал я, — с вашего разрешения теперь посмотрю газеты.

— Не буду вам мешать, — ответил канадец. — Учтите, бар находится в противоположном конце коридора, — галантно добавил он.

— При нем тоже надо аккредитоваться?

— О, нет! Просто надо платить деньги. Принимается любая валюта. В том числе и марки.

Полковник ушел, плотно притворив за собой дверь.

Бросив беглый взгляд на первые страницы свежих газет, я сразу увидел, что Конференция находится в центре внимания западной прессы. Меня охватило чувство профессиональной зависти. Конференция открылась вчера во второй половине дня. Нужна была поистине сверхоперативность, чтобы материалы о ней попали хотя бы в поздние, вечерние издания.

Но уже через несколько минут я понял, что все эти материалы, кроме фотографий, делались на месте, в Вашингтоне, Нью-Йорке и Лондоне.

На первой странице газеты «Вашингтон пост» печаталась статья некоего Новера, посвященная Конференции и отличавшаяся явно антисоветской направленностью. Новер убеждал правительство Соединенных Штатов не брать на себя роль посредника между Англией и Советским Союзом. Автор утверждал, что западным державам не удалось повлиять на советскую политику еще в Ялте. Решения Крымской конференции о правительствах в Европе не выполнены по вине Советского Союза. Ялтинское соглашение о границе Польши не компромисс, а капитуляция Соединенных Штатов перед Советским Союзом.

В газете «Нью-Йорк таймс» Сульцбергер строил прогнозы относительно повестки дня Потсдамской конференции. Он заявлял, что

в центре внимания конференции будут Китай, Турция, Иран, а вовсе не Германия и Европа.

Английские газеты печатали сообщение корреспондента агентства Рейтер Ллойда, что «Большая тройка» уже обсуждает вопрос о создании унифицированной германской центральной администрации, непосредственно подчиненной Союзному Контрольному Совету. Корреспондент утверждал, что русские всегда склонялись в пользу урезанной, но объединенной Германии в отличие от всевозможных планов ее расчленения.

Почти во всех случаях, когда упоминался Советский Союз, тон газет был явно недоброжелательным.

Но если в их тоне и были оттенки, то все они единодушно осуждали ту атмосферу секретности, которой была окружена Потсдамская конференция.

Сообщалось, что корреспонденты союзных держав размещены в Целлендорфе, почти в четырнадцати милях от Бабельсберга. Под угрозой высылки им запрещено появляться на территории, где происходит Конференция. Жалобы на возрождение «методов тайной дипломатии» сменяли одна другую.

Газеты приписывали Советскому Союзу намерение подчинить себе всю Европу. Всячески раздувались разногласия между Россией и Англией. Высказывалась убежденность, что в Потсдаме Сталин встретит резкую оппозицию со стороны Трумэна и Черчилля, прежде всего в германском и польском вопросах. Потсдамской конференции предсказывался неминуемый провал.

Во всем этом было нечто кощунственное. Получалось, что если после разгрома Германии и существует угроза мирному будущему человечества, то ее представляет... Советский Союз.

Я почувствовал себя так, словно незаслуженно оскорбили не только мою страну, но и лично меня, офицера-фронтовика.

Какова же, с горечью думал я, будет судьба Конференции в Цецилиенхофе? Еще вчера я свято верил, что она закрепит союз, сложившийся во время войны. Неужели эта вера была иллюзией, миражем, возникшим над развалинами домов, над опустошенной землей?

Я сидел в тесном номере хельсинкской гостиницы «Теле», прислушивался к шагам в коридоре — не идет ли Чарли Брайт? — и мысли мои метались между Прошлым и Настоящим.

Телефонный звонок Чарли как бы опрокинул меня в Прошлое. На некоторое время я потерял способность размышлять о том важнейшем событии Настоящего, которое должно было начаться здесь послезавтра. Но мало-помалу мысли о нем вновь овладели мной.

Всего день и две ночи отделяли человечество от той долгожданной минуты, когда главы государств — именно тех государств, от которых в конечном счете зависят мир и война на земле, — поставят свои подписи под уникальным документом, обеспечивающим мир.

Оценить значение той или иной военной победы вполне возможно: для этого давно выработаны определенные критерии. Сколько вражеских солдат убито, ранено, взято в плен, какие трофеи захвачены, сколько верст, миль, километров пройдено...

Но как оценить значение мирной Победы, которой добилось человечество? В ней нет ни победителей, ни побежденных — ведь плодами ее предстоит воспользоваться всем, кроме явных и тайных врагов мира на земле. Для оценки побед такого рода человечество еще не выработало точных критериев...

В документе, который скоро будет подписан здесь, в Хельсинки, найдет — я был уверен в этом — торжественное подтверждение именно то, что враги мира на протяжении долгих лет, прошедших после Потсдама, пытались поставить под сомнение: нерушимость сложившихся границ, возможность мирного и равноправного сотрудничества между государствами с различными социальными системами. Будущее покажет — признают ли свое поражение враги мира, смирятся ли с ним или снова попытаются вернуться к «холодной войне»...

Я вновь и вновь спрашивал себя: приходило ли мне в голову уже тогда, в Потсдаме, что проклятая «холодная война», начало которой мы привыкли связывать с речью Черчилля в Фултоне, — что она, эта необъявленная война, в сущности, началась еще раньше, гораздо раньше, как только наша победа стала бесспорной?..

Нет, в те дни я об этом не думал. Да и откуда мне было все это знать?

Страна, в которой я родился и вырос, с первых дней своего возникновения находилась во враждебном капиталистическом окружении. Но, когда началась война, понятие «враг» сконцентрировалось для нас в словах «гитлеровец», «фашист», «оккупант»...

С первых дней войны наши газеты уже не критиковали ни Англию, ни тем более Америку. Конечно, и тогда пресса этих стран печатала враждебные нам статьи. Но мы перепечатывали лишь те материалы, которые укрепляли в нашем народе сознание, что мы не одиноки в смертельной схватке с фашизмом.

Статьи, которые я прочел в пресс-центре, возмутили, глубоко оскорбили меня. Но я не мог предполагать, что они знаменуют начало новой ледниковой эпохи, получившей название «холодной войны».

Чего они хотели от нас тогда? Чтобы мы похоронили своих мертвых, преподнесли союзничкам на блюде Берлин и Восточную Европу, а сами ушли? Предав тех, которые никогда не встанут? Забыв, во имя чего погибли не только миллионы советских людей, прошитых автоматными и пулеметными очередями, сгоревших в танках, разорванных на куски снарядами и бомбами, уничтоженных в печах Освенцима и Майданека. Уйти, забыв не только о них, но и о поляках, болгарах, чехах, словаках, венграх, югославах, обо всех тех, которые дрались бок о бок с нами в стане Сопротивления, вместе сражались и вместе погибли...

Разгромить рейхсканцелярию, водрузить красный флаг над рейхстагом, и только?.. Снять часовых с вышек Бухенвальда и Освенцима, распахнуть ворота, выпустить узников и уйти?

Расчистить дорогу тем, кто заключал союзы с Гитлером, натравливал его на Россию — трусам, коллаборационистам, антисоветчикам? Позволить им снова сесть на шею своим народам? Уйти, не дождавшись, когда эти народы скажут свое слово, когда сами решат, как им жить дальше?

Наверное, и обо всем этом я тогда еще не думал. Меня просто возмущала, бесила ложь, которую о нас писали...

Среди фотографий, которыми пестрели английские и американские газеты, главное место занимали снимки, запечатлевшие прибытие Трумэна и Черчилля. Но много было и других: фотографии развалин Берлина, «черного рынка» у Бранденбургских ворот, советских танков, угрожающе нацеливших на читателя стволы своих пушек...

На одной из фотографий советский солдат восседал возле полевой кухни и протягивал миску стоявшему в очереди немцу. То ли из-за неудачного ракурса, то ли из-за специально нанесенной ретуши, то ли потому, что у солдата и в самом деле было неприятное лицо с маленькими глазками, низким лбом и непомерно крупным носом, но выглядел он отталкивающе. Жалкому, закутанному в тряпье немцу он подавал еду с брезгливой и в то же время злорадной усмешкой. Поистине надо было затратить немало усилий, чтобы найти такую натуру и так запечатлеть всю эту сцену.

Подпись к фотографии гласила:

ЧЕЧЕВИЧНАЯ ПОХЛЕБКА — ДЕШЕВАЯ КОМПЕНСАЦИЯ, КОТОРУЮ ПЛАТЯТ РУССКИЕ ЗА РАЗРУШЕННЫЙ ИМИ БЕРЛИН.

Это было отвратительное, злое фото. Оно в отталкивающем виде представляло советского солдата в Берлине, а бесплатную раздачу пищи берлинскому населению Красной Армией изображало как брезгливую подачку. К тому же эта подлая провокационная подпись!

Но окончательно ошеломленным я почувствовал себя, прочитав: «Фото Чарльза А. Брайта».

Если бы в эту минуту Брайт оказался рядом со мной, я бы смазал ему по физиономии. У меня было такое чувство, будто меня предали, будто один из моих боевых товарищей во время атаки неожиданно выстрелил мне в спину.

В сущности, у меня не было никаких оснований считать Брайта своим боевым товарищем. Ведь я его совсем не знал, хотя и питал к нему безотчетную симпатию. Его политические взгляды были мне неизвестны.

«Рубаха-парень!..», «Душа нараспашку!..» — повторял я про себя. Мое ожесточение все возрастало. Это была злоба не только на Брайта, но и на себя самого. «Обрадовался! Нашел друга-союзника! Отдал свой фотоаппарат! Может быть, именно в тот день, когда я выручил его на аэродроме, он и начал рыскать по Берлину в поисках такого «сюжета»! Сволочь!..»

«А что, если фото принадлежит другому Брайту?» — подумал я. Ведь имя «Чарльз», «Чарли» не менее распространено в Америке, чем «Иван» в России! Второго имени Брайта, обозначенного в газете инициалом «А», я не знал. Что же касается фамилии, то, вероятно, в Штатах найдется немало Брайтов. Может быть, фотография принадлежит все-таки не «моему» Чарли?..

Пока я размышлял об этом, в коридоре послышались голоса. Дверь у меня за спиной раскрылась, и в комнату ввалились американцы и англичане с журналистскими обозначениями на погонах. Они подошли к столам, на которых лежали газеты. На меня никто не обращал внимания, хотя я был здесь единственным человеком в гражданской одежде.

— Хай! — услышал я чей-то приветственный возглас. — Это же тот самый русский парень, который...

Голос показался мне знакомым.

Подняв голову, я увидел высокого худого человека средних лет с волосами, подстриженными ежиком, и сразу узнал в нем одного из тех журналистов, которых Стюарт притащил вчера к нашему столику.

— Халло, сэр! — дружелюбно произнес длинный и весело повторил: — Это тот самый русский, который сцепился вчера со Стюартом!

Я сразу оказался в центре внимания.

— Добрый день, джентельмены, — пробормотал я и встал, чтобы уйти.

Журналист в английской военной форме протянул мне руку и сказал:

— Меня зовут Холмс. А вас?

— Воронов, — ответил я, поневоле протягивая ему руку.

— Вы были на брифинге? — продолжал Холмс. — Я что-то вас не заметил.

— Не был.

— Ничего не потеряли. Разве что не услышали, как мы разделывали Росса.

— Кто такой Росс?

— Пресс-секретарь президента. Кормил нас кашей из общих фраз. Черт знает что такое...

— Отсутствие информации не помешало, однако, сочинить всю эту кучу вранья, — резко сказал я, указывая на лежавшие передо мной газеты.

В комнате стало тихо.

— Вы хотите сказать, — нерешительно проговорил Холмс, — что мы...

— Вот именно! — прервал я его и направился к выходу.

Но дверь раскрылась, и на пороге показался Брайт. Увидев меня, он широко улыбнулся.

— Хэлло, Майкл-бэби! — воскликнул он. — Не ожидал встретить тебя здесь!

Он тряс мою руку, будто хотел оторвать ее.

— Мальчики, вы видели мои снимки? — громко спросил Брайт. — Если бы не Майкл, я не сделал бы ни одного! Я разбил камеру, а он отдал мне свою! В бар, Майкл! Мы идем с тобой в бар!

— Никуда я не пойду, — угрюмо сказал я и, высвободив наконец руку, вышел из комнаты.

Брайт догнал меня в коридоре.

— В чем дело, Майкл? — встревоженно спросил он. — Идем в бар. Я куплю тебе пару виски...

По-английски слово «куплю» звучало уместно, но я им воспользовался.

— Тебя самого уже купили! — ответил я и ускорил шаг, чтобы отвязаться от Брайта.

— Что ты хочешь этим сказать? — растерянно пробормотал Брайт, не отставая от меня.

Я остановился.

— Как тебя зовут? — спросил я. — Полностью.

— Чарльз Аллен Брайт.

«Фото Чарльза А. Брайта», — повторил я про себя строчку в газете. — Все ясно. Вопросов больше не имею. — Я повернулся и еще быстрее пошел к лестнице.

— Ты куда сейчас едешь? В Бабельсберг? — крикнул мне вдогонку Брайт.

В этом его вопросе мне почудился двойной смысл: он как бы снова упрекал меня, что я живу в Бабельсберге, в то время как иностранных журналистов туда не пускают.

— Я живу в Потсдаме и еду в Потсдам, — резко сказал я.

Шаги за моей спиной смолкли. Очевидно, Брайт наконец отстал...

Сейчас я был одержим одной мыслью: как можно скорее написать статью, в которой ответить всем этим новерам, сульцбергерам и брайтам.

Я решил, что поеду к Вольфам, — там спокойнее, чем в Бабельсберге, — и засяду за работу.

Опустившись на переднее сиденье «эмки», я сказал:

— В Потсдам, старшина. Шопенгауэр, восемь.

Несколько минут мы ехали молча.

— Расстроены чем, товарищ майор? — неожиданно спросил старшина.

Он внимательно следил за дорогой. У него было сосредоточенное, типично русское лицо немолодого крестьянина.

Я ощутил теплое чувство к этому человеку. Именно с такими людьми прошагал я четыре года по дорогам войны...

— Как вас зовут, старшина? — спросил я.

— Фамилия? — откликнулся он. — Гвоздков.

— Я имя спрашиваю. И отчество.

— Алексеем Петровичем на гражданке звали.

— Всю войну шоферили, Алексей Петрович?

— Зачем всю войну? Два года на танке версты мерил. На «Климе», а потом на «тридцатьчетверке».

— Теперь, значит, с гусениц на колеса?

— Теперь мир, товарищ майор. Чего же танками землю давить? Она и так еле дышит — чуть не до самой сердцевины продавлена...

— Мир, говорите?

— А как же? — Старшина посмотрел на меня с удивлением. — А зачем же люди собрались? Ну, в Бабеле этом? Или сомневаетесь?

В голосе его послышалась тревога.

— Нет, старшина, не сомневаюсь, — сказал я, думая о своем. — Только сволочей, оказывается, еще в мире много.

— Это верно, — согласился Гвоздков. — Их и на войне смерть миловала. Больше хороших выбирала.

Но слова его доносились до меня как бы издалека. Я думал о своей будущей статье.

Итак, что же я могу противопоставить лжи западных газет? Что, кроме утверждения, что они лгут? Ну, хорошо, об освобождении Европы, о целях, с которыми туда вступили наши войска, я могу писать как участник похода. Западные журналисты не были тогда ни в Польше, ни в Болгарии, ни в Венгрии. А я был. В этом случае у меня явное преимущество. Но когда речь пойдет о Конференции...

В своем запальчивом желании немедленно дать отповедь клеветникам я забыл, что освещать ход Конференции никто мне не поручал. Я должен был писать о том, что происходит «вокруг»... А что я видел «вокруг»?

«Не съездить ли мне в Карлсхорст, — подумал я, — в это самое Бюро информации. Может быть, там известны подробности о вчерашнем заседании Конференции. Конечно, вряд ли я узнаю больше того, что сообщил мне Карпов. Но все же...»

— Разворачивайся обратно, старшина, — сказал я. — Едем в Карлсхорст.

...Когда я вернулся из Карлсхорста в Потсдам, было уже начало четвертого. Позвонил в квартиру Вольфов. Честно говоря, мне не хотелось встречаться с Германом. Я чувствовал себя виноватым, что организовал вчера слежку за ним. Разумеется, Вольф о ней ничего не знал — старшина действовал достаточно скрытно. Но в общем-то у меня же не было никаких оснований следить за Вольфом. Никаких, кроме простого любопытства. Больше того, Вольф был мне симпатичен. Мне нравилась его манера держаться — смесь смирения и достоинства. Пусть не намеренно, все-таки я оскорбил его своей подозрительностью...

На память мне пришли слова Карпова: «Как тебе может быть безразлично, что сейчас в душе у немцев происходит?..» Тогда я пропустил эти слова мимо ушей. А теперь вспомнил их.

Я знал, что жена и сын Карпова погибли в сорок втором. Жили в маленьком городке западнее Минска и не успели эвакуироваться. Ненависть к немцам безраздельно владела Карповым всю войну.

Сегодня он говорил о них как о заблудших детях, которым надо помочь не только восстановить собственный дом, но и очистить свои души.

Вспомнив слова Карпова, я на мгновение задумался над ними.

Но только на мгновение.

Велев старшине приехать за мной через три часа, я позвонил еще раз, но за дверью было тихо. Открыв дверь ключом, — почему я не сделал это сразу? — вошел в прихожую. На столике лежала записка: «Хэрр майор! В том случае, если вы придете, когда нас не будет, позволю себе напомнить, что комната в вашем распоряжении. На кухне в стеклянной банке кофе (настоящий!). Вы можете сварить его, если пожелаете. Готовая к услугам семья Вольф».

Записку писала, конечно, Грета.

В моей комнате все было по-прежнему. Только кровать аккуратно застелена, подушки взбиты и уложены в строгом порядке.

...После разговора с начальником Бюро информации Тугариновым план статьи у меня более или менее сложился. В Карлсхорсте я не узнал ничего принципиально нового, но Тугаринов с особой четкостью сформулировал то, что было мне известно. Кроме того, я посмотрел свежие советские газеты.

Впрочем, они сообщали о Конференции только то, что она открылась. Однако «Правда» публиковала международное обозрение, в котором говорилось: «Те, кто жаждет срыва переговоров, сознательно нагромождают одну догадку на другую относительно возможных и якобы неизбежных разногласий». Главным вопросом, писала «Правда», является сейчас «закрепление победы путем морально-политического разгрома всех остатков фашистского влияния, ликвидации всех последствий фашистского владычества».

Вот мне и следовало показать, в какой мере западная печать способствует этому «закреплению».

Материала для полемики у меня было теперь предостаточно.

Я только взялся за работу, когда у входной двери раздался продолжительный звонок.

На пороге стоял Брайт с той самой сумкой через плечо, с которой он был в ресторане. Совсем недавно я дал понять этому типу, что не желаю ни общаться с ним, ни вообще разговаривать.

— У меня нет времени, — резко сказал я. — Срочная работа.

— Ты мне и не нужен, — с наглой улыбкой произнес Брайт и шагнул вперед. Если бы я не отступил в сторону, он, кажется, оттолкнул бы меня плечом. — Я приехал к твоей фрау, не помню как ее по имени.

— Ее нет дома, — едва сдерживая возмущение, сказал я. — Никого нет.

— Мне никого и не нужно. Где тут у них столовая?

Видимо, он помнил расположение комнат. потому что безошибочно нашел дверь, которая

вела в столовую, и пошел туда, на ходу снимая с плеча тяжелую сумку.

— Послушайте, мистер Брайт, — входя в столовую следом за ним, с яростью сказал я, — если вам кажется приличным врываться в чужой дом...

Он выпрямился и, словно подражая кому-то, напыщенно произнес:

— Мистер Воронов, как представитель армии-победительницы я имею право заходить на любую оккупированную союзниками территорию. Правда, данная территория оккупирована вами. Но я, как представитель союзной армии...

Остановившись на полуслове, он вытаращил глаза и громко расхохотался.

— Не валяй дурака, Майкл, — сказал Брайт. — Я приехал, чтобы рассчитаться с твоей хозяйкой. Делаю это при свидетеле.

Он стал доставать из сумки и швырять на стол блоки сигарет, банки кофе, пакеты с сахаром.

— Четыре блока «Лаки страйк», три банки кофе и шесть фунтов сахара. Это я обещал ей за те ложечки. О'кей?

Что я мог сказать этому полушуту, полунахалу, этому гибриду шаловливого ребенка с провокатором!

— Меня не интересует твой бизнес, — хмуро сказал я.

— Ты никудышный бизнесмен, я это давно понял, — со снисходительной усмешкой проговорил Брайт, — зато твоя хозяйка вполне может работать на Уолл-стрит.

— Несчастная немка, которой нечем накормить мужа, — возразил я, мысленно ругая себя за то, что все-таки втягиваюсь в разговор.

— Во-первых, муж должен кормить жену, а не наоборот, — назидательно произнес Чарли, — а, во-вторых, насколько я знаю, у вас с этими несчастными немцами еще не так давно были кое-какие счеты... Ладно, Майкл, — перебил он сам себя, — не хватает еще, чтобы мы с тобой поругались из-за этих чертовых немцев. Впрочем, насколько я успел заметить, ты сегодня кидаешься на любого встречного. Что с тобой стряслось? Какие-нибудь неприятности?

Брайт спрашивал с искренним участием. Если это была игра, то он отличался незаурядными актерскими способностями.

Я махнул рукой и стал молча подниматься по лестнице.

Но так быстро отделаться от Брайта было невозможно. Он поднялся по лестнице следом за мной, перешагнул порог моей комнаты, оценивающим взглядом окинул груду подушек на кровати и перевел взгляд на стол, где в беспорядке лежали исписанные мной листки бумаги.

— Пишешь? — спросил Брайт. — Откуда же берешь материал? Из пальца?

Чаша моего терпения переполнилась.

— Советские журналисты, мистер Брайт, — громко сказал я, — не высасывают из пальца ни фактов, ни выводов. Они не лгут и не подстрекают!

— Ты хочешь сказать, что это делаем мы? — нахмурившись, произнес Брайт.

— Для рядового бизнесмена с черного рынка ты весьма догадлив, — ответил я, поворачиваясь к нему спиной.

Он подошел вплотную и с силой повернул меня к себе.

— Какого черта, Воронов? — тихо спросил он. — Тебя обидели в пресс-центре?

Я понял, что он и в самом деле ни о чем не догадывается.

«Ладно, — решил я, — будем играть в открытую».

— В вашей газете, мистер Брайт, — начал я, — сфотографирован советский солдат, раздающий еду немцам. У солдата лицо кретина, а еду он раздает как милостыню. Чья это работа, мистер Брайт? Чей это снимок?

— Снимок? — растерянно переспросил Брайт.

— Да, да, снимок! — крикнул я. — Провокационное фото с такой же провокационной подписью! Я видел его два часа назад... Чье это фото? Твое?

Брайт снял пилотку, провел рукой по волосам, снова надел ее. И... улыбнулся.

— Ну, мое, — сказал он как ни в чем не бывало. — Полевая кухня и при ней монголоидный солдат. Ты про этот снимок?

— Да, да, про этот!

— Я ничего не понимаю, Майкл, — пожав плечами, произнес Брайт. — Я получил задание дать нестандартный бытовой снимок из Берлина. Не мог же я нарядить в советскую форму Кларка Гэйбла или Гарри Купера...

— Не паясничай! — оборвал его я. — Ты получил не простое задание, а специальное. Так?

— Допустим, так, — ответил Брайт после паузы. — Не я определяю характер заданий. Я только исполнитель.

— Выполнять грязные задания не менее отвратительно, чем их давать!

— Ты сошел с ума, Майкл! Я делаю снимки и получаю за это деньги. Я лошадь, Майкл, а не кучер.

— Послушай, Чарли, — сказал я, — ты живешь не в безвоздушном пространстве. Последнее время ваши газеты печатают гнусную ложь о нас. Журят Трумэна и Черчилля за то, что

они согласились на встречу со Сталиным. А нас обвиняют в захвате Европы! Требуют, чтобы Америка задавила нас своей экономической мощью, выгнала советские войска из Европы. Предсказывают срыв переговоров в Берлине, то есть в Бабельсберге!

— Боюсь, Майкл, что ты придаешь слишком большое значение газетной трепотне. Неужели вы в России верите всему, что пишут газеты?

— Наши газеты не лгали, даже когда мы терпели поражения. И никогда не предавали союзников...

Я умолк и безнадежно махнул рукой. Этому полуспекулянту, полумладенцу было бесполезно доказывать что-нибудь...

Наступило молчание.

— Значит... значит, — тихо сказал наконец Брайт, — ты со мной больше дружить не можешь?

Он произнес эти слова с такой неподдельной грустью, что на мгновение моя ярость улеглась. Мне даже стало жаль его.

— Послушай, Чарли, я хочу, чтобы ты все-таки понял меня, — сказал я. — Очевидно, мы с тобой слишком разные люди. За твоей спиной мир, который, в сущности, не знал войны. А за мной совсем другой мир. Если можешь, пойми: вы, наши вчерашние союзники, пишете сегодня про нас такое, чего мы не писали о вас даже тогда, когда захлебывались в крови, а вы прикидывали, выстоим мы или нет...

— Но война, к счастью, кончилась, — робко сказал Брайт.

— Значит, мы уже не союзники?! — воскликнул я. — Но не рановато ли успокаиваться? Ты думаешь, что фашизм погиб на полях сражений? Что с гитлеровской Германией покончено раз и навсегда?

— Германия разбита, — пожал плечами Брайт.

— Верно. А про «Меморандум» Альфреда Гугенберга ты слышал?

Когда я был в Карлсхорсте, Тугаринов показал мне баварскую газету с этим «Меморандумом». Автор его доказывал, что Западу нужна сильная Германия, «заслон против большевиков», «непреодолимый вал».

Найдя в блокноте свои выписки, я прочел их Брайту.

— Разве это не похоже на Гитлера? «Заслон», «непреодолимый вал»?..

— Наверное, я в самом деле чего-то не понимаю, — задумчиво произнес Брайт. — Но и ты, — в голосе его зазвучала упрямая нотка, — ты тоже не все понимаешь!

— Например?

— Американцы любят русских ребят, что бы там ни писали наши газеты. Парни в пресс-центре, во всяком случае, многие из них, искренне симпатизируют и твоей стране и тебе лично. Но у них есть свой бизнес. Боссами являются не они, а другие ребята — в Белом доме, в Капитолии, в Пентагоне. Знаешь, что мы называем «Пентагоном»? Военщину. Для них недавно в Вашингтоне дом огромный отгрохали. Пятиугольный. Поэтому и прозвали «Пентагоном». Так вот, все эти боссы и заказывают музыку. Если музыкант заиграет по-своему, его выгонят к черту. А ты знаешь, что значит быть безработным? — В тоне Брайта послышалась горечь. — Есть английское слово «раш». Знаешь? Нет, это не просто стремительный бег. Это вся наша жизнь: бежать вперед, не дать себя обогнать, перегнать других, не оглядываться на падающих! Это и есть «раш», или «бизнес». Ребята из пресс-центра отрабатывают свой бизнес. — Неожиданно он улыбнулся и продолжал с обычной своей беззаботной, детской улыбкой: — В остальное же время они — твои друзья. Многим из них очень понравилось, как ты вчера разделывал этого Стюарта.

— Но если бизнес потребует, они же перережут мне глотку? — с усмешкой спросил я.

— Бизнес — жестокая вещь, Майкл, — обреченно сказал Брайт, — а моя страна — страна бизнеса. Большие боссы пытаются припудрить свой бизнес — молятся, что-то проповедуют, дерутся, мирятся. Я в этом не участвую. Я веду свою игру. Маленькую. Но добровольно из нее не выйду.

— Что это за игра? На что ты играешь?

— На что люди играют? На деньги, конечно! Сейчас мне повезло. Я попал на большие бега. Ставить можно гроши, а сорвать неплохой куш.

— А потом?

— Потом? — с недоумением переспросил Брайт. — Мало ли что будет потом! Потратить деньги гораздо проще, чем заработать. Потом, например, я женюсь. Кстати, у моей Джейн нет денег. Ее отец служил путевым обходчиком и попал под поезд. Говорят, что был пьян. А он был трезв, как стеклышко, все, кто его видел перед смертью, это подтверждают. Но боссы из компании твердят: «Был пьян». Поэтому не платят пенсии. А Джейн всего лишь машинистка. Словом, мы не сможем пожениться, если я не заработаю хотя бы десять тысяч баков.

На мгновение у меня возникло желание сказать Чарли, что он для меня марсианин. Если он действительно любит свою Джейн, а она его, то...

Впрочем, говорить все это не имело никакого смысла.

— Ладно, Брайт, — сказал я устало. — Живи по своим законам. Мне они кажутся дикими.

— Ты не любишь Америку?

Брайт смотрел на меня пристально-выжидающе.

— Я никогда не был в вашей стране, но люблю ее, — ответил я. — Только не ту, которую видел сегодня в газетах.

— А какую?

Я не стал объяснять Брайту, что собираюсь посвятить свою жизнь изучению истории Соединенных Штатов.

— Сражающуюся, — коротко сказал я.

— То есть когда мы вместе воевали?

— Нет, не только тогда. Я люблю ту Америку, которая сражается за правое дело. За свою независимость, против рабства. За расовое равноправие, — в вашей гражданской войне я был бы на стороне северян. Я люблю Америку, сражающуюся против фашизма. И ненавижу Америку, делающую бизнес. А теперь давай прощаться. Мне надо работать.

— Делать свой бизнес? — иронически спросил Брайт.

Я промолчал.

Брайт направился к двери, но задержался у порога и нерешительно сказал:

— Слушай, Майкл, ты ведь не знаешь, зачем я сюда приехал.

— Чтобы сделать свой бизнес, — жестко ответил я.

— Не только. Мне нужно было с тобой повидаться.

— На кой черт я тебе понадобился?

— Видишь ли... Мне кажется, Стюарт что-то затевает...

— Что именно?

— Не знаю. Если узнаю, сообщу.

— Зачем? Это же не входит в твой бизнес.

— Вне работы я свободный человек.

— Совесть во внерабочее время?

Он ничего не ответил. Прощально взмахнул пустой сумкой и ушел.

Мне потребовалось немало времени, чтобы успокоиться. Упоминание о Стюарте я пропустил мимо ушей. По сравнению с тем, что я прочел в газетах, стычка с этим англичанином казалась незначительной. Но то, что Брайт говорил о бизнесе!.. Это взволновало меня, может быть, больше, чем история с фотоснимком.

Я получил наглядный урок социологии...

Ладно, к черту их грязный бизнес! Я должен работать. Перепалка с Брайтом отняла у меня не меньше часа...

Однако прошло еще какое-то время, пока я сумел взять себя в руки.

«Ах, — думал я, садясь за стол, — если бы мне удалось опровергнуть все темные догадки, все провокационные предположения западных газет хотя бы одной ссылкой на то, что в самом деле происходит сейчас в Цецилиенхофе! Привести хотя бы одну фразу, произнесенную за тем круглым столом...»

Я посмотрел на часы. Было без пяти три...

В эти минуты...

В Соединенных Штатах Америки было раннее утро, но генерал Гровс уже сидел за письменным столом, еще и еще раз выверяя текст своего отчета о первом в истории человечества атомном взрыве.

Отчет содержал около двух тысяч слов и был адресован военному министру США Стимсону, хотя предназначался, конечно, президенту. Кроме личной секретарши Гровса, к перепечатке отчета была допущена еще только одна тщательно проверенная машинистка.

На соседней военной авиабазе уже готовили самолет, которому предстояло пересечь океан и доставить в Потсдам доклад генерала Гровса. Прочитав доклад, президент назовет его началом «новой американской эры».

В эти минуты...

Сталин в своем бабельсбергском кабинете читал очередное донесение Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке маршала Василевского о ходе переброски советских дивизий к маньчжурской границе, за которой располагалась главная ударная сила Японии — Квантунская армия.

В эти минуты...

Черчилль заканчивал свой ленч с Трумэном в «малом Белом доме». Оркестр Королевской морской пехоты, прибывший вместе с английским премьер-министром, играл в саду заключительный марш. Черчилль был в хорошем настроении — Трумэн еще раз заверил британского союзника в своей полной поддержке.

В эти минуты...

Трумэн, уже не слушая Черчилля, мысленно искал и не находил ответа на вопрос: сказать ли Сталину, что Америка обладает теперь оружием неимоверной силы?..

Впрочем, президент боялся даже подумать о том, что его величайшая тайна может стать известной русским. Но он боялся и другого:

встретить жесткий, холодно-уничижительный, исполненный презрения взгляд Сталина после того, как оружие будет пущено в ход и перестанет быть тайной.

«Что я отвечу ему?.. — спрашивал себя Трумэн. — Что видел и вижу в этом оружии силу, способную поставить на колени не только Японию, но и весь мир и прежде всего Россию?..»

Трумэн вздрогнул. На мгновение ему показалось, что находившийся сейчас в своем доме Сталин услышал то, о чем только подумал американский президент.

«Так как же: сказать или не сказать?!»

В эти минуты...

Американские и английские солдаты-автоматчики занимали свои посты у подъездов Цецилиенхофа. Советские пограничники, окружавшие замок, наблюдали за ними сдержанно и безмолвно.

Над Бабельсбергом небо было безоблачно. Сияло солнце. Блики его отражались на зеркальной поверхности озера Невинных дев.

В четыре часа дня должно было начаться очередное заседание Потсдамской конференции.

Конец первой книги

ПЛОДЫ ПОБЕДЫ

Миллионы читателей «Роман-газеты» ознакомились с первой частью новой работы Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР, писателя Александра Чаковского «Победа». В подзаголовке ее значится: «Политический роман». Автор живо, ярко, впечатляюще рисует исторические события лета 1945 года, реальных их участников и творцов.

Впервые в нашей художественной литературе, что называется, крупным планом, обстоятельно и широко показана разыгравшаяся в ту пору в Потсдаме великая политическая битва за обеспечение прочного и длительного мира назавтра после неслыханной в истории тяжкой, но победоносной войны против фашистской Германии и ее союзников.

Исторический опыт говорит: завоевать победу в борьбе за правое дело — жизненно важно, но не менее важно закрепить плоды этой победы.

В Потсдаме на совещании руководителей трех держав-победительниц — СССР, США и Англии — на протяжении долгих шестнадцати дней продолжалась упорная политическая борьба, итогом которой явилось принятие исторических далеко идущих решений, заложивших основы послевоенного устройства Европы и открывших путь к укреплению мира во всем мире. В ходе этой борьбы была продемонстрирована железная воля нашей партии и народа, вынесшего на своих плечах основную тяжесть войны.

Несмотря на трудности в работе и подчас острые разногласия между участниками совещания, было наглядно доказано, что мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между государствами, принадлежащими к противоположным социальным системам, возможны и необходимы не только в войне против общего врага, но и в мирное время. Более того, было доказано,— и жизнь в последующие десятилетия это подтвердила,— что политике мирного сосуществования в наш век нет разумной альтернативы.

И хотя после принятия потсдамских соглашений западные державы встали на путь их нарушения, разрушив антифашистскую коалицию, развязали долгую и опасную «холодную войну», им пришлось все же

в конце концов признать, что такой политический путь бесперспективен. Они были вынуждены согласиться, что пришло время положить начало разрядке напряженности, к чему всегда призывал Советский Союз. Так, спустя три десятилетия путь из Потсдама привел в Хельсинки, где главы уже 35-ти государств поставили свои подписи под Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Обо всем этом нельзя не вспомнить, обращаясь к роману А. Чаковского, который и связывает воедино Потсдам и Хельсинки. Его повествование начинается именно с Хельсинки, и сразу же сюжетная линия завязывается прочным узлом: обозреватель советского журнала «Внешняя политика» М. Воронов, которому поручено освещать встречу глав 35-ти государств, встречается в Хельсинки с американским журналистом Ч. Брайтом, с которым судьба свела его за тридцать лет до этого в Берлине.

Тогда они были еще молодыми и не очень опытными людьми. Двадцатисемилетний майор Воронов, начавший войну в боях под Москвой, где он редактировал дивизионную газету, прибыл в Берлин в качестве корреспондента Совинформбюро, охваченный радостным, победным настроением. Такой же молодой Брайт — лихая забубенная головушка буржуазной журналистики — примчался туда, думая лишь о том, что на освещении сенсационной встречи руководителей трех держав можно хорошо подзаработать.

Оба еще не представляли себе всей сложности международных отношений, складывавшихся после войны, не могли и представить себе, какими трудными будут предстоящие десятилетия. А тем временем в зале принадлежавшего некогда кронпринцу дворца Цецилиенхоф за большим круглым столом начались длительные и сложные переговоры руководителей трех держав-победительниц, переговоры, исход которых должен был предопределить послевоенное развитие событий в мире.

Именно эти переговоры представляют собой сердцевину романа, и большой творческий успех А. Чаковского заключается в том, что ему удалось уже в первой части своего повествования, где рассказывается лишь о подготовке к этой встрече и о самом первом ее дне, развернуть широкую картину противоборства двух противоположных политических курсов — держава социализма противостояла двум главным державам мира капитализма. И противоборство это, начавшееся 25 октября 1917 года и притихшее лишь на время в годы войны, когда сама жизнь заставила США и Англию вступить в военный союз с СССР ради борьбы против общих врагов — германского фашизма и японского империализма,— разгорелось теперь с новой силой.

За каждой строкой глав, посвященных этим событиям, чувствуется большая исследовательская работа, проделанная автором,— ему удалось в результате кропотливых усилий собрать богатейший фактический материал. Документация Потсдамской конференции, мемуарная литература, советская и иностранная, беседы с участниками и свидетелями описываемых событий — все это позволило А. Чаковскому не просто рассказать о том, что предшествовало встрече в Потсдаме, и о том, как встречи проходили, но и создать драгоценный «эффект при-

сутствия».

Наибольшей творческой удачей автора, на мой взгляд, являются созданные им портреты главных участников встречи — им посвящены главы, которые так и называются — «Черчилль», «Трумэн», «Сталин». А. Чаковский показывает их в пути в Потсдам, когда они готовятся к предстоящей встрече, размышляют о прошлом и строят планы на будущее. Мы явственно, отчетливо видим лица этих незаурядных деятелей, каждый из которых верен интересам своего класса и готовится их защищать с полным напряжением сил.

Соотношение сил как будто бы неравное: два против одного. К тому же Советский Союз понес в войне огромные потери. Англия же пострадала значительно меньше, а Соединенные Штаты в итоге войны даже усилились, обогатились, не говоря уже о том, что Трумэну его военные уже доложили, что в Аламогордо вот-вот будет испытано новое всесильное оружие — атомная бомба, о которой в шифровках пишут — «шустрый мальчик».

И все же и Черчилль, и Трумэн охвачены тревогой: они знают, что им придется столкнуться с сильным противником, выступающим в ореоле славы блистательной победы,— ведь главным образом благодаря Советскому Союзу была разгромлена гитлеровская Германия. К тому же собственные интересы Англии и США далеко не во всем совпадают, и даже в Потсдаме не раз будут сталкиваться между собой, что неизбежно ослабит их позиции.

Черчилль умнее и сильнее Трумэна. Но это человек XIX века, потомственный аристократ, мечтавший любой ценой остановить ход истории, сберечь разваливавшуюся Британскую империю, восстановить «санитарный кордон» вокруг СССР, отбросить его на Восток, восстановить довоенную Западную Европу и подчинить ее руководству Англии. Он уже стар, дряхлеет. Он знает, что в его распоряжении остается мало времени,— в Англии предстоят выборы, и очень вероятно, что консерваторы, которых он возглавляет, проиграют. Тогда ему придется уйти, и кто знает, сможет ли отстоять интересы Британской империи идущий ему на смену невзрачный с виду лейборист Эттли, которого он был вынужден привезти с собой в Потсдам...

Трумэн помоложе, и он — человек иного склада, представитель американского капитализма, который полон решимости использовать послевоенную обстановку в целях завоевания мирового господства. Но у него нет опыта. Он стал президентом по воле случая: Рузвельт внезапно скончался, и ему, как вице-президенту, который обычно в США не играет существенной роли в управлении государством, пришлось его заменить. Трумэн чувствовал себя неуверенно, но его подкрепляла надежда на «шустрого мальчика» — на атомную бомбу. Он надеялся, что с этим супероружием сможет решить самые честолюбивые задачи.

И вот перед лицом этих двух политиков Сталин — «характер столь цельный и вместе с тем столь противоречивый», как пишет о нем А. Чаковский, рисуя портрет советского руководителя, едущего поездом в Потсдам. Пятнадцатого июля 1945 года в широкое зеркальное окно салон-вагона смотрел человек, возглавлявший страну во время четырехлетней кровавой битвы с самым жестоким из ее врагов, битвы, за-

кончившейся нашей победой.

А. Чаковский рисует образы Сталина и противостоящих ему Черчилля и Трумэна в соответствии с правдой истории, не приукрашивая действительности, но и не впадая в противоположную крайность. Он сам вполне справедливо замечает: «Людей, анализирующих исторические события и характеры личностей, поднятых на гребень истории, всегда подстерегает соблазн простых, однозначных решений. Поддавшись такому соблазну, выбрав из всех красок только одну — белую или черную, эти люди оказываются одинаково далеки от исторической правды».

А. Чаковский сумел удержаться от этого соблазна. Исторические личности, встретившиеся в Потсдаме, предстают перед нами как живые люди во всей сложности своих характеров, высказанных и невысказанных намерений и замыслов. И именно в этом — ценность новой работы автора, который как бы продолжает и углубляет разработку начатой им в эпопее «Блокада» темы о великом противоборстве двух миров — мира социализма и мира капитализма.

«Блокада» и «Победа» — это летопись трудной и славной борьбы советского народа и возглавляющей его партии коммунистов за победу и за закрепление плодов этой победы. Пожелаем же автору столь же успешно завершить, как он и начал его, свой новый политический роман, полный драматических коллизий. Благодарный читатель скажет ему большое спасибо за его нелегкий, но очень нужный народу труд.

ЮРИЙ ЖУКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Борисович Чаковский

ПОБЕДА

Роман

Книга первая

(Окончание)

Редактор З. РАДИШЕВСКАЯ

Художественный редактор *С. Гераскевич* Технический редактор *Т. Таржанова*
Корректоры *Н. Усольцева* и *И. Филатова*

Сдано в набор 18.05.79. Подписано в печать 03.07.79. А11670. Формат 84×108 1/16. Бумага газетная. Гарнитура «Новогазетная». Печать высокая. 6,72 усл. печ. л. 7,412 уч.-изд. л. Тираж 2 495 000 экз. (2-ой завод 645 001—845 000 экз.). Заказ 241. Цена 36 коп.

Издательство «Художественная литература»
107882, Москва, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская, 26
Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57

Обложка отпечатана на Ленинградской фабрике офсетной печати, ул. Мира, 3

РОМАН-ГАЗЕТА
ОСНОВАНА В 1927 г.
№18(904)
1980
ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР
МОСКВА

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

ПОБЕДА

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Глава первая

ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО

Он все еще стоял на пороге, столь не похожий на того Чарли Брайта, которого я уже много лет назад, казалось, навсегда забыл, но которого мгновенно вспомнил, как только понял, кто говорит со мной по телефону.

Человек, стоявший сейчас на пороге моей комнаты в гостинице «Теле», лишь отдаленно напоминал того Чарли. Когда я тридцать лет назад встретил его в журналистской толкучке берлинского аэродрома Гатов, он был молод, подвижен, постоянно улыбался и не умолкал ни на минуту.

Этот Брайт был совсем другой. Волосы его, когда-то льняные, стали желтовато-седыми, мальчишеское лицо, некогда покрытое веснушками, было изборождено глубокими морщинами.

Он сильно постарел? Да, конечно. Но дело было не только в этом. Не так уж стар был Брайт. Он выглядел не просто постаревшим, а выцветшим, вылинявшим, погасшим. Даже его хлопчатобумажная куртка была как будто снята с чужого плеча, и он донашивал ее, не замечая, что она тоже давно выцвела и вылиняла. Лишь ярко зеленела целлофановая карточка, прикрепленная к накладному карману его куртки.

Глаза Чарли, которые раньше бывали то безмятежно-голубыми и заразительно веселыми, то холодными и жесткими, теперь казались мне погасшими и бесцветными.

Словом, это был Чарли Брайт и в то же время как бы не он.

— Ты не рад нашей встрече, Майкл? — донесся до меня его голос. Он прозвучал глухо, словно шел откуда-то издалека.

Сделав над собой усилие, я вернулся из прошлого в сегодняшний день. Пусть стоявший передо мной седовласый американец мало походил на молодого Чарли Брайта, но ведь это же все-таки был он, тот самый Чарли, с которым меня столько связывало. Он нашел меня, явился сюда из нашей молодости, а я стою как вкопанный и молчу, и думаю о том, как он постарел, словно я сам помолодел за эти три десятилетия...

— Здравствуй, Чарли! — почти крикнул я. — Что же ты стоишь? Проходи, садись, вот сюда, сюда...

Я схватил его за руку и с силой, будто он сопротивлялся, усадил в кресло.

Надо было что-то говорить, произносить слова, подобающие встрече после долгой разлуки: «Ну, как ты?.. Как живешь? Как жил все эти годы?..» Однако я продолжал молчать. Чего доброго, Чарли мог подумать, что я и в самом деле не рад нашей встрече. Но ведь это же было не так! Я искренне радовался, что Брайт отыскал меня, что он здесь, рядом со мной. Мне казалось, что откуда-то из-за плеча этого постаревшего — нет, не просто постаревшего, а внутренне погасшего, поникшего человека — на меня смотрит молодой Чарли Брайт, полный энергии, сегодня — друг, завтра — враг, послезавтра — снова друг, наивный и хитрый, расчетливый и щедрый, жизнерадостный и горько-печальный...

Черт побери, прошло тридцать лет!.. Наверное, и Чарли думает сейчас, что никогда не узнал бы меня, если бы встретил на улице...

Но прочь печальные мысли! Мы встретились, и это самое главное!

С чего же все-таки начать разговор?

В таких случаях англосаксы обычно предлагают выпить. Увы, у меня ничего с собой не было. Если бы моя смета позволяла, я заказал бы по телефону бутылку шотландского или американского виски. Может быть, предложить Чарли кофе?..

— Значит, ты не рад нашей встрече? — с унылым видом повторил Брайт.

— Откуда ты взял? — горячо возразил я. — Как это могло прийти тебе в голову?!

Еще невидимый Чарли своим звонком вернул меня в первые дни «сотворения мира». А теперь передо мной стоял реальный мистер Чарльз Аллен Брайт.

Судя по такой же, как моя, зеленой целлофановой карточке, он тоже был аккредитован в хельсинкском пресс-центре. Появившись, он оборвал мое путешествие во времени. Поэтому я все еще не мог прийти в себя.

— Прости меня, Чарльз,— наконец, сказал я. — Когда ты позвонил, я словно перенесся в то время... В нашу молодость... В Потсдам. Мне трудно оттуда выбраться. Я все еще вижу тебя того... понимаешь, того...

— Я сильно постарел? — с усмешкой спросил Брайт.

Ах, боже мой, неужели я должен убеждать его, что он нисколько не изменился! Неужели из того бурного, радостного, горького, страшного и полного надежд мира, в который я так неожиданно перенесся, мне нужно вернуться для того, чтобы вести пустяковый светский разговор!

— О чем ты думаешь, Майкл? — не дождавшись ответа, снова спросил Брайт.

— Видишь ли, Чарли... Еще со студенческих лет я помню древнюю исландскую сагу.

— Какую?

— Подробности я уже забыл. Помню только, что некий викинг уходит, кажется, в морской поход. Вернувшись к родным берегам, он видит, что все здесь изменилось. Все другое. Никто его не встречает. Он кричит: «Где моя мать? Где жена? Как мои дети?..» Люди этого местечка всегда очень хорошо знали друг друга. Ему отвечают: «Мы не слышали о таких! Когда они здесь жили?..» Оказывается, за тот год, пока викинг бороздил моря, на берегу прошла тысяча лет. Давай, Чарли, все же сойдем на берег...

— Чтобы рассыпаться в прах? — спросил Брайт. Голос его прозвучал неожиданно резко.

Меня поразило, что он знал сагу: в конце ее викинг, ступив на берег, действительно рассыпался в прах. Это было нечто новое в Брайте: ведь я помнил его невежественным, хотя и самоуверенным парнем. «Шопингоор стресси...»

— Что ты делал после того, как вернулся домой? — спросил я.

— Много чего. — Чарли пожал плечами. — Окончил журналистский колледж. В Колумбийском университете. Ветеранам давали тогда пособия.

«Это все? — подумал я с недоумением. — Как это просто — уложить тридцать лет жизни в несколько слов!»

— О Потсдаме вспоминаешь? — спросил я.

— Редко. — Брайт почему-то нахмурился.

Мне показалось, что он хочет как бы отделить себя и от меня и от нашего общего прошлого.

— Как же все-таки сложилась твоя жизнь? — снова спросил я. — Надеюсь, ты женился?

— Да.

— Поздравляю. Погоди, погоди, дай вспомнить... Джейн?

— Она.

— Дети есть?

— Сын.

Чарли достал из нагрудного кармана куртки бумажник, раскрыл его и протянул мне, как пропуск часовому:

— Вот.

На небольшой фотографии, укрытой под целлофаном, Чарли был снят рядом с девушкой, которую я когда-то видел в Бабельсберге, и с мальчиком лет семи-восьми. Фотография, видимо, была старая: Чарли и Джейн выглядели на ней еще совсем молодыми. Аппарат запечатлел их на фоне маленького купального бассейна. На заднем плане виднелся одноэтажный домик, нечто вроде бунгало. Все это, надо полагать, принадлежало Брайту.

Чарли смотрел на меня выжидательно и, как мне показалось, с вызовом. Может быть, он хотел похвастаться передо мной своими владениями? Показать, что многого в жизни достиг?

— В какой газете ты работаешь? — спросил я, возвращая ему бумажник.

— В «Ивнинг гардиан». Знаешь такую? Руковожу иностранным отделом,— уже с явным вызовом добавил он.

«Ого! — подумал я. — Значит, Чарли действительно выбился в люди. Этот парень и раньше отличался журналистской хваткой, да и энергии у него было хоть отбавляй. Этакое дитя американского Запада, причудливая помесь ковбоя с бизнесменом. Товарища при случае выручит, но и своего не упустит! Все-таки тридцать лет, очевидно, не прошли для него даром. Он не только постарел, но, видимо, кое-чему научился. Что ж, я рад за него. «Ивнинг гардиан» — хотя и не очень известная газета, но я о ней все-таки слышал. Кажется, она достаточно реакционна. Впрочем, где же и работать такому молодчику, как Чарли Брайт! Не в коммунистической же «Дейли уорлд»!»

Вместе с тем что-то омрачало мою радость и безотчетно коробило меня. Я не мог бы сказать точно, что именно. Брайт все время как будто старался показать товар лицом. «Когда-то я казался тебе годным только на то, чтобы бегать с высунутым языком по заданию боссов и щелкать фотоаппаратом,— как бы говорил он. — Теперь я сам стал боссом. Видишь?!»

— Ну, а ты, Майкл?.. Как ты? — спросил Чарли. На этот раз голос его прозвучал так дружелюбно, что мне стало стыдно. В самом деле, что я на него взъелся? В сущности, что он такого сказал?

Я улыбнулся и развел руками:

— Бунгало нет, плавательного бассейна тоже. И отделом не руковожу.

— Перестань, Майкл, я не об этом тебя спрашиваю,— с искренним упреком сказал Брайт.

— Прости, Чарли, я пошутил. Просто я очень рад за тебя.

— Спасибо. Но о себе ты можешь что-нибудь рассказать? Как ты жил все это время?

— Работал. Как говорится, без особых взлетов и падений.

— Ты женат?

— Да.

— Мария? — он произнес это имя полуамерикански, полурусски: «Мэрриа».

— Она.

— Дети?

— Сын.

Мы поменялись ролями: теперь спрашивал он.

— Взрослый? — поспешно, словно это имело для него особое значение, спросил Брайт.

— Двадцать восемь лет. Почти старик.

— Тоже журналист?

— Нет. Бог спас. Служит в авиации. В гражданской.

Я бы мог, конечно, сказать ему, что Сергей работает радистом на самолете «ИЛ-62», который совершает регулярные рейсы между Москвой и Нью-Йорком, но... Но почему-то я умолчал об этом. Сам не знаю, почему. Может быть, потому, что настоящего разговора у нас с Брайтом не получалось. В жизни часто бывает, что мы с нетерпением ждем свидания с, казалось бы, дорогим человеком из прошлого, а когда свидание, наконец, происходит, этот человек оказывается призраком...

Таким призраком представлялся мне сейчас сидевший передо мной человек. Слишком много было связано у меня с Потсдамом. И, судя по всему, слишком мало у Брайта...

— А сам-то ты, сам-то как? — Брайт спрашивал поспешно, торопливо, будто хотел избавиться от вопросов с моей стороны. Впрочем, наверное, это мне просто почудилось.

— Что тебя интересует? — По правде говоря, у меня не было желания подробно рассказывать ему о себе.

— Сделал карьеру? — нетерпеливо спросил Брайт. — Какую? Ты ведь собирался стать историком, верно?

— Верно. Но не получилось. Работаю в журнале «Внешняя политика». Слышал о таком?

— Нет,— признался Брайт. — Да и где там! Едва успеваю читать газеты.

«Ведь и в самом деле «не получилось»,— с запоздалым сожалением подумал я. — Вернувшись из Потсдама, я хотел, кажется, только одного: быть вместе с Марией! Потом родился Сергей. Потом предложили работу в «Правде», в международном отделе, потом перешел в журнал. В качестве специального корреспондента стал часто ездить за границу. Аспирантура откладывалась из года в год. В конце концов превратился в журналиста-международника».

Но объяснять все это Брайту не имело смысла. Да и вряд ли заинтересовало бы его. Нас связывали с ним всего-навсего две недели в Потсдаме. А разъединяли целых тридцать лет. Впрочем, среди четырнадцати дней, проведенных тогда в Берлине—Потсдаме—Бабельсберге, были два или три, о которых не следовало забывать. Я их и не забыл. И пусть он не думает, что я их забыл. Мы и попрощались тогда по-хорошему, как друзья.

— Очень рад, Чарли, что снова вижу тебя,— сказал я, прекращая его расспросы.

— Я тоже рад, Майкл, что мы встретились,— отозвался Чарли.

Когда я уже потом думал о нашей встрече в Хельсинки, мне казалось, что эти слова Чарли

произнес иеобычным тоном, глуховато, задумчиво, может быть, печальио.

Но тогда я не обратил на это иикакого внимания.

— Мы с тобой, Чарли,— весело сказал я,— очень везучие люди.

— Везучие? — удивленно переспросил он. Я подумал, что, наверное, употребил неточное английское слово.

— Удачливые,— пояснил я. — Второй раз становимся свидетелями событий, решающих судьбы мира.

Вероятио, мои слова прозвучали слишком торжествеино. Особеиио для человека, который заиимал высокий пост в одной из америкаиских газет, обладал буигало, плавательным бассейном и редко вспоминал Потсдам.

Так или ииаче Брайт иа них ие реагировал.

— Что ты делал, когда я тебе позвонил? — спросил ои.

— Что делал? — переспросил я. — Обдумывал первую статью, которую должеи послать отсюда.

— Что-нибудь иадумал?

— По правде говоря, иет. Только иазвание.

— Какое?

— Не украдешь?

— Не беспокойся. Ваши заголовки редко иам подходят. Как, впрочем, и то, что вы под ними печатаете.

Я вспомнил давиее фото, из-за которого мы с ним когда-то поссорились. Но иапомииать о нем сейчас ие стоило.

— Думаю, что мое назваиие подошло бы и тебе,— сказал я.

— Почему?

— Верю в здравый смысл.

— Может быть, ты и прав. — Брайт ответил ие сразу. — Как же ты назвал свою статью?

— «Победа».

— Громко сказано! Чья же победа? Опять ваша?

Так я и зиал! Недаром, думая о будущей статье, я и сам задавал себе этот вопрос.

— Почему только наша? — не без раздражения спросил я. — Наша, ваша, всех!

— «Их» тоже?

— Ты имеешь в виду поборииков «холодиой войны».

— «Холодиая войиа»... — с горечью повторил Брайт. — Оиа была реальиостью, Майкл! Как каждая войиа, оиа имела своих убитых и раиеных. Своих солдат и геиералов. Ты увереи, что, вериувшись с войны, оии тоже рассыплются в прах? Как тот викииг...

Я посмотрел иа Чарли с изумлеиием. Прежиий Брайт ие мог бы сказать иичего подобиого. Просто ие сумел бы. Что же изменило его? Журналистский колледж? Самообразоваиие? Сама жизнь?

В том, что он сказал, прозвучала явная иеприязиь к «холодной войие». Это побудило во мне новый интерес к Брайту.

— С «холодной войиой» будет покончеио,— сказал я убеждеиио. — По этому поводу иам с тобой надлежит выпить. — Я решил махнуть рукой на мою чертову смету. — У меия в иомере иичего нет, но в этой гостииице иаверияка есть бар.

Брайт разом оживился, глаза его сверкнули знакомым юношеским блеском. Лишь миого времеии спустя я поиял: Чарли обрадовался ие только возможиости выпить, ио и тому, что иаш разговор меияет русло и мы можем ие касаться того, чего еще ие косиулись, но иеизбежио должны были бы косиуться.

— В бар приглашаю я! — с прежией своей категоричиостью объявил Брайт, вставая. — Мы едем ко мие.

— Ты, коиечио, живешь в каком-иибудь «Хилтоие»? — спросил я ироиически.

— В «Ваакуие». Там живут почти все американские журналисты. Одиому богу известно, что это слово озиачает по-фииски. Невообразимый язык! Однако я приглашаю тебя ие в «Ваакуи». Мы поедем в «Марски».

— Но я там был совсем иедавио! Оформлял свою аккредитацию.

— А я зову тебя в пресс-бар! Надо же отпраздновать предстоящее событие! Кстати сказать, финны просто лопаются от гордости, что оио произойдет в их столице. Да и вообще все ходят с таким видом, будто с послезавтрашиего дия иаступит рай земиой.

— А ты ие можешь обойтись без ада?

— Почему же! Судя по всему, ты победил, галилеяиин! — В устах Чарли, ие призиающего ии бога, ни черта, эти слова прозвучали страиио.

— Кто-иибудь уже приехал? — спросил я.

— Макариос. Прилетел иа самолете. Как аигел спустился, чтобы первым благословить эту райскую землю. Ты готов? — перебил ои сам себя. — Поехали!

— Зиаешь, Чарли,— мягко сказал я,— перенесем это на завтра. Мие иадо обдумать статью.

— Ты уже обдумал. «Победа». Пусть так и будет! Сегодия у иас едииствеииая возможиость посидеть в баре. Завтра иачнется суматоха. Кроме того, есть и еще одиа причина...

— Что ты имеешь в виду?

— Какой сегодия месяц?

— Месяц? — переспросил я. — Ну, июль.

Чарли посмотрел иа меия с молчаливым упреком.

— Неужели у тебя отшибло память, Майкл? — грустио спросил ои.

Только после этого я поиял его. Да, тогда дело было тоже в июле. Тогда ои так же виезапио появился в квартире Вольфов и так же категори-

чески заявил, что мы едем в «Подземелье» или «Подполье»...

Да, тогда, как и сейчас, был июльский вечер. Тридцать лет, разделявших эти вечера, как бы и не существовало...

Значит, он ничего не забыл! Зачем же он сказал мне, что редко вспоминает о прошлом?

— Я пришел, чтобы отпраздновать с тобой годовщину,— не глядя на меня, тихо произнес Брайт.

— «Андерграунд»? — спросил я дрогнувшим голосом.

Чарли молча кивнул.

— Едем! — решительно сказал я.

...Мы вышли из гостиницы. Машин у подъезда было мало, не то что возле «Марски». К одной из них — кажется, это была подержанная шведская «Вольво» — и направился Брайт.

— Уж не прикатил ли ты из Штатов на своем автомобиле? — пошутил я.

— Пока на свете существует «Херц», в этом нет необходимости,— ответил Брайт, распахивая передо мной дверцу машины. — Можешь взять напрокат такую же. Выкладывай монету и бери. — В тоне его снова послышались хвастливо-самоуверенные нотки.

Сев за руль, Брайт включил мотор и с ходу рванул машину. Манера езды осталась у него прежняя...

В этот еще не такой уж поздний час город, казалось, уже спал. Прохожих было совсем мало. Изредка навстречу нам попадались машины, многие из них с иностранными флажками.

— Тихий город,— заметил я.

— Посмотришь, что будет делаться завтра! — усмехнулся Брайт. — Одних корреспондентов съехалось около полутора тысяч. Да еще тридцать пять делегаций. Попробуй поработай!

— Будешь брать интервью?

— Это черная работа. Для нее другие найдутся! — пренебрежительно ответил Чарли. — Впрочем, у Брежнева я взял бы интервью с удовольствием. Поможешь? — Брайт снова усмехнулся.

— Ты переоцениваешь мои возможности, Чарли,— в тон ему ответил я. — А что бы ты спросил у Брежнева?

— Задал бы ему только один вопрос.

— Какой?

— «Как вам это удалось, сэр»?

— О чем ты говоришь?

— «Как вам удалось созвать этот вселенский собор!»

— Ты считаешь, что его созвали мы?

— О, святой Иаков! — передернув плечами, воскликнул Чарли. — Конечно, вы, коммунисты, русские, одним словом! Впрочем, вы предпочитаете называть себя «Советский Союз»? А мы к этому до сих пор не можем привыкнуть.

— Значит, ты всерьез убежден, что Совещание созвали мы? — повторил я свой вопрос.

— Чего ты злишься? Разве я против? Отличная затея! Может быть, мы с тобой теперь обойдемся без хорошей дозы стрихнина.

Это звучало уже серьезнее.

— Хотелось бы верить, что не только мы, но и наши дети.

— И наши дети,— подхватил Чарли. — Чего-чего, а настойчивости у вас хватает! — добавил он своим обычным беспечно-ироническим тоном.

Брайт, конечно, плохо представлял себе ту поистине гигантскую работу, которую пришлось проделать, чтобы идея Совещания воплотилась в жизнь. Но насчет нашей настойчивости он был в общем прав. Я с невольной гордостью снова подумал, что идея Совещания — это наша, советская, точнее, общесоциалистическая инициатива.

Однако начинать серьезный разговор с Чарли у меня не было желания. Хотя рядом со мной сидел сейчас другой, не прежний взбалмошный Чарльз Брайт, но все же...

Я ограничился тем, что сказал:

— Ты недооцениваешь свою сторону, Чарли.

— В каком смысле?

— Если бы руководители западных стран не послушались голоса рассудка, Совещание не могло бы состояться.

— Узнаю тебя, Майкл! — с добродушной усмешкой произнес Брайт.— Все, что предлагает ваша партия,— это голос рассудка. А если мы не согласны, то это голос трестов и монополий. Верно?

— В большинстве случаев так оно и бывает.

— Чувствую, что интервью с Брежневым у меня не получилось бы,— вздохнул Брайт. — Вряд ли он согласился бы тратить время на разговор со мной. Но интересно было бы спросить его: «Что для вас главное в международных отношениях?»

— Могу заранее предположить, что бы он тебе ответил. Едва ли не самым главным он считает мирные отношения с вашей страной.

— Увы, Майкл, ты не Брежнев. Если бы это сказал, допустим, Громыко...

— Ах, тебя устраивает и Громыко,— усмехнулся я. — Боюсь, что и он не стал бы тратить на тебя время. Впрочем, полагаю, он ответил бы примерно то же самое.

Тем временем мы подъехали к гостинице «Марски». Поставить здесь машину оказалось гораздо сложнее, чем возле моего скромного отеля. Автомобили уже и так стояли в два ряда, а по проезжей части улицы медленно двигались все новые и новые — их водители явно выжидали, когда освободится хоть какое-нибудь местечко.

Нам повезло. Когда мы приблизились к подъезду, водитель стоявшего позади «Мерседеса»

стал осторожно выводить свою машину. Брайт нажал на тормоз, остановил нашу «Вольво» так, что она подпрыгнула, мгновенно включил заднюю скорость и как бы наугад, а на самом деле с точным расчетом поставил машину на освободившееся место.

Брайт опередил всех других водителей, также пытавшихся куда-нибудь приткнуться. Один из них громко выразил свое возмущение по-французски. На лице Чарли появилась самодовольно-удовлетворенная улыбка.

Мы вышли из машины, сопровождаемые громкой руганью на французском языке.

— Прицепи свою карточку,— сказал Брайт. Я достал из кармана зеленый пластмассовый прямоугольник и приспособил его к лацкану пиджака.

Войдя в холл, я направился было к знакомой лестнице, ведущей в бельэтаж, но Брайт потащил меня в другую сторону, прямо противоположную. Мы подошли к небольшой двери. Брайт открыл ее. Перед нами была узкая лестница, уходившая вниз.

— Опять «Подземелье»! — шутливо сказал я.

— Перестань! — с неожиданным раздражением, почти злобно оборвал меня Брайт. — Сейчас семьдесят пятый год, а не сорок пятый.

Я с недоумением посмотрел на него. Что ему не понравилось в моем шутливом замечании? В конце концов нас связывало только прошлое. Если Брайт не хотел вспоминать о нем, то зачем он вообще разыскивал меня? Наконец, разве не он сам пригласил меня в этот бар?..

Однако объясняться я не стал, тем более что мое внимание привлек внезапно открывшийся перед нами общий вид пресс-бара.

Сначала я не увидел ничего, кроме множества человеческих голов, словно бы плававших в голубовато-розовом тумане. Спустившись немного ниже, я уже мог как следует разглядеть то, что было видно отсюда. Должен признаться, это производило впечатление. С потолка гирляндами свешивались длинные металлические патроны с разноцветными светильниками из матового стекла. Тускло поблескивала синяя и оранжевая обивка небольших удобных кресел. Все здесь купалось в спокойных, мягких, ласкающих глаз волнах желтого, голубого, розового света. Разноцветно сияли полки, сплошь уставленные бутылками с пестрыми этикетками, блестели медные перильца, окаймлявшие стойку из лакированного темно-красного дерева. Перед ней выстроились высокие, обитые яркой кожей стулья-табуреты.

Все это было окутано голубовато-розовыми облаками поднимавшегося к потолку табачного дыма.

Я почувствовал, что ко мне возвращается хорошее настроение. И не только потому, что я оказался в отличном баре, обставленном со вкусом, без американской крикливости или английской нарочитой обыденности. Я невольно ощутил атмосферу праздничной приподнятости и спокойного веселья, которая, как я почувствовал, объединяла собравшихся здесь людей. Праздник ощущался не только в ласкающем глаз освещении или в разноцветном блеске множества бутылок, не только в широкой, полной гостеприимства улыбке толстого бармена. Ощущение праздника создавала та неуловимая атмосфера, которая возникает между людьми, пусть мало знающими друг друга, но вместе предвкушающими некое незаурядное, из ряда вон выходящее, особо важное событие.

— Что же ты? — раздался за моей спиной нетерпеливый голос Брайта. — Спускайся!

Потянув меня за рукав пиджака, он стал спускаться первым.

— Привет, ребята! — громко сказал Брайт, проходя мимо столика, за которым сидели четверо мужчин с такими же, как у нас, зелеными карточками на лацканах пиджаков. — Привел моего русского друга! — еще громче сказал он.

За другим столиком пили кофе двое мужчин и немолодая женщина с серебристо-седыми волосами (цвет, в который обычно красят волосы пожилые американки). Брайт поклонился им и тоже сказал что-то насчет своего русского друга.

Однако в этом баре Брайта встречали совсем иначе, чем в «Андерграунде». Когда он там появился, со всех сторон слышались приветливые возгласы «хэлло!».

Его появление здесь прошло почти незамеченным. Впрочем, завсегдатаями того, берлинского, заведения были сплошь американцы или англичане — естественно, что они уже давно знали друг друга. Здесь же собрались журналисты из многих стран: они, наверное, не знали Брайта, так же, как и он вряд ли знал их. Вероятно, поэтому Брайт особенно хотел обратить на себя внимание. Это меня раздражало. Да и «своего русского друга» он упоминал так часто не из вежливости, а просто потому, что «торговал» мной, как если бы явился сюда с кинозвездой, популярным спортсменом или какой-нибудь другой знаменитостью.

Но я не был ни звездой, ни спортсменом. Вряд ли хоть один человек, находившийся здесь, слышал мою фамилию. Поэтому меня не могло не раздражать поведение Брайта.

Но раздражение мое улеглось очень быстро. Все, кому говорил обо мне Брайт, услышав, что я русский, не оставались к этому безучастны. Мне улыбались, приветливо кивали, махали вслед, а пожилая дама с серебристо-седыми волосами — на вид она была не моложе бессмертной Женевьевы Табуи, с которой я встречался в Париже,— даже подняла бокал и крикнула: «Чиррио!», что по-английски означало: «За ваше здоровье» или нечто в этом роде.

Пока мы пробирались к свободному столику, ее примеру последовали еще несколько человек. Слышались негромкие возгласы «Хай!», «Салю!», «Виллькоммен!»... — смесь английских, французских, немецких и еще бог знает каких приветствий...

Я не был настолько глуп, чтобы принимать эти знаки внимания на собственный счет. В моем лице, конечно же, приветствовали русского, то есть советского человека.

Вежливо раскланиваясь в ответ, я в то же время оглядел зал и убедился, что здесь нет никого из наших. Поэтому я представлял собой сейчас скорее некий символ, нежели реального живого человека...

Однако чувствовал я себя все-таки не в своей тарелке и облегченно вздохнул, когда мы, наконец, добрались до свободного столика и уселись в кресла.

— Что будем пить? — деловито осведомился Чарли. — Водку?

Пить водку на западный манер — небольшими глотками и без закуски — мне вовсе не хотелось. Но поскольку хозяином здесь был Брайт, я сказал:

— Все равно. Что хочешь.

Только сейчас я расслышал, что в баре играла негромкая музыка. Она звучала непрерывно, но как бы под сурдинку и нисколько не мешала людям разговаривать.

Внезапно музыка смолкла. Из невидимого микрофона раздался негромкий, вкрадчивый голос:

— Мистер Бентон, вас вызывают к телефону. Спасибо. Кабина номер восемь, пожалуйста. Месье Арну, вас приглашают на телекс. Спасибо.

Невидимый диктор обращался к мистеру Бентону по-английски, а к месье Арну по-французски. Двое мужчин в разных концах бара поднялись со своих мест и направились к лестнице.

Между тем Брайт уже возвращался от стойки, за которой стоял все так же улыбающийся толстый бармен в ослепительно белой куртке. В руках у Чарли были высокие стаканы.

— Для начала взял пару «скочей»,— сказал он. — Потом решим, что делать дальше.

Брайт поставил стаканы на стол.

— Вот мы и снова вместе, Майкл! — сказал он с улыбкой.— Выпьем за твою «Победу».

— За нашу общую победу, Чарли,— сказал я и поднял стакан.

На мгновение лицо Брайта просветлело.

Мы отпили по глотку.

— И все-таки... — задумчиво сказал Брайт. — И все-таки, я никак не могу поверить, что это стало возможно.

— Что именно?

— Совещание. Десять лет назад я не поставил бы на него и цента против доллара.

— Значит, ты плохой бизнесмен,— шутливо сказал я.

Когда-то он упрекнул меня в том, что я никудышный бизнесмен. Теперь я как бы брал реванш.

Но, судя по вопросительно-настороженному выражению его лица, Брайт не понял моей шутки.

— Что ты имеешь в виду? — с тревогой спросил он.

Музыка снова смолкла, и опять раздался бархатный голос по радио. На этот раз диктор говорил по-немецки:

— Хэрр Болендорф, такси ждет вас у подъезда. Спасибо!

Полный человек, сидевший неподалеку от нас, поспешно встал из-за стола и, на ходу застегивая пиджак, быстрыми шагами пошел к лестнице.

— Что ты все-таки хотел этим сказать? — повторил Брайт.

Я с удивлением посмотрел на Чарли. Почему моя фраза столь привлекла его внимание? И вообще, что с ним в конце концов произошло? Куда девалась его прежняя непосредственность? Я не мог понять, как этот, сегодняшний Брайт ко мне относится. С одной стороны, Чарли, безусловно, хотел увидеть меня. Когда он позвонил по телефону и ему показалось, что я не очень хочу увидеться, в голосе его зазвучала горькая обида.

Почему же теперь, когда мы все же встретились, в его тоне время от времени проскальзывает нечто похожее на подозрительность? В чем дело? В той, давнишней нашей ссоре из-за фотографии? Но ведь после нее было и многое другое, что снова сблизило нас...

Впрочем, на первый взгляд Брайт вел себя как обычно: был оживлен, весел, пытался шутить.

Входя в бар, я надеялся встретить здесь кого-нибудь из журналистов братских стран. Среди них у меня было много добрых знакомых, даже друзей. Но никого не встретил.

Между тем, пока я осматривался, с Чарли произошла странная перемена. Теперь он с явным испугом глядел на лестницу, по которой мы только что спустились. Мне показалось, что он даже сделал попытку спрятаться за меня.

Я тоже посмотрел на лестницу. В розово-желтом тумане, окутывавшем бар, я увидел, что по ней спускается невысокий, очень полный человек. Меня заинтересовало, почему Чарли так реагирует на его появление. Я разглядел, что вошедший был уже немолод, лет шестидесяти, не меньше. На нем были очки в массивной оправе и, как ни странно, смокинг с атласными лацканами. Из-под смокинга выглядывали белоснежная сорочка и галстук-бабочка. Подстрижен он был очень аккуратно, я бы сказал, консервативно. Почему-то я сразу принял его за американца, всем своим видом желавшего подчеркнуть, что не имеет ничего общего с

разными «хиппи» и принадлежит к совсем другому миру. Выражение лица было у него презрительно-властное. Снисходя до общения с сидевшими здесь людьми, он как будто просил их помнить, кто он такой.

Спустившись по лестнице, человек этот остановился и привстал на цыпочки, видимо, в поисках свободного столика.

На мгновение — только на мгновение! — мне показалось, что я когда-то встречался с этим американцем. Что-то знакомое почудилось мне в его лице. Но что, что именно? Нет, может быть, этот человек и напоминал мне кого-то, но видел я его впервые.

Свободных столиков в баре не было. Американца заметили. Несколько человек жестами приглашали его к себе.

Посмотрев в нашу сторону и, очевидно, увидев Чарли, он стал пробираться к нам и, подойдя, громко спросил Брайта:

— Какого черта вы здесь торчите?

— Я полагал, сэр,— приподнимаясь со своего места, пробормотал Чарли,— что вы сегодня на приеме...

— И потому вам можно бездельничать?

Даже в розово-голубом тумане бара я увидел, как покраснел бедный Чарли.

— Я случайно встретил...

— Встречать вам надо не здесь, а в аэропорту. Ваше место там!

— Но, сэр,— жалобно проговорил Брайт,— сейчас уже одиннадцатый час. Ни одного самолета сегодня больше не ждут.

— Ах, вы не ждете! — саркастически произнес американец. — А вот Жискар и Герек изменили свое расписание, не согласовав с вами. Короче, немедленно отправляйтесь в аэропорт!

— Слушаю, сэр,— покорно сказал Брайт. — Прошу извинить меня. Я встретил советского коллегу, своего старого знакомого.

— Какого коллегу? — Американец вдруг заговорил совсем другим, заинтересованно-доброжелательным тоном. — Советского? — Обернувшись ко мне, он спросил: — Вы говорите по-английски?

— Когда мне этого хочется,— не глядя на него, ответил я. Меня возмутило, как этот тип разговаривал с Чарли, да еще в присутствии постороннего человека.

Однако моя резкость не произвела на американца никакого впечатления.

— Прекрасно! — добродушно сказал он. Обращаясь к уже вставшему, чтобы уйти, Брайту, он с улыбкой попросил: — Представь же нас друг другу, Чарли!

— Но вы, сэр,— запинаясь, начал Брайт, вдруг замолчал, потом продолжал, словно с трудом обретая дар речи: — Я хочу сказать, что вы мистер Стюарт, когда-то встречались с моим приятелем. Правда, это было очень давно. Прошло тридцать лет. Вы, вероятно, забыли. Потсдамская конференция, советский корреспондент мистер Воронов...

«Мистер Стюарт!» Я чуть не хлопнул себя по лбу. Конечно, это был он, тот сукин сын и провокатор, из-за которого я чуть было не пострадал. На мгновение передо мной возник прежний Стюарт, в тех, запомнившихся мне очках с золотой оправой, с вежливо-надменным взглядом. Конечно, это был он, этот чертов англичанин, которого я почему-то принял сейчас за американца. Ну и постарел же он! Впрочем, и тогда, в Потсдаме, он был или казался старше и меня и Брайта.

Естественно, что я не испытывал особого восторга от этой встречи. Но почему так испугался Брайт? Почему он так лебезил перед этим Стюартом?

— О-о, мистер Воронов! — с преувеличенной, я бы сказал, сладострастной любезностью воскликнул Стюарт. — Я очень, очень рад видеть вас. Прибыли на Совещание?

Я нехотя кивнул головой.

— Ты валяй в аэропорт, Чарли, а я посижу с нашим русским коллегой,— уже совсем миролюбиво сказал Стюарт и, не ожидая приглашения, сел рядом со мной. — Имей в виду,— снова обратился он к Брайту,— что все делегации после прилета сразу проходят в комнату для почетных гостей. Журналистов туда пускать не будут. Тебе придется околачиваться в соседнем помещении. Надо быть все время начеку: вдруг кому-нибудь из руководителей или членов делегации придет в голову сделать заявление для печати. Понял?

— Но мне точно известно, что сегодня... — снова начал Брайт. Видимо, ему до смерти не хотелось уходить.

— Не твое дело,— уже прежним оскорбительно-грубым тоном перебил его Стюарт.— Могут быть любые неожиданности. Твоя развалюха на месте?

Только сейчас я заметил, что, обращаясь к Брайту, Стюарт подчеркнуто щеголял американским разговорным языком. Именно американским. В Потсдаме он отличался безукоризненно английским произношением, которое принято называть оксфордским. Этим он как бы противопоставлял себя Брайту, американскому плебею с характерным для него вульгарным жаргоном.

Теперь все было наоборот. Не только внешностью, но и манерой говорить Стюарт явно старался походить на стопроцентного «янки».

— Машина со мной, сэр,— уныло ответил Брайт.

— Садись в нее и жми в аэропорт.

— Позвольте мне хоть расплатиться...

— Расплачусь я. Отправляйся! Мистер Воронов, я надеюсь, не откажется посидеть со мной немного...

— Извини меня, Майкл,— смущенно сказал Брайт. — Сам понимаешь, дела... Я еще разыщу тебя. Прости.

Брайт уходил, ссутулившись, с низко опущенной головой. Я следил за ним, пока он не поднялся по лестнице и не скрылся из вида.

«Теперь моя очередь!» — сказал я себе, решив немедленно уйти.

— Сожалею, что нарушил вашу компанию, сэр,— любезно сказал Стюарт. — Но вы же знаете Брайта: дорвавшись до спиртного, он может выйти из строя на несколько дней. В такое-то время! Словом, я спас Чарли от него самого.

Все это он произнес добродушно-благожелательным тоном. Но я снова почувствовал крайнее раздражение. Чарли Брайт вовсе не был пьяницей! Я помню, он при случае охотно пропускал глоток-другой виски, но и только. Особого пристрастия к алкоголю он никогда не обнаруживал.

К тому же я никак не мог понять, почему этот англичанин, которого я знал как корреспондента лондонской газеты, так ведет себя по отношению к Брайту? Может быть, Чарли теперь работает в Лондоне? Но он же сам сказал мне, что руководит иностранным отделом в «Ивнинг гардиан», а это американская газета! Кто же дал Стюарту право так обращаться с журналистом, занимающим высокий пост в своей редакции? Наконец, почему Стюарт корчит из себя американца?..

— Я ухожу,— грубо сказал я. — Прощайте! — В конце концов какого черта я сижу рядом с этим человеком? Мне бы с ним и здороваться не следовало!

— Почему? — спросил Стюарт с удивлением, в искренность которого трудно было поверить.

— Потому что не желаю иметь с вами никакого дела. После того, что произошло тогда...

— Стоп! — прервал меня Стюарт. — Ваше поведение, мистер Воронов, лишено логики.

— Какая еще, к черту, логика!

— Более того,— спокойно продолжал Стюарт,— позволю себе заметить, что вы действуете не в духе времени.

— Это еще почему?

— Насколько я понимаю, вы не желаете иметь со мной дела из-за истории с той полькой. Согласен, это был типичный эпизод «холодной войны». Но в международной жизни были сотни таких эпизодов. Из них, в сущности, и состояла «холодная война». Теперь ситуация изменилась! Не забудьте, что мы находимся в Хельсинки. Мы приехали сюда, чтобы перечеркнуть «холодную войну». А вы, мистер Воронов, намерены продолжать ее, так сказать, единолично. Может быть, вы считаете предстоящее Совещание ошибкой и приехали сюда, чтобы ворошить старое?

При всей моей неприязни к Стюарту нельзя было не признать, что в его словах есть здравый смысл. Я сидел в нерешительности.

— Что будем пить? — спросил Стюарт, брезгливо отодвигая стакан Брайта.

— Простите,— сухо сказал я,— мне действительно надо идти.

— Но почему? Ведь еще нет одиннадцати. Наверное, вас все же обидело, что я прогнал этого Брайта. Вы, по-видимому, считаете его своим другом.

— На месте Брайта... — хмуро начал я.

— Не могу представить вас на месте Брайта,— тонко улыбнувшись, перебил меня Стюарт. — Он всего лишь мелкий, ленивый репортер. Как редактор газеты, в которой он работает, я...

Он недоговорил, потому что голос по радио, вновь остановив музыку, назвал его фамилию:

— Мистер Стюарт, вас приглашают к телефону. Пресс-центр, четвертая кабина. Спасибо.

«Вот здорово! — подумал я. — Сейчас он пойдет к телефону, а я расплачусь и сбегу».

Но не тут-то было.

— Бармен! — крикнул Стюарт.

Бармен явился с быстротой, неожиданной для его комплекции.

— Передайте на коммутатор,— по-прежнему громко сказал Стюарт,— чтобы меня не беспокоили. Меня здесь нет. Ни для кого! Даже для президента Соединенных Штатов!

Это было произнесено с таким расчетом, чтобы слышали все окружающие.

Бармен поклонился, поспешил к своей стойке и нырнул за нее. Видимо, там у него был телефон.

Стюарт некоторое время посматривал по сторонам, словно желая удостовериться, что его акция произвела впечатление. Затем повернулся ко мне.

— Вы редактор газеты? — удивленно спросил я, возвращаясь к прерванному разговору.

— Вам кажется, что я не гожусь для этой роли? Должен вас разочаровать. Я редактор и издатель газеты, в которой работает Брайт. Короче говоря, она принадлежит мне и он, следовательно, тоже.

— «Ивнинг гардиан»?!

— Вот именно.

— Но это же американская газета!

— Уже в течение четверти века ваш покорный слуга является гражданином Соединенных Штатов Америки,— наслаждаясь моим недоумением, веско произнес Стюарт.

— Каким же образом? — пробормотал я.

— Когда вы будете менее агрессивно настроены и согласитесь забыть о потсдамском Стюарте, я с удовольствием расскажу, как это произошло.

Воспользовавшись моим замешательством, Стюарт слегка — без всякой фамильярности — прикоснулся к моему плечу и спросил:

— Вы встречались с Брайтом после Потсдама?

— Нет. Но все равно мы старые друзья. Потсдам не забывается.

Помимо воли я преувеличил свою близость с Чарли. Уж очень мне хотелось показать этому Стюарту, что его отношение к Брайту никак не может повлиять на мое.

— Вы совершенно правы,— понимающе подтвердил Стюарт. — Брайт тоже не забыл о Потсдаме. Он даже написал о нем книжку. Называлась, кажется, «Свидетельство очевидца».

— Чарли? — удивленно переспросил я. — Вы хотите сказать, что Чарли написал что-то о Потсдамской конференции?

— Да, именно. В пятидесятых годах он выпустил книжонку о Потсдаме.

Чарли — автор книжки, да еще о Потсдаме?! Это было невероятно.

— Не приходилось читать,— пробормотал я.

— Ее и в Штатах мало кто читал,— пренебрежительно заметил Стюарт. — Мне-то самому пришлось полистать ее гораздо позже. Когда я брал этого парня в свою газету. Так что же мы будем пить?

Не дожидаясь ответа, Стюарт снова подозвал бармена.

Я сидел пораженный. Что мог написать Чарли о Потсдаме? Да еще как «очевидец»! Ведь он же ничего толком не знал и не видел! О том, что происходило в Цецилиенхофе, даже я знал больше, чем он. Кроме того, почему теперь, когда мы снова встретились, он ни слова не сказал о том, что написал книгу о Потсдаме? Впрочем, он вообще врал мне. Говорил, что руководит иностранным отделом...

Подошел бармен. Стюарт заказал себе водку со льдом.

— Вам тоже? — спросил он.

Я ответил, что у меня еще есть виски.

— Все меняется на свете,— с добродушной иронией заметил Стюарт, когда бармен отошел. — Вы знаете, какой сейчас самый популярный напиток в Штатах? Думаете, виски?

— Водка. Я бывал в Штатах.

— И даже не смирновская, а именно ваша. «Столичная». Дороже ценится. — Слово «столичная» Стюарт произнес почти по-русски и широко улыбнулся.

— Простите,— снова заговорил он,— какую газету вы здесь представляете?

— Я представляю журнал. Он называется «Внешняя политика»,— ответил я, уверенный в том, что этот журнал никогда не попадался на глаза Стюарту.

— Знаю,— неожиданно сказал он. — «Внешняя политика». Выходит в Москве ежемесячно. Так?

Каждый журналист немножко тщеславен. То, что Стюарт знал о существовании моего журнала, отчасти расположило меня в его пользу. Я кивнул.

— Все русские, кажется, живут на пароходе,— сказал Стюарт. — Вы тоже?

— Я — в гостинице. Только сегодня прилетел.

— А я вчера.

Мы помолчали.

— Мистер Воронов,— заговорил Стюарт, стараясь придать своим словам некую задушевность,— давайте забудем старое. В карете прошлого никуда не уедешь. Вы помните, кто это сказал?

— Помню.

— Я видел «На дне» мальчишкой. Ваш Художественный театр гастролировал тогда в Европе. Итак, давайте поставим крест на прошлом. Все в мире изменилось. Символ этих изменений — «Хельсинки». Будем считать, что мы встретились впервые. Американский редактор и русский...

— Политический обозреватель.

— Отлично. Мы с вами живем сейчас в изменившемся мире.

— Да, друг Горацио,— усмехнулся я.

— Вы платите Шекспиром за Горького. Благодарю. Так вот, может быть, я был слишком настойчив в своем желании задержать вас здесь. Но, не скрою, мне хочется поговорить с вами. Так сказать, на новом этапе. В преддверии Совещания американскому редактору хочется побеседовать с советским политическим обозревателем. Разве это не естественно?

Я слушал Стюарта, отвечал ему, но продолжал думать о Брайте и о книжке, которую он написал. Наконец я не выдержал и, прервав Стюарта, спросил:

— Вы сказали, что Брайт что-то написал о Потсдаме?..

— Ерунда! — Стюарт пренебрежительно махнул рукой.

— Мы были в Потсдаме вместе, и мне интересно, что же он написал? — настаивал я.

— Что мог написать Брайт? — пожав плечами, ответил Стюарт. — Честно говоря, я и сам не помню.

— Но все-таки?

— Обещаю, что разыщу его книжку на нью-йоркской свалке и пришлю вам. Дайте мне визитную карточку. Впрочем, ваш адрес есть на обложке журнала. Мои референты его получают.

— Спасибо. Но вы не могли бы несколько подробнее...

Стюарт подозвал бармена и заказал двойную порцию шотландского виски «Черный ярлык». Это

был один из самых дорогих сортов шотландского виски, если не самый дорогой.

Стюарт вопросительно посмотрел на меня.

— Апельсиновый сок,— сказал я.

— Дайте вспомнить,— комически-обреченным тоном произнес Стюарт, видя, что я смотрю иа него с нетерпением. — Если мне не измеияет память, Брайт в своей книжке утверждал, что жнть с вами в дружбе невозможно. Что к вам иеприменимы критерии цивилизованного мира. Ои описывал, например, как Сталин пытался навязать Западу свои правительства в Восточиой Европе. Послушайте, мистер Воронов,— вдруг перебил сам себя Стюарт, обнажая в улыбке свои ослепительно белые — конечно, вставные — зубы. — Я вовсе не собираюсь защищать то, что он когда-то настрочил. Вы хотите иазвать это антисоветской стряпней? Согласеи. Впрочем, лет двадцать иазад она воспринималась по-иному. Сейчас это уже анахронизм.

— Вы считаете, что с антисоветской стряпней в ваших газетах покоичеио? — вежливо спросил я.

— Не задирайтесь! — шутливо-сиисходительио отозвался Стюарт. — Мы же договорились — новая эра! В прошлом вы тоже иемало порезвились иа «трубадурах империализма» и «поджигателях войны», на Пентагоне и военно-промышлеиим комплексе...

— Это иазвание изобрели не мы.

— А кто же?

— Президент Эйзенхауэр. Ему было видиее.

— Ладно, не будем считаться,— снова улыбиулся Стюарт. — До семьдесят третьего вы ие входили в международную авторскую конвенцию. Могли и позаимствовать. Перевернем страницу и начнем жить по-человечески, без осточертевшей грызни. Должеи же для чего-нибудь войти в историю этот июль семьдесят пятого! Отныне Хельсиики ие только столица Фииляидии. Это и символ. Согласиы?

Теперь он правильио говорил, этот Стюарт. Разумно! Черт с ним, с Брайтом и с его книгой! В конце концов Потсдам — это уже история. Новым критерием междуиародиых отношений становятся теперь Хельсинки. Это слово прочио войдет в арсенал борьбы за мир. Надо смотреть вперед, а не назад. Вперед и только вперед!

— Согласеи! — уже более дружелюбно ответил я. — Забудем о иашем старом споре. В коице концов это уже далекое прошлое. Сюда же люди едут для того, чтобы строить будущее...

— Вот именно! — воскликнул Стюарт. — А как, по вашему мнению, будет выглядеть Заключительный акт?

— Я могу только предполагать...

— Что ж, давайте ваш вариаит. Я дам свой, а потом проверим.

Стюарт усмехиулся и глотнул из стакаиа. Пить он, видимо, умел: сначала — водка без всякой закуски, затем — двойная порция иеразбавленного виски. Другой бы на его месте давно захмелел.

— Никакого своего варнанта я, естественно, дать не могу,— сказал я. — Но главный смысл документа, мне кажется, предсказать можно.

— Попробуйте.

— Главным, по-моему, является убежденне в том, что так дальше продолжаться не может. «Холодная война» изжила себя, выроднлась и должна либо прекратиться, либо перерасти в горячую войну и предоставить обезьянам начать все сначала. Если они сохранятся, конечно.

Стюарт вннмательно смотрел на меня.

— Дальше?

— А что дальше? — Я пожал плечами. — Остальное — дело техники. Необходимо практически обеспечить мирное сосуществование, сокращение вооружений, стабильность существующих границ, развитие экоиомических и культурных связей.

— Не слишком ли все просто на первый взгляд? — усмехнувшись, сказал Стюарт.

— Великое всегда просто,— пошутил я.

Но Стюарт даже не улыбнулся. Глаза его попрежнему смотрели на меия внимательно и пытливо.

— Как известно, физика — наука внеклассовая. Во всех школах мира одинаково учат, что от соприкосновения разных электрических полюсов происходит разряд. Назовем его взрывом. Вот мне и хочется вас спросить: а как же будет с иашими системами?

— В каком смысле?

— «Два мира — две системы»! Вы так пншете в своих газетах, верно?

— Верно.

— Но тогда ваши выводы, как бы это сказать... — Стюарт пошевелил пальцами, точно пытаясь поймать нужное слово. — Если использовать марксистскую терминологию, ваши выводы несколько идеалистичны.

«В баре финской гостиницы,— подумал я,— американский газетный босс учит меия марксизму. Воистину, зрелище для богов!»

— Почему же? — спокойно спросил я.

— Потому что, если не изменятся причины, останутся неизменными и следствия,— ответнл Стюарт. — Если вы не изменитесь, все останется по-прежнему.

В пылу спора я не замечал, что люди, сидевшие за соседним столиком, внимательио к нам прислушивались. Я понял это, когда возле меня неожиданно оказался молодой парень в джинсах и рубашке-«ковбойке». В руке ои держал стакан с виски.

— Простите,— сказал парень, обращаясь ко мне,— я хотел бы выпить за вас. Но, пожалуйста, не верьте ему.— Он кивнул в сторону Стюарта, протянул ко мне стакан и добавил: — Фрэд Эллиот. «Дейли уорлд».

— Газетка наших «комми». Тираж не дотягивает и до пятидесяти тысяч,— презрительно процедил Стюарт.

— Кто вы такой, сэр? — вежливо спросил его парень.

— «Электрик Машинери Корпорэйшн». Слыхали? — наливаясь краской, ответил Стюарт.

— Плевал я на вашу... — парень грубо выругался,— «корпорэйшн». Здесь место для журналистов!

— Но я редактор «Ивнинг гардиан»,— возмущенно воскликнул Стюарт. Он выхватил из кармана пластмассовую зеленую карточку и бросил ее на стол.

— Значит, помесь таксы с бульдогом,— спокойно констатировал парень.

Я смотрел на него с удивлением. Во-первых, он употребил нецензурное слово, которое, впрочем, теперь часто встречалось в современной американской беллетристике. Во-вторых, при чем тут «корпорэйшн»?

Парень все еще выжидающе стоял возле нашего столика со стаканом в руке.

Я встал и звонко чокнулся с ним своим бокалом, в котором еще осталось немного сока.

— Благодарю вас,— сказал я. — За тост и за совет.

Парень отошел. Когда он сел за свой столик, его соседи громко рассмеялись.

— Продолжим наш разговор,— как ни в чем не бывало сказал Стюарт, пряча в карман свою карточку, очевидно, он не носил ее на лацкане, чтобы не походить на «обыкновенного журналиста». — Он ведь у нас дружеский, не так ли, мистер Воронов? Откровенный, дружеский разговор, не так ли?

— Допустим, что так,— уклончиво ответил я. — Но я хотел бы знать, каких изменений вы от нас ждете?

— Таких, которые пойдут вам же на пользу,— пояснил Стюарт. — Только таких.

— Например?

— Все это хорошо известно, мистер Воронов! — добродушно произнес Стюарт. — Чтобы жить в мире, надо лучше знать друг друга. Но разве можно в газетных киосках вашей страны найти хотя бы одну американскую газету? «Дейли уорлд» не в счет, ее и в Штатах только коммунисты читают.

«Старая песня! — с тоской подумал я. — «У вас нет свободы печати»... «У вас только одна партия...» Как скучно!»

— Что еще?

— Я мог бы,— все так же добродушно ответил Стюарт,— вывалить на вас всю «третью корзину». Однако я не собираюсь делать это. Наши и ваши бюрократы уже и так охрипли, обсуждая ее содержимое в Женеве. Если они пришли к соглашению, то отчего бы и нам не сговориться? В конце концов, взаимопонимание зависит от людей бизнеса и журналистов в гораздо большей степени, чем от чиновников государственного департамента или министерства иностранных дел.

— Вы, кажется, причисляете себя к бизнесменам?

— В известной степени. Вы тоже не слышали о фирме «Электрик Машинери Корпорэйшн»?

— Не слышал,— признался я.

— Между тем она не из последних.

— Какое же отношение вы к ней имеете?

— Фирма принадлежит нашей семье. Как-нибудь я расскажу вам свою «одиссею».

«Еще одна неожиданность! — подумал я. — Значит, этот тип действительно не только редактор газеты, но и бизнесмен. «Фирма принадлежит нашей семье»... Чудеса в решете!»

— Никак не могу понять,— сказал я,— чего вы от нас все-таки ждете? Чтобы мы продавали ваши газеты?

— Но, мистер Воронов, это же просто символ! — возразил Стюарт. — Разумеется, гораздо важнее, чтобы ваши танки ушли из Европы.

— А что вы предлагаете взамен? Ликвидируете свои средства передового базирования? Так они, кажется, у вас называются? Что ж, давайте поторгуемся. Бизнес есть бизнес!

— Согласен, давайте торговаться. Во-первых, ваш уровень жизни еще очень невысок. Мы поможем повысить его. Продадим товары, нужные вашему населению. У вас плохие отели, рестораны, магазины. Скажите откровенно, есть у вас что-либо похожее хотя бы на этот бар? Качество обслуживания в вашей стране очень низкое. Я позволяю себе говорить вполне откровенно...

— Валяйте, валяйте,— отозвался я, употребляя одно из жаргонных словечек Чарли.

Наш разговор прервался, ибо музыка вновь смолкла и нежный голос диктора сказал:

— Атеншен, атансьон, ахтунг! Леди энд джентльмен, мадам э месье, майне дамен унд хэррен!

Стюарт невольно прислушался.

— Очередной пресс-релиз о делегациях, прибывших на Совещание, будет к услугам господ журналистов завтра в пресс-центре начиная с девяти часов утра. Сенкью, мерси, данке шен, кнітос.

Текст объявления был произнесен сначала по-английски, а затем повторен по-французски, по-немецки, по-русски и, наконец, насколько я мог догадаться, по-фински.

— Кто бы мог подумать, что финский язык станет официальным языком такого Совещания,— иронически улыбнулся Стюарт.

— Боюсь, что вам еще об очень многом предстоит подумать,— в тон ему ответил я.

— Вот как! — протянул Стюарт. — Однако, как говорят французы, вернемся к нашим баранам. Итак, мистер Воронов, мы могли бы оказать вам весьма эффективную помощь. Да и не только вам. Жизненный уровень стран Восточной Европы тоже сильно отстает от западноевропейского. Посоветуйте им отказаться от плановой экономики. Они нуждаются в нашей помощи не меньше, чем вы. Вот тогда, мистер Воронов, мирное сосуществование станет не просто лозунгом, но реальным делом. Чему вы улыбаетесь?

— Вспомнил старый анекдот.

— Какой?

— Один купец... ну, коммерсант, бизнесмен, предлагает другому купить у него повидло и... секундные стрелки для часов.

— Повидло?

— Нечто вроде джема или варенья.

— При чем тут часовые стрелки?

— Точно такой же вопрос второй купец задает первому и заявляет, что повидло он возьмет, а стрелки ему не нужны. Тогда первый отвечает, что это невозможно.

— Почему?

— Потому, что стрелки и повидло перемешаны. Брать надо либо то и другое, либо ничего.

— Не понимаю аналогии.

— Чего же тут не понять? Ваш бизнес, мистер Стюарт, перемешан с политикой. Ваше изобилие перемешано с кровью.

— Мистер Воронов!..

— Простите, я не хотел вас обидеть. Но ведь у нас откровенный дружеский разговор! Я хотел сказать, что ваше изобилие неотделимо от безработицы, расизма, террора. Оно связано с богатством одних и нищетой других. Я не отрицаю ваши достижения в области техники и сервиса. Нам есть чему у вас поучиться.

— Это я и предлагаю!

— Бескорыстно?

— Бескорыстного бизнеса не бывает. Бескорыстной бывает только благотворительность! За помощь надо платить!

— Чем, мистер Стюарт? Если деньгами и товарами, мы согласны. Но вы же требуете другой платы.

— Какой? Уж не хотите ли вы сказать, что мы посягаем на вашу социальную систему?

— На словах — нет. Это было бы слишком наивно. Но мне кажется, на деле вы хотите приобрести такие рычаги, с помощью которых ее можно было бы видоизменить. Короче говоря, мы с вами по-разному понимаем слово «Хельсинки». А ваш «бизнес» нам уже некогда предлагали. Только он назывался иначе.

— Как?

— План Маршалла.

— Вас опять тянет в далекое прошлое.

— Уроки истории не проходят даром. В свое время мы отказались от этого плана, хотя были разорены войной. Тысячи наших сел и городов лежали в руинах. Неужели вы думаете, что мы примем такой же план теперь, когда видим мир с высоты наших космических кораблей?

— Любой бизнес невозможен без компромисса! — возразил Стюарт.

— Но он предполагает взаимную выгоду. Какое равноправие может быть между партнерами, если один из них сядет в долговую яму?

— Вы драматизируете события, мистер Воронов.

— Вовсе нет. Я оптимист и верю в победу здравого смысла.

— Он уже победил! Столь дорогая вашему сердцу Потсдамская конференция длилась две недели. Ее участники пробирались сквозь непроходимые джунгли. Совещание же в Хельсинки займет всего два дня.

— Плохо считаете, мистер Стюарт. Для того чтобы Потсдам стал реальностью, надо было разгромить фашизм. На это ушло четыре года. А для того чтобы состоялось нынешнее Совещание, понадобилось куда больше времени! Нашей стране и ее друзьям пришлось приложить немало усилий, чтобы Декларация 1966 года воплотилась в жизнь.

— Вы считаете созыв этого Совещания исключительно своей заслугой?

— Отнюдь нет. Я лишь хочу напомнить, что путь к нему был долог и труден. Запад весьма неохотно шел нам навстречу.

— Значит, вы нас заставили?

Я покачал головой.

— Вас заставило совсем иное: позор вьетнамской войны, растущие безработица и инфляция, воля народов к миру и, наконец, здравый смысл. Вы же считаете, что он уже победил...

— Мистер Воронов, не нужно иронизировать! — с упреком сказал Стюарт. — Скажите честно, разве вашим соотечественникам не надоели очереди, хронический дефицит и все такое прочее? Или вы скажете, что все это вам нравится и вы не завидуете нашему изобилию?!

— Нет, не скажу... — после паузы ответил я. — Но ваше изобилие — палка о двух концах. В тридцатых годах вы топили в океане кофе, чтобы на него не снизились цены... Так?

— Тогда были годы депрессии,— пожал плечами Стюарт.

— Это известно. Значит, изобилие и нищета. Ну, а сейчас? Вам некуда девать деньги? Поэтому

вы вбиваете их в ракеты и самолеты? Хотите поддержать курс доллара?

— Мы тратим много денег на вооружение, потому что в еще больших размерах это делаете вы, — возразил Стюарт.

— Советская военная угроза? Разговоры о ней просто камуфляж. Вы преследуете совсем другую цель. По крайней мере преследовали до сих пор.

— Интересно какую?

— Как минимум две цели. Во-первых, обеспечить себе военное преимущество.

— А во-вторых?

— Вы хотите заставить нас гнаться за вами. В области вооружений. Не дать нам возможности тратить больше средств на те самые товары, отели, бары... Словом, вы меня понимаете.

— Беспочвенная подозрительность! — воскликнул Стюарт. — Не будем читать друг у друга в душах. Я предложил вам выгодную сделку! Жду вашего ответа.

— Каковы же условия этой сделки? Передовую технологию вы даете нам, а безработицу оставляете себе? Пятое авеню и Таймс Сквер — нам, а Гарлем — себе? Великолепные жилые дома и магазины нам, а астрономическую квартирную плату себе?

— Вы забываете, что средние заработки у нас гораздо выше, чем у вас.

— Как можно это забыть? «Голос Америки» ежедневно напоминает нам об этом. Но продолжим обсуждение предлагаемой вами сделки. Итак, всем хорошим, что у вас есть, вы хотите поделиться с нами, а все страшное оставите себе? Беретесь отделить повидло от секундных стрелок? Но если это отделимо, то почему вы у себя дома не покажете, как это делается? Какая могла бы начаться замечательная жизнь! Магазины переполнены товарами, и у всех есть деньги, чтобы их купить! Современнейшие заводы работают на полную мощность, и в стране нет ни одного безработного! К тому же безграничная свобода самовыражения. На улицах никто не стреляет, не похищает людей, не взрывает в воздухе самолеты. Гангстеры переучиваются на учителей воскресных школ. Хозяева порнобизнеса переключаются на производство детских сосок. Военно-промышленный комплекс выпускает аттракционы для Диснейлэнда. Мистер Стюарт, вы помните легенду о царе Мидасе?

— Как, как?

— Древнегреческий царь Мидас обладал способностью превращать в золото все, к чему прикасался. В том числе и хлеб насущный. В результате умер от голода. Собираясь озолотить нас, оставляете ли вы за нами право выбора?.. Кстати, вы упомянули о наших танках. А как же все-таки быть с вашими базами вокруг нашей страны?

— При чем тут базы? — пожал плечами Стюарт. — До тех пор, пока страны Варшавского Договора, ну, словом, пока ваш блок не...

— Варшавский Договор был заключен после того, как вы создали НАТО. Спустя несколько лет.

— Ладно, оставим это, — сказал Стюарт, решительным движением отодвигая в сторону свой, уже пустой стакан. — Итак, вы полагаете, что вся эта орава политических боссов едет сюда, чтобы заверить вас в нерушимости европейских границ? То есть через тридцать лет согласиться с тем, с чем не соглашались ни Черчилль, ни Трумэн? Предоставить вам выгодные экономические сделки, кредиты на льготных условиях, поблагодарить за то, что вы все это приняли, и разъехаться по домам? Уж не думаете ли вы, что во главе американского правительства стоит Гэсс Холл?

— Я полагаю, что ни одна из сторон не рассчитывает на благотворительность другой, — заметил я. — Только на здравый смысл.

— А я не сомневаюсь, — сказал Стюарт категорическим тоном, — что в главном документе Совещания будет ясно сказано, что́ вы обязуетесь сделать в ответ на наш режим благоприятствования.

— Что ж, мистер Стюарт, поживем — увидим, — ответил я, — ждать осталось не долго. Две ночи и один день.

Вдруг раздался голос:

— Михаил! Миша!..

Возле одного из соседних столиков стоял человек и приветливо махал мне. Это был Вернер Клаус, журналист из ГДР. После знакомства в Потсдаме мы с Вернером встречались не раз и в Москве и в Берлине.

«Что бы ему появиться на полчаса раньше! — с досадой подумал я. — Был бы удобный повод распрощаться с этим Стюартом! Но лучше поздно, чем никогда!»

Как и я, Клаус был уже далеко не молод, но то ли занимался спортом, то ли соблюдал диету, то ли просто от природы оставался стройным, подтянутым, худощавым.

Я поднялся навстречу направлявшемуся ко мне Клаусу.

— Давно? — коротко спросил Вернер. Он прилично говорил по-русски.

— Сегодня. Точнее, несколько часов назад.

Стюарт смотрел на нас вопросительно.

— Мистер Клаус из Германской Демократической Республики, — сказал я. — А это мистер Стюарт из Штатов. Ты ведь говоришь по-английски, Вернер?

— Немного, — ответил Клаус.

— Не посидите ли с нами, мистер Клаус? — предложил Стюарт.

— Боюсь помешать вашему разговору. Кроме того, меня ждут.— Клаус показал на свой столик.

— Может быть, присоединитесь все же к нам? — повторил свое приглашение Стюарт.

Он почти вынудил меня остаться с ним, а теперь заманивал Вернера. Зачем ему это было нужно? Был ли он просто любителем поспорить? Сомневаюсь. Скорее всего ему хотелось выяснить аргументацию оппонента, проникнуть в его методологию. Зачем? Вероятно, для того, чтобы предвидеть возможные возражения против его статей. Заранее выяснить, какими аргументами располагает будущий оппонент. Информировать о них своих дипломатов. А может быть, и не только дипломатов.

Но ведь и я хотел выяснить, какие атаки могут предприниматься на нас накануне Совещания. Это очень пригодилось бы для моей будущей статьи.

Теперь Стюарт, видимо, решил, что я уже не представляю для него интереса, и хотел взяться за Вернера.

— Хотя бы на несколько минут,— просительным тоном сказал Стюарт.

В конце концов Клаус помахал оставленным друзьям в знак того, что задерживается, и сел за наш столик.

— Итак, мистер Клаус,— сразу начал Стюарт,— две Германии на одном Совещании. Это сенсация!

— Что же делать, мистер Стюарт,— сухо сказал Клаус.— Такова объективная реальность.

— Скорее чистой воды мистика!

— Что вы хотите этим сказать? — нахмурившись, спросил Клаус.

— Две Германии — это уже перебор.

— Вам хотелось, чтобы их было пять? — иронически спросил Клаус.

— Наоборот. Я предпочел бы одну,— с улыбкой ответил Стюарт.— Думаю, что со мной согласились бы многие немцы.

— Вы не очень-то думали о немцах, когда предлагали раздробить Германию на три или даже на пять государств.

— Что вы имеете в виду? — несколько растерянно спросил Стюарт.

— Я имею в виду американо-английские предложения в Тегеране и Ялте,— насмешливо ответил Клаус. — Планы Моргентау, Уеллеса, и госсекретаря Хэлла... Слыхали?

— Возможно, мы и предлагали нечто похожее. Но отдадим должное стране, которую представляет наш советский друг. Если говорить о реальном, а не предполагаемом разделе Германии, пальму первенства нужно отдать Советскому Союзу. Не так ли?

— Советский Союз не согласился на раздел Германии,— спокойно сказал Клаус.— Добились его именно вы. В своих зонах. Все остальное — логическое следствие вашей политики. Не забудьте, мистер Стюарт, что я, немец, живу в Берлине и хорошо помню, как все это было. Извините, — он поднялся со своего места.— Мне все-таки надо идти. Ты где? — обратился Клаус ко мне.— На «Калинине»?

— В гостинице «Теле».

— Я разыщу тебя.— Он коснулся моего плеча и направился к своему столику.

— Мне тоже пора,— сказал я, вставая.

— Я очень сожалею, мистер Воронов,— сказал Стюарт, тоже поднимаясь,— что разговор с нашим немецким другом несколько противоречил той обстановке мира и согласия, которую должно символизировать предстоящее Совещание.

— Не по его вине,— сухо сказал я.

— А как же наш спор? Он так и остался незаконченным?

— Не будем предвосхищать события, мистер Стюарт. Первого августа все станет ясно. Простите меня, я хотел бы на прощание задать вам один вопрос личного характера. Англичане, кажется, не очень любят такие вопросы, но у американцев вполне принято их задавать. Скажите, пожалуйста, вам не жалко было покидать Англию?

Стюарт ответил не сразу. Его глаза за стеклами массивных очков сощурились в усмешке.

— Стареющие страны,— сказал он,— надо бросать, как и стареющих женщин.

— Понятно,— ответил я.— Спасибо. Спокойной ночи.

Подойдя к стойке, я расплатился за виски и сок, вышел на улицу и только теперь вспомнил, что у меня нет машины. Стюарт, конечно, подвез бы меня, но возвращаться и просить его об этом мне не хотелось. Волей-неволей пришлось бы продолжать разговор. Впрочем, было бы любопытно подробнее расспросить его, каким образом он превратился из английского журналиста в американского бизнесмена, судя по всему, весьма состоятельного. Особенно занимала меня та маска стопроцентного американца, которую надел на себя Стюарт. Кого же он, собственно, представлял? Уж не тех ли, кто лишь временно, формально смирился с неизбежностью Совещания в Хельсинки и на следующий же день после его окончания начнет действовать в своих собственных, далеко не мирных интересах?

Ладно! Было бы непростительной наивностью считать, что все вчерашние ястребы превратились сегодня в голубей.

После разговора со Стюартом я испытывал крайне неприятное чувство. Это было нечто большее, чем раздражение, это была горечь. Я понимал причину, хотя и не сразу сознался в ней самому себе. Дело было в том, что Стюарт безжалостно развенчал в моих глазах Чарли Брайта.

Я не ожидал, что горькая правда о Брайте способна так сильно ранить меня. В конце концов что такое Брайт на фоне события, столь огромного по своему историческому масштабу?! Да и Потсдам уже давно ушел в глубь времен.

Тем не менее я не мог забыть о Брайте. Предательство не имеет сроков давности!

Я вспомнил наш прощальный разговор в Берлине. Несмотря на все разглагольствования Чарли о роковой и непреодолимой силе бизнеса, я не считал его способным на предательство. В какой-то мере он олицетворял для меня послевоенные союзнические отношения. Символом этих отношений являлся Потсдам, а Брайт был в моей памяти неразрывно связан с Потсдамом.

Теперь, если верить Стюарту, Чарли предал Потсдам. Что он такое написал, этот сукин сын? Переметнулся в лагерь «холодной войны»? Дезертир, перебежчик!

Я посмотрел на часы. Было четверть первого. Работает ли еще городской транспорт? Может быть, прогуляться до гостиницы? Но пешком, да еще в незнакомом городе, мне туда быстро не добраться. «Ладно,— решил я,— где наша не пропадала, возьму такси».

Около часа ночи я вошел в свой номер. Лежавшая на столике чистая бумага напомнила мне, что я сегодня так и не написал ни слова.

Быстро раздевшись, я лег в постель и погасил свет.

«Спать, спать!» — приказывал я себе. Но время шло, а уснуть не удавалось. Я вспоминал сегодняшний день — он казался мне бесконечно длинным,— думал о Стюарте, о Чарли, о Потсдаме...

Нет, забывать Потсдам нельзя. Есть незримая связь между тем, что было Тогда, и тем, чему предстоит совершиться Завтра. Что бы ни писали потом стюарты и брайты, Потсдам доказал, что компромисс возможен, согласие достижимо, если его хотят достигнуть. Что он такое говорил, этот Стюарт, непонятно как превратившийся из англичанина в американца? Что в Потсдаме ничего не было достигнуто? Что ни о чем не договорились? Но это ложь, ложь! То, что я сам видел в Потсдаме, о чем слышал, что позже узнал из протоколов Конференции, сплеталось сейчас воедино в глубинах моей памяти.

Воспоминания тех далеких дней овладели мной и с неодолимой силой повлекли назад, в Прошлое...

Глава вторая

«ЧТО ТАКОЕ ТЕПЕРЬ ГЕРМАНИЯ?»

В три часа сорок пять минут пополудни прекратилось похожее на тихий морской прибой шуршание гравия под колесами тяжелых лимузинов, которые доставляли участников Конференции из Бабельсберга в Цецилиенхоф. Многочисленная охрана уже заняла свои места вокруг замка.

Без трех минут четыре Трумэн, Черчилль, Сталин, а также члены их делегаций и переводчики появились в зале заседаний. Ровно в четыре они расположились за «круглым столом».

— Продолжим наше обсуждение, джентльмены,— сказал Трумэн, посмотрел на Сталина и приветливо улыбнулся.

...Они расстались совсем недавно. В три часа, буквально накануне открытия сегодняшнего заседания Конференции, Трумэн, сопровождаемый Бирнсом и Боленом, посетил Сталина. Визит был очень коротким. По совету Бирнса Трумэн приехал с таким расчетом, чтобы для продолжительных разговоров времени не осталось.

За столом заседаний Трумэн по-прежнему чувствовал себя хозяином положения. Кроме того, рядом был Черчилль. Английский премьер не упускал случая, чтобы ввязаться в любой спор и, как правило, конечно, на стороне Трумэна.

Но когда американскому президенту предстояло снова оказаться один на один с советским лидером, он испытывал некоторое беспокойство. Особых причин для этого как будто не было. Впервые приехав позавчера в «маленький Белый дом», Сталин вел себя как вежливый и тактичный гость. Только один раз он позволил себе ироническое замечание, да и то по адресу Черчилля. На вчерашнем заседании Конференции Сталин тоже держался спокойно, если не считать неожиданной короткой атаки, в которую он перешел, когда обсуждение уже почти окончилось. Но и ее объектом был Черчилль.

Тем не менее Трумэн охотно согласился с Бирнсом, когда тот предложил, чтобы сегодняшнее посещение резиденции генералиссимуса носило характер формального ответного визита вежливости. Президент все-таки опасался, как бы Сталин не вынудил его сказать лишнее, что-нибудь раскрыть или обещать, словом, сделать нечто такое, в чем потом пришлось бы раскаиваться.

Однако была еще и другая причина, заставлявшая Трумэна тревожиться. Он боялся, как бы Сталин по каким-либо признакам не догадался, что у американцев появился новый, решающий козырь, что они овладели рычагом, с помощью которого можно заставить землю вращаться, так сказать, в обратном направлении. Того же молчаливо опасался и Бирнс. Поэтому он и посоветовал Трумэну до предела ограничить время встречи.

Кроме того, государственный секретарь Соединенных Штатов вообще делал все от него зависящее, чтобы ни один важный вопрос, неотложно требовавший решения, не обсуждался и тем бо-

лее не решался в частных беседах между главами государств.

Трумэн считал, что ответ Гровса должен прийти в течение ближайших часов, в худшем случае — суток. Следовательно, всего лишь какие-нибудь сутки отделяли Трумэна от той минуты, когда он должен был стать полновластным хозяином мира.

Черчилль жаждал, чтобы Конференция оказалась бы для него новым источником славы, чтобы она подтвердила его репутацию спасителя Великобритании от фашистского нашествия.

Что же касается шестидесятилетнего Джеймса Ф. Бирнса, то этот невысокий, казалось, сплетенный из одних жил и мускулов, человек полагал, что именно ему история уготовила стать главной движущей силой Конференции, ее скрытой от посторонних глаз могучей пружиной.

Эту свою роль Бирнс не собирался уступать никому — ни Трумэну, ни Черчиллю, ни Сталину.

Кроме переводчика, со Сталиным был только Молотов. К удовольствию Бирнса, разговор между главами государств вообще не касался Конференции.

Сталин познакомил Трумэна с полученными в Москве сведениями о том, что японцы готовы вступить в переговоры о перемирии. Однако безоговорочную капитуляцию император Японии отвергал. Так он писал своему послу в Москве. Копию этого документа Сталин показал Трумэну.

О, как хотелось американскому президенту смять и разорвать в клочки эту протянутую Сталиным бумагу! Скоро, очень скоро настанет время, когда он сможет просто стереть Японские острова с карты мира, утопить их в океане...

Но Трумэн, разумеется, сдержался, внимательно прочитал документ и передал его Бирнсу.

Не дожидаясь, пока государственный секретарь ознакомится с письмом японского императора, Сталин медленно, словно размышляя вслух, сказал:

— На это письмо можно не обращать никакого внимания. Сделать вид, что оно нам неизвестно. Можно, наоборот, дать понять японцам, что, кроме безоговорочной капитуляции, им ничего не остается.

— Я думаю,— поспешно ответил Трумэн,— что разумнее всего пока не обращать внимания.— Он был озабочен лишь тем, чтобы до отчета Гровса не принимать никаких решений, касающихся Японии.

Бирнса задело, что Сталин не только не поинтересовался его мнением о послании императора, но и не дождался, пока он его прочтет.

Позже, в машине по дороге в Цецилиенхоф, Бирнс сказал Трумэну:

— Сталин, видимо, хотел проверить, насколько мы заинтересованы в его помощи, нуждаемся ли мы в ней по-прежнему.

— Какие у него основания сомневаться в этом? — нервно спросил Трумэн.— Ведь он же не знает, что мальчик родился и оказался достаточно шустрым...

Действительно, из трех государственных лидеров, заседавших за столом Конференции, только Сталин ничего не знал об успешном испытании в Аламогордо.

Выполняя поручение президента, военный министр Стимсон посетил английского премьера и рассказал ему — правда, в самых общих чертах — о том, что проект, некогда имевший кодовое название «Трубчатые сплавы», наконец осуществлен.

Как доложил Стимсон Трумэну, английский премьер был весьма обрадован. Но у военного министра создалось впечатление, что Черчилль так привык считать осуществление атомного проекта бесконечно долгим делом, что до него просто не дошло практическое значение успеха в Аламогордо. Он не понял, что этот успех является предвестником атомной бомбы, так сказать, сочельником атомного рождества.

Впрочем, до подробного доклада Гровса Трумэн и не собирался посвящать Черчилля во все обстоятельства дела. Его теперь больше волновало другое: как вести себя со Сталиным? Дать ему понять, что он, Трумэн, уже является полным хозяином положения, или все-таки подождать известий от Гровса?

В конце концов Трумэн решил подождать. Но в глубине души он уже считал себя главным действующим лицом Конференции.

Трумэн не знал, что на эту роль также претендует человек по имени Джеймс Ф. Бирнс, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки.

Этот подвижный, безукоризненно одевавшийся человек с постоянной добродушно-иронической усмешкой на удлиненном лице, с густыми черными бровями, из-под которых настороженно и хитро глядели маленькие глаза, с редкими волосами, седеющими на висках, решил восемнадцатого июля 1945 года, в день второго заседания «Большой тройки», впервые во всеуслышание заявить о себе на международной политической арене.

...Со стороны могло показаться, что нет на свете людей, более близких, чем Трумэн и Бирнс. Казалось, они были единомышленниками во всем, и в первую очередь во взглядах на американскую внешнюю политику.

Да и как могло быть иначе? Став хозяином Белого дома, Трумэн предложил пост государственного секретаря — в сущности, второй по значению после президента пост в руководстве страной — именно Бирнсу. Главным советником

президента во время длительного путешествия на «Аугусте» был Бирнс. Наконец, без Бирнса не начиналась ни одна партия в покер — эту карточную игру президент предпочитал всем остальным развлечениям, не считая музыки.

Лишь много времени спустя, когда Трумэн уже покинет Белый дом, а Бирнс — государственный департамент, в Вашингтоне заговорят о том, что Бирнс обращался с президентом, как председатель сената с не в меру прытким сенатором-новичком, а президент не раз жаловался, что государственный секретарь приписывал ему слова, которых никогда не произносил.

В чем же состояла правда?

Дело заключалось в том, что у Бирнса был свой тайный счет к Трумэну.

В свое время, будучи сенатором от штата Южная Каролина, Джеймс Ф. Бирнс очень хотел стать вице-президентом США.

Но Рузвельт предпочел некоего Гарри Трумэна.

Противники Бирнса часто называли его типичным пролазой, друзья отдавали дань его политическому чутью и умению ориентироваться в сложной обстановке.

Прочно обосновавшись в окружении Рузвельта, Бирнс безоговорочно поддерживал в сенате законопроекты президента и прослыл своим человеком не только на Капитолийском холме, но и в Белом доме.

Впоследствии он будет утверждать, что Рузвельт в случае успеха на выборах 1944 года обещал ему пост вице-президента.

До тех пор Джеймс Бирнс и Гарри Трумэн были близкими друзьями. Уверенный в поддержке Рузвельта, Джеймс даже просил своего друга Гарри выдвинуть его кандидатуру в вице-президенты на предстоявшем предвыборном съезде демократической партии. Трумэн якобы охотно на это согласился.

Через несколько лет, уже оказавшись в отставке, Трумэн заявит,— возможно, и не без оснований,— что хотел честно выполнить свое обещание и сдержал бы слово, если бы не Роберт Ханнеган. Этот бывший босс демократической партии из штата Миссури не без активной поддержки Трумэна стал ее национальным председателем. Именно Ханнеган неожиданно объявил, что Рузвельт выдвигает кандидатуру Трумэна на пост вице-президента...

Сенатор от Южной Каролины был возмущен всем случившимся и затаил неприязнь и к Рузвельту и к Трумэну. Но бывший президент теперь уже покоился в могиле. А Трумэн, оказавшись в Белом доме, тотчас пригласил к себе Бирнса и конфиденциально предложил ему заменить часто болеющего Стеттиниуса. Бирнс подумал тогда, что новый президент решил честно с ним расплатиться.

Так Джеймс Ф. Бирнс стал государственным секретарем Соединенных Штатов Америки. Назначая его на этот пост, Трумэн, однако, не просто расплачивался с долгами. Бирнс, этот искушеннейший политикан, был необходим новому президенту, который не имел никакого опыта в управлении государством и крайне нуждался в помощи. Продемонстрировав свою личную и политическую симпатию к Бирнсу, Трумэн надеялся надолго включить его в свою упряжку в качестве, так сказать, коренника. Его мало беспокоило, что Бирнс не отличался особенно высокой общей культурой и никогда прежде не занимался международными делами.

Трумэн был уверен, что его собственной культуры с избытком хватит на двоих. Что же касается дипломатии, то он не считал ее наукой и полагал, что мощь не затронутых европейской войной Соединенных Штатов позволит ему разговаривать с разоренными странами Европы так, как крупный босс разговаривал бы с владельцами мелких предприятий, оставшимися без средств и попавшими к нему в кабалу.

Бирнс поощрял Трумэна. Вопреки Леги, он верил в успех атомной бомбы. Высмеивал страх перед русскими. Не сомневался, что любые переговоры с ними можно и нужно вести только с позиции силы.

Во всем поддерживая президента, Бирнс втайне все же относился к нему свысока. Творцом послевоенной американской политики он считал не Трумэна, а себя. Главным советником президента, здесь в Бабельсберге, по его мнению, являлся именно он, а не Дэвис, не Стимсон и тем более не Леги.

До поры до времени Бирнс мирился с тем, что остается как бы в тени Трумэна.

Но сегодня, восемнадцатого июля, он решил выйти на яркий солнечный свет. На сегодняшнем заседании ему предстояло быть докладчиком — так решили министры иностранных дел, готовившие повестку дня вечерней встречи «Большой тройки». Ему предстояло впервые поставить на Конференции основные вопросы, ради которых она собралась. Вчерашнее заседание являлось предварительным. Главное должно было прозвучать сегодня. Именно сегодня Сталин и Черчилль наконец поймут, кто представляет американскую политику в Бабельсберге.

Сегодняшнее заседание должно было стать «американским». Бирнс уже сообщил Трумэну о повестке дня, которую выработали утром министры иностранных дел, и о том, что докладчиком будет государственный секретарь США.

Трумэн был удовлетворен: выдвигая на передний план Бирнса, он оставлял за собой право произнести решающие слова.

Но сам Бирнс вовсе не хотел быть лишь доверенным лицом своего босса. Он полагал, что вчера, на первом заседании, Трумэн вел себя недостаточно решительно. В глубине души он радовался этому обстоятельству, предвкушая то впечатление, которое произведет сегодня в роли докладчика.

Вчера Джеймса Ф. Бирнса знала только Америка. Сегодня ему предстояло стать в один ряд с людьми, решавшими судьбы мира.

Итак, стрелки часов показывали без трех минут четыре. Сталин, Трумэн и Черчилль одновременно появились в зале заседаний Цецилиенхофа. Трумэн был одет как всегда: двубортный темный костюм, белая сорочка, галстук в горошек, двухцветные летние туфли. На Сталине и Черчилле была военная форма.

На этот раз кино- и фотокорреспондентов в зал не допустили. Поэтому исчезла и та атмосфера приподнятости, торжественности, которая сопутствовала вчерашнему заседанию.

Главы государств направились к круглому столу. За ними потянулись сопровождающие.

Бирнс шел почти рядом с Трумэном, в то время как члены других делегаций двигались в некотором отдалении от своих руководителей.

Государственный секретарь заранее решил, что войдет в зал именно так.

Подойдя к столу, Сталин, Трумэн и Черчилль обменялись короткими рукопожатиями. Затем Трумэн подошел к своему креслу, подождал, когда сядут Сталин и Черчилль, сел сам и будничным, деловым тоном сказал:

— Продолжим заседание, джентльмены!

Как и вчера, Бирнс занял место рядом с Трумэном.

Звездный час его приближался. Быстрым взглядом он обвел присутствующих. Перед Сталиным, как и вчера, лежали чистый лист белой бумаги и твердая темно-зеленая коробка папирос. Справа от него сидели Молотов и одетый в серую форму советского дипломата Вышинский. Слева — тоже в дипломатической форме — молодой человек в очках, переводчик Павлов.

Черчилль, грузно ссутулившись, уже зажал в зубах незажженную сигару. Справа от него сел Иден, слева — переводчик майор Бирс и Эттли. Во втором ряду, а также за маленькими столиками, стоявшими у стен, расположились члены делегаций, советники, помощники, секретари. Сотрудников охраны на этот раз в зале не было.

Бирнс нетерпеливо посмотрел на Трумэна, ожидая, что тот предоставит ему слово. Но его опередил Черчилль.

— Один вопрос вне порядка дня, джентльмены,— сказал он.— Вопрос, правда, не такой важный в свете того, что нам предстоит решать, но все же я хотел бы его поставить...

«Какого черта!» — с раздражением подумал Бирнс. На ленче у Трумэна, продолжавшемся почти два часа, Черчилль произносил непрерывные монологи, жалуясь на тяжелые экономические потери, с которыми Англия вышла из войны. Похоже было, что английский премьер страдает недержанием речи.

Как истый американский бизнесмен от политики, Бирнс презирал слабость. Он знал, конечно, что Черчилль считается одной из самых ярких личностей современности, слышал, что ему принадлежит несколько книг (хотя ни одной из них не читал).

Но как только он понял, что Черчилль — в какие бы красивые слова это ни облекалось — просто-напросто тянется к американскому кошельку, им овладела снисходительная неприязнь к английскому премьеру, свойственная богачу, на деньги которого зарится бедный родственник.

Теперь Черчилль, видимо, решил перебежать дорогу ему, Бирнсу, сорвать эффект его первого самостоятельного выступления на международной арене. Бирнс почувствовал, что этот болтливый толстяк все больше раздражает его. Трумэн же вместо того, чтобы натянуть вожжи, почему-то смотрел отсутствующим взглядом...

А Черчилль как будто назло Бирнсу продолжал добродушно-ворчливым тоном:

— Многие из нас, очевидно, помнят, что в Тегеране представителям печати было очень трудно получить какие-либо сведения о нашей встрече. А в Ялте, — он с усмешкой поглядел на Сталина,— уже просто невозможно. Так вот, джентльмены, я хочу поставить вас в известность, что сегодня в Берлине находятся около ста восьмидесяти корреспондентов. Они рыскают в окрестностях в поисках информации о том, чем мы тут занимаемся, и находятся в состоянии возмущения, даже ярости, я бы сказал!..

Черчилль снова посмотрел на Сталина, как бы давая понять, что адресует свой упрек именно ему.

Но Сталина, казалось, заинтересовала только названная Черчиллем цифра.

— Сто восемьдесят? — переспросил он. — Но это же целая рота! Кто их сюда пропустил?

— Конечно, они находятся не здесь, не внутри этой зоны, а в Берлине,— пояснил Черчилль.— Кроме того, я вовсе не против секретности. Более того, я считаю ее необходимой. Но мне кажется, что надо как-то успокоить журналистов...

Бирнс с упреком посмотрел на Трумэна, как бы спрашивая, долго ли председатель намерен терпеть эту болтовню? Потом демонстративно взглянул на часы.

Но Черчилль либо делал вид, что ничего не замечает, либо уже не мог остановиться.

— Поэтому,— продолжал он,— мне хотелось бы внести предложение. Если мои коллеги не возражают, то я, будучи старым газетным волком, мог бы взять на себя роль миротворца. Я готов встретиться с журналистами, объяснить, почему мы пока что не можем сообщить им подробности наших переговоров, и одновременно выразить сочувствие им... Короче говоря, журналистам надо, так сказать, погладить крылышки, и они успокоятся.

Бирнс, кажется, понял, в чем дело. Ларчик открывался просто: Черчилль хотел лишний раз покрасоваться перед журналистами...

— Чего, собственно, хотят эти журналисты?— негромко спросил Сталин. — Каковы их требования?

«О, боже! —с отчаянием подумал Бирнс. — Теперь Черчилль начнет разглагольствовать об этих требованиях!»

Но терпение, как оказалось, иссякло и у Трумэна.

— Я полагаю,— сухо сказал президент,— что у всех нас есть дела поважнее. А журналистами пусть занимаются те представители делегаций, которым это поручено.

Черчилль обиженно поджал губы. Он посмотрел на Сталина, как бы ища у него сочувствия. Но Сталин, по-видимому, потеряв всякий интерес к происходящему, сосредоточенно разминал папиросу.

— Я вовсе не горю желанием стать агнцем, предназначенным для заклания,— пытаясь обратить все в шутку, проговорил Черчилль, обращаясь к Трумэну.— Я готов пойти на переговоры с журналистами, если генералиссимус Сталин, в случае необходимости, поддержит меня своей артиллерией и танками.

Но Сталин не принял шутки Черчилля или пропустил ее мимо ушей.

Воспользовавшись этим, Трумэн сказал:

— Сегодня наши министры подготовили повестку дня и рекомендуют ее для рассмотрения. По договоренности с министрами докладчиком выступает мистер Бирнс.

Сбитый с толку предыдущими словопрениями, Бирнс почувствовал себя так, будто все это время стоял на сцене и ждал, когда поднимется занавес. А теперь, когда занавес наконец поднялся и его оставили наедине с переполненным залом, он не знал, как выглядит, в порядке ли его грим и одежда. Однако Бирнс, быстро справившись с минутной растерянностью, взял папку, протянутую ему Болоном, сделал движение, чтобы встать, но вспомнил, что вчера — да и сегодня — главы делегаций говорили, не поднимаясь с кресел, и остался на своем месте.

— Джентльмены! — начал Бирнс. — На совещании министров иностранных дел было решено включить в сегодняшнюю повестку дня следующие вопросы...

Раскрыв папку и с трудом преодолевая привычную скороговорку, он медленно прочел:

— Первый вопрос: о процедуре и механизме для мирных переговоров и территориальных требований. Второй вопрос: о полномочиях Контрольного Совета в Германии в политической области. И, наконец, третий вопрос — польский. В частности, о ликвидации эмигрантского польского правительства в Лондоне.

Бирнс посмотрел сначала на Идена, потом на Молотова, как бы ожидая подтверждения. Иден учтиво склонил голову. Молотов сидел неподвижно. Впрочем, Бирнсу показалось, что он едва заметно кивнул.

— В связи с первым вопросом,— снова заговорил Бирнс,— я хотел бы напомнить, что на вчерашнем заседании в принципе было решено создать Совет министров иностранных дел и поручить ему подготовку проекта Мирного договора и созыва Мирной конференции.

Бирнс встретился взглядом со Сталиным, и ему показалось, что советский лидер слегка прищурился.

— Правда, — торопливо произнес Бирнс, — по этому вопросу возникли некоторые разногласия. Функции Совета министров не были точно определены. На вчерашнем заседании генералиссимус Сталин поднял вопрос о взаимоотношениях нового Совета с уже существующей Европейской консультативной комиссией. Не было окончательно решено, включать или не включать в Совет представителя Чан Кайши. Я рад довести до сведения участников Конференции, что на нашем подготовительном совещании проект, предложенный американской делегацией, был в принципе одобрен, хотя по пункту первому — о составе Совета — представитель советской делегации резервировал право внести поправку и сделать замечания.

Сталин внимательно слушал, но взгляд его был спокойно-холоден. Это настораживало Бирнса. Ему показалось, что Сталин, которому Молотов, конечно, со всеми подробностями рассказал о решениях, принятых министрами, только и ждет случая, чтобы поймать докладчика на какой-либо неточности. Поэтому, напоминая о разногласиях насчет состава учреждаемого Совета, Бирнс прежде всего имел в виду вчерашние сомнения Сталина.

— Итак, первой и важнейшей задачей Совета министров,— продолжал успокоенный молчанием Сталина Бирнс, — будет составление проектов мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией. Подготовка мир-

ного договора для Германии также является важнейшей обязанностью Совета.

Он снова сделал выжидательную паузу. Но никто из присутствующих не проронил ни слова.

Бирнс с радостью отметил про себя, что Сталин — так же, как и несколько часов назад Молотов,— не распознал подготовленной для них ловушки. Она была тщательно замаскирована. Бирнс гордился тем, что самолично разработал ее механику, посвятив в свой план только президента. Ловушка состояла в том, что страны Восточной Европы объединялись в одном списке с такой типично западной страной, как Италия. Если Сталин не будет против этого возражать, то вполне законным станет вывод, что восточноевропейские правительства должны создаваться по итальянскому образцу. Присутствие же в Италии союзных войск сделает этот образец вполне приемлемым для Англии и Соединенных Штатов.

На совещании министров Бирнс сделал все для того, чтобы придать оглашаемому им списку стран как бы формальный, чисто перечислительный характер. Однако он опасался, что на заседании «Большой тройки» Сталин не даст себя провести. Но советский лидер, как видно, проглотил приманку вместе с крючком.

Уже привычной своей скороговоркой, стремясь подальше уйти от щекотливой темы мирных договоров, Бирнс перечислил другие функции учреждаемого Совета министров — мирное урегулирование территориальных споров, сотрудничество с Объединенными Нациями. Он предложил ликвидировать Европейскую консультативную комиссию, передав ее полномочия Союзным Контрольным Советам по Германии и по Австрии.

— Таким образом,— закончил Бирнс свою длинную речь,— предложенный американской делегацией проект учреждения Совета министров иностранных дел в основном одобрен, за исключением оговорки советской делегации, о которой я упомянул вначале. Благодарю вас.

Итак, дебют состоялся. Дебют и бенефис одновременно. Бирнсу удалось-таки связать свое имя с первым, по существу, реальным вопросом, который предстояло решить Конференции. Более того, судя по всему, он усыпил бдительность не только Молотова, но и самого Сталина. Правда, Бирнса несколько раздражало, что президент слушал его речь как будто не очень внимательно.

Едва Бирнс успел об этом подумать, как Сталин слегка приподнялся на своем месте, явно собираясь вступить в разговор. Бирнс похолодел: видимо, до Сталина все-таки дошло, что ему подготовили ловушку.

Но вместо этого Сталин негромко заметил:

— Здесь было сказано, что у советской делегации имеется оговорка, касающаяся состава Совета министров. В целях достижения единодушия мы ее снимаем.

Бирнс облегченно улыбнулся и кивнул Трумэну. Президент понял смысл этого сигнала и не без торжественности объявил:

— Следовательно, проект об учреждении Совета министров принят без возражений. Совет учреждается в составе министров иностранных дел Великобритании, Советского Союза, Китая, Франции и Соединенных Штатов. Переходим ко второму вопросу...

— Наши министры иностранных дел хорошо поработали,— раздался голос Черчилля.

Сталин, настроенный, видимо, по-прежнему благодушно, утвердительно покачал головой.

— Безусловно, безусловно,— сказал он.

«Что ж,— подумал Бирнс,— все идет отлично. Конференция продвигается вперед, словно поезд по хорошо укатанным рельсам и при поднятых семафорах».

— Переходим к следующему вопросу,— объявил Трумэн,— о политических полномочиях Контрольного Совета в Германии.

Докладывать по этому вопросу снова предстояло Бирнсу. Он раскрыл свою папку и уверенным голосом человека, полностью овладевшего положением, сказал:

— В процессе обсуждения названного президентом вопроса у нас возникли некоторые разногласия. Мы решили создать подкомиссии, состоящие из экспертов всех трех делегаций. Они еще не закончили свою работу. Тем не менее мы решили обратиться с просьбой, чтобы главы правительств высказались о политических полномочиях Контрольного Совета в Германии. Мы приносим извинения, что не смогли представить окончательные суждения по таким трудным и сложным вопросам, как экономические, связанные с Германией, а также вопрос о германском флоте...

Бирнс собирался говорить еще долго. Он считал, что его план удался: сегодняшний день Конференции был задуман им как «американский», таким он и становился. Бирнс не учел только, что у Черчилля был другой план.

Английский премьер, конечно, понимал, что отныне не ему, а Трумэну уготована роль главного выразителя западной политики везде и всюду, в том числе в Европе. Важнее всего для британского премьера было обеспечить, с благословения Америки, английское влияние в Европе и изгнать оттуда русских. Если он хотел добиться этой цели, ему ничего не оставалось, как всемерно помогать Трумэну.

Но у Черчилля была и другая важнейшая задача: сделать все для того, чтобы на Конферен-

ции возникла конфронтация между Трумэном и Сталиным.

Черчилль до сих пор сокрушался, что ему не удалось добиться такой конфронтации между Рузвельтом и Сталиным в Ялте. Покойный президент понял намерение своего младшего партнера. О, разумеется, он ни на минуту не забывал об интересах Запада! Но ссоры со Сталиным решительно избегал и даже ставил на место Черчилля, когда его попытки вбить клин между Соединенными Штатами и Советским Союзом становились слишком откровенными.

То, чего Черчилль не смог добиться в Ялте, он решил во что бы то ни стало осуществить в Бабельсберге. Но сделать это надо было так, чтобы его намерения не стали явными, чтобы конфронтация между Сталиным и Трумэном возникла как бы сама собой.

Не дав Бирису закончить речь, бесцеремонно оборвав его на полуслове, Черчилль сказал:

— Я хочу поставить один вопрос. Здесь не раз употреблялось слово «Германия». Я хотел бы спросить, что, по мнению участников Конференции, означает сейчас «Германия»? Можно ли использовать это понятие в том же смысле, как до войны?

Бирис едва удержался, чтобы не ответить какой-нибудь резкостью. Однако промолчал, надеясь, что Трумэн не даст строптивому английскому премьеру увести Конференцию в сторону.

Но вопрос Черчилля, видимо, застал Трумэна врасплох.

— Как понимает этот вопрос советская делегация? — растерянно спросил американский президент.

Сталин не торопился с ответом.

Вчера вечером Молотов информировал советскую делегацию о повестке дня, выработанной на завтра. Заседание делегации затянулось далеко за полночь. На нем еще раз было тщательно проанализировано стремление расчленить Германию, все еще существующее среди американцев. Выступая 9 мая 1945 года с обращением к народу, Сталин заявил, что Советский Союз не собирается «ни расчленять, ни уничтожать Германию». Чеканная формула эта предварительно обсуждалась и шлифовалась в Политбюро. Тем не менее некоторые американские деятели сеяли слухи о том, что Советский Союз заинтересован в разделе Германии.

Сейчас Сталин безмолвно спрашивал себя и одновременно членов своей делегации: случаен ли вопрос, заданный Черчиллем и Трумэном? Сыграют ли этот вопрос и ответ на него какую-нибудь роль, когда речь пойдет о послевоенном германском государстве и об изменениях германских границ в пользу Польши и Советского Союза?

— Германия — сегодняшняя объективная реальность,— сказал Сталин, как бы выдвигая эту мысль на обсуждение собравшихся. Его ближайшие помощники едва заметно наклонили головы в знак согласия. — Германия есть то, чем она стала после войны,— уже более твердо продолжал Сталин. — Никакой другой Германии сейчас нет. Я так понимаю этот вопрос.

— Можно ли говорить о Германии, какой она была до войны, скажем, в 1937 году? —втягиваясь в разговор, начатый Черчиллем, спросил Трумэн.

— Почему? — возразил Сталин. — Надо говорить о Германии, как она есть в 1945 году.

— Но она же все потеряла в 1945 году! — повысил голос Трумэн. — Германии сейчас фактически не существует.

— Германия представляет, как у нас говорят, географическое понятие,— слегка разведя руками, сказал Сталин. — Будем пока понимать так,— мирно добавил он.— Нельзя же абстрагироваться от результатов войны.

— Да, но должно же быть дано какое-то определение понятия «Германия»! — раздражаясь, в еще более повышенном тоне ответил Трумэн.— Я полагаю, что Германия, скажем, 1886 или 1937 года — это не то, что Германия сегодняшняя!

О Бирисе, казалось, забыли. Он едва сдерживал возмущение, тщетно ждал паузы, чтобы продолжить доклад и тем самым прекратить этот нелепый, схоластический, по его мнению, спор. Трумэн напрасно дал себя втянуть в бесплодную дискуссию.

— Германия изменилась в результате войны,— негромко сказал Сталин. Он как будто нарочно старался говорить тем тише, чем громче говорил Трумэн. — Так мы ее и принимаем.

— Я вполне согласен с этим,— уже спокойнее произнес Трумэн.— Но все-таки должно же быть дано некоторое определение понятия «Германия»?

Это прозвучало просительно и, пожалуй, даже жалобно.

«На кой черт?!»— с гневом подумал Бирис. Несмотря на весь свой опыт, он не мог проникнуть в скрытый смысл того, что сейчас происходило. Он не понимал, что нетерпеливый Черчилль и вызывающе спокойный Сталин преследовали в этом внезапно возникшем споре далеко идущие цели.

Сталину, видимо, надоела словесная перепалка. Выражение его лица мгновенно изменилось.

— Может быть, говоря о довоенных границах Германии,— сказал Сталин, глядя на Трумэна,— имеется в виду установить германскую администрацию в Судетской части Чехословакии? Это

область, откуда немцы изгнали чехов,— добавил он снисходительно-поясняюще.

Бирнсу наконец стало ясно, что спор идет отнюдь не по формальному поводу. Признать Германию «как она есть в 1945 году» значило согласиться с тем, что значительная ее часть уже принадлежит Польше — причем Польше, дружественной Советскому Союзу. Это означало подтвердить согласие и с тем, что Восточная Пруссия и ее центр Кенигсберг являются отныне советской территорией.

Бирнс подумал, что Трумэн, втянутый в спор Черчиллем, а затем Сталиным, не понимает всей его серьезности и просто хочет оставить за собой последнее слово.

— Может быть, мы все же будем говорить о Германии, как она была до войны, в 1937 году? — тем временем повторил свое предложение Трумэн.

Сталин выбил трубку о дно массивной хрустальной пепельницы.

— Формально, конечно, можно принять и эту дату,— прежним невозмутимо-спокойным тоном сказал он. — Однако вряд ли это будет верно по существу. Например, в то время Восточная Пруссия принадлежала Гитлеру. Но... — Сталин сделал паузу и неожиданно улыбнулся. — Если в Кенигсберге появится немецкая администрация, мы ее прогоним. Обязательно прогоним!

В зале засмеялись. Обескураженные Трумэн и Бирнс видели, что смеются не только русские, но и американцы и англичане.

Это следовало немедленно прекратить.

— На Крымской конференции было условлено, что территориальные вопросы должны быть решены на Мирной конференции,— быстро произнес Трумэн и сразу понял, что хватил через край. Лицо Сталина приняло угрюмо-сосредоточенное выражение. Не нужно было в столь демонстративно-категорической форме подвергать сомнению права Советского Союза, к тому же предопределенные ялтинскими решениями. Чтобы смягчить впечатление, Трумэн решил вернуть разговор в прежнее русло.

— Как же мы определим понятие «Германия»? — спросил он.

Сталину, по-видимому, все это окончательно надоело.

— Вот что,— решительно сказал он. — Давайте определим западные границы Польши, и тогда яснее станет вопрос о Германии. — На мгновение он задумался. — Я очень затрудняюсь сказать, что такое теперь Германия. Это страна, у которой нет правительства, нет определенных границ... Она разбита на оккупационные зоны. Вот и попробуйте определить, что такое Германия. Это просто разбитая страна.

Наступила пауза.

— Может быть, мы все-таки примем в качестве исходного пункта границы Германии 1937 года? — на этот раз уже явно просительным тоном произнес Трумэн.

Сталин развел руками:

— Исходить из всего можно. В этом смысле можно взять и 1937 год. Но,— он снова помолчал,— только как исходный пункт. Это просто рабочая гипотеза для удобства нашей работы. Объективной же реальностью является та, которая сложилась в результате разгрома гитлеризма.

— Итак, мы согласны взять Германию 1937 года в качестве исходного пункта,— с облегчением объявил Трумэн, делая вид, что расслышал лишь первую часть ответа Сталина.

«Ну и чего ты добился? — подумал Бирнс. — Практически использовать эту формулу все равно не удастся. Сталин заранее повторил, что принимает ее лишь в качестве рабочей гипотезы!»

— Мы не закончили со вторым вопросом повестки дня,— напомнил Трумэн.

Вторым был вопрос о Контрольном Совете, точнее, о его полномочиях в политической области.

Сталин заявил, что советская делегация ознакомилась с предложениями министров по этому вопросу и согласна с ними. Он внес небольшую поправку: предложил исключить из документа несколько строчек; в них оставалась лазейка, которую нацисты могли использовать в своих интересах. Кроме того, он высказал пожелание, чтобы редакционная комиссия отредактировала текст документа.

— Для этой цели уже создана подкомиссия,— буркнул Бирнс.

Он был недоволен ходом заседания. Ведущую роль у него отняли. Самое же обидное состояло в том, что сделал это Трумэн. Зачем было затевать никчемный спор со Сталиным?

— Хорошо,— сказал Сталин в ответ на слова Бирнса. — Возражений нет.

— Может быть, завтра утром министры еще раз посмотрят этот документ после того, как его представит редакционная комиссия?

Это сказал молчавший до сих пор Иден.

— Так будет, конечно, лучше,— охотно согласился Сталин.

— Здесь, в проекте,— держа перед глазами розданный американцами документ и как бы вновь перечитывая его, сказал Черчилль,— говорится об уничтожении немецких вооружений и других орудий войны. Однако в Германии имеется ряд экспериментальных установок большой ценности. Было бы нежелательно уничтожать эти установки.

— В проекте,— возразил Сталин,— сказано так: захватить или уничтожить.

— Верно! — воскликнул Черчилль. — Здесь сказано именно так. Но мы можем найти

применение этим установкам! Или распределить их между собой.

— Можем,— подтвердил Сталин.

«Опять начал свою игру в мнимые поддавки!»— со злостью подумал Бирнс.

Но он ошибся. Словно забыв о Германии, Сталин вдруг сказал:

— Советская делегация имеет проект по польскому вопросу. На русском и английском языках. Я просил бы ознакомиться с этим проектом.

Все увидели, как помощник Молотова Подцероб тотчас передал советскому министру папку.

Трумэн переглянулся с Черчиллем, что-то шепотом спросил Бирнса и, не глядя на Сталина, но обращаясь явно к нему, сказал:

— Я предлагаю дослушать доклад Бирнса о совещании министров, а потом ознакомиться с вашим проектом.

Он слегка поклонился в сторону Бирнса, как бы предоставляя ему слово.

Но Бирнс с ужасом почувствовал, что говорить ему, в сущности, уже не о чем. Да, на утреннем совещании министров было решено включить польский вопрос в повестку дня. Когда Бирнс в начале заседания перечислял пункты повестки, ему ничего не оставалось, как сообщить об этом. Он полагал, что право детализации польского вопроса, как, впрочем, и всех других, должно было принадлежать ему как сегодняшнему докладчику.

Теперь инициативу перехватил Сталин. Надо было во что бы то ни стало вырвать ее из его рук!

Но как это сделать? Времени на раздумья не оставалось.

— Министры иностранных дел, — торопливо начал Бирнс,— согласились рекомендовать главам правительств обсудить польский вопрос с двух сторон: о ликвидации эмигрантского польского правительства в Лондоне и о выполнении решений Крымской конференции о Польше в части проведения там свободных и беспрепятственных выборов.

Бирнс решительно не знал, что ему говорить дальше. Детали польского вопроса на совещании министров не обсуждались. Однако препятствовать его обсуждению здесь было уже невозможно.

Сталин полуобернулся в сторону Молотова. Советский министр раскрыл папку, переданную ему Подцеробом, и прочел:

«Заявление Глав трех правительств по польскому вопросу.

Ввиду образования на основе решений Крымской конференции Временного польского правительства национального единства, а также ввиду установления Соединенными Штатами Америки и Великобританией с Польшей дипломатических отношений, уже ранее существовавших между Польшей и Советским Союзом, мы согласились в том, что правительства Англии и Соединенных Штатов Америки порывают всякие отношения с правительством Арцишевского и окажут Временному польскому правительству национального единства необходимое содействие в немедленной передаче ему всех фондов, ценностей и всякого иного имущества, принадлежащего Польше и находящегося до сих пор в распоряжении правительства Арцишевского и его органов, в чем бы это имущество ни выражалось, где бы и в чьем бы распоряжении ни находилось в настоящее время».

Молотов прочел эту длинную фразу ровным, монотонным голосом, почти не заикаясь. Дальше в Заявлении речь шла о том, чтобы весь польский военно-морской и торговый флот, находящийся еще в подчинении правительства Арцишевского, был немедленно передан польскому правительству национального единства.

Черчилль сидел, нахмурившись. В том, что он сейчас услышал, не было для него ничего нового. Вопреки всем его усилиям, в Ялте действительно было решено распустить правительство «лондонских поляков» и дать возможность сражавшейся Польше создать свое правительство национального единства. Черчилль, однако, надеялся, что верные ему «лондонские поляки» тем или другим способом сохранят свою власть.

Теперь его надежды рушились.

Кончив чтение, Молотов захлопнул папку, положил ее перед собой и принял свою обычную неподвижную позу.

«Итак, бой начался»,— с тревогой и в то же время со странным облегчением подумал Черчилль. Он испытал облегчение потому, что очень устал ждать. Тревогу же он ощущал потому, что над столом Конференции стала нависать тень ялтинских решений, которые он считал губительными для Запада.

Черчиллю казалось, что он понял тактику русских. Они будут выдвигать на первый план те аспекты ялтинских решений, которые им выгодны, и сделают вид, что других аспектов, выгодных Западу, просто не существует. А на самом деле они существуют!

Да, «лондонское правительство» еще в Ялте было обречено — спорить по этому поводу сейчас уже не имело смысла. Да, Польша должна получить дополнительные территории на Западе — на этот счет в Ялте тоже договорились.

Но ялтинские решения — так казалось Черчиллю — все-таки давали возможность атаковать их если не «в лоб», то с «флангов». Первым объектом такой атаки должны были стать новые границы Польши. Возражать против расширения территории послевоенной Польши за счет Германии не следовало — это Черчилль понял еще в Ялте. Довоенная Германия постоянно угрожала Польше. Во время фашистской оккупации поль-

ский народ понес неисчислимые жертвы. Это, безусловно, давало Польше право на расширение ее западных границ, тем более что земли, на которые она претендовала, некогда ей принадлежали.

Но каков должен быть размер новых территорий, предоставляемых Польше? Вот вопрос, по которому можно еще поспорить!

В Ялте Сталин настаивал, чтобы будущая польская граница проходила по Одеру и западной Нейсе.

В конце концов договорились, что восточная граница Польши пройдет вдоль так называемой «линии Керзона», установленной после первой мировой войны, с отступлением от нее в некоторых районах от пяти до восьми километров в пользу Польши. Что же касается западных и северных границ, то было решено, что Польша должна получить здесь «существенное приращение территорий». О реальных размерах этого «приращения» предполагалось консультироваться с новым польским правительством, избранным надлежащим демократическим путем. Окончательно определить западную границу Польши решили на Мирной конференции. Таким образом, вопрос о выборах нового «демократического», то есть проанглийского, правительства должен был явиться для Черчилля вторым объектом атаки.

С тем, что территория Польши будет расширена, Черчилль примирился. Но он был решительно против значительного ее расширения. Он отчаянно дрался против этого в Ялте, утверждая, что Польше нельзя давать больше того, с чем она может справиться. «Если мы так напичкаем германской пищей польского гуся,— острил он,— то у него произойдет несварение желудка».

Когда ялтинское решение о Польше было опубликовано, Черчилль не слишком огорчился. Границы Польши все же не были в нем точно установлены. Предстояли консультации с польским правительством. Кроме того, окончательное решение вопроса откладывалось до Мирной конференции, а сроки ее даже еще не обсуждались.

Почему Черчилль так решительно боролся против существенного расширения границ Польши? Он мечтал о восстановлении такой Германии, которая, находясь в полной зависимости от Англии, в то же время оставалась бы достаточно сильной, чтобы по-прежнему служить постоянной угрозой для Советского Союза. Он не желал отторжения от Германии значительных территорий, полагая, что это ослабит ее сверх меры.

Не хотел Черчилль и того, чтобы поляки видели в Советском Союзе державу, благодаря которой их страна значительно расширила свою территорию и не только получила новые возможности для успешного государственного строительства, но и обезопасила себя от любых поползновений со стороны Германии.

Черчилль хотел, чтобы Польша была антирусской, чтобы она помнила о колонизаторской политике русского царизма. В его помыслах Польша оставалась такой, какой была при Пилсудском, Беке и Рыдз-Смиглы — антисоветской «санационной» державой, составной частью «санитарного кордона». Именно такой ее сумело бы сохранить «лондонское правительство», окажись оно у власти в Варшаве.

Ни одной из своих сокровенных мыслей Черчилль не мог прямо высказать здесь, в Цецилиенхофе. Но втайне он надеялся, что вместе с Трумэном сумеет осуществить подкоп под фундамент того послевоенного здания, которое неуклонно воздвигал Советский Союз в лице Сталина, и что это здание рухнет, еще будучи недостроенным.

На первом же этапе Конференции — пока что — Черчилль решил всячески осложнять любой вопрос, касающийся Польши,— разумеется, в том случае, если этот вопрос будет выдвигаться Советским Союзом.

Когда Молотов кончил читать советское заявление, Черчилль сказал:

— Господин президент, я хотел бы внести некоторые дополнения. Прежде всего хочу напомнить, что основная тяжесть в польском вопросе ложится на британское правительство. Когда Гитлер напал на Польшу, мы вступили с ним в войну, а потом приняли поляков у себя, дали им убежище. Лондонское польское правительство не располагает сколько-нибудь значительным имуществом, но имеется двадцать миллионов фунтов золотом в Лондоне, которые блокированы нами. Это золото является активом центрального польского банка.

— Двадцать миллионов фунтов стерлингов? — переспросил Сталин.

— Приблизительно,— ответил Черчилль. — Разумеется, это золото не принадлежит лондонскому польскому правительству, но вопрос, где его блокировать и в какой банк перевести, должен быть разрешен нормальным путем. К этому я хотел бы добавить,— Черчилль бросил взгляд на внимательно слушавшего его Сталина,— что здание польского правительства в Лондоне теперь освобождено и польский посол больше не живет в нем. Чем скорее Временное польское правительство назначит своего посла, тем лучше...

Говоря о ныне действующем в Варшаве польском правительстве национального единства, Черчилль в большинстве случаев именовал его просто «временным».

— Однако,— продолжал он,— возникает вопрос: каким образом дезавуированное ныне польское правительство в Лондоне в течение пяти с половиной лет финансировалось? Оно финансировалось

британским правительством. Мы, именно мы предоставили им за это время примерно сто двадцать миллионов фунтов стерлингов.

Черчилль говорил еще долго. Это была самая длинная его речь с начала Конференции. Он подробно перечислял затраты, которые английское правительство понесло на содержание Арцишевского и его министров, на армию Андерса, а теперь — на трехмесячную денежную компенсацию всем увольняемым служащим-полякам.

Трумэн одобрительно кивал головой, время от времени переглядываясь с Бирнсом. Тактика Черчилля была им понятна. Многословно расписывая заботы, с которыми сталкивается сейчас английское правительство в связи с решением вопроса о будущем Польши и поляков, Черчилль как бы перекладывал все эти заботы на Сталина, пытаясь увести Конференцию от главных проблем, связанных с новыми границами Польши и с признанием правительства национального единства. Как опытный политик, Черчилль время от времени делал отступления в расчете на то, что они понравятся Сталину. Так, например, он осудил недавнее выступление генерала Андерса, заявившего своим войскам в Италии, что если они вернутся в Польшу, то русские «отправят их в Сибирь». Кроме того, он пожелал дальнейших успехов новому польскому правительству. Но тут же снова обратился к трудностям, возникающим перед английским правительством в связи с польскими делами, и наконец потребовал от нынешнего польского правительства заверения в том, что возвращающиеся на родину поляки будут иметь полную свободу и экономическую обеспеченность.

Внимательно слушая Черчилля, Трумэн размышлял, какую позицию ему следует сейчас занять. Твердо он усвоил только одно — все окончательные решения по польскому вопросу необходимо отложить до Мирной конференции. К тому времени соотношение сил наверняка резко изменится. Сталин не имел ничего против такой Конференции, но видел основную ее задачу в том, чтобы санкционировать решения, которые будут приняты здесь, в Цецилиенхофе.

Слушая Черчилля, Сталин все больше убеждался в том, что и английский премьер и американский президент не хотят полной демилитаризации Германии. Именно потому они и возражают против того, чтобы установить границу новой Польши по реке Одер до того места, где в нее впадает западная — именно западная, а не восточная — Нейсе. Это с их стороны не просто упрямство. Ведь в первом случае немецкие города Штеттин и Бреслау (считая эти города исконно своими, поляки называли их «Щецин» и «Вроцлав») остались бы на территории Германии, во многом усиливая ее индустриальную, а следовательно, и военную мощь.

По этой же самой причине Сталин, в свою очередь, настаивал на границе по западной Нейсе. Он отнюдь не собирался вновь усиливать Германию, предпочитая видеть соседом Советского Союза дружественную сильную Польшу.

«В этом, именно в этом вся суть дела!» — думал Сталин, слушая, как Черчилль перечисляет цифры понесенных Великобританией убытков. В конце концов главные вопросы всплывут на поверхность. Но поставить их сейчас — значит вызвать лицемерное негодование союзников, которые начнут категорически отрицать приписываемые им намерения...

Вместо того, чтобы спорить с Черчиллем о денежных потерях Великобритании, Сталин невозмутимо спросил английского премьера:

— Читали ли вы проект русской делегации о Польше? Он был роздан еще до начала этого заседания.

Черчилль почувствовал, как кровь прихлынула у него к лицу. Сталин, кажется, издевался над ним! Да, проект был роздан. К тому же Молотов только что прочел его вслух.

— Моя речь является ответом на проект русской делегации! — с вызовом крикнул Черчилль.

— В каком смысле?

Сталин имел все основания задать этот вопрос. В проекте советской делегации говорилось, что правительство Арцишевского ликвидируется, а польские вооруженные силы и вооружения передаются законному правительству в Варшаве. Что Черчилль мог ответить Сталину? Ведь он же сам объявил, что лондонское правительство дезавуировано!

— В том смысле,— не глядя на Сталина, угрюмо сказал Черчилль,— что в принципе я согласен. Но,— он привстал со своего места и энергично взмахнул рукой,— при условии, что будет принято во внимание то, что я сейчас сказал.

Это прозвучало довольно бессвязно. Трумэн и Бирнс были уверены, что Сталин немедленно воспользуется тем, что ответ Черчилля был столь нелогичен.

Но Сталин мягко и сочувственно сказал:

— Я понимаю трудность положения британского правительства. Я знаю, что оно приютило польских эмигрантов. Я знаю, что, несмотря на это, бывшие польские правители причинили много неприятностей правительству Великобритании. Я понимаю трудность положения британского правительства,— еще более сочувственно повторил Сталин.— Но я прошу иметь в виду,— продолжал он,— что наш проект не преследует задачи усложнить положение британского правительства и учитывает трудность его положения. Поверьте,— Сталин повернулся в сторону Черчилля,— у нашего проекта только одна цель: покончить с неопределенным положением, которое все еще имеет

место в польском вопросе, и поставить точки над «и».

Он сделал паузу и уже совсем иным тоном, сурово и жестко сказал:

— Господин Черчилль утверждает, что эмигрантское правительство ликвидировано. Но на деле правительство Арцишевского существует. Оно имеет своих министров. Оно продолжает свою деятельность, имеет свою агентуру, свою базу и свою печать. Все это создает неблагоприятное впечатление. Наш проект имеет целью с этим неопределенным положением покончить. Если господин Черчилль укажет пункты в этом проекте, которые затрудняют положение правительства Великобритании, я готов их исключить.

Сталин снова сделал короткую паузу, едва заметно усмехнулся и прежним сочувственным тоном закончил:

— Наш проект не имеет целью затруднить положение британского правительства...

Черчилль чувствовал себя так, словно его попеременно окунали то в теплую, то в ледяную воду.

— Надо выручать Уинни, — шепотом сказал Бирнс на ухо Трумэну.

Но Иден, в свою очередь, успел шепнуть Черчиллю: «Выдержка, сэр!» — и английский премьер овладел собой.

Надменно усмехнувшись, он сказал с подчеркнутой вежливостью:

— Мы совершенно согласны с вами, генералиссимус. Но в то же время вы не можете препятствовать тем или другим лицам — я говорю сейчас о поляках — жить в Англии и разговаривать друг с другом. Да, эти люди встречаются с членами парламента и имеют в парламенте своих сторонников. Но,— Черчиллю показалось, что Сталин собирается подать ему реплику, и решил опередить его,— мы, как правительство, с ними никаких отношений не имеем. Я лично и мистер Иден никогда с ними не встречались, и с тех пор, как господин Миколайчик вошел в состав нынешнего польского правительства и уехал в Варшаву, я даже не знаю, что делать с оставшимися поляками. Повторяю: я никогда с ними не встречаюсь. Я не знаю, что делать, если Арцишевский гуляет по Лондону и болтает с журналистами. Но, что касается нас, мы считаем Арцишевского и его министров несуществующими, ликвидированными в дипломатическом отношении, и я надеюсь, что скоро они будут совершенно неэффективны...

Трумэн, Бирнс и даже Эттли — с тех пор, как этот человек появился за столом Конференции, он так и не проронил ни одного слова — смотрели на Черчилля со снисходительным сочувствием. Они понимали, что, сбивчиво отмежевываясь от Арцишевского, Черчилль говорит неправду. Разумеется, планы этого честолюбивого поляка не всегда совпадали с планами Черчилля. Но оба они одинаково хотели возродить антисоветскую, контрреволюционную Польшу, которая находилась бы в тесном экономическом и политическом союзе с Англией. Если бы Арцишевского или Черчилля спросили, что они предпочитают: создать дружественную Советскому Союзу новую Польшу или повременить с ее освобождением войсками Красной Армии, оба наверняка выбрали бы второе. На судебном процессе в Москве были полностью раскрыты подрывные действия Арцишевского и его эмиссаров против сражавшейся Красной Армии. Находясь в Лондоне, Арцишевский, конечно же, не мог действовать независимо от правительства Англии и персонально от Черчилля. Поэтому-то попытка английского премьера отмежеваться от Арцишевского выглядела столь наивно и беспомощно. После того, как еще в Ялте была предрешена ликвидация эмигрантского правительства, Черчиллю, разумеется, не оставалось ничего другого, как утверждать, что оно ликвидировано. Но форма, в которую он облек это утверждение, могла вызвать лишь снисходительно-сочувственную улыбку.

Поняв это, Черчилль нахмурился.

— Теперь,— мрачно продолжал он,— я хотел бы привлечь ваше внимание к судьбе польской армии. Это очень серьезный вопрос. Мы должны быть осторожны, когда дело касается армии. Она может взбунтоваться, и мы понесем большие потери. Не забудьте, что мы имеем значительную часть польской армии и на своей территории, например, в Шотландии.

Это было серьезное предупреждение. После беспомощных жалоб на то, что премьер-министр Великобритании не знает, как поступить, если Арцишевский гуляет по Лондону и болтает с журналистами, оно прозвучало весомо.

Перехватив враждебный взгляд Сталина, Черчилль подумал, что его ссылка на польскую армию может быть истолкована как попытка саботировать одно из основных ялтинских решений и, пожертвовав Арцишевским, сохранить его войска.

— Наша цель,— поспешно сказал Черчилль миролюбивым тоном,— одинакова с целями генералиссимуса и президента. Мы только просим доверия и времени, а также вашей помощи по созданию в Польше таких условий, которые притянули бы к себе этих поляков.

Последнюю фразу он произнес быстро, как бы между прочим, но смысл ее сразу дошел до всех. Черчилль пытался подменить вопрос о ликвидации польского эмигрантского правительства, за которое отвечал он, вопросом об условиях жизни в нынешней Польше, за которые якобы должен был отвечать Сталин.

Трумэн был недоволен этим. Вопрос о ликвидации лондонского правительства значился в

повестке дня заседания, а повестка дня докладывалась государственным секретарем Соединенных Штатов. Произвольно менять ее никто не имел права. Конечно, вопрос о Польше как таковой в свое время станет одним из основных. Напомнить, что главный разговор о Польше еще впереди, следовало. Но только не Черчиллю...

Словом, Трумэн был недоволен ходом заседания. Но что именно сердило его? Упорство Черчилля? То, что пришлось столько времени потратить на разговоры о судьбе «лондонских поляков» или на спор о том, «что такое теперь Германия»?..

Разочарован был сегодняшним заседанием и Черчилль. Главным поводом к тому служило странное, как ему казалось, поведение Трумэна. Нет, он не смог бы предъявить президенту Соединенных Штатов никаких конкретных упреков. Трумэн в общем не отступал от ранее согласованных с Черчиллем позиций относительно будущего Германии, судьбы восточноевропейских государств, в частности Польши, хотя все эти вопросы по-настоящему еще и не обсуждались.

Черчиллю казалось, что Трумэн повинен в другом. Президент США вел себя недостаточно активно и явно остерегался идти на конфронтацию со Сталиным, которой жаждал он, Черчилль. Его настораживало и одновременно раздражало то, что Трумэн держался сейчас иначе, чем во время их первой встречи.

Наблюдая за Трумэном в часы заседания, Черчилль замечал, что президент то и дело поглядывает на дверь, ведущую в комнаты американской делегации, точно чего-то ожидая. И каждый раз с досадой убеждается, что опять вошел не тот, кого он ждет...

«Впрочем, может быть, я ошибаюсь?» — думал Черчилль.

Нет, английский премьер-министр не ошибался.

Председательствуя на заседании и поневоле активизируясь, когда начиналась очередная схватка, Трумэн и в самом деле не мог отвлечься от мыслей, неотступно владевших им все это время. Он думал об отчете Гровса. Его он ждал, на него возлагал все свои надежды.

Самолет, который уже летел сейчас над южными широтами Америки или над водными бездиами Атлантики, должен был доставить не волшебную палочку — объект детских вожделений и не покрытый плесенью кувшин со всемогущим джинном, а нечто неизмеримо большее, нечто такое, чего еще никогда не порождала человеческая фантазия,—подтверждение того, что атомная бомба из апокалиптического видения стала реальным оружием, готовым к употреблению.

Вот почему Трумэн с таким нетерпением поглядывал на дверь, вот почему с тревогой всматривался в каждого американца, входившего в зал, где шло заседание, вот почему надолго задумывался, когда ход Конференции не требовал от него активного вмешательства...

Сейчас настала минута, когда такое вмешательство было необходимо.

— Я не вижу никаких существенных разногласий между генералиссимусом и премьер-министром,— примирительно сказал Трумэн.— Насколько я понимаю, мистер Черчилль просит только доверия и времени, чтобы устранить все затруднения, о которых он говорил. Поэтому, мне кажется, не будет больших трудностей в урегулировании этого вопроса. Тем более что мистер Сталин сказал, что готов вычеркнуть спорные пункты. В решении Ялтинской конференции предусматривалось, что после установления нового правительства в Польше должны быть как можно скорее проведены всеобщие выборы на основе всеобщего избирательного права.

— Правительство Польши не отказывается провести выборы беспрепятственно,— вставил Сталин, словно удивленный тем, что здесь почему-то возник столь ясный вопрос.— Давайте передадим этот проект министрам иностранных дел,— добавил он.

— Поскольку мы обсудили все, что представил нам мистер Бирнс,— заметил Трумэн,— хочу спросить: должен ли я поручить министрам готовить повестку на завтра?

— Хорошо было бы,— отозвался Сталин.

Трумэн собирался уже закрыть заседание, как вдруг снова заговорил Черчилль. Он был глубоко разочарован. Заканчивался второй день Конференции, а решающего сражения так и не произошло. Пока что Конференция лишь фиксировала то, о чем было договорено в Ялте. Но разве он ехал сюда для этого?!

— Мне хочется поднять вопрос, который не включен в сегодняшнюю повестку дня, но, полагаю, должен быть обсужден завтра,— недовольно произнес премьер-министр.— Я придаю большое значение политическим принципам, которые должны быть применены к Германии. Главный принцип, который мы обязаны рассмотреть, заключается в том, должны ли мы применять однородную систему контроля во всех четырех зонах оккупации Германии, или будут применяться различные принципы?

— Но этот вопрос как раз и предусмотрен в политической части проекта,— с несколько преувеличенным недоумением сказал Сталин.— Я так понял, что мы стоим за единую политику.

Трумэн решил, что он наконец проник в тактику Сталина: соглашаясь со словами союзников, вкладывать в них свой собственный смысл. «Что ж,— подумал президент, — попробую поступать так же...»

— Совершенно правильно, — решительно поддержал он Сталина.

— Я хотел подчеркнуть сказанное мною, так как это имеет большое значение,— после паузы произнес Черчилль, делая еще одну попытку затянуть заседание.

— Правильно,— вслед за Трумэном повторил Сталин.

— Завтра собираемся в четыре,— устало объявил президент.

Глава третья

«ЗАГАДКА ВОЛЬФА»

Знал ли Воронов, что происходило в эти дни в замке Цецилиенхоф? Какие вопросы обсуждались? Как вели себя, как говорили Сталин, Трумэн и Черчилль?..

Конечно, нет. Все это станет ему известно гораздо позже, когда уже не только итоговые документы — их опубликуют сразу после окончания Конференции,— но и протокольные записи каждого заседания будут преданы гласности.

Тем не менее, находясь вблизи эпицентра событий, рядом с вулканом, в кратер которого ему не дано было заглянуть, Воронов как бы ощущал кипение лавы. Когда мимо проезжали машины Молотова, Бириса и Идена, он понимал, что предстоит очередное подготовительное совещание министров иностранных дел. Когда по улицам Бабельсберга мчалась, завывая сиренами, сверкая разноцветными огнями, кавалькада машин и мотоциклов, он пытался разглядеть Трумэна и знал, что в эти минуты к Цецилиенхофу направляются также Сталин и Черчилль.

Пробыв в Германии уже неделю, Воронов, насколько это было возможно, освоился с обстановкой. Он регулярно читал советские и западные газеты, стал частым гостем в Бюро Тугаринова. Сотрудники Бюро охотно рассказывали советским журналистам о заседаниях «Большой тройки».

Сведения были, разумеется, самого общего характера. Многое Воронов уже знал из советских газет, получавших информацию своих зарубежных корреспондентов, а также из Наркомата иностранных дел. В сочетании с тем, что изредка по старой дружбе сообщал Воронову генерал Карпов, эти сведения помогали ему ориентироваться в обстановке.

Несколько раз Воронов побывал в редакции «Теглихе Рундшау». Эту газету издавала на немецком языке Советская военная администрация. Там он познакомился с молодым журналистом Клаусом Вернером. Родители Клауса, старые коммунисты, погибли в гитлеровском концлагере, а сам он, чудом избежав ареста, укрылся у дальних родственников в глухой деревеньке и дожил до конца «третьего рейха».

Особенно полезным для Воронова было знакомство с польским журналистом Эдмундом Османчиком. Эдмунд родился и вырос в Нижней Силезии, состоял членом «Союза поляков в Германии». В 1939 году попал в гестапо, вырвался оттуда, после фашистской оккупации Польши участвовал в движении Сопротивления, трижды был схвачен гестаповцами и трижды бежал по пути в концлагерь. В качестве военного корреспондента прошел весь боевой путь Первой армии Войска Польского.

Сталина, Трумэна и Черчилля Воронов видел еще только один раз. Это случилось после того, как в западных газетах появилось фото «Большой тройки». Главы государств были сфотографированы в саду Цецилиенхофа. Они сидели в плетеных креслах — светло-желтых, почти белых, однако со странными черными шарами на подлокотниках.

Руководитель киносъемочной группы Герасимов добился повторения съемки — на этот раз специально для советских операторов и фотографов.

В течение нескольких часов сотрудники Герасимова с помощью наждака и напильников стирали краску с черных шаров, пока они не стали такого же цвета, как и сами кресла.

Пришлось потрудиться и Воронову: Герасимов шутливо сказал, что только такой ценой разрешит ему участвовать в съемке.

Черчилль явился в светлой военной форме. Он грузно опустился в кресло слева от Трумэна, на котором был его обычный двубортный пиджак. Из бокового кармана чуть выглядывал серый, под цвет галстука, платочек. Справа от Трумэна сел Сталин в белом военном кителе с неизменной золотой звездочкой на груди, в темных брюках с красными лампасами.

Все трое выглядели так, будто выполняли свой неизбежный долг. На лицах их не отражалось ничего, кроме невозмутимо-благожелательного спокойствия.

...Вечером Воронов сидел в своей каморке у Вольфов и сочинял очередную статью. Но у него ничего не получалось. За несколько дней он отправил в Москву уже пять материалов и, видимо, просто устал. Нужны были новые впечатления, новые встречи, новые темы.

Решив посвятить очередную статью возрождающемуся из пепла Берлину, Воронов чувствовал, что повторяется. Он уже не раз писал и о начавшихся работах по восстановлению города и о советской помощи берлинскому населению продовольствием и медикаментами. Задание Лозовского он выполнил: написал и отправил полемическую статью в связи с антисоветскими материалами, появившимися в западной прессе. Новых заданий из Москвы не поступало. Что же касается всяческих

размышлений, так сказать, вокруг Конференции, то Воронов их, кажется, исчерпал.

Берлин уже был разделен на четыре оккупационных сектора. Может быть, об этом стоит сейчас написать?

Воронов отложил перо и надолго задумался.

В дверь осторожно постучали. Кто бы это мог быть? Грета? Вольф? Чарли Брайт? Впрочем, Чарли вряд ли решился бы приехать после того резкого объяснения, которое произошло дня четыре назад. Воронов не хотел видеть Брайта — он как бы перестал для него существовать. С присущей этому американцу бесцеремонностью, со своим обезоруживающим нахальством Брайт мог при случайной встрече с Вороновым полезть к нему с объяснениями. Или, наоборот, стал бы держать себя так, будто между ними ничего не произошло. Но вездесущий доселе Брайт как сквозь землю провалился. Воронов не встречал его больше ни в пресс-клубе, ни в Бабельсберге во время съемок.

Кроме того, осторожно стучать в дверь было не в правилах шумного и назойливого американца.

— Войдите! — громко сказал Воронов.

Дверь открылась. На пороге стоял Вольф.

— Проходите, хэрр Вольф. Садитесь, пожалуйста,— привставая, предложил Воронов.

После того странного происшествия он видел своего хозяина всего один или два раза. Вспоминая о нем, он тщетно пытался разгадать то, что назвал для себя «загадкой Вольфа». Несколько раз он спрашивал Грету о муже. «Герман на заводе», — неизменно отвечала Грета. Обманывал ли Вольф и жену? Или Грета обманывала Воронова? А может быть, постоянные отлучки Вольфа объяснялись тем, что он избегал встреч со своим советским постояльцем?

Что Вольфу понадобилось сейчас? Зачем он пришел? Спрашивать об этом было невежливо. Вероятно, Вольф хотел пригласить Воронова на чашку кофе. Что ж, это пришлось бы весьма кстати: Воронов непрочь был оторваться от своей бесплодной работы.

Но Вольф молча стоял на пороге и, кажется, не решался объяснить Воронову, зачем он пришел. На нем был его обычный длиннополый пиджак и застиранная, когда-то белая сорочка.

Воронов смотрел на него с недоумением.

— Я позволил себе побеспокоить хэрра майора по личному делу,— наконец произнес Вольф.

Опять он называет его майором! Воронов же просил не называть его так. С тех пор Вольф никогда не обращался к нему столь официально.

Впрочем, придираться сейчас к словам вряд ли стоило: во всей позе Вольфа, в том, как он стоял, как одергивал свой длинный пиджак, ощущалась странная напряженность.

Какое личное дело к Воронову могло быть у этого молчаливого немца, всегда державшегося корректно, но несколько отчужденно?

— Слушаю вас, хэрр Вольф,— сказал Воронов и пересел на кровать.— Садитесь, пожалуйста.— Он указал на освободившийся стул.

Вольф нерешительно сел.

— Слушаю вас,— повторил Воронов.

Некоторое время Вольф молчал, точно собираясь с мыслями.

— Хэрр Воронофф! Я знаю! Я знаю, что...— как бы решившись, начал он и опять умолк, словно мучившие его сомнения овладели им с новой силой.

Воронов молча смотрел на него и ждал.

— Я знаю,— с трудом продолжал Вольф,— что у вас есть некоторые подозрения...

Воронов удивленно поднял брови.

— Вы вежливый человек, хэрр Воронофф,— глухо произнес Вольф,— я несколько иначе представлял себе победителей...

— Какие у вас основания...

— Не надо! — прервал Воронова Вольф.— Не надо, хэрр Воронофф. Я хорошо знаю, что мы сделали на вашей земле. Если бы вы... Если бы... Словом, это было бы только справедливо.

— Мы встретились с вами не на поле боя, хэрр Вольф,— сухо сказал Воронов.

— Да, да,— поспешно согласился Вольф. — Но все же... Вы были бы правы, если бы относились ко мне с недоверием...

— Почему? У меня нет для этого никаких оснований. На фронте вы не были. Кроме того, вас рекомендовал товарищ Нойман, которому мы вполне доверяем...

— Нойман сидел в концлагере,— опустив голову, сказал Вольф. — А я был на свободе.

— Не всем же сидеть в лагере!

— Нойману неизвестно, что я в то время делал.

Разговор приобретал странный оборот. Воронов нахмурился.

Но Вольф словно прочел его мысли.

— Нет, нет,— поспешно сказал он. — Я никогда не состоял ни в национал-социалистской партии, ни в штурмовых отрядах...

— Так в чем же дело?

— Вы не доверяете мне,— тихо, но с затаенным упреком ответил Вольф.

— Не доверяю? Откуда вы это взяли?!

— Я видел, как ваш солдат следил за мной.

Воронов невольно покраснел. Потом его охватило раздражение: «Какого черта! Почему я должен стыдиться того, что проявил естественное чувство бдительности?»

Но он взял себя в руки и сказал:

— Я действительно приказал моему водителю посмотреть, на каком заводе вы работаете. В окре-

стностях Потсдама я не видел действующих заводов. Мной руководило простое любопытство. Конечно, правильнее было бы спросить вас. Извините, я сожалею, что не сделал этого.

— Хэрр майор! — воскликнул Вольф и на мгновение приподнялся со своего места. — Вы просите извинения у меня?!

В этом вопросе не было подобострастия, оно, как уже успел понять Воронов, вообще не было свойственно Герману Вольфу. В его восклицании звучало искреннее удивление и что-то еще... Что именно? Скорее всего, горечь.

— Я поступил неправильно,— сказал Воронов суше, чем ему хотелось.

— Теперь вам все известно? — спросил Вольф.

— В каком смысле?

— Вы знаете, что представляет собой завод, на который я хожу.

— Да нет же там никакого завода! — с раздражением воскликнул Воронов.

— Вы правы,— тихо произнес Вольф. — Теперь никакого завода там нет.

— Зачем же вы ходите туда каждое утро?!

— Потому, что я не могу!..—неожиданно громко воскликнул Вольф, осекся, словно испугавшись звука собственного голоса, и уже еле слышно произнес: — Я не могу не ходить...

— Зачем?!

— Не знаю. Это мой родной завод. Я ходил туда в течение тридцати лет. Каждый день, кроме праздников... Во время войны тоже. Иначе я не могу.

Последние слова Вольф произнес почти шепотом.

Одну загадку сменила другая!

— Но зачем?! — повторил Воронов.

— Не знаю, зачем. Наверное потому, что я не могу... Вот они,— Вольф поднял свои большие руки, руки трудового человека,— они не могут без работы... Я не могу без работы, хэрр Воронофф.

— Мой шофер видел вашу работу. Она же бесцельна!

— Да, конечно. Но я... не могу...

— Погодите, дайте сообразить... — пробормотал Воронов. — Когда был разрушен ваш завод?

— В мае. Еще неделя, и он бы уцелел. В него попали две бомбы. Каждая по тонне весом.

— И вы продолжаете туда ходить? Каждый день?!

— Да. И не я один.

— Шофер видел там несколько десятков человек... Вы собираетесь таким образом восстановить завод? Но это же нелепо!

— Наверное, нелепо,— обреченно склонил голову Вольф. — Но мы, немцы, не можем иначе.

Десятки вопросов были сейчас на языке у Воронова. Он хотел спросить Вольфа, кому пришло в голову начать этот бессмысленный труд, платит ли за него кто-нибудь, почему рабочие, часами копающиеся в грудах металлического лома, не попросили использовать их на другой, более полезной работе...

Но он молчал. Его глубоко поразило, что Вольф ходит к развалинам своего завода без цели, без реального смысла, просто по привычке.

«Уж не обманывает ли он меня?»— подумал Воронов. Однако не только слова Вольфа, но тон, которым он их произносил, обреченное выражение его лица, горький взгляд — все убеждало в том, что он говорил правду. Перед Вороновым сидел старый, как сказали бы у нас, кадровый рабочий. Преданность своему делу была для него самым главным в жизни.

Воронов встречался в Германии с разными людьми. Коммунисты Нойман или Клаус Вернер воспринимали победу Красной Армии как свою собственную. Видел Воронов и совсем других немцев — голодных, злых, бездомных, подобострастных, скрыто или явно враждебных.

Теперь в лице Вольфа он столкнулся с еще одной категорией немцев, ему до сих пор не знакомой. Вольф не был ни коммунистом, ни фашистом... Он был как будто вообще далек от всякой политики и желал только одного: трудиться под мирным небом. Его рабочие руки не признавали вынужденного отдыха.

— Все-таки я не понимаю, хэрр Вольф,— сказал Воронов после долгого раздумья. — При желании вы могли бы найти себе настоящую работу. Тысячи ваших соотечественников трудятся в Берлине, чтобы расчистить улицы, восстановить городское хозяйство...

— Это в Берлине,— согласился Вольф. — Возможно, и в других больших городах. Но до Потсдама очередь, видимо, еще не дошла.

«Вы обращались куда нибудь?»— вертелось на языке у Воронова. Но что-то удерживало его от упреков по адресу Вольфа. Ведь он и сам не знал, что происходит сейчас в Потсдаме,— этот маленький городок был для него, в сущности, только местом, где происходит Конференция.

— Вы что же, полагаете,— неуверенно спросил Воронов,— что силами нескольких десятков рабочих, без техники и без транспорта можно восстановить завод?

— С чего-то нужно начинать... — задумчиво сказал Вольф. — Наш завод выпускал станки. Токарные, фрезерные... Разве они никогда больше не понадобятся?.

— Конечно, понадобятся. Но скажите, пожалуйста, на что вы живете? Вам платят что-нибудь за эту работу?

— Нет, — отрицательно покачал головой Вольф. — Пока нет. Мы не получаем жалованья с тех пор, как кончилась война.

— Значит, уже два месяца вы...

— Да, хэрр Воронофф. Мы живем черным рынком. Грета меняет вещи на продовольствие.

— Но это же не выход! — воскликнул Воронов. — Как вы думаете жить дальше?

Пожалуй, впервые за все время разговора Вольф прямо посмотрел Воронову в глаза.

— Я пришел, чтобы спросить вас об этом, хэрр майор,— сказал он. — Я знаю, вы имеете доступ туда... в Бабельсберг. Знаете то, чего не знаем мы. Я понимаю, что не имею права... И все же я хочу... Я позволю себе спросить... Что будет с нами дальше? Что будет с Германией?!

В голосе Вольфа прозвучала неподдельная боль. И снова, испугавшись своего вопроса, он низко опустил голову.

Воронов молчал. До сих пор он, по правде говоря, не слишком задумывался о будущем Германии. Четыре долгих года это слово связывалось в его сознании только со словами: «победить», «разгромить»! Впервые он подумал о дальнейшей судьбе этой страны, пожалуй, только после разговора с Карповым,— генерал упрекнул его тогда в безразличии к тому, что происходит в душе у побежденных немцев.

Но потом другие важные мысли и дела увлекли Воронова. Все его внимание поглощала Конференция. А Германия... Все, что было связано с Германией, занимало его лишь в той мере, в какой это могло стать предметом обсуждения на Конференции.

— Вы не хотите ответить мне, хэрр майор? — подняв голову, с упреком проговорил Вольф.

Воронов почувствовал, что, обращаясь к нему как к офицеру армии-победительницы, Вольф ждет ответа. Он должен был ответить Вольфу, должен! Но еще не знал, как именно.

В эту минуту Воронов разом осознал, что до сих пор он и Вольф разговаривали как бы на разных языках. Пытаясь найти в поведении Вольфа элементарную логику, он, Воронов, не понимал голоса его души. Это был голос той Германии, которой Воронов до сих пор не слышал, потому что его заглушали грохот пушек и разрывы бомб. Теперь этот голос вдруг прорвался, и в нем со всей силой зазвучала тоска по миру и по труду...

— А вы сами, хэрр Вольф... — тихо спросил Воронов. — Как вы думаете, что будет с Германией?

— Не знаю... — безнадежно ответил Вольф. — Во время войны нам запрещали слушать иностранное радио. За это полагался концлагерь, а может быть, и расстрел. Но теперь... Теперь некоторые уже слушают. Купили приемники у Бранденбургских. Там все можно достать. Ходят разные слухи...

— Какие?

— Я могу говорить откровенно?

— Вполне.

— Одни говорят, что вы хотите установить здесь Советскую власть... Другие, что Германию раздробят на части... Предлагают бежать из русской зоны в западные... Я слышал, что семьи тех, кто воевал на Восточном фронте, будут арестованы и высланы в Сибирь...

— Какая чушь! — с возмущением воскликнул Воронов.

— Может быть... Но где же правда? Что станет с Германией? Кому она будет принадлежать?

— Вам! Таким, как вы! — с неожиданной для самого себя убежденностью крикнул Воронов.

— Нам? — удивленно переспросил Вольф.

— Черт побери! — продолжал Воронов. — Разве вы не знаете, что речь о будущем Германии шла еще в начале этого года, на Ялтинской конференции трех держав?!

— Наши газеты писали о ней. Нас уверяли, что Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились уничтожить Германию. Перестрелять большинство немцев.

— Это же были фашистские, геббельсовские газеты, хэрр Вольф!

— Другие у нас не выходили...

— Они нагло лгали! В Ялте было решено разоружить и распустить после победы германские вооруженные силы, уничтожить генеральный штаб, наказать военных преступников, ликвидировать военную промышленность... И только! Сталин сказал: гитлеры приходят и уходят, а Германия, народ немецкий остаются! Неужели вы этого не знаете? Союзники вовсе не собираются уничтожать германский народ! Уничтожить нацизм и милитаризм — такова наша цель, хэрр Вольф! Разве вы были нацистом или милитаристом?

— О, нет! Даже мой брат, погибший на Восточном фронте, никогда не был членом нацистской партии.

— В чем же дело?! Почему вы верите неразоружившимся фашистам и забываете о том, что решено в Ялте?

— Но откуда нам это знать?

— Как откуда? Почему вы слушаете провокаторов и не прислушиваетесь к советскому радио? Ведь оно ведет передачи и на немецком языке!

Вольф молчал.

— Понимаю,— с горечью сказал Воронов,— западные пропагандисты уверяют вас, что мы говорим неправду и скрываем свои подлинные цели. Знаю, сам читал! Так вот: вы спрашиваете, кому будет принадлежать Германия? Повторяю: вам! Таким людям, как вы. Трудовым людям, которые хотят мирно трудиться! Трудящимся немцам!

— В вашей стране, хэрр Воронофф, власть тоже принадлежит трудящимся. Ведь так? Значит, вы хотите...

— Сделать Германию коммунистической? Мы не экспортируем революцию. Ваше дело решать,

какой у вас будет строй. Мы хотим только, чтобы послевоенная Германия была мирной и чтобы люди, подобные вам, чувствовали себя в ней как в своем собственном доме... Мы за единую Германию. Но не хотим, чтобы она производила пушки вместо масла! Американцы и англичане не раз предлагали раздробить вашу страну. Но Советский Союз отверг эти планы. Верите мне? Отверг!

— А здесь... в Бабельсберге?

Проще всего было ответить Вольфу, что и здесь, в Бабельсберге, ялтинские решения будут единодушно подтверждены.

«А если этого не произойдет? — подумал Воронов. — Тогда Вольф упрекнет меня во лжи? Впрочем... Пройдет несколько дней, и я его вообще никогда больше не увижу!»

И все же... Воронов не хотел, чтобы Вольф когда-нибудь, пусть заочно, мог назвать его лжецом. Не хотел бы, не смог бы примириться с этим!

— Я не знаю, что происходит в Бабельсберге. Журналистов туда не допускают. Однако я не сомневаюсь...

— В чем? — спросил Вольф с надеждой и одновременно с тревогой.

— В том, что разум победит,— на этот раз уже с полной уверенностью ответил Воронов. — В том, что позиция Советского Союза остается неизменной. Вам нечего бояться будущего, хэрр Вольф!

Наступило молчание. Потом немец встал.

— Спасибо, хэрр Воронофф,— медленно произнес он. — Я никогда не предполагал, что...

— Что не предполагали?

— Что вы снизойдете до такого разговора со мной.

— Да что с вами, черт побери! Мой отец такой же рабочий, как вы.

— Но, кроме того, вы победитель. Если бы вы пожелали мстить, это было бы справедливо.

— Мстить побежденным? Нет, мы не так воспитаны, хэрр Вольф! Ваш брат поднял на нас оружие. Добровольно или по приказу, но поднял. И погиб. Это жестоко, но справедливо. Но вы... Словом, я считаю, что ответил на ваш вопрос. И... Спасибо, что вы пришли.

Воронов встал и протянул Вольфу руку. Тот в ответ протянул свою. Сначала его рукопожатие было неуверенным и вялым. Потом стало сильнее. Наконец, Вольф крепко сжал ладонь Воронова.

Глава четвертая

НОЧЬ В БАБЕЛЬСБЕРГЕ

На таких конференциях, как Потсдамская, ничто не говорится случайно. Почти каждое слово каждого оратора в конечном итоге преследует какую-нибудь цель: ближайшую или отдаленную.

Сталин очень хорошо понимал это. Но, дав свое, молчаливо одобренное всеми членами делегации определение современной Германии, он чувствовал, что ему все же не до конца ясно, почему возник этот, на первый взгляд, схоластический и как бы случайный спор.

Когда заседание кончилось, он неторопливо пожал руку Трумэну и Черчиллю, Идену и Бирнсу, не спеша закурил и направился к выходу из зала.

Но едва офицер службы безопасности закрыл за ним дверь, Сталин быстро сказал Молотову:

— Пусть Громыко и Гусев сейчас приедут ко мне. Ты тоже приходи. Надо вызвать Жукова и других военных.

Со стороны Кайзерштрассе дом, в котором расположился Сталин, казался погруженным в полумрак. Сквозь шелковые шторы проникал лишь слабый свет. Зато окна, выходившие на озеро, были ярко освещены.

Здесь, в гостиной, собрались люди, которых вызвал Сталин. Все сидели, и только Сталин по давней своей привычке медленно ходил взад-вперед, зажав в кулаке погасшую трубку.

Все молча ждали, когда он заговорит.

— Итак, что такое теперь Германия... — наконец сказал Сталин. — Обсуждая этот вопрос, мы топтались на месте минут двадцать, не меньше. Начал Черчилль... Конечно, его не может не интересовать, что представляет сейчас Германия. Еще бы! Но какое дело до этого Трумэну? А он вцепился, как клещ. Почему? Этого человека надо понять до конца. Что у него за душой? Какова его долговременная политика?

Сталин остановился напротив кресла, в котором сидел Громыко.

Молодой советский дипломат, уже не первый год занимавший пост чрезвычайного и полномочного посла СССР в США, понял, что Сталин ждет ответа именно от него.

— Я полагаю,— сказал Громыко,— что никакой самостоятельной политики у Трумэна нет.

— То есть как это нет? — с оттенком недоумения переспросил Сталин. — Вы не раз сообщали нам из Вашингтона о весьма разнообразных политических намерениях и действиях нового президента. А теперь говорите, что у него вообще нет никакой политики.

— В отличие от Рузвельта, товарищ Сталин,— продолжал Громыко,— Трумэн не является самостоятельной и крупной личностью. Он честолюбив, упрям, достаточно энергичен. Но своей политики у него нет.

— Какая же политика у него есть? — слегка нахмурившись, спросил Сталин. — Чужая?

— В лице Трумэна,— спокойно ответил Громыко,— я вижу прежде всего исполнителя чужой воли.

— Чьей же?

— Реакционных кругов сегодняшней Америки, которые разбогатели на войне и которым кажется, что сейчас, после войны, перед ними открываются гигантские перспективы.

— Какие перспективы? Сформулируйте кратко.

— Мировое экономическое господство и все, что с ним связано.

Сталин прошелся по комнате как бы в задумчивости.

— Следовательно,— сказал он,— эти реакционные круги будут выступать против нас с откровенно враждебных позиций?

— Пока нет,— отозвался Громыко.— Поскольку мы нужны им для того, чтобы победно завершить войну с Японией.

— Так...— сказал Сталин, снова останавливаясь напротив кресла Громыко.— Значит, «разбогатевшие на войне»... Мы проливали кровь, а они богатели... Пожалуй, это сказано точно.

Постояв некоторое время, он снова двинулся в свой нескончаемый путь по гостиной.

Все сидели по-прежнему молча.

— Почему же все-таки Трумэн проявил сегодня такой повышенный интерес к тому, что представляет собой нынешняя Германия? — вновь заговорил Сталин.— Видимо, потому, что вопрос о Германии имеет или будет иметь не только самостоятельное значение, но и самое непосредственное отношение к другим вопросам, которые нам предстоит обсудить. К вопросу о польских границах. Может быть, о Кенигсберге. А может быть, и о «линии Керзона». Это нетрудно предугадать. Самое же главное: мы должны выяснить, не собираются ли союзники так или иначе вернуться к своему старому плану расчленения Германии. Прошу присутствующих высказаться.

...Прошло больше часа. Сталин ни разу никого не прервал. Он продолжал ходить взад-вперед по гостиной, внимательно вслушиваясь в каждое слово.

Многое из того, что говорилось, было ему, конечно, известно. Но члены советской делегации находились в Потсдаме уже не первый день. Они ежедневно, если не ежечасно общались с членами других делегаций. Сталина интересовало, как союзники настроены именно сегодня.

Самые последние данные из Вашингтона давали известное представление о том, какова будет дальнейшая политика американской администрации. Ответственные работники государственного департамента считали, например, что предварительные сведения о разрушениях в Германии сильно преувеличены. Германская тяжелая промышленность, особенно в западной и южной частях страны, вовсе не уничтожена союзной авиацией. Редактор американского журнала «Тайм» Пертел утверждал, что немецкие промышленные магнаты, раньше помогавшие Гитлеру, готовы в любое время возобновить выпуск своей продукции, в том числе вооружения для Англии и Соединенных Штатов. Пертел приводил факты, свидетельствующие о том, что Германия в значительной степени сохранила свой военный потенциал. Так, указывал он, если завод Круппа в Эссене действительно разрушен, то главный сталелитейный завод того же Круппа в Рейнгаузене, в сущности, не пострадал...

Напоминая обо всех этих фактах сейчас, Громыко делал логически вытекавший из них вывод: германские промышленники твердо надеются на сотрудничество с американской администрацией и не допускают мысли о том, что по германской индустрии может быть нанесен удар — путем демонтирования, репараций или полного уничтожения.

Важные данные, полученные только что созданной Советской военной администрацией в Германии, огласил Жуков. Согласно этим данным, американцы готовы практически приступить к расчленению Германии. В своей зоне они, например, намереваются создать «римско-католическое баварское государство». Германским рупором этого плана избран крупнейший баварский промышленник, известный профашист Альфред Гугенберг.

Затем выступили советский посол в Англии Гусев, другие ответственные работники Наркоминдела. Все говорили о том, что в самое последнее время союзники фактически уже приступили к расчленению Германии. На словах соглашаясь с тем, что Германия должна остаться единой и что ее необходимо демилитаризовать, союзники пытаются создать в своих зонах самостоятельные государства с сильно развитой промышленностью. Владельцами предприятий по-прежнему остаются сотрудничавшие с Гитлером крупные капиталисты, руководителями — нацистские чиновники.

Настенные часы пробили три раза. Сталин подошел к своему пустовавшему креслу и, остановившись за его спинкой, сказал:

— Насколько я понимаю, союзники — главным образом американцы; у Черчилля есть еще свои собственные немалые заботы — хотели бы свести на нет ялтинские решения о будущем Германии. Некоторое время они ждали. После Тегерана — Ялты. Потом — конца войны. Пытались оказать на нас давление в ходе подготовки к этой Конференции. Теперь они, видимо, считают, что их час настал. Отныне все будет концентрироваться на вопросах о будущем Германии и Польши. Остальное имеет подчиненное значение. К такому выводу приводит нас состоявшийся здесь обмен мнениями.

Сталин сделал несколько шагов по комнате.

— Возможно,— продолжал он,— союзники захотят обсуждать будущее Германии и Польши с «позиции силы». Что ж, поговорим...

— Их силу нельзя недооценивать,— вполголоса заметил Молотов.

— Разумеется, нельзя. Недооценивать пушки, самолеты и танки было бы наивно и даже преступно. Но я говорю сейчас не о них. Ни Трумэн, ни Черчилль не выражают воли своих народов. Трумэн представляет интересы очумевшей от прибылей кучки монополистов. Черчилль — храбрый человек, но в историческом смысле он является сейчас призраком, не более того. Призраком былого могущества Великобритании. Только мы выражаем интересы своего народа. Израненного, голодного, но движимого великой идеей. Именно это дает нам силу, с которой не сравнится ничто!

В голосе Сталина зазвучал несвойственный ему пафос.

— Однако будем бдительны,— тут же добавил он сурово и жестко. — Народ поддерживает нас, но никогда не простит, если мы упустим плоды его великой победы.

Сталин оглянулся на часы и сказал уже обычным, будничным голосом:

— Четвертый час. Полагаю, что сейчас самое время поужинать. Никого специально не приглашаю, но всех желающих — милости прошу.

Этими словами нередко заканчивались ночные заседания в кабинете Сталина в Кремле.

В отличие от московских этот ужин окончился быстро — есть никому не хотелось, все слишком устали. Каждый, кто участвовал в подготовке к Конференции и теперь приехал в Берлин, уже давно привык к тому, что его рабочий день распространяется и на первую половину ночи. Но сейчас усталость сочеталась с мыслью о том, что завтра состоится очередное совещание министров иностранных дел. Значит, и нарком, и его главный помощник Подцероб, и все другие помощники, не говоря уже о советниках и экспертах, с самого утра должны быть на ногах и во всеоружии.

Последним ушел начальник генерального штаба Антонов. Он задержался на несколько минут, чтобы коротко доложить Сталину о ходе демобилизации и переброски войск на Дальний Восток.

Когда Антонов ушел, часы показывали четверть пятого.

Сталин уже давно привык работать по ночам, и спать ему не хотелось. Он знал, что Молотов придет к нему с докладом о выработанной министрами повестке дня не раньше двух часов пополудни.

Занятый делами Конференции, Сталин последние два дня не имел возможности заглянуть в газеты. Открыв дверь в соседнюю комнату, он негромко сказал:

— Принесите газеты.

И сел в кресло.

Через две-три минуты свежие номера «Правды» уже лежали у него на коленях.

За все послереволюционные годы Сталин только однажды на несколько дней покинул родные пределы — когда выезжал в Тегеран. Как в мирное, так и в военное время Сталин привык всегда чувствовать себя на своей земле. Сейчас им овладело чувство, близкое к недоумению: как же в стране может продолжаться жизнь, если он сам так далеко?..

Но жизнь продолжалась и без него.

На первой полосе «Правды» Сталин прочитал набранное крупным шрифтом сообщение об открытии Конференции Глав трех великих держав в Берлине.

Над сообщением была помещена передовая статья, не имевшая никакого отношения к Конференции: «Шире размах восстановительного строительства на селе!» Рядом рассказывалось о ходе социалистического соревнования между тракторными заводами — Алтайским, Харьковским и Владимирским. Под заголовком «В ВЦСПС» публиковалась заметка об участии профсоюзов в подготовке к уборке урожая.

Итак, несмотря на то, что он, Сталин, находился далеко за пределами Советского Союза, жизнь в стране шла своим ходом, как будто его отсутствие никак на ней не сказывалось.

Он испытывал странное, почти иррациональное ощущение.

Конечно, Сталин понимал, что по-прежнему находится в центре общественно-политической жизни партии и государства. Лишь несколько дней назад он принимал участие в заседании Политбюро, на котором шла речь о предстоящей уборке урожая, о соревновании тракторостроителей и о награждении работников Наркомата заготовок. Указ об этом награждении печатался теперь на той же первой полосе «Правды».

Не было ничего удивительного в том, что сотни, тысячи, миллионы советских людей продолжали неустанно трудиться над восстановлением страны вне зависимости от того, где находился в это время он, Сталин.

Но все-таки мысль о том, что страна, пусть короткое время, может жить и трудиться без него, была для Сталина непривычной, тревожащей и подсознательно раздражающей.

«Тяжелые раны нанесла война нашей земле,— говорилось в передовой «Правды». — Гитлеровские захватчики разрушили и сожгли сотни городов и тысячи сел, оставили без крова миллионы советских людей. Только в районах РСФСР, подвергшихся немецкой оккупации, уничтожено около миллиона жилых домов и восемьсот пятьдесят тысяч хозяйственных построек колхозников, 22 700 сельских школ, 7250 больниц и амбулаторий, 2250 детских яслей и много других хозяйственных и культурно-бытовых зданий...»

Статья закаичивалась так: «Перед каждой партийиой и советской организацией стоит вдохновляющий пример иеустаниой заботы о иуждах колхозников, о возрождеиии жизии иа освобождеиной земле. Этот пример показывает большевистская партия, Советское правительство, великий вождь и любимый отец нашего иарода товарищ Сталин!»

«Великий вождь... любимый отец...»

Эти слова сиимали смутиую тревогу, успокаивалн, ставили все иа свои привычные места.

Страииые, противоречивые пристрастия сочетались в человеке, погрузившемся сейчас в чтеиие «Правды». Культ его личности иачал складываться в ходе борьбы с антипартийиыми оппозициоиными группировками двадцатых годов, формировался иа фоне того единодушного одобреиия, которое получила со стороиы народа и партии отстаиваемая Сталииым программа превращения убогой, экоиомически отсталой России в могучее индустриальное государство.

Поощрял ли Сталии этот культ своей личиости? Несомиеино. При этом он прибегал к прямым иарушеииям революциоиной закоииости. Привык ли он к культу своей личиости? Любил ли его? По логнке фактов — да. Но все же иа эти вопросы трудио дать однозиачные ответы.

Шумиые проявлеиия иародиых чувств импоиировали властности и честолюбию Сталииа. Вместе с тем они противоречили холодному и рационалистическому складу его ума. Может быть, и поэтому он так редко, всего два-три раза в год, появлялся перед широкими массами. Повышениая эмоциоиальиость, пылкие восторги были чужды его аскетическому, пуританскому характеру.

Но если бы шум ликоваиий стал стихать, если бы имя его перестало упомииаться почти иа каждой газетной страиице, Сталин, вероятио, объясиил бы это происками своих политических врагов.

Созиавал ли ои, хотя бы тогда, когда оставался иаедиие с самим собой, что совершает величайшую иесправедливость, приписывая себе, только себе личио, все заслуги, все достижеиия партии и иарода как в мирное, так и в военное время?

Скорее всего, он считал, что так и должио быть, что сама История предиазиачила ему стать единственным и непререкаемым авторитетом во всех областях жизни, более того, как бы символом этой жизии.

Между тем из битв с внутреииими и виешними врагами Сталин выходил победителем только в тех случаях, когда иаходил в себе силу побороть свою подозрительность, самоуверениость, веру в историческое мессианство, в то, что он способен видеть дальше всех, находить решения, на которые не способеи никто и которые правильны уже только потому, что принял их он.

Сталин добивался успеха тогда, когда опирался иа партию, иа народ, когда иаходил решеиия, совпадавшие с логикой исторического развития, с объективиыми закоиами строительства социализма.

Да, иарод верил в Сталина. Да, Сталии поражал тех, кто с иим встречался, убеждеииостью, волей, глубоким проиикиовеиием в обсуждаемые вопросы, иаходчивостью, специфическим остроумием.

Но мало кому приходило в голову, что Сталин был таким ие потому, что обладал какими-то непостижимыми качествами, а потому, что за иим стоял кропотливый труд миогих десятков и сотен людей. Каждый из этих людей, заслоиеиный его величествеиной теиью, был лучшим, наиболее знающим, опытнейшим в своей области. Но эти люди были ие только высококвалифицированиыми специалистами, каких в любой страие собирает вокруг себя каждый деятель, возглавляющий государство. Сила их заключалась ие только в опыте и в зиаииях. Это были убеждеиные коммуиисты, посвятившие свою жизиь великому делу Леииа, отдавшие ему себя без остатка.

Большевики — «люди особого склада», легендарные строители Магнитки и Кузбасса — были и промышленными стратегами и выдающимися инжеиерами. Коиструкторы иовой обороииой техники превосходили создателей военной промышлеииости империализма. Дипломатами становились старые большевики-подпольщики, обладавшие огромным революциоииым опытом, и молодые коммуиисты, шлифовавшие свой талант международиого анализа упориым изучением политической истории и практики классовой борьбы.

В лучшие годы своей жизии — было ли это тогда, когда молодая республика вставала нз руин граждаиской войны или когда осуществляла свои пятилетки, Сталин ие только привлекал всех этих людей к активиой деятельиости, но и иепосредствеино, хотя и ие явио, опирался иа них.

Так было в годы Великой Отечествеииой. Так было и сейчас, в дии мирной, бескровиой битвы в Потсдаме. В состав советской делегации входили выдающиеся представители дипломатии и военной мысли. Далеко за полиочь длились совещания, на которых Сталин, несмотря на то, что план его действий был задолго до этого составлен в Москве, снова и сиова проверял себя.

Именно так было и сегодня...

Миогие из людей, являвшихся верными сыиами партии и народа, без остатка отдавших себя великому делу Леииа, жестоко пострадали от сталинской подозрительности.

Сталину уже ие дано будет услышать подлинный суд Истории. Этот строгий, иелицеприятый, объективиый суд с презреиием отметет попытки врагов социализма использовать критику отрица-

тельных черт Сталина в своих интересах, объявить его тяжелейшие проступки якобы неизбежным порождением строительства социализма и коммунизма.

Суд гласно и безбоязненно впишет эти проступки в характеристику Сталина, справедливо связав их с теми отрицательными чертами его личности, которые провидел еще Ленин.

Но суд Истории не может не быть объективным. Поэтому, отмечая отрицательные стороны Сталина, он правдиво скажет о нем и как о крупном организаторе, по достоинству оценит его роль в годы мирного строительства и в годы великой войны. Не будет забыт и вклад Сталина в дело борьбы партии против троцкизма и правого оппортунизма, в дело индустриализации и коллективизации страны.

Миллионы людей осудят Сталина за его жестокость, своеволие, самоуверенность. Но миллионы же воздадут должное его уму, проницательности, упорству, когда они служили делу партии, делу народа, делу социализма.

...Находясь сейчас в Германии и задержавшись на заключительных словах газетной строки, в общем-то стандартных, ставших привычными за последние полтора десятилетия, Сталин не испытал ни удовольствия, ни раздражения.

Им владела тревога. Сумеют ли народ, партия, государство добиться того, чтобы миллионы советских людей снова обрели кров над головой, чтобы тысячи больниц, яслей и школ встали из руин... А шахты? А заводы? Все, все, чем гордилась страна перед войной...

На протяжении своей истории Россия не раз терпела военные поражения. Сталин напоминал об этом народу, отстаивая план индустриализации страны, связанной с трудностями и лишениями, но быстрой и эффективной. Он взывал к государственному, к национальному самолюбию России, напоминая, как били и терзали ее завоеватели, начиная с монгольских ханов... Отсталых всегда бьют...

Сталину никогда не удалось бы осуществить планы индустриализации и коллективизации страны, если бы в спорах с оппозициями его не поддержали бы большинство членов ЦК, партия, народ, если бы лозунг превращения отсталой России в мощную индустриальную державу не овладел массами, не перестал быть лишь «сталинским планом», а превратился в цель жизни коммунистов, всех строителей нового общества.

Теперь значительная часть построенного была разрушена.

Что осталось непоколебимым и даже возросло? Вера в непобедимость страны, советская национальная гордость. Создана могучая армия. Уцелело то, чего не успела коснуться война. Остались неиспользованные резервы, неосвоенные природные богатства. Возникло и крепнет единодушное желание восстановить разрушенное.

Но достаточно ли этого, чтобы возвести две тысячи городов и семьдесят тысяч сел? Чтобы поднять из пепла более тридцати тысяч заводов, включая гиганты, которые были построены в Сталинграде, Ленинграде, Ростове, Одессе, Харькове?..

На что Сталин надеялся, когда война подходила к концу? На энтузиазм масс, вдохновленных победой? Да, разумеется. Но не только на это. Он считал, что немалую долю убытков должна возместить Германия. Он рассчитывал на долгосрочные кредиты от Соединенных Штатов.

Но союзники все больше разочаровывали его. Уже на Ялтинской конференции Сталину стало ясно, что Черчилль стремится свести репарации к минимуму — у британского премьера были свои планы относительно будущего Германии...

В начале 1945 года Политбюро поручило Молотову провести переговоры с послом Соединенных Штатов Гарриманом и выяснить, в какой мере можно рассчитывать на американскую помощь. Советские руководители знали, что Гарриман, разделяя веру в послевоенное американское господство над миром, в то же время полагал, что подчинить Россию можно лишь экономическим путем. Однако, когда разговор зашел о реальной финансовой помощи, посол предпочел сослаться на Конгресс. Это была традиционная уловка. Американская администрация привыкла уходить в тень Капитолийского холма, когда ей хотелось заключить выгодную сделку с Советами, сохраняя при этом «политическую невинность» в глазах уже сформировавшегося военно-промышленного комплекса.

Еще во время войны группа американских бизнесменов — среди них крупный промышленник Дональд Нельсон — обсуждала в Москве возможность крупного американского займа Советскому Союзу. Переговоры приняли тогда столь конкретные формы, что Советское правительство уже передало Нельсону список своих первоочередных нужд. Более того, Громыко сообщал из Вашингтона: по его сведениям, министр финансов Соединенных Штатов Моргентау пытался убедить нового американского президента, что экономическая помощь России и выгодна Соединенным Штатам не только коммерчески, что развитие торговых отношений с Советским Союзом поможет преодолеть многие трудности, с которыми самой Америке предстоит столкнуться в послевоенное время.

Но в Белом доме возобладала другая точка зрения. Что привело к этому? Надежда на атомную бомбу, которая, по замыслу президента, должна была подчинить Америке весь мир? Маниакальный страх перед коммунизмом? Боязнь неимоверно выросших за время войны симпатий американского народа к Советской России?

Очевидно, все это, вместе взятое. Так или иначе, Трумэн не только не предоставил Советскому Союзу никаких кредитов, но резко ограничил поставки по ленд-лизу, притом — без всякого предупреждения.

Эта новая и, несомненно, враждебная политика Соединенных Штатов не на шутку тревожила Сталина. Мысль о том, что можно было победить в войне и оказаться побежденным в послевоенное время, была для него нестерпимой. Задача заключалась в том, чтобы закрепить результаты победы. Она должна была обеспечить победителю будущую безопасность.

В течение долгих лет Советский Союз находился под каждодневной угрозой со стороны фашистской Германии. Теперь, после разгрома германского фашизма, безопасность страны, казалось, могла считаться гарантированной. Но в действительности это было не так. Доклады Громыко и Гусева, аналитические обзоры, составлявшиеся в ЦК, сигнализировали о новой угрозе. Союзники стремились восстановить и сохранить военную мощь Германии. Они не хотели ликвидировать очаг прусского милитаризма, не хотели вернуть Польше те части Германии, которые принадлежали ей исторически. По мысли руководителей западного мира именно такая политика должна была во многом обеспечить военный потенциал будущего «четвертого рейха». Американцы и англичане хотели бы возродить агрессивную Германию или «несколько Германий». Тогда снова мог бы стать реальностью «санитарный кордон» вокруг Советского Союза. Тогда мог бы оказаться возможным и тот реванш, о котором мечтают профашисты, гугенберги,— недаром Громыко говорил сегодня об этом.

Западные державы отказывались признать Восточную Европу такой, какой она волей своих народов стала после победы над фашизмом.

Поддерживаемые Британией, «лондонские поляки» вели бешеную антисоветскую пропаганду. По их приказу в январе 1945 года Армия Крайова была преобразована в диверсионную подпольную армию. Возглавлявший ее генерал Окулицкий призвал начать партизанскую войну в тылу советских войск, освобождавших Польшу. Более ста советских солдат и офицеров были убиты из-за угла...

Окулицкий и еще полтора десятка антисоветских подпольщиков были захвачены, доставлены в Москву и преданы суду, но поддерживаемые американцами и англичанами попытки возродить старую, панскую Польшу не прекращались.

К чему это может привести? К новой войне? Но сумеет ли выдержать ее сейчас Советский Союз? Как предотвратить новую угрозу? Как надолго обеспечить прочный мир, столь необходимый России?

...Обо всем этом размышлял Сталин в ночной тиши.

Свежие номера «Правды» по-прежнему лежали у него на коленях. Прерывая свои размышления, он продолжал их просматривать. Работники объединений «Башнефть», «Азнефть» и треста «Лениннефть» обращались ко всем нефтяникам страны с призывом обеспечить промышленность горючим. Коллектив ленинградского завода «Электросила» вступал в социалистическое соревнование в честь Победы. В Кракове население восторженно встречало советских бойцов-освободителей. В Литве восстановлены и уже выпускают продукцию шестьдесят пять промышленных предприятий.

Внимание Сталина привлекла большая фотография: «На Берлинской конференции глав правительств СССР, Великобритании и Соединенных Штатов Америки». Сталин стоял рядом с улыбающимся, казалось, излучающим неподдельную искренность Трумэном. Столь же широко улыбающийся Бирнс держал под руку Молотова.

Газеты печатали еще одну фотографию: на ней были запечатлены те же и Черчилль. На этот раз никто не улыбался. Сталин держал в руках коробку спичек, в зубах— папиросу. Трумэн смотрел куда-то вдаль. Ссутулившийся Черчилль зажимал в руке сигару. На его безымянном пальце виднелся перстень...

О чем они думают теперь? Какие строят планы? Эти планы будут раскрываться постепенно, в речах и коротких репликах, в как бы случайно произнесенных фразах. Вроде сегодняшней: «Что же такое теперь Германия?»

Сегодня Сталин хотя и не сразу, но нашелся. Ответил правильно. Но что возникнет завтра? Какие неожиданные предложения, какие вопросы, планы?.. Какие проблемы?

Когда газеты соскользнули с его колен, Сталин понял, что надо идти спать. Был уже шестой час утра...

Глава пятая

«ИТАЛЬЯНСКИЙ ВАРИАНТ»

Если бы посторонний человек чудом проник на два первых заседания в Цецилиенхофе и теперь присутствовал на третьем, у него сложилось бы более чем странное впечатление.

Зная, ради каких высоких целей собралась «Большая тройка», этот человек обязательно спросил бы себя: «Почему здесь не говорят о самом главном? О границах Польши, о послевоенной Германии?.. Но у постороннего создалось бы впечатление, что, даже касаясь этого главного, участники тотчас уходят в сторону. Почему? И сколько времени вообще собираются заседать?»

...На третьем заседании, открывшемся 19 июля,

Трумэн чувствовал себя в роли наблюдателя. Он как бы держал в руках весы, на которые Черчилль и Сталин поочередно бросали гири самого разного веса. Стрелка весов вздрагивала, склонялась то влево, то вправо, то застревала на мертвой точке посредине шкалы.

Едва заседание открылось, Черчилль произнес очередную длинную речь.

— Вчера,— начал он,— генералиссимус поднял на нашем заседании вопрос об инциденте на греко-албанской границе...

По залу прошло легкое движение. Никто не слышал, чтобы Сталин вчера сказал об этом хоть одно слово. Генеральный секретарь советской делегации Новиков, проверяя память, листал вчерашние протоколы.

Возникшее в зале недоумение не смутило Черчилля.

— Мы навели соответствующие справки,— продолжал он,— но не слыхали о том, чтобы там происходили бои.

Не обращая внимания на недоуменные взгляды присутствующих, Черчилль стал пространно доказывать, что никакого инцидента, в сущности, не было, что имели место лишь небольшие перестрелки и что греческих полевых частей в этом районе почти нет, в то время как по другую сторону границы сосредоточены десятки албанских, югославских и болгарских дивизий.

Дав Черчиллю выговориться, Сталин спокойно сказал, что произошло недоразумение: такого вопроса он на Конференции не ставил, а упомянул о нем в частной беседе и не считает нужным обсуждать его на Конференции.

Только тогда Черчилль понял, что память сыграла с ним злую шутку. Вчера, после заседания «Большой тройки», он был приглашен к Сталину на ужин. Вернувшись, Черчилль долго рассказывал Морану, как принял его маршал Сталин (за глаза он продолжал называть Сталина маршалом), как подарил ему коробку сигар и как, судя по всему, искренне желал его победы на выборах. Тоном победителя Черчилль рассказывал, что Сталин твердо обещал провести подлинно демократические выборы во всех странах, освобожденных Красной Армией, и заверил, что Советский Союз не имеет никакого намерения «советизировать» Европу.

Единственное, что не понравилось Черчиллю,— это музыка. В то время как другие восхищались игрой специально приглашенных из Москвы пианистов Гилельса и Софроницкого, скрипачки Бариновой и виолончелистки Козолуповой, Черчилль заявил, что предпочел бы хороший военный оркестр.

Об инциденте на греко-албанской границе — теперь Черчилль вспомнил это — Сталин упомянул лишь в застольном разговоре. Поднимать этот вопрос на заседании «Большой тройки», конечно, не следовало.

— Я согласен с генералиссимусом,— ворчливо сказал Черчилль,— что этот вопрос не обсуждался на заседании. Однако,— добавил он, стараясь придать своему тону оттенок воинственности,— если этот вопрос будет поставлен в порядок дня, мы готовы его обсудить.

Сталин вопросительно посмотрел на Трумэна, как бы спрашивая: неужели Черчиллю и на этот раз удастся увести Конференцию в сторону?

Докладывать на сегодняшнем заседании должен был Иден. Трумэн с раздражением подумал, что английский премьер, видимо, решил перебежать дорогу собственному министру иностранных дел — так велико было желание Черчилля снова внести беспорядок в работу Конференции.

В конце концов этому надо было положить предел. Тоном выговора, с осуждением глядя на Черчилля, Трумэн заявил, что Конференция не намерена обсуждать вопрос, поднятый главой английской делегации, и предоставил слово Идену.

Доклад английского министра иностранных дел разочаровал президента. Это был чисто протокольный доклад. Из него следовало, что на сегодняшнем подготовительном совещании министры продолжали редактировать политическую часть соглашения о тех принципах, которыми необходимо руководствоваться при обращении с Германией в период первоначального контроля, занимались вопросом о Польше и передали его в редакционную подкомиссию. Министры выражают надежду, что на завтрашнем заседании этот вопрос можно будет, наконец, обсудить. Сегодняшнее заседание Конференции предлагается посвятить германскому военному и торговому флоту, Испании, Югославии, выполнению ялтинских решений об освобожденной Европе.

Трумэн слушал Идена, нахмурившись. Бирнс уже подготовил президента к тому, что доклад британского министра не вызовет у него ничего, кроме скуки и разочарования. Теперь, когда этот доклад был сделан, Трумэн с горечью подумал, что председательствование на Конференции до сих пор ничего ему не принесло. Он чувствовал себя, как капитан корабля, команда которого вышла из подчинения и делала все, что ей заблагорассудится, навигационные приборы сломались, и предвидеть какие-либо перемены стало невозможно. В разговоре с Бирнсом Трумэн уже высказал резкое недовольство ходом подготовительных совещаний. Два раунда Конференции не принесли никаких выгод Западу. А ведь вчерашний раунд, подчеркнул Трумэн, должен был стать «американским», поскольку докладчиком являлся Бирнс.

Бирнс резонно возразил ему, что иметь дело с Молотовым значит примерно то же, что биться головой о гранитную стену. Советский министр

блокировал все попытки Бирнса провести такие решения, которые предопределили бы исход Конференции, запланированный еще на «Аугусте». Что касается Идена, то он, видимо, полностью зависел от переменчивых настроений своего премьера и предпочитал наблюдать. В лучшем случае он осторожно, но отнюдь не категорически поддерживал американские позиции.

Бирнс пытался убедить Трумэна, что на вчерашнем заседании ему как докладчику удалось добиться серьезной победы. Результаты ее, утверждал он, непременно скажутся, когда речь пойдет о странах Восточной Европы: Сталин согласился поставить их в один ряд с Италией! Однако все это мало утешало президента.

Безучастно слушая Идена, Трумэн вновь и вновь обращался мыслями к тому, что неизменно поддерживало его все последние дни,— к телеграмме Гаррисона. Вспомнив о ней, Трумэн ощутил прилив сил. «Собственно говоря,— подумал он,— Сталин добивается только одного: чтобы эта Конференция в новых, послевоенных условиях подтвердила то, что ему удалось выторговать у Рузвельта в Ялте. Черчилль не меньше, чем я, хочет перечеркнуть Ялту, но явно не знает, как это сделать. Все свои надежды он возлагает на меня. Что ж, недалек тот час, когда я, кажется, сумею их оправдать».

Трумэн решительно выпрямился.

— Итак,— сказал он,— насколько я понял мистера Идена, среди тех немногих вопросов, которые нам сегодня предстоит обсудить, наиболее конкретным является вопрос о германском флоте. Но прежде чем решать этот вопрос, мы должны, мне кажется, ответить на другой: что считать военными трофеями, а что — репарациями. Если торговый флот является предметом репараций, то и обсуждать его надо тогда, когда пойдет речь о репарациях. Я проявляю особый интерес к торговому флоту Германии, потому что, может быть, его удастся использовать в войне против Японии...

Произнеся эту речь, Трумэн тотчас понял, что допустил ошибку. В качестве председателя ему следовало сразу после доклада Идена заявить, что, если Конференция, не решив ни одного из главных вопросов, сосредоточится на второстепенных — таких, например, как судьба германского торгового флота,— она может продолжаться бесконечно. Надо было констатировать, что сегодняшняя повестка дня министрами не подготовлена, дать им еще сутки и потребовать, чтобы на завтрашнем заседании были обсуждены главные вопросы: об экономическом будущем Германии, о Польше, о мирном урегулировании и, конечно же, о выполнении ялтинской Декларации об освобожденной Европе. Но все это Трумэн понял слишком поздно. Своей речью он уже включился в обсуждение вопросов, предложенных Иденом, и тем самым предопределил дальнейший ход заседания.

Выслушав Трумэна, Сталин сказал, что военный флот, как и всякое вооружение, должен рассматриваться как трофей. Условия капитуляции Германии таковы, что военный флот должен быть разоружен и сдан. Что же касается торгового флота, то можно поставить вопрос о том, является ли он трофеем или подлежит включению в репарации.

Черчилль, который издавна считал себя крупным специалистом в военно-морских делах, прочитал целую лекцию о разнице между надводным и подводным флотом. Сталин, видимо, не придал ей особого значения. Обращаясь к Трумэну, он сказал, что глубоко сочувствует идее использования германского торгового флота в борьбе против Японии, но хотел бы, чтобы Конференция ясно и недвусмысленно подтвердила право Советского Союза на третью часть военно-морского и торгового флота Германии.

В конце концов Трумэн заявил, что этот вопрос достаточно обсужден, и, следуя распорядку дня, предложенному Иденом, перешел к вопросу об Испании.

Но и в этом случае никаких окончательных решений принято не было.

Трумэн сказал, что, отнюдь не сочувствуя режиму Франко, он, однако, не поддерживает активных мер против Франко, так как это могло бы привести к новой гражданской войне в Испании.

Сталин с необычной для него резкостью ответил, что режим Франко навязан испанскому народу Гитлером и Муссолини и что этот режим питает полуфашистские режимы в некоторых других странах. Как один из членов «Большой тройки» он не считает себя вправе молчать об этом. Сталин настаивал, чтобы Конференция приняла декларацию о своем отношении к режиму Франко.

Черчилль возражал на том основании, что Испания не участвовала в войне. Между тем было широко известно, что испанская «голубая дивизия», например, сражалась на стороне Гитлера против Красной Армии. Сам Черчилль сказал, что понимает точку зрения Сталина, ибо каудильо имел наглость послать в Россию «голубую дивизию». Однако он энергично протестовал против разрыва дипломатических отношений с правительством Франко.

В конце концов было снова решено передать этот вопрос министрам иностранных дел.

Безрезультатно окончилось и обсуждение вопроса о Югославии. Черчилль обрушился с нападками на Тито, обвиняя его в нарушении декларации, принятой в Ялте, а также в том, что он устранил министра иностранных дел Югославии, бывшего председателя югославского эмигрантского правительства Шубашича от управления страной.

Сталин заявил, что не считает возможным обсуждать внутренние дела Югославии в отсутствие ее представителей. Черчилль усомнился в том, что люди столь разных политических взглядов и ориентаций, как Тито и Шубашич, согласятся приехать сюда вместе. Сталин заметил, что сначала их нужно об этом запросить.

Внезапно взорвался Трумэн. Он заявил, что прибыл сюда не для того, чтобы рассматривать политическое положение в каждой стране Европы, а для того, чтобы обсуждать мировые вопросы. Сталин спокойно произнес: «Это — правильное замечание». Тем самым ярость Трумэна обращалась против Черчилля и Идена — ведь сегодняшним докладчиком был не кто иной, как министр Великобритании.

Черчилль в пылу полемики принял удар на себя. Даже после заявления президента он продолжал твердить, что вопрос о положении в Югославии глубоко принципиален и что маршал Тито не выполняет решений Крымской конференции.

Сталин усмехнулся.

— По-моему,— сказал он,— решения Крымской конференции выполняются маршалом Тито полностью и целиком.

По его предложению вопрос о Югославии был снят с повестки дня.

Обессиленный Трумэн объявил, что завтрашнее заседание начнется, как обычно, в четыре часа дня...

На следующей встрече «Большой тройки», состоявшейся 20 июля, докладчиком предстояло быть советскому наркому иностранных дел Молотову.

Этим заседанием, условно говоря, заканчивался первый круг Конференции, поскольку на двух предыдущих заседаниях докладчиками были представители Соединенных Штатов и Великобритании.

Трумэн уже знал от Бирнса, что на сегодняшнем совещании министров русские заявили: пора прекратить беспорядочные прения и покончить с анархией, при которой каждый участник Конференции, не считаясь с повесткой дня, позволяет себе говорить все, что ему заблагорассудится.

Открывая заседание, Трумэн знал, что сегодня русские хотят дать бой по основным вопросам, для решения которых, собственно, и собралась «Большая тройка».

Президент предпочел бы обсуждать эти вопросы несколько позже. Ему доложили, что сегодня, 20 июля, самолет с отчетом Гровса должен был взлететь с аэродрома военной базы в Нью-Мексико. Однако изменить что-либо Трумэн при всем желании не мог: Иден уже выступил в роли докладчика. Бирнс тоже. Сегодня была очередь Молотова.

...В первой половине дня Трумэн побывал в Берлине — он участвовал в церемонии подъема национального флага над зданием, где обосновалась американская группа Контрольного Совета. Глядя, как медленно поднимается звездно-полосатое полотнище, Трумэн представлял себе другой, тоже американский, флаг, который вскоре должен был вознестись над всей планетой,— символ мирового владычества Соединенных Штатов.

Сейчас от этих честолюбивых мыслей не осталось и следа. Настроение было испорчено. С угрюмым видом слушая Молотова, Трумэн вспоминал, как этот большевистский комиссар сидел перед ним в Овальном кабинете Белого дома, а он, Трумэн, впервые решивший показать Советам, что эра Рузвельта кончилась, резко и высокомерно упрекал Советский Союз в невыполнении ялтинских решений вообще и по польскому вопросу в частности.

Тогда Молотов ни разу не улыбнулся, но не выказал и никаких признаков раздражения. Даже тогда, когда категорически, решительно и прямолинейно отвергал упреки президента и, в свою очередь, шел в наступление.

Теперь этот человек, видимо, лишенный всяких эмоций, слегка заикаясь, произносил свой доклад. Особенно раздражал Трумэна спокойно-уверенный тон советского комиссара.

Трумэн знал, что Бирнсу с помощью Идена все же удалось лишить Молотова права говорить о каких-либо решениях как окончательно согласованных. Это несколько утешало президента, поскольку помогало выиграть время. Теперь, когда доклад Гровса можно было ждать спустя считанные часы, выигрыш времени приобретал особое значение.

Молотов доложил, что на совещании министров стояли вопросы об экономических принципах в отношении Германии, о Польше, о мирном урегулировании, то есть о подготовке мирных договоров для Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии... Однако, продолжал Молотов, по первым двум вопросам окончательные рекомендации выработаны не были, и министры просят разрешения продолжить свою работу. Все, что связано с Италией, с новыми границами Польши, а также с Австрией и с так называемыми подопечными территориями, предлагается обсудить на сегодняшнем пленарном заседании.

Трумэн отлично понимал, что для Сталина и Черчилля главными были два вопроса: о западных границах Польши и о мирных договорах со странами освобожденной Европы.

По первому вопросу он давно решил дать бой русским, хотя сознавал, что бой этот будет нелегким и результаты его предсказать трудно. Что же касается второго вопроса, то Трумэн с удовлетворением отметил, что ловушка, подготовленная

Бирнсом для русских на позавчерашнем заседании, ими так и не распознана. Когда Молотов говорил о мирном урегулировании, Италия и страны Восточной Европы упоминались им в одном ряду.

Едва Молотов кончил свой доклад, сразу же раздался голос Черчилля — этот неугомонный человек. казалось, поставил своей целью на каждом заседании привлекать общее внимание только к своей персоне.

«Ну, что еще?» — с уже привычным раздражением подумал Трумэн.

— Разрешите, господин президент, поднять маленький вопрос относительно процедуры нашей работы.

Трумэн знал, что в лице британского премьер-министра имеет надежного и многоопытного союзника. Однако привычка Черчилля произносить длинные речи по любому вопросу выводила Трумэна из себя. Кроме того, он боялся, как бы очередная непредвиденная инициатива Черчилля не застала его врасплох.

— Наши министры,— продолжал Черчилль,— встречаются каждое утро и подготавливают обширную программу для вечерних пленарных заседаний. Это длительная, кропотливая работа. Сегодня, например, они закончили ее только к двум часам дня. Не знаю, как у вас, мистер президент, или у вас, генералиссимус,— вежливые поклоны в сторону Трумэна и Сталина,— но лично у меня остается очень мало времени, чтобы составить свое мнение о подготовленных министрами документах. Поэтому я предлагаю... — Черчилль сделал паузу, как бы испытывая терпение присутствующих,— начинать наши заседания не в четыре часа, как было условлено, а в пять.

«Столько слов по такому чепуховому поводу!» — с досадой подумал Трумэн.

— Не возражаю,— процедил он сквозь зубы и, не дожидаясь, что скажет Сталин, объявил: — Переходим к обсуждению повестки дня. Итак, первый вопрос...

Но угомонить Черчилля было невозможно. Едва Трумэн сделал паузу, как английский премьер заговорил снова.

— Насколько я понял, у советской делегации есть какая-то поправка относительно учреждения Совета министров иностранных дел,— сказал он. — Не так ли?

Трумэн был кровно заинтересован в том, чтобы ни один главный вопрос не решался до тех пор, пока не подоспеет доклад Гровса. Но, будучи человеком практического склада, американский президент не терпел пустого словоговорения.

— Поправка, о которой говорит мистер Черчилль,— сдерживая раздражение, сказал он,— была оглашена еще вчера. По вопросу о составе Совета министров мы достигли общего согласия.

— Да, конечно,— быстро отозвался Черчилль,— но мы не установили место, где будут встречаться министры! Я предлагаю, чтобы таким местом стал Лондон. Заседания могут происходить и в других пунктах, но постоянным местом секретариата я предлагаю избрать Лондон.

Трумэн сделал нетерпеливый жест, но Черчилль, не замечая или игнорируя это движение, достал из коробки сигару и продолжал:

— В подтверждение моего взгляда я хотел бы напомнить, что именно Лондон является той столицей, которая дольше других находилась под огнем неприятеля. К тому же, насколько мне известно, это самый большой или один из крупнейших городов мира.

«А Нью-Йорк? Разве он меньше Лондона?!» — хотелось воскликнуть Трумэну, но Черчилль улыбнулся и добродушно-иронически заметил:

— Кроме того, Лондон находится на полдороге между Соединенными Штатами и Россией.

— Это, конечно, самое главное,— многозначительно сказал Сталин. В зале раздался смех. Даже Трумэн не мог удержаться от улыбки.

Черчилль нахмурился, давая понять, что не принимает шутки Сталина.

— А кроме того, я полагаю,— серьезно сказал он,— что теперь наступил черед Лондона.

— Правильно,— тем же подчеркнуто значительным тоном отозвался Сталин.

Это, по-видимому, окончательно взбесило Черчилля. Он бросил на стол незажженную сигару и, повысив голос, сказал:

— Я хотел бы добавить, что шесть раз перелетал океан, чтобы иметь честь встретиться с президентом Соединенных Штатов, и два раза посетил Москву! Однако Лондон ни разу не был местом наших встреч. Это незаслуженно обижает англичан, и я думаю, что мистер Эттли также мог бы сказать об этом несколько слов.

То, что Черчилль обратился к Эттли, изменило атмосферу в зале.

Этот невысокий, невзрачный, лысеющий человек до сих пор не произнес на Конференции ни одного слова. Четвертый день он неизменно садился рядом с Черчиллем, но его как бы никто не замечал. А между тем именно этот молчаливый человек, до сих пор находившийся как бы в тени массивной фигуры Черчилля, при определенных обстоятельствах мог занять его кресло.

Услышав свое имя, Эттли заметно вздрогнул.

— Я совершенно согласен с премьер-министром,— негромко сказал он. — Позволю себе добавить, что английский народ заслужил право видеть у себя таких выдающихся лиц...

Эттли явно хотел подчеркнуть, что в отличие от аристократа Черчилля он, лейбористский лидер, говорит от имени английского народа.

— Мы были бы очень рады этому,— продолжал Эттли. — Кроме того, географическое положение Лондона также играет важную роль. — Только что Эттли как бы отделил себя от Черчилля, а теперь демонстрировал полное согласие с ним. — Я поддерживаю пожелание премьер-министра,— решительно закончил он.

Трумэн с любопытством глядел на человека, присутствию которого до сих пор не придавал никакого значения. Президенту и в голову не приходило, что Эттли может заменить Черчилля на посту премьер-министра Великобритании. Теперь эта мысль мелькнула у него, но он ее тотчас прогнал: в течение последних шести лет президент не представлял себе Великобританию без Черчилля.

— Что ж,— сказал Трумэн,— я думаю, что предложение премьер-министра приемлемо. — Имени Эттли он не упомянул. — В самом деле, географическое положение... — Трумэн вопросительно взглянул на Сталина.

— Хорошо,— без тени иронии произнес Сталин. — Я не возражаю.

— Но я хочу оставить за собой право пригласить глав правительств посетить Америку,— с улыбкой заметил Трумэн, обращаясь главным образом к Сталину.

Сталин, может быть, и ответил бы на это приглашение, но его опередил Черчилль.

— Разрешите мне,— торжественно провозгласил он,— выразить благодарность президенту и генералиссимусу за любезное согласие с нашим предложением. — Слегка откинув массивную голову, Черчилль обвел победным взглядом присутствующих, словно полководец, выигравший важное сражение.

Трумэн укоризненно посмотрел на него, но ничего не сказал. Как-никак, именно в союзе с Черчиллем ему предстояло действовать дальше.

— Я предлагаю,— заговорил он после короткой паузы,— произвести некоторую перестановку в повестке дня, предложенной министрами, и начать с обсуждения нашей политики по отношению к Италии.

Бирнс одобрительно кивнул. Если бы удалось осуществить разработанный им план, Италия могла бы послужить образцом для стран Восточной Европы...

«Теперь,— думал Бирнс,— самое главное — не выпускать вожжи из рук». Но, судя по всему, Трумэн твердо решил положить конец эскападам Черчилля.

— Сущностью моего предложения,— начал он,— является следующее...

Президент предлагал признать заслуги Италии как участницы войны против Германии, поскольку на заключительном этапе она выступила в союзе со странами антигитлеровской коалиции. Жесткие условия капитуляции естественны по отношению к Германии. Что же касается Италии, то их следует заменить обязательствами итальянского правительства: во-первых, воздержаться вплоть до заключения мирного договора от каких бы то ни было враждебных действий против любой из Объединенных наций и, во-вторых, не содержать никаких военных сил, кроме разрешенных союзниками. Контроль над положением в Италии должен быть смягчен и ограничен мерами, необходимыми для обеспечения союзных военных потребностей, пока союзные силы остаются в Италии.

Окончив речь, Трумэн строго оглядел присутствующих, как бы предупреждая, что никаких отклонений от повестки дня он в дальнейшем не потерпит.

Бирнс, пожалуй, впервые за последние дни был доволен президентом. Высказанные Трумэном предложения были подготовлены Бирнсом буквально за час до начала заседания. Министрами они не обсуждались — по крайней мере в столь четко сформулированном виде,— хотя включить в повестку дня вопрос об Италии было решено.

Теперь все зависело от Сталина. Его возражения можно было предвидеть. Прежде всего он обратит внимание на то, что, смягчая условия для Италии, Трумэн хочет накрепко приковать эту страну к американской колеснице. Однако вряд ли Сталин будет называть вещи своими именами. Вернее всего, он начнет доказывать, что Германия Гитлера и Италия Муссолини представляли в минувшей войне как бы одно целое. Да, скажет он, Италия закончила войну на стороне союзников, но это не снимает с нее вины.

Что ж, пусть! Италия оккупирована войсками западных союзников. Они будут делать там то, что сочтут нужным. Как бы Сталин к этому ни относился. Если он будет очень настаивать, условия для Италии можно сделать несколько более суровыми. Но Сталин пожалеет об этом, когда речь пойдет о Болгарии, Венгрии, Румынии. «Тогда,— думал Бирнс,— настанет время и нам проявить жесткость. Мы создадим в этих странах такие правительства, на которые смогли бы положиться и Соединенные Штаты и Великобритания».

Бирнс прервал свои размышления, так как слово взял Сталин.

— У меня нет принципиальных возражений,— сказал он своим обычным, тихим голосом,— хотя некоторые поправки редакционного характера, возможно, понадобятся. Насколько я знаю, предложения, высказанные президентом, в таком виде на совещании министров не обсуждались. Может быть, стоит передать им американские предложения для выработки окончательной точки зрения и попросить их обсудить наряду с вопросом об Италии вопрос о Румынии, Болгарии и Финляндии?

«Чего Сталин добивается?» — спросил себя Бирнс. Пока что он не находил ответа. С одной стороны, Сталин соглашался смягчить условия капитуляции Италии, а ведь это-то и было самым главным! С другой стороны, он сам предлагал объединить вопрос об Италии с вопросом о тех странах, режимы которых его особенно интересовали, иными словами — распространить на них «западный образец». Это казалось Бирнсу необъяснимым.

Разработанный им «итальянский вариант» не был согласован с Черчиллем. Американцы опасались, как бы Черчилль с его необузданным темпераментом не выпалил нечто такое, что насторожило бы Сталина. Было бы, однако, естественно, если бы Черчилль при его огромном политическом опыте и мастерстве дипломатических хитросплетений сразу оценил бы истинный смысл американского варианта и выступил в его поддержку.

Но — как ни странно — в поддержку этого плана, тайно направленного против Советов, первым выступил их лидер!

— В общем, я согласен с президентом Трумэном,— продолжал Сталин. — У нас нет оснований выделять вопрос об Италии из вопросов, касающихся других стран. Италия действительно капитулировала первой и в дальнейшем помогала в войне против Германии. Правда, силы были небольшие — дивизии три, не больше, но все же она помогала. Говорят, что Италия собирается включиться в войну с Японией. Это тоже является плюсом. Но... — Сталин усмехнулся,— такие же плюсы имеются, скажем, у Румынии, Болгарии, Венгрии. Они, эти страны, на другой же день после капитуляции двинули свои войска против Германии. Болгария — восемь-десять дивизий, Румыния — примерно девять. Разве не логично дать облегчение и этим странам? Можно не проявлять особой строгости и по отношению к Финляндии — она ведет себя хорошо, добросовестно выполняет принятые на себя обязательства. Короче говоря, мое предложение сводится к тому, чтобы все эти вопросы рассмотреть совместно. Если коллеги согласны, можно было бы поручить это нашим министрам.

Трумэн искоса посмотрел на сидевшего рядом с ним Бирнса. Предложение Сталина целиком отвечало замыслу, которым Бирнс гордился. Тем не менее Трумэн не мог поверить, что Сталина так легко удалось провести.

— Италия все же была первой страной, которая капитулировала,— нерешительно сказал он. — Насколько я знаю, условия ее капитуляции были более жесткими, чем у других стран. Но я согласен с предложением генералиссимуса Сталина: положение других государств-сателлитов тоже должно быть пересмотрено.

Когда Трумэн и Бирнс пытались себе представить, как Сталин будет реагировать на «итальянский вариант», они предполагали, что он захочет раздельно обсуждать послевоенные условия для каждой из стран-сателлитов. Это было бы естественно. Советский Союз не имел в Италии никаких особых интересов. После войны Италия целиком оказалась под влиянием западных союзников. Но в странах Восточной Европы Советский Союз был кровно заинтересован. Почему же Сталин соглашался рассмотреть вопросы, касающиеся Италии и стран Восточной Европы, совместно?

Создавалось впечатление, что он перешел на сторону американцев и стал им помогать. Что это означало? Ловушку? Но кто кому ее расставил?

С тревогой ожидая, что Сталин раскроет подлинный смысл «итальянского варианта», Трумэн и Бирнс, казалось, забыли о Черчилле. Но английский премьер был не из тех, кто позволяет о себе забывать.

— Наша позиция в вопросе об Италии не совсем совпадает с позицией, занятой двумя моими коллегами,— неожиданно заявил он.

Бирнс метнул на него неприязненный взгляд: «Это еще что такое?!»

Однако на этот раз Черчиллем руководило не упрямство и не тщеславие. Дело в том, что последнее время ему все чаще казалось, что Соединенные Штаты в своих отношениях с Советским Союзом порой пренебрегают интересами Великобритании. Он боялся, что ради собственной выгоды Трумэн готов пожертвовать этими интересами.

В неприязненном, даже враждебном отношении Трумэна и Бирнса к Советам Черчилль не сомневался. Но Соединенные Штаты остро нуждались в военной помощи Советского Союза. Чтобы не раздражать Сталина, Трумэн мог поступиться британскими интересами в Европе.

Черчилль не понял, что, склонив Сталина согласиться на «итальянский вариант», Трумэн и Бирнс не только не нарушали интересов Великобритании, но прямо заботились о них. Поэтому теперешнее заявление английского премьера возмутило американцев.

Они, в свою очередь, не понимали драматического положения, в котором находился Черчилль. В нем как бы одновременно жили два человека. Один из них был реальным политиком, готовым смириться с главенствующей ролью Соединенных Штатов, ибо даже свои собственные, чисто английские цели в Европе он мог осуществить только с их помощью. Но другой человек привык к власти, глубоко страдал от ее утраты и все еще не расстался с мечтой о том, чтобы вернуть ее. Этот другой человек хотел убедить Сталина, что Великобритания по-прежнему могучая сила, с которой все должны считаться, как должны считаться и с ним самим, ее премьер-министром.

Не понимая этого, Трумэн и Бирнс не решались, однако, публично одернуть своего беспокойного партнера. Этого шумного, высокомерного, чванливого человека все-таки звали Уинстон Черчилль...

Тем временем английский премьер продолжал свою речь. Он долго и красноречиво говорил о старых счетах Англии с Италией, начиная с войны в Абиссинии, о потерях, которые Великобритания понесла в Средиземном море, о бомбардировке Лондона особыми эскадрильями итальянской военной авиации, о необоснованных нападениях Италии на Грецию и Албанию. Он настаивал на том, что союзники не могут оправдывать итальянский народ, как не оправдывают они немцев, пошедших за Гитлером.

— А Болгария?! — воскликнул Черчилль. — Я не хочу говорить сейчас об ущербе, который она нанесла нам на Балканах. Но о неблагодарности этой страны по отношению к русским я не могу не сказать. Вспомните, джентльмены, что именно русская армия в свое время освободила Болгарию от турецкого ига. Тем не менее Болгария стала прислужницей Гитлера, когда тот напал на Россию. А теперь нам говорят, что к Болгарии и другим восточноевропейским странам — союзницам Германии необходимо проявить милосердие! Что ж, поскольку мы уже приняли список стран-сателлитов, куда наряду с виноватой, но теперь бессильной Италией включена Болгария, имеющая сейчас, как и раньше, пятнадцать дивизий,— хорошо, будем руководствоваться тем подходом, который предложил президент и который не встретил возражений со стороны генералиссимуса. Но чувство справедливости не позволило мне молчать!

Сама по себе это была яркая речь яркого человека. Она достигала трагического пафоса, когда Черчилль живописал страдания Англии во время войны и напоминал о том ущербе, который нанесла его стране фашистская Италия.

Сталин слушал Черчилля очень внимательно. Время от времени он сочувственно кивал головой. Трумэна поначалу разозлило заявление Черчилля о том, что он не согласен с американской позицией, но теперь президент, казалось, забыл об этом, покоренный красноречием своего партнера. Тем более, что после всех своих жалоб и, в сущности, вопреки им, Черчилль выразил готовность «в принципе» присоединиться к президенту и генералиссимусу. Он сказал, что следует сделать жест по отношению к итальянскому народу и заключить мир с Италией. Хотя, тут же оговорился Черчилль, эта работа потребует нескольких месяцев для подготовки мирных условий.

В отличие от Трумэна и Сталина Бирнс слушал Черчилля весьма скептически. Он не терпел многословия, в особенности тогда, когда от партнера требовалось всего лишь сказать «да» или «нет».

— Я отмечаю, что нынешнее итальянское правительство не имеет демократических основ, вытекающих из свободных и независимых выборов,— продолжал Черчилль. Эти его слова заставили Бирнса насторожиться. — Оно просто состоит из политических деятелей, которые называют себя лидерами различных политических партий. Поэтому, соглашаясь с тем, чтобы Совет министров иностранных дел приступил к работе по подготовке мирного договора для Италии, я не считаю желательным, чтобы он закончил эту работу до того, пока итальянское правительство не будет основано на демократических началах.

Вдумываясь в то, что говорил Черчилль, Бирнс понял: это великолепно, блестяще! Ведь речь Черчилля можно было истолковать и так: никаких мирных договоров со странами Восточной Европы, пока там не произойдут выборы по итальянскому образцу! С неподражаемым искусством, делая вид, что не только не солидаризируется с Трумэном, но даже спорит с ним, привлекая в союзники Сталина, Черчилль на самом деле добивался именно того, что лежало в основе «итальянского варианта».

Он просто подошел к решению задачи с другого конца! План Бирнса заключался в том, чтобы, предоставив «свободу рук» Италии, где господствовали американцы, потребовать такой же «свободы» и для стран Восточной Европы. Русских в Италии не было, и они туда явно не собирались. Но, теоретически предоставив им такую возможность, было логично потребовать того же и для западных держав в Польше, Болгарии, Румынии, Венгрии. С той разницей, что союзники — прежде всего Великобритания — весьма и весьма зарились на эти страны...

Черчилль поступил проще. Он недвусмысленно заявил, что в Италии пока нет демократии и что ее надо восстановить путем «свободных выборов». Теперь оставалось потребовать того же и для Восточной Европы...

Но то, что уяснил себе Бирнс, видимо, не дошло до сознания Сталина. Он воспринял речь Черчилля иначе. Казалось, он не ощущал в ней никакого тайного смысла.

— Мне представляется,— начал Сталин, после того как Черчилль замолчал,— что вопрос об Италии является вопросом большой политики...

Он произнес эти слова без всякой назидательности и — по контрасту с Черчиллем — совершенно спокойно.

— Я вижу задачу «Большой тройки» в том, чтобы оторвать от Германии как основной силы агрессии ее бывших сателлитов. Для этого существуют два метода. Во-первых, метод силы. Он с успехом применен нами — войска союзников

стоят на территории Италии, а также и в других странах. Но одного этого метода недостаточно, чтобы оторвать от Германии ее сообщников. Более того: если мы будем и впредь ограничиваться применением метода силы, то создадим среду для будущей агрессии Германии.

Сталин прервал речь и внимательно посмотрел на Черчилля, затем на Трумэна.

— Поэтому целесообразно,— продолжал он,— метод силы дополнить методом облегчения положения этих стран. По-моему, нет иного средства — если рассматривать вопрос в перспективе — собрать вокруг себя эти страны и окончательно оторвать их от Германии. Вот соображения большой политики. Все остальные соображения — насчет мести, насчет обид — отпадают. — Сталин взмахнул рукой, как бы физически отбрасывая все эти соображения. — С этой точки зрения я и рассматриваю предложения президента Соединенных Штатов. Я полагаю, что они соответствуют именно такой политике, политике окончательного отрыва от Германии сателлитов путем облегчения их положения. Конечно, возможно, потребуются некоторые редакционные улучшения американского проекта...

Вслушиваясь в каждое слово Сталина, Бирнс подумал, что этой своей речью советский лидер начал новую главу, новый этап Конференции. Он как бы перечеркнул все, что происходило здесь раньше, отбросил и перепалки с Черчиллем и мелкие протокольные разногласия.

— Теперь другая сторона вопроса,— продолжал Сталин. — Господин Черчилль говорил о вине Италии. Конечно, у Италии большие грехи и в отношении Советского Союза. Мы сражались с итальянскими войсками не только на Украине, но и на Дону и на Волге,— так далеко они забрались в глубь нашей страны... — Эти слова Сталин произнес со злой усмешкой. Но тут же его лицо приняло прежнее, спокойное выражение. — Однако я считаю, что руководствоваться воспоминаниями об обидах, чувствами возмездия и строить на этом свою политику было бы неправильным. Чувства мести или ненависти — очень плохие советчики в политике... В политике, по-моему, надо руководствоваться расчетом сил.

«Расчет сил?! — повторил про себя Бирнс. — О, если бы он знал, что произошло в Аламогордо!»

— Вопрос нужно поставить так,— по-прежнему неторопливо говорил Сталин: — хотим ли мы иметь Италию на своей стороне с тем, чтобы изолировать ее от тех сил, которые когда-нибудь могут подняться против нас в Германии? Я думаю, что мы этого хотим. Много лишений причинили нам такие страны, как Румыния, которая выставила против советских войск немало дивизий, как Венгрия, которая имела в последний период войны двадцать дивизий против советских войск. Без помощи Финляндии Гитлер не смог бы осуществить свою варварскую блокаду Ленинграда. Меньше обид причинила нам Болгария. Она помогла Германии напасть на нас и вести наступательные операции, но сама боев с советскими войсками не вела. Таковы грехи сателлитов против союзников и против Советского Союза в особенности. По отношению к ним возможна политика мести. Я не сторонник такой политики. Я полагаю, что, достигнув победы, мы должны не мстить бывшим союзникам фашистской Германии, а облегчить их положение, а это значит отколоть их от нее... Теперь конкретное предложение. Президент Трумэн хочет пока что расчистить путь к заключению мирного договора с Италией. Против этого трудно возразить. Что же касается других сателлитов, то я считаю, что можно было бы начать с восстановления дипломатических отношений с ними.

— Нет! — воскликнул Черчилль. Он раньше других понял, чего добивается Сталин.— Я должен заявить, что...

Но Сталин остановил его властным движением руки.

— Могут возразить,— иронически сказал он,— что в этих странах нет свободно избранных правительств. Но разве оно есть в Италии? Какая же разница между ними? Ведь господин Черчилль сам заявил, что итальянское правительство — это просто никем не избранное собрание политических деятелей, которые называют себя лидерами различных партий. Но это не помешало западным союзникам восстановить дипломатические отношения с Италией! Я уже не напоминаю о том, что демократически избранных правительств нет пока ни во Франции, ни в Бельгии. Однако никто из нас не сомневается в вопросе о дипломатических отношениях с ними.

— Эти были союзники! — крикнул Черчилль.

— Логично,— невозмутимо согласился Сталин. — Но критерии демократии должны быть одинаковы — и для союзников и для сателлитов. Не так ли?

Теперь уже не только Бирнсу, но и Трумэну стало ясно, что в ловушку попал не Сталин, а они сами. После выборов в Италии там, конечно, будет создано такое правительство, которого хотят западные союзники. Но как создать подобные правительства в странах, где после освобождения, после победы антифашистских сил создались новые условия? Ведь в этих странах неприменима та хитроумная выборная механика, которая всегда обеспечивала создание буржуазных парламентов...

За круглым столом Цецилиенхофа неожиданно создалась парадоксальная ситуация. Сталин, не имевший никаких особых интересов в Италии, как бы отдавал ее Англии и Соединенным Штатам, которые там и так распоряжались. Однако взамен западные союзники должны были отказаться от

всякой надежды обеспечить себе решающее влияние в Восточной Европе. Но ведь именно с этой надеждой они, собственно, и ехали в Потсдам!

Ловушка, которую так старательно готовил для Сталина Бирнс, захлопнулась за ним и за Трумэном. Сталин глядел на них доброжелательно и даже сочувственно.

Теперь американцам предстояло как-то выбираться из этой ловушки. Надо было бить отбой и настаивать на том, чтобы мирные договоры для Италии и для Восточной Европы и Финляндии готовились раздельно.

Трумэн сделал такую попытку. Он сказал, что, объединяя страны-сателлиты в одном списке, он не имел в виду единого подхода к ним и что если он назвал Италию первой, то лишь поскольку она капитулировала первой, еще в 1943 году. Решив вопрос об Италии, сказал Трумэн, можно будет заняться Восточной Европой...

Остановившись на бедственном положении послевоенной Италии, он заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить ей помощь в сумме около миллиарда долларов. Однако содержать разоренные восточноевропейские страны Америка не собирается.

— Мы не можем,— сказал Трумэн,— оказывать такую же помощь другим странам, не получая ничего взамен.

Что он хотел получить взамен? Трумэн не стал прямо говорить об этом, но общий смысл всего сказанного им состоял в том, что спасти Восточную Европу от надвигающегося голода может только такая богатая страна, как Соединенные Штаты. Однако никто не предоставляет помощи безвозмездно; тем или иным способом за нее нужно платить...

Сталин невозмутимо слушал нервные замечания Трумэна. Президент чувствовал, что никакая сила не в состоянии поколебать позиции, твердо и окончательно занятой советским лидером.

Только что Сталин произнес свою самую длинную за все время Конференции речь. Теперь он ограничивался краткими репликами. Из них следовало, что вопрос об Италии и других странах-сателлитах нужно решать вместе. Вместе и только вместе! Ведь сам Трумэн предлагал решать его именно так!

Наблюдая за неуклюжими попытками Трумэна вывернуться, Бирнс испытывал чувство, близкое к злорадному удовлетворению. Он даже забыл, что сам был автором «итальянского варианта». Им снова овладела мысль, что, сидя в соседнем кресле, он с гораздо большим успехом мог бы противостоять Сталину. Некоторое время Бирнс молча слушал Трумэна, потом быстро написал на листке бумаги: «Передать министрам!»— и положил листок перед президентом.

Заглянув в листок, Трумэн как бы по инерции продолжал еще некоторое время говорить, но затем сделал паузу и устало сказал:

— Я бы предложил, чтобы вопрос относительно Италии и других стран был передан министрам иностранных дел.

Это означало поражение. Стало ясно, что в конечном счете Конференция одобрила принцип равного подхода к странам-сателлитам, а следовательно, признала право стран Восточной Европы на самоопределение.

На этом заседание можно было закрыть,— время уже подошло к концу.

Однако Черчилль воспользовался тем, что в повестке дня упоминалась Австрия. Он стал жаловаться на то, что, по сообщению фельдмаршала Александера, советские оккупационные войска не разрешают британским офицерам въезд в Вену.

Сталин заметил, что если соглашение насчет зон оккупации в Австрии действительно имелось, то никакого соглашения насчет зон в самой Вене не было. Поэтому, пояснил он, требовалось некоторое время, чтобы обо всем договориться. По его сведениям, такая договоренность была достигнута вчера.

Сталин говорил это, обращаясь непосредственно к Черчиллю. Затем лицо его приняло хорошо знакомое участникам Конференции снисходительно-ироническое выражение. Обращаясь уже ко всем, Сталин сказал:

— Господин Черчилль сильно возмущается! «Не пускают в нашу зону»! — насмешливо повторил он. — Нельзя так говорить! Мы, господин Черчилль, были терпеливы, когда вы в течение месяца не пускали советские войска в нашу зону Германии. Но мы не жаловались, мы знали, насколько это сложно — отвести войска и подготовить все для вступления советских войск. Вы ссылаетесь на фельдмаршала Александера,— продолжал Сталин, снова обращаясь лично к Черчиллю. — По нашим сведениям, он ведет себя так, будто ему дано право командовать русскими войсками. Это только задерживало решение вопроса. Впрочем, теперь соглашение достигнуто.

— Я очень рад, что дело наконец улажено,— быстро сказал Черчилль. — Что же касается Александера, то, по-моему, нет повода на него жаловаться...

— На Эйзенхауэра вот не жаловались, а на Александера жалуются,— ворчливо произнес Сталин.

— Но тогда представьте нам эти жалобы! — повысил голос Черчилль.

— У меня нет желания выступать со свидетельскими показаниями против Александера,— насмешливо сказал Сталин. — Прокурорские обязанности мне не по плечу.

В зале засмеялись.

— Я считаю, что по данному вопросу достигнуто полное согласие,— поспешно заявил Трумэн.— Конференция может перейти к следующему вопросу повестки дня — о западной границе Польши. Насколько я знаю, у советской делегации есть предложения по этому вопросу.

Он произнес эти слова тоном человека, которому предстояло взобраться на гору, но который обессилел на полпути, убедившись, что до вершины еще очень далеко.

Неизвестно, почувствовал это Сталин или у него были другие соображения. Так или иначе, он сказал:

— Если мои коллеги не готовы к обсуждению польского вопроса, то, может быть, мы перейдем к следующему, а этот вопрос обсудим завтра?

— Я думаю,— торопливо, чтобы не вмешался Черчилль, сказал Трумэн,— лучше обсудить завтра. Польский вопрос будет первым в завтрашней повестке дня. Тогда у нас остался последний вопрос — о территориальной опеке?..

— Может быть, и этот вопрос перенести на завтра? — предложил Сталин.

— Я согласен,— обрадованно ответил Трумэн. — Наша сегодняшняя повестка исчерпана. Завтра заседание откроется в пять часов.

Глава шестая

ДОКЛАД ГРОВСА

Утром 21 июля Гарри Трумэн находился в состоянии крайнего раздражения. Доклад Гровса все еще не был получен. Прошло четыре заседания Конференции. Каждое из них все больше разочаровывало президента.

Несмотря на то, что перед каждым заседанием министры иностранных дел готовили повестку дня, в ходе Конференции она как бы размывалась. Обсуждения превращались в споры по частным поводам, главное уходило, важные вопросы упоминались, но оставались неразрешенными.

Трумэн проклинал и Черчилля и Сталина. Английский премьер не желал считаться ни с предварительными договоренностями, ни с реальной расстановкой сил и стремился использовать любую возможность, чтобы во весь голос заявить о себе. Во время частных бесед с Трумэном он выражал полную готовность следовать в фарватере американской политики, лишь бы устранить из Польши ненавистных русских, лишь бы их влияние на судьбы послевоенной Европы было сведено к минимуму, если не ликвидировано целиком.

Но как только начиналось заседание, Черчилль забывал обо всем на свете и только искал повода, чтобы сцепиться со Сталиным, а иногда и с самим Трумэном...

Что же касается Сталина, то Трумэну никак не удавалось понять его поведение. В том, как Сталин держался, конечно, была своя тайная логика, но разгадать ее президент не мог.

Поначалу Трумэну все казалось ясным: Сталин хотел получить огромные репарации с Германии, закрепить за собой ту ее часть, где уже находились советские войска, и, шантажируя Соединенные Штаты обещанием помочь в разгроме Японии, добиться их согласия на все это.

Если бы Сталин недвусмысленно и ультимативно заявил о своих требованиях, Трумэн, особенно теперь, после обнадеживающей телеграммы Гаррисона, нашел бы в себе силы ответить столь же категорически-непреклонно. Но Сталин не предъявлял никаких ультиматумов. Он ограничивался постановкой вопросов, которые ставили в тупик Трумэна, а Черчилля приводили в состояние ораторской экзальтации. Он явно уклонялся от открытого боя, как бы давая понять, что готов к разумному и взаимовыгодному сотрудничеству, а если и вступает в споры, то с единственной целью наиболее четко изложить свою позицию и прийти к соглашению. Он, казалось, с полным пониманием относился к жалобам Черчилля на сложности, с которыми Англия сталкивается в польском вопросе, даже выразил готовность снять некоторые пункты своего проекта. Ничего не требовал от Великобритании, кроме разрыва отношений с Арцишевским. Но этот разрыв был предрешен еще в Ялте. В данном случае позиция Сталина представлялась Трумэну неуязвимой.

Да, Трумэна раздражали и Сталин и Черчилль, хотя и по разным причинам. Как политик, обладавший уже немалым опытом, Трумэн привык отличать государственных деятелей, знающих, чего они хотят, от тех, которым важнее всего покрасоваться на газетных страницах и добиться популярности среди избирателей.

Став президентом, Трумэн под влиянием красноречиво-многословных посланий Черчилля, а также убежденности Бирнса, да и других своих ближайших советников, свыкся с мыслью, что Сталин систематически нарушает ялтинские решения, не желает считаться с интересами союзников и, подобно танку, идет напролом с единственной целью захватить Европу.

Но реальное поведение советского лидера здесь, за столом Конференции, противоречило этой категорической оценке. Трумэн боялся признаться даже себе, что ему импонируют прямота Сталина, его умение отделить главное от второстепенного, его спокойная вежливость, его манера брошенным как бы вскользь саркастическим замечанием осаживать велеречивого Черчилля.

Трумэн пытался убедить себя, что все это — тщательно продуманная маскировка, что хитрый азиат хочет притупить бдительность своих партнеров и что с ним надо быть постоянно настороже. Но прошли уже четыре заседания Конференции, а Сталин оставался все таким же: спокойным, вежливым, рассудительным. Это настораживало Трумэна, потому что не соответствовало его представлению о советском лидере.

Но если Сталин раздражал Трумэна, то Черчилль просто выводил из себя. Каждый раз, когда английский премьер начинал свою очередную непомерно длинную речь, уходя далеко в сторону и вызывая иронические реплики Сталина, Трумэн не знал, как ему поступить — прервать ли своего ближайшего политического союзника и тем самым как бы присоединиться к Сталину или включиться в спор, способный увести Конференцию бог знает куда.

Короче говоря, американскому президенту с каждым днем становилось все труднее выполнять свои обязанности председателя.

Поначалу Трумэн искал отдохновения в телефонных разговорах с матерью, женой и дочерью. Глядя из окна «маленького Белого дома» на тихие, безмолвные воды озера Грибниц, он с тоской думал о родном Индепенденсе, о доме на Норсделаварстрит. Трумэн любил этот старый дом, построенный в викторианском стиле, и, даже став сенатором, проводил в нем не меньше половины года. Он мысленно шел к этому дому, привычно минуя бар, автомобильную мойку, магазин-аптеку-драгстор, контору, в которой практиковал популярный хиромант... Трумэн не знал, что очень скоро все это будет носить его имя: мойка имени Трумэна, драгстор имени Трумэна, бюро хиромантических предсказаний имени Трумэна, ресторан и мебельный комиссионный магазин имени Трумэна, даже сосисочная имени Трумэна...

После того как пришла вторая телеграмма от Гаррисона, подтверждающая успех испытания в Аламогордо, Трумэн почувствовал новый прилив сил. Ему казалось, что теперь он будет сам ставить вопросы на Конференции и сам будет их решать.

Но после четвертого заседания, когда Сталин так легко разрушил план, разработанный Бирнсом, стало ясно, что президент ошибся. Ведь об успехе в Аламогордо здесь, в Бабельсберге, было известно лишь ему самому, Бирнсу, Стимсону и начальникам штабов. Президент уже поручил им дать ответы на два вопроса; каким образом следует использовать новое оружие в войне с Японией и по-прежнему ли Соединенные Штаты заинтересованы в помощи советских войск.

Ответа Трумэн еще не получил. Начальники штабов резонно заявили, что им необходимо точно знать технические данные нового оружия — силу взрыва, радиус действия, а также получить многие другие сведения, от которых зависят способ доставки оружия к месту применения, высота бомбометания и т. д. и т. п. Но все эти данные можно было почерпнуть только из доклада Гровса. А доклад до сих пор еще не пришел.

...Трумэн снова и снова пытался подвести итоги четырех заседаний Конференции.

Итак, по польскому вопросу удалось договориться о разрыве отношений между Англией и лондонским эмигрантским правительством Арцишевского. Это можно было считать победой Сталина и поражением Черчилля — ведь английский премьер ехал в Берлин со страстным намерением пересмотреть ялтинские решения.

После того как вопрос о разрыве Лондона с Арцишевским был решен, предстояло обсудить и решить вопрос о выборах в Польше. Нечего и говорить, как он был важен и для западных держав и для Советского Союза. Однако решить этот вопрос не удалось. Черчилль потопил его в своих пространных жалобах на урон, который Англия понесла в войне, на сложность отношений Лондона с польским эмигрантским правительством. Трумэну ничего не оставалось, как предложить, чтобы подготовкой решения снова занялись министры иностранных дел.

Такое же предложение Трумэн вынужден был внести в связи с разногласиями, возникшими между Молотовым и Иденом.

Иден, конечно же, поддержанный Черчиллем, категорически протестовал против передачи Польше ценностей, захваченных Арцишевским, а фактически англичанами. Черчилль и Иден скрупулезно перечисляли долги, в которые влезли за годы войны «лондонские поляки», и требовали компенсации. На деле это значило оставить разоренную Польшу без средств, против чего спокойно, но непреклонно возражал Сталин.

На заседании снова возникла «квадратура круга». Вся эта финансовая абракадабра не имела прямого отношения к Соединенным Штатам, и Трумэн не желал в ней разбираться.

...Стрелки часов показывали десять минут первого, когда погруженный в свои невеселые раздумья Трумэн услышал шаги поднимавшегося по лестнице Бирнса.

Государственный секретарь вошел в кабинет президента и опустился в кресло.

— Я думаю, нам предстоит сегодня нелегкий день, Гарри,— с тяжелым вздохом произнес он.

— Вы хотите сказать, что нелегкий день предстоит мне? — саркастически заметил Трумэн.

— Не забудьте, мистер президент, что в отличие от вас я несу двойную нагрузку: утреннюю и вечернюю,— огрызнулся Бирнс.

— Вы не несете главной ответственности,— возразил Трумэн,— перед страной и перед человечеством. Она тяжелее всех остальных. Подведем некоторые итоги,— переходя на официальный, сугубо деловой тон, сказал он. — Ваше предположение, что Сталин попадется в ловушку, не оправдалось. В ловушке оказались мы.

— Вы хотите сказать, что я содействовал этому? — обиженным тоном спросил Бирнс.

— Я хочу сказать, что вы переоценили свое знание Сталина, несмотря на весь ваш ялтинский опыт.

— О паре башмачных пуговиц рассказали вы, сэр,— снова огрызнулся Бирнс.

— Я не отказываюсь ни от одного своего слова,— высокомерно произнес Трумэн.

— Тогда вам следует адресовать свои претензии Сталину.

— Сначала я хочу адресовать их вам.

— Мне?!

— Почему вы не попытались захватить инициативу, когда стало ясно, что Сталин обращает против нас нашу же собственную ловушку? Черчилль первым понял это. После его выступления даже ребенку стало бы ясно, что Сталин требует свободы рук в Восточной Европе...

— В обмен на Италию...

— К черту Италию! Она и так наша. Сталин торгует воздухом и требует взамен полновесные доллары. Он хочет всюду расставить своих людей — в Польше, Болгарии, Югославии, Венгрии, Румынии!

— Это было ясно еще задолго до начала Конференции!

— Однако мы твердо договорились, что не предоставим ему такой возможности!

— Очевидно, мы не до конца предусмотрели все варианты,— задумчиво произнес Бирнс. — Вчера поздно вечером я имел обстоятельную беседу с Даллесом,— добавил он.

— С Даллесом? — переспросил Трумэн. — Разве он здесь?

Президент и в самом деле не знал, что глава американской разведки находится в Бабельсберге.

— Он во Франкфурте, у Эйзенхауэра. Прилетал сюда на несколько часов. Мы закончили с ним разговор поздно вечером, когда вы уже легли спать.

— Почему вы не задержали его хотя бы до сегодняшнего утра?!

— Видите ли, сэр, Даллес не хотел рисковать. Он хорошо знает, как реагировал бы Сталин на его присутствие в Бабельсберге. Советская делегация наверняка кишит разведчиками. Рано или поздно Даллес был бы обнаружен. Я позволю себе спросить вас, сэр: вы помните, с какими событиями Сталин связывает имя Даллеса?

Да, Трумэн помнил. Правда, он не имел никакого отношения к руководству страной, когда Сталину стало известно, что Даллес ведет в Швейцарии тайные переговоры с немцами. Возмущенное письмо Сталина Рузвельту Трумэн прочитал, став хозяином Белого дома. Бирнс был прав: Даллесу не следовало здесь оставаться. Узнав о том, что он в Бабельсберге, Сталин пришел бы в ярость, хотя и не назвал бы ее истинной причины.

— Что же говорил Даллес?

— Мы беседовали о Восточной Европе.

— Я спрашиваю, что говорил Даллес?

— Он говорил о положении в странах Восточной Европы, сэр! О шансах, которые есть там у нас и у Сталина. Даллес располагает достаточно разветвленной агентурной сетью в Европе и оценивает шансы Сталина как очень высокие.

— Мне наплевать на его агентурную сеть! — взорвался Трумэн.

— Речь идет о том, как настроено население этих стран.

— На это мне тоже наплевать!

Бирнс неодобрительно покачал головой.

— Речь идет не о тех настроениях, которые существовали во время войны, а о тех, что сложились теперь. В особенности после того, как стало известно, что в Потсдаме происходит встреча «Большой тройки».

— Факты, Джимми! Мне надоело слушать общие рассуждения.

— Даллес обращает наше внимание на то, что в Европе против Гитлера сражались несколько миллионов советских солдат. Не менее миллиона там погибли.

— Наши солдаты тоже гибли. После высадки в Нормандии. Гибнут и сейчас на японском фронте.

— Но наши солдаты не сражались плечом к плечу с армиями Югославии, Польши и Чехословакии. Они не поддерживали восстаний против немцев в Словакии, Румынии, Болгарии.

— Что из этого следует?

— Прежде всего то, что значительная часть населения этих стран связывает свое освобождение с Красной Армией.

— Большевистская пропаганда! Настроения людей подвержены самым неожиданным переменам. Если мы начнем следовать им в большой политике, это будет похоже на качку, вроде той, что мы испытали на «Аугусте». Вспомните опросы нашего общественного мнения! Сколько раз популярность Рузвельта падала, а он четырежды избирался президентом. Он проводил свою политику. Так же должны поступать и мы. Я имею в виду Европу.

— Но Сталин располагает там войсками!

— Он должен вывести их оттуда! Это наше категорическое требование.

— Почему же вы не высказали его, когда соглашались уравнять Италию со странами Восточной Европы?

— Его должны были высказать вы, Бирнс! Как председатель, я обязан маневрировать. Иначе вся Конференция пойдет к черту!

— Боюсь, сэр, что вы сильно упрощаете ситуацию.

...Злые языки недаром говорили, что Бирнс порой обращался с президентом, как председатель Сената с вновь избранным рядовым сенатором. Даллес не меньше Трумэна желал вырвать страны Восточной Европы из-под влияния Москвы. Но он лучше Трумэна знал положение дел в этих странах. Свою беседу с Даллесом Бирнс использовал, чтобы еще раз показать президенту, что гораздо шире его осведомлен в международных делах.

— Вы, сэр, всегда подчеркивали, что внимательно изучали уроки истории,— укоризненно сказал Бирнс. — Я полагал, что это относится не только к цезарям и ганнибалам.

— Что вы хотите этим сказать?

— Правительства, существующие сейчас в Восточной Европе, возникли не по воле Сталина. От этой версии придется отказаться хотя бы на время.

— По чьей же воле они появились?

— Думаю, что во многом повинна столь любимая вами История. Эти правительства возникли на базе антигитлеровского Сопротивления. При всей моей неприязни к коммунистам я не могу отрицать, что ведущую роль в Сопротивлении играли именно они. Эти люди и оказались у власти, когда пробил последний час Гитлера. Примите во внимание и то, что в восточноевропейских странах фашистские войска были разгромлены русскими или с их помощью. Отсюда следует, что заменить существующие ныне правительства другими не так-то просто.

— Это произойдет путем свободных выборов!

— Вы уверены, что они окончатся в нашу пользу?

— Мы умеем готовить и проводить выборы!

— Не забывайте, что между сегодняшней Польшей и штатом Миссури есть некоторая разница. Тем не менее я согласен с вами. Главное сейчас — подготовить свободные демократические выборы. Разумеется, под нашим контролем. В любой из восточноевропейских стран есть силы, подавленные коммунистами. На свободных выборах эти силы заявят о себе полным голосом.

— Вы уверены? — вдруг спросил Трумэн.

— Об этом позаботится Даллес. Но мы должны быть тверды здесь, в Бабельсберге, и не идти на уступки.

«Не идти на уступки» означало следовать тому курсу по отношению к Польше, который был выработан в Вашингтоне и уточнен на «Аугусте», то есть возражать против значительного расширения Польши. И уж во всяком случае не принимать окончательного решения насчет новых польских границ, формально отложить его до будущей Мирной конференции, а на самом деле поставить в прямую зависимость от состава и программы нового польского правительства.

Наступило молчание.

Трумэн, который с самого начала Конференции опирался только на Бирнса, пренебрегая другими сопровождавшими его дипломатами, даже такими, как Гарриман и Дэвис, сосредоточенно размышлял.

Сегодня, двадцать первого июля, на очередном заседании «Большой тройки» центральным, несомненно, будет польский вопрос. Предстоящее обсуждение пугало Трумэна. Ему страстно хотелось, чтобы произошло нечто непредвиденное: чтобы внезапно заболел Сталин, чтобы апоплексический удар хватил Черчилля, чтобы случилось землетрясение. Пусть будет все что угодно, лишь бы это могло избавить его от предстоящего противоборства со Сталиным...

Усилием воли Трумэн заставил себя вернуться к разговору с Бирнсом.

— Что вы подготовили для сегодняшнего заседания? — устало спросил он.

— Три часа топтались на одном месте,— безнадежно махнув рукой, ответил Бирнс.

— Опять разногласия?

— А вы как думали, сэр?

— Перечислите их. Только кратко.

— Иден настаивает, чтобы в соглашении о границах Польши было сказано не только о возвращении польских государственных активов, находящихся за границей, но и об обязательствах, в свое время взятых на себя правительством Арцишевского.

— О каких обязательствах?

— Насколько я понимаю, речь идет прежде всего о займах, полученных лондонскими поляками, и о процентах на эти займы. Сделки между эмигрантским правительством и английской казной совершались на протяжении почти шести лет. Сейчас сам черт ногу сломит, если попытается определить, что там было, а чего не было.

— На что же надеется Черчилль? На то, что Сталин выложит ему все это чистоганом? Или на то, что платить за Арцишевского будем мы?

— Нет, он не так наивен. Он требует, чтобы платило новое польское правительство.

— Следовательно, русские! Идиотское требование!

— Не такое уж идиотское, сэр, как может показаться на первый взгляд,— усмехнулся Бирнс. — Если удастся создать дружественное нам польское правительство, то игра стоит свеч. Не

забывайте, что сейчас вице-премьером в Варшаве является Миколайчик.

Трумэн, конечно, не забывал об этом, но понимал и то, что согласие «польских поляков» — так в западных кругах называли нынешнее польское правительство в отличие от лондонского, эмигрантского — включить в свой состав Миколайчика было для англичан победой и в то же время поражением. Победой потому, что Миколайчик, как и все «лондонские поляки», был настроен антисоветски. Поражением же потому, что включение Миколайчика, мало что решая по существу, давало возможность «польским полякам» и Сталину демонстрировать неуклонное выполнение ялтинских решений. Теперь задача Англии и Соединенных Штатов состояла в том, чтобы сделать Миколайчика центральной фигурой в Польше. Если бы это удалось, он уж сумел бы подобрать правительство, угодное Западу, а для такого правительства у союзников деньги нашлись бы...

— Но если Миколайчик не сумеет... — начал было Трумэн.

— Признание правительства, в котором Берут и Осубка-Моравский по-прежнему играли бы главную роль, я исключаю. Это было бы поражением. Но, планируя бой, нельзя рассчитывать на одни победы...

— Вы хотите сказать, что на худой конец...

— Я хочу сказать, что если нам придется согласиться на Берута, то предварительно надо опутать его долгами по рукам и ногам. Русским платить нечем. А музыку заказывает тот, кто за нее платит. Впрочем, Черчилль и не думает соглашаться на Берута. Я полагаю, сэр, что вы тоже...

— Так, — после паузы сказал Трумэн. — Что еще?

— Остались разногласия и по другим вопросам. Молотов настаивает, чтобы Великобритания содействовала польским эмигрантам, которые захотят вернуться на родину. Он требует включить этот пункт в текст соглашения. Иден возражает. Наконец, последний, но, как мне кажется, самый главный вопрос — о польских выборах. В Ялте, если вы помните...

Бирнс не договорил, потому что дверь кабинета открылась. На пороге стоял военный министр Соединенных Штатов Америки Стимсон. Никто не доложил Трумэну, что Стимсон явился. Сам министр даже не постучал в дверь. Он просто распахнул ее, вошел в кабинет и, не здороваясь с президентом и государственным секретарем, поднял над головой коричневую кожаную папку.

— Доклад Гровса, сэр!.. — срывающимся от волнения голосом произнес он.

Президент вскочил, схватил протянутую ему папку, опустился в кресло, раскрыл папку и погрузился в чтение. Буквы прыгали перед его близорукими глазами. Он с трудом разобрал первые слова, напечатанные крупным шрифтом:

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
ВОЕННОМУ МИНИСТРУ.

Бирнс, торопливо обойдя письменный стол, встал за спиной у президента и пытался читать документ одновременно с ним.

Трумэн пробежал первую страницу, начал лихорадочно листать другие — их было не меньше двух десятков, — но в конце концов протянул папку Стимсону и крикнул:

— Читайте! Читайте вслух!..

Стимсон сел и вполголоса, словно боясь, что его услышит кто-нибудь, кроме Трумэна и Бирнса, начал читать:

— «Первое. Данная записка должна рассматриваться не как обычный краткий доклад, а скорее как изложение моих личных впечатлений... Второе. В пять часов тридцать минут 16 июля 1945 года в удаленном секторе авиабазы в Аламогордо (штат Нью-Мексико) был осуществлен настоящий взрыв атомной бомбы. Первый в истории атомный взрыв. И какой! Бомба не сбрасывалась с самолета, а была взорвана на стальной башне высотой в 100 футов... Третье. Успех испытания превзошел самые оптимистические прогнозы. На основании имеющихся данных я могу оценить выделенную при взрыве энергию как эквивалентную пятнадцати — двадцати тысячам тонн тринитротолуола. Считаю необходимым заметить, что это самая скромная оценка...»

— Черт подери! — восхищенно воскликнул Бирнс, в то время как Трумэн, вцепившись в подлокотники кресла, весь подался вперед.

— «Сила ударной волны, — продолжал Стимсон, — имела гигантскую величину. Яркость вспышки в радиусе двадцати миль была в несколько раз сильнее, чем солнечный свет в полдень. После вспышки образовался огненный шар, существовавший несколько секунд. Затем этот шар приобрел очертания гриба и поднялся на высоту десять тысяч футов, прежде чем стал меркнуть...

Четвертое. В результате взрыва...»

Стимсон читал еще долго. Это в самом деле не был обычный доклад. Гровс сообщал об ужасающих разрушениях, явившихся результатом взрыва. Стальная башня, на которой была взорвана бомба, словно испарилась. На расстоянии около мили от места взрыва находилась стальная конструкция высотой в шестиэтажный дом. Взрыв вырвал ее, перекрутил и разорвал на части. Гровс описывал также психологическое состояние военных и гражданских лиц, осуществивших этот первый в мире атомный взрыв. В доклад была включена запись личных впечатлений бригадного генерала Фарелла. Генерал подробно рассказы-

вал об обстановке, предшествовавшей взрыву, о самом взрыве и заканчивал свое изложение следующими словами: «Описать красоту этой сцены под силу только великим поэтам...»

Трумэн слушал чтение доклада Гровса как завороженный.

— «Вся местность вокруг,— читал Стимсон,— была залита резким светом... Он имел золотой, пурпурный, фиолетовый, серый и голубой оттенки... Каждый пик и расщелина горного кряжа, расположенного неподалеку, различались с такой ясностью и таким великолепием, которые невозможно описать...»

Чтение доклада заняло около часа. Когда оно кончилось, некоторое время все молчали.

Трумэн сидел в оцепенении. Сейчас он не мог думать, рассуждать, делать выводы.

— Значит, сила атомной бомбы в пятнадцать — двадцать тысяч раз превосходит силу самой крупной бомбы обычного типа,— прервал молчание Бирнс.

Этот вопрос как бы вернул Трумэна к действительности.

— Я видел здесь, в Берлине, результат взрыва бомбы в одну тонну,— тихо сказал он.— Мне показали эту гигантскую воронку. На ее месте раньше стоял большой дом. Следовательно, атомная бомба может стереть с лица земли целый город...

Он на минуту задумался, как бы представляя себе это апокалипсическое зрелище.

— Скажите, Генри,— вдруг обратился Трумэн к Стимсону. — Кто знает об этом докладе?

— Мой помощник полковник Кайл передал его мне сегодня в одиннадцать тридцать пять. Потом мы прочитали доклад вместе с генералом Маршаллом...

— Почему вы не доложили мне сразу? — со строгим упреком спросил Трумэн.

— Я должен был подготовиться к вашим возможным вопросам, сэр. Для этого потребовалась консультация Маршалла. Ведь мы имеем дело с оружием, которое еще никогда не применялось.

— Каким же образом, по вашему мнению, его следует применить? — быстро спросил Бирнс.

Стимсон ответил не сразу.

— Мы пришли к выводу,— сказал он после паузы,— что необходимо выслушать мнение начальников штабов.

— Какого черта, Стимсон! — нетерпеливо воскликнул Бирнс. — Разве мы не воюем с Японией?

— Спасибо за напоминание, сэр,— резко ответил Стимсон,— но я еще раз повторяю: человечество не знало оружия такой разрушительной силы. Поэтому трудно предугадать, что повлечет за собой его применение. Во всяком случае, это станет началом новой эры не только в военной истории, но и в истории человечества вообще.

— Хорошо,— как бы подводя итог, произнес Трумэн. — Завтра утром я хочу выслушать мнение начальников штабов. Здесь, скажем, в одиннадцать часов. До этого с докладом должен быть ознакомлен Черчилль. Возможно, он присоединится к нашему совещанию. Главный вопрос, на который я хочу получить ясный, четкий ответ: нужны ли нам теперь русские? От ответа на этот вопрос, Стимсон, зависит многое. Очень многое!..

— Я могу не присутствовать на сегодняшнем заседании? — спросил Стимсон, вставая.

— Плюньте на заседание, Генри! Теперь мы справимся сами. У вас есть дело поважнее!

— Хорошо, сэр,— сказал Стимсон и вышел из кабинета.

Как только он закрыл за собой дверь, Бирнс воскликнул:

— Поздравляю вас, Гарри! Это неслыханно!

Трумэн поднялся со своего места, медленно подошел к Бирнсу, обнял его.

Торжественно, как проповедник с церковной кафедры, он произнес:

— Стимсон прав! Начинается новая эра. Вы запомнили, когда произошел взрыв?

— Шестнадцатого июля в пять тридцать. Время местное.

— Это — начало нового летосчисления для всего человечества. Новая эра. Американская!

Оба они находились в состоянии эйфории. Первым пришел в себя Бирнс.

— До заседания осталось сорок минут, сэр,— посмотрев на часы, сказал он. — Вы, очевидно, захотите принять душ и переодеться.

— Наплевать! Они подождут!

— Не забудьте, что сегодня обсуждается польский вопрос.

— Какое значение все это теперь имеет? Русские у нас в кулаке! — воскликнул Трумэн, сжимая пальцы в кулак и потрясая им в воздухе.

— Разумеется. И все же...

— Что значит ваше «все же»? — недовольно спросил Трумэн.

— Все же я хотел бы знать, что ответят начальники штабов на тот вопрос, который вы задали Стимсону. Нужны ли нам теперь русские?

— Я убежден, что не нужны.

— Я тоже. Однако мне хотелось бы, чтобы начальники штабов это подтвердили. Впрочем... Вы правы. Мы — единственные хозяева положения. Но Сталин ведь ничего не знает. Следовательно, он будет гнуть прежнюю линию. Да и мы пока что не можем открыть карты. Между тем сегодня на повестке дня — польский вопрос!

Президент нахмурился. Он подумал, что ему опять предстоят два или три мучительных часа. Снова придется выслушивать патетические, но ничего не решающие филиппики Черчилля, короткие, внешне доброжелательные, как будто проникнутые готовностью к компромиссу, но, в сущно-

сти, непрошибаемые реплики Сталина. Вместо того чтобы стукнуть кулаком по столу, придется снова играть в объективность. Настроение Трумэна испортилось. Поняв это, Бирнс сказал:

— Терпеть осталось недолго, мистер президент!

— Но мои нервы!.. — воскликнул Трумэн.

— Не забудьте, что сегодня докладываю я,— успокоительно произнес Бирнс. — Постараюсь, чтобы у вас было как можно меньше хлопот.

Это несколько подбодрило президента.

Трумэн чувствовал себя сейчас так, как если бы во время игры в покер в руках у него оказалась высшая комбинация, а партнер продолжал брать все новые и новые карты.

Этой высшей комбинацией, включая и ту карту, на которой изображен увешанный погремушками шут и которую именуют джокером, может обладать только один игрок. Только один! Сегодня, еще до начала игры, такая комбинация была в руках у него, американского президента! Результаты игры предопределены!

— Я буду готов через двадцать минут, Джимми! — уверенно сказал Трумэн и направился в спальню.

Глава седьмая

ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС

Пройдут годы, и Черчилль в своих мемуарах напишет, что 21 июля, на очередном заседании Конференции, Трумэн с самого начала показался ему как бы другим человеком. Президент и раньше старался держаться как преуспевающий бизнесмен, всем своим видом говорящий: «Мои дела идут превосходно! А ваши?..» Но сегодня, нарочно появившись в зале на несколько секунд позже, чем Сталин и Черчилль, Трумэн каждым своим движением, казалось, излучал торжествующую энергию.

Легкой, пружинящей походкой он подошел к столу, возле которого уже стояли Черчилль и Сталин, небрежным движением протянул руку первому и с силой пожал кисть второго.

Затем, не ожидая, когда его партнеры усядутся, первым опустился в кресло и громко объявил:

— Заседание открыто! По поручению министров иностранных дел сегодня будет докладывать мистер Бирнс.

— Я начну с вопроса, по которому было достигнуто согласие,— своей привычной скороговоркой начал Бирнс. — Мы условились, что Совет министров должен быть учрежден не позднее первого сентября. Правительству Китая, а также Временному правительству Франции будут посланы телеграммы с приглашением принять участие в работе Совета до того, как будет официально объявлено об его учреждении.

Бирнс сделал паузу.

— Будем щадить самолюбие других,— усмехнувшись, добавил он. — Следующий вопрос,— продолжал Бирнс официальным тоном,— экономические принципы в отношении Германии. Так как доклад подкомиссии был только что представлен и наши делегации не успели как следует изучить его, мы предлагаем перенести обсуждение этого вопроса на завтра. Наконец, следующим был польский вопрос,— медленно, словно подчеркивая, что именно этот вопрос является сейчас главным, произнес Бирнс. — Его нам предстоит обсудить сегодня.

— Что же именно мы будем сегодня обсуждать? — спросил Сталин.

Бирнс пожал плечами.

— Мы будем обсуждать вопрос о ликвидации «лондонского» правительства.

— И о выполнении Ялтинской декларации? — не то спрашивая, не то утверждая, сказал Сталин.

— Разумеется,— с легкой укоризной подтвердил Бирнс. — В этой связи я вынужден констатировать, что созданная нами подкомиссия не достигла полного соглашения. Вопросы, по которым остались разногласия, были обстоятельно обсуждены. По некоторым пунктам удалось достигнуть соглашения, но другие, наиболее серьезные, так и остались нерешенными. Нам не остается ничего другого, как передать их на обсуждение глав правительств.

Трумэн несколько свысока посмотрел на Сталина. Тот сидел в своей обычной позе. Лицо его показалось президенту усталым лицом пожилого человека, который к тому же, по слухам, накануне отъезда в Потсдам, перенес сердечный приступ.

— Я хочу перечислить вопросы, предлагаемые на ваше рассмотрение, джентльмены,— повышая голос, с новой энергией продолжал Бирнс.— Первый относится к передаче активов польскому правительству и к признанию польским правительством обязательств в отношении Соединенных Штатов и Великобритании. Второй: о проведении в Польше свободных выборов и обеспечении там свободы печати.

«Итак, бык наконец взят за рога»,— с удовлетворением подумал Трумэн. Начинался открытый бой. «Свободные выборы» должны были стать тем главным рычагом, с помощью которого Трумэн и Черчилль намеревались ликвидировать польское Временное правительство национального единства.

«Свободные выборы» означали равноправное участие в них всех партий, существовавших в довоенной Польше. Конечно, устранить коммунистов от участия в выборах при нынешних условиях не-

возможно. Но оно будет парализовано свободой действий контрреволюционных партий, свободой заговоров, организуемых агентами Даллеса, свободой травли коммунистов со страниц новых польских газет, на создание которых Соединенные Штаты не пожалеют денег.

«Свободные и ничем не воспрепятственные выборы» — эта формулировка была записана в коммюнике «О Польше», принятом несколько месяцев назад в Крыму. Пусть Сталин попробует ее теперь пересмотреть!

Трумэн размышлял, как ему вести себя, если Сталин попытается изменить ялтинскую формулировку. Очевидно, надо будет резко оборвать его. Прочесть соответствующее место из коммюнике. А впрочем, стоит ли что-то еще читать, что-то цитировать... «А что если,— думал Трумэн,— без всяких околичностей, прямо в лоб, спросить Сталина, представляет ли он себе силу взрыва двадцати тысяч тонн тринитротолуола?..» Трумэн знал, что никогда не сделает этого. Никогда?.. По крайней мере не раньше, чем станет известно мнение начальников штабов. А оно станет известно только завтра...

Сейчас вопрос о свободных выборах в Польше был ключевым. Трумэн с нетерпением ждал обсуждения именно этого вопроса.

Но пока что Бирнс говорил о британских денежных претензиях к Польше. Он отметил, что Великобритания и Соединенные Штаты готовы передать принадлежащие Польше ценности ее законному правительству, но лишь после того, как порядок передачи будет детально обсужден правительствами Польского государства и Соединенных Штатов. При этом правительство Польши должно взять на себя ряд обязательств перед западными союзниками.

— У русской делегации на этот счет несколько иное мнение,— сказал Бирнс. — Она настаивает, чтобы все принадлежащие Польше ценности были безоговорочно переданы нынешнему правительству в Варшаве.

Сделав паузу, Бирнс спросил:

— Будем ли мы обсуждать пункты разногласий по мере их оглашения или я могу докладывать дальше?

— Выслушаем сначала доклад,— предложил Сталин,— а затем перейдем к обсуждению.

— После дискуссии,— продолжал Бирнс, не дожидаясь ответа от Трумэна и Черчилля,— согласован пункт о содействии польскому правительству в деле возвращения на родину поляков-эмигрантов, в том числе служащих в польских вооруженных силах и торговом флоте. Разумеется,— Бирнс строго посмотрел на Сталина,— мы ожидаем, что возвратившимся полякам будут предоставлены личные и имущественные права на равных основаниях со всеми польскими гражданами.

Бирнс с удовлетворением отметил, что Сталин едва заметно кивнул.

— По следующему пункту возникли разногласия,— объявил Бирнс. — Вот этот пункт: «Три державы принимают во внимание, что Временное польское правительство, в соответствии с решениями Крымской конференции, согласилось провести свободные и ничем не воспрепятственные выборы, в которых все демократические и антинацистские партии будут иметь право принимать участие и выставлять кандидатов. Три державы выражают серьезную надежду, что выборы будут проведены таким образом, чтобы для всего мира было ясно, что все демократические и антинацистские круги польского общественного мнения имели возможность свободно выразить свои взгляды... Далее, три державы ожидают, что представители союзной печати будут пользоваться полной свободой сообщать миру о ходе событий в Польше до и во время выборов».

Бирнс снова сделал паузу.

— Советская делегация,— продолжал он,— предлагает исключить две последние фразы этого пункта. Мистер Иден не возражает, но при условии, что о свободном допуске в Польшу представителей союзной печати будет так или иначе упомянуто.

— Господин Иден стоит за пересмотр ялтинской формулировки? — неожиданно спросил Сталин.

Этот вопрос застал Бирнса врасплох. Он отлично знал, что никаких специальных упоминаний о «представителях союзной печати» и об их «полной свободе» в ялтинском коммюнике не содержалось.

— Может быть, мой вопрос непонятен? — видя, что молчание затягивается, сказал Сталин.— Я поставлю его иначе. Что из прочитанного господином Бирнсом является цитатой из ялтинского решения и что нет?

Среди американской делегации возникло замешательство. Гарриман что-то говорил Трумэну на ухо. Бирнс наклонился к президенту, стараясь это расслышать. Между тем лицо Сталина сохраняло невинно-вопросительное выражение.

— О представителях прессы в ялтинских решениях ничего не говорится,— наконец сказал Бирнс.

— Именно это я и хотел уточнить! — добродушно отозвался Сталин. — Я совсем не против прессы. Я только хотел попросить, чтобы господин Бирнс напоминал нам, когда он цитирует ялтинские решения, а когда говорит от себя. Господин Иден оправдан. Оказывается, он вовсе не против Ялты. Он просто разошелся во мнениях с Молотовым. Это еще не так страшно.

Сталин иронически усмехнулся, и это задело Идена.

— Мне бы не хотелось играть здесь роль подсудимого, даже если его ожидает оправдательный приговор,— сказал он. — Я просто предложил компромиссную формулировку, а именно: исключить все, что следует за словами «три державы выражают серьезную надежду» и до слов «свои взгляды». То есть все, что предопределяет характер выборов. Я полагал, что иду на компромисс, который советская делегация будет приветствовать. Но относительно допуска представителей союзной печати я настаиваю.

— Почему господин Иден полагает,— спросил Сталин,— что предложенный им компромисс является уступкой Советскому Союзу? Он просто пошел навстречу интересам и достоинству Польши. Надо приветствовать это. И если господин Иден сделает еще один шаг в этом направлении, я думаю, можно будет всем нам согласиться с его предложением. Два разумных шага при всех обстоятельствах лучше, чем один...

Предупреждая смех, который мог возникнуть в зале, Трумэн поспешно спросил:

— Что вы имеете в виду?

— В тексте, который прочел нам господин Бирнс,— с видимой готовностью ответил Сталин,— ясно сказано, что польское правительство должно выполнить Крымскую декларацию. А в ней предусмотрено все, включая выборы. Подписали декларацию господин Черчилль, я и предшественник господина Трумэна великий президент Рузвельт.

Наступила невольная пауза. Упомянув Рузвельта, Сталин назвал его великим. Почему он это сделал? Потому, что в самом деле столь высоко ценил покойного американского президента, или потому, что хотел таким образом противопоставить его Трумэну?

У Сталина, безусловно, были основания испытывать неприязнь к новому президенту Соединенных Штатов. Высокомерный прием, оказанный Молотову, беспричинная приостановка поставок по ленд-лизу, постоянная поддержка Черчилля в его стремлении создать конфронтацию с Советским Союзом в Европе — все это, конечно, не могло расположить Сталина к Трумэну.

Из всех сидящих в этом зале только один человек знал, что, называя Рузвельта великим, Сталин испытывал сильное чувство, которое всегда овладевало им, когда он вспоминал Рузвельта. Как политический деятель Сталин никогда не переоценивал Рузвельта, отлично понимая, что он был представителем своего класса, своей социальной системы. Но как человек Сталин не мог не отдавать должного личному обаянию покойного президента, его уму и такту, той мужественной борьбе, которую он долгие годы вел со своим мучительным физическим недугом.

Только один человек в этом зале — по роду своей работы знавший лучше других историю и своеобразие советско-американских отношений — мог подтвердить, что, назвав Рузвельта великим, скупой на положительные оценки Сталин искренне выразил давно владевшее им чувство.

Этим человеком был посол Советского Союза в Соединенных Штатах Америки Андрей Андреевич Громыко.

Услышав слова Сталина о Рузвельте, произнесенные с неподдельным уважением и глубокой горечью, Громыко вспомнил то, что произошло всего несколько месяцев назад.

Это было в Ялте. После очередного заседания Сталину доложили, что Рузвельт почувствовал некоторое недомогание.

— Поедем к нему,— сказал Сталин Громыко.

Когда машина Сталина подъехала к резиденции Рузвельта, офицеры охраны американского президента, предупрежденные о приезде советского лидера, ждали его у входа.

Сопровождаемый Громыко — с ним он не нуждался в переводчике — Сталин прошел через просторную гостиную на первом этаже и медленно поднялся по лестнице, устланной мягкой ковровой дорожкой.

Рузвельт лежал на широкой кровати в пижаме, наполовину укрытый пестрым шотландским пледом. Шторы на окнах были опущены. В комнате стоял полумрак.

Сталин не стал спрашивать Рузвельта, как он себя чувствует, желая подчеркнуть, что не хочет придавать своему приезду протокольный характер, что этот приезд нечто больше, чем визит вежливости. Подойдя к кровати, он просто сказал:

— Нам очень захотелось навестить вас.

Рузвельт, видимо, понял и оценил чувства Сталина.

— Спасибо, что вы приехали,— сказал он. — Я выбыл из строя ненадолго. Это скоро пройдет.

Громыко знал жесткий и суровый характер Сталина, да и сам вовсе не был склонен к сентиментальности. Его удивила та особая мягкость, с которой Сталин обращался к Рузвельту.

Пробыв у президента минут десять, Сталин попрощался и вышел. Спускаясь по лестнице, он задержался и сказал Громыко:

— Какая несправедливость! Как природа жестока к этому человеку!

Вспоминая сейчас о Ялте, Громыко вгляделся в лицо Сталина, редко выдававшее какие-либо чувства. Громыко показалось, что на мгновение оно приняло выражение глубокой скорби.

Но только на мгновение. Как бы вернувшись из прошлого в настоящее, Сталин вновь заговорил своим обычным тоном — вежливым, спокой-

ным, временами шутливым и в то же время жестким.

— Все, что мы хотели сказать в связи с польским вопросом,— продолжал развивать свою мысль Сталин,— уже сказано в Крымской декларации. Чем заново пересказывать эту декларацию, да еще выбирая лишь то, что кому-либо из нас нравится, не правильнее ли просто подтвердить ее?

Трумэн, самолюбие которого было уязвлено упоминанием о «великом президенте», раздраженно сказал:

— Но после Ялты прошло пять месяцев! За это время могло произойти — и произошло! — много нового. Иначе нам вообще не стоило снова собираться. В Ялте, в то время, когда еще шла война, не имело смысла обсуждать вопрос о присутствии иностранных корреспондентов на польских выборах.

— Его не к чему поднимать и сейчас,— возразил Сталин. — Иностранные журналисты будут приезжать в Польшу, а не к польскому правительству. Несомненно, они будут пользоваться полной свободой. Лично я уверен, что жалоб на польское правительство с их стороны не будет. Для чего же заранее обижать поляков подозрением, будто они не желают допускать корреспондентов?

Выждав несколько мгновений, Сталин сказал:

— Давайте оборвем этот пункт на словах «демократические и антинацистские партии будут иметь право принимать участие и выставлять кандидатов». А остальное исключим.

— Но в этом же нет никакого компромисса!— воскликнул Черчилль.

В зале раздался приглушенный смех. Вместе со всеми беззвучно рассмеялся Сталин.

— Но почему же? — спросил он. — Будем считать это компромиссом по отношению к польскому правительству.

Снова все рассмеялись. Даже Трумэн.

— Я полагал целесообразным,— вполголоса сказал Черчилль, которому, судя по всему, было не до смеха,— усилить предлагаемую формулировку, а не ослабить ее.

— К чему это делать? — спросил Сталин.

На этот раз на выручку Черчиллю решил прийти Трумэн. Он ведь только что смеялся вместе со всеми и должен был искупить свою вину.

— Мы очень интересуемся вопросом о выборах в Польше, потому что имеем у себя шесть миллионов граждан польского происхождения,— сказал Трумэн. — Если выборы в Польше будут проведены совершенно свободно и наши корреспонденты смогут передавать свою информацию о проведении и итогах выборов, то это будет очень важно для меня как президента. Если польское правительство будет знать заранее, что три державы требуют от него обеспечения этих свобод, оно, конечно, весьма тщательно выполнит требования, содержащиеся в решениях Крымской конференции.

— Я думаю,— сказал Сталин,— вот видите, мистер Иден, я иду на компромисс — внести такое предложение: после слов «выставлять кандидатов» поставить запятую, а дальше сказать: «Представители союзной печати будут пользоваться полной свободой сообщать миру о ходе и итогах выборов».

В данном случае Сталин и в самом деле пошел на компромисс. На совещании министров иностранных дел Молотов, хорошо понимая подлинные цели Англии и Соединенных Штатов, решительно возражал против попыток навязать польскому правительству любые обязательства, посягающие на его суверенность. Сталин избрал «средний путь», считая, что самое важное — обсуждение новых границ Польши на севере и западе — еще впереди.

Однако Трумэн решил, что ему удалось сломить Сталина.

— Это меня устраивает,— воскликнул он.

— Я тоже согласен,— коротко отозвался Черчилль.

Вопрос о выборах в Польше и о допуске на них представителей союзной печати был решен.

— Следующий вопрос — о выполнении Ялтинского соглашения об освобожденной Европе и странах-сателлитах,— провозгласил Бирнс.

Существо этого вопроса сводилось к тому, готовить единый документ об Италии и о странах — бывших сателлитах Германии или все же два отдельных документа.

Специально подчеркнув, что вопрос этот вызвал разногласия на подготовительном совещании министров, Бирнс тем самым делал новую попытку пересмотреть соглашение, достигнутое на пленарном заседании по его же собственной инициативе.

Сразу после Бирнса слово взял Трумэн. Делая вид, что американская делегация всегда стояла и продолжает стоять за два документа, то есть вопреки первоначальному американскому плану, он сказал, что Италию следует отделить от таких стран, как Румыния, Болгария, Венгрия и Финляндия, поскольку Италия капитулировала первой, и добавил, что между правительствами США и Италии существуют дипломатические отношения, тогда как с другими странами-сателлитами у Америки таких отношений нет.

Сталин реагировал на эти слова Трумэна мгновенно.

— Что ж,— сказал он,— я не стану возражать, если в документ будет включено заявление о готовности трех держав установить дипломатические

отношения и с другими странами-сателлитами.

Но Трумэн уже понял свою ошибку.

— Я не могу согласиться на это! — воскликнул он. — Мы еще не готовы установить с ними дипломатические отношения! Кроме того, мы никогда не были в состоянии войны, например, с Финляндией! Но когда правительства других стран-сателлитов будут преобразованы на основе свободных выборов, мы охотно восстановим с ними дипломатические отношения.

Это был уже явный шантаж. Даже Черчилль, полностью согласный с Трумэном по существу, посмотрел на него с презрением: потомственный аристократ на миссурийского торгаша.

Между тем Сталин, видимо, не обнаружил в словах Трумэна ничего особенного.

— Повторяю,— сказал он,— если решение вопроса осложняется тем, что Соединенные Штаты не имеют дипломатических отношений с этими странами, то мы можем упростить ситуацию и добавить слова: «Три правительства заявляют, что они считают возможным восстановить с ними дипломатические отношения».

— На это я согласиться не могу! — снова воскликнул Трумэн.

— Тогда,— с сожалением, но непримиримо сказал Сталин,— придется отложить рассмотрение обоих проектов — и об Италии и об упоминавшихся странах. Или — или. Без предложенного мною добавления я согласиться не могу.

Сталин произнес эти слова негромко, но они прозвучали для Черчилля как стук наглухо захлопнутой двери. Ни входа, ни выхода... Черчилль слишком хорошо знал Сталина по прежним встречам — в Москве, в Тегеране, в Ялте,— чтобы не сознавать значения слов, только что произнесенных советским лидером. Ему стало окончательно ясно, что на отдельные документы Сталин теперь ни при каких условиях не пойдет. Оставалось одно из двух: или уступить ему, или оставить вопрос несогласованным. Черчилля особенно угнетало то, что американцы сами себе расставили ловушку. Сначала они предложили объединить Италию и Восточную Европу в одном списке, а когда Сталин на это согласился, начали бить отбой.

Скороговоркой заявив, что британская делегация присоединяется к американской, Черчилль недовольно сказал:

— Время идет, джентльмены! Мы уже сидим здесь целую неделю и ни о чем существенном не договорились!

— Но почему же? — с обидой возразил Бирнс. В словах Черчилля ему послышался упрек по своему адресу. — Первый пункт сегодняшней повестки касался ликвидации польского эмигрантского правительства в Лондоне, и по этому пункту мы пришли к соглашению. Мы можем продолжить обсуждение других вопросов повестки. Я имею в виду польскую западную границу. Советская делегация представила вчера документ по этому вопросу.

По мере того как Бирнс говорил, лицо Черчилля постепенно прояснялось: Бирнс нашел лучший выход из положения. В конце концов документ, объединяющий Италию с другими сателлитами или отделяющий ее от них, все равно имел бы чисто теоретический характер — практически применять его можно было по-разному.

Вопрос же о польской границе — это реальность! Один из основных вопросов, ради которых главы правительств и приехали сюда. Сейчас должно произойти одно из главных сражений с тех пор, как в Европе наступил мир.

— Разрешите мне сделать заявление относительно западной границы Польши,— многозначительно начал Трумэн. — Ялтинским соглашением было установлено, что германская территория оккупируется войсками четырех держав: Соединенных Штатов, Великобритании, Советского Союза и Франции, которые получают каждая свою зону оккупации. Вопрос относительно границ Польши хотя и затрагивался в Ялте, но в решении было сказано, что окончательно он должен быть разрешен на Мирной конференции. На одном из наших первых заседаний мы решили, что исходным пунктом для обсуждения будущих границ Германии мы принимаем границы декабря 1937 года...

Вот когда Трумэн использовал согласие Сталина, вырванное с трудом и в общем-то чисто условное, взять за основу Германию 1937 года!

«А я-то считал ту дискуссию бесплодной,— подумал Черчилль. — Этот Трумэн, видимо, все-таки знал, что делал!»

Он пристально глядел на Сталина. Ему казалось, что советский лидер воспользуется первой же паузой, чтобы высказать свои соображения. Сталину, в сущности, достаточно было бы процитировать строки из ялтинского коммюнике, где говорилось о праве Польши получить существенное приращение территории на севере и на западе. За Мирной конференцией оставалось лишь «окончательное определение» западной границы Польши. Трумэн напрасно пытался представить дело так, будто вопрос о польских границах лишь «затрагивался» на ялтинской встрече и в конце концов был отложен...

Сталин молча курил.

Ободренный этим, Трумэн продолжал:

— Мы определили наши зоны оккупации и границы этих зон. Мы отвели войска в свои зоны, как это было установлено. Но сейчас, по-видимому, еще одно правительство — польское — получило зону оккупации, и это было сделано без консультации с нами. Нам трудно согласиться с таким решением вопроса... Я дружественно отно-

шусь к Польше и, возможно, полностью соглашусь с предложениями Советского правительства относительно ее западных границ. Но я не хочу делать это теперь, так как для этого будет другое место, а именно Мирная конференция.

Пожалуй, впервые за все это время Черчилль целиком одобрял Трумэна. Президент и в самом деле произнес хитроумную речь. Он как бы выставил перед советской делегацией ряд мишеней, среди которых главные было трудно отличить от второстепенных. Второстепенные мишени оказывались наиболее близкими и как бы сами вызывали огонь на себя.

Западные лидеры не сомневались, что Сталин сейчас откроет огонь именно по этим второстепенным мишеням. Ведь он же действительно никогда не говорил всерьез о том, что сегодняшнюю Германию нужно представить себе в границах 1937 года! Само собой разумеется, он напомнит сейчас об этом, а заодно также и о том, какие усилия потребовались от Советского Союза для того, чтобы Англия и США отвели войска в свои зоны. Наконец, он не преминет оспорить слова Трумэна о якобы существующей польской зоне оккупации... В результате главный вопрос — о новых границах Польши — может быть отодвинут на неопределенное время.

Но Сталин молчал. Он докурил свою папиросу и что-то сосредоточенно чертил на лежавшем перед ним листке бумаги. Со стороны могло показаться, что Сталин целиком поглощен этим занятием. На самом же деле он думал и вспоминал. Старался понять, кто же обманывал его два месяца назад — Трумэн или Гопкинс? Или новый президент обманул и его и Гопкинса?

...Тогда Гопкинс в одной из бесед сам поднял вопрос о новых границах Польши. От имени Трумэна он попросил Сталина откровенно высказать свой взгляд на будущее этой страны. Сталин сказал, что Советский Союз более чем какое-либо другое государство заинтересован в существовании сильной демократической Польши. Демократической, потому что только в этом случае Польша будет поддерживать дружеские отношения с Советским Союзом. Сильной, потому что за последние тридцать лет немцы дважды наступали на Россию именно через «польский коридор», а Польша была слишком слаба, чтобы наглухо запереть его...

Сталин говорил с Гопкинсом, ничего не скрывая. Он сказал, что вопросы безопасности Советского Союза и граничащей с ним Польши тесно, неразрывно связаны между собой. Заявил, что в отличие от царской России, стремившейся подавить и ассимилировать Польшу, Советский Союз начинает новую эру в советско-польских отношениях. Главным содержанием этой эры будет дружба, фундамент которой уже заложен в совместной антигитлеровской борьбе Красной Армии, Армии Людовой, участников польского Сопротивления.

Тогда же Сталин напомнил, что, согласившись в Ялте на «линию Керзона», он сделал уступку Западу, и прежде всего президенту Рузвельту. Эта «линия» была изобретена не русскими, а Керзоном, Клемансо и представителями Соединенных Штатов на конференции 1919 года, куда Россию вообще не приглашали, хотя речь шла о ее западной границе.

Внимательно выслушав Сталина, Гопкинс тогда сказал, что полностью понимает советскую политику по отношению к Польше и сочувствует тем принципам, на которых эта политика строится.

Он добавил, что с таким же пониманием относится к этой политике и Трумэн.

Теперь выяснялось, что это была ложь. Своим только что сделанным заявлением Трумэн показал, как он относится не на словах, а на деле к будущему Польши. Если Гопкинс был искренен, когда говорил, что новый президент США готов продолжать политику Рузвельта во всем, в том числе и в польском вопросе, значит, Трумэн обманул, предал и Гопкинса и Рузвельта. Сознавая это, Сталин испытывал возмущение и лишь напряжением воли сдерживал ярость.

И все же он еще не разгадал до конца подлинные намерения Трумэна.

Нагромождая самые различные аргументы, чисто формальные или имеющие отдаленное отношение к существу дела, Трумэн, как пока еще предполагал Сталин, стремился не просто оспорить размер территорий, на которые по праву претендовала Польша. Он хотел похоронить вопрос о польских границах, оставить его нерешенным, отложить до Мирной конференции, которой, как он теперь был убежден, вообще не суждено состояться. Когда главным фактором международной жизни станет атомная бомба, все будет решаться не на конференциях, а в Белом доме и в Пентагоне.

Черчилль еще не читал отчета Гровса, но и он хотел отложить решение о польских границах до тех пор, пока не станут известны результаты британских выборов. После этого он дал бы настоящий бой Сталину уже в качестве человека, обладающего всей полнотой власти...

Когда Трумэн кончил говорить, Сталин сделал еще несколько быстрых штрихов на листке бумаги, как бы заканчивая какой-то рисунок, потом перевернул листок и сказал:

— В решениях Крымской конференции было отмечено: главы трех правительств согласились, что восточная граница Польши, то есть граница с Советским Союзом, должна пройти по «линии Керзона». Так?

Спорить с этим было бессмысленно: Сталин наизусть цитировал ялтинское решение.

Бирнс, как и Черчилль, хорошо знал, что «линия Керзона» была в свое время навязана России Западом.

Никто из американцев или англичан не решился возразить советскому лидеру.

— Отлично,— с удовлетворением констатировал Сталин. — Но тогда вы не можете не помнить и то, что в ялтинских решениях черным по белому сказано: Польша должна получить существенное приращение территории на севере и на западе. «Должна», господа! Это цитата. Впрочем, может быть, мне изменяет память и кто-нибудь желает что-либо уточнить?

Трумэн бросил быстрый взгляд на Гарримана. Но Гарриман, и Черчилль, и Иден знали, что Сталин точно цитирует ялтинское решение.

— Значит, и это никто не оспаривает,— продолжал Сталин.— Пойдем дальше. В решении говорится, что по вопросу о размерах этих приращений в надлежащее время будет спрошено мнение нового польского правительства национального единства и что вслед за этим — я подчеркиваю: «вслед!»— окончательное определение западной границы Польши будет дано на Мирной конференции. Так вот, мне кажется, что «надлежащее время» настало. Войну мы выиграли. Польское правительство национального единства существует. Почему же президент Трумэн помнит только о Мирной конференции? Ей предстоит рассмотреть и многие другие вопросы. Однако это не мешает нам обсуждать и решать их здесь. Почему же вопрос о польских границах должен стать исключением? Словом, я полагаю, что в Ялте мы принимали решения для того, чтобы проводить их в жизнь. Может быть, кто-нибудь полагает иначе?

— Нет, я тоже так считаю,— не очень уверенно подтвердил Трумэн и, словно спохватившись, добавил: — Но у нас не было и нет никакого права предоставлять Польше зону оккупации!

Сталин не обратил на эту реплику никакого внимания.

— Теперь,— сказал он,— польское правительство национального единства выразило свое мнение относительно западной границы. Это мнение известно нам всем.

— Но западную границу Польши никто и никогда не утверждал!

— Сейчас я говорю о мнении польского правительства,— ответил Сталин.

— Мы получили его только сегодня и не успели с ним ознакомиться!

— Мы не торопим,— возразил Сталин. — Но высказать свое мнение о западной границе Польши нам необходимо. Сегодня или завтра — это не имеет никакого значения. Теперь, если у президента Трумэна есть желание, поговорим о так называемой пятой зоне оккупации. Я полагаю, что вопрос этот поставлен неточно. В свое время мы получили ноты от американского и британского правительств...

Трумэн больше всего боялся упоминаний о документах прошлого. Многих документов он не помнил или просто не знал, а поспешно наводить справки о них — значило бы публично проявить свою некомпетентность.

На этот раз на выручку Трумэну пришел сам Сталин.

— В этих нотах ставился вопрос о том, чтобы не допускать польскую администрацию в западные районы, пока не будет окончательно решен вопрос о западной границе Польши. Но мы этого не могли сделать, потому что немецкое население ушло вслед за отступавшими германскими войсками на Запад. Польское же население шло вперед, следуя за наступающей Красной Армией. Оно шло по своей земле, и никто не вправе упрекнуть за это поляков. Наша армия нуждалась в том, чтобы в ее тылу, на той территории, которую она занимала, существовала местная администрация. Армия не может одновременно создавать администрацию в тылу, воевать и очищать территорию от врага. Поэтому мы пустили поляков. Вот и все. В этом духе мы в свое время и ответили на американскую и английскую ноты. Теперь этот вопрос поднимается снова. Однако я не понимал раньше и не понимаю теперь: какой вред может быть нанесен нашему общему делу, если поляки создают свою администрацию на той территории, которая все равно должна принадлежать им?

Если бы Трумэн и Черчилль захотели откровенно ответить на этот вопрос Сталина, они должны были бы сказать: «Вы все время ссылаетесь на Ялту. Но мы приехали сюда именно для того, чтобы пересмотреть ялтинские решения и ликвидировать те уступки, на которые пошел Рузвельт».

Однако заявить нечто подобное вслух было, конечно, невозможно. Пришлось говорить совсем другое.

— У меня лично,— заявил Трумэн,— нет никаких возражений относительно будущей границы Польши. Но мы условились, что все, все части Германии должны находиться в ведении четырех держав. А теперь выходит, что важные части Германии будут находиться под оккупацией страны, не входящей в состав этих четырех держав, то есть Польши. Разве это не нарушение ялтинской договоренности?

«Правильный ход! — отметил Черчилль. — Трумэн, видимо, кое-чему научился у Сталина». Английскому премьеру уже давно хотелось ввязаться в спор, но он выжидал, пока конфронтация

между Трумэном и Сталиным станет совершенно очевидной.

Не отвечая прямо на вопрос Трумэна, Сталин сказал:

— Не понимаю, что вас, собственно, беспокоит? Может быть, репарации с той части бывшей Германии, которую теперь занимают поляки? Что ж, мы готовы от них отказаться.

— У нас нет намерения получить их,— высокомерно возразил Трумэн.

«Не то, не то! — на этот раз отметил Черчилль. — Во-первых, если такого намерения нет у тебя, то оно есть у меня. Кроме того, Сталин, видимо, хочет свести столь важный территориальный вопрос только к репарациям».

Но Сталин вовсе не собирался сводить дело к ним. Он снова напомнил о ялтинском решении расширить границы Польши на западе и на севере. Таким образом, Сталин возвращался на тот плацдарм, на котором чувствовал себя неуязвимым. Наконец Черчилль не выдержал.

— Я хотел бы многое сказать о границах Польши, особенно о западной,— громко заявил он,— но, насколько я понимаю, время для этого еще не пришло.

Черчилль тут же понял, что не очень удачно выразил свою мысль. Он боялся, как бы Трумэн, увязнув в споре о «пятой зоне» оккупации, не создал впечатления, что вопрос о границах решен «де факто», и не свел все к разговору о правомерности или неправомерности создания польской администрации на освобожденных землях.

Трумэн почувствовал это.

— Определение будущих границ принадлежит Мирной конференции,— объявил он.

Слова Трумэна вызвали у Черчилля двойственное чувство. Он полагал, что, вновь напомнив о Мирной конференции, президент поступил правильно, ибо тем самым подчеркнул необязательность ялтинских решений о польских границах. Но, с другой стороны, его можно было понять так, что он вообще отказывается обсуждать здесь вопрос о границах. С этим Черчилль согласиться не мог. Да, разумеется, он хотел оттянуть окончательное решение вопроса до тех пор, пока не станет ясным, что его резиденцией по-прежнему остается дом в Лондоне на Даунинг-стрит, 10. Но отказаться от обсуждения вопроса о польских границах вообще значило бы выпустить из рук рычаг, с помощью которого предполагалось, так сказать, перевести стрелку и поставить вопрос о будущем Польши в прямую зависимость от состава польского правительства и социальной системы в этой стране.

Что касается Сталина, то на данном этапе дискуссии он стремился во что бы то ни стало удержать польскую проблему в повестке дня. Для этого он предпочел временно отойти от вопроса о границах и вернуться к поднятому ранее самим Трумэном вопросу о польской администрации.

Сталин снова стал терпеливо разъяснять, что Красная Армия должна была иметь надежный тыл и что положение, при котором немецкое население либо бежало за своими отступающими войсками, либо стреляло в спину советским войскам, было нетерпимо.

— Это я понимаю и сочувствую,— вынужденно сказал Трумэн.

— Конечно,— добавил Сталин, как бы заканчивая мысль,— это вовсе не значит, что я сам определяю границы. Если вы не согласитесь с той линией, которую предлагает польское правительство, вопрос о границах повисает в воздухе.

Казалось, сам того не сознавая, Сталин помогал Трумэну оставить польский вопрос открытым.

Но это только казалось...

Сталин уже понимал, что между намерениями Трумэна и Черчилля существует несомненное противоречие. Как только он замолчал, Черчилль возмущенно воскликнул:

— Но как же можно оставить этот вопрос без решения?!

— Когда-нибудь его придется решить...— заметил Сталин, как бы давая понять, что не он виноват в том, что решение откладывается.

Этим он превратил Черчилля в своего союзника, хотя и временного.

Да, вопреки Трумэну Черчилль считал нужным продолжать обсуждение польского вопроса. Затягивать, но продолжать. Не желая идти на прямую конфронтацию с президентом, Черчилль решил воспользоваться его же тактикой. Поднимая второстепенные вопросы, лишь косвенно связанные с проблемой польских границ, Трумэн хотел вообще прекратить обсуждение этой проблемы. Черчилль избрал тот же путь, но с противоположной целью: так или иначе продолжить обсуждение.

Он поднял вопрос о поставках продовольствия германскому населению, «изгнанному» из Польши. Оставаясь на «своих» землях, оно могло бы прокормить себя.

Сталин заметил, что никаких немцев на польских землях нет, ибо они ушли вслед за своими войсками. Вовлеченный в новую дискуссию, Черчилль произнес многословную речь. Из нее явствовало, что добровольный или не добровольный уход немцев означает, что они должны будут жить и питаться за счет немецких жителей тех районов, куда переселятся. Это могло бы ослабить военно-экономический потенциал послевоенной Германии, что вовсе не входило в английские и американские планы. Разумеется, умолчав об этом, Черчилль сказал все же, что отторжение от Германии территорий в пользу Польши обречет немцев на голод.

Сталин слушал Черчилля очень внимательно. Выслушав его, он еще раз убедился, что достиг своей тактической цели: прекратить обсуждение польского вопроса Трумэну пока что не удастся. Теперь надо было вернуть дискуссию на главный, магистральный путь. Но сделать это следовало исподволь и осторожно...

— В соответствии с ялтинским решением мы обсуждали вопрос о польских границах,— сказал Сталин. — А теперь перешли к продовольственному снабжению Германии. Если вы хотите обсуждать этот вопрос, пожалуйста, я не возражаю.

— Но вопрос о границах порождает много других, важных и не предусмотренных ранее! — сразу же откликнулся Черчилль. — Мы не можем от них уйти. В частности, президент не случайно спросил: чьей зоной оккупации являются германские земли, которые сейчас заняты поляками...

Этот вопрос поначалу мог показаться риторическим. На самом же деле он был вестником нового массированного наступления на советскую делегацию.

Трумэн и Черчилль, перебивая друг друга, обрушили на Сталина град вопросов.

Почему Польша претендует на такую значительную часть немецкой территории? Кто в таком случае помешает Франции потребовать Саар и Рур? И что тогда останется от Германии?!

Слушая Трумэна, Сталин вновь подумал, что лицемерию нового американского президента, видимо, нет границ. Сталин помнил — хорошо помнил! — слова Гопкинса о том, что Трумэн вернулся к уже похороненной, казалось, идее расчленения Германии, против которой всегда возражал Советский Союз, и предлагает разделить ее на три государства. Баварию, Вюртенберг и Баден Трумэн хотел, например, объединить с Австрией и Венгрией. Сталин сразу же понял, что такое государство с населением в двадцать с лишним миллионов человек и со столицей в Вене президент, конечно же, хотел создать в качестве противовеса Советскому Союзу.

Кроме того, по словам Гопкинса, Трумэн решительно выступал за отделение от Германии Саара и Рура. Теперь он же делал этот вопрос оружием полемики со Сталиным и старался доказать, что, ратуя за расширение польских границ, Советский Союз тем самым кладет начало расчленению Германии.

Сталин сидел молча, словно выжидая, когда вопросы иссякнут и он сможет выбрать те из них, на которые сочтет нужным ответить.

Когда Трумэн и Черчилль умолкли, Сталин снова напомнил, что решение о новых границах Польши было принято в Ялте.

Едва он закончил свой ответ, с новым, неожиданным заявлением выступил Черчилль. Он усомнился в том, что немцы, как заявил Сталин, покинули земли, которые заняты поляками, и сказал, что, по его сведениям, на этих землях находятся сейчас около двух с половиной миллионов германских граждан. Сталин тут же выразил готовность проверить эти сведения. Тогда Черчилль, как бы заходя с другого фланга, вернулся к вопросу о снабжении продовольствием населения Германии. Он стал вновь доказывать, что вопрос о польских границах не так прост, как могло показаться в Ялте, и что он неизбежно породит многие новые вопросы, которые не возникали, пока шла война.

Как только Черчилль замолчал, Трумэн снова поспешил заявить, что, по его мнению, вопрос о польских границах вообще не может быть разрешен на данной конференции.

Опять вмешался Черчилль. На этот раз он произнес длинную речь о том, какие трудности для послевоенной Европы создаст то массовое перемещение людей, которое станет неизбежным, если Польша получит новые территории. Если три или четыре миллиона поляков, говорил Черчилль, будут перемещены с востока от «линии Керзона», то три или четыре миллиона немцев должны будут уступить место полякам на Западе. Такое перемещение создаст хаос. Оно невыгодно ни полякам, ни союзникам. Если немцы, как утверждал Сталин, покинули земли к востоку и западу от Одера, то следовало бы поощрить их возвращение на эти земли.

Казалось, Черчилль собирается говорить бесконечно. Он обвинил поляков в том, что они подрывают продовольственное снабжение германского населения, возлагают на западные державы непосильную обязанность кормить это население. Тем самым поляки обрекают немцев на жизнь, мало чем отличающуюся от жизни в фашистских концентрационных лагерях...

Сталин, разумеется, мог ответить на любой из этих вопросов. Но он понимал, что любой его ответ вызовет лавину новых вопросов. Становилось все яснее, что Трумэн, да в конечном счете и Черчилль стараются либо затянуть осуществление ялтинских решений о Польше, либо доказать, что оно вообще невозможно, и взять судьбу этой страны целиком в свои руки.

Сталин подумал, что примерно так же Черчилль вел себя в течение первых трех лет войны. Каждый раз, когда перед ним поднимали вопрос о втором фронте, английский премьер-министр находил десятки аргументов, призванных доказать, что открытие второго фронта пока невозможно — из-за положения в Африке, из-за необходимости иметь достаточно войск для обороны Англии, из-за туманов над Ла-Маншем, из-за неподготовленности десантных средств...

Слушая его сейчас, Сталин ощущал все воз-

растающее возмущение. Судьба польского народа меньше всего заботила Трумэна и Черчилля. Все их вопросы мгновенно отпали бы, если бы Советский Союз согласился отдать будущее Польши в их руки. Сталин вспомнил о трагическом варшавском восстании, за которое Черчилль если не прямо, то косвенно отвечал, о диверсиях, о бешеной антисоветской пропаганде, которую вели агенты Лондонского эмигрантского правительства в тылу советских войск, освобождавших Польшу...

Сейчас Черчилль готов был спекулировать на том, что Советский Союз, еще не успевший залечить ран, которые нанесла ему война, не в силах оказать разоренной Европе такую материальную помощь, какую могут предложить ей разбогатевшие на войне Соединенные Штаты.

Испытывая глухую ярость, Сталин понимал, что не имеет права проявить ее открыто. Он приехал сюда, в Бабельсберг, в поисках компромисса и должен искать пути к нему. Но для этого необходимы по крайней мере два условия. Обсуждение польского вопроса должно продолжаться. Это во-первых. Во-вторых же, и Трумэн и Черчилль должны понять, что решения относительно будущего Польши, принятые «Большой тройкой» в Крыму, не подлежат пересмотру. Советский Союз не сделает ни шагу назад с позиций Ялты.

Заставив себя успокоиться, Сталин сказал:

— Я согласен, что некоторые затруднения со снабжением Германии имеются. Но кто виноват в этом? Польша? Или, может быть, Советский Союз? Вряд ли возможно развязать такую войну, разорить, разграбить многие страны, а потом, потерпев поражение, не испытывать никаких затруднений. Главным их виновником является сама гитлеровская Германия, которая ввергла человечество в кровопролитную войну. Вы, господин Черчилль, задали мне очень много вопросов. В свою очередь, хочу задать вам только один. Скажите: обходилась ли когда-нибудь Германия без импорта хлеба?

— Она тем более не будет иметь возможности прокормить себя, если лишится восточных земель! — воскликнул Черчилль.

— Пусть покупает хлеб у Польши,— спокойно ответил Сталин.

— Мы не считаем эту территорию польской! — снова воскликнул Черчилль.

— Но там сейчас живут поляки! Они уже обработали поля. Мы не можем требовать от поляков, чтобы они обработали поля, а урожай отдали немцам.

Сталин умышленно употребил местоимение «мы», как бы подчеркивая, что не находится в конфронтации с Черчиллем, а вместе с ним ищет выход из создавшегося положения.

Но Черчилль этого не понял или не оценил.

— Условия в занятых поляками районах вообще являются очень странными,— заявил он. — Например, мне сообщают, что они продают силезский уголь Швеции! И это в то время, как у нас, в Англии, не хватает угля и нам предстоит провести зиму почти без топлива! Мы исходим из принципа, что Германия существует в границах тридцать седьмого года, и, следовательно, снабжение продовольствием и топливом должно распределяться пропорционально ее населению и независимо от того, в какой зоне находится это продовольствие и этот уголь.

Сталину ничего не стоило сказать, что Черчилль вопреки всякой логике свалил в одну кучу продажу угля Швеции, ситуацию в Англии и снабжение Германии. Но, не желая идти на новую конфронтацию, он спросил:

— А кто будет добывать этот уголь? Сейчас его добывают не немцы, а поляки...

— Но где, где?! — вскричал Черчилль. — Они добывают его в Силезии, которая является частью Германии!

— Что же делать? — слегка разведя руками, сказал Сталин. — Вот вам еще одно доказательство чистой условности понятия «Германия в границах тридцать седьмого года». Давайте считаться не с мифом, а с реальностью! Поляки в Силезии — это реальность. Ведь прежние хозяева сбежали!

— Они ушли потому, что испугались военных действий! Но теперь, когда война кончилась, они могли бы вернуться!

— Вернуться? — повторил Сталин. — Но они не хотят! Да и поляки вряд ли сочувствовали бы такому возвращению.

Черчилль, казалось, выдохся. Тяжело отдуваясь, он зажег сигару и уже совсем другим, проникновенно-доброжелательным тоном сказал, глядя на Сталина:

— Я был глубоко тронут, генералиссимус, когда за этим столом вы сказали, что нельзя заниматься проблемами настоящего и будущего, руководствуясь чувством мести. Поэтому мне казалось, что мои сегодняшние мысли должны были встретить ваше сочувствие. Разве это справедливо, что такое громадное число немцев оказалось вынужденным переселиться в западные зоны и теперь именно мы должны заботиться о том, как их прокормить? В результате выиграли только поляки! Все преимущества на их стороне.

Сталина раздражало не только то, что сказал Черчилль. Его бесил и тот лицемерно-задушевный тон, каким он говорил.

Сталину хотелось ответить: «Вы еще смеете обвинять поляков! Вас смущает, что многострадальный народ, ставший первой жертвой гитлеровской агрессии, получил теперь некое преимущество?!»

Но он и на этот раз справился с собой.

— Мы касались вопроса об угле,— сухо сказал Сталин.— Когда я говорил о немцах, бежавших из Силезии, то прежде всего имел в виду хозяев угольного бассейна. Господин Черчилль жалуется, что шведы покупают уголь у поляков. Не скрою, мы и сами покупаем у них сейчас уголь, так как многие наши шахты разрушены и в некоторых районах, например, в Прибалтике, топлива не хватает.

Во время последней перепалки между Сталиным и Черчиллем Трумэн хранил молчание. Он молчал не только потому, что чувствовал себя недостаточно компетентным в той практической сфере, куда спор перешел, но и потому, что мысли его были сосредоточены на окончательном ответе, который завтра должны дать ему начальники штабов. Он думал также и о том, что скажет Черчилль, когда Стимсон покажет ему доклад Гровса.

Впрочем, когда дело коснулось топливной проблемы, Трумэн стал прислушиваться. Эта проблема вплотную примыкала к вопросу о репарациях, которые должна выплатить победителям Германия. Все, что касалось прибылей, неизменно интересовало президента.

— По-видимому, это совершившийся факт, что значительная часть Германии передана Польше для оккупации,— сказал президент и сделал паузу, как бы давая Сталину время убедиться, что Соединенные Штаты по-прежнему не считают отторгнутые у Германии территории частью польского государства.— Но что же тогда остается для взимания репараций? Я слышу, здесь говорят об угле. Даже у нас, в Америке, не хватает угля. Несмотря на это, мы в текущем году намерены послать в Европу шесть с половиной миллионов тонн. Но так продолжаться не может. Мы должны получать репарации, в том числе и углем. Но как мы можем рассчитывать на это, если главный угольный бассейн Германии будет считаться не германским, а польским?

— Кто же будет добывать уголь в силезском бассейне? — спросил Сталин.— Может быть, мы, русские? Но у нас не хватает рабочих для своих предприятий. Немцы? Но в Германии почти все рабочие были мобилизованы в армию. Значит, остаются две возможности: либо прекратить добычу угля вообще, либо передать ее полякам. Между прочим, у них и в пределах старых границ был свой угольный бассейн, очень богатый. Теперь он составляет одно целое с силезским бассейном. Там тоже работают поляки. Может быть, у кого-нибудь есть намерение потребовать репарации и с них?

Трумэн хотел ответить Сталину, но его, как уже не раз бывало, опередил Черчилль. На этот раз он внес предложение, которое даже Трумэну показалось фантастическим. Черчилль предложил, чтобы силезские копи считались «агентствами Советского правительства» в советской зоне оккупации.

Сталин усмехнулся и спросил: не хочет ли господин Черчилль нарушить дружеские отношения, сложившиеся между Советским и Польским правительствами?

Черчиллю ответить не удалось: неожиданно для него самого и для всех остальных слова попросил молчаливый Эттли. И произнес целую речь...

Слушая его, Сталин оценивал шансы этого человека на пост премьер-министра Великобритании. Они, вероятно, казались ему минимальными.

Сталин не любил социал-демократов, хотя и понимал, что разобщенность германского рабочего класса, отсутствие союза между коммунистами и социал-демократами облегчили Гитлеру захват власти. В результате фюрер поочередно истребил, посадил в концлагеря, загнал в глубокое подполье сначала первых, а затем и вторых. Однако Сталин испытывал давнюю неприязнь к социал-демократам, в которых по старой большевистской традиции видел соглашателей и реформистов, еще со времен Каутского и Бернштейна пытавшихся выхолостить революционную сущность марксизма. Эта неприязнь распространялась и на его отношение к Эттли.

Тем не менее Сталина интересовало, что скажет Эттли. Попытается ли он в качестве лидера партии, которая называется лейбористской, то есть рабочей, хотя бы на словах отделить себя от консерватора и аристократа Черчилля? По его речи, видимо, можно будет судить, как поведет себя Эттли, если окажется на месте Черчилля...

Но Эттли произнес речь, которой мог бы позавидовать любой консерватор. В сущности, он просто повторил аргументы Черчилля, пытаясь доказать, что существование Польши с ее новыми границами отрицательно скажется на благосостоянии Германии и нанесет вред союзникам.

По окончании речи претендента на пост британского премьера Сталин, не скрывая своей неприязни к нему, спросил:

— Может быть, господин Эттли примет во внимание, что Польша тоже страдает от последствий войны и тоже является союзником?

Это была первая стычка между Сталиным и Эттли.

— Да,— поспешно ответил Эттли,— но теперь она оказалась в преимущественном положении!

— По сравнению с Германией — да,— жестко сказал Сталин.— Так оно и должно быть!

— Нет, нет! — воскликнул Эттли.— Я хотел сказать — по отношению к остальным союзникам!

— А вот уж это далеко не так,— с усмешкой произнес Сталин.

Трумэн не знал, как ему поступить. Может быть, настало время констатировать, что дальней-

шее обсуждение вопроса о новых польских границах бесплодно? Но с требованием продолжить обсуждение мог выступить Черчилль. И, конечно же, Сталин, который пока ничего не добился.

Подумав, президент нашел, как ему казалось, самый лучший выход из положения. Он попросту предложил закрыть сегодняшнее заседание и как следует поразмыслить над всеми нерешенными вопросами.

— Это бы меня устроило,— высказав свое предложение, важно сказал Трумэн.

— Что ж, можно,— с едва заметной улыбкой отозвался Сталин. — Меня это тоже устраивает.

Глава восьмая

«ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА»

Примерно в двух кварталах от «маленького Белого дома», в особняке на Рингштрассе, 23, в большой, уставленной ампирной мебелью комнате, служившей ему кабинетом, одиноко сидел Черчилль.

Нет, дом не был пустым. Где-то в пристройке бодрствовал начальник охраны премьер-министра Томпсон, в небольшой, примыкающей к спальне комнате сидел врач, лорд Моран, ожидая, пока его трудный подопечный решит отойти ко сну, в соседней комнате корпел над бумагами Рован, один из личных секретарей Черчилля, и конечно же, неподалеку находился лакей Сойерс, готовый по первому зову явиться к своему хозяину.

В открытое окно было слышно, как стучат по асфальту каблуки английских солдат, охранявших резиденцию премьер-министра. Черчилля раздражал этот стук. Вызванный для объяснений Томпсон доложил, что солдатские ботинки подбиты гвоздями. Черчилль распорядился выдать солдатам, несущим охрану его дома, ботинки на резиновой подошве...

Все обитатели особняка на Рингштрассе были на своих местах. Только Мэри, дочь Черчилля, еще не вернулась из Берлина, где жены и дочери сотрудников британского представительства в Контрольном Совете устроили нечто вроде традиционного пятичасового чая.

Черчиллю предстояло провести теперь уже считанные дни в этом доме, прежде чем отправиться в Лондон, чтобы успеть прибыть в столицу к моменту оглашения результатов парламентских выборов.

Потом он вернется снова и уже тогда, в ореоле вновь обретенной власти, даст решительный бой Сталину. Вернется, если...

Впрочем, к черту «если»! Этого не может быть. Он вернется, а Эттли, чье присутствие за «круглым столом» Конференции постоянно напоминало Черчиллю об угрозе, которую таило для него ближайшее будущее, останется в Лондоне, чтобы занять свое привычное место на скамьях оппозиции правительству его величества.

Итак, он, Черчилль, уже больше недели провел здесь, в Бабельсберге, пора подвести кое-какие итоги.

Но лишь при одной только мысли об этом Черчилля охватывала злоба. Ради чего он так стремился сюда, ради чего так настаивал, чтобы встреча «Большой тройки» состоялась как можно скорее? Не гнался ли он за миражем?..

Правда, временами Черчиллю казалось, что все, чего он так жаждал, сбывается, становится реальностью. Он требовал созыва Конференции, и она состоялась. Он хотел увидеть в новом президенте Соединенных Штатов человека смелого, решительного, целиком сознающего значение красной опасности для Европы и готового ее предотвратить. И после первой встречи с Трумэном президент показался ему именно таким человеком. Он хотел поставить на колени представляющего Советский Союз Сталина, и временами ему казалось, что этот «азиат» внутренне уже сломлен, уже пришел к выводу, что Трумэн — это не податливый Рузвельт, что, имея за спиной разрушенную, голодную, исчерпавшую весь запас своих жизненных сил страну, а перед собой — непробиваемый фронт таких держав, как Америка и Британия, ему, Сталину, не остается ничего иного, кроме как отступить с наименьшими для себя потерями...

Да, отдельные эпизоды Конференции, беседы с Трумэном, ежедневные доклады Идена о ходе подготовительных совещаний трех министров иностранных дел, где Молотов чаще всего оставался в меньшинстве, создавали у Черчилля впечатление, что его надеждам суждено осуществиться.

Но как только он пытался подвести итоги уже состоявшимся обсуждениям, оценить реальные результаты, которых удалось добиться, то неизбежно приходил к выводу, что они фактически равны нулю.

Трумэн, видимо, втайне не отказался от планов разделения Германии, хотя и соглашался с ним, Черчиллем, что необходимо сохранить достаточно сильное, готовое и способное противостоять Советскому Союзу немецкое государство. Но прошло уже несколько заседаний, а германский вопрос был все так же далек от решения, как и неделю назад.

Польша?..

Черчилль протянул руку к заваленному бумагами письменному столу и взял лежавший поверх других лист с машинописным текстом. Он уже читал и перечитывал этот текст не раз — и вчера вечером и сегодня утром. Это было заявление, нота, словом, документ, доставленный сюда, в Бабельс-

берг, из Варшавы, адресованный «Большой тройке» и подписанный Берутом и Осубкой-Моравским, именовавшими себя соответственно президентом и премьер-министром Польского Временного правительства национального единства. Еще и еще раз Черчилль прочел первый длинный абзац этого документа:

«Выражая единодушную и непоколебимую волю всего народа, Польское Временное правительство национального единства утверждает, что лишь граница, которая начинается на юге у бывшей границы между Чехословакией и Германией, затем идет вдоль Нейсы, вдоль левого берега Одера и, оставляя на польской стороне Щецин, подходит к морю западнее города Свиноуйсце, может быть признана справедливой границей, гарантирующей успешное развитие польского народа, безопасность в Европе и прочный мир во всем мире».

Следующий, уже короткий абзац гласил:

«Польский народ, понесший столь громадные потери в борьбе с Германией, будет считать любое другое решение вопроса о его западной границе вредным, несправедливым, угрожающим будущему польского государства и народа...»

Все, все раздражало Черчилля в этом документе. И торжественно-категорический тон, каким эти явно симпатизирующие Советскому Союзу поляки объявляли от имени народа свою волю, и польская транскрипция географических названий, вроде «Щецина» вместо принятого немецкого названия этого города «Штеттин».

Черчилль раздраженно бросил бумагу обратно на стол. Несомненно, что это послание было инспирировано Сталиным,— без поддержки России они бы не решились...

И мысли Черчилля снова обратились к Сталину.

Он старался проникнуть в душу этого человека, понять его замыслы, уяснить себе, до каких пор Сталин будет стоять на своем и с какого именно рубежа пойдет на уступки...

Черчилль пытался восстановить в памяти всю историю личных отношений со Сталиным, начиная с первой встречи в Москве, в 1942 году, вспомнить, чем, какими словами, аргументами, какой манерой поведения ему удавалось тогда добиваться расположения Сталина, вспомнить, что раздражало советского лидера, делало неуступчивым, непримиримым и что смягчало, побуждало идти на компромисс...

Первая встреча... Черчилль помнил, как будто это было только вчера: после утомительного перелета его «Либерейтор» приземлился на московском аэродроме.

Московском! Черчиллю казалось парадоксальным, фантастическим, что пройдут считанные минуты — и он в качестве гостя и союзника ступит на землю столицы большевистского государства, уничтожение которого еще сравнительно недавно было его самой сокровенной мечтой.

Черчилль вспоминал все, все до малейших деталей. Как он вышел из самолета, с трудом разминая затекшие от долгого сидения ноги, как группа каких-то людей, из которых он знал только Молотова, Гарримана и своего посла Керра, двинулась ему навстречу, как военный оркестр сыграл британский, американский и, наконец, советский гимн «Интернационал», один звук которого всегда вызывал у Черчилля ассоциации с восстаниями, забастовками, баррикадами, толпой — со всем тем, что было ему ненавистно.

Был день — нет, кажется, уже приближался вечер, прохладный августовский вечер. Его посадили в большую черную машину и повезли куда-то в лес, где, окруженный высокими соснами, стоял неразличимый даже вблизи особняк.

Черчилль через переводчика спросил сидевшего рядом с ним молчаливого Молотова, куда его везут и когда он встретится со Сталиным. Молотов лаконично ответил, что резиденция называется «государственной дачей номер семь» и что совещание со Сталиным состоится сегодня же вечером.

Кто присутствовал на совещании в Кремле? Из русских, кроме Сталина,— Молотов и Ворошилов. Его, Черчилля, сопровождали английский и американский послы в Москве — Керр и Гарриман.

Черчилль говорил первым. Он подробно объяснял, почему Англия не в состоянии сейчас открыть второй фронт.

Сталин не прервал его ни разу. Он молча курил трубку... Да, Сталин не прерывал его ни словом, ни жестом, и выражение лица его оставалось неизменным, но тем не менее Черчилль интуитивно чувствовал холодную отчужденность своего собеседника. Позже, уже в мемуарах, описывая это совещание в Кремле, Черчилль утверждал, что Сталин стал выглядеть более дружелюбно, когда услышал подробный рассказ о бомбежках Германии английской авиацией и готовящейся английскими войсками в Африке операции «Торч».

Об этой последней Черчилль только еще начал говорить, когда Сталин с явной заинтересованностью в первый раз прервал его. Он сказал:

— Это хорошо задумано. Во-первых, потому, что удар по тылам Роммеля будет для него неожиданным, во-вторых, потому, что ускорит выход Италии из войны, в-третьих, ознаменует конец битвы между немцами и французами и, в-четвертых, напугает Испанию, заставит ее быть нейтральной.

Тогда Черчиллю показалось, что ему удалось как бы рассеять разочарование Сталина в связи с отсутствием второго фронта, заставить его воспри-

вать предстоящую африканскую операцию как своего рода эквивалент...

Но уже несколькими минутами позже Черчилль понял, что ошибся. Когда он умолк, Сталин сказал:

— Я хочу поблагодарить господина Черчилля за откровенность и отплатить ему тем же. Не скрою, мы очень разочарованы тем, что второго фронта в ближайшее время не будет. Мы теряем на войне тысячи человек в день. Нам очень горько. Может быть, мы пережили бы эти горькие утраты несколько легче, зная, что и британская армия сражается с врагом так же, как и мы,— не на жизнь, а на смерть. Но она так... не сражается. Вы нарушили свое слово относительно второго фронта, господин Черчилль...

Вспоминая теперь все коллизии первых встреч со Сталиным, Черчилль пытался определить, какие перемены произошли с тех пор в советском лидере, на чем можно сыграть, что использовать, чтобы заставить его поколебаться и отступить? Усталость? Да, она ощущалась на его лице, чувствовалась в его походке, но больше не проявлялась ни в чем.

Тогда, три года назад, несмотря на все разногласия и размолвки, они все же расстались дружески,— по крайней мере Черчилль так считал.

Сегодня он, Сталин, не был нужен Черчиллю, как тогда, в начале войны, когда от стойкости Красной Армии во многом зависела судьба Англии. В какой мере Сталин-победитель заинтересован в Черчилле сегодня? Может быть, ни в какой? И может быть, именно поэтому решил идти напролом и его непримиримая позиция в польском вопросе — лишь первый орудийный залп в задуманном наступлении?

Конечно, находясь в более спокойном состоянии, Черчилль не мог бы не подумать о том, что эти поляки вовсе не нуждались в специальном поощрении Советского Союза — для них было вполне достаточно решения Ялтинской конференции, предусмотревшей в числе других вопросов и увеличение польской территории на севере и на западе. Тогда же было решено запросить мнение польского правительства о размерах этого увеличения.

Вот оно, это правительство, теперь свое мнение и высказывает...

Но Черчилля мучила мысль о том, что задуманный им план пересмотра Ялтинской декларации — не только о Польше, но и о других освобожденных Красной Армией странах Европы — сегодня столь же далек от осуществления, сколь был далек и три месяца тому назад.

Он хотел бы сказать решительное, бескомпромиссное «нет» всем попыткам главы советской делегации поддержать дружеские России правительства в Восточной Европе. Но ему казалось, что подходящий момент для этого еще не наступил. В ходе заседаний пока что все шло «по касательной», обходя главное, существенное.

Да, все эти вопросы — и будущее Германии, и границы Польши, и выборы в восточноевропейских странах — так или иначе затрагивались на каждом заседании. Но опять-таки частично, каждый раз по какому-либо конкретному поводу. Сталина «покусывали», вместо того чтобы вцепиться ему в горло бульдожьей хваткой и не ослаблять ее, пока не будет вырван необходимый ответ-согласие. «Шагреневая кожа!» — мысленно проговорил Черчилль. С каждым безрезультатно потерянным днем ее размер уменьшается. Но герой Бальзака имел возможность осуществить любое из своих желаний, правда, за счет определяемого размером кожи срока собственной жизни. Он, Черчилль, находился в гораздо более трагическом положении. Размеры отпущенной ему «кожи» определялись теперь не только его возрастом — он чувствовал себя достаточно бодрым. Но дело обстояло хуже — он, этот кусок шагреневой кожи, мог бесследно исчезнуть, как только будут объявлены итоги выборов. И от этого дня его, Черчилля, отделяли теперь уже не месяцы и даже не недели, а всего лишь несколько суток.

Всего несколько суток! И ни одна из его послевоенных целей еще не достигнута! О, если бы он был в силах остановить время, повернуть его течение вспять!

Для Трумэна прошлого как бы не существовало. А он, Черчилль, жил этим прошлым. Нет, это совсем не значило, что к семидесяти годам его вдохновляли только воспоминания. Мечты об утраченном и злоба оставались для него мощными стимулами для планов на будущее.

Сравнивая прошлое с настоящим, Трумэн испытывал радость, гордость.

Для Черчилля в прошлом заключалось величие и в то же время горький упрек настоящему. В прошлом искал он причины непоправимых ошибок, совершенных или совершаемых в настоящем. Но в мысли, что все, все могло быть иначе, находил он эгоистическое, хотя и бесплодное удовлетворение.

Перед отъездом сюда, в Бабельсберг, на встречу, которой Черчилль так жаждал и так боялся, он, уже обессиленный, сидел под южным голубым небом у лежавшего на земле мольберта, пытаясь проанализировать допущенные в прошлом ошибки. Не свои, нет — ведь он был Черчилль и не мог ошибаться,— а тех, других, которые в разные времена не вняли его советам, недооценили его предупреждений, не предотвратили того, что могло быть предотвращено.

Тогда, на лужайке близ замка Бордаберри, Черчилль размышлял о многом, но главным образом о своей последней встрече со специальным послом американского президента Дэвисом, человеком, которого Трумэн не только зачем-то привез сюда, на Конференцию, но и посадил рядом с собой, как бы уравновешивая в глазах Сталина свои симпатии между бывшим американским послом в России и Бирнсом: Бирнс — по правую руку, Дэвис — по левую, мелкая дипломатия...

Черчилль сидел в полумраке, откинувшись на спинку узкого, неудобного кресла и опустив свои тяжелые веки, но идти спать ему не хотелось. С недавних пор он стал бояться прихода ночи, она приближала следующий день — и кто знает! — может быть, уменьшала тот невидимый кусок шагреневой кожи, от размеров которого зависело его будущее.

Совсем недавно, уже здесь, в Бабельсберге, Черчиллю довелось пережить несколько минут подъема. Его посетил американский военный министр Стимсон и в туманных, осторожных выражениях сообщил, что президент получил телеграмму из Штатов, из которой явствовало, что разрешение проблемы под кодовым названием «Трубчатые сплавы» происходит более или менее успешно.

С тех давних пор, когда он договорился с Рузвельтом о переносе всех практических работ, связанных с делением урана, в Америку, Черчилль уже успел забыть об этой проблеме. Она была для него актуальна тогда, когда возникла реальная опасность появления атомного оружия у Гитлера. И потеряла свою злободневность, когда удалось вывезти из Франции немецких ученых и имевшийся там запас «тяжелой воды». Черчилль знал, что американцы вот уже несколько лет «копаются» с этими «сплавами», сначала раздражался в связи с явным намерением «янки» оттереть на задний план англичан и чуть ли не засекретить от них все, что было связано с атомным проектом, но потом махнул на это рукой: война близилась к победному концу, и вопрос о новых видах оружия терял свое прежнее значение.

На фоне всего происходящего сейчас — отсутствии ощутимых успехов на Конференции, томительной неизвестности, связанной с результатами выборов,— сообщение Стимсона показалось Черчиллю лишь запоздалой данью вежливости американцев по отношению к своему британскому союзнику, никак не больше. Он выразил Стимсону благодарность за информацию, высказал надежду на конечный успех и... забыл обо всем этом деле. Забыл потому, что в сознании его оно никак не связывалось с мучившими его проблемами.

Нестерпимее всего была для Черчилля мысль о том, что теперь уже все труднее и труднее указать русским их подлинное место, восстановить ту Европу, в которой само слово «англичанин» еще совсем недавно являлось символом превосходства во всем — в могуществе на земле и на море, в богатстве, традициях, в хороших манерах, наконец! Лучший в мире флот, обширнейшие и богатейшие колонии, лучшая разведка, лучший парламент... Все это было еще каких-нибудь десять лет тому назад — по часам Истории только вчера!

И все это, невзирая на трудности, еще можно было вернуть! Вернуть — как это ни парадоксально — силами тех самых немцев, которые нанесли столь ощутимые удары по Британской империи.

«Реймс!»— с глубокой горечью произнес про себя Черчилль. Слово «Реймс» еще совсем недавно было символом того, что гитлеровская армия сложила оружие к ногам американо-британских союзников. С Россией же продолжала оставаться в состоянии войны. А потом... Потом был Карлсхорст...

...Сидя в своем бабельсбергском доме, доме на Рингштрассе, Черчилль мысленно переносится назад, теперь уже в совсем недавнее прошлое, в свою загородную резиденцию близ Лондона, в Чекерс...

•

— Еще раз... — медленно сказал Черчилль, когда в комнате зажегся свет. Он сидел в глубоком кожаном кресле, без пиджака, с потухшей сигарой, зажатой в левом углу рта. Потом вытянул затекшие ноги. Широкие ременные подтяжки с металлическими пряжками натянулись, сорочка складками нависала на животе, над брюками.

— Все сначала, сэр? — вполголоса спросил Рован. Он стоял у телефона, связывающего его с киномехаником.

— Да,— ответил Черчилль, движением губ передвигая сигару из левого угла рта в правый. Потом обернулся к сидящей неподалеку жене и сказал: — Если это вам надоело, Клемми, можете уйти.

Она не двинулась с места. Свет в комнате снова погас. На небольшом, укрепленном на двух кронштейнах экране возникло летное поле.

— Если хотите что-нибудь выпить, Эндрю, Сойерс вам принесет.

Эти слова были обращены к английскому полковнику, молча сидевшему на стуле за спиной Черчилля.

— Благодарю вас, сэр, мне не хочется.

— Дело ваше.

В полутемной, освещенной лишь лучом прожектора комнате вспыхнул огонек. Потом светлая точка описала полукруг — Черчилль закурил сигару, затянулся.

Над полем аэродрома появился самолет с опознавательными знаками королевских военно-воз-

душных сил. Потом камера перешла на советских генералов, стоявших в нескольких десятках метров от посадочной полосы. Самолет коснулся колесами бетонной дорожки. Русские солдаты покатили к нему трап. Следом пошли генералы.

— Кто это идет впереди? — спросил Черчилль.

— Генерал Соколовский, заместитель маршала Жукова,— слегка наклоняясь вперед, к уху Черчилля, ответил полковник.

— Он ведет себя как хозяин,— недовольно проговорил Черчилль.

Дверь самолета открылась, показался военный в форме британских военно-воздушных сил. Было видно, что он поспешным движением сунул трубку в карман перепоясанного матерчатым поясом кителя и, слегка ссутулившись, стал спускаться по трапу.

— Для своего возраста Теддер мог бы держаться прямее... Я не раз ему это говорил,— ворчливо произнес Черчилль.

Следом за Теддером на трапе появились еще трое английских военных в форме наземных, воздушных и военно-морских сил.

Русский генерал, отделившись от своей группы, сделал несколько шагов вперед, однако, не дойдя до нижней ступеньки трапа, остановился метрах в пяти от нее. Теддер первый поспешно направился к генералу.

— Видите,— с раздражением сказал Черчилль,— он хочет, чтобы Теддер первый подошел к нему... К тому... Как его фамилия?

— Генерал Соколовский, сэр.

— Ну, вот. А Артур — маршал. Ему следовало бы выждать, пока русский подойдет к нему сам. Кто устанавливал церемонию встречи?

— Не знаю, сэр, я был в это время во Франкфурте, выполняя ваше поручение. И...

— Вы расскажете мне об этом позже,— недовольно прервал полковника Черчилль. — Давайте смотреть.

На бетонированной дорожке появился американский самолет. И снова русские солдаты покатили трап. Фильм был неозвученным, поэтому не слышалось ни лязга открываемой двери, ни голосов людей... На трапе появился торопливо спускающийся по ступенькам высокий человек в форме американских военно-воздушных сил. Соколовский, который теперь снова стоял в группе русских военных рядом с Теддером, так же быстро пошел навстречу и приложил ладонь к козырьку фуражки. Американец поднес руку ладонью вперед к своей пилотке. Затем они обменялись рукопожатиями.

— Спаатс — всего лишь генерал,— снова раздался голос Черчилля,— однако этот Соколовский счел необходимым встретить его у самого трапа.

— Думаю, это просто случайность, сэр,— все так же тихо проговорил полковник. — Я вообще не уверен, что там был разработан какой-то специальный церемониал.

— В большой политике не бывает случайностей,— назидательно сказал Черчилль. — Они, несомненно, хотят подчеркнуть бо́льшее уважение к американцам, чем к нам. Вы здесь, Сойерс? Дайте мне виски. Без льда. У меня что-то не в порядке с горлом. И спичку, пожалуйста.

Снова вспыхнул огонек. Потом послышались приглушенный звон стекла и шуршание колесиков — Сойерс подкатил столик с напитками ближе к креслу Черчилля.

Черчилль не глядя протянул к нему руку и привычно нащупал стакан с виски. Вынул сигару изо рта, сделал большой глоток и снова зажал сигару в зубах.

Демонстрация фильма продолжалась. Прибыл французский, вернее, английский самолет, но с изображением трехцветного французского флага на борту. Из него вышел главнокомандующий французской армией генерал Делатр де Тассиньи.

— А ему вообще следовало бы прежде всего поздороваться с Теддером,— снова пробурчал Черчилль. — В конце концов тем, что их пригласили, французы обязаны прежде всего мне.

— Но у русских есть основания считать, что все мы присутствуем в Берлине благодаря их любезности,— раздался вдруг тихий женский голос.

— Не говорите глупостей, Клемми,— недовольно проговорил Черчилль и добавил уже насмешливо: — Возможно, они завербовали вас в свою партию, когда вы были в Москве? Кстати, почему бы вам ради такого торжественного случая не надеть свой советский орден?..

Клементина промолчала. Она хорошо знала взрывчатый и раздражительный характер своего мужа.

На мгновение на экране был показан опустевший аэродром. Затем в небе опять показался самолет, на этот раз снова английский. На том месте, где только что стояли русские генералы, теперь оказалась группа простых солдат, тоже русских. На груди у них висели автоматы. Потом на трапе появились вышедшие из самолета английские офицеры. Они стали на ступенях по обе стороны трапа, прижимаясь спинами к поручням. Затем из дверного проема вышел невысокий худощавый человек в немецкой военной форме. В руках он держал нечто вроде короткой трости. Несколько секунд немец стоял на верхней ступеньке трапа, озираясь вокруг, точно стараясь определить, куда он попал. Потом сделал два нерешительных шага вниз.

— Для ситуации, в которой Кейтель находится, он выглядит достаточно браво,— заметил Черчилль. — Как вы думаете, Эндрю, если бы ему предстояло снова возглавить немецкие сухопутные войска, оказался бы он в силах работать? Впро-

чем, я, конечно, шучу. Кто это вместе с ним? — спросил Черчилль, протягивая сигару по направлению к экрану. — Вон те двое немцев?

— Адмирал Фридебург и авиационный генерал Штумпф, сэр.

— Эти выглядят довольно потерто...

Стоявшие на трапе английские офицеры замкнули круг, оцепляя трех немцев. Процессия начала медленно спускаться по трапу. Русские солдаты положили руки на автоматы.

Потом изображение пропало, точно оборвалась лента. Экран осветился ярким белым светом...

После короткого перерыва на экране возник зал, уставленный длинными столами. Один из них, расположенный у самой стены, осеняли четыре союзных флага. Потом зал стал постепенно заполняться. По одному и группами входили советские генералы и рассаживались за длинными столами. Затем открылась боковая дверь — неподалеку от стола под союзными флагами,— и в зал медленно вошла группа военных. Впереди шел невысокого роста человек с советскими маршальскими погонами на плечах. Большая тяжелая голова, широкий лоб, две морщины полукругами спускались по обе стороны носа к углам рта, и на подбородке ямочка, столь неожиданная на этом суровом, волевом лице. Две небольшие звездочки были прикреплены к его кителю на левой стороне груди. Ниже выделялись многочисленные ряды орденских колодок.

Теддер, Спаатс и де Тассиньи шли почти рядом с советским маршалом, но все же несколько позади. Шествие замыкали высокий, седой человек в каком-то неизвестном Черчиллю мундире и еще двое военных, одним из которых был генерал Соколовский.

— Как вы считаете, Эндрю, о чем думает сейчас Жуков? — неожиданно спросил Черчилль.

— Мне это не приходило в голову, сэр,— ответил полковник,— очевидно, торжествует победу.

— Он всегда спешил, этот маршал,— задумчиво произнес Черчилль и снова спросил: — А что за форма на том, ну, вот который идет рядом с Соколовским?

— Не знаю, сэр.

— Это форма советского форин-офиса,—раздался голос Клементины, — а человек этот — Вышинский. Мне приходилось видеть его в Москве. Он заместитель Молотова и, кажется, бывший юрист.

— Значит, по мнению русских, настало время юристов? — иронически заметил Черчилль. — Они хотели бы закрепить законом то, что завоевано мечом, не так ли?

Ему никто не ответил. На экране все вновь вошедшие в зал генералы сели за стол под прикрепленными к стене флагами. Жуков расположился в центре. Затем он встал и, судя по движениям губ, сказал несколько слов...

— Ну, хватит,— громко произнес Черчилль. — Остальное мы знаем: сейчас войдет Кейтель и подпишет капитуляцию. Зажгите свет!

Экран погас. На мгновение в комнате воцарилась тьма. Потом вспыхнула небольшая люстра под потолком. Черчилль и полковник увидели, что находятся здесь одни. Клементина незаметно вышла еще раньше. Рована тоже не было, наверное, он пошел предупредить киномеханика, когда Черчилль приказал зажечь свет.

Черчилль встал и, не надевая пиджака, висевшего на спинке кресла, сказал:

— Я сейчас приду, полковник.

Он ушел и, через минуту вернувшись, сказал:

— Самолет, ориентировочно, будет готов в десять. — Он посмотрел на часы. — Сейчас без четверти девять, значит, в нашем распоряжении около часа. Но прежде скажите, Эндрю, какое впечатление оставил у вас этот фильм?

— Я не видел его раньше, но представлял, что все происходило именно так. По газетам,— ответил полковник.

— В Реймсе все это происходило гораздо менее помпезно,— пробурчал Черчилль.

— Нам надо было избежать этой церемонии в Карлсхорсте, сэр, я так думаю.

— Избежать?! — выкрикнул Черчилль и добавил уже спокойнее: — Это было невозможно, Советский Союз предъявил ультиматум. Американцы пошли на попятный.

Да, он был прав. Этого нельзя было избежать. 7 мая в городе Реймсе представители немецкого командования подписали акт капитуляции. В том, что гитлеровцы капитулировали именно перед командованием двух союзных держав — Соединенных Штатов и Великобритании, заключался глубокий смысл. В то время как подписанные экземпляры акта о капитуляции уже лежали в штабе генерала Эйзенхауэра, между германской армией и советскими войсками продолжались ожесточенные сражения. Немцы рассматривали капитуляцию в Реймсе как прекращение сопротивления только американо-английским войскам. Главнокомандующий фашистскими вооруженными силами на советско-германском фронте генерал Шернер объявил в приказе по войскам: «Согласно сообщению, переданному по вражескому радио, правительство рейха, так сказать, безоговорочно капитулировало перед Советским Союзом. Это ни в коей мере не соответствует фактам... Правительство рейха прекратило борьбу только против западных держав».

Советский Союз настаивал на том, чтобы акт о капитуляции в Реймсе считать «промежуточным», и требовал окончательной капитуляции немецкой армии перед тремя союзниками. Черчилль в течение суток бомбардировал Трумэна звонками и телеграммами, требуя, умоляя и заклиная пре-

зидента не соглашаться на это. Наконец, начальник объединенной группы начальников американских штабов адмирал Леги от имени Трумэна дал понять Черчиллю в ночном телефонном разговоре, что противостоять категорическому требованию Сталина больше невозможно...

Теперь, дважды просматривая на киноэкране карлсхорстскую церемонию, Черчилль как бы подстегивал себя для дальнейших действий.

— ...Рассказывайте, Эндрю,— коротко приказал он полковнику, который передвинул свой стул и сидел теперь напротив снова усевшегося в свое кресло Черчилля.

— Явившись к генералу Монтгомери,— начал полковник,— я передал ему ваш приказ относительно немецкого оружия. К тому времени он уже получил ваше телеграфное распоряжение об этом.

— Как реагировал Монти? — спросил Черчилль.

— Он спросил, давно ли я видел вас, и попросил в общих чертах охарактеризовать ваш замысел, поскольку в телеграмме о нем почти ничего не говорилось.

— И вы...

— Я ответил, что премьер-министр глубоко озабочен ситуацией, создавшейся в результате продвижения русских войск столь далеко на запад. Я также сказал, что вы не исключаете необходимости открытого столкновения между Россией и ее союзниками и хотите иметь немцев на своей стороне против коммунистической России.

— В полной ли мере он понял, что я имею в виду?

— В соответствии с вашим приказом я постарался, чтобы он понял. Мне пришлось, так сказать, в открытую объяснить, что немецкое оружие, которое вы приказали тщательно собирать, предназначено не для нашей армии, а для вооружения немецких солдат в том случае, если бы нам пришлось вместе с ними преградить путь большевикам.

— У него не было сомнения в том, что ваши слова соответствуют моим инструкциям?

— Генерал знал, что я пользуюсь вашим доверием.

...Да, Монтгомери это знал. Ранее работавший в морской разведке майор, а ныне полковник, личный связной премьера Эндрю Купер, был хорошо известен высшим руководителям британских вооруженных сил.

— Что произошло дальше? — спросил Черчилль.

— В течение последних трех недель собрано вооружений достаточно, чтобы оснастить не менее пятидесяти немецких пехотных дивизий.

— Этого мало!

— Это только начало, сэр. Сбор оружия продолжается.

— Отлично. Вы не заметили, Эндрю, каких-либо признаков того, что Эйзенхауэр собирается отступить?

— Пока американцы стоят на тех позициях, которых они достигли, то есть в Тюрингии. Однако, насколько я мог понять из разговоров в штабе, там полагают, что будут вынуждены отвести войска в зону, предусмотренную Европейской контрольной комиссией и тремя правительствами.

— К черту комиссию! — воскликнул Черчилль. — Я не для того вел войну, чтобы согласиться на большевизацию Европы!

Он встал и сделал несколько шагов по комнате. Встал со своего стула и полковник.

— Возвращайтесь этим же самолетом в Германию, Эндрю,— сказал Черчилль, останавливаясь перед Купером. — Передайте Монти, что он должен располагать вооружением по крайней мере для трех миллионов немецких солдат. Они должны оставаться в подчинении у своих прежних генералов, хотя, конечно, под нашим контролем. Пленных солдат и офицеров необходимо содержать более или менее компактными группами, чтобы в случае необходимости в течение нескольких дней можно было сформировать воинские соединения.

Он закурил и, не вынимая сигару изо рта, сказал:

— Счастливого полета. Передайте Монти мои лучшие пожелания.

Все это было недавно, каких-нибудь пять-шесть недель назад.

А теперь? Черт побери, ведь эта немецкая «полуармия» существует в британской зоне оккупации, да на территории Норвегии до сих пор. Никто не распускал ее! Он, Черчилль, не давал такого приказа. Следовательно, почти три миллиона немецких солдат во главе с немецкими командирами — конечно, под контролем офицеров Монтгомери — в состоянии боевой готовности. В желании этой армии свести счеты с русскими можно было не сомневаться.

Конечно, все обстояло бы намного проще, если бы английские и американские войска заключили перемирие с Гитлером, Деницем или черт его знает с кем до того, как русские вступили в Германию... До того! Но и сейчас еще не все потеряно...

Черчилля нисколько не смущало, что такое перемирие означало бы вопиющее нарушение межсоюзнических соглашений, поскольку еще в 1943 году он сам и покойный президент Рузвельт на конференции в Касабланке взяли на себя обязательство принять лишь «безоговорочную капитуляцию» германских вооруженных сил. А Сталину были даны заверения, что никакого перемирия, которое не распространялось бы на все фронты, западные

державы не подпишут никогда и ни при каких условиях.

Но все это не имело значения, когда речь шла о том, быть ли Европе большевистской или нет!

Новые потоки крови? Но чьей?! Русской и немецкой — пусть льется! Все великие решения всегда были замешены на крови. Да и кто во всей этой сумятице последних недель войны смог бы разобраться, по чьей инициативе на полях сражений снова очутилась немецкая армия? Это можно было бы изобразить как неожиданный бунт пленных войск вермахта, как свершившийся факт, который потом американские и английские дипломаты сумели бы соответственно отретушировать, утопить подлинные причины в ворохе деклараций, телеграмм сожалений и заверений...

Пошли бы на это американцы? Но разве они не вели в свое время переговоров в Берне с Вольфом и его уполномоченными? Разве тогда они вспоминали о Касабланке?

Размышляя о чужих просчетах, Черчилль обычно забывал о своих собственных. Он помнил, как предавали его, но никогда не расценивал как предательство то, что делал сам.

Вспоминая сейчас о тайных, за спиной советского союзника, переговорах американцев с представителем фашистской Германии, Черчилль предпочитал забыть о том, что свои переговоры о сепаратном мире Карл Вольф, эсэсовский и полицейский фюрер в Италии, начал не с американцами, а с англичанами. Именно британскому фельдмаршалу Александеру Вольф по каналам швейцарской секретной службы дал понять, что командование немецкой армии в Италии готово прекратить боевые действия. Американцы потом к этим переговорам лишь «подключились», выразив готовность встретиться в Берне с уполномоченным Вольфа.

А потом Рузвельт выдал Черчилля Сталину с головой, прямо ответив на возмущенное письмо из Москвы, что инициатива во всем этом деле принадлежала англичанам...

Но если на американцев целиком положиться было трудно, то в своих генералах Черчилль не сомневался. И возглавляющий англо-американские войска в Италии Александер, и командующий левым флангом армии Эйзенхауэра пересекающей западную и северную Германию фельдмаршал Монтгомери наверняка были бы только рады новому обороту войны.

Все, все тогда, казалось, развивается так успешно... Черчилль загадочно усмехнулся, когда еще в марте ему сообщили, что Геббельс выдвинул перед вермахтом новый лозунг: «Продержаться!»

Смысл этого призыва разъяснялся в сотнях тысяч листовок, разбрасывавшихся с немецких самолетов. «Близится час,— говорилось в них,— когда англичане и американцы неизбежно объединятся с немцами и вместе ударят против большевистских орд!»

Американский генерал Маршалл рассказывал ему, Черчиллю, что приказал армейским пропагандистам использовать радиоустановки для внушения немецким войскам, что прогноз Геббельса не лишен оснований. Как правило, это действовало безотказно — они тут же сдавались. Тогда Черчилль приказал Монтгомери перенять американский опыт... Генерал, не раз говоривший премьер-министру, что приближающиеся русские опаснее, чем уже фактически разгромленные немцы, охотно выполнил это распоряжение.

Сам бог, сама судьба, кажется, решили содействовать восстановлению справедливого порядка вещей, обеспечив изгнание русских из Европы. 2 мая — за неделю до того, когда время было упущено и русские провели свое «гала-представление» в Карлсхорсте,— Монтгомери связался с премьер-министром по телефону и доложил, что «наследник Гитлера» — гросс-адмирал Дениц — просит фельдмаршала принять немецкого представителя... На следующий день Монтгомери сообщил Черчиллю, что этот представитель, по имени Ганс Георг фон Фридебург, прибыл с предложением англичанам принять капитуляцию войск вермахта в северо-западной Германии.

Правда, в это время уже раздалось категорическое предупреждение Сталина, и Монтгомери напомнил Черчиллю о приказе Эйзенхауэра не соглашаться на какую-либо частичную капитуляцию немцев. Но по голосу Монтгомери Черчилль понял, что английский командующий напоминает ему об этом только из боязни взять на себя ответственность.

— Принимайте этого немца! — приказал тогда Черчилль.

Он с неприязнью подумал и о Рузвельте и об «Айке» — Эйзенхауэре, испугавшихся напоминания Сталина о «союзническом долге» и о взятых на себя «обязательствах»... Словесные побрякушки, не стоившие и пенса, по сравнению с тем, какой была ставка! Президенту легко читать воскресные проповеди, находясь в тысячах морских миль от Европы, над которой нависла красная угроза! Лицемерие!

Черчилль повторил свой приказ Монтгомери относительно Фридебурга:

— Принимайте!

...Впоследствии Монтгомери будет объяснять свои действия необходимостью обеспечить британским войскам продвижение на север. Но Монтгомери не объяснит, почему он дал возможность «правительству» Деница перебраться во Фленсбург и продолжать там свою «деятельность», почему разрешил предоставить противнику почетную «капитуляцию на поле боя», а каждому, бе-

гущему от «Советов» гитлеровцу гарантировал британскую защиту. Да и кто мог потребовать у него таких объяснений? Черчилль?!

«Как хорошо, как удачно все складывалось!» — с мучительным сожалением вспоминал сейчас британский премьер-министр.

Казалось, все было предусмотрено. Солдаты и офицеры вермахта, сдавшиеся Монтгомери, даже не считались военнопленными. Британские военные юристы придумали для них особый статус и назвали его «статусом разоруженного военного персонала». При этом фашистский генерал Беме оставался командующим своей армией. Офицеры гордо носили гитлеровские военные награды. Три других немецких генерала — Линдеман, Блюментрит и Бласковиц — возглавляли разоруженные, но нераспущенные немецкие дивизии общей численностью до трех миллионов человек...

Черчилль с досадой поморщился, когда в конце мая ему показали американскую газету со статьей некоего Р. Хилла. Этот американский журналист, в мае посетивший Шлезвиг-Гольштейн, писал, что у него «возникло неприятное ощущение, будто война все еще продолжается, а я нахожусь где-то за немецким фронтом».

Реакции американцев на эти строки Черчилль не опасался. Его тревожила лишь возможность, что они дойдут до Сталина...

К сожалению для Черчилля, Сталин был уже информирован о многом. Он требовал немедленного ареста Деница. Немедленного роспуска «разоруженного военного персонала». Повторной капитуляции Германии — на этот раз в Карлсхорсте.

И все же... Все же «немецкую полуармию» удалось сохранить даже до нынешнего дня. Ядро из многих сот тысяч немецких военнопленных можно было бы вооружить даже сейчас, если бы... Если бы не обнаружилось, что Трумэн куда менее решителен, чем это показалось Черчиллю при первой встрече с новым американским президентом. Если бы не компромиссы, не желание что-то вырвать из рук Сталина и что-то ему уступить!.. Если бы Трумэн проявил непреклонную решимость любыми — да, любыми — средствами заставить русских смириться с тем, что на их границах по-прежнему будут расположены достаточно сильная Германия и традиционно-антисоветская Восточная Европа. Хватит с русских сознания, что в этой войне они уцелели! Что их противоестественное государство сохранится...

Так и было бы, если бы все зависело только от него, Черчилля. Но, к сожалению... К сожалению, Черчиллю теперь казалось, что Трумэн не обладает достаточной решимостью.

...Сегодняшним, недавно закончившимся заседанием Черчилль был особенно недоволен.

Сталин оставался Сталиным, к его манере Черчилль уже привык.

Но Трумэн!..

Его поведение на нынешнем заседании Черчилль не мог объяснить. Президент казался то особенно энергичным, даже «взвинченным», точно под воздействием сильнодействующего допинга, то неожиданно терявшим интерес к обсуждению, как бы убедившись в его бесполезности. То он, казалось, был готов нанести решительный удар, то вдруг отступал, оставляя Черчилля один на один со Сталиным...

Нет, нужно поговорить с президентом. Напомнить о той совместной тактике, которой они договорились неуклонно следовать. К сожалению, у Великобритании уже нет возможности диктовать свои условия, ни на кого не оглядываясь. К сожалению, ему, Черчиллю, предстоит скорый отъезд. И предстоит ли возвращение?.. К сожалению, уже ясно, что выработанной им программе-максимум для этой Конференции не суждено осуществиться. К сожалению, к сожалению, к сожалению...

Завтра ему предстоит вынести еще одну пытку — дать ужин в честь Сталина, а затем...

Черчилль сидел неподвижно, в глубокой задумчивости.

— Сэр! — послышалось ему.

И снова:

— Сэр...

Черчилль очнулся. Перед ним стоял Рован.

— В чем дело, Лесли? — недовольно спросил Черчилль.

— У телефона военный министр Соединенных Штатов, сэр. Просит принять. Готов приехать немедленно. Важное дело.

«Важное дело!» — с иронией повторил Черчилль. Он уже окончательно понял, что ни Трумэн, ни Бирнс не созданы для действительно важных дел. А теперь еще Стимсон...

— Пусть приедет,— снова откидываясь на спинку кресла, устало и равнодушно произнес Черчилль.

В тот вечер Моран так и не дождался свидания со своим трудным пациентом. Услышав, что у резиденции премьер-министра остановился автомобиль, Моран решил, что приехала дочь Черчилля Мэри. Но из машины вышел военный министр США Стимсон.

Моран тяжело вздохнул,— премьер-министр опять нарушал установленный для него режим. Выглянув в коридор, Моран увидел стремительно бежавшего Рована, вопросительно посмотрел на него, но тот только махнул рукой.

...Стимсон пробыл у Черчилля не меньше часа. Затем, судя по тяжелым шагам, хорошо знакомым Морану, Черчилль проводил министра, громко

крикнул: «Рован!» — и снова уединился у себя в кабинете, на этот раз с секретарем.

Моран, хорошо знавший привычки своего патрона, понял, что после разговора со Стимсоном Черчилль, наверное, решил что-нибудь записать, вернее, продиктовать.

Он вообще редко писал сам,—во всяком случае, только то, что, как ему казалось, не мог написать никто, кроме него.

Когда Черчилль приступал к работе над очередной книгой, десяток референтов и секретарей подбирали для него материалы, работая в библиотеках, архивах, рыская по книжным магазинам и букинистическим лавкам. Затем все добытое ими тщательно отбиралось, проверялось, группировалось, классифицировалось. Черчилль не хотел тратить времени на то, что мог сделать для него другой. Свою задачу он видел в том, чтобы одухотворить подготовленный для него материал теми идеями, мыслями, тем стилем, которые — Черчилль не сомневался в этом — были присущи только ему одному.

Это относилось не только к книгам, но и к деловым бумагам, к текстам будущих речей.

Несомненно, он и сейчас что-то диктовал Ровану.

Однако поведение Черчилля сильно беспокоило Морана, как врача. Последние две ночи премьер плохо спал. Перед этим перенес легкое желудочное заболевание. Завтра ему предстояло не только участвовать в очередном заседании Конференции, но и давать ужин в честь Сталина. Словом, предстоял трудный день. К нему следовало приготовиться.

Моран решил дождаться, пока Черчилль отпустит Рована и наконец перейдет в спальню. Врач старой школы, Моран никогда не злоупотреблял снотворными или другими успокаивающими средствами, но сейчас решил в случае необходимости прибегнуть к ним.

Он не заметил, как Черчилль, отпустив Рована, перешел в спальню. Моран попытался войти несколько позже, но дверь оказалась запертой изнутри. Так Черчилль поступал в тех случаях, когда хотел, чтобы его никто не беспокоил, даже врач.

Моран все-таки постучал. Ответа не последовало. Новые попытки войти неминуемо вызвали бы у Черчилля взрыв ярости. Поговорить с Рованом тоже не удалось — выйдя из кабинета Черчилля, секретарь премьера сел в одну из дежурных машин и уехал неизвестно куда.

Когда на следующее утро Моран вошел к Черчиллю, тот уже кончил завтракать. Увидев врача, он приветливо улыбнулся и пригласил его сесть.

От Морана не укрылось, что его пациент уже с утра находился в возбужденном состоянии. Можно было подумать, что он провел ночь без сна. Обычно он испытывал по утрам апатию, из которой его выводил хороший глоток виски или коньяка.

Но Моран не чувствовал запаха спиртного. Что-то другое привело Черчилля в возбужденное состояние.

Строго посмотрев на Сойерса,— ему показалось, что лакей слишком медленно убирает остатки завтрака,— Черчилль раздраженно сказал:

— Кончайте, Сойерс, уберете позже.

Едва лакей вышел, Черчилль встал с постели и, как был, в длинной шелковой ночной сорочке, подошел к сидевшему в кресле Морану и шепотом сказал:

— Ни один человек, Чарльз, не должен услышать от вас то, что я сейчас скажу. Мы расщепили атомное ядро!

Он посмотрел на врача торжествующим взглядом.

Но его слова не произвели на Морана никакого впечатления. Он даже не понял, о чем идет речь.

— Расщепили атомное ядро? — повторил Моран. — А зачем?

— Как «зачем»?! — громко воскликнул Черчилль.

Уже не обращая внимания на Морана, он стал быстрыми шагами ходить по комнате. Необычное состояние пациента все больше тревожило врача.

Снова остановившись перед Мораном, Черчилль торжественно сказал:

— Вчера у меня был Стимсон. Он привез доклад Гровса. Великий эксперимент удался. Атомная бомба стала реальностью!

Долгие годы находясь возле Черчилля, Моран, конечно, слышал о новом оружии, связанном с применением атомной энергии. Разговоры о нем велись в начале войны. Тогда высказывалось опасение, что немцы работают в этом направлении. Кажется, были приняты меры, чтобы предотвратить опасность. Затем появилось новое немецкое оружие «ФАУ», нанесшее большой урон британским островам. Но то были ракеты, к атомной энергии они отношения не имели...

— Бомбу взорвали в пустыне Нью-Мексико,— между тем говорил Черчилль. — Она весила всего тринадцать фунтов, но размер кратера оказался длиной в милю в поперечнике... Люди лежали на земле на расстоянии десяти миль от взрыва, но даже сквозь защитные очки не могли взглянуть на небо... Была полночь, но казалось, что над миром сияют несколько солнц... Свет был виден на расстоянии двухсот миль от места взрыва. Двухсот миль, Чарльз!..

Черчилль говорил что-то еще, затем умолк, но Моран все еще не мог произнести ни слова.

— Почему вы молчите? — с раздражением спросил Черчилль. — Вы поняли, что я сказал?

— Да,— нерешительно ответил Моран.— Но я воспринимаю это, как фантастический рассказ в духе Уэллса.

— Уэллса? — захохотал Черчилль. — Лучше назовите это вторым пришествием!

В доходившей до пят ночной сорочке он был похож на странное творение скульптора, далекого от знания законов анатомии, соорудившего из двух каменных глыб — туловища и головы — подобие человеческой фигуры и чудом вдохнувшего в нее жизнь.

— Американцы вколотили в это дело четыреста миллионов фунтов! — сказал Черчилль, и в голосе его прозвучало не то почтение, не то злорадство. — Они построили два специальных города. Ни одна живая душа не знала, что они там делают! К работе были привлечены самые крупные ученые.

— Я никогда не думал, что в Штатах так развита наука,— пробормотал Моран.

— Наука? В Штатах?! — с презрением воскликнул Черчилль.— Они ничего бы не смогли сделать без нас. Все начали мы. Мы передали им теоретические разработки проблемы. Мы! — повторил он, поднимая сжатый кулак. Широкий рукав сполз к плечу, обнажив белую, мясистую руку.

Сев на кровать, Черчилль уже спокойно сказал:

— Так или иначе, они обладают теперь самой могущественной силой в мире. Вы представляете себе, Чарльз, что было бы, если бы ею обладали русские?

Моран пожал плечами.

— Это означало бы конец цивилизации! — убежденно произнес Черчилль. — Если бы они сбросили такую бомбу на Лондон, от города ничего не осталось бы. Но теперь ее силу предстоит испытать на себе японцам. Завтра или послезавтра Трумэн информирует об этом Сталина.

— Сталина?! — с изумлением переспросил Моран. — Но вы же только что сказали...

— Что я сказал? — недовольно прервал его Черчилль. — Я сказал, что если бы русские обладали бомбой... Но они не имеют ее. Не имеют! И в ближайшие десять лет не будут иметь. За это я ручаюсь.

— Но тогда какой же смысл...

— Вы хороший медик, Чарльз, насколько медицина вообще может быть хорошей. Но как политик оставляете желать много лучшего. Какой смысл откинуть полу пиджака и показать несговорчивому собеседнику, что у тебя в запасе аргумент в виде автоматического «кольта» сорок пятого калибра?

— Вы сказали, что бомба — это тайна! Какой же смысл сообщать о ней русским?

— Существует, Чарльз, такое понятие: вежливость. Было бы просто не по-джентльменски утаить от них то, что мы обладаем такой бомбой. Все же они — наши союзники,— с сарказмом добавил Черчилль.

Моран сидел молча. О чем он думал теперь, когда наконец осознал значение того, что сообщил ему премьер-министр?

Если верить его дневнику — впоследствии он будет опубликован,— Моран был потрясен. Он знал, что средства уничтожения людей становились со временем все более ужасными. Но то, что сейчас сказал ему Черчилль, повергло его в отчаяние. Он понимал, что развитие орудий смерти не остановится и на атомной бомбе. Он со страхом думал о том, какую судьбу все это готовит его сыновьям...

Но для Черчилля всех этих проблем, казалось, не существовало. Известие об успешном испытании атомной бомбы он принял как чудо, ниспосланное провидением, как награду за мучительные неудачи последних месяцев, как компенсацию за то, что ему не удалось воплотить в жизнь самые сокровенные планы.

Нет, сегодня Черчилль еще не думал о том, что станет его навязчивой идеей уже очень скоро: атомный удар по Советскому Союзу. В конце еще того же сорок пятого года американское военно-политическое руководство, далеко не без участия Черчилля, начнет планировать возможность внезапного ядерного удара по Советскому Союзу. План получал конкретные очертания: уже в первый месяц войны предполагалось сбросить 133 бомбы на 70 советских городов, из них восемь — на Москву и семь — на Ленинград... Но реализовать этот страшный план американцы тогда побоялись. Однако три года спустя Черчилль, потерявший пост премьера, но получивший неофициальный титул поджигателя войны, снова предложил сбросить атомную бомбу на Советский Союз. А в Соединенных Штатах его не только не заклеймили званием умалишенного, но вскоре приступили к разработке нового плана атомной войны против СССР под кодовым названием «Дропшот». Триста атомных и двадцать тысяч «обычных» бомб предполагалось обрушить на СССР по этому плану...

Даже для Трумэна бомба пока что еще не имела такого значения, как для Черчилля. Обладание бомбой позволяло президенту мнить себя самым могущественным из всех президентов Соединенных Штатов и подлинным хозяином Конференции. Для британского же премьер-министра бомба явилась как бы ключом к той заветной

двери, взломать которую он в свое время тщетно пытался, стремясь задушить большевизм в его колыбели.

Даже исход выборов отодвинулся в сознании Черчилля на второй план.

Могущество Британии, личная власть и ненависть к коммунизму — эти страсти на протяжении всей жизни владели Черчиллем. Теперь с бомбой в руках,— а Черчилль не сомневался, что она будет также и в его руках — можно было удовлетворить по крайней мере хотя бы одну из владевших им страстей — заставить Россию встать на колени...

С той минуты, как Черчилль прочел отчет Гровса, он связывал атомную бомбу не только с победой над Японией — это подразумевалось само собой,— но — и это было едва ли не самым главным — с началом новой эры в отношениях Запада с Советским Союзом.

Советский Союз теперь был обречен — Черчилль в этом не сомневался, как перестал сомневаться и в том, что выборы принесут ему победу...

Глава девятая

СНОВА ЧАРЛИ

Я встретил Брайта, когда меньше всего ожидал его встретить, и там, где он, казалось, никак не мог появиться.

Это произошло в Карлсхорсте.

Если бы Брайт попался мне на глаза в пресс-клубе или на фотокиносъемках в Бабельсберге, короче говоря, там, где он обычно появлялся, я вернее всего сделал бы вид, что не замечаю его. Если бы он окликнул меня, я не ответил бы и постарался от него избавиться.

Но я невольно остановился, когда, выходя из здания бывшего Политуправления фронта, где теперь располагалось Бюро Тугаринова, неожиданно услышал приветственное восклицание: «Хай, Майкл!»

Чарли выходил из подъезда, из которого только что вышел я сам. Он приближался ко мне торопливо, почти бегом. Вид у него был взъерошенный: рубашка, брюки, сдвинутая на затылок пилотка покрыты пылью, на давно не бритом лице — печать какого-то неестественного перевозбуждения. Словом, он не походил на самого себя.

Приблизившись ко мне, Брайт резким движением протянул руку и сказал:

— Хэлло, Майкл-бэби! Ты не соскучился по мне?

То, что он появился так неожиданно, выглядел столь необычно и явно обрадовался нашей встрече, сбило меня с толку. Вместо того чтобы сухо кивнуть и уйти, я подал ему руку и, еще не решив, как вести себя дальше, с удивлением спросил:

— Как ты здесь оказался?

— Приезжал, чтобы выразить благодарность. Засвидетельствовать уважение. Принести уверения в моем совершенном почтении и безусловной преданности. Ну, и хлебнуть глоток русской водки,— в своей привычной, фамильярно-гаерской манере ответил Брайт.

Передо мной стоял прежний, бесцеремонно-развязный Чарли. Он, как всегда, паясничал.

— Наверное, слишком много хлебнул,— сухо произнес я, не желая его ни о чем расспрашивать, хотя мне и хотелось узнать, каким образом он, иностранный корреспондент, оказался здесь, так сказать, в самом центре советского военного командования.

Я сделал шаг по направлению к своей «эмке», но Брайт схватил меня за рукав пиджака:

— Стой, Майкл, я ничего не пил. У меня серьезное дело. Я как раз собирался тебя разыскать.

Видно было, что Брайт не просто хочет восстановить наши прежние дружеские отношения, но чем-то всерьез озабочен.

— Говори, я слушаю.

— Здесь?! На ходу? Но у меня серьезный разговор. Мы поедем ко мне. О'кей?

— Я еду к себе.

— Отлично. Поедем к тебе. Шопингоор, восемь?

— Шопенгауэр, Брайт, Шо-пен-гауэр,— уже не в силах сдержать улыбку, поправил я его.

— Отлично! Поехали. Я — за тобой.

Старшина Гвоздков, увидев, что я вышел, уже подруливал ко мне машину. А Брайт? Он исчез. Наверное, побежал к своему «джипу». Где он только приткнул его здесь без специального пропуска?

— В Потсдам, Алексей Петрович,— сказал я. Звать водителя по имени-отчеству вошло у меня в привычку после того, как мы поговорили с ним, когда я, как ошпаренный, выскочил из пресс-клуба.

— К фрицам на квартиру, товарищ майор? — переспросил Гвоздков. Хотя я и был в штатском, он продолжал обращаться ко мне по званию.

— Туда,— подтвердил я. — Только у моих хозяев есть имена. Хватит всех немцев фрицами называть.

— Так это слово, как бы сказать, общее, что ли. Нацию определяет,— попробовал оправдаться Гвоздков.

— Не нацию, а фашистов, которые на нас напали. Раньше нам было все едино: оккупант-фашист, словом, фриц. А теперь различать надо. Кто фашист, а кто антифашист. Есть разные немцы. Имена у них тоже разные, как у всех людей.

— Это нам и комиссар разъяснял.

Трудно было понять, подтверждает Гвоздков

правоту моих слов или упрекает в повторении того, что ему и так хорошо известно.

— Малость поднажмем, Алексей Петрович,— считая разговор о немцах оконченным, сказал я. — Ко мне тут американец один должен приехать.

— Это у которого ртуть в заднице? — с усмешкой спросил старшина. — Видел, как он к вам подходил. Тот?

— Тот самый.

Я хотел приехать раньше Брайта. Противно было думать, что, застав Грету одну, он опять начнет подбивать ее на какой-нибудь бизнес...

Но чтобы обогнать Брайта, нужно было свернуть себе шею. Когда мы подъезжали к дому на Шопенгауэрштрассе, его «джип» уже стоял у подъезда. Однако Брайт сидел в машине и проникнуть без меня в дом, видимо, не собирался.

Увидев мою «эмку», он выпрыгнул из машины и приветливо помахал.

Я все еще чувствовал к нему неприязнь. Проклятое фото стояло перед моими глазами. Но делать было нечего: в конце концов я ведь не пытался возражать, когда Брайт заявил, что едет ко мне...

— Пошли? — сказал Брайт не то утвердительно, не то спрашивая моего согласия.

— Ты, кажется, для этого и приехал? — пробурчал я сквозь зубы.

Брайт молча склонился над сиденьем своей машины, на секунду показав зад, туго обтянутый когда-то светло-кремовыми, а теперь грязными брюками, потом выпрямился. В руках он держал тонкий портфель или похожую на большой конверт кожаную папку.

Хотя я виделся с Гретой только вчера, она встретила меня потоком обычных любезностей, через каждые два-три слова вставляя неизбежное «хэрр майор».

— Хэлло, персик! — обратился к ней Брайт. Трудно было придумать слово, которое меньше подходило бы к Грете с ее костлявой фигурой и непропорционально большой грудью.

— О-о, мистер... — польщенно пробормотала Грета и умолкла, видимо, не поняв, как назвал ее Брайт. — Кофе? — услужливо спросила она.

— Скажи ей, пусть зальется своей бурдой,— резко сказал Брайт. — Нам некогда.

— Мистер Брайт благодарит вас, фрау Вольф, но он только что пил кофе. — Так я перевел его слова на немецкий.

Потом решительно сказал Брайту:

— Пойдем!

С обычной своей бесцеремонностью он стал первым подниматься по лестнице в мою комнату.

Когда я вошел, Чарли уже сидел на стуле, вытянув длинные ноги и обеими руками придерживая на коленях свой кожаный конверт.

Я молча сел на кровать и вопросительно посмотрел на американца. Мне снова бросилось в глаза, как устало и неопрятно он выглядел.

— Когда я выезжал из Берлина неполных четыре дня назад,— как бы прочитав мои мысли, сказал Брайт,— на спидометре было семь тысяч четыреста сорок три мили. Сейчас на нем около девяти. Не веришь? Подойди и посмотри.

Очевидно, Брайт ждал, что я начну расспрашивать его, куда он так далеко ездил и каким образом оказался в Карлсхорсте. Видимо, он надеялся, что я забыл его подлый поступок и готов восстановить с ним прежние отношения. Но я решил держать Брайта на расстоянии.

— Зачем я тебе понадобился? Какое у тебя ко мне дело? — сухо спросил я. Всем своим видом я как бы говорил Брайту: если после всего случившегося наша встреча стала возможной, то только потому, что ты упомянул о некоем деле...

Я ожидал, что Брайт сейчас затараторит что-нибудь насчет нашей дружбы, предложит плюнуть на историю с фотографией, напомнит, что мы союзники, и прочее и прочее.

Но вместо этого Брайт очень серьезно спросил:

— Ты помнишь, что я тебе тогда сказал насчет Стюарта?

Да, во время нашей последней встречи Чарли действительно говорил об этом английском журналисте. Кажется, он сказал, будто Стюарт что-то затевает. Тогда я не придал словам Брайта особого значения. Да и что он мог затеять, этот неприятный тип, с которым я повздорил в «Андерграунде»? Напечатать еще одну антисоветскую статейку?

— Ты забыл? — снова спросил Брайт. — Тогда я обещал тебе сообщить, если что-нибудь узнаю. Так вот, сегодня в восемь часов Стюарт устраивает «коктейль-парти». Сегодня!

— Какое мне до этого дело?

— Советую пойти.

— К Стюарту?

— Именно. Он что-то задумал.

— Что именно?

— Не знаю. Что-то против вас. У него есть какие-то сведения. Материалы, что ли. Короче говоря, тебе надо там быть.

— Но меня никто не приглашал!

Чарли достал из кармана рубашки какую-то бумагу и молча протянул ее мне.

Я развернул вчетверо сложенный листок и прочел строки, отпечатанные то ли на машинке, то ли на ротаторе:

ДОРОГОЙ КОЛЛЕГА!

КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «ДЕЙЛИ РЕКОРДЕР» (ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) ВИЛЬЯМ СТЮАРТ БУДЕТ РАД ВАШЕМУ ПРИСУТСТВИЮ

НА КОКТЕЙЛЬ-ПАРТИ 22 ИЮЛЯ 1945 ГОДА В 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ ОН ПРЕДПОЛАГАЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ С КОЛЛЕГАМИ ПОЛЕЗНОЙ ДЛЯ НИХ ИНФОРМАЦИЕЙ.

Далее следовал адрес.

— Как видишь, приглашение безымянное,— сказал Брайт.— У меня есть еще одно. Взял в пресс-клубе по дороге в Карлсхорст.

Упоминание о Карлсхорсте снова возбудило мое любопытство.

— Как ты там оказался? — спросил я. — Глядя на тебя, можно подумать, что ты вообще изъездил всю Германию.

— Я был в северо-западной части Германии.

Брайт произнес эти слова очень весомо, вкладывая в них некий неизвестный мне смысл.

— Ну и что?

— Тебе известно, что это британская зона оккупации?

— Допустим.

— Ты не спрашиваешь, зачем меня туда понесло?

— Если сочтешь нужным, скажешь сам.

— Сочту.

Брайт покопался в своей папке и достал оттуда листок бумаги. Это была газетная вырезка.

— Тебе приходилось читать такое? Нет? Тогда читай.

Я прочел. В газетной заметке говорилось, что, по слухам, которые можно считать вполне достоверными, в английской зоне оккупации находятся нераспущенные части и соединения войск бывшего немецкого вермахта. При этом высказывалась догадка, что английское командование намеревается вооружить эти войска и бросить против «красных», если не удастся другими способами заставить тех уйти из Европы.

Заметка была помечена маем 1945 года. Напечатанная, судя по чернильной пометке, в американской газете, она никогда не попадалась мне на глаза. Но я тут же вспомнил: в одном из международных обозрений, читанных мною то ли в «Правде», то ли в «Известиях», сообщалось, что в английской зоне существуют какие-то нераспущенные германские соединения. Однако мне и в голову не приходило, что англичане собираются обратить их против нас.

Я и сейчас не мог в это поверить. Это было бы просто чудовищно!

— Что скажешь? — спросил Брайт.

— Провокация! — коротко ответил я, возвращая ему вырезку.

— Чья?

— Не знаю. Но смысл ее ясен даже ребенку. Кому-то очень хочется вбить клин между союзниками. Посеять недоверие между нами и в данном случае англичанами.

— Отлично,— с недоброй иронией сказал Брайт. — Но я получил эту вырезку по бильду. Одновременно с редакционным заданием поехать в британскую зону и выяснить, существуют ли там такие немецкие части до сих пор. Если существуют, то представить доказательства в виде фотоснимков.

Слушая Брайта, я спрашивал себя: зачем он все это мне говорит? Какой ему смысл бросать тень на своего английского союзника? Почему он явился с этим делом именно ко мне? Уж не получил ли Брайт задание посвятить в историю с англичанами кого-либо из советских журналистов, чтобы раздуть скандал? Опять-таки, с какой целью? Во имя торжества правды? Но наивно было бы полагать, что Соединенные Штаты пойдут на открытое разоблачение тайного замысла Англии только истины ради, не преследуя никакой другой цели.

Нет, все это похоже на хорошо подготовленную фальшивку. Цель ее: на фоне разногласий между членами «Большой тройки», о которых сейчас много пишет западная печать, спровоцировать Советский Союз на разрыв с Англией, в результате которого Америка сможет что-то выиграть...

Ни один из пришедших мне в голову вопросов я, конечно, не задал Брайту. После истории с той фотографией у меня не было основания ему доверять.

— Что же ты молчишь, Майкл? — наконец спросил Брайт.

— А что ты хочешь от меня услышать?

— Тебя это совсем не трогает?! — с удивлением произнес Брайт.

— Как тебе сказать... — Я хотел выиграть время и проникнуть все же в его подлинные намерения. — Заметка была напечатана, когда еще шла война. Может быть, англичанам просто некуда было девать этих военнопленных. Но теперь-то ситуация, наверное, изменилась?

— Логично! Этот вопрос задал себе и я. — Брайт был, видимо, доволен, что ход наших мыслей совпал.— Думаю, такой же вопрос задавали себе и в моей редакции. Конечно, их интересовало, что происходит у англичан теперь, когда наши боссы договариваются о мире и согласии.

Говоря о делах, Брайт становился точен и немногословен. Впрочем, я уже знал, что это свойственно многим американцам.

— Так вот,— продолжал Чарли,— я и поехал в английскую зону, чтобы ответить на этот вопрос.

— И тебя так легко всюду допустили? — с сомнением спросил я.

— Как и все наши военные корреспонденты, я аккредитован при штабе Айка во Франкфурте. А Монтгомери всего лишь заместитель Эйзенхауэра. Как тебе известно, у нас объединенное американо-

английское командование. Кто мог мне помешать?

— Что же ты там увидел? — стараясь говорить с максимальным безразличием, как бы из вежливости поддерживая беседу, спросил я.

— То, что я увидел, увидишь сейчас и ты.

С этими словами Брайт достал из своего портфеля-конверта пачку фотографий, развернул ее веером и бросил рядом со мной, на кровать.

Стараясь не проявлять чрезмерного любопытства, я взял первую попавшуюся фотографию. На снимке были запечатлены две шеренги немецких солдат. Все они были одеты по всей, столь хорошо знакомой мне, форме (к тому же в новом обмундировании) и нисколько не напоминали «пленных фрицев», которых я видел так много раз. У этих были довольные лица, головы слегка повернуты налево, к стоявшему перед строем немецкому же командиру. Он, наверное, обращался к ним с речью. Солдаты — многие из них с «железными крестами» на груди — внимательно слушали его. В отдалении стоял офицер в английской форме.

— Что ж,— сказал я, кладя карточку на кровать,— это еще ничего не значит. Среди пленных солдат надо поддерживать элементарный порядок. Ими нередко командуют прежние офицеры.

— Порядок? — с усмешкой переспросил Брайт. — А как тебе понравится это, Майкл?

Брайт протянул мне другой снимок.

Это были военно-строевые занятия. Немецкие солдаты укрывались за невысоким земляным бруствером, на котором лежали их винтовки. В отдалении виднелись мишени, прикрепленные, как обычно на стрельбищах, к высоким деревянным щитам.

Над одним из лежащих солдат склонился немецкий офицер. Одну руку он положил на прижатый к плечу солдата приклад винтовки, другой указывал прорезь прицела. Английских офицеров на этой карточке не было.

Уже с трудом скрывая свое состояние, я стал перебирать остальные фотографии. На одной из них объектив запечатлел колонну немецких солдат, марширующих строевым шагом во главе с офицерами. Впереди шел знаменосец с гитлеровским флагом в руках. Этих «военнопленных» никто не конвоировал. На другой фотографии я снова увидел немецких солдат. Вытянув руки в нацистском приветствии, они пожирали глазами фашистского генерала. На третьем снимке группа немецких солдат втаскивала на пригорок легкое артиллерийское орудие.

— Значит, «порядок»? — саркастически спросил Брайт.— Тот самый «новый порядок»? Верно, Майкл?

— Чем ты докажешь своей редакции, что снимки сделаны именно теперь? — мрачно спросил я.— И как она докажет это своим читателям?

— Под каждым фото будет стоять место и дата съемки. Например, эти снимки сделаны в Шлезвиг-Гольштейне. Кто желает, пусть проверит.

«Нет, нет,— все-таки продолжал я внушать себе,— не следует втягиваться в этот разговор. Брайту нельзя доверять. В случае чего он сделает невинные глаза и сошлется на «бизнес». Если бы я мог сейчас посоветоваться с Карповым!»

Брайт по-своему истолковал мое молчание.

— Слушай, Майкл! — воскликнул он. — Я тебя просто не понимаю. Неужели тебе не ясно, что все это значит?

Его настойчивость и впрямь была подозрительна!

— Особого секрета тут нет,— уклончиво сказал я. — Наши газеты писали, что англичане медлят с роспуском немецких частей в своей зоне.

— А почему они медлят? Об этом ваши газеты писали? — с упором на каждое слово спросил Брайт.

— Не помню,— ответил я, по-прежнему стараясь выиграть время. — Если ты так хорошо все понимаешь, объясни.

— Мой бог! Неужели ты сам не понимаешь? Английские офицеры даже и не скрывают, что при определенных обстоятельствах эти немецкие дивизии могут быть брошены против вас. Теперь ты понял наконец?

Но я понимал только одно: надо как можно скорее кончить этот разговор и как можно скорее рассказать о нем Карпову. То, что говорил Брайт, имело слишком важное значение.

Но прежде чем расстаться, я решил задать еще один вопрос. Мне показалось, что я нашел способ заставить Брайта полностью раскрыть свои намерения.

— Для чего же ты направился в Карлсхорст? Для того, чтобы сообщить все это нашему командованию?

Брайт нахмурился.

— Это еще зачем? — недовольно ответил он. — Я, кажется, американец. Никакими отчетами вам не обязан.

Дело принимало совсем странный оборот.

— Зачем же ты ездил в Карлсхорст?

— Ах, вот что тебя интересует! — с улыбкой воскликнул Брайт. — Ладно, расскажу. В штабе Монтгомери меня уверяли, что «красные» скопили на восточной границе своей зоны не менее десятка свежих дивизий, переброшенных откуда-то... Оттуда, где живут белые медведи.

— Но зачем?!

— Военное обеспечение переговоров. Вот зачем! На тот случай, если дядя Джо не договорится с английским толстяком. Тогда заговорят пуш-

ки. Мы, американцы, будем поставлены перед свершившимся фактом. Толстяк уверен, что мы будем вынуждены поддержать его. Начнется новая война, и весь мир полетит к чертовой матери.

Мне казалось, что я слышу бред сумасшедшего. Но далеко не безобидный...

— Словом,— продолжал Брайт,— я проявил личную инициативу. У нас это поощряется. Поехал в Карлсхорст и стал добиваться разговора с Жуковым.

— Он тебя принял?

— Нет, произошла осечка. Вместо Жукова меня принял генерал... генерал... Большая шишка, по три звезды на золотых погонах.

— Ты рассказал ему о том, что видел у англичан?

— Кажется, ты принимаешь меня за шпиона? — с неподдельным возмущением воскликнул Брайт. — Я не люблю англичан,— они снобы и лицемеры. Считают нас дикарями, а себя — настоящими джентльменами. Любят повторять: «fair play, fair play» [1]. Сейчас они ведут грязную игру, я в этом убедился! Но, конечно, нас все же очень многое объединяет...

— Одна социальная система?

— Брось ты свою пропагандистскую терминологию! При чем тут «система»? Мы говорим с ними на одном языке, вместе высаживались в Нормандии, вместе дрались. Они наши союзники!

«А мы?!» — хотел было спросить я. Но это увело бы разговор в сторону.

— Что же ты сказал генералу? — спросил я.

— Я сказал ему, что получил задание от своей редакции — выяснить, действительно ли вы, русские, скапливаете в своей зоне огромные силы неизвестно зачем. Если это неправда, я готов дать опровержение.

— Это тебе тоже поручила редакция?

— Нет. Это была моя личная инициатива. Я хотел докопаться до правды.

— Что же генерал?

— Он оказался хитрым парнем. Без обиняков заявил, что я, очевидно, путаю русских с англичанами. Посоветовал поехать в английскую зону и посмотреть, как там чувствуют себя бывшие немецкие солдаты и офицеры. Короче говоря, я понял, что увиденное мною никакой тайны для русских не составляет.

— Что он сказал насчет советской зоны?

— Приказал принести карту и спросил, куда я хотел бы поехать. Я три раза ткнул пальцем наугад, но поближе к восточной границе Германии. Если вы действительно подтягиваете большое количество войск, то они же не иголка. В одном из трех пунктов я их наверняка обнаружу.

— Ну, а дальше?

— Я побывал во всех трех пунктах, вернулся и в тот же день отправился в Карлсхорст, чтобы поблагодарить за предоставленную мне возможность...

— Обнаружил войска?

— В большом количестве. Только они не выгружались, а погружались. Их увозили на восток. Демобилизация. Англичане меня надули...

После всего этого мои опасения насчет искренности Брайта несколько улеглись. В особенности после того, как он упомянул о генерале, который якобы дал ему понять, что скопления немецких войск в британской зоне не составляют никакой тайны для советского командования. Ни в рассказе Брайта, ни во всем его поведении я не видел теперь ничего подозрительного. Задание от своей редакции он, конечно же, получил — газетную вырезку-фотограмму я видел сам. Да и весь его рассказ звучал искренне и правдиво.

— Скажи, Чарли,— сказал я, глядя ему прямо в глаза и стараясь говорить как можно дружелюбнее, чтобы загладить все предыдущее,— почему ты решил рассказать все это мне?

— Почему? — пожав плечами, переспросил Брайт. — Может быть, потому, что ты оказался первым знакомым, которого я увидел, выходя из вашего штаба. Может быть, потому, что ты недавно выручил меня. Может быть, потому, что ты русский, а я люблю русских — Ленинград и Сталинград для меня не просто географические понятия. Но главное, чтобы сказать тебе о Стюарте... Какого черта ты меня пытаешь? — неожиданно взорвался он. — Почему человек не может поделиться со своим боевым товарищем тем, что его волнует?!

— Спасибо, Чарли,— сказал я.— Что ты намерен теперь делать?

— Прежде всего помыться и побриться. Я ведь и домой не заезжал, только в пресс-клуб — узнать, нет ли для меня телеграмм, а оттуда прямо в Карлсхорст. Воображаю, как я выгляжу... Впрочем,— спохватился он,— сначала я отправлю в редакцию свои фото и дам к ним подтекстовку.

— Какую?

— Естественно, о том, что англичане ведут грязную игру, а вся их болтовня насчет концентрации советских войск — сущая чепуха.

— Ты уверен, что это будет напечатано?

— Нелепый вопрос! Напечатала же американская газета эту статью! — Схватив лежавшую на столе вырезку, он потряс ею в воздухе.

— Но то было в мае!

— А что изменилось? Только то, что сейчас происходит Конференция. Но на ее фоне действия англичан тем более возмутительны!

Я хотел напомнить ему, что отвратительное фото за подписью «Чарльз А. Брайт» было напеча-

---

[1] Честная игра *(англ.)*

таио тоже в дии Коифереиции. Но вместо этого сказал:

— Сомневаюсь, Чарли.

— В чем?

— В том, что твои материалы будут напечатаны.

— Это почему же? — с вызовом спросил Брайт.

— Не разрешат.

— Не раз-ре-шат?! — ироиически повторил он. — Кто может что-то разрешить или ие разрешить свободной американской прессе?

Видимо, он забыл свои же собственные слова о том, кто в Амернке «заказывает музыку»...

— Все-такн я сомневаюсь.

— Послушай, Майкл-бэби,— решительно произнес Брайт, садясь на кровать рядом со мною,— ты не понимаешь Америку. Меряешь ее своими стандартами. У вас, например, есть цензура, это известно всему миру. А у нас ее нет. Понимаешь,— нет! Правда, во время войны ввели, но не ту, что у вас. Если ваш партийный босс придет в редакцию и скажет: это печатать, а это нет,— редактор сразу подчинится. Иначе угодит на... как это у вас называется?.. На Лу-бьян-ку! А если какойнибудь босс из демократов или республиканцев явится к нам с такими претензиями, редактор просто пошлет его ко всем чертям. Не сердись, я говорю правду!

«А то, что ты сам недавно и в этой же комнате говорил мне о бизнесе, о Белом доме, Капитолии и Пентагоне,— тоже правда, не так ли?» — хотелось сказать мне. Но, наверное, это было бы бесполезно. Правда и неправда легко уживались в сознании Брайта.

Во всяком случае, факт оставался фактом: на этот раз Брайт повел себя как настоящий товарищ. Как союзник в подлинном смысле этого слова. Дурацкие же его представления о нашей жизни, о том, что чуть ли не за каждым советским человеком стоит некто с «Лу-бьян-ки»,— рассеять всю эту чушь за один раз было просто невозможно.

Я и сейчас отнюдь не переоценивал Брайта, отлично понимая, что от него можно ждать самых противоречивых поступков, что сегодня он может быть товарищем, а завтра противником. Тем не менее прежняя моя симпатия к нему постепенно возвращалась.

— Ладно, Чарли, спасибо, что приехал. Потораплнвайся со своими фото. Но сначала все-таки побрейся.

Брайт собрал фотографии, сделал шаг к двери, но вдруг остановился.

— Послушай, Майкл, а как же со Стюартом? Ты поедешь?

— Не имею никакого желания.

— Никакого?! — с возмущением воскликнул Брайт. — После всего, что я тебе рассказал?

— Но какая связь...

— Но я же приехал к тебе прежде всего для того, чтобы ты знал: Стюарт собирает свою «коктейль-парти» именно сегодня!

— Мне не доставит никакого удовольствия снова встретиться с этим антисоветчиком!

— При чем тут удовольствие? Разве я зову тебя в бурлеск с голыми девками?! Битый час толкую о том, что видел в английской зоне. Неужели тебе безразлично, какой «полезной информацией» хочет угостить журналистов англичанин Стюарт? Антисоветчик? Тем более!

Брайт ткнул пальцем в лежавшее на столе приглашение.

«А ведь он прав!» Мне вспомнилась сцена, происшедшая в «Андерграунде». Я снова видел перед собой этого типа в очках с золотой оправой — корреспондента газеты «Дейли рекордер» Вильяма Стюарта, слышал его голос, ленивно-саркастический тон, которым он говорил о «явной дискриминации»... «Вы игнорируете нас по собственной инициативе или выполняете приказ?» — ехидно спросил он меня тогда.

«Может, поехать?» — подумал я. Ведь и в самом деле не мешает послушать, какую «полезную информацию» собирается сообщить Стюарт. Несомненно, она будет связана с Конференцией.

— Но где эта улица?.. — неуверенно спросил я.

— Поедем вместе,— отрезал Брайт. — Сборище состоится в восемь. Я заеду за тобой в семь тридцать. Нет, лучше в семь сорок пять. О'кей?..

Он быстро попрощался, словно боясь, что я передумаю, и ушел. Часы показывали двадцать минут первого. Здесь, в Потсдаме, делать мне, собственно, было нечего.

Я решил вернуться в Бабельсберг, чтобы повидать Карпова и рассказать ему о разговоре с Брайтом. Впрочем, ничего такого, о чем мне следовало немедленно довести до сведения советского командования, не было — вряд ли Чарли говорил неправду о советском генерале, которому хорошо известно то, что делается в английской зоне.

Во всяком случае, наше командование наверняка знает, что англичане содержат в своей зоне нераспущенные немецкие части. Но известно ли ему, с какой целью это делается? Ведь, по словам Брайта, английские офицеры даже и не скрывают, что эти немецкие дивизии могут быть брошены против нас...

Вот что самое главное! Значит, мне все равно необходимо поговорить с Карповым. Неужели англичане почти открыто формируют в своей зоне новую немецкую, нет, в сущности, старую фашистскую армию? Судя по всему, американцы не позволяют себе такого — иначе Чарли никогда не стал бы возмущаться англичанами...

Грета умоляла меня выпить чашечку кофе — «настоящего, настоящего, хэрр майор!»,— но я отказался, покинул гостеприимный дом Вольфов, сел в машину и привычно сказал Гвоздкову:

— На объект!

Минут через пятнадцать они были уже в Бабельсберге. Воронову на мгновение показалось странным, что здесь царило такое спокойствие, в то время как на самом деле это был кратер вулкана, в котором кипели подземные страсти.

К усиленной охране на улицах, к шлагбаумам, разделявшим советский, американский и английский секторы, Воронов уже привык: все это уже как бы вписалось в пейзаж, не нарушая его идилличности.

По дороге Воронов думал о том, что, может быть, ему следует послать в Москву корреспонденцию, основанную на рассказах Чарли.

Но, во-первых, он не был в английской зоне и не видел сам того, о чем рассказывал Брайт. Без «эффекта присутствия», без возможности написать «я видел это собственными глазами», такая корреспонденция в значительной мере потеряла бы свое значение. А покинуть сейчас Бабельсберг, хотя бы и на два-три дня, было рискованно — кто знает, что могло здесь произойти за эти дни.

Во-вторых же, в Москве виднее, нужна ли такая корреспонденция. В конце концов в Германии сейчас есть и другие советские журналисты, специалисты-международники. Возможно, кто-нибудь из них уже побывал в английской зоне.

Воронову сейчас хотелось только одного: встретиться с Карповым, рассказать ему о разговоре с Брайтом и спросить: что происходит?

Машина шла по Кайзерштрассе, улице, на которой — теперь это уже не было для Воронова тайной — жили, на расстоянии примерно километра друг от друга, разделенные «пограничным» шлагбаумом, Сталин и Трумэн. В доме Сталина шторы на окнах были полуопущены. Никакого особого движения возле решетчатой ограды не наблюдалось.

Зато около подъезда дома, где жил Трумэн, было весьма оживленно. Одна за другой отходили машины. Двое офицеров с белыми латинскими буквами «МР» — военная полиция — на шлемах остановили «эмку» Воронова. Знаками они приказали водителю прижаться к бровке противоположного тротуара и ждать, пока разъедутся машины с американскими флажками.

«Очевидно, у президента только что кончилось деловое совещание,— подумал Воронов. — Интересно, что они там обсуждали?»

Он сидел в своей «эмке», наблюдал, как срываются с места и, занимая всю проезжую часть улицы, удаляются американские машины, поглядывал на окна трумэновского особняка, словно надеясь понять, чем занят сейчас, о чем размышляет американский президент. О будущем Германии?.. О границах Польши?.. А может быть, и о положении в английской зоне?..

Глава десятая

ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС

(продолжение)

Главные военные советники президента Соединенных Штатов — Стимсон, Леги, Маршалл, Форрестол, Кинг — только что доложили ему мнение объединенной группы начальников штабов американских вооруженных сил относительно перспектив войны с Японией.

На первый вопрос, могут ли Соединенные Штаты, применив атомную бомбу, в кратчайший срок разгромить Японию «один на один», последовал короткий и четкий ответ: «нет, не могут».

На второй вопрос, заинтересованы ли Соединенные Штаты по-прежнему в военной помощи Советского Союза, ответ был столь же короткий и ясный: «да, заинтересованы».

Конечно, генералы не ограничивались этими словами. Они обосновывали свои мнения, выдвигали аргументы «за» и «против», фантазировали, рисуя различные военные ситуации и подробно разбирая их. Но конечные выводы были именно таковы.

По конституции Соединенных Штатов президент является одновременно и главнокомандующим вооруженными силами страны. Следовательно, выслушав мнения своих советников и помощников, Трумэн должен был сам принять окончательное решение. Но оно давалось ему нелегко.

Вопрос о том, понадобится ли Соединенным Штатам помощь Советского Союза в войне с Японией, даже если испытание атомной бомбы пройдет успешно, обсуждался начальниками штабов и раньше. Несмотря на различные оттенки во мнениях, все они склонялись к тому, что помощь понадобится.

Но никто из них тогда еще не знал, чем окажется эта бомба, какова будет ее мощь. Сейчас американское командование располагало этими данными.

Получив отчет Гровса, президент страстно мечтал избавиться от Советского Союза, заявить Сталину, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в помощи России и возвращают ему обещание, которое Сталин дал Рузвельту в Ялте: через два-три месяца после капитуляции Германии вступить в войну против Японии.

Рузвельт придавал этому обещанию огромное значение. Покойный президент предвидел, что без

помощи Советского Союза война с Японией может затянуться и унести сотни тысяч жизней американских солдат.

Чтобы избежать этих жертв, а главное, чтобы в кратчайший срок разгромить Японию, Рузвельт, в свою очередь, пошел навстречу Сталину.

Агрессивная милитаристская Япония уже не раз провоцировала вооруженные столкновения на дальневосточных границах Советского Союза. Секретное соглашение, подписанное Рузвельтом, Сталиным и Черчиллем в Ялте, предусматривало «статус-кво» Монгольской Народной Республики, а также восстановление прав, принадлежавших России и нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 году. Советскому Союзу возвращалась южная часть Сахалина и все прилегающие к ней острова. Торговый порт Дайрен подлежал интернационализации с обеспечением в нем преимущественных интересов Советского Союза. Восстанавливалась аренда Порт-Артура как военно-морской базы СССР. Советскому Союзу предоставлялось право совместной с Китаем эксплуатации Китайско-Восточной и Южно-Маньчжурской железных дорог. Наконец, Советскому Союзу возвращались Курильские острова.

Все это, вместе взятое, могло бы обеспечить России безопасность на Дальнем Востоке. Но такая перспектива решительно не устраивала Трумэна.

Сейчас, на Конференции в Цецилиенхофе, Сталин вел борьбу за то, чтобы обеспечить безопасность советских и европейских границ. Судя по всему, никакая сила не могла бы заставить его отказаться от этой борьбы. Приглашением же принять участие в войне с Японией Соединенные Штаты как бы сами помогали Сталину обеспечить себе прочный и надежный тыл. Какие способы давления на Советский Союз останутся у Соединенных Штатов в будущем? Как найти «ахиллесову пяту» послевоенной России?

Если бы войска Соединенных Штатов оккупировали Японию без участия Красной Армии, один из способов такого давления был бы предопределен. Его обеспечила американская армия, которая надолго оккупировала бы Японию. На Курильских островах, да и на том же Южном Сахалине можно было бы построить военные базы. Но если Советский Союз вступит в войну, то оккупация Японии после победы станет уже совместной, в Японию войдут не только американские, но и советские войска...

Мысль об этом была для Трумэна невыносимой.

...Гражданские лица, участвовавшие в совещании начальников американских штабов, в том числе приглашенный на него Черчилль, выдвигали, как альтернативу советскому участию в войне, компромисс с Японией. Разумеется, на основе ее полного подчинения Соединенным Штатам. Взамен японцам можно было бы позволить сохранить экономический и военный потенциал, достаточный для того, чтобы служить дальневосточным противовесом Советскому Союзу.

Военные утверждали, что даже при использовании атомной бомбы вторжение в Японию будет стоить жизни если не миллиону, то, во всяком случае, сотням тысяч американских солдат. Потери же Соединенных Штатов на всех театрах военных действий с момента высадки в Европе не превышали восьмисот пятидесяти тысяч человек. Начальники штабов подсчитали, что для вторжения в Японию без помощи русских Америке пришлось бы сконцентрировать на Дальнем Востоке армию в несколько миллионов человек. Но и в этом случае войну удалось бы закончить не ранее 1946 года.

Следовательно, русские по-прежнему необходимы.

...Последним, с кем разговаривал Трумэн после ухода военных, был посол Гарриман. Видя, в каком подавленном состоянии находится президент, он сказал:

— Я хочу вас несколько утешить, мистер президент. Я уверен, что Сталин вступил бы в войну с Японией и в том случае, если бы вы даже заявили ему, что не нуждаетесь больше в помощи Советов...

— Кто бы ему это позволил? — воскликнул Трумэн.

— Он бы и не спрашивал позволения. У него есть документ, подписанный Главами трех государств и предусматривающий вступление России в войну с Японией. Этому документу он и следовал бы. Сталин вообще придает большое значение тому, что он называет верностью союзническому долгу. Видимо, сам всевышний предопределил, чтобы его «верность» всегда шла на пользу Советскому Союзу.

Последние фразы Гарриман произнес ироническим тоном.

Трумэн хотел возразить, но сдержался. Он знал, с кем разговаривает. Гарриман принадлежал к одной из богатейших фамилий Америки. Кроме того, за его плечами был большой опыт в сфере американо-советских отношений. Короче говоря, даже президенту Соединенных Штатов следовало хорошенько подумать, прежде чем проявить хотя бы тень пренебрежения к этому человеку.

Значит, по мнению Гарримана, Советский Союз все равно вступит в войну с Японией, что бы ни сказал Сталину Трумэн.

— Если бы можно было обойтись без России, это развязало бы мне руки,— с горечью произнес президент.

— Мы ищем рычаг воздействия на Россию не там, где надо, сэр.

— Где же мы его ищем?

— Черчилль угрожает России иовой войной. Его плаи бросить иа русских бывших нацистов фантастичеи. Вы, мистер президеит... — Гарриман замялся.

— Продолжайте,— с вызовом сказал Трумэн.

— Насколько я могу судить, вы — по крайней мере в самое последиее время — делаете ставку на эту супербомбу.

— А вы, Гарриман? Может быть, вы полагаете, что нам следует смириться? Россия уже захватила пол-Европы, а теперь нам еще придется делить с ией плоды победы над Япоиией! Короче говоря, вы предлагаете полностью развязать руки Сталину и лишиться всех средств воздействия на иего. Так?

— Нет, мистер президеит, далеко ие так. Иначе я был бы плохим американским послом. Просто за время пребывания в Москве я немиого изучил русский иарод. Приобрел иекоторый опыт...

— Что же подсказывает вам этот опыт?

— Прежде всего, что тактика прямого, открытого давления на русских ие выдерживает критики. Угрожать им силой бессмысленно. Тем не менее я далек от мысли, что Сталину надо развязать руки. Но рычаг воздействия на него лично и вообще на эту страиу надо искать ие в ультиматумах и не в угрозах.

— Так в чем же?

— В экономике! Своей победы Россия достигла дорогой ценой. Из войны оиа вышла с могучей армией, ио с разрушенной экоиомикой. Наступать на Сталина, так сказать, с фронта, пытаясь нанести ему лобовой удар, бесполезно. Оказывая же ему экономическую помощь, мы действительно свяжем его по рукам и иогам! Наступать нужно не с фронта, а с флангов.

— Но время не терпит! — с досадой воскликиул Трумэн. — Мы должны решить такие иеотложные вопросы, как польский, гермаиский, и многие другие...

— Вместо того, чтобы подхлестывать время, надо заставить его работать иа нас.

— Хорошо сказано, Гарриман! — Трумэн встал из-за стола, давая своему собеседнику понять, что беседа закончена, и посмотрел иа часы. — Скоро иадо ехать в Цецилиенхоф.

— Решить все вопросы в нашу пользу за столом Конференции не удастся, мистер президент,— иастойчиво сказал Гарриман.

— А я все-таки попробую,— упрямо возразил Трумэи.

Сегодня первым взял слово Сталин. Он сообщил, что, согласно имевшейся ранее договореиности, советские войска в Австрии иачали отход, который будет закончен через два дня. В зоны, предназначеиные для союзииков, уже вступаюг их передовые отряды.

— Мы очеиь благодарны генералиссимусу! — воскликнул Черчилль.

— Американское правительство также выражает свою благодарность,— поддержал его Трумэн.

— Что ж тут благодарить? — спокойно возразил Сталии. — Мы обязаиы были это сделать и сделали. Вот и все.

...Каждое утро министры иностранных дел собирались, чтобы подготовить повестку дня очередного заседания «Большой тройки».

Главы делегаций впервые узиавали о согласованной повестке дня от своих министров буквальио перед самым заседанием.

Министров было трое — двое западных и один советский. Ни один из руководителей делегацнй иикогда не зиал, удастся ли его миннстру включить в повестку тот вопрос, в котором этот руководитель был заинтересован. Точно так же он не знал, будет ли предложеиный проект решения вынесен на заседание «Большой тройки» как согласованиый.

Очевидно, поэтому Черчилль еще в самом начале Конференции оговорил право ее участников выдвигать в ходе заседаний любые вопросы, даже если оии н не предусматривались повесткой дня.

Сталии ие возражал. Он отличио понимал, что, используя это право, Черчилль и Трумэн смогут саботировать обсуждеиие вопросов, жизненио важиых для Советского Союза. Но если его партнеры попытаются использовать это право исключительно в своих интересах, то и он, Сталин, сможет выдвинуть такие вопросы, которые выгодиы его страие.

...Заявлеиие об отходе советских войск в Австрии Сталин сделал, явно желая подчеркнуть, что, в отличие от Соединеиных Штатов и Англии, войска которых иадолго задержались в советских зонах оккупации Германии, Красиая Армия точио выполияет все принятые на себя обязательства.

Докладывать от нмени миинстров сегодия предстояло Идену.

Как всегда, корректио, следуя традиционному аиглийскому правилу избегать острых и категорических формулировок, Иден сообщил, что министры предлагают рассмотреть иа сегодняшнем заседании Конференции группу вопросов, связаниых с выполнением Ялтинской декларации об освобожденной Европе.

— В этой связи,— продолжал Иден,— министры рассмотрели америкаиский меморандум, представленный 21 июля...

Сталин слушал Идена внешне безучастно. Он, конечио, хорошо помиил америкаиский меморандум, оглашеииый Трумэном иа одном из предыдущих заседаиий. Смысл мемораидума был ясен:

поручить Соединенным Штатам и Англии руководство выборами в европейских странах, создать там особые, привилегированные условия американским и английским журналистам. Сталин тогда же заявил, что принятие такого документа было бы оскорбительно для тех европейских стран, к которым он относится.

Теперь Иден доложил, что по этому вопросу министрам так и не удалось договориться. Представители Соединенных Штатов и Великобритании были «за», советский представитель — «против». Что же касается условий работы журналистов, то для обсуждения этого вопроса министры решили создать подкомиссию из представителей всех делегаций.

Трумэн слушал Идена тоже без всякого интереса. Когда было решено передать министрам меморандум, тщательно отшлифованный на «Аугусте», президент заранее знал, что Молотов заблокирует американские предложения так же, как это сделал Сталин. Но тогда Трумэн надеялся, что успех в Аламогордо резко изменит соотношение сил и он сможет разговаривать со Сталиным языком ультиматумов.

Эта надежда, увы, не оправдалась. Ответ начальников штабов не оставил на сей счет никаких сомнений...

Казалось, только один Черчилль слушал своего министра с интересом и время от времени удовлетворенно кивал, как бы подтверждая его слова.

— Второй вопрос, который предлагается обсудить,— продолжал свой доклад Иден,— это экономические принципы существования будущей Германии.

Быстро перечислив формулировки, с которыми согласились все три министра, он предложил главный пункт — о репарациях — перенести на завтрашнее заседание.

Сталину чисто по-человечески хотелось избежать какой-либо схватки с Иденом. Он знал, что один из сыновей английского министра пропал без вести во время боевых действий в Бирме. Кроме того, Молотов сказал Сталину, что Иден чувствует себя плохо — он страдает язвой желудка, его мучают боли. Впрочем, о том, что английский министр нездоров, можно было понять и по его осунувшемуся лицу...

Сталину не хотелось, чтобы Иден в качестве докладчика получил с советской стороны удары, предназначенные, в сущности, не ему, а Черчиллю.

Но пока что никакой схватки не предвиделось. Более того, Сталин отметил про себя, что некоторый прогресс уже налицо: одна из единодушно одобренных министрами формулировок гласила, что производственные мощности, не нужные для тех видов промышленности, которые не возбраняется развивать мирной Германии, должны быть изъяты у нее в порядке репараций или уничтожены.

...После того, как Иден закончил свой доклад и главы делегаций обменялись мнениями, в повестке дня осталось пять вопросов. Некоторые из них касались Турции, Ирана и бывших «подмандатных территорий».

Но самым важным по-прежнему был вопрос о западной границе Польши. По нему предлагалось возобновить дискуссию, так и не законченную вчера.

Казалось, что поезд Конференции, только что отправившийся с промежуточной станции и успешно преодолевший некоторые второстепенные участки пути, выбрался на основную магистраль лишь для того, чтобы снова остановиться перед опущенным семафором. До «Терминала» — «Конечной остановки» — было очень, очень далеко.

Трумэн как будто уже смирился с этим и не слишком огорчался. Из всех зол он предпочитал меньшее. Таким меньшим злом казалась президенту возможность зафиксировать, что «польский вопрос» неразрешим из-за непомерных требований Сталина. Это означало бы, что новые польские границы остаются непризнанными на неопределенное время и могут быть использованы в будущем, как один из рычагов воздействия на Советский Союз.

Черчилля же одна мысль о том, что ему предстоит уехать в Лондон ни с чем, приводила в ярость. Он пытался успокоить себя тем, что, вернувшись в Бабельсберг уже в качестве вновь избранного премьера Великобритании, еще сможет наверстать упущенное.

Но это не успокаивало, а лишь усиливало тревогу, поскольку напоминало Черчиллю, что не только будущее Польши, но и его собственное будущее находится под вопросом...

Итак, Трумэн не возражал против отсрочки. Черчилль же не хотел, боялся ее. Этим позиция американского президента отличалась от позиции британского премьер-министра.

Трумэн был уверен в том, что Сталин не имеет никаких новых аргументов в пользу Польши. Черчилль придерживался того же мнения — здесь они сходились. Неизменным оставалось и соотношение сил за столом Конференции: два к одному в пользу западных партнеров...

Со стороны могло показаться, что Трумэн и Черчилль были правы, когда оценивали позицию Сталина как безнадежную.

Не располагая какими-либо новыми аргументами в пользу расширения польских границ, Сталин мог лишь повторять, что это расширение было предусмотрено в Ялте. Но в том же ялтинском документе говорилось, что окончательное утверждение границ Польши остается за Мирной конференцией. И за это цеплялся Трумэн.

Соотношение сил за столом переговоров складывалось не в пользу Сталина. С точки зрения арифметики он рано или поздно должен был проиграть. Чтобы изменить соотношение сил, ему надо было придумать совершенно новый ход, выдвинуть новые, неотразимые аргументы. Но ни того, ни другого в его распоряжении как будто не было и не могло быть.

Так полагали Черчилль и Трумэн. Но оба они ошибались. Они даже не могли предположить, что уже на сегодняшнем заседании Конференции Сталин поставит их обоих в тупик.

Сталин, разумеется, понимал, что Трумэн менее заинтересован в скорейшем решении польского вопроса, чем Черчилль. Уверен он был и в том, что вряд ли кто-нибудь из них считал, будто без согласия Советского Союза можно заставить поляков уйти с уже занятых ими территорий бывшей гитлеровской Германии. Но Сталину было очевидно, что союзники попытаются представить дело так, точно поляки — всего лишь послушное орудие в руках Советского Союза и что не против них, а против «советской экспансии в Европе» направлены сейчас усилия и Соединенных Штатов и Великобритании.

Для чего? Прежде всего, размышлял Сталин, наверное, для того, чтобы впоследствии мировое общественное мнение не обвинило их в антипольской политике. Но, возможно, и потому, что западные партнеры и в первую очередь Черчилль все еще надеются, что, захватив контроль над предстоящими в Польше выборами, они сумеют создать послушное им правительство, с которым куда легче будет иметь дело, чем с нынешним, и уж наверняка гораздо проще, чем со Сталиным.

Вокруг дворца Цецилиенхоф царила тишина. За тысячи километров отсюда — в Соединенных Штатах и на Дальнем Востоке, в Пентагоне и в штабе генерала Макартура — снова и снова проверялись варианты применения атомной бомбы против Японии. Американский крейсер «Индианаполис» резал тихоокеанские воды, направляясь к острову Тиниан с порцией урана-253 — составной частью атомной бомбы на борту. Заряд плутония предполагалось доставить самолетом несколько позже.

На Дальний Восток прибывали все новые и новые войска. Командующие армиями и командиры соединений являлись в ставку маршала Василевского, чтобы представиться и получить указания.

В Бабельсберге представители вооруженных сил трех стран-союзников собрались в одном из особняков, чтобы в предварительном порядке обсудить план предстоящих совместных боевых действий против Японии.

В Карлсхорсте генерал Карпов, выполняя задание Сталина, вел переговоры по «ВЧ» с Москвой и Варшавой.

Было двадцать пять минут седьмого по среднеевропейскому времени, когда Трумэн объявил, что, согласно утвержденной повестке дня, обсуждение вопроса о польских границах возобновляется.

Черчилль тотчас поспешил заявить, что согласен с точкой зрения, изложенной американской стороной, и ничего не имеет добавить к тому, о чем уже сказал вчера.

— У вас есть что-нибудь добавить? — спросил Трумэн, обращаясь к Сталину.

— Вы с заявлением польского правительства ознакомились? — деловито осведомился Сталин.

Черчилль и Трумэн переглянулись. Не имевший никаких других аргументов, Сталин, видимо, делал попытку представить этот малозначительный документ в качестве нового, якобы важного обстоятельства.

— Да, я его читал,—небрежно ответил Трумэн.

— Это письмо Берута? — еще более пренебрежительно произнес Черчилль.

— Вот именно, — утвердительно кивнул Сталин.— Письмо Берута и Осубки-Моравского.

— Да, я его прочитал,— сказал Черчилль.

Сталин, казалось, не замечал явного пренебрежения, которое слышалось в тоне его западных партнеров.

— Все ли делегации остаются при своем прежнем мнении? — спросил он.

— Но это же очевидно! — ответил Трумэн так, будто сама мысль, что польское заявление может изменить его позицию, была по меньшей мере неуместной.

— Что ж,— пожимая плечами, сказал Сталин. — Тогда вопрос по-прежнему остается открытым.

«Явная попытка сыграть на противоречиях между нами и Черчиллем», — подумал сидевший рядом с Трумэном Бирнс. Он уже склонился к президенту, чтобы шепнуть: «Надо кончать! Объявляйте, что по вопросу о границах мы не пришли к соглашению. И все!»

Но Бирнс ничего не успел шепнуть, так как раздался громкий голос Черчилля.

— Что значит «остается открытым»?! — оправдывая опасения Трумэна, заносчиво спросил Черчилль.— Выходит, что по этому вопросу ничего не будет предпринято? Я надеялся, что мы все же примем решение до нашего отъезда!

— Возможно...— неопределенно и, как показалось Черчиллю, загадочно ответил Сталин.

— Было бы очень жаль,— с досадой продолжал Черчилль,— если бы мы разошлись, не решив

вопроса, который, безусловно, будет обсуждаться в парламентах всего мира!

Выслушав Черчилля, Сталин спокойно сказал:

— Тогда давайте уважим просьбу польского правительства и покончим с этим вопросом.

Достойно удивления, как Черчилль — такой многоопытный и тонкий политик — не сознавал, что Сталин играет с ним в «кошки-мышки».

«Не хотите считаться с мнением поляков? — как бы говорил Сталин.— Что ж, тогда вопрос остается открытым, хотя фактически он решен. Хотите вынести официальное решение? Тогда согласитесь с предложением Берута и Осубки-Моравского».

Премьер-министр, конечно, понимал, что идет игра нервов. Но обстоятельства, в которых он сейчас оказался, лишали его хладнокровия и способности реалистически оценивать положение.

Еще вчера — только вчера! — он находился в состоянии атомной эйфории. Один только факт существования новой бомбы, казалось ему, должен был разрешить все вопросы, устранить все сомнения...

Вчера, наблюдая за поведением Трумэна и видя, насколько решительнее стал президент, Черчилль еще более укреплялся в своем убеждении.

Из состояния этой эйфории его, как, впрочем, и самого Трумэна, вывел ответ начальников американских штабов. Черчилль присутствовал на их совещании и понял, что этот ответ связывает президента по рукам и ногам, по крайней мере до тех пор, пока с Японией не будет покончено. Значит, ему, Черчиллю, придется драться со Сталиным, если не «один на один», то, во всяком случае, не имея надежного тыла.

Но сдаваться без боя Черчилль не хотел.

— Это предложение совершенно неприемлемо для британского правительства! — запальчиво воскликнул он и произнес длинную речь, которая была, однако, не более чем повторением всего, что он уже говорил вчера. «Расширение территории не пойдет на благо Польши... Подорвет экономическое положение Германии... Создаст катастрофическое положение с топливом...»

Сталин ни словом, ни жестом не дал понять, что Черчилль просто повторяется. Наоборот, советский лидер, казалось, приветствовал любую попытку продолжить обсуждение, даже если она и не вносила ничего нового...

— Я не берусь оспаривать все, что сказал сейчас господин Черчилль,— учтиво произнес Сталин,— однако вовсе не отказываюсь обсудить некоторые из упомянутых им вопросов. Например, о топливе. Говорят, что в Германии его не остается. Но так ли это? Ведь у нее по-прежнему остается рейнская территория, а там достаточно топлива. Следовательно, никаких особых трудностей для Германии не будет, если от нее отойдет силезский уголь. Общеизвестно, что основная топливная база Германии расположена на западе...

Трумэн слушал Сталина с явным выражением скуки. Но в том, что бесплодная дискуссия продолжалась, виноват был не Сталин, а Черчилль. Именно он, бесконечно повторяясь, заставлял повторяться и Сталина...

— Второй вопрос, — неторопливо продолжал Сталин,— насчет перемещения населения. Я уже сказал, что на занятых поляками территориях никаких немцев нет. Они были взяты Гитлером в армию и затем погибли, либо оказались в плену, либо просто ушли из этих районов. Если немцы там и есть, то в небольшом количестве. Но...— Сталин сделал паузу,— это ведь можно проверить! —Он опять помолчал и закончил словами: — Не следует ли нам, обсуждая вопрос о границе Польши, выслушать мнение польских представителей? Пусть их пригласят на Совет министров иностранных дел в Лондон.

Черчилль сразу насторожился. Трумэн с тревогой посмотрел на Бирнса, но тут же облегченно вздохнул. Нет, ничего нового и необычного в предложении Сталина не было. Он сам рассеял возможные опасения своих партнеров, сказав, что имеет в виду всего лишь вызов поляков в Лондон.

Такая возможность была предусмотрена ялтинскими соглашениями и не беспокоила Трумэна, потому что соответствовала его желанию отодвинуть польский вопрос как можно дальше.

— У меня нет никаких возражений против этого,— сказал он.

— Но, мистер президент,— в отчаянии воскликнул Черчилль,— ведь Совет министров соберется только в сентябре!

Этим своим восклицанием Черчилль решил все.

— Тогда...— медленно произнес Сталин,— тогда давайте пригласим поляков сюда и выслушаем их здесь.

Ни раскат грома, ни блеск молнии в безоблачном небе Бабельсберга, ни разрыв артиллерийского снаряда не произвели бы такого впечатления, как это неожиданное предложение. Ведь если бы оно было принято, то соотношение сил на Конференции разом изменилось. Против Трумэна и Черчилля Сталин выступал бы уже не один, а вместе с поляками. Но дело не сводилось только к арифметике. Письменное заявление польского правительства можно было забыть, замолчать, утаить, на веки вечные похоронить в американских и английских архивах. Но приезд в Бабельсберг руководителей польского государства скрыть было бы невозможно. До тех пор, пока поляков как бы представлял здесь Сталин, дело можно было изобразить так, будто спор идет не с поляками, а с ним. Но прямо сказать руководителям

Польши, что Соединенные Штаты и Великобритания вопреки ялтинским решениям не желают расширять границы их страны, что будущие интересы Германии для них важнее, чем судьба многострадальной Польши — первой жертвы Гитлера в этой войне,— значило на долгие, долгие годы скомпрометировать себя в глазах миллионов поляков...

Трумэн молчал. Если бы он стал возражать, Сталин немедленно сослался бы на ялтинские решения, в которых прямо говорилось, что необходимо выслушать мнение польского правительства. Правда, имелся в виду Совет министров в Лондоне, куда рекомендовалось пригласить поляков. Но если бы Трумэн напомнил сейчас об этом, Сталин, естественно, мог ответить, что в Ялте сама Потсдамская конференция еще не предусматривалась, а значит, не предполагалось и вторичное обсуждение польских границ «Большой тройкой».

Теперь такое обсуждение происходило. Почему же не выслушать представителей польского правительства именно здесь?

Своей ссылкой на то, что Совет министров соберется только в сентябре, Черчилль сыграл на руку Сталину, дал ему повод внести свое неожиданное предложение. Трумэн ждал, как теперь поведет себя премьер-министр. Но Черчилль молчал.

— Я... У меня нет возражений, — наконец произнес он нерешительным тоном.— Но,— уже громче и тверже продолжал Черчилль,— можно заранее предсказать, чего будут требовать поляки! Они, конечно, пожелают больше того, на что мы можем согласиться.

Сталин незамедлительно возразил:

— Но если мы пригласим поляков, они по крайней мере не будут обвинять нас, что мы решаем судьбу Польши за их спиной. Я хочу, чтобы такое обвинение против нас не могло быть выдвинуто со стороны поляков.

— Я никаких обвинений против них не выдвигаю! — теряя самообладание, крикнул Черчилль.

— Не вы, а поляки скажут: решили вопрос о границе, не заслушав нас,— сочувственно-поучительно произнес Сталин.

Трумэн понимал: отступать некуда. Нежелание выслушать представителей Польши принесет ему не меньше вреда, чем приезд поляков в Бабельсберг. Он с надеждой смотрел на Черчилля, ожидая какого-нибудь демарша с его стороны. Но премьер-министр неожиданно сник, как будто из него выпустили воздух. Не глядя на Сталина, он пробормотал:

— Да... Я понимаю.

Видимо, Черчилль решил сложить оружие. Эта столь неожиданная его покорность надоумила Трумэна предпринять новую попытку нейтрализовать предложение Сталина. Он решил обойти вопрос о приглашении поляков и вернуться к своей исходной позиции.

— Нужно ли вообще решать эту территориальную проблему так срочно? — заявил Трумэн. — Ведь вынести окончательное суждение о польских границах мы здесь все равно не можем. Это, как я уже напоминал, прерогатива Мирной конференции. Нет, нет,—торопливо продолжал он, наткнувшись на колючий взгляд Сталина,— состоявшийся обмен мнениями был весьма полезен! Но я просто не уверен, что вопрос в целом столь уж срочен...

Президент, в свою очередь, допустил ошибку. Он не учел, что любая попытка отсрочить решение польского вопроса подействует на Черчилля, как прикосновение электрода к обнаженному нерву.

— Мистер президент,— встрепенувшись, сказал Черчилль уже со своей обычной запальчивостью,— при всем моем уважении к вам, я не могу не заявить, что вопрос этот имеет несомненную срочность. Я прошу понять, что, отложив решение, мы тем самым фактически закрепим положение, существующее в Польше. Потом уже трудно будет что-либо изменить!..

Сталин, сощурившись, глядел на Черчилля. Интуиция подсказывала ему, что нервы премьер-министра натянуты до предела и что в отчаянии он готов сейчас полностью раскрыть карты, высказать те свои тайные мысли, которые до сих пор предпочитал скрывать.

Сталин не ошибся.

Резким движением сломав пополам незажженную сигару, Черчилль громким, прерывающимся от волнения голосом стал говорить, что еще с времен Тегеранской конференции он, соглашаясь в принципе на расширение польских границ, никогда не поддерживал предложение генералиссимуса Сталина о столь большом их расширении. Необходимо, говорил он, сейчас же, немедленно принять решение о границах Польши по Одеру и по восточной Нейсе, именно по восточной, а не по западной, как все время настаивают Сталин и поляки вместе с ним. Отсутствие определенного решения по этому вопросу позволит полякам навсегда остаться на той территории, которую они сейчас заняли...

Это была откровенно антипольская речь. В ней открыто проявилось и желание сохранить за счет Польши военно-промышленный потенциал Германии, и стремление урезать новые польские территории до минимума, и явное опасение, что Сталин, ратуя за максимальное расширение польских границ, добьется того, что не Запад, а именно Советский Союз станет в глазах поляков самым последовательным и наиболее активным защитником их интересов...

Время от времени Черчилль, точно спохватываясь, пытался маскировать свои истинные цели старыми аргументами о «польском угле» и о «про-

довольственных ресурсах». Он снова и снова требовал признать сегодняшние фактические границы Польши «временными», а новые польские территории — «советской зоной оккупации». Закончил он патетическим обращением к Конференции во что бы то ни стало решить польский вопрос здесь, в Бабельсберге.

Трумэн шепотом переговаривался с Бирнсом. Президент оказался между двух огней. Если бы он еще раз предложил отложить решение, это вызвало бы новую обструкцию со стороны Черчилля. А Сталин, конечно же, вновь поднял бы вопрос о приглашении поляков...

Наконец, Трумэн поспешно схватил бумагу, которую протягивал ему Болен, и, видимо, о чем-то уже договорившись с Бирнсом, сказал:

— Премьер-министр напомнил нам, что никогда не соглашался с генералиссимусом в вопросе о польской западной границе. Давайте, в целях установления истины, вернемся к первоисточнику. Вот выдержки из решения Крымской конференции.

Поднеся лист бумаги к своим близоруким глазам, Трумэн стал читать: «Главы трех правительств считают...»

Сталин и Черчилль знали это решение почти наизусть. Трумэн прочел ту его часть, где говорилось, что Польша должна получить «существенное приращение территории на севере и на западе», что о размерах этого «приращения» будет спрошено мнение нового польского правительства национального единства и что окончательное определение западной границы Польши будет отложено до Мирной конференции.

Окончив чтение, Трумэн веско произнес:

— Это соглашение было подписано президентом Рузвельтом, генералиссимусом Сталиным и премьер-министром Черчиллем. Я согласен с этим решением.

Наступило молчание. Цель Трумэна была ясна — он хотел призвать к порядку Черчилля и одновременно побить Сталина его же собственным оружием. Ведь под ялтинским решением стояла подпись не только Черчилля, не только покойного президента, к которому Сталин относился с подчеркнутым уважением, но и самого советского лидера. В решении было черным по белому сказано: окончательно решить вопрос о границах Польши на Мирной конференции. Но разве он, Трумэн, не предлагал то же самое? «Спросить мнение польского правительства»? Но разве он, Трумэн, возражал против того, чтобы представители этого правительства были приглашены в Лондон? Кто же последовательно проводит «линию Ялты» здесь в Бабельсберге? Конечно, не Черчилль, требующий решить вопрос о границах немедленно. И уж, конечно, не Сталин, настаивающий на таких границах, которые в Ялте согласованы не были.

Вместе с тем всем присутствующим было ясно и другое. Заявление президента, в сущности, ничего не означало, кроме желания уйти и от предложения Сталина пригласить поляков, и от настояний Черчилля отбросить польский вопрос к его исходной, ялтинской позиции, полностью игнорируя тот факт, что в результате разгрома Германии Польша уже получила обещанные «приращения» и теперь их необходимо было признать...

Тем не менее Бирнсу, Идену, всем остальным членам американской и английской делегаций казалось, что Трумэн выиграл битву и что любое возражение Сталина автоматически станет теперь попыткой ревизии ялтинских решений. Но Сталин думал иначе. Когда он вновь заговорил, стало ясно, что ему надоела эта игра.

Резким движением Сталин положил, скорее бросил, свою погасшую трубку в пепельницу. Шепотом сказал несколько слов Молотову. Тот обернулся и взял из рук Подцероба папку...

— Если вам не надоело обсуждать этот вопрос,— нахмурившись, громко сказал Сталин,— я готов выступить еще раз. Итак: я тоже исхожу из решения Крымской конференции, которое цитировал сейчас президент. Однако из точного смысла этого решения вытекает, что после того, как образовалось правительство национального единства в Польше, мы должны были проконсультироваться с этим новым польским правительством. Оно должно было высказать свое мнение по вопросу о западной границе. Так? Это мнение мы получили. Заявление польского правительства имеется у всех трех делегаций. Так или не так?

Все молчали.

— Теперь у нас две возможности,— продолжал Сталин,— либо согласиться с этим мнением, либо, если мы не согласны, заслушать польских представителей, дать им возможность развить свою аргументацию, ответить на вопросы, если они у нас имеются, и только после этого принять решение. Президент напомнил о Мирной конференции. Я тоже не забываю о ней. Но пусть мне кто-нибудь объяснит, что плохого будет в том, если эта конференция получит твердое мнение трех держав — основных сил антигитлеровской коалиции, к тому же согласованное с польским правительством.

Все по-прежнему молчали.

— Господин президент напомнил нам,— снова заговорил Сталин,— кем было подписано ялтинское решение. Теперь я, в свою очередь, хочу напомнить, что по вопросу о географической линии новых границ Польши мы в Ялте к соглашению не пришли, и господин Черчилль это прекрасно знает. Но в чем состояло разногласие? Во избежание недомолвок, догадок и намеков обратимся к карте...

Сталин взял папку из рук Молотова, вынул карту и, расстелив ее перед собой, сказал:

— Господин Черчилль настаивал, чтобы западная граница проходила по Одеру, начиная от его устья, и затем следовала по Одеру до впадения в него реки Нейсе...— Сталин провел по карте коротко остриженным, желтоватым ногтем указательного пальца.— Мы же,— продолжал он,— отстаивали линию западнее Нейсе. По схеме президента Рузвельта и господина Черчилля Штеттин, а также Бреслау и район западнее Нейсе оставались за Германией. Я был против этого. Почему? Потому что такая граница Германии только усилила бы ее прусскую, милитаристскую элиту. Наша же цель, цель всей минувшей войны, в том, чтобы эту элиту уничтожить! А господин Черчилль, видимо, хочет ее сохранить. Я был против этого раньше. Остаюсь против и сейчас... И последнее,—уже не глядя на карту и откидываясь на спинку кресла, сказал Сталин.— Мы рассматриваем сейчас вопрос о границах Польши. О границах, а не о временной линии, как пытается доказать господин Черчилль. Если мы с мнением польского правительства согласны, вопрос может быть решен без приглашения поляков. Если не согласны, — необходимо заслушать их мнение здесь. Это вопрос принципиальный.

Сталин закончил свою речь столь твердо и непреклонно, что всем стало ясно: советский лидер не отступит ни на шаг.

— Что ж, — обреченно произнес Трумэн, — у меня нет возражений против приглашения польских представителей. Они могут переговорить здесь с нашими министрами...

— Конечно, могут! — согласился Сталин.

— А результаты переговоров министры доложат нам,— тихо, не поднимая головы, проговорил Черчилль.

— Правильно, правильно, — поощряюще произнес Сталин.

— Кто же пошлет им приглашение? — спросил Черчилль, глядя на Сталина и точно ожидая, что Сталин возьмет это на себя.

— По-моему, наш председатель,— как о чем-то само собой разумеющемся сказал Сталин.

— Хорошо,— едва слышно произнес Трумэн.— Переходим к следующему вопросу...

Глава одиннадцатая

«КОКТЕЙЛЬ-ПАРТИ»

Как только американские машины разъехались, офицер военной полиции размашисто-залихватским взмахом руки дал знать вороновскому шоферу, чтобы тот проезжал.

Они миновали американскую зону, проехали английскую и оказались перед шлагбаумом, с которого начиналась советская. «Трехфлажный» пропуск действовал безотказно. Очень скоро «эмка» остановилась перед домом, куда полторы недели назад Карпов привез Воронова и где помещался сам.

Но генерала на месте не было. Он уехал в Карлсхорст и должен был вернуться не раньше вечера.

Воронов сказал Гвоздкову, чтобы тот отвез его домой, то есть в особняк на параллельной улице, в котором жили кинематографисты и где у самого Воронова была комната.

Добравшись до дому, Воронов уже направился к подъезду, когда его остановил голос водителя:

— Как дальше-то, товарищ майор? Еще куда-нибудь поедем?

Воронов хотел отпустить Гвоздкова, но вспомнил, что хоть и не очень определенно, но все же согласился поехать с Брайтом к Стюарту.

— Приезжайте сюда, Алексей Петрович. К семи,— сказал он Гвоздкову,— чтобы заблаговременно встретиться с Чарли в Потсдаме.

«На кой черт я согласился? — подумал Воронов, когда машина скрылась за поворотом.— Зачем ехать к этому мерзкому Стюарту, да еще без приглашения? «Коктейль-парти»!.. Чего я там не видел?.. Стоять в толпе со стаканом виски или джина, отвечать на нарочито приветливые «Hallo!» и «How are you?»[1] со смутной надеждой услышать что-нибудь интересное и важное...»

В то же время Воронов невольно вспомнил все, что так недавно говорил ему Брайт. Английская зона, немецкие военные формирования, Шлезвиг-Гольштейн, Стюарт, который что-то затевает...

Возможно, между всем этим есть какая-то тайная связь.

Нет, он должен пойти, он пойдет в логово этого Стюарта! Пусть тот знает, что советский журналист не прячется в кусты, если что-то замышляется против его страны или против его самого...

«Впрочем,— спрашивал себя Воронов,— что, в сущности, может предпринять этот Стюарт? Не будет же он распространяться о том, что увидел Брайт в английской зоне! Тогда что же он сделает? Расскажет очередную антисоветскую басню о том, что якобы происходило на Конференции? Будет снова жаловаться на то, что русские ограничивают «свободу печати» и не пускают журналистов в Цецилиенхоф?»

Что ж, посмотрим! После того, как Чарли был с ним так дружески откровенен и с такой настойчивостью уговаривал его ехать к Стюарту, Воронов просто уже не мог отказаться.

Однако в глубине души он все-таки ощущал недоверие к Брайту. Может быть, его искренность

---

[1] Как поживаете? *(англ.)*

лишь напускная? Может быть, она только составная часть плана, цель которого — усыпить подозрения Воронова и заманить его к Стюарту...

«Ладно! — решил Воронов.— Если мне суждено получить от Брайта еще один урок, я его получу. Но это будет последний урок!»

...В доме было пусто. Киногруппа куда-то уехала. Воронов медленно поднялся наверх, в свою комнату. Мысли его были по-прежнему прикованы к тому, что он услышал от Брайта.

В надежде найти что-нибудь, имеющее отношение к тому, о чем рассказал Брайт, Воронов обратился к своему необъятному блокноту. Заведенный еще в годы войны, этот блокнот распух от сырости и времени.

Листая его, Воронов волей-неволей погрузился в воспоминания. Беглым журналистским почерком, с сокращениями, которые он сам сейчас с трудом понимал, в этом блокноте фиксировались многие события, эпизоды, впечатления фронтовой жизни.

Воронов делал заметки почти с первых дней войны. Став корреспондентом Совинформбюро, он особенно тщательно относился к своим записям.

Почерк у него был ужасный и часто подводил его. Чтобы установить, какой смысл таился за начертанными им самим иероглифами, неоконченными словами, сокращенными терминами, неразборчивыми фамилиями, ему впоследствии не раз приходилось рыться в старых политдонесениях и листать подшивки фронтовых газет.

Сейчас, оставшись один, Воронов достал свой старый пухлый блокнот. Терпеливо расшифровывая записи, сделанные в 1944 и 1945 годах, он восстанавливал в памяти не только важнейшие события этих лет, но и собственные журналистские маршруты...

Окончательная ликвидация ленинградской блокады. Корсунь-Шевченковская операция. Освобождение Советской Прибалтики. Выход войск 1-го Украинского фронта на границу с Чехословакией. Вступление войск 1-го Белорусского фронта и 1-й Польской армии на территорию Польши. Сражение под Кенигсбергом. 3-й Украинский фронт наступает в Венгрии. Советско-югославский договор о дружбе. Встреча с американцами в Торгау. Капитуляция в Карлсхорсте...

Все это записывалось на ходу, второпях, не столько даже записывалось, сколько обозначалось, набрасывалось, сохранялось для последующей расшифровки...

Несколько подробнее и яснее Воронов фиксировал свои беседы с солдатами, офицерами, генералами, которые затем так или иначе упоминались в его корреспонденциях. Листая сейчас блокнот, он вспоминал свои бесчисленные разговоры с чехами и словаками, венграми и немцами, американцами и англичанами, не говоря уже о советских солдатах и командирах самых различных рангов.

Пребывание в штабе Рокоссовского в дни Варшавского восстания... Эта запись неожиданно оказалась относительно подробной. Воронов успел даже записать разговор с разведчиком Иваном Колосом, только что вернувшимся из Варшавы. Колос безуспешно пытался убедить руководителей восстания из Армии Крайовой, чтобы они во имя спасения уничтожаемой фашистами польской столицы вступили в контакт с советским командованием. Трагические дни Варшавского восстания давно остались позади, но Воронов как бы заново пережил их, листая свой старый блокнот.

Однако ничего такого, что имело хотя бы косвенное отношение к ситуации, сложившейся в английской зоне, Воронов не обнаружил.

Впрочем, теперь он уже не сомневался, что Чарли сказал правду. Это подтверждалось всем — фотографиями, деталями, которые упоминал Брайт, наконец, неподдельным возмущением, звучавшим в его голосе. Некоторое сомнение вызывало только то, что англичане ничего не утаили от Брайта и позволили ему фотографировать. Ведь тем самым они могли сделать достоянием гласности небывалое по своим масштабам предательство! Но, с другой стороны, как можно скрыть его? Ведь, если верить Брайту, речь идет о целой армии!

Советское командование не могло не знать об этом. Почему же оно до сих пор публично не разоблачило предательство англичан? Такое разоблачение показало бы всему миру, кто верен союзническим обязательствам, кто последовательно продолжает линию Тегерана и Ялты, а кто берет совершенно противоположный курс...

Сознание, что за спиной Советского Союза совершается такое небывалое предательство, угнетало Воронова.

Знают ли американцы о том, что происходит в английской зоне? Ведь английская зона соседствует с американской, Монтгомери подчиняется Эйзенхауэру. Значит, не могут не знать! Может быть, знают, но не в силах «справиться» с англичанами? Чепуха! В союзе Англии и Америки Соединенные Штаты, конечно же, играют главенствующую роль. Значит, знают и закрывают глаза? Но это же равносильно соучастию в предательстве! Почему же Советский Союз не стукнет кулаком по столу?

Впрочем, подумал Воронов, может быть, это уже и было? Ведь помнит же он, что в советской печати появлялись короткие сообщения о немецких частях, существующих в английской зоне. Весьма вероятно, что советские руководители из каких-либо высших государственных соображений до поры до времени не хотят предавать эту

постыдную историю более широкой огласке. Возможно, разговор о ней пойдет на нынешней Конференции. Вдруг он состоится сегодня?..

Воронов вернулся в Потсдам, так и не дождавшись Карпова.

Брайт явился в назначенное время. Ехали они молча. Воронов понял: сколько бы он ни спрашивал, что затевает Стюарт, Брайт не мог или не хотел определенно ответить.

Если раньше Воронов мог подозревать, что Чарли участвует вместе со Стюартом в каком-то «заговоре» и поэтому так настойчиво зовет его на «коктейль-парти», то теперь для такого подозрения уже не было причины.

Теперь Воронов верил Брайту. Будет ли верить завтра? Кто знает...

Видимо, Чарли и в самом деле не знал, что задумал Стюарт. Однако, пользуясь своими связями среди западных журналистов, он имел основание предполагать, что этот англичанин, который не только близок к Форин Оффису, но и якобы вхож к самому Черчиллю, затевает нечто опасное. Но что именно? Ответа на этот вопрос пока не было.

Они промчались по разрушенной Курфюрстендам, которую немцы сокращенно называли «Кудам», свернули в переулок, потом в другой. Брайт хорошо знал дорогу и ехал уверенно. Мимо пронесся большой деревянный щит. Воронов на ходу успел прочитать яркие красные строки «You are entering Britich Sector!» — означало: «Вы вступаете в британский сектор!» Таких щитов Воронов раньше не видел.

Еще минут десять они мчались по улицам и переулкам, которые походили друг на друга, потому что были одинаково разрушены. Хотя время шло к восьми, еще не стемнело. Воронов издали увидел скопление машин возле трехэтажного дома, почти не пострадавшего от бомб и снарядов.

— Этот пройдоха Стюарт отхватил себе неплохую коробку. Вот что значит связи! — сквозь зубы произнес Брайт.

Они вышли из машины. «Наверняка я буду здесь единственным советским журналистом»,— подумал Воронов. Брайт сказал, что приглашения он взял в пресс-клубе. Насколько Воронов мог заметить, бывая в читальне, никто из советских этот клуб не посещал. Появление Воронова среди западных журналистов, раздраженных скупостью информации и запрещением посещать Бабельсберг, само по себе могло создать достаточно напряженную обстановку. Всегда найдутся люди, готовые свалить вину за атмосферу секретности, в которой проходит Конференция, на советскую сторону, тем более что и Потсдам и примыкающий к нему Бабельсберг находятся в советской зоне.

Брайт шел впереди, небрежно помахивая своим «Спидом». Воронов по настоянию Чарли тоже захватил фотоаппарат, хотя снимать ему на «коктейль-парти» было нечего да и ни к чему.

Миновав подъезд, они оказались в просторной прихожей, стены которой были увешаны олеными рогами и гравюрами с изображением всадников с ружьями за плечами и борзых, преследующих оленя. Бывший владелец этого особняка, видимо, был заядлым охотником. В прихожей не оказалось никого, кто мог бы проверить, есть ли у Брайта и Воронова приглашения, но из распахнутых дверей, ведущих внутрь дома, доносился многоголосый шум.

Следом за Брайтом Воронов вошел в большую комнату, которая была полна людей, одетых в американскую, английскую и французскую форму. Блестящие буковки на погонах обозначали принадлежность их владельцев к журналистскому сословию. Раньше эта комната служила, очевидно, гостиной или танцевальным залом. С потолка свисала огромная бронзовая люстра, на стенах сохранились зеркала. То ли гостей было и в самом деле очень много, то ли их отражения, многократно повторенные зеркалами, создавали такое впечатление, но Воронову показалось, что в зале собралось человек двести, не меньше.

Протолкаться вперед было невозможно, и Воронов поднялся на цыпочки, чтобы осмотреться.

К удивлению своему, он не увидел здесь ничего, что напоминало бы «коктейль-парти». Никто не держал в руках ни стаканов, ни бокалов, ни рюмок, никто не разносил их. Два или три ряда стульев — все места были уже заняты — стояли перед небольшим столиком, почти вплотную придвинутым к стене, в которой едва различалась плотно прикрытая дверь. Словом, не было ничего такого, что походило бы на обычную «коктейль-парти». Особенно удивило Воронова, что почти все гости были вооружены фотоаппаратами и кинокамерами, а некоторые даже держали на коленях портативные пишущие машинки.

У зеркальных стен — по два с каждой стороны — стояли укрепленные на треногах «юпитеры». Все это скорее предполагало не светский прием, а пресс-конференцию или иное деловое совещание.

— Похоже, что мы опоздали, все места заняты,— пробормотал Брайт.

— Ладно, постоим здесь, — равнодушно отозвался Воронов.

— Отсюда не сделаешь ни одного приличного снимка.

— Кого ты, собственно, собираешься снимать?

— Пока не знаю. Но, судя по обстановке, объект найдется.

Брайт попытался пробиться вперед, но тут же был оттерт теми, кто стоял впереди.

«Чего ради они все-таки устроили такой сабантуй?» — думал Воронов. Какое сообщение подготовил своим гостям Стюарт? Воронов вытащил из кармана приглашение, которое на всякий случай держал наготове, и прочел последнюю строчку: «...предполагает поделиться с коллегами полезной информацией».

Разумеется, речь пойдет о Конференции. Что, кроме нее, занимает сейчас умы журналистов?

— Слушай, Чарли,— спросил Воронов вполголоса,— этот Стюарт в самом деле связан с Форин Оффис?

— Говорят, что да. Почему ты спрашиваешь?

— Тут все выглядит так, будто должна состояться пресс-конференция, брифинг или что-то в этом роде.

— Похоже на то,— пробурчал Брайт.

— Но о чем? На какую тему?

— На какую тему? — переспросил Брайт и вдруг крикнул, обращаясь ко всем вместе и ни к кому в отдельности: — Эй, ребята! А выпить тут дадут?

Кое-кто обернулся. Брайта, по-видимому, узнали. По крайней мере раздалось несколько «хэлло!» и «хай!».

— Если тебе так уж хочется выпить, ступай в «Андерграунд»,— посоветовал кто-то.

— Чем же нас будут кормить или поить? — не унимался Брайт.

— Духовной пищей,— послышалось в ответ.

— Для этого существует церковь,— отрезал Брайт.

Раздалось несколько коротких смешков.

Воронов снова приподнялся на цыпочки. За столиком, стоявшим у стены, по-прежнему никого не было, дверь в стене оставалась плотно закрытой.

«Может быть, представители союзников намерены сделать какое-нибудь сепаратное заявление, о котором советская сторона не знает?» — продолжал свои размышления Воронов. Но это было маловероятно, для такой цели они наверняка созвали бы официальную пресс-конференцию.

Конец размышлениям Воронова положил звук открывшейся двери в стене. К столику подошел офицер в английской форме. Сразу стало тихо.

— Леди и джентльмены! — громко произнес офицер.— Прежде всего считаю своим долгом сообщить, что настоящее собрание носит совершенно неофициальный характер. Это частное мероприятие вашего коллеги, корреспондента газеты «Дейли рекордер» мистера Вильяма Стюарта. Считаю необходимым подчеркнуть это во избежание каких-либо кривотолков. Официальными следует считать только проводимые делегациями пресс-конференции и заявления на них.

Кто-то иронически крикнул с места: «Hear, hear!» [1]

Офицер понимающе усмехнулся.

— Мы сознаем,— продолжал он,— что недостаток информации до сих пор ограничивая ваши возможности, вынуждал вас писать, так сказать, одноцветно. Насколько мне известно, мистер Стюарт собирается снабдить вас цветными карандашами. Он уже, видимо, передал в свою газету то, что вам предстоит услышать, и поэтому не опасается конкуренции. Благодарю вас.

Офицер слегка поклонился залу и скрылся за дверью. Потом дверь отворилась снова.

То, что Воронов увидел, едва не заставило его вскрикнуть от удивления. В зале появилась Урсула, та самая немка, с которой он сидел за одним столиком в «Андерграунде». Вместе с ней в зал вошел Стюарт. Держа Урсулу под руку, он как бы слегка подталкивал ее вперед.

Может быть, Урсула понадобилась Стюарту в качестве переводчицы? Ведь здесь могли быть корреспонденты немецких, а может быть, и швейцарских газет. Стюарт не так уж хорошо владел немецким — Воронов имел случай в этом убедиться.

Между тем Урсула подошла к столику. Подчеркнуто вежливым движением руки Стюарт указал ей на один из двух стульев, стоявших возле столика. Урсула села.

— Леди и джентльмены! — сказал Стюарт.— Во-первых, мне хотелось бы поблагодарить всех, кто откликнулся на мое приглашение, а также извиниться перед теми, кто, быть может, испытывает сейчас некоторое разочарование. Смею вас заверить: напитки появятся своевременно.

Кто-то снова крикнул: «Hear, hear!»

Стюарт улыбнулся, но тут же лицо его приняло серьезное выражение.

— Во-вторых,— продолжал он,— все мы раздражены недостатком информации, поступающей из замка Цецилиенхоф. Она подобна жалкому ручейку, а все мы буквально умираем от жажды. Тем не менее кое-что нам все же, конечно, известно. Так, например, известно, что на Конференции обсуждается польский вопрос. Однако лишь немногие из нас знают, что русские требуют огромного расширения польской территории и вообще выступают в роли ангела-хранителя Польши. Мне удалось узнать об этом совсем недавно. Источник заслуживает полного доверия. Возникает естественный вопрос: почему русские, которых поляки заслуженно считают своими давними врагами, поскольку Россия столько раз стремилась уничтожить

---

[1] «Слушайте, слушайте!» *(англ.)* — возглас, которым члены английского парламента порой встречают то или иное выступление.

национальную самостоятельность Польши, вдруг воспылали такой любовью к этой стране? Обоснована ли их любовь, так сказать, исторически? А если нет, то насколько она бескорыстна?

Стюарт сделал паузу. Протянув руку к плечу Урсулы, но не касаясь его, он продолжал:

— Случай свел меня с мисс Урсулой Кошарек. Она полька. Ее рассказы проливают свет на подлинное отношение русских к Польше...

Торжественно и значительно, как конферансье, объявляющий о выходе на сцену знаменитой актрисы, Стюарт произнес:

— Мисс Урсула Кошарек!

Урсула встала.

Заявление Стюарта было поистине неожиданным. По залу пронесся приглушенный шум.

— Свет, свет! — крикнул кто-то по-английски.

Тотчас, как по команде, вспыхнули стоявшие у стен прожекторы. Отраженные в зеркалах, они наполнили зал резким ослепляюще-ярким светом. Сидевшие в первых рядах журналисты вскочили со своих мест, направив на Урсулу объективы фотоаппаратов. Толпившиеся позади устремились вперед. Началась давка, послышалась ругань, раздались стрекотание ручных кинокамер и дробный стук пишущих машинок.

Пожалуй, только Воронов не стремился пробиться к столику. Теперь уже было ясно, что Стюарт задумал какой-то тщательно отрепетированный спектакль. Эта Урсула, говорившая по-немецки так, словно она родилась и выросла в Германии, вдруг оказалась полькой! Что за чепуха! Воронов часто разговаривал с военнопленными и провел достаточно времени на немецкой земле. Он мог мгновенно отличить коренного немца по произношению. Ему достаточно было короткого разговора с Урсулой в «Андерграунде», чтобы уже с первых фраз понять: она настоящая немка! Теперь Стюарт хочет выдать ее за польку! Явная фальсификация!

Воронов стал искать Брайта, чтобы сказать ему об этом, но тот уже пробился вперед и щелкал там своим «Спидом».

Свет прожекторов погас. Давка постепенно прекратилась. Стрекотание кинокамер смолкло. Наступила тишина.

— Благодарю вас, коллеги, — удовлетворенно произнес Стюарт.— Теперь прежде чем перейти к существу дела, надо преодолеть одну трудность. Я не предполагаю, что кто-либо из присутствующих говорит или хотя бы понимает по-польски. Думаю, что и с немецким дело обстоит ненамного лучше. Англосаксы всегда отличались плохим знанием иностранных языков. Поскольку мисс Кошарек будет говорить по-немецки, я позаботился о переводчике. Мой друг мистер Томпсон оказался столь любезен... Прошу вас, Джон...

Невысокий, полный мужчина в очках поднялся из первого ряда и подошел к столику.

Спектакль начался.

— Госпожа Кошарек, — подчеркнуто официальным тоном обратился Стюарт к Урсуле,— вы полька, и ваши родители тоже были поляками, не так ли?

— Да, я полька,— сдавленным голосом, глухо ответила Урсула.— Мои родители тоже были чистокровными поляками, — добавила она уже громче.

Сомнений не было: этой стюартовской девке — Брайт тогда дал понять Воронову, каковы ее отношения с англичанином,— предстояло сыграть главную роль в затеянном здесь провокационном спектакле.

То, что задумана именно провокация, было уже совершенно ясно. Воронов с отвращением смотрел на стоявшую у стола худую, плохо одетую женщину. Сегодня она нарочно оделась плохо, гораздо хуже, чем в «Андерграунде».

Чего добивается от нее Стюарт? Хочет доказать, что русские всегда ненавидели поляков? Чушь собачья! Да, были царские разделы, да, подавлялись польские восстания. Но была и дружба Пушкина с Мицкевичем, был поляк Дзержинский, были русские революционеры, сражавшиеся бок о бок с польскими. Наконец, уже в наши дни русская и польская кровь смешалась в сражениях против гитлеровской Германии.

А если углубляться в историю... Что ж, и Польша некогда принесла России немало горя! Напомнить вам, мистер Стюарт, сэр, крупный знаток русской и польской истории, о войнах феодальной Польши против России в семнадцатом веке, о вторжениях на украинские земли, о самозванцах и о многом другом?..

Никто из русских теперь не вспоминает об этом. Теперь для советских людей слово «поляк» — значит друг, брат, товарищ по совместной борьбе против общего врага. Не с этим ли собирается спорить мисс Кошарек, явное орудие в руках провокатора!..

— Госпожа Кошарек, где вы родились? — продолжал свой допрос Стюарт.

— В городе Мариенвердер.

— Это Германия?

— Это Польша! — громко с вызовом ответила Урсула.— Хотя,— добавила она уже значительно тише,— последние столетия это считалось Германией.

— Почему же вы считаете себя полькой?

— Потому что мои родители — Ян и Гертруда — были поляками. Дома говорили только по-польски. Семья была католической. Таких семей в Мариенвердере было очень много.

— Пожалуйста, более подробно о вашей семье.

— Отец был учителем польского языка. В Ма-

рненвердере существовала польская гимназия. В тридцать девятом Гитлер ее закрыл. Кроме того, отец был деятелем Союза поляков в Германии. А я была харцеркой...

— Простите, кем?

— Харцеркой — значит рядовой. А с тридцать седьмого года стала дружной. Руководительницей отряда. Потом Гитлер разогнал и Союз поляков.

Слушая все это и не веря своим ушам, Воронов с внезапным раздражением подумал о Брайте. Конечно же, Брайт знал, что́ именно затевает Стюарт. Может быть, даже был в сговоре с англичанином! «Дурак я, болван,— ругал себя Воронов,— случай с фотографией ничему меня не научил. Когда речь идет о бизнесе, эти коммерсанты от журналистики кого угодно продадут со всеми потрохами!»

Зная от Брайта, что он, Воронов, будет единственным советским человеком на этой «коктейль-парти», Стюарт, видимо, хотел превратить его в своего рода мишень, в которую попадут все заранее заготовленные им стрелы.

Растолкав стоявших впереди, Воронов отыскал, наконец, Брайта.

— Опять продал меня? — злым шепотом сказал ему на ухо Воронов.

Брайт сосредоточенно перематывал пленку в своем «Спиде».

— Ты что, ошалел? — воскликнул он.— Откуда я знал...

В это время до Воронова снова донесся голос Стюарта.

— Судя по тому, что вы рассказали, вся ваша жизнь проходила, так сказать, в польском окружении. Но вы отлично владеете немецким!

— За три с половиной столетия немцы выучили нас, поляков, своему языку.

— Вы уверены, что область, в которой вы жили, некогда принадлежала Польше?

Урсула ничего не ответила, только презрительно пожала плечами.

— Видите ли,— как бы пояснил свою настойчивость Стюарт,— большинство собравшихся здесь вряд ли хорошо знают историю Польши. Какие все-таки у вас основания считать город, в котором вы жили, польским?

— Пойдите на городское кладбище Мариенвердера,— с горечью ответила Урсула.— Там сохранились старинные надгробия. Прочтите надписи на них. Там одни польские имена. Только польские! Мы всегда считали, что живем на польской земле, временно оккупированной немцами. Хотя эта оккупация длилась столетия...

— Как сложилась ваша жизнь после окончания гимназии? — спросил Стюарт.

— В тридцать девятом году, в первые же дни войны, немцы начали свирепые гонения на поляков. Гимназия была закрыта, учителя разогнаны. Мой отец, как активист польского движения, был арестован. Его увезли. Я не знаю куда. Больше мы о нем ничего не слыхали...

Еще несколько минут назад Воронов испытывал к Урсуле только ненависть. Смысл провокационной затеи Стюарта был еще не вполне ясен ему, но ее антисоветская направленность не вызывала сомнений. То, что Урсула пошла на поводу у Стюарта, целиком определяло отношение Воронова к этой особе.

Но теперь судьба Урсулы заинтересовала Воронова. Он начинал понимать, почему в «Андерграунде» она с такой необъяснимой горечью, с таким болезненным сарказмом отнеслась к его упоминанию о польском танго «Мале́нька Манои»...

— Вскоре арестовали мою мать и меня,— продолжала Урсула.— Мы потеряли друг друга. Я оказалась в лагере Майданек, под Люблином. Через несколько месяцев мне удалось бежать...

С каждым словом голос Урсулы становился все более глухим и хриплым.

— Я долго плутала в лесах. Мне помог бог. Я набрела на лагерь польских партизан.

— Это были партизаны Армии Крайовой, так называемой «АК»? — поспешно прервал ее Стюарт.

— Конечно. А какие же еще? — с недоумением переспросила Урсула.

— Да, да, разумеется, — еще поспешнее произнес Стюарт.— Продолжайте, пожалуйста.

— Я была партизанской разведчицей. Ходила в деревни, занятые немцами. Меня принимали за немку.

Эта девушка со столь трудной судьбой теперь вызывала у Воронова сочувствие.

— Меня использовали также для связи с организациями «АК» в генерал-губернаторстве...

— Генерал-губернаторством немцы называли Польшу с центром в Варшаве,— пояснил Стюарт, обращаясь к залу.

— Так я попала в Варшаву. У меня было поручение к генералу Бур-Коморовскому. Но я не смогла до него добраться. На другой день вспыхнуло восстание...

— Одну минуту!— остановил Урсулу Стюарт.— Я хотел бы напомнить, что речь идет о трагическом Варшавском восстании. Жители Варшавы знали, что Красная Армия вышла на противоположный берег Вислы, то есть подошла вплотную к Варшаве, и взяли в руки оружие в полной уверенности, что Россия им поможет. Верно, мисс Кошарек?

Воронов разом понял все. Вот, значит, куда клонил Стюарт! Вот что было главным в разработанном им антисоветском спектакле!

Ах, если бы здесь оказался сейчас Эдмунд Османчик! В присутствии этого польского журналиста

любая ложь о Варшавском восстании была бы доказательно опровергнута.

Воронов огляделся, но Осмачика в зале не было. Либо Стюарт сознательно не пригласил его, либо Осмачик выехал куда-то из Берлина.

«Что ж, придется принимать огонь на себя!» — подумал Воронов.

Ему, конечно, были известны попытки западной пропаганды доказать, что советское командование якобы «предало» восстание варшавян. Но ему казалось, что эта злобная легенда уже давно разоблачена. Последующая совместная борьба за освобождение Польши, в которой солдаты Красной Армии и Армии Войска Польского сражались бок о бок, должна была окончательно развеять эту легенду.

Но то, что происходило сейчас на его глазах, убеждало Воронова в обратном. Оказывается, антисоветская легенда была жива и возрождалась именно тогда, когда в Цецилиенхофе обсуждался польский вопрос...

«Верно, мисс Кошарек?..»

«Неверно! Ложь!» — хотелось крикнуть Воронову. Но он сдержался. Пусть Стюарт скажет нечто такое, что можно будет разоблачить сразу же — коротко и неопровержимо.

— Да, это сущая правда,— ответила Урсула.— Я понимала, что наши ожидания напрасны, что Польша не может ждать добра от русских, — продолжала она все более ожесточенно,— все мы в Армии Крайовой знали это. Ведь русские уже не раз делили Польшу, расщепляли ее, как дровосек полено. И все же... И все же я думала, что при виде истекающей кровью Варшавы русские перешагнут через свою неприязнь к Польше и помогут нам. Ведь Гитлер был нашим общим врагом! Но русские спокойно смотрели, как гитлеровцы истребляли нас, как давили танками почти безоружных людей, как взрывали Варшаву квартал за кварталом, дом за домом... Они не захотели нам помочь!

— Это ложь!—громко, на весь зал крикнул Воронов по-английски.

Мгновенно все головы повернулись к нему.

— Кто это сказал? — насмешливо и вместе с тем угрожающе спросил Стюарт.— Я прошу,— с наигранным возмущением продолжал он,— я прошу джентльмена, оскорбившего мученицу Варшавы, назвать свое имя и сообщить, какую газету он представляет.

Стоявший рядом с Вороновым Брайт крепко сжал его руку выше локтя.

— Не связывайся,— тихо, но настойчиво сказал он.— Разве ты не видишь, что у них все разыгрывается как по нотам...

— Отстань! — грубо ответил Воронов, резким движением вырвал руку и стал протискиваться вперед.

Когда он вышел к столу, разом вспыхнули прожекторы, защелкали и застрекотали фотоаппараты и кинокамеры.

Воронов не думал сейчас о том, что никто не поручал ему не только выступать, но и присутствовать на этом сборище. Он был весь во власти гнева. Сочувствие к Урсуле мгновенно исчезло. Стало окончательно ясно, что она была сознательным и активным действующим лицом этого гнусного спектакля.

Глядя прямо в зал, Воронов громко сказал:

— Михаил Воронов. Советский Союз. Советское Информационное Бюро.

— Очень приятно,— с издевкой произнес Стюарт.— Но в цивилизованных странах принято задавать вопросы после того, как оратор закончит свое выступление...

— Какое выступление? — резко прервал его Воронов.— То, что здесь происходит, напоминает допрос. С той только разницей, что все заранее договорено и отрепетировано. И вопросы, и ответы.

В зале раздался одобрительный гул. Это подстегнуло Воронова. На мгновение он забыл, в какой аудитории находится. Переполнившие зал западные журналисты просто-напросто обрадовались, что их, судя по всему, ждет новая сенсация.

Тотчас оценив обстановку, Стюарт сказал спокойно и рассудительно:

— Столь грубой реакцией на слова представительницы Польши мистер русский журналист лишь подтвердил, что мнение мисс Кошарек об отношении России к ее стране не лишено веских оснований.

Как ни странно, спокойствие Стюарта, хотя и явно наигранное, передалось Воронову и помогло ему взять себя в руки. Он уже понял, что поступил опрометчиво, что западные газеты могут этим воспользоваться, но отступать было поздно.

— Госпожу Кошарек, судя по всему, вряд ли можно назвать представительницей Польши,—подражая спокойно-снисходительному тону Стюарта, произнес Воронов.— Вы, госпожа Кошарек, сказали, что были посланы в Варшаву с поручением к Бур-Коморовскому?

— Я должна отвечать этому человеку? — неприязненно спросила Урсула.

— Это целиком зависит от вас,— пристально глядя на нее, сказал Стюарт. Этим взглядом он как бы давал понять, что ей следует высказать свое возмущение и отказаться от дальнейших переговоров.

— Хорошо, я отвечу,— надменно и словно вопреки взгляду Стюарта, произнесла Урсула.— Да, я была послана в Варшаву с поручением к Бур-Коморовскому.

— Вы выполнили это поручение? — спросил Воронов.

— Нет.

— Почему?

— Мне сказали, что штаб генерала находится в подвале банка. Но он был выбит оттуда немцами, когда началось восстание. По слухам, генерал перебрался на одну из улиц, пересекавших Маршалковскую, но я не могла узнать, на какую именно.

— Что же вы делали во время восстания?

— То же, что каждый честный поляк. Сражалась! Как рядовой боец и как сестра милосердия. Моя мать была до замужества медицинской сестрой. Она научила меня.

— От кого вы узнали, что Красная Армия находится якобы рядом?

— Это знали в Варшаве все. Грохот вашей артиллерии отчетливо слышался из-за Вислы.

— Кто сказал вам, что Красная Армия не хочет помочь варшавянам? Бур-Коморовский?

— Он наверняка сказал бы мне это, если бы мы встретились.

— Он солгал бы.

— Какое вы имеете право! — с ненавистью глядя на Воронова, воскликнула Урсула.— Я была в те дни в Варшаве. Я все знаю! Мне неизвестно, где были в то время вы, но...

— Я был не так уж далеко от вас,— прерывая Урсулу, отчеканил Воронов.— В штабе маршала Рокоссовского.

По залу снова пронесся шум. Снова вспыхнули прожекторы. Объективы кино- и фотокамер опять нацелились на Воронова.

Мысль о том, что его фотографии могут появиться в западных газетах и черт знает с какими комментариями, все больше тревожила Воронова. Но это опасение не сковало его, не заставило растеряться или искать путь к отступлению. Он, что называется, закусил удила...

— Чем вы можете доказать это, мистер Воронов? — настороженно спросил Стюарт.

— Вы, кажется, представляете газету «Дейли рекордер»? — спросил его Воронов.— В одном из номеров этой газеты именно в дни Варшавского восстания была напечатана моя корреспонденция из войск Рокоссовского. Если вы сомневаетесь, запросите свою редакцию. Но дайте обязательство сообщить на следующей пресс-конференции так это или не так.

В зале раздался сочувственный смех.

— О'кей, Майкл-бэби! Крой дальше! — весело воскликнул кто-то. Воронов узнал голос Брайта.

— Простите, сэр,— сказал Стюарт, поднимая руку, чтобы установить тишину,— но какое отношение все это имеет к тому, что сказала мисс Кошарек? Допустим, вы и в самом деле находились тогда в штабе Рокоссовского. В таком случае вы лучше, чем кто-нибудь другой, можете подтвердить, что ваша армия бросила варшавян на произвол судьбы. Не так ли?

Иронически посмотрев на Воронова, Стюарт обвел зал победным взглядом.

— Наоборот, мистер Стюарт,—ответил Воронов.

— Что именно «наоборот»?

— Все, что вы изволили сказать.

— Может быть, вы будете так любезны и уточните?

— Охотно! Все, что фрау или пани Кошарек говорила здесь о поведении советских войск и что вы, мистер Стюарт, так горячо поддерживаете,— ложь от начала до конца.

— В таком случае не поделитесь ли вы с нами своей правдой? — Стюарт старался говорить надменно-саркастически, но в голосе его неожиданно послышались растерянные нотки.

— Начать с того,— резко сказал Воронов,— что 1 августа, когда вспыхнуло восстание, советские войска находились еще на расстоянии многих десятков километров от Варшавы. Измотанные предыдущими многодневными боями, они остро нуждались в пополнении людьми и вооружением. Наступать дальше без этого они не могли.

— Вы хотите сказать,— прервал Воронова Стюарт,— что руководители восстания выбрали для него самый неподходящий момент? О чем же они, спрашивается, думали? Хотели бесцельно погибнуть?

— О нет! — воскликнул Воронов, с радостью чувствуя, что зал внимательно слушает его. — Цель у них была!

— Но какая?

— Они недаром приурочили начало восстания к переговорам между Польским комитетом национального освобождения и представителями Лондонского эмигрантского правительства. Эти переговоры должны были начаться в Москве в первых числах августа. Вам все еще непонятно, мистер Стюарт?

— Вы имеете в виду...

— Я вижу, вы начинаете понимать! Да, я имею в виду, что организаторы восстания предприняли демонстрацию сил в поддержку эмигрантского правительства и против демократической Польши. Если бы авантюра удалась и восстание чудом оказалось успешным, следующим шагом был бы переезд «лондонских поляков» в Варшаву. Таков был план возрождения панской Польши.

— Слушайте, вы! — раздался пронзительный, истерический выкрик Урсулы. — Какое право вы имеете называть авантюристами патриотов, которые предпочли умереть, чтобы не жить на коленях?!

— Я никогда не посмел бы назвать этих людей авантюристами,— быстро ответил Воронов. — Авантюристами были те, кто, заведомо располагая всего лишь несколькими сотнями винтовок и не более чем десятком пулеметов, бросили почти безоружных варшавян в бой против вооруженного до

зубов двадцатитысячного фашистского гарнизона. Авантюристами были те, кто не позаботился о выводе из строя городских коммуникаций — хотя бы мостов! — и тем самым дал гитлеровцам возможность подтянуть в Варшаву свои резервы. Авантюристами были те, кто не пожелал даже сообщить советскому командованию о готовящемся восстании. Рокоссовский узнал о нем только 2 августа. Я могу клятвенно подтвердить это, потому что случайно оказался тогда на его командном пункте.

— Интересно, как же маршал реагировал на это известие? — язвительно спросил Стюарт. Он уже справился с минутной растерянностью.

— Если вы оглохли, сэр,— ответил Воронов, сознавая, что становится грубым,— то другие слышали, что я сказал. Войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов, освободившие к тому времени восточную часть Польши и за сорок дней прошедшие с тяжелыми боями почти семьсот километров, были измотаны и не могли немедленно предпринять новое серьезное наступление.

— Значит, они отдыхали?

— Нет, черт возьми! Отдыхало эмигрантское правительство в Лондоне. Наши войска отбивали ожесточенные контратаки гитлеровцев севернее и южнее Варшавы! Но как только представилась возможность непосредственно помочь восстанию,— а все знают, что оно длилось целых два месяца! — на центральном участке 1-го Белорусского фронта началось наступление. Оно велось совместно с частями Войска Польского.

— Но оказалось бесцельным?

— Нет! В сентябре была с ходу форсирована Висла, уже в пределах самой Варшавы. На левом берегу реки удалось создать несколько плацдармов.

— Почему же русским и этому самому «Войску» не пришло в голову объединиться с повстанцами и помочь им хотя бы авиацией? Мы, англичане, до этого додумались!

— Вы хотите знать, почему? — в ярости крикнул Воронов. — Потому, что командование Армии Крайовой эвакуировало своих бойцов подальше от этих плацдармов, предоставив фашистам возможность снова захватить их. Оно боялось, что части Войска Польского объединятся с повстанцами. Это означало бы, что все попытки возродить антисоветскую панскую Польшу потерпели окончательный крах! Что же касается авиации, то позвольте спросить вас, мистер Стюарт, вы видели, как английские летчики действовали над Варшавой?

Стюарт промолчал.

— А я видел! Ваши самолеты — их было совсем немного! — летали на высоте нескольких тысяч метров — так безопаснее! — и сбрасывали свои грузы абсолютно бесцельно! Большинство этих грузов оказывалось за пределами города, а может быть, и попадало прямо в руки к немцам!

— А вы, разумеется, доставляли свои грузы прямо Бур-Коморовскому?

— Наши самолеты, как правило, шли над Варшавой бреющим полетом. Их сбивали, на смену им приходили другие. Только за месяц наши летчики произвели более десяти тысяч самолето-вылетов и сбросили повстанцам десятки, сотни тысяч автоматов, минометов, гранат, тонны медикаментов. Я сам видел, как это делалось! Сам!

— Но никаких других попыток связаться с повстанцами ведь не было, правда?

— Неправда! В Варшаву были посланы разведчики с заданием установить связь с повстанцами. Я лично знал одного из этих разведчиков — Ивана Колоса. Запомните эту фамилию! Но Бур-Коморовский отказался от нашей помощи.

— Этого не могло быть! — воскликнул Стюарт. — Вы хотите сказать, что Бур-Коморовский был самоубийца?

— Нет,— покачал головой Воронов,— он был убийца! Десятки тысяч варшавян, восставших против гитлеровцев, были патриотами и героями. Мы чтим их светлую память. Но только убийца мог призвать к восстанию почти невооруженных людей, бессильных в борьбе с немецкими танками и артиллерией!

— А русские тем временем стояли на другой стороне реки и хладнокровно смотрели...

— Это ложь, слышите? Наглая ложь! — То, что Стюарт продолжал повторять лживую сказку, привело Воронова в неистовство. — Я уже сказал, что русские не «стояли» и не «смотрели»! Я знаю то, чего, наверное, не знает пани Кошарек и о чем сознательно умалчиваете вы, мистер Стюарт!

Многого и я тогда еще не знал. Ведь война только недавно кончилась. Ход Варшавского восстания, как и многих других событий и сражений минувшей битвы, еще не был детально проанализирован военными специалистами.

Пройдут годы, прежде чем маршал Рокоссовский напишет свои мемуары, в которых расскажет о варшавской трагедии и о действиях советских войск.

В июле же сорок пятого года, когда происходила сегодняшняя схватка со Стюартом, Воронов мог полагаться только на собственную память. В каких-то деталях он мог и ошибиться, но главное знал совершенно твердо. Знал не из вторых рук, а как свидетель и участник событий. Знал, где стояли войска Рокоссовского, когда пришло известие о том, что в Варшаве началось восстание. Знал о героических попытках прийти на помощь восставшим, о жертвенных, самоубийственных полетах советских летчиков, доставлявших варшавянам оружие, медикаменты и продовольствие. Знал о том, что произошло в Варшаве с разведчиком

Иваном Колосом — ему одному из посланных удалось вернуться, и он сам рассказывал о своих тщетных попытках договориться с руководителями АК о согласованных, совместных боевых действиях.

Это была чистая правда, и ею напрочь опровергалась заведомая ложь пани Кошарек и мистера Стюарта...

— Я был там, понимаете, был! — гневно кричал Воронов. Им владело сейчас только одно страстное желание — разорвать липкую, ядовитую паутину лжи, которой Стюарт пытался опутать собравшихся здесь людей.

На какое-то время он забыл и о Стюарте и об Урсуле. Он видел измученного бессонными ночами и многодневными кровопролитными боями Рокоссовского, к которому с трудом тогда добрался, видел офицеров-разведчиков, тщетно пытавшихся найти путь форсирования Вислы, которую держали под огнем сотни немецких орудий и самолетов, видел Ивана Колоса, только что вернувшегося из пылающей Варшавы...

Стюарт несколько раз пытался прервать Воронова, но безуспешно.

Наконец, Воронов задохнулся и смолк. Перед ним постепенно, как из тумана, стали выступать лица сидевших в зале журналистов. В толпе у входа он разглядел Брайта. Чарли высоко поднял руку, образуя колечко большим и указательным пальцами. Это должно было означать: «О'кей!»

— Мы вас внимательно слушали, мистер Воронов,— заговорил меж тем Стюарт,— хотя в вашей речи было гораздо больше эмоций, чем реальных доказательств. Вы пытались убедить нас, что русские горели желанием помочь полякам. У меня есть факты, свидетельствующие об обратном.

Лицо Стюарта побледнело, золотые очки выделялись на нем особенно отчетливо. Видно было, что ему с трудом удается сохранять хотя бы внешнее спокойствие.

— Какие у вас есть факты? Какие?! — в упор глядя на Стюарта, спросил Воронов.

— Вот один из них. Мне хорошо известно, что премьер-министр Великобритании посылал телеграммы мистеру Сталину, буквально умоляя его помочь полякам...

— Ах, это вам известно! — саркастически воскликнул Воронов, хотя понятия не имел, о каких телеграммах шла речь. — А мне известно другое! Когда англо-американские войска попали в немецкую мясорубку в Арденнах, ваш премьер действительно умолял нас выручить их. Мы немедленно предприняли наступление по всему фронту, хотя планировали его на более поздние сроки. И выручили вас, выручили! Спасли десятки тысяч ваших солдат и офицеров от неминуемой гибели! Вот как мы отвечали на просьбы союзников.

— Но я говорю сейчас не об Арденнах, а о Польше! — уже явно теряя контроль над собой, резко возразил Стюарт. — Тогда просьба Черчилля встретила холодный, бесчеловечный отказ Кремля!

— Не верю! — крикнул Воронов. — Если мы не выполнили такой просьбы, значит, не могли!

— Это, конечно, веское доказательство! — насмешливо произнес Стюарт. — Разумеется, вас информировал об этом сам Сталин?

— А вас — премьер-министр?

— Не скрою, да! Я не раз беседовал с ним.

— Тогда спросите вашего премьера, с какой целью он держит в своей зоне почти готовые к дальнейшим боям гитлеровские войска? Против кого он хочет их бросить?! Это предательство!

— Что?! — громким фальцетом воскликнул Стюарт.

Снова вспыхнули прожекторы. Журналисты вскочили, точно по команде, вскидывая свои аппараты.

— Это ложь, ложь, ложь! — окончательно теряя самообладание, закричал Стюарт.

— Полегче, Вилли! — раздалось вдруг из зала. — Парень говорит правду!

Это был голос Брайта.

Тотчас же послышались выкрики: «О чем речь? Факты! Какие войска? Факты, факты!..»

Воронов стоял в оцепенении, ослепленный светом «юпитеров». Он проклинал себя за то, что у него вырвались эти слова. Доведенный до предела клеветническими измышлениями, которые одно за другим нагромождал Стюарт, он не выдержал и сорвался. Нет, он не раскаивался ни в едином слове, которое произнес, защищая честь своей страны, честь Красной Армии. Но выдвигать такое обвинение лично против Черчилля он не смел, не имел права! Кто знает, каковы будут последствия того, что он натворил! Своим заявлением он, возможно, нанес вред стране, ее внешней политике, Конференции, которая сейчас происходит!

Сознавать все это было для Воронова истинной пыткой.

Но в эту минуту произошло то, чего меньше всего можно было сейчас ожидать. Дверь широко распахнулись, и в зал медленно вошли один за другим несколько официантов в белых куртках. Они несли подносы, уставленные высокими стаканами и рюмками. В них были напитки самых разных цветов. В накаленной атмосфере, которая царила в зале, торжественное шествие официантов произвело трагикомическое впечатление.

Воронов стал пробираться к выходу. Его пытались задержать, хватали за плечи, за руки, за полы пиджака, на ходу задавали вопросы. Он ничего не чувствовал и не слышал.

Оказавшись иа улице, Воронов огляделся. «Как я доберусь отсюда домой?» — безиадежно подумал он.

— Хэлло, бой! — услышал он голос за своей спнной. — Ну н представлеине ты им устроил! Запомнят иадолго!

— Ты отвезешь меия?.. — едва шевеля пересохшнми губамн, спросил Воронов.

— А для чего же я здесь? — восклнкнул Брайт.

По дороге Чарли все время что-то говорил, о чем-то спрашнвал. Но Вороиов инчего не слышал. Ои думал только о том, что должен как можио скорее увидеть Карпова. Увидеть его н рассказать ему обо всем, чтобы хоть этим предупредить возможные последствня своего поступка. Воронов поинмал, что этн последствия, масштаба которых ои ие мог предусмотреть, уже неотвратнмы...

Глава двенадцатая

«Я СКАЗАЛ ПРАВДУ!..»

Время прнтупляет остроту воспомнианнй.

Когда сыи, тогда еще школьник, просил меня рассказать ему «самое-самое» страшное, что случилось мие нспытать на войне, я старался вспоминть, что же в самом деле было таким «самым-самым»?

Обороиа командного пуикта дивнзии, когда к иему прорвалнсь иемцы? Я вндел их в двух-трех десятках метров от себя. Они приближалнсь короткнми перебежками или ползком по глубокому снегу, а я палил сиачала из своего бессильиого в таком бою пистолета «ТТ», а потом из автомата ППШ, подобраииого возле убитого рядом со мной днвизиоиного парикмахера. Палнл иаугад. Когда сын с детской настойчнвостью спрашивал, сколько я убнл фашистов, отвечал: «Не зиаю...»

Сын был разочарован. Я пытался растолковать ему, что еслн страх н охватывает тебя иа войне, то чаще всего ие в бою, а накануие, во время ожндания этого боя. И еще когда ты нз солдата превращаешься в беспомощиую мишень. А иногда и после боя, когда вспоминаешь, как все было...

Сыи меня ие поннмал. Я рассказал ему, как укрывался одиажды под танком, где уже пряталнсь иесколько бойцов. Ноги мои торчалн иаружу, а над танком — мие казалось, что прямо над ним, — проиоснлнсь один за другим иемецкне штурмовики. Звук пулеметиых очередей сливался с гулкой дробью, которую вызваиивали пули иа танковой броие...

Потом я говорил малеиькому Сергею, что самым страшиым, пожалуй, было другое. Впервые перейдя в наступление и с боями ворвавшись в смоленскую деревеньку, изваиие которой я уже давно забыл, наша дивнзия наткиулась на сплошное кладбище. Всю деревню немцы превратили в кладбище, только развороченное. Всюду валялнсь нзуродованные, оскверниеиные, нсколотые штыкамн трупы деревенских жителей...

Может быть, это было самым страшиым, что мие прншлось пережить на войне?

Но, пожалуй, иикогда, ие только во время войны, но и за всю мою жизнь, не нспытывал я такого смятения чувств, как после устроеиной Стюартом «пресс-коиференции»...

Уже ннкто не стрелял, ие рвалнсь снаряды, ничто не угрожало моей жизни. А я нспытывал леденящий страх. Нет, я боялся не за свою судьбу. Все самые ужасиые для меня лично последствня, которые я счнтал неизбежнымн, не шлн нн в какое сравненне с терзавшим мою душу сознанием, что в своей непростнтельной запальчнвостн я поддался иа провокацню, позволнл себе публнчный выпад протнв главы союзного государства, почтн открыто обвниил его в заговоре против иашей страны и в предательстве. И это в те дни, когда проходнла Коиференцня, целью которой было продолжнть и укрепнть антнфашнстскую коалицню, сложнвшуюся в годы войиы...

Мне казалось, что я наиес своей страие удар в спину. Протестуя против провокации, сам оказался в роли провокатора...

Ровно тридцать лет спустя в Хельсинки, вернувшись в свой иомер из бара гостнницы «Марски», я лежал без сна и вновь вспомниал событня тех далекнх лет.

Почему я вспомнил сейчас о Стюарте? Коиечио, превращенне аиглнйского журиалиста сороковых годов в американского капиталнста семидесятых само по себе было весьма зиаменательио. Но все-таки вспоминл я Стюарта главиым образом нз-за Брайта. Больше всего нитересовал меия нмеино Брайт. Рассказав о киите, которую иаписал Чарли, Стюарт словно бросил камеиь в спокойиые, уже устоявшиеся воды. От этого с снлой брошениого камня сразу пошли круги. Ведь если бы не Брайт, я никогда ие попал бы иа эту злосчастиую «коктейль-партн»...

Я почти ие слышал того, что Брайт говорил мне по дороге. Помию только: он ие ругал меия за то, что я предал гласиости ту информацию, которую получнл от него. Помню еще, что так н ие поблагодарил Чарли за его ободряющнй выкрик из зала, когда, отбиваясь от атак Стюарта, я перешел в контратаку.

Не заходя к Вольфам, я, как лунатик, перешел из «Виллиса» в «эмку» и не сразу понял, что Гвоздков спрашивает меия, куда ехать. Накоиец смысл его вопроса дошел до меня.

— На объект! — коротко сказал я Гвоздкову и с горечью подумал: недолго мне теперь оставаться на этом объекте!..

Я решил сразу ехать к Карпову. Необходимо было немедленно доложить обо всем случившемся. Разумеется, я мог бы сообщить об этом и офицерам из Бюро Тугаринова, но сейчас, поздним вечером, я вряд ли застал бы в Карлсхорсте кого-нибудь, кроме дежурных.

Впрочем, честно говоря, я обманывал себя. Я хотел прежде всего встретиться с Карповым по другой причине. В глубине моей души теплилась надежда, что если я и могу надеяться на какое-нибудь, пусть самое незначительное снисхождение, получить самый разумный и дельный совет, то мне следует прежде всего обратиться именно к Карпову. Он знал меня в трудные месяцы войны. Он поймет, что не просто легкомыслие было причиной моего недопустимого срыва. Сумеет поставить себя на мое место...

Однако Воронова ждало очередное разочарование: генерал так и не вернулся в Бабельсберг. Дежурный майор сказал, что Карпов заночует в Карлсхорсте и прибудет завтра в десять ноль-ноль.

Мчаться в Карлсхорст было бессмысленно. Где там искать Карпова? Он мог заночевать у кого-либо из своих друзей-генералов. Кроме всего прочего, врываться на ночь глядя в гражданской одежде в Ставку Главнокомандующего советскими оккупационными войсками в Германии было бы по меньшей мере глупо.

Воронов поехал к себе. Поднялся в свою комнату. Зажег свет. Записные книжки, начатая, но так и не оконченная статья... К чему все это теперь? «Не статью писать, а укладывать пожитки — вот что мне следует теперь делать!» — с горечью подумал Воронов.

Потом сказал себе: нет, я должен сейчас же сесть за стол и написать обо всем, что произошло. Ничего не утаивая и не преуменьшая своей непростительной вины. Вместе с тем дать представление о той обстановке, в которой он совершил свой проступок. Ведь там не было ни одного советского человека. Объективно изложить все случившееся может только он, Воронов.

Кому адресовать докладную? Это скажет Карпов, когда завтра прочтет ее. Сейчас нужно изложить все на бумаге. Все, начиная со встречи с Брайтом.

Воронов сел за стол, придвинул к себе лист чистой бумаги и написал первые строки: «Как коммунист и советский журналист, считаю своей обязанностью доложить, что...»

...Воронов заснул лишь под утро. Когда проснулся и посмотрел на часы, было уже девять. Вскочил и быстро оделся. О завтраке даже не подумал. Наскоро, по армейской привычке, побрился: что бы ни случилось, к начальству следует являться свежевыбритым. Собрал исписанные за ночь листки. Порвал черновики. Без четверти десять вышел из дома...

Карпов был на месте, но у него уже шло совещание. Пришлось ждать. Воронов вышел на улицу и стал прогуливаться взад-вперед, то и дело оглядываясь на подъезд. Но на улицу никто не выходил: совещание, видимо, продолжалось.

Оно окончилось, когда часы показывали уже без десяти одиннадцать. Перескакивая через ступени, Воронов быстро поднялся на второй этаж. Постучал, громко спросил: «Разрешите?» — и одновременно открыл дверь.

Карпов сидел за столом. В комнате было накурено.

— Что у тебя, Михайло? — как показалось Воронову, недовольно спросил генерал. — Я сейчас очень занят.

— Прошу принять меня по неотложному делу, — все еще стоя в дверях, произнес Воронов.

Очевидно, в голосе его прозвучало нечто такое, что заставило Карпова насторожиться.

— Входи, — нахмурившись, сказал он. — Что за дело?

Воронов шагнул вперед.

— Вчера я совершил проступок, о котором обязан доложить.

Подойдя к столу, он протянул Карпову свою докладную.

Карпов пробежал глазами первые строки, полистал страницы — их было много — и ворчливо сказал:

— Нет у меня времени читать твою писанину. Да и почерк у тебя... Словом, садись и рассказывай. Коротко, без беллетристики. Что там у тебя случилось?

Воронов начал свой рассказ, чувствуя, что говорит деревянным, чужим голосом. Старался ничего не упустить. Он был рад, что Карпов не прерывает его. Генерал слушал внимательно, хотя и по-прежнему нахмурившись.

Воронов еще не успел рассказать самое главное, как зазвонил телефон.

«Сейчас его вызовут куда-нибудь, — с отчаянием подумал Воронов, — и он уйдет, так и не выслушав меня...»

Карпов взял трубку, и буквально через секунду лицо его изменилось. Выражение досады и недовольства сменилось напряженной сосредоточенностью.

— Так точно. Здесь, — сказал Карпов.

Последовала пауза.

— Есть! — сказал Карпов. — Понял. Сейчас скажу.

Он осторожно повесил трубку и посмотрел на

Воронова странным взглядом, в котором смешались тревога и сочувствие.

— Тебе надо идти, Воронов,— сказал он.

— Товарищ генерал! — умоляюще воскликнул Воронов. — Василий Степанович! Разрешите мне договорить... Я еще не успел рассказать о самом главном.

— Иди, Михайло,— прервал его Карпов. — За тобой сейчас приедут.

— Куда идти? — растерянно спросил Воронов.

— К подъезду.

— Кто приедет? Зачем?

— Иди! — повторил Карпов. — Если надо, подожди у подъезда. Иди. Не трать времени.

Он встал. Вслед за ним поднялся со своего места и потерявший дар речи Воронов.

— Всего тебе... — необычным для него тоном проговорил Карпов. — Иди! — Он вышел из-за стола и дотронулся рукой до плеча Воронова, то ли ободряя его, то ли подталкивая к двери.

У подъезда не было никого, кроме дежурившего здесь автоматчика в пограничной форме. «Кого же я должен здесь ждать? — с нарастающей тревогой подумал еще не пришедший в себя Воронов. — И сколько времени?»

Ждать пришлось недолго. Не прошло и трех-четырех минут, как он увидел быстро приближавшуюся машину. Это был черный «ЗИС-101». Он мчался по улице и резко затормозил у подъезда. Почти одновременно его передняя дверца открылась, и на тротуар выскочил полковник в погонах с малиновой окантовкой.

Поначалу Воронову и в голову не пришло, что такая машина могла приехать за ним.

— Товарищ Воронов? — подходя к нему, вполголоса спросил полковник.

— Так точно,— автоматически ответил Воронов.

— Садитесь,— сказал полковник. И, что было уже совсем невероятно, распахнул заднюю дверцу машины.

Воронов сел. Полковник занял свое прежнее место рядом с водителем. Воронов успел заметить, что за рулем сидел лейтенант.

Машина рванулась с места.

«Куда мы едем? К кому?!»— хотелось спросить Воронову. Его охватило недоброе предчувствие. То, что происходило с ним сейчас, конечно, было связано со случившимся вчера — в этом Воронов не сомневался. Но кто и как мог узнать о случившемся? Ведь у Стюарта не было никого из советских людей. А Карпов не успел не только прочесть докладную, но даже выслушать Воронова...

Ему снова захотелось обратиться к полковнику. Но тот сидел впереди, не оборачиваясь, и Воронов чувствовал его отчужденность. Вероятно, следовало осмотреться, чтобы выяснить, куда они едут, но Воронову сейчас было не до того.

Почувствовав легкий толчок, он понял, что машина остановилась. Полковник вышел первым и снова открыл заднюю дверцу.

Выйдя из машины, Воронов оказался в двух шагах от хорошо знакомого дома за решетчатой оградой. Охранявшие этот дом автоматчики вытянулись при виде полковника. Следуя за ним, Воронов одеревеневшими, негнущимися ногами переступил ступени и вошел в дом. Большая комната была полна людей в военной форме. «За мной, пожалуйста!» — вежливо, но не оборачиваясь, по-прежнему отчужденно сказал полковник и направился к лестнице, которая вела на второй этаж. По ней навстречу им спускались какие-то люди.

Неуловимым быстрым движением полковник не то чтобы оттолкнул Воронова, но встал перед ним, потом шагнул назад, тем самым заставляя Воронова отступить, и застыл на месте. Из-за его плеча Воронов увидел, что по лестнице медленно спускаются Молотов, Громыко и Гусев.

Не глядя ни на вытянувшегося и поднесшего ладонь к козырьку фуражки полковника, ни на одеревенело стоявшего за его спиной Воронова, все трое прошли мимо, о чем-то вполголоса переговариваясь.

Полковник выждал еще несколько секунд.

— Наверх, пожалуйста! — сказал он и стал подниматься по лестнице.

В небольшой комнате, где они оказались, за столом сидел незнакомый Воронову генерал с наголо бритой головой. Полковник молча посмотрел на него. Генерал молча кивнул.

Постучав в плотно прикрытую дверь, полковник вошел, спустя мгновение вернулся и сказал Воронову:

— Войдите.

Одернув пиджак, словно это был военный китель, Воронов вошел.

В глубине комнаты, у окна с полуопущенной складчатой шторой, вполоборота к двери стоял Сталин.

— Что же вы остановились? — раздался его негромкий голос. — Входите.

Огромным усилием воли овладев собой, Воронов четко отрапортовал:

— Майор Воронов прибыл, товарищ генералиссимус!

— Прибыл,— с недоброй насмешкой повторил Сталин, не глядя на Воронова и не двигаясь с места. — Скажите... Что вы здесь делаете?

Сталин говорил с кавказским акцентом, но Воронов вспомнил об этом гораздо позже, когда пытался восстановить и закрепить в памяти все, что с ним произошло. Сейчас он думал только о том, что ему следует ответить.

«Где «здесь»?! — спрашивал себя Воронов. — В Берлине? Или в этом кабинете?»

— Почему молчите? — снова заговорил Сталин. — Я спрашиваю: что вы делаете в Потсдаме? Как сюда попали?

Он говорил, не повышая голоса, но в каждом его слове слышалась суровая недоброжелательность.

— Я корреспондент Совинформбюро,— растерянно ответил Воронов.

— Так. Значит, корреспондент,— повторил Сталин.

Он медленно подошел к стоявшему у стены письменному столу, взял какую-то бумагу и поднес к глазам. Потом небрежным движением бросил ее на стол.

— Западное радио сегодня утром сообщило,— не глядя на Воронова, сказал Сталин,— что советский журналист Воронов, выступая на пресс-конференции, позволил себе грубые выпады против главы союзного государства. Это вы, Воронов?

Сталин впервые посмотрел на него.

Воронов не знал, что Сталин неприязненно относится к людям, которые боятся смотреть ему в глаза. Но необъяснимое подсознательное чувство заставило его не опускать головы и посмотреть прямо на Сталина. Их взгляды встретились.

— Я, товарищ генералиссимус.

— Кто же дал вам такое право? — слегка сощурившись, произнес Сталин. — Дело корреспондента — писать, а не ораторствовать.

Воронов молчал, по-прежнему глядя Сталину прямо в глаза.

— Я спрашиваю: кто дал вам право неуважительно говорить о премьер-министре Великобритании? — снова спросил Сталин, на этот раз повышая голос.

Воронов внезапно почувствовал, что его оцепенение прошло. Так уже бывало в прошлом, когда он подвергался смертельной опасности. Предчувствуя эту опасность, он впадал в такое оцепенение. Но когда наступало время действовать, им овладевало единственное стремление: выполнить свой долг! Не думая ни о чем, выполнить его до конца.

— Я сказал правду, товарищ Сталин! — громко и отчетливо произнес Воронов.

— «Правду»? — повторил Сталин с усмешкой, все еще недоброй. — Значит, товарищ Воронов у нас правдолюбец...

— Да, когда дело идет о чести и достоинстве моей Родины!

Эти слова вырвались у Воронова невольно. Уже сказав их, он почувствовал, что они прозвучали торжественно-неуместно.

Сталин еще более сощурился и, покачав головой, сказал:

— Значит, получается так. Мы приехали сюда, чтобы укрепить отношения с союзниками. С Черчиллем в том числе. А товарищ Воронов считает нужным действовать наоборот. И при этом полагает, что заботится о чести и достоинстве нашей Родины. А мы о ней, выходит, не думаем...

Сталин произнес эти слова саркастическим тоном.

— Вы, кажется, военный человек,— продолжал он. — Или я ошибаюсь?

— Так точно, товарищ Сталин. Майор Красной Армии.

Сталин медленно подошел к Воронову и остановился напротив него.

— По законам военного времени вас следовало бы разжаловать и направить в штрафной батальон,— жестко произнес Сталин. — Но... —он сделал округлый жест рукой,— таких батальонов у нас больше нет. Война кончилась и... насколько я понимаю, не без вашего участия?.. Так?

Он указал на орденские колодки, прикрепленные к пиджаку Воронова, и на его лице появилось нечто вроде добродушной улыбки. Но это лицо тотчас приняло прежнее сурово-сосредоточенное выражение. Сталин пристально посмотрел на Воронова, словно желая проникнуть в самые потаенные глубины его души. Воронов заставил себя выдержать и этот взгляд.

Потом Сталин указал ему на один из стульев, стоявших перед письменным столом.

— Садитесь. Расскажите, как все было. Всю правду. Но покороче...

Некоторое время Воронов молчал. Он понимал, что обязан доложить обо всем очень коротко, в нескольких фразах. Прежде всего о том, почему он позволил себе публично обвинить Черчилля. Но он же не мог не рассказать и о том, что предшествовало этому обвинению! Умолчав об этом, он лишь усугубил бы в глазах Сталина свою вину.

Сталин тем временем медленно ходил по комнате. Только один раз он остановился у письменного стола, чтобы взять трубку с изогнутым мундштуком.

— Почему вы молчите? — спросил Сталин. — Следует ли это понимать так, что вам нечего сказать?

— Нет, товарищ Сталин! Мне есть что сказать! — воскликнул Воронов с решимостью, близкой к отчаянию.

— Тогда говорите.

Может быть, именно то, что Сталин продолжал, не оборачиваясь, ходить по комнате, помогло Воронову собраться с мыслями. Это вряд ли удалось бы ему, если бы он чувствовал на себе жесткий, пронизывающий взгляд.

Воронов говорил сбивчиво, горячо, быстро, стараясь ничего не упустить, обо всем рассказать, все объяснить.

Сталин ходил взад и вперед, изредка останавливаясь у стола, чтобы взять спички и зажечь погасшую трубку.

Воронов старался понять выражение его лица. Но ничего не мог прочесть на нем. Оно выглядело холодным и бесстрастным. Воронов не был даже уверен, что Сталин вообще слушал его, а не думал о чем-то своем.

Наконец, Сталин остановился у окна и, по-прежнему не глядя на Воронова, сказал:

— О том, что происходит в английской зоне, мы хорошо знаем. Но вы утверждаете, что этот английский газетчик...

— Стюарт!

— Вот именно, Стюарт. Что он лично связан с Черчиллем?

— Так говорят, товарищ Сталин. Брайт убеждал меня...

— А этот Брайт, по-вашему, заслуживает доверия?

— Он... — начал Воронов, но осекся. Брайт, несомненно, говорил правду. Но заслуживал ли он доверия вообще? Как можно со всей определенностью сказать Сталину «да» или «нет», когда речь идет о таком человеке, как Брайт?..

— Мне трудно ответить на ваш вопрос, товарищ Сталин,— сказал Воронов. — Я слишком мало знаю этого американца. Иногда мне кажется, что он честен и правдив. Но я никогда бы не смог поручиться...

Сталин по-своему истолковал его замешательство.

— С американцами это случается,— сказал он. — Сегодня —«да», а завтра... «применительно к обстоятельствам»... Но будем считать, что ваш американец не врет. Тогда надо сделать вывод...

Сталин посмотрел на Воронова, словно ожидая, что тот сам сделает этот вывод.

Но Воронов молчал.

— Надо сделать вывод,— продолжал Сталин,— что Черчилль хотел бы использовать против нас немецкие войска и... собственную прессу...

— Я убежден в этом, товарищ Сталин! — воскликнул Воронов. Он понял, что Сталин слушал его.

— Это, конечно, очень важно, что вы убеждены,— произнес Сталин. Воронов растерянно смотрел на него, не зная, как понимать эти слова: одобряет ли его Сталин или иронизирует.

Неожиданно Сталин спросил:

— За что вы получили орден Красного Знамени?

Резким движением поднявшись со стула, Воронов вытянулся и громко сказал, вернее доложил:

— За участие в боях против немецко-фашистских захватчиков... — И тут же смолк, поняв, что отвечает привычной фразой, не раскрывающей существа дела.

— ...и проявленный при этом героизм? — с усмешкой произнес Сталин.— Скажите конкретнее.

Воронов растерянно молчал.

— Или вы сами толком не знаете, за что вас наградили?

Кровь прихлынула Воронову к лицу. Иронии по поводу своего ордена он не мог простить никому. Даже Сталину.

— Я получил орден за бои под Москвой,— твердо и даже с вызовом сказал Воронов. — За оборону КП дивизии, к которому прорвались немцы.

— Что за дивизия? Кто ею командовал? — спросил Сталин.

— Полковник Карпов! — отчеканил Воронов. Он хотел добавить, что встретил Карпова, теперь уже генерала, здесь, в Бабельсберге, что именно ему докладывал о случившемся у Стюарта, однако не успел окончить доклад, потому что...

Но Сталин быстро спросил:

— Карпов? Который сейчас у Жукова?.. Но это значит, что комиссаром у вас был...

— Полковой комиссар Бакандзе! Он и вручил мне орден.

В лице Сталина внезапно произошла странная перемена. По нему пробежала мгновенная судорога. Боли? Страдания?..

— Он не дожил до нашей победы,— с горечью сказал Сталин. — Не дожил!..

Воронов не мог знать, что, напомнив Сталину о Бакандзе, он напомнил ему и о том, чем закончился три с половиной года назад разговор между ними.

Тогда Сталин сказал Ревазу Бакандзе: «Мы делали все, что могли, Резо. Почти все. Однако у нас были ошибки. Да, были ошибки. Допущен просчет. Но прежде чем сказать это народу, надо разбить врага».

Сталин отчетливо помнил, что сказал ему на прощание Бакандзе: «Это тот ответ, который хотел от тебя услышать. Остальное после победы».

Сталин дал этот ответ. Не только одному Бакандзе. Всему народу. В своей речи по случаю Победы он выполнил обещание, которое дал старому другу и соратнику.

Молчание длилось всего несколько мгновений. Потом снова раздался голос Сталина:

— Как долго вы находитесь в Германии? — Видя, что Воронов продолжает стоять, Сталин сказал: — Садитесь.

— С того времени, как наши войска в нее вступили,— ответил Воронов.

— Скажите, как наши войска ведут себя по отношению к немецкому мирному населению? — Сталин положил на стол трубку и остановился напротив снова занявшего свое место Воронова.

Это был еще один неожиданный переход. Казалось, Сталин окончательно забыл, с какой целью он вызвал сюда Воронова.

— Затрудняюсь сказать... Не знаю, товарищ Сталин,— ответил Воронов. — После всего того, что немцы творили на советской земле... Я думаю, наши ведут себя сдержанно. Хотя отдельные эксцессы...

— Отдельные эксцессы... — повторил Сталин. — Да. Русский человек отходчив. Ну, а немцы?

— Немцы? — переспросил Воронов. — Наверное, есть разные немцы. Одни хотели бы забыть гитлеровский кошмар и мирно трудиться. Но, конечно, есть и другие...

— Значит, две души у Германии?

Воронов не сразу понял, что имеет в виду Сталин.

— Существовало мнение, что Германию надо расчленить. Мы всегда были против. Германии следует оставаться единой. Но кое-кто уже сейчас делает ставку по крайней мере на две Германии. Мы — на ту, которая, по вашим словам, хочет мирно трудиться. На эту ее душу. Другие — на другую...

Сталин разговаривал как будто не с Вороновым, а то ли с самим собой, то ли с кем-то, кто находился за пределами этой комнаты.

— Я бываю в одной немецкой семье, товарищ Сталин,— сказал Воронов. Его недавний разговор с Вольфом имел прямое отношение к тому, что интересовало Сталина. — Глава ее — рабочий. Его завод разрушен, но он каждый день ходит к развалинам. Не может жить без работы. Недавно он спросил меня: «Что будет с Германией?»

— Что же вы ему ответили? — с интересом и в то же время строго спросил Сталин.

— Я ответил... — неуверенно сказал Воронов,— что будущая Германия должна принадлежать таким, как он. Рассказал о ялтинских решениях...

Он с тревогой ждал, как отнесется Сталин к его словам.

— Правильно сказали. Хотя и несколько упрощенно... — Сталин усмехнулся. — Если другим,— он сделал движение рукой в сторону окна,— когда-нибудь удастся расчленить Германию, товарищу Воронову придется отвечать перед этим немецким рабочим. Впрочем, вы тогда будете вправе переадресовать его к вашему другу Черчиллю.

Сталин задумался и возобновил свое хождение по комнате,— от окна к двери и обратно.

Воронов с радостью подумал, что его вина, очевидно, забыта и он прощен.

— Так что же с вами делать? — остановившись перед ним, негромко спросил Сталин. — Как вы сами расцениваете свой поступок?

Воронов вскочил.

— Виноват, товарищ Сталин,— упавшим голосом сказал он, понимая, что в эту минуту решается все его будущее, может быть, даже сама жизнь...

— Вам никогда не приходилось читать... — начал Сталин и вдруг замолчал, словно что-то припоминая.

— Что именно, товарищ Сталин? — спросил окончательно сбитый с толку Воронов.

— В каком-то старом романе,— видимо, так и не вспомнив, в каком, продолжал Сталин,— моряк ведет себя как герой. А потом совершает тяжелый проступок. Капитан приказывает за геройство наградить. А за проступок — расстрелять.

Воронов почувствовал, что его охватывает дрожь.

— Наказывать вас мы... не будем,— продолжал Сталин.— Однако и награждать вас не за что; смелость и резкость должна проявляться... уместно.

Он помолчал, потом медленно подошел к Воронову и, глядя на него в упор, сказал:

— Вам следует понять: мы приехали сюда, чтобы установить мирные и добрососедские отношения с союзниками. Это главная задача. Одна из главных. Поняли?

— Понял, товарищ Сталин.

— Сколько вам лет?

— Двадцать восемь, товарищ Сталин.

— Хороший возраст. У вас преимущество молодости. Но такое преимущество без чувства ответственности может нанести большой вред. В сочетании они обеспечивают победу. Я вижу, вы это понимаете. Теперь по крайней мере.

Воронов молчал.

— Вижу, что поняли. Хорошо... — Сталин немного помолчал и спросил: — Как вы здесь устроены? Есть какие-нибудь просьбы?

— Только одна, товарищ Сталин! — вскочив со своего места, горячо воскликнул Воронов. — Если бы мне разрешили хоть один раз побывать на Конференции! Все, к кому я обращался, говорят, что это совершенно исключено...

— Правильно говорят,— усмехнулся Сталин. — До свидания, товарищ Воронов. Желаю вам успехов. И не забывайте больше о том, зачем все мы сюда приехали.

Конец второй книги

ТОГДА И ЗАВТРА

В 1979 году «Роман-газета» опубликовала первую книгу романа Александра Чаковского «Победа», №№ 14—15.

Действие во второй книге развертывается на огромном пространстве — в странах Западной Европы, в Советском Союзе, в Соединенных Штатах Америки, в других государствах мира. А. Чаковский с полемической заостренностью, с четких партийных и классовых позиций проанализировал насыщенную драматическими конфликтами и ситуациями политическую и дипломатическую борьбу за подведение итогов второй мировой войны в Европе, окончившейся блестящей победой Советского Союза и его партнеров по антигитлеровской коалиции над фашистской Германией и ее сателлитами.

Уже в первой книге писатель достаточно глубоко разработал образы советского журналиста Михаила Воронова, американского фотокорреспондента Чарльза Брайта (они являются стержневыми, главными персонажами, связывающими события во времени), а также исторических личностей, глав делегаций «Большой тройки» — Иосифа Сталина, Гарри Трумэна, Уинстона Черчилля, их советников и помощников. Для объективного и всестороннего показа каждого из этих героев автор нашел яркие и убедительные краски, четко расставил политические акценты, придал образам жизненную достоверность и подлинную масштабность.

Эпицентром событий во второй книге «Победы» снова стали Потсдам и Бабельсберг — пригороды поверженного Берлина, чудом уцелевшие в войну. Именно здесь, на заседаниях «Большой тройки» в замке Цецилиенхоф, сфокусировано внимание художника, именно здесь — так же как и в Бабельсберге, где размещались резиденции правительственных делегаций,— то и дело вспыхивают и разгораются открытые и закулисные дипломатические баталии между представителями Советского Союза, с одной стороны, Соединенных Штатов Америки и Англии — с другой. Писатель ярко показывает противоборствующие позиции этих государств. Это противоборство достигает кульминации на пленарных заседаниях Конференции, которые автор описывает со всей тщательностью, день за днем, час за часом, приводя много интересных деталей, почерпнутых из малоизвестных или вовсе не известных широ-

кому читателю архивных материалов. Публицистические же отступления, ретроспекция и привлечение документов, появившихся лишь в наше время, делают «Победу» необычайно злободневным и наступательным произведением.

Какие же позиции отстаивали делегации и их главы на Потсдамской конференции, как представляли себе послевоенный мир Черчилль, Трумэн и Сталин? Писатель подробно рассказывает об этом в главах «Что такое теперь Германия?», «Ночь в Бабельсберге», «Итальянский вариант», «Польский вопрос» и других.

Новый президент Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэн появлялся на заседаниях Конференции «Большой тройки» обуреваемый противоречивыми чувствами. Перед ним то и дело маячила докладная записка, прочитанная тут же, в Бабельсберге. В ней говорилось, что в пять часов тридцать минут 16 июля 1945 года в Аламогордо (штат Нью-Мексико) был осуществлен первый в истории взрыв атомной бомбы и выделенная при взрыве энергия эквивалентна пятнадцати — двадцати тысячам тонн тринитротолуола. Следовательно, «мальчик», о котором ему все время твердили специалисты, «родился и оказался достаточно шустрым...». Значит, он, Трумэн, может теперь диктовать Сталину свои условия — скажем, устанавливать такие порядки в странах Восточной Европы, которые бы прежде всего устраивали США. Значит, он, Трумэн, может видеть Германию такой, какой он ее себе представляет,— раздробленной на несколько государств, с отторгнутыми от нее богатыми районами — Сааром и Руром. Значит, послевоенный мир в Европе будет устроен по-американски. Не говоря уже о том, что, имея атомную бомбу, США без Советского Союза теперь быстро поставят на колени Японию и наведут там, как, впрочем, и в других странах Азии, свои порядки. Сидя за столом переговоров, Трумэн вожделенно мечтал, как звездно-полосатое полотнище — американский флаг — вознесется над всей планетой и станет символом величия Соединенных Штатов.

Но этим честолюбивым намерениям не дано было осуществиться. За круглым столом в Цецилиенхофе рядом с Трумэном сидел руководитель советской делегации И. Сталин, он прислушивался и присматривался к президенту, временами насквозь пронизывал его своим острым взглядом, от которого Трумэну частенько было не по себе. В самом деле, как развеешь в странах Восточной Европы симпатии к Москве, когда там значительная часть людей связывает свое освобождение от гитлеризма с Красной Армией? Разве эти народы согласятся, чтобы в их странах хозяйничали янки? Можно ли обойтись без Советского Союза в войне с Японией, когда еще на Крымской конференции было принято решение о совместной против нее борьбе? Советники Трумэна говорят, что, независимо от того, есть ли у США атомная бомба или нет ее, СССР все равно объявит войну Японии, так как он, СССР, неукоснительно выполняет взятые на себя обязательства. Что же касается Германии, репараций с нее, то и тут, как ни размахивай президент «шустрым мальчиком», придется считаться с требованиями Советского Союза — его армия и народ внесли главный вклад в разгром фашизма.

Образ Гарри Трумэна, созданный А. Чаковским в романе «Победа»,

разносторонен и психологически достоверен. В нем сочетаются надменность и пренебрежение к партнерам по военной коалиции, желание показать себя великим, что, однако, не подкреплено качествами, присущими выдающимся государственным деятелям, каким был, скажем, Франклин Рузвельт. Трумэн являл собой обыкновенного, заурядного провинциального политика, волею случая вынесенного на вершину власти, преисполненного мании величия и непогрешимости.

Черчилль в романе «Победа» выведен опытным, умным и напористым политическим деятелем. Этот шумный, высокомерный, чванливый человек, твердолобый тори, рьяно, с присущим ему апломбом пытается навязать советской делегации свои предложения и планы, в которых, хоть и в прикрытой, закамуфлированной форме, были сконцентрированы его империалистические цели.

Черчилль — выразитель интересов своего класса, он хочет пожать плоды победы, выжать из нее как можно больше для Великобритании: его страна должна иметь в Европе «место под солнцем», оказывать главенствующее влияние на ее дела. Ничего, что в свое время, когда Советский Союз несколько раз обращался к Черчиллю с просьбой открыть «второй фронт» против Гитлера в Европе, он отказывался это сделать, лицемерно ссылаясь на то, что у английского солдата еще не пришита последняя пуговица. Ничего, что в Европе обстановка коренным образом изменилась и советские войска находятся в центре континента, а время могущества Англии закатилось. Ничего, что Англия живет накануне выборов и, может быть, песенка консервативного премьер-министра уже спета (недаром рядом с ним за столом в Цецилиенхофе сидит тихий и невзрачный Эттли — кандидат в премьеры от лейбористов), Черчилль все равно покажет и Сталину, и, пожалуй, Трумэну, на что он еще способен!

Черчилль произносит на Конференции самые длинные и туманные речи. Он то и дело бросает реплики главам и членам других делегаций, вмешивается в порядок ведения заседаний. И цель его одна — Конференция должна принять именно его планы, он хочет за счет других народов (особенно восточноевропейских стран!) отхватить себе лакомые кусочки, чтобы утолить алчные империалистические аппетиты.

А планы-то эти, вот они,— Черчилль хочет видеть послевоенную Германию достаточно сильной и милитаристской. Недаром в английской оккупационной зоне все еще не распущены кадровые фашистские соединения, они вооружены, маршируют под команды гитлеровских офицеров, готовы сражаться на стороне Англии против СССР. Черчилль воспринял сообщение об успешном испытании атомной бомбы «как чудо, ниспосланное провидением...». Тогда еще он не думал о том, что́ станет его навязчивой идеей очень скоро: атомный удар по Советскому Союзу. В конце того же сорок пятого года американское военно-политическое руководство, далеко не без участия Черчилля, начнет планировать возможность внезапного ядерного удара по СССР. План получал конкретные очертания: уже в первый месяц войны предполагалось сбросить 133 бомбы на 70 советских городов, из них восемь — на Москву и семь — на Ленинград...

Но это разрабатывалось несколько позже. А пока Черчилль стремился сохранить и восстановить военную мощь Германии. Западные лидеры не хотели ликвидировать очаг прусского милитаризма, не желали вернуть Польше те части Германии, которые принадлежали ей исторически. Именно такая политика должна была во многом обеспечить военный потенциал будущего «четвертого рейха». Американцы и англичане желали возродить агрессивную Германию или «несколько Германий». Тогда мог бы стать реальностью «санитарный кордон» вокруг Советского Союза, оказаться возможным и тот реванш, о котором мечтали профашисты. Западные державы,— о, Черчилль в этом был особенно напорист! — отказывались признать Восточную Европу такой, какой она волею своих народов стала после победы над гитлеризмом.

Александр Чаковский шаг за шагом разоблачает антинародную политику Черчилля и Трумэна, срывает с них маски «миротворцев», искусно противопоставляет им подлинно миролюбивую политику Советского Союза — истинного друга народов Европы, освобожденных из-под ярма фашизма.

Проводниками советской политики в романе «Победа» являются И. В. Сталин, В. М. Молотов, А. А. Громыко, Ф. Т. Гусев и другие члены и советники нашей делегации на Конференции «Большой тройки». Писатель отводит значительное место обрисовке образа Сталина. И это вполне закономерно. И. В. Сталин во время войны и сразу же после победы находился в центре общественно-политической жизни партии и государства. Он возглавлял Центральный Комитет ВКП(б), был главой Советского правительства. С его именем народ связывал наши достижения в строительстве социализма, победу над гитлеровским фашизмом.

Писатель рисует образ Сталина в развитии, показывает присущие ему противоречия. Он дает развернутую оценку его положительных сторон — Сталин удивлял тех, кто с ним встречался, убежденностью, волей, глубоким проникновением в обсуждаемые вопросы, находчивостью, остроумием, организаторским талантом. В лучшие свои годы он опирался на деятельных людей, использовал их опыт, знания. Так было в Великую Отечественную войну. Так было и в дни мирной, бескровной битвы в Потсдаме.

На Конференции Сталин твердо стоял на страже интересов своего государства, своего народа, народов других стран. Будь то послевоенное устройство Германии — она должна быть единым, демократическим, демилитаризованным государством — или будущее Польши, Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии. Советская делегация видела эти страны свободными, с общественным и государственным строем, избранным самими народами, чтобы они жили в мире и дружбе с Советским Союзом и другими соседями. Поэтому Сталин дает решительный отпор попыткам делегаций стран Запада превратить Германию и освобожденные от фашизма государства в новые очаги раздора и войны, как это пытался делать Черчилль при многократном обсуждении, скажем, польского вопроса. Позиция Сталина была ясна и четка, потому что за ним стоял народ, большевики — «люди особого склада», легендарные строители Магнитки, конструкторы оборонной промышленности, дипломаты,

старые подпольщики и молодые коммунисты — все, кому дороги интересы мира и прогресса на земле.

Что же касается отрицательных сторон Сталина, они показаны в романе так же смело и правдиво: например, писатель резко осуждает нарушения социалистической законности, обожествление Сталина, приписывание ему всех достижений государства и партии.

В романе «Победа» автор умело перебрасывает мостики от времен давно минувших, послевоенных — к нашим дням, к столице Финляндии Хельсинки, к Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сюда прибывают правительственные делегации тридцати пяти государств, чтобы подписать исторический документ, утверждающий международную разрядку, упрочение мирного сосуществования и сотрудничества стран с различным общественным строем, сокращение вооружений, стабильность границ, развитие экономических и культурных связей. Наступала новая эра во взаимоотношениях между государствами, наступал конец «холодной войне», авторами, глашатаями и оруженосцами которой были Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль.

В Хельсинки приезжает правительственная делегация СССР во главе с Л. И. Брежневым. Советский Союз вместе с другими социалистическими странами являлся инициатором этого исторического совещания.

Совещание в Хельсинки — это в какой-то мере и результат Потсдама. Потсдам, замок Цецилиенхоф ни в коем случае забывать нельзя. На Конференции «Большой тройки» советская делегация добилась значительных политических и дипломатических побед, и ей, Конференции, мы обязаны тем, что видим Европу, да и весь мир такими, какими они теперь есть,— вот уже тридцать пять лет мы не знаем войны и живем в мире. «Есть незримая связь между тем, что было Тогда,— пишет Александр Чаковский,— и тем, чему предстоит совершиться Завтра». Об этой незримой и неразрывной связи времен и повествует его актуальный политический роман «Победа» — интересное, значительное, многоплановое произведение.

АЛЕКСЕЙ КИРЕЕВ

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Борисович ***Чаковский***

ПОБЕДА

Политический роман

Книга вторая

Редактор З. РАДИШЕВСКАЯ

Художественный редактор *С. Гераскевич.* Технический редактор *Т. Таржанова.*

Корректоры *Л. Лобанова* и *Е. Павлова*

Сдано в набор 30.06.80. Подписано в печать 13.08.80 А 01896. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. 11,76 усл. печ. л. 14,434 уч.-изд. л. Тираж 2 540 000 экз. (2-й завод 500 001—2 390 000 экз.). Заказ 1408. Цена 69 коп.

Издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Отпечатано на Чеховском полиграфическом комбинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Чехов Московской обл.

Зак. [illegible]11

РОМАН-ГАЗЕТА
ОСНОВАНА В 1927 г.
№ 1 (935)
1982
ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР
МОСКВА

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

ПОБЕДА

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РОМАН

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава первая
ВСЕГО ЧЕТЫРЕ БУКВЫ...

Телефонный звонок прозвучал так глухо, что я не сразу взял трубку. Это был Вернер Клаус, мой знакомый журналист из ГДР.

— Гутен таг, Миша! Я звонил тебе не менее трех раз! Где ты был?

Что я мог ответить ему? Уходил в плавание по далеким морям Истории? Вспоминал или просто видел сны?.. Я сказал:

— Проспал, прости. — И добавил извиняющимся тоном: — Звонок у моего аппарата очень тихий.

— Долго вчера пил из тебя кровь этот американский динозавр? — спросил Клаус.

— Это не динозавр, Вернер, а очень больших размеров хамелеон.

— Что ж,— согласился Клаус,— возможно, ты лучше меня разбираешься в политической зоологии.

— Не всегда. Проглядел скорпиона.

— Ужалил?

— Похоже, что да. В самое сердце.

— Нужно противоядие?

— Этот яд не смертелен. Но противоядия, пожалуй, не существует.

— Думай о том, что завтра открывается совещание. Отличный стимулятор самых положительных эмоций. Кстати, ты уже был в «Финляндииталo»?

— Нет,— ответил я. — Собирался пойти сегодня.

— Ах, ты собирался! — иронически повторил Клаус. — А о том, что сегодня в два тридцать прибывает советская делегация,— это тебе известно?

Он словно стукнул меня по затылку, этот Клаус!

— Стыдно сказать, Вернер, но первый раз слышу, — пробормотал я, придя в себя от неожиданности. — Ведь я оторван от основной группы советских журналистов. И вчерашний вечер на твоих глазах провел в бесцельной драчке.

— Объявление о прибытии вашей делегации получено в пресс-центре сегодня утром, — вчера ты ничего не мог узнать. Это первое. А второе: если ты оторван от своей группы, то это должно быть компенсировано за счет социалистической интеграции. Короче, будем держаться вместе.

— Делегация прибывает самолетом?

— Нет, поездом,— ответил Клаус.

— Вы едете на вокзал и... возьмете меня? — спросил я с робкой надеждой.

— Кое-кто из наших ребят поедет. А мы — я в том числе — решили схитрить: будем смотреть прибытие по телевидению.

— Нет,— резко сказал я,— меня это не устраивает. Хочу видеть все воочию. В реальности.

Первую книгу — см. «Роман-газета», 1979 г., №№ 14, 15, вторую книгу — «Роман-газета», 1980 г., № 18.

— Ты плохо знаешь, как финны организуют телеобслуживание,— укоризненно произнес Клаус.— Ручаюсь головой, что на экране ты увидишь больше, чем на перроне вокзала. Короче, я раздобуду машину и заеду за тобой через полчаса или чуть позже. Договорились? Сейчас без трех одиннадцать...

В машине, кроме меня и Клауса, оказались еще двое мужчин. Один из них — финн — сидел за рулем, рядом с ним — Клаус. Второй наш спутник расположился на заднем сиденье.

— Садись,— сказал мне Клаус, перегибаясь назад и распахивая заднюю дверцу машины.

Мой сосед, приветливо улыбаясь, отодвинулся в левый угол.

Прежде всего Клаус познакомил меня с финном. Его звали Эркки Томулайнен. Он работал в пресс-центре и, кроме родного, знал немецкий язык. Я понял это по тому, что, знакомя нас, Клаус говорил по-немецки.

— А это,— продолжал Вернер, переходя на русский и снова перегибаясь через спинку переднего сиденья в сторону моего соседа,— наш польский коллега Вацлав Збарацкий. Между прочим, у него есть какое-то дело к тебе. Верно, Вацлав?

Поляку на взгляд было за тридцать. Несмотря на адскую жару, он был одет так будто собрался на прием к президенту Финляндии,— темный костюм, в нагрудном кармане белый платочек.

— Я действительно хочу побеспокоить пана Воронова,— откликнулся тот извиняющимся тоном.

Он вполне сносно говорил по-русски, этот Вацлав! Пожалуй, только обращение к собеседнику в третьем лице обнаруживало в нем поляка.

— Я к услугам пана Вацлава,— последовал мой ответ.

— Нет, нет,— заторопился поляк,— давайте несколько отложим наш разговор. Я хорошо понимаю, что сейчас мысли пана Воронова устремлены к вокзалу. Верно?

— Не скрою, это так,— ответил я.

— И я не скрою, что жду приезда вашей делегации с не меньшим нетерпением, чем ждал прибытия своей,— сказал Вацлав.— Поэтому с разрешения пана я просил бы перенести наш разговор.

— Пожалуйста,— охотно согласился я.— Всегда рад помочь коллеге, если это в моих силах...

Едва мы отъехали от гостиницы, я понял, что в сравнении со вчерашним днем условия езды по городу несколько изменились. На улицах стало больше полицейских, и Томулайнену часто приходилось останавливать машину по их сигналу, чтобы дать дорогу черным лимузинам с флажками разных государств. Один раз мы остановились, чтобы пропустить вереницу грузовиков с плетеными корзинами, наполненными клубникой.

— Хорошо бы попробовать,— усмехнулся я.

— Завтра попробуете,— сказал по-немецки Томулайнен.— Можете съесть хоть целую корзину. Бесплатно.— И в ответ на мой вопросительный взгляд, отразившийся в водительском зеркальце, пояснил: — Это подарок участникам совещания от финских садоводов.

Томулайнен добровольно взял на себя обязанности гида — сдержанного, немногословного, но не пропускающего ни одной важной подробности. Благодаря ему я смог из окна машины обозреть снаружи здания редакций крупнейших финско-шведских газет, Академию Сибелиуса, Зоологический музей, финский парламент...

Дворец «Финляндия» вырос перед нами, когда мы уже приблизились к последнему повороту. Длинный, приземистый, белоснежный, он напоминал причудливой формы льдину, отколовшуюся от гигантского айсберга.

По требованию полицейского мы оставили машину на стоянке метрах в полутораста от Дворца и направились к маленькому, одноэтажному, желтоватого цвета домику.

— Куда же мы идем? — спросил я.

— Сейчас увидишь,— с загадочной улыбкой ответил Клаус, подталкивая меня вперед, к двери.

Перешагнув порог, я остановился в недоумении. Несколько девушек в изящного покроя голубой униформе стояли в центре комнаты, держа в руках какие-то странные инструменты, отдаленно напоминавшие миноискатели военных лет,— нечто вроде палок с металлическими кольцами на концах. Комнату пересекал длинный, узкий стол. За ним правый угол помещения был прикрыт тяжелой темной шторой.

Девушки были не только красивы, а и чрезвычайно любезны. Одна из них с очаровательной улыбкой сказала мне по-английски:

— Милости просим сюда.

Томулайнен за меня ответил ей что-то по-фински, очевидно, объяснил, что я не американец, не англичанин, а русский, потому что девушка немедленно произнесла по-русски, хотя и с акцентом:

— Добро пожаловать!

В то же мгновение она подняла свое странное приспособление и, не касаясь меня металлическим кольцом, быстрым движением сверху вниз, как бы измерила мой рост.

Эта короткая процедура сопровождалась неизвестно откуда раздавшимся гудением, словно надо мной вился невидимый шмель. Мои спутники расхохотались. Девушка укоризненно взглянула на них и сказала, обращаясь ко мне:

— Сюда, пожалуйста, ваш металл...

— Металлические вещи? — переспросил я по-английски, чувствуя, что ей с трудом дается русский.

— Да, да,— радостно ответила она.

Какого дурака-простофилю я свалял! Конечно же, в этой комнате производилась проверка на безопасность, подобная тем, каким мне не раз в последние годы приходилось подвергаться в аэропортах. Только вместо мрачноватых с цепким взглядом мужчин в строгих штатских костюмах или полицейской форме, выполняющих обыкновенно функции проверяющих, финны привлекли к этому делу девушек, которым впору было бы выступать на конкурсах красоты.

Я покрасиел от смущения за свою недогадливость и стал поспешно выкладывать на стол: ключ от чемодаиа, авторучку с металлическим колпачком, неизвестно как оказавшиеся у меня в кармаие каицелярские скрепки, сиял с руки часы...

При повториой проверке я был реабилитировап — «миноискатель» молчал, хотя девушка проделывала свою работу, иесмотря на расточаемые ею улыбки, очень тщательио.

— Все в порядке,— сказала оиа с таким удовлетвореиием, будто сама благополучио прошла проверку на безопасиость...

За черной заиавесью, где я затем оказался, не было иичего примечательиого, ио я сразу же понял, что проверяюсь здесь уже рентгеном.

Вышел я в дверь, противоположную входной, и стал дожидаться моих спутников. Теперь у меня было больше возможиостей хорошенько разглядеть здание Дворца. Здесь оио производило иное впечатление. Беломраморный дворец стоял на берегу озера, и архитектор так умело «вписал» его в склои горы, что отсюда оно казалось огромным.

Из двери за моей спииой поочередио вышли Клаус и Томулайиеи. Не было только иашего Вацлава. Мииуло не менее пяти мииут, прежде чем поляк появился тоже.

— Хотел пронести бомбу? — смешливо спросил его по-русски Клаус.

— Хотел договориться о свидании с девушкой, — щуря свои васильковые глаза, ответил Вацлав и добавил: — После совещаиия, конечно, чтобы не в ущерб делу.

— Удалось? — спросил я.

— Черта с два!— усмехнулся Вацлав. —Оии тоже не хотят отвлекаться от своего дела. Говорят: сначала проведем коиференцию, а уж потом все остальиое. Словом, хоть и шутят, но службу зиают.

— Зато теперь все мы чисты, как ангелы! — не без иронии сказал Клаус.

— Когда в город приезжают полторы тысячи журналистов со всего мира, не говоря уже о миогих других чужестранцах, иикакая предосторожиость не является лишней,— назидательно резюмировал Томулайнеи и увлек иас к главному подъезду Дворца. Сплошь застеклеииый, он казался как бы припечатаиным к Дворцу карнизом из чериого мрамора.

Войдя виутрь, я увидел лестницу, ведшую куда-то вверх, беломраморные колонны, точнее — верхнюю их половииу, и два ряда устремлеиных ввысь светильииков. Изиутри здание представлялось каким-то сказочным, фаитастическим. В нем ие было четкого делеиия иа этажи: различные его отсеки и уровии имели как бы разное количество этажей, и трудно было определить, иа какой из плоскостей мы в даниую миуту находились. Обитые черной кожей диваиы контрастировали с белой колоннадой, а черный мрамор панелей создавал фои, иа котором белая мебель казалась отлитой из чистого льда или отформованной из снега.

— Где же будет происходить само заседание? — поинтересовался я.

— Сейчас покажу,— сказал Томулайнен, повел меня к одной из дверей и открыл ее.

Мне подумалось, что надо смотреть вверх. Но оказалось, что сам я находился на одном из верхних этажей Дворца и смотреть иужио вниз.

Зал поразил меия своей величественной простотой. Вся передняя часть его была уставлена вплотиую придвииутыми один к другому рабочими столиками, и на каждом из них лежали совершенио одинаковые черные портфели. Перед столиками располагалась своего рода эстрада — иевысокое, ио сплошное — от стены до стеиы — возвышение. На заднем плане этого возвышения располагались в ряд белые кабины для синхроиного перевода, иа переднем плане — пятиадцать кресел...

— А для кого же эти кресла? — спросил я.

— Это увидим завтра, — с загадочной улыбкой ответил Томулайнен. — Сейчас следует подумать, где будем сидеть мы сами...

Воронов и трое его спутников подиялись этажом выше и увидели ряд телевизоров, из которых доносились приглушенные звуки. Телевизоров было много, не менее двух десятков, и у некоторых из них уже расположились зрители с целлофановыми журналистскими карточками иа пиджаках, куртках или рубашках.

Воронов заметил, что цветиые изображения на экранах телевизоров иеодииаковы. На одних — хельсинкские улицы, иа других — летное поле аэродрома, иа третьих — президент Кекконен, дающий интервью журиалисту...

Вороиов хотел спросить Томулайиеиа, что именно говорит президеит, ио фииский коллега куда-то исчез.

Устроились за столиком в креслах против одного из телевизоров. Официант прииес из бара четыре кружки ледяного пива. На экраие телевизора цвели пунцовые розы — очевидно, передача велась из какого-то хельсинкского парка.

— Послушай, Вернер, ты случайно ие спутал время прибытия нашей делегации? — спросил Клауса Вороиов. Ему как-то не верилось, что вот на этом же самом экране, иа котором сейчас безмятежно царствуют цветы, отразится событие, ради которого они явились сюда.

— Можешь проверить,— ответил Клаус, кивнув в сторону Томулайнена, который возвращался к столику и иес под мышками какие-то туго набитые папки.

Томулайиен, немного понимавший по-русски, вопросительно поглядел иа Вороиова.

— Боюсь пропустить прибытие иашей делегации,— улыбнулся ему Воронов.

— Не пропустите, о том заботится оператор телевидения,— спокойно ответил финн. — Делегация прибудет в два тридцать. Вот тут все сказаио, — постучал он пальцами по одной из принесенных папок, подавая ее Воронову. — Об этом сказаио и о многом другом. Я получил это в пресс-центре. Для вас.

Воронов раскрыл папку. На листке, лежавшем поверх других бумаг, прочел:

«СЛУЖБА ПРЕССЫ

Прибытие советской делегации на вокзал — около 2.30 дня. Вход для прессы на платформу — через западные ворота вокзала. Выход на платформу для представителей прессы только по специальным удостоверениям.

Расположение корреспондентов на платформе указано в прилагаемой карте. (Для фотографов отведено место на восьмом пути, поезд прибывает на седьмой.) Советская делегация покинет вокзал через зал для почетных гостей (расположенный в восточном крыле вокзала) и разместится по автомобилям на центральной вокзальной площади.

Из соображений безопасности во время прибытия делегации вокзал будет закрыт. Органам печати, желающим получить фотографии отъезда машин от вокзала, рекомендуется иметь на площади специальных фотографов».

«Все в порядке! — обрадованно подумал Воронов. — Около 2.30... Черным по белому... А что тут еще за ксерокопии какие-то: «Генеральная инструкция для прессы», «Организация работы прессы во Дворце «Финляндия», «Инструкция для прессы, обслуживающей аэропорт», «Генеральная информация для участников»... На этом документе Воронов задержался, его внимание приковали слова: «Третий этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которому предстоит состояться в Хельсинки, начнется 30 июля 1975 года в 12 дня и закончится 1 августа 1975 года в 6 часов вечера...»

«Какая четкость! Какая блестящая организация дела!» — восхитился Воронов.

Ему доводилось бывать во многих международных пресс-центрах, но такого уровня технического обеспечения нелегкого труда журналистов он не встречал еще нигде. И нигде, кажется, не было к их услугам такого количества электроники и автоматики: десятки телефонов международной связи, телетайпов, телемониторов, с помощью которых можно следить за ходом совещания, не выходя из комнаты, отведенной в пресс-центре каждому из крупнейших информационных агентств. Но главное — по крайней мере для Воронова это было главным — десятки телевизоров, расположенных в галерее; они давали возможность любому из журналистов в короткое время «побывать» везде: на аэродроме, вокзале, городских улицах, в здании парламента, во дворце президента страны...

Снова Воронов вспомнил маленький тихий городок в Германии — Потсдам и его окраину Бабельсберг, где был в далеком уже 1945 году, во время переговоров глав трех держав-победительниц: СССР, США и Англии: представлял Совинформбюро. В зал, где совещались Сталин, Трумэн и Черчилль, корреспондентов не допустили. Тем не менее им удавалось всеми правдами и неправдами узнавать многие интересные подробности о ходе переговоров.

Нет, Воронов не хотел сравнивать то событие и это, сегодняшнее; Потсдам и Хельсинки. Понимал, что каждое из них займет свое важное место в истории.

И все же именно на фоне Потсдама рельефнее вырисовывалось значение Хельсинкского совещания. Здесь, как равноправные, будут присутствовать и такие государства, само существование которых в их сегодняшнем виде в Потсдаме надо было еще отстоять.

Не допустить социализм в Восточную Европу — вот чего хотели наши партнеры по переговорам в Потсдаме. А сегодня, в Хельсинки, социалистические страны Европы присутствуют как равноправные, признанные всем миром.

Потсдам представлялся Воронову как бы предысторией завтрашнего Совещания. Предысторией теперь уже давней. Но Воронов знал: была и новейшая предыстория. Она имела свои даты, свою хронологию.

Воронов в задумчивости перелистал еще раз документы из принесенной Томулайненом папки. На каждом из них был некий гриф: «CSCE». «Что сие означает?» — подумал он. Но уже через минуту, с помощью того же Томулайнена, расшифровал эту аббревиатуру. По-русски она означала: «Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе».

Всего четыре буквы, но сколько за ними труда, сколько споров, сколько столкновений!

О, Воронов достаточно хорошо изучил ход подготовки к Хельсинкскому совещанию. Свою первую статью о нем он написал в середине семьдесят третьего года. Тогда в столицу Финляндии съехались министры иностранных дел из Европы, Соединенных Штатов и Канады. Но многосторонние подготовительные консультации начались еще с конца семьдесят второго года. Об этом, «первом этапе» Воронов знал только по документам, и статья получилась слишком оптимистичной. Она была пронизана верой в то, что мир стоит уже на пороге Совещания. Впрочем, в этом ошибся тогда не только Воронов. Очень многим хотелось верить в близкую победу здравого смысла, а до нее было еще далеко — долгие месяцы, даже годы.

Второй этап — самый длительный и самый трудный — протекал в Женеве с августа 1973 года по июль 1975-го. Воронов был там. Конечно, не в составе советской делегации, а опять-таки как корреспондент. И каждый вечер он старался тогда «поймать» советского дипломата Ковалева. Иногда это удавалось, иногда нет. Иногда Ковалев, измученный бесконечными заседаниями, наотрез отказывался комментировать только что закончившийся раунд переговоров, иногда двумя-тремя сжатыми фразами давал Воронову понять специфику сегодняшней встречи с представителями западных держав. Но главным источником информации были, разумеется, пресс-конференции, на которых выступали либо тот же Ковалев, либо кто-нибудь другой из советских дипломатов.

В ходе жарких, подчас изнурительных дискуссий представители тридцати пяти государств вырабатывали такие формулировки, которые были бы приемлемы для всех. Это давалось нелегко, очень нелегко. Но к середине лета 1975 года было достигнуто со-

гласие по всем основным вопросам и разработал проект заключительного документа.

Лишь после того наступил третий этап — сегодняшний. На этот раз Совещание должно проходить на высшем уровне. Предстоит утверждение женевского проекта.

...И вот теперь Воронов сидел в кресле, в окружении других журналистов. Он видел, что пресса социалистических стран представлена здесь очень широко.

«Можно ли было все это предвидеть, предсказать три десятка лет назад? — размышлял Воронов. — Можно ли было представить, что вопросы, по которым шли такие непримиримые бои в Цецилиенхофе, в конце концов будут приведены к общему знаменателю, — появится документ, устраивающий всех?.. Значит, люди поумнели за эти тридцать лет? Или «ястребы» убедились в тщетности «холодной войны», в невозможности воспрепятствовать социалистическому развитию тех стран Европы, которые так третировались тогда Трумэном и Черчиллем, хотевшими заставить их жить по образу и подобию США и Англии? Или сыграл свою важнейшую роль тот факт, что в середине 60-х годов к руководству в Советской стране, в нашей Коммунистической партии пришли люди, до конца убежденные в том, что нет таких усилий, которые не стоило бы затратить для обретения долгого, прочного мира, и это их убеждение, их активная борьба на международной арене впервые с момента возникновения Советского государства могли опереться на новое соотношение сил, на небывало возросшую мощь социализма? С этим вынуждены теперь считаться все, даже «ястребы».

Но может быть, и этим не исчерпывается ответ на вопрос: почему именно в наши дни стали возможны «Хельсинки»? Может быть, причина еще глубже — сама история предопределила возможность такого Совещания? Это не фатализм, а констатация реально сложившихся условий политической, экономической и материальной жизни. Почему, например, советский искусственный спутник Земли стал из мечты реальностью именно в пятьдесят седьмом году, а не раньше? Ведь были же для этого свои причины! Есть они и в данном случае. И главная из закономерностей, обусловивших возможность Хельсинкского совещания, заключается в том, что именно теперь установилось военно-стратегическое равновесие между миром социализма и миром капитализма!»

Так думал Воронов, не отрывая глаз от экрана телевизора.

...Десятки миллионов глаз следили за этим поездом, медленно приближающимся к перрону Хельсинкского вокзала 29 июля 1975 года. Наконец он остановился. Чуть слышно лязгнули буфера. От группы встречающих членов правительства Финляндии отделился немолодой высокий, худощавый человек и, сопровождаемый офицером, видимо, адъютантом, подошел к одному из вагонов.

— Смотрите, Кекконен! — воскликнул Клаус.

Президент Финляндии сердечно поздоровался с Леонидом Ильичом Брежневым — главой советской делегации, радушно пожал руки Громыко, Черненко и Ковалеву.

«А все-таки я счастливый человек, — в который уже раз подумал Воронов, — быть в Потсдаме и через тридцать лет иметь возможность увидеть вот это!..»

Мысленно он поблагодарил Клауса за идею — наблюдать прибытие советской делегации по телевидению. Много ль бы он увидел, стоя в толпе журналистов, на одной из двух железнодорожных платформ, подогнанных к перрону? Только церемонию встречи. А теперь каждый шаг делегации, выражения лиц были у него на виду.

Вдруг ослепительный свет ударил Воронову прямо в глаза. Он даже зажмурился, потом резко повернул голову и увидел Чарли Брайта...

— Хэлло, Майкл! — крикнул Брайт, встретив мой злой взгляд.

— Тебе, кажется, положено быть на аэродроме? — насмешливо спросил я.

— Уже отдежурил там всю ночь. И никак не думал, что такой удачный снимок сделаю не там, а вот здесь. Русский, поляк и немец сидят рядом, почти в обнимку! Такое фото скажет о многом.

Действительно, справа и слева от меня сидели Вацлав Збарацкий и Вернер Клаус, положив руки на мои плечи, — так им было удобнее сидеть на подлокотниках моего кресла.

— Мы не собирались позировать, — сухо сказал Клаус по-английски, — но если такое толкование... что ж, тем лучше.

— В Потсдаме подобную фотографию сделать было бы трудно, как думаешь, Майкл-бэби? — усмехнулся Чарли.

— Тем и дорого Хельсинкское совещание, — вполне серьезно сказал Збарацкий. И добавил: — В том числе и этим...

Я уже собрался было направиться к выходу, когда Вацлав несмело напомнил:

— Пан Воронов обещал мне...

— Ну, конечно, конечно! — громче, чем это было необходимо, откликнулся я, безмолвно упрекнув себя: «Ведь мог бы уйти, забыв о просьбе этого вежливого молодого поляка». А вслух продолжал: — Я полностью к вашим услугам. Может быть, зайдем в бар?

— Честно говоря, мне надоели бары, слишком уж много их повсюду, — ответил поляк. — Впрочем, — торопливо поправился он, — если у пана есть желание пойти в бар...

— Нет, нет, — прервал его я. — Давайте присядем где-нибудь здесь.

Мы устроились в одном из холлов, подальше от телевизоров, опустились в мягкие кресла.

— Итак... — произнес я, — нахожусь в полном распоряжении моего польского товарища...

— Да, да, товарища, — согласно повторил Вацлав. — Русских, наверное, коробит наша форма обращения — «пан». С этим словом связаны неприятные для нас, коммунистов, ассоциации. Но мы решили

сохранить его. Иногда человека трудно назвать «товарищем», а «гражданином»— слишком уж казенно. «Пан» более вежливо. И нейтрально. Немцы тоже сохранили в обращении «хэрр» и «фрау», —добавил он, как бы подкрепляя свои доводы. — Итак, не буду зря тратить время пана Воронова. Перейду к делу. Сегодня, когда мы собирались ехать за вами, пан Клаус сказал, что знает вас давно, еще с Потсдамской конференции. Вот я и решил тогда, что вы можете оказать мне неоценимую услугу. Дело в том, что я пишу книгу... — Он, как мне показалось, смутился и умолк.

— Какую же? — заинтересованно спросил я, стараясь ободрить собеседника.

— У нее еще нет названия. В общем, это будет книга о Потсдамской конференции.

Я вежливо спросил:

— И чем же я могу быть вам полезен, пан Вацлав?

— Видите ли,— ответил он,— мною многое прочитано об этом важном событии, но сам я, как вы понимаете, на конференции не был. Детей туда не пускали,— улыбнулся он.

— Туда и взрослых-то пускали с оглядкой, — в тон ему ответил я.

— Да, да, я знаю! Журналисты бунтовали, Черчилль вызвался их «усмирить»... Все это мне известно.

— О чем же вы хотели спросить меня?

— Видите ли, вы единственный русский, который был так или иначе причастен к конференции и которого я теперь знаю лично. Именно из уст русского мне хотелось бы услышать откровенное мнение: почему советская делегация была столь непоколебимой, когда дело коснулось возвращения Польше ее исконных западных и северных земель?

— Потому что это было справедливо,— не задумываясь ответил я.

— Справедливость, к сожалению, далеко не всегда является главным критерием в межгосударственных отношениях. Я хочу сказать, не для всех. Гитлер, например, утверждал, что, когда какой-либо народ начинает много рассуждать о справедливости, это значит, что он слабеет. Впрочем, конец Гитлера показал, как следует относиться к его претензиям на глубокомыслие. Так вот...

Вацлав явно волновался. И как мне подумалось, причина волнения состояла в том, что я, русский, могу неправильно истолковать смысл и цель его вопросов.

— Вы спросили, почему советская делегация категорически поддерживала требования Польши? — напомнил ему я.

— Вот именно! В ряде западных источников утверждается, что Советский Союз... — вы простите, это не мое мнение! — был озабочен только тем, чтобы воспрепятствовать восстановлению довоенного санитарного кордона. Потому он якобы и шел на все, чтобы расположить к себе Польшу... Я не верю, что причина только в этом, но доказательств найти не могу. Мне известно, товарищ Воронов, что вы не сидели за столом переговоров. Однако вам, конечно же, довелось встречаться с людьми, бывавшими на заседаниях, вы... если можно так выразиться, дышали воздухом Бабельсберга. Так где же, по-вашему, истина? Ведь если бы русские уступили в польском вопросе и согласились перенести западную границу Польши восточнее, им наверняка удалось бы заставить союзников быть сговорчивее и выторговать немало для своей страны. Однако советская делегация не пошла на уступки за счет Польши. Почему? Я— член ПОРП, товарищ Воронов, а вы, я знаю, тоже коммунист. Речь идет о далеком прошлом. Все это перестало быть государственной тайной. Давайте же говорить откровенно.

— Сформулируйте свой вопрос более четко,— попросил я.

— Хорошо! — обрадовался Вацлав, придвигаясь ближе ко мне. — Итак, не секрет, что волею судеб на протяжении довольно длительного отрезка истории взаимоотношения России и Польши развивались довольно... напряженно. Я говорю, разумеется, о старой, царской России. Однако мы, коммунисты, должны смотреть правде в лицо и видеть, что в нашей, точнее, в моей стране до сих пор еще существуют антирусские элементы, которые в то же время, как правило, являются и антисоциалистическими. Иногда к ним прислушивается часть молодежи, особенно католической, которая сама не видела и не пережила того, что выпало на долю вашего поколения. Я не пишу книгу, которая охватила бы весь Потсдам. Меня прежде всего интересует так называемый польский вопрос. И я хочу сказать о нем истинную правду. Во имя и для пользы наших сегодняшних отношений.

— Правда заключается в том, — ответил я,— что после революции в России поставлен крест на царской шовинистической политике. Тем не менее буржуазная Польша внесла свой вклад, и немалый, в дело русской контрреволюции.

— Вы имеете в виду?..

— Да, да. То же, что и вы. Ведь вы, несомненно, знаете историю своей страны и должны помнить, какую роль сыграл в этом Пилсудский, став диктатором Польши. Уже в девятнадцатом году Польша участвовала в антисоветской интервенции, а в двадцатом польские войска вторглись в пределы Советской России, временно заняли Киев, и Пилсудского поздравил тогда король Англии. Вы спросите меня, Вацлав, зачем я все это напоминаю? Затем, чтобы помочь вам отбить охоту у политических спекулянтов паразитировать на истории русско-польских отношений. Кстати, напомните им, что польские и русские революционеры выступали совместно еще в пятом году, а Пилсудский уже тогда создавал террористические «боевые группы», которые стремились внести разлад в революционное движение.

— Да, так было,— задумчиво произнес Вацлав.

— Напомните и другое, — продолжал я. — Что польские патриоты и бойцы Красной Армии дрались бок о бок за освобождение Польши от фашистской оккупации. И, наконец, разъясните, что вопрос о рас-

ширении польской территории на западе и севере был включен в документы Ялтинской конференции по настоянию Советского Союза. Существовала ли у нас какая-то скрытая цель для таких настояний, не записанная в решениях Ялты и Потсдама? Да, существовала. Не скрытая, разумеется, а только не записанная в решениях. Движения души трудно отразить в официальных документах... Так вот, нашим душевным стремлением было подвести черту под недобрым прошлым, открыть новую эпоху в истории польско-советских отношений. Напишите об этом в своей книге, это истинная правда.

Вацлав молчал, сосредоточенно сведя брови над переносицей.

— Все? — спросил я.

— Нет! — воскликнул он. — Есть еще один вопрос. Некоторые западные источники утверждают, будто Берут требовал расширения границ Польши по указке Советского Союза. Как бы вы сформулировали ответ?

— Наоборот.

— То есть...

— Сталин, требуя расширения границ Польши, выражал волю польского народа.

— Значит, если бы Сталин... — начал Вацлав, но я прервал его:

— Хотите деталь для своей книги? Вот она. Из достоверных источников. Когда переговоры в Цецилиенхофе, казалось, зашли в тупик именно по польскому вопросу, Сталин в конфиденциальной беседе с Берутом предложил: «Может быть, следует немного уступить Западу?» Берут ответил: «Нет, никогда!»

— Так ответил... Сталину?! — недоверчиво и вместе с тем восхищенно переспросил Вацлав.

— Вот именно! И Сталин сказал ему: «Что ж, если позиция Польши неизменна, мы будем поддерживать ее. До конца!» А теперь у меня к вам вопрос: почему вы взялись писать книгу о Потсдаме, а не о Хельсинкском совещании? То — далекое прошлое. Это — животрепещущее настоящее. Вы не были в Потсдаме, а сегодня вы свидетель величайшего события современности. Почему же...

— Потому, — поспешил с ответом Вацлав, не давая закончить вопрос. — Потому что историю нельзя рассекать на части, как, скажем, говядину, отбирая филейчики и бросая остатки собакам. Я не могу, не обратившись к Потсдаму, объяснить своим сверстникам и тем, кто моложе нас, как Польша вернула себе свои исконные земли. Не объяснишь и того, почему сегодня главы тридцати пяти государств, а не трех, как было в Потсдаме, собрались здесь, чтобы подтвердить главные из потсдамских решений. Не объяснишь без описания той борьбы, которую все эти годы вели ваша и другие коммунистические партии за мир, за разрядку. Одно без другого — это начало без окончания или окончание без начала...

В тот вечер я вернулся в отель поздно. Часа три провел у телевизора, наблюдая прибытие и встречи делегаций. По воле ТВ я переносился то в аэропорт, то на вокзал, то на привокзальную площадь. Потом осматривал Дворец и там же в пресс-баре пообедал. Было уже около 10 вечера, когда все тот же любезный финский коллега довез меня до гостиницы.

Портье радостно, будто только этого он и ждал, приветствовал меня, перемежая финские слова с русскими. Потом сунул руку в «пиджин холз» — разделенный на соты огромный стеллаж за спиной — и вытащил два почтовых пакета. Он передал их мне. Я удивился: от кого бы это?

Держа в руках ключ и пакеты, я поднялся в свой номер. Бросил корреспонденцию прямо на постель. Один из пакетов был слишком толст для обыкновенного письма, а вот в тонком и длинном наверняка находилось письмо.

Надрываю конверт из плотной белой бумаги, с какими-то едва заметными синеватыми прожилками. Развертываю сложенный трижды в длину лист. Текст английский, напечатан на машинке:

«Мой дорогой мистер Воронов! После нашего вчерашнего разговора вы вряд ли считаете меня обладателем хотя бы одного из симпатичных вам свойств характера. Хочу убедить вас, что обладаю по крайней мере одним — обязательностью. Архивариус из Госдепа, приданный нашей делегации (американской, сэр, американской!), обнаружил в куче захваченной им «справочной» макулатуры брошюру некоего Чарльза А. Брайта и по моей просьбе презентовал ее мне. Мог ли я отказаться от удовольствия предоставить вам возможность удовлетворить свое жгучее любопытство относительно нашего общего знакомого?

Искренне — *Стюарт*».

Я забыл обо всем. О Клаусе, о Стюарте, о предстоящей конференции, о том, что уже поздно.

Вот она, эта книга... нет, брошюра... Сколько страниц?.. Ага, всего тридцать две. Мягкая обложка. На ней фото: в плетеных креслах сидят Сталин, Трумэн и Черчилль. Шары на подлокотниках черные, — значит, снимок сделан до того, как мы их надраили. Сверху имя автора — Чарльз Аллен Брайт. Ниже — заглавие: «Правда о Потсдаме». Страница первая, заголовок: «Чего он от нас хотел?» Читаю. Он — это Сталин, и хотел он от Трумэна и Черчилля свободы действий в Европе. Хотел превратить всю Восточную Европу в военный коммунистический лагерь. Первоначальным намерением русских было, оказывается, советизировать Германию. Цитаты из Декларации ЦК КПГ от 11 июня 1945 года: «Национализация крупной земельной собственности»... «Национализация коммунального хозяйства»... «Национализация», «национализация»... Но ведь... ведь это я сам дал Брайту эту декларацию! Конечно, не для того, чтобы он, вырывая из контекста отдельные слова и фразы, так подло извратил ее...

Глава «Скандал»: некий русский журналист, решившийся защищать действия Красной Армии во время Варшавского восстания, публично разоблачен немкой польского происхождения, участницей восстания.

Следующая глава — «Поляки»: приезд в Бабельсберг польской делегации — «русских марионеток»...

Что ж, выходит, Стюарт правильно ответил вчера на мой вопрос о книге Чарли. При этом он назвал ее анахронизмом.

Черта с два, анахронизм! Пока существуют такие, как вы, мистер Стюарт, и такие, как мистер Брайт, неправомерно называть анахронизмом антисоветскую стряпню.

Впрочем, Стюарт всегда был нашим врагом. И действовал соответственно. Но Брайт?!

Вспоминая июльский вечер сорок пятого года, я снова — на этот раз уже не как участник, а как наблюдатель — со стороны — увидел и Чарли и себя самого в его «джипе». После помолвки Чарли с Джейн, то ли инсценированной специально для меня, то ли настоящей... Так или иначе, теперь-то я знаю точно: Джейн стала его женой, и бунгало у них есть, и плавательный бассейн... Сладкая жизнь!

О чем мы спорили тогда, в «джипе»? Кажется, о любви и счастье. И о преданности тоже... Как совместить эти понятия с укусом скорпиона?

А ведь именно скорпионом оказался Брайт. Не мог не укусить. Кроме «скорпионьева рефлекса», им наверняка руководило и другое — «инстинкт выгоды». Какой? Самой элементарной: враги СССР, вероятно, хорошо заплатили «очевидцу», согласившемуся подтвердить, что договориться с нами невозможно.

Но ведь договорились все-таки! Открывающееся завтра Совещание — лучшее тому доказательство. Впрочем, кто знает, что еще может случиться в будущем?..

Я снова перечитал последние страницы книжки Брайта. Там он утверждал: принятые в Потсдаме решения необязательны, поскольку мирная конференция не состоялась. Трумэн — ангел во плоти, доверчив. А разве можно доверять Сталину?! Черчилль ненавидел русских, потому что имел долгий опыт общения с ними. Не хотел возвращаться в Потсдам не из-за поражения на выборах, а просто потому, что не видел смысла в переговорах с русскими. Мирная конференция не состоялась потому, что, потерпев поражение в Потсдаме, Сталин отгородил свою империю от цивилизованного мира «железным занавесом».

Глава «За чечевичную похлебку» начинается знакомой мне отвратительной фотографией советского солдата с лицом кретина. Вторым планом на ней — Рейхстаг, Бранденбургские ворота. Подпись под фотографией: «Русские солдаты за бесценок скупают у немцев последнюю сорочку».

Чего только не было в этой мерзкой брошюрке! Казалось, не существовало ни одной хулы, ни одного проклятия по адресу Потсдама,— а сколько мне приходилось читать их на страницах западных, особенно американских и английских газет в «послепотсдамские годы»!— которые не присутствовали бы в этом политико-порнографическом сочинении.

Все же я был прав, высказывая сомнение в способности Брайта написать книгу. То, что я сейчас держал в руках, можно было назвать как угодно, но только не книгой. Больше всего, пожалуй, это походило на полицейский рапорт. По топорности выражений, во всяком случае. Да и по тому, как автор пытался иногда использовать свой так называемый «эффект присутствия». Делал он это подло, безнравственно: свои безапелляционные суждения подкреплял ссылками только на то, что «мне сказали», «однажды слышал» и т. п.

Не нужно было задавать Чарли вопрос: «Зачем и как ты мог написать такую пакостную «книгу»?» Ответ последовал бы стереотипный: «Бизнес, Майклбэби, бизнес!..»

Но ничего, завтра прольется над всем миром освежающий весенний ливень и смоет грязь с лица земли. Снесет он с земной поверхности и досужие вымыслы таких, как Брайт. «Потсдам не достиг своей цели»,— пишете вы, мистер Брайт? Ладно, ее достигнет завтра Совещание тридцати трех европейских стран, Соединенных Штатов и Канады. И тогда... осиновый кол вам в глотку, Чарли-бэби!

Напрасно вы лезли из кожи вон, утверждая, что с русскими нельзя договориться! Оказывается, можно, Чарли-бэби, можно, мистер Стюарт!

Говорите, что Черчилль и в Бабельсберг-то не вернулся в качестве спутника Эттли не потому, что провалился на выборах, а потому, что русским нельзя доверять?..

Нет, не так все было, не так! И не можем мы давать спуску таким, как Брайт.

Он начал с того, что оболгал Потсдам. Что помешает ему так же вот оболгать Хельсинки?

В Потсдаме все было иначе.

Глава вторая

«НЕОФОРМЛЕННАЯ ЗАДАЧА»

По окончании седьмого заседания Потсдамской конференции, когда Черчилль направился к выходу, он услышал за своей спиной негромко произнесенные слова:

— Мистер Черчилль! Президент просит вас заехать к нему на минутку.

Обернувшись, он увидел удалявшегося к «американским» дверям Вогана.

Трумэновский адъютант обратился к нему слишком небрежно, не назвал «премьер-министром» и даже не употребил слова «сэр».

Конечно, Черчилль догадался, что неожиданное, незапланированное приглашение к Трумэну обусловлено какими-то неординарными обстоятельствами, несомненно президент хочет сообщить ему нечто важное. И все же он не спешил. Медленно прошел в свой рабочий кабинет, с трудом втиснул грузное тело в узкое креслице стиля рококо и... закрыл глаза. Черчилль устал, почувствовал приступ апатии, чего не знавал в прежние годы. Такие приступы начались недавно, когда уже состоялось решение о созыве конференции и почти одновременно было объявлено о выборах в британский парламент.

Эти приступы сменялись приливами бурной энергии: Черчилль становился неудержимо многословным в спорах со Сталиным, дерзил Трумэну...

Но если говорить о том главном, что с каждым днем все больше определяло состояние Черчилля, то это была усталость. После заседаний он возвращался к себе, на Рингштрассе, 23, все более раздраженным и разочарованным. Никакого удовлетворения, никаких радостей не приносила ему эта проклятая конференция, быстрейшего созыва которой он сам так требовал, даже умолял о том поочередно то Сталина, то президента США.

Иногда Черчиллю казалось, что он сидит в поезде, который стоит на месте, и только стук колес и видные в окна проплывающие по небу облака создают иллюзию движения вперед. По крайней мере сегодня, 23 июля, после окончания седьмого заседания конференции, Черчиллю казалось, что поезд все еще стоит на месте, лишь изредка делая короткие, уже не иллюзорные, а реальные рывки вперед...

«Вперед или назад?» — с горечью спрашивал себя Черчилль, вспоминая вчерашнее предложение Сталина — пригласить в Бабельсберг поляков из Варшавы. Конечно же, для западных союзников это был шаг назад. Но как умело провел свое предложение Сталин!

— В Ялте мы решили расширить территорию Польши? Так или не так?

Так, разумеется.

— Остались, правда, некоторые разногласия относительно западной границы будущей Польши. Верно?

Что ж, и это было верно.

— В Крыму мы решили проконсультироваться по данному вопросу с будущим польским правительством. Никто не отрицает?

Нет, все согласны.

— Ну, так давайте пригласим представителей этого правительства — ведь оно теперь создано — и проконсультируемся. Логично? Более чем. Как дважды два четыре. Или, может быть, кто-нибудь придерживается той точки зрения, что дважды два будет пять? Таких нет? Значит, предложение принято. Кто пошлет полякам приглашение? Ну, конечно же, наш уважаемый председатель, мистер президент. Кто посмел бы посягать на его прерогативы!...

Итак, высокая честь подписать своеобразный вексель Сталину, точнее расписаться в собственном бессилии, была предоставлена Трумэну. А что мог сделать он, Черчилль, чтобы с самого начала воспрепятствовать приглашению поляков? Ничего! Во-первых, потому, что не ожидал от Сталина такого предложения. А потом?.. Тоже ничего, кроме как поддержать первоначальное предложение Трумэна о вызове поляков в Лондон, на заседание вновь созданного Совета министров иностранных дел. Но — черт побери! — это заседание должно состояться лишь в сентябре! А он, Черчилль, спешил. До выяснения результатов парламентских выборов, в которых он вообще-то не сомневался, оставалось трое суток. Нет, уж пусть лучше эти поляки приезжают сейчас. «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», — так, кажется, говорят немцы. Впрочем, «ужасного конца» — согласия на польские требования — может быть, еще удастся избежать, внеся с помощью Миколайчика раскол в польскую делегацию. Интересно, кто в нее войдет? Конечно, Берут, конечно, Осубка-Моравский. И, конечно же, Миколайчик, нынешний польский вице-премьер, вчерашний глава «лондонского польского правительства». Ведь включение его в теперешнее польское правительство было той ценой, которую Берут должен был заплатить за существование этого правительства.

Значит, трое. Что ж, можно будет еще поспорить... Но время, неумолимое время! Ведь в среду, 25 июля, он и Иден, да и Эттли тоже, будут вынуждены покинуть Бабельсберг! Сколько же еще дней или недель протащится этот приезд до конечной остановки?!

Черчилль был близок к отчаянию. «Терминал!» — повторял он про себя. Сегодня это слово воспринималось им как насмешка. Он вроде бы забыл, что сам повинен в том. Забыл, как совсем еще недавно провел немало времени, листая словарь в поисках кодового названия для конференции, причем такого, которое подходило бы формально и по существу, но чтобы существо-то читалось разными людьми по-разному. «Терминал» — конец пути. Какого пути? Того, что предстоит пройти конференции?.. «Терминал» — конечная остановка, символ того, что все главные вопросы между союзниками урегулированы?.. Или, может быть, третье значение — конец общности интересов, возникших в результате военного союза, и дальше пути расходятся?..

В мае это название — «Терминал» — нравилось Черчиллю. В такой же мере, в какой сейчас он его ненавидел, потому что «конечной остановки» не было видно. Десятки вопросов оставались неразрешенными. Да и вообще, что могла записать Британия в свой актив за последние месяцы? Разве что интервенцию в Грецию, чего Сталин, конечно же, не забудет и не простит...

Иногда, бросая взгляд на огромный стол в зале Цецилиенхофа, Черчиллю казалось, что этот стол завален бумагами, точно архив в «Форин Оффисе». Будущее Германии. Территориальные вопросы, возникшие в результате окончания войны в Европе. Проверка выполнения Ялтинских решений. Документ о политике по отношению к Италии. Этот проклятый «польский вопрос». Отношение к Югославии... Только этого было достаточно, чтобы конференция заседала бы долгие недели.

А тут еще сам же Черчилль, себе на беду, настоял на праве всех глав делегаций выдвигать прямо на заседании любые другие вопросы.

Сталин со своей стороны немедленно подбросил «горючего» в котел паровоза, тянущего бесконечный и без того тяжело груженный состав. Ему, видите ли, желательно обсудить, кроме уже внесенного делегациями вороха вопросов, еще и такие, как репарации с Германии, раздел германского флота, восстановление дипломатических отношений с теми странами — союзниками Германии, которые порвали с ней после

того, как были освобождены, ликвидация польского эмигрантского правительства в Лондоне... Сталину и этого показалось мало, он присоединил к своим предложениям еще один вопрос — о режиме Франко в Испании.

Правда, за истекшую неделю некоторые вопросы были обсуждены и даже согласованы. Но сколько же таких недель понадобится для того, чтобы обсудить их все?!

...Глядевшему на пустой стол Черчиллю казалось, что весь этот сонм вопросов копошится там по всей поверхности в виде переплетающихся между собой мохнатых гусениц. Конечно, он отдавал себе отчет, что в реальности «поезд» не стоит на месте — то одна, то другая из этих проклятых гусениц неохотно сползала со стола. Но притом Черчилль распалялся еще больше, убеждая себя, что если какие-то вопросы и решены, то только в пользу Сталина.

Сталин все время делал вид, что готов идти на уступки. Но в чем он реально уступил, в чем?! Согласился расширить состав Совета министров иностранных дел? Смирился со строкой в одном из документов по польскому вопросу, хотя и усмотрел в ней — вполне справедливо — тавтологию! Случались и другие малозначительные эпизоды, когда он бросал свои короткие: «согласен» или «не возражаю»... Но если с какими-то из главных вопросов и удалось покончить за эту неделю, то они были решены в пользу Советов. Польское правительство в Лондоне ликвидировано. В «итальянскую мышеловку» попался не Сталин, а Трумэн и сам Черчилль. О польских границах хотя окончательно еще не договорились, однако Сталин и тут добился выгодной для себя ситуации — пригласили Берута и его подручных, Миколайчик не в счет, он окажется, конечно, в меньшинстве.

...Итак,— размышлял Черчилль, сидя в неудобном кресле, — ни одно из предложений, с которыми британская делегация ехала сюда, в Бабельсберг, до сих пор фактически не было принято, ни одна мечта не осуществилась. А ведь состоялось уже семь заседаний, на исходе 23 июля, а не позже 25-го все руководство британской делегации должно отправиться в Лондон — срок его полномочий может окончиться в день объявления результатов выборов.

Только что завершившееся очередное заседание конференции не больше чем другие порадовало Черчилля. Первый вопрос повестки дня — о репарациях с Германии, Австрии, Италии, решен не был. Конференция постановила передать его для доработки экономической подкомиссии. Та же судьба постигла и вопрос об «экономических принципах в отношениях с Германией». Более легко договорились о Совете министров иностранных дел. К относительному согласию пришли о бывших подопечных территориях.

Затем Трумэн изложил американскую точку зрения на будущий статут черноморских проливов, заявив, что в основе ее лежит принцип, при котором Россия, Англия и все другие государства получат доступ ко всем морям мира. Черчилль понимал, что это не подарок для Британии. Но для того, чтобы отклонить предлагаемый статут, он не располагал достаточными аргументами и почувствовал себя так, будто присутствует на собственных похоронах. Удар несколько смягчил Сталин, сказав, что хотел бы изучить предложения президента в письменном виде, а пока следует «перейти к очередным вопросам». Черчилль понял: Сталин тоже торопился. Его целью было как можно скорее подтвердить то, что уже решено в пользу России на Ялтинской и Тегеранской конференциях. «Очередным вопросом» была передача Советскому Союзу района Кенигсберга и Восточной Пруссии.

Едва Трумэн успел объявить об этом, Сталин, слегка подавшись вперед, напомнил, что господин Черчилль и президент Рузвельт еще в Тегеране дали на то свое согласие.

— Хотелось бы, чтобы тогдашняя договоренность получила подтверждение на данной конференции, — сказал он.

Трумэн ответил, что «в принципе» готов дать такое подтверждение, но Черчилль, расценив слова президента «в принципе», как приглашение к дискуссии, в ходе которой у русских можно что-нибудь урвать, открыл было рот, однако при всем своем старании не подыскал нужных ему аргументов.

Да, Кенигсберг был центром Восточной Пруссии, а та — многолетним символом германского милитаризма. Де-юре она принадлежала Советскому Союзу, когда еще шла война,— после соответствующего решения в Тегеране, подтвержденного затем представителями правительств на московских переговорах в октябре 1944 года. Следовательно, теперь, когда Красная Армия владеет Восточной Пруссией уже де-факто, оспаривать что-либо, по существу, было просто нелепо.

Тем не менее Черчилль пробормотал что-то насчет необходимости согласовать точную линию новой советской границы по карте. Встретил замораживающе-ледяной взгляд Сталина и поспешно заявил, что по-прежнему поддерживает включение обсуждаемой территории в состав Советского Союза.

Глаза Сталина потеплели, точнее, они потеряли свое холодно-угрожающее выражение. Он сказал, что если правительства Англии и США одобряют решение, принятое ранее, то для Советского Союза этого достаточно.

— Таким образом,— провозгласил Трумэн, — мы имеем возможность перейти к обсуждению предложений советской делегации о Сирии и Ливане, о правах Франции в этих странах, а затем рассмотреть предложения господина Черчилля, касающиеся Ирана...

Когда повестка дня была исчерпана и Трумэн, вопросительно посмотрев на Сталина, хотел закрыть заседание, неожиданно встал Черчилль. Уже одним этим он привлек к себе внимание всех присутствующих, поскольку на протяжении всей конференции главы правительств произносили свои речи сидя.

— Я хочу поднять один процедурный вопрос,— сказал Черчилль. — Господину президенту, а также и генералиссимусу, должно быть, известно, что гос-

подии Эттли и я заинтересованы посетить Лондон в четверг на этой неделе.

Несвойственную ему неуклюжесть фразы участники заседания истолковали как своеобразное выражение иронии, в зале раздался смех. Не обращая внимания на реакцию зала, Черчилль продолжал:

— Поэтому нам придется выехать отсюда в среду 25 июля. Но мы вернемся к вечернему заседанию 27 июля... или только некоторые из нас вернутся...

Сидевший рядом с премьером Иден готов был поклясться, что последние слова Черчилль произнес с горечью. Но зал, настроенный самим же Черчиллем на иронический лад, снова ответил ему вежливо-саркастическими смешками. Когда они стихли, премьер спросил:

— Нельзя ли в среду устроить заседание утром?

— Хорошо,— сказал Сталин.

— Можно,— согласился Трумэн и объявил, что следующее, завтрашнее заседание начнется, как обычно, в пять вечера, а послезавтрашнее — в одиннадцать утра...

Черчилль покидал зал заседаний последним. И вот в эти-то минуты за его спиной и раздался голос Вогана:

— Президент просит вас заехать к нему, на Кайзерштрассе.

Но Черчилль не пошел в ожидавшую его машину. Он направился к двери британской делегации, чтобы отдохнуть в своем кабинете.

Прошло не менее получаса, прежде чем глава британской делегации вспомнил, что вечером ему предстоит принимать у себя Сталина, а сейчас его ждет Трумэн. Встреча со Сталиным не сулила Черчиллю особого удовольствия. За Сталиным стояла победоносная страна, многочисленный и сильный народ. Сталин не чета Трумэну, который даже теперь, когда его страна стала единственным обладателем грозного оружия, до сих пор не сумел использовать этого ее преимущества за столом Конференции.

Так что же президент собирается сказать теперь ему, Черчиллю? Очевидно, нечто важное — иначе не стал бы просить встречи, зная, что Черчилль вскоре должен быть гостеприимным хозяином на приеме в честь Сталина, где, кстати, необходимо быть и президенту.

Ощущение усталости покинуло Черчилля. Его могучий мозг заработал на полную силу. «Бомба!» — мысленно воскликнул он. Ради чего-то связанного с новой бомбой приглашает его к себе Трумэн. Все остальное, менее секретное, президент мог бы сообщить ему там, в Цецилиенхофе. «Бомба, конечно бомба! — повторил про себя Черчилль. — Что-то связанное с ней!»

Но что именно? Еще одно успешное испытание? Или, может быть, срок применения бомбы против Японии? Конечно, все это важно, очень важно, но не требует немедленной встречи. Неужто Трумэн решился на крайнее, видя, что Сталин не идет на уступки ни в чем существенном?..

Через несколько минут британский премьер был уже на Кайзерштрассе.

— Мы долго думали,— сказал ему Трумэн, подождав, пока Черчилль усядется в глубоком, обитом красной кожей кресле,— как сообщить Сталину о нашей атомной бомбе. Ведь Стимсон говорил вам, что мы намерены пойти на это?

— Да,— настороженно ответил Черчилль и вытянул свои толстые руки на подлокотниках.

— Признаться, я предпочел бы этого не делать,— с сомнением сказал Трумэн. — Мне хотелось, чтобы эффект был внезапным и ошеломляющим. Пусть бы все сразу увидели нашу бомбу в действии.

— Вы имеете в виду Японию?

— Да. Но и русских тоже. Удар по Японии отзовется эхом и в России. Однако утаивание наших намерений от Сталина имеет и свои отрицательные стороны. По крайней мере здесь, в Потсдаме, мы не получим от нашей бомбы никакой выгоды. Мощнейшее средство давления на Сталина остается неиспользованным. Есть и другая сторона дела. Вы представляете, какими глазами будет смотреть на нас Сталин, если узнает о бомбе, только когда мы ее применим. Он станет обвинять нас в нелояльности к нему, в том, что нам нельзя верить, мы ненадежные союзники, ведем двойную игру и тому подобное.

— Вы полагаете? — спросил с усмешкой Черчилль. И добавил: — В большой политике игра всегда двойная.

— Но это не должно быть известно партнеру, — назидательно сказал Трумэн и после короткой паузы продолжал: — Все-таки Сталина надо информировать. Я уверен, что, заполучив такую информацию, он проявит большую уступчивость на нашей конференции. Мой вопрос к вам, сэр, сводится к следующему: в каких выражениях, то есть что именно, я должен сказать Сталину о бомбе.

Черчилль не спеша вытащил из нагрудного кармана сигару и ответил, улыбаясь:

— Когда я долго не курю, то чувствую себя, как в безводной пустыне.

Разумеется, он не снизошел до того, чтобы впрямую попросить у некурящего Трумэна разрешения закурить. Отколупнул кончик сигары ногтем, сунул ее в левый угол рта, тщательно раскурил и выпустил в сторону Трумэна несколько клубов густого дыма.

— Итак, — недовольно сказал Трумэн,— я жду ответа.

— Я полагаю, — еще раз пахнув на президента дымом, сказал Черчилль,— какие бы слова вы ни употребили, их смысл для Сталина должен звучать примерно так, как та надпись, которая появилась на стене пиршественного зала у вавилонского царя.

— А что там было написано? — не без раздражения спросил Трумэн.

— Я не имею в виду буквальный смысл слов. Они могут быть самыми обычными. Речь идет о грозном предостережении.

— И я должен его сделать Сталину?

— Разумеется. Иначе игра не будет иметь смысла.

— Я предпочитаю иной ход,— возразил Трумэн раздумчиво. — Надо сказать нечто такое, что лишило бы русских возможности в будущем упрекать нас в нарушении союзнического долга и... вместе с тем ничего не сказать по существу.

— Сталин попробует припереть вас к стенке дополнительными вопросами.

— Я отвечу, что мы сами еще не до конца информированы нашими учеными.

— Значит, весь смысл вашего намерения заключается в том, чтобы не дать Сталину оснований впоследствии упрекать вас? Хотите выглядеть в его глазах джентльменом? — с нескрываемой иронией спросил Черчилль.

— Я всегда старался оставаться джентльменом,— несколько напыщенно ответил Трумэн.

— Но Сталину, только не обижайтесь, пожалуйста, Гарри,— с улыбкой произнес Черчилль,— плевать на ваше джентльменство. Для него вы всего лишь продукт империализма. Могу вас утешить — я для него тоже продукт. Феодально-капиталистического, аристократически-олигархического симбиоза.

— Что за абракадабра?

— Тем не менее в его марксистской интерпретации мы выглядим именно так. Или примерно так. Следовательно, не заботьтесь о своем джентльменстве.

— Вам не предстоит опираться на русских в войне с Японией! — раздраженно воскликнул Трумэн. — Ваша война кончена, а может быть, и...

Трумэн умолк.

— Вы хотели сказать «а может быть, и карьера»? — сощурившись, спросил Черчилль.

— При чем тут это,— взмахнул рукой Трумэн и тоном извинения добавил: — В Лондоне ваша победа обеспечена.

— Хочу верить, что да,— надменно ответил Черчилль. — Но История — дама привередливая и к тому же неумолимая. Сегодня ее выбор пал на вас, и я хочу спросить, уверены ли вы, сэр, в своей победе над большевиками?

— Но мы же с ними не воюем? — несколько растерянно проговорил Трумэн.

— Сэр! — не без торжественности произнес Черчилль. — Я полагаю, вам известна моя биография. Левые до сих пор упрекают меня в том, что я хотел задушить большевизм в его колыбели. А я отвечаю, что горжусь этим. Однако меня постигла неудача. Меня предали внутри моей страны. Рабочие грозили всеобщей забастовкой. Кричали: «Руки прочь от Советской России!» Отказывались грузить на корабли солдат и боеприпасы, которые я направлял тогда в Россию. Либералы кусали меня в парламенте. Словом, в те годы я проиграл. Россия имела слишком большую притягательную силу для плебса. Я не очень религиозный человек, однако уверен, что сумел бы оправдаться перед богом в своей неудаче. Вы, мистер президент, я слышал, человек активно верующий. Как оправдаетесь вы?

— Но в чем?!

— В том, что, получив из рук провидения волшебный жезл или карающий меч — называйте бомбу как хотите,— вы не использовали его для священной цели.

— Вы хотите сказать...

— Да! Именно это! Победа над Японией — ничто по сравнению с этой грандиозной задачей. Вы сейчас заняты подсчетами — сколько потребуется американских и русских солдат, чтобы разгромить Японию, и в какой мере бомба повлияет на это соотношение. Но задавали ли вы себе другой вопрос: понадобится ли она вам когда-нибудь, чтобы покончить с Россией?

На мгновение Трумэн испытал страх. На него смотрело чуть прикрытое пеленой сигарного дыма лицо огромного бульдога с мощными челюстями и покрасневшими от ненависти белками глаз.

Да, как только атомная бомба стала реальностью, он сам, Трумэн, не раз думал о мировом господстве,— в том числе, естественно, и над Россией. Но это была задача будущего, так сказать, еще «не оформленная задача». Пройдет немного времени, и она приобретет конкретные очертания, станет целью президента Трумэна, его «доктриной». Об уничтожении Советского Союза Трумэн ни разу не скажет вслух, но зато произнесет тысячи слов об «отбрасывании коммунизма», о «защите от коммунизма интересов Америки», в какой бы части света эти «интересы» ни лежали, пусть хоть в тысячах морских миль от берегов Соединенных Штатов. Эта «доктрина» станет на долгие годы символом «холодной войны» и не умрет со смертью ее автора. Будут сменяться в Белом доме президенты. Одни из них, проявив здравый смысл и понимание, что «холодная война» может быть только «прелюдией» к войне горячей, отбросят в сторону «доктрину Трумэна» перед лицом народов, требующих «разрядки» и мира. Другие станут время от времени вытаскивать запылившуюся в бездействии «доктрину» из арсеналов Пентагона и возводить ее в ранг своей государственной политики. Но в июле 1945 года у Трумэна еще не было своей «доктрины». Была лишь жажда власти над миром, было сознание, что главным препятствием на пути к достижению этой власти окажется Советский Союз.

Пройдут год, другой, третий, и Трумэн вместе со своими генералами начнет подсчитывать, сколько атомных бомб потребуется, чтобы уничтожить это препятствие.

Черчилль, видимо, понял, что привел президента в смятение чувств. Поспешил успокоить:

— Я говорю, естественно, не о сегодняшнем дне и не о завтрашнем. Но если президент Соединенных Штатов не поставит перед собой в качестве главной стратегической задачи подготовку атомной войны против России, ему не оправдаться ни перед нашей цивилизацией, ни перед богом. Всевышнему может надоесть прощать тех, кому он без пользы вложил в руки меч.

Трумэн покривил тонкие губы — слишком фамильярное обращение с именем божиим шокировало его. Кроме того, его начинали раздражать велеречивые поучения Черчилля.

— У нас еще останется время, чтобы подумать о будущем,— сухо заметил Трумэн. — Сегодня меня больше беспокоит настоящее. По существу, мы еще не решили здесь, на Конференции, ни одного крупного вопроса. Не решили в нашу пользу, я хочу сказать.

Хотя замечание Трумэна полностью отвечало настроению Черчилля, тот подумал, что не стоит обескураживать президента.

— Вы получите все желаемое в качестве премии, как проценты с того страха, который вызовете у Сталина своим сообщением. Но я счел своим долгом напомнить вам и о задаче будущего.

— А если за это время русские создадут свою бомбу? — неожиданно спросил Трумэн.

— Десять лет! — воскликнул Черчилль, подняв над головой свою погасшую сигару. — Десять лет, как минимум, потребуется им, чтобы создать нечто подобное!

— Итак, что же, по-вашему, я должен сказать Сталину?

— То, что обладаете оружием невиданной силы. Ни с чем не сравнимой! Кстати, когда вы собираетесь открыть это Сталину?

— Завтра!

— Но когда?

— Я хочу выбрать такой момент, чтобы не оставаться с ним долго с глазу на глаз. Следовательно, лучше всего завтра, после заседания. Ваш сегодняшний банкет для этого не годится.

«Завтра — это хорошо, — подумал Черчилль, — я буду еще здесь. И поляки приедут, наверное, тоже завтра!»

— Мне не хотелось окончательно решать такой исключительной важности вопрос, не посоветовавшись с вами,— нарушил его раздумья Трумэн.

— Пусть это будет завтра,— утвердительно кивнул головой тот. — И без свидетелей! Зато свидетелем того, что произойдет потом, станет весь мир.

— Вы полагаете, что Советский Союз... — начал было Трумэн, но Черчилль прервал его:

— Кто с ним тогда будет считаться?

— Вы имеете в виду... атомную войну? — с некоторой робостью в голосе спросил Трумэн.

— Еще не знаю. Может быть. Сегодня я предвижу реставрацию цивилизации на одной шестой части земного шара.

Наступило молчание. Трумэн открыл ящик стола и вынул оттуда какую-то папку.

— Вы знаете, что это, сэр Уинстон?

— Отчет об испытании в Аламогордо? Стимсон прочитал мне его.

— О нет,— покачал головой Трумэн. — Это документ на несколько другую тему. Этот доклад, или проект — я не знаю, как его назвать,— написал сам Стимсон, как только стало известно, что испытание атомной бомбы прошло успешно.

— О чем же этот доклад? — нетерпеливо спросил Черчилль.

— Чтение его целиком заняло бы слишком много времени. Я вам прочту лишь главное. Слушайте.

Трумэн, раскрыв папку вынул закладку, разделяющую листы, и прочел:

— «Совершенно невозможно установить постоянные здоровые международные отношения между двумя противоположными в своей основе национальными системами».

— Далее Стимсон, — стал пересказывать президент уже собственными словами,— отстаивает мысль о необходимости, используя нашу атомную монополию, добиться введения в России политической системы, предусмотренной нашим «биллем о правах». Или, говоря по-вашему, реставрировать в России цивилизацию.

— Это великолепно!

Черчилль оперся ладонями о подлокотники кресла, готовясь подняться, но в этот момент в дверь кто-то довольно громко постучал, затем она открылась. На пороге стоял Воган, занимая своей мощной фигурой почти весь дверной проем. Объявил громогласно:

— Они вылетели, сэр!

Черчилль с неприязнью посмотрел на «личную канаилью президента» и с удовлетворением подумал, что вряд ли у кого хватило бы смелости появиться вот так, без предупреждения, в его кабинете.

— Кто вылетел и куда? — спросил Трумэн, хмурясь, потому что ему стало неловко перед Черчиллем за поведение своего сотрудника.

— Да поляки же, мистер президент!

— Сколько их? И кто их встречает?

— На первый вопрос ответить не могу, на второй — также. По-моему, их намерены были встретить и уже, наверное, увезли к себе русские. Во всяком случае, нам звонили из их протокольной части и сказали, что самолет скоро пойдет на посадку.

— Хорошо, идите, — сухо сказал Трумэн и, когда Воган закрыл за собой дверь, спросил Черчилля: — Вы имеете представление, кто именно должен прибыть?

— Ну, конечно, Берут,— опуская руки на колени, ответил Черчилль.

— Что вы знаете о нем?

— Знаю немного, но достаточно для того, чтобы считать этого человека верным сотрудником Сталина.

— Остальных он, разумеется, подберет по своему подобию? — с недоброй усмешкой, то ли спрашивая, то ли утверждая, произнес Трумэн.

— Это и так и не совсем так. Вы в своем приглашении просили прислать делегацию из трех-четырех человек. При всех условиях одним из ее членов будет Миколайчик. Ведь он не просто один из варшавских министров. Он вице-премьер.

О Миколайчике президент кое-что знал. Давая согласие на формирование нового польского правительства, Трумэн по договоренности с Черчиллем поставил условием, что войдут в него и представители «лондонских поляков». Черчилль делал ставку на Миколайчика. Значит, этому поляку можно доверять.

— Однако он при всех условиях будет в меньшинстве? — с сомнением в голосе отметил Трумэн.

— Не все так просто, сэр,— возразил Черчилль. — Сила Берута и его компании в том, что они поль-

зуются поддержкой Москвы. Сила Миколайчнка и сейчас н на предстоящих в Польше выборах — в нашей поддержке.

— И что же?

— А то, что в этой так называемой делегации неминуемо произойдет раскол. Берут будет говорнть то, чего хочет Сталин, а чего он хочет, мы уже слышали не раз. Но Мнколайчик будет твердо придерживаться нашей познцин — защищать граиицу не по западной, а по восточной Нейсе и вообще не настаивать иа столь огромном приращеннн террнторин Польши. После того, как полякн передерутся между собой, нам останется коистатировать отсутствие единства средн самой делегацин н отправить нх восвояси. Сталии сыграл с иамн ловкую штуку, заставнв пригласить этнх поляков сюда. Что ж, мы отплатнм ему тем же.

— Ну... а еслн онн не возьмут с собой Миколайчика? — неуверенио спросил Трумэи.

— Тогда мы подвергнем сомиеиню правомочность делегации, как не отражающей принципа, на котором было сформнровано само правительство. И опять-таки отправим их обратно. Во всяком случае, такие инструкцни даны мною Идену. Полагаю, что вами соответствеино ориеитнрован Бирис. В конце коицов, мы же договорились, что принимать поляков будем на уровне наших министров.

— А если онн постараются прорваться к нам? — с неприязнью спросил Трумэн.

Черчилль посмотрел на свои наручные часы из светлого металла, увидел, что до начала приема остался только час с четвертью, и ответил нетерпеливо:

— Тогда будем решать применительно к обстоятельствам. А сейчас обстоятельства категорически требуют, чтобы я покинул вас.

...Они пожали друг другу руки. Несколько мгновений Трумэи глядел вслед уходящему Черчиллю.

«Да, он ие глуп, очень не глуп!» — мысленио произнес Трумэн. Впрочем, американский президент всегда, по крайней мере с тех пор, как вступил в переписку с Черчиллем, отдавал должное уму и образности мышлення английского премьера. Но специфика пснхологин бизнесмеиа осложняла это чувство уважения. Уважают сильных, в особенности тех, которые сильнее тебя. Своим обликом и манерами, своим пренебрежеиием к нижестоящим, бенгальским огием своего красноречия Черчилль отражал блеск британской империи. Но это был блеск уже потухшей звезды. Символизируя былое могущество Британии, он в то же время иапоминал о ее нынешнем обнищаиии.

«Блеск и нищета...» — подумал Трумэн. Кажется, как-то похоже назывался романи французского классика прошлого века. Трумэн испытал чувство самоудовлетворения от созиаиия своей образованности, позволяющей ему разговаривать с Черчиллем «иа равных». Было бы неприятно чувствовать личное превосходство англичанина, будучи гораздо сильнее в сфере экономической, а теперь и в воеииой, уступая ему, однако, в общей культуре. Но он, Трумэн, тоже кое-что прочнтал в жизни. Словом, история судила им стоять рядом. И это льстило презнденту.

Оставшнсь однн, Трумэи открыл нижннй ящик письменного стола. Там одиноко лежала тетрадь с его дневннковыми записями.

Он никому не признавался, что ведет дневник, следуя примеру многнх великнх деятелей прошлого. Так же, как они, Трумэн хотел оставить потомству свон мыслн, не высказанные вслух, и таким образом помочь будущим поколениям увндеть его в полный рост.

Трумэн не отдавал себе отчета в том, что записи, которые он ведет втайне от всех, раскроют перед потомками лишь его прагматическое скудоумие. Наоборот, ему грезилось, что каждая строчка его дневннка будет когда-нибудь ценнться дороже золота. Неизвестно, чнтал лн он опублнкованный после русской революцни дневник, точнее, выдержки из дневннка, бывшего царя Нниколая Второго, но каждый, кто сравнит откровення самодержца с откровениями «повелителя атома», найдет в них много общего.

Трумэн перечитал странички дневника, с тех пор как началась Конференция в Потсдаме. Что ж, он был объективен в оценке Черчилля. После первого свидаиия с ним запнсал: «Очаровательный и очень умный человек». Далее следовало уточнение: слово «умный» употреблено здесь в классическо-английском, а не в американо-кентуккском смысле (в штате Кентукки слово «clever» означает: «рубаха-парень», «миляга», «симпатяга»).

Не без высокомерия Трумэн отметил в своих записях, что с Черчиллем «можно иметь дело», если «он не будет пытаться чересчур льстить мне».

Трумэн увлекся чтением. С удовольствием просмотрел строки, касающиеся посещения разрушенного Берлина. Здесь он, стараясь блеснуть своей образованностью, отважился на исторические параллели: уверял, что, иаблюдая берлинские руииы, «думал о Карфагене, Иерусалиме, Риме, Атланте... Рамзесе Втором, Сципионе, Титусе, Хермане, Дариусе Великом, Шермане»...

Почему? Какая между всем этим существует связь? Уж не спутал ли господин президент Атланту с Атлантидой? В Атланте ведь никаких катастроф не было. И какой из Сципионов имелся в виду? Представителей этого римского рода было несколько. И кто такой Херман? И о каком Дарии идет речь, поскольку их было три? И при чем тут Шерман — американский генерал времен войны за независимость?

Стремленне Трумэна прослыть у потомков «интеллектуалом» можно объяснить только комплексом неполиоценности, возникшим в душе будущего президента еще в то время, когда его, маленького «очкарика», увлеченного бессистемным чтеннем, травили бесшабашные, более энергичиые сверстиики. Теперь в своем дневиике он пытался взять реванш, встать в однн ряд с Черчиллем, чьи познания в области истории были, конечно, гораздо обшириее.

...Президеит задумчиво перевернул страиицу. Дальше следовали впечатления от встреч со Стали-

ным, и заканчивались они словами: «Со Сталиным можно иметь дело. Он честный, но хитрый, как черт».

За чтением собственного дневника время летело незаметно. Когда Трумэн невзначай взглянул на часы, было уже пора ехать на Рингштрассе.

«Скорее бы наступило долгожданное «завтра»!» — подумал президент.

Он торопливо написал несколько слов о прожитом дне. Но думал при этом лишь о завтрашнем разговоре со Сталиным. Об атомной бомбе. Только о ней...

Глава третья
ПРИЕМ

Характер Черчилля допускал в отношении к людям только четыре состояния чувств. Уважение, что означало признание человека более или менее равным себе. Ненависть, когда он признавал за кем-то превосходство над собой. Снисходительное презрение,— оно, как правило, распространялось на человеческие массы вообще. И, наконец, холодное равнодушие.

Эти четыре чувства обычно имели у Черчилля четкие границы. И, пожалуй, только свое отношение к Сталину он никогда не мог уместить в одну из этих четырех «рамок».

В его отношении к Сталину причудливо переплетались ненависть и уважение. Черчилль был слишком умен и слишком горд, чтобы позволить себе просто ненавидеть Сталина, хотя все, что олицетворял собою этот человек, было Черчиллю ненавистно. За Сталиным он признавал такие в общем-то положительные качества, как целеустремленность, ум, воля. Но к этому признанию не примешивалось ни капли зависти. Зависть Черчилль считал чувством низменным, свойственным лишь заурядным людям.

Четко раз и навсегда определить свое отношение к Сталину Черчилль не мог. Оно было изменчивым и противоречивым.

Черчиллю хотелось, мучительно хотелось видеть Сталина в униженном, подчиненном состоянии, сломленным, охваченным страхом или хотя бы нерешительностью. И в то же время он испытывал безотчетное восхищение его способностью и решимостью продолжать борьбу, без всяких видимых шансов на победу, его умением выигрывать, когда все предсказывают поражение. Ему нравились иногда схватки Сталина с Трумэном и даже с Бирнсом, из которых Сталин выходил победителем. Лишь в тех случаях, когда проигрывал сам Черчилль, недоуменное изумление переходило в негодование и даже в ярость.

К сегодняшнему приему в честь Сталина Черчилль начал готовиться два дня назад.

Прием у Трумэна, который состоялся 21 июля, Черчиллю не понравился. Президент превратил официальный раут в какую-то музыкальную вечеринку. Все должны были слушать специально приглашенного им пианиста. Трумэну явно хотелось прослыть меломаном.

Сталин, видимо, поставил своей задачей на ответном приеме перещеголять Трумэна во всем. И в еде — столы ломились от прославленных русских деликатесов, вин тоже было достаточно (Черчилль с удовлетворением заметил, что там, где посадили его, было поставлено несколько бутылок армянского коньяка — напитка, которому он отдавал предпочтение перед всеми российскими напитками). И в пище духовной — два пианиста, скрипачка и виолончелистка, специально вызванные из Москвы, играли почти непрерывно.

Черчилль был совершенно равнодушен к музыке, терпимо относясь только к военным оркестрам. И когда Трумэн закатывал очи, слушая своего пианиста, или обводил взглядом присутствующих, как бы ища у них сопереживания, британский премьер демонстративно пыхтел сигарой, глядя в другую сторону. Он не сомневался, что восторги Трумэна чисто показные.

Не понравился Черчиллю и прием у Сталина.

Худенький рыжий пианист, почти еще мальчик, играл Листа. То, что он играл, не трогало Черчилля. Но то, как он играл,— его техника, движения его пальцев, вызывали у почтенного представителя «туманного Альбиона» такое же изумление, какое вызывали у него обычно сложные цирковые номера.

Второй пианист играл менее эффектно, то есть «поспокойнее». А скрипку и виолончель Черчилль вообще терпеть не мог. Он пытался было заговорить о чем-то с Трумэном, но тот замахал руками так, точно его кощунственно оторвали в церкви от молитвы.

Когда рыженький кончил играть, бросив перед тем несколько раз свои пальцы на клавиатуру — то с нежностью пушинки, то с силой парового молота,— и встал, раскланиваясь, произошло нечто совершенно невообразимое. Сталин тоже встал со своего кресла и, ни на кого не обращая внимания, направился к пианисту, обнял его, прижал к груди, кажется, даже поцеловал. Затем выпрямился, сказал несколько слов находившемуся неподалеку Громыко и отошел, уступая место другим гостям, желавшим пожать руку музыканту.

Совсем рядом с Громыко Черчилль заметил своего переводчика Бирса. Перехватив устремленный на него взгляд шефа, Бирс тотчас поспешил к нему.

Подождав, пока переводчик приблизится вплотную, Черчилль тихо спросил его:

— Что такое сказал Сталин Громыко? Ну, сразу после того как пианист кончил играть? Может быть, вам удалось расслышать?

— Моя обязанность слышать все сказанное вами или Сталиным, сэр... Если это в пределах возможностей, конечно.

— Так что же? — нетерпеливо, однако не повышая голоса, переспросил Черчилль.

— Он сказал, сэр, что музыка — это великая сила. Что она способна изгонять из человека зверя. Я полагаю, сэр, что Сталин имел в виду очищение людей от всякой скверны. Будто бы музыка обладает такой способностью.

Черчилль пожал плечами и презрительно фыркнул.

«Как странно,— подумал он,— что человек, которого принято считать железным, способен на этакие сентиментальные сентенции. Можно, разумеется, произнести нечто подобное на собрании меломанов, чтобы польстить им, а здесь-то зачем? Я бы на его месте не стал говорить собственному послу ничего подобного».

Вспомнив об этом теперь, Черчилль позлорадствовал: «Поглядим, каков ты будешь завтра, после «подарка», уготованного тебе судьбой». И вдруг поймал себя на мысли: «А все-таки предпочтительнее иметь главным союзником такого человека, как Сталин, чем самоуверенного, по-торгашески делового и проворного выскочку, с которым только что состоялась беседа на Кайзерштрассе».

Различие между лидером Советского Союза и американским президентом не так бросалось в глаза Черчиллю, когда в Белом доме хозяйничал Рузвельт. У того были отличные манеры аристократа,— если, конечно, допустить, что американец тоже может быть аристократом,— он обладал мягким гарвардским произношением в отличие от шокирующего среднезападного акцента, характерного для этого самоуверенного честолюбца Трумэна... Речь Сталина, по свидетельству знатоков русского языка, тоже была не свободна от акцента. Сталин тоже самоуверен и честолюбив. Но честолюбие честолюбию рознь, самоуверенность — также. За спиной у Сталина блестящая военная победа советского народа.

«Интересно, искренне ли он верит, что я одержу победу на выборах!» — подумал Черчилль о Сталине. Но тут же оборвал себя. Сталин был врагом. Врагом всегда. Тогда, до войны. И теперь, когда война в Европе окончилась. В этом главное...

Черчилль лично занимался подготовкой к приему Сталина в своей резиденции. Мальчишеское, несвойственное английскому характеру стремление перещеголять и Трумэна и самого Сталина всецело завладело им.

За два дня до приема он вызвал в столовую всех, кто не должен был участвовать в очередном заседании министров иностранных дел,— Рована, Морана, Томпсона, Мэри, и занялся тем, чем в другое время поручил бы заняться кому-нибудь из них. Сам расспрашивал повара, что предполагается подать на первое, что на второе, каков ассортимент крепких напитков и вин. Нервничая, потребовал вычеркнуть из меню некоторые из подготовленных блюд и заменить их другими. Потом стал прикидывать, как разместить за столом гостей. Приказал, чтобы саперы в кратчайший срок изготовили новый стол, гораздо больший по размеру, чем тот, который находился в столовой раньше.

— А где разместим оркестр? — строго вопрошал он.

— Только в соседней комнате,— последовал ответ. — Ведь музыкантов не менее пятнадцати человек.

Черчилль самодовольно усмехнулся. Это была его «маленькая месть» и Трумэну и Сталину — заставить их слушать обыкновенный военный оркестр, музыкантскую команду военно-воздушных сил Великобритании.

Убедившись, что она уже вызвана, Черчилль снова забеспокоился относительно порядка размещения гостей за столом. В порядке «репетиции» поручил Томпсону роль Сталина, Морану — его переводчика Павлова, а своего лакея Сойерса временно произвел в президенты Соединенных Штатов. Потом снова и снова просматривал список приглашенных, вычеркнул двух своих министров — лордов Лизерса и Червелла, а также генерального стряпчего Монктона. Лишь после вежливого напоминания, что приглашения уже разосланы и изменить что-либо невозможно, смирился и начал, противореча самому себе, запальчиво говорить, что здесь не московский Кремль, не лондонский Вестминстер и не американский Белый дом — ему наплевать, если кому-либо покажется, что в столовой тесно.

Черчилль не был мелочным человеком. Если страсти, овладевавшие иногда президентом Трумэном, были в чем-то сродни тем, что захватывали героев Бальзака, то бури, поднимавшиеся время от времени в душе Черчилля, больше роднили его с персонажами шекспировской драмы. Порой он становился капризным, вздорным, раздражался по пустякам, и тогда даже для самых близких людей общение с ним превращалось в муку.

Но всему приходит конец.

С Кайзерштрассе, от Трумэна, Черчилль вернулся в свою резиденцию в семь часов вечера, весь мокрый от сильной жары. В половине восьмого он, уже переодетый, осмотрел еще раз столовую и другие комнаты, куда могут зайти гости. С удовлетворением отметил про себя, что все и везде выглядит элегантно: нет американской безвкусицы, русского нагромождения еды и напитков — всего в меру.

Прием был назначен на восемь часов. Дом уже сверкал огнями, хотя за окнами было еще светло. Черчилль приказал опустить шторы, чтобы эффектнее сияли свечи на круглом столе.

— Посмотрите сюда, сэр! — негромко окликнул его Рован, слегка отодвинув кремовую штору. Черчилль, прильнув к окну, увидел, что в отдалении, по центру улицы, строем идут советские солдаты. С автоматами на груди они четко печатали шаг. Черчилль насчитал пятнадцать человек. Строй явно направлялся сюда, к его резиденции. Впереди шагал офицер в фуражке с малиновым околышем, у солдат фуражки и погоны были зелеными.

— Что это? — тихо спросил Черчилль. — ГПУ? — Он произнес эту аббревиатуру не по-английски, а по-русски.

— Похоже, что так,— неуверенно ответил Рован.

Метрах в пяти от двери в решетчатой ограде, отделявшей резиденцию от тротуара, солдаты остановились, по-прежнему держа строй.

Черчилль видел, как от калитки отделился Томми Томпсон. Советский офицер пошел ему навстречу.

В течение нескольких секунд они что-то говорили друг другу.

— На каком языке они объясняются? — пробормотал Черчилль.

— Не знаю, сэр,— ответил Рован и с легкой усмешкой добавил: — Очевидно, у служб безопасности всего мира есть какой-то свой, особый язык.

Тем временем строй советских солдат распался, человек десять из них вошли в калитку и скрылись из виду, остальные заняли места у калитки и на противоположной стороне улицы.

— Черт побери,— ворчал Черчилль,— может быть, дядя Джо опасается, что мы тут захватим его в плен в качестве заложника мирового коммунизма?

Он понимал, что недовольство его беспричинно: во время приема у Трумэна «маленький Белый дом» охранялся двумя рядами солдат американской пехоты. У Сталина охрана была меньше или солдаты лучше укрылись и не так бросались в глаза. А ведь что ни говори, Сталин был, конечно, первым из «Большой тройки», за кем начали бы охоту недобитые гитлеровцы, окажись они каким-либо чудом здесь, в Бабельсберге.

Отойдя от окна, Черчилль взглянул на часы. Минут через пятнадцать должен начаться съезд гостей. Он еще раз с удовлетворением оглядел стол: хрустальные рюмки и бокалы отлично блестели при свете свечей и люстр.

Черчилль любил блеск в прямом и в переносном смысле этого слова. Любил хрусталь, серебряную посуду, золоченые рамы картин, громкие титулы, военные парады, ордена и медали на мундирах офицеров и генералов. Утверждая список приглашенных, он позаботился, чтобы преимущество было отдано тем, кто носит военную форму. С удовлетворением подумал, что даже его переводчик Бирс носит погоны майора.

С иронией признался самому себе: «Я, оказывается, тоже тщеславен». Конечно, он не снижал таким образом цену собственной персоны, которую, как правило, завышал. Понимал: пристрастие к тому, что интеллектуалы называют «мишурой» или «суетой сует», является в его характере лишь продолжением свойственной ему, главной страсти — стремления к могуществу, к первенству всегда и во всем, к обладанию «всем самым лучшим», что может предложить человеку этот мир.

Черчиллю импонировало, что и Сталин во время войны сменил свой странный для европейца спартанский костюм — противоестественную смесь гражданской тужурки с армейскими сапогами и брюки военного покроя на мундир маршала с импозантными звездами на погонах. Совсем иной, куда более выигрышный вид, чем у американских президентов! Инвалид Рузвельт никакой формы носить просто не мог, а что касается Трумэна, то во время первой мировой войны он, кажется, дослужился лишь до капитана и, следовательно, теперь военная форма только бы унизила его — такой чин впору президентскому порученцу.

Сам Черчилль любил менять свои одеяния: то носил достаточно элегантный комбинезон, то появлялся в армейском генеральском мундире или военно-морском, адмиральском. На этот раз он предпочел тропический вариант формы генерала военно-воздушных сил.

Стоя посредине гостиной, несколько ближе к входной двери, английский премьер рукопожатиями или просто взмахом руки приветствовал съезжавшихся на прием англичан и американцев. Не было пока что только русских. Впрочем, Трумэн тоже еще не приехал. О его приближении Черчилль легко бы догадался по вою сирен и грохоту мотоциклов, идущих без глушителей,— эти звуки, конечно же, проникнут сюда с улицы.

Но Сталин, как уже заметил Черчилль, подъезжал всегда тихо, незаметно — в этом было нечто схожее с его походкой, бесшумной и мягкой. Следовательно, он мог появиться внезапно. И он именно так и появился в точно назначенное время — минута в минуту — в сопровождении Молотова, переводчика Павлова и нескольких военных.

Ненадолго задержавшись в проеме двери, привычно полусогнув левую руку, Сталин сразу привлек к себе внимание всех гостей и хозяина. Попыхивая сигарой, Черчилль устремился навстречу ему, произнося на ходу обычные в таких случаях общие фразы и прислушиваясь, как Бирс переводит их на русский. Сам он не знал и десятка русских слов, но к звучанию их успел привыкнуть.

— Я уже начал беспокоиться, не задержали ль вас поляки,— добродушно улыбаясь, сказал Черчилль. — Ведь они прибыли?

— Да, они здесь,— спокойно ответил Сталин.

— Их много?

— Не так много. Человек пятнадцать.

— Сколько?! Мы ожидали трех-четырех! Уж не собираются ли ваши друзья оккупировать Цецилиенхоф? Ведь они очень прожорливы!

— Им слишком долго приходилось жить впроголодь,— нахмурившись, ответил Сталин.

— Хорошо. Не будем об этом,— примирительно сказал Черчилль. — Сегодня главы трех держав могут считать себя свободными от повседневных забот и делать, что им хочется. Так?

— Они всегда могут делать, что им хочется,— со смешинкой в глазах отпарировал Сталин и, выдержав короткую паузу, добавил: — В разумных пределах, конечно...

Прошло еще несколько минут, прежде чем в комнату донесся извне рев сирен и грохот мотоциклов, а затем в дверях появился Трумэн. Он широко улыбался — всем вместе и никому в отдельности, энергичным броском протянул руку Черчиллю, и тому показалось, что напряженно державшемуся президенту очень хочется встать на цыпочки, будто его влекла вверх какая-то труднопреодолимая сила.

Постепенно все в комнате перемешалось. Черчилль видел знакомые лица Идена, Кадогана, Бирса, Стимсона, Маршалла, Леги, с которыми он вот уже несколько дней подряд встречался за круглым

столом в Цецилиеихофе. С удовлетворением отметил, что почти все военные при орденах и прочих знаках отличия.

Но иа ком бы ни останавлнвал свой взгляд Черчилль, он ни на миг не выпускал нз поля своего зрения человека в светло-кремовом военном кителе, с одинокой н потому ярко выделяющейся золотой звездочкой на левой стороне грудн. К нему, подчеркнуто скромно стоящему сейчас в толпе сверкающих орденами генералов и адмиралов, дипломатов в темных костюмах н ослепительно белых сорочках, неотступно было приковано внимание премьера.

«Любопытно,— подумал Черчилль,— существует ли объективно такое состояние человека, как предчувствие беды, или люди просто придумали это? Говорит ли сейчас что-нибудь Сталину его интуиция? Дошли ли до его слуха хоть смутно, хоть отдаленно, раскаты грома нз далекой американской пустыни? Ощущает ли он незримое присутствие грозного джинна, самого страшного нз тех, каких когда-либо выпускала из бутылки человеческая фантазия?..»

В это время военный оркестр грянул песню «Верни меня на мои зеленые луга»,— дирижер получил указание начать играть ровно через пять минут после того, как в зал войдут Сталин и Трумэн. Черчилль сам утвердил репертуар. Никаких гимнов, никакой классики, только бравурные марши и песни!

С удовлетворением он заметил, как при первых же оглушительно громких звуках литавр на лицах некоторых гостей промелькнуло выражение удивления. Разговоры прекратились — все равно никто никого не смог бы расслышать в грохоте барабана и медном звоне. На лице Трумэна, этого любителя «шопенов» н «шубертов», отразилось недоумение и даже испуг. Лицо Сталина, как обычно, было спокойно и не выдавало никаких эмоций, только правая, слегка изогнутая бровь генералиссимуса несколько приподнялась.

Черчилля охватило какое-то странное чувство, нечто вроде ощущения долга перед этим человеком. Совсем как тогда, в Тегеране, при вручении Сталину от имени короля Великобритании меча, выкованного английскими оружейниками, в знак признания всемирного значения победы Красной Армии в Сталинграде. Именно тогда Черчиллю впервые показалось, что он отчетливо видит за спиной Сталина руины огромного города. Те самые, что видел раньше на экране, когда демонстрировалась советская кинохроника: страшный, однообразный пейзаж разрушений н на фоне его каким-то чудом уцелевшие каменные фигурки детей со сплетенными в хороводе руками, застывшие, точно на мгновение прервавшие свою веселую пляску вокруг уже давно не существующего фонтана. Только на экране все выглядело мрачно, даже небо как будто почернело от копоти, но в те минуты Черчиллю померещилось, что за грудами превращенного в прах кирпича н обгорелых бревен, на едва различимом горизонте встает солнце далекой еще Победы...

Оркестр наконец смолк, и тогда Черчилль громко пригласил всех к столу, указывая Сталину место справа от себя, а Трумэну — слева. Когда гости расселись, Черчилль обвел стол медленным взглядом. Какой блеск орденов, медалей, пестрота разноцветных орденских ленточек!

За столом было много военных. Советские Вооруженные Силы представлены маршалом Жуковым, генералом Антоновым, адмиралом Кузнецовым. Они сидели вперемежку с американскими и английскими военачальниками — Маршаллом, Леги, Кингом, Александером, Монтгомери, Бруком... «Какой мир, какое согласие!» — едва скрывая усмешку, подумал Черчилль. Потом он перевел взгляд на Сталина. И хотя мистика была чужда душе Черчилля, он все же опять постарался разглядеть на лице советского лидера нечто такое, что указывало бы на предчувствие угрозы, нависшей над Россией.

Но Сталин вроде бы ничего не подозревал, с лица его не сходило спокойно-добродушное выражение.

— Тост, сэр, тост! — услышал Черчилль голос, обращенный к нему. Он даже не понял, кто именно произнес эти слова, потому что вслед за тем все чуть ли не хором поддержали просьбу: «Тост, сэр! Мы ждем тоста!»

Черчилль подготовил несколько тостов для сегодняшнего приема. Он любил произносить тосты. Для него, тщеславного, самовлюбленного и вместе с тем многосторонне одаренного человека, это было хорошим поводом блеснуть своими способностями. Для каждого из тостов он всегда выбирал подходящий момент. Если чувствовал, что выступавшие до него уже утомили собравшихся за столом, Черчилль блистал остроумием. Если же, наоборот, предшествующие тосты развеселили гостей, он завоевывал внимание серьезностью и драматическим пафосом.

Но сейчас, когда по логике протокола именно ему, Черчиллю, предстояло произнести первый тост, он, прирожденный оратор, вдруг почувствовал спазм в горле. Причина охватившего его волнения крылась в понимании того, что, может быть, он в последний раз сидит за столом с человеком, с которым судьба так парадоксально связала его на долгие четыре года. И еще, наверное, в том, что роль, которую предстояло ему сыграть при этой, возможно, последней их встрече, отдаленно напоминала поведение Иуды на «Тайной вечере»...

Речь свою он начал словами:

— Я поднимаю бокал в честь моего друга генералиссимуса Сталина...

В течение уже долгого времени Черчилль не произносил таких торжественных, с высочайшим эмоциональным накалом речей. Он говорил о жертвах, которые понес в этой войне советский народ. О беззаветной храбрости русского солдата. О трагедии, которую пережила Россия в первые месяцы войны. О том, как на полях сражений росло и мужало воинское искусство Красной Армии. Потом, переведя взгляд на сидевшего справа от него Сталина, начал говорить о роли, которую сыграл человек, руководивший гигантскими битвами,— о советском Верховном Главнокомандующем...

Черчилль говорил со всевозрастающей напористостью, будто споря с кем-то, может быть, и с самим собой. Он как бы старался убедить присутствующих в верности Сталина союзническому долгу, в его постоянной готовности прийти на помощь союзникам, когда они оказывались в критическом положении. Даже если это требовало больших жертв от Красной Армии!..

И закончил свой тост словами:

— Да здравствует Сталин Великий!

Черчилль произнес эти слова именно в такой последовательности, будто речь шла о царе Петре... Раздались шумные аплодисменты, потом — негромкий перезвон бокалов.

Сталин глядел перед собой спокойно, невозмутимо, как если бы все происходящее не имело к нему никакого отношения. Черчилля такое безразличие к его словам не обескуражило. У него уже был опыт подобного рода. В свое время, на банкете в Тегеране, он также назвал Сталина великим, и в первый момент показалось, что это не произвело на Сталина никакого впечатления. Но в своем ответном тосте Сталин заявил многозначительно, что быть великим руководителем, когда за тобой стоит великий народ, не так уж трудно...

Следующий тост Черчилль посвятил Трумэну. Это был традиционный английский тост — почтительный, но сдобренный хорошей порцией юмора, полусерьезный, полушутливый, словом, такой, в котором вроде бы есть все необходимое, а по сути нет ничего.

С ответным словом первым выступил президент. Смущенно он благодарил за доверие тех, кто поручил ему председательствовать на Конференции, сказал, что старается быть справедливым, и заверил, что не отступит от такой линии и в будущем. Едва Трумэн умолк, как встал Сталин, чтобы отметить скромность президента.

Затем пили за вооруженные силы союзников в целом, потом — поочередно — за их армии, за их военно-морские и военно-воздушные флоты. Оркестр сыграл сочиненную американским композитором Курзоном песню под названием «Сыны Советов».

С последним ударом литавр снова встал Трумэн и предложил тост в честь британского фельдмаршала Аллана Брука и советского генерала Антонова. Брук не замедлил с ответом и, обращаясь к Сталину, напомнил ему, как в Ялте, на аналогичном приеме, был предложен тост за военных — «тех людей, которые так необходимы, когда идет война и о которых забывают, когда наступает мир».

Сталин поднялся, держа в полусогнутой руке бокал, наполовину наполненный красным вином, и ответил Бруку, что солдаты этой войны никогда не будут забыты. Потом, чуть сощурившись, перевел взгляд на Трумэна, с него — на Черчилля и все так же тихо, почти не повышая голоса, продолжал:

— Я хочу также сказать следующее. Русский народ отлично сознает, что было бы несправедливо оставить без помощи своих союзников, чьи солдаты проливают еще кровь в битвах с Японией.

И повторил:

— Это было бы несправедливо.

Он умолк на некоторое время, как бы давая возможность всем присутствующим осознать смысл услышанного. Черчилль исподлобья посмотрел на него и уже приготовился поднять свой бокал, как вдруг снова услышал голос Сталина:

— ...И еще мне хотелось бы выпить за здоровье руководителя этого... зам-мэ-чательного оркестра. Могу я это сделать?

За столом раздался смех — оркестр всем порядочно надоел. В дверях произошло движение, и мгновение спустя на пороге появился молодой человек в форме британских военно-воздушных сил с дирижерской палочкой в руках. Он растерянно и даже испуганно смотрел на сидящих за столом.

— Мне хотелось бы выпить за здоровье ваших прекрасных музыкантов,— улыбнулся ему Сталин. — На войне нам всем приходилось выбиваться из сил, работать, так сказать, с полной отдачей. Но теперь наступил мир. Мы можем позволить себе... немного отдохнуть. Не будем же жестоки и к музыкантам и разрешим им тоже играть... немножко потише.

Грянул оглушительный хохот. Смеялись все, кроме Черчилля и растерянно глядевшего на Сталина дирижера.

Сталин же спокойно сделал глоток из своего бокала и сел.

Черчилль ссутулился и нахмурился. Нет, не только оттого, что Сталин фактически высмеял его попытку заставить гостей слушать лишь ту музыку, которая нравилась ему, Черчиллю. Угнетенное состояние премьера объяснялось также и тем, что он опять вспомнил о парламентских выборах, о том, что скоро надо ехать в Лондон, а до этого непременно нужно закончить переговоры с поляками, наверняка изнурительные и в конечном итоге бесплодные...

Вновь начали звучать тосты. Говорил Леги, говорил Маршалл. Потом заговорил Иден, тщетно пытавшийся расшевелить молчаливо сидевшего Молотова. Ему это не удалось, советский комиссар иностранных дел продолжал молчать, только поблескивал стеклами своего пенсне.

Подали кофе. Прием близился к концу.

Неожиданно Сталин приподнялся, взял со стола глянцевитую карточку, на которой было отпечатано меню, и на этот раз уже с явно доброй улыбкой сказал:

— Я никогда не собирал автографов. Но сегодня мне захотелось их иметь. Хочется запечатлеть на будущее момент, когда мы собрались здесь все вместе. И ничто иного не разделяет... кроме этого стола. И все говорят так... искренне и прямо. Хотя и с некоторыми преувеличениями... Словом, могу я пустить эту карточку, как говорим мы, русские, по кругу?

И протянул меню Черчиллю. А уж при прощании с ним несколько задержался в дверях и обронил такие слова:

— Нам скоро предстоит расстаться? Ненадолго, конечно!

— Это зависит от бога и британских избирателей,— негромко ответил Черчилль.

— Я думаю, что бог будет милостив к вам... и избиратели тоже,— загадочно улыбнулся Сталин, все еще держа руку Черчилля в своей.

— Я не уверен, как проголосуют солдаты,— признался Черчилль.

— Солдаты? — переспросил Сталин, неопределенно пожав плечами, и ушел.

А Черчилль еще несколько мгновений стоял в дверях неподвижно и размышлял: «Что означают слова Сталина? Простую любезность? Нет, этот человек не бросает слов на ветер. Для ни к чему не обязывающей любезности он мог бы использовать другую тему. Но предпочел сказать о выборах. Зачем? Потому что догадался, чувствует, насколько эта тема волнует Черчилля? Или, может быть... у него уже есть какие-то сведения? Ну, из английских коммунистических и других, близких к ним источников. Нет, это невероятно!»

И все же реплика Сталина благоприятно подействовала на Черчилля.

Он привык ненавидеть советского лидера. Бороться с ним явно и тайно. Но... верил, что сталинские прогнозы сбываются. Чаще всего Черчиллю хотелось бы обратного. Однако сейчас он хотел, чтобы Сталин и в самом деле оказался пророком.

Подошел прощаться Трумэн. За ним вереницей потянулись остальные гости.

Прием был окончен.

Глава четвертая
НЕОЖИДАННОСТЬ

О приглашении в Бабельсберг польской делегации Воронов ничего не знал. Случайно дошедший до него слух, что она должна прибыть с часу на час, застала его врасплох. Он кинулся было к кинематографистам, но те ему сказали, что никаких новых съемок им пока не поручено. В протокольной части Воронову намекнули, что приезд поляков «не исключен», и это было все, что удалось выяснить там.

Тот факт, что Воронова принимал сам Сталин,— а это, конечно, не могло остаться неизвестным среди советских людей в Бабельсберге,— как бы разом выделил его из общей массы журналистов. С ним теперь частенько первыми здоровались совершенно незнакомые ему люди. Некоторые с нарочитой, понимающе-таинственной улыбкой на лице.

Начальник АХО в тот же памятный вечер распорядился о досрочной смене в комнате Воронова постельного белья — теперь оно было ослепительной белизны и чуть похрустывало крахмалом. Внимательнее стали относиться к нему и в протокольной части: когда Воронов заходил, там немедленно наводили справки, не поступало ли на его имя каких-либо писем или телеграмм.

Во всем же остальном положение Воронова осталось прежним. О присутствии его на Конференции не могло быть и речи. Никакой сколько-нибудь точной информации о заседаниях он не получал. Казалось, что все к нему подчеркнуто доброжелательны. Иные не скрывая даже чувства благожелательной зависти. Но те же самые люди строго соблюдали условия секретности, в которых проходили заседания Конференции. О чем идет речь в Цецилиенхофе? Пожалуйста: о европейских границах, в том числе советско-польских и польско-немецких, об Италии... А вот что говорили по всем этим вопросам Трумэн, Черчилль, Сталин, какие произносили слова, имели ли место споры и если да, то из-за чего,— на это ответить никто не мог или не имел права.

В психологическом состоянии Воронова произошло какое-то раздвоение. С одной стороны, встреча со Сталиным породила у него ощущение еще большей приобщенности к событию огромной важности, которое происходило в Цецилиенхофе. Радовал сам факт, что Сталин разговаривал с ним и не только не наказал, хотя поначалу все, казалось, сулило крупные неприятности, но в конце концов, хоть и не одобрил его поведения, однако проявил понимание.

С другой стороны, Воронов был убежден, что встреча со Сталиным ко многому обязывает, повышает его ответственность не только перед Совинформбюро, которое он представляет здесь, не только перед сотнями тысяч читателей во многих странах мира, но и перед собственной совестью, совестью коммуниста-фронтовика. Он сознавал, что должен делать нечто большее, и главное — делать лучше, чем делал до сих пор. Отсюда возникло чувство неудовлетворенности самим собой и своим положением.

Услышав «краем уха», что в Бабельсберг прибывает польская делегация, Воронов решил сосредоточиться пока на этом событии. В конце концов Польша интересует сейчас весь мир, от решения «польского вопроса» в значительной мере зависит будущее Европы. «Польскую проблему» усиленно «обсасывает» со всех сторон западная печать. И, разумеется, Совинформбюро будет благодарно ему, Воронову, если он даст обстоятельный материал с места событий, подтверждающий неизменность советской позиции, выработанной еще во время Ялтинской конференции.

Когда же прибывает польская делегация? Кто в нее включен? Кто ее возглавляет? А главное — какие предложения она везет?

Можно не сомневаться, что уже завтра в американских, английских и других западных газетах появятся ответы на все эти вопросы. Ответы «липовые», высосанные из пальца — вряд ли их авторы смогут узнать больше подробностей о приезде поляков, чем советские журналисты и, в частности, он, Воронов, представитель Совинформбюро.

Но как выяснить реальные подробности?! Хотя бы одну из них: на какой аэродром или вокзал и когда именно прибывает польская делегация? Узнав это, можно предпринять попытку «прорваться» к делегации и взять короткие интервью...

Воронов снова метнулся в Советскую протокольную часть. И снова его постигла неудача: «протокольной» встречи поляков объявлено не было.

Он давно понял, что никакие личные отношения, никакое доброжелательство не в силах возобладать над тем, что является государственным секретом, заставить кого-то отступить от регламента, в котором до мельчайших деталей было расписано все, что касалось Конференции. И все-таки Воронов попробовал предпринять «обходной маневр»: поехать в Берлин, поискать там польского журналиста Османчика, с которым познакомился здесь, в Германии. И, может быть, через него выяснить хоть что-нибудь относительно польской делегации. Или поймать кого-нибудь из офицеров Войска польского, часто приезжавших по делам в Карлхорст, и выудить нужную информацию у них.

По дороге собрался на минуту-другую заехать в дом Вольфа — узнать, нет ли какой-либо записки от Чарли. Они договорились: поскольку для Брайта въезд в Бабельсберг закрыт, дом Вольфа станет для них своеобразным пунктом связи и обмена журналистскими новостями. Дружеские отношения между Вороновым и Брайтом восстановились полностью после той подстроенной Стюартом неофициальной, так сказать, пресс-конференции в «Подземелье». Воронову стало ясно, что Чарли затащил его туда без злого умысла и во время возникшей перепалки повел себя, как добрый товарищ...

Но где же искать Османчика? Он мог находиться и в штабе командования польской армии, и в берлинском пресс-клубе, и в «Undergrande»... А может быть, едет в поезде или летит в самолете вместе с делегацией своей страны? Последнее, впрочем, маловероятно: здешние драконовские правила относительно журналистов, наверное, распространялись и на него. Начинать поиски Османчика следовало с пресс-клуба.

— В Берлин-Целлендорф,—сказал Воронов, устраиваясь на переднем сиденье «эмки» рядом со своим водителем Гвоздковым. — По пути заедем к Вольфам. На минутку.

На Чарли он тоже возлагал кое-какие надежды. Ведь у этого пройдохи особый нюх на сенсации. Не исключено, что он первым узнает о приезде поляков через свою возлюбленную Джейн — машинистку из американской делегации.

У дома 8 на Шопенгауэрштрассе Гвоздков затормозил машину. Воронов нажал кнопку дверного звонка. Он не надеялся застать в это дневное время самого Вольфа, но полагал, что Грета наверняка дома.

Однако дверь ему никто не открыл. Воронов позвонил снова, приблизив ухо к двери, чтобы убедиться — работает ли звонок. Заглушенный дверью звук звонка он все же услышал, но иных звуков не было. Значит, дома никого нет. Вспомнив, что у него есть свой ключ от этого дома, Воронов воспользовался им.

Да, внутри действительно никого не было. Что ж в этом удивительного? Вольф, очевидно, как всегда занят своей бесцельной работой на развалинах завода, а Грета скорее всего «промышляет» на черном рынке возле Рейхстага или Бранденбургских ворот.

Странным показалось Воронову только одно: все шторы в доме были опущены. Дом вообще выглядел нежилым, но Воронов отметил это скорее подсознательно — ни Вольф, ни жена Вольфа сейчас совершенно не интересовали его. Он хотел знать только одно: нет ли для него записки от Чарли?

Обычно, если Вольфы хотели что-либо сообщить Воронову, то тоже оставляли записку на тумбочке в передней. Чаще всего это были высокопарные сообщения Греты насчет того, что дом их, «как всегда, к услугам хэрра майора».

Воронов включил свет в передней. Он не ошибся: на тумбочке лежало письмо. Да, именно не записка, а большой плотный конверт из серой шершавой бумаги, типичной для недавнего военного времени. На конверте большими аккуратными буквами было выведено: «ХЭРРУ ВОРОНОВУ М.» И внизу, в правом углу, уже мелкими буквами значилось: «От Германа Вольфа».

Конверт был тщательно заклеен, как если бы автор письма опасался чужих глаз.

Воронова охватило неосознанное волнение. Герман Вольф никогда не писал ему писем. Что там могло быть, в этом шершавом, тяжелом конверте? Отказ Воронову от квартиры, со ссылкой на приезд кого-либо из родственников? Или письмо имело отношение к тому, последнему разговору с Вольфом?

Не без труда надорвав слишком жесткий конверт, Воронов вытащил несколько исписанных листков, сложенных вдвое. Сразу обратил внимание на то, что письмо написано четкими, большими буквами, автор, по-видимому, беспокоился, что иностранцу будет трудно прочесть скоропись.

Воронов перешел к противоположной стене прихожей, где висела лампа под матерчатым абажурчиком, повернул выключатель и стал читать письмо:

«Глубокоуважаемый господин Воронов! Когда Вы прочтете это письмо, нас здесь уже не будет. Мы — Грета и я — уехали на Запад. Мне трудно было написать эту последнюю строчку, потому что я понимаю, какой особый смысл Вы в ней почувствуете. Но я покорнейше прошу, майн хэрр, не придавать нашему решению никакого значения, кроме одного, единственно правильного. Я больше не могу жить без работы. Есть люди, которые устают от нее, а меня мучает фактическое безделье, бесцельность того, чем я занимаюсь сейчас. Мне стыдно, что Вы застали меня за этой «работой». Может быть, Вы думаете, что для нас, немцев, самое главное в жизни всегда заключается в войнах, в том, чтобы, как говорил этот проклятый Гитлер, «расширять свое жизненное пространство». Мне не было тесно в моем доме, хватало и тех нескольких метров площади, которые занимал когда-то мой станок. А потом, когда я стал мастером цеха, моим пространством стал весь цех. Мало? Может быть, для кого-то и мало, а по мне — в самый раз. Я всегда считал, что человек должен жить «вглубь», а не «вширь». Мой брат, погибший за тысячи километров от Берлина, наверное, тоже согласился бы с этим. Я заверяю Вас, что в

душе каждого подлинного немца таится жажда труда. Страшные люди — к несчастью, они тоже были немцами — могли многих из нас заставить или уговорить убивать других людей, заменить один труд, подлинный, другим, мнимым и кровавым. Но сейчас, получив столь ужасный урок, мы хотим только одного: трудиться. Я трудился всю свою жизнь, хотя теперь сознаю, что результаты моего труда в разное время были разными. И все же я, Герман Вольф, всю свою сознательную жизнь оставался человеком труда. Был простым рабочим, стал мастером цеха. И поверьте,— это не похвальба,— высококвалифицированным мастером! Подумайте, каково мне, человеку, умеющему создавать и налаживать станки, привыкшему иметь дело с чертежами, с циркулем, штангелем и другими измерительными приборами, копаться в железной рухляди только потому, что мои рукам нет другого применения?

А теперь я считаю своим долгом, особенно после того, последнего нашего разговора, дать Вам некоторые пояснения. У человека, которому принадлежал завод, ныне превращенный в развалины, есть еще два завода. Они расположены в одной из западных зон. Волей случая бомбежка не тронула эти заводы, оба они на ходу. Позавчера этот мой бывший хозяин приезжал в Потсдам, посмотреть, что осталось от его здешнего завода, и вы знаете, что он сказал? Что не вложит ни пфеннига в восстановление этого завода — выгоднее построить новый.

И еще, как честный человек, не могу утаить от Вас, что он сказал, кроме этого: «Россия — сама в развалинах и не станет помогать нам восстанавливать наши заводы, она просто демонтирует то, что уцелело, и вывезет к себе». А вместе с этими жалкими остатками та же участь постигнет будто бы и нас — квалифицированных специалистов. Нам придется в Вашей стране отрабатывать нацистские грехи...

Впрочем, это уже вопрос политики. Я плохо в ней разбираюсь, всегда стоял от нее в стороне.

За несчастья, причиненные немцами Вашей стране, я уже заплатил жизнью своего единственного брата. Но дело сейчас не в том. Поверьте, только одно заставило меня принять решение, о котором Вы теперь знаете: уверенность, что на следующий же день после переезда на Запад я смогу войти в цех, где мне все так знакомо. Завод, о котором идет речь, аналогичен здешнему, и мне предложено там место мастера такого же цеха. Хозяин знает меня давно. Знает и то, что я хочу и умею работать...

Словом — поймите меня! — я хочу жить в привычной обстановке и заниматься привычным трудом. Это главная и единственная причина. Ну, вот и все. А дом мой пока по-прежнему в Вашем распоряжении. Разница только в том, что Грета не будет теперь надоедать Вам своими глупыми, навязчивыми разговорами. Что будет с этим домом дальше, Вы, если захотите, сможете узнать у Ваших оккупационных властей. Впрочем, вряд ли это Вас заинтересует,— ведь очень скоро Вы вернетесь к себе домой.

И самое последнее: спасибо Вам, многоуважаемый хэрр Воронов, за тот последний разговор. Мне очень грустно сознавать, что теперь Вы наверняка решите, будто говорили со мной напрасно.

До свидания. Или, может быть, прощайте? Вряд ли в водовороте этой грозной, исковерканной, неустроенной жизни бог снова сведет нас. Прощайте!

С глубоким уважением!

ГЕРМАН Вольф.

P. S. Грета тоже шлет лучшие пожелания «хэрру майору».

Если бы мне кто-нибудь раньше сказал, что отъезд Вольфа произведет на меня такое тяжелое, гнетущее даже впечатление, я бы не поверил. Какое-то время я стоял ошеломленный, безотчетно повторяя про себя: «Уехал... все-таки уехал!..»

Много лет спустя, восстанавливая в памяти эти минуты, глядя на себя как бы со стороны, я никак не мог понять до конца, что именно так потрясло меня тогда. В сущности, я ведь почти не знал этого Вольфа. Один или два раза выпил с ним по чашке кофе. И тот, последний разговор...

Да, очевидно, мое потрясение, вызванное отъездом Вольфов, имело определенную связь с нашим последним разговором. К тому, что Вольф каждое утро отправляется на работу, как обнаружилось совершенно бессмысленную, я отнесся тогда как к парадоксу, чудачеству. «Загадка Вольфа»? Ну и шут с ней, с этой «загадкой», решил я, занятый делами куда большей важности. И не очень-то задумывался над ответами на главные вопросы, терзавшие душу Вольфа: «Что будет с Германией?.. Что будет с нами дальше?..» Отвечал в общем-то правильно, так ответил бы, наверное, любой наш политработник, «проводя разъяснительную работу с местным населением». А надо было бы поискать какие-то другие, более сердечные, что ли, человечные слова. И я нашел бы их, нашел, если бы хоть на миг мелькнула мысль о том, что Вольф может покинуть нашу, советскую зону...

Нет, я ни в чем не обманывал его, говорил то, во что верил сам. И мне показалось, что убедил Вольфа, рассеял все его сомнения. Долгое время после того ощущал я пожатие его руки — сначала неуверенное, потом становящееся все сильнее... Даже счел уместным рассказать об этом Вольфе Сталину, когда решалась моя судьба. А теперь вот бывший хозяин поманил Вольфа пальцем, и он уехал к нему.

«Хозяин!» — казнил я себя. Нет, это ты, ты виноват, а не какой-то там хозяин! Не нашел настоящих слов. Ну, был вежлив с ним, уважителен,— он и в самом деле внушал уважение, этот Вольф, своим достоинством рабочего человека, полным отсутствием искательства, даже своим маниакальным пристрастием к труду. А на большее его не хватило. И тебя на большее не хватило. Ты, кажется, даже любовался собой: смотрите, мол, офицер армии-победительницы и так вежливо разговаривает с владельцем не-

мецкого дома! Будто пришел к нему в гости на правах старого знакомого...

Мне было горько сознавать, что никогда больше не увижу Вольфа. Стоя тогда в полутемной передней пустого дома, я был бы рад новой встрече даже с невыносимо говорливой Гретой.

Но их не было. Никого не было. Ни Вольфа, ни Греты. Я упустил их, потому что смотрел на земных людей из заоблачных высот...

Потом я попытался уговорить себя, убедить, что придаю отъезду Вольфа неоправданное значение. Какой-то там немец переехал из одной зоны в другую, подумаешь! Да их сейчас тысячи, десятки тысяч заполняют дороги Германии — на повозках, пешком, редко на машинах — в поисках работы, продовольствия, затерявшихся где-то родственников — таковы последствия войны! Наверное, пройдет немало времени, прежде чем это взбаламученное человеческое море успокоится, уляжется в привычные берега...

Так говорил я себе в утешение. И все-таки хотелось понять, чего он испугался? Социализма? Но Вольф не был капиталистом, потеря собственности не грозила ему. Наказания за преступления, совершенные его соотечественниками? Но мы столько раз в наших газетах, листовках, по радио повторяли сталинские слова о том, что гитлеры приходят и уходят, а Германия, народ германский остаются. Повторил эти слова и я в том разговоре. И у Вольфа не было оснований заподозрить меня в неискренности. Но он жаждал осмысленной работы, соответствующей его квалификации. Все дело, кажется, только в этом...

Я положил письмо в карман и медленно поднялся в свою мансарду. Там все как будто было по-прежнему. На столе — знакомая чернильница и ручки. Вот стул, на котором сидел Вольф, когда я, уступив ему место во время нашей беседы, пересел на кровать. И кровать как обычно аккуратно застелена... Впрочем, на ней чего-то не хватает — нет перины и одной из двух подушек. Видимо, уезжая, Вольфы все же захватили с собой самое необходимое.

Я спустился вниз, с порога окинул взглядом столовую. Мебель там была на месте, только скатерть с обеденного стола исчезла. Интересно, увезла ли Грета с собой запасы своего чернорыночного «настоящего» кофе?..

Выйдя из дома, я запер ключом дверь и подумал: «А куда же мне теперь девать этот ключ?»

И как бы в ответ на мой мысленный вопрос, услышал голос:

— Хэрр майор!

Я даже вздрогнул от неожиданности — так всегда обращалась ко мне Грета Вольф. Но нет, это не ее голос!

Повернув на оклик голову, я убедился, что голос принадлежит не Грете, а незнакомой мне женщине. Она стояла на крыльце соседнего дома, почти рядом, в каких-нибудь пяти — семи метрах от меня. На ней был тонкий застиранный домашний халатик, на плечи накинут платок.

— Простите меня, хэрр майор,— продолжала женщина, спускаясь с невысокого крыльца,— я увидела машину и догадалась, что вы приехали. Фрау Вольф просила отдать ключ от их дома мне. Конечно, в том случае, если он вам не понадобится.

— Ключ мне больше не понадобится,— сухо произнес я. — И если вас просили...

— Да, да,— торопливо прервала меня женщина,— в доме осталась кое-какая обстановка. Грета сказала, что за ней скоро пришлют грузовик. Но если хэрру майору угодно, он может пока пользоваться всем.

— Возьмите,— сказал я, протягивая ей ключ. — До свидания.

— Мне надо что-нибудь передать Грете или Герману, если они здесь появятся? — вежливо осведомилась женщина.

— Передайте... — невольно вырвалось у меня, но я тут же взял себя в руки и сказал: — Нет, только ключ. Ничего больше передавать не надо. До свидания,— повторил я еще раз, уже открывая дверцу своей «эмки».

Машина тронулась по направлению к Берлину.

— Ну, как наш фриц поживает? — спросил после некоторого молчания старшина Гвоздков. — Все ходит железяки разбирать?

— Нет,— глядя на свои колени, сумрачно ответил Воронов. — Он уже не разбирает их. Уехал.

— Куда? — удивился старшина.

— В другую зону. К американцам или англичанам. Может быть, к французам. Точно не знаю.

Старшина слегка присвистнул.

— Вон его куда, значит, потянуло! Что ж, дело понятное. «Вольф» — это по-немецки «волк», кажется? — спросил он неожиданно. И, как бы отвечая самому себе, добавил: — Выходит, как волка ни корми...

— Ну, кормили мы его не так уж сытно,— сумрачно и все еще не поднимая головы заметил Воронов:

— А он что — в иждивенцы к нам записался, что ли? Хоть как-то, но мы кормим их. От солдат своих отрываем — от тех, кто в России с голодухи пухнет, я уже не говорю,— а кормим...

Он помолчал немного и продолжал:

— Со страху, наверное, убег. Хоть и знает, что нам приказано мирное население не трогать, а остерегается, да и совесть, наверное, мучает... После того, что они на нашей земле натворили, им, полагаю, советскую военную форму видеть страшно.

— Сам Вольф ничего не натворил,— резко ответил Воронов. — Он обыкновенный, мирный, немецкий рабочий.

— Все они теперь «мирные немецкие рабочие», товарищ майор,— ожесточенно возразил Гвоздков. — Все мирные, все бывшие коммунисты, все в лагерях сидели и Гитлера кляли. Непонятно только, кто наши города и села порушил, кто мирных русских людей за ноги вешал и в огне сжигал?

В другое время Воронов оборвал бы Гвоздкова, как уже обрывал не однажды, когда тот пренебрежи-

тельно называл Вольфа «фрицем». Но теперь он промолчал, хотя гвоздковские «обобщения», после того как кончилась война, когда встала задача, по выражению Сталина, бороться за душу той Германии, которая хочет мирно трудиться, были попросту вредны.

А Гвоздков не унимался:

— Вот, товарищ майор! Ведь чего мы только для этих фрицев не делаем: кормим их, вместе с ними бок о бок улицы в Берлине расчищали, метро восстанавливаем, из России вагоны с продовольствием идут, хотя наши родные семьи все еще суп из лебеды жрут... Так нет же, мало им этого! К капиталистам бегут. Конечно, капитализм фашисту — вольфам всяким — поближе будет, чем Советская власть.

Воронов встрепенулся:

— Я вас просил, старшина Гвоздков, никогда не называть Вольфа фашистом. Для этого нет никаких оснований!

— Простите, товарищ майор,— покорно, но с явной обидой в голосе глухо откликнулся Гвоздков. И после паузы упрямо добавил: — А все-таки подозрительный он. Ей-богу, подозрительный! Потихоньку, как вор какой, к тем развалинам завода пробирался... А может, и не железки он там разбирал — это только предлог был, чтобы со своими встретиться... Ну, с вервольфами разными... Нет, товарищ майор, что вы ни говорите, а не было у меня к этому немцу доверия. Думаю, если бы в его душе поковыряться как следует...

— Две души у него, старшина,— задумчиво произнес Воронов.

— Во-во, о том и говорю! — воскликнул Гвоздков, обрадованный тем, что наконец-то нашел общий язык со своим начальником.

Разговорившись, он почти уткнулся радиатором «эмки» в американский «додж». На заднем борту этой машины белыми буквами было написано: «If you can read this, you are damn too close» [1].

— Что за надпись такая? — спросил Гвоздков, притормаживая.

— Это значит, что передок себе разбить можешь,— ответил Воронов. — Не держишь дистанцию.

— Учат!.. — пренебрежительно процедил сквозь зубы Гвоздков и резко вывернул руль, объезжая американскую машину справа. — Считают, что русского Ваньку всему учить положено. Лучше бы на фронте показали, как воевать надо!..

Они въехали в Берлин.

— Куда курс держать? — деловито, как бы отсекая все сказанное им раньше, спросил Гвоздков.

— В Целлендорф. Пресс-клуб помнишь? Мы там бывали,— ответил Воронов.

— Это о котором у полицейского справлялись?

— Тот самый.

— Мигом будем там,— пообещал Гвоздков, нажимая на акселератор...

В пресс-клубе, точнее, в его коридорах и библиотеке, куда Воронов имел доступ, его ждало разочарование. Знакомые и незнакомые журналисты первыми здоровались с ним — после поединка с Стюартом он и здесь стал более или менее известной фигурой,— но ни Осмачика, ни Брайта найти ему не удалось.

Где жил Осмачик, Воронов не знал. Квартиру Брайта, ту самую, расположенную над маленькой фотографией, куда они примчались с аэродрома Гатов после встречи Трумэна, Воронов, хотя и с трудом, но, наверное, сумел бы отыскать. Однако в этом не было никакого смысла. Брайт днем не сидит в своей облезлой квартире, заставленной картонными ящиками с бутылками виски, банками кофе и блоками сигарет.

Оставалась последняя надежда узнать хоть какие-нибудь подробности о посланцах Польши — Бюро Информации.

Вернувшись в машину, Воронов коротко приказал водителю:

— В Карлсхорст!

Ехали молча,— пересекая Берлин с запада на восток. Их все время обгоняли американские машины: казалось, что люди, сидевшие за рулями «джипов»,— «виллисов» или «доджей» — просто не подозревали, что ездить можно и со средней скоростью. Зато недавно пущенные по городу трамваи ползли по рельсам, как черепахи. Обгоняя их, даже дисциплинированный Гвоздков позволял себе выскакивать на левую сторону улицы.

Миновали столб с прибитым к нему листом фанеры, на котором было написано: «Вы покидаете американский сектор».

— Слава богу,— облегченно вздохнул Гвоздков.

Теперь «эмка» продолжала свой путь по той же «Франкфуртераллее», но это был уже советский сектор. Впереди чинно следовали в два ряда хорошо знакомые Воронову полуторки и трехтонки. Они везли какие-то бетонные трубы и металлические конструкции. «Вероятно, для восстановления метро»,— подумал Воронов.

Стараясь выиграть во времени, Гвоздков свернул в переулок,— там хоть и узка проезжая часть дороги, зато она менее запружена. Но, как назло, перед «эмкой» оказался очередной трамвай. Облезлый, грязно-желтый, со следами шпаклевки, вагон двигался медленно, даже, как показалось Воронову, нарочито медленно, и так как улица была настолько узкой, что обогнать его оказалось невозможно, старшина стал сигналить в надежде, что вагоновожатый убыстрит ход своей набитой людьми колымаги. Однако тот либо был туговат на ухо, либо с немецкой аккуратностью выполнял инструкцию о скорости движения трамваев.

Эта улитка на колесах почему-то привлекала к себе внимание прохожих. Они то останавливались, то почти бегом обгоняли вагон и толпились там, впереди, что-то показывая друг другу. Советских военных среди толпящихся в переулке людей Воронов не замечал. Здесь были только немцы со своими продуктовыми сумками или с тележками, нагруженными домашним скарбом.

---

[1] «Если ты в состоянии прочесть эту надпись, значит, едешь чертовски близко» (*англ.*).

«Что за чертовщина! — выругался Воронов. — Чем привлекает внимание прохожих этот обшарпанный вагон?»

Наконец он не выдержал. Открыл дверцу машины, на ходу выскочил из нее и быстрым шагом пошел вперед, обгоняя медленно ползущий трамвай.

И вот что увидел Воронов. На передней выпуклости трамвая, под окном вагоновожатого, был прикреплен броский красочный плакат. На первый взгляд он показался Воронову знакомым. Такие плакаты в огромном количестве выпускали в Советском Союзе во время войны. На них был изображен советский солдат, занесший приклад своей винтовки над головой пресмыкающегося гада — то ли удава, то ли дракона,— свернувшегося в форме свастики. А надпись гласила:

«Смерть немецким оккупантам!»

Но кому могло прийти в голову вешать этот плакат на трамвай сегодня, когда прошло уже почти три месяца после окончания войны? Зачем? С какой целью?

Воронов сделал еще несколько быстрых шагов вперед. Людей на тротуарах скапливалось все больше. На лицах отчаяние и страх.

Попристальнее вглядевшись в плакат, Воронов вдруг обнаружил, что это, как говорится, Федот да не тот: свастики нет, удав выглядит безобидным ужом, покорно свернувшимся у ног солдата и обреченно взирающим на занесенный над ним приклад винтовки. И надпись другая: «Смерть немцам!» Под печатным текстом красной краской от руки — немецкий перевод этого страшного призыва.

Явная провокационная фальсификация!

«Что делать? Остановить трамвай? Потребовать у вожатого снять плакат?»

После происшествия у Стюарта он дал себе слово проявлять сдержанность, осторожность в самых острых ситуациях и теперь не мог решить, как ему следует поступить.

Неожиданно среди столпившихся немцев произошло какое-то движение. Они расступились. С тротуара на рельсы выбежал какой-то человек. Широко раскинув руки, крикнул:

— Хальт!

От медленно двигавшегося трамвая этого человека отделяли какие-нибудь четыре-пять метров. Но и это ничтожное расстояние каждую секунду сокращалось.

— Хальт! Хальт! — закричал он еще громче, тоном категорического приказа, не только не сходя с рельсов, но даже делая шаг навстречу трамваю.

Раздался дребезжащий звонок — вагоновожатый требовал освободить путь.

Перед самым буфером трамвая человек отпрянул в сторону, но лишь для того, чтобы ухватиться за деревянные поручни, перемахнуть разом через все ступеньки и оказаться в кабине вагоновожатого. Что произошло там, внутри, Воронов не видал, но спустя еще мгновение трамвай остановился. И тогда десятки людей, до тех пор будто загипнотизированных, мгновенно очнулись, загалдели и устремились к передней площадке трамвая.

Воронов последовал за ними. Ему удалось ухватиться за один из поручней и поставить ногу на нижнюю ступеньку. Рядом на подножке сгрудились еще несколько человек, однако почему-то не решались войти внутрь вагона.

Воронов все же протиснулся туда. Человек, остановивший вагон, стоял спиной к нему, положив руку на «контроллер» и склонившись над вагоновожатым, кричал тому прямо в ухо:

— Я из районной магистратуры! Немедленно снимите свой подлый плакат! Зачем вы его повесили?

Услышав слово «магистратура», пожилой вагоновожатый резво вскочил со своего сиденья и вытянулся, как солдат на смотру. Испуганно доложил:

— Я не вешал его!

— А кто повесил?

— Наверное, в депо, майн хэрр! Когда я собрался выезжать на линию, этот плакат уже висел!

— В каком секторе расположено ваше депо?

— В американском, майн хэрр! Но мне сказали, что это русский плакат и что русские будут довольны, когда вагон пройдет в таком виде по советскому сектору!

— А еще кто будет доволен? Недобитые нацисты?.. Господа! — обратился представитель магистрата к толпе,— прошу сорвать эту гадость с трамвая!

Просьба прозвучала, как приказ, и несколько рук немедленно потянулись к плакату, сорвали неплотно приклеенный лист.

— Дайте сюда! — неожиданно для самого себя вырвалось у Воронова.

В этот момент из толпы кто-то крикнул:

— Оставьте старика в покое! При чем тут вагоновожатый? Это русский плакат! Я сам видел десятки таких в русских городах.

Воронов попытался разглядеть кричавшего, но тот спрятался за спины остальных.

И тогда Воронов, стоя на верхней ступеньке трамвайной подножки, закричал в толпу:

— Ложь! Тот, кто вступился сейчас за вагоновожатого и тут же трусливо спрятался, наглый лжец! Я русский и могу засвидетельствовать, что какой-то негодяй или негодяи состряпали подложный плакат! По общему виду он напоминает подлинный, антифашистский, а по существу возводит клевету на советских людей. Именем советского народа я отметаю ее и у вас на глазах рву эту пакостную фальшивку!

— Айн момент, товарищ Воронов! Дело должно быть расследовано до конца. Не сомневаюсь, что ваши власти заявят решительный протест...

Воронов в изумлении обернулся: этот человек, остановивший трамвай, назвал его фамилию. Но откуда он ее знает?!

И вдруг вспомнил, узнал: это ж Нойман, тот самый немец-коммунист, который вместе с советским офицером из Карлсхорста провожал его на квартиру Вольфа!

— Вот так встреча! — не веря глазам своим, воскликнул Воронов.

— Спокойно, товарищ! — все так же негромко произнес в ответ Нойман. И, отстраняя Воронова, снова обратился к толпе: — Итак, провокация разоблачена. Она свидетельствует о том, что фашизм еще не добит. И еще кое о чем... но в этом еще нужно разобраться. Я забираю фальшивку в районный магистрат. Для расследования.

Он решительным движением взял из рук Воронова плакат и свернул его в трубку.

В это время Воронов услышал дрожащий голос вагоновожатого, все еще стоявшего навытяжку:

— Меня... расстреляют?

Этот вопрос в одинаковой мере относился и к Нойману и к Воронову.

— Вы доедете до конечной остановки и будете ждать вызова,— строго сказал Нойман. — А теперь быстро вперед, без остановок!

— Но... майн либер хэрр, ведь я нарушу инструкцию! — жалобно взмолился вагоновожатый. — По инструкции я обязан останавливаться на каждой остановке и брать пассажиров!

Как ни взволнован был Воронов всем происшедшим, он чуть не рассмеялся: человек только что опасался расстрела, а теперь остерегается нарушить «инструкцию»! Да, в определенном смысле немец всегда остается немцем...

Толпа, окружавшая вагон, между тем стала редеть. Сзади доносились нетерпеливые гудки машин.

— Поезжайте же! — вторично приказал Нойман вагоновожатому и вслед за Вороновым соскочил с подножки.

Уже на тротуаре они поздоровались, как будто только что встретились здесь:

— Здравствуйте, товарищ майор!

— Добрый день, товарищ Нойман! Вот уж не думал, что встретимся при таких обстоятельствах!

— Мы все еще живем в особых обстоятельствах,— серьезно ответил Нойман и кивнул на подрулившую к ним «эмку»: — Это ваша машина?.. Тогда до свидания. Я пойду в магистрат. Необходимо выяснить, из какого депо вышел этот трамвай, вызвать для допроса вожатого и немедленно связаться с вашей комендатурой...

— Но погодите! — воскликнул Воронов. — Моя машина в вашем распоряжении! Да и я сам, наверное, могу пригодиться. В качестве свидетеля?

— Вы действительно хотите побывать в районной магистратуре? — вроде бы удивился Нойман.

— А почему бы и нет?

— Ну... просто я догадываюсь, что событие, ради которого вы находитесь сейчас в Германии, целиком занимает все ваше время и внимание.

Это было и так и не так.

В данный момент больше всего, если не всецело, Воронова занимала «трамвайная история». Она по-своему перекликалась с отъездом в западную зону Вольфов.

Воронову показалось, что Германия взглянула на него сейчас как-то по-новому. Что было в этом ее взгляде? Страх? Робкая надежда или безнадежность? Вера, смешанная с недоверием?..

Германия, которая совсем недавно концентрировалась для Воронова в клочке потсдамской земли, теперь простерлась гораздо шире и смотрела на него глазами прохожих, смотрела из окон сохранившихся домов, из развалин, из подворотен. Смотрела и спрашивала: «Ну, ты, русский, советский, скажи нам, каким будет завтрашний день? Скажи, каковы твои намерения? Скажи, что нам делать,— бежать ли подальше от твоих соотечественников с красными звездочками на фуражках и пилотках, или искать у них защиты?»

«Защиты от кого?» — мысленно спросил Воронов.

Ему не терпелось узнать, кто все-таки устроил провокацию с плакатом. В магистратуре, наверное, это сумеют выяснить.

— Едем,— решительно сказал он, раскрыл заднюю дверцу «эмки» и, пропустив Ноймана вперед, уселся рядом с ним.

— Вишь, чего творят фашисты проклятые! — сердито проворчал Гвоздков и осекся, вспомнив, что в машине находится посторонний человек, немец к тому же. Предупреждая упреки Воронова, извинился: — Простите, товарищ майор!

— На этот раз, Алексей Петрович, вам извиняться нечего,— откликнулся Воронов. — Фашизм был и остается проклятым. И товарищ Нойман, который едет с нами, такого же мнения.

Соблюдая вежливость, Воронов тут же перевел для Ноймана свой короткий диалог с водителем. И, снова обращаясь к Гвоздкову, сказал по-русски:

— У этого человека к фашизму свой счет есть.

— Коммунист, значит? — понимающе улыбнулся Гвоздков. — Скажите ему, товарищ майор, от советского солдата скажите, что приятно с ним познакомиться.

— А мы же знакомы,— ответил Нойман, выслушав перевод Воронова.

— Это где же встречаться приходилось? — с недоумением оглянулся назад Гвоздков.

Воронов напомнил об их первой поездке к Вольфам, и ему захотелось притом сказать Нойману, что Вольф сбежал на Запад. Но он промолчал, решив, что Нойман может воспринять это сообщение как косвенный упрек. Ведь не кто иной, как Нойман, рекомендовал ему поселиться у Вольфов и дал такую хорошую аттестацию им.

Нойман тоже хранил сосредоточенное молчание, лишь время от времени подсказывал Гвоздкову: «Rechts... Links» [1]. И Воронов сосредоточился, стал обдумывать так случайно подвернувшийся ему явно интересный материал для очередной статьи. Ее можно назвать «Фашизм еще жив!» или как-нибудь в этом роде. Не напрасно он хотел поехать с Нойманом в магистрат: надо обязательно узнать, кто и как организовал эту провокацию с плакатом.

Наконец Нойман положил руку на плечо Гвоздкову, а другой показал на двухэтажное здание, к которому они приближались.

[1] «Направо... Налево...» *(нем.)*

— Понятно,— сказал Гвоздков,— яволь, значит,— и затормозил у подъезда.

Комната на нижнем этаже районного магистрата была переполнена людьми. Общим видом своим и царящей здесь атмосферой она напоминала приемную какого-нибудь райжилотдела в послевоенной Москве или регистратуру районной поликлиники. Люди сидели на расставленных вдоль стен скамьях, толпились возле закрытой двери, ведущей в следующую комнату.

— Сегодня прием ведет Шульц,— тихо пояснил Нойман Воронову, когда они пробирались к той двери, и добавил: — Он социал-демократ.

Приподняв на уровень плеча свернутый в трубку плакат и повторяя одни и те же слова — «Entschuldigen... virreihen sie bitte» [1], Нойман довольно быстро пробивался к прикрытой двери. Воронов неотступно следовал за ним, так же бормоча по-немецки извинения.

Шульц сидел лицом к двери за небольшим письменным столом. У стола, на самом краю стула, спиной к выходу, тоже кто-то сидел, очевидно, проситель.

Воронов услышал обрывок их разговора:

— Значит, я могу не волноваться, хэрр советник? Правда? Моя жена вот уже вторую ночь боится ложиться спать...

— Никаких оснований для беспокойства нет, повторяю вам,— устало ответил Шульц.

Теперь Воронов разглядел его лицо. Оно было немолодо, сухощаво, на голове редкие седые волосы. На Шульце был толстый, несмотря на жару, застегнутый на все пуговицы пиджак, из-под лацканов виднелись застиранная белая, с желтоватым оттенком рубашка и скрутившийся в жгутик темный галстук. Стол, за которым он сидел, завален папками, бумагами; там почти не оставалось места для приткнувшегося на самом краю телефона.

— Спасибо, хэрр советник... — снова заговорил, встав со стула, человек, лица которого Воронов попрежнему не видел. — Значит, я могу сказать дома, что...

— Да, да, хэрр Браун,— прервал его Шульц,— вы можете говорить всем и каждому, что заняли это помещение по ордеру магистрата.

— Осмелюсь спросить, как фамилия хэрра советника?

— Генрих Шульц меня зовут!

— Да, но та записка...

— Наплюйте на нее! Такие записки рассылают трусы, бессильные что-нибудь сделать. Однако, если хотите, я перешлю ее в советскую комендатуру.

— О, нет, нет,— торопливо и даже с испугом в голосе произнес тот, кого Шульц назвал Брауном. — До свидания. Спасибо. Огромное спасибо, хэрр Шульц.

И Браун, поклонившись, направился к выходу, пятясь то задом, то боком.

— Передайте ожидающим,— крикнул ему вслед Шульц,— что прием возобновится через десять — пятнадцать минут.

— «Яволь... гевисс... натюрлих» [1], хэрр Шульц,— пробормотал Браун и наконец исчез за дверью, плотно притворив ее за собой. Нойман представил Шульцу Воронова:

— Вот познакомься: это советский журналист, хэрр Воронов. Точнее, товарищ Воронов.

Шульц протянул руку.

— Очень рад познакомиться, товарищ.

— Я тоже,— сказал Воронов, несколько удивленный, что социал-демократ называет его «товарищем».

— Интересуетесь работой магистрата?

Воронов ответил уклончиво:

— Я вижу, у вас ее очень много. — И, в свою очередь, поинтересовался, кивнув на дверь: — Чего главным образом хотят эти люди?

— Лучше спросите, чего они не хотят! — с горькой усмешкой ответил Шульц. — Хотят продовольствия, хотят жилья, хотят работы.

— А о чем просил этот Браун?

— О, тут особая история. Он ремесленник, точнее, сапожник. Большая семья. Дом, где он жил, разрушен. Мы вселили его в квартиру бывшего нациста. Гауляйтера районного масштаба. Этот тип сбежал еще до того, как ваши войска вступили в Берлин. Квартира небольшая, три комнаты, но почти целая.

— Так что же, ему трех комнат мало?

— Для семьи из семи человек она была бы в самый раз. Но мы вынуждены были поселить в этой квартире четыре семьи.

— И он недоволен?

— Что вы! Сейчас в Берлине доволен каждый, если имеет крышу над головой.

— Так в чем же дело?

— А вот почитайте.

С этими словами Шульц взял со стола и протянул Воронову смятый, захватанный многими пальцами листок бумаги. Там коричневыми чернилами или какой-то краской было написано печатными буквами:

«Советский лизоблюд! Если в течение трех дней ты не уберешься из украденной тобой чужой квартиры, она станет кладбищем для тебя и твоей семьи. Понял? Это приказ».

И в конце нечто вроде лозунга: «Смерть русским и их прихлебателям!»

— Такие, с позволения сказать, послания берлинцы получают нередко,— сказал Шульц. — К счастью, в большинстве случаев это только шантаж. Угрозы редко приводятся в исполнение. Тем, кто их расточает, достаточно посеять панику, вызвать у людей страх, недоверие к нам, ну и, разумеется, к вам. Тем не менее мы пересылаем подобные записки в советскую комендатуру, она дает соответствующие указания своим патрулям... Конечно, взять под охрану всех жителей Берлина, точнее, советского сектора, патрули не в состоянии, однако...

[1] «Простите... извините, пожалуйста» (*нем.*).

[1] «Слушаюсь, конечно, несомненно» (*нем.*).

Нойман не дал ему закончить фразу, протянул свернутый в трубку плакат.

— Что это... такое? — не сразу понял Шульц.

Нойман вкратце рассказал о происшествии.

Наступило тягостное молчание.

Потом Шульц сдвинул свои седые брови и медленно произнес:

— Ясно...

— А мне многое еще неясно,— сказал Нойман. — Вагоновожатого надо бы основательно допросить.

— Где он? — оживился Шульц.

— Поехал по своему маршруту.

— Его следовало задержать.

— Какой ты стал умный, Шульц! — с добродушной иронией сказал Нойман. — Оставив вагон без вожатого, я бы перегородил дорогу для другого транспорта, нарушил бы и без того затрудненное уличное движение. Это, во-первых. А во-вторых, ты же знаешь, что я не обладаю полицейской или военной властью. И так пришлось сослаться на магистрат.

— Надо немедленно включить в это дело советскую военную комендатуру.

— Вот тут ты прав. Действуй...

Шульц снял телефонную трубку. Нойман и Воронов вышли из его комнаты, чтобы не нервировать людей, дожидающихся приема.

Принадлежность Шульца к социал-демократам вызывала у Воронова смутную неприязнь к нему. С первых же школьных уроков обществоведения Воронов, как и все его сверстники, усвоил, что социал-демократы — предатели рабочего класса; своим отрицанием революционного насилия, диктатуры пролетариата, пропагандой «постепенного реформизма» они мешают революционной борьбе и тем самым объективно помогают буржуазии.

— Вы давно знаете Шульца? — спросил Воронов у Ноймана.

Тот почему-то усмехнулся:

— Давно. Мы познакомились в тридцать пятом. Впрочем, тогда это было знакомство, о котором мы оба еще ничего не знали.

— То есть как?

— А вот так. Он съездил меня по физиономии, ну, а я в порядке ответной меры свернул ему челюсть.

— Вы?! Ну, а... потом? Выходит, что помирились?

— А потом была война, товарищ майор,— задумчиво произнес Нойман.

— Я чего-то не понимаю,— пожал плечами Воронов.

— Понять это и легко и трудно,— с невеселой усмешкой продолжал Нойман. — Легко, потому что стычки между коммунистами и социал-демократами были когда-то обычным делом. К сожалению, приходилось драться не только с нацистами.

Дальше Нойман распространяться не захотел. Извинившись, предложил:

— Может быть, мы поговорим об этом как-нибудь... в следующий раз? У вас ведь дела. Да и мне пора уже быть в районном комитете партии.

Но Воронов вовсе не собирался расставаться с ним.

С тех пор, как он выехал из пресс-клуба, где не узнал ничего из того, что его интересовало, прошло немногим более часа. За это время Воронов оказался как бы в другом измерении. Он не был профессиональным журналистом-международником, им сделала его война, точнее, ее вторая половина, когда его — работника фронтовой газеты, неожиданно назначили на работу в Совинформбюро. Однако и там в обязанности Воронова не входило писание статей на международные темы. Продолжая оставаться в действующей армии, Воронов должен был писать корреспонденции, рассказывающие западным читателям правду о боях на советско-германском фронте. Политическим корреспондентом в узкопрофессиональном понимании этого слова он стал только теперь. Положение обязывало его все глубже и глубже вникать в международные проблемы.

Жизнь довоенной Германии была известна Воронову лишь в самых общих чертах. Когда к власти пришел Гитлер, он еще учился в школе. Там на уроках обществоведения говорилось, конечно, о фашистских погромах, кострах из книг, преследованиях коммунистов. Об этом же сообщали советские газеты и московское радио. Позже, уже будучи студентом, Воронов читал в газетах решения Исполкома Коминтерна и узнал кое-что о взаимоотношениях между германскими партиями, о ликвидации их всех, кроме фашистской. Но эти его знания были более чем поверхностны.

Да и новые служебные заботы, новые поручения, какие он исполнял теперь, обращали его взгляд не столько внутрь Германии, сколько как бы вовне ее. До сих пор его интересовало только то, что имело непосредственное отношение к Конференции глав трех великих держав.

Однако то, что произошло в течение последнего часа — провокация с плакатом, посещение магистрата и та история, которую Нойман сейчас начал ему рассказывать, но так и не окончил,— обострило интерес Воронова к внутренней жизни Германии.

— А мне нельзя пойти вместе с вами в райком?— спросил он Ноймана.

— Если у вас есть такое желание, пожалуйста,— сделав приглашающий жест рукой, сказал Нойман.

Через несколько минут машина доставила их к большому серому дому. Собственно, это были руины дома — от верхних его этажей остались лишь полуразрушенные стены, в просветах между которыми виднелись чудом уцелевшие лестничные площадки. Однако два первых этажа имели жилой вид, хотя застекленными были лишь три или четыре окна, остальные забиты досками.

Тротуар перед этим домом был тщательно расчищен. Сбоку от входной двери, на маленькой вывеске, прикрепленной к стене, Воронов прочел:

«Коммунистическая партия Германии. Районный комитет».

Проследовав за Нойманом внутрь помещения, Воронов ощутил резкий запах краски. Настолько рез-

кнй, что заслезились глаза. Стены комнаты, в которой они оказались, были только что покрашены. В углу еще стояла лестннца-стремянка, и почтн рядом с ней за небольшим столиком сидела молодая женщина.

Когда они вошли, женщина, вндимо, только что закончила телефонный разговор,— рука ее оставалась еще на телефонной трубке, уже положенной на рычаг.

— Вас сейчас спрашивали нз городской комендатуры,— сказала она, обращаясь к Нойману.

— Кто именно? — спросил тот.

— Товарищ майор... Вар-фоло-меев,— ответнла женщина и, как бы опасаясь за то, что неправильно произнесла трудную фамилию, указала пальцем на лежавшнй перед ней листок бумагн:

— Вот... я записала:. Вар-фо...

— Спасибо, Амалня,— сказал Нойман, избавляя ее от труда вторично пронзносить непривычную для нее фамилию, и добавил: — Я ему позвоню. А теперь хочу познакомить тебя с нашим советским товарищем.

Женщина встала. Воронов обратил внимание на ее старенькое, заплатаниое на локтях платье.

— Очень приятно,— сказал по-немецки Воронов, прнближаясь к ее столнку,— моя фамилия произноснтся легче: Во-ро-нов.

— Амалня Вебер,— представнлась женщина и протянула ему ладошку правой руки, узенькую н твердую, похожую на обтянутую кожей деревянную дощечку.

— Первый на месте? — спросил Нойман, кивая на одну из дверей, справа от Амалии.

— Нет, он на расчистке третьего участка метро,— ответила Амалия.

Только сейчас Воронов подумал, что он еще не знает, какую должность занимает сам Нойман. Во всяком случае, теперь стало ясно, что первым секретарем райкома Нойман не является.

А Нойман уже открыл другую дверь — слева от столика, за которым сндела Амалия, и прнглашал Воронова:

— Проходите ко мне.

Комнатка была крошечная — в ней едва умещались письменный стол и несколько стульев. На противоположной входу стене внсели портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Тельмана.

— Прнсаживайтесь,— сказал Нойман, указывая на ближний к столу стул,— я сделаю только однн звонок...

Он снял телефонную трубку, набрал номер н спустя иесколько секунд заговорнл:

— Товарищ Варфоломеев? Это Нойман. Мне передалн, что вы звоннлн. Чем могу быть полезен вам?

Еще несколько секунд он выслушивал Варфоломеева, потом коротко рассказал о пронсшествии с трамваем и опять умолк ненадолго.

Перед тем, как повесить телефонную трубку, Нойман обронил всего две короткие фразы:

— Ясно, товарнщ майор. До свнданья.

Воронову он сообщил:

— За этим вагоновожатым уже послалн. — И продолжил задумчиво: — Интересно все-таки, чья это проделка! Наших иацн нлн... ваших союзников.

Последнюю фразу Нойман произнес с едва заметной иронией. После чего, как бы отбрасывая все это в сторону, сказал:

— Ну вот, товарищ Воронов, вы иаходитесь, громко выражаясь, в кабинете одного из секретарей районного комнтета нашей компартии. Первый секретарь, как вы уже слышали, занят на расчистке метро. Восстановление метро — одна нз наших первоочередных задач. Вы, наверное, знаете, что, когда ваши войска вступили в Берлин, фашисты затопили метро вместе с укрывавшимися там людьми, на ряде участков оно было взорвано. Сейчас с помощью советских товарищей на некоторых направлениях уже пущены поезда. Но только на некоторых. Берлннцы, следуя на работу или возвращаясь с работы домой, сплошь н рядом вынуждены по нескольку раз выходить из метро и поверху идти пешком до следующей станцни... Словом, мы должны восстановить все наше метро как можно скорее...

Когда он это говорил, перед глазами Воронова возникли подернутые дымкой безвозвратно ушедшего времени картины строительства Московского метро в самом начале тридцатых... Ему представилось, что он стоит на углу Охотного ряда н улнцы Горького. Гостиницы «Москва» еще нет и в помине. Из ворот в невысоком деревянном заборе выходят строители первой очередн метро: чумазые парни в спецовках, некоторые с отбойными молотками на плечах и девушки в красных платках, из-под которых выбиваются серые от бурнльной пыли волосы... Пуск первой очереди метро — какая это была радость!

Одно воспоминание потянуло за собой другое: возвращение Чкалова и его экипажа из беспосадочного перелета в Америку, дождь листовок, осыпавших медленно двнжущиеся по улице Горького открытые машины, в которых сидели герои... Толпы ликующих москвичей, запрудивших тротуары узкой еще тогда улицы Горького... А потом встреча Громова, побившего чкаловскнй рекорд... Встреча Коккннаки, совершившего перелет через Атлантнку...

«Неужели все это ушло безвозвратно? — с грустью подумал Воронов. — Так трудно смирнться с тем, что какие-то события, реальные и значительные события проходят, исчезают и уже никогда больше не возвратятся!.. Ведь должно же быть какое-то место, какое-то неведомое пока измерение, куда они уходят, чтобы остаться там на века. И может быть, наука когда-ннбудь найдет способ возвращать их, чтобы мы моглн взглянуть на ннх снова, хоть на мгновенне...»

«Чепуха какая-то! — оборвал поток этнх мыслей Воронов. — Фантастика, мнстнка!.. Начитался в юности Уэллса...»

К действнтельности вернул его голос Ноймана.

— Так на чем мы остановнлись — спроснл Нойман.

— На той трамвайной нсторин. Почему вы полагаете, что напакостнли союзники?

— Я еще ничего не полагаю. Факты покажут. А пока я знаю только одно: трамвай шел из американского сектора. Подождем результатов расследования.

— Тогда, может быть, вернемся пока к тому, как вы свернули челюсть этому Шульцу,— предложил Воронов и шутливо добавил: — Вы что же, поэтому и решили выдвинуть его на работу в магистрат?

Нойман не принял шутки.

— О том, что именно я свернул ему челюсть, мне стало известно не сразу,— нахмурившись, ответил он.

— Кто же вам об этом сообщил?

— Сам Шульц. В концлагере, в котором мы вместе сидели. У нас было достаточно времени для воспоминаний. Почти семь лет. В перерывах между работой и побоями вспоминали, как были глупы когда-то. Вспомнили и о драке на Александерплац, возле ювелирного магазина. Шульц утверждал, что тот мой удар мешает ему есть, достаточно хорошо разжевывать черствый, суррогатный лагерный хлеб. А у меня самого в той же драке было сломано ребро. В конце концов мы оба пришли к выводу, что это нас коечему учит.

— В каком смысле? — не понял Воронов.

— В самом элементарном. Если мы, коммунисты и социал-демократы, увечим друг друга из-за разности убеждений, а потом, невзирая на эту разницу, оказываемся в концлагере у нацистов, где нас одинаково бьют, одинаково морят голодом и где нам одинаково каждый день грозит смерть, то это значит, что у нас один и тот же враг: фашизм.

— Да... я понимаю...— задумчиво произнес Воронов,— но все-таки разница убеждений между коммунистами и социал-демократами остается?

— Остается, конечно,— согласился Нойман,— и немалая. Но это не должно мешать нам объединяться перед лицом общего врага. Я имею в виду фашизм. В лагере нас, можно сказать, заставили объединиться. Сама жизнь заставила. Не думаю, что немецкие социал-демократы забудут об этом теперь. Шульц, во всяком случае, не забудет. Я ему верю...

То, что рассказал Нойман, заставило Воронова призадуматься: многие его прежние представления о специфике классовой борьбы были, пожалуй, несколько упрощенными. Но отрекаться от них полностью он не мог и не хотел.

— И все же, товарищ Нойман,— уже без прежней категоричности произнес Воронов,— коренные противоречия между коммунистами и социал-демократами остаются, верно? Скажем, такое из них, как отношение к частной собственности. «Иметь и не иметь». Вы, наверное, читали эту книгу Хемингуэя в конце тридцатых.

— В конце тридцатых я читал «Майн Кампф» — это была единственная книга, которая допускалась в концлагерь,— жестко ответил Нойман. — А что касается противоречий, то вы же знаете, что марксизм имеет в своем арсенале такое понятие, как «диалектика».

— Понимаю. Вы хотите сказать, что, когда враг одинаково угрожает и революционерам и реформистам, они могут и должны объединяться. Но насколько прочно такое объединение? Например, вы, немецкие коммунисты, наверняка считаете своей главной целью создание социалистической Германии в ленинском понимании этого слова. А они...

— Вы ошибаетесь, товарищ Воронов,— прервал его Нойман. — Пока мы такой цели перед собой не ставим.

— Как?! Значит, вы отказываетесь от главного, за что боролись?

— Нет,— твердо возразил Нойман. — Мы ни от чего не отказываемся. Мы были коммунистами и остаемся ими, несмотря на то, что сейчас еще относительно слабы. Во время гитлеризма на нашу партию обрушились страшные удары. Она была загнана в подполье, искалечена, ее основные кадры перебиты...

— Значит, как только вы окрепнете...

— Боюсь, товарищ Воронов, что вы не вполне понимаете специфику положения, в котором сейчас находится Германия, ее народ... О чем он мечтает сейчас? О прочном мире. О работе. О восстановлении страны... Чего боится? Кое-кто еще боится мести гитлеровцев. Но не это главное. Геббельсовская пропаганда не прошла для немцев даром. А в последние месяцы перед поражением она стала совсем оголтелой. И главной ее целью было внушить нашему народу, что русские — это звери, кровожадные азиаты, что, придя в Германию, они прольют моря крови, а оставшихся в живых немцев вышлют в Сибирь, заставят работать в рудниках на Крайнем Севере. Вспомните, что было написано на том плакате! Мы реалисты, товарищ Воронов. И понимаем, что любой наш лозунг должен выдвигаться тогда, когда он наверняка встретит положительный отклик в душах людей. Сегодня Германия еще не созрела для того, чтобы проголосовать за социализм.

— Значит, вы выжидаете, пока...

— Опять нет. Дело обстоит не так просто. Разумеется, мы будем работать в том направлении, в котором должен действовать любой убежденный коммунист. Но решать, каким быть социальному строю Германии, предстоит самому немецкому народу... Послушайте,— как бы вспомнив о чем-то очень важном, обратился Нойман к Воронову,— разве вам не приходилось читать наш программный документ? Заявление ЦК КПГ?

— Нет,— смущенно признался Воронов.

— Мы опубликовали его здесь, в Берлине, одиннадцатого июня, буквально на второй день после того, как советская военная администрация разрешила деятельность антифашистских партий и организаций.

Что мог сказать по этому поводу Воронов? Что в июне, спустя месяц после окончания войны, Германия как бы перестала для него существовать? Что другие, мирные дела — ожидание увольнения с военной службы Марии, собирание различных справок для поступления в аспирантуру, подготовка к вступительным экзаменам — захватили его целиком? Что ему захотелось забыть, вычеркнуть из своей жизни эти страшные военные четыре года и не на Запад,

а в глубь своей собственной родной страны был обращен его взор? Что, обнаружив в газетах материал, в котором встречалось слово «Германия», старался пропустить его?

А потом?.. Потом, в июле, когда Воронов получил приказ отправиться в Потсдам и в первые дни пребывания его в Бабельсберге он старался уяснить позицию Трумэна и ее отличие от курса, который проводил Рузвельт, понять, с чем приехал на Конференцию Черчилль... Европейские границы, «польский вопрос», репарации... Даже не будучи допущенным на саму Конференцию, Воронов чувствовал себя в водовороте событий, связанных с ней...

— Я слышал об этом документе,— кривя душой, чтобы не обидеть Ноймана, нерешительно проговорил Воронов,— но прочитать его мне так и не удалось. Это моя вина.

— Нет, это наша вина,— серьезно возразил Нойман. — Значит, мы издали документ недостаточным тиражом, мало экземпляров послали в Карлсхорст... Словом...

Он открыл ящик стола, вынул оттуда тоненькую, отпечатанную на серой, шершавой бумаге брошюру и сказал:

— Вот это Заявление. Возьмите. Прочитайте его, здесь все сформулировано ясно и четко, и вам будет интереснее прочесть сам документ, чем слушать пересказ. И еще одна просьба: прошу вас как коммунист коммуниста, когда прочтете, передайте эту брошюру кому-либо из немцев, который ее еще не читал. Поинтересуйтесь, например, знает ли ее содержание Вольф, у которого вы живете.

— Вольфа нет,— тихо сказал Воронов.

— В каком смысле? — удивленно переспросил Нойман.

— Он уехал. На Запад.

Воронов произнес эти слова почти со злобой. Нащупал в кармане своего пиджака прощальное письмо Вольфа и дал его Нойману.

— Вот. Читайте.

Нойман молча взял из рук Воронова сложенные вдвое листки и погрузился в чтение.

В наступившей тишине Воронов услышал за тонкой перегородкой, отделявшей клетушку Ноймана от приемной, телефонные звонки, немецкую речь, скрип открываемой по соседству двери. Затем звуки голосов стали раздаваться уже из-за стенки слева.

«Очевидно, вернулся первый секретарь райкома»,— подумал Воронов. Он с нетерпением ждал, что скажет Нойман, прочтя письмо.

Закончив чтение, Нойман посидел некоторое время молча, глядя сосредоточенно на последнюю страницу, и произнес сухо:

— К сожалению, с этим приходится считаться.

— С чем именно? — пожелал уточнить Воронов.

— С тем, о чем мы только что говорили,— все тем же тоном продолжал Нойман. — Ничто не проходит бесследно. Даже, как видите, для таких людей, как Вольф. Плохо работаем. Еще плохо.

Последние слова Нойман произнес с глубокой грустью. И тут же спросил Воронова:

— Для вас, очевидно, нужно подыскать другую квартиру?

— Нет. Спасибо,— ответил тот. — У меня же есть комната в Бабельсберге. И кроме того, Конференция, наверное, скоро кончится, я уеду. Совсем.

— Совсем? — переспросил Нойман.

Видя недоумение Воронова, вызванное этим вопросом, поспешил разъяснить:

— Вы же увезете хотя бы кусочек Германии в своем сердце? Нашей истерзанной, искалеченной фашизмом Германии? Или: «с глаз долой, из сердца вон»? Кажется, у вас есть такая пословица.

— Я... как-то не думал об этом, товарищ Нойман,— чистосердечно признался Воронов. — Впрочем, нет. Думал. Когда прочел это письмо. Теперь, после нашего разговора, буду думать еще больше. А сейчас, простите, мне пора. Я и так задержал вас.

Нойман встал.

— Вам предстоит очень трудная и очень сложная работа,— сказал Воронов, протягивая Нойману руку. — Искренне желаю успешно с ней справиться.

— Нет таких крепостей, которых большевики не смогли бы взять,— с дружеской улыбкой сказал Нойман, переводя на немецкий известную фразу Сталина.

Воронов вышел из здания райкома. Посмотрел на часы, прежде чем сесть в ожидавшую его машину. Стрелки показывали четверть шестого... Там, в Цецилиенхофе, наверняка уже идет Конференция. А поляки?! Черт возьми, как же все-таки выяснить: когда они прибывают и где остановятся?.. Польских журналистов он не разыскал. Может быть, попытаться узнать у военных?..

Воронов сел в машину и приказал Гвоздкову:

— В Карлсхорст.

Глава пятая
ТОВАРИЩ ВАЦЕК И ДРУГИЕ

Самолет, летевший из Варшавы в Берлин, сильно болтало. В Потсдаме было тихо, безветренно, безоблачно, а в воздушном пространстве, разделявшем польскую и германскую столицы, ветры крутили свои карусели, темные облака то и дело окутывали самолет, воздушные потоки то приподнимали его, то на короткие мгновения бросали в «ямы».

Это был советский транспортный самолет «ЛИ-2». Но на хвостовом его оперении резко выделялось своими свежими красками изображение белого «орла Пястов» — эмблема Польской республики.

Этот самолет — из тех, что Советский Союз передал некогда в распоряжение сражавшейся с ним бок о бок польской армии — был теперь «демобилизован» и разоружен. Над ним уже не возвышался колпак из плексигласа, прикрывавший турельный пулемет и стрелка в постоянной боевой готовности. Из вместительного фюзеляжа исчезли металлические скамьи. Их заменили мягкими откидными креслами, подобающими салону пассажирского самолета.

Только часть кресел была сейчас занята. В салоне расположились не более пятнадцати пассажиров. Это были министры новой Польской Народной Республики во главе с председателем верховного органа власти — Крайовой Рады Народовой и сопровождающие их советники.

Совсем недавно очень немногие знали подлинное имя худощавого черноволосого человека, к которому все относились теперь с подчеркнутым вниманием. Впрочем, и теперь близкие по привычке называли его Вацеком...

Биографии революционеров-подпольщиков нередко похожи одна на другую: участие в забастовках, занятия в конспиративных кружках, тюрьмы, побеги. Снова тюрьмы. И снова побеги. Побеги на волю, которая для революционера отличалась от тюрьмы лишь отсутствием решеток на окнах и железных запоров. Ведь и на воле для таких людей не было подлинной воли...

У того, которого друзья все еще иногда звали Вацеком, были и другие псевдонимы. Но теперь он носил свое подлинное имя: Болеслав Берут.

Ему исполнилось пятьдесят три года, а расчесанные на пробор волосы уже значительно поредели. Потому что с юных лет «вихри враждебные» веяли над ним и каждый день мог стать для него последним.

На войне день службы в действующей армии засчитывался солдатам и командирам за три.

Коммунистам-революционерам никто, в том числе и они сами, не «засчитывал» прожитых дней и лет. Зачем? Они состояли на «довольствии» у Революции, которая пока что не могла предложить им ничего, кроме постоянного вражеского окружения, жандармских застенков, тюрем и эшафотов.

Ничего, кроме сознания необходимости свято выполнять долг перед народом. Перед его Будущим.

Ничего, кроме великой цели и счастья борьбы за ее осуществление.

Черноволосый человек был поляком до мозга костей. Он любил свою страну, верил в её лучшее будущее и в Революцию пришел по одному из тех «разных путей», о которых говорил Ленин. Для него это был путь борьбы за социалистическую Польшу, а в самом начале — просто путь протеста.

Свой первый революционный поступок — пока еще ребяческий, обусловленный неумением сдерживать эмоции,— он совершил в возрасте тринадцати лет. Это случилось в 1905 году, когда забастовали варшавские школы, требуя преподавания на польском языке. Вот тогда-то люблинский школьник Берут, широко размахнувшись, бросил чернильницу в висевший на стене класса царский портрет...

И что же последовало за тем? Где он, опальный юноша, бывший школьник, жил, что делал?

Жил сначала в конспиративной конуре, загроможденной книгами Маркса, Плеханова, Ленина. Ему было не привыкать к прозябанию в темных, сырых норах. В них начинал он свое детство — спустя год после рождения Болеслава его отец, Войцех, спасаясь от наводнения разлившейся Вислы, поселился со своим семейством в подвале двухэтажного «доходного» дома. На верхних этажах жили те, кто побогаче. В подвалах — «чернь».

Исключенный из школы, Болеслав стал чернорабочим. Одновременно занимался в ремесленном училище. Был разносчиком газет. Работал в типографии. Потом сам стал «издателем», тайно печатая на гектографе польский патриотический журнал «Вызволенье». Сам писал статьи. Даже стихи...

В двадцатые годы вел подпольную работу в Домбровском угольном бассейне. Подвергался арестам. Шесть раз! Тюрьмы — в Бендзине, в Равиче. Организовал там тайные революционные кружки. «Преподавал» заключенным историю рабочего движения в Польше...

В восемнадцатом — через год после победы Революции в России — Берут вступил в только что созданную в Польше коммунистическую партию. Снова подполье. Сопряженные со смертельным риском поездки в Коминтерн. Короткие периоды жизни в Москве, в коминтерновской гостинице «Люкс» на Тверской. После каждого такого периода — снова возвращение в Польшу, разумеется, нелегально, через леса, по топким болотам...

Семья? Да, жена, дочь, которую он не видел месяцами.

Кто мог думать тогда, что этот черноволосый человек, внешне малоприметный, неторопливый, лишенный ораторского дара в привычном смысле этих слов, станет вождем новой, социалистической Польши? И не только с жандармами, но с президентами и премьер-министрами предстоят ему схватки!.. Но до этого надо было еще дожить. В подполье. В «независимой», но в панской Польше, с независимой контрразведкой — «дефензивой», независимой полицией, независимыми тюрьмами. В Польше, где крестьяне по-прежнему изнывали от нужды и голода, городская беднота по-прежнему ютилась в подвалах, а богатые — в верхних этажах.

Уже признанный одним из лидеров рабочего революционного движения Польши, он еще настойчивее разыскивается жандармерией Пилсудского, Рыдз-Смиглы, Бека. А когда Польша стала «германским генерал-губернаторством», то и гестаповцами. В оккупированной гитлеровцами Польше Вацек — один из вождей польского Сопротивления...

Жизнь и деятельность революционеров-подпольщиков не фиксируется шаг за шагом биографами, и сами они, как правило, немногословны. Ничего записанного — это может быть обнаружено при очередном обыске. Ничего лишнего в разговорах — это может быть использовано провокаторами, охранкой. Разговорчивые — находка для врага. За ними охотятся. Их быстрее вылавливают, легче сламывают в прямом и переносном смысле этого слова.

Товарищ Вацек. И все.

— Где и когда родился?

Молчание...

— Женат ли, есть ли дети?

Молчание...

— Где жил в такие-то годы и месяцы?

Молчание...

И вот в 1944 году, когда Красная Армия, преследуя гитлеровцев, вступила на территорию Польши, на пост председателя Крайовой Рады Народовой, фактически президента страны, был избран Болеслав Берут — вчерашний «товарищ Вацек».

Эти выборы имели свою особенность. Пока что невозможно было провести всеобщее голосование: гитлеровцы еще продолжали хозяйничать в растерзанной ими Польше. Но 2 января 1944 года в Варшаве, на Твардовой улице, в двухкомнатной квартире, двадцать два представителя от двенадцати основных демократических групп и организаций Польши на своем тайном заседании единогласно избрали Берута президентом Польской республики...

Итак, 23 июля 1945 года Берут, бывший «товарищ Вацек», летел в Германию, в Потсдам, чтобы отстоять подлинную независимость своей родной Польши, освобожденной войсками Красной Армии и частями Войска Польского.

Соседнее с ним кресло было завалено папками с документами — справками, копиями официальных заявлений, историческими обзорами. В одной из этих папок — подписанное Трумэном приглашение: «Имею честь от имени глав правительств, находящихся в настоящее время на Конференции в Потсдаме, просить правительство Польши направить двух или трех своих представителей по мере возможности 24 июля с целью представления министру иностранных дел Соединенного Королевства, Комиссару иностранных дел Советского Союза и государственному секретарю Соединенных Штатов Америки своей точки зрения по вопросу о западных границах Польши...»

Это приглашение не было для Берута полной неожиданностью. В последние годы он не раз бывал в Москве, встречался со Сталиным и знал, что начиная с Тегеранской конференции между Советским Союзом, с одной стороны, Англией и Америкой — с другой, идет скрытая и явная борьба за будущее Польши.

Чем предстоит ей стать? Снова вооруженным форпостом Запада против Советского Союза, звеном в «санитарном барьере», подобном тому, каким в довоенные годы Страна Советов была отделена от Европы? Безропотной служанкой Англии, ослабевшей, но надеющейся с помощью Америки восстановить свои силы? Страной с голодным народом, обжирающимися магнатами и вездесущей «дефензивой»?

Но разве ради этого Польша приняла на себя первый удар немецкого фашизма, начавшего вторую мировую войну? Разве ради этого сотни тысяч поляков сгорели в печах Освенцима и Майданека, пропитали кровью своей мостовые Варшавы во время трагического восстания?

— Ради этого,— отвечал Черчилль в Потсдаме.

— Ради этого,— соглашался с ним Трумэн.

Конечно, они выражали это свое мнение иными словами. Приводили гладенькие, хорошо обкатанные «доводы» — политические, экономические, моральные,— любые, в основе которых лежала одна цель: предотвратить создание новой, независимой Польши, восстановить на границе с Советским Союзом капиталистическое, контрреволюционное по сути своей государство. «Польский вопрос» стал одним из главных препятствий, разделявших участников встречи за круглым столом в замке Цецилиенхоф.

Три дня назад Берут был осведомлен по телефону из Карлсхорста о намерении Сталина выдвинуть предложение о приглашении на Конференцию в Потсдаме представителей Польши, а позавчера узнал, что это предложение после упорной борьбы принято.

Официальное приглашение последовало незамедлительно.

С самого начала решив показать, что готов к деловым переговорам, но не намерен подчиняться диктату Трумэна и, конечно же, Черчилля, Берут сформировал польскую делегацию не из «двух-трех», как писал ему американский президент, а из одиннадцати человек, включив в нее не только министров, но и экспертов по различным вопросам: экономическим, политическим, историческим, военным.

Свободных мест в самолете было много, поэтому члены делегации устроились просторно, каждый мог занять отдельный ряд кресел, разместив на соседних сиденьях свои портфели и папки с документами. Министры переговаривались между собой, шутили. И только один из них — полный блондин, выше среднего роста — сидел молча, в демонстративном отдалении от других, почти в «хвосте» самолета.

Даже выбором места в самолете человек этот как бы подчеркивал свое особое положение в делегации. Его звали Станислав Миколайчик. В новом правительстве Польши он занимал пост вице-премьера и одновременно должность министра земледелия.

По своей биографии это был антипод Берута. В то время как Берут скрывался в конспиративных квартирах, сидел в тюремных камерах, выдерживал изнурительные допросы следователей «дефензивы», Миколайчик относился к числу процветающих, благополучных депутатов сейма, представлял там кулацкую верхушку «крестьянской» партии — «Стронництво людове».

Была ли у него в жизни цель? Да, была. Та же самая, что и у его политических единомышленников: всегда цепко держаться за свое место на верхушке общественно-политической пирамиды, возведенной над сотнями тысяч обездоленных, нищих крестьян и рабочих.

В тридцать девятом году, когда разразилась вторая мировая война и Польша оказалась первой жертвой гитлеровской агрессии, Миколайчику удалось бежать в Англию. В отличие от многих других «благополучных» депутатов сейма он был плохим оратором: выходец из кулацкой великопольской семьи, Миколайчик говорил с ярко выраженным познанским акцентом, букву «р» произносил гортанно, совсем как немец, речь его текла замедленно и прерывисто, как ручей, пробивающийся через нагромождения камней. В то же время Миколайчик, склонный к авантюризму, слыл мастером политической интриги. И эту его способность быстро разглядел Черчилль,

под чьим высшим руководством формировалось польское эмигрантское правительство в Лондоне. Миколайчик становится сперва вице-премьером, а затем и премьером этого «правительства».

У него были для этого все данные. То, чего хотел Черчилль, хотел и Миколайчик. Так же, как и Черчилль, он ненавидел Россию, а еще больше — Советский Союз и теперь жил только ради того, чтобы в случае разгрома Гитлера союзниками триумфально вернуться в Варшаву, превратиться из премьера без населения и территории в подлинного правителя Польши.

Подлинного?.. Ну, пусть даже не совсем подлинного, а зависимого от того же Черчилля! Миколайчик был уверен, что в случае победы над Гитлером Англии вновь предстоит главенствовать в Европе, хотя на этот раз по «американской доверенности». Но ей потребуются люди, которым можно будет «передоверить» повседневное управление Польшей. И естественно, что одним из таких людей окажется Миколайчик: Черчилль не обойдется без него.

Отношения между ним и Черчиллем были не простыми. В честолюбии «польский премьер» не уступал премьеру британской империи: требовал, чтобы его «правительство» все принимали всерьез, не раз срывал переговоры с Советским Союзом о создании нового, послевоенного правительства Польши.

Конечно, Черчилль предпочел бы человека менее претенциозного, послушного ему во всем. Но не находилось такого, и он примирился с тем, что имеет под рукой деятеля, хотя и капризного, а все же целиком разделяющего его взгляды, готового без оглядки идти вместе с ним к единой цели — восстановлению антисоветской, послушной Британии «панской Польши».

После того, как союзники договорились о создании нового польского правительства «национального единства», Миколайчик захотел и тут играть главенствующую роль. Его не покидала честолюбивая мечта стать премьером правительства, признаваемого не только Британией и Америкой, но и Советским Союзом.

Поначалу история, точнее, ее противоречия, работали на Миколайчика. В Ялте союзники сошлись на том, что действовавшее тогда в Люблине Временное правительство Польши должно быть реорганизовано на более широкой социальной основе. Это означало, что в него войдут не только демократические деятели из самой Польши, а и «поляки из-за границы».

Миколайчик несколько раз побывал в Москве, встречался со Сталиным, пытаясь притом решить сразу две задачи: создать у Советского правительства впечатление о себе как о единственном кандидате в новое польское правительство, на которого пойдет Лондон, и вместе с тем противодействовать стремлению Сталина иметь в Варшаве правительство лояльное, дружеское Советскому Союзу.

Миколайчик, как и Черчилль, считал, что для такого противодействия все средства хороши. Опираясь на генерала Бур-Комаровского, он спровоцировал совершенно безнадежное тогда антигитлеровское восстание в Варшаве, рассчитывая в случае успеха этой авантюры въехать в столицу Польши на «белом коне». Одновременно он же тайно поощрял польских диверсантов-антисоветчиков на подрывные действия в тылу Красной Армии, начавшей уже освобождать польскую территорию от немецко-фашистских захватчиков. Диверсантов выловили и судили в Москве. Тем не менее Сталин, далеко не все еще знавший об истинной роли Миколайчика и, главное, стремившийся к достижению договоренности с союзниками по многим важным вопросам, пошел на компромисс, согласившись с неизменным требованием Черчилля включить «его человека» во Временное польское правительство. Миколайчик стал там вице-премьером.

И вот теперь, как бы символизируя этот компромисс Советского Союза с западными державами, Миколайчик был включен Берутом в делегацию, которая направлялась в Потсдам. Он понимал, что находится в меньшинстве: только Ян Станьчик, тоже «лондонский поляк», бывший правый профсоюзный деятель, а теперь министр труда и социального обеспечения, мог бы блокироваться с ним.

Но Миколайчик сознавал, что дело тут не в арифметике, а в расстановке могущественных сил, олицетворяемых Сталиным, Трумэном и Черчиллем. Там, в Потсдаме, Сталин тоже в меньшинстве. Следовательно, от того, какую позицию займет Миколайчик, будет зависеть кое-что, может быть, даже очень многое...

О том, что произойдет в Потсдаме, сосредоточенно размышлял по пути туда и глава польской делегации Болеслав Берут. Он предвидел, что там и ему, и секретарю ЦК Польской рабочей партии темпераментному Гомулке, и премьер-министру Осубке-Моравскому предстоит жестокая борьба...

Сидя у окна самолета, Берут перебирал в памяти события последних лет, как бы отбирая из них те, которые могут послужить неотразимыми аргументами в споре за народную Польшу. Как опытный и добросовестный каменщик, как инженер-строитель, он снова и снова проверял мысленно тот фундамент, на котором предстоит строить здание новой Польши...

«ЛИ-2» с трудом летел против ветра. Поглядев в иллюминатор на землю, неискушенный пассажир мог вообразить, что самолет стоит на месте. Но он летел все-таки, продвигался вперед, уже пересек старую германо-польскую границу.

А мысли Берута были устремлены в недалекое прошлое.

...Год тому назад делегация Люблинского Комитета Национального Освобождения ездила в Москву для переговоров с советским руководством относительно будущего Польши. На шее страны еще была затянута фашистская петля, однако исход войны уже не вызывал сомнения у здравомыслящих людей. Не за горами было и освобождение Польши войсками 1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов.

Берут в тот раз оставался в Люблине: слишком много было неотложных дел на месте. В делегацию вошли Осубка-Моравский, Ванда Василевская и генерал Роля-Жимерский.

Вернувшись в Люблин, они рассказали Беруту обо всем, что происходило 19 июля в Кремле, в кабинете Сталина. Внимательно выслушав посланцев польского народа, Сталин настоятельно рекомендовал им проявлять осторожность во всех своих действиях, поскольку будущее Польши как бы вплеталось в те противоречия, которые, то смягчаясь, то обостряясь, существовали между Советским Союзом и его западными союзниками на всем протяжении войны.

Он напомнил польской делегации, что, помимо тех, кто уже составляет костяк Люблинского Комитета Национального Освобождения, существует еще ряд политических группировок, которые могут войти в него, что не распущено еще лондонское эмигрантское правительство и что, прежде чем создавать общепольский официальный правительственный орган, необходимо попытаться привлечь кое-кого и из «лондонских поляков». Разумеется, таких, которые представляют «наименьшее зло» для будущей демократической Польши.

Тогда же Сталин разъяснил, что в то время, как народы европейских стран, оккупированных гитлеровцами, видят в приближающейся к их границам Красной Армии залог своего скорого освобождения, Черчилль одно за другим выдвигает обвинения Советскому Союзу в том, что тот будто бы стремится «коммунизировать» и даже «советизировать» Европу...

Спустя два дня в том же Люблине состоялось первое заседание Общепольского Комитета Национального Освобождения. И снова, уже от имени этого представительного органа, вылетела делегация в Москву. И опять ее принял Сталин. Поляки привезли с собой карту, и Осубка-Моравский в присутствии Сталина красным карандашом чертил на ней будущие границы Польши...

Сталин согласился решительно поддержать требования поляков о возвращении им исконно польских земель на западе и севере. Он торжественно заявил, что новые границы явятся историческим следствием роли, которую сыграла Польша в этой войне, и ознаменуют не только будущее соотношение сил в Европе, но и новый характер советско-польских отношений. По его же предложению был подписан тогда советско-польский договор, признающий новые границы Польши единственно справедливыми. При этом Сталин сказал:

— Мы переживаем историческую минуту. Если через пятьдесят или сто лет найдется историк, который решит описать историю советско-польских отношений, он не обойдет молчанием то, что происходит сейчас. Вчера наши и ваши солдаты — под Ленино, а сегодня мы с вами за этим столом перечеркнули недоброе прошлое.

Мысли Берута нарушил второй пилот, появившийся в пассажирском салоне. Он сообщил, что самолет прибудет в Берлин через сорок минут, в крайнем случае через час — в зависимости от силы ветра.

Берут приподнялся и оглядел членов своей делегации. Гомулка и Осубка-Моравский о чем-то оживленно спорили, но их голосов из-за шума моторов почти не было слышно. Министр иностранных дел Жимовский, зажав карандаш в зубах, погрузился в чтение своих бумаг. Некоторые дремали. Спал и Миколайчик, выпячивая толстые губы.

С неприязнью взглянув на него, Берут отвернулся. Председатель Рады — Государственного Совета Республики — не любил своего заместителя, даже порой ненавидел его, как может ненавидеть человек, выросший в трущобах, томившийся в тюрьмах, не знавший спокойного семейного счастья, в течение многих лет преследуемый агентами «дефензивы», человека из другого мира, неизменное благополучие которого охраняли та же «дефензива», полиция, государственные чиновники.

В новом польском правительстве далеко не все были коммунистами. В соответствии с ялтинским решением оно было сформировано как коалиция представителей различных демократических направлений, выступавших против фашизма. Беруту, Гомулке и другим участникам движения Сопротивления пришлось уступить англо-американскому нажиму — ввести в правительство и кое-кого из «лондонских поляков». Сам Сталин, учитывая реальное соотношение сил, уговаривал Берута, Осубку-Моравского и Гомулку удовлетворить требование западных союзников в отношении Миколайчика, так же, как он убеждал Тито по тем же соображениям пойти на включение в правительство Югославии антикоммуниста Шубашича...

Берут и его товарищи согласились. Здравый смысл продиктовал им это согласие, альтернативой которому был бы отказ Черчилля, Рузвельта, а впоследствии и Трумэна признать новое польское правительство и вести какие-либо переговоры о расширении территории Польши.

Берут, может быть, даже «сработался» бы с Миколайчиком, если бы допускал его готовность принять польскую реальность такой, как она сложилась после войны. Сектантство было чуждо характеру Берута. Но он хорошо знал, что Миколайчик не хотел ни «срабатываться», ни мириться с коммунистами. Миколайчик верил в Черчилля, верил в Трумэна, считал себя их «полпредом». И ждал... Ждал того момента, когда Сталин поймет, что, только передав судьбы Польши (и Германии тоже) целиком в руки западных держав, он сможет рассчитывать на продолжение сложившегося в годы войны союза и на экономическую помощь Запада «разоренной России».

Вот тогда бы Миколайчик вышел на авансцену политической жизни Польши и, освещенный огнями рампы, объявил бы о сформировании еще одного «нового» правительства!..

Погруженный в свои раздумья, Берут вздрогнул, неожиданно услышав голос Миколайчика:

— Пан Болеслав!

Берут повернул голову влево и увидел, что Миколайчик сидит рядом, на самом краешке кресла, сдви-

нув лежавшие там папки к откидной спинке. Когда только успел перебраться сюда?

— Да? — холодно откликнулся Берут.

— Паи Болеслав, если бог даст, мы через полчаса будем на месте... — тихо начал Миколайчик.

— По-видимому, будем,— непрнязненно прервал его Берут.

— Это значит, что скоро, очень скоро нам предстоит бой. Готовы ли мы к нему?

— Не вполне понимаю пана. Кого пан разумеет под словом «мы»? Если подавляющее большинство в нашей делегации, то полагаю, что мы готовы.

— Да, да,— поспешно согласился Миколайчик,— за вами стоит сила. Русские. Вас поддерживают.

— Разве вы лишены поддержки? — с оттенком иронии в голосе спросил Берут и добавил: — Так сказать, с другого географнческого направления.

— Мое положеиие весьма щекотливо.

— Пеняйте за это иа самого себя.

— А следовало бы пенять на историю... Пан Болеслав, я хотел бы обсудить с вами один важный вопрос.

— Сейчас? — удивился Берут. — Разве у нас не было для этого времени в Варшаве? И разве вы не участвовали в формировании нашей делегации, в заседании ее перед отлетом?

— Да, да,— закивал головой Миколайчик. — Но есть вопросы, которые задаются не иа заседаниях, а только на исповеди.

— Я ие ксендз, пан Миколайчик, да еслн бы и был нм, то вы наверняка выбрали бы для исповеди другого. Я так полагаю.

— Но мы поляки, пан Болеслав. И вы и я. И есть страна, которой мы призваны служить оба: Польша! — Миколайчнк произнес эти слова с иесвойствеииой ему проиикновенностью в голосе.

— Согласеи,— сухо ответил Берут. — И что же?

— У меня просьба к пану председателю.

— Слушаю.

— Я бы просил вас сделать так, чтобы позицин членов делегации сохранились в тайне. Пусть будет известен лишь общий итог переговоров.

— Это еще зачем? Не понимаю. Во имя чего кто-либо из нас должеи скрывать свои взгляды?

— Во имя Польши. Во нмя ее души.

— Не трогайте душу Польши, шаиовный пан. Она и так достаточно изранена,— обрезал его Берут и пристальио посмотрел на Миколайчика, желая проиикнуть в тайный смысл его предложеиия. Ему показалось, что он догадался: — Боитесь, что поляки не простят вам, узиав, что вы были против расширення граииц нашей страиы?

Красные щеки Мнколайчнка стали совсем пунцовым.

— Скорее беспокоиться иадо вам, пан председатель, если поляки узиают, что вы во всем согласны с русскимн.

— Пан Миколайчик, эта тема слишком нзбита, чтобы иа нее тратить время. Надо думать, ие ради нее вы начали со мной разговор за иесколько минут до посадки.

— Именно радн нее, пан председатель. Поверьте, я забочусь не только о своей судьбе, ио и о вашей,— настойчиво произнес Миколайчнк. — Вы не верите, что я могу быть искренним с вами?

— Говорите по существу. Чего вы хотите?

— Но я уже сказал! Я полагаю, что на переговорах все мы должны высказать то, что думаем. Но это ие значит, что потом иадо все предать гласностн. Ведь стенограмм, надеюсь, не будет?

— Вы боитесь стенограмм?

— Я ничего не боюсь, пан председатель,— обидчиво ответил Миколайчик. — Прошу запомнить: слово «бояться» пронзиесли вы, а не я.

— Ну и что же?

— А то, повторяю, что беспокоиться, или «бояться», коль вы предпочитаете это слово, скорее следует вам, если полякн узнают, что вы стали рупором русских.

— Даже если эти русские помоглн нам возвратить родине ее древние землн?

— Это выгодно русским. А то, что выгодно русскому, не может быть выгодно поляку, и наоборот... — патетическн воскликнул Миколайчик. — Паи Берут, неужели вы ие согласны с тем, что сознание этой истины стало для поляков уже врожденным? Его не уиичтожить щедрыми подарками — я имею в виду иовые территорин. Политик не может не считаться с чувством народа, которое воспитано не десятилетиями, а многимн столетиями.

Наступило короткое молчание.

— Послушайте, пан Миколайчик,— нарушнл его Берут,— вы меня заинтересовали. Кое в чем я согласен с вамн.

— Потому что вы поляк! — торжествующе воскликиул Мнколайчик. — Коммуиист ли, соцналист ли, но прежде всего поляк!

— Да, я поляк. И поэтому мне пришла сейчас в голову одиа мысль. Вы правы: я видел и зиаю миого поляков, которые настроены антирусски...

— Их нельзя за это вннить. Вспомните о разделах Польши, в которых участвовала Россия.

— Следовало бы уточннть: «царская Россня»...

— Ах, пан Болеслав,— прервал его Миколайчик,— ну, давайте хотя бы на эти несколько оставшихся до посадкн самолета мииут прекратим пользоваться марксистскнм жаргоном. Поговорим просто как люди, как человек с человеком.

— Мне трудно отделить понятие «человек» от его убеждений. Но... давайте попробуем,— неожиданно согласился Берут. — Так вот, хочу задать вам вопрос: почему я, повидав в своей жизни немало русских, готовых признать историческую вину дореволюционной Россин перед другимн народами, очень редко встречал поляков с, так сказать, комплексом виины по отношеиию к России?

— Виину поляков?! — переспросил Миколайчик возмущенно. И тут же, вспомнив, с кем говорнт, продолжал уже спокойиее, даже с сожалеиием: — Простите меня, пан председатель. Но вы опять пытаетесь смотреть в душу человека сквозь марксистскую призму. Даже еслн ие пользуетесь коммуиистнческой термниологией.

— Вот уж нет, пан Станислав! — с полуиронической улыбкой возразил Берут. — Скорее, я отступаю от марксизма, ведя разговор на предложенной вами платформе. И хотел бы услышать ответ на мой вопрос: почему?

— Но это же элементарно! Ответ кроется в истории, в исторических фактах. Я понимаю, в те годы, когда мы учились, вы занимались революцией. Каждый на моем месте может представить вам список злодеяний России по отношению к Польше. Я уж не говорю о разделах страны. А многолетняя насильственная ассимиляция поляков? Их хотели заставить забыть родину, забыть родной язык!..

— Я мог бы согласиться с вами и даже добавить, что угнетению и ассимиляции подвергались и другие национальности в царской России. Но вы хотите стереть разницу между Россией царской и советской. Вы упрекаете меня в незнании истории и готовы представить список несчастий, которые принесла Польше Россия. Но вы так и не ответили на мой вопрос: почему находятся поляки, которые не считают свою страну ответственной за раны, нанесенные Польшей России? Почему бы русским не помнить вечно о том, как поляки совместно с немецкими рыцарями захватили Киев? Как Болеслав Второй жестоко подавил, потопил в море крови народное восстание в том же Киеве? Как Казимир захватил Галицкую Русь...

— Но позвольте, все это было в допотопные времена, когда и Речи Посполитой еще не существовало!

— Ах, теперь вы говорите «допотопные»! Что ж, вспомним главную цель образования Речи Посполитой...

— Жажда поляков обрести собственное государство!

— Не спорю. А будете ли вы спорить против того, что агрессия против России была главной целью люблинской унии, которая легла в основу создания Речи?

— Я знаю вашу биографию, пан председатель, и не могу понять, когда вы находили время... — с иронией начал было Миколайчик, но Берут прервал его:

— Я всегда был революционером, а значит, патриотом. А быть подлинным патриотом нельзя, не зная историю своей страны. Я тоже знаю вашу биографию и уверен, что при желании вы могли бы знать не меньше меня. Да и знаете вы все это, пан Станислав, только притворяетесь, что у вас отшибло память. Вы, конечно же, слышали о захвате Москвы поляками, о самозванцах, о прямой интервенции Речи Посполитой против Русского государства. А имя Сигизмунда Третьего вам ничего не говорит? Тогда, может быть, вы вспомните «смоленскую войну» и долгую оккупацию Смоленска поляками? Или Пилсудского забыли, который организовал нападение Польши уже на Советскую Россию в двадцатом году?.. Так вот, пан Миколайчик, я в третий раз задаю вам вопрос: почему, несмотря на все это, поляки для русских — братья-славяне, а для поляков — русские, если верить вам...

В это мгновение Миколайчик быстро зажал уши и пробормотал:

— Снижаемся...

Действительно, давление воздуха в салоне резко изменилось. Берут посмотрел на альтиметр, прикрепленный к перегородке, отделявшей салон от пилотской кабины. Красная стрелка быстро ползла вниз. Полторы тысячи метров... тысяча двести... тысяча... восемьсот... Давление в ушах и впрямь резко возрастало.

— Продуйте себе... — крикнул Берут и показал на переносицу.

— Вы хотите сказать, мозги? — со злой иронией пробормотал Миколайчик.

— Да нет, что вы, шановный пан, носоглотку! Вот так! — И Берут, зажав двумя пальцами ноздри, резко выдохнул воздух.

От ушей отлегло.

— Спасибо, — сказал Миколайчик, повторив тот же прием. И после паузы произнес: — вы, кажется, что-то меня спросили?

— Да. Я задал вам вопрос. Трижды. Но ответа не получил. Итак, пан Миколайчик, значит, всему были виной не царь, не колонизаторы, а русские? Просто русские? В том числе те, которые вместе с поляками пели «Варшавянку» в тюремных застенках? Те, которые свершили революцию в своей стране, объявили равноправие народов и предложили свободу Польше? Те, которые освободили ее от немецких оккупантов, а теперь отстаивают новые польские границы? И вы предупреждаете об опасности, которая якобы грозит мне, если поляки узнают какую линию я отстаивал в Потсдаме?

— И все же недоброе прошлое... — с нарочитым сожалением произнес Миколайчик.

— Ну, теперь вы прямо-таки цитируете... — с усмешкой произнес Берут.

— Кого?

— Товарища Сталина. Когда в прошлом году делегация нашего Комитета подписала с Советским правительством документ о новых границах Польши и ее независимости, он сказал: мы, советские люди, и вы, поляки, за этим столом перечеркнули недоброе прошлое. Вы знаете, где это было?

— В Кремле, очевидно.

— Да. И в том самом зале, где был подписан один из ранних декретов Советской власти.

— О чем?

— Об аннулировании царских разделов Польши...

Самолет коснулся колесами посадочной полосы. Его резко тряхнуло.

— Берлин! — сказал вновь появившийся в салоне второй пилот.

Глава шестая

ПЕРЕД ОЧЕРЕДНОЙ СХВАТКОЙ

Если Черчиллю казалось, что «потсдамский поезд» большую часть времени стоит на месте или маневрирует по запутанным объездным путям, часто давая задний ход, то это объяснялось по крайней

мере двумя причинами: объективной иевозможностью сломать историческую реальность, сложившуюся в результате советской воеиной победы, и неопределенностью своего собственного положения: до оглашения результатов английских парламентских выборов оставалось всего три дня.

Душевное состояние Трумэна было иным. Оно определялось сначала ожиданием результатов испытания атомной бомбы в Аламогордо, затем новым, еще более нетерпеливым ожиданием подробностей этого испытания и, наконец, ощущением своего могущества и превосходства над русскими, хотя отказаться от их помощи в войне с Японией Трумэн не решался.

Была и вторая сторона жизни Трумэна в Бабельсберге. Президента тоже преследовали неудачи. По второстепенным для Америки вопросам повестки дня участники Конференции, не без споров, конечно, но все же относительно быстро приходили к согласию. А как только начиналось обсуждение вопросов кардинальных, таких, как польский, сразу все менялось: Черчилль начинал петушиться, попеременно обижаться то на Трумэна, то на Сталина, а Сталин превращался в каменную глыбу, которую, казалось, невозможно сдвинуть с места.

Упоение своим грядущим могуществом помогало Трумэну легче переносить неудачи за «круглым столом» в Цецилиенхофе, те самые, которые отравляли существование Черчилля, делали его несдержанным, лишали логики мышления. И все-таки оба западных руководителя имели основания для разочарований, поскольку, несмотря на некоторую разницу интересов и, следовательно, подходов к обсуждаемым вопросам, в главном они были едины.

Оба они, и Черчилль в первую очередь, хотели бы, чтобы «красные» добровольно ли или под нажимом убрались из Восточной Европы. Оба не желали расширения границ Польши, что, во-первых, ослабило бы еще сохранившуюся индустриальную мощь послевоенной Германии, а во-вторых, обеспечивало бы Советскому Союзу существование на его границах сильного и дружеского государства.

Были и другие вопросы, лишь в общих чертах зафиксированные в постановлениях Ялтинской конференции, которые предстояло решить до конца здесь, в Бабельсберге, однако подойти к ним вплотную никак не удавалось.

Ни Трумэн, ни Черчилль не теряли надежд на перемены к лучшему. Американский президент был уверен, что, сообщив Сталину об атомной бомбе, он сделает советского лидера куда более покладистым. Черчилль же, в глубине души не сомневавшийся в победе на выборах, уповал на «второй тур» Конференции, полагая, что тогда, вернувшись из Лондона, он почувствует себя увереннее, и это поможет ему взять верх над Сталиным.

По сравнению со своими западными партнерами Сталин имел основания испытывать, хотя еще далеко не полное, но все же удовлетворение ходом Конференции. Навязать странам Восточной Европы пути послевоенного развития, угодные Западу, Трумэн и Черчилль не смогли. Вопрос о Кенигсберге был решен окончательно в пользу Советского Союза. Правительство «лондонских поляков» можно считать ликвидированным.

Сталин считал также, что Польша, а следовательно, и Советский Союз получили большой выигрыш, добившись согласия глав западных держав пригласить на Конференцию делегацию из Варшавы. Но это был пока что потенциальный выигрыш. Чтобы добиться полной его реализации — заставить Черчилля и Трумэна удовлетворить польские территориальные требования,— предстояло еще бороться.

Исход этой борьбы во многом зависел от тактики, последовательности и настойчивости людей, представляющих сегодняшнюю Польшу.

Польская делегация прямо с аэродрома была доставлена в Бабельсберг, в дом, который занимал Сталин. Он встретил поляков внизу, почти у входной двери. Изменяя привычке здороваться лишь наклоном головы или даже без этого, сразу начинать разговор по существу, на этот раз Сталин поочередно пожал всем руки. Потом провел гостей в столовую и пригласил садиться, указывая на стулья вокруг небольшого овального стола. Но сам остался на ногах и, медленно обходя стол, сказал:

— Итак, по вопросу о границах Польши, особенно ее западной границы, к соглашению прийти пока не удается. Трумэн и главным образом Черчилль утверждают, что ваши требования чрезмерны и что, по выражению британского премьер-министра, польский гусь окажется не в силах переварить столь обильную пищу...

Сталин сделал паузу, как бы оценивая впечатление от произнесенных им слов, и продолжал:

— Позиция Советского Союза неизменна. Мы поддерживаем ваше требование о границах. Полагаю, и ваш меморандум, направленный главам трех государств, остается неизменным. Не так ли?

Сталин говорил подчеркнуто официально, даже сухо. Такой тон определяло, по-видимому, присутствие в делегации Миколайчика.

Собственно, и вопрос «Не так ли?» относился прежде всего именно к Миколайчику, хотя, задавая его, Сталин даже не взглянул на польского вице-премьера.

— Наша позиция тоже неизменна,— спокойно произнес Берут. — Польша никогда не откажется от Нысы Лужицкой и всего устья Одры с Щецином и Свиноуйсцем.

Берут говорил по-русски, однако все географические пункты называл по-польски. Сталин с добродушной усмешкой отметил:

— Мы обеспечили присутствие здесь польского переводчика, но пока, мне кажется, в переводе нет необходимости. Те слова, которые товарищ Берут сказал сейчас по-польски, нам, русским, хорошо понятны. А вот американцы и особенно англичане такого понимания, очевидно, не проявят.

— Они что же, не знают или не хотят знать о тех огромных жертвах, потерях и обидах, которые

накопились в душе каждого поляка? — бросил саркастическую реплику Гомулка. — Только в нынешнем веке Германия раздула два мировых военных пожара. Мы не хотим стать жертвой третьего.

— Вы правы,— откликнулся Сталин, продолжая свой путь вокруг стола. — Так полагают советские люди. Так полагает Сталин,— сказал он, переходя к своей излюбленной манере говорить о себе в третьем лице и употреблять местоимение «мы» вместо «я». — А вот они,— Сталин сделал неопределенное движение рукой,— полагают иначе. Вам предстоит убедить их в своей правоте. Гарантировать, что это удастся, не могу. Но заверить вас, что Советский Союз будет целиком на вашей стороне, хочу со всей определенностью. Со всей!

Сталин остановился и в упор посмотрел на Миколайчика, как бы заставляя его либо выложить свои «козырные» карты, если они у него имелись, либо же связать себя на будущее согласием со всей польской делегацией.

Но Миколайчик молчал, демонстративно глядя в потолок.

На какое-то время Сталин умолк в раздумье. Возможно, хотел прямо спросить, все ли члены польской делегации придерживаются и будут придерживаться точки зрения Берута. Однако не сделал этого; решив, вероятно, что будет правильнее молчаливо констатировать факт польского единогласия.

Остановился у своего пустующего кресла и, улыбнувшись, сказал:

— Что ж, я думаю, что всем нам надо отдохнуть перед завтрашними переговорами. На завтра программой предусмотрена ваша встреча с Иденом, Бирнсом и Молотовым. И хотя со стороны Советского Союза польским требованиям была и будет обеспечена полная поддержка, многое зависит от вас самих... Мне сообщили, что с размещением вашей делегации все в порядке. Машины вас ждут. Спокойной ночи. Завтра — трудный день. Советую хорошо выспаться... если кому удастся.

Последние слова он произнес тоже с улыбкой, на этот раз многозначительной.

Берут и Гомулка задержались в столовой, пока остальные члены делегации рассаживались по машинам.

— Как ведет себя Миколайчик? — негромко спросил Сталин. — Кстати, он не подумает, что мы здесь втроем плетем против него страшный заговор?

— Он наверняка уже уехал,— ответил Берут. — С самого начала потребовал для себя отдельную машину.

— Это его требование удовлетворить нетрудно,— не без иронии сказал Сталин. — А еще чего он желает?

— Миколайчик всегда остается Миколайчиком,— ответил Берут. — В самолете он прочел мне небольшую националистическую антирусскую проповедь.

— Не думаю, что в этом случае он выбрал достаточно благодарную аудиторию,— пошутил Сталин.

— Я тоже так не думаю,— спокойно согласился Берут. — А Миколайчик кое на что все же рассчитывает.

— На что же?

— На то, что мнения членов делегации, которые будут высказаны здесь, в Потсдаме, останутся в секрете от польского народа.

— Не вполне понимаю,— слегка вскинул бровь Сталин. — Вряд ли кому-либо в Польше неизвестно, что Миколайчик верой и правдой служит своим западным хозяевам. Это секрет полишинеля.

— Быть, так сказать, «прозападником» — это одно, такие в нашей стране еще есть,— пояснил Берут,— а вот открыто возражать против возвращения Польше ее исконных земель, отторгнутых немцами,— это уже другое. Вряд ли после того можно рассчитывать на сочувствие поляков.

— Вы хотите сказать, что Миколайчик в данном случае не очень заинтересован афишировать свою поддержку Черчиллю? — Сталин произнес эти слова медленно и испытующе взглянул на главу польской делегации. — Может быть, и вам, товарищ Берут, из тактических соображений выгоднее, чтобы польский народ считал, что его делегация была единодушна при переговорах в Потсдаме?

— Нет, товарищ Сталин,— твердо возразил Берут,— нам выгоднее, если уж употреблять это слово, чтобы народ знал, кто в правительстве на деле за сильную и независимую Польшу, а кто против этого. Знал и учитывал бы на предстоящих выборах.

Сталин кивнул согласно:

— Вам виднее. А чем же все-таки Миколайчик аргументировал свое предложение о засекречивании переговоров?

— Об аргументах он не очень заботится,— убежденно сказал Берут. — Его оружие — шантаж и всяческий буржуазно-националистический хлам.

— Хлам — не очень удачное слово, товарищ Берут,— с упреком отметил Сталин. — Политик-марксист обязан считаться с реальностью. Наше совместное участие в войне ослабило в сознании миллионов поляков антирусские настроения. Но не у всех и не полностью. Нам, коммунистам, долго еще придется считаться с этим. И лучшей пропагандой в пользу нашего братского союза должны служить факты. Факты сегодняшних дней.

— Миколайчики никогда не будут считаться с фактами, если они им не выгодны,— заметил Гомулка.

— Вы так полагаете? — усомнился Сталин.

За Гомулку ответил Берут:

— Мы, товарищ Сталин, считаем, что Миколайчик почувствовал себя в западне. И хочет выскочить из нее. С нашей помощью.

— А точнее? — заинтересовался Сталин.

— Не поддержать каким-либо демагогическим способом англичан и американцев Миколайчик не сможет. Не посмеет. Да и не захочет. Но если наш народ узнает, что, когда решалась судьба исконных польских земель, он встал против чаяний всех или по крайней мере большинства поляков, его песенка будет спета. Потому он и ратует за секретность переговоров. Хочет и верность своим хозяевам соблю-

сти и польский капитал приобрести. А это невозможно.

— И вы?.. — начал было Сталин.

— И мы,— закончил Берут,— вовсе не намерены выручать его из западни, в которую он сам загнал себя. Я отверг его домогательства, сказал, что стою за полную гласность предстоящих переговоров.

— Логично,— одобрил Сталин. — А не боитесь, что он скажет, будто все это подстроил Сталин?

— Товарища Сталина в самолете не было. Это — первое. А во-вторых, я никогда не скрывал, что всегда поддержу все то, что делает Советский Союз на благо будущей Польши. Так что бояться мне нечего.

— Ну и товарищ Сталин не из трусливых,— резюмировал Сталин.

Было одиннадцать часов дня, когда польская делегация появилась под сводами замка Цецилиенхоф. В 12 часов 30 минут ее проводили в тот самый зал, в котором в пять часов предстояло собраться на очередное заседание «Большой тройке».

А пока здесь сидели за круглым столом Бирнс, Иден и Молотов, а за их спинами — два переводчика с польского на английский и на русский.

За другими небольшими столиками у стен расположились американские, английские и советские эксперты и советники.

При входе в зал возникло некоторое замешательство. Берут посторонился, уступая дорогу Осубке-Моравскому, Гомулка, наоборот, слегка подтолкнул вперед Берута, офицеры безопасности трех стран, плохо зная в лицо делегатов, попытались навести порядок, и в результате впереди всех оказался Миколайчик. Он и вошел в зал первым, вроде бы растерянно разводя руками, показывая тем самым, что это случилось не по его вине.

Молотов чуть поморщился, сделал было движение навстречу Беруту и Осубке, но, поскольку Бирнс и Иден не поднялись со своих мест, он тоже остался в своем кресле.

Берут вежливо поклонился. Остальные члены делегации тоже наклонили головы.

— Садитесь! — сказал по-английски Бирнс, указывая на противоположную сторону круглого стола.

Переводчики повторили приглашение по-польски и по-русски.

Бирнс, чьи мысли были прикованы к предстоящему вечернему заседанию конференции, точнее, к тому главному, что должно произойти в конце заседания, неприязненно рассматривал людей, рассаживающихся напротив него. Вместе с Иденом он заранее отрепетировал ход встречи, а сейчас старался разобраться, «кто есть кто», который здесь — Берут, который — Миколайчик. Американский переводчик шепотом помог ему в этом.

Главная цель Бирнса и Идена заключалась в том, чтобы эта встреча вообще не приобрела характера переговоров. Прибывшим сюда полякам предстояло убедиться, что поддержка, которую оказывает им Сталин, мало чего стоит. Молотов, конечно, будет эхом Сталина. Но он в меньшинстве.

Полякам должна быть предоставлена возможность высказаться. Разумеется, они, по крайней мере Берут и его единомышленники, повторят то, что уже не раз за этим же столом говорил Сталин и что они сами написали в полученном «Большой тройкой» их «заявлении», «меморандуме», «записке» или... черт знает, как следует называть этот документ.

После того, как требование Ялтинской конференции будет «выполнено», то есть поляки в лице Берута будут выслушаны, им надо ясно и недвусмысленно дать понять, что для дискуссий и споров с ними у министров иностранных дел трех великих держав нет времени. Затем будет задан вопрос, все ли члены польской делегации разделяют точку зрения Берута.

Вот тогда-то и состоится спектакль. Слово попросит Миколайчик и вступит с Берутом в полемику. Разумеется, возникнет шум, берутовские сторонники (в списке имен, лежавшем перед Бирнсом, они были отмечены «галочками») станут просить слова. Но тут следует проявить власть: объявить, что были выслушаны точки зрения как «за», так и «против», следовательно, принцип демократии соблюден. В конце концов из того, что этот Берут, получив приглашение на «двух-трех человек», притащил сюда чуть ли не всю свою «Раду», вовсе не следует, будто министры иностранных дел обязаны выслушивать каждого. Если и это поляков не успокоит, то им будет четко заявлено, что переговоры показали отсутствие единства взглядов у польской делегации, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Понятно, Молотов начнет возражать. Ну, и пусть. Поляки поймут, что решающий голос принадлежит здесь не ему. А значит, поймут и другое: лучше согласиться на границу по Восточной Нейсе, чем стоять на своем и не получить ничего.

...По-прежнему сухим, подчеркнуто официальным тоном Бирнс сказал:

— Польской делегации предоставляется возможность изложить свою точку зрения по вопросу о западной границе Польши. Есть ли у вас какие-либо существенные добавления или пояснения к тому, что мы уже знаем из присланного вами документа?

В наступившей тишине раздался голос Берута:

— Польская делегация, которой поручено вести переговоры, состоит из...

По мере того, как он называл фамилии и должностное положение делегатов, каждый из них либо слегка приподнимался, либо ограничивался легким наклоном головы.

Бирнса неприятно поразило, что обстановка в Цецилиенхофе и все с нею связанное, видимо, не произвели на этого Берута особого впечатления. Ни ставший уже историческим зал, ни тот факт, что перед ним находились министры великих держав, не вызвали у него, казалось бы, естественной в таком случае робости.

Берут говорил негромко, без всякой аффектации, даже как-то обыденно. Бирнсу показалось бы более естественным, если бы этот человек, возглавлявший, по мнению Черчилля, всего лишь марионеточное правительство, держался напыщенно, горделиво, стре-

мясь набить себе цену. В таком случае его легко можно было осадить, напомнить, где и перед кем он находится.

Но ничего подобного не происходило.

Глава польской делегации, в явно не новом, далеком от моды пиджаке, однако в безукоризненно белой сорочке и аккуратно повязанном темном галстуке, говорил так же, как и выглядел,— корректно, но без тени подобострастия.

Он сказал, что польское правительство свидетельствует свое уважение к Потсдамской конференции и не сомневается, что ей предстоит принять решения исторической важности. Затем так же спокойно заявил, что утверждение новых польских границ на востоке явится актом исторической справедливости, позволяющей преодолеть раскол украинского, белорусского и литовского народов, территории же на западе, на которые претендует его страна, являются издавна славянскими, польскими, хотя и были превращены немцами в край польских могил...

Это было единственное образное выражение, которое употребил в своей по-деловому скупой речи Берут, но оно, видимо, дало толчок для вмешательства Жимовского. Он перехватил слово столь поспешно, что Бирнс даже не успел его остановить.

В отличие от Берута польский министр иностранных дел говорил темпераментно. Он напомнил, что предлагаемые западные границы являются, по существу, границей земель, которые были колыбелью польского народа. К тому же это будет самая короткая граница, которую можно провести между Польшей и Германией. И что если «Большая тройка» действительно заинтересована в том, чтобы Германия никогда больше не угрожала миру в Европе, а постоянная германская угроза Польше с Запада была ликвидирована, то альтернативы не существует.

Бирнс слушал Жимовского с плохо скрываемым раздражением. Сам не замечая того, что вопреки своему первоначальному намерению втягивается в дискуссию, он сделал попытку перевести разговор из сферы эмоциональной в сферу экономико-статистическую. Стал доказывать, что Польша требует такого расширения своей территории, которое нельзя обосновать ни численностью ее населения, ни какими-либо другими вескими аргументами.

Но уже минутой позже он понял, что глава польской делегации, видимо, только и ждал перевода разговора на почву конкретных фактов.

Как учитель гимназии, разъясняющий ученикам элементарную истину, Берут привел цифры, характеризующие плотность польского населения на один квадратный километр. Получалось, что в новых границах Польши будут восстановлены лишь довоенные пропорции.

Бирнс с раздражением думал о том, что разговор явно уходит в сторону от сценария. Момент, подходящий для того, чтобы прекратить встречу через несколько минут после ее начала, был явно упущен. Дав полякам возможность аргументировать свои требования цифрами и фактами, их нельзя заставить замолчать — против этого запротестует Молотов.

Оставалась вся надежда на Миколайчика. Но тот почему-то отмалчивался. Молчал и Иден.

Окончательно разозленный Бирнс заявил, что польская делегация может представить свои дополнительные аргументы в письменном виде. Но Берут, как бы пропуская это мимо ушей, попросил предоставить слово эксперту польской делегации по экономическим вопросам Грабскому.

Бирнс еще резче ответил, что в этом нет необходимости. Но тут в спор вступил Молотов...

Советский комиссар говорил кратко и жестко. Он заявил о полной поддержке Советским Союзом предложения польского правительства, подчеркнул значение новых границ Польши для обеспечения безопасности и в Европе и во всем мире. Не без ехидства заметил, что обсуждение обнаружило отсутствие у представителей США и Англии сколько-нибудь серьезных контраргументов.

Позволить себе разговаривать с Молотовым так же, как с поляками, Бирнс не мог. Он снова обратил свой сурово выжидающий взгляд на Миколайчика. И тогда на выручку пришел Иден.

Как всегда корректно и мягко по форме, Иден сказал, что недостаток времени у министров иностранных дел трех великих держав не должен истолковываться членами польской делегации как нежелание выслушать мнение любого из ее членов, в особенности руководителей польского правительства. Последние свои слова он произнес, уже прямо обращаясь к Миколайчику, который сидел надувшись, и это можно было истолковать как обиду на то, что Берут до сих пор не позаботился, чтобы дали слово вице-премьеру.

Бирнс благодарно посмотрел на Идена и вежливо, даже просительно произнес:

— Вы, кажется, хотели что-то нам сказать, мистер Миколайчик?..

И тут произошло совсем неожиданное. Щеки Миколайчика надулись и покраснели еще больше, он откашлялся и, не глядя ни на кого из присутствующих, громко, будто обращался к огромной аудитории, сказал:

— Я поддерживаю предложение о польских границах, сформулированное в известном документе, посланном главам трех держав. Польша заслужила это.

И умолк, откинувшись на спинку стула.

Бирнс и Иден недоуменно переглянулись. Оба почувствовали себя так, будто получили увесистый удар в спину.

Бирнсу хотелось попросту послать к черту всю эту делегацию, включая и Миколайчика, сказать ей, что, представляя нищую, разоренную страну, следовало бы держаться скромнее. Но этого нельзя было делать. Подобная выходка с его стороны означала бы явный скандал. Кроме того, Бирнс помнил о заинтересованности Трумэна в благосклонном отношении к нему миллионов американцев польского происхождения, которым предстоит сыграть определенную

роль на следующих президентских выборах. Бирнс взял себя в руки, натянуто улыбнулся и, обращаясь к Молотову, заговорил о «дружеских чувствах», которые Соединенные Штаты питают к Польше. А выступивший следом за ним Иден с пафосом воскликнул, что Британия вступила в минувшую войну именно для того, чтобы защитить Польшу.

Но на Молотова речи его коллег, видимо, не произвели никакого впечатления. Он саркастически заметил, что суть дела заключается не в словах, а в конкретных действиях и что если Соединенные Штаты и Англия действительно являются такими друзьями Польши, то почему бы им не доказать это практически, признав польские требования справедливыми.

Бирнс посмотрел на Идена. Тот едва заметно пожал плечами.

— Что ж, мнение польской делегации мы выслушали. На этом будем считать встречу оконченной,— уже ни на кого не глядя, произнес государственный секретарь с плохо скрытым разочарованием.

Глава седьмая

«КОЗЫРНАЯ КАРТА» ТРУМЭНА

И вот наступил наконец многообещающий вторник, двадцать четвертое июля 1945 года.

Для миллионов людей на земле этот день ничем не отличался от предшествовавшего. Американцы без тревоги раскрывали утренние газеты. Газетные страницы дышали пока что самодовольным благополучием. Призрак безработицы, леденивший душу «среднего американца» с конца двадцатых — начала тридцатых годов, исчез где-то за далеким горизонтом. Мировая война оживила промышленно-финансовую машину Соединенных Штатов. Америка снабжала оружием Англию «по божеским», но все же выгодным для себя ценам. Производила оружие для СССР в этом случае на иных условиях. На условиях «ленд-лиза». Двойное значение имели эти два английских слова — чисто лингвистическое и политическое. В первом значении — «давать взаймы», «сдавать в аренду». Во втором — намерение накинуть на шею советского народа закабалительную петлю, двинуть в поход против СССР «царь-голод», если эта страна не покорится в будущем Америке, не перестанет быть препятствием для США на пути к мировому господству.

Правда, едва закончилась война в Европе, на страницах американских газет стали изредка появляться тревожные экономические прогнозы. Но «средний американец» не очень-то верил им. Рынки сбыта американских товаров казались ему безбрежными. Разоренные войной, нуждающиеся буквально во всем страны Европы, Азии, Ближнего Востока были способны поглотить все, что в состоянии произвести Америка. Дядя Сэм удовлетворенно поглаживал свое значительно округлившееся брюшко.

Все более оптимистичными становились сводки с дальневосточного театра военных действий. Печатая их как бы лишь по обязанности, американские газеты старались обратить взор своих читателей не столько на Японию, сколько на Европу, не забывая при этом настраивать американцев против «русских». Русские-де проявляют упорство и несговорчивость в Потсдаме, хотят прибрать к рукам всю Восточную Европу, разорить Германию, превратить ее из торгового партнера США в нищую страну, которую Америке волей-неволей придется кормить, ничего не получая взамен.

Критиковали и Трумэна: почему американский президент вместо того, чтобы сидеть у себя в Белом доме и думать, как составить выгодный для США бюджет, вот уже третью неделю торчит в какой-то германской дыре, слушает болтуна Черчилля и спорит с усатым упрямцем о судьбе румын, венгров, болгар, югославов, которых американцы и в глаза-то никогда не видели? А тем временем с Дальнего Востока все еще плывут к американскому материку корабли, груженные цинковыми гробами с изуродованными телами парней из Нью-Йорка, Вашингтона, из штатов Техас, Вирджиния, Огайо... Плачут матери и жены погибших, проклинают «япошек» осиротевшие дети...

Зато в американской зоне оккупации Германии шло веселье. Там правил свой пир доллар. При виде зеленой бумажки многие немцы выворачивали все свои потроха, распахивали постели доступные женщины. Гремели джазы, раздавались из переносных радиоприемников сладкие голоса Синатры и Бинга Кросби. В кинотеатре «Мармор-Хаус» двери ломились от желающих посмотреть американский боевик «Я женился на ведьме», а заодно и кинохронику о том, как «джи-ай» — американские солдаты воюют на Окинаве под музыку Кола Портера.

За пределами же «Мармор-Хауса» те же янки — «джи-ай» — мчались на своих «виллисах», не выбирая дороги. Доллар как бы произвел их в генералы. Они не знали, да и плевать им было на то, что настоящие генералы в военной форме и генералы от бизнеса где-то в тиши сохранившихся от бомбежек немецких особняков ведут переговоры с упитанными индустриальными «фюрерами», избежавшими фронта, голода, холода, запасшимися бог весть кем выданными свидетельствами об их непричастности к нацизму: спорят, торгуются об условиях восстановления и уже договорились — пока еще тайно — о том, что крупные концерны Рура не будут демонтированы.

Повылезали из нор, куда их загнала война, проститутки, сводники, менялы. Бизнес большой и бизнес малый воспрянули духом.

Но по крайней мере один американец во вторник, двадцать четвертого июля, думал не об элементарном бизнесе, не о женщинах, а совсем о другом. Его ставку на этом сатанинском пире трудно было исчислить только в долларах.

Этого американца звали Гарри Трумэн.

В тот день, после окончания очередного заседания в Цецилиенхофе, ему предстояло сообщить Сталину о том, что Америка стала обладательницей атомной бомбы.

По своей деловой насыщенности этот день ничем не отличался от предыдущих.

Начальник генштаба Красной Армии Антонов и нарком Военно-Морского Флота СССР Кузнецов совещались с Леги и Маршаллом, планируя совместные действия советских и американских войск против Японии. Заседали подкомиссии, созданные министрами иностранных дел. С одиннадцати в зале Цецилиенхофа сами министры обсуждали повестку дня пленарного заседания Конференции, принимали польскую делегацию.

Трумэну, конечно, докладывали обо всем этом. Но для него гораздо важнее была информация, которую он получил в одиннадцатом часу дня от прибывшего в «маленький Белый дом» военного министра Стимсона.

Стимсон доложил президенту, что в любой день после 3 августа атомная бомба может быть сброшена в любом указанном месте.

Трумэн распорядился всемерно форсировать изготовление второй бомбы и в который раз осведомился, нет ли ответа от Чан Кайши. Несколько дней назад по дипломатическим каналам из Вашингтона в Китай был отправлен проект декларации, требующей от Японии немедленно сложить оружие. Президенту хотелось, чтобы под этой декларацией была бы подпись и китайского правительства.

Это имело чисто формальное значение. Трумэн был убежден, что японцы ответят отказом и, таким образом, в глазах мирового общественного мнения американский атомный удар будет воспринят как вынужденный. Об атомной бомбе в декларации, конечно же, не упоминалось.

После беседы со Стимсоном Трумэн вызвал к себе начальников штабов трех видов американских вооруженных сил — сухопутных войск, авиации, флота — и поручил им в самое ближайшее время представить список японских городов, два из которых должны стать мишенями для атомной бомбардировки.

Перед самым началом пленарного заседания Бирнс сообщил президенту о бесплодных переговорах с поляками.

— Вы уверены, что нет человека, который мог бы заставить их уступить? — небрежно спросил Трумэн государственного секретаря.

— Ни мне, ни Идену это пока не удалось. Миколайчик неожиданно примкнул к Беруту. Не на Молотова же вы рассчитываете? — с досадой спросил Бирнс.

— Нет. Я не рассчитываю на Молотова,— ответил Трумэн. — Я имею в виду другого человека.

— Но кого же, сэр?

— Сталина,— с самодовольной усмешкой объявил Трумэн.

— Вы, конечно, шутите?..

Но Трумэн не шутил. Он в самом деле был уверен, что после того, как Сталин узнает о новом американском оружии, вся ситуация в корне изменится. Сам же Сталин и потребует от поляков пойти на уступки.

По-иному реагировал на аналогичный доклад Идена о переговорах с поляками британский премьер. Черчилль пришел в ярость.

Он был готов к тому, что Берут и его соратники поначалу будут сопротивляться. На такой случай Черчилль уже принял решение лично встретиться с этими «сталинскими ставленниками» и продиктовать им альтернативу: или соглашайтесь на границу по восточной Нейсе, оставляя Германии Штеттин и весь примыкающий к нему промышленный район, или вопрос о западной границе Польши вообще снимается с обсуждения и польская делегация может убираться восвояси. Взбесил Черчилля не столько сам факт упорства поляков, сколько явная измена Миколайчика. Почти шесть лет он возился с этим наглым, самоуверенным человечком, мирился с тем, что зарвавшийся карьерист уже не раз вмешивался не в свои дела, отравляя каждой своей поездкой в Москву и без того не блестящие отношения между Британией и Советским Союзом. Мирился потому, что в главном цели этих двух господ совпадали. Как и Черчилль, Миколайчик ненавидел русских. Как и Черчилль, он был заинтересован в возрождении антисоветской Польши. Как и Черчилль, он до сих пор стоял на том, что если уж так необходимо расширять польскую территорию, то делать это надо за счет Советского Союза — отобрать у него Западную Украину и Западную Белоруссию.

Одного только этого для Черчилля было достаточно, чтобы он так настойчиво добивался назначения гонористого шляхтича на пост вице-премьера нового временного польского правительства. В перспективе Черчилль видел в нем будущего премьера Польши, положившись на заверения Миколайчика, что тот не только восстановит в Польше партию, которую возглавлял до войны, но сумеет сделать ее оплотом борьбы против Берута, Гомулки, Осубки-Моравского, против Польской рабочей партии и всех примыкающих к ней демократических группировок. И вот теперь этот наглый, самоуверенный плебей совершает такое предательство, наносит удар в спину своему подлинному хозяину!..

В припадке ярости Черчилль не пощадил и Идена, который оказался в положении «гонца, принесшего плохие вести». В древности таким рубили голову. Черчилль кричал своему министру, что политику не делают в лайковых перчатках. Увидев неспособность Бирнса крепко держать руль переговоров в своих руках, он, Иден, должен был перехватить руководство и твердо заявить полякам, что Британия никогда не пойдет на удовлетворение их требований. Больше того, надо было публично разоблачить Миколайчика, объявив во всеуслышание, что этот интриган все последние годы буквально умолял британское правительство всячески противодействовать советским усилиям превратить Польшу в доброго соседа и верного союзника СССР.

Требовать, чтобы Иден поступил именно так, было нелепо, и вряд ли сам Черчилль предлагал это всерьез. Он мог тасовать своих «лондонских поляков», как колоду карт, но не мог не понимать, что

нынешнее польское правительство, обладающее реальной властью в стране, никогда не допустит в свой состав такого из них, который стал бы лакействовать перед Черчиллем больше, чем Миколайчик. Публичное разоблачение Миколайчика британским министром иностранных дел лишь усилило бы позиции Берута.

Но в такие, как сейчас, минуты Черчилля покидало благоразумие...

В конце концов Иден не выдержал. Стараясь сохранить самообладание, сказал:

— Я полностью разделяю ваше возмущение, сэр. Но ваши упреки несправедливы. Публичное разоблачение Миколайчика пошло бы только во вред нам. В конечном итоге скандал стал бы достоянием и прессы и нашего парламента. Общественное мнение, возможно, и согласилось бы с вашей нынешней оценкой моральных качеств Миколайчика, но одновременно и осудило бы нас за то, что мы столько лет делали ставку на темную лошадку. Это во-первых. А во-вторых, переговоры с поляками еще нельзя считать законченными, и в дальнейшем многое зависит от нас. Мы можем сказать этому Беруту, что рассматриваем сегодняшнюю встречу лишь как предварительный этап.

Иден говорил спокойно, методично нанизывая одну фразу на другую. И это еще больше бесило Черчилля. Он снова взорвался:

— Черт побери, Антони! Вы, кажется, забыли, что послезавтра нам надо ехать в Лондон.

— Но мы же вернемся, сэр. Надеюсь, вы в этом не сомневаетесь?

— А поляки?.. Что же, они будут сидеть здесь, в Бабельсберге, и ждать нашего возвращения?

— А что им останется делать? — пожал плечами Иден. — Мы можем заявить им, что план переговоров с самого начала предусматривал встречу их с вами, а может быть, и с Трумэном! Если уж Сталин согласен ждать нашего возвращения, то полякам это сам бог велел.

— Я не желаю их видеть! — пробурчал Черчилль. — Ни теперь, ни после! И уж меньше всего намерен предоставлять им свободное время, чтобы без нас плести свои интриги.

— Но здесь остаются и Трумэн и Бирнс. Вряд ли они позволят...

— Трумэн занят сейчас совсем другим! Он...

Черчилль умолк, прервав себя на полуфразе. Все утро он думал только об одном: сегодня должен произойти несомненный перелом во всем ходе Конференции. Проклятые поляки отвлекли его от этой мысли. Но теперь он вспомнил о главном событии сегодняшнего дня. Дня? Нет, всей Конференции, всех послевоенных международных отношений, всей последующей истории, наконец! Это событие наверняка заставит Сталина пересмотреть не только свою тактику здесь, на Конференции, но и те далеко идущие стратегические цели, которые он до сих пор ставил перед собой. И уж, конечно, ему придется пойти на решающие уступки в отношении польско-германской границы. Не самоубийца же он, чтобы в новых условиях пытаться разговаривать с Западом, так сказать, на равных, идти на риск ссоры с Америкой, а следовательно, и с Британией?..

Черчилль постепенно успокаивался. То, что произошло сегодня на заседании министров иностранных дел, показалось ему не заслуживающим серьезного внимания. Когда должна обрушиться гигантская снежная лавина, смешно думать, будто ее кто-то в силах остановить.

В пять часов вечера двадцать четвертого июля Трумэн открыл очередное, восьмое пленарное заседание «Большой тройки».

Очередное? Нет! Его можно было обозначить любым из таких высоких слов, как «историческое», «знаменательное», «эпохальное». Только не будничным: «очередное»... По крайней мере так полагали Трумэн и Черчилль, Бирнс и Иден.

Заседание началось сообщением Бирнса. Оно носило, так сказать, рутинный характер. Бирнс доложил, что подкомиссия, которой было поручено подготовить экономические вопросы и, в частности, предложения по репарациям с Германии, пока что не пришла к определенным решениям и просит отсрочки. Молотов от имени советской делегации высказал пожелание, чтобы заодно был подготовлен вопрос и о репарациях с Италии и Австрии. Возражений не последовало, и Трумэн скороговоркой предложил, чтобы все, что так или иначе связано с экономическим будущим Германии, включая репарации, было бы перенесено на завтрашнее пленарное заседание.

Столь же быстро, без обсуждения, был отложен и ряд других вопросов. Потом Бирнс доложил о возникшем на совещании министров разногласии относительно допущения в Организацию Объединенных Наций стран — бывших немецких сателлитов. По мнению советского представителя, американо-английские предложения на этот счет ставят Италию в привилегированное положение по сравнению с другими. Бирнс добавил, что американская делегация готова пойти на уступку советской, включив в документ обязательство Италии стать в будущем проводником политики мира.

Сталин при этом чуть приподнял руку и произнес иронически: «О-о!»

Что касается Трумэна, то он готов был «перенести на завтра» и этот вопрос и все остальные. Ему не терпелось поскорее свернуть сегодняшнее заседание.

Это явное нетерпение вызвало недоумение у Сталина. Он посмотрел на президента, явно осуждая его торопливость, и, выпрямившись, объявил:

— Советская делегация не может и не будет принимать участия в обсуждении вопроса: кого допустить в Объединенные Нации, а кого нет. Ни сегодня, ни завтра.

— Почему? — растерянно спросил Трумэн.

— Потому, — хмуро ответил Сталин, — что сам документ, над которым работает сейчас подкомиссия, в корне неприемлем. Молотов доложил совет-

ской делегацин о его содержанни. Оно нас нэ устранвает.

Как обычно, когда Сталнн говорнл с раздраженнем, грузннский акцент начинал звучать в его речи более явственно, н для тех, кто знал русский язык, произиоснмые им слова, в особенностн энергичное «нэ», прнобретали как бы особый, специфнчески «сталинскнй», категорический смысл.

— Но почему же? — как-то жалобно повторнл свой вопрос Трумэн.

— Потому, что этот документ нэ содэржит упоминання о допущенни в Организацню Объедниенных Наций Румынии, Болгарии, Венгрни н Финляндии,— сказал Сталин, поочередно загибая пальцы на правой руке.

Загнув, таким образом, четыре пальца, он заодно проделал то же самое и с пятым. Получнлся кулак или нечто вроде «фиги», которую Сталин теперь протянул по направленню к Трумэну. Едва ли он хотел столь примитивным и грубым способом возражать президенту, скорее всего это получнлось непроизвольно. Но Трумэн нервно передернул плечами и взглянул на Черчилля, словно прося у него защиты.

— Мы уже не раз говорнли,— вмешался Бирнс,— что пока в тех странах нет признанных, ответственных правительств...

— Нэ понимаю! — оборвал его Сталин. — «Признанных»? Но это завнсит от нас, чтобы они стали «признанными». А что означает «ответственных»? Перед кем? Перед своими народами? Или господин Бирнс имеет в виду нечто другое?

— Я уверен,— недовольно сказал Трумэн,— что если мы втянемся в бесплодные дискуссии, то никогда не закончим ни сегодняшнее заседание, ни вообще всю нашу Конференцию. Никто не собирается ущемлять права малых наций.

— Никто? — многозначительно переспросил Сталин и посмотрел на Бирнса.

Бирнс почувствовал, как от этого взгляда кровь прилила к его лицу. Он не выдержал — опустнл голову и стал механически перебирать бумаги, лежавшие перед ним. У Бирнса были причины для смущения...

Тогда решил вмешаться Черчилль. До сих пор он молчал, поскольку докладчиком был Бирнс, то есть американская сторона. В таких случаях его филиппики всегда вызывали раздраженне у Трумэна. А кроме того, он знал, почему президент хочет как можно скорее закончить заседание, и ждал этого с таким же нетерпением, как и сам Трумэн.

— Я не понимаю причин подозрительности генералиссимуса,— вынимая изо рта сигару, с упреком произнес Черчилль. — Ему все время кажется, что мы поставили себе целью ущемить права малых народов.

— Только мне одному так ка-жэ-тся? — саркастически переспросил Сталин.

— Я не знаю... — начал было Черчилль, но его неожиданно прервал Бирнс:

— Генералиссимус имеет, конечно, право на любые сомнения. И высказывать их — тоже его право. Я так понимаю, мистер президент.

Трумэн согласно кивнул головой.

«А я не понимаю, что здесь происходит!» — хотелось воскликнуть Черчиллю. Его бесила такая, пусть чисто словесная, уступчивость главе советской делегации. И он действительно не понимал, почему элементарно-риторическое по содержанию слово Сталина «никто» оказало и на Бирнса н на Трумэна столь угнетающее воздействие.

Черчилль не знал того, что произошло сегодня утром. А произошло вот что.

Перед встречей с польской делегацией Бирнс, Иден и Молотов завтракали втроем. Иден покинул стол раньше остальных. Но когда собрался встать и Молотов, Бирнс неожиданно предложил советскому наркому задержаться на несколько минут.

— Я хотел бы сказать вам кое-что конфиденциально,— объявил он, когда в комнате, кроме Молотова, остался лишь переводчик Голунский.

Молотов даже не наклонил головы в знак согласия выслушать своего американского коллегу. Тем не менее он убрал салфетку с колен и, положив ее на стол, выжидающе посмотрел на Бирнса из-за овальных стекол своего пенсне.

— Мистер Молотов,— начал Бирнс, слегка наклоняясь к наркому и понижая голос,— вы знаете, что мы, американцы, — деловые люди и привыкли говорить напрямик. Не думаю, что вы предадите наш разговор огласке,— это повело бы к ненужным недоразумениям и лишь затянуло бы Конференцию, в скорейшем окончании которой мистер Сталин, конечно же, заинтересован не меньше президента...

Он снова посмотрел в глаза Молотову. Но не обнаружил в них ни удивления, ни интереса. И, хотя это несколько обескуражило Бирнса, он продолжал все тем же вкрадчивым голосом, в той же доверительной манере:

— Я понимаю: при определении будущего таких стран, как Польша и Германия, споры неизбежны. Но мы могли бы значительно сократить их, договорившись о совместной линии по отношению к Венгрии, Румынии, ну и прочим там болгарням. Будем смотреть на вещи без предвзятостей: после войны в мире остались две реальные могучие силы — Соединенные Штаты и Россия...

Бирнс снова сделал паузу, быстрым движением сдвинул две пустые чашки из-под выпитого кофе, свою и Молотова, и, указав на них пальцем, сказал:

— Так вот, я предлагаю своего рода джентльменский союз: судьбу малых наций Европы будем решать мы вдвоем — Америка и Россия.

Молотов повернул голову в сторону переводчика, без слов спрашивая его, точно ли он переводит Бирнса. Тот повторил конец последней фразы:

— Мы вдвоем — Америка и Россия.

— Вы помните,— оживился Бирнс,— что первая мировая война своим поводом имела инцидент в Сараеве. Вторая связана с Польшей. Словом, история

свидетельствует, что при своем мизерном объективном значении балканские и восточноевропейские страны своей глупой, претензионной политикой всегда втягивают в раздоры великие державы. Сейчас таких держав осталось только две — США и Россия. Следовательно, сам бог велит решать судьбы именно нам. Спрашивается: на кой же черт нам поощрять неоправданные и опасные претензии стран-карликов? И в частности: какой смысл приглашать их на мирную Конференцию, если она вообще когда-либо состоится? Не проще ли продиктовать им наши решения?

Скрытый смысл, подлинная цель предложения Бирнса заключались в том, чтобы сначала отсечь Советский Союз от Восточной Европы, создать у него иллюзию равноправного партнера Америки. А уж с этой иллюзией предстояло покончить атомной бомбе. И тогда судьбы Европы полностью оказались бы в руках Соединенных Штатов.

Это была типично американская игра, типичный бизнес, в котором сделка с одним из компаньонов за счет третьего или нескольких других, стремление к достижению выгоды любой ценой являются вполне обычным, «нормальным» делом.

Того, что Молотов или Сталин возьмут и «выложат» Черчиллю американское предложение, Бирнс и Трумэн не опасались. У Трумэна, несомненно, осведомленного заранее о предстоящем разговоре Бирнса с Молотовым, на такой маловероятный случай оставалась возможность свалить все на своего госсекретаря и дезавуировать его «самовольную» инициативу. Но главное, что успокаивало и Трумэна и Бирнса, заключалось в том, что оба они, воспитанные в мире бизнеса, не допускали мысли, будто Сталин решится из соображений отвлеченной морали променять даже зыбкую возможность соглашения с могущественной державой на не сулящую ему никаких выгод лояльность по отношению к заносчивому, задиристому третьему компаньону.

Итак, высказав Молотову все, что было задумано, Бирнс напряженным взглядом впился в лицо советского наркома в ожидании ответа. И он его получил в совершенно неожиданной форме. Молотов просто посмотрел на часы и сказал:

— Я д-думаю, что теперь нам пора идти. До встречи с польской делегацией осталось совсем немного времени.

Бирнс мог ожидать от Молотова чего угодно: уклончивости, требования гарантий, отказа, наконец! Но что тот сделает вид, будто не слышал предложения, за которое по логике элементарного бизнеса должен был бы ухватиться обеими руками, этого Бирнс не мог предполагать. Даже в отношении Молотова! Чья несговорчивость стала притчей во языцех. Кого в западных политических кругах давно наградили прозвищем Мистер-нет.

Поразмыслив, Бирнс, однако, решил: «А что, собственно, мог этот человек ответить ему, не получив соответствующих инструкций от Сталина?» Бирнс попытался мысленно поставить себя на место Молотова и пришел к выводу, что и он сам в подобном случае воздержался бы от какого-либо ответа до доклада президенту.

Одно не вызывало сомнений — то, что или сам Сталин, или тот же Молотов найдут способ в ближайшее же время в той или иной форме высказать свое отношение к американскому предложению...

...И вот теперь, за столом заседаний Конференции, когда Трумэн сказал, что «никто не собирается ущемлять права малых наций», а Сталин саркастически переспросил: «Никто?!» — и в упор посмотрел на Бирнса, тот понял, это и есть ответ на предложенный альянс. Ответ категорически отрицательный. Более того, презрительно-уничижительный. Сталин смотрел на Бирнса так, точно взглядом своим хотел пригвоздить его к позорному столбу.

— Я еще не кончил своего доклада,— сказал Бирнс, медленно выходя из шока и делая вид, что ничего особенного не произошло. — В частности, я обязан доложить о результатах переговоров с польской делегацией...

Он довольно точно изложил требования поляков, понимая, что иначе поступить и не может: при малейшем искажении истины его сразу бы уличил в этом присутствовавший на переговорах с поляками Молотов.

По мере того как Бирнс перечислял требования польского правительства, Трумэн внимательно смотрел на Сталина. Тот слушал сосредоточенно и время от времени сочувственно кивал головой.

«Интересно, как будет выглядеть лицо этого человека через минуту после окончания заседания? — старался угадать Трумэн. — Что отразится на нем? Недоумение? Испуг? Последуют ли вопросы и какие?.. Он, очевидно, многое пережил за долгие годы своей жизни, даже если не считать эту войну. Но наверняка не предчувствует, что главные переживания еще впереди. Добиться абсолютной власти в своей стране, выиграть такую войну, несмотря на многие, вполне обоснованные, пессимистические предсказания, и вдруг обнаружить, что над головой нависло оружие, по сравнению с которым легендарный дамоклов меч не страшнее безобидной булавки!..»

Увлеченный этими мыслями, президент не сразу заметил, что Бирнс уже закончил свой доклад. В зале наступила тишина. Спохватившись, Трумэн сказал:

— Информацию мистера Бирнса, полагаю, следует пока что просто принять к сведению. Но я сторонник порядка. В сегодняшней повестке дня значится вопрос о допущении в Организацию Объединенных Наций Италии и других сателлитов. Не понимаю, почему нам надо уходить от этого. Тем более что мы фактически уже начали обсуждать восточноевропейские дела.

Он произнес эти слова, обращаясь главным образом к Сталину. Черчилль недовольно передернул плечами, но Бирнс согласно закивал головой. Он понимал, что со стороны Трумэна это была месть. Президент как бы говорил Сталину: «Вы не хотели решить все эти европейские проблемы целиком и на

той основе, которая была вам предложена сегодня утром. Хорошо! Тогда мы решим их гласно. И начнем с того, что закроем перед странами, которые вы патроинируете, двери в Объединенные Нации. Вам был предложен выгоднейший бизнес, судя по всему, вы от него отказались. Посмотрим, кто от этого выиграл, а кто проиграл».

— Сначала я предлагаю,— громко объявил Трумэн, обсудить вопрос об Италии. Кто желает высказаться?

— Как дисциплинированный член нашей Конференции,— добродушно, даже игриво откликнулся Сталин,— я готов следовать за нашим председателем. Если ему угодно вести нас вперед, я постараюсь не отстать. Но могу и вернуться назад. На прошлых заседаниях советская делегация уже высказала свое твердое мнение. Готов его повторить: мы не против того, чтобы облегчить положение бывших сателлитов гитлеровской Германии. Но мы решительно против того, чтобы это распространялось только на Италию.

— Но сейчас речь идет об Италии! — нетерпеливо воскликнул Трумэн.

— А почему, собственно? — развел руками Сталин. — Кто заставляет нас выделять Италию из числа тех стран, которые уже неоднократно упоминались здесь?.. Кто нанес союзникам больше вреда: Италия или Румыния, Болгария, Венгрия и Финляндия?

— В Италии сейчас более демократическое правительство, чем в этих странах! — возразил Трумэн.

— Разве? — усомнился Сталин. — На каких весах здесь взвешивается демократия? Какими критериями измеряется? Эмоциональными? Тогда мы в этой игре не участвуем. В основе любых оценок должны лежать факты. Нам не раз напоминали, что в странах Восточной Европы не было демократических выборов. А разве они были в Италии? В чем же преимущество ее, с позволения сказать, демократии?.. Уже говорилось, что нынешнее правительство Италии никого и ничего не представляет. Говорилось не советской делегацией! Тогда откуда же у наших западных союзников появилось такое благоволение именно к Италии? Потому что там находятся сейчас американские войска, а в других, некогда сотрудничавших с Гитлером странах их нет? Поэтому? Странный подход к определению демократии! И тем не менее и американская и английская делегации горят желанием выделить Италию. Начали с того, что восстановили с ней дипломатические отношения. Теперь предлагается принять ее в Объединенные Нации. Что ж, мы не против. Но почему, спрашивается, Соединенные Штаты и Англия не восстанавливают дипломатических отношений с Болгарией, Венгрией, Румынией? Почему не предлагается допустить эти страны в Объединенные Нации? В чем преимущества Италии? В том, что она нанесла союзникам наибольший вред? Мне такая, с позволения сказать, логика недоступна.

«Неужели мы попались в собственную ловушку? — с досадой подумал Бирнс. — Ведь всего несколько дней назад я сам подал Сталину этот вариант».

— Однако,— продолжал Сталин,— я вижу, что делегации Соединенных Штатов и Англии испытывают необъяснимые симпатии именно к Италии. Что ж, мы готовы с этим считаться. Давайте условимся так: поскольку первый шаг в отношении Италии уже сделан — с ней восстановлены дипломатические отношения,— дело теперь за тем, чтобы сделать такой же шаг и навстречу тем другим четырем странам — установить и с ними дипломатические отношения. Потом предпримем новые шаги — согласимся допустить Италию в ООН, а за нею допустим туда и тех, остальных. Таким образом, и приоритет в отношении Италии будет соблюден, и другие страны от этого не пострадают. Надеюсь, это устраивает всех?

И Сталин обвел вопросительным взглядом участников заседания.

Когда этот взгляд встретился со взглядом Черчилля, тот произнес сквозь зубы:

— Мы в общих чертах соглашаемся с точкой зрения Соединенных Штатов.

Трумэн одобрительно закивал головой. Как ни хотелось ему поскорее закончить это заседание, он понимал, что оставлять последнее слово за Сталиным нельзя. Президент США пустился в разъяснения:

— В чем истинная причина не одинакового с нашей стороны подхода к Италии и, скажем, к Болгарии или Венгрии? Да в том, что если положение внутри Италии всем хорошо известно, то в тех, других, странах для нас оно покрыто мраком неизвестности. В Италии всем нашим правительствам — я имею в виду и Советское правительство тоже — предоставлена полная возможность получать любую информацию, а в Румынии, Болгарии и Венгрии такой возможностью располагает только Россия. Характер сконструированных там правительств не позволяет нам пойти на немедленное установление дипломатических отношений. Но хочу заверить русскую делегацию, что мы немедленно признаем и эти правительства и установим с ними дипломатические отношения, как только убедимся, что они удовлетворяют нашим требованиям.

— Каким это «нашим требованиям»? — резко спросил Сталин.

«Ошибка, снова ошибка! — подумал Бирнс. — Нельзя сейчас употреблять такие слова. Они звучат как ультиматум, а ультиматум можно будет объявлять Сталину только завтра, сегодня еще рано!»

Трумэн, желая поправиться, забуксовал на месте:

— Ну... я имел в виду такие требования демократии, как свобода передвижения, свобода информации...

Черчилль, знавший по долголетнему своему опыту общения со Сталиным, что значит употребить в переговорах с ним неосторожное выражение, не без огорчения подумал: «Теперь он начнет «водить» Трумэна, как рыбак проглотившую крючок рыбу. «Водить», пока она не обессилеет».

Прогноз Черчилля не замедлил оправдаться.

— Не понимаю! — со смесью наигранной наивности и злорадства произнес Сталин. — О чем, в сущности, идет речь? Ни одно из правительств, которые имеет в виду господин президент, не мешает, да и не может помешать свободному передвижению. Кстати, чьему «передвижению»? Ваших дипломатов там нет. Корреспондентов? Но им никто не мешает ни передвигаться, ни получать информацию. Тут какое-то досадное недоразумение. А вот в Италии для советских представителей, например, были действительно введены строгие ограничения.

«Водит, водит!» — с отчаянием подумал Черчилль, ища повода вмешаться, чтобы изменить тему и таким образом помочь Трумэну ускользнуть со сталинского «крючка». Но президент как назло стал заглатывать этот «крючок» все глубже.

— Мы хотим,— заявил он,— чтобы эти правительства были реорганизованы, это главное.

— Кого же вы все-таки имеете в виду под словом «мы»? — снова спросил Сталин. — Себя или народы европейских стран? В первом случае это звучит... ну, как бы это сказать... странно! Вы, что же, намерены управлять Восточной Европой из Вашингтона? Или, может быть, из Лондона? А если имеются в виду народы, то не правильнее ли будет предоставить им самим решать вопрос о своих правительствах? Или вы придерживаетесь другого мнения?

— Но как вы не понимаете! — отмахиваясь от пытавшегося что-то сказать ему Бирнса, снова воскликнул уже теряющий терпение, злой, обиженный, сбитый с толку Трумэн. — Мы хотим, чтобы эти правительства стали бы более демократичными, более ответственными, как здесь уже говорилось!

— О-о! — не то с удивлением, не то с сожалением произнес Сталин. — Уверяю вас, господин президент, что правительство той же Болгарии ку-у-да более демократично, чем правительство Италии. Это последнее, как я уже отмечал, было охарактеризовано здесь весьма отрицательно. — Сталин внезапно всем своим корпусом повернулся к английскому премьер-министру: — Господин Черчилль, помогите нам, пожалуйста! Прошу вас повторить, какую характеристику вы дали итальянскому правительству, которое господин президент ставит нам сейчас в пример.

Черчилль даже растерялся от этого внезапного обращения к нему.

— Я не могу держать в памяти каждое произнесенное мною слово,— недовольно пробурчал он, пожимая плечами.

— Что ж, это вполне естественно, память — вещь не всегда надежная,— вежливо согласился Сталин. — Тогда разрешите процитировать следующее место из записей, которые на нашей Конференции ведут все делегации...

Уже в тот момент, когда Сталин обратился к Черчиллю, за спиной главы советской делегации произошло движение. Генеральный секретарь делегации Новиков быстро раскрыл какую-то папку, в течение считанных секунд перелистал содержащиеся в ней отпечатанные листы, вынул один из них, передал Подцеробу, тот, едва взглянув на листок, протянул его Молотову, и, когда Сталин, даже не оглянувшись, поднял над правым плечом руку, нарком вложил этот листок в нее.

Все произошло почти мгновенно, и теперь Сталин, держа перед собой отпечатанную на машинке выдержку из протокола, громко и медленно прочел:

— «Заседание от двадцатого июля. *Черчилль:* «Я отмечаю, что нынешнее итальянское правительство не имеет демократических основ... Оно просто состоит из политических деятелей, которые называют себя лидерами различных политических партий».

Затем Сталин, по-прежнему не оглядываясь, протянул назад руку с листком, который немедленно подхватил Молотов.

— Это правильно записано, господин Черчилль, или нет? — снова, глядя в упор на английского премьера, спросил Сталин.

Черчилль молчал, почмокивая,— он пытался затянуться потухшей сигарой.

— По-видимому, правильно,— удовлетворенно произнес Сталин. — В таком случае, может быть, вы поможете мне сейчас убедить господина президента...

Но теперь уже и Трумэн, видимо, понял, что допущена непозволительная промашка и единственный выход из незавидного положения заключается в том, чтобы поскорее изменить тему спора. Но как?!

— Наша дискуссия,— начал он,— стала приобретать несколько абстрактный характер...

— В самом деле? — с легко уловимой насмешкой переспросил Сталин.

— Поэтому,— делая вид, что не расслышал его реплики, продолжал Трумэн,— я хочу вернуться к реальности и напомнить: мы, по существу, уже пошли навстречу советским пожеланиям. Формулировка в отношении Румынии, Болгарии и Венгрии в американском предложении, в общем, такая же, как и в отношении Италии. Если не придираться к отдельным словам, конечно...

— Я позволю себе придраться только к одному,— тотчас же откликнулся Сталин,— к слову «признание». Точнее — к отсутствию этого слова. Наш вопрос формулируется так: включает ли американский проект восстановление дипломатических отношений со странами, которые сейчас назвал господин президент? Да или нет?

В этот затруднительный для президента момент на помощь ему поспешил Бирнс.

— Я тоже перестаю понимать, о чем теперь идет спор,— сказал он. — Если господин генералиссимус считает, что мы необоснованно выделяем Италию, то это совсем не так. Единственное, что мы предложили, касается приема ее в Организацию Объединенных Наций. Но в той же самой редакции говорится и относительно других бывших сателлитов.

— В той же самой? — переспросил Сталин и с каким-то грустным сожалением заключил: — Выходит, я действительно чего-то не понял. Значит, и эти страны будут приняты в ООН?

— Да нет, черт их побери, не будут! — уже не в силах сдерживать себя почти крикнул Трумэн.

Он решил действовать жестче. В конце концов, будучи главой самой могущественной страны — обладательницы атомной бомбы и к тому же располагая властью председателя Конференции, он имеет право «проявить характер». Ничего, скоро этот усатый спорщик поймет, что есть человек, который способен поставить его на место.

При мысли о предстоящем реванше Трумэн несколько успокоился и вслух произнес:

— Здесь уже было сказано, что мы не можем,— поймите, не можем! — принять в члены Организации Объединенных Наций страны, если их правительства не являются ответственными и демократическими!

— Как, скажем, в Аргентине? — с наигранным пониманием бросил Сталин.

— При чем тут Аргентина? — опешил Трумэн.

— Я просто привел первый пришедший мне в голову пример,— любезно пояснил Сталин. — Надеюсь, никто, включая президента, не возьмется отрицать, что аргентинское правительство еще менее демократично, чем даже итальянское. И все же Аргентина является членом ООН. Не так ли?

Сталин сделал небольшую паузу, после чего решительно сказал:

— Вот что. Мне, как и президенту, кажется, что мы движемся по заколдованному кругу. Я сочувствую нашему председателю и поэтому предлагаю решить спор таким образом. В пункт, где речь идет о Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии, добавить, что каждое из наших правительств в ближайшее время рассмотрит вопрос о восстановлении дипломатических отношений с ними. Уж против этого-то, я полагаю, не может быть никаких возражений? Тем более что мое компромиссное предложение вовсе не означает, что это восстановление дипломатических отношений с названными четырьмя государствами произойдет одновременно. Оно означает лишь то, что каждое из наших трех правительств дает согласие рассмотреть данный вопрос. Одно раньше, другое позже. Прецедент такого рода у нас уже есть.

— Что вы имеете в виду? — раскурив наконец свою сигару, подозрительно спросил Черчилль.

— Да ту же самую Италию,— охотно пояснил Сталин. — Там ведь аккредитованы дипломатические представители и от Соединенных Штатов и от Советского Союза, но посла Великобритании или Франции еще нет. Верно?

— Нет, не верно! — воскликнул Черчилль. — Мы имеем в Италии своего представителя. Конечно, он, так сказать, не вполне посол, поскольку моя страна формально еще находится в состоянии войны с Италией. По нашей конституции, нормальных дипломатических отношений с этой страной мы пока что иметь не можем. Тем не менее, повторяю, практически мы считаем своего представителя в Италии как бы послом.

— Но все же не таким, как советский или американский? — уточнил Сталин.

— Да, не совсем таким,— согласился Черчилль, не понимая, почему глава советской делегации вдруг стал проявлять заботу об Италии. — Мы считаем своего представителя как бы «послом на девяносто процентов»,— решил пошутить Черчилль.

Но уже мгновение спустя он раскаялся в своей шутке, потому что Сталин немедленно подхватил ее:

— Так вот, я и предлагаю такого же «не совсем посла» направить в Румынию и в остальные страны, о которых мы толкуем.

В зале раздался смех, поскольку стало очевидным, что вслед за Трумэном «на крючок» попался и Черчилль.

Английский премьер-министр покраснел, мускулы на его короткой шее напряглись, и сидящий рядом Иден с тревогой подумал, что Черчилля может хватить апоплексический удар.

Трумэн тоже забеспокоился и попробовал выручить своего партнера:

— Я уже объяснял, в чем заключаются затруднения.

— А вот я таких затруднений сейчас не вижу,— немедленно откликнулся Сталин и добавил холодно и отчужденно: — Во всяком случае, к американскому проекту в теперешнем его виде мы не присоединимся.

Сказав это, он откинулся на спинку кресла, как бы давая понять, что сказал все, что считал нужным, и продолжать бесполезный спор советская делегация не намерена.

«Отлично, прекрасно! — мстительно подумал Трумэн. — Сейчас надо объявить перерыв до завтрашнего дня, а потом... потом нанести Сталину тот самый удар, который был запланирован еще вчера!»

Но его коротким молчанием воспользовался Черчилль.

Вместо того чтобы помочь президенту быстрее закончить заседание, он, разозленный на самого себя за то, что так неудачно «подставился» Сталину, решил взять реванш. Одним ударом рассчитаться и за то, что Сталин как бы «играючи» использовал его неудачную шутку, и за то, что он же процитировал здесь прежнее его, Черчилля, заявление, а попутно одернуть и других участников заседания за их неуместный смех.

Раздражая своим многословием Трумэна, английский его партнер начал доказывать, что в Италии наблюдается «рост свободы», что теперь, когда север этой страны уже освобожден, в ней готовятся демократические выборы, тогда как намерения Болгарии и Румынии в этом отношении все еще неизвестны, поскольку там английские миссии лишены всякой информации и поставлены в условия, «напоминающие интернирование».

В эти минуты Черчилль уподобился человеку, который, попав в трясину, своими попытками выбраться из нее все больше топит себя в ней...

Слушая Черчилля, Сталин подчеркнуто медленно закуривал очередную папиросу, долго разминал ее кончиками пожелтевших от табака пальцев, встряхивал над ухом коробку спичек, будто сомневался — есть ли там что, наконец закурил и, выпустив клуб дыма, небрежно произнес:

— Сказки!

Черчилль, по-бычьи угнув голову и налегая грудью на стол, разразился новым потоком слов. Реплика Сталина привела его в ярость. Он уже не говорил, а кричал, что протестует, никому не позволит называть «сказками» информацию, которая получена от доверенных лиц его правительства...

И тогда опять вмешался Бирнс. Он понимал, что если заседание Конференции закончится в условиях столь ожесточенной конфронтации, то это лишит Трумэна возможности сделать Сталину сообщение, которое, несмотря на свой страшный смысл, должно быть доверительно-дружеским по форме...

Государственный секретарь сказал:

— Я призываю уважаемых глав делегаций все же попытаться прийти к какому-то разумному соглашению. Для начала предлагаю такой компромисс. В нашем проекте вопрос о допущении в ООН европейских стран-сателлитов связывается с созданием там «ответственных и признанных правительств». Полагаю, что причиной недовольства генералиссимуса явилось слово «ответственных», поскольку оно недостаточно определенно — может иметь разные толкования. Если главы делегаций не возражают, можно бы, мне думается, убрать это слово. Тогда наша формулировка будет означать только то, что правительства поименованных стран предстоит признать. Тем самым мы просто констатируем одну из своих очередных задач.

В предложении Бирнса действительно заключался некий, хотя и незначительный компромисс. Компромисс потому, что, исключив неопределенное слово «ответственные», было бы уже трудно подвергать сомнению правомочность правительств стран Восточной Европы, которые появятся там в результате предстоящих выборов. Незначительный же потому, что вопрос о признании этих правительств по-прежнему оставался открытым и позволял Соединенным Штатам и Англии подвергать сомнению «демократичность» самих выборов.

Однако Сталин, перемолвившись несколькими словами с членами советской делегации, видимо, пришел к выводу, что и такая уступка со стороны Запада должна быть принята.

— Это уже более приемлемо,— произнес он с явным удовлетворением. — А вот если бы мы добавили к пункту, о котором только что говорил господин Бирнс, обязательство в ближайшее же время рассмотреть вопрос об установлении дипломатических отношений с Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией, то могли бы закончить сегодняшнее заседание с сознанием, что продвинулись вперед.

— А-а... это не вступает в противоречие со всем тем, о чем мы только что спорили? — спросил Черчилль.

— Нет, нет, господин Черчилль, не вступает,— успокоительно, словно имея дело с раскапризничавшимся не в меру ребенком, заверил Сталин. — Посудите сами: перед нами стоит задача подготовить мирные договора с упомянутыми странами. Эту задачу мы все признаем. Но заключать такие договора с с непризнанными правительствами невозможно! Значит, вопрос о признании никак не может быть снят с повестки дня. Логично?

— Я не имею возражений! — поспешно сказал Трумэн, кажется, уже готовый на все, лишь бы приблизить вожделенный момент личной беседы со Сталиным.

— Противоречие, по-моему, все же имеется... — начал сникший было, однако все еще не оставивший надежды на реванш Черчилль, но Трумэн попытался унять его:

— В предложении Бирнса не содержится ничего, кроме того, что мы обязуемся рассмотреть этот вопрос!

Попытка оказалась тщетной. Остановить Черчилля, когда он уже начал говорить, было невозможно. Он снова разразился пространным монологом. На этот раз опять же о том, что нельзя заранее связывать себя обязательствами признать восточноевропейские правительства...

— А кто от вас требует таких обязательств? — спросил Сталин, как бы присоединяясь к Трумэну. — Эти правительства могут быть признаны, а могут быть и не признаны.

— Гм... — буркнул Черчилль, сознавая, что Сталин выбивает из его рук последнее оружие. — Но тогда я предлагаю, чтобы в решении было сказано: не мирные договора «с» Болгарией и другими странами, а договора «для» этих стран.

— Я не возражаю, чтобы было «для»,— со вздохом произнес Сталин.

— Благодарю вас,— напыщенно произнес Черчилль с видом человека, выигравшего тяжелое сражение.

— Не стоит благодарности,— учтиво ответил Сталин.

И снова в зале раздался смех.

Трумэн сердито постучал карандашом по столу. Смех затих.

В течение нескольких последующих минут были оглашены и тут же, по предложению Трумэна, перенесены на следующие заседания несколько второстепенных вопросов. Но когда президент — уже в третий раз! — хотел объявить заседание оконченным, Сталин напомнил, что нерешенным остался вопрос о Польше.

Черчилль попросил отложить и это, сказав, что предполагает завтра утром лично встретиться с Берутом.

— Что ж, отложим,— покорно согласился Сталин.

— Значит, до завтра? — с тревогой и надеждой в голосе спросил Трумэн и, не дожидаясь ответа, торопливо объявил: — Считаю сегодняшнее заседание закрытым!

Стрелки на медном циферблате больших напольных часов показывали двадцать семь минут восьмого, когда Трумэн встал, но не вышел из-за стола. Он ждал с напряжением того мига, когда поднимется

Сталин и его можно будет «отсечь» от других членов советской делегации, перехватить «на ходу».

Черчилль пошел к выходу, но остановился у порога с твердым намерением не пропустить ничего из того, что сейчас должно будет произойти. Он по-прежнему жаждал мести, реванша. Взглянул на застывшего, как изваяние, Трумэна, увидел, как кто-то из русских заботливо отодвинул кресло, помогая поднявшемуся из-за стола Сталину выйти, и лишь после этого перешагнул порог... Он не заметил, пожалуй, даже не подозревал, что президент с трудом сдерживает охватившую его дрожь.

В то же время Трумэн вдруг почувствовал себя, как некий скалолаз, долгое время взбиравшийся на гору, преодолевая многочисленные препятствия, и достигший наконец желанной вершины. Все, все осталось позади, где-то там, внизу... Он, Трумэн, был выше всех. Там у подножия горы копошились теперь эти стимсоны, гровсы, гарриманы, ученые итальяшки, венгры, евреи, имен которых он так и не запомнил...

Внизу оставался и Черчилль. В будущем придется протянуть ему руку, помочь велеречивому толстяку пережить утрату былого величия...

Внизу окажется и Сталин. Для него вершина недоступна.

Боже, а ведь так недавно он, Трумэн, стоял в Белом доме, перед галереей портретов бывших президентов, одинокий, растерянный... «Я молю бога благословить этот дом и всех, кто будет в нем обитать. Пусть лишь честные и мудрые люди правят под этим сводом»... Эти начертанные золотом над камином слова первого хозяина Белого дома, президента Адамса, стояли сейчас перед глазами Трумэна, как тогда, в четверг двенадцатого апреля. Но тогда он читал их с содроганием, с тревогой. А сейчас Трумэн повторял их про себя с торжеством, с упоением. «Мудрые люди»... Он оказался мудрым. Самым мудрым из всех президентов США.

Не отводя глаз от Сталина, Трумэн твердил про себя тщательно отрепетированную фразу, которую должен будет произнести сейчас вслух.

А Сталин как назло не торопился. Почему-то решил закурить трубку, хотя мог бы сделать это позже, там, у себя в комнате. Вытащил изогнутую, поблескивающую темно-красным лаком деревяшку и стал крошить в нее свои странные сигареты с длинным, белым картонным мундштуком — никто в мире, по наблюдениям Трумэна, не курил таких. И вся сталинская свита, увидя, что босс занялся своей трубкой, застыла на полдороге от стола к двери. Минуту или две продолжалась эта немая сцена: застывший в неестественно напряженной позе Трумэн и спокойно занимающийся своей трубкой Сталин. Наконец, он закурил, сосредоточенно водя зажженной спичкой по табачной поверхности, затянулся, выпустил дым через ноздри и, видимо, только сейчас обратил внимание на замершего в напряженной позе у стола Трумэна.

Сталин посмотрел на него с удивлением, как бы спрашивая: «А вы-то чего, собственно, ждете?» Затем то ли кивнул президенту, то ли посмотрел, наклоня голову, равномерно ли горит верхний слой табака в трубке, и вышел из-за стола своей обычной, мягкой, тигроподобной походкой.

В этот момент президент почти выбежал наперерез ему.

— Одну минуту, генералиссимус... Простите.

Сталин опустил трубку и не без удивления ответил:

— Я к вашим услугам, господин президент.

Только теперь Трумэн сумел окончательно взять себя в руки.

— Я хотел сообщить вам, генералиссимус,— нарочито будничным тоном произнес он,— что у нас, в Штатах, создано новое оружие...

Трумэн сделал паузу, непроизвольно расправил плечи и даже, кажется, привстал на цыпочки, напряженно следя, как реагирует на его сообщение Сталин.

Но тот молчал, глядя мимо Трумэна.

— Это оружие,— снова заговорил Трумэн, решив, что Сталин не оценил смысла сказанного,— необычайной, невероятной силы...

Президент снова умолк, впиваясь взглядом своих близоруких глаз в лицо Сталина. Однако никаких видимых изменений в выражении этого лица не обнаружил, ни одна из его черточек не дрогнула. Сталин вроде бы удовлетворенно мотнул головой и безразлично обронил ничего не значащую вежливую фразу:

— В самом деле?..

Повернулся и пошел к двери. Спустя мгновение его уже не было в зале. Трумэн стоял обескураженный, смущенный.

— Ну... ну что?! — услышал он за своей спиной нетерпеливый шепот.

Повернувшись, Трумэн увидел Черчилля. Рядом с ним стояли Бирнс и Иден. То ли они наблюдали издалека за происходящим, то ли вернулись в зал, чтобы узнать результаты.

— Вы сказали ему? — спросил Черчилль.

— Сказал,— все еще не отдавая себе отчета в поведении Сталина, произнес Трумэн.

— Ах, боже мой, сэр, не тяните же! — уже не снижая голоса, выпалил Черчилль.— Что вы ему сказали?!

— То, о чем мы условились,— отрешенно ответил президент.

— И какое это произвело на него впечатление?

— Судя по выражению его лица — никакого!

— Никакого? — изумленно переспросил Бирнс.

— По-моему, он просто не понял, о чем идет речь!

— Этого не может быть, сэр! — возразил Черчилль.— Он, конечно же, все понял! То есть то, что нам нужно! Поздравляю вас! Я взглянул на часы там, за дверью. Было ровно семь тридцать! Это время войдет в историю как начало новой эры, нового соотношения сил в мире!

— Говорю вам, что он ничего не понял! — перенося свое раздражение на Черчилля, повторил Трумэн.

— Мы узнаем об этом завтра по его поведению,— обнадеживающе сказал Бирнс.

— Опять ждать?! — почти простонал Трумэн. — Мне надоело все это! Я готов послать все к черту и уехать!

— Это накануне-то несомненного триумфа? — с добродушным упреком сказал Черчилль.

Трумэн вяло отмахнулся:

— Повторяю вам, он ничего не понял!..

А тем временем под сводом того же Цецилиенхофа, в той его части, где находились рабочие комнаты советской делегации, события разворачивались своим чередом.

Как только офицер охраны плотно притворил дверь за Сталиным, в лице советского лидера произошла разительная перемена. Брови нахмурились, углы рта чуть приподнялись. Проходя мимо Молотова, вопросительно глядевшего на него, он сказал, не останавливаясь:

— Поезжайте-ко мне.

Сталин и сам направлялся к подъезду. Офицер его личной охраны Хрусталев, опережая всех, первым оказался у черного лимузина. По его знаку сидевший за рулем майор мгновенно включил двигатель.

Сталин, как обычно, расположился в салоне лимузина на откидном кресле. Хрусталев, захлопнув за ним дверь, сел рядом с водителем. Машина, с места набирая скорость, помчалась к мосту, отделявшему район Цецилиенхофа от жилых кварталов Бабельсберга. За нею следовали две другие, той же марки и такого же цвета. В них расположились Молотов, Вышинский, Громыко, Гусев и охрана.

Через несколько минут вся эта кавалькада остановилась у решетчатой ограды. Из первой машины выскочил Хрусталев, открыл заднюю дверь, и Сталин, в молчаливой сосредоточенности ни на кого не глядя, поднялся по невысокой лестнице отведенного ему особняка. В приемной распорядился:

— Москву. Курчатова. Немедленно!

Вскоре на столе у помощника раздался телефонный звонок. Тот снял трубку, сказал: «Сейчас»,— и, пройдя в кабинет главы советской делегации, доложил:

— Курчатов у телефона, товарищ Сталин.

Сталин подошел к письменному столу, принял из рук помощника отводную телефонную трубку и заговорил в нее, не присаживаясь:

— Здравствуйте. Сталин. Необходимо всемерно ускорить ход наших работ. Так требуют обстоятельства. Вы меня поняли? Всэмэрно! Разберитесь в своих нуждах и скажите мне, какая нужна помощь со стороны правительства и Центрального Комитета партии... Вопросов нет?.. Хорошо. До свидания.

Он сам опустил трубку на рычаг одного из трех телефонов, осмотрелся и, как бы удивившись, что находится в комнате один, сказал в открытую дверь:

— А где остальные? Пусть заходят.

Глава восьмая
ВИЗИТ В ПОЗДНИЙ ЧАС

После восьмого заседания глав правительств Черчилль возвращался в свою резиденцию в смятенном состоянии. Иден сопровождал его.

В машине они ехали молча... Иден знал, что первым начинать разговор с шефом, когда тот не в духе,— значит нарваться на резкость. Правда, последние минуты, проведенные в зале Цецилиенхофа, как будто бы улучшили настроение Черчилля, однако он продолжал нервничать. После короткого разговора Трумэна со Сталиным многое оставалось неясным. Трумэн твердил, что Сталин ничего не понял из его слов, ответил на них какой-то равнодушной любезностью.

Иден так и не мог толком разобраться, что же, в сущности, произошло? Может быть, президент так построил свое сообщение, что из него вообще трудно было что-нибудь понять? В противном случае Идену, уже достаточно хорошо знавшему Сталина, представлялось просто невероятным, чтобы тот не придал словам Трумэна никакого значения...

Когда переехали мост, Иден посмотрел в окно машины. Все, что он увидал — нарядные виллы, заставы, разделяющие Бабельсберг на три сектора — американский, английский и советский,— все до мелейших деталей было уже хорошо знакомо Идену. В течение восьми дней он проделывал один и тот же путь, направляясь в Цецилиенхоф и возвращаясь в Бабельсберг. Но этот вечер — последний здесь. Завтрашнее заседание тоже будет последним, по окончании его надо ехать на аэродром...

Вчера он связывался по телефону с Форин офис — министерством иностранных дел, справлялся о новостях. Особых новостей не было, по крайней мере таких, которые хотелось бы услышать и Черчиллю и самому Идену. Подсчет голосов должен начаться лишь в ночь на 26-е, то есть послезавтра, и, следовательно, только в четверг днем станут известны окончательные результаты парламентских выборов.

Затем, на второй, максимум на третий день после оглашения этих результатов, и Черчиллю и Идену предстоит возвращение в Бабельсберг. В том, что он останется на своем посту, Иден не сомневался, как без всяких колебаний верил и в то, что сидящий рядом с ним большеголовый, грузный человек, сосредоточенно куривший длинную, толстую сигару, останется премьер-министром.

— Вы верите в это? — вдруг спросил его Черчилль.

Идену показалось, что Черчилль как бы подслушал его мысли, и автоматически ответил:

— Абсолютно уверен!

— Но тогда... тогда что же такое Трумэн сказал ему? — нахмурившись, спросил Черчилль, вынимая изо рта сигару.

Только теперь Иден понял, что Черчилль думал совсем о другом — о разговоре Трумэна со Сталиным.

— Очевидно, то, что было условлено между вами,— после некоторой заминки ответил Иден.

— Тогда я не понимаю, как Сталин мог не придать этому никакого значения.

— А вы уверены, что он не придал?

— Но вы же слышали, что сказал нам Трумэн!

— Сталин умеет скрывать свои мысли.

— Я лучше вас знаю Сталина! — с обычным своим апломбом заявил Черчилль. — Разве вы не заметили, что он ковыряется в своей трубке, рисует какую-то чертовщину или согласно кивает головой, как буддийский божок, лишь в тех случаях, если обсуждаемый вопрос его мало занимает. Но как только возникает угроза советским интересам, все меняется. Напрасно вы думаете, что он мог бы прикинуться равнодушным, поняв Трумэна. Мне памятна наша давнишняя беседа с ним в Кремле об операции «Торч». Я не успел тогда произнести и двух фраз, как Сталин все понял и реагировал живейшим образом. А теперь ему сообщают, что Россия фактически оказывается беззащитной против Америки, и это оставляет его безразличным? Не верю!

— Но, может быть, Трумэн сделал свое сообщение в столь неопределенной форме...

— Вот это вернее! Я начинаю думать, что этот мудрец сам запутался в своих намерениях! С одной стороны — сказать, а с другой — ничего не сказать. Сделал ставку, которую не измерить никакими миллиардами фунтов или долларов, а взамен получил шиш! Я ошибся, полагаясь на него как достойного соперника Сталина...

— Вы хотите сказать, что президент Рузвельт... словом, что в Ялте Сталин был более податливым?

— Ялта не в счет. В то время русские войска еще не заняли пол-Европы.

В этот момент машина остановилась. Томпсон, сидевший рядом с водителем на переднем сиденье, отделенном от салона толстым стеклом, выскочил и открыл заднюю дверь.

— Я еще понадоблюсь вам сегодня, сэр? — осведомился Иден, когда они подошли к калитке.

— Нет,— решительно ответил Черчилль — Я собираюсь рано лечь спать. Ведь завтра последний день...

— Нам предстоит провести здесь еще немало дней,— убежденно ответил Иден.

— Надеюсь, что так,— оттопыривая губу, с оттенком высокомерия согласился Черчилль. — Спокойной ночи!

В тот вечер Черчилль был просто невыносим для обслуживавших его людей и даже для своей дочери Мэри. Две порции почти неразбавленного виски не оказали на него привычно умиротворяющего воздействия.

Он решил принять ванну, но уже через минуту из ванной комнаты донесся крик возмущения: в кранах не оказалось воды — рухнувшие где-то развалины перешибли, очевидно, уже старую, проржавевшую трубу водоснабжения. Выскочив из ванной в длинной спальной рубашке, Черчилль кричал, чтобы немедленно дали телеграмму Монтгомери и чтоб тот, по земле ли, по воздуху ли, перебросил сюда цистерну с водой. Это было бессмысленно — советское инженерно-техническое подразделение уже устраняло поломку, но никто не решился противоречить премьеру...

В десятом часу Черчилль наконец отправился в спальню, но даже в одиннадцать Моран видел, что из-под закрытой двери пробивается узенькая полоска света — его пациент все еще не спал.

Да, Черчилль бодрствовал. Он лежал в постели, но мозг его работал лихорадочно. Черчилль размышлял о предстоящем завтра отъезде, о поражении, которое сегодня нанес Сталин ему и Трумэну в споре о признании правительств восточноевропейских государств. Думал о том, как сохранить военно-промышленный потенциал Германии, когда речь пойдет о будущем этой страны и о том, брать с собой или уже не брать Эттли, когда придется снова возвращаться в Бабельсберг.

Послышался робкий стук в дверь.

— Войдите,— буркнул Черчилль.

Дверь тихо раскрылась, и он увидел на пороге Рована.

— Какого черта... — начал было Черчилль, но Рован, конечно, заранее уверенный, что его появление в неурочный час вызовет новую вспышку гнева патрона, сделал несколько быстрых шагов вперед и тихо доложил:

— Миколайчик, сэр...

— Что?!— рявкнул Черчилль, приподнимаясь на локте.

— Он только что звонил по телефону, сэр. Умоляет принять его, невзирая на поздний час. Уверяет, что дело огромной важности. Просит сохранить его визит в тайне.

Рован проговорил все это очень быстро, не давая Черчиллю возможности прервать его.

— К черту!— снова воскликнул Черчилль; в этот вечер он был не в состоянии обойтись без ругательства, о чем бы ни шла речь.— Вы меня поняли?! Осмеливается звонить мне, после того...

Черчилль буквально задохнулся от охватившего его гнева, но, переведя дух, спросил:

— Он еще у телефона?

— Да, сэр.

— Скажите этому авантюристу, чтобы он... Я не сомневаюсь, что даже Берут не решился бы в такой час побеспокоить Сталина! Вы... вы сказали ему, что я уже в постели?

— Да, сэр!

— И он...

— Он настаивает, сэр. Повторяет, что дело большой важности.

И вдруг Черчилль вспомнил, что завтра утром он решил лично встретиться с Берутом. Тот должен был приехать к нему рано, в восемь утра.

Неприязнь, злоба, которые Черчилль испытывал сейчас при одном упоминании имени Миколайчика, уступили место здравому смыслу. Подумалось: «Может быть, между звонком Миколайчика и завтрашним свиданием с Берутом есть прямая связь? Иначе бы этот тип при всей его наглости и бесцеремонности,

после совершенного им предательства вряд ли осмелился просить о встрече в такой час».

Черчилль снова опустил голову на подушку и, не глядя на Рована, сказал:

— Спросите у Томпсона, могут ли его люди обеспечить приезд Миколайчика так, чтобы это осталось в тайне. Если могут, пусть приезжает.

— Хорошо, сэр. Позвать Сойерса, чтобы он помог вам одеться?

— Одеться?!— снова чувствуя, что его охватывает злоба, переспросил Черчилль.— Чтобы я еще стал одеваться для разговора с этим перебежчиком?!

— Я понял, сэр,— поспешно сказал Рован и спустя мгновение исчез, осторожно притворив за собой дверь.

Когда Миколайчик, сопровождаемый Рованом, вошел в спальню, Черчилль лежал на спине и глядел в потолок. Он даже не повернул головы.

Рован молча вышел, оставив запоздалого визитера наедине с премьер-министром. В переводчике они не нуждались, за годы пребывания в Лондоне Миколайчик освоил английский язык.

Тяжело дыша,— видимо, он очень торопился,— Миколайчик стоял у двери, держа под мышкой тонкую кожаную папку. Стоял в недоумении, видя перед собой лежащего в постели Черчилля.

Глаза премьер-министра были закрыты, и в первые секунды Миколайчику показалось, что Черчилль спит.

Однако то, что на прикроватной тумбочке горела прикрытая розовым абажуром лампа, а на краю пепельницы лежала дымящаяся сигара,— эти два факта подсказали Миколайчику: «Нет, Черчилль не спит».

— Сэр!..— неуверенно произнес Миколайчик, делая несколько шагов вперед.

Черчилль по-прежнему лежал с закрытыми глазами, только плотно сжатые губы были еще одним признаком того, что он бодрствует.

— Сэр!— уже громче повторил Миколайчик.

На этот раз Черчилль открыл глаза и медленно повернул голову в сторону Миколайчика. Несколько секунд он смотрел на него взглядом, полным уничижительной неприязни. Наконец спросил:

— Кто вы такой?

Растерянный Миколайчик молчал. Только пот выступил на его лбу. Да, он предвидел, что Черчилль встретит его холодно, но такого унизительного вопроса не ожидал.

— Я спрашиваю: кто вы такой?— теперь уже глядя на Миколайчика в упор, повторил Черчилль.

Смешанное чувство унижения, обиды и шляхетской гордости охватило Миколайчика. Расправляя и без того широкие плечи, слегка откидывая назад голову, он ответил:

— Мне кажется, сэр, что после шести лет совместной работы вы могли бы запомнить, кто я такой. Думаю, с вашей стороны это всего лишь шутка, но...

— Шутка?!— буквально взревел Черчилль, откидывая одеяло, и с необычной для его громоздкой фигуры резвостью вскочил на ноги.

Он стоял босиком, в длинной, доходящей почти до щиколоток ночной сорочке, сжимая кулаки.

— Вы еще смеете напоминать мне о «совместной работе»!— не снижая голоса, продолжал Черчилль.— Я шесть лет терпел вас! Я считал, что у вас осталась хоть капля чести, и после того, что сделала Британия для вашей страны, для вас лично, мы можем рассчитывать на элементарную благодарность, если не верность!

— Я всегда хранил чувство признательности...— начал было Миколайчик, но Черчилль прервал его:

— Всегда?! Я вам скажу, что вы делали всегда! Вы спекулировали на наших разногласиях с Россией, и я вас предупреждал об этом еще в прошлом году в Москве! Вы забыли, что без нашей поддержки, без наших денег, наконец, вы и ваше так называемое «правительство» шатались бы по Лондону, как никому не нужные нищие — оборванцы! Вы вели свою дурацкую политику против России уже после того, как я в принципе договорился со Сталиным о новых польских границах! Вы забыли, что без помощи России ваша страна была бы давно стерта с карты Европы!

Он вдруг осекся, сообразив, что говорит то, о чем никогда не говорил вслух,— превозносит роль Советов в деле освобождения Польши...

Черчилль ненавидел Россию и вместе с тем отдавал должное ее силе, ненавидел Сталина, но не мог не считаться с его умом и волей. И вот теперь, мысленно сопоставив со Сталиным этого надутого индюка, мелкого интригана, эту пешку в игре великих держав, потомок герцогов Мальборо не мог удержаться от того, чтобы не высказать ему всей правды.

Униженный, оскорбленный Миколайчик хотел было напомнить этому полураздетому, разъяренному господину, что всегда старался быть лояльным по отношению к нему, но против своего желания съязвил:

— Никогда раньше я не слышал от вас, сэр, таких признаний относительно России, и мне кажется...

— Мне наплевать, что вам кажется!— прервал его Черчилль.— Мое отношение к большевикам известно всем и каждому, но я признаю за ними такое качество, которое полностью чуждо вам,— благородство! А теперь все, аудиенция окончена, можете отправляться ко всем чертям! Вы человек без чести, без чувства благодарности, без ответственности за свои слова!

Тяжело дыша, Черчилль сел на кровать, демонстративно отворачиваясь в сторону от Миколайчика.

Это было уже слишком, даже для Миколайчика.

— Я сейчас уйду, мистер премьер-министр,— глухо сказал он, чувствуя, что не в силах даже вынуть из кармана платок, чтобы вытереть пот с лица.— Но уйду с чувством полного недоумения. Ведь вы даже не сказали, в чем меня обвиняете!

— Ах, святая простота!— снова входя в раж, воскликнул Черчилль, хватая лежавшую на краю пепельницы сигару.— Он не знает! Тогда я вам скажу: вымаливая себе пост премьера, вы знали, что вам надо делать! Вы интриговали, плели свою паутину,

как паук, добились того, что по нашему настоянию стали вице-премьером уже не «правительства» без народа и территории, а реального польского правительства. И теперь, когда от вас требовалось только одно — заявить о решительном несогласии с Берутом, вы публично облобызались с этим сталинским ставленником, выбили из наших рук главную козырную карту.

— Вы не правы, сэр,— напрягшись всеми своими мускулами, в первый раз позволив себе повысить голос, твердо произнес Миколайчик.

Такой ответ показался Черчиллю наглостью. Он сделал несколько затяжек и положил сигару.

— Я не прав?!— возмутился он, снова поворачиваясь к Миколайчику и меряя его взглядом.— Вы еще смеете...

— Да, сэр, я позволяю себе утверждать это. И если вы дадите хотя бы десять минут...

— Даю вам три! И ни минуты больше!

— Хорошо, сэр. Итак, ваше недовольство вызвано, как я понимаю, тем, что я не вступил в полемику с Берутом на совещании министров иностранных дел.

— Именно!— крикнул Черчилль.— И этим лишили нас возможности заявить, что в польской делегации имеются разногласия! А это и был наш козырь в борьбе со Сталиным.

— Понимаю, сэр. Но разрешите вопрос. В Польше предстоят выборы. Так? Как вы полагаете, проголосовал бы хоть один поляк за человека, который — единственный во всей делегации — открыто возражал против расширения территории Польши? Против того, чтобы урезать экономический потенциал Германии? Против того, чтобы ее новая граница с Польшей была бы минимальной?.. Вы можете отвечать или не отвечать мне — как вам угодно. Мои три минуты истекли, и я ухожу.

— Погодите,— хмуро сказал Черчилль. Он снова взял с пепельницы сигару и, раскуривая ее, пробурчал:— Можно было договориться, чтобы ваша вчерашняя встреча с министрами считалась бы секретной.

— С кем «договориться», сэр? С Берутом? Я пробовал. И встретил категорический отказ. Может быть, мне следовало договориться с Молотовым?

Последние свои слова Миколайчик произнес с явной насмешкой.

Черчилль сосредоточенно молчал, глядя на кончик своей сигары. Сейчас он уже понимал, что аргумент Миколайчика заслуживает внимания.

— Как я понимаю, сэр,— продолжил Миколайчик, чувствуя, что с трудом, но выплывает на поверхность из пучины шквальных волн, обрушенных на него Черчиллем,— больше того, убежден, что буду нужен вам, если одержу победу на выборах и займу подобающий пост в новом польском правительстве.

— Нам нужен там надежный и разумный человек, а не флюгер,— не меняя угрюмого тона, проговорил Черчилль.

Но тут Миколайчик сам перешел в наступление.

— Я вынужден был, сэр, выслушать ваши упреки — столь же горькие, сколь несправедливые, потому только, что понимал: когда все разъяснится...

Черчилль презрительно фыркнул.

— Что разъяснилось? То, что мистер Миколайчик достаточно позаботился о собственном благополучии, подняв руки вверх перед Берутом и его компанией?

— Но Париж стоит мессы, сэр! Если вы хотите, чтобы на выборах победили не коммунисты, а демократы, в данном случае — ваш покорный слуга, то из чисто тактических соображений...

— Вы пришли ко мне на ночь глядя, чтобы оправдываться?! — снова повысил голос Черчилль. — Могли бы сделать это и завтра. Я как-нибудь пережил бы эту ночь.

— Завтра утром вам предстоит встреча с Берутом,— сказал Миколайчик, игнорируя уничижительный тон, каким Черчилль произнес свои последние слова.

— Значит, вы подняли меня с постели, чтобы напомнить об этом?

— Нет, сэр. Я пришел, чтобы помочь вам. Вот...

И Миколайчик протянул Черчиллю папку, которую до того держал под мышкой.

— Это еще что такое? — глядя на папку, настороженно спросил Черчилль.

— Данные, сэр. Исчерпывающие аргументы против требований берутовских сторонников. Я привез их с собой, но не мог использовать по причине, которую уже изложил. Но вы...

— Дайте сюда! — Черчилль бросил в пепельницу сигару и, резко протянув руку, почти вырвал папку у Миколайчика.

В ней лежало несколько отпечатанных на машинке листков.

— Вы не могли передать мне это раньше? — не поднимая головы, произнес Черчилль, перелистывая содержимое папки.

— Я вез эти материалы для себя, и, конечно, они были в польском изложении. А когда выяснилось, что самому мне не придется воспользоваться ими, понадобился перевод на английский. Для вас. Это потребовало времени. Не мог же я доверить перевод таких документов первому встречному?

— Здесь написано,— буркнул Черчилль, глядя в текст,— что на землях, которые Берут требует для Польши, проживает восемь миллионов немцев. А Сталин считает завышенной даже цифру в полтора миллиона. Чем мы можем доказать правильность ваших данных?

— Есть такой шутливый рассказ, сэр,— пожимая плечами, ответил Миколайчик,— анекдот, конечно. Учитель географии спрашивает гимназиста, сколько звезд на небе. Тот без запинки называет гигантскую цифру с точностью до единицы. «Чем вы можете это доказать?» — спросил удивленный учитель. «Пересчитайте сами, пан учитель, и вы убедитесь, что я прав»,— ответил гимназист.

— Вы полагаете, что Сталина можно убедить этими гимназическими шуточками?

— А как он докажет правильность своих данных? — возразил Миколайчик. — Во всяком случае,

это потребует долгого времени. Да и после того утверждения Берута и русских можно продолжать оспаривать. С нашей помощью, разумеется. К тому же, как вы можете видеть, это далеко не единственный аргумент.

Черчилль торопливо проглядывал страницы. Каждое возражение против новых польских границ имело подзаголовок: «Потеря Германией земель по Одеру вызовет голод»; «Примеры времен первой мировой войны»; «Экономическое бремя, которое ляжет на оккупационные державы»; «Поляки окажутся не в состоянии освоить новые территории»; «Создание обстановки вражды между Германией и Польшей»; «Невозможность справедливого решения вопроса о репарациях»; «Линия Керзона и Россия»...

Пробегая глазами один листок за другим, Черчилль все более приходил к выводу, что ничего принципиально нового по сравнению с теми доводами, которые он уже выдвигал на Конференции, здесь не содержится. Но ему импонировали цифры и факты, которыми подкреплялось каждое возражение и которые, не поддаваясь немедленной проверке, создавали иллюзию правдоподобия.

Черчилль сознавал, что даже с помощью этих материалов отвергнуть решение о расширении польской территории в принципе невозможно,— это означало бы коренной пересмотр Ялтинского соглашения. Однако отбить требования поляков о новой границе именно по западной, а не по восточной Нейсе, сохранить для Германии Штеттин и некоторые другие промышленные районы, материалы, предоставленные Миколайчиком, несомненно, могли помочь.

— Хорошо,— захлопывая папку и поднимая голову, сказал Черчилль,— я изучу все это. Хотя времени остается мало. Кстати,— неожиданно произнес он, впиваясь глазами в лицо Миколайчика,— вы заверяли меня, что, войдя в варшавское правительство, сумеете создать свою сильную партию и противопоставите ее на будущих выборах коммунистам.

— «Строництво людове»? — подсказал Миколайчик.

— Так вот, где же это самое «Стро...»?

Черчилль попробовал было повторить название партии по-польски, но у него ничего не получилось.

— Возрождение партии «Строництво людове» будет провозглашено уже в августе, сэр,— горделиво откидывая голову, произнес Миколайчик.

— И Берут на это... идет? — с сомнением спросил Черчилль.

— Во-первых, он не может отказаться от обязательства создать правительство на широкой демократической основе. Следовательно, ни одна из партий, кроме откровенно нацистской, не может быть запрещена или устранена от участия в выборах,— пояснил Миколайчик. — Разумеется, это во многом будет зависеть от вас, сэр.

— Опять от нас? — с тяжелым вздохом переспросил Черчилль. — Поймите, я устал от поляков. Устал!

— От вас и президента не требуется ничего нового! Только не отступать от главного требования западных держав: «выборы и правительство на широкой демократической основе». О дальнейшем позаботимся мы сами.

Внезапно Черчилль умолк. Положил папку рядом с собой на кровать. Взгляд его стал каким-то отсутствующим, словно он забыл, что перед ним стоит Миколайчик, забыл обо всем, что произошло между ними.

Миколайчик недоуменно глядел на премьер-министра, не понимая причины происшедшей в нем внезапной перемены. Он не знал, не мог догадаться, что причина заключается в произнесенном им слове «выборы»... Некоторое время длилось молчание.

— Теперь разрешите мне покинуть вас, сэр? — неуверенно спросил Миколайчик.

Черчилль ничего не ответил. Он думал: «Завтра — последний день... Завтра станет очевидной подлинная реакция Сталина на сообщение Трумэна. А потом — Лондон. А потом... А если?..»

Он мог в конце концов смириться со всем, этот стареющий, грузный, в течение долгих лет отравляющий себя алкоголем и табаком человек,— последний из крупнейших капитанов старого мира, «последний из могикан». Он смог пережить все, вплоть до смерти самых близких ему людей. Он любил только себя и любил так, что для других любви у него уже просто не хватало. Ни для кого. Ни для чего. Кроме Британской империи. Кроме собственной власти.

Прозвучавшее в ушах Черчилля слово «выборы» заставило его снова подумать: «А смог бы я пережить поражение на выборах?»

Вопрос остался без ответа.

Черчилль, точно очнувшись, поднял голову. Миколайчика в комнате уже не было, и только кожаная папка на кровати напоминала о его недавнем визите.

Глава девятая
ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Черчилль мало спал в ту ночь,— часов до двух читал материалы Миколайчика, потом, бросив папку на коврик возле кровати, еще долго лежал на спине, не закрываясь одеялом и не гася света.

Почти целиком прикрытая розовым абажуром лампочка освещала его, похожего сейчас на тушу диковинного животного доисторических времен, оставляя в полумраке большую часть спальни.

О чем думал он в эти ночные часы? Осмысливал только что прочитанные материалы? Размышлял, каким образом их лучше всего использовать?..

Нет. В эту ночь перед вылетом из Бабельсберга в Лондон он вызывал к себе тени Прошлого. Они толпились перед ним в темных, дальних углах комнаты. Их смутные, расплывчатые очертания напоминали Черчиллю о том, как много прожито и как много пережито. Со всех сторон обступали его тени

друзей политических — иных у Черчилля почти не было, и тени врагов — их трудно пересчитать...

Большинство друзей уже ушло из жизни, а из врагов многие еще оставались в живых. И Черчилль вел с ними сейчас молчаливую беседу, точнее, произносил очередной монолог. Он привык, чтобы другие слушали его, а вот сам выслушивать других не любил, всегда воспринимал это как неприятнейшую обязанность.

Ему пошел уже восьмой десяток, этому неугомонному, властному, упрямому человеку.

Бывали минуты, когда он чувствовал на своих плечах тяжесть старости. Но гораздо чаще не ощущал ее. У него не хватало времени для таких ощущений. Странно организованный ум Черчилля, подобный кибернетической машине, как бы специально сконструированной природой для политических интриг, для хитрых замыслов — точно рассчитанных, а иногда фантастических и поэтому неосуществимых,— поддерживал в нем безотчетную веру в собственное бессмертие, в нескончаемое обладание властью. Понятие «жить» для него означало властвовать.

Мысленно обращаясь к теням, к призракам, он, по существу, репетировал речь, которую произнесет уже гласно, после победы на выборах...

Где произнесет? На многотысячном митинге в Альберт-холле? В парламенте? Этому он пока не придавал значения. Не все ли равно. Ведь не многие помнят, где именно произносили свои бессмертные речи Цицерон, Август, Юлий Цезарь, Марк Антоний, Ганнибал, Александр Македонский, Лютер, Савонарола, десятки других исторических личностей — героев, без которых человечество оказалось бы гигантским муравейником. Да, именно муравейником, в котором все до отвращения равны, все бессмысленно копошатся и никто не вырывается вперед.

Он думал о памятнике, который воздвигнет ему Британия, о том, каким он останется жить в памяти и воображении будущих поколений, с кем из бессмертных его будут сравнивать.

Потом Черчиллю померещилось, что перед ним снова стоит Миколайчик. Это видение вызвало отвращение. Не потому, что самоуверенный выскочка предал его,— теперь Черчилль уже понимал, что Миколайчик по-своему был прав. Черчилля бесил сам факт, что обстоятельства вынуждают его заниматься какими-то поляками, которые после всего того, что сделала для них Британия, должны были бы покорно и молча стоять на коленях перед премьер-министром, ожидая любого его решения. Румыны, болгары, венгры... Черт побери, а видел ли он когда-нибудь в жизни болгарина или венгра? «Грязный иностранец» — так привычно называли в Англии всех, кто не являлся англичанином. «Если бы я не был французом, то хотел бы быть англичанином»,— сказал герой романа, прочитанного Черчиллем в юности. Он полагал, что делает этим комплимент своему британскому собеседнику. А тот ответил: «Если бы я не был англичанином, то хотел бы быть им». Очень правильный ответ! Неправильно другое — то, что лидеру Британской империи приходится теперь заверять в своей любви поляков, отвоевывать демократию для болгар и румын, которые, наверное, ходили еще с обезьяньими хвостами, когда в Англии уже много лет существовал парламент и Биг-Бен отсчитывал ход всемирной истории...

Незаметно для самого себя Черчилль, наконец, уснул. Ему показалось, что с того момента до того, когда его разбудили, прошли считанные минуты. Но в действительности он спал уже часа четыре, когда, предупрежденный с вечера, Сойерс, осторожно постучав в дверь, открыл ее и вкатил в спальню столик на колесиках.

— Ваш завтрак, сэр,— негромко сказал личный лакей Черчилля и напомнил: — Вы приказали разбудить вас в семь пятнадцать.

— Какого черта, Сойерс, я только что заснул,— пробурчал в ответ Черчилль, но сразу умолк, вспомнив, что в восемь должен приехать Берут.

Мелькнула мысль: может быть, и этого поляка стоит принять лежа в постели? Ее пришлось откинуть: Берут все же глава государства.

Черчилль молча наблюдал за Сойерсом, который привычно точными движениями взял со столика поднос — не шелохнулась поверхность кофе в большой чашке,— установил его на широкой груди своего капризного хозяина. На подносе все как обычно: кофе, крошечный молочник со сливками, тосты, квадратик масла, земляничный джем — ранний утренний завтрак. Яичницу с поджаренным беконом или толстые, с вкрапленными в них кусочками сала сосиски Черчилль предпочитал есть несколько позже.

Но сейчас он совсем не чувствовал аппетита и, ни к чему не притрагиваясь, с неприязнью смотрел на поднос, покоящийся на его груди.

— Сэр?.. — вопросительно произнес стоявший у кровати Сойерс.

За долгие годы службы личный лакей привык интуитивно угадывать его желания.

— Да,— ответил Черчилль. И уточнил: — Бренди. Один глоток.

Сойерс подошел к шкафчику с напитками и спустя несколько мгновений вернулся с небольшим серебряным подносиком, на котором стоял невысокий, пузатый бокал, на четверть наполненный желтоватой жидкостью.

Черчилль снял его с подноса, сделал несколько медленных глотков. Потом прикрыл глаза, ожидая, когда коньяк произведет на него желанное действие, приказал негромко:

— Сигару.

И опять-таки заученными, быстрыми движениями Сойерс взял из стоявшего на тумбочке ящичка толстую, длинную манильскую сигару, освободил от целлофановой обертки, обрезал «гильотинкой» кончик и, поднеся ее к губам Черчилля, зажег спичку...

Черчилль редко затягивался сигарой, но сейчас сделал две-три глубокие затяжки...

Желанное чувство бодрости, готовность действовать постепенно возвращались к нему. Из расслабленного, апатичного старика, как бы растекшегося

на кровати, подобно огромной медузе, он превращался в энергичного, уверенного в себе человека, каким его уже долгие годы знал весь мир.

— Спасибо, Сойерс,— сказал Черчилль, кладя сигару на угол подноса и приступая к еде,— через десять минут будем одеваться.

Он встретил Берута, сопровождаемого переводчиком, у себя в кабинете. Там же находился и майор Бирс — личный переводчик английского премьера.

В мундире британских военно-воздушных сил Черчилль стоял с сигарой в зубах посредине комнаты, когда в нее вошел Берут.

— Здравствуйте,— сказал ему Черчилль, однако руки не протянул. — Несмотря на то, что времени у меня в обрез, я все же решил встретиться с вами.

В тоне, которым Черчилль произнес эти слова, прозвучали напоминание, что на этот раз Беруту посчастливилось встретиться с одним из великих деятелей мира, и одновременно снисходительная вежливость.

— Благодарю вас, господин премьер-министр,— спокойно ответил Берут.

Переводчики одновременно начали дублировать своих шефов по-английски и по-польски.

«Какой некрасивый язык,— подумал Черчилль,— удивительное нагромождение шипящих звуков и противоестественных ударений».

Вслух же он сказал поморщившись:

— Давайте установим элементарный порядок. Меня переводит Бирс, а вас, мистер Берут,— ваш переводчик. Впрочем, может быть, вы говорите по-английски?

— Не лучше, чем вы по-польски, господин премьер,— без тени насмешки произнес Берут.

— Садитесь! — пригласил Черчилль и сам первым опустился в кресло за письменным столом.

Берут занял одно из двух кожаных кресел возле стола. Бирс и польский переводчик в нерешительности посмотрели на другое, свободное кресло, будто спрашивая друг у друга, кому следует его занять.

— Садитесь же! — нетерпеливо повторил Черчилль и недовольно передернул плечами, когда Бирс, уступая кресло своему польскому коллеге, занял стул у стены, за спиной Черчилля.

— Итак,— начал он, когда все расселись,— у меня мало времени.

— К сожалению, у меня тоже,— в тон ему откликнулся Берут.

От такого ответа Черчилль едва не выронил изо рта сигару. Но Берут тут же вежливо пояснил:

— Дело в том, господин Черчилль, что президент Трумэн выразил желание встретиться со мной сегодня в девять. Мне передал об этом по телефону господин Бирнс, и я уже не мог что-либо изменить.

— Гм-м... — пробурчал Черчилль. — Тогда приступим к делу. Итак, мистер Берут, хотя вам, кажется, не приходилось бывать в Лондоне, по крайней мере во время войны, вы не можете не знать, что Великобритания вступила в схватку с Гитлером во имя защиты прав Польши.

Он сделал паузу, ожидая какой-либо реплики Берута, но тот молчал, глядя на Черчилля спокойно-выжидающе.

— Тем не менее,— снова заговорил Черчилль,— я решительно против выдвигаемых вами теперь требований относительно западной — польско-германской границы.

— Почему же, господин премьер-министр? — спросил Берут.

— Об этом говорилось уже не однажды,— назидательно ответил Черчилль. — И в последний раз не позже чем вчера, на вашей встрече с министрами иностранных дел.

— И все же я полагаю, что, выразив любезное желание встретиться со мной, вы как глава правительства Великобритании намерены сказать нечто новое,— по-прежнему негромко, вежливо, без тени упрека сказал Берут. — Министры иногда не могут взять на себя решение вопроса, которое может принять глава государства.

Хотя в словах Берута пока не заключалось никакой полемики, они скорее несли в себе скрытый комплимент, Черчилль изрек надменно:

— Мой министр выполнял и выполняет мою волю. Но если вам все же угодно, чтобы я высказал мое мнение лично,— пожалуйста, я готов!

И, откинувшись на спинку кресла, глядя теперь поверх головы Берута, Черчилль заговорил, как бы обращаясь в пустоту:

— Первое. Принятие ваших непомерных требований создало бы неразрешимые экономические проблемы для Германии...

— Простите,— прервал его Берут. — Я возглавляю государственную власть Польши, а не Германии. Вы только что напомнили, что Великобритания вступила в войну во имя защиты Польши. Получается, что во время войны надо было защищать Польшу, а теперь, когда война выиграна, ваши симпатии внезапно меняются? Должен ли я понимать вас так, что предпочтение отдается вами Германии, а не Польше, понесшей наибольшие жертвы от этой самой Германии? Если не говорить о потерях Советского Союза, конечно. Впрочем, может быть, я вас неправильно понял?

И опять — ни тени прямого упрека ни в словах, ни в тоне. Берут говорил так, будто, обратившись на улице к незнакомому человеку, вежливо спрашивает у него дорогу.

— Я еще далеко не кончил,— сказал Черчилль и подумал, что с Берутом было бы говорить куда проще, если бы тот проявил заносчивость, позволил себе какую-нибудь резкость.

И снова, глядя куда-то в пространство, Черчилль продолжал:

— Дело не в симпатиях и антипатиях, а в реальном положении вещей. Во-вторых...

Он помедлил, сосредоточенно перебирая в памяти листки, которые передал ему вчера Миколайчик. Страница первая... вторая... третья... «Потеря Западной Германией земель вызовет голод...» «Экономическое бремя ляжет на оккупационные державы...»

— Во-вторых,— повторил Черчилль,— ваши требования объективно направлены не против Германии, а против западных союзников. Великобритании — в первую очередь.

Черчилль посмотрел на Берута и увидел, что тот удивленно приподнял брови.

— Не удивляйтесь, пожалуйста! — воскликнул он. — Я уже привык к тому, что поляки не желают ничего видеть дальше своего носа. А вам следовало бы подумать о том, кому придется кормить те восемь или девять миллионов немцев, которых надо будет переселять на Запад, если мы согласимся удовлетворить ваши территориальные притязания. Кроме того...

— Простите, пан Черчилль! — прервал его Берут. — Насколько я понимаю, мы являемся свидетелями такого роста немецкого населения, которого до сих пор не знала демография. На одном из заседаний «Большой тройки» президент Трумэн утверждал, что на наших землях проживает около трех миллионов немцев. А вы, пан премьер, тогда же заявили, что их у нас не больше двух — двух с половиной миллионов. Откуда же взялись новые цифры: восемь-девять миллионов? Хочу думать, что немцы, как и все люди, не воспроизводят свой род подобно амебам — простым делением. Значит, от зачатия до рождения им требуется не несколько дней, а гораздо больше времени.

«Ах, проклятый поляк! — выругался про себя Черчилль. — Он совсем не так прост. Иден ничего не понимает в людях...»

Самоуверенный Миколайчик не дал себе труда ознакомиться с протоколами Конференции и подкинул дикую цифру. А Берут явился во всеоружии. Сталин, по-видимому, информировал его о всех деталях обсуждения польского вопроса.

Черчилль мысленно проклинал всех — и Миколайчика, и Трумэна, и самого себя, и, конечно же, Берута, который не только посадил его в лужу, но притом осмелился назвать премьер-министра Великобритании, как какого-нибудь случайного прохожего на варшавской улице: «пан Черчилль».

Овладев наконец собой, он сказал ядовито:

— У нас не было времени заниматься переписью немецкого населения в Польше. Мы были заняты более важными делами.

— Естественно,— с готовностью согласился Берут. — Я лишь позволю себе заметить, что переписчикам там и делать-то нечего: немцев на исконных наших землях уже нет. Они ушли.

— Повторяете Сталина? — ехидно заметил Черчилль.

— Скорее наоборот. Товарищ Сталин повторил данные, которые сообщили ему мы, поляки. И они, думается, были перепроверены командованием советских войск. Польшу ведь освободила Красная Армия, а не какая-нибудь другая.

— Но до сорок первого Британия сражалась с Германией один на один! — раздраженно воскликнул Черчилль.

Сколько раз ему уже приходилось пускать в ход этот, казалось бы, беспроигрышный козырь. И столько же раз его карта оказывалась битой. Исключения не произошло и теперь.

— Я должен напомнить, что ситуация, при которой Англия оказалась тогда в одиночестве, обусловлена была политикой вашего предшественника,— сказал Берут. — Имеется в виду отказ Великобритании и Франции заблаговременно заключить антигитлеровский военный союз с русскими. Но это уже история, и я не считаю себя вправе тратить ваше драгоценное время на воспоминания.

Даже последняя, комплиментарная фраза Берута не смягчила явного укора. Не желая втягиваться в дискуссию, Черчилль нетерпеливо взглянул на часы и недовольно проворчал:

— У меня действительно мало времени. Поэтому давайте вернемся к существу дела, ради которого мы встретились. Удовлетворение ваших территориальных притязаний, помимо всего прочего, привело бы к тому, что вы и русские, конечно, получили бы дополнительное топливо и продовольствие. А мы? Только голодные немецкие рты и исполненные ненависти немецкие сердца.

Последняя фраза была чисто «черчиллевская» — напыщенно-афористичная. На Берута она не произвела, однако, сколько-нибудь заметного впечатления.

— Давайте все же говорить на языке фактов, господин премьер-министр,— предложил он. — Вы полагаете, что наши требования чрезмерны. Мы, поляки, со своей стороны, считаем их скромными и минимальными. В начале нашего разговора вы напомнили, что Англия вступила в войну, чтобы защитить Польшу. Но тогда с ее стороны было бы ошибкой не помочь Польше сегодня. Не хочу напоминать, что, помимо чисто польских интересов, наши требования учитывают и необходимость обеспечить мир в Европе...

Слушая неторопливую, лаконичную и спокойную речь Берута, Черчилль подумал: все-таки Сталин умеет выбирать нужных ему людей. Если бы этот Берут не был коммунистом, он, Черчилль, с готовностью променял бы на него десяток миколайчиков.

— Я прошу вас учесть, господин Черчилль,— продолжал между тем Берут,— что проблемы переселения восьми-девяти миллионов немцев не существует. Эта цифра фантастична. Людей, которых придется переместить, по самым завышенным данным, наберется максимум полтора миллиона, включая, я подчеркиваю это, переселенцев из Восточной Пруссии. При этом позволительно вас спросить: как и где нам расселять поляков из-за линии Керзона и еще тех, которые наверняка вернутся из-за границы? Мы оцениваем их число примерно в четыре миллиона. Где они будут жить, если Польша не расширит свою территорию? Прошу вас, обдумайте все это объективно и беспристрастно. А теперь,— Берут посмотрел на свои ручные часы,— я должен попрощаться с вами, господин премьер-министр. В девять меня ждет президент.

Черчилль едва не крикнул: «К черту президента! Пусть ждет!» Гордость не позволяла ему смириться с тем, что не он, а Берут определяет, когда кончать беседу. Кроме того, Черчилль был уверен, что он гораздо более компетентен в польских делах, чем Трумэн, и куда больше заинтересован в решении судьбы Польши.

Он, в свою очередь, еще раз взглянул на часы и, хотя стрелки показывали без четверти девять, строго сказал:

— Я не кончил. Мне хотелось бы напомнить вам, что жажда к расширению территории никогда еще не приводила к добру ни одно из государств. Сколько раз я слышал здесь: «Польша требует», «Польше необходимо»... Но история-то учит, чем кончаются посягательства на чужие земли!..

— Вы сказали на «чужие земли»? — переспросил Берут. — Я не ослышался? Прошу уточнить, что вы имеете в виду? Какие «чужие земли»?

— Германские земли, сэр! Вот что я имею в виду! — вызывающе ответил Черчилль, вновь повышая голос.

Берут демонстративно поднялся и сказал резко:

— Вы недостаточно хорошо знаете историю Польши, господин премьер-министр. Земли, на которые мы претендуем, являются исконно польскими. Большинство населения на этих землях и сегодня составляют поляки. Я имею в виду в первую очередь Силезию. Но не только ее. Например, на Мазурах значительную часть населения тоже составляют поляки.

«Какие еще, к черту, «Мазуры»?! — недоумевал Черчилль. — Где они находятся?»

Он вопросительно посмотрел на переводчика. Тот раскусил истинную причину замешательства своего шефа и, повторяя последнюю фразу Берута, сформулировал ее так: «На Мазурах, в Восточной Пруссии, значительную часть населения тоже составляют поляки».

В этот момент стоявшие в кабинете часы отбили девять ударов.

Берут сделал движение в сторону двери.

— Подождите! — с какой-то отчаянной настойчивостью крикнул Черчилль. — Президент не будет на вас в претензии. Сошлитесь на меня. Есть еще группа вопросов, которые мы должны обсудить. Забудем историю, поговорим о делах сегодняшних и завтрашних. Во что вы собираетесь превратить Польшу? В коммунистическую страну? Какие у нас есть гарантии, что все те партии, которые не сотрудничали с немцами, смогут свободно участвовать в выборах? Будет ли предоставлена нашим дипломатам и журналистам ничем не ограниченная возможность наблюдать за тем, что происходит в вашей стране? Я спрашиваю: «да» или «нет»? От вашего ответа во многом зависит отношение Великобритании к польским требованиям.

Легкая усмешка пробежала по лицу Берута. Он сказал:

— Готов ответить. Какой быть Польше — предстоит решать полякам, и только им. И если кто-нибудь, если кто бы то ни было,— Берут приподнял руку с предостерегающе вытянутым указательным пальцем,— попытается навязать Польше социальную систему, противоречащую воле нашего народа, то встретит сопротивление. Открытое, прямое сопротивление, мистер Черчилль! Таков наш ответ.

— Но русские! — воскликнул Черчилль. — Вы что же, не зависите от их штыков?!

— До сих пор эти штыки были направлены против нашего общего врага — германского фашизма. Мы помним об этом и делаем соответствующие выводы на будущее. К тому же, мистер Черчилль, известно ли вам, что бо́льшая часть советских войск уже покинула Польшу? И последнее: Советский Союз никогда не предъявлял нам ультиматумов. Почему бы Великобритании не последовать его примеру?

Часы пробили один раз. Было половина десятого. Присевший было Берут снова встал.

— Я вынужден поблагодарить господина премьер-министра за прием и попрощаться.

— Вы не ответили на мой вопрос относительно свободы выборов и информации,— не отставал Черчилль.

— Но это же элементарно, господин премьер-министр! — ответил Берут. — Стали бы вы, например, возражать, если польским журналистам захотелось бы осветить в наших газетах результаты британских выборов?

Это уже походило на насмешку. Тонкая, хорошо замаскированная, но все же насмешка. Он, этот поляк, как бы уравнивал в правах свою страну и Великобританию. Черчилль предпочел сделать вид, что не заметил этого. Он понимал: встреча должна закончиться на дружеской ноте. Нельзя уехать хотя бы ненадолго и оставлять этого далеко не глупого Берута с ощущением враждебности Британии к его стране.

Черчилль вышел из-за стола и, стоя напротив Берута, торжественно произнес:

— Я хочу, мистер Берут, чтобы вы знали: в отношении Польши у меня есть только одно желание — видеть ее счастливой, развивающейся и свободной. Мы ваши друзья. Поверьте, дружба Британии стоит немалого. Дружить и уважать друзей мы умеем. Англичане не столь высокомерны, как принято о них думать, хотя в нашем гимне и поется: «Правь, Британия!»

— Спасибо, господин премьер-министр,— спокойно и подчеркнуто уважительно ответил Берут, пожимая руку, протянутую ему Черчиллем. — Я знаю ваш гимн. А знаете ли вы, что поется в нашем?

Черчилль пожал плечами.

— Jeszcze Polska nie zginęła... — ответил Берут.

Черчилль взглянул на внезапно умолкшего переводчика.

— Простите, сэр,— сказал тот,— я ищу адекватное английское выражение. В общем, примерно так: «Пока мы живы, Польша не погибла!»

— Под словом «мы» вы имеете в виду, конечно, коммунистов? — с саркастической усмешкой произнес Черчилль.

— Я не имел этого в виду, сэр,— спокойно, но так же с затаенной усмешкой ответил Берут. — Однако не буду возражать и против вашего толкования. Оно не лишено смысла. А теперь... еще раз спасибо за прием и добрые намерения. Прощайте.

Через несколько секунд Черчилль и Бирс остались в кабинете вдвоем.

— Когда я должен подготовить запись беседы, сэр? — спросил Бирс.

— Чем скорее, тем лучше. Мы оставим копию Трумэну.

— Я должен воспроизвести все, что вы говорили о своем отношении к Польше, сэр?

— Мне нужен служебный документ, а не роман. Только существо дела.

— Извините. Но мне показалось...

— Что вам еще показалось? — резко спросил Черчилль.

— Что ваше отношение к требованию поляков, ну, как бы это сказать... в чем-то изменилось... Должно ли это найти отражение?..

— Какое «отражение»? Что вы такое бормочете, Бирс?

— Простите, сэр, но со стороны могло создаться впечатление, что вы решили немного... уступить.

— Я?! — рявкнул Черчилль, и лицо его приняло так хорошо знакомое Бирсу бульдожье выражение.— Никогда! Не путайте игру с политикой. Вы меня поняли? Никогда!

Глава десятая

25 ИЮЛЯ, ОДИННАДЦАТЬ УТРА

25 июля во второй половине дня Черчиллю и Идену предстояло покинуть Бабельсберг. Временно или навсегда? На этот вопрос никто не мог ответить категорически. Сталин своего мнения не высказывал. Черчилль мысленно метался между убежденностью в своей победе и сомнениями. Трумэн же просто был рад, что на несколько дней освободится от обязанностей председателя Конференции и сможет немного отдохнуть.

Однако сам этот день — 25 июля — начался для президента с неприятностей. На утро он назначил встречу с поляками, но часы пробили уже десять, а на телефонные звонки из «маленького Белого дома» английская протокольная часть давала один и тот же ответ: глава польской делегации все еще беседует с премьер-министром.

Кого следовало упрекать в элементарной невежливости? Поляков? Но допустить, что они могли пренебречь честью встретиться с президентом Соединенных Штатов, Трумэн просто не мог. Значит, их задерживает Черчилль, который уже не раз вносил сумбур в работу Конференции.

Никаких особых надежд на предстоящую встречу с Берутом и его «просоветской» группой Трумэн не возлагал. Он относился к этой встрече как к чисто формальному мероприятию. Бирнс подробно доложил ему о непреклонности, проявленной поляками на заседании министров иностранных дел, о неоправдавшихся надеждах на Миколайчика. Вряд ли добьется от них чего-либо и Черчилль.

Трумэн заранее предвидел, что приглашение Берута в Бабельсберг мало что даст. Но теперь, когда поляки уже не только прибыли, а и вели переговоры с министрами иностранных дел, с Черчиллем и уж, конечно, со Сталиным, встреча с ними стала для Трумэна, помимо всего прочего, вопросом престижа. Поэтому их недопустимое опоздание вызывало у него возмущение, с каждой минутой все возрастающее. Бесил его не только сам факт грубого нарушения протокола. Была причина и посерьезнее: Трумэн не мог смириться с мыслью, что эти поляки настолько верят в силу русских, в решающее значение их поддержки, что позволяют себе ни на шаг не отступать от своих давно известных требований.

О, если бы можно было сказать им напрямик, что с появлением атомной бомбы Россия как великая держава перестала существовать, что весь ее престиж основан на прошлом, на том, что ей удалось нанести поражение Германии, на продвижении советских войск в глубь Европы, то есть на всем том, что уже отошло в область истории. Но для такого разговора время еще не пришло. Даже информируя Сталина об оружии «огромной разрушительной силы», Трумэн не назвал это оружие его собственным именем — «атомная бомба». Предоставил советскому лидеру самому догадаться, о чем шла речь.

...Поляки явились в двадцать минут одиннадцатого. Трумэн принял их сухо, произнес чисто протокольные фразы о своей заинтересованности в судьбе Польши. В форме поучения сказал, что эта судьба может быть счастливой и несчастливой — в зависимости от того, насколько польская делегация проявит «добрую волю», то есть откажется от непомерных требований и встанет на путь благоразумного сотрудничества с Соединенными Штатами. Затем посмотрел на часы и, не ожидая ответа на свою короткую речь, объявил, что через пятнадцать минут начнется очередное заседание глав правительств, поэтому встречу с польской делегацией приходится считать законченной...

Ровно в одиннадцать Трумэн, Сталин и Черчилль появились в зале заседаний Цецилиенхофа.

Накануне девятого заседания «Большой тройки» Воронов весь день провел в Карлсхорсте. В Бюро информации под величайшим секретом ему сообщили, что польская делегация уже прибыла, но когда и где она размещена — на эти вопросы ответа не последовало.

Возвращаться в Бабельсберг Воронову не хотелось. Он спросил, может ли найти временное пристанище в гостинице для офицеров, приезжающих из войск. В этом ему не отказали.

Дежурный комендант привел Воронова во флигелек, приспособленный под гостиницу, и вселил в небольшую комнату на втором этаже. Там имелись:

письменный стол, три стула и кровать, застеленная серым солдатским одеялом.

Воронов посмотрел на часы. Было уже половина восьмого. «Чем же заняться?» — спросил он себя. И решил, что начнет писать статью о подложном плакате. Только начнет! Потому что многое еще не прояснилось до конца, в том числе и главный вопрос: кто был организатором этой провокации?

Воронов полез в карман пиджака за блокнотом, но рука его вместо привычного твердого края картонного переплета нащупала что-то мягкое. Это была та самая брошюра, которую передал ему Нойман.

Воронов вытащил ее из кармана, положил на стол, прочел заголовок: «ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПГ».

С чувством внутреннего упрека он подумал, что фактически до сих пор не знает программы современной Коммунистической партии Германии. Как же это могло произойти? Ведь он столько времени воевал на территории Германии, присутствовал при подписании акта ее капитуляции здесь, в Карлсхорсте, снова вернулся сюда и вот уже в течение двух недель находится в эпицентре события мирового значения, а внутренняя жизнь этой поверженной страны воспринималась им как-то со стороны.

Да, так сложилось... В довоенные годы Воронов, как и все его сверстники, был уверен, что если Гитлер попытается начать войну против Советского Союза, то встретит сокрушительный отпор не только со стороны Красной Армии, а и с тыла, так сказать, со стороны собственного рабочего класса, в первую очередь коммунистов. Но случилось нечто иное. В начале войны Красная Армия, несмотря на героическое сопротивление, вынуждена была отступать, а о каких-либо активных действиях немецкого рабочего класса ничего не было слышно. Лишь изредка в советских газетах появлялись сообщения о вражеских авиабомбах и артиллерийских снарядах, которые не разорвались предположительно потому, что были обезврежены еще на заводах немецкими рабочими-антифашистами.

И только-то? Да. Никаких крупных восстаний в тылу врага, никаких попыток превратить империалистическую войну в гражданскую, словом, ничего того, что должно было бы произойти в Германии по логике классовой борьбы, как будто не происходило.

Гитлер начал войну против Советского Союза задолго до того, как первый фашистский снаряд разорвался на советской земле. Прежде всего он обрушил свои удары против немецкого рабочего класса и его руководителей-коммунистов. Одних — подавляющее большинство — истребил физически, других — замуровал в тюрьмах и лагерях.

Уцелевшие немецкие коммунисты не сдавались. Они вели борьбу с петлей на шее, зная наверняка, что петля может затянуться в любую минуту. Но об этом Воронову было известно не так уж много. Лишь сегодняшняя встреча с Нойманом и посещение райкома Коммунистической партии Германии пробудили у него живейший интерес к деятельности немецких коммунистов.

Так что же предлагают они своему народу сейчас? Диктатуру пролетариата? Власть Советов?

Воронов погрузился в чтение брошюры, врученной ему Нойманом.

От этого занятия оторвал его осторожный стук в дверь. Явился тот самый старший лейтенант из комендатуры, который привел Воронова сюда.

— Извините, товарищ майор, вас там требуют,— объявил он с порога.

— Требуют... меня?.. — удивился Воронов. — Куда требуют? В Бюро информации?

— Да нет, товарищ майор, там у КПП какой-то союзник шумит. То ли англичанин, то ли американец... Говорит, срочное дело. Только сюда допустить его мы не можем...

«Чарли!» — тотчас догадался Воронов. Ну конечно же, он! Ведь в пресс-клубе Воронов расспрашивал у многих, начиная от «гарда» — по-нашему, вахтера — и кончая журналистами, которых застал в библиотеке,— не видели ли они Чарльза Брайта?

Воронов вскочил со стула и побежал вниз по лестнице.

Метрах в пяти от шлагбаума стоял «виллис», возле которого, нельзя сказать, прохаживался, а бегал взад и вперед размахивающий руками Чарли. Переводчица — миловидная девушка с погонами младшего лейтенанта — едва поспевала переводить его сумбурную речь подполковнику, недоуменно глядевшему на этого разбушевавшегося американца...

Увидев меня, Брайт крикнул:

— Хэлло, Майкл!

Он бросился ко мне, не замечая, что часовой у шлагбаума положил обе руки на свой автомат и вопросительно взглянул на подполковника, которого, видимо, вызвали сюда из комендатуры.

Я протянул руку, предупреждая Чарли, чтобы он не рвался за шлагбаум.

— Черт побери, Майкл! — останавливаясь, крикнул Брайт. — Почему они меня не пускают? Я же им объяснял, что меня здесь принимал русский генерал... фамилию не помню. Настоящий генерал, три звезды на золотых погонах...

— Помолчи, Чарли! — прервал его я. — Нечего тебе обижаться. Хотел бы я посмотреть, что произошло бы, если я на ночь глядя решил бы вот так же прорваться в ставку Эйзенхауэра. Перестань бушевать.

Затем последовали объяснения с подполковником.

— Это американский военный корреспондент Чарльз Брайт,— сказал я. — Он аккредитован при союзном командовании. Мы знакомы. Я ему зачем-то срочно понадобился. Так что прошу его извинить. Мы поговорим здесь и все выясним. Спасибо, товарищи, что позвали.

Подполковник, старший лейтенант и переводчица ушли. Часовой убрал с автомата руки, но все еще посматривал на шумного американца с явным неодобрением.

Я подошел вплотную к Брайту и сказал:

— А ведь и я тебя разыскивал, Чарли. Даже в пресс-клуб ездил. Кто тебе сказал, что я здесь?

— А где ты можешь еще быть, если в Бабельсберге тебя нет, там, на Шопенгоор штрессе, мне вообще никто не открыл, хотя я чуть не высадил дверь.

— Но что случилось?

На мой вопрос Чарли ответил вопросом:

— Ты что, переехал жить сюда?

— Еще не решил окончательно,— сказал я.—Во всяком случае, завтра днем вернусь в Бабельсберг.

— «Завтра днем»?! — передразнил меня Брайт. — Так я и думал, что ты ничего не знаешь!

— А что мне надо знать?

— А то, что завтра, на одиннадцать утра, назначена съемка «Большой тройки»! Значит, мы, может быть, в последний раз имеем возможность увидеть всех трех наших боссов вместе.

— Но... — пробормотал я в недоумении,— разве Конференцию решили закончить?

— Ты что? — вытаращил глаза Чарли. — Неужто не слышал, что завтра днем Черчилль со своей командой улетает в Лондон? Сколько баков готов поставить на то, что он вернется?..

Постепенно я стал соображать, в чем дело. Наверное, журналистов известили о предстоящей съемке в самый последний момент, как нередко бывает в подобных случаях. Я уехал из Бабельсберга утром и ничего не знал.

Не стал объяснять Брайту, что фотографирование для меня совсем не такое важное дело, как для него, однако поблагодарил за сообщение.

— Надеюсь, что теперь-то ты немедленно вернешься в Бабельсберг? — спросил он таким тоном, как будто это само собой разумелось.

— Видишь ли,— замялся я,— меня угораздило отпустить до утра моего шофера...

Это было правдой. Решив заночевать в Карлсхорсте, я предупредил Гвоздкова, что он мне до завтра не понадобится, и тот укатил к своим товарищам-однополчанам.

— У тебя есть и машина и шофер,— сказал Брайт, ударяя ладонью по капоту своего «джипа».— Я все равно еду сейчас в Бабельсберг.

— Но у тебя же нет пропуска!

— Есть! — возразил он и похлопал ладонью по накладному карману своей военной рубашки. — Все наши получили пропуска на сутки. Из-за съемки.

— Но съемка же будет завтра утром! Где ты собираешься ночевать?

— У одной доброй девочки! — подмигнул Брайт.

— Ах, да, конечно! У Джейн?

— Ты догадлив... Так едем?

— Едем! — ответил я. — Только мне надо забрать кое-что из моих вещей.

Никаких «вещей» у меня здесь не было. Я собирался забрать лишь брошюру, которую обязательно хотел дочитать.

— Вернусь через минуту! — крикнул я Брайту уже на ходу...

Мы мчались по вечернему, тускло освещенному Берлину, когда Брайт обратился ко мне:

— Да, кстати. Ты, кажется, сказал, что тоже разыскивал меня. Не спрашиваю, знаю зачем. Догадываюсь. Наверное, хотел узнать, какое впечатление на наших произвела та история у Стюарта? Верно? Что ж, отвечу: двоякое. Стюарта не любят. Сноб. С другой стороны, та версия варшавского восстания, о которой говорила Урсула, слишком въелась в наше сознание, чтобы тебе так сразу поверили. Однако сенсация получилась. Ты знаешь, что Би-би-си на следующее утро передало, как ты врезал самому Черчиллю. Дошло это до тебя?

— Дошло! — с мрачной усмешкой ответил я, а про себя подумал: «Если бы ты знал, что произошло потом!..»

— И еще кое-что к твоему сведению — этого ты не знаешь наверняка,— не дожидаясь вопроса Воронова, продолжал Брайт. — Ребята рассказывают, что Стюарт эту Урсулу купил.

— В каком смысле?

— О, святой Яков! — воскликнул Брайт. — Ну, как покупают нужных людей? Конгрессменов, партийных боссов? Конечно, не так, как бутылку виски в магазине,— темный ты человек! Бизнес имеет много форм. Говорят, что Стюарт обещал Урсуле отправить ее в Англию и обеспечить там хорошее место. Конечно, если она выступит как надо. Вот и все, что могу тебе сказать.

— А мне хотелось узнать от тебя другое,— признался я. — Ты что-нибудь слышал о приезде польской правительственной делегации?

— Из Лондона?

— Из Варшавы. В Лондоне английское, а не польское правительство.

Брайт встрепенулся, как гончая, почуявшая дичь:

— Когда приезжают? На чем?

— Вот об этом-то я и хотел тебя спросить. Думал, ты знаешь.

— Понятия не имею. А на кой черт их сюда вызывают? Насколько я знаю, ни Трумэн, ни Черчилль не хотят иметь дело с варшавскими поляками.

— Хотят или не хотят, а, видимо, придется.

— На них стоит тратить пленку?.. Ну, этих варшавских поляков — снимать?

— Я бы на твоем месте снял. Только кого именно, где и когда — не знаю.

— В Штатах за такие слова репортер вылетел бы из редакции немедленно,— объяснил мне Брайт.— Такой репортер не стоит и цента.

Я промолчал. Главное для меня стало ясным: он знал о приезде поляков еще меньше, чем я. Точнее, вообще ничего не знал. Хотелось съязвить — спросить у Брайта, во сколько центов он в этом случае оценивает себя самого. Но это была бы бесцельная перепалка. Да и зачем обижать Брайта?

— Спасибо тебе, Чарли,— сказал я вместо этого, кладя руку на его колено. — И за поддержку там, у Стюарта, спасибо и за то, что разыскал меня.

— Не за что благодарить. Мне это не стоило ни доллара,— в своей обычной манере ответил он и еще

сильнее нажал на газ, обгоняя одну за другой впереди идущие машины.

— Хочу обратить твое внимание... — начал было я, но в это время на нашем пути возник очередной грузовик. Брайт несколько секунд сигналил. Безрезультатно. Грузовик не уступал дорогу — очевидно, и там за рулем сидел норовистый водитель.

Тогда Чарли включил полный свет фар. И тут перед моими глазами появились написанные белой краской на заднем борту грузовика строчки:

Death is so permanent.
Drive carefully! [1]

— Что ты хотел мне сказать? — спросил Брайт.

— Да вот, то же самое: Drive carefully!

На самом деле я, кажется, хотел ему напомнить, что не все измеряется долларами.

...Итак, 25 июля ровно в одиннадцать часов дня Трумэн, Сталин и Черчилль, сопровождаемые переводчиками, вошли в зал заседаний. Но на полдороге к большому круглому столу они остановились и пожали друг другу руки. При этом Трумэн сказал:

— Сегодня до некоторой степени знаменательный день, джентльмены: нам предстоит на короткое время прервать наши заседания. Вчера мы дали согласие нашим страждущим журналистам уделить им несколько минут. Они хотят запечатлеть нас втроем...

— На случай моего политического некролога? — с наигранной веселостью подхватил Черчилль.

Какого усилия воли потребовала от него эта напускная веселость! Утром, после раннего завтрака в постели, он угрюмо сообщил своему врачу Морану:

— Я видел отвратительный сон. Мне приснилось, что моя жизнь кончена. Я совершенно отчетливо видел свой собственный труп, покрытый белой простыней. Он лежал на столе в пустой комнате. Из-под простыни выглядывают мои голые ноги...

Но сейчас Черчилль широко улыбался, и никто со стороны не мог бы догадаться, чего стоила ему эта улыбка.

Улыбался и Трумэн. И его улыбка тоже была натянутой: по вине Черчилля у него, по сути дела, сорвался разговор с поляками.

Улыбался и Сталин. Казалось, что предстоящее фотографирование и в самом деле было ему приятно.

— Тогда,— после короткой паузы сказал Трумэн,— приглашаю вас пройти к главному подъезду.

Этим подъездом участники Конференции почти не пользовались — каждая делегация предпочитала боковые подъезды, из которых она попадала сразу в свои рабочие комнаты.

Воронов стоял в толпе советских, американских, французских и английских фото- и кинокорреспондентов, прижимая к груди свой «ФЭД». Они уже не менее часа находились здесь, болтая между собой и щелкая для проверки затворами фотоаппаратов, включали моторчики киноаппаратов.

Время от времени кому-нибудь из журналистов мерещилось, что за плотно закрытыми дверями подъезда началось какое-то движение. Он восклицал по-английски или по-французски: «Тихо!» И все разговоры мгновенно смолкали, десятки фотообъективов нацеливались на дверь.

Брайт находился в двух-трех шагах от Воронова, балагурил, кажется, больше всех, предлагал пари на то, кто из «Большой тройки» покажется в дверях первым, но в то же время, как снайпер, держал свое оружие — «Спид» — наготове.

«На всякий случай» корреспондентов собрали почти за час до съемки, и с них уже сошло семь потов под жаркими лучами солнца.

— Черт побери! — возмущался Брайт. — Я сейчас пойду туда, стукну в дверь и скажу, что так с прессой не поступают!

— Ты, кажется, предлагал пари? — иронически обратился к нему по-английски стоявший рядом журналист с камерой в руках.

— Пари? — переспросил Брайт. — На что?

— На то, что ты не пройдешь и полдороги до подъезда, как тебя отшвырнут, а может быть, и подстрелят. Десять долларов против дайма [2].

— Значит, счет пошлешь на тот свет? Но учти, я буду в раю,— скаля свои ровные, белые зубы, ответил Брайт.

— Можешь называть ад раем, если это тебя утешит...

На этом пикировка их закончилась. Двери раскрылись. Воронов взглянул на часы. Было без десяти одиннадцать. Фотоаппараты и ручные кинокамеры взметнулись вверх. Но из двери вышли всего лишь несколько солдат — советских, американских и английских. Они заняли места по обе стороны двери в некотором отдалении от нее.

Потом появились офицеры трех армий, причем советский — младший лейтенант, с медалями и автоматом на груди, занял место справа, у пышного лаврового дерева, а американец и англичанин, в беретах и напоминавших комбинезоны униформах, расположились левее — у каменной стены, прикрытой бегучими ручейками плюща.

Трумэн, Сталин и Черчилль возникли в проеме дверей как-то разом и вместе. Казалось, они не вышли из здания, а именно возникли каким-то чудом на верхней ступеньке невысокой лестницы.

На Трумэне был темный, в редкую черную полоску двубортный костюм, черные туфли и галстук вместо привычной «бабочки». На Черчилле — генеральская военная форма, как всегда мешковато сидевшая на нем. Три ряда орденских ленточек пестрели над фигурным клапаном левого нагрудного кармана.

Но внимание Воронова почти всецело сосредоточилось на Сталине. Он стоял слева от Трумэна, в светло-кремовом кителе со стоячим воротником. Зо-

---

[1] Смерть бесконечна.
Будь осторожен за рулем! *(англ.)*

[2] **Дайм** — 10-центовая американская монета.

лотая звездочка Героя поблескивала на левой стороне его груди. Темно-синие с красными лампасами брюки резко контрастировали с кителем.

Все трое сделали несколько шагов вниз по ступеням и, оказавшись на земле, снова остановились. За их спинами в некотором отдалении появились военачальники: советские, американские и английские.

Потом Трумэн энергичным движением чуть приподнял руки, протягивая левую — Сталину, а правую — Черчиллю. И все трое застыли, как бы слитая воедино скульптурная группа.

Черчилль смотрел в нацеленные объективы с добродушной улыбкой. Улыбался, глядя на корреспондентов, и Сталин... Но Трумэн будто не замечал никого, кроме Сталина. Обнажив в улыбке зубы, он повернул голову к Сталину и смотрел только на него.

Щелчки фотоаппаратов, стрекотание кинокамер — все это продолжалось лишь несколько секунд.

Затем Трумэн как бы разом «снял» улыбку с лица. Все трое опустили руки, давая понять, что съемка закончена. Стоявшие в дверях военные расступились. Трумэн сделал приглашающий жест рукой, сначала обращенный к Сталину, затем к Черчиллю, и, следуя за ними, последним скрылся в дверях.

— Поезд прибыл на станцию. Мистер Черчилль, вам выходить! Не опоздайте! — грубовато пошутил Брайт. Оказавшиеся поблизости английские журналисты посмотрели на него неодобрительно. Потом слитная толпа фотокорреспондентов и кинооператоров стала как бы распадаться на небольшие группки. Большинство устремилось к арке, открывавшей путь за пределы территории Цецилиенхофа.

Брайт подошел к Воронову и кивнул на его «ФЭД»:

— Все в порядке?

— Надеюсь,— ответил тот. — Отщелкал кадров десять. Считаю, что хоть половина окажется удачной.

— Отщелкать надо было всю катушку,— поучительно заметил Брайт.

— Не успел,— ответил Воронов.

— Почему?

— Думал.

— Думал? — насмешливо протянул Брайт. — Это обязанность наших боссов. А впрочем... Ты знаешь, и я задумался: почему наш президент так глядел на дядю Джо? Может быть, тот пошел ему на уступки в чем-то и президент благодарил его? Или хотел расположить в свою пользу? Ты же психолог, объясни.

Воронов не принял вопросов Чарли всерьез и воздержался от ответов.

— А тебе приходилось лично встречаться с дядей Джо? — неожиданно спросил Брайт.

— Нет,— коротко ответил Воронов.

— Слушай,— совсем уже другим, обычным своим беспечным тоном сказал Брайт. — У меня есть предложение.

— Прежде чем ты его выскажешь, я хочу тебя еще раз поблагодарить,— произнес Воронов.

— Почему вы, русские, так многословны? — отмахнулся Брайт. — Ты уже сделал это еще вчера. Или ты хочешь мне предложить что-то?

— Я не торгую часами,— зло пошутил Воронов.

— И напрасно. Вот, гляди. — Брайт поднес к его глазам запястье своей руки. — Видишь эти часики? «Филипп Патэк». В Штатах оторвут за тысячу вместе с рукой. А ты все носишь... как называется твоя фирма?

— Моя фирма называется «Победа»,— медленно произнес Воронов и пристально поглядел в глаза Брайту.

— Никогда о такой не слышал.

— О ней слышали миллионы людей на Земле,— все тем же тоном продолжал Воронов. И повторил: — По-бе-да! Victory!

— А-а, ты вот куда клонишь!.. Ладно, один—ноль в твою пользу. Так вот, у меня есть предложение. Раз уж я попал в это райское местечко, то так скоро меня отсюда не вытуришь. Давайте соберемся и отпразднуем. Ну, если не конец Конференции, то, скажем, начало конца. Наши боссы наверняка устроят себе теперь двухдневное развлечение. Без толстяка, конечно. Сейчас они рассядутся по своим машинам, и... все будет о'кей! Так чем же мы хуже? Короче, Джейн приглашает собраться в восемь вечера у нее. Сейчас одиннадцать тридцать. Назначай место, где я смогу тебя подхватить после семи вечера. Ну?

— У советского контрольного пункта,— сказал Воронов после минутного раздумья. — Ну, на границе американского сектора. Найдешь?

— Если я разыскал тебя в Карлсхорсте, то уж как-нибудь... О'кей, Майкл-бэби! В семь сорок пять я возникну как из-под земли. Договорились?

Глава одиннадцатая
СПОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Они ошибались — и Воронов и Брайт,— полагая, что Трумэн, Сталин и Черчилль вернулись в зал лишь для того, чтобы попрощаться с английским премьер-министром, а затем разъехаться по своим резиденциям.

Нет, все было не так...

— Продолжаем наши заседания,— сказал Трумэн, стараясь опуститься в председательское кресло достаточно медленно для того, чтобы Сталин и Черчилль успели бы занять свои места одновременно с ним. — Вчера было внесено предложение продолжить дискуссию о западной границе Польши...

— Не возражаю,— сказал Сталин и взял из лежащей перед ним коробки свою первую с начала сегодняшней встречи папиросу.

Хотя заседание только что началось, Трумэн с неприязнью посмотрел на часы. Если бы их стрелки двигались быстрее! Если бы скорее наступил час отлета Черчилля!

Но Черчилль был все еще тут. «Не приведи бог,— подумал Трумэн,— дать ему повод начать какой-либо новый спор. Ради того, чтобы поспорить, Черчилль, пожалуй, может отсрочить свой отъезд. И ни в коем случае нельзя проявить к нему недостаточное внимание: он подумает, что его уже сбрасывают со счетов».

— Я помню,— сказал Трумэн,— что у мистера Черчилля было дополнительное предложение.

«Что он имеет в виду?» — напрягая память, подумал Черчилль. У него не было предложений, но были аргументы против новых польских границ, подсказанные ему Миколайчиком. О закончившейся поздней ночью встрече Черчилля с этим поляком Трумэн знать еще не мог.

Но Черчилль провел полночи, читая «меморандум» Миколайчика. «Что делать с 8 миллионами немцев, проживающих в Польше?». «Потеря Германией земель по Одеру неизбежно вызовет там голод». «Экономическое бремя ляжет на плечи оккупационных держав». «Поляки не сумеют освоить новые территории». «Будет заложен фундамент вражды между Германией и Польшей»... Да, все это были аргументы, серьезные аргументы. Но каждый из них вызовет длительную дискуссию. А для нее сейчас нет времени. Значит, бой можно будет дать лишь по возвращении. А сейчас ни в коем случае не раскрывать аргументы Сталину. За последующие три дня он вместе со своими поляками придумает столько же контраргументов...

— Мне нечего добавить,— хмурясь, произнес Черчилль. — Иден и я имели удовольствие встречаться с польской делегацией. Иден —вчера, я — сегодня утром. Это был продолжительный разговор...

«Еще бы!» — со злостью подумал Трумэн, вспоминая, сколько времени ему пришлось ждать Берута.

— Так вот,— продолжал Черчилль,— поляки соглашаются, что в районе, который они заняли, находится еще огромное количество немцев. Берут называет полтора миллиона, но я имею сведения, что их там гораздо больше.

Черчилль посмотрел на Сталина, встретил взгляд его прищуренных глаз, и премьер-министру показалось, будто советский лидер безмолвно задает ему вопрос: «Ну-с, какими еще «данными» снабдил вас пан Миколайчик?»

Но Сталин молчал, и Черчилль продолжал:

— Я считаю, что этот вопрос тянет за собой другие — в частности о репарациях и зонах оккупации Германии...

Для Трумэна все стало ясным: Черчилль не желал, чтобы хоть один серьезный вопрос был рассмотрен на сегодняшнем заседании. Он хотел отложить их все, включая и польскую проблему, до своего возвращения. Сейчас он был в цейтноте.

Понял это и Сталин. В поведении Черчилля была своя логика: он мечтал вернуться на поле боя, обладая полнотой власти.

Что касалось Трумэна, то очевидное стремление Черчилля ничего не решать на сегодняшнем заседании совпадало и с его желанием. Президент Соединенных Штатов Америки был разочарован тем, что ни одно из важнейших его намерений не осуществилось, хотя весьма явственно ощущал на своем плече ободряющую десницу божью.

Да, да, конечно, он стал обладателем мощнейшего оружия. Но разве главная цель этого обладания заключалась только в том, чтобы заставить «джэпов»[1] поднять руки вверх?! О боже, они их, конечно, поднимут, или движимые здравым смыслом, или корчась в предсмертных конвульсиях.

Но существовала цель более значительная: заставить русских понять, что, как только военный антияпонский союз закончится, Соединенные Штаты станут своего рода «местоблюстителем престола божия»: единолично будут управлять военными, политическими, экономическими делами всего мира. А русские?.. Ну, если они проявят понимание и покорность... может быть, тогда стоит вернуться к «русскому вопросу».

После того как вчерашняя попытка президента США приоткрыть Сталину дальнейшую судьбу России, видимо, не увенчалась успехом — советский лидер, вероятно, не понял разницы между обычным снарядом для крупнокалиберной артиллерии и атомной бомбой,— интерес Трумэна к Конференции резко снизился. Разумеется, он помнил о целях, какие ставил перед собой, отправляясь в Потсдам: окружить Россию «санитарным кольцом», превратить Германию в рынок сбыта американских товаров, при этом оставляя ее в качестве угрозы своему восточному соседу, насколько возможно снизить выгоды, на которые претендует после ялтинских решений Польша... Но ведь ни одна из этих целей пока не достигнута. И перспективы туманны... Словом, Трумэн был рад перерыву в работе Конференции. В эти дни он мог целиком посвятить себя дальневосточным делам.

— Я считаю правильным замечание мистера Черчилля,— сказал Трумэн. — Польский вопрос слишком сложен, чтобы пытаться решить его сегодня. К тому же мистер Бирнс имеет намерение еще раз встретиться с польской делегацией. Короче, я думаю, что будет полезным отложить эту дискуссию до пятницы.

Черчилль недовольно пожевал кончик своей сигары. Он был согласен с предложением Трумэна по существу, но считал бестактным по форме. Его покоробило то, что президент не сказал «до возвращения», а предпочел безликое «до пятницы», как будто не был окончательно уверен, что в пятницу в Бабельсберг вернется именно Черчилль.

— Хорошо,— сказал Сталин в ответ на предложение Трумэна, готовясь подняться из-за стола.

Но как ни хотелось Трумэну поскорее закончить заседание — к двум часам дня в «маленький Белый дом» должны были доставить донесение о результатах предпринятого минувшей ночью массированного артобстрела японских военных аэродромов и коммуникаций вдоль побережья острова Хонсю,— он все

[1] Презрительное название японцев (*англ.*).

же не мог не считаться в определенными формальиостямн.

— Следующий вопрос иашей повестки дня касается германского военио-морского и торгового флота. Мне кажется, что мы уже пришлн к соглашению по нему. Не так лн?

— Коиечио, хотя иам предстонт еще рассмотреть конкретные предложеиия,— уточиил Черчилль.

Все поиимали, что из-за ограничеиности времени заияться рассмотрением предложеиий сегодия иевозможио. Таким образом, реплнка Черчилля была как бы еще одним напомииаиием, что Коифереиция виовь обретет свой смысл лишь после его возвращения из Лоидоиа. Мимоходом, одиако, Трумэи заметнл, что помощиик государствеиного секретаря Клейтон н адмирал Лэид специально занимались вопросом о флоте н подготовнли ряд практических предложеиий.

Сталин насторожился. Ои иеослабио следил за тем, чтобы под предлогом недостатка времени Трумэиу илн Черчнллю ие удалось бы протащить какое-лнбо решеиие, иевыгодиое для Советского Союза. На этот раз такой угрозы как будто не было: председательствующнй откровеиио стремился поскорее «свернуть» заседаиие.

Но Черчиллю ие терпелось пустить в ход «тяжелую артнллерию», которой его снабдил Миколайчик, хотя времеии для этого не оставалось. Собствеиной логике вопреки Черчилль предложил обсудить вопрос о перемещеиии в Германию иемецкого иаселения из Чехословакии и Польшн.

Сталин пожал плечамн, как бы заявляя этим жестом: «Хотите закоичить заседаиие — давайте закончим, а если есть желание продолжить его, что ж, я ие против».

Вслух же ои сказал:

— Чехословацкие власти уже эвакуировали немцев со своей территории. Сейчас эти иемцы иаходятся в Дрездеие, Лейпциге н в Хемиице.

— Лишь иебольшая часть! —воскликиул Черчилль. — Вы забываете о судетских иемцах, которых тоже надо переместить. А их два с половииой миллиона! Кроме того, Чехословакия, иесомиеиио, хочет избавиться от тех иемецких граждаи, которые в свое время были переселены Гитлером из Германии в Чехословакию, чтобы усилить там немецкое влияние. Их, по иашим подсчетам, ие менее ста пятидесяти тысяч. Куда же теперь перемещать и этих и судетских иемцев? В чью зоиу оккупации? Может быть, в русскую?

Последиюю фразу Черчилль произнес ие без ехидства.

— А вы знаете,— вроде бы удивился Сталин,— большая часть их действительно стремится в советскую зоиу.

— Во всяком случае, в своей зоие мы бы этих немцев иметь не хотели,— демонстративио игнорируя иронию Сталина, буркнул Черчилль.

— А мы и не предлагаем вам этого,— объявил Сталин под одобрительный смех большей части участников заседания.

— Оии приιнесли бы нам с собой только свои рты,— повышая голос, чтобы перекрыть смех, почти выкрикнул Черчилль. И как бы пропуская мимо ушей сказаииое Сталиным, добавил: — Кроме того, остается иевыясиенной судьба иемцев в Польше.

«Мемораидум» Миколайчика буквальио ие давал покоя Черчиллю. Ои выхватывал оттуда один за другим все иовые «факты» и «аргумеиты».

— Я готов виести ясиость,— спокойио сказал Сталии. — Польская делегация сообщила иам, что Польша выиуждеиа временно задержать этих немцев, чтобы использовать их иа уборке урожая. Как только уборка закончится, все иемцы будут эвакуированы.

— Значит, ситуация вырисовывается такая,— теперь уже решился иа иронию Черчилль,— поляки будут иметь продовольствие н топливо, а мы получим добавочиое иемецкое иаселение, которое обязаны снабжать и продовольствием и топлнвом. Не считает ли справедливым геиералиссимус войти в иаше положение?

— А ие считает лн иужным премьер-мииистр войти в положеиие поляков, которых иемцы разоряли в течение пяти с половииой лет? — жестко спросил Сталии. — Или страдаиия польского иарода ие в счет?

«Оии, кажется, собираются иачать все сиачала?» — с сожалением подумал Трумэи и решительио произнес:

— Я ие хочу повторяться, джеитльмеиы. О моем сочувствии полякам и русским, моем отиошеиии к их страданиям вы слышали уже ие раз. Но сейчас я хотел бы сделать одно важиое разъясиеиие. Меия смущает то обстоятельство, что мы вольио нли иевольио как бы предопределяем содержаиие будущего мирного договора с Германией. А по иашей коиституции, этот договор может быть заключеи лишь с одобрения сеиата Соединеииых Штатов. Коиечио, я постараюсь сделать все, чтобы получить такое одобреиие, но гарантировать его, естественно, не могу.

Трумэи исподлобья посмотрел иа Сталииа, стараясь определить, какое впечатлеиие произвело иа того это заявлеиие. Оио было ответом президента иа тот «вольт», который три дия иазад выкииул Сталии, желая иметь за своей спииой, так сказать, материализоваиное польское миеиие. Отлнчно. Трумэн противопоставит ему миеиие целого америкаиского Коигресса. Мало? Всей америкаиской общественности. Кто лучше америкаиского президента может зиать это миеиие? Попробуйте спорить!..

Увидев, как Сталии иедоумеиио приподиял брови, Трумэн не без нарочитого сожаления продолжал:

— Да, джентльмены, я должеи считаться с сенатом, а сенат, в свою очередь, должен принимать во внимание америкаиское общественное мнение. Политические настроеиия в Америке сейчас таковы, что я ие могу не считаться с ними при обсуждеиии того или иного вопроса.

Наступило молчание. Сталин сосредоточенно постукивал мундштуком своей очередной папиросы по

краю пепельницы, перекидывая мысленно мост от этого заявления Трумэна к разговору с Гопкинсом, который состоялся в Кремле. «Значит, ссылки Гопкинса на американское общественное мнение не были тогда случайными,— подумал Сталин,— они служили лишь прелюдией к тому, что сейчас произнес уже сам Трумэн. Это, так сказать, заявка на будущее. Почти не замаскированная угроза объявить Конференцию ни к чему не обязывающим словоговорением, как только президенту станет ясным, что добиться того, чего он хочет, невозможно».

И тогда Сталин решил прижать Трумэна к стене, заставить его гласно раскрыть смысл своей ссылки на сенат и общественное мнение Америки или столь же гласно дезавуировать свои подлинные намерения. Глядя в упор на него, Сталин спросил:

— Высказывания президента касаются только мирных договоров со странами, которые воевали вместе с Германией, или же всех вопросов, которые здесь обсуждаются?

— Это относится к тем соглашениям и договорам, которые, по конституции, должны быть направлены на утверждение сената Соединенных Штатов,— сказал после короткой паузы Трумэн, явно пытаясь увильнуть от прямого ответа.

Но Сталин как бы снова возвратил его к стене:

— Значит, все остальные вопросы мы вправе решать?

— Мы можем решить здесь любые вопросы, которые... не требуется передавать на ратификацию сената.

— Поставим точку над «и»,— не отпускал его Сталин.— Ратификации сената требует только вопрос о мирных договорах? Во всем остальном президент, надеюсь, имеет достаточные полномочия?

Трумэн мог перенести что угодно, кроме удара по собственному самолюбию.

— Да, конечно! — воскликнул он, вскидывая голову.— Я обладаю самыми широкими полномочиями!.. Но...— президент запнулся, как бы в поисках выхода из трудного положения, в котором оказался.— Но я не хочу этими полномочиями злоупотреблять!

— Кто же говорит о злоупотреблениях? — развел руками Сталин...

Заседание на этом могло бы и закончиться — все ведь заранее молчаливо согласились, что оно будет коротким. Но когда возникал хоть какой-либо спор, Черчилль молчать не мог. Любая дискуссия неотвратимо влекла его к себе, как коррида тореадора, как моряка океан.

— Я полагаю целесообразным вернуться к вопросу о польском движении на запад,— неожиданно объявил он.

Трумэн и Сталин посмотрели на часы. Потом Сталин сказал:

— Обменяться мнениями я, конечно, согласен, но располагаете ли вы, господин премьер-министр, достаточным временем? Немаловажно и то, что здесь еще находится польская делегация и, может быть, кто-либо из нас захочет дополнительно побеседовать с ней. Однако если есть намерение обсудить и решить этот вопрос сегодня...

— Я не предлагаю обсуждать или решать этот вопрос сегодня! — запальчиво воскликнул Черчилль.— Я хотел бы только заявить, что от него зависит успех всей Конференции. Если мы не решим польского вопроса и не примем постановления о равном распределении продовольствия на всей территории Германии, то это будет означать провал Конференции, сколько бы она ни продолжалась! А пока что по этим, основным вопросам мы не добились никакого прогресса.

Нахохлившись, Черчилль обвел вопрошающим взглядом всех сидящих за столом.

— Действительно,— с оттенком растерянности подтвердил Трумэн,— у нас тут никакого прогресса нет.

«Не кажется ли президенту и премьер-министру, что в данном случае они и мы несколько по-разному понимаем слово «прогресс»? Конечно, они считали бы прогрессом, коль удалось бы отклонить требование Польши, обеспечить в этой стране приход к власти Миколайчика, если уж не Арцишевского, восстановить антисоветскую Германию. Это был бы «прогресс»! Но такого «прогресса» вы не добьетесь, господа, нет, не добьетесь»...

Так, наверное, думал в те минуты Сталин и решил еще раз проучить Черчилля. Понимая, что тот не может быть реально заинтересован в продолжении дискуссии именно сегодня, а хочет только поставить еще один «заявочный столб» и закончить заседание, так сказать, на антипольской ноте, советский лидер подлил масла в огонь. Не торопясь, как бы нарочно замедляя ход заседания, он заговорил о том, что распределение продовольствия для Германии вряд ли является сейчас главной темой. Гораздо большее значение имеет проблема снабжения всей Германии углем и металлом. Без решения ее трудно будет решить и проблему продовольственную. Но девяносто процентов металла и восемьдесят процентов каменного угля дает Рур, не так ли? В какой же зоне он находится? Может быть, в советской? Нет, Рур расположен в английской зоне...

Сталин умолк, стараясь предугадать, как отреагирует на это Черчилль. Еще на переговорах, предшествовавших Конференции, Советский Союз предлагал поставить Рур — эту наиболее мощную в индустриальном отношении часть Германии — под контроль Соединенных Штатов, Великобритании, СССР и Франции, создать для того специальный Союзный Совет. Такое предложение было отвергнуто и Америкой и Англией. Оно противоречило их намерению сохранить послевоенную Германию как военно-экономический форпост против Советского Союза.

Конечно, вслух ничего подобного не говорилось. Не скажет этого Черчилль и теперь. А что же он скажет? Что Рур разрушен? Тогда можно будет напомнить ему факты, которые уже приводил Громыко: о вполне сохранившихся заводах Круппа в Рейнгаузене, например...

Но Черчилль пошел по другому пути. Он сказал:

— Если уголь из Рура будет поставляться в русскую зону, то за это русским придется платить продовольствием из своей зоны.

— Вот как? — удивился Сталин. — Но разве Рур не входит в состав Германии? Или господин Черчилль пришел к выводу, что идея о передаче Рурской промышленной области под совместный контроль наших трех стран и Франции не так уж плоха?

Он сделал паузу и, поскольку Черчилль молчал, продолжил:

— Если Рур остается в составе Германии на равном положении с другими ее частями, то и снабжать углем, металлом и прочим он должен всю Германию, как это было всегда. Логично?

Поняв свой промах, Черчилль тут же попытался исправить его. Он стал говорить о нуждах Англии, страдающей из-за недостатка угля, о холодной, «безугольной» зиме, угрожающей англичанам.

— Англия имеет свои шахты и всегда не только обеспечивала себя, а и вывозила уголь! — подал реплику Сталин. — Почему же теперь она не в состоянии обогреть себя?

— Потому что у нас не хватает шахтеров! — крикнул Черчилль. И уже тише добавил: — Многие из них еще не демобилизованы.

И тотчас же получил новый удар. Сталин давно подготавливал его.

— Да, да, я понимаю,— сказал он как бы рассеянно. — У нас тоже не хватает рабочей силы. Из-за этого мы вынуждены использовать для восстановления наших угольных районов военнопленных...

Постепенно маска «рассеянности» исчезла с лица Сталина. Его усы, как всегда в подобных случаях, приподнялись, глаза сощурились. Уже совсем иным, жестким, холодным тоном Сталин сказал:

— А разве у вас нет немецких военнопленных? По нашим данным, только в Норвегии вы держите неразоруженными тысяч четыреста военнопленных. Почему бы вам не дать им в руки лопаты и буровые инструменты вместо автоматов и винтовок?

В зале наступила мертвая тишина. Черчилль нахмурился. Видимо, он прикидывал: «Отрицать все? Но не получится ли хуже? Сталин начнет приводить другие факты, опровергнуть которые невозможно».

Наконец Черчилль пробормотал:

— Я... не знал, что они не разоружены. Не знаю точно, какое там положение. Немедленно наведу справки...

— Очень хорошо,— одобрил Сталин и откинулся на спинку кресла. Теперь можно было немного отдохнуть.

А состояние Черчилля было прямо противоположным. Он был публично уличен в бесчестных действиях. «Черт побери,— упрекал он себя,— на что я надеялся? Ведь у меня же не было сомнений в том, что Сталину известно о военнопленных «особого статуса». Так как же я не предусмотрел, что советская делегация может поставить этот вопрос здесь, на Конференции? Мой ответ прозвучал жалко, глупо»...

Уверенный в том, что досконально изучил Сталина, Черчилль часто заблуждался на этот счет. Он никак не мог привыкнуть к одной из особенностей тактики Сталина на международных переговорах: советский лидер почти никогда не нападал первым и никогда не разбрасывался своими «резервами», то есть теми аргументами, которые были заготовлены советской делегацией почти по каждому спорному вопросу. Он предпочитал, чтобы оппонент первым обнаружил направление своего удара, и вот тогда-то отвечал ему сокрушительным контрударом.

Так случилось и сейчас. Увлекающийся, убежденный в своем интеллектуальном превосходстве, Черчилль поплатился жестоко. И свое спасение он видел только в отступлении с наименьшими потерями. Надо было вылезать из трясины, в которую так неосторожно уже ступил одной ногой.

Черчилль поспешил вернуться из сферы военно-политической в чисто экономическую, чтобы не быть еще раз публично уличенным в предательстве — ведь Сталин, несомненно, располагает данными и о немецких военнопленных в Шлезвиг-Голштинии.

— Я все-таки не получил исчерпывающего ответа,— стараясь говорить так, как будто ничего не произошло, продолжал Черчилль,— почему поляки продают уголь с территории, которая им еще не принадлежит? И это в то время, как англичанам предстоит в ближайшую зиму дрожать от холода!

Он повторно забрасывал крючок в надежде, что на него все же попадется Сталин и тогда будет легче увести его в другую, безопасную сторону.

— А я не понимаю, почему господин Черчилль оперирует непроверенными данными? — тотчас же отозвался Сталин.

— Как? — с наигранным возмущением воскликнул Черчилль, внутренне радуясь, что ему удалось все-таки вернуть дискуссию на прежний, чисто полемический путь,— генералиссимус отрицает тот факт, что поляки продают уголь?

— Совсем нет,— покачал головой Сталин. — А вот насчет территории, которая им не принадлежит, согласиться не могу. Поляки продали уголь из Домбровского района. Этот район принадлежит Польше. Может быть, господин Черчилль хочет, чтобы я указал ему на карте?

«Чертов Миколайчик! — со злостью подумал Черчилль. — Почему он не предупредил меня об этом?» А вслух сказал:

— Где находится Домбровский район, я знаю.

Сталин удовлетворенно наклонил голову и продолжал уже без сарказма:

— Я искренне сочувствую англичанам, которые будут ощущать недостаток тепла. И... я не привык жаловаться, господин Черчилль. Но должен сказать, что наше положение еще хуже. Мы потеряли миллионы людей убитыми, не говорю уж о раненых. Нам не хватает сил для самых неотложных работ по восстановлению страны, в том числе и угольной промышленности. А зимы в России пострашнее английских...

— Может быть, следует обменять рурский уголь на продовольствие? Рур контролируем мы, и я

готов... — начал было Черчилль и замолк, усомнившись, выгодна ли эта сделка.

— Что ж, тут есть над чем подумать,— сказал Сталин.

— Я и не рассчитываю на немедленное решение,— поспешно добавил Черчилль. — Но... у нас будет перерыв. Несомненно, что за это время можно будет о многом подумать...

— Если сегодня нам нечего больше обсуждать,— сказал, как казалось, поглощенный до сих пор совсем иными мыслями Трумэн,— то я полагаю разумным передать и этот вопрос на рассмотрение наших министров.

— И заслушать их в пятницу, когда мы снова встретимся! — тут же добавил Черчилль.

Да, он произнес именно это местоимение: «мы». Не «когда снова соберется Конференция», не «когда ее участники снова будут в сборе», а «когда мы встретимся».

Что заключалось в этом «мы»? Бравада? Уверенность в своей победе на выборах? Кто знает...

Трумэн был готов уже закрыть заседание, однако Сталин упредил его.

— Мы просим президента и премьер-министра,— сказал он,— принять подготовленный советской делегацией меморандум. В нем тоже есть нечто, над чем следует поразмыслить. Например, почему английские и американские оккупационные власти в Германии и Австрии препятствуют советским людям, угнанным гитлеровцами, вернуться на Родину? И еще: в меморандуме содержится также напоминание о неразоруженных немецких пленных.

«Опять?!» — хотелось воскликнуть Черчиллю, но вместо этого он сказал:

— Я могу дать заверение, что мы намерены разоружить эти войска.

— Я не сомневаюсь,— произнес Сталин таким покорным тоном, что в зале — в который уже раз — раздался смех. Стало ясно: Сталин ничего не забыл и не простил.

— Мы не держим их в резерве, чтобы вдруг выпустить из рукава! — пробурчал Черчилль, снова наливаясь злобой.

«Зачем он развивает эту столь невыгодную для него тему?» — с раздражением подумал Трумэн и поспешил объявить:

— Следующее заседание состоится в пятницу, двадцать седьмого июля, в пять часов вечера.

Все встали. Обычно по окончании заседания его участники сразу же удалялись в свои комнаты. Исключением являлся лишь вчерашний день, когда Трумэн остановил Сталина, чтобы сообщить ему о новом оружии. Но то была намеренная, запланированная Трумэном и Черчиллем задержка. Сегодня же все произошло стихийно: Сталин и Трумэн, выйдя из-за стола, остановились, как бы приглашая задержаться тоже Черчилля и Идена. Во всяком случае, англичане поняли их именно так. Все четверо сгруппировались на полпути к двери, ведущей в английские комнаты. Тут же, хотя несколько поодаль, остановился и Эттли. Некоторое время стояли молча, не зная, по-видимому, что же следует сказать друг другу на прощание — каждое пожелание могло прозвучать двусмысленно. Высказать Черчиллю надежду на скорое возвращение значило проявить бестактность по отношению к Эттли. Просто попрощаться? Тоже как-то неловко.

Первым нашелся Трумэн.

— Счастливого полета! — пожелал он.

Пожал всем руки и ушел.

Сталин остался наедине с англичанами.

— До свидания, генералиссимус,— сказал Черчилль. — Я надеюсь вернуться.

Последнюю фразу он произнес, как бы возражая кому-то.

— Судя по выражению лица господина Эттли,— достаточно громко ответил Сталин,— я не думаю, что он исполнен желания лишить вас власти.

Эттли кисло улыбнулся, пожал руку Сталину и ушел. Иден последовал за ним. Но Черчилль все еще стоял на прежнем месте. Чего-то он ждал от Сталина. И тот почему-то не протягивал ему руки.

Да, Черчилль чувствовал, что его народ устал от тягот войны. Да, он знал, война принесла не только победу. Сразу после нее начиналась инфляция, возродилась безработица. Процесс распада Британской империи, задержанный войной, тоже был готов возобновиться. Индия, эта «жемчужина в британской короне», стремилась отделиться от Англии и тем самым подать «дурной» пример остальным британским колониям в их борьбе за независимость.

Черчилль не мог не знать этого и вместе с тем решительно не хотел знать, что британский народ никогда не любил, а лишь терпел его до поры до времени.. Мучимый сомнениями относительно своей будущей судьбы, Черчилль пытался успокоить себя тем, что победителей не судят.

О, если бы это хоть намеком подтвердил сейчас Сталин!..

— Знаете, о чем я сейчас думаю, генералиссимус? — спросил не выдержавший затянувшегося прощания Черчилль. И, не дожидаясь ответа, сказал: — О том вашем разговоре с леди Астор...

...Это было задолго до войны. Виконтесса Астор, первая женщина, избранная в английский парламент, посетила Страну Советов и встретилась со Сталиным.

За обедом Сталин спросил Астор, что она думает о современных английских политических деятелях.

Леди ответила, что считает восходящей звездой Чемберлена.

— А как насчет Черчилля? — спросил Сталин.

— О, он человек конченый!

Сталин с сомнением покачал головой:

— Если ваша страна когда-нибудь попадет в трудное положение, она позовет Черчилля...

Об этой беседе Сталин сам рассказал английскому послу Кэрру, а Кэрр передал все Черчиллю когда тот посетил Москву в 1942 году.

...И вот сейчас Черчиллю, иавериое, хотелось, чтобы Сталии сказал ему иа прощаине что-либо подобиое. Разве у иего ие было осиоваиня для этого?

— Леди Астор? — переспросил Сталии. — Но это было так давио.

— Сегодия вы бы предпочли Чемберлеиа? — с вызовом спросил Черчилль.

На этот раз в его словах прозвучала ие столько бравада, сколько мольба о моральиой поддержке и страх за свое личиое будущее.

— Чемберлеиа я бы ие предпочел ни при какнх условиях,— ответил Сталии. — Я, видимо, забыл уточиить это, когда беседовал с госпожой Астор. — Он протяиул руку Черчиллю и произиес негромко: — До свидаиия!

Не «прощайте», а имеиио «до свидаиия»... Хотел ли Сталии выразить этим, что верит в иовую встречу?.. Кто зиает...

Черчилль пожал руку Сталииу и медлениой походкой пошел к двери. Согбеииый, с трудом передвигающий иоги под тяжестью лет и событий.

Черчиллю захотелось остаться одиому. Ои прошел в свою комиату. Окииул взглядом киижиые полки, корешки киит о войиах и велнких деятелях прошлого. В комиате было тихо. Но ему вдруг почудился откуда-то из глубииы веков звук флейты. Черчилль вспоминл, что король прусский Фридрих любил играть иа этом ииструмеите... «Где сейчас эта флейта?.. Куда уходит все миивувшее? Неужели исчезает бесследио?..» — размышлял усталый, старый человек, все еще ие пресытившийся властью, все еще рвущийся к ней.

Глава двенадцатая
ОБРЕЧЕННЫЕ НА СМЕРТЬ

Вериувшись в «малеиький Белый дом», Трумэн прежде всего озиакомился с отчетом об артиллерийском обстреле Японии.

Америкаиская штаб-квартира иа острове Гуам докладывала, что артобработке подверглись военные аэродромы и коммуиикации вдоль побережья острова Хоисю вблизи Итачи.

Держа отчет в руках, Трумэи перешел из своего рабочего кабииета в соседиюю комиату, иа стеиах которой были развешаиы карты, а на столе стояли телефоны, связывающие президеита с Фраикфуртом-иа-Майие, где располагалась ставка Эйзеихауэра, с Вашиигтоиом, а через иего — со ставкой геиерала Мак-Артура иа Дальием Востоке. Отдельиый телефои предиазиачался для семейиых разговоров президеита с родиыми, оставшимися в Штатах...

Щуря близорукие глаза, президеит отыскал иа карте Японии город Итачи. От иего до Токио было меньше ста миль.

В отчете говорилось, что в обстреле прииялн участие америкаиский линкор «Айова» и аиглийский «Кииг Джордж Пятый». Артиллерия главиого калибра этих мощиейших кораблей поражала цели в глубиие до 10 миль от берега. Доклад заканчивался словами: «Японская сторона ие предпринила иикаких коитрмер».

Удовлетвореиие, охватившее Трумэиа, сменилось иасторожеииостью и озабочеииостью. В чем дело? Почему молчала японская береговая артиллерия? Неужто вся оиа подавлеиа? Тогда, может быть, нужио иемедлеиио иачииать высадку иа побережье сухопутиых войск и этим поставить последиюю точку в войие с Японией?

Но Трумэи сам испугался такой мысли. Во-первых, остров Хоисю это еще ие вся Япоиия. Во-вторых, военные силы Японии далеко не исчерпывались тем, что оиа имеет иа островах. На граиице с Советским Союзом в Маиьчжурии Япоиия держала пока в резерве мощиое стратегическое объедииеине сухопутиых войск, так иазываемую Квантуискую армию численностью в 750 тысяч человек, имеющую иа вооружеиии свыше тысячи таиков, более пяти тысяч стволов артиллерии, 1800 самолетов и 25 кораблей. Справиться с этой силой без русских почти иевозможио. Но если Квантунскую армию возьмут на себя русские, как это уже решено, то зачем тогда примеиять против Японии атомиые бомбы?

Эта мысль привела президеита в еще большее смятеиие. Он подумал: иеужели господь, дав ему в руки такое оружие, теперь проверяет его искусом колебаиий? Нет, колебаиия иедопустимы. Разве дело только в том, чтобы покоичить с Японией? Демоистрация всему миру и прежде всего Советскому Союзу иового всесокрушающего америкаиского оружия играет ие меиьшую роль.

Правда, при этом погибиут лишиие десятки тысяч «джэпов». Ну и пусть! От примеиеиия атомиой бомбы иельзя отказываться. Оио связано ие только с текущими военио-стратегическими, но и с глобальиыми политическими иитересами Америки.

Можно было бы еще подумать, примеиять бомбу или иет, если бы Сталии проявил сообразительиость и измеиил свое поведеиие после того, что ои услышал от иего, Трумэиа, вечером 24 июля. Но Сталии, иавериое, ие поиял. А еще вероятиее, ие захотел поиять и продолжает вести себя иа Коифереиции так, как будто ничего ие случилось. Что ж, ему придется раскаяться в этом, хотя бы задиим числом...

Трумэи вериулся в свой кабииет и сел за письмеииый стол. Какое счастье, что ии завтра, ии послезавтра ему ие придется ехать в этот затхлый Цецилиеихоф! А еще большим счастьем было бы сиова оказаться иа ожидающей его «Аугусте» и поплыть к америкаиским берегам!

Но... положеиие обязывает, как говорят фраицузы, которых, кстати, не пригласили иа Коифереицию. Против этого возражал Черчилль. Ои ие хотел, чтобы в Европе оказался еще один победитель. К тому же Черчилль терпеть ие мог требовательиого де Голля, захваченного идеей французской иезависимости и величия Фраиции.

В качестве председателя Коифереиции именно ои, Трумэи, обязаи ставить пределы на пути Сталииа и успокаивать, а в случае иеобходимости даже одергивать Черчилля. Но главиое сейчас ие в этом.

О главном напоминали шаги, доносившиеся с внутренней лестницы. Президент догадывался, кто это шагает и зачем подиимается к нему в кабинет.

После совещания начальников штабов американских сухопутных войск, ВВС и ВМС, в котором принял участие и Черчилль, он, Трумэн, подписал приказ командованию американской стратегической авиацией: в один из ближайших дней после 3 августа, как только позволит погода, сбросить атомные бомбы на один-два японских города. Тогда же военному министру Стимсону было поручено подготовить список наиболее желательных целей, и вот сейчас Стимсон, несомненно, несет этот список президенту на утверждение.

Трумэн не ошибся. Молча поздоровавшись с президентом, военный министр вынул из своей папки и положил на письменный стол лист бумаги. На нем, каждое слово в строчку, было напечатано:

КОКУРА
ХИРОСИМА
НИИГАТА
НАГАСАКИ

При составлении этого списка между начальниками штабов возникла перепалка. Гровс из вашингтонского далека требовал, чтобы среди целей атомной бомбардировки числился бы и Киото — бывшая столица Японии и центр ее древней культуры.

Ему возражали: нельзя, мол,— это японская святыня.

Он отвечал:

— Плевать. Для меня это прежде всего город с населением более чем в миллион душ, следовательно, отличный объект для проверки убойного и морального эффекта взрыва.

Ему говорили: японцы запомнят это Америке на всю жизнь.

— Плевать,— твердил генерал. — Площадь Киото почти равна предполагаемому диаметру зоны разрушения. Лучший способ проверить теоретические расчеты практикой именно в Киото.

В конце концов большинство склонилось к тому, чтобы вместо Киото в список включить Нагасаки.

Возникло и еще одно осложнение. Выяснилось, что поблизости от намеченных целей японцы содержат в лагерях американских военнопленных, а также англичан и представителей других союзных государств. Гровс прорычал:

— Не принимать во внимание!

И президент сделал все возможное, чтобы эти «детали» не докладывались ему.

Четыре слова, отпечатанных на белом листе бумаги, совсем недавно ничего не сказали бы президенту. Но сейчас они являлись символами грядущих страшных разрушений и бесчисленных человеческих жертв. По мановению президентской руки на два из этих городов обрушит удары невиданной силы специальное авиационное подразделение, проходившее длительную подготовку на американской военно-воздушной базе Тиниан.

«Спасибо, Генри!»— хотел сказать Трумэн, рассматривая роковой список, но спазм перехватил горло. Президенту удалось произнести только одно слово: «Спасибо!»

— Есть обстоятельство, мистер президент, которое я не вправе скрыть от вас,— доложил министр после минутного молчания.

— Что такое? — настороженно спросил Трумэн. Он даже побледнел: слишком уж короток был момент упоения своим всемогуществом. — Какие там еще обстоятельства?

— Мне донесли,— продолжал Стимсон,— что большая группа ученых, участвовавших в успешных испытаниях в Аламогордо, собирается выступить с протестом.

— Против чего? — вскинул брови Трумэн поверх тонкой оправы своих очков.

— Трудно мне ответить вам, мистер президент,— нерешительно сказал Стимсон. — Здесь смесь проблем военных и... как бы это выразиться... нравственных, что ли?

— Потрудитесь говорить конкретнее! — нетерпеливо потребовал Трумэн.

— Эти ученые считают, что применение атомной бомбы станет для нашей страны трагедией, в тысячу раз более ужасной, чем Перл-Харбор.

— На чем основывается это безответственное заявление?

— На том, что Америка не сумеет долго оставаться монополистом в области атомного оружия. Атомная же война будет означать конец человечества.

— Это все антиамериканская пропаганда! — воскликнул Трумэн. — Пацифистская болтовня антипатриотов, которые, скуля против пролития крови, охотно положат в карман гонорар за осуществление «манхэттенского проекта». Кстати, среди этих «протестантов», наверное, есть ортодоксальные католики. Скажите им, что смерть в атомном пожаре столь же освящена католической церковью, сколь в свое время благословлялась ею смерть еретиков на костре. Атомная война исключает пролитие крови. Что же касается монополии на новое оружие, то, как вы полагаете, Стимсон, решился бы я сказать Сталину о нашем достижении, если бы не был уверен, что в России не смогут создать ничего подобного? Таким образом, надо быть полным идиотом и неучем, чтобы пророчествовать...

— Простите, сэр,— прервал Трумэна Стимсон,— но вопрос вышел за рамки болтовни нескольких идиотов. В Чикагском университете создана специальная комиссия под председательством нобелевского лауреата профессора Франка. В нее вошел и Лео Сциллард. Так вот, они и целый ряд других ученых, разрабатывавших и осуществлявших «манхэттенский проект», подготовили на мое имя петицию.

— Чего они в ней просят?

— Я бы употребил слово «требуют». А требуют они прежде всего не применять атомной бомбы против Японии.

— И предоставить «джэпам» возможность уничтожить еще десятки тысяч наших парней?

— У них иной подход. Ученые полагают, что если

мы первыми обрушим иа человечество наше страшное оружие уиичтожеиия, то лишимся возможиостн договориться о междуиародном контроле иад производством его другими страиамн. Заметьте, мистер президеит, это ие мое миение! — осторожио уточиил Стимсои.

Но президеит как будто и ие слыхал этого уточнеиия, со злым сарказмом иабросился иа миинстра:

— Ах, вот оио что! Пустить коту под хвост два миллиарда долларов, которых стоил «маихэттеиский проект», и после этого позволить поступлеиие из Японии иовых тысяч цииковых гробов с телами америкаицев! Позволить Сталину обезопасить иа долгне годы свой тыл и делать вид, что без его помощн нам ие совладать с Японией! Этого хотят ваши «битые горшки», как всегда иазывал этих ученых Гровс? Или и сами вы проииклись жалостью к обречеииым на смерть иашим врагам?

— Я христиаиии, сэр, и мне всегда жалко, когда умирают людн. Но я также и воеииый, поэтому даю волю жалости только тогда, когда гибиут америкаицы...

Трумэн задумался. Все, что до сих пор касалось атомной бомбы, воспринималось им, так сказать, «по прямой». Будет ли бомба? Когда? Какой окажется ее снла?..

Но вот бомба родилась. Более того, уже намечен срок ее использоваиия. И тут вдруг объявляются охотинки похныкать иад колыбелью могучего ребеика, «шустрого мальчика», как окрестнли иовое оружне воениые. Хиычут, вместо того чтобы иести ему свои дары!..

— Чего вы от меия хотите? — спросил Трумэн Стнмсоиа.

— Утвердить обозиаченные цели,— ответил тот.

— Ах, боже мой, я ие о целях! Конечио, мы их утвердим. Я об этих аитиамерикаицах, о затеваемой ими кампаиии против жестокости Америки.

— Мнстер президеит! — торжествеиио произиес Стимсои. — Проследнте хотя бы главиые этапы нстории развития вооружеинй. Вы ие найдете случая, чтобы какая-либо страиа, ставшая обладательиицей более мощиого орудня, ие была бы объявлена жестокой и бесчеловечиой.

— Что же из этого следует? — все так же резко спросил Трумэн. — Разве уииверситетскнх крыс тревожит мощиость бомбы?

— Не вполне, сэр. Они нсходят из одной коицепцнн, мы с вами — нз другой.

— Пояснвте.

— Ну, как бы это сказать... Им представляется, что бомбу они создалн для того, чтобы удержать иароды от вооружеииой борьбы. Парадокс? Да, если хотнте. Но они так счнтают. А по-моему, н, смею полагать, по-вашему, все это глупостн. Если какаялнбо страиа стремнтся обогнать другую в вооружениях, то вовсе не для поздравлений на финише. Война не соревноваиие иа беговой дорожке. Тем более атомиая война. И дело, как мне кажется, не в том, расколотнм мы «джэпов» нлн нет,— это теперь вопрос решеииый. Нет, сэр! Речь идет не о Японии, а о той исторической роли, которую будет играть иаша страна иа другой деиь после взрыва.

— Какой вы видите эту роль?

— Роль Всевышиего. Властителя мнра.

— Не кощунствуйте, Геири,— уже мягче сказал Трумэн. И добавнл, иазидательио приподняв к потолку указательиый палец: — Миром правит только одии властелин, господь бог.

— Простите, сэр. Я говорю о грешных, земиых делах. И, кроме того, мие почему-то кажется, что та роль иашей страны, которую ей придется играть, ие может быть просто актом честолюбия. Оиа, эта роль, предопределеиа Соединеииым Штатам свыше. Имеиио эту коицепцию я н противопоставляю той, что пытаются создать иаши, так сказать, учеиые фабиаицы. Примерно это я писал в своей записке, которую иедавио вручил вам.

— И вы были тысячу раз правы! — одобрил Трумэн. — С тех пор как атомиая бомба стала реальностью, ие было дия, чтобы я ие благодарил бога за его великую мнлость, за то, что он сделал иашу страну своим иаместнком иа Земле. О, ие думайте, Геири, что вопросы морали не трогали меия! Но я спрашивал себя, что гумаииее: еще год войны и вереница свинцовых гробов, плывущнх к берегам Америки, или едииовремениый удар хирурга? Я спрашивал себя: что возымеет реальиое воздействие иа человечество? Так иазываемый «холостой выстрел», «показательный» эксперимеит, который газетиые писаки всего мира завтра же объявят блефом, «хлопушкой для слабоиервных»? Или удар по противиику? Удар, который спасет миожество америкаиских жизней и в то же время покажет, что такое теперь Америка! Я много думал об этом, и ответ был только одии: удар по противнику! А теперь коичим этот разговор. История показывает, что великие решеиия всегда принимались без проволочек. У вас есть перо?

Стнмсои выиул из бокового кармана кирпнчного цвета «паркер», отвиитил колпачок и протяиул президенту. Тот взял перо и медлеиио произиес:

— Я полагаю, что бомба должиа быть сброшеиа иа одии из этих четырех городов шестого августа, а иа другой — девятого числа. В это время мы с вами будем иа «Аугусте». Это избавит иас от иазойлнвых репортеров и... иаглых профессоров. Писать я ннчего ие буду, вы оформите даты и все формальиости своим приказом. Но вот вам моя подпись в доказательство, что все со мной согласоваио.

С этими словами Трумэн размашисто расписался в верхием углу листа с иазваииями четырех японских городов.

Стимсои иа всякий случай подул на уже просохшие строки и положил лист в папку. На полпути к двери Трумэн остаиовнл его.

— Генри!.. Еще одиа просьба. Проследите за исполнением ее лично. Я хочу, чтобы перед тем как отправить бомбу в последний путь, было проведеио... богослужение.

— Я сделаю это, сэр,— ответил Стимсои, избегая встретиться с Трумэном взглядом.

Во втором часу дня того же 25 июля Черчилль вернулся на свою виллу. Отлет его намечался через час с аэродрома Гатов.

На этот раз не было ни почетного караула, ни вереницы машин с провожающими. Черчилль заранее распорядился, чтобы его недолгая отлучка в Лондон носила чисто деловой, будничный характер. Человек ненадолго покидает Бабельсберг, он, конечно же, вернется сюда. Какие уж тут проводы, к чему прощания!

Черчилль летел один. Идена обстоятельства вынуждали задержаться в Бабельсберге еще на несколько часов, а Эттли отбыл несколько раньше.

Пролетая над Ла-Маншем, британский премьер посмотрел на стрелку измерителя высоты, потом на часы, прикрепленные рядом с альтиметром на передней стенке салона. Альтиметр показывал тысячу шестьсот метров, часы — десять минут пятого.

Пролив в тот день был неспокоен. Белые барашки волн отчетливо различались даже с полуторакилометровой высоты. Облака заслоняли солнце. Англия встречала Черчилля нахмурившись.

«А если неудача? — в который уж раз подумал он с тревогой. — Значит, все, что сделал он для своей страны, для англичан, пропало бесследно? Нет, этого не может, не должно быть. Нельзя поверить, что навсегда исчезли, не оставив после себя никаких следов, Атлантида, сады Семирамиды, победы Цезаря и Ганнибала... Неужели исчезнет старая колониальная Индия, столько лет являвшаяся украшением британской короны? Неужели забудется его, Черчилля, речь в парламенте, в которой он призвал англичан бороться с Гитлером на земле, на море и в воздухе, речь, которую весь демократический мир объявил исторической? А друзья и враги его молодости? Где это все, где?! Неужели в Прошлое нельзя вернуться хотя бы на уэллсовской машине времени... которой никогда не было и не будет?..

Имя писателя-фантаста Герберта Уэллса, пришедшее на ум Черчиллю, еще более ухудшило его настроение. Этот лейборист, фабианец, социалист, черт знает кто еще, всегда был против него. Издевался над ним в своих памфлетах. Считал снобом, оторванным от народа, сравнивал с итальянским писателем-фашистом Габриэлем д'Аннунцио... Интересно, много ли сторонников этого осквернителя величия Британии обнаружат избирательные пакеты, которые сейчас непрерывно вскрываются там, в Лондоне?..

Нет, к черту! Этого не может быть! Пройдут всего один-два коротких дня, и в кабинете премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, раздастся телефонный звонок. Он услышит громкий голос Эттли,— зачем этому невзрачному человеку такой голос? — поздравляющего его с победой.

Что он, Черчилль, скажет в ответ? Поблагодарит, конечно, и предложит неудачнику готовиться к отъезду в Бабельсберг? Опять в том же качестве — безвластного символа британской демократии?.. А в каком же еще? Даже в самые тяжелые минуты ожиданий, неопределенности, тоски по уходящим годам и медленно ускользающей власти Черчилль не мог представить на своем месте этого Эттли.

«Все возвращается на круги своя»,— мысленно процитировал он строчку из Экклезиаста. На «круги своя» имело сейчас для Черчилля только один смысл: он вернется вновь в Бабельсберг признанным лидером консервативной партии, полновластным премьер-министром. И первым жестом, который он сделает, войдя в зал Цецилиенхофа, будет изображение двумя поднятыми вверх пальцами — указательным и средним — любимого знака «V» — Виктория! Победа!

А потом... Потом разгорится бой! Настоящий бой там, за столом Конференции. Бой, в котором главнокомандующий может быть спокоен за свой тыл, когда он во всеоружии власти...

Напряженно протекал все тот же день — 25 июля — и в кабинете Сталина на Кайзерштрассе, где собралась советская делегация — эксперты, советники, высшие военные руководители.

— Что ж, давайте подведем некоторые итоги нашей общей работы за время Конференции,— сказал Сталин.

Он набил трубку, выкрошив в нее две папиросы «Герцоговина Флор», закурил, сделал несколько шагов по комнате и, остановившись в центре ее, продолжил:

— Особыми успехами мы пока что похвалиться не можем. Вопрос о будущем Германии еще не решен. Польская проблема тоже висит в воздухе. Трумэн и Черчилль нас явно шантажируют. Они говорят: в Ялте было решено увеличить польскую территорию за счет Германии, но границы остались незафиксированными. И предлагают альтернативу: либо ждите мирной конференции, а Польша тем временем останется со спорными границами; либо оставьте за Германией Штеттин с примыкающим к нему индустриальным районом, и тогда «польский вопрос» будет разрешен. На такое «разрешение» польского вопроса мы не пойдем. Польские товарищи, которые пробудут здесь до конца Конференции, тоже не пойдут... Союзники требуют от нас уступок. Что ж, в принципе мы не против уступок. Без взаимных уступок не может быть успешных переговоров. Некоторые уступки мы сделали. Теперь дело за господином Трумэном и господином Черчиллем.

— Разрешите вопрос, товарищ Сталин,— приподнялся с места начальник Генерального штаба Антонов. — Вы полагаете, что Черчилль вернется?

Сталин глубоко затянулся, выпустил из обеих ноздрей дым и сказал с легкой усмешкой:

— Не лучше ли вам задать этот вопрос товарищу Гусеву? Они с Черчиллем — б-о-льшие друзья.

Антонов сел. Гусев промолчал. Но заговорил тоном утешения Вышинский:

— Кто знает, может быть, Черчилль окажется менее вздорным и более сговорчивым, когда вернется из Лондона.

— А если не вернется? — слегка щурясь, спросил Сталин.

— Что ж,— пожал плечами Вышинский,— в этом случае его преемникам важно будет показать миру, что они успешнее ведут переговоры, чем их предшественники.

— Для меня бесспорно лишь одно,— подал реплику Молотов,— если Черчилль выиграет на парламентских выборах, он станет в десять раз несговорчивее.

— Боюсь признаться,— негромко сказал Вышинский,— мне не всегда ясны его отношения с Трумэном.

— Предоставим им самим разбираться в этих отношениях,— произнес назидательно Сталин. — Для человечества было бы благом, если бы удалось установить хорошие отношения между нашей страной и Америкой. Но пока это не получается.

Сталин сделал паузу, несколько раз затянулся трубкой, прохаживаясь по комнате, и сказал:

— Было бы неверно считать, что к перерыву Конференции мы пришли совсем без положительных результатов. Вопрос о выборах и о государственном устройстве в странах юго-восточной Европы можно считать более или менее согласованным. Точнее сказать, союзники, сами того не желая, пошли нам навстречу, подвесив этот вопрос на итальянский якорь.

— Я полагаю,— опять заговорил Вышинский,— что искусство, с каким товарищ Сталин повернул «итальянский вопрос» в пользу соседних с нами государств, было поистине сталинским.

Молотов слегка скривил губы. Он лучше Вышинского знал Сталина. И, в частности, давно усвоил, что Сталин, поощрявший славословие по своему адресу, так сказать, в широких масштабах, не терпел лести в узком кругу. Пора бы усвоить это и Вышинскому, но у того все время срабатывал его «меньшевистский комплекс». Вышинский никак не мог поверить, что былая его принадлежность к меньшевикам окончательно забыта Сталиным, и пользовался любым случаем, чтобы польстить ему.

Некоторые из присутствующих подумали, что Сталин сейчас ответит язвительной насмешкой. К этому средству он частенько прибегал, когда хотел поставить кого-либо на место.

Но Сталин молчал, вторично остановившись в центре комнаты. В это время мозг его был занят другим, куда более значительным.

Выдержав довольно долгую паузу, он сказал наконец, как бы размышляя вслух:

— Мне хотелось бы знать сейчас не то, как поведет себя, вернувшись сюда, Черчилль, и не то, окажется ли сговорчивее Эттли, хотя это, конечно, важно. Мне хотелось бы знать сейчас самое важное. А что, по-вашему, было самым важным на Конференции за последние сутки? Я считаю самым важным то, что услышал вчера от Трумэна уже после заседания. Он сказал мне, что в Америке изобретено оружие невероятной, как он выразился, силы. Для чего Трумэн сообщил это нам? Союзническая информация?

— Цену себе набивает,— неприязненно произнес Молотов. — Так я думал вчера вечером, так думаю и сегодня.

— Очевидно, не без этого,— согласился Сталин. — И все же...

Он вдруг оборвал себя на полуфразе, прошелся по комнате, сосредоточенно глядя под ноги, и сел за свой письменный стол, что редко делал во время совещаний. Здесь он продолжил свои рассуждения:

— Мы должны отдать ясный отчет в реальности ситуации. Я думаю, что новое оружие у американцев есть, и это оружие — атомная бомба... Неожиданность? Нет. Вы помните, когда немцы стали распускать слухи о «сверхоружии», с помощью которого они надеялись решить исход войны в свою пользу? У Гитлера действительно были шансы, если бы... союзники не применили свою «технологию». Они пригласили ученых-атомщиков на корабли и вывезли их сначала во Францию и Англию, а потом в Америку. Американцы много писали об этом. Но затем все засекретили. Даже имена ученых... Почему бы это? Какой мог быть сделан отсюда логический вывод? Только один: работы по созданию атомного оружия возобновились в Соединенных Штатах. Словом, кто-то родился с мозгами, а кто-то мозги импортировал. Но факт остается фактом: я уверен, что теперь американцы атомную бомбу имеют. Если я ошибаюсь, пусть Громыко меня поправит.

Сталин редко, очень редко произносил длинные речи, особенно в тесном кругу своих ближайших сотрудников. Еще реже этот волевой, самоуверенный человек обращался к ним за помощью. Да и сейчас он скорее думал вслух, чем вел разговор с десятком людей, собравшихся в его рабочей комнате. И, может быть, от раздумий перешел к прямому общению с ними, только когда встретился взглядом с Громыко.

— Могу сказать одно,— откликнулся Громыко,— перед войной и в первые ее месяцы научная и даже очень далекая от науки пресса Соединенных Штатов много шумела о работах по расщеплению атомного ядра. А потом все публикации такого рода прекратились. Как по команде. Очевидно, и была подана такая команда.

— Очевидно, так,— задумчиво произнес Сталин и стал развивать свои мысли дальше: — Сочтем реальным фактом то, что Соединенные Штаты обладают атомной бомбой. Тогда я хочу повторить свой первоначальный вопрос: каковы цели, которые преследовал Трумэн, произнеся в неофициальном разговоре со мной туманную фразу об оружии «невероятной силы»?

— Конечно,—сказал Антонов,— главная цель — заставить нас пойти на уступки в переговорах.

— Логично,— отметил Сталин и тут же задал новый вопрос: — А кому, по-вашему, может реально угрожать Трумэн своим новым оружием?

— Поскольку Америка воюет сейчас только с одной страной, Японией, следовательно... — начал было Антонов, но Сталин мягко прервал его:

— Мы все должны подумать и заглянуть дальше. Конечно, Америка очень заинтересована и в достижении выгодных для нее результатов на нашей Конференции, и в завершении войны с Японией. Это важные цели для Америки. Но кто может поручиться за то, что своим коротким, как бы мимолетным сообщением о новом оружии Трумэн не начинает новую долговременную политику Соединенных Штатов в международных отношениях? Ее, эту политику, можно было бы назвать политикой с позиций силы. Причем под «силой» в данном случае понимается не только экономическая мощь Америки и ее вооружения вообще, а именно атомная бомба.

— Вы полагаете, товарищ Сталин, что вчерашним своим сообщением Трумэн решился на косвенную, если не на прямую угрозу своим оружием нам? — спросил Громыко.

— А разве это так уж неестественно для представителя тех кругов Америки, которые разжирели на войне и жаждут мирового господства? Ведь вы же сами, товарищ Громыко, характеризовали Трумэна как представителя именно этих кругов, и я все больше убеждаюсь, что у вас имелись для того достаточные основания. Какие же следуют отсюда практические выводы?

Сталин умолк, плотно сжав губы. Безмолвствовали и остальные участники совещания. Тяжкие думы навалились на всех.

Кто знает, какие видения толпились в те минуты перед мысленным взором лидера Страны Советов. Возможно, в памяти его воскресло письмо, полученное еще во время войны от ученого-физика Курчатова? В этом письме разбиралась проблема исследования урана в Советском Союзе, ее мирный и военный аспекты, высказывалась категорическая убежденность, что в Соединенных Штатах полным ходом разрабатывается именно второй аспект — военный, — и содержалась просьба срочно восстановить ликвидированную ядерную лабораторию. Были аналогичные письма и от других ученых. Но тогда проблема урана, наверное, показалась Сталину несколько отвлеченной, а положение на фронте было слишком тяжелым, чтобы вкладывать средства в дело, не сулящее немедленной отдачи. Однако Политбюро поручило уполномоченному ГКО по науке Кафтанову всесторонне ознакомиться с мнением ученых и нашими реальными возможностями. В результате была восстановлена ядерная лаборатория, зашифрованная под номером «2». Потом она переросла в институт, и целая группа ученых получила все, что можно было получить в военные дни, для экспериментальных работ по расщеплению атомного ядра.

— Итак, я жду ответа, — напомнил Сталин, нарушая слишком затянувшуюся паузу.

Первым откликнулся маршал Жуков:

— Я считаю, товарищ Сталин, что в ходе дальнейших переговоров ни в коем случае нельзя дать повода Трумэну считать, будто ему удалось запугать нас.

— Товарищ Жуков может быть спокоен, — медленно произнес Сталин, — таких поводов мы не дадим ни Трумэну, ни другим охотникам пугать нас. Хотя я повторяю еще раз: для человечества было бы благом, если бы удалось установить хорошие отношения между нашей страной и Америкой... Какие еще будут соображения? Впрочем, одно соображение я выскажу сам. Мы не можем допустить, чтобы в исторической перспективе Америка или какая-либо другая страна могла бы иметь решающее военное превосходство над нами. Мы должны внушить всем нашим недругам и не слишком надежным друзьям, что разговаривать с нами с позиций силы бесполезно.

— Только бы не запоздать, — подал реплику Антонов.

Сталин остановил на нем свой тяжелый взгляд.

— Что вы имеете в виду? Атомную бомбу?

— Да! — твердо ответил начальник Генерального штаба.

— Вы полагаете, что нам надо было раньше начать работы в этом направлении? — снова спросил его Сталин. И сам же ответил на свой вопрос: — Нет, с этим мы не опоздали. Были, несомненно были военные проблемы, разрешением которых нам следовало бы заняться пораньше. Но к атомной бомбе это не относилось. Социальный строй, цели, которые ставит перед собой наша страна, исключают возможность подготовки оружия массового уничтожения людей до тех пор, пока мы не убедимся, что его готовят или уже им обладают другие. Такого вида агрессивное оружие мы могли начать создавать только «в ответ»...

И на этот раз Сталин опять словно бы разговаривал сам с собой. Но слишком тяжела была ощущаемая им ноша, и ему, вероятно, хотелось, чтобы и другие взяли на свои плечи какую-то часть ее. Скрывать правду он считал ниже своего достоинства. Поэтому и заявил здесь четко и безоговорочно:

— Атомная бомба нужна Советскому Союзу не для нападения, а для защиты. У нас ее пока нет. Но она будет. И это время не за горами.

Как бы подтверждая его слова, дверь кабинета бесшумно раскрылась, и невысокий лысый полковник вошел в комнату. Стараясь шагать как можно тише, он направился к Сталину. Все присутствующие понимали, что только чрезвычайные обстоятельства могли заставить помощника Сталина нарушить ход совещания.

Понимал это и сам Сталин. При виде Поскребышева он умолк, нахмурился и, не отходя от стола, сделал полуоборот в сторону своего помощника. Но тот не произнес ни слова, пока не подошел к Сталину вплотную.

— Вас просит к телефону Курчатов, — доложил он почти шепотом. — Говорит, срочное дело. Я сказал ему, что...

— Он хочет знать, что скажу ему я, а не вы, — резко, но не повышая голоса, ответил Сталин. Потом, обращаясь к присутствующим, объявил уже громче: — Я должен переговорить по телефону. Сделаем перерыв, покурим... Кто желает, конечно...

Глава тринадцатая
ПОМОЛВКА

Вечером того же 25 июля в Бабельсберге произошло еще одно событие. Оно не запечатлено ни в стенограммах, ни в протоколах. Оно никак не повлияло на ход и исход Конференции. Впрочем, и звания-то «событие» оно вряд ли заслуживает. Просто в этот вечер в семь сорок пять советский журналист Михаил Воронов, беспрепятственно пройдя советскую контрольную заставу, оказался около американского контрольно-пропускного пункта...

Дежурный сержант с автоматом на груди, с сигаретой во рту и в рубашке цвета хаки с задранными чуть ниже локтей рукавами пристально глядел на меня, как только заметил мое приближение. Для него я выглядел подозрительно. В самом деле, какой-то тип в гражданском костюме, без машины, без портфеля, прется на ночь глядя в американский сектор.

Поравнявшись с сержантом, я вытащил на всякий случай все мои пропуска. Он разглядывал их довольно долго. Наконец выплюнул в сторону мокрый окурок сигареты, сказал «о'кей» и возвратил мне документы.

Я сделал еще несколько шагов вперед, огляделся. Брайта поблизости не было. Но едва я подумал так, как услышал рокот автомобильного мотора. Брайт точно с неба спустился, подобно ангелу или привидению. Затормозив свой «джип», крикнул:

— Долго еще нужно ждать тебя?

— Ждал тебя я. Сейчас семь сорок восемь,— ответил я.

Чарли нахмурился, посмотрел на свои часы и удовлетворенно отметил:

— Побеждать вы умеете, это доказано. А вот качество ваших часов сомнительно. Сейчас семь сорок шесть на моем «Патэке».

Его самодовольство было непрошибаемо.

— Куда поедем? — спросил я по инерции.

Брайт вытаращил глаза.

— Я же тебе еще утром сказал — к Джейн.

— Удобно ли?.. Ведь для твоей Джейн я совершенно незнакомый человек.

Брайт, как всегда, начал балагурить:

— Во-первых, ты не один, а со мной. Пытаться пролезть к ней без меня не советую. Во-вторых, там будут еще две-три девушки — подруги Джейн. Наконец, я пригласил, кроме тебя, одного американского парня — нашего товарища по профессии...

Джейн стояла на пороге маленького одноэтажного коттеджа, как бы зажатого двумя большими виллами, и глядела на приближающийся «джип».

Освещенная фарами, она показалась мне очень эффектной. Форменное, по фигуре сшитое платье, копна льняных волос на голове, талия «в рюмочку»...

— Добро пожаловать, мистер Воронов,— сказала Джейн, обращаясь ко мне. — Чарли дал слово, что привезет вас живого или мертвого. Надеюсь, вы живой, Майкл... Могу я так называть вас?

— Ну, разумеется,— пробормотал я, вышел из машины и пожал протянутую мне узкую ладонь.

Вот так, ведомый за руку Джейн и сопровождаемый Чарли, я миновал узкий коридор и очутился в тускло освещенной комнате. Источником неяркого света были тонкие свечи, симметрично воткнутые в большой торт.

Я сразу понял: Брайт утаил от меня, что у Джейн сегодня день рождения.

Итак, торт и свечи были первыми, что бросилось мне в глаза. Затем я увидел двух девушек и худощавого мужчину неопределенного возраста, в очках. Они сидели на диване. Почти вплотную к дивану был придвинут маленький столик с напитками.

— Это наш русский друг,— объявила своим низким голосом Джейн, и улыбка опять разлилась по всему ее лицу. — Разрешите, дорогие гости, сразу же представить вас друг другу: мистер Воронов — миссис Лоуренс Ли, мистер Воронов — мисс Диана Масон, мистер Воронов — мистер Пол Меллон.

Я едва успевал повторять стандартные слова приветствия. Джейн произносила имена скороговоркой, но с выражением такого удовольствия, даже счастья на лице, будто для нее нет и не может быть большей радости, чем засвидетельствовать акт знакомства мисс или мистера такого-то с мистером Вороновым.

— Что вы будете пить? — заглядывая мне в лицо снизу вверх, спросила Джейн.

Я уже обладал достаточным опытом общения с англосаксами, чтобы не отвечать отказом на этот неизменный вопрос на любом сборище.

— «Бурбон» с содовой,— ответил я, назвав излюбленный у американцев напиток — виски их отечественного производства.

Через мгновение Чарли сунул мне в руку высокий стакан с желтоватой жидкостью.

— Тост, тост! — почему-то закричали гости.

Это было мое первое посещение частного американского дома. Те несколько минут, которые мне довелось провести в неопрятной берлоге Чарли, не в счет. Квартира Брайта вовсе не похожа на человеческое жилище,— это какое-то складское помещение. Я бывал у американцев в блиндажах, в штабах, но вот так, как сегодня — в частном доме,— оказался впервые. Мне невдомек было, что американцы на своих вечеринках никогда не провозглашают тостов и эта церемония затеяна здесь только для меня, потому что Джейн и ее гости прослышали, будто у русских без тостов и праздник не в праздник.

— Леди и джентльмены,— сказал я, поднимая на уровень груди свой стакан с виски. — Во-первых, мне хотелось бы проникнуть в тайну этих свечей. Надеюсь, что получу такую возможность. А пока... пока у меня на языке вертится много тостов. Тысяча первый из них: за нашу общую победу! Тысяча второй — за американскую армию и американский народ. Нелишним будет тост за американского президента и за успех того дела, ради которого он приехал сюда... Я всей душой за эти тосты, но... произносить их не буду. Мне хочется сказать другое. Я первый раз в своей жизни нахожусь в частном аме-

рнканском доме. Думаю, что и вам не часто прнходилось бывать в домах советскнх людей. Давайте же выпьем за то, чтобы мы были хорошнми, добрыми соседями на долгие времена...

Сейчас, трндцать лет спустя, когда я вспомннаю свою речь в комнате Джейн, меня охватывает смущенне. Не слншком ли много телячьего оптнмнзма заключалось в ней? Высказаиного и невысказанного. Но я говорил нскренне, эйфорня победы, как это уже не раз бывало, снова овладела мною тогда.

— А почему нам быть только хорошими соседямн, а не друзьями? — прервал меня Чарлн.

Из неудобного положення вывела меня Джейн.

— Потому что друзьями мы уже являемся! — воскликнула она н первой сделала большой глоток из своего стакаиа.

— Это все не настоящне тосты,— сказал скелетообразный Пол Меллон. Я запомннл его фамнлню, потому что «меллон» по-русски — дыня.

— Пол, перестань! — запротестовала Джейн, но мне показалось, что ее запрет прозвучал как-то поощряюще.

— И ие подумаю перестать,— с преувеличенной настойчнвостью ответил Меллон, вставая и сжнмая в руке стаканчнк с каким-то бурым напитком. — Сегодня день рождення иашей милой Джейн Мюррей. Я не знаю, леди и джентльмены, как долго еще она будет носить эту фамилню, но сегодня ее зовут именно так н родилась она в Соединенных Штатах Америкн, вот в такой же июльскнй день тысяча девятьсот двадцать четвертого года.

Я с упреком посмотрел на Брайта,— почему он не предупредил меня, что мы едем на день рождення? Но Чарлн, видимо прочнтав этот упрек в моем взгляде, сложил большой и указательный палец в колечко. Это озиачало: «о'кей» — все в порядке.

— А теперь,— продолжал Меллон,— я полагаю, мы обязаиы поздравнть Джейн и спеть в честь ее...

И затянул традиционную американскую поздравительную песию: «Happy birthday, Happy birthday». Я ие зиал аиглнйского текста этой песни — помнились только отдельные слова, но тоже подпевал в меру моих скромных возможиостей.

Мие иравилась эта улыбчивая Джейн. Приятиое впечатлеиие произвели на меня и ее подруги, тоже все время улыбавшиеся. Нравился и этот «кощей»— Меллон. Нравился сияющий счастьем Чарли Брайт. В самой этой комнате, в общем-то скромно обставлениой, ио прибраииой заботливой женской рукой, я почувствовал себя очень уютно. На окие стояли вазы с розами — иаверное, чей-то подарок, шкафа ие было, и платья Джейи виселн прямо иа стене, прикрытые белой матерней. С другой стеиы на меня глядели кииозвезды — Кларк Гейбл, Гарри Купер, Бииг Кросби,— там были развешаиы открытки с их портретамн. В углу на тумбочке стояла пншущая машннка стальиого цвета,— эх, много бы я дал, чтобы заиметь такую!

Голубые глаза Джейи в сочетаини с падающими иа лоб льняными волосами придавали ее лнцу и всему, что ее окружало, нечто светлое, веселое, создавалн какое-то весеннее настроенне.

Две другне девушкн, чуть постарше Джейн, очевидно, былн очень блнзки ей, потому что вели себя здесь как дома: то н дело нсчезалн куда-то, прнносилн чнстые тарелкн, ножн и внлкн, не глядя брали с этажерки бумажные салфетки и новые стаканы, когда кто-нибудь хотел смеинть напнток. Там же у этажерки стоялн картонные ящнкн с бутылками и сигаретамн,— каждый подходнл к ним и выбнрал себе напнток или сигарету по вкусу.

Обе подруги Джейн былн блондинкамн, может быть, крашеными,— я плохо в этом разбнраюсь,— очень похожнми, как близнецы. Только Днана чуть повыше Ли. Кощееобразный Меллон, выглядевший старше нас всех, казалось, нзлучал добродушне и был пренсполнен деловитого желания сделать нечто такое, что было бы приятно для каждого из собравшнхся в этой комнате.

А Брайт?.. Ну, сомненнй не было,— он чувствовал себя здесь хозяином и не пытался скрывать это. Следуя своей обычной манере, Чарли дурачнлся, отдавал девушкам прнказания, подобно командиру, показывал прнмитнвные фокусы: горящая сигарета то целнком нсчезала у него во рту, то снова появлялась в губах. Нникого не спросясь, выключил электрнческнй свет. Теперь комната опять освещалась только тоненькнми свечками и стала еще уютнее, так по крайней мере показалось мне. Затем Чарли скомандовал:

— Действуй, Джейн!

Смешно, точно трубач в духовом оркестре, Джейн иадула розовые свон щечкн и, с силой выдохнув воздух, потушила первую свечу. Ждать, пока она погаснт все свечн, пришлось довольио долго, но всем, и мне в том числе, это только прибавило веселья.

Сиова вспыхнул электрическнй свет: Чарли повернул выключатель. Ли н Диана сиова исчезли, и через две-три минуты одна внесла патефон, другая стопку пластииок.

В то время как Джейн и Чарли разрезали торт на треугольиые кусочки и раскладывали их по тарелкам, раздались звуки музыки.

— Вы не боитесь, что разбудите Трумэна? Говорят, он рано ложится спать? — пошутил Меллон.

— Во-первых, босс находнтся в двух кварталах отсюда,— ответнл ему Чарли. — Во-вторых, Джейн работала десять дней без выходных и только сегодня получила свободный вечер. А в-третьих, уж ие хочешь ли ты создать впечатлеиие у моего русского друга, что мы так боимся боссов? Босс — он только на службе босс.

— Вы таицуете? — неожиданно услышал я иад своим ухом и, обернувшись на этот голос, увидел Джейн.

Ее приподнятые руки были протяиуты ко мие. Я прислушался к музыке, стараясь определить, что играет патефои — фокстрот, блюз или таиго? На мое счастье, пластинка была зиакомая, иазывалась «Хау ду ю ду, мистер Браун». Этот быстрый фокстрот мы, как правило, таицевали «через такт», чтобы не тол-

кать друг друга в наших маленьких комнатах... Я молча положил одну руку на талию, другую — на плечо Джейн.

— Эй, Майкл-бэби, не забывайся! — преувеличенно угрожающе крикнул Чарли.

— А какое тебе дело? Мы, кажется, еще даже не помолвлены! — в том же шутливом тоне ответила ему Джейн.

Тихо сидевший в углу со стаканом виски в руке Меллон как будто только и ждал этого. Он встал и крикнул:

— Внимание!

Ли и Диана, разбиравшие, присев на корточки, пластинки, недоуменно опустили руки.

— Почему бы нам сегодня торжественно не объявить о помолвке мисс Джейн Сьюзен Мюррей и мистера Чарльза Аллана Брайта? Ведь все их друзья отлично знают, что фактически они помолвлены. Но что это за помолвка без торжественной огласки? — громогласно спросил Меллон.

— О, Пол!.. — смущенно пролепетала Джейн, останавливаясь и отходя от меня.

— Подумайте только! — продолжал Меллон. — Первое: объявление о помолвке состоялось вскоре после нашей общей победы. Второе: оно произошло во время Потсдамской конференции, знаменующей послевоенный союз между странами-победительницами. И третье: при объявлении присутствовал наш русский союзник, Майкл Воронов. Все это значит, что последующий за помолвкой брак будет так же крепок, как и русско-американский союз! Согласны?!

Я не знаю, кто первый закричал в ответ: «Согласны!», — но мгновение спустя все кричали «согласны».

И вдруг все стихло точно по команде. Девушки и мы с Полом отошли к стенам. Посреди комнаты остались только Чарли и Джейн. Они смотрели друг другу в глаза, будто не замечая нас...

— Майкл-бэби, ты не хочешь поцеловать Джейн? — неожиданно раздался голос Чарли.

Только сейчас я понял, что пропустил церемонию поздравлений. Мы обменялись с Брайтом крепким рукопожатием. Затем я увидел, что ко мне приближается Джейн, подставляя щеку для поцелуя.

— Леди и джентльмены, — положив руку на плечо Джейн и слегка прижимая ее к себе, торжественно произнес Брайт. — Мы не думали совмещать сегодня эти два праздника — день рождения Джейн и нашу помолвку. Но раз уж так получилось — хорошо!.. Я заявляю перед богом и перед вами, что обеспечу этой женщине счастье. Настанет день, и я вдребезги разобью вон ту проклятую пишущую машинку. Вы все мои друзья, и я могу признаться вам, что заработал некую сумму долларов на этой войне. Мы с Джейн решили, что будем жить не в городах-котельных, вроде Нью-Йорка или Детройта, а где-нибудь в Калифорнии, близ Санта-Моники, в бунгало, достойном такой хозяйки, как Джейн. У нас будут дети, и прежде всего сын... Будут деньги...

— Хип, хип, хуррэй! — закричал Меллон, и все тоже закричали «хуррэй»...

— Спасибо тебе, Чарли, — почти шепотом произнесла Джейн, — ты так много собираешься дать мне... А я не могу взамен дать тебе ничего... кроме любви и верности.

— И я буду считать себя вознагражденным сверх меры! — воскликнул Чарли и поцеловал Джейн в обе щеки. — Но, — продолжал он, — будем хорошими христианами и подумаем о ближних. Впрочем, Пол женат, миссис Лоуренс замужем, а мисс Масон, насколько я знаю, тоже помолвлена. Выходит, что одиноким остается только Майкл. Где же твоя Мэрри, Майкл-бэби? Далеко? Что ж, если ты не прочь, мы подыщем тебе американку!

Я чуть было не ответил резкостью, но сдержался. Чарли и Джейн, конечно же, не хотели меня обидеть. Эти люди стали для меня не просто «иностранными знакомыми», но друзьями. Я верил в их искренность. И верил в их счастье, которое в Штатах во многом определяется деньгами, а Чарли имеет нюх на деньги, как гончая на дичь.

И все-таки, недоумевал я, зачем они позвали меня на торжество, имеющее столь интимный характер? Экзотики ради: «русский на американской помолвке»?

Нет, ответил я себе, дело не в этом. Чарли хочет доказать, до конца доказать, что та история с фото была для него случайной, вынужденной, а в главном он останется честным человеком.

Занятый этими своими мыслями, я пропустил мимо ушей какую-то часть пространного монолога Брайта. Очнулся лишь после того, как он опять коснулся меня.

— А теперь я открою вам, леди и джентльмены, одну тайну, — хитро прищурился Чарли. — Ситуация сейчас могла бы быть иной, и главными действующими лицами в ней оказались бы не я и Джейн, а Майкл и Мэрри. Майкла вы знаете. А Мэрри — это его невеста. Их разъединила война. Но через несколько дней они съедутся в Москве. Так, может быть, ты, Майкл, разрешишь нам выпить за ваше здоровье и счастье, так сказать, авансом?

Наконец каждый получил свой стакан. Мне не очень нравилась эта игра, хотя я и не возражал против нее. Мне не нравилось, что совершенно посторонние люди будут ни с того ни с сего праздновать мою с Марией «помолвку», да и что это такое, я знал только из русской классической или переводной литературы. Однако я понимал, что все эти люди хотят сделать для меня нечто приятное...

— Спасибо, друзья, — смущенно ответил я. — Мария тоже была бы благодарна.

— «Мария была бы благодарна», — улыбнулся Чарли. — Но ее здесь нет, и мы вынуждены верить тебе на слово. Леди и джентльмены, как вы считаете, можем ли мы дать этому джентльмену согласие на помолвку, не зная мнения невесты?

— Нет, нет!.. — закричали со всех сторон.

Конечно, все это была игра.

— Что же мне следует сделать, чтобы завоевать ваше доверие? — спросил я.

— Сказать, как собираешься обеспечить ей счастье! — крикнул в ответ Брайт. — Куда, например, вы поедете в свадебное путешествие?

«Свадебное путешествие?.. О боже мой! — подумал я. — Прежде всего мне с Марией надо будет решать, где нам жить: у меня на Болотной или у ее родителей?»

— Свадебное путешествие? — повторил я вслух. — Наверное, мы совершим его на пароходике по каналу. — Заметив на всех лицах недоумение, я пояснил: — Москву пересекает река. Она тоже называется Москвой. А от нее отходит канал, узенький, правда. По каналу снуют пароходики. Прогулка на них в выходной день — лучший вид отдыха, потому что... — Я запнулся, сообразив, что, кажется, слово в слово повторяю скучную, без малейшей выдумки рекламу.

— Ладно. Вопрос номер два. Что ты, Майкл Воронов, подаришь своей невесте в день помолвки? Я, например, дарю вот это.

И Чарли вытащил из заднего кармана брюк плоскую черную коробку. Когда он открыл ее, мне показалось, что вся она наполнена крошечными горящими угольками.

— О-о, Чарли! — простонала Джейн.

На какое-то время она словно застыла над открытой коробкой, держа ее в вытянутых руках. Там на черном бархате лежало чудесное колье.

Бархат был заметно потерт, крохотные крючки, державшие колье в надлежащем положении, погнуты и отчасти даже сломаны. По этим красноречивым признакам я сразу определил, что колье приобретено не в ювелирном магазине, а скорее всего у рейхстага или Бранденбургских ворот в обмен на пятнадцать — двадцать блоков сигарет, сахар и кофе. Очевидно, зажиточная в прошлом немецкая семья лишилась своей фамильной драгоценности.

Чарли бережно вынул колье из коробки и надел его на тонкую шею Джейн.

Все смолкли. Распластавшееся на груди Джейн колье будто загипнотизировало этих людей.

Наконец Пол негромко спросил:

— Как ваша фамилия, Чарли? Может быть, Херст? Или Рокфеллер? Или... это мистификация?

— Мистификация? — нахмурился Брайт. — Что ты хочешь этим сказать? Что... камни не настоящие? Хорошо. Завтра мы с тобой отправимся к любому берлинскому ювелиру. И если он опровергнет твои гнусные предположения, ты платишь мне две тысячи.

— А если подтвердит? — не то всерьез, не то просто раззадоривая Брайта, спросил Меллон.

— Пять тысяч баков с меня, — гордо ответил Чарли. — Или, если ты пожелаешь, спрыгну с площадки Эмпайэр-Стэйт. По твоему выбору.

— Прекратите, джентльмены, немедленно прекратите! — запротестовала Джейн. Она подошла к Брайту и, положив ладони на его щеки, сказала: — Спасибо тебе, Чарли. У меня нет ничего равноценного, что бы я могла принести тебе. Только любовь... и верность...

Последние свои слова она произнесла так тихо, что, кроме Чарли да меня, случайно оказавшегося за его спиной, их вряд ли кто-нибудь смог расслышать.

Во всей этой сцене было что-то коробившее меня, хотя что́ именно, я не смог бы объяснить. Очевидно, дурацкий спор о подлинности драгоценности, он, несомненно, должен был обидеть Чарли и Джейн.

Я посмотрел на часы. Было начало одиннадцатого.

Чарли перехватил этот мой взгляд и громко объявил:

— Джентльмены! Не будем забывать, что наши леди завтра должны подняться чуть свет. Оказывается, несмотря на перерыв в работе Конференции, заседания министров будут продолжаться. А это значит, что их бумажный конвейер не остановится ни на минуту. Итак, леди и джентльмены, мисс Джейн Сьюзен Мюррей (надеюсь, ей недолго осталось носить эту фамилию) и мистер Чарльз Аллан Брайт сердечно благодарят вас за то, что почтили своим присутствием нашу... я бы сказал, интернациональную помолвку. Спасибо тебе, Майкл! — Брайт сделал церемонный поклон в мою сторону.

Как это часто случалось с Брайтом, трудно было понять, искренен он или гаерски нахален. На всякий случай я тоже поклонился и сказал:

— Для меня это была честь...

Прощание заняло считанные минуты. Мы помахали друг другу руками и обменялись обычными «Хай!», «Бай-бай!». Я не знал, повезет ли меня Чарли или мне придется проделать недлинный путь до своего сектора пешком. Но Брайт тут же разрешил мои сомнения, сказав:

— Иди и садись в машину. Только не спутай мою с меллоновской — у него трещина на ветровом стекле. Я сейчас тебя догоню.

Мне вспомнилось, что Чарли намекал — не знаю уж, в шутку или всерьез, — будто собирается остаться у Джейн на ночь. Я, тоже в полушутливом тоне напомнив ему об этом, сказал, что не хотел бы ломать его планы. Но Чарли обиделся.

— Пожалуйста, не забывайся! В Соединенных Штатах существует такое понятие, как «нравственность». Джейн — не Урсула, а я — не Стюарт. Иди в машину!

Я вышел, смущенный своей бестактностью, и влез в брайтовский «виллис». Через минуту показался Меллон, с размаху плюхнулся на сиденье своей машины и крикнул мне:

— А ты все-таки здорово разложил тогда этого Стюарта! Молодец! Это было такое шоу, за которое можно деньги брать! Хай, Майкл!..

Он включил мотор и секунду спустя исчез из виду. «Значит, Меллон тоже был тогда у Стюарта!» — сообразил я.

Какое-то время мне пришлось посидеть в одиночестве. Наступила ночь. Где-то верещали не то кузнечики, не то цикады. Наконец в освещенном проеме открывшейся двери появился Чарли. Он медленно подошел к машине, медленно взобрался на свое

водительское сиденье, охватил руками рулевое колесо...

Все это он проделал молча, что никак не соответствовало обычным его развязным манерам. Я даже подумал: уж не перепил ли он?

— Что с тобой? Тебе нехорошо? — спросил я.

— Нет, мне хорошо,— не поднимая головы, проговорил Чарли. — А камни — имей в виду — самые настоящие! Этот Меллон просто трепло, хотя и друг мне. Я сказал немцу, у которого выменял эти светлячки, что если они не настоящие, то я буду рыскать за ним по всей Германии, пока не размажу его по стенке.

— Перестань, Чарли, ну неужели ты думаешь, что для любящей женщины...

— Конечно, не думаю,— прервал меня Чарли. — Знаю, что она любит меня и без этих камушков. И спасибо тебе за то, что ты по достоинству оценил Джейн. Но запомни: нет такой женщины на свете, которая не думала бы, как жить побогаче и как обеспечить себя на старость. В моем случае исключения нет. Я ведь не вечен.

Это высказывание Чарли показалось мне странным и даже, больше того, противоестественным. В нем была какая-то чуждая мне логика, какой-то сухой, лишенный эмоций, догматический «здравый» смысл. В день своей помолвки думать о неизбежности смерти и приписывать Джейн то, чего у нее наверняка и в мыслях не было, когда она так завороженно смотрела на подаренное ей колье,— все это, конечно, нелепо.

Но в тот момент, когда я уже нашел слова, чтобы возразить Брайту, он вдруг спросил меня:

— А как ты организуешь свою помолвку?

— Видишь ли,— ответил я,— у нас это... ну, как тебе сказать, не принято.

— Что не принято?

— Объявлять о помолвке.

— Запрещают власти? А какой им от этого вред?

— При чем тут власти?! — сердито ответил я. — Конечно, им безразличны и помолвки и венчания. Хоть в церковь иди...

Я почувствовал, что сделал небольшой шаг на стезю элементарной пропаганды. А мне сейчас почему-то хотелось обойтись без этого.

— Дело совсем в другом,— продолжал я, — Раньше, до революции, объявления о помолвках, насколько я помню по литературе, были приняты. Главным образом в богатых семьях.

— А разве у вас за помолвку надо много платить? У нас, как ты видел, это делается совершенно бесплатно. А у вас высокий налог?.. Я угадал?

— Дело не в деньгах. И никаких таких налогов не существует. Просто мы считаем, что подлинная любовь должна сопровождаться лишь минимумом формальностей и шумовых эффектов. «Любить надо молча»,— написано одним нашим великим писателем. И я с этим согласен.

— Что считать «минимумом», а что «максимумом»? — спросил Чарли, пропуская мимо ушей мою цитату из «Клима Самгина». — Ну, хорошо, называй свою помолвку как хочешь, только расскажи мне, как все произойдет у тебя лично. Во-первых, что ты подаришь своей Мэрри?

— Что подарю? — переспросил я... — Я подарю ей цветы.

— А в них? — хитро улыбнулся он, точно ловя меня на месте преступления. — В цветы будет запрятана коробка, а в ней она увидит... Словом, старый трюк!

— Никакой коробки не будет.

— А... что же будет? — ошарашенно спросил Чарли.

— Тьфу ты, черт,— я начинал злиться,— цветы будут! Можешь ты это понять: большой букет цветов!

— Ну, хорошо, допустим,— нехотя согласился Чарли, покачивая головой. — Значит, цветы. А чем еще собираешься ты развлечь ее?

— Я уже сказал: поедем кататься на пароходике.

— Недурная идея! — одобрил Чарли. — Ты арендуешь пароход, пригласишь друзей, наймешь оркестр...

— Чтобы единолично нанять пароход с оркестром и, наверное, с рестораном,— так? — мне придется обратиться в сумасшедший дом.

— Почему именно в сумасшедший дом? Тебя следует понимать буквально или это какая-нибудь русская идиома?

— Советская социальная идиома, если можно так выразиться,— с усмешкой пояснил я. — Ну, подумай всерьез: предположим, у меня есть деньги, чтобы арендовать этот пароходик, скажем, на час — больше не дали бы, их не хватает. Теперь поставь себя и Джейн на место Мэри и меня. Людей, которые на пристани ждали очередного рейса, вдруг отстраняют прочь, а вы единственные поднимаетесь на борт. И пароход увозит вас двоих, оставляя на берегу десятки людей. Справедливо это?

— На сто процентов! — воскликнул Чарли. — Я могу оплатить стоимость рейса, а они нет. Значит, пусть посторонятся, постоят на пристани еще часок-другой. Конечно, на меня они будут смотреть с неприязнью, а мне наплевать!.. Не думай, пожалуйста, что я в принципе презираю бедняков. Я уже как-то говорил тебе, что помню великую американскую депрессию, когда мои родители стали бедняками без всякой вины с их стороны. Но теперь у меня есть работа, есть деньги, почему я должен стыдиться тратить мои доллары так, как мне хочется?..

Что поделаешь, не понимал меня мой американский друг Чарльз Брайт! До его холодного, застывшего в своей неподвижности, как некое высокогорное озеро, сознания, можно было довести лишь отдельные факты, максимум — ситуации. Но заставить его понять справедливость этих ситуаций оказалось делом невозможным.

— Вы будете жить в городе или за городом? — продолжал расспрашивать Брайт. — В Штатах теперь все большее число людей стремится жить за городом. Статистика доказывает, что, живя за городом, можно продлить жизнь.

— Наверное, она права. Но нам с Марней придется жить в городе.

— Придется? — подозрительно переспросил Чарли.

— Ну, конечно! Оба мы будем работать и учиться. А это значит, что потребуется много ездить. Каждый день... А машины у нас нет! — поспешил я предупредить следующий его вопрос.

— У тебя хорошая квартира в Москве?

— Гм-м,— промычал я,— вполне приличная.

— Принадлежит тебе или родителям?

Ах, черт побери, ну как объяснить этому младенцу, что квартиры в Москве «принадлежат» Моссовету, а мы, москвичи, являемся лишь арендаторами, платя за это грошовую по сравнению с американской, чисто символическую квартплату?! Конечно, я мог бы наговорить Брайту бог весть что и описать свою квартиру, используя один из запомнившихся мне интерьеров в каком-то заграничном фильме. Но я сказал себе: «Нет. Не хочу. Не буду. В конце концов мы раздавили Гитлера, мы добились Победы и не к лицу мне стыдиться нашей действительности».

— Квартира по нашим стандартам средняя,— ответил я Брайту. — Большая комната. Я живу в ней вместе с отцом. — Когда мы с Марней поженимся, сделаем в комнате перегородку.

Наступило молчание. Чарли в задумчивости покачал головой и предложил:

— Поедем?

— Конечно, поедем, уже поздно.

Брайт включил мотор, потом фары, и машина рванулась вперед. Путь до границы американского сектора занял не более 10—15 минут. Когда в отдалении замаячил тускло освещенный шлагбаум, Чарли неожиданно остановил машину.

Я недоуменно посмотрел на него.

— И все же я, наверное, не смог бы жить в вашей стране,— сказал Чарли.

«А кому ты там нужен?» — хотел ответить я, но вместо этого спросил:

— Почему?

— Надо слишком много веры.

— Во что?

— Не знаю. Боюсь определить. Ну, наверное, прежде всего в этот ваш коммунизм. И еще... вы предъявляете слишком уж высокие требования к человеку. Хотите, чтобы он не думал о собственной выгоде, чтобы не заботился прежде всего о себе...

— Хочешь сказать, что мы своего рода идеалисты? — усмехнулся я.

— Именно «своего рода»! — воскликнул Чарли.

— Что ты вкладываешь в эти слова?

— А то, что вообще-то вы практичные ребята,— подмигнул Чарли. — Наверное, хотите прибрать к рукам Европу, Германию, во всяком случае... Нет, нет, ты подожди сердиться. Я лично считаю, что у вас для этого есть все основания! Честно тебе говорю: я вас понимаю и одобряю. С точки зрения бизнеса. Вообрази: два концерна вели между собой смертельную борьбу, один из них выиграл. Для чего? Для того, чтобы предоставить побежденному свободу действий? Или для того, чтобы скрутить его в бараний рог?

Мне захотелось проследить за ходом его мыслей до конца, и я спросил:

— Каким же образом, ты полагаешь, мы собираемся подчинить себе Германию?

— Силой, конечно! У вас же здесь войска!

— Но у вас тут тоже войска!

— Ну... тогда через местных «комми»! Кто им помешает выступить завтра от имени всех немцев и заявить, что Германия превращается в социалистическую, советскую страну, или как там еще по-вашему, не знаю.

— Но пока что «комми», если тебе так угодно называть немецких коммунистов, предложили совершенно иное,— сказал я.

— Где и кому? — с усмешкой спросил Брайт.

— Одиннадцатого июня и во всеуслышание,— ответил я.

— Одиннадцатого? — недоуменно пробормотал Брайт. — А что произошло одиннадцатого июня?..

Вот когда мне пригодилась декларация, которую я получил отНоймана и, прочитав, так и носил в кармане своего пиджака.

— В этот день,— сказал я,— Центральный Комитет немецких коммунистов опубликовал в Берлине декларацию.

— Почему именно одиннадцатого?

— Потому что только десятого была разрешена деятельность антифашистских партий и организаций.

— И о чем же в ней говорилось, в этой декларации?

— О необходимости уничтожить остатки гитлеризма. О борьбе против голода, безработицы и бездомности. У тебя есть возражения?

— Нет,— пожал плечами Брайт. — А что еще?

— О воссоздании демократических партий и рабочих профсоюзов. Об отчуждении имущества бывших нацистских бонз. Возражаешь?

— Не валяй дурака, Майкл. Мы демократическая страна. Как же я могу?

— Значит, поддерживаешь. Отлично. Тогда, может быть, ты против мирных и добрососедских отношений с другими народами? Такое требование тоже содержится в декларации. Или возражаешь против возмещения ущерба, который Германия нанесла другим народам?

— Нет, почему же... С этим я тоже согласен.

— Тогда вступай в коммунистическую партию, Чарли! Ты самый настоящий «комми». Я перечислил тебе большую часть пунктов, содержавшихся в декларации. Ты с ними согласен!

— Наверное, ты морочишь мне голову, Майкл! Среди западных журналистов считается аксиомой, что местные «комми» будут действовать как ваши агенты и отдадут Германию в ваши руки. Уверен, что и мои товарищи по профессии, и наши боссы не знают о том, что ты называешь «декларацией».

— А если бы знали?

— Разумеется, напечатали бы в своих газетах. Иначе это была бы нечестная игра.

— Ты за честную игру?

— Я еще ни разу никого в жизни не предал и никому не изменял,— с искренним негодованием объявил Брайт.

Напоминать ему о фотографии не имело смысла. В конце концов он уже в какой-то мере искупил свою вину.

Я полез в карман пиджака, вынул тоненькую брошюрку и протянул ее Брайту.

— На, держи,— сказал я. — Только она на немецком языке. Но, может быть, это и к лучшему. Дай перевести тем, кому полностью доверяешь. Я не хочу, чтобы ты заподозрил меня в искажениях при переводе,. Беру с тебя только одно обещание.

— Какое?

— Ты постараешься, чтобы декларация была опубликована в американских газетах. Хотя бы в одной. И с любыми комментариями.

— Обещаю,— сказал Брайт, взял брошюру и сунул ее себе в карман. После некоторой паузы вдруг рассмеялся: — Все же ты меня удивляешь, Майкл!

— Чем именно? — спросил я.

— Ну, как же: мы вели разговор о тебе, о твоей будущей судьбе, а ты перевел его на судьбу Германии. Да провались она к черту! Подумай лучше о себе!

— В каком смысле?

— Не обидишься, если я тебе отвечу как истинный друг, как боевой товарищ, который никогда не предаст ни тебя, ни то дело, ради которого мы здесь находимся?

— Не обижусь,— пообещал я.

— Так вот что я тебе скажу: не женись. Подожди. Иначе твоя Мэррия бросит тебя максимум через год.

Я почувствовал, что кулаки мои непроизвольно сжимаются.

— Майкл-бэби! — поднимая голову от рулевого колеса и переводя на меня свой сочувственный взгляд, произнес Брайт. — Что ты можешь дать любимой женщине?

— Ты уже сам ответил,— угрюмо сказал я. — Любовь ей свою дам.

— Это неплохо; но я — да, поверь мне, и женщины тоже — предпочитают эту штуку в сочетании с чем-либо, что поддается, говоря аллегорически, фотографированию. Богатых и сильных не предают, за них держатся. Бедняков обманывают, от них в конечном итоге стремятся отделаться. Цветы вместо драгоценностей, прогулка на обшарпанном пароходике, и, самое главное,— жизнь... жить в одной... послушай, мне трудно даже выговорить!

— Не бойся,— поощрил его я. — Ты хотел сказать: «Жить в одной комнате»? Так знай же, у нас так жили десятки тысяч семейств. А сейчас, после этой войны, будут ряд лет жить еще хуже... Слушай, Чарли, что такое, по-твоему, любовь?

Он взглянул на меня ошарашенно.

— Любовь? К женщине?.. Не валяй дурака, Майкл, это ты сам прекрасно знаешь. Это когда женщина нравится, и хочется быть с ней и днем и ночью... Но у порядочного мужчины к порядочной женщине это проявляется лишь при наличии определенного имущественного ценза. Чем выше он, тем лучше.

— Чарли,— сказал я, кладя руку на его плечо,— послушай маленькую историю, потом подвези меня ближе к шлагбауму, и я уйду. Так вот, на войне мы потеряли огромное количество мужчин, убитыми и тяжело ранеными. Теперь представь себе. Молодой парень, моложе нас с тобой, раненный или тяжело контуженный, приходит в сознание лишь в госпитале. Узнает, что остался без ног,— ему грозила гангрена. А у этого парня жена, с которой он прожил меньше года. Она давно не получала от него писем и, наверное, считает мужа убитым или без вести пропавшим. И перед парнем встает вопрос: сообщать жене, что жив, но остался без ног? Или «пропасть без вести»? Как бы поступил на его месте американец?

— Нелепый, абстрактный вопрос! — возразил Брайт. — Смотря что за американец. Если он богат и очень любит жену, то, конечно, надо восстановить себя в своих правах. Если беден и не лишен понятия о чести,— остаться для жены «без вести пропавшим». Если же не может этого вынести, берет в рот ствол револьвера, и... — Брайт снял руку с рулевого колеса и щелкнул пальцами.

— Понятно,— сказал я и тоже щелкнул. — Такое чуть было не случилось и у нас в одном из госпиталей на Первом Украинском фронте... Представь себе: худая, в ватнике и накинутом поверх него затасканном госпитальном халате женщина бьет по лицу парня, лежащего на койке. Бьет, плачет и приговаривает: «Зверь ты, изверг проклятый». А он даже не отворачивается, принимая удары. Ну, тут, конечно, сбежался персонал, стали ее оттаскивать...

— Да что произошло-то, я не понимаю! — нетерпеливо произнес Брайт.

— Ситуация похожа на ту, которую я тебе нарисовал раньше: лейтенант, потеряв обе ноги, скрыл от жены, что жив, и подумывал об этом. — Я снова щелкнул пальцами. — А она узнала, где он скрывается, добралась до госпиталя...

— Понял, понял,— прервал меня Чарли,— благородная женщина из хрестоматии для детей. Но только за что она его била?

— За то, что он посмел усомниться в ее...

— Благородстве?

— Нет. Любви.

— Да... я понимаю,— тихо сказал Брайт,— или...

В это время часовой у шлагбаума, видимо, обратявший внимание на нашу долго стоящую без огней машину, мигнул нам фонариком.

— О'кей, парень, извини, едем! Везу союзника! — крикнул ему Чарли, подъезжая к шлагбауму.

В эти же минуты Черчилль переступил порог резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Он вопросительно посмотрел на стоящего близ двери чиновника. Черчилль даже не помнил, кто он, этот чи-

новик. Ему был нужен ответ. Одно из двух слов: «да» или «нет».

— Окончательные итоги еще не подведены, сэр,— доложил чиновник.

Это взбодрило премьера. Он почему-то обрадовался, что получил отсрочку, сунул в рот сигару и, не зажигая ее, величаво прошел мимо остальных служащих резиденции.

Сопровождаемый Клементиной, Черчилль сразу же заглянул в комнату, которая с начала войны превратилась в узел связи. Теперь сюда стекались сведения о результатах выборов в парламент.

Черчилль молча посмотрел на карты, развешанные по стенам, с воткнутыми в них флажками. Теперь флажки символизировали не расположение войск союзников и противников, а голоса, отданные за него, Черчилля, или за Эттли в различных избирательных округах. Потом перелистал сводку о количестве поступивших бюллетеней, позвонил в Центральное бюро консервативной партии и только после этого проследовал в столовую. Клемми и Мэри уже сидели за столом и ждали мужа и отца к позднему обеду.

Клементина устремила на Черчилля свой нетерпеливый взгляд. Черчилль сел, положил сигару на край пепельницы и сказал:

— Все говорит за то, что мы получим существенное большинство.

Потом вдруг встал, подошел к окну и откинул угол тяжелой шторы. Клементина тоже подошла к окну и встала за спиной мужа. За окном моросил дождь — обычная лондонская погода! Люди шли под зонтами, подняв воротники своих плащей и пиджаков.

— Они не предадут меня! — сказал Черчилль, отводя руку от окна.

Угол шторы упал.

В эти же минуты президент Соединенных Штатов спокойно отходил ко сну. Он сделал сегодня немалое дело: отдал официальный приказ стратегическим воздушным силам на Дальнем Востоке сбросить в любой день начиная с шестого августа — в зависимости от погодных условий — по одной атомной бомбе на два японских густонаселенных города. А чтобы не быть сильно зависимым от погоды, Трумэн представил авиационному командованию возможность выбора: утвердил для нанесения ударов не два, а четыре объекта. В числе их были Хиросима и Нагасаки.

И в те же минуты Сталин вел телефонный разговор с директором Института физических исследований, академиком Курчатовым. Второй по счету разговор за минувшие два дня.

Во время этого второго разговора академик доложил, правда, пока в самых общих чертах, какие потребуются научные силы и материальные средства, чтобы в возможно короткий срок ликвидировать атомное преимущество Америки.

Разговор длился не менее получаса.

Затем Сталин обычной своей мягкой походкой вернулся к ожидающим его участникам совещания и сказал:

— Что ж, давайте продолжим нашу работу.

Глава четырнадцатая

ОБВАЛ

26 июля 1945 года по лондонской Пел-Мел шел пожилой джентльмен, шел, как записал потом в своем дневнике, по направлению к зданию Медицинского колледжа, где он, доктор Моран, и его коллеги привыкли пить свой пятичасовой чай.

На город опускался легкий туман, прикрывая стены домов, увешанные плакатами и листовками консерваторов и лейбористов. Постепенно теряли свои очертания портреты Черчилля с сигарой в углу рта и лысеющего Эттли, казалось, зорко следящего своими хитрыми глазками за прохожими.

Далеко уже не первый год доктор Моран, личный врач премьер-министра, заслуживший в этом качестве звание лорда, жил как бы жизнью своего пациента. Было принято думать, что здоровье Черчилля непоколебимо. Это было так и не так. Он выглядел неутомимым, подвижным, несмотря на массивную комплекцию. Но склонность к апоплексии, желудочные, а иногда и сердечные недомогания (сказывался возраст!), неумеренное курение и пристрастие к виски и коньяку заставляли Морана всегда быть «начеку». А теперь тем более, потому что каждый следующий час мог нанести Черчиллю жестокий удар.

Теперь доктор Моран почти круглые сутки находился, как говорят военные, в «боевой готовности номер один». Утренняя предвыборная сводка гласила, что судьба консервативной партии висит на волоске. И все же в глубине души Моран да и сам Черчилль в возможность поражения не верили. Несмотря на тревожные факты, оба они, оставаясь наедине друг с другом и каждый наедине с самим собой, искали утешения в том, что «народ не может проявить неблагодарности к тому, кому обязан победой».

Но судьба нередко наносит свои окончательные удары вопреки нашим эмоциям, размышлениям и предположениям. В данном случае она использовала в качестве провозвестника такого удара старинного сотрудника Черчилля — Кольвилля. Вынырнув из сгущавшегося тумана, он оказался лицом к лицу с Мораном и, не здороваясь, будто только что расстался с врачом, произнес всего лишь два слова:

— Чарльз, обвал!..

Объяснять значение слова «обвал» необходимости не было. Моран спросил только:

— Есть официальное сообщение?

— Ожидают с минуты на минуту.

Моран бросился к телефону-автомату. Из дома 10 на Даунинг-стрит ему сообщили, что Черчилль находится в военном министерстве и беседует с личным секретарем короля. О чем? Неужели о деталях прощального визита Черчилля в Букингэмский дворец?..

Морану хотелось расспросить Кольвилля о под-

робностях, но тот уже исчез в тумане. Впрочем, к чему тут подробности, главное в самом факте: консерваторы во главе с Черчиллем потерпели поражение. Обвал...

Моран растерянно огляделся. Вопреки всему мир стоял непоколебимо. Невольно подумалось: только в немом кино можно увидеть, как беззвучно рушатся горы, как океанские волны молчаливо вздымают свои гребни к небу или все в том же разъяренном молчании смывают с берегов города. В кино озвученном, так же как и в реальной жизни, все эти катаклизмы сопровождаются грохотом, схожим, наверное, с ревом труб легендарного Страшного суда.

Сейчас вокруг Морана все было противоестественно тихо. Но он знал, что, как бы ни был уверен Черчилль в своей победе, тревоги часто посещали премьер-министра. Черчиллю всегда казалось, что его уход с политической арены, не говоря уже о физической смерти, повлечет за собой нечто вроде всемирного потопа или землетрясения. Может ли Британия — и не только она, а весь мир — спокойно расстаться с Черчиллем — литератором, художником, политиком, оратором и прежде всего, конечно, государственным деятелем!

Оказывается, может. Здания не рушились, как тогда, во время войны, никакой паники не наблюдалось...

Морану ничего не оставалось, как продолжить свой путь в колледж. Все, кого он застал там за привычным чаепитием, умолкли, когда доктор передал им то, что услышал от Кольвилля. Лишь один какой-то невежа позволил себе бестактно громко свистнуть в наступившей тишине.

Моран уничижительно посмотрел на него и снова направился к телефону. Ничего нового узнать не удалось. Повторился прежний ответ: сэр Черчилль — в военном министерстве, беседует с секретарем короля.

Оставив нетронутой налитую ему чашку чая с молоком, Моран поймал такси и назвал шоферу адрес министерства.

В то время мало кто знал, что в здании военного министерства, а точнее, под учреждением, именовавшимся «The office of works in Storey gate»[1], существовали подвалы с бронированным потолком и стальными дверями. Там располагался зал для заседаний кабинета министров, комната для топографических карт, спальня премьера и его личный кабинет. Оттуда Черчилль обращался к народу со своими радиоречами в военные годы.

Когда Моран прибыл в эту подземную крепость, охрана беспрепятственно пропустила его к Черчиллю, сообщив, что посланник двора уехал.

К немалому удивлению Морана, он застал своего пациента не в рабочем кабинете, а в скромной комнате для секретарей. Черчилль сидел один, понуро расплывшись на стуле,— кресел в этой комнате не было. Всем своим видом он как бы заявлял, что считает себя уже не у власти. И отсутствие сигары во рту вроде бы подчеркивало, что прежнего Черчилля не существует.

— Итак, вы уже знаете, что случилось? — спросил он Морана, не поднимая головы.

— Да, сэр,— ответил Моран. — И это меня глубоко возмущает. Такой черной неблагодарности я не ожидал от британцев.

— Будем считать это очередной «загадкой века»,— усмехнулся Черчилль. — А может быть, лейбористы и вправду нашли какие-то пути к сердцам англичан. Вам это не приходило в голову?

— Мне сейчас приходит в голову только одна страшная мысль: не вам, а Эттли придется противостоять Сталину.

— Каждый народ заслуживает такого правительства, какое имеет,— проговорил Черчилль, на этот раз с нескрываемой злобой.

— Разрешите мне осмотреть вас, сэр,— попросил Моран после недолгой паузы. — Ну, как обычно: сердце, давление...

— Кого интересует, как бьется сердце и какое кровяное давление у бывшего премьер-министра Великобритании? — скривив губы, ответил Черчилль. — Вы свободны, Чарльз. Спасибо за сочувствие.

Уже уходя, Моран услышал телефонный звонок. Черчилль взял трубку. В ней прозвучал ненавистный ему сейчас голос Эттли:

— Я не без печали выполняю свой долг, сэр Уинстон. Результаты голосования скоро будут объявлены по радио. Мы победили, сэр.

— Сколько?! — не в силах сдержать себя, крикнул ему Черчилль.

— Мы получили триста девяносто три голоса,— медленно произнес Эттли.

— А консерваторы?

— Двести тринадцать. Считая со всеми, кто к ним примыкал...

Да, это было поражение, «обвал». С незначительным перевесом голосов в новом парламенте можно было бы еще смириться: история знает случаи, когда правительство остается у власти, даже если оппозиция имеет незначительное большинство. Но незначительное! Здесь же перевес почти вдвое. Игра проиграна.

— Поздравляю вас,— негромко, стараясь вложить в эти слова все безразличие, почти оскорбительное равнодушие, ответил Черчилль. — Соответствующая телеграмма будет вам послана сразу же после официального объявления результатов выборов.

— Спасибо,— ответил Эттли. — Мне бы очень не хотелось, чтобы вы рассматривали мой звонок как чисто протокольный или, что еще хуже, услышали бы в нем оттенок злорадства.

Черчилль промолчал.

— Я звоню,— раздался снова голос Эттли,— по весьма серьезному вопросу, который вы, конечно, уже обдумали: нам надлежит вернуться в Потсдам, Самое позднее послезавтра.

— У меня еще достаточно хорошая память,— от-

[1] Когда-то здесь располагалось Управление общественных работ.

ветил Черчилль,— но я не понимаю, какое теперь это имеет отношение ко мне?

— Прямое. Вы оказали бы Британии и мне лично огромную услугу, если бы согласились поехать вместе со мной.

— В каком качестве? — не без ехидства спросил Черчилль.

— Ну... в том, в котором был там я. Вы ведь остаетесь депутатом парламента и лидером оппозиции. Я прошу вас...

— Нет! — отрезал Черчилль. И едва не добавил: «Я в качестве вашего заместителя? Да вы с ума сошли!»

В ярости Черчилль снова представил себе, как Эттли будет восседать на том самом кресле с высокой спинкой, которое он, Черчилль, занимал все эти дни.

— Нет! — еще резче повторил он.

— Это продемонстрировало бы единство нации... — начал было Эттли, сознавая, насколько увеличился бы его престиж в качестве человека, которому будет подчинен сам Черчилль.

— Моя карьера окончена. Я не Мафусаил! — прервал его Черчилль.

— Вы еще не так стары,— польстил ему Эттли. — Я убежден, что впереди вам предстоит немало великих дел.

— Оставим это! — раздраженно бросил Черчилль. И тут же спросил: — Кого вы собираетесь взять с собой в качестве министра иностранных дел?

— Бевина,— ответил Эттли.

— Отличный выбор,— сказал Черчилль как можно безразличнее.

На самом деле он был рад: «Этот «Гиттли-Эттлер» хватит горя с таким резким, умным, но самоуверенным и бесцеремонным человеком. Черта с два Бевин согласится пассивно играть вторую роль».

— Отличный выбор,— повторил Черчилль. И добавил: — Если вы решите прислушаться к моему совету, оставьте на посту заместителя министра Кадогана.

— Я и сам предполагал оставить его. И прошу вас не возражать, если моим личным секретарем станет Рован — сам он не против. Я не собираюсь производить решающих изменений в составе нашей делегации.

«Одно из них уже произведено!» — с горечью подумал Черчилль. Огорчила его и готовность Рована так легко сменить хозяина.

Этот телефонный разговор с Эттли становился все более невыносимым для Черчилля. Но он не сказал еще главного. Не без насилия над собой Черчилль продолжал:

— Вы в курсе хода Конференции и не нуждаетесь в подсказках. Однако несколько рекомендаций, если разрешите, я вам дам.

— Слушаю, сэр.

— Первое: ни в коем случае не уступать в польском вопросе. От этого народа напрасно ждать благодарности. Восточная Нейсе, и больше ни шагу на Запад.

— Я вас понял, сэр,— ответил Эттли.

— Второе: не позволять русским сделать из Германии безопасное для себя географическое понятие. Не обессиливать ее репарациями в пользу русских. Я имею в виду размеры.

— Да, сэр,— скучным голосом откликнулся Эттли, которому уже начали надоедать эти нравоучения.

— И третье,— сказал Черчилль с еще большим нажимом,— не позволять русским советизировать Восточную Европу. Разумеется, в нашем распоряжении остается достаточно средств, чтобы изменить положение, даже если на Конференции оно сложится для Запада невыгодно. Но это будет труднее... Вот, кажется, и все. Остальное вы, конечно, помните.

Последнюю фразу Черчилль произнес таким тоном, точно хотел сказать: не в качестве же манекена вы целую неделю присутствовали на Конференции!

Перед тем как повесить телефонную трубку, Черчилль осведомился:

— Когда вы намерены снова вернуться в Лондон?

— Как можно скорее,— последовал ответ Эттли. — До отъезда в Потсдам я не успею даже сформировать кабинет. В лучшем случае назначу несколько министров на ключевые посты.

— Значит, до скорой встречи,— устало произнес Черчилль. — Желаю успеха. Еще раз примите мои искренние поздравления.

Черчилль повесил трубку и, беззвучно шевеля толстыми губами, вернулся к своим горестным размышлениям: «Да... Это обвал. Триста девяносто три и двести тринадцать. Такого разгрома консерваторы, кажется, еще не претерпевали никогда».

Теперь Черчиллю предстоит ехать в Букингэмский дворец с заявлением об отставке. Он приказал Сойерсу приготовить фрак с орденами и цилиндр. На минуту представил себе, в каком виде явится туда новый премьер-министр. Конечно, в своем помятом темном костюме-тройке. Как будто у него всего один костюм!.. И мундштук трубки будет торчать из нагрудного кармана пиджака...

Черчилль никак не мог вспомнить, курил ли Эттли ее при Сталине. Зато помнилось другое: сам Сталин за столом заседаний, как правило, курил эти свои длинные, с картонным мундштуком, сигареты. Наверное, не хотел даже этой деталью дать повод сравнивать себя с Эттли. А Эттли, в свою очередь, остерегался таких сравнений: боялся выглядеть подражателем Сталина, образ которого в глазах всего мира запечатлелся с трубкой в полусогнутой руке.

И вдруг Черчилль снова почувствовал прилив ярости. «Потерпеть поражение от такого ничтожества!» Он мысленно не только проклинал Эттли, но и хотел бы лишить его всех положительных качеств... Хотел бы, а не мог, подсознательно чувствуя, что не прав, что Эттли далеко не глуп, обладает опытом и талантом организатора. В конце концов как-никак Эттли был заместителем Черчилля в кабинете министров! Нет, Черчилль не унизится до того, чтобы считать своего соперника просто ничтожеством! Этим умалялось бы достоинство и самого Черчилля... Да, он проиграл выборы. Но разве первый раз в жизни ему приходилось терпеть поражение? Поражениям

счету не было. И тем ие меиее в глазах миллнонов людей Черчнлль всегда выглядел победнтелем!

Этот Эттли посмел напомннть ему, что и теперь Черчилль остается депутатом парламента. Черта с два — просто депутатом! Просто депутатов — «заднескамеечииков», безвестных, лншенных какого-либо влияння,— он перевидел за свою долгую жизнь иемало! Нет, он останется ие только депутатом, а лидером консервативной оппозиции правительства его величества короля! Лидер оппознции, глава так называемого «теневого кабинета» — это ие шутка: с ним вынуждены считаться и мнннстры, н премьеры, и даже сам король!

Итак, скоро, очень скоро иадо ехать в Букингэмский дворец, чтобы вручить официальному главе государства заявлеиие об отставке. Время и прочие формальности уже согласованы с королевским секретарем.

На Даунинг-стрит, 10, где все еще иаходилась официальная резиденция и квартира Черчилля, было пусто н тнхо.

Вдруг из дальиего распахиутого окна, прикрытого лишь легкой, кремового цвета шторой, до Черчилля донесся гул человеческнх голосов. На мгновенне мелькнула мысль, что лондонцы, презрев результаты выборов, пришлн его приветствовать.

Он шагнул к окну, хотел было отодвииуть штору. Но перед тем достал нз коробки длинную сигару, откусил ее кончик и, взяв сигару в рот, привычным двнжеиием губ перебросил влево. Перед своим иародом надо было предстать таким, каким тот привык видеть своего лндера всегда.

Когда штора была иаконец отодвинута, Черчиллю хватило мгновеиия, чтобы убедиться, что по Даунинг-стрит шествует лейбористская демоистрацня. Он увидел толпу людей в редком традиционном окруженин «бобби» — лондоиских полицейских, над толпой маячили лейбористские лозуиги, портреты Эттли, Бевина, Моррисоиа и... карикатуры иа иего, Черчилля.

Демоистраиты тоже увидели его. Раздались возгласы: «Черчилль, освободи чужую квартиру!», «Да здравствует Эттли!».

Черчилль резко отодвинул штору до отказа. Теперь его массивная фигура занимала весь проем окна. Он протянул к толпе правую руку, изобразнв указательиым и среднмм пальцамн знак «V». Боже мой, сколько раз этот знак, символнзирующнй «Викторию» — «Победу», вызывал в толпах англичан восторженные приветствия руководителю страны! На этот раз не только пальцы, но и вся рука Черчилля дрожала мелкой нервной дрожью, чего он сам не замечал.

Маинфестанты смолкли. «Перелом?» — с надеждой подумал Черчилль. Однако он ошибся. Возгласы в честь лейбористов прекратилнсь лишь на мгновение. Затем хриплый грубый голос лондонского простолюдина — «кокни» — прокричал:

— Освобождай квартиру! Небось жил бесплатно, не так, как мы!

Вытянутая рука Черчилля задрожала еще сильнее. Несколько манифестантов ответно протянули к нему свои рукн. Но не со знаком «V». Люди показывалн ему кукиш.

В тот же момент кто-то из-за плеча Черчилля задернул штору.

Черчилль обериулся. Это была Клементина.

— Почему ты здесь, а не в Чекерсе? — резко спросил он.

— Я прнехала, чтобы проводнть тебя во дворец,— тихо ответила она.

— В последний раз в качестве премьера?

— Нет. Как мужа н человека.

— Спаснбо,— буркнул Черчнлль.

Ои был сейчас зол на всех, в том чнсле и на самого себя. На всех — за постигшее его поражение. На себя — за то, что оказался не в силах достойно его пережить.

Совсем недавно, мысленно рисуя снтуацию, в которой он оказался теперь, Черчнлль хотел видеть себя хладнокровиым, послушным законам страны джентльменом со слегка уязвленным самолюбием. Не получилось.

Ои ошибся и в этом. Ошибся во всем. Ему не удалось завершнть одио из главных дел его жизни — поставнть русских на подобающее им место. Не удалось победить иа выборах...

Попробовал утешить себя тем, что не все для иего потеряно, что он остается депутатом н лидером партин, что, по траднциониым английским поиятням, ему еще ие так уж много лет н — кто знает — может быть, время пролетит быстро н он снова займет этот особняк иа Дауиинг-стрнт, 10.

Черчилль жаждал утешеиий. Сейчас, когда в ответ на свой приветственный жест он получнл «фигу», даже сочувствие Клементины, с которой всегда так мало считался, послужило бы утешением. Но Клементина ие выражала сочувствия. Она пришла только «проводнть».

Внезапио Черчилль, этот волевой, эгоистнчный, чуждый сентиментальиостям человек, почувствовал себя беспомощным. Тнхо, очень тихо, будто боясь сам услышать себя, он произнес:

— Скажи, Клеммн, еслн знаешь... за что?!.

Клемми была ндеальной жеиой для такого резкого, часто вздорного, самовлюбленного и в то же время умного человека, как Черчилль. Она понимала его с полуслова, почти никогда не спорила с ннм, давно примирилась с тем, что нежность чужда ее мужу. И раз навсегда усвоила, что сеитнментальиость с ее стороны вызывает у него только раздражение. Но сейчас его вопрос — «За что?!» — безотчетно потряс Клементину. Оиа мягко прнкоснулась к покатому лбу мужа и, в свою очередь, спросила:

— Ты имеешь в виду эти... выборы?

— К черту! — иеожиданно резким движением Черчнлль сбросил руку Клементины со своей головы. — Я не настолько глуп, чтобы исключать возможности поражения в ходе выборов. Но... — голос его сник,— я иикогда ие представлял себе другого.

— Чего именно?

— Насколько неблагодарным может быть народ! Народ, которому я посвятил всю свою жизнь...

Перед его глазами мелькали пальцы рук, сложенные в «фиги».

— Да, я всю жизнь был сторонником демократии,— все еще глядя в зашторенное теперь окно, сказал Черчилль. — Однако не плебейской! Но оказалось, что в Англии слишком много плебеев! Я спас их от смерти и разорения, а они при первой же возможности вышвырнули меня. За что?! Когда надо было спасать страну, они подчинялись моей воле. Теперь им захотелось хлеба и зрелищ, и они рассчитывают получить это от лейбористов!

Он умолк, тяжело дыша. Клементина тоже несколько секунд молчала, чтобы дать мужу время успокоиться. Потом сказала:

— Ты хочешь, Уинни, чтобы я была с тобой откровенна в этот час?

— Как и в любой другой!

— Хорошо. Помнишь, я рассказывала тебе о беседе со старым докером. Он не очень лестно отзывался о тебе.

— И что же?

— Докеры и все, кто с ними, боятся тебя, Уинни.

— Меня боялся Гитлер, возможно, боится и Сталин. Но мой собственный народ?! Как ты смеешь!

Перед Клементиной опять стоял так хорошо знакомый ей Черчилль — всегда правый, не терпящий критики. В другое время она произнесла бы несколько корректных слов, подобных воде, вылитой на огонь, и просто ушла бы в свою спальню. Но на этот раз что-то подсказывало ей, аристократке, не гнушавшейся проводить долгие часы в лондонских доках, собирая средства для Советской России, консервативной по убеждениям, но испытавшей чувство ни с чем не сравнимой радости, побывав в ликующей Москве в День Победы,— на этот раз что-то властно приказывало ей: не отступать!

— Ты велел мне быть откровенной. И я выполню твою волю,— твердо произнесла Клементина. — Помнишь, ты как-то сказал, что если от народа требуешь жертв, то и самому надо идти на жертвы?

— Я шел на них во имя победы.

— Да, конечно. И народ это понимал. Но теперь войны нет. И народ хочет расплаты за принесенные им жертвы. Хочет, а не уверен...

— В чем, черт побери?!

— В том, что ты с той же страстью, с которой боролся против Гитлера, станешь заботиться о народном благе.

— Я и народ неотделимы!

— Неотделимы ты и Британия. Ты и подданные его величества короля. Народ же... я не знаю, какие найти слова... Народ — это другое.

— Где ты прячешь свой коммунистический партбилет? Или хотя бы лейбористскую карточку,— кривя губы в ехидной усмешке, спросил Черчилль.

— Ты хорошо знаешь, Уинни, что это незаслуженный упрек. У тебя нет человека ближе, чем я. И мой долг — говорить тебе правду, хотя, поверь, это не всегда легко.

— Значит, по-твоему, расплатиться с народом за военные тяготы смогут лейбористы? Говори до конца.

— Нет, я так не думаю,— покачала головой Клементина. — Они не сумеют, а возможно, и не захотят выполнить свои предвыборные обещания. Может быть, чуть-чуть урежут доходы богатых, но ни в чем не помогут бедным. А люди настолько устали, что даже несбыточные обещания кажутся им благодеянием.

— Откуда ты все это знаешь?

— Не забудь, что все эти годы я была не только твоей женой, но и председателем фонда помощи Красной Армии. Я знаю настроения английского народа.

Знала ли она их в действительности? Вряд ли. Как и все женщины ее круга, привыкшие к богатству и комфорту, да еще имея столь знаменитого мужа, воле которого покорилась всецело, Клементина, конечно, была не в силах правильно проанализировать послевоенное положение Англии. Она не понимала, что после победного завершения второй мировой войны английский народ не желает жить по-старому, что он не забыл, как Черчилль в разное время использовал войска для подавления забастовок, что, сблизившись сердцами с советскими людьми — своими союзниками по антигитлеровской коалиции, этот народ предчувствовал, что консерваторы во главе с Черчиллем снова попытаются «душить Советскую Россию». Но общение Клементины с массами — факт очень редкий для женщин ее круга — помогало ей пусть неточно, пусть чисто эмоционально, но ощущать настроение этих масс...

— Ваша одежда готова, сэр,— тихо произнес появившийся в дверях Сойерс.

— Фрак?

— Да, сэр, как вы приказали.

— Я бы предпочел мою старую «сирену»... Но... это шутка, конечно. Я сейчас приду в спальню, Сойерс. Будьте там.

В половине седьмого вечера Черчилль во фраке, пальто-накидке и цилиндре подъехал на своей служебной (пока еще он пользовался ею) машине к ограде Букингэмского дворца: согласно традиции ему предстояло вручить королю Георгу VI прошение об отставке. Он ожидал увидеть у решетчатой ограды дворца толпы народа и по пути обдумывал, как ему приветствовать этих людей: знаком «V» или просто приподняв цилиндр? В конце концов решил: действовать в зависимости от настроения толпы.

Но толпы не оказалось. Толпой вряд ли можно назвать несколько десятков человек, глазевших, как вышагивают караульные гвардейцы в своих высоких меховых шапках.

«Сик транзит глория мунди!»[1] — со злой усмешкой подумал Черчилль.

Аудиенция у короля была короткой. Черчилль произнес традиционную фразу о своей отставке в ре-

[1] «Так проходит мирская слава!» (*лат.*)

зультате выборов и протянул Георгу лист бумаги — прошение об отставке кабинета. Король, стоя посредине зала для официальных приемов, в военной форме и при орденах, не читая, передал этот лист появившемуся на мгновение адъютанту. Затем он довольно обыденно поблагодарил премьера — теперь уже бывшего — за верную службу «королю и империи», назвав его при этом «великим военным лидером».

Он мог бы, пожалуй, сказать больше, прощаясь с одним из самых убежденных роялистов мира...

В тот же день королю предстояло принять будущего премьера — невзрачного, лысоватого человека, обладавшего тонким, пронзительным голосом.

Глава пятнадцатая
ЭТТЛИ — БЕВИН

Кто же такой был этот Клемент Эттли, внешне хилый, бесцветный, всегда аккуратно, консервативно одетый, обладавший не соответствующим его общему облику высоким и резким голосом.

Американец Дин Ачесон сказал как-то про Эттли: «Его мысль производила на меня впечатление затяжного меланхолического вздоха». По определению Черчилля, Эттли напоминал «овцу в овечьей шкуре». А заместитель британского министра иностранных дел Кадоган утверждал, что Эттли «похож на угрюмую мышь, любящую поспорить».

Что же вознесло человека, так нелестно характеризуемого, на вершину английского «истэблишмента» — в знаменитый дом 10 по лондонской Даунинг-стрит?

Происхождение? Но он лишь на склоне лет получил титул графа, а до тех пор оставался сыном скромного, богомольного, консервативно мыслящего отца.

Богатство? Но какими деньгами он мог располагать, если в семье было еще три брата, а у отца — только юридическая контора, которую к тому же приходилось делить с компаньоном?

Политические связи? Но отец и мать Эттли были столь же далеки от политики, сколь близки к богу, послав к нему своего личного представителя: один из братьев Клемента стал священником англиканской церкви.

Любил ли Клемент Эттли славу? Да, но в отличие от Черчилля без мишуры и блеска. И вкус-то к ней он приобрел тогда, когда имя Черчилля — писателя, оратора и политика обрело уже широкую известность.

Любил ли женщин? О, навряд ли! Только после сорока лет он перестал быть холостяком.

Так каким же путем Эттли достиг мировой известности, хотя и в качестве «бесцветной личности»? А он ее достиг.

Как же, как?! По воле случая? Благодаря упорству? Особому «нюху» на политические ситуации?

Попробуем ответить на эти вопросы, ведь они касаются человека, подписавшего Потсдамский документ наряду с двумя другими участниками так называемой «Большой тройки».

Попробуем... Но не сразу и не категорическим «да» или «нет».

Начнем с юности.

Окончив среднюю школу, подросток Клемент Эттли оказывается студентом Оксфордского университета, намереваясь в будущем стать юристом, подобно своему отцу. «А почему бы и нет? — рассуждал отец. — Такая профессия больше всего соответствует характеру молодого человека, педантичного, лишенного эмоций». Которого (добавим от себя) те, кто знал его близко, называли «калькулятором-рационалистом».

Чтобы стать священником, например, надо иметь дар проповедника, уметь найти путь к сердцам прихожан. Этого дара молодой Клемент был, казалось, лишен начисто (хотя впоследствии число завоеванных им на свою сторону профсоюзных активистов как будто предостерегает от категорических суждений такого рода). Но ведь не сошелся же свет клином только на духовном поприще. Можно и в светской жизни составить себе карьеру не менее уважаемую.

Само слово «Оксфорд» в светской жизни Британии котируется очень высоко. Оксфордское образование и воспитание — это как бы синонимы понятий «джентльмен», «опора империи». Оксфордский университет издавна считался инкубатором, из которого выпархивали доброкачественные птенцы на дипломатическую службу, на руководящие посты в других министерствах.

Но с Клементом Эттли произошло нечто противоположное традиции.

Этот юный оксфордец, коему предстояло быть наследником юридической конторы «Друс и Эттли», а впоследствии стать хладнокровным, апатичным, консервативным джентльменом, вдруг начал проявлять странный интерес к чуждой его семье политике.

И не просто к политике как таковой. В этом, пожалуй, не было бы ничего неожиданного. Верхушку консерваторов, вообще «людей общества» представляли в Англии как раз выходцы из двух-трех привилегированных университетов, среди которых Оксфорд едва ли не был первым. Но политика, которой отдался Клемент Эттли, была далеко не традиционной для английского джентльмена, шокирующей его.

В эти годы стараниями супругов Сиднея и Беатрисы Вэбб на свет божий рождается общество, получившее название «Фабианского» — по имени римского полководца Фабия Кунктатора (Медлителя) — поклонника тактики выжидания. Возникает также социал-демократическая Федерация.

Трудно сказать с полной определенностью, почему Эттли, по воспитанию своему типичный тори-консерватор, постепенно становится активным фабианцем-лейбористом, и что самое парадоксальное, оставаясь при этом по своим коренным взглядам типичным британским империалистом. Сыграло ли здесь роль то, что фабианский социализм имел отчетливо религиозный оттенок? По-видимому, да — ведь длани

господни всегда были распростерты над семьей Эттли. Но первая политическая речь, которую произнес будущий фабианец еще в стенах университета, была панегириком таким столпам британского империализма, как Джозеф Чемберлен.

Итак, Эттли совместил в себе, казалось бы, несовместимое. Оставаясь империалистом по взглядам, он становится по профессии социалистом христианского толка.

Впрочем, есть вещи, кажущиеся несовместимыми лишь на первый взгляд, а внимательный анализ помогает раскрыть их внутреннюю связь. В 1879 году Англия переживала великую экономическую депрессию. Сегодня нам кажется смешной или по крайней мере наивной вера в так называемый христианский социализм, под влиянием которого богатые будто бы добровольно поделятся с бедными своими награбленными богатствами. А тогда имена Маркса и Энгельса ничего еще не говорили ни блуждающему в социальных потемках рабочему классу, ни, тем более, английской аристократии. Однако мысли о безнравственности существующего распределения общественных богатств с каждым годом все больше проникали в умы левонастроенных социал-демократов. Постепенно они овладели и Эттли — он становится лейбористом.

Рационалистический ум подсказывает ему, что лейбористская сфера деятельности — это еще «терра инкогнита», ждущая своих исследователей и вождей. Не перераспределение богатств в обществе, не утопические реформы, а та «надстройка», которая создается в результате социальной несправедливости, представляется Эттли заслуживающей главного внимания. Его увлекает не цель, а ведущие к ней «коридоры».

Он уподобляется такого рода клерикалам, которых интересует не существование бога, а лишь процесс служения ему. Не перестройка мира, а декламация о необходимости такой перестройки, не конечные цели митингов и забастовок, а сами митинги и забастовки являются главным полем деятельности для таких политиков. Для них цель — ничто, движение — все. И Эттли посвящает себя этому движению.

Очевидно, он и в самом деле верил, что принадлежит «новому движению» душой и телом. А значительная часть английских рабочих поверила в то, что обрела в лице Эттли нового вождя. Да и как было не верить в это?

Добившись ученой степени, Эттли не превратился в «ученую крысу». Не в паутине юридических хитросплетений, а работая в доках, стал добывать он хлеб свой насущный. И это ценили рабочие. Эттли требовал, чтобы в Англии «никто не ел пирожные, покуда у всех не будет хлеба». Это тоже производило впечатление. В тридцатых годах Эттли заявлял себя ярым антифашистом, нападая на Чемберлена за «Мюнхен». Популярность его возросла настолько, что когда Чемберлен, решившись на «трюк», предложил Эттли войти в «коалиционный кабинет», тот отказался, и кабинет рухнул. Эттли метался по рабочим собраниям, предавал анафеме капитализм и тем самым превратился в заклятого врага такого непоколебимого тори, как Черчилль.

И все же цель не столь уж опасна, если она заключается в вынужденном и только временном объединении с «красными». А вот «движение» к власти — выборы, перевыборы, профсоюзные интриги, статьи в газетах, стычки с полицией, протесты, благотворительство — это было главным для Эттли.

Честолюбие? Да, конечно, и оно.

Если нет титула, чтобы войти в Букингэмский дворец, недостаточно денег, чтобы заправлять лондонским Сити, то почему не обрести влиятельность в качестве лейбористского вождя? Лейбористское движение — еще почти не тронутая целина.

Итак, кем же в конце концов был Эттли? По своим словам и действиям — социал-демократом христианского толка. Он хотел, чтобы Британия оставалась великим колониальным колоссом, но более чем до сих пор щедрым, более внимательным к жизни простых людей. То, что в этом заключалось вопиющее социальное противоречие — процветание колониальной державы невозможно без обнищания большинства ее граждан,— или не приходило Эттли в голову, или же он сознательно гнал прочь от себя всякую мысль о таком противоречии. Объективно Эттли паразитировал на лейбористском движении, убеждая себя и других, что служит ему не за страх, а за совесть. Это однажды отметил Черчилль, заявив, что Эттли всегда зарится на власть, но, получив ее, не будет знать, что с ней делать.

Всего или почти всего добился «рабочий лидер» за долгую свою жизнь. В отличие от Черчилля он не претендовал (по крайней мере гласно) на «все самое лучшее». Но он стал членом парламента еще в начале двадцатых годов. Количество его выступлений на рабочих митингах и статей в газетах при подсчете дало бы, наверное, четырех-, если не пятизначную цифру. Он входил в кабинеты министров, сотрудничал с такими врагами рабочего класса, как Черчилль, Макдональд, Болдуин, ораторствовал о своем сочувствии Советскому Союзу и в то же время требовал разрыва английских профсоюзов с советскими, когда из России пришел миллион фунтов стерлингов в помощь бастующим английским шахтерам.

По многим вопросам Эттли сходился с консерваторами, по некоторым расходился. Он ненавидел коммунизм, но сотрудничал с Черчиллем, который пошел на временный союз с русскими коммунистами, когда грянула война. Лишь в одном всегда были едины и Эттли, и консерваторы, и правые лейбористы: в пронизывающей все их существо ненависти к коммунизму как социальной системе и, следовательно, к Советскому Союзу. Получив любой удар в ходе исторического развития общества, они всегда дружным хором кричали, что нанесли этот удар большевики.

Эттли мог бы по праву считать себя полновластным лидером лейбористской партии, вернее, правого ее крыла, если бы на его пути не стояли по крайней мере еще два человека. Первым был Моррисон,

вторым, по влиянию на рабочий класс, профсоюзный деятель Бевин. У Бевина было немало формальных преимуществ перед Эттли.

Это был прирожденный площадной оратор, грубиян, так сказать, «из принципа», интриган и, что немаловажно для карьеры «рабочего вождя», которую избрал для себя Бевин, он происходил из трудовых низов и в юности сам занимался физическим трудом.

В 1916 году Бевин триумфально выступил на конгрессе тред-юнионов в Бирмингеме. Спустя пять месяцев профсоюз впервые делегирует его на конгресс лейбористской партии в Манчестере.

Так пришла к Бевину известность среди рабочих. Репутацию же «неподкупного друга трудового народа», Робеспьера своего времени, он получил в 1920 году, когда выступал в суде от имени профсоюза портовых рабочих с требованием повысить им заработную плату. Предприниматели-ответчики не знали, куда деваться от злых, подчас соленых острот Бевина. Но окончательно посрамил их Бевин своим прямо-таки театральным трюком. Он потребовал внести в зал суда стол, поставил на него десять тарелок с крохотными порциями капусты, картофеля, сыра и воскликнул:

— Смотрите! Перед вами рацион многодетной рабочей семьи, глава которой — грузчик — ежедневно переносит на своей спине больше тонн пшеницы, чем ломовая лошадь перевозит за неделю. Семьдесят одна тонна для человека и пятьдесят для лошади, господа судьи!..

Процесс Бевин выиграл, зарплата докерам была несколько повышена, популярность же его возросла во сто крат больше. Она и раньше была немалой. Бевин отличался редкой способностью предвидеть, куда склонится в ближайшее время настроение рабочих, и делал все, чтобы оказаться на гребне волны этих настроений. В свое время, когда возмущение английских рабочих против англо-французской интервенции в Советской республике достигло предела, Бевин почти все свои речи заканчивал лозунгом, впоследствии приобретшим такую популярность: «Руки прочь от России!»

Однако Бевин никогда не отличался последовательностью. Он требовал дипломатического признания России, торговли с ней, но, помня, что является «рабочим лидером», не забывал оговориться: из этого, мол, вовсе не следует, что он является сторонником советского социального строя, советских методов строительства социализма. Таким образом Бевин получал поддержку «левых» сил, не вызывая большого страха у правых «столпов империи».

В январе 1922 года он был избран генеральным секретарем Союза транспортных рабочих, объединявшего тогда свыше трехсот тысяч человек, и приобрел репутацию самого влиятельного профсоюзного лидера Англии.

Бевин хорошо усвоил специфику английского профсоюзного движения, наличие в нем так называемой рабочей аристократии, которую правящий буржуазный класс богатой колониальной державы систематически «подкармливал» за счет своих гигантских сверхприбылей. Отражая ее настроения, он умело сочетал требования о дальнейшем улучшении жизни английских рабочих с критикой той единственной в довоенное время модели социалистического государства, которой являлся Советский Союз...

Ни Бевин, ни Эттли не боялись время от времени выступать с резкими революционными лозунгами. Так, еще в 1923 году Эттли потребовал одностороннего разоружения Англии. Он заявил тогда: «До тех пор, пока у нас капиталистические правительства, мы не можем доверять им в деле вооружений, даже если они говорят, что не намерены использовать их». А вместе с тем и Эттли и Бевин всегда принимали участие в любой травле коммунистов, энергично подталкивали правительство на объявление английской компартии вне закона.

На многочисленных примерах из практики Эттли и Бевина легко можно проследить, как хитро и умело оба они — столь разные по характеру и темпераменту — фактически осуществляли тайную связь верхушки лейбористского движения с правительственными кругами.

И Бевин и Эттли были настроены проамерикански. В особенности первый. После поездки в США он вывез оттуда «теорию» американизации Европы (конечно, без России). И хотя в США тогда уже назревал великий экономический кризис конца двадцатых — начала тридцатых годов, вожди лейборизма не уставали повторять слова американского президента Гувера: «Сегодня мы в Америке ближе к окончательной победе над бедностью, чем любая страна за всю ее историю».

Но всегда ли царило единогласие по различным политическим и экономическим вопросам между Эттли, Бевином и еще третьим, не менее, чем Эттли, популярным лейбористским лидером Моррисоном?

О нет! Они придерживались различных взглядов на гражданскую войну в Испании, на существование палаты лордов и на многое другое. В спорах между собой фактически «проглядели» приход фашизма к власти в Германии, а спохватившись, стали проклинать фашизм, но ни разу не высказались в том смысле, что фашизм органически присущ империализму. Об этом они помалкивали даже в то время, когда Ллойд-Джордж в своих статьях пытался объявить гитлеризм единственной альтернативой большевизации Германии...

После «Мюнхена», когда волна народного возмущения, с одной стороны, а с другой — понимание правящими кругами Англии, что стремящийся к мировому господству Гитлер намерен превратить Англию во второразрядную европейскую державу, соединились вместе и смели кабинет Чемберлена, пришедший к власти Черчилль не задумываясь пригласил Эттли в состав своего «военного кабинета». Этим он хотел продемонстрировать «политическое единство нации перед лицом врага». Но, наверное, Эттли никогда и в голову не приходило, что со временем сам станет премьером.

А Бевин? Его звездный час еще наступит...

Глава шестнадцатая
«СМЕНА КАРАУЛА»

Старческой, шаркающей походкой Черчилль прошел к себе в спальню. Сел в кресло. Помимо воли взгляд его устремился в одну точку на стене. Там висел под стеклом в скромной рамке пожелтевший от времени листок бумаги — давнишнее объявление буров, в котором за голову бежавшего из плена Уинстона Черчилля назначалась награда в 25 фунтов стерлингов.

Англо-бурская война... Пятьдесят лет прошло с тех пор, как Черчилль, вечно искавший авантюрных приключений, побывал в Южной Африке в качестве английского военного корреспондента, попал там в плен к бурам, бежал из плена, и вот появилась эта грамота. Пятьдесят лет он повсюду возил ее с собой как своего рода талисман, как свидетельство о бессмертии... Но сейчас мысли Черчилля были далеки от англо-бурской войны. Рамка и объявление в ней не вызывали никаких воспоминаний. И это было к лучшему.

Вспоминать — что угодно — значит думать о прошлом. А прошлое для Черчилля заключалось сейчас в обладании властью. Властью, которую фактически он уже потерял.

Он повторил — теперь уже молча, про себя — тот свой вопрос: «Почему?!» Почему произошло это поражение и почему оно так страшно подействовало на него? Разве в прошлом он не терял власти? И разве это повергало его в отчаяние? Нет! Только вызывало новый прилив сил, новое напряжение воли и уверенность, что за поражением неминуемо последует победа.

Почему же он не ощущает этого теперь? Может быть, потому, что удар так несправедлив?

Но тогда снова: «За что?»

Он вспомнил ответ Клементины.

Какая ерунда, отголоски болтовни, услышанной ею на всех этих благотворительных, профсоюзных и прочих собраниях! Женский ум столь же впечатлителен, сколь не способен к самостоятельному анализу. Именно потому, что Англия боялась не его, а Гитлера, он, Черчилль, и был призван в качестве лидера страны. Что же произошло теперь? «Они боятся меня потому, что война уже выиграна?» — подумал Черчилль и тут же ответил себе: «Чепуха, претенциозный парадокс, свойственный какому-нибудь писателю-фантасту, вроде Уэллса... А почему же тогда победили лейбористы? Потому что никогда не выполняли своих обещаний?..»

Но так или иначе факт оставался фактом: Эттли, это ничтожество, которого Черчилль иронически называл то «Гиттли», то «Эттлером», займет его место и здесь, на Даунинг-стрит, и там, в Потсдаме.

Черчилль уехал оттуда, не исполнив ни одного из своих затаенных желаний. Страны Восточной Европы не вернулись на места, предназначенные им Историей. Вопрос о них остался пока открытым, вернее, заторможенным. Если и произошла какая-то «подвижка», то в пользу Сталина, из-за этой проклятой «итальянской ловушки». Нет никаких оснований надеяться, что Сталин, да еще при поддержке поляков, приехавших в Бабельсберг, отступит от требования установить новую польскую западную границу по Одеру и Западной Нейсе. Ну, а германский вопрос даже еще не разбирался в деталях.

Черчилль был убежден, что доведет все до конца, когда вернется. Он был уверен, и никто из окружавших его людей не сомневался, что он вернется. Даже Сталин, прощаясь, сказал, глядя на Эттли, но обращаясь к нему, Черчиллю: «Судя по выражению лица господина Эттли, я не думаю, что он исполнен желания лишить вас власти». Такие слова не забываются.

А что было потом?.. Потом Черчилль напомнил Сталину о его давнишнем разговоре с леди Астор, когда та посетила Москву в довоенные годы. Сталин сказал ей тогда, а английский посол записал его слова и передал впоследствии Черчиллю:

— Если ваша страна когда-нибудь попадет в трудное положение, она позовет Черчилля...

Сейчас Черчилль повторил про себя это сталинское высказывание и подумал: «Значит, и Сталин ошибся?!» И хотя этот человек был его заклятым врагом, Черчилль не мог поверить в то, что и Сталин не застрахован от ошибок.

«А вот же ошибся!.. Но нет, этого не может быть!..»

В отличие от Черчилля, покинувшего королевский дворец полчаса тому назад на правительственном «Ролс-Ройсе», Эттли скромно прибыл туда на небольшом «семейном» автомобильчике. Причем шофером, доставившим во дворец завтрашнего премьер-министра Великобритании, была собственная жена.

— Как вы расцениваете результаты выборов? — спросил король, когда официальные фразы с обеих сторон были уже произнесены.

— Удивлен, ваше величество,— ответил Эттли и добавил: — Наверное, не менее, чем сэр Уинстон. Я всегда был по отношению к нему более чем лоялен. И он ко мне тоже.

Эттли, конечно, лицемерил. В ходе избирательной кампании он почти ежедневно выступал на десятке митингов, атакуя Черчилля. И тот тоже почти в каждой своей радиопередаче не забывал упомянуть, что если лейбористы придут к власти, то в Англии воцарится нечто вроде гестаповского режима.

Впрочем, какое это имеет значение? Дело не в том, кто «звонче ругался». Важно было другое: народ Великобритании, трудящийся народ, никогда не любил Черчилля. За его аристократизм, за готовность в любую минуту пустить в ход полицейские дубинки и армейские пулеметы, если этот народ попытается выйти из повиновения. Трудовая Англия запомнила, что именно Черчилль возглавил антисоветскую интервенцию. Но народ редко бывает несправедливым. В том же Черчилле он разглядел качества, которыми не обладал никто из обитателей английских «коридоров власти». Готовность вести войну с фашизмом до победного конца, готовность объединиться с Советским Союзом для достижения этой победы — вот что заслужило Черчиллю признание народа.

Так почему же этот народ лишил его власти теперь, когда победа была достигнута? Почему предпочел блестящему Черчиллю невзрачного Эттли? Почему?!

Сам Черчилль не мог найти на этот вопрос вразумительного ответа. Эттли нашел, но высказываться на этот счет не спешил.

— Кого вы намерены назначить министром иностранных дел? — спросил его король. — Дальтона?

Да, действительно, Эттли не скрывал, что в случае победы предложит этот пост одному из знатоков английской экономики. Но, побывав на Потсдамской конференции, понаблюдав за проявлениями характера Сталина, повидав, как русские не раз ставили в нелепое или смешное положение и Черчилля и Трумэна, он передумал.

— Нет, ваше величество,— ответил королю новый премьер. — С вашего разрешения я сделал бы Дальтона руководителем казначейства.

— А кого же в Форин офис? — чуть приподнимая брови, спросил Георг.

— Эрнста Бевина, ваше величество.

«Что ж, в теперешней ситуации им лучше Бевина никого не найти»,— размышлял об этом же и Черчилль, уже вернувшийся из дворца на Даунинг-стрит.

Но он не мог долго размышлять о других. Личное заслоняло перед ним все остальное.

Энергичным шагом подошел Черчилль к стене и заново перечитал объявление буров, хотя давно знал его наизусть. Подумалось: «Интересно, во сколько бы оценили мою голову теперь все эти большевики во главе со Сталиным, да и английская политическая мелюзга?»

Нет! Борьба еще далеко не закончена! Он еще покажет миру, что значит быть сэром Уинстоном Черчиллем! Он отомстит!..

Это был очередной приступ слепой ярости, которой чаще всего чужда логика.

Глава семнадцатая
ТЩЕТНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

25 июля ознаменовалось не только отъездом Черчилля из Потсдама. В тот же день вечером Бабельсберг покинул старейший американский генерал, военный министр Генри Стимсон. Он отбыл в США.

Вылет военного самолета из Франкфурта был назначен на вечер, но путь на автомашине до этого города, где располагалась ставка Эйзенхауэра, тоже следовало учитывать. Поэтому Стимсон попросил Трумэна принять его для прощального визита в десять утра.

Именно для прощального. Семидесятисемилетний Стимсон уже предупредил Трумэна, что слишком устал и более не в силах терпеть «перегрузки», связанные с деятельностью военного министра.

Многое из далекого и совсем недавнего прошлого вставало в памяти Трумэна не только при виде Стимсона, но при одном лишь упоминании его имени. Со Стимсоном неразрывно была связана история американской армии, особенно между двумя войнами. Он был против дипломатического признания СССР, уходил в отставку, возвращался. В последний раз возвратился по просьбе Трумэна, только что вступившего на президентский пост.

Почему выбор нового президента пал на Стимсона? Ну, во-первых, потому, что, решив произвести «перетряску» своего кабинета, трудно было забыть о Стимсоне — одном из старейших военных, пользующихся несомненным авторитетом в армии. Во-вторых, имя Стимсона было связано с оппозицией Рузвельту — когда тот решил примириться с существованием нового социалистического государства,— а участие в такой оппозиции импонировало ярому антикоммунисту Трумэну. В-третьих... Это третье было, пожалуй, с точки зрения эмоциональной самым важным для президента. Стимсон первым сообщил ему, только что поселившемуся в Белом доме, о существовании «манхэттенского проекта». В то время как другой военный авторитет и большой специалист по взрывчатым веществам — адмирал Леги утверждал, что «из этой штуки ничего не выйдет», Стимсон с самого начала верил в успех предстоящего испытания в Аламогордо.

Более того, когда до осуществления проекта оставались еще долгие недели, Стимсон своей уверенностью вселил великие надежды в душу президента, убедил его, что, обретя бомбу, Трумэн «откроет новую эру», окажется на вершине мироздания и обеспечит Соединенным Штатам право диктовать свою волю любой стране, любому народу.

Каждое появление Стимсона в Белом доме, и особенно здесь, в «маленьком Белом доме», было так или иначе связано с бомбой: первоначально с ее созданием, потом с подготовкой испытания и, наконец, с практическим применением.

И вот теперь, когда из-за отсутствия Черчилля (временного, как полагал Трумэн) заседания Конференции пришлось прервать на два-три дня и можно было отдохнуть, поразмышлять, решить, какую дипломатическую стратегию — военная была уже решена — применить в ответ на происки японского посла в Москве Сато, пытающегося добиться согласия союзников на такую капитуляцию Японии, при которой все основы ее нынешнего режима, и прежде всего императорский статут, были бы сохранены, Трумэну предстоял прощальный разговор со Стимсоном.

При мысли, что здесь, в Бабельсберге, он в последний раз увидит Стимсона, что этот высокий, сухощавый старик с папкой под мышкой, в которой всегда содержался ответ на очередной вопрос «быть или не быть?», никогда уже не переступит порога «маленького Белого дома», Трумэну стало грустно. Трумэн непроизвольно стал подбирать прощальные слова, стараясь вложить в них всю теплоту, всю меру благодарности и выразить уверенность — пусть не совсем искреннюю,— что, оставив министерский пост, Стимсон не оставит президента своими советами. Президент, конечно, отдавал себе ясный отчет, что теперь, когда бомба стала реальностью и он ок-

ружен другими надежными военными советниками, с точки зрения деловой можно вполне обойтись без дряхлеющего Стимсона. И все же расставаться с ним было грустно...

Стимсон появился в президентском кабинете как всегда минута в минуту — стрелка часов едва застыла на десяти.

— Садитесь, мой дорогой Генри! — преувеличенно гостеприимно сказал Трумэн и, встав навстречу министру, продолжал стоять, пока Стимсон не сел в кожаное кресло у письменного стола.

После этого присел и президент. Не за рабочий свой стол, а в другое кресло, напротив, на самый его край, почти касаясь своими коленями колен Стимсона. Тот начал разговор подчеркнуто официальным тоном:

— Я счел своим долгом явиться к вам, сэр...

— Перестаньте, Генри! — недовольно прервал его Трумэн. — Нас связывает слишком многое, и я обязан вам слишком многим, чтобы обойтись без «сэров», «мистеров президентов» и всего такого прочего. Я для вас Гарри. Был, есть и останусь просто Гарри.

— Спасибо, сэр,— ответил Стимсон, и в голосе его Трумэну послышался необъяснимый оттенок упрямства. — Я ценил и ценю ваше внимание и доверие ко мне. И все же разрешите мне не забывать, что говорю с президентом. Для меня это очень важно сейчас.

У Трумэна возникло, правда, пока еще смутное предчувствие, что разговор пойдет не так, как он полагал. Но, может быть, это только показалось? Трумэн сказал «для проверки»:

— У меня нет слов, чтобы выразить мое сожаление...

— Я стар,— с печалью в голосе откликнулся на это Стимсон.

— Конечно, как говорил великий испанец, никто не в силах остановить время или заставить его проходить бесследно... Впрочем, вы этим даром обладаете. Несмотря на некоторую разницу в летах, я не чувствую себя моложе вас.

— Огромная ответственность, которая теперь легла на плечи американского президента, должна внушать ему мысль, что он будет жить вечно.

— Это было бы противно воле божией,— смиренно ответил Трумэн. И добавил: — Впрочем, я понимаю, вы выражаетесь фигурально. Я согласен, надо брать все на себя и не думать о тех, кто когда-то придет и снимет эту ношу с твоих плеч.

— Это как раз то, о чем я хотел говорить, мистер президент. О великой ответственности, лежащей на ваших плечах.

— Вы были одним из тех, кто возложил ее на меня,— с улыбкой сказал Трумэн. — Я, конечно, имею в виду бомбу.

— Да, да... — согласно закивал Стимсон. — И я в последние ночи много думал об этом. Мысли, которые пришли мне в голову, я позволю себе изложить вам письменно. Но ничто не заменит прямого, непосредственного разговора двух людей...

Теперь уже Трумэн не сомневался, что Стимсон пришел не только попрощаться. У него еще что-то на уме.

— Я слушаю вас, мистер Стимсон,— официально, чтобы выразить тем самым свое неодобрение, сказал Трумэн.

— Я опять о бомбе, сэр. Но... в несколько ином аспекте,— угрюмо произнес Стимсон.

— Слушаю вас,— повторил Трумэн, на этот раз с оттенком недоумения.

— Так вот, первый аспект. Мне кажется, что проблема наших будущих отношений с Россией не просто связана с бомбой, но буквально находится под ее господствующим воздействием.

«О боже мой! — мысленно воскликнул президент. — Неужели он намерен употребить свой прощальный визит на высказывание столь тривиальных истин?»

Стараясь не обидеть старика, Трумэн поспешил согласиться с ним:

— Вы на сто процентов правы, Генри! Конечно же, бомба должна стать и станет главным фактором в американо-советских отношениях. Мы обладаем огромной силой...

— Это меня и пугает, сэр,— прервал его Стимсон. — Вы знаете, я верующий христианин и по социальным убеждениям своим не могу испытывать даже доли симпатии к большевикам.

Трумэн снова насторожился: «К чему он клонит?»

— Но я сознаю и другое,— продолжал Стимсон,— никакие споры, никакая политика с позиций силы невозможны на кладбище. Мертвые не могут изменить даже места своих могил.

— Я начинаю думать, что прожитые годы заставляют вас слишком много думать о приближении смерти,— произнес Трумэн, наклонив голову и усаживаясь поглубже в кресло, несколько отдаляясь от Стимсона.

А тот развивал свою мысль дальше:

— Человечество не началось с нас, оно нами не закончится. Поверьте, сэр, если бы я обладал магическим даром тихо и, так сказать, безболезненно стереть Россию с лица земли, я сделал бы это не задумываясь. Но я реалист, сэр.

— И к чему же приводит вас этот ваш реализм? — сардонически улыбнулся Трумэн.

— К убеждению, что если мы не сумеем как-то договориться с русскими, а будем продолжать конфронтацию, подобную той, в которой участвуем уже неделю, то в глобальном смысле этого слова дело не сдвинется с мертвой точки.

— Но теперь мы обладаем бомбой! — воскликнул Трумэн, уже не скрывая своего раздражения.

— Именно этот факт, как и тот, что русские теперь об этом знают, заставляют меня опасаться худшего.

— Что вы хотите этим сказать?

— А то, что если мы будем продолжать переговоры, демонстративно держа бомбу в руках, то недоверие русских, их подозрения в наших истинных

целях будут все время возрастать. Следовательно, возрастет и конфронтация.

— Я... я просто изумлен, слушая вас, Генри,— пробормотал Трумэн.

Он и впрямь не мог понять, чего хочет от него выходящий в отставку военный министр. Заподозрить Стимсона в чем-то, что может иметь вредные последствия для США, Трумэн просто не мог. И если атомная бомба имела много отцов, то одним из них, конечно же, был Стимсон. А он, Трумэн, обязан старику ветерану еще и чисто моральной поддержкой.

Но вот теперь... О чем он в конце концов говорит, этот старый человек?

— Мистер президент считает, что я не до конца выполняю свой долг? — сухо и даже строго спросил Стимсон.

— Да нет! Я просто не понимаю, что на вас нашло, Генри. Еще несколько дней назад вы рассуждали иначе.

— Я употребил эти дни, точнее часть ночей, на обдумывание новой складывающейся ситуации, сэр,— ответил Стимсон. — До сих пор я размышлял об этой бомбе... ну, скажем, прямолинейно. Я военный министр, речь идет о новом для моей страны оружии. Какие тут могут быть сомнения? Гони их прочь от себя! Но сейчас на моих глазах создается новая глобальная ситуация. Я опишу ее в меморандуме, который представлю вам несколько позже, перед моей официальной отставкой. Однако главное ясно уже сейчас. Я пришел к выводу, что проблема наших отношений с Россией, особенно после того, как мы приведем бомбу в действие, еще более осложнится. Наличие в мире атомного оружия окажет господствующее воздействие...

— Но это же хорошо! — прервал Стимсона Трумэн. — Во всяком случае, до тех пор, пока мы имеем монополию на это оружие!

— Да. Но если русские не будут уверены в наших конечных целях, их подозрения...

— Вы начинаете повторяться, Генри.

— Простите, сэр, возможно, я не сумел достаточно четко выразить мою мысль. А она представляется мне очень простой. Если бы атомная бомба стала одновременно началом и концом атомного века, это было бы действительно хорошо. Но я уверен, что новая бомба — всего лишь первый шаг, знаменующий этот век, и потому подходить к ней просто как к оружию, пусть сверхмощному, весьма опасно.

— Бомбу-то имеем только мы,— назидательно произнес Трумэн. — Чем это опасно?.. Я, конечно, имею в виду опасность для нас, для Штатов.

— Опасность в том, повторяю, что это лишь первый шаг. А за ним последуют новые шаги — второй, третий и так далее. Короче, если мы не хотим сами стать жертвами разрушительной мощи человека, то надо уже сейчас предложить Советскому Союзу соглашение о контролируемом и ограниченном использовании атомной бомбы. Пойду еще дальше: нам надо научиться сообща, насколько это возможно, руководить развитием атомной энергии и поощрять ее использование в мирных и гуманных целях. Вы скажете: это вопросы далекого будущего? Но лучше, чтобы оно было хотя бы далеким, чем не существовало бы вообще. Это все, сэр.

— Нет, не все! — вскричал Трумэн. — Вы, Стимсон, покуда еще военный министр, а перед нами не в далеком будущем, а в ближайшие дни стоят военные задачи огромной важности!

— Я всегда выполнял свой долг, сэр. Но мне слишком много лет, чтобы надолго откладывать мысли о будущем. Сегодня я уверен, что атомная бомба должна повлечь за собой новую концепцию взаимоотношений между нами и Россией. Все это я попробую изложить в своем меморандуме. А теперь, мистер президент, разрешите откланяться.

Проводив его до дверей, Трумэн снова вернулся к своему креслу и погрузился в невеселое раздумье. До сих пор между ним и Стимсоном царило полное единодушие. И вдруг такая перемена. Не помешает ли она осуществлению задуманного? Останется ли Стимсон исправным солдатом, хотя бы на короткий срок?

«Нет, нет! — решительно возразил президент самому себе. — Стимсон был и остается верным сыном Америки. А все эти его «концепции» и «аспекты» — просто-напросто стариковский бред. Мало ли что может пригрезиться в мучительные часы ночной бессонницы! Когда человеку под восемьдесят, он имеет право на некоторую путаницу в мыслях... Сейчас перед нами стоят две неотложные задачи: первая — заставить русских уступить здесь, на этой Конференции, и вторая — покончить с Японией при помощи бомбы. После этого Стимсон может уходить в отставку, разводить гусей на своей ферме, сочинять новые «концепции» и писать «меморандумы»...

Трумэн почувствовал непреодолимое желание, чтобы все это — и заседания «Большой тройки», и «польский вопрос», и бомбежка Японии — завершилось поскорее. Он вернулся бы в Америку, обставил по своему вкусу интерьеры Белого дома, ездил бы в родной Индепендэнс и там в спокойной обстановке занимался бы внутриамериканскими делами, пожиная плоды своих внешнеполитических успехов.

Конечно, этих успехов надо еще достигнуть, а потом закрепить их. Хорошо, что среди людей, окружающих его, в том числе среди военных, существует полное единомыслие относительно целей и методов. Стимсон не в счет. К тому же завиральные его идеи существуют, так сказать, только в сфере философии. Во всем остальном на него можно положиться...

Эти успокоительные мысли были порождены, вероятно, недостатком информации. Между высокопоставленными военными существовали деловые разногласия. Легн, Эйзенхауэр, Арнольд полагали применение атомной бомбы против Японии в военном отношении неоправданным. Зато из Вашингтона доносили, что тамошний «Временный комитет» по руководству «манхэттенским проектом» придерживался противоположной точки зрения, предлагал немед-

ленно сбросить бомбу. И для вящего психологического эффекта настаивал на бомбардировке японских городов, густо населенных мирными жителями.

Не существовало единомыслия и среди американских ученых, в том числе создателей атомной бомбы. Видные представители науки направили президенту письма из Вашингтона и Чикаго, в которых утверждали, что применение атомной бомбы в любой точке земного шара будет заклеймено всем миром как бесчеловечное. Но Гаррисон умышленно не докладывал этих писем Трумэну.

Выкинув из головы недавний разговор со Стимсоном, Трумэн попытался представить себе новую английскую делегацию. Эттли он уже знал. Но кого тот привезет с собой? Хорошо бы Черчилля! Старик часто раздражал президента своим многословием и тщеславием. А все-таки на него можно было положиться — в конечном счете Черчилль всегда поддерживал наиболее важные американские предложения.

А кто приедет в качестве министра иностранных дел? Может быть, снова Иден? Что ж, хотя стремление этого сноба делать политику в белых перчатках казалось Трумэну старомодным, но разве в этом главное? Трумэн-то знал, что белые перчатки скрывают острые когти на руках английского министра.

Затем и эти мысли отступили куда-то на второй план. Их заслонили заботы помельче. Завтра Трумэну предстояло взобраться на свою «Священную корову» и лететь во Франкфурт, где он намеревался провести совещание с Эйзенхауэром и проинспектировать 84-ю пехотную дивизию: войска должны знать, что пост главнокомандующего не является просто формальным приложением к посту президента страны. А сегодня надо обсудить кое-что с Бирнсом — на завтра у госсекретаря запланировано совещание с Молотовым, облекаемое в форму «частного разговора» о репарациях...

Словом, хоть и объявлен перерыв в работе Конференции, а у президента дел хватает.

Ну, а когда возобновится Конференция? Тогда и вовсе некогда будет дух перевести, хотя и начнет действовать «фактор бомбы». Сталин теперь уже несомненно раскусил подлинный смысл сделанного ему намека.

Итак, с бомбой в одном кармане, с покорным Эттли — в другом — вперед, к победе над Сталиным!

Трумэн видел Сталина изысканно вежливым. Наблюдал его резким и несговорчивым. Отмечал про себя уступки, пусть небольшие, компромиссы, на которые шел советский лидер.

Но он еще ни разу не видел Сталина побежденным, сознающим, что обречен на подчинение Западу, и прежде всего Америке.

«Что ж,— подумал Трумэн злорадствуя,— скоро я увижу его и таким».

(Окончание следует)

Александр Борисович Чаковский

ПОБЕДА

Политический роман

Книга третья

Редактор З. РАДИШЕВСКАЯ

Художественный редактор *С. Гераскевич* Технический редактор *Л. Ковнацкая*
Корректоры *Г. Ганапольская, О. Стародубцева*

Сдано в набор 12.10.81. Подписано в печать 27.10.81. А08613. Формат 84×108 1/16. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. 10,08 усл. печ. л. 10,92 усл. кр.-отт. 14 уч.-изд. л. Тираж 2 540 000 экз. (2-й завод 50[illegible]—2 390 000 экз.). Заказ 119. Цена 1 р. 23 к.

Адрес редакции: ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Чехов Московской обл.

Зак. 3149

РОМАН-ГАЗЕТА
ОСНОВАНА В 1927 г.
№ 2 (936)
1982
ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР
МОСКВА

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ
ПОБЕДА

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РОМАН

КНИГА ТРЕТЬЯ

(Окончание)

Глава восемнадцатая
«НА ШТУРМ!»

Самолет, на борту которого находились Эттли и Бевин, приземлился на аэродроме Гатов во второй половине дня.

Пышной встречи не было. Во-первых, потому, что оба пассажира символизировали своим приездом лишь «смену декораций», «промежуточный этап», а протокол предусматривал только основные приезды и отъезды глав делегаций. Во-вторых, примерное время их прибытия стало известно английской делегации в Бабельсберге, когда самолет уже вылетел из Англии,— на нового премьера Эттли сразу обрушилась куча дел, он не успел даже полностью сформировать свой новый кабинет и каждые полчаса переносил время вылета.

Тем не менее, когда колеса самолета коснулись бетонной дорожки Гатова, группа англичан во главе с заместителем министра иностранных дел Кадоганом выстроилась у трапа.

Первым появился Эттли. Он был в обычной своей «тройке», золотая цепочка от часов пересекала жилетку, в руке — традиционный зонтик. Следовавший за Эттли невысокий, толстый человек с широким носом и грубым, мясистым лицом на мгновение как бы оттер его. Конечно, произошло это случайно — толстяк хотел помочь Эттли спуститься по трапу, но так или иначе, а на землю они ступили одновременно.

Сопровождающего Эттли толстяка звали Эрнестом Бевином. Не прошло еще и суток после того, как он стал министром иностранных дел Великобритании.

Поздоровавшись с Эттли, Кадоган как старший из встречающих, к тому же символизирующий связь между первым и вторым составами делегации, подошел к Бевину и почтительно снял шляпу. Но то ли новый мининдел был в игривом настроении, то ли считал, что Кадоган должен был сначала подойти к нему, своему непосредственному начальнику, только вместо обычного приветствия он грубовато пнул Кадогана кулаком в живот и довольно громко сказал:

— Я не дам опрокинуть Англию! Вы меня поняли?

Что это было: шутка? Упрек своим предшественникам?

Привыкший работать с вылощенным дэнди, хорошо воспитанным Иденом, Кадоган смутился и пробормотал что-то вроде того, что полностью согласен с такой установкой.

Тем временем Бевин увидел, что у первого из автомобилей, подкативших к посадочной полосе, приоткрылась задняя дверь, и в нее, поддерживаемый кем-то под руку, проходит Эттли. Энергично, почти бегом Бевин устремился к тому же автомобилю, оста-

---

Окончание. Начало см. «Роман-газета» № 1, 1982 г.

новился у еще открытой двери, как бы приглашающей его войти, кажется, ступил даже на подножку, но передумал — с силой захлопнул дверь и дал знак офицеру, сидевшему за рулем следующей машины. Тот подъехал и затормозил рядом с первой машиной, почти вплотную.

Усаживаясь в этот сверкающий лаком и никелем лимузин, Бевин крикнул Кадогану и всем остальным:

— По машинам, ребята, их тут много! — И положив руку на плечо офицера-водителя, слегка подтолкнул его: — Трогаться!

Повторилось нечто подобное тому, что было у трапа: машины Эттли и Бевина двинулись вперед бок о бок.

— Куда мы сейчас едем? — спросил Бевин офицера.

— В Потсдам, сэр! — ответил тот с очевидным недоумением. И поспешил уточнить: — Мы проедем по западной части Берлина, так что вы, сэр, сможете увидеть...

— Я приехал не в кино! — прервал его Бевин. — И при чем тут Берлин, Потсдам? Насколько я знаю, Конференция происходит в Баб... в Баберге. Туда и надо ехать, мы и без того опаздываем.

Кадровый английский офицер был явно шокирован и тоном, которым к нему обращался этот толстяк, и его неосведомленностью относительно места, где происходит Конференция. Сдержанно, корректно, но не без иронии офицер пояснил:

— Берлина и Потсдама нам не миновать, сэр. А то место, которое вас интересует, называется Бабельсберг и находится на окраине Потсдама...

Проезжая через Берлин, Бевин одобрительно причмокивал своими толстыми, пухлыми губами: его несомненно радовал вид здешних развалин и обилие заполненных дождевой водой воронок, по которой кое-где уже пускали бумажные кораблики. А вот при виде почти не тронутого войной Потсдама и, наконец, в Бабельсберге Бевин стал хмуриться и брюзжать.

Предназначенный ему особнячок, в котором раньше жил Иден, располагался почти рядом с виллой премьер-министра Великобритании. Выйдя из машины, Бевин направился прямо в резиденцию Эттли, рявкая на охранников, которые, конечно, не могли знать его в лицо.

Пробившись с помощью подоспевшего Кадогана в особняк Эттли, Бевин увидел, что премьер вместе с Рованом и Сойерсом раскладывал на столе привезенные из Лондона папки с бумагами. Распаковывались чемоданы, в которых хранился нехитрый гардероб нового премьера.

В Бабельсберге уже смеркалось, и Эттли предложил не заниматься вечером делами, а пораньше лечь спать, в предвидении завтрашнего трудного дня. Тут же напомнил Бевину, что завтра Конференция начнется в 10.30.

— Значит, до утра будем бездельничать? — вскинув голову, произнес Бевин и неожиданно спросил: — Ну, а когда же выедем?

— Куда? — не понял Эттли. — Если вы желаете ознакомиться с окрестностями, то для этого мы выкроим время завтра, когда будет светло.

— К черту окрестности, Клемент! — воскликнул Бевин. — Для экскурсии я предпочел бы другую страну. Не забудьте, что через два-три дня нам необходимо вернуться в Лондон. Да и как вы можете провести весь вечер без дела в этой претенциозной конуре? Она скорее подходит для холостяцкой квартиры какого-нибудь графа прошлого века или для прилично устроившейся содержанки, чем для нас с вами.

Эта фраза шокировала даже Эттли, хотя он давно примирился с далеко не изысканным лексиконом Бевина.

— Черчиллю здесь нравилось,— сказал Эттли то ли с укоризной, то ли оправдываясь перед Бевином.

— Старику понравится везде, если есть шелк на мебели, картины в золоченых рамах, какие-нибудь допотопные гербы и прочая геральдическая чертовщина,— возразил Бевин.

— Для глав делегаций и министров предоставлены лучшие здания Бабельсберга,— продолжал Эттли сдержанно.

— Ну и что из того? — не сдавался Бевин. — Будем сидеть и разглядывать амуров на этих лепных потолках или протирать штаны в креслах, предназначенных для чего угодно, кроме задниц? Хочу напомнить еще раз, что Черчилль имел в своем распоряжении целую неделю, а нам предстоит вернуться в Лондон через пару дней. Короче, я предлагаю сегодня же встретиться со Сталиным, а потом — пусть ненадолго — и с Трумэном.

Эттли не без любопытства воззрился на него.

— Вы убеждены, Эрни, что со Сталиным надо увидеться раньше, чем с Трумэном?

— Безусловно, Клемент! Встреча с дядей Джо для нас сейчас важнее. С Трумэном же нет разногласий?

Рован и Сойерс, не желая быть свидетелями этой пикировки между их новым хозяином и его ближайшим помощником, незаметно удалились. Эттли решил, что пришло время поставить своего министра на место.

— Не фантазируйте, Эрни,— строго сказал он. — Если вы думаете, что одного вашего желания достаточно для свидания со Сталиным, то глубоко ошибаетесь.

— Но мы ведь тоже не первые встречные для него! — снова взъярился Бевин. — Я вовсе не намерен соблюдать тот таинственный пиэтет, который вы тут установили вокруг личности Сталина. Он всего-навсего русский босс, а не Кромвель. И я полагаю, что надо дать ему это понять сразу же. Если мы будем заниматься разными политесами...

— Я не питаю, как и вы, никаких симпатий к Сталину,— прервал его Эттли. — Но прошу помнить, что он — глава государства, выигравшего войну.

— Война выиграна при нашей помощи, Клем, и я полагаю, что об этом надо как можно чаще напоминать и самому Сталину, и всему миру.

— Ладно, но чего вы хотите в данный момент? — недовольно спросил Эттли.

— Фигурально выражаясь, идти на штурм, а практически — немедленно связаться со Сталиным и сообщить, что мы хотим его видеть.

— Каким образом вы собираетесь сделать это? Ведь существуют такие вещи, как протокол! Или вы намерены снять телефонную трубку и вызвать Сталина к нам?

— Мне доставило бы это большое удовольствие. В общем-то, я примерно так и собираюсь вести себя с ним. Он должен понять, что с нашим приездом начался новый этап переговоров и совсем по-иному должны строиться взаимоотношения. Для Черчилля главное заключалось в том, чтобы поразить Сталина своим сладкопением и аристократическим блеском. Ради этого он был готов отдать русским и Польшу, и многие другие страны. А мы должны дать почувствовать Сталину, что с нами такое дело не пройдет. Я не собираюсь с ним ссориться, но идти у него на поводу тоже не намерен. И вам, Клем, не советую. Иначе мне будет трудно.

— Вы отлично понимаете, что всегда можете рассчитывать на мою полную поддержку,— угрюмо произнес Эттли.

Он знал Бевина много лет. И не просто «знал», а и ценил. Ценил его решительность, напористость, умение прижать противника к стенке, даже шантажировать, если это надо, а главное — прямо-таки артистическое искусство перевоплощения то в грубоватого — «душа нараспашку» — парня, то в безжалостного ростовщика. Эттли искренне считал, что этими сильными сторонами характера Бевина намного превышаются присущие ему слабости. Потому и назначил его министром иностранных дел.

Однако желание Бевина первенствовать даже в мелочах, его почти нескрываемое стремление показать, что фактически движущей силой английской делегации на заключительном этапе Конференции будет он, раздражало Эттли, несмотря на всю его уравновешенность.

— Вы в состоянии толком объяснить, зачем нам нужен сегодняшний визит к Сталину? — спросил Эттли.

— Я хочу, чтобы мы с самого начала поставили перед ним альтернативу: или будьте посговорчивей, или давайте прикроем эту лавочку и разъедемся по домам. Третьего не будет. И заявить об этом гораздо проще в его офисе, чем перед кучей народа в зале переговоров.

— Но Черчилль уже не раз давал понять Сталину, что в главных вопросах он был и будет тверд, как гранит. Я тому свидетель.

— А наша задача — убедить дядю Джо в том, что мы не гранит, а нечто более твердое, что мы... впрочем, геология не моя профессия. Моя специальность и заветная цель — подготовить Сталина к завтрашнему заседанию. Пусть он заранее знает, с чем и с кем ему предстоит встретиться.

«В этом рассуждении есть логика,— подумал Эттли. — Правда, американцы могут обидеться, что мы нанесли первый визит не им,— ведь о визите к Трумэну была предварительная договоренность. Но русские здесь хозяева, это их зона. Следовательно, по протоколу все правильно».

И все же Эттли был уверен, что из затеи Бевина ничего не получится: Сталин мотивирует свой отказ поздним временем, другими делами, недомоганием, наконец. Ну, что же, для Бевина это будет хороший урок. Пускай получит его. Даже не от самого Сталина, а от кого-либо из его окружения.

А Бевин между тем все более распалялся:

— Где тут телефон? Вы знаете номер Сталина?

— Вы что же,— с искренним удивлением спросил Эттли,— в самом деле собираетесь просто снять трубку...

— А вы предпочитаете посылать к нему гонцов в шляпах с плюмажами?

Это было уже слишком. Эттли осадил строптивца:

— Не паясничайте, Эрни. Достаточно того, что я согласился на вашу нелепую затею...

В конце концов было решено поручить Кадогану или Ровану связаться с советской протокольной частью, или даже непосредственно с резиденцией Сталина и передать, что они — Эттли и Бевин — хотели бы его навестить.

Прошло всего минут пятнадцать, и от русских последовал ответ, что товарищ Сталин будет рад принять у себя английских руководителей...

Бевин ликовал.

Направляясь в одной машине с Эттли к резиденции советского лидера, он просил премьера дать понять Сталину, что в лице нового английского министра иностранных дел он встречает не дипломатического чиновника, хотя и высокого ранга вроде Идена, а крупного политического деятеля, к голосу которого прислушивался гигантский профсоюз. И если сам Сталин всегда претендует на роль полномочного представителя всего советского народа, то пусть он и Бевина рассматривает тоже как авторитетнейшего рабочего лидера, ожидающего, что с ним будут говорить «на равных».

Но Бевин беспокоился напрасно. В тот же день, когда стало известно, что он назначен министром иностранных дел и, следовательно, заменит Идена за круглым столом в Цецилиенхофе, на стол Сталина легла составленная советским послом в Великобритании Гусевым подробная справка о том, что представляет собою этот человек. Да и без того Сталин был достаточно осведомлен о Бевине.

Внимательно наблюдая за развитием рабочего движения в промышленно развитых странах, он знал всех более или менее влиятельных лидеров тамошних профсоюзов. И хотя к социал-демократии испытывал старинную неприязнь, не исключал, что и в числе социал-демократов могут быть субъективно честные люди, искренне верящие в побасенку, будто путем эволюции можно коренным образом изменить социальный строй, можно убедить буржуазию пойти на реформы, ущемляющие ее интересы.

Советские послы регулярно информировали Сталина о роли профсоюзов, в том числе и реформистских. Ему известна была головокружительная профсоюзная карьера Бевина и ее, так сказать, социальные корни. В отличие от других подобных деятелей — как правило, выходцев из мелкобуржуазных семей — у Бевина были основания, хотя бы чисто формальные, везде и всюду объявлять себя истинным представителем беднейших слоев английского общества. Его биография давала на это право. Сын служанки и неизвестного отца, он был в своей буржуазной стране скорее парией, чем просто рабочим. Рабочим он стал позже. Был докером, водителем грузовика, сумел окончить четыре класса начальной школы.

Но не одна лишь биография помогала Бевину делать профсоюзную карьеру. Он был человеком неукротимой энергии, ловким демагогом и неутомимым организатором. Ему, конечно, недоставало образованности, общей культуры, но природа не обидела его умом, хитростью, изворотливостью.

Если госсекретарь Соединенных Штатов Бирнс лишь втайне придерживался невысокого мнения о Трумэне и считал себя первым лицом в определении американской политики, то новый английский министр иностранных дел не очень-то и скрывал, что не Эттли осчастливил его, а он осчастливил Эттли, согласившись войти в состав нового правительства и представительствовать на Потсдамской конференции.

Все это знал Сталин.

Начало было для Бевина многообещающим. Попытка немедленно встретиться со Сталиным, казавшаяся Эттли неосуществимой, совершенно неожиданно увенчалась успехом.

Бевин самодовольно сказал премьеру:

— Как видите, Клем, все оказалось проще, чем вы предполагали. А знаете почему?

Эттли вопросительно посмотрел на него.

— Сильные мира сего нередко становятся таковыми только потому, что простые смертные услужливо преподносят им личину сильных. Помните сказку о голом короле? Ее написал какой-то иностранец. Так вот и перестаньте считать Сталина сверхчеловеком, ведите себя с ним попроще, порезче, и он сам постепенно начнет вести себя с вами, как обыкновенный человек.

— Напрасно вы уподобляете Сталина голому королю,— возразил Эттли. — Даже амбициозный сэр Уинстон был довольно высокого мнения о нем.

— Ха-ха! — раскатисто рассмеялся Бевин. — Черчилль был достойный старикан. Я говорю «был», потому что к старости он растерял почти все свои сильные качества. Но дело не в этом. Уинстон — самовлюбленный человек и всегда старался внушить окружающим мысль, что его предназначение — вести дела только с «великими». Снизив Сталина до уровня обыкновенного человека, он тем самым уронил бы себя в собственных глазах. А я рассуждаю иначе: со Сталиным надо вести себя, отбросив всякое преклонение. Попробовали бы вы добиться немедленной встречи с ним по протокольным каналам! Ручаюсь, мы бы сейчас не ехали к нему.

Эттли молчал, хотя мог бы напомнить, что Бевин никогда еще не общался со Сталиным, а он, Эттли, провел с ним за столом Конференции целую неделю. Мог бы привести немало примеров, когда Сталин выходил не только целым и невредимым, но и фактически победителем из ловушек, которые расставляли ему такие далеко не глупые люди, как тот же Черчилль, не говоря уже о Трумэне и Бирнсе. Да и себя Эттли не считал дураком.

Но вступать с Бевином в спор ему сейчас не хотелось. Он решил посмотреть сперва, во что выльется первое знакомство Бевина со Сталиным, а уж потом попытаться умерить пыл своего министра.

На всякий случай спросил Бевина:

— О чем вы считаете нужным говорить сейчас со Сталиным?

— О чем?! — удивленно переспросил Бевин. — Конечно же, о том, ради чего мы сюда приехали. Я вам уже сказал это.

— А я вам ответил, что для таких разговоров существует совместно выработанная нами процедура. Они происходят либо на самой Конференции, либо на подготовительном совещании министров иностранных дел.

— Послушайте, Клем! Ни вам, ни мне не надо разжевывать элементарные истины. Ну, если вам так уж хочется этого, давайте обратимся к профсоюзной практике. Есть две формы переговоров с предпринимателями. В первом случае и вы знаете и они знают, что при сложившемся на предприятии положении нам не удастся выторговать ни цента прибавки к зарплате рабочих. Тем не менее мы соглашаемся пойти в правление фирмы, зачитываем там свои требования, пьем коктейли, запиваем их кофе, тратим часы на бесплодные разговоры и уходим ни с чем.

— Почему же «ни с чем»? Члены профсоюза узнают, что вы сделали все возможное,— уточнил Эттли.

— Члены профсоюза хотят зарабатывать побольше, а работать поменьше,— с усмешкой произнес Бевин,— в этом они все, всегда и везде одинаковы... Но я возвращаюсь к моему примеру. Если коммерческая ситуация складывается в нашу пользу, мы не тратим время на поездку к предпринимателю, не пьем с ним коктейлей и кофе, а снимаем телефонную трубку и говорим: «Хэлло, босс! Со следующего месяца рабочие вашего предприятия должны получать прибавку по двадцать центов на день. Иначе с первого числа тридцать тысяч человек не выйдут на работу. Это первое. И второе: по разным обстоятельствам не выйдут именно те, на которых вы рассчитываете, чтобы выполнить крупный заказ. Вопрос ясен? Согласны? Нет?.. Ах, все-таки согласны? Ну, тогда о'кей».

Малоразговорчивый (если он не стоял на трибуне) Эттли отмолчался и на этот раз. Чего тут говорить? Бевин есть Бевин. Его надо брать целиком, со всем его цинизмом, развязностью, умением чувствовать политическую и экономическую конъюнктуры, способ-

ностью рисковать и в зависимости от личной выгоды сплачивать людей или, наоборот, разлагать их. Все эти качества были в Бевине как бы перемешаны. Надо было иметь дело с ним таким, какой он есть, или не иметь дела вообще. Пропуская мимо ушей большую часть словоблудства Бевина и выдержав некоторую паузу, Эттли все же спросил его:

— Значит, вы считаете, что Сталин находится сейчас в таком же положении, как тот ваш воображаемый босс?

— А вы полагаете, что лидер разоренной, нищей страны решится всерьез противостоять великим державам Запада, если поймет, что с ним не торгуются, не блефуют, а говорят серьезно: решение нами принято, и мы не отступим от него ни на дюйм?..

В этот момент машина остановилась. Бевин увидел металлическую изгородь, у калитки — двух русских солдат. За калиткой возвышался трехэтажный особняк, у крыльца которого тоже стояли два автоматчика.

В дверях особняка появился молодой человек в серой, наркоминдельской форме. Обращаясь прежде всего к Эттли на хорошем английском языке, сказал:

— Милости просим. Генералиссимус Сталин ждет вас.

Произошло некоторое замешательство. Эттли слегка посторонился, уступая путь Бевину. Это был просто знак вежливости, не больше, хотя такой человек, как Бевин, мог бы им воспользоваться. Но вместо этого Бевин вдруг затоптался на месте, как бы прячась за спину Эттли.

Его охватило безотчетное чувство робости: одно дело бесцеремонно рассуждать о Сталине, находясь вдалеке от него, и совсем другое, когда осознаешь, что всего лишь секунды отделяют тебя от встречи с человеком, о котором в мире ходило столько разноречивых легенд.

Однако Бевин постарался взять себя в руки. «Чепуха! — подбадривал он себя,— нелепый самогипноз!» Следуя за Эттли, которому предшествовал переводчик, Бевин поднялся по внутренней лестнице, миновал маленькую приемную и перешагнул порог настежь открытой двери.

Сталин стоял посредине кабинета, и все внимание англичан, естественно, сосредоточилось на нем. Бевин не сразу сообразил, кто такой находившийся здесь же человек в пенсне.

— Добро пожаловать! — негромко произнес Сталин.

Переводчик синхронно повторил его слова по-английски. Бевин в ответ протянул руку, но так как от Сталина его заслонял Эттли, Сталин то ли не заметил, то ли не захотел заметить этого жеста.

Несколько мгновений Бевин стоял с протянутой рукой, потом поспешно опустил ее, наблюдая, как Сталин и Молотов обмениваются рукопожатием с Эттли. Теперь-то он догадался, что человек в пенсне — Молотов, его основной партнер по переговорам.

Сталин здоровался не спеша. Обменявшись рукопожатием и несколькими приветственными фразами с Эттли, он приблизился и к Бевину, сам протянул ему руку. Затем неторопливо-плавным движением той же руки пригласил всех садиться.

Они расположились за круглым, с изогнутыми ножками столом — явно перекочевавшим в наш век из века минувшего. Первым по знаку Сталина опустился на обитый красным штофом стул Эттли. Бевин согласно кивнул, как будто приглашение Сталина относилось прежде всего к нему, и сел почти одновременно с Эттли, но не рядом, а на противоположной стороне, оказавшись, таким образом, между Сталиным и Молотовым.

В течение короткой паузы Бевин окинул взглядом комнату. Ему очень хотелось запомнить обстановку, в которой работал этот усач с золотой звездочкой на военном мундире. Но, оглядевшись, Бевин пришел к заключению, что в этом Бабельсберге все особняки схожи. Во всяком случае, заметных различий в обстановке, какая была здесь и в резиденции Эттли, не наблюдалось. Бросилась в глаза лишь одна деталь, явно не соответствовавшая ампирному стилю комнаты: карта Европы, висевшая как раз за спиной Бевина.

Первым заговорил Эттли:

— Прежде всего я хотел бы поблагодарить генералиссимуса за то, что он согласился принять нас, не считаясь с поздним часом.

Сталин пожал плечами и ответил учтиво:

— Это я должен вас поблагодарить, что, несмотря на утомительный перелет, вы сразу же нанесли визит нам.

— Второе... — хотел было продолжать Эттли, но тут неожиданно прозвучал голос Бевина, сидевшего в довольно небрежной позе, положив руки на позолоченные подлокотники стула и далеко вытянув под столом свои массивные ноги:

— Наверное, наши хозяева не ожидали увидеть нас здесь? Я имею в виду новое руководство британской делегации. И, — простите за откровенность, может быть, вы даже испытываете некоторое разочарование? Мне всегда казалось, что мистер Сталин... ну, как бы это сказать... давно неравнодушен к Черчиллю.

Сталин, чуть щурясь, посмотрел в лицо Бевину и ответил бесстрастно:

— Да, очень давно. Со времени послереволюционной интервенции в России.

Бевин впился взглядом в лицо Сталина, стараясь уловить на нем отражение иронии. Но так ничего и не уловил, кроме бесстрастия.

— Я, очевидно, неточно выразился,— с нарочитым смущением произнес Бевин. — Но мне — и не только мне одному — казалось, что генералиссимус всегда высоко ценил Черчилля и теперь, возможно, несколько разочарован.

— Я не всегда высоко ценил Черчилля,— с подчеркнутой назидательностью сказал Сталин, и его грузинский акцент, как всегда в таких случаях, проявился заметнее. — Но как в прошлом, так и теперь полагаю, что в качестве военного лидера он был на высоте. Не скрою также, мне казалось, что он вернется на нашу Конференцию.

Пухлые губы Бевина искривились в иронической ухмылке:

— Значит, генералиссимус разошелся в своей оценке Черчилля с английским народом. Никто не отнимает заслуг Черчилля во время войны. Но в демократических странах принято не обращать внимания на прошлые заслуги, если они не гарантируют аналогичных в будущем. Я не отрицаю, что многие высоко ценили Черчилля. Но трудовой народ его не любил. Особенно рабочий класс.

Это походило на едва завуалированный выпад: упрекнуть коммунистического лидера в том, что его симпатии не совпадают с чувствами рабочего класса, хотя бы и английского, было по меньшей мере бестактно. Эттли поспешил смягчить выходку Бевина, он сказал:

— Зато искреннее уважение, которое Черчилль питает к генералиссимусу, бесспорно отражает чувства английских рабочих.

— Мне кажется,— медленно и серьезно заговорил Сталин,— что рабочий класс никому не дарит своих симпатий, так сказать, авансом. Он ценит реальные заслуги людей, одобряет хорошее в них и осуждает плохое.

Бевину захотелось еще немного поэксплуатировать «тему Черчилля», чтобы тем самым набить цену себе и Эттли.

— Кстати,— сказал он,— вы знаете, генералиссимус, прозвище, которое имеет Черчилль в Англии? Бленхеймская крыса! Нет, нет,— умышленно торопливо добавил Бевин,— здесь нет ничего оскорбительного! Просто ему довелось родиться во время бала в Бленхейме — родовом замке герцогов Мальборо. В дамской раздевалке. Так уж случилось.

— Я никогда не слышал об этом странном прозвище,— теперь уже с явной неприязнью произнес Сталин,— однако полагаю, что Черчилль заслуживает большего уважения.

— Но в демократических странах клички, прозвища, карикатуры вовсе не свидетельствуют о неуважении! — воскликнул Бевин, явно стараясь дать понять Сталину, что не собирается уступать ему даже в мелочах. — Например, мы испытываем, как уже говорилось здесь, несомненное уважение к мистеру Сталину, но в просторечии зовем его дядя Джо. Вы, конечно, слышали об этом. Впрочем, обычаи бывают разными. Кстати, мне просто по-человечески интересно, как бы реагировал генералиссимус, если бы кто-либо из русских назвал его дядей Джо?

Эттли заерзал на стуле. Он крутил в пальцах свою трубку, его усики вздрагивали. Ему хотелось дать знак Бевину прекратить эту развязную болтовню, предостерегающе дотронуться до него, но тот сидел слишком далеко.

К удивлению Эттли, вопрос Бевина не вызвал какой-либо резкости со стороны Сталина. Он помолчал несколько секунд и заговорил с английским премьером так, будто и не слышал вопроса Бевина:

— Я обратил внимание, что господин Эттли имеет ту же, что и я, вредную привычку много курить. Причем мы оба курим трубки. Может быть, сейчас господин Эттли не закуривает свою трубку из-за меня? Но у меня немного болит горло, и я решил не курить день-другой. Пожалуйста, не обращайте на это внимание и закуривайте, если хотите.

— Нет, нет,— пробормотал Эттли, поспешно опуская свою трубку в нагрудный карман пиджака.— Благодарю вас за любезность.

Эттли благодарно улыбнулся и посмотрел на Сталина, ожидая увидеть на его лице ответную улыбку. Но Сталин уже перевел свой взгляд на Бевина. Это был какой-то безразличный и одновременно тяжелый взгляд.

— Что же касается вопроса господина министра,— глядя в упор на Бевина, произнес Сталин,— то человеку, который представляется ему воплощением демократии, независимо от того, русский он или не русский, я бы сказал, что здесь нет ни дядей, ни племянников. А есть вежливые люди и невежливые люди.

После этого он отвернулся от Бевина и обратился к Эттли, как бы заново начиная беседу:

— В начале нашего разговора господин премьер-министр назвал первое из того, что он хотел сказать. Произнести «второе» мы ему помешали. Это тоже не очень вежливо с нашей стороны.

Эттли к тому времени успел уже забыть, на чем его перебил Бевин. При этом он испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, был рад, что Сталин поставил Бевина на место, с другой — беспокоился, как бы с самого начала не испортить отношения со Сталиным, которому собирался высказать позицию «новой» английской делегации.

Чувствуя, что Эттли находится в затруднительном положении, Сталин доброжелательно подсказал:

— Очевидно, вы хотели поговорить о том, как и когда нам следует закончить нашу Конференцию. Перед отъездом господина Черчилля у меня сложилось впечатление, что по основным вопросам мы близки к соглашению. Впрочем, вы ведь, господин Эттли, присутствовали при переговорах и сами все слышали.

Эттли почувствовал, что ситуация исправляется и что Сталин не придает значения стычке с Бевином. «Что ж,— подумал он,— Эрнест получил по заслугам, но к началу переговоров с Молотовым, наверное, придет в себя. Там Бевин, несомненно, будет полезен. То, чего не станет терпеть Сталин, придется вытерпеть Молотову».

— Я уверен,— сказал Сталин, на этот раз задумчиво, как бы мысля вслух,— что с Черчиллем мы бы договорились, хотя вовсе не собираюсь сваливать возможную неудачу на английскую демократию.

— Демократия тут ни при чем, генералиссимус,— встрепенулся Эттли, понявший, что Сталин не забыл колкостей Бевина. — Насколько я понимаю, вы хотите сказать, что Черчилль был готов пойти на уступки. В этом случае, простите меня, вы глубоко ошибаетесь.

— Я могу напомнить целый ряд вопросов,— заговорил молчаливый Молотов,— по которым мы в конце концов находили общий язык.

— В этом нет смысла, господин министр,— сумрачно ответил Эттли,— я, как упомянул генералиссимус, присутствовал на всех заседаниях. И у меня сложилось твердое впечатление, что по ряду вопросов соглашение было невозможно тогда, как невозможно оно и теперь.

— Да-а? — с преувеличенным удивлением произнес Сталин. — В таком случае я принадлежу к числу оптимистов. Вы сказали «по ряду вопросов». Назовите, пожалуйста, какой из них вы считаете главнейшим.

— Я бы начал с Германии, но обсуждение этого вопроса еще впереди. А вот по польскому вопросу и некоторым другим, к нему примыкающим, я не вижу признаков согласия.

— Ну, почему же? — спросил Сталин вроде бы опять добродушно. — Может быть, перспективы представляются вам столь мрачными потому, что вы не имели возможности следить за развитием польской проблемы. В Ялте, где мы пришли к определенному согласию, вас не было, а на нынешней Конференции, где дискуссии о новых польских границах происходили почти на каждом заседании, отсутствовал господин Бевин. Кроме того, ни вы, господин Эттли, ни вы, господин Бевин, не имели возможности выслушать официальную польскую делегацию, которая прибыла сюда, к нам, по приглашению, подписанному президентом Трумэном. Мы все единогласно решили выслушать доводы Польши в пользу ее будущих границ. Кстати, эта делегация еще здесь, и, может быть, вы решите ее принять. Надеюсь, что тогда ваша категоричность по польскому вопросу изменится.

— Нет! — воскликнул Бевин.

— Но почему же? — спокойно, даже как-то участливо, произнес Сталин.

— Потому что вопрос совершенно ясен и так.

Эттли постарался погасить новую вспышку страстей. Стал излагать свои доводы хотя и пронзительным, как всегда, но достаточно спокойным голосом:

— Господин Сталин, мы, избранные народом, полноправные представители Великобритании, не можем считать себя связанными мнениями наших предшественников. Но поскольку здесь уже не раз упоминалось имя Черчилля, то и я со своей стороны тоже хочу сослаться на него. Да, генералиссимус, я действительно не был в Ялте, а господин Бевин и в Бабельсберге. В ваших устах это прозвучало упреком. И именно это позволяет мне упомянуть о моем разговоре с Черчиллем, при котором не присутствовали ни вы, ни господин Молотов.

— О каком разговоре идет речь? — с явным любопытством спросил Сталин.

— Это был прощальный разговор. За час до нашего отлета сюда сэр Уинстон посетил меня. И вы знаете, что он сказал мне? «Если бы избиратели вернули меня на пост, который я занимал, то моей целью было бы сцепиться,— да, да, он употребил именно это слово,— повторил Эттли, глядя на переводчика,— сцепиться с Советским правительством по целому «каталогу» вопросов».

— Каталогу? — чуть приподнимая брови, переспросил Сталин.

— Да, он употребил и это слово... «Ни я,— сказал Черчилль,— ни мистер Иден никогда не признали бы границу Польши по западной Нейсе».

— В чем все-таки подлинная причина такого упорства, которое я бы назвал маниакальным, если бы это не прозвучало обидно? — спросил Сталин.

— Прежде всего в том, что, получив границу по Восточной Нейсе, поляки уже приобретают максимальную компенсацию за отход от линии Керзона.

— Но при чем тут линия Керзона? — подал свой голос Молотов. — Она была установлена после первой мировой войны за счет русских территорий и без всякого согласия России! Н-надеюсь вам известно, что нас даже не позвали на совещание, где державы-победительницы обсуждали этот вопрос.

— Я не намерен копаться в фолиантах истории! — неожиданно вскричал Бевин. — И не собираюсь ссылаться ни на частные разговоры, ни на линию Керзона. Я знаю только одно...

Он вскочил со стула и, повернувшись к висевшей на стене карте, несколько раз ткнул в нее указательным пальцем.

— Смотрите! Вон какие куски мы даем Польше! А она требует большего. Это разбой! Как можно с этим примириться?!

Наступило неловкое молчание. Тяжело дыша, Бевин вернулся на свое место.

— Мы, кажется, уже приступили к продолжению Конференции, — проговорил Сталин, — а это неправомерно,— здесь нет американцев. И кроме того, Конференция назначена на завтра, на десять тридцать утра.

Сталин встал. Его примеру последовали остальные.

— Я считаю, что будет правильно,— продолжал Сталин,— если в оставшееся до завтрашнего утра время да и в последующие дни мы обдумаем все наши разногласия с позиций справедливости, здравого смысла и установления прочного мира на будущее. Эмоции в таких делах не всегда хороши. Мы должны изучить все, до мелочей... — Сталин сделал паузу и закончил фразу словами: — ...включая карту Польши и вообще Европы. — Он слегка улыбнулся, наклонил голову и распрощался: — Спасибо, господа, что вы оказали нам любезность своим визитом. До завтра.

Уже сидя в машине, направлявшейся к особняку Трумэна, Бевин продолжал тяжело и шумно отдуваться. Эттли молчал.

— Вот как надо с ним говорить! — пробурчал Бевин, видимо желая выяснить мнение Эттли.

Эттли продолжал молчать.

— Мы не позволим ему учить нас! — с еще большим нажимом продолжал Бевин. — Что за советы он дает? Изучить карту? Как будто мы школьники на уроке географии!

— Даже школьники, по крайней мере в старших классах, должны знать карту Европы наизусть,— подчеркнуто холодно проговорил Эттли.

— Что вы этим хотите сказать?

— То, что, показывая на карте территории, которые якобы с нашего согласия получит Польша, вы отхватили значительно большую часть Германии и кусок Чехословакии. Если бы под вашим пальцем не оказалось море, вы могли бы подкинуть полякам и часть Скандинавии. Размашистые жесты приемлемы в боксе, Эрни. В политике они или опасны, или... смешны. Когда мы вернемся от Трумэна, я распоряжусь прислать вам карту Европы.

Глава девятнадцатая
ТЕНЬ ЧЕРЧИЛЛЯ

28 июля 1945 года снова зашуршал гравий под колесами машин, подъезжающих к Цецилиенхофу, снова завыли сирены, замигали фарами американские мотоциклисты эскорта. Возобновлялись заседания «Большой тройки».

Что удалось сделать за время, предшествовавшее этому, десятому по счету заседанию? Чего не сумели добиться высокие договаривающиеся стороны? Кто проиграл бескровные сражения? Кто выиграл?

Ответить на эти вопросы односложно и однозначно очень трудно. Трудно прежде всего потому, что цели участников Конференции были разными.

Советский Союз хотел обеспечить безопасность своих европейских границ, стоял за предоставление странам Восточной Европы, освобожденным от гитлеровской оккупации силами Красной Армии и антифашистского движения Сопротивления, права самим решать свою дальнейшую судьбу, добивался воссоздания Германии на антифашистской основе, требовал, чтобы Германия была демилитаризована, чтобы она, а также Италия уплатили репарации за тот страшный ущерб, который нанесли нашему народному хозяйству, и чтобы были строго наказаны военные преступники, обагрившие свои руки кровью советских людей, солдат союзных армий и европейцев-антифашистов. Ни одно из этих требований представители Америки и Англии не могли отвергать открыто. Справедливость советских предложений была бы очевидной для мирового общественного мнения.

В ином положении оказались наши западные партнеры по переговорам. Они не могли также напрямик заявить о своих подлинных целях, которые ужаснули бы весь мир. Не могли заявить, что хотят править этим миром под угрозой атомной бомбы. Не могли признаться, что намерены отнять у Советского Союза все плоды его победы и презреть память миллионов советских граждан, отдавших свои жизни за спасение не только своей Родины, но и всей мировой цивилизации. Не могли объявить во всеуслышание о своем намерении вновь возродить Германию как милитаристское государство, послушное только Америке и Англии. Не могли вопреки ялтинским соглашениям отказать Польше в расширении ее территории. Не могли «спустить на тормозах» вопросы о репарациях и наказании военных преступников.

В конце концов справедливость, несмотря ни на какие ухищрения ее противников, побеждала. Медленно, не полностью, но все же брала верх.

Трумэн и Черчилль рассчитывали на восстановление в Европе антисоветских правительств — им это не удалось. Наоборот, усилиями советской делегации было достигнуто соглашение, открывающее перед народами Европы широкие возможности самостоятельно решать свои внутренние и внешнеполитические задачи.

Трумэн и Черчилль всячески пытались ущемить справедливые территориальные претензии Польши. Больше того, президент США готов был вообще снять этот вопрос с обсуждения. Не удалось. Хотя «польский вопрос» все еще находился как бы в «подвешенном» состоянии, он по-прежнему оставался одним из важнейших в повестке Конференции.

В каких-то случаях справедливость торжествовала благодаря железному упорству советской делегации. В других — «западников» заставляла идти на компромисс сама логика Истории. В-третьих — договаривающиеся стороны приходили к согласию благодаря некоторым уступкам со стороны Советского Союза; без взаимных уступок и компромиссов Конференция закончилась бы бесплодно уже на второй день. А она все еще продолжала свою работу внешне безмятежная, как сама наша планета в необъятных просторах космоса, над которой сверкают иногда молнии, гремят громовые раскаты, то сильнее, то тише дуют холодные ветры. Но под внешне ровной поверхностью бабельсбергской планеты происходили тектонические катаклизмы, бушевала раскаленная лава, сдвигались, сталкивались друг с другом пласты глубинных пород.

По взаимной договоренности, десятое заседание «Большой тройки» должно было состояться на сутки раньше. Но результаты парламентских выборов в Англии, поражение на них консерваторов, отставка Черчилля, назначение на его место Эттли — все это задержало возвращение в Бабельсберг руководителей английской делегации. Лишь 28 июля, в десять часов двадцать восемь минут, в десятый раз повторилась процедура, ставшая уже привычной. В зал заседаний одновременно вошли Трумэн, Сталин и Эттли, а также остальные члены американской, советской и английской делегаций. Главы государств пожали друг другу руки и направились к круглому столу. Поспешно стали занимать свои места переводчики, секретари и протоколисты.

То, что Эттли заиял кресло, на котором раньше восседал Черчилль, а Идена заменил Бевин, ничего вроде бы не изменило. Неизменным оставался и сам Эттли, хотя стал первым после короля человеком в бывшей «владычице морей», — все тот же темный костюм-тройка, все та же цепочка от часов, лежащих в жилетном кармане, все то же угрюмо-невозмутимое выражение лица...

Что же касается Бевина, то он, казалось, уже полностью оправился от конфуза, который с ним приключился вчера, у Сталина. Даже вытащил из своего уязвленного сердца эту «занозу» с картой. В ка-

бинете у Трумэна висела аналогичная карта и во время вчерашнего визита к президенту, когда зашел разговор о Польше, Бевин точнее очертил ее границы, давая понять Эттли, что там, у Сталина, будучи взволнованным, допустил чисто случайную ошибку.

Истины ради следует отметить, что Бевин и на этот раз, очерчивая пальцем предполагаемую польскую границу, «прихватил» кусок Чехословакии. Эттли сделал вид, что не заметил этого. А Трумэн и сам далеко не твердо знал географию Европы и лишь приблизительно представлял себе довоенные и послевоенные границы европейских стран. Зато от присутствовавшего на беседе у президента адмирала Леги погрешность Бевина не укрылась, и, когда англичане ушли, он сказал Трумэну, что, судя по всему, Бевин не так уж много знает о Польше.

Но сам-то Бевин думал о себе иначе. Он всю ночь читал бумаги, переданные Миколайчиком Черчиллю, изучил протоколы прошлых заседаний «Большой тройки» и полагал себя во всеоружии. В зал Конференции он вошел широким, размашистым шагом с задорной улыбкой на широком, мясистом лице, как давнему приятелю улыбнулся Сталину, даже подмигнув при этом, а Трумэна едва не похлопал по плечу. Словом, вел себя как в привычной обстановке лондонской пивной — в «пабе», где хорошо знал почти всех завсегдатаев...

Итак, Великобританию представляли теперь Эттли и Бевин. Тем не менее вместе с новым английским премьером и министром иностранных дел в зал незримо вошла тень Черчилля. Именно его «идеи» предстояло защищать здесь Эттли и Бевину. Воссоздание антисоветской Польши, восстановление «санитарного кордона» вокруг СССР, возрождение такой Германии, которая нависала бы постоянной угрозой над большевистской Россией, — все эти планы и мечты принадлежали прежде всего Черчиллю.

Эттли и Черчилль были и врагами и единомышленниками. Единомышленниками, когда дело касалось отношения к Советскому Союзу и коммунизму вообще. Врагами, когда возникал вопрос, кому обладать высшей властью в Англии. Такой власти Эттли теперь достиг, и самолюбие не мешало ему со всей добросовестностью выполнить «завещание» Черчилля...

— Джентльмены, мы имеем возможность снова продолжить наши заседания,— громко объявил Трумэн. — Я приветствую всех участников наших прошлых встреч, а также и тех, кто прибыл к нам в новом качестве или впервые.

Произнеся эти слова, Трумэн на мгновение как бы набросил на свое лицо маску улыбки. Это была типично американская «улыбка без подлинных эмоций» — «Service with smile»[1], необходимая, когда хочешь что-либо выгодно продать или купить.

В данном случае сыграла роль инерция. Эттли и Бевин сейчас меньше всего интересовали Трумэна. Его всецело приковывал к себе тот день — «приблизительно после третьего августа», — когда страшные взрывы прогремят над ошеломленным человечеством, знаменуя собой наступление новой, американской эры. В раздумья об этом дне врывалась мысль о Стимсоне, о внезапной перемене в душе военного министра.

«Он на старости лет потерял самого себя,— думал Трумэн,— обнаружил полное непонимание, что все великие дела на нашей грешной планете связаны с кровью, что ныне для этих великих дел провидение выбрало Америку, ибо если без воли божией волос не может упасть с головы, то кто, как не всевышний, вложил в руки американцев атомную бомбу?»

Президент не заметил, что Эттли в ответ на его приветствие молча наклонил голову в знак признательности. А Бевин приподнял руку и слегка потряс ею в воздухе.

— Я предлагаю,— продолжал Трумэн,— прежде всего заслушать мистера Молотова, который готов доложить Конференции о продолжавшихся заседаниях наших министров иностранных дел, в то время когда произошел вынужденный перерыв в работе Конференции.

Подчеркнуто сухо, протокольно Молотов доложил, что на совещаниях министров речь шла о перемещении немцев из ряда оккупированных ими стран, об экономических принципах в отношении Германии, о репарациях, которые она должна уплатить, о западной границе Польши, о военных преступниках. Не проявляя никаких эмоций, Молотов сообщил, по каким именно вопросам у министров существуют разногласия, какие точки зрения несколько сближаются.

Трумэн, Сталин и Эттли слушали доклад, как могло показаться со стороны, не особенно внимательно — ведь все это было уже известно им. Только у Бевина, совсем еще недавно такого бодрого, убежденного, что, изучив сотни полторы документов, он может чувствовать себя вполне подготовленным к нынешнему заседанию «Большой тройки», по мере слушания доклада Молотова настроение заметно ухудшилось. В его ушах звучали названия стран, в которых он никогда не был. Он не имел достаточно ясного представления о германском флоте, о вывозе нефтеоборудования из Румынии, о том, надо или не надо переселять немцев из Польши, Чехословакии и Венгрии. Бевин почти с ужасом подумал, в каком незавидном оказался бы он положении, если бы не Идену, а ему пришлось участвовать в совещаниях, о которых монотонно, слегка заикаясь, но твердо, почти не заглядывая в свои записи, лежащие на столе, докладывал сейчас Молотов.

И у Бевина созрело решение: пока что побольше молчать, «выходить на линию огня», только когда речь пойдет здесь о чисто политических и хорошо знакомых ему делах.

— Какой же вопрос мы будем обсуждать сейчас? — спросил Трумэн по окончании доклада Молотова. — О западной границе Польши или какой-нибудь другой?

---

[1] Обслуживание с улыбкой *(англ.)*.

— Можно о Польше, можно об Италии, а можно и о других странах,— равнодушно, как показалось Бевину, проговорил Сталин. И, в свою очередь, спросил Трумэна: — Каким временем вы располагаете сегодня? Час мы можем поработать?

«Всего час?!— чуть было не воскликнул Бевин. — Только час, когда перед нами необозримая гора вопросов! Сколько времени вы собираетесь здесь провести? Месяц? Три? Или, может быть, год?! Это же черт знает что такое!..»

Эттли, очевидно почувствовав состояние своего министра, предостерегающе посмотрел на него.

Этот угрюмый, демократичный по внешнему виду и манерам, вежливый, но лишенный чувства юмора человек, конечно же, обладал бóльшим политическим опытом, чем Бевин. Он не только вместе с Моррисоном лидерствовал в лейбористском движении. Ему доводилось занимать и высокие государственные посты. Он был «лордом-хранителем печати», заместителем премьер-министра. Ему не раз случалось возглавлять парламентскую оппозицию, и на этом поприще он овладел тем, в чем отказала ему природа,— искусством полемики.

Однако по существу своему Эттли оставался ограниченным обывателем. «Государственным обывателем», если можно так выразиться.

Он мало путешествовал (преимущественно между Вестминстером, где заседал парламент, и своим пригородным домом в Стэнморе). Поздно женившись, стал примерным семьянином, любил жену и четырех своих детей. Если Черчилль на вопрос, что он предпочитает в жизни, отвечал: «Все самое лучшее»,— то Эттли на аналогичный вопрос мог бы ответить более конкретно: уход за собственным садом и чтение детективных романов. И дома, и в партийной своей деятельности, и на любом из государственных постов он напоминал крота, усердного и трудолюбивого.

Государственная деятельность Бевина началась позже, и диапазон ее был значительно уже. Во время войны Бевин стал министром труда. Но эта работа, особенно в военных условиях, как бы смыкалась с профсоюзной практикой. Отличие состояло главным образом в том, что в качестве министра труда Бевин получил право приказывать рабочим и стал фактически распоряжаться трудом более чем тридцати миллионов британцев.

Когда Бевину предложили пост министра иностранных дел, ему исполнилось 65 лет. Низкорослый, тучный, он тем не менее обладал завидной энергией, сильным, хотя и хриплым голосом, любил политические интриги и, в то время как подавляющее большинство англичан рассчитывало на продолжение дружбы с Советским Союзом, старался разуверить их в этом, разглагольствовал, будто русские «хотят наступить на горло Британской империи».

Невзрачный Эттли был основательнее и умнее Бевина, в поступках своих более осмотрителен. Бевин находил удовлетворение в каждом выигранном сражении. Эттли — лишь в таком, которое обеспечивало конечную победу.

Здесь, в Потсдаме, заветной его мечтой было добиться того, что не удалось Черчиллю,— поставить Россию на колени и вернуться в Лондон триумфатором. Но Эттли отдавал себе отчет, насколько трудно будет осуществить эту мечту, и действовал неторопливо. А Бевин спешил, очень спешил.

Услышав полувопрос-полупредложение Сталина относительно регламента сегодняшнего заседания «Большой тройки», он выжидающе посмотрел на Эттли, потом перевел нетерпеливый взгляд на Трумэна. Неужто они согласятся ограничиться лишь одним часом работы?

— Это меня устраивает,— ответил Трумэн. — Будем работать до двенадцати часов.

Эттли поддержал его молчаливым кивком головы.

«В таком случае сейчас же начнется дискуссия о польских границах»,— подумал Бевин. Но Сталин нарушил это предположение. Он сказал:

— Я хотел сообщить, что мы, русская делегация, получили новое предложение от Японии. Хотя нас не информируют как следует, когда составляется какой-нибудь документ о Японии,— тоном равнодушной констатации продолжал Сталин,— мы попрежнему считаем, что следует информировать друг друга о новых предложениях, и собираемся вести себя соответственно.

«Чего он добивается? — недоумевал Бевин. — Для чего вдруг хочет утащить Конференцию, фигурально говоря, из Европы, которая у нас под боком, — к черту на рога, за тысячи километров отсюда — на Дальний Восток?»

Однако все остальные, в особенности Трумэн и Бирнс, отлично поняли, что имеет в виду Сталин. Конечно же, так называемую «Потсдамскую декларацию», ультимативно требующую от Японии безоговорочной капитуляции, угрожающую ей в противном случае «быстрым и полным уничтожением». Этот документ был направлен в Токио 26 июля, то есть уже в ходе Конференции, от имени американской и английской делегаций (чуть позже к ним присоединился Чан Кайши) без консультаций со Сталиным.

Правда, Бирнс задним числом сделал неуклюжую попытку «объяснить» Молотову, почему так получилось: мол, Советская Россия формально не находилась в состоянии войны с Японией. А истинная-то причина заключалась в другом: в стремлении Трумэна ревизовать ялтинские соглашения. Ведь если бы «Декларация» достигла своей цели и милитаристская Япония капитулировала только перед Соединенными Штатами и Англией, угроза с ее стороны, постоянно нависавшая над Советским государством, не исчезла бы, а в той или иной форме сохранялась и на будущее. Что же касалось другой американской цели — демонстрации силы атомной бомбы,— то Трумэн был убежден, что и положительный ответ Японии на «Декларацию» не помешает этому; при желании в любом ответе можно усмотреть повод для неудовлетворенности и осуществить

уже принятое решение о нанесении атомного удара по японским городам.

Японское же правительство отреагировало на «Декларацию» совершенно неожиданным образом: поручило своему послу в Москве позондировать, на каких условиях Япония могла бы получить гарантии, что СССР не вступит в войну с нею, и просить Советское правительство стать посредником в японо-американских переговорах. Ответ посол получил расплывчато-неопределенный, поскольку Советский Союз не намеревался отступать от ялтинских соглашений. И теперь Сталин решил предать все это огласке, изобличить западных союзников в недостойной игре и вместе с тем еще раз продемонстрировать верность Советского Союза взаимным обязательствам.

— Сейчас,— продолжал он,— мы хотели бы огласить для сведения Конференции вот эту самую адресованную нам ноту Японии о посредничестве. Может быть, зачитаем ее прямо на английском? Перевод этого документа на русский советская делегация знает...

Когда переводчик окончил чтение и бережно положил листок плотной бумаги на стол перед Молотовым, Сталин сказал:

— Как видите, особых сенсаций в ноте нет, кроме одной: Япония предлагает нам своего рода сотрудничество. Но уж в этом мы никак не повинны.

Он с хитрой улыбкой посмотрел на Трумэна и добавил:

— Наш ответ Японии и на этот раз будет неопределенным.

— Мы не возражаем,— сказал Трумэн, предварительно обменявшись несколькими словами с Бирнсом.

— Мы тоже согласны,— сказал Эттли, выбивая свою трубку и вроде бы всецело сосредоточившись на этом.

— В таком случае моя информация исчерпана,— удовлетворенно произнес Сталин.

У Бевина создалось впечатление, что заседание сейчас закончится, поскольку обусловленное время было уже на исходе. Это снова привело его в уныние. «Как же так? — мысленно вопрошал он. — Мы же не только ничего не решили, но д же не коснулись главных вопросов — ни польского, ни германского!..»

Бевин воспринимал то, что происходило на Конференции, как может воспринимать любую шахматную партию человек, никогда не бравший в руки шахмат. Неискушенному иногда кажется, что передвижение фигур по шахматной доске слишком произвольно, лишено всякой логики и последовательности. Почему это пешка, сделав всего один какой-то ход, превращается вдруг в ферзя? Почему одни фигуры движутся прямолинейно, а другие — какими-то «углами»? Почему одна и та же фигура то делает маленький шажок вперед, то, отступая, пересекает по диагонали всю шахматную доску? Почему, вместо того чтобы атаковать короля, игра вдруг сосредоточивается в самом отдаленном от него месте?..

Бевин еще не понимал того, что почти ни одно из сказанных на Конференции слов не было бесцельным. Он видел лишь разрозненные частицы мозаики, не сознавая, не чувствуя, как в результате перемещения этих частиц постепенно создается цельная, исполненная глубокого смысла картина.

Бевин сделал жест рукой по направлению к Трумэну, жест, который можно было истолковать как умоляюще-вопросительный, и президент, будто угадав, чего хочет английский министр, сказал:

— На очередном подготовительном совещании советский представитель заявил, что имеются два вопроса, на которые его делегация хотела бы обратить наше внимание в первую очередь. Первый вопрос — об Италии и других странах-сателлитах, второй — о репарациях с Австрии и Италии.

— Чтобы быть точными,— дополнил Сталин,— мы хотели бы напомнить о нашем желании поставить еще два вопроса: о германском флоте и о западной границе Польши.

Трумэн, как будто забыв о своих председательских правах, отделался довольно общей фразой о готовности обсудить сегодня любой из названных вопросов. И Эттли, которому, по мнению Бевина, достаточно было твердо сказать «обсудим польский вопрос», чтобы направить ход Конференции в нужное русло, тоже повел себя как-то странно: стал вдруг высказывать сожаления по поводу того, что «события, которые имели место в Англии, помешали работе Конференции...»

И тогда снова захватил инициативу Сталин. На этот раз речь его была довольно длинной. Смысл ее сводился к упреку союзникам в том, что они отступают от уже согласованных решений.

— Нам казалось,— говорил Сталин,— что вопрос о мирных договорах с Болгарией, Румынией, Венгрией и Финляндией в основном согласован. Советская делегация пошла навстречу своим партнерам — приняла поправку господина Черчилля. Но на совещании министров английская делегация внесла новую поправку, на которую мы согласиться не можем. Опять возобновились дебаты: как назвать правительства указанных стран — «ответственными» или «признанными»? Мы были и остаемся против первого из этих двух определений, так как оно дает повод для обид. В первом варианте получается, что эти правительства до сих пор были «безответственными»... Здесь нами достигнута договоренность, что каждое из наших государств может признать правительства Болгарии, Румынии, Венгрии и Финляндии, когда сочтет их демократическими. А теперь получается, что министры собрались и отменили наше решение. Разве это правильно?

Сталин обвел укоризненным взглядом членов американской и английской делегаций. Наступило молчание. Всем было ясно, что Сталин прав, что западные союзники пытаются сделать шаг назад с уже достигнутого рубежа.

Было очевидно и другое: Сталин ничего не забывает и не позволит, чтобы его дурачили, бросая слова на ветер.

Трумэн выжидающе посмотрел на Эттли, но тот только пожал плечами. Жест этот мог означать лишь одно: он, Эттли, не намерен безоговорочно принимать все то, с чем соглашался Черчилль. Это из-за Черчилля Сталину удалось протащить ряд своих предложений. Это из-за болтливости бывшего премьера Конференция временами напоминала бесплодную говорильню или походила на корабль, у которого отказал двигатель, вышли из строя навигационные приборы, и стихия несла его куда хотела по взбаламученному океану Истории.

Так зачем же ему, Эттли, брать на себя ответственность за все это? Пускай сам Черчилль расплачивается за свои просчеты и поражения.

Но в то же время Эттли сознавал, что, так или иначе, именно на него, человека, представляющего Британию на заключительном этапе Конференции, падет ответственность за все, что здесь происходило и произойдет в дальнейшем.

Не исключалось, правда, и другое: если, несмотря ни на что, Конференция все же закончится успешно, общественное мнение Британии будет объяснять это твердостью и дипломатическим мастерством Черчилля, а он, Эттли, окажется забытым. Но велики ли шансы на успех? Ведь главные вопросы все еще остаются нерешенными или решенными не окончательно, хотя прошло по крайней мере две трети времени, отведенного на Конференцию...

Значит, Конференция кончится провалом? Вот уж в этом-то случае Эттли не будет забыт. Тогда сам Черчилль и его консервативная партия сделают все для того, чтобы убедить общественное мнение Англии, будто иначе и быть не могло потому, что вместо знаменитого, искусного Черчилля в кресле, предназначенном главе британской делегации, волею судьбы оказался бесцветный Эттли. «Следовательно,— решил новый премьер,— проявлять себя здесь надо только в тех случаях, если ситуация складывается явно в пользу западных союзников». В этом смысле его линия поведения совпадала с линией Бевина, хотя тот, как уже отмечалось, предпочел отмалчиваться по иной причине.

Из лондонского далека эта Конференция представлялась Бевину похожей на заседание смешанной комиссии из профсоюзных лидеров и предпринимателей, где каждый высказывается лишь «по существу дела» и где председательствующий ударом молотка возвещает о принятии решения. По крайней мере сам Бевин именно так проводил подобные заседания в военное время, будучи министром труда. А то, что происходило здесь, все больше разочаровывало его.

Отправляясь на Конференцию, Бевин верил, что она принесет ему лавры как министру иностранных дел, что «западное большинство» непременно добьется блестящей победы хотя бы только потому, что оно было большинством, и что эта победа станет для него, Бевина, тем пьедесталом, с которого его увидит не только вся Британия, а и весь мир.

Есть люди, которые заранее считают себя умнее и хитрее своего будущего оппонента. К ним всецело принадлежал и Бевин. Но вчерашнее фиаско у Сталина несколько обескуражило его, а сегодня к этому прибавились еще сомнения, навеянные докладом Молотова, и он, подобно Эттли, решил брать слово здесь, только когда выступление сулит неминуемый успех.

Не дождавшись от британской делегации ни единого звука в ответ на заявление Сталина, Трумэн строго посмотрел на Бирнса. Взгляд этот как бы спрашивал: «Ну, а вы чего молчите? Не мне же, черт возьми, отчитываться за совещания министров?!»

Бирнс, так же как и Эттли, слегка пожал плечами, будто ответил шефу: «А почему бы и вам не последовать примеру Сталина? Вон как он использует информацию своего министра».

Это было уже слишком! И Трумэн прямо обратился к своему государственному секретарю:

— Я прошу мистера Бирнса высказаться по поводу претензии генералиссимуса.

— Джентльмены! — начал Бирнс и при этом демонстративно тяжело вздохнул.— К сожалению, создается положение, при котором, когда мы соглашаемся с нашими советскими друзьями, английская делегация не дает своего согласия. А когда мы соглашаемся с нашими английскими друзьями, возражает советская делегация...

В зале послышался сдержанный смех.

— Здесь нет ничего смешного, джентльмены,— возвысил голос Бирнс.— Разрешите восстановить некоторые факты. На совещании министров советский представитель заявил, что, насколько он помнит, Соединенные Штаты приняли предложение его делегации. Я подтвердил, что в принципе это действительно так. Да и не только в принципе, а и по существу. Господин президент, передавая нам для редактирования советское предложение о возможности признания правительств ряда восточноевропейских стран и Финляндии, имел в виду лишь замену слова «рассмотреть» словом «изучить». Не знаю, как на других языках, но по-английски между этими словами есть некоторая разница. Найдя нужное слово, мы могли бы, как говорится, тихо и мирно считать советское предложение принятым. Но тут в затруднительном положении оказался лично я.— Бирнс сделал паузу, посмотрел на Эттли и, снова тяжело вздохнув, продолжал: — Дело в том, что сразу же после заседания Конференции, на котором советское предложение было в принципе принято, ко мне подошел мистер Черчилль и заявил, что он против...

— Против чего? — недоуменно спросил Сталин.

— Ну вот, против этого самого вашего предложения относительно потенциального признания правительств стран — бывших сателлитов,— ответил Бирнс и повернулся в сторону заместителя английского министра иностранных дел: — Ведь так, мистер Кадоган? Вы при этом присутствовали.

— Да, сэр,— утвердительно кивнул Кадоган.

— Теперь войдите в мое положение, джентльмены,— тихо произнес Бирнс, снова обращаясь ко всем

участникам Конференции. — Имел ли я право не упомянуть об этом факте на совещании министров? Если бы не упомянул я, то это наверняка сделал бы мистер Кадоган. Притом он был бы вправе упрекнуть меня в утаивании протеста мистера Черчилля. Ведь в отсутствие мистера Идена именно мистер Кадоган представлял Британию на нашем совещании.

Бирнс снова сделал паузу, как бы предоставляя возможность каждому, кто пожелает, опровергнуть его. Но все молчали. Слышен был только стук дятла, проникавший в зал через распахнутые окна.

— Потом,— продолжал Бирнс,— обнаружились разногласия по Италии. Они были повторением дискуссии, возникшей гораздо ранее, на заседании Конференции... Я мог бы привести и еще десяток подобных фактов, но боюсь, что это лишь затянет наше заседание.

Эттли постучал трубкой о край пепельницы, и было непонятно, просто ли он выбивает ее или просит внимания.

Оказалось последнее. Эттли понял, если он промолчит и сейчас, то у всех останется впечатление, что только английская делегация проявляет непостоянство и мешает прийти к согласию. Но брать на себя защиту Черчилля он не хотел. Значит, надо было выбрать нечто среднее: и оправдаться, и вместе с тем не подставлять под удары собственные бока. Эттли сказал:

— Все знают, что на совещании министров, о котором только что доложил мистер Бирнс, ни я, ни мистер Черчилль, естественно, не присутствовали. Нас вообще в это время не было в Потсдаме. Не принимал участия в этом совещании и мистер Бевин. Поэтому мне кажется правильным попросить мистера Кадогана разъяснить более подробно позицию, занятую там английской стороной.

Кадоган неприязненно посмотрел на Эттли, хотя сознавал, что у премьера были основания для своего предложения.

— Что ж, я не собираюсь уходить от ответственности,— сказал он. — Что было, то было. Только само дело представляется мне не таким уж драматичным. Вопрос, так сказать, «лингвистический», по-моему, был самым легким. По существу, мы пришли по нему к согласию и ссылаться на отсутствующего сейчас мистера Черчилля, полагаю, нет оснований. По другому вопросу — о возобновлении дипломатических отношений с рядом восточноевропейских стран и Финляндией — мы тоже почти достигли компромиссного решения, согласившись, что когда мирные договоры с ними будут подписаны, то станет возможным и возобновление дипломатических отношений. Но мне кажется, что это встретило возражения со стороны советской делегации? Я употребил слово «почти» не случайно. Компромисс мог быть достигнут, но не состоялся. Почему? Может быть, тоже из-за Англии?

— Не говорите загадками, сэр! — несколько раздраженно вмешался Трумэн. — Что вы имеете в виду? Кто, по вашему мнению, виноват?

— Советская сторона,— глядя на поверхность стола, ответил Кадоган.

«Что ж,— подумал Эттли,— Кадоган выполнил свою задачу. Пусть ответственность за разногласия несут русские».

Эттли ожидал, что Сталин последует его примеру и предоставит «отдуваться» за него Молотову, поскольку тот, как и Кадоган, был участником того же совещания. Но Сталин поступил иначе — глядя на английского заместителя министра, спросил мягко:

— Я понял господина Кадогана так, что, пройдя все, так сказать, «тернии», он был согласен принять термин «признанные правительства» вместо «ответственные»? Я спрашиваю: да или нет?

Своим вопросом Сталин как бы отсекал главное от неглавного, возвращая дискуссию к проблеме, которую в этом споре считал основной. Кадоган понял, что ему не остается ничего, кроме как сказать «да».

— Это и для нас вполне приемлемо,— оживленно, даже как-то обрадованно произнес Бирнс. И повторил: — «Признанные» вместо «ответственные».

— Ну вот,— с удовлетворением и как бы утешая своих оппонентов, резюмировал Сталин. — Мы правильно поступили, не поставив страны Восточной Европы в худшее положение, чем Италию. Значит, этот вопрос можно считать решенным.

Внешне ничего особенного вроде бы не произошло. Никто не произносил торжественных речей по поводу того, что Конференция приняла важное решение, но тем не менее все понимали, что в борьбе за послевоенный статут стран, освобожденных Красной Армией, в противоборстве двух взаимоисключающих желаний — превратить бывших сателлитов гитлеровской Германии в завтрашних сателлитов Америки и Англии или, наоборот, предоставить народам право избирать независимые правительства и устанавливать социальный строй в соответствии со своими политическими симпатиями,— в этом противоборстве выиграли те, кто желал второго.

Дипломатическая основа, фундамент, на котором сама История предопределила рождение в будущем содружества социалистических стран, была заложена.

Далее Конференция перешла к обсуждению вопроса о репарациях с Италии и Австрии.

Сталин предложил освободить от репараций Австрию, поскольку во время войны она не представляла собой самостоятельного государства, не имела вооруженных сил. Трумэн же, ссылаясь на то, что Америка предоставила Италии миллионы долларов для ее экономического восстановления, высказался за освобождение от репараций и этой страны, так как в ином случае ей, дескать, придется выплачивать репарации американскими деньгами.

— Советский народ не поймет, почему Италия, войска которой дошли до Волги и принимали участие в разорении Советского Союза, вдруг будет «амнистирована» и ничем не заплатит за причиненный ею ущерб,— возразил Сталин.

Тогда Трумэн, заботившийся больше всего о том, чтобы уберечь от Советского Союза американские доллары, заявил:

— Если в Италии есть предметы для репараций, не деньги, но предметы, например, заводы с тяжелым оборудованием, в котором нуждается Советский Союз, мы не возражаем, чтобы они были переданы ему.

Сталин принял это предложение, но настаивал, чтобы общая сумма репараций в ценностном исчислении была бы определена сейчас.

И тогда в дискуссию вмешался Бевин. Тут он чувствовал свою компетентность — умел считать деньги.

— Я предлагаю,— прохрипел Бевин,— при определении суммы репараций исходить из того, чем обладала Италия к моменту окончания войны. Соединенные Штаты и Великобритания оказали и продолжают оказывать большую экономическую помощь послевоенной Италии. То, что даем ей мы, не должно включаться в сумму репараций.

— Конечно,— ответил на это Сталин,— интересами Америки и Англии я пренебрегать не собираюсь.

Эттли, в чьи планы вовсе не входило давать возможность честолюбивому Бевину выдвигаться на первый план, тоже перестал играть в молчанку.

— Я вполне согласен с тем, что сказал господин президент,— начал он, форсируя свой и без того пронзительный голос.— В то же время я питаю полное сочувствие русскому народу. Но мы также немало пострадали от Италии. Представьте же себе, джентльмены, чувства английского народа, если Италия вынуждена будет платить русским репарации из средств, которые фактически даны ей Америкой и Великобританией!

Эттли сделал паузу и закончил уже тише:

— Конечно, если в Италии имеется оборудование, которое можно изъять, то это другое дело. Но на оплату репараций из средств, которые Италия получила взаймы от нас и Америки, наш народ никогда не согласится.

Эту последнюю фразу Эттли произнес в замедленном темпе, глядя на английского протоколиста и как бы призывая его записать все слово в слово. Он представлял себе, как повторит ее в одном из своих ближайших парламентских выступлений, и не сомневался, что услышит шумные аплодисменты не только лейбористов, а и консерваторов.

«Ни пенса из средств рядовых англичан на сторону!» — так, несомненно, будут звучать заголовки «Таймса» и других британских газет, когда они дадут свои комментарии к речи нового премьер-министра. Заем Италии — это заем, он будет возвращен. Но платить из этого займа репарации России? Никогда!

«Что ж,— размышлял Эттли,— такая постановка вопроса, несомненно, повысит мой престиж в стране. Пусть знают все, что вождь лейбористов — верный страж народной казны! Впрочем,— тут же оборвал свои мысли Эттли,— надо еще заставить Сталина смириться с этим. Сейчас он наверняка ринется в бой...»

Но Сталин повторил сухо:

— Мы согласны взять оборудование.

И вдруг Эттли стали одолевать сомнения. Разгромив такую армию, как гитлеровская, Советский Союз доказал свою военную мощь. Несомненно, он захочет обладать ею и в дальнейшем. А разве Британия и Америка заинтересованы теперь в том, чтобы эта мощь сохранялась?.. У проблемы репараций есть еще один аспект — чисто военный...

— Вы хотите изъять у Италии в счет репараций военное оборудование? — спросил Эттли, и на лице его появилось лисье выражение.

— Военное оборудование,— как эхо откликнулся Сталин.

Наступил момент, когда Бевину вновь показалось, что он может поставить Сталина в более чем затруднительное положение. Ведь согласие на погашение репарационного долга Италии военным оборудованием можно истолковать как намерение России вооружиться настолько, чтобы диктовать свою волю Европе. Той самой Европе, за независимость которой Сталин, судя по протоколам, столько раз ратовал здесь! Подтвердив, что заинтересован в военном оборудовании, он допустил роковую для себя ошибку. Надо зафиксировать ее.

— Я хочу спросить генералиссимуса,— произнес Бевин не без ехидства,— речь, стало быть, идет о военном оборудовании для производства военной продукции? Верно?

Сталин взглянул на него так, как, очевидно, посмотрел бы профессор на студента-первокурсника, уверенного, что в состоянии опровергнуть закон Архимеда.

— Это весьма произвольное толкование наших намерений. Речь идет об оборудовании военных заводов, которое будет использовано для производства мирной продукции. Такое же оборудование мы изымаем из Германии.

— Но вы прекрасно понимаете,— воскликнул Бевин,— что я говорю совсем о другом! То, что я имел в виду, не может быть использовано для мирного производства!

Сталин развел руками:

— Каждый «имеет в виду» то, что он хочет. По-русски в таких случаях говорят: «Вольному — воля». Я же имею в виду то, что любое заводское оборудование может быть использовано для мирного производства. Мы и свои собственные военные заводы переводим сейчас на мирное производство. Нет такого военного оборудования, которое нельзя было бы использовать для производства мирной продукции. Например, наши танковые заводы перешли уже на производство автомобилей.

«Сорвался!» — с яростью подумал Бевин.— Сорвался с крючка!»

— Очень трудно определить, что вы пожелаете взять,— угрюмо пробурчал он.

— Конечно,— охотно согласился Сталин.— Сейчас трудно перечислить все то оборудование, кото-

рое может устроить нас. Важно, чтобы здесь было принято решение в принципе, а уж потом мы сформулируем наши конкретные требования.

Бевину очень хотелось сказать: «Могу себе представить, каковы будут эти «требования». Однако для серьезной полемики такая фраза явно не годилась. А другие не приходили в голову.

Его опередил Трумэн.

— Насколько я понял,— сказал он, обращаясь к Сталину,— вы хотите, чтобы мы зафиксировали в принципе тот факт, что Италия обязана уплатить репарации?

— Совершенно верно,— подтвердил Сталин. — Нужно зафиксировать обязательность уплаты репараций и определить их в денежном исчислении. Причем, уверяю вас, мы согласны на небольшую сумму.

«Но он же издевается над нами, а мы покорно позволяем ему это! — хотелось воскликнуть Бевину. — Что в самом деле получилось? Сначала мы возражали против самих репараций. Потом согласились на них в виде оборудования. А теперь опять возвращаемся к денежной сумме!»

— Я думаю,— неожиданно для Бевина и в не меньшей степени для Эттли сказал Трумэн,— что у нас нет в принципе разногласий по этому вопросу. Хочу только, чтобы те авансы, которые мы и Великобритания дали Италии, не были бы затронуты.

Сталин приподнял обе руки с открытыми ладонями, как бы отталкивая такие опасения:

— Нет, нет! Я вовсе не имел в виду этих авансов.

Бевин почувствовал, что, несмотря на все свои старания сохранить выдержку, он не может спокойно перенести этого нового явного поражения западных держав.

— В таком случае,— заявил он,— возникает вопрос: что в первую очередь должна возместить Италия? Полученные от нас займы или ущерб, нанесенный России? Мы давали наличные деньги и считаем, что первая обязанность Италии вернуть долг. А затем уже можно говорить о репарациях России.

На лице Сталина появилась хорошо знакомая тем, кто имел с ним дело, «тигриная улыбка»; усы чуть приподнялись, обнажая наполовину зубы. Уничижительно глядя на Бевина, он ответил:

— Может быть, с торгашеской, или — заменим это слово другим — с коммерческой точки зрения такая постановка вопроса могла бы считаться правильной. Но есть и другая точка зрения, чисто человеческая. Так вот, с этой точки зрения, приняв предложение господина Бевина, мы поставили бы деньги выше стоимости людских жизней. Мы не можем поощрять Италию и прочих агрессоров тем, что, по большому, человеческому, счету, они выйдут из войны почти безнаказанными, не оплатив хотя бы частично того, что они разорили. Это равнозначно выдаче им премии за войну.

Внезапно послышался нарастающий гул авиационного мотора. Какой-то самолет пролетал, как показалось сидевшим в зале людям, над самой крышей Цецилиенхофа. Однако все сумели расслышать, как Трумэн ответил Сталину:

— Я совершенно согласен с вами.

— Что?! — воскликнул Бевин. — Правильно ли я понял мистера президента? Или шум самолета...

— Я согласен с заявлением генералиссимуса,— как бы назло Бевину громко повторил Трумэн,— что агрессор не должен получать премию, а должен нести наказание.

В этих словах президента отчетливо прозвучал укор англичанам, которые осмелились продолжать спор после того, как он, Трумэн, уже высказал свое согласие со Сталиным. Такое можно еще было стерпеть от Черчилля, но не от какого-то профсоюзного бюрократа!..

Сталин, который, казалось, всегда улавливал малейший нюанс в ходе Конференции и умел соответственно реагировать на него, видимо, решил, что выговор Трумэна англичанам — плохая концовка для заседания. Он печально покачал головой и сказал сочувственно:

— Англичанам особенно много досталось от Италии.

— Мы этого не забываем! — встрепенулся Эттли.

Трумэн оставил его реплику без внимания.

— Назначим час для нашего завтрашнего заседания,— предложил он. — Как обычно, в пять?

— Пожалуйста! — готовно, как бы делая особую любезность на этот раз Трумэну, откликнулся Сталин.

— А может быть... лучше начинать наши заседания в четыре? — спросил президент.

— Ну, пожалуйста! — с прежней готовностью согласился Сталин.

Англичане хранили молчание.

— С общего согласия,— сказал Трумэн уже стоя,— завтрашнее заседание начинается в четыре часа.

Глава двадцатая
«ИЗ САМЫХ ДОСТОВЕРНЫХ ИСТОЧНИКОВ»

С утра Воронов отправился в пресс-клуб, чтобы просмотреть западные газеты. Он не был там уже дня три и ехал сейчас главным образом для того, чтобы выяснить, как эти газеты реагировали на приезд в Бабельсберг Эттли и Бевина, какие делают прогнозы, сравнивая их позицию с той, на которой стоял Черчилль.

Когда Воронов вошел в читальню, там уже было много западных журналистов. «Очевидно, бар еще закрыт»,— догадался он.

Вступать сейчас в разговор со своими иностранными коллегами Воронову не хотелось — не терпелось ознакомиться с газетами. Не обращаясь ни к кому в отдельности, он произнес негромко «Хэлло!» и стал искать глазами, где бы присесть. Ему повезло: в стороне от заваленного газетами длинного стола стоял другой — маленький, круглый. Там тоже лежали подшивки газет и оказались два никем не

занятых стула. Воронов уселся на один из них, а спинку второго наклонил вперед, прислонив ее к краю стола, чтобы не подсел кто-нибудь рядом.

Он был рад, что его приход остался почти незамеченным,— «западники», как правило, не упускали возможности поболтать с «русскими» в надежде выудить «сенсацию». После той истории с «пресс-конференцией» у Стюарта многие из них знали Воронова в лицо и проявляли к нему повышенный интерес.

Радуясь, что на этот раз удалось избежать их назойливого любопытства, он погрузился в чтение.

Газеты были полны подробностями о выборах в Англии, пестрели портретами Черчилля, Эттли, Бевина. Но о том, что интересовало Воронова, сообщений было немного, и, как правило, они не содержали ничего существенного. Лишь одно утверждение заслуживало внимания — то, что между позициями консерватора Черчилля и лейбористов Эттли и Бевина никакой разницы наверняка не будет.

В газетных статьях обильно цитировались публичные выступления различных лейбористских деятелей. Цитаты свидетельствовали, что по главным вопросам, обсуждаемым «Большой тройкой» — таким, например, как польский,— Эттли и Бевин вполне солидарны с Черчиллем.

Просочились в печать сведения и относительно пребывания в Бабельсберге польских представителей, о беседах, которые имели место между ними и руководителями западных делегаций. Поляки, отстаивающие новую границу по Одеру и Западной Нейсе, получили будто бы единодушный отпор и от Черчилля, и от Трумэна, и от обоих западных министров иностранных дел. Высказывалось предположение, что такой же безоговорочный отказ получат они и со стороны Эттли.

Читая газеты, Воронов делал выписки из них и, казалось, не замечал ничего, что происходит вокруг. Он не помнил, сколько затратил на это времени — час, два или три,— когда его окликнули по фамилии. Воронов нехотя поднял голову и увидал, что рядом, склонившись над ним, стоит Стюарт.

— Good morning! [1] — сказал англичанин и, взявшись за спинку стула, прислоненного к столу, осведомился: — Это место не занято?

Не дожидаясь ответа, Стюарт присел рядом с Вороновым, слегка щуря свои глаза, прикрытые стеклами очков, сказал:

— Рад встрече, сэр!

Воронов промолчал. После той злосчастной «пресс-конференции», которая, впрочем, принесла Воронову не только разочарования, он не видел Стюарта. Брайт сказал, что англичанин улетел в Лондон в числе свиты Черчилля.

А теперь вот он сидел рядом. Как всегда элегантно одетый, чисто выбритый, и доброжелательно-светская улыбка не сходила с его пухлых, румяных щек.

— Неожиданная, но приятная встреча,— корректно, вполголоса, чтобы не мешать остальным, ворковал Стюарт, поблескивая стеклами своих очков.

[1] Доброе утро! *(англ.)*

Воронов снова промолчал, еще ниже склонившись над газетной страницей и тем давая понять Стюарту, что не имеет никакого желания вступать с ним в разговор.

На того это, видимо, не произвело должного впечатления. Он продолжал:

— Только вчера утром вернулся из Лондона. Отличная здесь погода. — И вдруг положил ладонь на газету, которую читал Воронов: — Да перестаньте вы дуться на меня, сэр! Честное слово, та история не стоит того, чтобы начинать пожизненную вендетту. Тем более, что теперь все это уже не имеет никакого значения.

— Для кого как. Провокации не забываются,— сухо ответил Воронов.

— Зачем же так грубо? — с укоризной сказал Стюарт.

— Привык называть лопату лопатой,— ответил Воронов, используя идиоматическое английское выражение.

— Лопата вам как раз может пригодиться,— скаламбурил Стюарт.

— Что вы этим хотите сказать?

— А разве вы не считаете долгом бросить свой ком земли в могилу? — вместо ответа спросил тот.

— Послушайте, мистер Стюарт,— раздраженно произнес Воронов,— чего вы, собственно, от меня добиваетесь? Какая лопата? Какая могила? Я занят.

— Я предлагаю вам обмен информацией, сэр. Честный и откровенный.

Воронов уже готов был ответить, что честность, откровенность и Стюарт несовместимы, но вдруг заинтересовался. Что такое имеет в виду этот тип?

Сдерживая себя, ответил мягче:

— Ваше отношение к честной и правдивой информации вы уже продемонстрировали однажды.

— Опять? — усмехнулся Стюарт. — Но мы же договорились поставить на этом крест. Ладно, для того чтобы у вас не было никаких сомнений, я выкладываю свою информацию первым. А вам предлагаю честно и откровенно судить, заслуживает ли она той, которую я хочу получить от вас. Так вот — Конференции конец. Крышка. Она умерла. Знаю из достоверных источников.

«Что ж,— подумал Воронов,— провокатор всегда остается провокатором». А вслух сказал, указывая на лежащие перед ним подшивки газет:

— У меня ворох таких пророчеств. И все «достоверные». Но вопреки им Конференция продолжает свою работу. Сегодня в четыре часа состоится очередное заседание.

— А я вам говорю, что никакого заседания не будет! — упорствовал Стюарт.

— Следуете завещанию Геббельса? — насмешливо спросил Воронов. — Он утверждал, что ложь, для того чтобы казаться правдоподобной, должна быть колоссальной.

— Оставьте эту пропагандистскую ерунду, мистер Воронов,— отмахнулся Стюарт. — У нас разговор серьезный. Конференция, как я предполагал еще два дня тому назад, скончалась.

Увереиность, с какой держался англичанин, посеяла в глубине души Воронова тревогу.

— Откуда вы это взяли? — настороженно спросил он.

— Я виделся с Бевином. Сразу же после его прибытия в Бабельсберг. Английская делегация не пойдет ни на какие уступки. Это и было заявлено дяде Джо на вчерашнем заседании. Ни на одну! — с нажимом повторил Стюарт, поднимая вверх указательный палец. — Альтернатива предложена такая: или дяди Джо смиряется и, так сказать, откроет свои фланги, или встреча заканчивается ничем, и все разъезжаются по домам. Насколько мы знаем характер дяди Джо, он вряд ли смиренио сложит оружие. Осталась единственная возможность: разъезжаться по домам.

Воронов задумался. На эту «информацию» можно, конечно, наплевать и забыть о ней. Но нельзя сбрасывать со счетов то, что она исходит именно от Стюарта, человека, о котором Брайт говорил, что он вхож к Черчиллю. Нет ничего удивительного в том, что он встречался и с Бевином, а может быть, и с самим Эттли. Но если это так, то значит, именно они поручили ему распространить эту с позволения сказать «информацию». И он решил начать с меня, уверенный, что я передам кому следует о твердом намерении английской делегации не идти на уступки ни по одному вопросу. Ну, а чему может послужить такая моя «передача»? Сама по себе, разумеется, ничему. Но если Эттли и Бевин на первом же после их прихода к власти заседании «Большой тройки» в самом деле заняли такую позицию, то теоретически нельзя исключить, что дело может закончиться разрывом.

Как только такая мысль шевельнулась у Воронова, он испытал почти физическую боль. Эта Конференция, на которой он фактически ни разу не присутствовал, стала как бы его личным делом. Она переплелась в его душе с судьбой Германии, судьбой Польши... Да, после схватки со Стюартом, после разговора со Сталиным, после бесед с Вольфом и Ноймаиом, после того, что он, Воронов, узнал о работе немецких коммунистов, после всего того, что он увидел, услышал и пережил с первого дня своего приезда в Потсдам, судьба этих стран стала его собственной судьбой. И даже не только этих.

Воронов, фактически рядовой советский журналист, незаметно для самого себя, стал ощущать нечто вроде личной ответственности за исход Конференции. Он верил в то, что она даст миллионам людей в Европе, а может быть, и во всем мире, ответ на вопрос: «Как жить дальше?» Каким будет завтрашний день человечества? Чистым ли станет не только небо над головами, но и горизонт? Или там вновь появятся грозовые тучи? Он ощущал себя теперь не только гражданином своей страны в первую очередь, но одновременно и гражданином мира... Страшные годы войны вновь вставали перед его глазами. В памяти воскресали не только бои на советской земле, но и все виденное за ее пределами: руины, дороги, по которым брели в никуда одетые в тряпье люди. Голодные, бездомные, потерявшие своих отцов, братьев, жен, сыновей. Поляки, чехи, словаки, венгры...

Он понимал, что Конференция сама по себе не породит чуда, не восстановит разрушенное, не осушит все слезы, не залечит все раны. И вместе с тем всем сердцем своим верил, что она, подобно солнцу, поднявшемуся над горизонтом, осветит миллионам людей самый лучший, самый правильный из всех путей — путь в Будущее.

И вот теперь, если этот подлый Стюарт прав...

«Нет, нет, не может быть!» — хотелось крикнуть во весь голос Воронову. Но он не крикнул, а сказал подчеркнуто спокойно:

— Вашей информации грош цена. Тем не менее, что вы хотите получить взамен?

— Ваше честное слово, что я буду первым из западных журналистов, который узнает, на какой день наметил свой отъезд Сталин.

Это показалось Воронову смехотворным.

— Вы что, всерьез думаете, что меня об этом информируют? — спросил он. — Или полагаете, что я вхож к Сталину, как вы, судя по слухам, к Черчиллю?

— Не знаю,— покачал головой Стюарт. — Ходят и о вас всякие слухи... К тому же я не беру с вас никаких обязательств, кроме одного: если узнаете вы, то об этом буду знать и я.

«Не верю я тебе, несмотря ни на что, не верю!» — мысленно повторил Воронов. И в надежде узнать у Стюарта хоть какие-нибудь подробности спросил:

— Значит, вы всерьез считаете, что для Конференции уже выкопана могила?

— Достаточной глубины, чтобы похоронить в ней весь Цецилиенхоф,— ответил Стюарт.

— Я не верю ни одному вашему слову, мистер Стюарт,— со злостью сказал Воронов, на этот раз уже не мысленно, а вслух. — И должен еще добавить, что для роли могильщика я не гожусь. По-моему, Конференция непременно завершится согласием. Может быть, уже сегодняшнее заседание опровергнет все ваши измышления. Вы просто компрометируете своих руководителей, приписывая им намерение вопреки рассудку и здравому смыслу сорвать Конференцию...

В этот момент дверь в читальню распахнулась, и появился Чарли Брайт. Уже с порога он крикнул:

— Хэлло, ребята! Имею сообщение исключительной важности. Заседание Конференции отменено!

Мгновенно прекратилось шуршание газетных страниц. Взоры всех, кто был в читальне, обратились к Брайту. Несколько секунд длилась тишина. Затем посыпались вопросы:

— Как?

— Почему?

— Совсем отменена?

— Откуда ты узнал?..

Брайт сиял самодовольной улыбкой. Он явно наслаждался тем, что привлек к себе всеобщее внимание.

И тут-то Воронов услышал насмешливый вопрос Стюарта:

— Так как же? Наша договоренность вступает в силу?

— Подите вы к черту! — сквозь зубы произнес Воронов, встал и, в свою очередь, спросил Брайта: — Где ты подхватил эту сплетню?

Брайт только теперь заметил Воронова и ответил обиженно:

— Осторожнее на поворотах, Майкл-бэби! Тебе всюду мерещатся сплетни да провокации! Что ж, если хочешь совсем остаться в дураках, то поезжай в Бабельсберг и узнай в русской протокольной части, состоится ли Конференция.

Воронов, еще сам не сознавая, что будет делать в следующее мгновение, подчиняясь непреодолимому импульсу, быстро подошел к Брайту, вытолкнул его за порог, следом вышел сам и закрыл за собой дверь.

— Если ты сейчас же не скажешь мне, — медленно произнес он, сжимая кулаки, — откуда ты взял, что...

— Да ты просто бешеный какой-то! — воскликнул, отступая, Брайт. — Что я такого сказал? Ну, сегодня у Джейн оказался свободный день. Я спросил ее — почему? И она ответила, что американская протокольная часть официально извещена, что заседание Конференции отменяется. Ну?.. Чего ты еще от меня хочешь?!

Глава двадцать первая
УЛЬТИМАТУМ

В полдень 29 июля после соответствующего предупреждения в «маленький Белый дом» в сопровождении переводчика Голунского приехал Молотов.

Он сообщил ожидавшим его Трумэну и Бирнсу, что генералиссимус Сталин чувствует себя не совсем хорошо и врач не рекомендовал ему выходить из дома. Поэтому он не смог выполнить просьбу президента и приехать к нему сам. Не сможет товарищ Сталин быть и на заседании Конференции, назначенном на четыре часа дня.

— Жаль, что сегодняшнее заседание не состоится, — сказал Трумэн. — Но прежде всего мне хотелось бы выразить сожаление по поводу болезни генералиссимуса. Надеюсь, ничего серьезного?..

По приглашению Трумэна все поднялись наверх, в его кабинет. Здесь, помимо письменного стола, в правом от двери углу находился круглый стол из красного полированного дерева, окруженный стульями с высокими спинками. К нему Трумэн и пригласил широким, гостеприимным жестом Молотова и его переводчика.

Как только все расселись, дверь кабинета распахнулась, и негр-слуга в красной, короткой курточке с блестящими пуговицами и черных брюках с желтыми лампасами вкатил небольшой столик на колесах. Стеклянная поверхность столика была сплошь уставлена бутылками с разноцветными этикетками. Они окружали серебряное ведерко с кусками льда, высокие стаканы и рюмки овальной формы.

— Что предпочитает мистер Молотов? — с улыбкой спросил Трумэн. — Шотландское виски? Или американский «Бурбон»? Джин с тоником? Или, может быть, русскую водку?

Молотов как-то недоуменно посмотрел на столик, потом перевел взгляд на Трумэна и произнес по-английски.

— No.

— Что ж, — добродушно развел руками Трумэн, — тогда и мы не будем. Пусть царит в этом доме трезвость!

Он сделал знак лакею тыльной стороной ладони по направлению к двери. Тот быстро выкатил столик из кабинета и плотно, но бесшумно закрыл за собой дверь.

Трумэн снова посмотрел на Молотова. Улыбка не сходила с лица президента.

Да, он считал необходимым хотя бы немного расположить к себе этого человека в темном костюме, в белой с накрахмаленным воротничком сорочке, с лицом, которое, по наблюдениям Трумэна, никогда не посещала улыбка, и в пенсне, которое во всем мире давно уже вышло из моды.

У Трумэна были основания думать, что Молотов не питает к нему симпатий. И не только из-за перепалок за столом Конференции. Он не сомневался, что советский нарком, конечно же, не забыл той первой, вашингтонской встречи в Белом доме, когда президент сделал попытку разговаривать с ним как с мальчиком, или, во всяком случае, как с одним из своих подчиненных.

Теперь надо было исправить эту оплошность. Исправить не потому, что Трумэн осознал бестактность своего тогдашнего поведения, и, разумеется, не потому, что вдруг проникся симпатиями к Молотову. Нет, дело было в другом. Трумэн знал, что Молотов является в своем роде «alter ego» Сталина и что разговор с ним — это почти то же самое, что и разговор со Сталиным. «Почти» — потому что Сталин мог решать. Молотов же только докладывать ему, может быть, что-либо рекомендовать, но главное — выполнять указания.

Трумэн не сомневался, что каждая сказанная им сейчас фраза, каждая его интонация, даже, наверное, жесты, будут в точности переданы этим человеком Сталину.

— Нам хотелось бы, — сказал Трумэн, сплетая пальцы, на одном из которых тускло поблескивало обручальное кольцо, — обсудить с генералиссимусом важный вопрос, касающийся Польши. И не только обсудить, но и внести с его согласия на рассмотрение Конференции важное, как нам кажется, предложение... Вы не возражаете, если я попрошу мистера Бирнса изложить суть дела?

Он многозначительно посмотрел на Бирнса и добавил:

— Мне кажется, что наш государственный секретарь за время Конференции приобрел большую практику в формулировании проектов и предложений.

Затем Трумэн перевел взгляд на Молотова, как бы спрашивая, не возражает ли он.

— Я готов слушать,— сухо ответил Молотов.

— Буду рубить прямо сплеча, как говорят в таких случаях у нас, да и у вас, кажется, также,— начал Бирнс...— Какие между нашими делегациями существуют главные расхождения? Это,— он поднял руку с растопыренными пальцами,— вопрос о репарациях... Так? — Бирнс загнул большой палец. — И это — вопрос о западных границах Польши. — Он загнул второй палец. — Так вот,— опуская руку, продолжал Бирнс,— если бы мы с вами могли договориться по этим двум вопросам, то думаю, что за английской делегацией дело не станет.

— Вы г-говорите и от ее имени? — спросил Молотов.

— Пока нет,— ответил Бирнс. — Более того, мы вообще не знаем, каково мнение Эттли и Бевина о западной границе Польши. Но... — он несколько замялся,— я надеюсь, что с англичанами можно будет договориться.

В первом случае Бирнс явно лукавил,— позицию Эттли и Бевина в отношении польской границы и он и Трумэн знали прекрасно. Более того, Бирнс знал и о том, что именно англичане поручили своим журналистам распространить слух из «самых достоверных источников», что Конференция на грани провала из-за неуступчивости русских. Во втором случае Бирнс был ближе к истине, поскольку не сомневался, что англичане не посмеют пренебречь мнением Соединенных Штатов.

— Следует ли понимать вас так, что американская делегация теперь согласна удовлетворить требования поляков? — спросил Молотов.

— Кроме одного,— снова поднял руку Бирнс, на этот раз предостерегающе. — Мы согласны со всем, что просят поляки, за исключением территории между Восточной и Западной Нейсе.

Молотов чуть заметно пожал плечами. Его руки неподвижно лежали на коленях.

— Но это же и есть то самое главное, на чем настаивают поляки! — сказал он и пристально посмотрел на Трумэна, как бы спрашивая его, в чем же смысл «важного предложения».

— Мы это знаем! — поспешно, словно опасаясь, что Трумэн опередит его, произнес Бирнс. — И поэтому предлагаем компромисс. Давайте договоримся так: пусть до решения мирной Конференции этот спорный район остается под советским управлением. По этому вопросу мы составили меморандум и хотим надеяться, что его содержание вас устроит.

Бирнс сделал паузу и посмотрел на Молотова. На лице наркома ничего не отразилось — ни согласия, ни возражения. Таким же холодно-бесстрастным осталось оно и после того, как Болен зачитал подготовленный текст.

Впрочем, в этом тексте не заключалось ничего нового по сравнению с тем, что Бирнс только что сказал, хотя сформулирован он был хитроумнее: с упором на то, что именно предоставляется Польше, и молчанием о том, в чем ей отказывают.

Молотов по-прежнему безмолвствовал, и это начинало выводить Бирнса из себя.

— Итак, вы поняли меня, мистер Молотов? — с трудом преодолевая раздражение, спросил Бирнс. И повторил, как бы подводя итоги: — Значит, так: спорная территория управляется советской администрацией. Польская администрация, которая сейчас, так сказать, явочным порядком присвоила себе власть на некоторых германских землях, ликвидируется... Хочу напомнить, мистер Молотов, что по ялтинскому соглашению никакой зоны оккупации для Польши не предусматривалось. Верно?

— И верно и не в-верно,— невозмутимо произнес наконец Молотов.

— Как же «не верно», если... — начал было Бирнс, но Молотов, прервав его, сказал:

— Верно то, что насчет, как вы выразились, «польской зоны оккупации» в ялтинском соглашении ничего не сказано. Но в нем черным по белому записано, что главы трех держав признают право Польши получить существенные приращения территории на севере и на западе. Как же полагает мистер Бирнс: получив эти «существенные приращения», должна Польша иметь там свою администрацию? Или «приращения» произойдут только на карте?

— Но Польша захватила значительно больше, чем предполагалось! — воскликнул Бирнс.

— Кем предполагалось? — спросил Молотов. — На Ялтинской конференции было решено, что о размерах присоединяемых к Польше территорий будет своевременно запрошено мнение польского правительства. Оно запрошено. Т-так? Ответ получен: граница по Одеру и Западной Нейсе. В чем же дело?

— Но как вы не понимаете, мистер Молотов! — вмешался Трумэн, чувствуя, что разговор заходит в тупик. — Неужели для вас не очевидно, что своим предложением мы идем вам навстречу, делаем большую уступку!

— К-какую уступку? В чем? — спросил Молотов. — Относительно территории, о которой говорит господин Бирнс и которую вы упоминаете в своем меморандуме, между нами вообще не было никаких разногласий. О ней договорились еще в Тегеране! А вот о районе между Западной и Восточной Нейсе,— том самом, на который законно претендует Польша, в документе, который здесь был зачитан, даже не упоминается!

— Но поляки не могут получить все, что им захочется! — воскликнул Трумэн. — Мы и так делаем им большую уступку!

— В ч-чем? — снова спросил Молотов.

Теперь и Бирнс почувствовал, что разговор возвращается к исходной точке и сейчас пойдет по «второму кругу», то есть начнется все сначала. Каким же способом «сбить» Молотова с этого «круга»? До сих пор он, по существу, лишь повторял аргументацию Сталина, а Трумэн и Бирнс ее уже не раз слышали. Может быть, есть хоть какая-нибудь возможность заставить этого человека с каменным лицом не отойти от сталинской аргументации,— нет,

об этом нечего и думать! — но хотя бы оказать на него какое-нибудь эмоциональное воздействие?..

И Трумэн и Бирнс очень хотели через Молотова навязать Сталину мысль, что земли между Восточной и Западной Нейсе оказались под польским управлением в результате победоносного наступления Советской Армии и теперь, когда война окончилась, поляки должны с этих земель уйти. Таков «минимум», на котором американцы настаивают.

— Но это же исконно польские земли! — упорствовал Молотов.

— О, мы уже много раз слышали исторические легенды насчет того, чем владела Польша сотни лет тому назад! Но мы живем в двадцатом веке, а не в восемнадцатом! — снисходительно улыбнулся Бирнс.

— Для восстановления справедливости срока давности не существует,— холодно произнес Молотов.

— Будем экономить время, джентльмены! — уже не скрывая своего раздражения, снова вмешался в разговор Трумэн. — То, что мы хотели сказать, сказано. Мистер Сталин может принять наше предложение или отклонить его...

Дальше последовала многозначительная пауза, таившая в себе лишь слегка завуалированный ультиматум: «Помните, мол, что отклонение американского проекта неизбежно сорвет Конференцию». Нет, такой фразы Трумэн не произнес. Но, судя по раздраженности президента, по категоричности тона, он хотел, чтобы советская сторона поняла бы его именно так. Однако советский наркоминдел ничем не выдал своего отношения к заявлению президента. Он должен был сначала доложить о нем Сталину.

Хотя Молотов был ближайшим сотрудником Сталина в течение долгих лет, он никогда не решился бы со стопроцентной уверенностью предугадать, как будет реагировать Сталин на ту или иную сложную ситуацию, не мог предвидеть, какие соображения примет в расчет, а какие отвергнет, как оценит сложившуюся в данный момент расстановку сил. Поэтому и теперь Молотову оставалось только бесстрастно заявить, что он, конечно же, передаст генералиссимусу американское предложение.

— Будем надеяться,— учтиво ответил Трумэн.

— Тогда, может быть, перейдем к остальным вопросам? — спросил его Бирнс.

— Вопросам? — переспросил Молотов. — Но вы же вначале назвали только два — польский и о репарациях.

— К последнему мы хотели бы добавить кое-что о германском военном и торговом флотах,— пояснил Бирнс...

Разговор продолжался еще около часа. Стороннему наблюдателю он мог показаться деловым совещанием главных бухгалтеров трех гигантских предприятий. Назывались цифры — миллионы, миллиарды, проценты... Но главное заключалось не в цифрах, а в том, что за ними скрывалось.

Еще на Ялтинской конференции была достигнута договоренность относительно общей суммы репараций с Германии в двадцать миллиардов долларов. Половина этой суммы предназначалась для Советского Союза — страны, понесшей наибольший урон от Германии.

Однако теперь и Трумэн и Бирнс заявили Молотову, что американская делегация возражает против определения конкретной суммы репараций и, кроме того, считает необходимым взимать их не со всей Германии как единого целого, а по зонам оккупации.

Молотов хорошо помнил позицию Сталина в отношении репараций с Италии. Помнил высказанное им на вчерашнем заседании требование определить, хотя бы приблизительно, но обязательно определить, в какую сумму оцениваются ее репарации. Поэтому и сейчас советский нарком вступил в спор, настаивая, чтобы репарации с Германии тоже были бы оценены в денежном выражении.

Знал ли, догадывался ли он, что в подтексте предложения американцев — взимать репарации по зонам — лежит их давняя мечта о разделении Германии? Трудно ответить на этот вопрос. Несомненно одно: Сталин расценил поползновения Трумэна и Бирнса именно так. Здесь же вслух об этом никто не говорил. Бирнс и Трумэн настаивали на определении только процентов и не соглашались на определение суммы, с которой эти проценты должны взиматься...

Затем в центре спора оказался Рурский угольный бассейн. И опять-таки Бирнс предлагал, чтобы Советскому Союзу было выделено в качестве репараций 25 процентов рурского оборудования, а Молотов требовал, чтобы доля Советского Союза была бы исчислена в долларах или тоннах оборудования...

И этот спор имел свой подтекст. В Руре было сосредоточено три четверти германской угольной и металлургической промышленности. В гитлеровской Германии Рур являлся главной базой военной индустрии. Поэтому при определении дальнейшей судьбы послевоенной Германии,— мирной ей быть или оставаться потенциальной угрозой для Советского Союза,— вопрос о будущем Рура играл немалую роль.

Еще до начала Потсдамской конференции, при обсуждении перспектив ее на Политбюро, была выработана четкая позиция СССР: считать Рур составной частью Германии, однако поставить его под совместный контроль четырех держав — Советского Союза, Соединенных Штатов, Англии и Франции.

Сейчас Трумэн и Бирнс намеренно уходили от этой проблемы, сводя спор только к одному: сколько процентов промышленного оборудования Рура должно быть передано Советскому Союзу?

К соглашению не пришли. В 13 часов 30 минут Молотов покинул «маленький Белый дом».

Глава двадцать вторая
ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ

Сталин ждал, хотя пошел уже второй час ночи. Ждал возвращения Берута и маршала Роля-Жимерского. Они покинули этот дом всего час назад. Покинули с тем, чтобы вернуться. И теперь Сталин ждал их возвращения...

Только в десять вечера закончилось совещание советской делегации, на котором Молотов доложил о своих переговорах с Трумэном и Бирнсом.

Сталин уже знал о содержании этих переговоров — Молотов информировал его сразу же по возвращении из «маленького Белого дома». Тем не менее он и теперь, по второму разу, внимательно слушал информацию Молотова.

Официально Сталин считался заболевшим. Простуда. По крайней мере так были уведомлены советской протокольной частью американская и английская делегации.

Вскоре после того Сталин получил срочную записку от начальника бюро информации Тугаринова, из которой следовало, что обе эти делегации занялись распространением слухов о срыве Конференции по вине русских и будто бы сам Сталин уже готовится к отъезду. Тугаринову доложил об этом один из советских журналистов. Фамилия журналиста в записке не упоминалась, да если бы она и была названа, вряд ли Сталин, глубоко погруженный в сложнейшие дела, вспомнил бы, что это именно тот самый корреспондент Совинформбюро, которого он недавно вызывал к себе.

Действительно ли Сталин занемог, или просто устал, или решил на один-два дня прервать Конференцию, чтобы обсудить с членами делегации и обдумать наедине с самим собой складывающуюся ситуацию? На этот вопрос нет ответа...

Так или иначе, но почти всю первую половину дня 29 июля он провел в одиночестве. Бродил по кабинету, спускался в сад, задумчиво поглаживал там гладкие, словно бы отлакированные, листья лавровых деревьев...

К двум часам дня приехал Молотов с отчетом о своих переговорах. Они беседовали одни на один. Потом Сталин вызвал Поскребышева и велел ему пригласить к семи вечера членов делегации. Когда они собрались, объявил, что Молотов сейчас расскажет о своем посещении Трумэна и Бирнса.

Следуя многолетней привычке, Сталин медленно прохаживался по кабинету — от входной двери к письменному столу и обратно. Никто не замечал в нем признаков какой-либо болезни и никто не спрашивал о ней. Близко общавшиеся с ним люди знали: он не любит говорить о своем здоровье, не любит принимать лекарства, не любит врачей.

Как всегда, походка Сталина была неслышной, будто подошвы его сапог на какие-то доли миллиметра не прикасались к полу. В полусогнутой руке он держал незажженную трубку. Словом, все было как обычно.

Молотов говорил не более двадцати минут,— очевидно, считал, что, поскольку все подробно доложено Сталину, сейчас можно ограничиться лишь главным. Когда он закончил свое сообщение, наступила тишина. Здесь не принято было задавать вопросы или высказывать свое мнение до тех пор, пока Сталин не пригласит к этому.

Сейчас он медлил с таким приглашением. Остановился у своего письменного стола и заговорил чуть слышно, словно бы думал вслух:

— Так... Значит, американцы ставят нам ультиматум. Его и привез Молотов. Трумэн и Бирнс красиво упаковали свою посылку в вату и ярко раскрашенную бумагу, а когда мы ее развернули, то увидели не что иное, как ультиматум. Нам фактически говорят: или соглашайтесь на американские предложения, или давайте разъезжаться по домам.

Он сделал паузу, положил на стол трубку и, глядя на нее, продолжал:

— Я полагаю, что Конференция находится под угрозой срыва. Несмотря на то, что еще вчера польские представители разослали всем трем делегациям новый документ, привели новые аргументы в пользу своих территориальных требований, американцы по-прежнему их отвергают. Правда, некоторые американские представители ведут еще переговоры с поляками. Но только по экономическим вопросам. Только!.. Мудрят «западники» и в отношении репараций — предлагают, чтобы мы брали репарации с Германии лишь из нашей зоны оккупации, как известно, наиболее пострадавшей во время боев... И при всем том Трумэн и Бирнс утверждают, что идут нам на уступки! На словах — уступки, а на деле — ультиматум. Что ж, когда получают ультиматум, его принято обсуждать. Давайте обсудим главный вопрос: заинтересованы ли американцы в срыве Конференции? Ваше мнение, товарищ Жуков.

Сидевший неподалеку от письменного стола маршал Жуков встал и сказал убежденно:

— Не думаю, товарищ Сталин.

— Па-ачему не думаете?

— Япония еще не сломлена.

— Значит, по-вашему, их пугает, как бы мы в случае срыва Конференции не отказались от ялтинского соглашения? Но они же знают, что мы не привыкли манкировать взятыми на себя обязательствами... Тем не менее учтем мнение товарища Жукова. А что вы скажете, товарищ Громыко? — обратился Сталин к советскому послу в США.

— Я, товарищ Сталин, отвечу так,— сказал Громыко,— и «да» и «нет».

— Не очень определенный ответ.

— Потому что весьма неопределенна и противоречива сама ситуация,— спокойно продолжал Громыко. — Я полагаю, что они хотели бы сорвать Конференцию, если мы не пойдем на уступки. Но... вместе с тем не считают это для себя выгодным.

— Почему?

— По крайней мере по трем причинам. Об одной из них сказал маршал Жуков. Но это только одна из причин.

— Какие другие?

— Вторая — это общественное мнение в самих Соединенных Штатах. Трумэн еще только начинает свою президентскую карьеру. Он не захочет, чтобы в Америке говорили: «Рузвельт умел договариваться с Россией, а новый президент не умеет». В Америке проживает много поляков. Они потенциальные избиратели. И то, что Трумэн во вред Польше

сорвет Конфереицию, лишит его на будущих выборах многих голосов.

Громыко иа мгиовенне умолк, как бы собнраясь с мыслями, на лбу появились морщиники.

— А третья? — нетерпеливо поторопил его Сталии. — Вы сказали, что есть три причины.

— Я помию, товарищ Сталин,— по-прежиему спокойио ответил Громыко. — Третья причина примыкает ко второй. Трумэн иаверняка надеется, что если ему и придется в чем-то иам уступить, то эти уступки можно будет свести на иет иа предполагаемой Мирной конференции. Наконец, Трумэн навериякa рассматривает иашу страну как выгодный для Америки рынок сбыта в послевоениых условиях. Он, конечно же, иастроен антисоветски. И считает, что достаточно силен, чтобы диктовать нам свои условия. Но... дальше определенного предела пока что ие пойдет. Будет балансировать на грани срыва Конференции. Поэтому, товарищ Сталин, иа ваш вопрос я ответил: «и да, и нет».

— То есть по русской поговорке: «И хочется, и колется, и мама не велит»? — с усмешкой проговорил Сталии.

— Думаю, что эта поговорка в данном случае уместна,— согласился Громыко.

— А причин-то вы назвали больше, чем три,— сказал Сталии, внимательно приглядываясь к послу. — Что ж, ваши соображения мы тоже учтем...

Никто из присутствующих ие догадывался, да и ие мог догадаться, почему Сталии вдруг с какой-то поощрительной — не улыбкой, нет — скорее задумчивостью глядел на Громыко. А думал ои в этн короткие мгновения о том, как все-таки быстро течет время. Ведь кажется, только вчера ои, Сталии, вызывал к себе этого молодого черноволосого человека, получившего назначение в Советское посольство в США, вызывал для напутственного слова. Они беседовали тогда минут тридцать—сорок, иа большее у Сталииа ие было возможностей. Под коиец беседы Сталии спросил:

— Английский язык хорошо зиаете?

— Для иностранца в чужом языке иет пределов для совершенствования,— ответил Громыко.

— Почаще ходите в церковь!

— Куда?! — удивлеиио переспросил Громыко.

— Я же не призываю вас там молиться,— усмехнулся Сталии,— ио имейте в виду — попы и вообще проповедники хорошо произносят свои речн. Имеино произиосят: ясно, четко и грамотно. Мие рассказывали русские эмнграиты-революцноиеры, как ходили в церкви, чтобы освоить язык...

Подумал Сталин и о том, что этот молодой дипломат в отдельиых случаях позволял себе высказывать мнения, противоречащие тем, которых придерживался он, Сталин. Так, например, в отлнчие от Сталина, убежденного, что ООН должна иаходиться в Америке — это, по его мнению, содействовало бы сотрудничеству США в европейских делах,— Громыко считал, что местом штаб-квартиры ООН должна стать Европа, помогая тем самым превращению этого континента, иа котором начались две последние мировые войны, в контннент мира. Разумеется, Сталии настоял на своем — он редко меиял свои решения, убежденный, что видит дальше и лучше всех. Но смелость Громыко, его стремление прямо высказывать свои убеждеиия даже в тех случаях, когда он знал, что их может не разделить сам Сталии, импонировали советскому лидеру, хотя в иных случаях могли дорого обойтись несогласиому.

На эти нли подобные этим размышления Сталин затратил всего несколько секуид, может быть, минуту. И тут же всеми мыслями своими вернулся из прошлого в иастоящее.

— Кто хочет высказаться еще? — спросил ои, медлеиио обводя взглядом остальных.

Высказались Вышииский, Гусев, Майский, адмирал Кузнецов, члеи коллегии НКИД СССР Новиков... Говорили по-разиому. Однн предполагали, что если хорошенько поторговаться, союзиики могут пойти иа уступкн в отношении репараций. Другие считали, что если и есть опасиость срыва Коиференции, то оиа — в польском вопросе. Трумэн и особенио Эттли скорее решатся хлопнуть дверью, чем уступить именио в этом ключевом для границ Европы деле.

Сталин не стал подводить никаких итогов выслушанному. Лицо его под конец совещания стало мрачным. Ои сказал, как бывало часто:

— Хорошо. Мы выслушали различные мнения. Теперь все это иадо обдумать. И действовать... соответственно.

А когда все разошлись, прнказал Поскребышеву:

— Постарайтесь разыскать Берута. Скажите, что прошу приехать. Пусть пригласит с собой кого-ибудь еще из польской делегации. По его выбору.

Время перевалнло уже за двадцать три часа, когда черный «ЗИС-101» остановился у металлической ограды особияка, в котором жил Сталии. Он выглянул в окно и увидел, что из машины выходит Берут, а за ним человек в польской военной форме. Это был маршал Роля-Жимерский.

Сталин встретил их на половине лестиицы, ведущей на третий этаж, в его кабинет. Там ои крепко пожал руку Беруту и Жимерскому, усадил нх в кресла, а сам, оставшись стоять, сказал:

— Я прошу извиниить меия, товарищи, за столь позднее приглашенне. Говорят, что богу потребовалось всего семь дией, чтобы сотворить мир. Мы иэ богн, и времеин у иас для сотвореиия если ие всего послевоеииого мира, то послевоенной Европы осталось гораздо меньше. Поэтому приходнтся торопиться.

Неожиданио для зиающнх привычки Сталииа он обошел письменный стол, сел в кресло и, слегка нажимая пальцами на столешницу, сказал:

— Прежде всего, товарищ Берут, хочу узнать, есть ли какие-ибудь иовости у вас?

Берут ответил ие сразу. Ои поиимал, что за таким вроде бы заурядным вопросом Сталнна кроется иечто далеко не заурядное. Иначе Сталин не стал бы приглашать его иа ночь глядя.

— Особых новостей, товарищ Сталин, нет,— сказал Берут.— Наш меморандум англичане отвергли, хотя пока еще неофициально. Мы приступили к экономическим переговорам с американцами. Рассматривались вопросы торгового обмена и займа у Америки на восстановление Польши.

— Как проходят эти переговоры? — осведомился Сталин.

— Русские в таких случаях отвечают: «ни шатко, ни валко». Когда мы объявили, что сможем экспортировать для них уголь, они как будто обрадовались.

— А сколько вы можете экспортировать угля?

Вопрос этот был задан Сталиным как-то рассеянно, будто, спрашивая, он думал совсем о другом. И все-таки Берут отвечал ему неодносложно:

— Мы обещали поставить тридцать миллионов тонн угля уже в будущем году. Поэтому они, кажется, и готовы дать нам заем. Надо теперь точно рассчитать все, чтобы не просить и не брать у них больше того, что мы можем вернуть в срок деньгами или товарами.

— Ставят ли американцы какие-либо политические условия? — насторожился Сталин.

— Еще бы! — горестно усмехнулся Берут.— Любой свой шаг навстречу экономическим нуждам Польши связывают решением о наших западных границах. С этого они начинают, этим и кончают.

— С этого начинают, этим и кончают,— задумчиво повторил Сталин. И, помолчав, спросил, глядя Беруту в глаза: — А может быть, они так и решили «кончать»?

— В каком смысле, товарищ Сталин? — не понял Берут.

Сталин встал, молча сделал несколько шагов по кабинету, потом остановился за спинкой кресла, на котором сидел Роля-Жимерский, и сказал, на этот раз сухо, даже жестко:

— Сегодня утром Молотов имел серьезный разговор с Трумэном и Бирнсом. У нас создается впечатление, что «западники» могут сорвать Конференцию, если мы не уступим им в споре о новой польской границе.

Берут и Роля-Жимерский молчали, ожидая продолжения. Конечно же, они поняли, что сейчас Сталин подходит к тому главному, ради чего пригласил их в столь поздний час.

— Я разговариваю с вами, товарищи,— неожиданно тихо сказал Сталин,— как с верными друзьями... Боевыми друзьями!.. Как коммунист с коммунистами. Так вот. Я не хочу сказать, что если Конференция будет сорвана, то все дело строительства новой, мирной Европы провалится. Решающим фактом на сегодня является разгром гитлеризма, наша великая Победа, в которую и поляки внесли свой вклад. Эта победа и будет определяющим, хотят того Трумэн и Эттли или не хотят.

Сталин снова вернулся к столу, сел в кресло и, глядя поочередно то на Берута, то на Жимерского, продолжал:

— Но вместе с тем я уверен, что провал Конференции нанесет огромный ущерб послевоенному миру. Вы согласны со мной, товарищи?

— Да. Это бесспорно,— ответил Берут.

Наклонил голову в знак согласия с ним и польский маршал.

— Полагаете ли вы,— снова заговорил Сталин,— что могут произойти какие-либо изменения к лучшему в связи с уходом Черчилля? Можно ли надеяться, что англичане в новом составе не будут послушно следовать в американском фарватере? Видите ли вы какую-либо возможность повлиять на них?

— Из того, что известно нам, вытекают скорее отрицательные, нежели положительные ответы,— твердо произнес Берут.— Мы не хотим тешить иллюзиями ни себя, ни тем более вас.

— Значит, расстановка сил прежняя — один к двум,— сумрачно заключил Сталин.— Мы добились кое-каких результатов,— продолжал он и повторил, как бы убеждая себя: — Да, добились! Вопрос о признании социалистических или, скажем, коалиционных правительств в странах Восточной Европы можно считать предрешенным. По вопросу о репарациях идет торг, но, я думаю, что и тут мы выстоим. Есть еще некоторые положительные сдвиги. Но если,— повысил голос Сталин,— они сорвут Конференцию из-за вашей западной границы, все это пойдет к черту. Не будет никакой совместной декларации, в которой американцы и англичане должны подтвердить то, чего мы добились здесь. Они получат свободу рук в Европе. Они бросят все свои силы на то, чтобы смести в странах Восточной Европы народные правительства. Не будет никакого сдерживающего Америку и Англию документа. История нам этого не простит...

Возникшей на короткое время паузой воспользовался молчавший до сих пор Роля-Жимерский.

— У вас есть какое-нибудь предложение, товарищ Сталин? — спросил он.

Берут зорко наблюдал за выражением лица Сталина, чуть склоненного над столом.

— Да,— ответил тот, резко поднимая голову.— Я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели возможность уступки в отношении польской западной границы.

— Уступки? — в один голос воскликнули Берут и Жимерский.

— Да!

— Но какой?!

— Надо рассмотреть возможность отказа от границы по Западной Нейсе. Отодвинуть ее восточнее, скажем, километров на двадцать.

Сталин увидел, как пальцы рук Берута впились в подлокотники, и поспешно сказал:

— Поверьте, товарищи, я предлагаю это с болью в душе. По протоколам предыдущих заседаний Конференции вы видели, что мы делали все, буквально все, защищая границу по Одеру и Западной Нейсе. Я говорю с вами на тот случай, если возникнет дилемма: или уступка с вашей, а следовательно, и с нашей стороны, или срыв Конференции.

Наступило тяжкое молчание.

Нарушил его Берут:

— Я верю каждому вашему слову, товарищ Сталин. И у нас нет необходимости читать протоколы, чтобы убедиться, как вы защищаете наши интересы. Тем не менее...

Берут на мгновение умолк, взглянул на маршала (тот на мгновение опустил веки) и сказал:

— Тем не менее мы не можем ответить на ваш вопрос. Он касается судьбы Польши, ее будущего... Мы должны посоветоваться с остальными членами делегации. Никто из честных поляков-патриотов не возьмет на себя смелость ни единолично, ни вдвоем принимать такое трагическое решение. Дайте нам час времени.

— Вы хотите посоветоваться с остальными товарищами уже сегодня?

— Да. Безотлагательно. Когда речь идет о судьбе родины, время не играет роли. Этому мы учимся у вас, советских коммунистов.

— Хорошо,— сказал Сталин, вставая,— жду вас. В любой час ночи.

И вот теперь он ждал. Бродил по освещенному лунным светом саду, снова поднимался по идущей полукругом лестнице наверх, переходил от одной из белых колонн к другой, стоял, опершись рукой на невысокую, узорчатую решетку, образующую своего рода террасу, глядел на безмятежную водную поверхность озера.

Нет, не только дом, но и все, что окружало его, казалось, вся природа, весь мир погрузились в сон. В том числе — и мир советский. Чтобы с раннего утра сесть в кабину экскаваторов, спуститься в шахты, сменить на постах часовых, заняться разбором руин, постройкой временных квартир — бараков, приступить к чтению или составлению неотложных документов...

И только один человек мучительно бодрствовал в этом давшем себе ночную передышку мире — невысокий человек, рыжевато-седой, в военной форме, с большими золотыми звездами на погонах и маленькой золотой звездочкой на кителе кремового цвета.

Но дом, в котором жил этот человек, лишь казался уснувшим. Вместе со Сталиным продолжали бодрствовать работники его секретариата, охрана, телефонисты.

Людей по образу их жизни принято делить на «сов» и «жаворонков». Первые поздно ложатся спать и поздно встают. Вторые — наоборот. Сталин принадлежал к числу «сов».

Его привычка засиживаться в своем кремлевском кабинете до двух, а то и трех часов ночи породила неписаное правило: наркомы, их заместители, высшие военачальники, секретари республиканских, краевых и областных партийных комитетов тоже должны были оставаться на своих рабочих местах за полночь. Сталин мог в любую минуту позвонить, что-то спросить или вызвать к себе.

Система ночной работы глубоко внедрилась в повседневную практику партийного и государственного аппарата. В нем поддерживалась железная дисциплина, но одновременно изматывалось здоровье людей. В годы войны это диктовалось суровой необходимостью. Да и здесь, в Бабельсберге, привычная синхронность работы Сталина и его аппарата вполне оправдывала себя. Ведь здесь тоже шла война. Правда, бескровная, тихая, но все же война. Война правды с ложью, справедливости с корыстолюбием. Война за будущее мира!

О сне Сталин сейчас и не думал. Он ждал возвращения Берута с ответом. Каков-то будет этот ответ? Сталин сознавал, что вопрос о польской границе не изолирован от всех остальных, которые предстояло решить на Конференции. И если ценой какой-то частной уступки в споре о новых границах Польши можно будет добиться согласия союзников по этим остальным вопросам, то на нее, видимо, придется пойти. Но мысль о таком способе предотвращения срыва Конференции не приносила Сталину успокоения. Какими бы аргументами ни обосновывал он потенциальную возможность уступки и сколь бы правильными ни были эти аргументы, для него было ясно: просьба, с которой только что пришлось обратиться к Беруту,— чувствительный удар по давней мечте поляков.

Эту мечту о возвращении некогда отторгнутых от Польши земель они лелеяли не десятилетиями, а веками. Разрушить надежду на ее осуществление значило для Сталина совершить нечто такое, что находилось в противоречии с его собственной мечтой: установить не на десятилетия, а на века братские отношения со славянским, польским народом. И если бы только ради этого перед Советским Союзом возникла необходимость принести еще одну жертву, он бы на нее пошел.

Но срыв Конференции сведет на нет значение такой жертвы. Западные границы Польши станут в этом случае объектом непрерывных атак,— психологических, пропагандистских и — кто знает! — может быть, даже и военных. Скоро, очень скоро при таком исходе поднимут головы немецкие реваншисты.

Правда, продолжал размышлять Сталин, если удастся превратить Германию в демилитаризованное, демократическое государство, жажду реванша можно погасить в самом зародыше. Но ведь и этому всячески препятствуют «западники». И Трумэн, и раньше Черчилль, а теперь Эттли объединены подспудной идеей: сохранить, насколько это возможно, военно-промышленный потенциал Германии, а значит, обеспечить питательную среду для реваншизма.

Если Конференция будет сорвана, если правительства США и Англии не будут связаны ее решениями о лишении Германии военного потенциала, о ликвидации в ней всех нацистских политических группировок, о наказании военных преступников, наши западные союзники сохранят за собой полную свободу рук. И не трудно представить, как они используют эту «свободу».

Желание Америки и Англии восстановить в Европе, не исключая Польшу, старые, довоенные порядки, так или иначе проявлялось почти на каждом заседании Конференции. А если Конференция будет со-

рвана? Окажется ли тогда в силах Польша, даже при поддержке Советского Союза, противостоять намерениям империалистов смести не только ее новую западную границу, но заодно и ее новый, демократический строй, который еще не окреп, у которого достаточно врагов и внутри самой Польши, и за ее пределами?

Сейчас американцы, ведя с Польшей «экономические переговоры», иатягивают на себя овечью шкуру. Они рассчитывают, что блеск их золота притупит политическое зрение поляков, нуждающихся почти во всем самом необходимом, что Польша наберет у них столько всяких займов, сколько не в состоянии будет оплатить даже с помощью Советского Союза. И тогда над этой страной возникнет безжалостный американский Шейлок с двумя словами на устах: «Платите! Или...» И иайдутся новые миколайчики, которые ие раздумывая пойдут на службу к этому Шейлоку. И вопрос из чисто экономического перерастает в политический.

Нет! — оборвал такой ход своих мыслей Сталин. — Этому не бывать. Ловушка, в которую пытаются заманить Польшу американцы, для Берута очевидна. Берут видит, чувствует, что под овечьей шкурой спрятаны волчья шерсть и волчьи зубы. Сейчас судьба Польши в верных руках, ею управляют твердые коммунисты.

Ну, а судьба Конференции?.. Пойдет ли Америка на разрыв? — снова и снова, возвращаясь «на круги своя», спрашивал себя Сталин. И отвечал: а почему бы и нет? Трумэи ослеплеи обладанием атомной бомбы. Америкаиский империализм всегда делал ставку на бомбы. Об этом размышлял еще Ленин!

Перед мысленным взором Сталина встал по сей день хранящийся в ИМЭЛе экземпляр америкаиской газеты «Вашингтон геральд», вериее вырезка из нее, сделанная Лениным.

Сталин обладал отличной памятью. Он помнил, что тот номер газеты вышел в свет давно, очень давно, еще до конца первой мировой войны. А что там обратило на себя виимаиие Лениия?..

Сталин иапряг всю мощь своей памяти. Нет, конечно, он был не в состоянии восстаиовить цитату дословно. Вспомнил лишь отдельные фразы:

«Бомбы и доллары — это единственное, на что США могут положиться... у нас их много... с их помощью мы можем расчистить себе путь к мировому господству»... Вот эти строки и отчеркнул Лении несколькими жирными линиями на полях американской газеты.

Да, именно так или почти так было сформулировано «кредо» американских империалистов. Во всяком случае, смысл написанного именно таков. За это Сталин готов поручиться, несмотря иа давиость лет. И, к сожалению, несмотря на ту же давность лет, американская ставка остается неизменной...

Есть и другое привычиое для Штатов словосочетаиие — «американская мечта». Американцы утверждают, что она включает в себя веру в равные возможиости для каждого, стремлеиие к благосостоянию, благоденствию, христианской справедливости... Нет! — со злой усмешкой подумал Сталин. — Она в другом, эта мечта, если говорить, конечно, не о всем американском народе, а о тех, кто им управляет. Она именно в жажде мирового господства. Тридцать лет назад это была мечта Вудро Вильсона. Сейчас — мечта Гарри Трумэна. С той лишь разницей, что Вильсон полагался на обычные бомбы, а Трумэн заполучил еще и «сверхбомбу».

Что ж, будет такая «сверхбомба» и у нас. Курчатов заверяет, что на это потребуется полтора-два года. Поверим ему...

Но пока что этим страшным оружием владеют лишь американцы. Настолько ли такое обладание вскружило голову Трумэну, что он готов растоптать возможность послевоенного мирного союза и честного сотрудничества между нашими странами, сорвать Конференцию из-за польской границы?

И «да» и «нет» — ответил Громыко. Что ж, он рассуждает диалектически, этот молодой посол.

Что может стать еще одним поводом для разрыва? Вопрос о репарациях? Вряд ли...

Неужели только из-за польского вопроса может сорваться Конференция? — спрашивал себя Сталин с горечью и тревогой. Слишком большие надежды возлагал он на нее. После блестящей военной победы Красной Армии, после того, как исторические обстоятельства, логика, здравый смысл уже заставили западных союзников считаться с реальной обстановкой, сложившейся в Европе, где нет Гитлера, где разгромлен гитлеризм, Сталину, очевидно, казалось, что успех Потсдамской конференции поставил бы все точки иад i, стал бы подлинным «терминалом» — конечной остановкой на пути к прочному миру. Ои не предвидел, что Потсдаму предопределено иное место в Истории, что отсюда только начинается путь к прочному миру, что потребуются еще долгие годы и напряженная работа новых руководителей партии и Советского государства, чтобы добиться всеобщего признания и закрепления того, что будет решено на Потсдамской конференции.

...Сталин не заметил, как за его спиной возник Хрусталев и тихо сказал:

— Они приехали, товарищ Сталин. Ждут.

При появлении Сталина маршал Роля-Жимерский вытянулся, как бы отдавая честь генералиссимусу. Берут тоже встал со стула.

— Прошу вас, товарищи, проходите,— сказал Сталин, указывая на дверь своего кабинета, которую уже успел распахиуть Хрусталев.

Они остановились посредине кабинета. Все втроем. Сталин почувствовал, как учащенно забилось его сердце.

— Ну... как? — спросил он, стараясь заставить свой голос звучать спокойио.

— Мы посоветовались со всеми членами делегации, товарищ Сталии,— произнес Берут в глубоком волиеиии и на мгновеиие умолк.

— И что же? — нетерпеливо спросил Сталин..

— Мы настаиваем на границе по Одеру и Западной Нейсе,— ответил Берут, делая ударение на слове «западной».

— Вся делегация?

— Весь польский народ...

Сталин слегка развел руками и опустил голову.

— Товарищ Сталин, поймите нас,— с необычной для него горячностью снова заговорил Берут,— мы понимаем, какие создаем для вас трудности и чем для всех нас может обернуться срыв Конференции! Более того, мы не удивимся, если вы скажете или только подумаете, что из-за упорства поляков не удастся закрепить результаты великой Победы Советского Союза. Предвидим, как этим будут разочарованы советский народ, Советская Армия, которая бок о бок сражалась с нами за освобождение Польши. И все же... прошу вас, поймите, мы не можем отказаться от западных земель. Они наши! В этих землях могилы наших предков. Именно на этих землях фашисты еще в мирное время начали истреблять поляков, топтать историю Польши, требовать, чтобы мы забыли польский язык! И вот теперь... Нет, товарищ Сталин, мы не можем. Мы настаиваем на нашей законной границе!..

Он умолк. Молчал и Роля-Жимерский. Молчал и Сталин.

В наступившей тишине из сада донесся резкий птичий крик. Он был настолько громким, что головы всех троих невольно обернулись к окну.

— Это сова,— сказал Сталин. Перевел взгляд с окна на поляков, все еще стоявших посреди комнаты, и произнес на этот раз в глубокой задумчивости: — Сова Минервы вылетает в сумерки.

Он чувствовал острую физическую боль в сердце, но превозмог ее усилием воли, подошел вплотную к полякам, стал между Берутом и Жимерским и объявил им, чеканя каждое слово:

— Хорошо. Я согласен. Мы будем и впредь отстаивать новую польскую границу. Чего бы это нам ни стоило. Границу по Одеру и Западной Нейсе.

Глава двадцать третья
«БОМБА» ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

На другой день, 30 июля, заседание Конференции тоже не состоялось. И «подземные тектонические взрывы», казалось, достигли своей высшей точки.

С утра в разные концы Бабельсберга помчались машины. Они неслись без эскорта мотоциклов, без «виллисов» с охраной. По флажкам можно было определить, что эти автомобильные гонки как-то связаны с Конференцией. Но мчались они не к Цецилиенхофу, а сновали между особняками западных руководителей, из чего можно было заключить: сегодня Конференция опять не состоится.

В советскую протокольную часть первыми позвонили англичане. В ответ они услышали:

— К сожалению, генералиссимус еще нездоров, участвовать в Конференции не может. Просит его извинить.

Потом затрезвонили американцы. Ответ тот же.

Бирнс позвонил непосредственно Молотову и получил почти такой же формальный, холодный ответ.

— Вы ознакомили генералиссимуса с нашими предложениями? — торопливо спросил Бирнс, опасаясь, как бы его собеседник не успел сразу же повесить трубку.

— Да, к-конечно! — ответил Молотов.

— И что же?

— В к-каком смысле «и что же»?

— Каково его отношение?

— Он, п-по-видимому, принял к сведению, что вы предлагаете ему «принять или от-твергнуть».

— Так принял он или отверг?

— Я не уполномочен товарищем Сталиным передавать его решение. Но лично д-думаю, что он ваше предложение отверг.

Бирнс беспомощно опустил трубку на колени и лишь потом положил ее на рычаг. Он окончательно сник. Ему не хотелось выходить из дома, не хотелось участвовать в совещании министров, которое вне зависимости от Конференции должно было состояться во второй половине дня...

В голову ему пришла мысль: разыскать Миколайчика. Он приказал, чтобы за Миколайчиком немедленно послали бы машину, две, три, но разыскали бы и доставили его как можно скорее.

...Миколайчик информировал Бирнса, что вчера ночью состоялось короткое заседание польской делегации. Обсуждался лишь один вопрос: дальнейшая позиция Польши в связи со спорами о новой границе. Все снова подтвердили: граница должна проходить по Одеру и Западной Нейсе...

Беседа с Миколайчиком продолжалась еще час, после чего сотрудники американской охраны столь же незаметно увезли его, как и доставили сюда. Бирнс принял душ, переоделся и решительной походкой направился к президенту.

— Я пришел за инструкциями, сэр,— официально начал он, поздоровавшись с Трумэном. — Сегодня на заседании вновь возникнет этот проклятый польский вопрос.

— Но сегодня же заседания не будет,— возразил Трумэн, уже информированный своим секретариатом о новой отсрочке встречи в Цецилиенхофе. — Кстати, вчера я послал Сталину записку с соболезнованием. Как вы полагаете, следует ли мне повторить это и сегодня, поскольку он все еще нездоров?

— Я говорю о подготовительном совещании министров,— пояснил Бирнс,— оно состоится. Среди нас все в добром здравии. Включая Молотова,— с усмешкой добавил он. — А относительно соболезнования решайте сами.

— Так чего же вы от меня хотите? — спросил Трумэн. — Каких еще инструкций? Разве мы не высказали своей точки зрения русским вчера, в этом самом кабинете?

— Политик должен смотреть в глаза реальности,— назидательно произнес Бирнс. — Сталин не пошел на уступки. Его требования в польском вопросе остаются прежними. Молотов мне это только что подтвердил.

— Что вы предлагаете? — резко спросил Трумэн.

— Ситуация оставляет нам ограниченный выбор. Мы должны или стоять на своем, или... уступить.

— Встать на колени?! — ужасиулся Трумэн.

— Сэр, предоставим журналистам и прочим пропагандистам подыскивать термины эмоционального характера. Я пришел поговорить с вами о деле. И времени у нас остается мало. Я только что виделся с Миколайчиком. Он сообщил, что вчера ночью состоялось заседание польской делегации. Сталин просил ее еще раз высказать свое окончательное мнение о границе.

— И что же она решила, эта так называемая делегация?

— Одер — Западная Нейсе.

— Единодушно?

— Да. Включая Миколайчика.

— И вы пришли мне сообщить, что даже наши ставленники голосуют против нас? Миколайчик же куплен Англией с потрохами!

— От Иуды невозможно требовать, чтобы он гордо потряс перед другими апостолами своими сребрениками. И вы знаете, сэр, покупают лишь тех, которые способны соображать. Дураки не в спросе.

— Что вы этим хотите сказать?

— Только то, что положение, которое усилиями англичан занимает сейчас в Польше Миколайчик, заставляет его воздерживаться от публичных акций, не популярных в его стране.

— Что же предлагает этот теленок, сосущий двух маток?

— Я прошу, сэр, рассматривать то, что я скажу, как мое собственное мнение, пусть даже сложившееся не без влияния сообщения Миколайчика.

— Выкладывайте.

— Допустим, вы видите красивую вещь и хотите, чтобы она стала вашей. Какие есть возможности для осуществления этого желания?.. Подождите, сэр, не перебивайте меня! Итак, возможности есть три. Уговорить владельца подарить ее вам. Это первое. Отнять ее силой, это второе. Третья возможность наиболее распространена в цивилизованном мире: купить ее, не пожалев, разумеется, денег.

— Что за чушь вы порете, Джимми! — взорвался Трумэн. — Вы хотите, чтобы Сталин или Берут подарили вам часть Польши? Или отобрать ее у них силой? Или...

Он умолк на мгновение.

— Вот именно, сэр, «или»! Надо купить.

— Каким образом?

— Испытанным. Новые английские боссы фактически дали берутовской компании от ворот поворот. Берут и Осубка добились у Эттли и Бевина не больше, чем у Черчилля и Идена! Мы тоже объявили их претензии незаконными. По крайней мере Иден и я поступили именно так. Да и вы, мистер президент, при встрече с Берутом посоветовали ему оставить несбыточные надежды.

— Я говорил также и о своем сочувствии полякам, об уважении к жертвам, понесенным ими.

— Что, извините, они будут делать с этими сочувствиями и уважением? — иронически спросил Бирнс. — Разве это свободно конвертируемая валюта?

— А чем покупают их русские?! — воскликнул Трумэн. — Русским же самим не хватает свободно конвертируемой валюты?

— Гарри,— понижая голос, сказал Бирнс,— если вы задали свой вопрос всерьез, то я всерьез и отвечу: русские купили их своей кровью. Они освобождали Польшу бок о бок с поляками. Каждый объективно мыслящий поляк видит, что Россия действительно поставила крест на былой вражде и вполне искренне поддерживает мечту поляков о возвращении им старинных польских земель.

— Дешевая сентиментальщина! — воскликнул Трумэн. — Сталину надо отнять у Германии Штеттин и с ним довольно значительную часть немецкой промышленности. Потому он и отстаивает границу по Западной Нейсе.

Бирнс с сомнением покачал головой.

— Поляки,— сказал он,— народ романтический, даже, как я убедился, отчасти сентиментальный. Они хотят осуществить свою мечту, чего бы это ни стоило. Русские готовы поддерживать их до конца. Вплоть до разрыва с нами, если польские требования не будут удовлетворены. Что же нам делать? До бесконечности участвовать в этой войне нервов? Вспомните, мистер президент, вас ждут великие дела, вы обязаны торопиться...

Этим напоминанием Бирнс привел президента в замешательство. Тот снова и снова подумал о том, что сегодня уже 30 июля, а после 3 августа в первый же благоприятный для авиации день на Японию должны обрушиться атомные бомбы.

Трумэн давно спланировал быть в этот «день X» на своей «Аугусте» и плыть к берегам родной земли, оставаясь в пределах досягаемости только для узкой группы своих военных и прочих советников. Он знал, что в Соединенных Штатах среди тех, кем создавалась атомная бомба, началось брожение, что генерал Гровс почти каждый день передает помощнику Стимсона и председателю «Временного комитета» пакеты с петициями и протестами против ее использования.

Лео Сциллард — человек, о котором Трумэн впервые услышал от Стимсона, когда министр посвятил его в существование «манхэттенского проекта»,— именно он, этот Лео Сциллард, не то венгр, не то еврей, только не настоящий американец, организует все эти «слезницы». Удивительное дело: сначала сами создали атомную бомбу, а теперь предают ее анафеме! Значит, надо действовать быстрее, не ожидая новых осложнений.

Но Америка ему не простит, если он не доиграет

до конца свою роль здесь, в Бабельсберге, ие зафиксирует мирную победу США в заключительном коммюнике или декларации.

А затем уже последует победа военная там, на Дальнем Востоке. Она, в сущности, уже обеспечена: бомба плюс русские.

О, если бы он мог победить японцев без участия русских!..

Каждое утро — включая и сегодняшнее, когда внизу Бирнс секретничал с Миколайчиком,— Трумэн вызывал к себе военных. Последним посетил «маленький Белый дом» генерал Маршалл. Его мнение не утешило президента. Генерал сказал, что и при наличии атомной бомбы русские своим участием в войне с Японией окажут большую помощь Америке. Без военного присутствия русских в Маньчжурии невозможна нейтрализация, а тем более разгром огромной Квантунской армии. Русские понимают это и ведут себя соответственно...

Отсрочка не только вчерашнего, но и сегодняшнего заседания «Большой тройки» была воспринята Трумэном как ответ русских на американский ультиматум, переданный через Молотова. История войн, начиная с Пунических, знала «цейтноты», когда у вождя, императора или подвластного им военачальника не хватало каких-нибудь одного-двух дней для завершения подготовки к решающему сражению,— они начинали его не вполне готовыми и терпели поражение. Трумэн боялся поражения. Нет, нельзя рассориться со Сталиным из-за этой проклятой Польши! Генералы правы: без помощи русских сопротивление японцев может продолжаться еще долго, высадка американской морской пехоты на Японские острова повлечет за собой огромные жертвы. А главное — может быть скомпрометирована атомная бомба! Если две атомные бомбы будут сброшены на японские города, а Япония все-таки не сложит оружия и ее Квантунская армия по-прежнему останется грозной силой, то весь мир сделает логический вывод: значит, «абсолютного, тотального оружия» не существует вообще...

— ...Да,— сумрачно проговорил Трумэн,— наши великие дела мы не вправе ставить в зависимость от какой-то там Польши. Через два, самое большее через три дня я должен быть на «Аугусте». Как же нам закончить эту Конференцию, хотя бы формально, миром?

— Формально уступить в польском вопросе,— ответил Бирнс. — А потом, как я уже говорил, купить эту страну, которая уже доказала, что может стать поводом для мировой войны.

— А вы можете, наконец, предложить что-нибудь конкретнее? — вспылил Трумэн.

— Могу. Не без вашего согласия поляки завязали переговоры с нашими торговыми представителями. Они просят средства на восстановление страны, просят займы.

— Вы полагаете, что, предоставив им заем, мы тем самым заставим их согласиться отодвинуть границу к Восточной Нейсе? — насмешливо спросил Трумэн.

— Нет, не полагаю. Пусть поляки забирают эту землю, тем более что они там уже фактические хозяева. Польша на века запомнила, кто разрушал ее. Теперь можно сделать так, что она запомнит и тех, кто поможет ей восстановиться.

— Если им и следует дать денег,— не очень-то охотно согласился Трумэн,— то не долларом больше, чем они могут отдать. И точно в срок.

— Вот это было бы нашей крупной ошибкой, мистер президент! — назидательно произнес Бирнс.

— Так вы что, собираетесь подарить им эти деньги?! — воскликнул Трумэн.

— Ни в коем случае. Заем есть заем. Но не стоит ограничивать его сроками. Надо поставить Берута и Осубку у сейфа, набитого долларами, и сказать: «Берите сколько хотите. А о сроках отдачи мы договоримся». Теперь представьте себе психологическое состояние того же Берута. За его спиной разрушенная, залитая кровью страна. В его сердце — мечта облегчить жизнь своим соотечественникам. В обычных условиях и даже с помощью Советского Союза, который еще сам кровоточит, восстановление Польши займет годы... может быть, десятки лет. А тут готовенькое золото! Бери его сколько хочешь и делай что тебе надо, не думая о сроках расплаты!

— Вы уверены,— сказал после некоторого раздумья Трумэн,— что Берут возьмет на себя такие финансовые обязательства, которые Польша не сумеет выполнить даже в отдаленные годы? Он показался мне расчетливым малым. Таких блеском золота не ослепишь.

— Он будет ослеплен или, точнее сказать, соблазнен не долларами, как таковыми, но возможностью без особых усилий улучшить материальную жизнь в своей стране.

— Боюсь, что он возьмет ровно столько, сколько сможет вернуть,— продолжал сомневаться Трумэн.

— Аппетит приходит во время еды.

— А если ему запретит Сталин?

— А вы полагаете, что он вступил в коммерческие переговоры с нами за спиной Сталина? Нет, это не похоже ни на Берута, ни на Сталина. Я думаю, что Сталин, сознавая, что не в силах материально помочь всем нуждающимся странам, вовсе не против их коммерческих связей с Западом. Конечно, в разумных, с его точки зрения, пределах.

— Вот видите, «в разумных»! А вы рассчитываете...

— Повторяю, сэр, аппетит приходит во время еды. Для себя лично такой ортодокс, как Берут, наверное, не возьмет ни доллара. Но когда за его спиной стоят с протянутыми руками тысячи, сотни тысяч голодных и бездомных поляков, он окажется не в силах пренебречь миллиардами долларов.

— Хорошо,— сказал Трумэн,— но если все же он не станет залезать в неоплатные долги, какая будет тогда полезная отдача для нас? Не забудьте, Джимми, эти коммунисты — люди особые. Во имя своих

идей они готовы переносить любые трудности. Это доказала война.

— Мистер президент, сэр! — несколько напыщенно произнес Бирнс. — Когда вы строите планы будущего Америки, разве вы ограничиваете их только сроком собственной жизни? Разве вы не озабочены тем, чтобы оставить вашим преемникам мощные рычаги управлеиия миром? Так вот, при Беруте наша бомба замедлеиного действия, может быть, и ие взорвется. Но разве вы не допускаете, что его преемникн окажутся куда менее аскетичными, куда менее осмотрительными, куда больше склонными верить в несбыточное — в возможность превратить свою страну в цветущий эдем без того, чтобы работать день и иочь? Даже если оии не в силах будут рассчнтаться со старыми долгами, это не остановит их от попыток взять новые. И мы опять им дадим. И другие западные страны дадут, как только станут на ноги. Мы им это посоветуем.

— А вы уверены, что в Польше не найдутся люди, которые раскусят ваш замысел и на кабальные сделки не пойдут?

— Я не пророк,— сердито ответил Бирнс,— однако не вижу иных путей проникновения в Польшу. И экономического н политического.

— А пока что эти ваши поляки будут благоденствовать на куче западного золота! — все еще хмурясь, сказал Трумэи.

— Недавио у меня был интересный разговор с адмиралом Леги,— хитро прищуриваясь, продолжал Бирнс. — Он, как вы сами знаете, большой специалист по взрывчатке, высказал мне довольно мрачную мысль. По его мненню, после войны в земле останутся лежать сотни, а может быть, н тысячн неразорвавшихся немецких снарядов и авиабомб. И время от времени по разным прнчинам они будут взрываться. Некоторые — лишь спустя десятки лет: онн заранее были так запрограммированы немцами. Другие — от неосторожного, беспечного обращения с ними. Ну, скажем, от удара лопатой, давления гусеницей экскаватора...

— Вы сравнннваете наши займы с неразорвавшимися бомбами?

— Точиее, как я уже вам сказал, с бомбами замедлеиного действия,— ответил Бирнс. — Но главное даже не в этом сравнении. Я далек от примнтивной мысли «подарить им нашн деньги», как вы выразились. Моя мысль глубже. Экономика всегда была тесно связана с политикой и не раз в истории прокладывала ей путь. Я далек от предположения, что Польшу можно будет просто «купить». Но другая мысль — о том, что к экономике можно будет в будущем «приплюсовать» политику, «переплести» их между собой,— не кажется мне столь фантастической. Экономика может стать только началом. Политическое подчинение Польши Западу — завершением или, если хотите, продолжением. Если Польша обретет новую западную границу, это, разумеется, еще более привяжет ее к Советам. Нам надо искать противовес этой «прнвязке». Им может стать наша экономнческая помощь. Вы скажете: «Пока что себе в убыток?» Я отвечу: «Конечная цель оправдывает средства».

— Хорошо,— решительно сказал Трумэн,— признаю ваш план разумным. Мысленно ставлю на нем и свою подпись. С чего же предлагаете начать?

— С сообщения Молотову, что вы изменили свою позицию в отношенин польской западной границы...

30 июля в половнне пятого Бирнс появился в замке Цецилненхоф, заранее предупредив Молотова, что хочет с иим встретиться и конфидеициально поговорить на важную тему.

Когда Бирнс вошел в одну из комнат советской делегации, Молотов уже ждал его. Переводчики были тут же.

Поздоровавшись, Бирнс объявил:

— Я рад сообщить вам, что президент изменнл свою точку зрения и теперь поддерживает предложение об установлении польской границы по Одеру и Западной Нейсе. Правда, это еще не согласовывалось с англичаиами.

Пожалуй, в первый раз Бирнс увидел при этом Молотова в состоянии потрясения. Рот наркома полуоткрылся, пальцы рук зашевелились, будто он старался нащупать нечто неуловимое. Молотов снял пенсне, достал из кармана ослепительной белизны платок, долго протирал стекла, время от времени поглядывая на Бирнса своими близорукими глазами. Потом быстрым движением водрузил пенсне на иос и, вроде бы вернув себе обычную невозмутимость, спросил:

— А согласятся ли англичане?

— Я думаю, что они согласятся,— не без пренебрежения ответил Бирнс.

«Победа! — ликовал про себя Молотов. — Оии ие выдержали ими же затеяниой игры. Зачитанный вчера Бирнсом «Меморандум», который правильней было бы назвать ультиматумом, превратился в бумеранг. Что повлекло за собой это неожиданное превращение? Стал ли известен американцам иочной разговор Сталина с поляками, его обещание, данное Беруту и Жимерскому? Дошло ли до Трумэна, что Сталин пойдет иа разрыв, если американская и английская делегации будут саботнровать основные требования Советского Союза? Или это продиктовано иеобходимостью совместных боевых действий против Японии?..»

Молотов ие иаходил пока ответа. Но так или иначе победа была несомненной.

Сделав свое главное сообщение, Бирнс продолжал говорить о многом другом: о Руре — как частн Германии, о функциях контрольного Совета, о Франко... Молотов и слушал его и ие слушал. Все это еще можно будет обсудить на предстоящих заседаниях. В те миииуты Молотова целиком заиимал «польский вопрос». Надо скорее, как можно скорее сообщить Сталину, что американцы снимают свои возражения против новой границы Польшн по Одеру н Западной Нейсе.

Глава двадцать четвертая
«ПАКЕТ» БИРНСА

31 июля с утра стало известно, что работа Конференции возобновляется и что очередное, одиннадцатое заседание «Большой тройки» состоится в 4 часа дня.

Воронов, конечно, не ведал ни о совещаниях у Сталина, ни тем более о том, какой план выработали президент и государственный секретарь Соединенных Штатов. Зато он узнал, что завтра или послезавтра кинооператорам и фотокорреспондентам будет предоставлена возможность произвести еще одну съемку глав правительств, а может быть, и еще раз побывать в зале Цецилиенхофа перед тем, как там состоится заседание. Эту радостную новость сообщил Воронову руководитель группы кинооператоров Герасимов. Она означала, что конец Конференции близок и благополучен: если не по всем, то уж по главным-то вопросам ее участники, наверное, пришли к общему согласию. Иначе нечего было бы сниматься. Злопыхательские россказни Стюарта, да и не только его, будто Конференция зашла в тупик и там, в тупике, тихо скончалась, к счастью, не оправдались. Брайт не в счет — Воронов твердо усвоил, что ради сенсации тот, не задумываясь, утопит в озере «Непорочных дев» даже свою возлюбленную.

Итак, снова за работу, скорее, скорее за работу!

На столе в комнатке Воронова лежала начатая им, но так и не оконченная статья о недавнем происшествии с трамваем. Не завершил ее Воронов потому, что не знал, чем закончилось расследование этой явной провокации, кто был ее организатором: немецкие фашисты или американские «друзья»? На другой же день после того, как все это произошло, Воронов поехал в Берлин, к Нойману, чтобы узнать результаты расследования. Но в райкоме ему сказали, чтоНоймана нет и когда он будет точно, неизвестно. Других руководителей райкома Воронов не знал и, решив, что отсутствие Ноймана не может быть продолжительным — он, наверное, где-то поблизости на восстановительных работах,— уехал с надеждой застать его в райкоме завтра.

На другой день, однако, Совинформбюро затребовало срочно корреспонденцию о работе Контрольного Совета, а потом... Потом Конференция неожиданно прервала свою работу, и Воронов ощутил такое разочарование, такой упадок сил, что так и не поехал к Нойману. Но теперь он снова воспрянул духом и решил немедленно закончить статью о трамвае, подсознательно полагая, что, разоблачив эту провокацию, он тем самым, пусть косвенно, нанесет удар и по Стюарту. А для завершения статьи надо было непременно повидаться с Нойманом.

Воронов еще сам не отдавал себе отчета в том, что хочет увидеть этого человека не только для того, чтобы выполнить свой журналистский долг. Да, ему не терпелось узнать, чем кончилась история с плакатом. И все же не это было главным. Нойман стал для Воронова как бы звеном, связывающим его с новой, послевоенной Германией.

На этот раз он застал Ноймана в райкоме. Видимо, тот только что закончил прием посетителей и теперь сидел один в своей комнатке, просматривая кипу разноформатных, исписанных разными почерками листков.

При появлении Воронова Нойман аккуратно сложил бумаги, придавил их кусочком кирпича, встал и, протягивая руку, приветливо сказал:

— Добрый день, Михаил! Надеюсь, на этот раз ничего не случилось?

— Ничего,— улыбнулся в ответ Воронов. — Если не считать, что сегодня Конференция возобновит свою работу.

— Да? — радостно, но с оттенком недоверия откликнулся Нойман. — Отлично! Западные газеты и радио в последние два дня прожужжали всем нам уши, убеждая, что Конференция на грани срыва или фактически уже сорвана.

— Черта с два! — воскликнул Воронов. — Наоборот, насколько я могу судить, она пришла к соглашению по важнейшим вопросам...

— В том числе и о будущем Германии? — пытливо спросил Нойман.

На эту тему они уже говорили раньше, и Воронов сослался тогда на известные слова Сталина о том, что Советский Союз не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию, что гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается. Но сейчас Нойману явно хотелось узнать конкретные результаты этих заверений.

— Что же все-таки решила Конференция? — настойчиво домогался он. — Ведь немцы предполагают, что именно она должна вынести окончательное решение о будущем Германии.

Воронов почувствовал себя неловко. Он и сам знал о ходе Конференции только в самых общих чертах. В Карлсхорсте не очень-то поощрялось журналистское любопытство. Тугаринов скупо информировал пишущую братию о том, какие проблемы обсуждаются «Большой тройкой», в чем обнаружилась разница в подходе к этим проблемам со стороны Советского Союза и западных государств, никогда не сообщал, что именно сказал Сталин, что говорил Черчилль, а потом Эттли и какое решение можно считать принятым окончательно.

Ответить четко на вопрос Ноймана Воронов не мог. Тот почувствовал это и, видимо, желая вывести его из затруднительного положения, сказал, меняя тему разговора:

— Я только что вернулся из американской зоны, Михаил.

— Что тебя туда потянуло? — поинтересовался Воронов.

— Партийные дела,— ответил Нойман. — Ведь мы, немецкие коммунисты, стремимся создать единую, Германскую компартию. По поручению нашего ЦК я встречался там со многими коммунистами и сочувствующими нам людьми.

— Что же они говорят?

— Всякое,— задумчиво произнес Нойман. — На протяжении многих лет мы, немцы, были отрезаны

от мира. Знали только то, что вдалбливали нам Гитлер и Геббельс. Но в последние два месяца окно в мир несколько приоткрылось. Нам стали доступны газеты, которые выпускают американцы, англичане, французы,— о советских я уже не говорю. К нам приезжает немало журналистов, и не только из Америки и Англии... Среди них, не часто правда, встречаются истинные наши друзья по убеждениям. Они многое раскрыли перед нами...

— Что именно?

— Ну, например, планы расчленения Германии.

— Эти планы давно ушли в песок, Нойман! Сталин всегда был против таких планов, а на Ялтинской конференции и Рузвельт отрекся от них.

— Наверное, все, что ты говоришь, правильно,— согласился Нойман. — И все же...

Некоторое время он молчал, и Воронову показалось, что в эти секунды Нойман решал, стоит ли ему высказываться до конца. Потом посмотрел Воронову прямо в глаза и продолжал:

— У меня много советских друзей, Михаил, и я не могу пожаловаться на то, что они со мной не откровенны. Но из них ты, кажется, наиболее близок мне. Я это почувствовал едва ли не с первой нашей встречи. А потом это уличное происшествие... ну, ты помнишь, конечно. И вот мы опять встретились как единомышленники. Ты коммунист, и я коммунист. Это позволяет мне говорить с тобой совершенно открыто.

Воронову показалось, что слова, которые произносил Нойман, даются ему как бы с трудом, что он мучительно подбирает их. На какое-то время забылась конкретная цель приезда к нему. Сейчас Воронову хотелось одного: до конца убедить этого сидящего напротив человека, что он видит перед собой именно друга-единомышленника, товарища.

— Говори, товарищ Нойман, спрашивай,— так же глядя ему в глаза, настойчиво произнес Воронов. — Я ничего не скрою от тебя.

— Спасибо, товарищ,— сказал Нойман, с какой-то особой теплотой произнеся последнее слово. — Я всегда верил, что между коммунистами нет границ. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»— говорим мы всегда. И все же...

Он опять умолк.

— Что «все же»?! — нетерпеливо спросил Воронов.

— Я немец. Я принадлежу стране и народу, которые принесли твоей Родине такие страшные несчастья.

— Гитлер их принес, фашисты!

— Спасибо, Михаил, что и ты отделяешь их от народа. Но я должен быть честным: немецкий народ в большинстве своем шел за этим проклятым Гитлером.

— Он был обманут, одурачен!

— Пусть так. Но факт остается фактом. На нас всех лежит огромная вина.

— Ты же был в концлагере!

— Да разве я говорю лично о себе, Михаил? — с горечью произнес Нойман. — Где бы я тогда ни был, не могу, не имею права отделить себя от остальных немцев. И понимаю, что мы заслуживаем жестокого наказания.

— Неверно! Такие, как ты, заслуживают только уважения. Вы боролись!

— О борьбе судят по ее исходу. Мы оказались побежденными в этой борьбе. И, следовательно, делим вину за все. Если в наказание вы захотите разделить, раздробить Германию...

«Ах, вон оно что! — хотелось воскликнуть Воронову. — Значит, клевета не прошла бесследно даже для такого человека, как Нойман!..»

— Послушай, друг,— стараясь говорить спокойно, сдержанно произнес Воронов,— ты меня удивляешь! Когда подобные вещи говорил Вольф...

— А зоны? — прервал его Нойман.

— Что —«зоны»?

— Ты не видишь в разделении Германии на зоны зачатков плана разделения Германии?

— Ну, тут ничего нельзя было поделать! Решение разделить Германию на зоны оккупации было принято союзниками, еще когда шла война! Однако при чем тут разделение Германии как государства?

— Может сложиться ситуация, когда трудно будет отделить одно от другого,— печально сказал Нойман.

— Будем говорить прямо,— решительно произнес Воронов. — Планы разделения, расчленения Германии действительно были. Не у нас, а у западных союзников. Точнее — у американцев. Но мы, как я уже сказал, похоронили их. Начали это еще в Ялте, а закончили потом в Лондоне.

— А сейчас те же американцы трубят на всю Германию, что расчленить ее хотят русские. В наказание и чтобы предотвратить повторение бед, причиненных России немцами... Я знаю, что было в Ялте, верю, что товарищ Сталин был там против расчленения, но как убедить миллионы немцев, что он и теперь не изменил свою точку зрения?

— Сталина не так-то легко заставить изменить точку зрения.

— А зоны? — снова повторил Нойман. И вроде вне всякой связи с этим своим вопросом сказал: — Я видел Вольфа, Михаил.

Воронова это заинтересовало настолько, что он на какое-то время забыл весь предшествующий разговор с Нойманом.

— Ну, как он там? — поспешно спросил Воронов.

— Устроен неплохо,— ответил Нойман. — Маленькая, но удобная квартира. Неплохая зарплата. Хорошо знакомая ему работа.

— Значит, и не думает возвращаться?

— Нет,— печально покачал головой Нойман. — Пока не думает.

— Тебе бы послать его к черту!

— Вместо этого мы выпили вместе по кружке хорошего, крепкого пива. Вольф еще слишком мало пробыл на Западе, чтобы делать какие-либо серьезные выводы. Тем не менее заметил и удивляется, почему это на их заводе наймом рабочей силы, подбором инженеров и техников занимается бывший на-

цист. Вольф запомнил его с тех пор, как этот фашист сопровождал Гитлера, когда тот пожаловал однажды на завод, которого теперь уже не существует. Кроме того... — Нойман чуть замялся.

— Что? Договаривай,— попросил Воронов.

— Вольфу кажется, или просто мерещится, что его хозяин планирует реконструировать уцелевшее производство так, чтобы оно легко могло перейти на выпуск военной продукции. Так это или не так, судить не берусь. Сам я пробыл на Западе еще меньше, чем Вольф, но и мне показалось, что американская зона оккупации — это совсем иная страна, хотя там тоже говорят по-немецки...

— Естественно, отличие от нашей зоны есть, не может не быть! — согласился Воронов. — В западных зонах поощряется частная собственность, в том числе и крупная...

— Это азбука, Михаил. Дело не только в частной собственности. Меня тревожит не столько то, что там есть сейчас, сколько то, что будет,— тенденции! Не представляю себе единой страны с различными тенденциями развития в различных ее частях.

— Я тебя не совсем понимаю! — развел руками Воронов. — Ведь не Советский же Союз виноват в этом.

— Но, может быть, Советский Союз уступил тут Западу? Теоретически отклонил раздел Германии, а на практике... Теперь ты понимаешь, о чем я тебя спрашиваю?

— Теперь понимаю,— кивнул Воронов. — Ты боишься, что подспудное чувство мести в сочетании с желанием Запада расчленить Германию приведет к тому, что мы фактически согласимся с этим?

— Да!

— Так слушай,— требовательно сказал Воронов. — Я не присутствовал на Конференции. У меня нет каких-то особых источников информации из наших руководящих сфер. Но опираясь на все то, что я знаю о советской политике в отношении Германии, на наши газеты, доклады, беседы с партийными и государственными работниками, я готов поручиться всем, что мне дорого, своим партбилетом даже, что на расчленение Германии мы не пойдем. То, что сказал Сталин, не просто утешительная для немцев фраза, а существо нашей политики по отношению к Германии. Единая, демократическая, миролюбивая,— такой мы хотим ее видеть!

— Непросто будет достигнуть этого. Очень непросто... — задумчиво покачал головой Нойман и сам вернул Воронова к тому практическому делу, ради которого тот приехал в райком: — Пока я путешествовал по американской зоне, меня тут ждала докладная записка, небезынтересная для тебя. Вот, гляди.

В кипе бумаг Нойман отыскал плотный, шершавый листок — уведомление от директора трамвайного депо Восточного Берлина. Он официально сообщал, что вагоновожатый Отто Реннер, 62 лет, проживающий и работающий в американской зоне оккупации, в присутствии представителя советской военной комендатуры признался, что плакат был повешен на его вагон в депо при выходе на линию и ему, Реннеру, была обещана прибавка к жалованью, если он провезет эту фальшивку нетронутой через всю Восточную зону.

— Вот негодяи! — воскликнул Воронов, прочитав уведомление и возвращая его Нойману. — Я уже почти написал статью об этом для Совинформбюро. Ждал только конца расследования. Теперь точка поставлена. Я сегодня же допишу статью и отправлю в Москву. Давайте вместе бороться за единую, демократическую Германию, используя для этого все средства, достойные коммунистов.

— Немецкие коммунисты, Михаил, борются за это достаточно энергично. Надеюсь, что решение нашего ЦК ты прочел?

— Да, в тот же день, как получил его от тебя.

— Готовим второе издание. Очень важно, чтобы все немцы осознали, какие подлинные цели ставит перед ними наша компартия, к чему призывает. Конечно, если бы мы знали, что решила по германскому вопросу Конференция, нам было бы легче...

Но этого никто пока не знал, кроме самих участников Конференции.

Открывая очередное ее заседание, Трумэн предоставил слово Бевину для доклада о решениях подготовительного заседания министров иностранных дел, состоявшегося накануне.

К удивлению глав государств, Бевин от доклада отказался, мотивируя это тем, что все вопросы, обсуждавшиеся министрами, включены в повестку дня сегодняшней встречи «Большой тройки».

— Что ж, тогда перейдем к повестке дня,— сказал Трумэн. — Нам предстоит сегодня обсудить предложение США о германских репарациях, о западной границе Польши и о порядке допуска государств — бывших сателлитов Германии в Организацию Объединенных Наций. Сейчас мистер Бирнс доложит наши предложения.

— Прежде всего я хочу сказать, что американская делегация рассматривает все три названные президентом вопроса как неразрывно связанные между собой,— заявил Бирнс и посмотрел на Сталина, желая определить, какое это произвело на него впечатление.

Сталин слегка приподнял брови и положил на стол уже вынутую из коробки папиросу, забыв зажечь ее. Но не произнес ни слова.

О чем думал он, какие мысли проносились в его голове в эти короткие, до крайности напряженные мгновения?

Прежде всего, вероятно, подумалось: его обманули. Преднамеренно ввели в заблуждение сначала Молотова, а через Молотова и его самого.

Сталин мысленно восстановил вчерашнюю запись беседы Бирнса с Молотовым, сделанную советским переводчиком и подписанную наркомом. Значит, так. Бирнс начал с заявления о готовности Штатов пойти на уступку в польском вопросе. Обещал поговорить с англичанами. Высказал уверенность, что англичане тоже уступят. Затем — повторение пройден-

иого — Бирис высказывает «надежду» на свободу передвижения в Польше иностраииых корреспондеитов. Потом — об отношении к Франко. Потом — о репарациях. О Руре. О военных преступниках. Вот содержание беседы Бирнса с Молотовым, какнм его запомнил Сталин.

Но нн слова о том, что американская делегация рассматривает какие-либо из этих вопросов как «взаимосвязанные» и считает, что если не будет решеи хотя бы одии из иих, то автоматически считаются нерешениыми и другие.

«Где смысл? Где логика? — спрашивал себя Сталин. — О порядке приема в ООН ие шла речь вообще. Почему же сейчас оказывается, что и от этого вопроса зависит установление польской граиицы? Значит, согласие Бириса иа призиаиие граиицы по Западной Нейсе — миф, примаика, крючок, к которому привязана далеко тянущаяся иить. Что помешает тому же Бирису или Трумэиу чуть позже поставить во «взаимосвязь» с польскими границами еще какие-то вопросы? Но уже и теперь оии добиваются, чтобы за уступку Польше Советский Союз заплатил бы двумя другими уступками. Или берите такой «пакет» американских предложений полностью, или не получите ничего. Шаитаж! Новая ловушка...»

Но Стални сумел скрыть свое негодование.

— То, о чем говорил господнн Бирис,— невозмутимо произнес он,— это разиые, не связанные один с другим вопросы.

— Это верно,— с готовностью прнзнал Бирнс,— тем не менее иапоминаю, что больше двух недель мы не могли прийти по ним ни к какому согласованному решению.

— По одному из них вы иаконец встали на справедливую точку зреиия,— возразил Сталин. — Или, может быть, я неправильно иифоримироваи? Может быть, американская делегация отказывается от своего согласия на устаиовление новой польской границы по Одеру и Западной Нейсе?

— Ни в коем случае! — успокоительно, даже както услужливо откликнулся Бирис. — Мы готовы пойти на уступку. Но... только при том, если будет достигнуто соглашеиие по двум другим вопросам!

— Весьма страииая логика! — отметил Сталин. — Боюсь создать затруднение для переводчика, но у нас в таких случаях говорят: «В огороде бузнна, а в Киеве дядька». Кнев — это украинский город.

— А мы все же попытаемся доказать, что наши предложения имеют взанмосвязь,— иатяиуто улыбнулся Бирнс. — Не поверхиостную, конечно, а, так сказать, внутреннюю. Вот вам пример: Польша получает значительиую территорию, иа которой совсем недавио хозяйннчала гитлеровская Германия, но намерены ли поляки платить репарации из тех материальиых ценностей, которые попали к ним в руки? Ведь раиьше они были собственностью Германии, не так ли?

Сталнн сделал было движение рукой, выражающее желание ответить Бирнсу, однако тот постарался исключить такую возможность. Привычной скороговоркой он начал обосновывать свое предложеиие о порядке взимания репараций: замельтешили цифры, проценты, а польской проблемы будто уже и не существовало.

Бирнс перескочил иа вопрос о Руре. Сначала говорил о 25% капитального оборудования Рурской области, которые можно передать Советскому Союзу, потом «съехал» на 15%. Сталии молчал, ие мешал ему выговориться до конца. Он уже разгадал иамерения американцев: ссылками иа большие разрушения в Германии и уменьшение ее территории в пользу Польши свести к миниимуму сумму репараций в пользу Советской страны.

Сталииа с иовой силой охватило чувство иегодования. Перед глазами его встали разоренные гитлеровцами советские земли. На восстаиовление их благосостояния не хватит никаких репараций. Поднять страну из руин может только беззаветный, почти круглосуточный труд всего ее народа. А этот «джеительмеи» с лисоподобиым лицом всячески пытается уменьшить даже ту сумму репарацнй, которая единодушно была зафиксирована еще в Ялте!..

Бирнс тем временем сообщил, что иа заседании министров возникли разногласия с английской делегацией:

— Она ие согласна иа то, чтобы изъятия промышлениого оборудования в счет репараций Советскому Союзу производились бы только в Рурской области. Она может согласиться на изъятие определенных долей оборудования из всех западных зон...

«Кажется, настало время вмешаться»,— решил Сталин и заявил во всеуслышание:

— Мы тоже счнтаем правильным производить изъятия из всех западиых зон.

Трумэн предостерегающе посмотрел на Бирнса, как бы желая предупредить: «Берегитесь, из всего вашего длинного выступления Сталин выхватывает только то, что ему выгодно!»

Но, увлеченный своей речью, Бирнс игнорировал взгляд президента. Он вдавался уже в детали:

— Кто именно будет определять характер и качество вывозимого из Германии оборудования? Предлагается возложить это на Контрольный Совет...

И снова Сталин слушал Бирнса не перебивая. Он понимал, что взимание репараций по зонам содержит в себе потенциальную опасность раскола Германии. Американцы, да и англичане, давно вынашивают такие планы. Еще в 1941 году существовал так называемый «План Кауфмана», предусматривавший раздробление Германии иа пять частей. В сорок третьем году появился «План Уэллса». По этому плану Германий должно было стать четыре. В сорок четвертом «Планом Моргентау» рекомендовалось иметь две послевоенные Германии и одну «международную зону». И Рузвельт планировал все то же: «расчленение Германии». И у Трумэна был свой «план»— ему представлялось «целесообразным» иметь: Северогерманское государство, Южногерманское, Западное... А подоплека у всех этих планов была одна: поскольку не удается превратить всю Германию в американо-английскую «вотчину»— ведь уже решено, что восточная ее часть составит совет-

скую зону оккупации — значит, надо добиваться осуществления своих целей хотя бы в западных зонах, не допустить там антимилитаристских и демократических преобразований.

Чисто символически западные державы согласились похоронить эти планы. Сталин, выполияя поручение Политбюро, вбил осиновый кол в ту могилу, объявив на весь мир, что Советский Союз ие собирается «ни уничтожать, ни расчленять Германию...». Но на данном напряженнейшем этапе переговоров, даже чутко улавливая коварный подтекст предложения о взимании репараций «по зонам», не стоило вступать в спор. Бесплодность такого спора была очевидной — чувствовалось, что между американцами и англичанами существует заранее согласованное решение. И Сталин сказал:

— Хорошо, пусть будет записано так, как предлагает английская делегация. Но с обязательным признанием права Советского Союза на изъятия репараций не только из своей зоны, а частично и из других. Кто может возражать, что западные зоны более развиты в экономическом отношении и менее пострадали от войны?

— Это все, что вы хотели сказать? — с иадеждой в голосе спросил Трумэн.

— Нэ совсем,— ответил Сталин. — Говорят, что американцы и англичане уже вывезли часть промышленного оборудования из своих зон.

— А разве это не является иашим правом? — удивился Бирнс.

— Если мы принимаем принцип изъятия репараций по зонам в процентном исчислении, то совершенно необходимо установить, а чем же, каким имеино оборудованием располагала каждая зона к концу войны,— пояснил свою мысль Сталин. — Пожалуйста, верните в свои зоны то, что вы оттуда уже забрали. Так сказать, для восстановлеиия реальной картины. Или хотя бы составьте подробные списки вывезенного и передайте их нам. Для взаимоконтроля.

Это требование имело прочную юридическую основу. Нельзя описывать имущество осужденного, предварительно растащив какую-то часть его.

— Я очень рад, что генералиссимус согласился с нами в принципе. Остальное — детали, и о иих можно будет договориться,— с показиой удовлетворенностью заключил Бирнс. — Значит, мы, в свою очередь, идем на уступку в отношении польской границы. Что же касается Организации Объедииенных Наций...

— Простите,— прервал его Сталин,— но мы пока не обсудили того вопроса, который вы иазвали главиым из трех.

— Какой вопрос вы имеете в виду? — иастороженно спросил Трумэн.

— О репарациях,— невозмутимо ответил Сталин.

— Как?! — недоумеино воскликнул Бирнс. — О чем же мы все время говорили здесь?!

— О ваших предложениях по этому вопросу,— спокойно уточнил Сталин. — Мы о них высказались. Кое с чем согласились, а кое с чем нет. Теперь, может быть, иастала пора поговорить о том, что предлагаем по репарациям мы?

— Ну... пожалуйста,— пробормотал Бирнс. — Хотя я не знаю, о чем тут еще говорить.

— Давайте прежде всего решим,— предложил Сталин,— что целью репараций является не просто наказание Германии, а содействие скорейшему восстановлению стран, пострадавших из-за нее. Вместе с тем мы предоставляем Германии возможность мирно развиваться за счет сокращения ее военного потенциала.

И американцы и англичане понимали, что Сталин фиксирует этот принцип, так сказать, для истории. Они отнеслись к этому равнодушно, считая, что в таких делах, как взимание репараций, решающую роль играет не философия, а чистый прагматизм. Но что последует за философией?.

Трумэн, Эттли, Бирнс и Бевин с подчеркнутым недоумением переглянулись, будто спрашивая друг у друга: «Неужто Сталин оглох? Или в чем-то повинны переводчики? Все ведь так детально обсуждено и решено».

На Сталина эти нарочитые знаки недоумеиия не произвели никакого впечатления.

— Итак,— продолжал он,— мы согласились, что Россия будет брать репарации не только из своей зоны, но и из западных тоже. Однако это всего лишь принцип, и ои нуждается в конкретизации. Ведь в конечном итоге все дело в цифрах, не так ли? И если мы их сейчас не уточним, то в будущем могут возиикнуть разногласия. А к чему нам лишние споры?

Он перевел взгляд на листок, который подал ему Молотов, затем отложил бумагу в сторону и чуть громче, чем обычно, заявил:

— Советский Союз должен получить из западных зон пятнадцать процентов основного промышленного оборудования, подлежащего изъятию. Взамен мы готовы предоставлять из советской зоны оккупации эквивалентное по стоимости продовольствие, уголь, калий, нефтепродукты и керамические изделия. Это — первое. Во-вторых, мы претендуем еще на десять процентов основного промышленного оборудования из западных зон, ио уже без всякой оплаты с нашей стороны.

«Ну все, наконец?» — хотелось поторопить его Бирнсу. Он понимал, что Сталин, хотя и не отвергает прямо американские предложения, ио под видом их уточнения, конкретизации и дополнений фактически излагает свою систему репараций, при которой иевозможны будут иикакие отступлеиия в дальиейшем.

— Кроме того,— как бы отвечая иа иемой вопрос Бириса, продолжал Сталин,— мы претендуем иа пятьсот миллионов долларов акций промышленных и траиспортиых предприятий, расположенных в западиых зоиах, а также хотим получить тридцать процентов заграничных инвестиций Германии и столько же процентов германского золота, поступившего в распоряжеиие союзников.

— Это же огромиые суммы! — воскликнул Бевии. — А потом потребует своей доли Польша! Что

же останется немцам? Вы же сами ранее сказали, что не ставите своей целью задавить Германию.

— Нет. Не ставим,— согласно кивнул Сталин и добавил с особым значением: — Нэ задавить и нэ расчленить. Но мы потеряли в этой войне очень много промышленного оборудования, страшно много. Надо хоть одну двадцатую часть возместить. И я рассчитываю, что английская сторона поддержит нас в этом. А что касается Польши, то пусть господин Бевин не беспокоится,— мы выделим ей репарации из своей доли. Надеюсь, что Соединенные Штаты и Великобритания поступят так же в отношении Франции, Югославии, Чехословакии, Бельгии, Голландии и Норвегии. — Сталин чуть усмехнулся, но тут же эта едва уловимая усмешка исчезла с его лица, и он как бы подвел итог всему сказанному: — Если мы все это решим положительно, то вопрос о репарациях, я думаю, можно будет считать исчерпанным.

Начался спор. Эттли и Бевин наперебой стали доказывать, что проценты, названные Сталиным, сильно завышены. Трумэн и Бирнс энергично отстаивали прикарманенное США германское золото, утверждая, что на него могут претендовать и другие страны.

Сталин как бы со стороны следил за этой перепалкой, пока что не вмешиваясь в нее. Он вроде бы бросил камень в воду и теперь наблюдал с любопытством, как по воде расходятся круги.

И только когда Бирнс упомянул о возможности претензий «других стран», невозмутимо подтвердил:

— Что ж, это вполне возможно. Не будем загадывать вперед.

Смысл этой его реплики звучал так: когда претензии возникнут, тогда и рассмотрим их.

Бирнс выступил снова с категорическим возражением против выделения Советскому Союзу какой бы то ни было части германского золота. Сталин ответил уступчиво:

— Если не хотите предоставить нам германское золото, давайте повысим процент оборудования, которое мы сможем получить из западных зон.

— Это несправедливо! — запротестовал Бевин.

В глазах Сталина сверкнули злые огоньки.

— Ах, это «нэ справедливо»! Тогда я хочу спросить, справедливо ли поступали англичане и американцы, вывозя товары и оборудование из русской зоны оккупации до занятия ее советскими войсками? Справедливо ли было угонять оттуда одиннадцать тысяч вагонов?.. Так вот, если наши западные союзники будут продолжать спор, я поставлю вопрос: как быть с этим вывезенным вами имуществом? Собираетесь ли вы вернуть его, или компенсируете каким-либо иным способом? Мы-то не вывезли из ваших зон никакого оборудования и не угнали ни одного вагона! Здесь господин Бирнс предложил нам «пакет» из трех вопросов, связав в одно целое репарации, установление западной границы Польши и прием в Организацию Объединенных Наций бывших сателлитов Германии. Я не вижу связи между этими вопросами и предупреждаю, что наша делегация будет голосовать по каждому из них отдельно.

Наступило молчание. Все почувствовали, что «круг» замкнулся.

Наконец Бирнс, пошептавшись с Трумэном, не очень уверенно объявил:

— Если генералиссимус согласится снять четвертый пункт своих предложений относительно заграничных инвестиций, то американская делегация готова принять все остальное, на чем он настаивает.

Сталин задумался. Он понимал, какие у Советского Союза могут возникнуть трудности при определении суммы этих инвестиций, как непросто распутать паутину переплетений между западными банками. И, кроме того, на компромисс американцев относительно Польши надо было тоже ответить каким-то компромиссом.

— Хорошо,— сказал он,— мы снимаем пункт четвертый.

Трумэн облегченно вздохнул и объявил, что теперь надо решить польский вопрос.

— Ну, на нем мы долго не задержимся,— предсказал Бирнс как нечто само собой разумеющееся.— Вчера мы передали советской делегации наши предложения. Если есть по ним замечания или поправки, мы готовы выслушать.

И тут произошло то, чего меньше всего ожидал Сталин.

— Насколько я понимаю,— сказал Бевин,— мой американский коллега вносит предложение о признании польских границ по Одеру и Западной Нейсе. Но британское правительство придерживается на этот счет иной точки зрения. У нас есть точная инструкция настаивать на границе по Восточной Нейсе.

«Что все это значит? — задавал себе вопрос Сталин. — Ведь Бирнс заявил вчера Молотову, что англичан он «берет на себя», и высказал уверенность, что с их стороны никаких возражений не будет! Неужто американцы пошли на вульгарный трюк и вместо того, чтобы «уговорить» англичан согласиться с законными требованиями Польши, договорились с ними о совершенно противоположном?»

Заметив, с какой неприязнью смотрели сейчас на Бевина и Бирнс и сам Трумэн, Сталин не мог решить, что же здесь происходит: разыгрывается примитивная комедия или в самом деле английская делегация перестает быть послушной американцам? В действительности же все оказалось проще и мельче.

Честолюбивый английский министр давно выжидал и наконец дождался подходящего, с его точки зрения, момента, чтобы появиться на авансцене Конференции. Он ринулся в бой, совершенно уверенный в том, что Эттли его не осудит, поскольку сам является противником удовлетворения польских требований. Да и американцев Бевин в данном случае не слишком боялся: ведь их уступка Сталину вынужденная. Значит, его, Бевина, «своеволие» в конце концов играет им на руку.

Но Бевин опять не учел того, что он не Черчилль. Если почтенному тори американцы хоть и с трудом, но все же прощали экстравагантные выходки, то по-

зволять нечто подобное профсоюзному выскочке они не собирались.

Пользуясь возникшим замешательством, английский министр продолжал, с каждой фразой возвышая голос:

— Кроме того, я хочу получить некоторые разъяснения. Перейдет ли вся территория, вплоть до Западной Нейсе, в руки польского правительства? Есть ли здесь прямая аналогия с другими зонами оккупации? Будут ли отведены из этой зоны советские войска, когда ее примет Польша? Я встречался с поляками и выспрашивал, согласуются ли будущие их намерения с Ялтинской декларацией? Проведут ли они свободные и беспрепятственные выборы на основе тайного голосования? Будут ли допущены в Польшу иностранные корреспонденты?

— И что же вам ответили поляки? — не скрывая насмешки, спросил Сталин.

— Ну, они, конечно, дали мне заверения, что все произойдет именно так, включая свободу религии.

Всем стало ясно, что своим выступлением Бевин возвращал Конференцию назад, к уже решенным вопросам. Он и сам почувствовал, что тщетно пытается остановить поезд, приближающийся к конечной станции, что демаршем своим вызывает общее раздражение и тем самым объединяет против себя американцев и русских. Не переводя стрелки, Бевин попытался перескочить на другие рельсы, параллельные. Уже не касаясь вопроса о западной границе Польши, обратился непосредственно к Сталину относительно установления воздушной линии связи между Варшавой, Берлином и Лондоном.

— С поляками нам не удалось договориться об этом,— добавил он.

— Почему? — вроде бы участливо спросил Сталин.

— Я понял их так,— ответил Бевин,— что этот вопрос касается советского военного командования! Ведь нам придется лететь через русскую зону оккупации.

— Но вы и теперь, летая в Берлин, пересекаете русскую зону,— напомнил Сталин. — Как же иначе вы попадаете в Берлин?

— Я ставлю вопрос конкретнее,— раздраженно заявил Бевин. — Согласны ли вы с тем, чтобы мы летали до Варшавы?

— Мы согласимся на это в тот же самый день, когда нам разрешат летать в Лондон через Францию,— вызывая общий смех, ответил Сталин. И видя, как надулся при этом Бевин, примирительно пообещал: — Так или иначе я постараюсь сделать все от меня зависящее.

— Спасибо,— буркнул Бевин, сознавая, что попытка устроить себе бенефис сорвана.

— Можно наконец считать, что мы кончили с польским вопросом? — предостерегающе глядя на англичан, спросил Трумэн.

Сталин понял, что победа достигнута и сейчас будет закреплена. Тем не менее ему хотелось зафиксировать, что достигнута она единогласно. Поэтому спросил:

— Английская делегация согласна?

— Согласна,— обреченно ответил Бевин и махнул рукой.

Он понимал, что против объединенного фронта своих заокеанских коллег и русских ему не устоять, тем более что его шеф, этот бесцветный Эттли, не оказывает ни малейшей поддержки — сидит нахохлившись и молчит. А Эттли давно почувствовал, что Бевин затронул престиж американцев, которые хотят, чтобы Британия всегда покорно следовала в их фарватере. Если уж суждено английской делегации терпеть здесь одно поражение за другим, то пусть это примет на себя Бевин. Ему, Эттли, неразумно вмешиваться в обреченное дело.

...Какое-то время одиннадцатое заседание «Большой тройки» катилось вперед как бы по укатанной дороге. Относительно легко стороны пришли к согласию о допуске в ООН бывших сателлитов Германии. Таким образом, «пакет», предложенный Бирнсом, был принят целиком, хотя вопреки американским намерениям не оптом, а в розницу, и с весьма существенными поправками в пользу Советского Союза.

Но Сталин считал, что Конференция еще не достигла своей конечной цели. Эта цель — демилитаризованная, демократическая Германия. Наступила пора от общих пожеланий перейти к практическим шагам в этом направлении. Он начал с Рура.

Его предложение о создании для Рура специального Контрольного Совета из представителей СССР, США, Англии и Франции не прошло: англичане заявили, что решать сейчас рурский вопрос без участия французов было бы неправильно, и высказались за передачу его на рассмотрение ранее утвержденного Совета министров, которому предстояло собраться месяц спустя в Лондоне. Сталин согласился с этим. Для него было главным то, что возникшая еще на Тегеранской конференции мысль о выделении Рура из состава Германии, опять-таки тесно связанная с идеей ее расчленения, не получила здесь дальнейшего развития. Более того, Сталин добился от Трумэна недвусмысленного заявления:

— Рурская область является частью Германии и остается частью Германии.

Без существенных трений тут же были решены или переданы на рассмотрение министров вопросы, связанные с перемещением немецкого населения из Польши и Чехословакии, о германском флоте, о требовании правительства Югославии отменить на территории Триест-Истрия итальянские фашистские законы.

Завершающим оказался вопрос о военных преступниках. Сталин настаивал, чтобы в решении Конференции главные военные преступники, подлежащие суду, были названы поименно. Эттли высказался в том смысле, что это прерогатива прокурора.

— Кроме того,— заявил он,— я, например, считаю, что Гитлер жив, а в списке, предлагаемом советской делегацией, его имени нет.

— Гитлера, к сожалению, нет в наших руках,— пояснил Сталин и добавил под общий смех: — Я со-

гласен, однако, внести в предлагаемый список и его.

В конце концов решено было предоставить англичанам возможность переговорить с находившимся уже в Лондоне американцем Джексоном, которому предстояло возглавить международный суд над главными военными преступниками, и лишь после того окончательно решить этот в принципе согласованный вопрос.

Перед тем как закрыть одиннадцатое заседание, Трумэн спросил: может ли он сообщить все еще находящимся в Бабельсберге полякам, что вопрос о западной границе Польши решен?

Сталину хотелось ответить: «Да, конечно, если это польстит вашему тщеславию. Поляки все равно знают, кому они обязаны своей новой границей!» Но вслух он сказал всего одно слово:

— Хорошо.

Трумэн уже задним числом повторил свой вопрос в более демократичной форме:

— Кому можно поручить сделать это сообщение?

Сталин пожал плечами и равнодушно ответил:

— Можно поручить министрам или послать письменное сообщение. А можно попросить президента сделать это, поскольку он возглавляет нашу Конференцию.

Трудно сказать, уловил ли Трумэн скрытое за внешним безразличием такого ответа злорадство: пусть, мол, тот самый человек, который все время был противником установления польской границы по Одеру — Западной Нейсе, лично объявит о своем поражении.

Двенадцатое заседание было решено начать завтра в четыре.

Когда все уже встали, Сталин сказал:

— Завтра придется, пожалуй, собраться два раза: в три дня и в восемь вечера. Если есть желание завтра же закончить Конференцию.

«Если есть желание!» — мысленно повторил Трумэн, и перед его глазами встала готовая к отплытию «Августа».

— Да, конечно! — не скрывая своего удовлетворения, согласился он.

Охотно согласились и англичане: их тоже ждали неотложные дела в Лондоне.

Глава двадцать пятая
ДЕНЬ НАДЕЖД И СОМНЕНИЙ

Каким он был, этот знаменательный день, 1 августа 1945 года? Так ли, как и в другие дни, светило солнце? По-прежнему ли щебетали птицы в густой листве, окружавшей особняки Бабельсберга? Так ли, как и в первый день Конференции, три кольца пограничников охраняли безопасность временных обитателей этого потсдамского дачного пригорода? Опущены ли были шлагбаумы, разделявшие поселок на три сектора? Мчались ли уже с утра машины, завывали ль сирены очередной американской «свадьбы»? Можно ли было вообще по каким-либо особым признакам отличить этот день от пятнадцати предшествовавших ему?..

Протянулась длинная вереница лет. Разве все вспомнишь сейчас?

Существует несбыточная, но постоянно влекущая к себе мечта о фантастической «машине времени», на которой можно было бы обогнать десятилетия, века, тысячелетия, заглянуть в будущее и не только предположить, «что день грядущий мне готовит», но и воочию увидеть это грядущее. А мне сейчас — да и не только сейчас — милее другая, не менее фантастическая мечта: вернуть бы время, все то, что я прожил.

Нет, не для того, чтобы возвратить себе молодость, подобно легкомысленному Фаусту. Молодость преходяща — сам не заметишь, как снова окажешься на том же рубеже, с которого начал путешествие в глубь времен. Просто хочется снова увидеть то, что было так мило когда-то, так дорого. Вернуть не только воспоминания, но и ощущения, о которых Хемингуэй сказал, что именно их-то вернуть невозможно.

Не знаю... может быть... Но когда я смотрю кинокартины, виденные в детстве, в юности, мне, кажется, удается иногда вернуть ощущения того времени. Я ловлю себя на том, что не слежу за сюжетом, за игрой актеров, а заинтересованно изучаю те улицы, те дома, которые помню с детства, лица людей, их прически, одежду.

Зачем мне все это? К чему? В какой-то подсознательный укор настоящему или даже будущему?

Нет, нет, какая чепуха! Разве потом не стало все лучше? И дома, и одежда, и мчащиеся по улицам автомашины, и сами улицы? Все лучше! Даже в страшные годы войны проявилось все лучшее, что до нее таилось в глубине наших душ...

Нет, мне дорого прошлое не само по себе. Ведь тому же Хемингуэю принадлежат мудрые слова о том, что даже пишется лучше всего там и тогда, где и когда мы сами «бывали лучше»...

Воздушный шар, на котором трое бесстрашных людей пытались пробиться в стратосферу,— детская игрушка по сравнению с сегодняшними космическими кораблями. Перелет Чкалова тоже элементарен по сравнению с рейсами нынешних воздушных лайнеров, ежедневно пересекающих моря, океаны, пустыни,— на одном из них летает вторым пилотом мой сын, а кто, кроме нашей семьи, да еще, может быть, нескольких десятков людей, знает его имя?..

Конечно, нынешнее — лучше!

И все же мне часто хочется вернуть прошлое. Не «насовсем», нет, только на час, на мгновение! Еще раз — в первый раз! — встретить ту, которую полюбил. Пройтись по улице, такой, какой она была раньше. Постоять на углу, на перекрестке, посидеть на скамье в парке, где сидел когда-то. Увидеть молодыми моих давних друзей...

Сейчас я вспоминаю Потсдам. Как нелегко вспомнить все, что у меня связано с ним! Ведь целых тридцать лет прошло с тех пор, бурных, насыщенных

мировыми событиями. Почему человеческая память так несовершенна?

И все же я вспомню. Я заставлю свою стареющую память восстановить все, что произошло в тот, ныне уже окутанный туманом Истории день — 1 августа 1945 года!

Пусть все то, что я видел, что пережил, что услышал сам лично, будучи в Бабельсберге, и то, что узнал гораздо позже, когда уже получил возможность прочесть протокольные записи заседаний Потсдамской (тогда и еще некоторое время спустя она называлась Берлинской) конференции, книги о ней — советские и иностранные,— все, что в последующие годы узнавал от людей, которым довелось быть участниками или хотя бы только молчаливыми очевидцами того, что происходило в Цецилиенхофе,— пусть все это переплелось в моей памяти, переплелось настолько, что мне уже трудно отделить одно от другого, лично пережитое от заимствованного, отсечь главное от второстепенного, но я должен, обязательно должен вспомнить, как начался и как закончился тот знаменательный день!

Чем было разбужено во мне это неукротимое желание? Что гнало, что подхлестывало мою память? Стремление перекинуть незримый мост от Потсдама в сегодняшние Хельсинки? Внутренняя потребность восстановить правду? Ярость, которую разбудила во мне книжка Брайта?..

Я сидел в маленьком номере хельсинкской гостиницы «Теле» и, хотя надвигалась ночь, решил во что бы то ни стало дочитать эту подлую книжонку. Завтра у меня не будет времени для нее. Завтра произойдет событие, ожиданием которого живут миллионы людей на земле. Великое событие, очевидцем которого мне предстоит стать и которое, если мне суждено прожить еще хотя бы десяток лет, я наверняка буду вспоминать с теми же чувствами, которые владеют мною сейчас, когда я размышляю о Потсдаме...

Последняя главка сочинения Брайта называется «Сделка не состоялась». Я сразу понял, что речь здесь пойдет об окончании Конференции, завершающем ее дне — 1 августа 1945 года.

«Эта дата,— писал Брайт,— войдет в историю как день победы демократии над тиранией. Запад торжествовал. Сталину не удалось «купить» себе победу. В данном случае его танки были бессильны. России снова предстояло оставаться во мгле».

Нет! — сказал я себе, машинально опуская книжонку Брайта на колени и поднимая голову. Передо мной была стена, обычная, окрашенная светло-желтой клеевой краской, стена недорогого гостиничного номера. Но я хотел проникнуть своим взглядом сквозь эту стену и дальше, дальше, сквозь все то, что было там, за ней, сквозь наслоения лет, событий, вернуть себе молодость лишь ненадолго и с единственной целью — вырвать из бездонных глубин памяти тот день, вспомнить, как все это было.

И мне почудилось, что стена, в которую уперся мой взгляд, постепенно превращается в огромный киноэкран, а на нем появляются люди, мелькают события. Мчатся одно за другим, но не вперед, а назад... Умершие — оживают, на лицах, поныне живых, но уже невозвратимо постаревших, каким-то чудом разглаживаются морщины... Вот проследовал поезд в Германию, и я увидел в купе одного из вагонов самого себя и молодых офицеров — моих спутников... Вот развалины Берлина встали передо мной. Потом я увидел генерала Карпова, которого, наверное, уже нет в живых... Потсдам, Бабельсберг, Берлин, аэропорт Гатов... Из самолета выходит Черчилль со стеком в руке и с сигарой в зубах... Различаю каждую крапинку на галстуке-бабочке Трумэна... Вижу Сталина и слышу его суровый вопрос: «Я спрашиваю, что вы делаете в Потсдаме?..» А потом... та телеграмма!..

Помню, помню, помню! — торжествующе твердил я про себя. — Все, что произошло в течение тех двух недель и тот, завершающий день 1 августа,— все помню!..

...1 августа рано утром меня разбудил стук в дверь. Я мельком взглянул на часы — они показывали четверть девятого. Так как дверь была не заперта, я, не вставая, крикнул:

— Входите!

На пороге стоял Герасимов. Своей обычной, иронической скороговоркой он сказал:

— Смотрите не проспите царствие небесное! Вы, кажется, забыли, что на сегодня назначена съемка!

Как был, в одних трусах, я вскочил с кровати и воскликнул:

— Уже сейчас?

— А вы уже готовы к действию? — усмехнулся Герасимов. — Не в таком ли виде собираетесь мчаться в Цецилиенхоф? Не сомневаюсь, это произвело бы мировую сенсацию. — Он насмешливым взглядом окинул меня с ног до головы и уже серьезно сказал: — Съемка назначена на три часа. Сообщаю заранее, а то вы можете умчаться куда-нибудь на своих четырех колесах.

— Спасибо, большое спасибо! — от всей души поблагодарил я Герасимова. И, пытаясь сообразить «что к чему», неуверенно не то спросил его, не то высказал собственное предположение: — Значит... Конференция заканчивается?

— Спросите что-нибудь полегче! — откликнулся на это Герасимов и, повернувшись, ушел.

Бритье, умывание, одевание — все это заняло у меня, наверное, считанные минуты. Как в армии при подъеме «по тревоге». Впрочем, поднятому «по тревоге» бриться и даже умываться некогда...

Куда я торопился? Зачем? Времени впереди было еще уйма. Но мне не терпелось узнать хоть какие-нибудь подробности о предстоящей съемке, вернее, о том, с чем она связана.

Нет, это не случайная, не «проходная» съемка! — твердил я себе. Таких в Бабельсберге вообще не бывало. Мы снимали Сталина, когда он прибыл сюда. Снимали «Большую тройку» в день открытия Конференции. И вот теперь, по прошествии двух не-

дель назначена новая съемка? Что она может означать, что символизировать?

Царившая в Бабельсберге, очевидно, необходимая, но несносная для журналистов обстановка строгой секретности ничуть не изменилась и в тот день. Мне не удалось выведать никаких подробностей ни в столовой во время завтрака, ни в советской протокольной части. Ничего, кроме того, о чем я уже знал,— то есть о времени и месте съемки.

Мой водитель, старшина Гвоздков, обычно «подавал» свою «эмку» к «дому киношников» ровно в десять. Может быть, следует съездить в Берлин, размышлял я, пообщаться с западными журналистами? По каким-то своим каналам они иногда узнают новости первыми и притом вовсе не считают обязательным держать язык за зубами. «Нет,— сказал я себе,— это ни к чему». Мне уже не раз приходилось убеждаться, чего стоят их «сенсации».

Лучше уж наведаться в бюро информации, к Тугаринову. Да, конечно, туда, в Карлсхорст! Осведомление советских журналистов о ходе Конференции прямо входит в круг деятельности этого бюро! Я посмотрел на часы. Начало десятого. В десять я выеду. К двум, то есть за час до съемки, надо вернуться обратно. Значит, в моем распоряжении целых четыре часа. За глаза хватит!..

В считанные минуты Гвоздков промчал меня через Потсдам. Вот уже и Шопенгауэрштрассе. Хотя мысли мои были заняты совсем другим, я не мог не бросить взгляда на дом Вольфов. То, что он попрежнему необитаем, я определил по наглухо закрытым окнам, во всех других домах они были широко распахнуты, потому что стояла изнуряющая жара.

— Значит, кончаем, товарищ майор? — неожиданно спросил меня Гвоздков.

— Про что ты, Алексей Петрович? — рассеянно спросил я. — В каком смысле: «Кончаем»?

— В самом прямом, товарищ майор. Кончает наше начальство с ихним совещаться! Не сегодня завтра по домам!

Я резко повернулся к нему:

— Кто тебе это сказал?

— Эх, товарищ майор,— с добродушной укоризной произнес Гвоздков,— вы ж ведь фронтовик бывший! Разве забыли, что для шоферов тайн не существует.

— Самоуверенный ты человек, Алексей Петрович! — попенял я.

— Вот уж нет! — возразил Гвоздков. — О себе я понимаю не больше, чем следует. И свое место знаю! Но котелок-то все же варит. Если команда есть готовить легковушки к погрузке на платформы, значит, можно сообразить что к чему! Да я и сам эти платформы видел. На путях стоят. Раньше их не было, а теперь стоят, появились. Спросил солдат, которые при платформах: надолго, мол, прибыли? «Нет,— отвечают,— не надолго. Наверное, не завтра, так послезавтра «нах хаузе».

— Что ж, тем лучше,— неопределенно сказал я. И не без иронии спросил: — Может, ты знаешь и то, чем закончилась Конференция?

— Это уж вам полагается знать, товарищ майор, а мне у вас — спрашивать,— отпарировал Гвоздков.

— К сожалению,— признался я,— ничего определенного сказать тебе не могу. — Не информировали еще нас. Больше предполагаю, чем знаю наверняка. Знаю, например, что нашей делегации удалось отстоять свободу на устройство своей жизни для стран Восточной Европы. Ну, для Болгарии, Венгрии, Румынии. О границах Польши договорились, кажется. Помнишь, как мы до сорок первого пели? «Если завтра война, если завтра в поход»... А теперь, думаю, есть все основания петь «Любимый город может спать спокойно...».

— Так мы и эту песню до войны распевали,— напомнил Гвоздков,— а вышло-то... Может, и сейчас еще подождать успокаиваться, а? Впрочем, теперь все знают, что сдачи давать умеем.

И чуть помолчав, продолжал раздумчиво:

— В Болгарии бывал... И в Венгрии тоже. Помню, как встречали нас там. На всю жизнь запомнил, как цветы на броню наших танков бросали, как плакали люди от радости... Ну, а с фрицами, как будет... с немцами, то есть? — поспешно поправился Гвоздков.

— Этого пока точно не знаю,— ответил я.— Впрочем, знаю то же, что и ты: ни уничтожать, ни расчленять Германию не собираемся. Сталин ведь это сказал.

Знал я и еще кое-что, сказанное тоже Сталиным. Вспомнил его вопрос, обращенный ко мне, и его же ответ: «...Значит, две души у Германии? Мы делаем ставку на ту, которая хочет мирно трудиться. На эту ее душу. Другие — на другую...»

Но я не посмел ссылаться на свою встречу со Сталиным... Нет, меня никто не предупреждал, что должен держать ее в секрете. Только так уж повелось, так мы были воспитаны: никаких вольностей, когда дело касается Сталина, любое его высказывание воспроизводить слово в слово по печатным текстам.

И, кроме того, коснись я разговора со Сталиным, пришлось бы, наверное, сказать и о его критических замечаниях насчет союзников. А мне уже достаточно влетело за то, что я задел Черчилля на той чертовой «пресс-конференции» у Стюарта. Век не забуду. Хватит!..

— Уничтожать зачем же? — услышал я голос Гвоздкова,— это они хотели нас уничтожить, на то они и фашисты... Только бы вырвать змеиное жало у тех, у кого оно еще осталось. А весь народ обижать зачем же? Среди него и коммунисты есть, и просто люди порядочные. Работать их надо заставить. Пахать, сеять, школы строить, больницы, ребятишек своих воспитывать. Когда человек честным делом занят, он на разбой не пойдет.

— Заставлять не придется,— сказал я. — Очень многие немцы сами хотят честно трудиться.

— А которые на трамвай тот плакат повесили?.. Они чего «хотят»? — с затаенной злостью спросил Гвоздков.

— Тот плакат, Алексей Петрович, повесили не немцы.

— А кто же?

— Американцы.

— Ах, вон оно что! Они, что же? Германию на нас натравить хотят?..

Мы мчались по хорошо знакомому мне маршруту. Миновали американскую зону, въехали в советскую. Глядя из машины, я отмечал, что на улицах меньше стало завалов, больше появилось занавесок на окнах сохранившихся домов, тщательно расчищены тротуары перед подъездами. Словом, все говорило о том, что Берлин постепенно оживает. В Советской зоне этот процесс шел заметно активнее. Здесь тоже еще преобладали руины, но все, что поддавалось ремонту, либо было уже отремонтировано, либо ремонтировалось.

В Карлсхорсте я раздобыл не так уж много нового. Да, Конференция близится к концу, но когда именно закончится, неизвестно. Да, по ряду вопросов союзники пришли к соглашению,— мне назвали некоторые из этих вопросов, но строго-настрого предупредили, что писать об этом еще рано. Как только Конференция закроется, журналисты будут информированы о всех ее решениях.

На обратном пути у меня снова появилась мысль заехать в пресс-клуб, и опять я тут же отбросил ее. Очевидно, потому, что подсознательно остерегался, как бы там меня не огорошили каким-нибудь неприятным известием. А мне хотелось верить в успех Конференции, и я верил в него. Верил, несмотря на оголтелую антисоветскую кампанию западных газет, на необъяснимый двухдневный перерыв между десятым и одиннадцатым заседаниями «Большой тройки». Несмотря ни на что верил!

Чем поддерживалась во мне эта вера? Твердо запомнившимися словами Сталина о том, что мы приехали сюда, «чтобы установить мирные, добрососедские отношения с союзниками»? Или разговором с Карповым? Ему я рассказал, как истолковали западные журналисты внезапную отмену очередного заседания Конференции, и генерал убедил меня тогда, что они, равно как и их газеты, нагло врут, что перерыв произошел по взаимной договоренности участников Конференции, чтобы каждый из них имел возможность чуточку отдохнуть (о недомогании Сталина я узнал гораздо позже, уже несколько лет спустя). Наконец, пусть скудная, лаконичная, но все же имеющая прямое отношение к ходу Конференции информация, которую я получал в Карлсхорсте, тоже убеждала, что переговоры «Большой тройки» продвигаются вперед шаг за шагом. Иногда топчась на месте, но все же продвигаются, преодолевают ступень за ступенью по лестнице, ведущей к взаимному согласию.

Да, я верил в успех. И, может быть, главным, еще до конца не осознанным основанием для этой веры служила моя глубокая убежденность, что мы не хотим ничего, кроме мира и торжества справедливости.

Когда я вернулся в Бабельсберг, было уже начало первого. Здесь, как всегда неожиданно, в мою комнатенку на верхотуре «киношного дома» заглянул всеведущий фотокорреспондент Дупак. Не знаю почему, он давно, но безуспешно пытается «вытащить меня» в расположенный неподалеку фронтовой госпиталь, где можно и «спиртяги хлебнуть, и на девочек посмотреть, а уж дальше — как повезет». Иногда Дупак снабжал меня кое-какой информацией, которая, к слову сказать, как правило, не получала подтверждения. Но готовность Дупака отвечать на любой вопрос, понижая при этом голос и приближаясь к собеседнику вплотную, почти касаясь его животом,— словом, так, как поступают в плохих кинокартинах плохие актеры, изображая шпионов, заговорщиков, жуликов или, наоборот, их преследователей,— такая готовность в обстановке здешней всеобщей секретности всегда побуждала меня о чем-то спросить этого всезнайку. Вот и на этот раз я не выдержал:

— Слушай, что бы это все-таки могло значить?

— Ты про что?

— О, господи! Ну, про сегодняшнюю съемку. Почему именно сегодня?

— Не понимаешь?! — хитро прищурился Дупак.— Ну, разведчик из тебя не вышел бы.

Я уже рассказывал, что сам Дупак очень старался походить на разведчика. Когда бы и где бы судьба ни сводила нас еще во время войны, он выглядел именно так, как самый разудалый сорвиголова из полковой разведки: верхние пуговицы гимнастерки вопреки уставу расстегнуты, на поясе — нож с замысловато инкрустированной плексигласовой ручкой, голенища хромовых сапог сдвинуты чуть ли не до щиколоток, напоминая мехи гармошки, в зубах — самокрутка, пилотка или ушанка сдвинута на самую макушку...

Справедливости ради должен отметить, что Дупак был смелым парнем. Он не раз со своей неразлучной камерой появлялся в боевых порядках атакующей пехоты, а потом, правда, трепался, что пробился даже в тылы противника, сфотографировал там какие-то укрепления, только вот фото показать не может, потому что сдал всю пленку в разведотдел.

— ...Куда мне в разведчики,— скромно ответил я, «подыгрывая» Дупаку. — Обделила меня природа такими данными, какими с лихвой одарила тебя.

Лицо Дупака расплылось в самодовольной улыбке.

— Так спрашиваешь, почему именно сегодня назначена кинофотосъемка? — переспросил он. — Это ж и ежу понятно — Конференция закончилась!

— Закончилась?! — со смешанным чувством радости и тревоги воскликнул я. — Кто тебе это сказал?!

— Источники информации оглашению не подлежат,— не то в шутку, не то всерьез ответил Дупак.— Да тут и самому нетрудно догадаться. Покрути шариками! — И он, поднеся указательный палец к виску, делая им вращательные движения, показал, как именно надо «крутить шариками». — Когда была

первая съемка и допуск в зал заседаний? Когда Конференция началась. Почему то же самое произойдет сегодня? Потому что она закончилась. Логика!

— Ну, а каковы результаты? — растерянно пробормотал я. — Почему нет никакого сообщения, заявления, коммюнике?

— Это меня интересует меньше. Писанина — по твоей части. Для меня важно лишь то, что можно снять, проявить и отпечатать. Эх, уж и поснимаю я сегодня! — торжествовал он.

— И все-таки не может быть, что Конференция уже закончилась! — убежденно возразил я.— В Карлсхорсте мне бы сказали...

— Черта с два они тебе скажут! — хитро подмигнул Дупак. — Ты что, не знаешь разве, как у нас заведено? Получат команду сообщить, тогда и сообщат. В лучшем случае на другой день после события... Словом, можешь складывать вещички, это я тебе говорю!

То, что говорил Дупак, мгновенно переплелось с догадками, высказанными моим водителем Гвоздковым. «А может быть, и в самом деле Конференция уже закончилась?» — подумал я.

— Послушай,— морща лоб, продолжал Дупак,— а зачем я к тебе пришел?

— Наверное, напомнить, чтобы я захватил побольше пленки. Спасибо тебе.

— Да нет!.. Что-то другое... О! Вспомнил — телеграмма! Я только что в «Протокол» заскочил еще раз время съемки уточнить, а там тебя разыскивают, чтобы телеграмму вручить.

— Пойду возьму,— сказал я, уже направляясь к двери, пытаясь сообразить, каким новым заданием огорошит меня родное Совинформбюро.

— Не надо тебе никуда ходить! — остановил меня Дупак. — У меня эта телеграмма! Под честное слово взял, пообещав найти тебя немедленно.

Он засунул руки в оба кармана брюк, пошарил там и растерянно посмотрел на меня. Потом, осененный догадкой, стукнул себя ладонью по лбу, расстегнул свой неизменный планшет и вынул оттуда сложенный вчетверо и склеенный телеграфный бланк.

— На, держи!

Я схватил телеграмму, распечатал ее. Там было всего пять слов:

«ВЕРНУЛАСЬ ЖДУ ЛЮБЛЮ ЦЕЛУЮ МАРИЯ»

Сколько времени я стоял ошеломленный? Секунду? Десять? Минуту? Зачем-то сжал телеграмму в кулаке, будто опасаясь, что кто-нибудь может вырвать ее у меня. И тогда счастье исчезнет, разрушится, не будет никакой телеграммы. Мне объяснят, что она только привиделась, существовала лишь в моих мечтах...

Это полубредовое состояние прошло, когда я заметил, что Дупак удивленно глядит на меня. Не говоря ни слова, я подскочил к нему, обнял и крепко прижал к груди...

— Ну, что, что? — бормотал он, смущенный моим неожиданным порывом. — Насчет Конференции, да? Прав я был?.. Да полегче, ты мне шею свернешь! Что там у тебя в телеграмме? Благодарность?

— Тебе, тебе благодарность, дорогой ты мой человек,— бессвязно лепетал я, чувствуя, что еще мгновение, и на глазах моих появятся слезы радости.

И Дупак, которого я всегда считал лишенным всякой интуиции, неспособным постигать чьи-либо чувства, на этот раз понял, что ни о чем не надо меня расспрашивать.

— Ну... я пошел,— тихо проговорил он. — Скоро увидимся. — Дупак посмотрел на часы и добавил: — Через час.

Я остался один. Бережно расправил телеграмму,— как я мог так безобразно, так грубо смять это сокровище! Перечитал еще раз, потом еще и еще...

Людям иногда задают вопрос: вы счастливы? Многие отвечают на него так: «Смотря что называть счастьем».

Если бы в тот момент кто-нибудь задал подобный вопрос мне, я бы ответил не задумываясь: счастлив безмерно!

Боже мой, четыре года разлуки!.. Я думал о Марии, мечтал о ней все это время. Даже тогда, когда в ушах моих посвистывали пули, когда лежал под броней танка, оглушенный воем пикирующих одни за другим вражеских самолетов и ударами пуль о броню, похожими на работу десятка пневматических молотов. Я боялся при этом не того, что погибну, а того, что никогда уже не увижу Марию... И в короткие промежутки фронтового затишья меня не оставляли тревожные мысли: все мерещилось, что госпиталь или санбат, в котором служила Мария, тоже подвергся бомбардировке или артиллерийскому обстрелу. Сколько раз в «дивизионке» и в армейской газете писалось о том, что фашистская авиация, несмотря на хорошо всем известные опознавательные знаки — красные кресты,— безжалостно бомбит и госпитали и санбаты, добивая там наших раненых бойцов. А разве бомба или снаряд способны отличать солдата от санитарки, от фельдшера или врача?..

«Вернулась... вернулась... ждет!» — ликовал я теперь, на какие-то минуты забыв, что сам-то я все еще остаюсь на военной службе, мне поручено важное дело и уехать отсюда можно будет, только завершив его, только по приказу.

Но когда, когда это будет?!

И вдруг я поверил в то, о чем говорил старшина Гвоздков, в чем только что убеждал меня Дупак: конечно же, Конференция уже закончилась, сегодняшняя съемка заключительная. Потом будет опубликовано коммюнике. Не заставят же меня дожидаться его здесь, в Германии,— это бессмысленно! Итоговый документ я смогу прочитать и в Москве. И если потребуется, там же, у себя на Болотной, напишу необходимый комментарий. Так что, может быть, уже сегодня вечером или завтра — самое позднее завтра! — получу телеграмму с вызовом. За подписью Лозовского или кого-нибудь из его заместителей. А сейчас... сейчас немедленно на телеграф, сообщить Марии, что я рад, счастлив, что так

же, как и она, нестерпимо жду встречи и наверняка в ближайшие два-три дня уже буду в Москве.

Частные телеграммы принимают здесь крайне неохотно: телеграф загружен сообщениями государственной важности. Впрочем, я знал об этом только понаслышке, самому мне никаких личных телеграмм посылать еще не приходилось. Но я упрошу, умолю девушек-связисток. Могу даже показать им телеграмму Марии. Они поймут меня, ведь их тоже наверняка кто-то где-то ждет.

...Когда я подал заполненный мною телеграфный бланк девушке-экспедиторше, через которую обычно отправлял срочные корреспонденции в Совинформбюро, она, как мне показалось, долго читала и перечитывала текст, хотя в нем было всего несколько слов. Будто хотела понять, не шифр ли это. Неужели серьезному человеку могла прийти в голову глупая мысль — использовать военный узел связи для сугубо личных целей? Я уже подыскивал слова, которые должны были бы смягчить эту суровую девушку.

Но вот она подняла голову, и я увидел, что большие светлые глаза ее полны слез. Тихо, в каком-то трансе сказала:

— Вернулась, значит?.. А ко мне уже никто не вернется. Убит мой Коля. Под Смоленском еще погиб...

Потом, будто очнулась, посмотрела на часы и сухо сообщила:

— Принято в тринадцать сорок. Приняла Балабанова.

— Спасибо,— поблагодарил я. — Большое спасибо... И... простите меня!

Она не спросила «за что». За частную телеграмму? Или за то, что погиб ее Коля, а моя Мария жива?..

Без четверти три я уже стоял в хорошо знакомой мне толпе журналистов, расположившейся полукругом, в центре которого алела огромная пятиконечная звезда, выложенная из каких-то неведомых мне цветов. Чуть в стороне от нее стояли три плетеных кресла, подлокотники которых заканчивались белыми,— теперь, после наших усилий, ослепительно белыми! — шарами.

Кресла были пока пусты. Дверь центрального подъезда закрыта. В залитом солнцем парке, казалось, даже птицы замерли. Только одинокий, неугомонный дятел отстукивал секунды Истории...

В карманах моего пиджака лежали блокнот и два остро отточенных карандаша, а в брючных — несколько запасных катушек фотопленки. На груди болтался на ремешке «ФЭД», которым я пользовался довольно редко и считал его скорее «пропуском» в Бабельсберг, чем «орудием производства». Но сегодня я решил использовать фотоаппарат на «все сто», израсходовать всю пленку, учитывая, что часть отснятых кадров окажется засвеченной при перезарядке.

Я не задавал себе вопроса: зачем мне столько фотоснимков? Они же не понадобятся ни одной газете, ни одному журналу. Советскую периодику обеспечит фотохроника ТАСС, ее корреспонденты наверняка здесь присутствуют. А западную... Ну, уж она-то в моих «фотоуслугах» совсем не нуждается!

Да разве в этом суть? Мне почему-то хотелось одарить своими снимками всех: себя до конца моей жизни, Марию, сына или дочь — дети у нас наверняка будут,— друзей, знакомых и даже незнакомых... Ведь когда-нибудь эти снимки станут историческими реликвиями. Когда-нибудь, спустя много-много лет, они уподобятся библейским легендам или, наоборот, будут опровергать всяческие легенды, станут бесценными свидетельствами очевидца, присутствовавшего при сотворении мира. Приобщат потомков наших к давно минувшим дням, когда еще израненная, еще кровоточащая Родина была снова вынуждена сражаться.

С кем? С заправилами Уолл-стрита и Пентагона, с Форт-Ноксом, в котором хранились неисчислимые золотые запасы Америки.

Да, с одной стороны Америка, сытая, самодовольная, гремящая своими джазами, несмотря на продолжающуюся войну с Японией, бесстыдно заявляющая всему миру: «Что мое — то мое, а что твое, то тоже мое!» Америка и Британия — уже не «владычица морей», уже распадающаяся, но все еще хищная, все еще опасная в своей патологической ненависти к «колыбели большевизма»...

А с другой — эта самая «колыбель» — наша Родина, потерявшая 20 миллионов своих сынов и дочерей, покрытая руинами, полуголодная...

Пусть все это останется в памяти поколений!

Надо еще раз сфотографировать замок — Цецилиенхоф. Общий вид... щелк! Толпу журналистов... щелк! Пустые кресла... щелк. Дверь, из которой появятся «Они»... щелк.

Что бы еще «щелкнуть»? Ладно, запечатлеем лица западных журналистов. Кого я тут знаю? Вон в первом ряду возится со своим «Спидом» Брайт — годится... щелк! Рядом с ним американцы, с которыми я познакомился в «Андерграунде». Запечатлеем их тоже... щелк! Вон и то лицо мне знакомо — где я его видел? По-моему, в «читалке» пресс-клуба, он попросил у меня подшивку «Таймса». Как его фамилия? Кажется, Кеннеди — херстовский журналист. Ладно, увековечу и его... щелк! Кого еще? А-а! Вон он, сукин сын, очкастый Стюарт, стоит чуть в сторонке, без фотоаппарата. Ну, конечно, разве он допустит, чтобы его приняли за мелкую «фотосошку». Черт с ним — пусть сохранится в моем фотоархиве и его портрет... щелк! Потом буду рассказывать, как эта английская «пифия» предсказывала крах Конференции...

Торопливо записываю в блокнот: на первом снимке — то-то, на втором — тот-то, на третьем... Только бы не перепутать, когда буду проявлять пленку, а затем печатать.

Посмотрел на часы. Семь минут четвертого. Ах, как медленно тянется время! Может быть, часы не в порядке? Поднес их к уху. Нет, все в порядке, идут!

И в этот момент дверь центрального входа раскрылась. Появились военные — наши, американцы,

англичане. Встали по обе стороны двери и застыли, как изваяния. Их тоже запечатлеем... щелк, щелк!..

Прошла еще минута, другая...

И вот первым выходит Трумэн, потом Сталин... А кто за ним? Ну, конечно, это Эттли!

В лица других людей я в тот момент не вглядывался. Они уже не интересовали меня. «Большая тройка» и прежде всего Сталин приковали все мое внимание.

Вот они подошли к креслам. Расселись. Трумэн — посредине, Сталин — слева, Эттли — справа. Щелк, щелк!..

И вдруг я перестал слышать щелчки, хотя палец мой конвульсивно нажимал на кнопку. Значит, пленка в фотоаппарате кончилась. Но я не мог заставить себя потратить какие-то мгновения на перезарядку, боялся, что прозеваю что-то важное. Нет, недаром многие западные журналисты были увешаны несколькими заранее заряженными фотокамерами: «отстреляют» из одной, наготове другая...

Внезапно пришла утешительная мысль: не этим мне надо заниматься сейчас! Какой фотообъектив может сравниться с человеческим глазом! И я стал пристально разглядывать сидящих и стоящих неподалеку от меня людей. Мне хотелось прочесть их мысли, по выражениям лиц угадать, закончилась ли Конференция.

...Сталин, в своем обычном светло-кремовом, почти белом кителе, сидел, скрестив ноги и свесив кисти рук с подлокотников кресла. На лице его была не то улыбка, не то усмешка... Трумэн, в темном костюме при галстуке-«бабочке», держал на коленях то ли папку, то ли просто сложенные в стопку листы бумаги. Он тоже улыбался, но в его улыбке было что-то неприятное. Может быть, плотно сжатые, тонкие губы придавали ей такой оттенок... Эттли резко подался влево, будто желал прижаться к Трумэну. Пиджак его был расстегнут, золотая цепочка пересекала жилет, из нагрудного кармана пиджака выглядывал уголок белого платка.

Лицо Эттли, впервые увиденное мной, тоже мне не понравилось: большой, переходящий в лысину лоб, редкие волосы на висках, коротко постриженные усики. Но главное для меня заключалось в другом: улыбается ли Эттли? Да, и на его некрасивом лице играла улыбка удовлетворенности. В ней я усмотрел последнее и окончательное подтверждение, что Конференция если еще не закончилась, то заканчивается вполне благополучно.

Потом я перевел взгляд на папку или стопку листов бумаги, которые держал в руках Трумэн. Черт побери! Ведь это, вероятно, заключительный документ Конференции. Разве не естественно, что Трумэн, как председатель Конференции, пришел на съемку с этим документом в руках, как бы давая всем нам понять, что «Большая тройка» приняла соответствующие решения.

Наконец, я сосредоточил свое внимание на лицах людей, выстроившихся за креслами, в которых сидели главы государств.

Молотова, стоявшего за креслом Сталина, я, конечно, узнал сразу. Лицо его было непроницаемо. Рядом с ним стоял Бирнс, сосредоточенно глядя куда-то вверх, словно принося богу свои молитвы. За креслом Эттли — насупившийся, с полным, морщинистым лицом, немолодой уже человек в очках. Это, конечно, Бевин. А кто рядом с ним, тоже пожилой, в адмиральском мундире с аксельбантом через правое плечо, с шевронами на рукаве и четырьмя рядами орденских ленточек? Позже я узнал, что это был адмирал Леги.

Между тем время съемки, по-видимому, обусловленное заранее, истекло. Сталин, Трумэн и Эттли одновременно встали и направились к двери. Остальные последовали за ними.

Я был несколько разочарован. Мне почему-то казалось, что Трумэн в заключение скажет хотя бы несколько слов или, на худой конец, слегка помашет своею папкой, символизирующей достигнутое тройственное соглашение...

Но ничего похожего не произошло. Один за другим все скрылись за дверью в полном молчании. Лишь несколько секунд спустя чей-то голос громко провозгласил по-русски, что журналисты приглашаются в зал заседаний. Затем уже другой голос повторил приглашение по-английски.

Толкаясь, отпихивая друг друга, мы ринулись к входным дверям, как стадо разъяренных быков. Но сотрудники советской, американской и английской охраны знали свое дело. Хорошо натренированными, иногда неуловимыми, а порой и открыто резкими движениями они навели порядок, образовали узкие проходы, в которые журналистам пришлось следовать в замедленном темпе и небольшими группками по пять-шесть человек.

Когда я очутился в знакомом уже мне зале, часы показывали пятнадцать минут четвертого. Подумалось: о завершении Конференции будет торжественно объявлено, конечно же, здесь. На открытом воздухе, да еще под стрекот кинокамер далеко не все могли бы расслышать голос Трумэна...

Трумэн, Сталин и Эттли встретили нас, стоя у покрытого красной скатертью стола, того самого, специально изготовленного для Конференции на московской мебельной фабрике «Люкс». Они вроде бы ждали, пока соберутся все журналисты. Снова возобновились съемки. И тут же прозвучали объявления — опять на русском и английском,— журналистов приглашали подняться на галерею. Вот теперь-то я уже окончательно уверился в том, что сейчас произойдет какой-то символический акт, знаменующий конец Конференции.

И вдруг услышал голос... не Трумэна, нет! Это был хорошо знакомый мне голос Брайта, оказавшегося за моей спиной:

— Хэлло, Майкл! Ты был прав!

Я молча отмахнулся от него. Но Чарли привык высказываться до конца:

— ...Конференция заканчивается согласием, и наши боссы спешат домой.

Этих слов я уже не мог игнорировать. Спросил не оборачиваясь:

— Откуда знаешь?

— Я только что из Гатова,— ответил Брайт.— Трумэновскую «Корову» готовят к отлету. Сам видел!..

— Ладно, тише! — прошипел я, хотя слова Брайта на этот раз доставили мне явную радость.

«Надо запомнить, запомнить все, что сейчас вижу, что услышу. Запомнить и по возможности записать!» — приказал я себе, выхватывая из кармана блокнот.

У меня и по сей день сохранились каракули этих поспешных записей, трудно поддающихся расшифровке:

«Две огр., старомод. люстры... Чет. двери в стенах... Больш. дерев. лестн. на галерею... Ниша... во всю высоту трехстворчатое окно разделен. на...»

Помнится, я пробовал сосчитать, сколько в переплете окна стекол. Досчитал, кажется, до шестидесяти четырех и бросил это бесполезное занятие. А может быть, меня сбило со счета новое громогласное объявление:

— Посещение закончено. Журналистов просят покинуть зал.

«Что? — чуть было не крикнул я. — Разве нас позвали сюда не для того, чтобы мы выслушали какое-то важное заявление?!»

Немой мой вопрос остался без ответа. Сотрудники охраны в военном и штатском стали теснить нас к выходу.

Скоро я оказался за пределами замка. Посмотрел на часы. Стрелки их близились к четырем.

— Расстаемся, приятель? — снова раздался за моей спиной голос Брайта.

Мне не хотелось сводить с ним счеты. Даже стало немного грустно при мысли, что мы расстаемся, может быть, навсегда.

— Ладно, Чарли,— сказал я,— забудем все плохое, запомним все хорошее. Счастья тебе. Тебе и Джейн. Держи пять.

— «Пять» чего? — удивился он. — Ты хочешь мне что-то дать?

— Ах ты, горе мое! — рассмеялся я. — Это такая русская присказка к рукопожатию. Пять пальцев подразумеваются.

— А-а! Тогда держи в ответ десять! — воскликнул Брайт и крепко, до боли крепко сжал обеими руками мою кисть. — Сверим время! — предложил он. — На моих, швейцарских, три минуты пятого. Уверен, что там,— Брайт махнул рукой в сторону замка,— все кончилось. Сталин тоже сказал Трумэну: «Держи пять!»

— На моих, советских, столько же,— ответил я.

— Странно, что русские не хотят, как обычно, быть впереди! — добродушно пошутил Брайт.

Но я уже не слушал его балагурства. Одна мысль владела мною: «Конференция закончилась... Свершилось!»

Однако я ошибся...

Глава двадцать шестая

...И ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ

Когда все журналисты покинули зал заседаний и закрылись все четыре двери, из которых две слева, за камином, вели в комнаты американской и английской делегаций и одна — справа — в помещение делегации советской, Трумэн объявил:

— Начнем очередное наше заседание. О предшествовавшей ему встрече министров иностранных дел доложит мистер Бирнс...

Все было так же, как вчера: в трех массивных креслах сидели главы государств, соседние кресла, менее помпезные, занимали министры, а за ними уже на обыкновенных «венских» стульях расположились эксперты. Вдоль стен — секретариаты делегаций. Словом, все было как и на прошлых одиннадцати заседаниях «Большой тройки», и со стороны могло показаться, что Конференция лишь приступает к своей работе.

— Комиссия, занимающаяся вопросами репараций с Германии, доложила нам, что не сумела прийти к соглашению...

Бирнс произнес эти слова медленно, с мрачным выражением лица. Они прозвучали как погребальные удары колокола.

Бирнсу очень хотелось дать понять Сталину, что рано еще торжествовать победу. Но, заметив, как ошеломило всех присутствующих такое безнадежное начало доклада, и зная, с каким нетерпением дожидаются они разъезда по домам, Бирнс поспешил смягчить удар:

— Я не хотел сказать, что не удалось добиться согласия по всем пунктам. По одним договорились, по другим — нет. Например, не достигнута договоренность в отношении заграничных источников репараций. Советский представитель по-новому истолковал вчерашний отказ Советского Союза от зарубежных инвестиций Германии, акций германских предприятий и золота...

Таким образом, вина за возникшие разногласия возлагалась на советского представителя, что не соответствовало действительности. Министры не достигли договоренности вовсе не потому, что советская сторона пошла якобы на попятную, а потому, что у ее западных партнеров по переговорам разгорелся аппетит: США и Англия стали претендовать на часть акций немецких предприятий, расположенных в Советской зоне оккупации, а также на германские инвестиции в странах Восточной Европы.

Сталин предпочел не ввязываться в новый затяжной спор. Вместо спора он сказал вполне миролюбиво:

— А нельзя ли договориться так: от германского золота, как я сказал еще вчера, мы отказываемся, от акций германских предприятий в западной зоне тоже отказываемся, а что касается германских инвестиций в Восточной Европе, то они сохранятся за нами.

Трумэн и Бирнс переглянулись. Они заподозрили, что в предложении Сталина таится какой-то подвох.

— Что ж, это предложеиие иадо обсудить,— не очень определеино откликнулся Трумэн.

— К чему мельчить вопрос, создавая излишние сложности? — продолжал Сталин, как бы ие слыша реплики Трумэна. — Давайте решим его целиком, в соответствии со сложившейся реальностью: германские вложения в Восточиой Европе сохраияются за нами, все остальные — за вами. Ясио, не правда ли?

Когда президент США открывал сегодняшнее заседание Коиференции, мысли его были далеко от Бабельсберга. Федеральное бюро расследований прислало ему шифрограмму о том, что этот чертов Сциллард не только сам протестует против использования атомной бомбы, ио и организует какое-то движеиие в поддержку своего протеста. Под его петицией на имя президента подписались уже 69 других ученых. В шифровке цитировались отдельные абзацы этой петиции. Одну из фраз Трумэи запомиил, она гласила, что страиа, делающая ставку на атомиую бомбу, «несет ответственность за открытие дверей, ведущих в эпоху неслыхаиных по своим масштабам опустошеиий».

О, как иеиавидел Трумэи этих иеблагодарных людей, особеиио иностраицев — всяких там венгров, итальянцев, евреев,— которых приютила у себя Америка, облагодетельствовала, платит им иеслыхаиное жалованье!

«Я открываю врата рая,— мыслеино возражал им президент,— америкаиского, коиечио, рая! — а они по иедомыслию своему иазывают это дверьми в «эпоху опустошеиия»!»

Шевельиулись иедобрые воспомииания и о последнем визите Стимсона. Что случилось с этим человеком? Был ведь таким горячим сторонииком атомиой бомбы. А теперь тоже подпевает этим «битым горшкам», пытается переложить всю ответственность за бомбу иа иего, Трумэиа. Ничего ие выйдет, сэр! Вы еще будете военным миниcтром, когда первая атомиая бомба обрушится иа Японию. Оправдывайтесь потом, кайтесь! Пишите свои меморандумы!

На «Аугусту», скорее иа «Аугусту»! Уж там-то никто не будет одолевать слезливыми «петициями» и «меморандумами».

Таков был душевный иастрой Трумэна перед двенадцатой встречей «Большой тройки» и в самом иачале этой встречи. Но как только заговорили здесь о золоте, об акциях, о миллионах и миллиардах долларов, иистиикт бизиесмеиа заставил президента моментальио переключить ход своих мыслей — вернуться из Вашиигтоиа сюда, в Бабельсберг.

— Речь идет о германских инвестициях только в Европе или и в других странах? — настороженно спросил ои Сталиниа.

— Хорошо, скажу еще конкретнее,— ответил Сталин. — Германские капиталы, которые имеются в Румынии, Болгарии, Веигрии и Фииляндии, сохраняются за иами. Все остальные иивестиции ваши.

Подал свой голос и Бевин:

— Зиачит, германские инвестиции в других странах остаются за нами?

— Во всех других страиах! — ответил Сталин и добавил не без иронии: — В Южиой Америке, Канаде и так далее. Все это ваше.

— Это также отиосится и к Греции? — не уиимался Бевин.

«Да, и к Греции, которую вы оккупировали самым разбойничьим способом»,— хотел ответить Сталии. Но произнес только одно слово:

— Да.

И устало вздохиул, давая понять, что ему надоело повторять одно и то же.

— А как вы предлагаете поступить с акциями германских предприятий? — подозрительно спросил его Бирнс.

— В нашей зоне они пойдут в возмещение наших потерь, в вашей зоне — ваших.

— Следовательно, мы правильио поняли ваше вчерашнее предложение: на акции в западиой зоие вы предъявлять претензий не будете?

— Нэ будем,— ответил Сталин категорически.

Трумэн, Бирнс, Эттли и Бевин диву давались: что такое случилось со Сталиным? Почему обычное его упорство вдруг сменилось такой податливостью?

Никто из них не понимал Сталииа до конца. И не только из-за коренного различия в мировоззрении, разных классовых позиций. Тут сказывалось еще и миогое другое — разная степень государственной мудрости, неравный и совершенно иесхожий житейский опыт, далеко не одинаковая тактическая гибкость. Сталин хорошо усвоил, что искусство вести переговоры заключается ие в том, чтобы говорить «нет» по любому вопросу, если он решается не так, как хотелось бы, а и в умении с подчеркнутой готовиостью идти иавстречу своим партнерам, когда это необходимо для достижения главной цели.

Ошибочно решив, что ныиче Сталина можно «уговорить» иа все, Бирнс попробовал «поторговаться» еще насчет инвестиций.

— Может быть, вопрос о германских инвестициях за границей вы согласитесь вовсе сиять?..

Сталин в ответ отрицательно покачал головой.

— Но вчера,— опять вмешался Бевин,— я поиял вас так, что советская делегация полиостью отказывается от претеизий иа инвестиции!

— Вы пониали нэ совсэм так, как следовало бы,— ответил Сталин, вроде бы сожалея, что Бевин такой «непонятливый».

— Как же так! — повысил голос аиглийский министр иностраииых дел. — Ведь все мы слышали, что вы сказали вчера! В конце коицов есть стенограмма!..

— Стенограммы иет, есть протокол,— поправил его Сталин. — Но самое важное из того, что мы здесь говорим, несомнеино фиксируется. Так вот, можете проверить протокольиые записи. Вчера я говорил то же самое, что повторяю сегодня: мы отказываемся от германских капиталовложеиий в Западной Европе и Америке. По сравнеиию со вчерашним сегодня с иашей стороны делается даже уступка союзникам: мы отказываемся от германских иивестиций во всех страиах, кроме Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии.

Потом Сталин вдруг улыбнулся с хитрецой и спросил Бевина совсем миролюбиво:

— Нэ понимаю, па-ачему вы так волнуетесь? Известно ведь, что в Западной Европе и Америке германских инвестиций было гораздо больше, чем на Востоке.

Некоторое время Бевин и Бирнс продолжали вести теперь уже ленивую дискуссию со Сталиным. Но в конце концов оба поняли ее бесполезность, и Бевин решил поставить точку.

— Я хотел бы получить заверение,— сказал он,— что американские и британские вложения не будут затронуты, в какой бы зоне они ни находились.

— Ну, конечно! — охотно заверил его Сталин и добавил под общий смех: — Насколько мне известно, мы с Соединенными Штатами и Великобританией не воевали и не воюем.

О, Бевин еще будет мстить Советскому Союзу за то, что глава нашей делегации вызвал этот смех, и за многое другое. В то время как Черчилль произнесет свою «фултоновскую речь», а потом будет носиться в Вашингтоне по Белому дому с планом атомной бомбардировки Советского Союза, Бевин сделает все от него зависящее, чтобы в нарушение Потсдамских соглашений добиться ремилитаризации Германии. Он подпишет Северо-Атлантический пакт и от имени английского правительства отклонит предложенный Советским Союзом Пакт мира. Вместе с Эттли он свяжет Англию с самыми агрессивными кругами США, будет всячески натравливать их на СССР и одновременно пресмыкаться перед ними...

Но все это оставалось еще в будущем, правда недалеком. А пока что Бевин сидел за столом «мирных» переговоров в Цецилиенхофе, задавал вопросы, бросал реплики, безуспешно пытаясь привлечь к себе всеобщее внимание и очень злясь на то, что ему не воздают здесь «должного»...

...Итак, решение о судьбе германских инвестиций было принято. Костер, разгоревшийся вокруг этой проблемы, благополучно потушен. Лишь некоторые его угольки продолжали тлеть.

Эттли предложил ввести в Репарационную комиссию Францию. У Сталина не было никаких возражений по существу. Он знал, как героически действовало во время войны французское Сопротивление. Он помнил, что Франция была жертвой немецкой оккупации. Но жизненные интересы Советского Союза и народов Восточной Европы заставляли советского лидера все время смотреть вперед, а не только назад. Будущая Франция, конечно же, окажется частью западного блока, несмотря на все, может быть, даже субъективно искренние заверения де Голля в дружбе с Советским Союзом.

Сам Сталин хотел, очень хотел дружбы с Францией, однако, будучи реалистом, сознавал, что если ей придется выбирать между советскими и американо-английскими интересами, то она по доброй ли воле, или под давлением, конечно же, примет сторону Запада. Поэтому, не отвергая предложения Эттли, но помня о необходимости поддерживать в Репарационной комиссии хотя бы относительное «равновесие» сил, Сталин внес дополнение:

— Давайте пригласим еще и Польшу. Она сильно пострадала во время войны.

— Я понял так, что все мы согласились пригласить в комиссию Францию,— удовлетворенно произнес Эттли, помалкивая о Польше.

Сталин тотчас напомнил о ней:

— А Польшу?

— Я предлагаю компромисс,— вмешался в спор Трумэн.— Вчера вы,— сказал он, обращаясь к Сталину,— заявили, что возьмете на себя удовлетворение претензий Польши по репарациям. Так?

— Именно так,— подтвердил Сталин.

— Тогда мы, со своей стороны, возьмем на себя удовлетворение претензий Франции и других стран. Включение в комиссию только Франции вызовет, по-моему, некоторую путаницу.

Эттли обиженно поджал губы, как всегда в тех случаях, когда его предложение не находило поддержки у американцев.

В следующие минуты корабль Конференции пустился в плавание по морю цифр. И казалось, что ни один из трех его капитанов не знает лоции, понятия не имеет, где какая глубина, где опасные мели, сев на которые корабль уже не сдвинется с места.

Но это только так казалось. В действительности каждый из капитанов старался выдержать свой курс. А поскольку курсы их не совпадали, очень трудно было предугадать, куда в конце концов причалит корабль — к берегу вражды или к берегу дружбы и как поведут себя его пассажиры, выйдя на землю,— станут врагами или останутся союзниками.

Сталин понимал, что американцы и англичане намеренно дробят вопрос о репарациях на множество «подвопросов», преследуя единую цель: уменьшить до возможного предела репарации, во всяком случае, ту их часть, на которую по всем законам морали и справедливости претендовал Советский Союз. Именно во имя этой коварной цели они пытаются оглушить советскую делегацию водопадом цифр и экономических выкладок.

Особенно усердствовал Эттли. Эксперты едва поспевали подавать ему заранее подготовленные справки. Цифры срывались с его губ одна за другой: «2400 тонн угля в течение 30 дней...», «другие виды топлива — в течение следующих шести месяцев...», «40 тысяч тонн продовольствия». По недоуменному и даже несколько растерянному взгляду Сталина он догадался, что тот вовсе не собирался рассматривать сегодня все эти детали, а видел свою задачу лишь в принципиальном решении вопроса. Это еще больше подхлестнуло английского премьера. И в охватившем его экстазе Эттли сам не заметил, как бросил Сталину «спасательный круг», помог обрести твердую почву под ногами: он упомянул мимоходом о Контрольном Совете.

Контрольный Совет был той самой организацией, на которую Сталин возлагал большие надежды. Именно этому Совету, а точнее говоря, советскому

представителю в нем, предстояло следить за неукоснительным проведением в жизнь тех решений, которые примет Потсдамская конференция.

Сталину уже было ясно, что на создание какого-либо другого, общегерманского органа, составленного из самих немцев, Запад не пойдет,— мысль о возможном, пусть в будущем, но все же возможном расчленении Германии цепко держала в своих когтях умы и души правительств США и Англии. Поэтому надо было делать серьезную ставку именно на Контрольный Совет, решения которого, по утвержденному тремя державами статуту, должны иметь силу, лишь будучи принятыми единогласно.

Не погружаясь в пучину цифр, Сталин сказал:

— Нам неизвестно мнение Контрольного Совета. А без него решать вопросы, поставленные господином Эттли, просто невозможно. Надо предварительно узнать мнение Контрольного Совета. Выяснить, как он думает удовлетворять нужды населения, какие у него планы насчет снабжения. Пусть там рассчитают все без спешки, обоснуют каждую цифру, определят реальные сроки, разберутся в наименованиях предметов снабжения и все такое прочее. Не могу сейчас высказаться ни «за», ни «против» предложений господина Эттли. Может быть, они совершенно правильны, а может быть, и нет. Авторитетно ответить на этот вопрос способен только Контрольный Совет после тщательной подготовки.

Эттли понял, что теперь тонет он сам, и сделал последнюю попытку «удержаться на поверхности». Не желая, чтобы полное его поражение было зафиксировано в протоколе, глава английской делегации сделал вид, что у него нет и не было ни малейших расхождений со Сталиным. Он сказал:

— Это как раз то, о чем я прошу! Я хочу, чтобы Контрольный Совет составил программу... — И, заметив саркастические улыбки на лицах Трумэна и Бирнса, добавил: — Но в принципе мы должны договориться об этом здесь!

Всем было ясно, что Эттли попал в трясину и, пытаясь выбраться из нее, увязает все глубже. Однако Сталин, в то время уже полностью овладевший положением, решил «проучить» нового английского премьера за вероломство, жестко размежевался с ним:

— Повторяю, я не хочу брать цифры с потолка. Цифры должны быть обоснованы. Это все.

— Продолжайте свой доклад, мистер Бирнс,— обратился Трумэн к государственному секретарю США.

С тех пор как спор между Эттли и Сталиным пошел по не ведущему никуда замкнутому кругу, все как-то забыли об этом докладе. Похоже, что и сам докладчик забыл о нем — так он встрепенулся, услышав требовательный голос Трумэна.

— Следующий вопрос — об экономических принципах в отношении Германии,— объявил Бирнс.

По этому вопросу споров почти не было. Прояснив кое-какие неясности, Сталин сказал:

— Не возражаю.

Трумэн, очевидно, искренне отреагировал на это тоже единственным словом:

— Благодарю.

Угли потухшего или, точнее сказать, затухающего костра тревожно засверкали вновь, когда Бирнс спросил у председательствующего, можно ли перейти к следующему вопросу — о военных преступниках.

В этот момент среди советских делегатов, экспертов и секретарей возникло движение. Нет, они ничего не сказали, только чуть качнулись друг к другу. Лица их побледнели, кожа на щеках натянулась.

Надо ли объяснять причину? О ней легко догадаться.

С тех пор как Красная Армия вступила в пределы Германии, советским военнослужащим было запрещено думать о мести. Как должное восприняли этот запрет и все остальные граждане СССР. Привычный лозунг-клятва: «Не забудем — не простим!» — обрел иной смысл и иное звучание: «Не забудем, но мстить не будем!»

Советские люди могли желать и желали возмездия, но не мести. В порядке возмездия надо было уничтожить гигантские кузницы оружия на германской территории, ликвидировать нацизм и примерно наказать тех, кто лично, сознательно помог Гитлеру прийти к власти, кто вместе с ним взлелеял проклятый план «Барбаросса», чьи руки обагрены кровью мирных граждан — советских, польских, французских, болгарских и многих, многих других. Возмездие по закону. Но не слепая месть! Таков был призыв партии, призыв Сталина. Так пусть свершится хотя бы возмездие!..

И вот сейчас предстоит обсуждать этот вопрос. Сейчас!..

Чьи имена будут названы первыми? Гитлера и Геббельса? Но их, как утверждают, уже нет в живых. Значит, Геринга, Гиммлера, Бормана, а за ними потянется вереница маленьких герингов, гиммлеров и борманов. Тех, кто изобрел газовые камеры-«душегубки». Кто сжигал тысячи замученных людей в печах концлагерей. Кто снабжал вермахт дальнобойными орудиями, обстреливавшими блокадный Ленинград. Кто снабжал Гитлера деньгами для содержания армии — своры «гауляйтеров» разного ранга; кровь советских людей, кровь народов Европы они обращали в золото...

Всем ли им смерть? Это пусть решит суд — беспощадный, но справедливый. «Каждому — свое»,— писали они на воротах концлагерей. Пусть же и сами получат по заслугам: каждый — свое.

— Расхождение по данному вопросу,— продолжал докладывать Бирнс,— заключается лишь в одном: следует ли уже сейчас или пока не следует упоминать фамилии некоторых крупнейших немецких военных преступников?

В зале вновь произошло движение. И опять главным образом среди советских людей.

А Бирнс говорил:

— Представители Соединенных Штатов и Англии на сегодняшнем заседании министров заявили, что было бы правильным не упоминать фамилий, а пре-

доставить это сделать прокурору. Английская делегация внесла предложение, смысл которого сводится к требованию, чтобы суд над главными военными преступниками начался как можно скорее. Советский представитель не возражал против английского проекта решения, но при условии упоминания в нем некоторых имен...

Спокойно, гораздо спокойнее, чем можно было бы ожидать, Сталин сказал:

— Имена, по-моему, нужны. Это необходимо сделать для общественного мнения. Кстати: будем ли мы привлекать к суду каких-либо немецких промышленников? Я думаю, что будем. Например, Круппа. Если Крупп не годится, давайте назовем других.

— Все они мне не нравятся,— пробурчал Трумэн и этим как бы несколько разрядил обстановку. Послышались смешки. — Я думаю,— продолжал президент,— что если мы назовем некоторые имена и оставим в стороне другие, то многие будут думать, что этих других мы вообще не собираемся привлекать к ответственности.

— Можно назвать и других,— ответил на это Сталин. — Скажем, Гесса. Кстати,— жестким тоном обратился он к Эттли,— не можете ли вы объяснить, почему Гесс до сих пор сидит в Англии, как говорится, на всем готовом и не привлекается к ответственности?

— О Гессе вам не следует беспокоиться,— прохрипел Бевин, опережая Эттли.

— Дело не в том, беспокоюсь или не беспокоюсь лично я. Дело в общественном мнении миллионов людей, и в первую очередь тех народов, которые были оккупированы немцами,— холодно сказал Сталин.

— Могу дать обязательство, что он будет предан суду! — пообещал Бевин.

— Никаких обязательств я от вас не прошу,— с подчеркнутым безразличием откликнулся на это Сталин, рассудив про себя: «Теперь-то, конечно, он вам не нужен. А до конца войны приберегали, на всякий случай. Не исключали возможности при посредстве Гесса замириться с Гитлером, за счет СССР».

— Вы мне не верите? — обиделся Бевин.

— Ну что вы! — воскликнул Сталин с явной иронией. — Мне вполне достаточно вашего заявления.

Трумэн не без удивления взглянул на Сталина: какое ему дело до какого-то Гесса, когда над его собственной головой висит атомная бомба, по сравнению с которой Дамоклов меч просто игрушка! Откуда это самообладание? «Покер-фэйс»?[1] Но ведь рано или поздно придется открыть свои карты! Когда эхо атомного удара по Японии докатится до стен Московского Кремля, этот усач, сидящий напротив, сразу утратит свою показную невозмутимость. После взрыва первой же атомной бомбы все, что он здесь выторговал, мгновенно превратится в прах. Скорее, скорее надо кончать эту говорильню!

Сделав усилие над самим собой, Трумэн стал уговаривать Сталина:

— Судья Джексон — очень опытный юрист, на него можно положиться. А он против немедленного оглашения имен военных преступников. Утверждает, что это помешает судопроизводству, и заверяет, что в течение тридцати дней судебный процесс будет подготовлен.

Сталин подумал немного и уже без прежней решительности сказал:

— Может быть, несколько имен все-таки стоит упомянуть? Ну, скажем, имена трех человек?

— Наши юристы одинакового мнения с американскими,— бросил реплику Бевин.

— А наши — противоположного,— отмахиваясь от него, как от надоедливой мухи, сказал Сталин и снова обратился к Трумэну:

— Хорошо. Давайте условимся так: список привлекаемых к суду главных военных преступников должен быть опубликован не позднее, чем через месяц. Согласны?

Возражений не последовало.

В течение следующего часа Конференция пришла к согласию относительно снабжения Западной Европы нефтью, решила судьбу германского флота. Двенадцатое заседание явно близилось к завершению, когда Сталин вопросительно посмотрел на Бирнса. Тот сразу понял его и сказал, обращаясь к Трумэну:

— Простите, я еще не закончил своего доклада. От Советского Союза поступила нота относительно враждебной ему деятельности русских белоэмигрантов и других лиц и организаций в американской и британской зонах оккупации. В ноте ставится также вопрос и о скорейшей репатриации советских граждан, насильственно угнанных немцами. Я уже сообщил господину Молотову и заявляю сейчас: мы готовы расследовать ситуацию и принять соответствующие меры.

— Чем скорее, тэм лучше,— жестко определил свою позицию Сталин.

Трумэн снял очки, протер их платком и, снова надев, сказал, несколько возвышая голос:

— Перед тем как закончить наше утреннее заседание, хочу тоже сделать одно сообщение. Я принял президента Польши и четырех членов Временного польского правительства. Я передал им копию наших постановлений. Они обещали воздерживаться от публичных выступлений по этому поводу до появления наших решений в печати. А теперь... — Трумэн сделал паузу и еще громче произнес: — По просьбе польской делегации я передаю ее благодарность всем трем правительствам, представленным на этой Конференции.

«Вот так! — торжествующе подумал Сталин. — Немалый путь пришлось проделать вам, господин президент, чтобы из ярого противника польских требований превратиться в гонца, передающего нам благодарность поляков. История всегда наказывает тех, кто не желает с ней считаться».

Еще несколько минут занял вопрос о подготовке заключительного коммюнике. Сталин выдвинул предложение принять по примеру Тегеранской и Крымской конференций два документа: протокол и ком-

---

[1] Poker face *(англ.)* — невозмутимое выражение лица при плохих картах. Блеф.

мюнике. В первом будет подробное перечисление обсужденных вопросов. Во второй документ войдет лишь самое главное — конечные итоги Конференции.

Неожиданно Трумэн спросил:

— А если мне придется докладывать сенату относительно нашей работы, могу ли я сказать, что некоторые из вопросов мы передали на рассмотрение Совета министров иностранных дел?

— Ну кто же может покушаться на ваши права, господин президент? — с легким оттенком иронии утешил его Сталин.

— Хорошо,— удовлетворенно сказал Трумэн.— Итак, двенадцатое наше заседание закрывается. Последнее состоится сегодня в 22 часа сорок минут. Для меня это нелегко,— добавил он с улыбкой,— я привык рано ложиться. Но генералиссимуса такое время, наверное, устраивает — я слышал, он привык работать ночами?

— Я ко многому привык, господин президент,— негромко отозвался Сталин.

...Распрощавшись с Брайтом перед зданием Цецилиенхофа, мне следовало бы сесть в свою «эмку» и ехать обратно в Бабельсберг. А я почему-то медлил, рискуя очень скоро остаться здесь единственным человеком в партикулярном одеянии и тем привлечь к себе внимание охраны.

Помню как сейчас фасад замка, окутанный разросшимся плющом, семь узких, длинных окон над центральным подъездом, еще выше два других окна — широких, треугольную крышу, высокую трубу над ней. И справа от главного здания — примыкающую к нему пристройку, уже более низкую, с террасами, узорными деревянными решетками. И, конечно же, огромную многометровую звезду из красных цветов, резко выделяющуюся на зеленом травяном ковре...

Я ждал разъезда глав делегаций, которые, как мне тогда казалось, с минуты на минуту должны покинуть замок. После того как нас вытурили из зала, прошло уже минут десять. А сколько надо времени, чтобы трем человекам пожать друг другу руки и произнести несколько прощальных фраз? Скажем, пять минут. Ну, еще десять...

Значит, скоро Сталин, Трумэн и Эттли выйдут из замка. Только вот в чем вопрос: как и откуда они выйдут? Все вместе, через центральный подъезд, или порознь — каждый из своего подъезда?

Но никто не выходил.

«Может быть, как раз в эти минуты они подписывают заключительный документ,— размышлял я.— Тот самый,— в этом я уверил себя,— который держал в руках Трумэн во время съемки?»

Мне не раз доводилось видеть в кинохронике, как подписываются государственные документы. Представители договорившихся сторон сидят за одним столом на небольшом расстоянии друг от друга. Перед каждым чернильницы, каждый подписывает свой экземпляр документа, и стоящий рядом протоколист держит наготове пресс-папье, чтобы немедленно просушить подпись. Затем следуют рукопожатия и обмен папками с уже подписанными документами, составленными на русском и соответствующем иностранном языках...

Вспоминая эти подробности, я старался определить, сколько они могут занять времени.

Зачем? Почему я чуть ли не изнывал от желания снова увидеть всю «Большую тройку»? Я же только что видел ее и даже успел многократно сфотографировать. Какая непреодолимая сила удерживала меня здесь? Только гипертрофированное журналистское любопытство? Едва ли. Тогда что же еще?

...Пытаюсь ответить себе на эти вопросы сейчас, по истечении уже тридцати лет, и не могу. Не все ли равно мне было, часом раньше или часом позже закроется Конференция? Писать-то об этом я не имел права, пока не появилось официальное сообщение. Было бы, кажется, естественнее, понятнее с чисто человеческой точки зрения, если бы все мои мысли тогда целиком устремились к Москве, к Марии, приславшей мне в тот день такую чудесную телеграмму.

А может быть, срок окончания Конференции и долгожданная встреча с Марией переплелись в моей душе, в моем сердце настолько, что невозможно было отделить одно от другого?..

Простоял я у замка долго, наверное, около часа. С того места, где я стоял, хорошо были видны английские и американские автомашины и мотоциклы, их водители, сбившиеся в кучу и увлеченно беседующие о чем-то своем. Очевидно, никто еще не подавал им никаких команд.

Наконец я понял, что дальнейшее ожидание бесполезно. Возможно, «Большую тройку» задерживает в замке прощальный обед.

Я медленно побрел к моей «эмке», оставленной на почтительном удалении от Цецилиенхофа.

— Ну как, все кончилось? — спросил меня Гвоздков, едва я уселся рядом с ним.

— Да... кажется, кончилось.

В голосе своем я уловил оттенок неуверенности. Нет! Мне не хотелось думать о каких-то там осложнениях. Я гнал эту мысль прочь. И тем не менее она все еще преследовала меня.

— Куда теперь, товарищ майор? — спросил Гвоздков.

— Не знаю,— ответил я.

Я действительно не знал, куда мне ехать. Я боялся увидеть кого-нибудь, кто мог бы посеять в моей душе новые сомнения, помешать моему счастью, моей радости, которые и без того уже начинали омрачаться.

— Поездим по Берлину,— предложил я Гвоздкову.

Не помню, сколько продолжалась наша бесцельная в общем-то езда по берлинским улицам... Не помню, когда мы вернулись в Бабельсберг, оказались на Кайзерштрассе...

И вот тут-то меня ожидала приятная новость. Поистине никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь! Еще издали я увидел, что у подъезда дома № 2 — резиденции американского президента — стоят автофургоны и солдаты американской морской пехо-

ты грузят в них чемоданы, саквояжи, ящики, какие-то свертки. На моих глазах вынесли зачехленный американский флаг.

«Уезжают!» — мысленно воскликнул я и приказал Гвоздкову сбавить скорость.

Мы поехали медленно-медленно, почти прижимаясь к правой бровке тротуара, потому что американские автофургоны, два «доджа» и «виллис» занимали едва ли не всю проезжую часть улицы.

— Ну, что я говорил, товарищ майор?! — удовлетворенно произнес Гвоздков.

«Да, да, ты говорил! — отметил про себя я. — И Брайт говорил, что трумэновскую «Священную корову» уже готовят к отлету. Все верно, все совпадает!.. Значит, пока мы бесцельно колесили по Берлину, Конференция наверняка закончилась!»

И все же... я хотел получить окончательное подтверждение.

— Давай к «Цецилии», жми на всю железку! — скомандовал я Гвоздкову.

Спустя считанные минуты мы подъезжали к замку. Я был уверен, что охрана там уже снята, и, может быть, мне посчастливится снова войти в зал заседаний, захватить там какой-нибудь сувенир — настольный флажок, карандаш или что-то еще в этом роде.

Но замок по-прежнему охранялся нашими пограничниками, американскими и английскими солдатами. Автомашины и мотоциклы стоят, как раньше стояли, и шоферы, сбившись в кучку, продолжали свою беседу.

«Неужто, черт подери, «Большая тройка» все еще в Цецилиенхофе?» — с досадой подумал я.

Глава двадцать седьмая
«ТЕРМИНАЛ»

В то самое время, когда корреспондент Совинформбюро Воронов умышленно рано лег спать с единственным желанием, чтобы скорее наступил завтрашний день, президент США Трумэн открыл тринадцатое, на этот раз действительно заключительное заседание Потсдамской, или, как ее называли тогда в наших газетах, Берлинской конференции.

Часы показывали без двадцати одиннадцать. Бирнс доложил, что комиссия по экономическим вопросам выработала предложения, приемлемые для всех трех делегаций.

— Правильно,— подтвердил Сталин, уже информированный обо всем Молотовым, и обратился шутливо к Эттли: — Давайте по этому поводу закурим наши трубки, господин премьер-министр.

Эттли натянуто улыбнулся и вынул свою трубку из нагрудного кармана пиджака.

— Сейчас,— продолжал Бирнс,— мы могли бы обсудить вопрос относительно собственности союзных государств, имеющейся на территории Германии.

Сталин как-то неопределенно покачал головой. Ему, вероятно, хотелось сказать: если бы вы в свое время меньше содействовали вооруженню Германии своими вложениями и продукцией ваших предприятий, то сегодня этот вопрос не стоял бы вообще. Но Сталин уже решил, что сделает все от него зависящее, чтобы не дать разгореться новой полемике по частностям, если эти частности не будут ревизовать достигнутых решений.

Раскуривая свою трубку, он сказал:

— Мы не успели продумать редакцию проекта, предложенного американской делегацией, но по существу с ним согласны. Рекомендую записать: «Конференция решила принять американское предложение в принципе. Редакцию этого предложения согласовать в дипломатическом порядке».

— Я с этим согласен,— заявил Эттли.

— Ну и я тоже,— удовлетворенно произнес Трумэн.

Президент был в превосходном настроении. Ведь с утра он уже будет в самолете, а вечером пересядет на «Аугусту» и поплывет к родным берегам!

Впрочем, по дороге ему предстояла остановка в Англии. Трумэн решил встретиться с Черчиллем, обсудить с ним итоги Конференции, а главное, новую ситуацию, которая уже сложится в мире, если к тому времени прогремят атомные взрывы...

Далее Бирнс объявил, что комиссия, занимавшаяся подготовкой протокола, тоже достигла соглашения.

В этот момент советский дипломат Подцероб передал Молотову листок бумаги, который секунду спустя оказался уже в руках Сталина.

Сталин обладал способностью «схватывать» весь текст целиком, не читая его по строчкам. Поэтому, бросив на поданный ему листок короткий, но пристальный взгляд, он заявил незамедлительно:

— Извините, но у меня есть поправка. Она касается западной границы Польши. Здесь говорится, что линия границы пройдет от Балтийского моря через Свинемюнде. Как это понимать? Пересечет город? Давайте лучше запишем так: от Балтийского моря и чуть западнее или немного восточнее Свинемюнде... И отразим это на карте.

— Пусть будет по-вашему,— согласился Трумэн. — Запишем: «чуть западнее Свинемюнде».

— У меня есть и другая поправка относительно границы Кенигсбергской области,— продолжал Сталин. — В проекте говорится, что она подлежит уточнению экспертами. Какими экспертами? Я предлагаю сказать четче: «Экспертами из представителей СССР и Польши».

— Мы не можем предоставить это только России и Польше! — возразил Бевин.

Бедный Бевин!.. Он был умен, хитер, изворотлив. Но исторически сложившаяся ситуация лишала его возможности играть на Конференции ту роль, которую он себе предназначал. Однако не напоминать о себе хотя бы репликами, хотя бы вопросами было выше его сил.

В ответ на свое возражение Бевин тут же услышал вполне резонный довод Сталина:

— Но ведь речь идет о границе между Россией и Польшей! Не Англия же будет устанавливать ее?

— Однако это должно быть признано Объединенными Нациями,— упорствовал Бевин. — Мы здесь согласились, что на Мирной конференции поддержим советское пожелание относительно польской границы. А теперь вы говорите, что Англия ни при чем!..

И снова в зале Цецилиенхофа спокойствия как не бывало. Ссылка Бевина на Мирную конференцию всколыхнула у Сталина наихудшие подозрения. Он не сомневался, что и англичане и американцы рассматривают эту Конференцию как арену для новых дипломатических боев. Тогда как сам Сталин считал, что главной задачей Мирной конференции является подтверждение договоренностей, достигнутых тут, в Бабельсберге.

— Это — недоразумение,— заявил он категорически.— Да, в общем виде граница будет подтверждена Мирной конференцией. Согласен. Но есть еще и такое, более конкретное понятие, как граница на местности. Если на линии границы окажется какой-то населенный пункт, зачем резать его надвое? Неужели Мирной конференции надо обсуждать вопросы, решение которых подсказывается элементарной логикой?

Эттли посмотрел на Сталина с нескрываемым недружелюбием. Объяснить это было нетрудно. Как и Бевин, он, Эттли, все отчетливее понимал, что потсдамские встречи не принесут ему лавров. Сознавать это новому премьеру было более чем досадно. Ведь и без того в десятках газетных статей его называют заурядным, бесцветным, незначительным.

Это было и так и не так. Новый английский премьер действительно не блистал талантами. Кроме, пожалуй, одного: таланта приспособления к сильному. Он извлек для себя практический вывод из древней легенды о черепахе, «обогнавшей» непобедимого бегуна, прицепившись к его ноге. Подобно этой черепахе, Эттли сделал ставку на Соединенные Штаты, пошел на полное подчинение интересам Америки. Этим он мало отличался от Черчилля.

По анкете Эттли числился лидером рабочей партии. Но в узком кругу нередко называл себя «консервативным империалистом». И, пожалуй, был ближе к истине. В юности его будто бы воспитывала гувернантка, которая до того пестовала Черчилля. Это можно считать мелким парадоксом истории. Но отнюдь не парадоксально то, что в зрелые годы гувернанткой для Эттли, и притом всемогущей, стали США. Он послушно шел за американцами на Потсдамской конференции. Он будет идти по их пятам и дальше: пошлет английские войска в Корею, развяжет кровавую войну против малайского народа, вместе с Бевином окажется инициатором вступления Британии в НАТО, присоединит свой пронзительный голос к американскому антисоветскому хору...

Но это в будущем. А тогда, в Цецилиенхофе, Эттли только начинал подыгрывать в большой игре всесильной, как ему казалось, обладательнице атомной бомбы. Он знал, какие надежды возлагает Белый дом на предстоящую Мирную конференцию, и ревностно помогал Трумэну превратить ее в кладбище всех договоренностей, достигнутых и здесь, в Цецилиенхофе, и в Ялте, и в Тегеране, и в Москве.

— Все же я настаиваю на том,— заявил Эттли,— что точное определение границ — прерогатива Мирной конференции.

— А как смотрит на это господин Бевин? — будто невзначай спросил Сталин, рассчитывая, по-видимому, воспользоваться безудержным стремлением Бевина если не быть, то хотя бы казаться здесь главным выразителем политики нового правительства Англии.

Но на этот раз Бевин не решился противоречить Эттли. Несколько невнятно он предложил, чтобы экспертов назначила та же Мирная конференция.

— Нэ понимаю, в чем тут дело? — с нарочитым недоумением, как бы и впрямь не догадываясь об истинных намерениях союзников, произнес Сталин.

Перекинувшись несколькими тихими фразами с Трумэном, Бирнс предложил компромисс: считать, что Мирная конференция должна будет назначить экспертов, если возникнут разногласия между Польшей и Россией. Если же разногласий не возникнет, то никаких экспертов не потребуется.

Какие цели преследовал Бирнс своим на первый взгляд разумным предложением? Несомненно, он хотел усыпить бдительность советской делегации: Сталин мог быть уверен, что Советский Союз избегнет разногласий с Польшей. Бирнс рассчитывал на «разногласия» иного толка: на то, что в ходе Мирной конференции наверняка возникнет антисоветский и одновременно антипольский фронт. Но это предвидел и Сталин. Выбирать было не из чего, и он заявил:

— Пусть остается прежняя формулировка.

Это не помешало Эттли и Бевину еще раз вступить в спор со Сталиным по вопросу об установлении дипломатических отношений с Финляндией, Румынией, Болгарией и Венгрией и последующем приеме их в Организацию Объединенных Наций. Однако в предложенном союзниками проекте решения имелась логическая неувязка: в третьем абзаце предполагалась возможность восстановления дипломатических отношений с этими странами, а первый абзац фактически отрицал ее.

И опять в роли умиротворителя выступил Бирнс. На этот раз идя навстречу требованиям Сталина, он предложил такую редакцию, которая недвусмысленно рекомендовала заключение мирных договоров со странами Восточной Европы и Финляндией. А это уже, в свою очередь, предполагало и восстановление с ними дипломатических отношений, и допуск в Организацию Объединенных Наций.

Почему государственный секретарь США с явного одобрения президента фактически дал команду англичанам прекратить споры? Не потому ли, что неумолимо приближался срок вступления Советского Союза в войну с Японией?..

Так или иначе, Сталин воспринял это как своего рода приглашение к благополучному завершению Конференции. Оно отвечало и нашим интересам.

— Хорошо,— сказал Сталин,— у советской делегации больше поправок нет.

— Ура! — неожиданно воскликнул Бевин, с несомненным намерением выказать этим одобрение не Сталину, нет, а Бирнсу. Английскому министру не хотелось оставлять у американцев впечатление о себе, как об упрямце, осмеливающемся временами противоречить представителям великой заокеанской державы.

Остальное время Конференции заняло согласование еще некоторых, уже, в сущности, согласованных вопросов и текста заключительного коммюнике. 2 августа в первом часу ночи Трумэн встал из-за стола и провозгласил:

— Объявляю Конференцию закрытой. — Он сделал паузу, давая возможность всем присутствующим осознать торжественность момента, и закончил словами: — До следующей встречи, господа, которая, я надеюсь, будет скоро.

— Все зависит от воли божьей,— пряча в усы ироническую усмешку, тихо произнес Сталин.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПОСЛЕДНИХ МИНУТ
ПОТСДАМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ЭТТЛИ: Г-н президент, перед тем как мы разойдемся, я хотел бы выразить нашу благодарность генералиссимусу за те отличные меры, которые были приняты как для нашего размещения здесь, так и для создания удобств для работы, и вам, г-н президент, за то, что вы столь умело председательствовали на этой Конференции.

Я хотел бы выразить надежду, что эта Конференция окажется важной вехой на пути, по которому три наших народа идут вместе к прочному миру, и что дружба между нами тремя, которые встретились здесь, будет прочной и продолжительной.

СТАЛИН: Это и наше желание.

ТРУМЭН: От имени американской делегации я хочу выразить благодарность генералиссимусу за все то, что он сделал для нас, и я хочу присоединиться к тому, что высказал здесь г-н Эттли.

СТАЛИН: Русская делегация присоединяется к благодарности президенту... Конференцию можно, пожалуй, назвать удачной.

ТРУМЭН: Объявляю Берлинскую конференцию закрытой.

(Конференция закончилась 2 августа 1945 года в 00 час. 30 мин.)»

В этот час миллионы людей на земле спали. На рассвете их ожидало обнадеживающее сообщение.

ИЗ СООБЩЕНИЯ
О БЕРЛИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ТРЕХ ДЕРЖАВ,
2 АВГУСТА 1945 ГОДА

«...Президент Трумэн, Генералиссимус Сталин и Премьер-Министр Эттли покидают эту Конференцию, которая укрепила связи между тремя Правительствами и расширила рамки их сотрудничества и понимания, с новой уверенностью, что их Правительства и народы, вместе с другими Объединенными Нациями, обеспечат создание справедливого и прочного мира...»

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА СПЕЦИАЛИСТА
ПО ВООРУЖЕНИЮ КАПИТАНА ПАРСОНА,
НАХОДИВШЕГОСЯ НА БОРТУ
БОМБАРДИРОВЩИКА Б-29
«ЭНОЛА ГЭЙ»

«6 августа 1945 г.

2 часа 45 минут (время острова Тиниан. По вашингтонскому времени — 5 августа 11 часов 45 минут). Старт.

3 часа 00 минут. Начата окончательная сборка устройства.

3 часа 15 минут. Сборка закончена.

6 часов 05 минут. Пройдя остров Иводзима, взяли курс на империю.

7 часов 30 минут. Введены красные стержни [1].

7 часов 41 минута. Начали набирать заданную высоту...

...8 часов 38 минут. Набрали высоту 11 тысяч метров.

8 часов 47 минут. Проверена исправность электронных взрывателей.

9 часов 04 минуты. Идем прямо на запад.

9 часов 09 минут. Видна цель — Хиросима.

9 часов 15,5 минуты. Бомба сброшена».

Глава двадцать восьмая
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

...С каким негодованием, с каким отвращением рвал я подлую книжонку Брайта!

Мне казалось, что я уничтожаю не только ее, а все, что она собою символизировала: несправедливость, клевету, ложь о нашей стране, распространяемую сотнями западных газет. Мне чудилось, что я уничтожаю стенограммы выступлений легиона антисоветчиков, с которыми мне доводилось скрещивать шпаги на бесчисленных «симпозиумах» и международных встречах с иными названиями.

Нет, я не Дон Кихот, сражаюсь не с безобидными ветряными мельницами. Это совсем другие, зловещие мельницы, тщащиеся смолоть в порошок все наши добрые дела и нас самих. Их черные крылья нависали над нами с первых же дней рождения страны социализма. «Вихри враждебные» двигают ими, раскручивая валы интервенций, заговоров, войн, в том числе затяжной «холодной войны».

Не могу и не хочу отрицать, что были периоды, пусть короткие,— но были,— когда жернова зловещих мельниц лжи замедляли свое вращение, не в силах преодолеть сопротивление миллионов рук честных людей всего мира. Иногда казалось, что победа правды над злом если еще не настала, то приближается, здравый смысл берет верх над антикоммунистическим фанатизмом, факты, реальные факты на-

[1] Устройство, обеспечивающее срабатывание взрывателя бомбы.

ших великих свершений уже сами по себе обезоруживают лжецов.

Но проходило время, короткое, как правило, и в ушах наших снова начинали завывать ветры вражды, шакальи голоса наемных лжецов. Вот и Брайт оказался в их числе.

Я рвал его книжку, пока не обнаружил, что весь ковер моего гостиничного номера покрыт мелкими клочками бумаги. Только тогда я спросил себя: зачем это делаю? К чему? Что за ребячество? Чем я занимаюсь накануне великого события, которое должно начаться завтра, 30 июля 1975 года, и остановить наконец вращение валов на всех этих чертовых мельницах?

Прожитые годы не прошли для меня бесследно. Мне уже трудно было впасть в состояние эйфории, подобное тому, в котором я пребывал в Бабельсберге в июльские дни 1945 года. Жизнь многому научила меня за эти три десятилетия. Теперь-то я понимаю, что противостояние двух миров, столь разных, столь чуждых друг другу, не может быть ликвидировано по мановению какой-то волшебной палочки.

И все-таки... все-таки то, что произойдет завтра и в последующие два дня, не имеет аналогов. Такой попытки свести конфронтацию к минимуму, ограничить ее идейной борьбой, попытки, которую решили предпринять по велению своих народов руководители тридцати пяти государств,— такой глобальной попытки еще не предпринималось ни разу.

Сейчас мне не хотелось взвешивать все «за» и «против», которые впоследствии, очевидно, могут возникнуть. Моя будущая статья, у которой пока что есть лишь заголовок — «Победа», вызревает медленно. Хотя я уже и сегодня с фактами в руках могу доказать любому, что четко обозначившаяся победа сил мира не явилась сама собой. История нашей партии, нашего государства, начиная с Генуэзской конференции, в связи с которой Ленин провозгласил свой знаменитый принцип о «мирном сосуществовании», знала немало международных акций, предпринятых СССР для прекращения опустошительных, братоубийственных войн. И тем не менее ничего подобного завтрашнему Совещанию человечество еще не знало. Это Совещание станет, должно стать подлинным «сотворением мира».

Сотворение мира!

Значит, опять эйфория? Опять безотчетно-всепоглощающая вера в то, что спустя три дня как-то поособому ярко начнет светить солнце, иными станут отношения между людьми?

Ладно, пусть тот, кто хочет, бросит в меня камень. В эти минуты я верил в такое чудо. Или хотел верить?..

Не знаю. Возможное и действительное не равнозначны. Но ведь бывают периоды, когда Земля и очень далекие от нее звезды, подчиняясь законам космогонии, сближаются. И хотя даже в этот период их разделяет бездна световых лет, осознание самого факта, что миры сблизились, что навстречу нам из бездонных глубин Вселенной выплыли планеты, не приближавшиеся никогда раньше, не может не воздействовать на наши эмоции, не порождать самые дерзновенные мечты.

Мечта о вечном мире на Земле — тоже из числа дерзновенных.

...Чтобы отвлечься от угнетающих пошлостей, обрушенных на меня Брайтом, я стал листать газеты и журналы, которые купил «не глядя», покидая Дворец «Финляндия». Первым оказался западногерманский «Шпигель». И надо же было, чтобы мне попался именно тот номер, где многие страницы были посвящены Потсдаму. Снимок вверху: Черчилль, Трумэн и Сталин пожимают друг другу руки. Подпись под ним: «Победители в Потсдаме». Чуть ниже другой снимок: колонна немецких солдат, марширующая в английской зоне оккупации. Под ним такой комментарий: «Многие немцы были согласны еще раз вступить в борьбу против русских». На другой странице — фельдмаршал Монтгомери в окружении английских офицеров. Подпись: «Упредить советские армии!..» Фото Деница... Фото генерала Бёме, командующего немецкими оккупационными войсками в Норвегии... Опять немецкие солдаты и «красноречивое» пояснение: «Не пленные и не перемещенные лица».

Помню я, помню все это. Но почему, ради чего то, что должно было бы вызывать чувство стыда, западногерманский журнал печатает в канун Хельсинкского совещания?..

Откладывая в сторону «Шпигель» и намереваясь перелистать еще американские и английские газеты, я посмотрел на часы. Шел второй час ночи! Вместо того чтобы пораньше лечь спать или поработать над задуманной статьей, я столько времени копался в отвратительной грязи!

А для чего? Ведь и Брайт и «Шпигель» пишут о событии, ушедшем если не во тьму веков, то в глубь десятилетий. Что ж, из прошлого надо извлекать уроки. Разные люди — разные уроки.

Было противно и даже унизительно ползать по полу и собирать обрывки брайтовских страниц, но не оставлять же весь этот мусор на ковре! Мне очень хотелось спустить эти бумажные клочья в унитаз, однако побоялся нанести ущерб финской канализации и воспользовался мусорной корзиной, после чего тщательно вымыл руки.

Решил было опять присесть к столу и поработать немного над статьей. Но тут же отказался от этого: сейчас ничего путного не получится — слишком противоречивые думы переполняют меня. Завтра все станет ясным, все будет расставлено по своим местам, с верой и надеждой сказал я себе. Сегодня я располагаю только мыслями. Завтра в моем распоряжении будут факты. Значит, спать!

Такая глупость, что я не захватил с собой будильника! Впрочем, Совещание откроется только в двенадцать — не просплю. К тому же утром должен позвонить Томулайнен — он пообещал опять свезти меня во Дворец «Финляндия». Следовательно, нет даже необходимости просить портье разбудить меня. Значит, спать. До завтра!

Я еще раз посмотрел на часы и подумал: «завтра» уже наступило!

Как и предполагал Воронов, его разбудил телефонный звонок.

— Хэрр Воронов? — раздался в трубке негромкий, вежливый голос.

«Что за немец трезвонит в такую рань?» — удивился Воронов и ответил с плохо скрытой досадой:

— Да. Это я. Что вам угодно?

— Вы готовы?

— В каком смысле готов? И кто это говорит?

— Это есть Эркки Томулайнен.

— Господин Томулайнен? — удивленно переспросил Воронов. — Я слушаю вас! Что-нибудь случилось?

— Еще нет. Но скоро случится.

— Что вы имеете в виду?

— Совещание, хэрр Воронов.

— Но... сейчас только половина восьмого! А начало объявлено в двенадцать. Или перенесли?

— Нет, нет, зачем надо переносить? — успокоил его финн. — Все идет по расписанию. Я просто хотел предупредить, что через двадцать минут выезжаю за вами. Вы успели позавтракать?

Сказать, что он еще в постели, Воронов постеснялся. Вместо ответа на вопрос Томулайнена сам спросил его:

— Но... не рано ли?

— О нет! Это есть совсем не рано. Через полчаса буду в вашем отеле. Внизу.

— Спасибо,— пробормотал Воронов...

Итак, на все сборы ему предоставлялось не больше тридцати минут. За эти считанные минуты надо было одеться, побриться и выпить хотя бы чашку кофе в гостиничном ресторане. «А к чему такая спешка? — недоумевал он. — Почему надо выезжать почти за четыре часа до начала Совещания?»

...Едва я успел сделать несколько глотков обжигающего рот кофе, как в ресторане появился Эркки Томулайнен.

— Я так думаю... что надо ехать уже,— подходя к моему столику, сказал он.

У моего финского друга особая манера говорить. В его немецком языке мне слышался акцент, похожий на акцент наших прибалтов. Но дело даже не в акценте, а в какой-то раздумчивости, в поразительном спокойствии. Чуть ли не в каждой его фразе присутствуют слова: «Я так думаю...» Вот и сейчас, сообщая мне, что нам пора выезжать, он начал с этих именно слов. Мой бы соотечественник в подобной ситуации обязательно закричал бы еще с порога: «Как?! Ты еще не готов? Скорее! Да скорее же!»

Если бы у Эркки, не дай бог, загорелся дом, он, наверное, и в этом случае без паники сказал бы домочадцам: «Я так думаю..., что надо выносить вещи?»

Однако при всем том Томулайнен, как мне показалось еще вчера, успевает делать все вовремя, в предусмотренные сроки, не раньше и не позже. Неспроста, видимо, поднял он меня с постели ни свет ни заря. Не зря и сейчас вот напоминает, что «надо ехать уже».

Я поставил на стол недопитую чашку кофе и заявил о своей готовности немедленно отправиться в путь.

Та же, что и вчера, машина — маленький, но вместительный «фольксваген» — стояла метрах в десяти от подъезда гостиницы. Когда я проходил мимо портье, он, заметив меня, широко улыбнулся и сказал по-русски:

— Большой вам успех, господин Воронов!

— Спасибо,— ответил я на ходу.

А сев в машину рядом с Томулайненом на переднее сиденье, поблагодарил и его за то, что он возится со мной второй день.

— Не стоит благодарности,— ответил Томулайнен,— это есть моя добрая обязанность. Я работаю в отделе печати нашего министерства иностранных дел и прикреплен к вашему пулу!

— К чему? — переспросил я, не сразу сообразив, что он употребил английское слово, означающее и «группу людей» и «бассейн».

— Все иностранные журналисты разделены на «пулы», — пояснил Томулайнен. — Чисто условно, разумеется. Для их удобств. Вы понимаете, насколько труднее было бы оказывать разные необходимые услуги разом тысяче пятистам журналистам.

— Тысяче пятистам? — переспросил я. — Позавчера мне сказали, что ожидается около тысячи.

— Мы так предполагали. Но уже вчерашний день прибыло тысяча двести. А сегодня с утра ждем еще человек триста. Я имею в виду не только журналистов, которые... ну, пишут, а и фотокорреспондентов, телевидение.

«Не позавидуешь хозяевам! — подумал я. — Полторы тысячи только журналистов! А сколько еще народа в составе делегаций и сопровождающих делегации экспертов, советников! Плюс технический персонал! Наконец, туристы, просто «зеваки», которые наверняка уже хлынули в Хельсинки».

Как разместить их всех? Как организовать уличное движение? Как обеспечить меры безопасности при таком беспрецедентном съезде глав государств, министров? Как помочь всей этой разноязычной массе людей в поддержании постоянной связи со своими столицами и редакциями?

Вчера при посещении Дворца «Финляндия» мне показалось, что он до предела начинен всевозможными средствами связи — телексами, обычными телеграфными аппаратами и телефонами, телевизорами, радиопередатчиками. Но я представить себе не мог, как все это будет запущено в действие!..

Когда мы проезжали по улице Техтанкату мимо Советского посольства, я выразил удивление: почему здесь так многочисленна полицейская охрана?

— Тут живет господин Брежнев! — ответил мне Томулайнен с несвойственной ему торжественностью.

Это сообщение показалось мне сомнительным. Я был уверен, что Брежнев и другие главы делега-

ний живут в специально отведенных для них, тщательно засекреченных резиденциях.

Во мне всегда вызывало неприятную настороженность стремление некоторых журналистов выдавать себя за людей, которым доступны все государственные секреты. Неужто и Томулайнен схож в этом отношении с Брайтом?

— Почему вы думаете, что глава советской делегации поселился именно в посольстве? — как можно безразличнее спросил я.

— Потому что все главы государств живут в своих посольствах. Я так думаю — там им удобнее.

В этом его предположении был свой резон. Территориальная обособленность глав государств от аппарата посольств, наверное, создала бы какие-то неудобства. Да и с местными условиями надо считаться: располагают ли Хельсинки тридцатью пятью обособленными и притом совершенно одинаковыми (протокол!) резиденциями?

Я промолчал.

— Скажите,— неожиданно спросил Томулайнен,— вам лично приходилось встречаться с господином Брежневым?

— Очень редко и не больше чем на несколько минут. А почему это вас интересует? — в свою очередь, спросил я и подумал: неужели этот спокойный, выдержанный человек пытается выведать у меня какие-то «секреты», о которых я и понятия не имею!

— Видите ли, мы у себя в Финляндии считаем вашего лидера отцом нынешнего Совещания,— сказал Томулайнен. — Это не комплимент, оно так и есть. Не думаю, что Совещание могло бы состояться, если бы не он.

— Не хочу гадать,— ответил я,— в подготовке Совещания приняли участие десятки, если не сотни людей из многих стран. В том числе и Финляндии. А что касается лично товарища Брежнева...

Я умолк под выжидающим взглядом Томулайнена. Не знал, что именно следовало сказать ему. Просто повторить то, что не раз читал о Леониде Ильиче в газетах, о признании его авторитета во всем мире, о своем уважении к нему? Но, пожалуй, не этого ждет от меня Томулайнен. А чего?..

Как бы проникая в мои мысли, Томулайнен подсказал:

— Вы поймите меня правильно, господин Воронов! Наши страны — добрые соседи. Вы — страна-гигант. Мы — маленькое государство, но финны не меньше чем вы любят свою родину. Так вот: каждому финну не может не быть интересным... нет — важным! — какой именно человек руководит вашей великой страной. Какой это человек? — повторил он, делая ударение на последнем слове.

Я знал о Брежневе то же самое, что знает о нем каждый мой соотечественник. Неоднократно слышал его речи, естественно, читал все его печатные труды. Мне доводилось перемолвиться с ним двумя-тремя фразами, когда в числе других журналистов, редко правда, сопровождал его в заграничных поездках. Но я чувствовал, что этого еще мало для того, чтобы удовлетворить желание Томулайнена больше узнать о Леониде Ильиче не только как о политическом деятеле, но и как о личности.

— Мне трудно ответить на ваш вопрос, господин Томулайнен,— откровенно признался я. — Трудно потому, что не имею чести лично знать товарища Брежнева, хотя... у меня, конечно, есть свое собственное представление о нем. Повторяю, свое личное! Приблизительный образ Брежнева.

— Но это и есть то самое, что я хочу от вас услышать! — живо и даже, как мне показалось, обрадованно произнес Томулайнен.

— Тогда, значит, так... — медленно, стараясь наиболее точно выразить свои ощущения, начал я. — Во-первых, мне кажется, что он такой, каким должен быть человек в его положении. На посту лидера великой партии и социалистического государства.

— Человек на своем месте! Вы это имеете в виду?

— Это тоже немало, вы согласны?

— Конечно,— сказал Томулайнен,— но все же... Вы извините за это «пиратское» интервью... Каково, по-вашему, его главное качество? Основная черта характера?

Я подумал и ответил:

— По-моему, доброта. Активная доброта.

— Доброта плохо сочетается с политикой, господин Воронов! Во всяком случае, не часто. Политик — я так думаю — прежде всего есть политик.

— Отчего же? Политический деятель при прочих равных условиях может быть крутым, жестким, жестоким даже. А может быть и добрым. Правда, чтобы оставаться добрым, требуется много душевного мужества, твердости, непримиримости...

— Вы говорите парадоксами, господин Воронов.

— Отнюдь нет. Власть нередко портит даже хороших, добрых от природы людей. Делает их элитарными, то есть обособленными и сплошь да рядом жестокими. Не помню, кто это когда-то сказал: сначала человек берет власть, потом власть захватывает человека. Парадокс, конечно. Однако нести громадный груз ответственности и не растратить при этом душевности по плечу не всякому. Я имею в виду душевность, свойственную настоящему коммунисту, рождаемую чувством долга и требовательностью к себе.

— Что же сформировало господина Брежнева как руководителя именно такого типа?

— Партия, идеи коммунизма. Только не «вообще». Как бы это лучше сказать... в повседневном, что ли, в конкретном историческом и человеческом бытии. Брежнев был рабочим, был солдатом. Он прошел войну от первого до последнего дня. Его принципы выдержали проверку огнем и закалены в том же огне. Может ли кто-либо ненавидеть войну больше, чем тот, кто сам испытал на себе этот испепеляющий кошмар?

— Война испепеляет и души, ожесточает людей,— осторожно вставил Томулайнен.

— Это смотря чьи души. Души борцов за правое дело не ожесточает даже война. Более того, она делает их добрее в высшем смысле этого слова.

— Опять не угонюсь за вашей мыслью...

— Да, конечно,— согласился я,— уследить за ходом моих мыслей, по-видимому, нелегко. Отвечая вам, я ведь одновременно пытаюсь уяснить кое-что для себя самого, так сказать, размышляю вслух... В самом деле, парадоксально в огне разрушения думать о грядущем созидании. Но это было действительно так. Хочу напомнить вам, что Леонид Брежнев и на фронтах оставался политическим руководителем — комиссаром, а это люди особого склада...

— Какова все-таки основная профессия господина Брежнева? — спросил Томулайнен.

— Я бы фигурально выразился так: строительная.

— Позвольте!.. Мне доводилось читать, что по профессии он инженер-металлург. Значит, то ошибка?

— Ошибки нет. «Профессия» у Леонида Ильича далеко не одна. Да, он инженер. Но в то же время и партийный руководитель, и государственный деятель. Военный. Дипломат... Короче говоря — коммунист в самом всеобъемлющем смысле этого слова. Профессий много, но главная из них — строительство.

— Вы, наверное, имеете в виду его деятельность по восстановлению разрушенного войной? Его, так мне думается, прошлую профессию?

— Нет, и настоящую. Пожизненную. То, что я имею в виду, не профессия в привычном понимании этого слова, а нечто гораздо большее. Тут годятся скорее такие понятия, как «призвание», «дело жизни».

— Что же он строит теперь?

— Здание мира. Такое, которое не смогут разрушить ни эрозия, ни усталость металла. Которое устоит при любых землетрясениях, тайфунах и всем таком прочем. И которое завтра будет еще крепче, чем сегодня. Должно быть!

Наступило короткое молчание. Видимо, Томулайнен осмысливал мои слова. Потом произнес задумчиво:

— Вы сказали, что господин Брежнев был рабочим. Это тоже немаловажно для уяснения его индивидуальности.

— Да,— ответил я твердо и добавил: — Думаю, и его доброта к людям в немалой степени объясняется тем, что сам он вышел из народа, притом именно рабочего народа. Строительство «мирного мира» и забота о благе народном, о благе каждого человека и всего человечества в целом неразделимы. Это и стало главным делом Брежнева, основным содержанием нашей внешней и внутренней политики. Впрочем, о том, какова наша внешняя политика, да и внутренняя тоже, мы, вероятно, услышим от него самого. Леонид Ильич наверняка выступит на Совещании... Кстати: быть добрым отнюдь не означает быть всепрощающим. Уверен, что тех, например, кто не прочь запалить пожар новой мировой войны. он ненавидит самой лютой ненавистью...

— Оставаясь добрым?

— Да. Такая ненависть воедино слита с добротой. Ненависть к сотням и доброта к миллионам, которым война угрожает.

— Это, как я думаю, верно,— согласился Томулайнен и, мельком взглянув на часы, сказал явно самому себе: — Однако надо поторапливаться!

Я тоже посмотрел на часы. Было двадцать восемь минут девятого. «Зачем нам торопиться в такую рань?»— хотел я возразить ему, но эти мои слова непременно потонули бы в оглушительном шуме авиационного мотора. Перед ветровым стеклом нашей машины возник вертолет. Он летел очень низко, может быть, не более чем в десятке метров над землей.

— Полиция! — с добродушной усмешкой пояснил Томулайнен.

— Опасаетесь незваных гостей? — спросил я.

— Предугадать трудно... Совсем недавно мы получили сообщение из Италии. Таможняя полиция при облаве на террористов обнаружила у них более тысячи чистых бланков финских паспортов.

— Я думаю, что мы приедем в числе первых,— сказал я, меняя тему.

— Не скажи «гоп», пока не прыгнул! — неожиданно ответил Томулайнен по-русски. И добавил уже по-немецки: — Так, кажется, любят говорить в России.

Томулайнен был прав. До сих пор мы ехали по далеким от центра улочкам, а теперь приближались к магистральной улице Маннергейма. Чтобы попасть на нее, требовалось свернуть в переулок. Но черта с два! Весь он забит автомашинами. Томулайнен попытался выскочить на магистраль через параллельный переулок. Однако едва мы въехали в него, как сразу же оказались затертыми со всех сторон другими машинами. Теперь уже и назад хода нет...

Однако машины не стояли. Они двигались. Заторов в нашем понимании не было. Только скорость движения вряд ли превышала пять километров в час. Казалось, что мы не едем, а тихо плывем, несомые автомобильным течением.

Наконец нас вынесло на главную улицу. Ее проезжая часть была скрыта от глаз водителей, да и пассажиров тоже. Впереди — только автомобильные крыши, справа и слева — профили соседних машин. По профилям я имел возможность убедиться, сколь разнообразен этот автопоток. Чего тут только не было! Похожие на акул французские «ситроены», огромные «кадиллаки», «крейслеры», «шевроле». Машины средних размеров — шведские «вольво», немецкие «мерседесы». А между ними как букашки в стаде бронтозавров — горбатенькие «фольксвагены» вроде нашего и другие малолитражки неизвестных мне марок. И все — с разноцветными карточками-пропусками на ветровых стеклах, с флажками разных государств на радиаторах или на одном из крыльев.

Машины двигались молча — подавать звуковые сигналы здесь, наверное, запрещено и практически бесполезно. Слышалось только гудение перегретых моторов, которое время от времени заглушалось шумом проносящихся над нами полицейских вертолетов.

Тротуары по обе стороны улицы были забиты людьми. Я не рискую назвать их пешеходами. В большинстве своем они либо стояли, либо сидели на крохотных зеленых островках, вооружившись биноклями и фотоаппаратами.

Они что-то кричали — главным образом по-фински,— размахивали маленькими флажками всех 35 наций — участниц Совещания. Я не без гордости отметил про себя, как много советских флажков! Думаю, что по количеству они уступали лишь финским.

— Да кто же едет во всех этих машинах?! — недоуменно воскликнул я, обращаясь к Томулайнену. — Члены делегаций?

— О нет, хэрр Воронов,— покачал он головой. — Это еще есть рано для делегаций. Они поедут кортежами, и путь для них будет делаться свободным. Мы имеем цель добраться до Дворца раньше, чем туда направятся делегации.

Я еще раз посмотрел на часы. Шел одиннадцатый час. Черт побери, при таком движении времени у нас действительно оставалось в обрез! Но выхода не было — ни в переносном, ни в прямом смысле этого слова. Я высунул голову в открытое окно машины, стараясь надолго запечатлеть в своей памяти картину центральной улицы города за час сорок минут до начала Совещания. Да и ехать-то с закрытыми окнами было невозможно,— жара стояла нестерпимая...

Вспомнилось, что и в Бабельсберге три десятка лет тому назад тоже стояла тропическая жара и движение по улицам иностранных и советских машин тоже представлялось мне оживленным. Но какое может быть сравнение того, что я видел там, с тем, что вижу сегодня! В Потсдамской конференции участвовали делегации всего трех стран. При них было аккредитовано около двухсот журналистов. Добавим технический персонал, который машинами, как правило, не пользовался. А здесь? Ведь это даже вообразить трудно: тридцать пять делегаций, полторы тысячи журналистов и тысячи, а может быть, даже десятки тысяч людей, расположившихся на тротуарах, на балконах домов, свисающих из окон...

Охрана? Должна же она быть! Как можно гарантировать, что в этом безумном, безумном, безумном мире не найдется десятка или сотни патологических выродков? Неужто не исхитрились они проникнуть сюда? По собственной логике шизофреников или по найму тех, для которых Хельсинкское совещание означает крах всех надежд.

Видел ли я полицейских? Да. В своей серо-голубой форме они легко различались в этом разноликом, разноязычном скопище людей и машин. Одни стояли у самой кромки тротуаров, другие помогали «расцепить» склинившиеся автомобили. И все же полицейских было мало, очень мало! И так же, как на аэродроме в день моего прилета сюда, вели они себя весьма корректно, ненавязчиво, доброжелательно. Конечно, я не сомневался, что наряду с полицейскими в серо-голубой форме здесь есть еще и охрана в штатском. Здравый смысл подсказывал мне это. Но организаторы Совещания постарались сделать так, чтобы и необходимые меры безопасности были обеспечены, и вместе с тем столица Финляндии отнюдь не походила бы на вооруженный лагерь...

— Скажите, господин Томулайнен,— спросил я,— сколько же у вас в городе гостиниц? Представляю себе, как трудно было разместить всю эту ораву иностранцев, обрушившуюся на Хельсинки. Да и своих тоже. Ведь сюда, наверное, приехали жители пригорода и ближайших городов.

— Гостиниц у нас, я полагаю... как это?.. ну, достаточно. К сожалению, все их заняли русские. Остальным жить просто негде. Нам пришлось разместить остальных гостей в... как это?.. в старых железных... ну, железнодорожных вагонах. Воображаю, что там творится в такую жару! — Последнюю фразу он произнес каким-то плаксивым голосом.

«Что за чушь он прет? — изумился я. — Или его подводит нетвердое знание немецкого языка? Впрочем, язык он знал вполне прилично и сказал, несомненно, то самое, что хотел сказать».

— Русские? — переспросил я. — Что вы такое говорите, господин Томулайнен? Наши журналисты живут на теплоходе «Михаил Калинин». В гостиницу устроились с большим трудом лишь опоздавшие на пароход. Вроде меня. Как же вы утверждаете?..

— Да не я это утверждаю,— с улыбкой прервал меня Томулайнен,— а журнал «Ньюсуик». Американский. Знаете такой?

— Еще бы!

— Так вот, в последнем номере можете прочесть, что русские «оккупировали» все гостиницы в Хельсинки, а остальных участников Совещания пришлось засунуть в эти... ну, вагоны.

— Бред собачий! — воскликнул я.

— Простите... не понял.

— Это вы меня простите. Я воспользовался русским слэнгом. Он означает бессмыслицу, глупость.

Перед отъездом в Хельсинки я потратил много часов на чтение западной периодики. Сколько было в ней этого самого «бреда собачьего» по поводу Хельсинкского совещания! Однако день ото дня происходила некая эволюция. Сначала преобладали утверждения, что Совещание в Хельсинки никогда не состоится. Потом начались рассуждения, что если, мол, оно и состоится, то выгодно будет только Советскому Союзу и социалистическим странам. Затем начались, робкие правда, высказывания в том духе, что такое Совещание было бы небесполезно и для Европы в целом. Наконец, прозвучало требование: вышвырнуть в «мусорную корзину» химерические планы «отбрасывания коммунизма»! В газетах появился перечень стран, заявивших о готовности участвовать в Совещании. Назывались примерные сроки его начала. Начались гадания, кто приедет на Совещание в качестве полномочного представителя своей страны, прогнозы относительно содержания еще не произнесенных речей...

Мне пришла тогда на память книга Тарле «Наполеон». Кажется, в ней приведены выдержки из французской печати при попытке низложенного

императора вторично захватить власть. Когда Наполеон только что покинул место ссылки, он подвергся снисходительным насмешкам. Но по мере приближения его и верных ему войск к столице Франции, тон газет меняется. Насмешки стали перемежаться предостережениями: «Узурпатор намерен дойти до Парижа»; «Тирану удалось преодолеть лишь жалкий десяток километров»; «Низложенный император на полпути к Парижу». Потом газетный хор дружно грянул: «Его величество приближается», «Да здравствует Наполеон Бонапарт!». И, наконец, лесть сменилась мстительным торжеством по поводу нового поражения Наполеона: «Разгром авантюриста на подступах к Парижу»; «Ему снова суждена заслуженная жалкая участь,— французы ликуют!».

Аналогия, конечно, весьма отдаленная, но формально схожая. Вот только нет у западных «пифий» ни малейших шансов на мстительное торжество. То, что сказал сейчас Томулайнен об «утке», пущенной журналом «Ньюсуик», меня скорее рассмешило, чем разозлило: видно, совсем плохи дела у противников Совещания, если они докатились до такой смехотворной лжи.

Когда перед нами замаячило беломраморное здание «Финляндия-тало», было двадцать минут двенадцатого и я мысленно от души поблагодарил Томулайнена за его предусмотрительность. Дворец скорее угадывался, чем был виден. Расположенный в центре города, в парке «Хеспериа», на берегу озера, или залива,— я не знал точно,— он отсюда, с улицы, со стороны парламента выглядел очень низким; различалась только верхняя его часть.

Но я-то уже знал, как обманчиво это впечатление. Помнил, как Дворец восхитил меня вчера, когда я взглянул на него с берега. Как бы вписанный в склон горы, спускавшейся к заливу, он походил то ли на айсберг, то ли на огромный белый пароход, плывущий по синей водной глади.

Еще в машине я развернул светло-зеленую папку, которую передал мне вчера Томулайнен. Не всегда же рассчитывать на его помощь. Надо самому хорошенько изучить хотя бы вот эту бумагу «Организация работы прессы во Дворце «Финляндия». В который уж раз я стал перечитывать ее.

Итак: журналисты смогут во время Совещания находиться в зале. Они должны проходить через дверь с надписью «Пресса» и оставаться там, где им положено (смотри прилагаемую карту). За ходом Совещания можно следить с галереи, путь на которую проходит через конференц-зал для прессы. Все речи будут синхронно переводиться на шесть языков («не забудьте получить миниатюрный приемник и наушники во время проверки на безопасность»). Конференция будет также транслироваться через телемониторы, установленные в рабочих комнатах для прессы... Бюро информации — на втором этаже крыла, отведенного для прессы. К услугам журналистов: пишущие машинки, копировальные аппараты, телекс, телеграф, телефоны. Пресс-бар расположен... Приемы... брифинги...

«Нет,— подумал я,— все это запомнить невозможно. Буду плыть по течению следом за другими журналистами!..»

Мы все еще ехали. Теперь настолько медленно, что я свободно мог читать из окна машины многочисленные надписи на щитах, установленных по обе стороны дороги. На одном из них были указаны места стоянок для автомашин.

«Бог ты мой, что бы я делал, если бы сидел за рулем вместо Томулайнена!» Все машины, даже принадлежащие делегациям, должны были иметь пропуска на ветровом стекле. На пропусках — обозначения места парковки — «ЕТУК-А» или «ЕТУК-Б».

Стоянка для журналистских машин располагалась на значительном удалении. Мы проехали мимо еще одного указателя, на котором я успел прочесть, кто с какими пропусками через какой вход может войти во Дворец, куда следует направляться машинам после высадки пассажиров, каким образом их вызывать по радио обратно к подъезду, какие документы должны предъявлять водители и пассажиры, въезжающие в соответствующие ворота...

Тем временем мы попали в самую, как говорится, круговерть: машины съезжались, разъезжались, разворачивались, подавали задним ходом. И у меня создалось впечатление, что нам никогда уже не пробиться ни к стоянке, ни к входу, предназначенному для таких простых смертных, как я.

Томулайнен вытащил из багажничка в переднем щитке машины и положил себе на колени нечто похожее на «кроки» армейских разведчиков. Вот это да! Некогда научившийся читать «с ходу» топографические карты, я оробел перед этим замысловатым чертежом: так много было здесь каких-то таинственных значков, стрелок, обозначавших повороты. Но Томулайнен ориентировался по ним превосходно. Мы проехали мимо стоявшего в отдалении броневика, увидели бесконечную шеренгу вооруженных полицейских (потом я узнал, что все шоссе от аэродрома до Дворца тщательно охранялось), втиснулись в уже застывшее на месте стадо корреспондентских машин, вылезли из нашего «фольксвагена» и пошли по направлению к Дворцу.

Пока я «проверялся на безопасность», получал радиоприемник с наушниками и вошел, наконец, в помещение Дворца через дверь, указанную мне Томулайненом, истек почти весь тот огромный резерв времени, каким мы располагали, выезжая из гостиницы. Стрелки часов показывали без двадцати двенадцать.

— Ну,— сказал мой заботливый проводник,— теперь вам придется действовать самостоятельно. Прежде всего советую как можно скорее занять место на галерее для прессы. Можете следить за совещанием и по телевизору, из холла... Все документы Совещания переводятся на шесть языков, включая, конечно, русский. За ними надо спуститься вниз — в цокольный этаж. В холле, где мы сейчас находимся, располагаются: бюро информации, банк, почта, газетный киоск, бюро путешествий, служба фотокопи-

рования для фотографов, принимаются заказы на телекоммуникации...

Я, конечно, и на этот раз всего не запомнил, мысленно утешив себя спасительным русским «разберемся!». Вслух же спросил Томулайнена:

— А что означает эта веревка перед нами?

— Ограждение. По ту сторону этого канатика будут проходить делегации. Вам же следует пройти вон туда. — Он показал на дверь за моей спиной. — А теперь я должен бегать!

Я, конечно, понял, что Томулайнен собирается не «бегать», а бежать по делам. Сердечно поблагодарил его за оказанную мне помощь и устремился наверх. Там меня поджидало первое разочарование. Вместительная, как мне показалось вчера, галерея для прессы хотя и была почти безлюдна, однако места там оказались уже занятыми — на стульях лежали блокноты, фотоаппараты или другие предметы, как правило прикрепленные к сиденьям клейкой лентой «скоч».

По табличкам, возвышающимся над рядами, расположенными полукругами внизу, в зале, я понял, что делегаты рассядутся в соответствии с французским алфавитом. Чтобы увидеть советскую делегацию, которой предстояло разместиться в глубине зала в левом его углу, если смотреть сверху, я должен был во что бы то ни стало найти для себя свободное место справа. Но как назло все места в правой части галереи были заняты. Я растерянно озирался, стараясь увидеть кого-либо из знакомых журналистов — советских или иностранных — все равно. Где-то в отдалении мелькнуло лицо Юрия Жукова, которому, конечно, было не до меня. Потом увидел направлявшегося к двери Клауса... И вдруг услышал совершенно незнакомый мне голос:

— Prego signore! [1]

Я повернулся. Молодой черноволосый человек, несомненно итальянец или француз, расположившийся почти вплотную у правой стены, энергичными жестами манил меня к себе. На коленях у него лежали две фотокамеры, одна — с длинным телевиком.

— Руссо? — спросил он, когда я приблизился к нему, и тотчас же осведомился: говорю ли я по-итальянски или по-французски?

Эти-то его вопросы я понял, хотя ни итальянского, ни французского языка не знал.

— Руссо, руссо! — забормотал я.

— Итальяно! — сказал мой новый товарищ, тыча пальцем себе в грудь. Потом резким движением он сорвал клейкую ленту с фотокамеры, лежавшей на соседнем стуле, и повторил:

— Прего!

Я ответил:

— Мерси! Милле грация! — И этим исчерпал до дна весь свой словарный запас.

На помощь мне поспешил другой незнакомец, сидевший позади итальянца.

— Вы говорите по-английски? — спросил он.

— Да, да! — обрадованно ответил я.

[1] Прошу, синьор! *(ит.)*

— Этот итальянец утверждает, что видел вас в каком-то пресс-баре. Слышал, как вы спорили там не то с англичанином, не то с американцем. О чем спорили — я не понял.

— А вы американец? — сам не зная зачем, спросил я.

— Нет, я швед,— ответил он.

Не успел я усесться на предложенный стул, как услышал оклик от двери на родном русском языке:

— Эй, Воронов? Какого черта ты здесь ошиваешься?

Я вскочил, поднялся на цыпочки и разглядел наверху у двери корреспондента ТАСС Подольцева, того самого, который в первый вечер моего пребывания здесь помог мне пройти процедуру аккредитации.

— Займи место и быстро ко мне! — снова крикнул Подольцев таким категорически-командным тоном, какому позавидовал бы, наверное, армейский старшина-сверхсрочник.

Я автоматически подчинился этой команде.

— Займите же место! — напомнил мне швед, вытаскивая из кармана и протягивая мне катушку «скоча». — Прилепите к стулу что-нибудь. Визитку. Носовой платок. Ботинок, наконец!

Я прикрепил свою папку с «инструкциями», положил на нее портативный приемничек, заранее нажал кнопку под номером, соответствующим переводу на русский, и стал пробираться к Подольцеву.

— Сейчас начнут прибывать делегации! — услышал я от него. — Ты что, не собираешься посмотреть на это?

— Надо бы.

— Тогда айда вниз!..

Сломя голову он помчался по лестнице, по которой я несколько минут назад поднимался сюда. Следуя за ним, я опять оказался в том же самом холле, где только что расстался с Томулайненом. Но теперь тут многое изменилось.

Толпа журналистов стояла вдоль витого шнура, по ту сторону которого должны будут проходить делегаты. Занять место у шнура было уже невозможно, и я встал позади журналистской толпы, вытягивая голову, чтобы убедиться, смогу ли отсюда увидеть что-либо.

Видно было плохо, все заслоняли спины, плечи, головы стоявших впереди.

«Эх, тряхнем стариной!»— сказал я себе и стал бесцеремонно проталкиваться вперед.

Не знаю, как уж это получилось у меня, но до второго ряда я добрался, правда взмокнув так, что сорочка прилипла к телу. Дальше хода не было — в первом ряду стояли сотрудники охраны. Один из них строго взглянул на меня, и я, пробормотав по-русски «извините», остался на завоеванном мною «жизненном пространстве» в десятка два квадратных сантиметров.

Вспыхнули прожекторы. Меня, и без того исходившего потом, они словно бы окатили горячим душем. Слегка ослепленный сиянием прожекторов, я увидел все же входившего в холл президента Финляндии Кекконена.

Толпа подалась вперед, тихо зашуршали почти бесшумные — совсем не такие, как в Потсдаме! — кинокамеры. Не защелкали, а тоже как-то зашуршали фотоаппараты...

Не могу, убей меня бог, не могу восстановить хотя бы приблизительно, в какой последовательности входили делегации. Врезался в память Кекконен — высокий, с бритой головой, широкоплечий, похожий на неподвластного годам спортсмена. Помню изящного, с приветливо-иронической улыбкой Жискар д'Эстэна. Запомнил Хонеккера и чуть было не вскрикнул от радости и удивления, увидев в числе сопровождавших его людей постаревшего, но все еще бодрого Ноймана...

Я весь напрягся в ожидании советской делегации. И вот она появилась!

Леонид Ильич был в черном костюме с галстуком в красно-синюю клетку. За ним следовали Громыко, Черненко и Ковалев.

Брежнев улыбался. Это была совсем не та улыбка, которую мне приходилось в разное время видеть на лицах некоторых государственных деятелей. Те улыбки были похожи на платки фокусника. Раз! — черный платок. Легкий взмах — и тот же платок становится белым...

Я помню, как улыбались Черчилль, Трумэн, Бирнс, Эттли, Иден, когда на них нацеливались жерла теле-, кино- и фотоаппаратов. Их лица — за несколько секунд до того или равнодушные, или хмурые, или даже злые — тотчас же преображались, как будто кто-то невидимый мгновенно надевал на них маску-улыбку.

Брежнев же улыбался естественно. Я был уверен, что вот такая же добрая, открытая улыбка озаряла его лицо еще до входа во Дворец, еще в машине.

И вся толпа журналистов, видимо, тоже догадалась об этом. Она лавиной, штурмовым натиском подалась к шнуру и, если бы хоть чуть-чуть сплоховала охрана, наверняка порвала бы эту эфемерную преграду.

В других подобных случаях на лицах фотокорреспондентов и кинооператоров ничего нельзя прочесть, кроме озабоченности. Все их помыслы сосредоточены на том, чтобы «объект» попал в кадр. На все остальное им начхать.

Не то было теперь. Искренняя улыбка Брежнева вызвала ответные, такие же приветливые улыбки. Его праздничность передалась и тем, кто фотографировал советскую делегацию.

Всем своим видом располагали к себе и остальные ее члены. Сосредоточенное, обычно неулыбчивое лицо Громыко на этот раз выглядело добродушным. Таким я не видел его даже в бабельсбергской столовой. Широкое, типично русское лицо Черненко с чуть прищуренными от нестерпимого света прожекторов глазами само, казалось, излучало свет сердечности, будто встретился он здесь с давними друзьями. А Ковалев?.. Я знал его, пожалуй, лучше, чем других членов советской делегации. Мы встречались в Женеве, когда он нес на себе основную тяжесть переговоров на втором, подготовительном этапе нынешнего, заключительного Совещания. Мне приходилось два или три раза просить у него совета, перед тем как начать писать очередную корреспонденцию. Я хорошо помнил его смуглое, точно опаленное тропическим солнцем лицо, его мягкую по произношению и твердую по сути своей речь... Но сегодня и он показался мне если не иным, то, во всяком случае, в чем-то изменившимся: преобразившимся из хорошо воспитанного дипломата просто в хорошего человека, с душой нараспашку.

И Брежнев, и остальные члены делегации шли не замедляя шагов, как это делают многие другие, когда знают, что их фотографируют, но и не быстро, как ходят те, кто не желает попасть в объективы съемочной аппаратуры. Они шли непринужденной, спокойной походкой и появились-то здесь как раз в тот момент, когда прозвенел первый звонок, возвещающий скорое открытие Совещания.

Я постоял в холле еще немного, посмотрел на высокого, с зажатой в левой руке трубкой американского президента Форда, на Макариоса в епископском облачении, на элегантного, хотя несколько располневшего Тито и вскоре обнаружил, что толпа журналистов значительно поредела. Очевидно, советская делегация была одной из главных целей их съемок, и теперь почти все устремились наверх, чтобы не пропустить начала заседания.

Когда я вернулся на галерею, наши делегаты уже сидели в зале.

Прозвенел второй звонок, затем третий... И вот на трибуне появился Кекконен...

Я знал, что записывать речи ораторов — занятие бесполезное. Каждая речь в отпечатанном виде, в переводе на шесть языков появится на столе для прессы почти в ту же минуту, когда оратор сойдет с трибуны. Поэтому я даже не вынул из карманов моих письменных принадлежностей.

Зато мой сосед, итальянец, работал вовсю. Менял объективы, перезаряжал аппараты, свешивался с балкона так, что мне хотелось схватить его за ноги. Да и другие — те, что были вооружены разнообразной оптикой, использовали ее «на все сто».

А я слушал...

Теперь, когда Совещание уже закончилось, могу сказать, что мне были интересны все речи. В них звучали такие слова и фразы, как: «поворотный пункт истории», «разрядка напряженности», «сокращение вооруженных сил», «впервые на Европейском континенте столько государств с различными социальными системами сообща ищут и сообща находят решения проблем...».

Мир, мир, разрядка, сосуществование!

Если у меня и были какие-то тайные опасения, что на Совещании могут возникнуть стычки и даже разногласия, то уже первые речи делегатов рассеяли их.

И все же я с замиранием сердца ждал выступлений Леонида Ильича Брежнева и Джеральда Форда — руководителей стран, от взаимоотношений ме-

жду которыми в конечном итоге зависел мир на земле. Но на первом заседании выступили только Кекконен и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций — Вальдхайм. После чего совершенно неожиданно для меня был объявлен двухчасовой перерыв.

...Второе заседание началось речью премьер-министра Великобритании Вильсона. Затем выступили представители Греции, Канады, главы социалистических государств — Живков, Хонеккер. Потом — Альдо Моро, представлявший Италию, Шмидт из ФРГ...

Я был бы готов подписаться почти под каждым словом, которые они произносили. Как будто сам воздух, вся атмосфера зала дышала озоном разрядки. Все ораторы говорили о необходимости покончить с конфронтацией, уважать европейские границы, жить в дружбе...

После выступления канцлера Шмидта председательствующий — представитель Ватикана Казароли — объявил заседание закрытым. Ни Брежнев, ни Форд в тот первый день не выступили. Это было единственным, что несколько разочаровало меня.

Я вышел в холл. В глаза бросились огромные вазы, выстроившиеся в ряд посредине холла. Другие люди, спускавшиеся с галереи, тоже с недоумением смотрели на эти так не гармонировавшие с общим стилем вазы. Некоторые из журналистов в полном безразличии подошли к ним ближе и... вдруг кинулись вперед. Я тоже направился к странным вазам. И только тогда из-за спин склонившихся над ними или даже присевших на корточки разноплеменных гостей Финляндии увидел, что вазы наполнены клубникой.

Наверное, неловко даже рассказывать об этом... Такие события, такие проблемы решаются! А мы, кажется, превратились в детей, навалившись на подарок финских фермеров. Брали сначала по одной ягоде, а потом осторожно, чтобы не раздавить, выгребали из ваз их содержимое целыми пригоршнями и отправляли в рот. Вид у этих ягод был настолько соблазнительным, что я никак не мог от них оторваться.

Не знаю, что со мной было бы впоследствии, если бы не почувствовал чью-то руку на своем плече. Оглянулся — это был Клаус. У него на губах тоже следы клубничного сока — это избавило меня от смущения, иронизировать надо мной он не мог. Мы просто посмотрели друг на друга и расхохотались.

— Ну что, Михаил, порядок? — спросил Клаус, он любил щегольнуть знанием русской разговорной речи.

— Всюду порядок, Вернер, и тут и там,— ответил я, показывая сначала на вазы, а потом на открытые двери, ведущие в зал заседаний.

Мы отошли в сторону.

— Не знаешь, когда выступает товарищ Брежнев? — вполголоса спросил он.

— Не знаю,— ответил я. — Сам жду.

— Торопишься куда-нибудь? — поинтересовался Клаус.

Я пожал плечами:

— Куда мне торопиться, если заседание окончено?

— Вот и хорошо, что не торопишься. С тобой хотел бы поговорить один человек из нашей делегации.

— Нойман?

— Он самый. Послал меня, чтобы я тебя пригласил.

— Куда? Готов хоть на край света.

— Да нет, это слишком далеко. Рядом с нашим посольством есть маленький ресторанчик, вроде немецкой пивной. Товарищ Нойман будет ждать тебя там...— Клаус посмотрел на часы,— через двадцать минут...

Ух, как мы мчались на машине Клауса по опустевшим улицам Хельсинки! Не прошло и двадцати минут, как оказались в том маленьком ресторанчике, или в пивной, где стены были украшены гравюрами на темы «Калевалы». Из-за дальнего столика встал Нойман и пошел мне навстречу.

Мы еще продолжали обниматься, целоваться и трясти друг другу руки, когда Клаус сказал:

— А теперь я оставляю вас наедине. Наверное, у вас есть о чем поговорить. Когда мне вернуться за тобой, Миша?

— Вернись через двадцать пять минут,— ответил вместо меня Нойман.

— Так мало? — воскликнул я с явной обидой.

— Через полчаса к товарищу Хонеккеру приедет товарищ Брежнев. Вся делегация должна быть на месте.

— Ты член делегации ГДР?

— Ну, это ты хватил через край. Я — всего лишь скромный эксперт по общегерманским вопросам.

— Понимаю,— сказал я, почему-то понижая голос до полушепота, хотя ресторанчик был пуст — в этот день жители Хельсинки, конечно же, предпочитали быть на улицах, наблюдать за кортежами машин, почетными эскортами мотоциклистов, за появляющимися иногда в воздухе полицейскими вертолетами, а — главное — может быть, увидеть людей, которых до сих пор они знали лишь по фамилиям да газетным портретам...

Нойман выглядел неплохо для своих лет... А сколько же ему? При первой нашей встрече он показался мне лет на пять старше, чем я. Значит, сейчас ему за шестьдесят...

Я с испугом посмотрел на часы. Прошло уже пять минут из тех двадцати пяти, которыми располагал Нойман, а я все еще ни о чем не спросил его!

И тогда с языка моего стали срываться какие-то клочковатые, лишенные логической связи фразы, восклицания, вопросы: «Столько лет прошло!.. Ты помнишь ту историю с трамваем?.. А как дал мне читать заявление Германской коммунистической партии, помнишь?.. А нашу последнюю беседу в райкоме?.. Как выглядит сейчас Германия — я имею в виду ГДР?.. Есть ли у тебя семья?.. Как попал с партийной работы на дипломатическую?..»

Я спрашивал и спрашивал, чувствуя, что не даю Нойману возможности ответить толком ни на один из моих вопросов. И все-таки не мог удержаться, чтобы не задавать новых...

Собственно, не так уж близко мы были знакомы с Нойманом. Встречались-то всего раза три, не больше. Но сейчас я воспринимал его как родного мне человека, будто знал всю жизнь! Он олицетворял для меня ту, вторую душу Германии, о которой говорил мне Сталин.

Я понимал, чувствовал, сознавал, что передо мной сидит антифашист в самом благородном, в самом боевом смысле этого слова. Человек, прошедший сквозь ад гитлеровских концлагерей. Коммунист, которого не сломили ни пытки, ни вид разрушенной Германии, ни сомнения, которые столь усердно сеяли в душах немцев гитлеровские последыши и их западные покровители. Он всегда верил в победу. Верил своим товарищам-коммунистам. Верил нам, советским людям...

Нойман успел все-таки сказать, что после нашей последней встречи он долго еще оставался одним из секретарей райкома, потом возглавлял коммунистическую организацию коллектива восстановителей берлинского метро, потом был взят на работу в ЦК — сначала в отдел пропаганды, затем в международный, а теперь — вот уже лет пять — работает в МИДе ГДР... Семья? Нет, новой семьей так и не обзавелся. Мать и жена, погибшие в фашистском концлагере, все еще живут и, вероятно, всегда будут жить в его сердце... Как выглядит ГДР? Приезжай — увидишь. Все отстроено заново... Потсдам, Бабельсберг? Там сейчас расположена крупнейшая киностудия ГДР — «ДЕФА»... Уровень жизни? Что ж, живем не жалуемся, только надо работать добросовестно, тогда будем жить еще лучше...

Я опять напомнил Нойману о наших беседах в райкоме.

— Помнишь, какие ты тогда высказал сомнения? Нет, нет, не сомнения, ну, опасения, что ли, относительно будущего Германии?.. И все-таки она оказалась разделенной. Как воспринимают это немцы?

Я глядел на него настороженно, готовый тут же переменить тему, если замечу, что она ему неприятна.

— Да,— вздохнул Нойман. — Германия оказалась разделенной.

— И опять наши общие недоброжелатели хотят свалить ответственность за это на Советский Союз!

БровиНоймана сдвинулись над переносицей.

— Да,— повторил он,— Германия оказалась разделенной. Но не вы, наши советские товарищи, и не мы, немецкие коммунисты, разделили ее. Это сделали они!

Он махнул рукой куда-то в сторону.

— Все ли немцы смирились с тем, что существуют две Германии? — спросил я.

— Мы всегда говорили откровенно друг с другом, товарищ Воронов. Не изменим этому правилу и теперь,— сказал Нойман. — Мечта о единой стране живет в душах многих немцев. Но они знают... Знают, если хотят знать, почему произошло иначе...

— Что именно они знают?

— Знают, что западные оккупационные власти уже в сорок восьмом году первыми ввели для своих зон особую валюту. Пошли на это вопреки потсдамским решениям. Долгое время оставляли на оккупированных ими территориях неразоруженные остатки вермахта. Сохраняли вермахтовскую армейскую группу Мюллера, переименованную потом в группу «Норд». Оставили крупную индустрию в руках людей, целиком подпадавших под действие закона о военных преступниках. Ваши протесты в Контрольном Совете игнорировались. Короче, не объявляя свои зоны отдельным государством «де-юре», они создали его «де-факто». О, это был хитрый трюк. Они кричат, что стоят за единую Германию, а на деле добивались, чтобы Восточная Германия ввела бы у себя все порядки Западной. Перед нами возникла дилемма: или пожертвовать всеми нашими демократическими завоеваниями, пойти на ремилитаризацию страны, или честно и открыто сказать, что на это мы не согласны. И мы сказали им примерно так: вами создано сепаратное немецкое государство. Плохо, конечно, но это уже свершилось. И потому у нас нет иного выхода, как создать свое государство. Оно будет называться Германской Демократической Республикой.

— И что же, реваншисты с этим смирились?

— О нет! Даже сегодня они требуют при издании географических карт показывать на них границы «германского рейха» по состоянию на тридцать первое декабря тридцать седьмого года и называть по-немецки населенные пункты, вошедшие в состав Советского Союза и Польши. Требуют пересмотра границ, а значит, новой войны.

— Что же вы отвечаете им, этим неофашистам?

— Ты слышал сегодня речь товарища Хонеккера?

— Да, конечно!

— Помнишь его слова: «ГДР считает своим особым долгом приложить все силы к тому, чтобы в центре Европы обеспечить прочный мир и безопасность»? Это относится ко всему. И к нашей внешней политике и к внутренней... А теперь мне надо идти, Михаил. Прости, дела не ждут. Наши общие дела...

Он встал.

— Мы даже не выпили по кружке пива! — упрекнул его я и чуть было не сделал знака одному из официантов.

— В другой раз, Михаил, в другой раз! — отмахнулся Нойман. — А пока с победой, товарищ! С нашей общей победой. Ведь Хельсинки — это победа.

— Взаимно поздравляю тебя с тем же! — прочувствованно ответил я.

Мы обменялись долгим рукопожатием и крепко обнялись.

Нойман был уже у двери, когда я вновь окликнул его:

— Товарищ Нойман! Я забыл спросить, доводилось ли тебе в эти годы встречать Вольфа?

Нойман приостановился и тихо сказал:

— Умер он... Несколько лет тому назад... Старый же человек.

— Умер там, в ФРГ? — спросил я, подходя к Нойману.

— Почему в ФРГ? Он умер и похоронен на кладбище в Потсдаме.

— Значит, вернулся?

— Долго рассказывать, Михаил. Мы ведь восстановили тот завод, на котором он когда-то работал. Вольф приехал «посмотреть». Посмотрел и... остался. Мы назначили его заместителем директора завода. Потом он стал директором. На этом посту и работал до самой смерти...

Задерживать Ноймана дольше я не имел права. А в дверях уже появился приехавший за мной Клаус.

Мне предстояла третья ночь в Хельсинки. Я вернулся в свою гостиницу не поздно и ввалился в номер с охапкой отпечатанных на «ксероксе» документов.

Поверхности маленького гостиничного письменного столика не хватило, чтобы я мог разложить по порядку все бумаги, забранные со «стола прессы». Пришлось занять ими и постель. Кроме стенограммы речей, произнесенных на сегодняшних двух заседаниях, пресс-центр щедро снабдил меня новыми инструкциями, информациями, справками о том, где, когда и что может получить каждый журналист, где наиболее удобные места для фото- и киносъемок, какие предстоят приемы и встречи с представителями различных делегаций.

Однако не эти толково, неформально составленные документы интересовали меня в первую очередь. Пока с меня хватало единственной информации о том, что «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе возобновит свою работу завтра, в четверг, 31 июля 1975 года, в 9 часов тридцать мин.». А сегодняшний вечер и, видимо, часть ночи надо употребить на тщательное изучение стенограмм.

Я уже говорил, что в ходе выступлений никаких записей не вел. Вместо того чтобы исписывать одну за другой десятки страниц блокнота, ничего и никого, кроме оратора на трибуне, не видя, куда полезнее было понаблюдать за тем, что происходит вокруг, как ведут себя делегаты, как они выглядят, кто с кем переговаривается, кто к кому обращается, кто входит в зал, кто из него выходит. В конце концов ведь я присутствую при уникальном событии, и надо запечатлеть в памяти все его детали.

И вот теперь настало время расплачиваться за мой «кэйф» на галерее Дворца «Финляндия». Я углубился в чтение стенограмм, одновременно делая выписки из них.

Начал с речей Живкова и Хонеккера. Почему? Вовсе не потому, что хуже запомнил их содержание. Мне очень хотелось еще раз пережить чувство удовлетворения, чувство гордости за Болгарию и ГДР, исторические судьбы которых с таким трудом определялись тридцать лет тому назад в Цецилиенхофе! Конечно, тогда во главе коммунистических партий этих стран — Болгарии и Восточной Германии — стояли другие люди, но для меня, по крайней мере сейчас, главное было в другом — в победе правого дела!

Как тогда третировали и Болгарию и Восточную Германию, как пытались диктовать свою волю народам этих стран Трумэн, Черчилль и Эттли! Какие шли споры о том «для» этих государств или «с» ними должны заключаться мирные договоры! При каких условиях они могут рассчитывать на дипломатическое признание Западом, когда можно будет допустить их в ООН, какими особыми привилегиями должны пользоваться там западные журналисты и т. д. и т. п. По замыслу Запада эти две страны должны были стать своего рода звеньями в цепи нового «санитарного кордона», опоясывающего СССР.

Но История рассудила по-иному. Давно кануло в Лету само понятие «санитарный кордон». И Болгария и ГДР вот уже долгие годы идут по пути, избранному их народами. Руководители этих стран выступают теперь на самом ответственном, самом важном международном Совещании, какие когда-либо знал мир. Выступают как полноправные участники! А духовные наследники тех, кто третировал кровные интересы болгар и немцев, вынуждены внимать голосу Хонеккера и Живкова, голосу мирового социализма!..

И я подумал: может быть, не о самом Совещании следовало бы мне писать сейчас, а о том, как, каким образом превратился в такую могучую силу социализм? О беспрецедентных образцах политической и дипломатической деятельности моей партии, моей страны...

Речи Кекконена, Вальдхайма и Вильсона я не стал перечитывать. Они выступали первыми, и все сказанное ими воспринималось мною, так сказать, на «свежую голову».

Караманлис? До него никто не выносил на этот международный форум свои внутренние спорные дела. А он бросил упрек участникам Совещания в том, что никто из них не оказал Греции помощь, когда произошло вторжение на Кипр... Тем не менее греческий премьер тоже высказал надежду, что «работа Совещания внесет свой вклад в создание нового психологического климата...».

О зависимости прогресса одной страны от благосостояния другой говорил представитель Исландии — Халлгримссон, а канадский лидер Трюдо начал свою речь словами: «...Мы дали миру пример того, как надо достигать единогласия на переговорах, устраняя столкновения и непримиримость...».

И снова мысли мои обратились к речам Живкова и Хонеккера. Они говорили о том, что «приехали сюда, чтобы заложить фундамент лучшей Европы», что «сегодня нет таких проблем, которые нельзя было бы урегулировать путем переговоров», и еще о том, что «одним из решающих направлений нашей будущей работы должно стать дополнение политической разрядки уменьшением напряженности в военной области». Они выступали за прекращение гонки вооружений, за сокращение вооружений, имеющихся в наличии, против разделения Европы на военные блоки...

...Был второй час ночи, когда я покончил с чтением стенограмм и выписками из них. Подошел

к открытому окну, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом — иначе не усну. Город уже спал. После такого большого и хлопотного дня, гудевшего тысячами человеческих голосов, автомобильных и вертолетных моторов, он наконец успокоился.

На третье заседание, в четверг, 31 июля, меня отвез Клаус. Уже в половине восьмого, то есть за два часа до начала, я был в «Финляндии-тало». Побежал к столу, на котором раскладывались новые документы для прессы, заглянул в свой ящичек. Такими ящичками, как пчелиными сотами, была покрыта одна из стен в цокольном этаже Дворца. В моем ящичке лежала телеграмма из Москвы: «ЗВОНИЛА НЕСКОЛЬКО РАЗ ТЕБЯ ВЕСЬ ДЕНЬ НЕ БЫЛО ГОСТИНИЦЕ ДОМА ВСЕ ПОРЯДКЕ СЕРЕЖА ВЕРНУЛСЯ ПОЛЕТА ЛЮБЛЮ ЦЕЛУЮ МАРИЯ».

Сунул телеграмму в карман и решил сейчас же позвонить домой по международному телефону. Десятки таких аппаратов были здесь к услугам журналистов. Но, посмотрев на часы, передумал: Мария, пожалуй, еще не вставала, да и Сережка отсыпается после своего очередного трансатлантического рейса. Ладно, позвоню позже.

Не прошло еще и недели с тех пор, как я уехал из Москвы, а несколько дней назад сам звонил Марии по телефону из своего гостиничного номера. И все-таки мне было приятно получить от нее эту телеграмму. Всегда приятно и радостно знать, что о тебе помнят, тебя любят.

Правда, я немного обиделся на Сережку — моего двадцативосьмилетнего «наследника» — мог бы тоже подписать телеграмму. Куда там — дрых, наверное, без задних ног, когда мать отправилась на телеграф... Впрочем, и я не часто писал своему, ныне уже покойному, отцу. Но тогда шла война. Думалось: простит, война все спишет.

Ничего она не списала. Ни доблести, ни подлости, ни черствости к ближнему!..

«Люблю, целую, Мария». Я так привык к этой концовке в каждом письме, в каждой телеграмме от Марии. И вдруг вспомнил первую ее телеграмму, кончавшуюся этими словами. Ту телеграмму принес мне Дупак в последний день Потсдамской конференции, а послана она была, наверное, накануне. Значит, тоже 31 июля. Какое совпадение!

Не в первый уже раз я ловлю себя на том, что здесь, в Хельсинки, подсознательно все время как бы навожу мост между Потсдамской конференцией и этим нынешним Совещанием. Порой мне чудится, будто я стою на этом, длиною в тридцать лет мосту — от мира к миру,— а где-то под ним копошатся погрязшие в трясине человечки, цепляющиеся за атомные и водородные бомбы как за спасательные круги... Фантастическая картина вроде тех, которые писал некогда Босх.

Повторилось все то же, что было вчера. Когда я поднялся на галерею, итальянский фотожурналист уже сидел на своем месте. Увидев меня, он начал призывно жестикулировать.

За что он так «полюбил» меня?

Я еще вчера пытался отплатить ему за любезность: держал на коленях его запасную технику, менял на камерах объективы, «насадки», вынимал израсходованные катушки с пленками, вставлял новые — ведь какой-то «фотоопыт» у меня имелся. Все это делалось по его знакам, разговаривать друг с другом мы не могли не только из-за «языкового барьера», но из-за моих наушников тоже.

Прозвенел первый звонок, и все журналисты кинулись с галереи по лестнице вниз, к «канатику», чтобы снова увидеть прибытие делегаций. Я опять увидел Брежнева и сопровождавших его товарищей. К удивлению своему, понял, что Ковалев узнал меня — он приветливо кивнул на ходу...

Председательствовал Иосип Броз Тито.

Первым было предоставлено слово президенту Чехословакии Гусаку. Многое из того, что он говорил, было близко мне не только как советскому журналисту. Оратор напоминал о том, что было частью моей биографии — так или иначе связывалось с минувшей войной. Как свое собственное, я воспринял его утверждение:

«...История учит нас, что бесчисленные агрессии в Европе были связаны с злоупотреблением властью, с насилием и гнетом. Мюнхенский диктат, оккупация Чехословакии, нападение на Польшу, Францию и Югославию, на Советский Союз и другие европейские страны, все ужасы и жертвы второй мировой войны документируют это...»

Глава чехословацкой делегации высказал уверенность, что ликвидация новой военной угрозы, разрядка, система коллективной безопасности приведут к всеобщему и полному разоружению.

Потом выступал Герек. Признаюсь, я только позже по стенограмме изучил его речь. А в те минуты одно лишь слово «Польша» снова, как уже бывало не раз, опрокинуло меня в прошлое. Я думал о днях, проведенных в войсках Рокоссовского, о руинах Варшавы, о том, какой ценой уже позже, там, в Цецилиенхофе, советской делегации удалось отстоять независимость Польши, добиться расширения ее территории. О том, что нет в мире страны, которая была бы обязана Советскому Союзу больше, чем Польша...

Нет, я никогда не считал Польшу нашим «должником» в бизнесменском понимании этого слова. Никогда не помышлял, что она чем-то и как-то обязана расплачиваться с нами. Кровь советских солдат, шестьсот тысяч жизней моих соотечественников, павших в боях за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков, неоплатны. Непоколебимая твердость в борьбе за ее будущее, проявленная советской делегацией в Потсдаме,— тоже. Я имею в виду чисто моральный, нравственный долг каждого поляка-патриота...

Размышляя обо всем этом, я даже не заметил, как поляка сменил на трибуне Жискар д'Эстэн. Его речь была остроумна, насыщена историческими примерами, и хотя далеко не со всем, что говорил французский президент, я мог согласиться, главным для

меня была безоговорочная поддержка им идей Совещания, обязательство Франции «полностью и тщательно» выполнять решения, которые будут приняты здесь.

Итак, выступили уже трое, а если считать и вчерашние заседания, то тринадцать из тридцати пяти присутствующих здесь глав государств. А Леонид Ильич все еще не выходил на трибуну. Мне казалось это несправедливым! Тогда я не отдавал себе отчета в том, что порядок выступлений, количество ораторов на каждом заседании и десятки других протокольных деталей были наверняка заранее выверены и взаимно согласованы. Не знал я и о том, что здесь, в Хельсинки, время товарища Брежнева было распределено буквально по минутам: позавчера, сразу же после приезда, он беседовал с президентом Кекконеном, вчера утром — с президентом Фордом, вечером после заседания — с Хонеккером, с д'Эстэном, а в промежутках — снова с главами социалистических государств.

Как он успевал?! Когда отдыхал? В каких условиях протекала его работа в помещении Советского посольства?

Уже после Совещания мне удалось осмотреть хельсинкский рабочий кабинет руководителя одной из двух самых мощных держав мира. Кабинет был невелик по размерам и скромен по обстановке. Ну, конечно, письменный стол. Зеленый ковер на полу. На стене висел вырезанный из дерева барельеф Ленина — подарок одного из финских коммунистов. У стены — телевизор. Вот, собственно, и все.

...По моим предположениям, Леонид Ильич должен был выступить на Совещании если не первым, то сразу же за Кекконеном и Вальдхаймом. Ведь стране, партии, которую он возглавлял, принадлежала главная роль в подготовке этого Совещания!

Наивная, ребяческая «обида»! Наивная потому, что не очередностью выступлений определялась их значимость. Брежнев выступит тогда, когда по многим неизвестным мне соображениям настанет время для его выступления.

Но когда?!

И как бы в ответ на этот мой нетерпеливый вопрос под сводами Дворца прозвучало громогласное объявление Тито:

— Слово предоставляется Генеральному секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Леониду Ильичу Брежневу.

Зал взорвался аплодисментами.

Они не смолкали все время, пока он шел к трибуне.

Бог мой, что творилось среди журналистов, особенно среди кино- и фотокорреспондентов! Они прямо-таки рискованно свешивались с галереи, вытягивая вперед свои камеры. Мой итальянец, как фокусник, один за другим менял обычные объективы на телевики, что-то мне кричал. И я подумал, что мое место на галерее слишком дорого мне обходится. В эти минуты мне было не до итальянца со всей его техникой. Куда важнее казалось не пропустить ни одного шага, ни одного движения Брежнева.

Он шел, как и тогда, вдоль шелковистого канатика,— не медленно и не торопливо,— обычной своей спокойной походкой, чуть помахивая папкой, которую держал в руке.

В абсолютной тишине, нарушаемой лишь мягким жужжанием кинокамер, произнес он свои первые слова:

— Все мы, принимая участие в заключительном этапе Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, ощущаем необычный характер этого события, его политическую масштабность...

Он говорил о надеждах, которые человечество связывает с этим Совещанием, потому что обильно полита кровью земля Европы за годы двух мировых войн. Подчеркнул, что исторический смысл происходящего в этом зале особенно отчетливо виден людям, принадлежащим к поколению, пережившему ужасы второй мировой войны.

— Пробил час сделать неизбежные коллективные выводы из опыта истории,— сказал Леонид Ильич и напомнил, какой нелегкий путь был пройден от выдвижения идеи Совещания до его нынешней кульминации. — В будущее обращен документ, который нам предстоит подписать,— продолжал он,— потому что возможности сотрудничества распространяются сейчас и на такие области, где оно было немыслимо в годы «холодной войны». В материализации разрядки — вот в чем суть дела... Чтобы надежды народов, связанные с этой встречей, с решениями Совещания, оправдались полностью, не были поколеблены при первом ненастье, нужны действительно общие усилия, повседневная работа всех государств-участников по углублению разрядки.

Леонид Ильич говорил не больше и не меньше, чем остальные. И, заканчивая свое выступление, сделал такой вывод: здесь «нет победителей и побежденных, приобретших и потерявших». Это Совещание — победа разума. «Выиграли все: страны Востока и Запада, народы социалистических и капиталистических государств — участников союзов и нейтральных, малых и крупных стран. Это выигрыш всех, кому дороги мир и безопасность на нашей планете».

Под новую бурю аплодисментов сошел он с трибуны и направился к своему месту тем же спокойным, уверенным шагом.

Но теперь я смотрел уже не на Брежнева. Я наблюдал, что происходит в составе других делегаций. Канцлер Австрии Крайский что-то оживленно говорил соседу. Трюдо что-то быстро писал. Хонеккер, Живков и Кадар обменивались знаками одобрения. Киссинджер быстро написал что-то на листке бумаги и передал его Форду...

Мой итальянец самозабвенно жужжал своей техникой. Его длинный телевик напоминал ствол миномета...

Выступили еще несколько человек, в том числе глава венгерской делегации Кадар. После его выступления Тито объявил перерыв до трех часов дня.

В холле только и разговоров было о выступлении Брежнева. Я прислушивался к ним с таким обостренным вниманием, как будто сам имел к этому выступлению непосредственное отношение.

Внезапно внимание мое привлекла чья-то спина. Людей трудно узнавать со спины, тем не менее этот человек показался мне знакомым. Ускорив шаги и поравнявшись с ним, я окончательно опознал Ковалева. В первый миг удивился: как это он, член делегации, попал сюда, в толпу журналистской братии? Но тут же припомнилось, что в этой толпе я, правда редко, но все же встречал и других людей с делегатскими карточками на лацканах. Видимо, они искали здесь кого-то из нужных им журналистов. Ведь сами журналисты проникнуть к делегатам не могли.

— Здравствуйте, товарищ Ковалев! — сказал я. — Извините, пожалуйста, мне показалось, что вы меня помните.

Ковалев остановился, протянул мне руку и произнес только одно слово:

— Женева?

— Да, да, Женева! Я тогда обращался к вам за советом...

— Для кого сейчас пишете?

— Для журнала «Иностранная политика». Вот все время ждал выступления товарища Брежнева, чтобы закончить статью.

— А уже начали?

— Да, начал,— соврал я. Но тут же в припадке откровенности признался: — Собственно, к статье еще лишь приступаю. Только заголовок придумал.

— Интересно, какой?

— «Победа».

— А ведь товарищ Брежнев сказал, что здесь нет ни победителей, ни побежденных,— напомнил Ковалев.

— Да, верно, я вкладываю в это слово особый, расширительный смысл.

— Какой же?

— Это долго объяснять, товарищ Ковалев, а вы, наверное, торопитесь. Однако попытаюсь изложить суть в нескольких словах. В июле сорок пятого мне довелось быть в Потсдаме. Там мы одержали несомненную победу, хотя Запад очень скоро попытался сорвать ее. Руководители западных держав договорились о том, что решения Потсдама должны быть утверждены Мирной конференцией, а сами сделали все от них зависящее, чтобы она не состоялась. Запад подвергал сомнению европейские границы, называл их «временными». Не признавал ни существования ГДР, ни права Польши на территории, полученные ею в Потсдаме. А вот теперь они вынуждены признать все: и нерушимость европейских границ, и суверенность ГДР, и многое другое. Я не собираюсь этого писать, но ведь, по существу, Совещание в Хельсинки и есть Мирная конференция, которую Запад саботировал тридцать лет. Потому мне и хочется как бы перекинуть мост между Потсдамом и Хельсинки...

Я говорил торопливо, сбивчиво, опасаясь, что Ковалев уйдет, не дослушав меня, и «зарубит» название моей статьи, с которым я уже сжился. Но Ковалев выслушал меня до конца и мягко заметил:

— Потсдам и Хельсинки — не совсем схожие события. Тогдашняя, как вы это называете, победа явилась прежде всего результатом нашей военной победы. Разгром гитлеризма Красной Армией на том этапе определял все. Союзники были вынуждены считаться с этим. Здесь — победа бескровная...

— Но все-таки победа?! — с надеждой воскликнул я.

— Зависит от толкования. Если вы имеете в виду победу здравого смысла над безумием, победу идеи мирного сосуществования над «идеей» «холодной войны», тогда...

— Именно это я и имею в виду, товарищ Ковалев! Конечно, вы правы, полных аналогий быть не может, но если говорить о наших целях, то и там, в Потсдаме, и здесь, в Хельсинки, они в принципе одинаковы: прочный мир, верно? Мы требовали признания реальностей, сложившихся после разгрома гитлеризма. Теперь их признали!

— Но без права какого-либо государства вмешиваться во внутренние дела другого,— уточнил Ковалев. — Такой вывод следует из речи товарища Брежнева и из Заключительного акта, который будет скоро подписан. Запомните, товарищ Воронов, это очень важно. И сейчас и в будущем.

— Но ведь это тоже победа?! — воскликнул я. — Долгое время Запад считал своим правом учить нас жить! Теперь он вынужден признать, что такого права у него нет.

— Простите, я действительно тороплюсь,— улыбнулся Ковалев. — Хочу надеяться, что сегодняшнее выступление товарища Брежнева облегчит и ускорит вашу работу над задуманной статьей. Желаю вам победы...

Распрощавшись с Ковалевым, я направился к столу, на котором все время обновлялись материалы для прессы. Там уже выстроилась длинная очередь за речью Брежнева. Заполучив стенограмму, я попутно, как-то машинально заглянул в свой ящичек на стене. Был уверен, что он пуст. Но вопреки предположениям, обнаружил там клочок бумаги с рукописным текстом по-английски: «Дорогой мистер Воронов, убедительно прошу быть по окончании заседания на этом месте. Крайне важно!» Подписи я разобрать не сумел.

До начала заседания оставалось еще минут десять — пятнадцать. На галерею никто не торопился. После выступления Леонида Ильича народу вообще поубавилось. Немалое число журналистов разбрелось по холлам и барам.

Я тоже не торопился наверх. С чисто деловой точки зрения было бы, пожалуй, целесообразнее уехать к себе в гостиницу, обложиться стенограммами и начать писать статью.

«Нет, еще рано,— сказал я себе. — Нельзя уходить, пока не выступил Форд. Леонид Ильич высказал наше отношение и к самому Совещанию, и к тем

задачам, решением которых надо будет заняться на другой же день после того, как опустеет этот Дворец. А какова позиция американцев?»

Поездка Брежнева в Штаты, его переговоры с тогдашним президентом Никсоном, подписание ряда соглашений, затрагивающих самые различные сферы — военную, экономическую, культурную,— все это, несомненно, знаменовало начало таяния льдов «холодной войны». С тех пор процесс этого таяния с каждым годом шел все активнее. Теперь новому президенту США предстояло сделать публичное, на весь мир заявление об американской политике на будущий обозримый период. Каково же оно будет? Что ознаменует? Шаг вперед или шаг назад?

Но американский президент все еще молчал. На второй день Совещания — 31 июля — Форд так и не поднялся на трибуну.

Сразу после четвертого заседания я зашел в пресс-центр. Там шло распределение журналистов на всевозможные приемы, которых в тот день набралось с десяток: обед в президентском Дворце, правительственный прием, прием для жен членов делегаций и ряд других. Присутствие на каком-то из них всех или хотя бы большей части аккредитованных здесь журналистов было невозможным. Поэтому нас распределяли так, чтобы на каждый прием попадали человек 20—30. На мою долю выпал жребий идти в «Хижину рыбака».

Мне не терпелось сесть за письменный стол, но я все же записал адрес этой «хижины» и время приема. А когда сунул записку в карман, пальцы мои нащупали там какую-то другую бумажку. Это было предложение от неизвестного мне американца или англичанина встретиться возле стола прессы после заседания.

Неизвестное всегда влечет. Я направился к месту свидания. Журналисты уже расхватали со стола все документы, в холле было пусто. Только один человек в темно-синем костюме прохаживался взад и вперед. Издали я постарался определить: знаю ли его? Нет, никогда до сих пор не встречал. Средних лет, светловолосый человек, ничем не приметное лицо.

Незнакомец — то ли интуитивно, то ли потому, что знал меня в лицо,— быстро пошел мне навстречу, резким движением выкинул вперед руку и зачастил скороговоркой:

— Мистер Воронов, да? Моя фамилия Фитцджералд. Будем знакомы. С. П. Фитцджералд. Тележурналист. Штаты. Есть предложение, мистер Воронов. Присядем?

Мне не хотелось отстать от какой-нибудь попутной машины в гостиницу, но любопытство оказалось сильнее. Чего этому «Си Пи» нужно от меня?

Мы опустились в кресла перед уже потухшим экраном одного из телевизоров.

— Чем могу быть полезен? — спросил я довольно сухо.

— Все очень просто, мистер Воронов. Мы записываем впечатления журналистов различных стран об этом Совещании. Записали уже человек двадцать. Хотелось бы записать и вас.

«Новое дело! — подумал я. — Нашли «телезвезду»! Мне приходилось несколько раз принимать участие в западных телепрограммах. Иногда я выходил из них, так сказать, «битым», иногда оказывался «на коне». Но сейчас...

— Благодарю, мистер Фитцджералд,— сказал я. — По-моему, на фоне такого Совещания мне выступать просто не по чину.

— Нам не нужны никакие «чины»! — воскликнул американец. — Нас интересует мнение обычных, я бы сказал, рядовых советских журналистов! Нас — это значит американских телезрителей. Да и вам-то разве не импонирует возможность высказать свое мнение перед широкой американской аудиторией о выступлении мистера Брежнева?.. Словом, я предлагаю вам войти в Историю.

— С черного хода? — усмехнулся я. — А почему ваш выбор пал именно на меня? Здесь присутствует много советских журналистов, среди них есть широко известные и в нашей стране, да, очевидно, и у вас.

— Случай, господин Воронов, случай! Я покопался в карточках отдела аккредитации и наткнулся на вашу фамилию. Вы журналист-международник, представляете известный в нашей стране советский журнал... Ну? Давайте же начнем осуществлять то, к чему призывали нас ораторы: расширять культурные связи, дружеские общения... Или будем только писать о них, призывать, выкрикивать лозунги, а сами не сделаем никакого практического вклада?

Я подумал: а почему бы и не согласиться? О многих выступлениях глав государств у меня сложилось уже вполне отчетливое представление. И главное — от речи Леонида Ильича. Почему бы мне не высказать уверенность, что весь советский народ безоговорочно поддержит предложения, выдвинутые нашим Генеральным секретарем ЦК?

— Тайп ор лайв? [1] — спросил я.

— О, к сожалению, тайп! Вы сами понимаете, нам нужно время, чтобы разобраться в куче уже сделанных нами записей.

— Содержание передачи? — спросил я. — Какие вопросы? И сколько даете времени на ответы?

— О, вопрос будет один или несколько, но только связанных с Совещанием. Это событие интересует сейчас мир больше всех остальных. Факт номер один. А время? Пожалуй, пять — десять минут. Если пойдет интересно — прибавим.

— Но я еще не слышал президента Форда!

— Запись состоится завтра, когда уже выступит Форд! Вам все будет ясно как апельсин! Ну... чего же вы боитесь?

Вот это последнее слово — «боитесь» — и решило все. Я понял скрытый намек на то, что мы, со-

[1] То есть запись на пленку или непосредственная передача в эфир? (*англ.*)

ветские люди, боимся и рот раскрыть перед иностранцами, не согласовав все заранее и не получив разрешения властей...

— О'кей,— сказал я. — Когда и где?

— Завтра, сразу же после объявления первого перерыва, вон в той комнате,— американец кивнул на видневшуюся в глубине холла дверь.

— Буду,— сказал я вставая.

На прием в «Хижину рыбака» я не пошел — все эти «приемы» похожи один на другой, а у меня куча неотложных дел. Столько новых стенограмм надо перечитать! Теперь уже с «прицелом» не только на мою статью, но и на завтрашнюю телепередачу.

В дверь постучали.

Я, не отрываясь от стенограмм, крикнул по-английски привычное «войдите!». Потом вспомнил, что запер дверь на замок, встал и открыл ее.

На пороге стоял незнакомый человек. Коренастый, коротко постриженный, со странным, расплющенным, как бы расплывшимся по лицу носом. На лацкане его темного пиджака желтела карточка вроде моей.

— Могу войти? — как-то бесцеремонно, не представившись, спросил он по-английски и перешагнул порог.

— Вы уже вошли,— с пока еще непонятной мне самому неприязнью ответил я. — Кто вы и чем могу служить?

— Аллен Джонс,— пробормотал он, сунул руку в брючный карман, вытащил какую-то желтую металлическую «блямбу» и, показывая ее мне в чуть разжатом кулаке, пояснил: — Американская служба безопасности!

Несколько секунд я раздумывал: не розыгрыш ли это? Инстинктивно приблизился к тумбочке с телефоном, чтобы в случае чего немедленно позвонить в посольство... И вместе с тем мне не хотелось давать этому полицейскому с перебитым носом основания думать, что я его боюсь.

— Что вам угодно? — холодно спросил я.

— Хочу задать пару вопросов.

— А я не собираюсь на них отвечать в отсутствие представителя Советского посольства или финского пресс-центра. Впрочем... что за вопросы?

— Рядом с вами на галерее для прессы сидел итальянец Франко Росси. Вы его хорошо знаете?

Я пожал плечами и ответил:

— Первый раз увидел здесь.

— Но вы с ним оживленно разговаривали.

— На языке глухонемых: он говорит только по-итальянски и по-французски, я не знаю ни того, ни другого... Да в чем наконец дело?

— Он исчез. Мы его разыскиваем.

Я вспомнил, что вскоре после речи Брежнева мой сосед действительно торопливо устремился к выходу, прихватив с собой всю свою аппаратуру. Но тогда я не придал этому никакого значения: многие фотожурналисты выходили во время заседания, чтобы сдать в лабораторию для проявления свою отснятую пленку.

— Ну а я-то тут при чем, если он исчез? — в свою очередь, спросил я полицейского.

— Отвечайте, когда вас спрашивают. Вы должны располагать сведениями, где он находится,— безапелляционно заявил этот чертов Джонс.

— Вот что,— сказал я, уже полностью овладев собой,— о том, что я должен и чего не должен, мне лучше знать. Со своей стороны, хочу напомнить, что мы не в Техасе и не в Чикаго. Здесь финская территория. А я советский журналист. Кто вам дал право лезть ко мне со своими бесцеремонными вопросами?

— Если вы знаете, где итальянец, и скрываете, вам дорого это обойдется,— пригрозил нежданный гость.

— Во что, например? — насмешливо спросил я.

— Как минимум лишение права когда-либо посещать Соединенные Штаты.

— Работаете в духе Хельсинки? Расширяете дружеские обмены?

— Прошу без острот. Где итальянец? Знаете или нет? Жду ответа.

— Сейчас вы ответ получите,— сказал я, подошел к двери, которая оставалась полуоткрытой, толкнул ее ногой и сказал на понятном ему жаргоне:

— Сматывайтесь отсюда. Быстро!

Несколько секунд этот Джонс стоял, будто решая, как ему следует поступить. Я заметил, что правая его рука потянулась за левый борт пиджака, но он тут же, одумавшись, опустил ее. Потом круто повернулся, шмыгнул через порог и зашагал по коридору.

Снова заперев дверь на ключ, я дал волю своему возмущению. Каков нахал! Уверен, что если работает в ЦРУ или где-то в этом роде, то может чувствовать себя хозяином в любой стране, в любом доме. Ну нет, я этого так не оставлю! Немедленно сообщу в посольство, заявлю протест в пресс-центре...

Я бегал взад и вперед по своему маленькому номеру от телефона к письменному столу, не зная, что сделать раньше: звонить в посольство или писать протест.

Вначале у меня не было никаких сомнений в том, что надо сделать и то и другое. Но потом подумал: а не сыграю ли я невольно на руку этим джонсам, которые, несомненно, сочли бы для себя праздником малейшее осложнение в работе Совещания. Раздуть из мухи слона им нетрудно. О моем протесте немедленно узнают все журналисты, и хотя в разговоре с этим Джонсом я был прав, на сто процентов прав, где гарантия, что в западной прессе не появятся россказни о том, как накануне подписания Заключительного акта советский журналист обругал, а то и избил американского охранника, выполнявшего свой долг? Не скажут ли мне тогда в посольстве примерно то же, что я услышал тридцать лет назад от главы советской делегации в Потсдаме: «Мы приехали сюда, чтобы установить мирные, добрососедские отношения... А вы?»

Ладно, решил я, сообщу об этом инциденте завтра кому-либо из сотрудников посольства или ко-

сульства. Разыщу их на Совещании. Финнов информировать не буду. Они были так гостеприимны и так отлично все организовали. Не хочу портить им настроение.

А сейчас надо забыть об этом сукином сыне. Забудем все до завтра. В конце концов интересы моей страны затронуты не были. Не исключено, что итальянец и впрямь ввязался в какой-нибудь скандал с американцами. Их ведь еще Трумэн приучил везде держаться так, будто они являются хозяевами мира. Основания мнить себя вершителями мировых судеб давно исчезли, а претензии остались. Но, может быть, нынешнее Совещание покончит и с этим — поможет Америке понять то, чего она не понимала в течение десятилетий?..

В пятницу, 1 августа, в девять тридцать утра должно было начаться предпоследнее заседание. На этот раз меня отвез во Дворец тассовец Подольцев.

Было половина восьмого, когда мы вдвоем прошли «врата безопасности» и расстались. Подольцев устремился в отделение ТАСС — на Совещании представлены филиалы всех крупных телеграфных агентств, аккредитованных в Финляндии,— а я пошел в пресс-центр. Несмотря на ранний час, там было не протолкнуться. Слышался разноязычный гул. Я заметил, что журналисты передают из рук в руки какой-то листок, и, уверенный, что это какой-нибудь очередной «пресс-релиз», попытался выяснить, почему он так взволновал всех?

Увидел Клауса, пробился к нему и вот что узнал от него.

Оказывается, вчера, после выступления Леонида Ильича, итальянскому фоторепортеру по имени Франко Росси, внимательно следившему за тем, что происходит впереди на трибуне и внизу в зале, удалось при помощи своего мощного 700-миллиметрового телевика заснять текст двух записок, которые Киссинджер передал Форду, и одну, переданную Фордом Киссинджеру. Сегодня эти записки то ли уже опубликованы, то ли будут опубликованы в вечерних газетах. В пресс-центре ходила по рукам ксерокопия с них.

В первом документе речь шла о данных ЦРУ относительно прибытия в Камбоджу китайских советников. Второй представлял собой проект телеграммы королю Иордании Хусейну. Упоминаемые в ней тогда еще загадочные для многих слова «Редай», «Вулкан» и «Хаук» означали названия ракет. Текст этого документа выглядел так: «Телеграмма в Аман (ждет вашего утверждения). Мы готовы продвинуться в отношении Редай и Вулкана, но хотим убедиться, что и Хусейн хочет сделать так же... В отношении Хаука готовы действовать».

Записка Форда Киссинджеру (с пометкой фотокорра: «передана после речи Брежнева») гласила: «Подготовленное выступление слишком длинное и мрачное... Надо ли нам противопоставлять Восток и Запад? Почему бы нам не усилить надежду, которой все хотят?»

Теперь я был уверен, что Форд не выступил до сих пор потому, что речь его переделывается. Ну, а телеграмма королю Иордании имела очевидную связь с предстоящим визитом Киссинджера на Ближний Восток. Я, как и многие другие журналисты-международники, знал по сообщениям печати, что он собирается лететь в Тель-Авив на переговоры Египта с Израилем. А теперь вот узнал и о том, что огласке не подлежало, потому что готовность США снабдить некоторые ближневосточные страны ракетным оружием находилась в явном противоречии с целями Хельсинкского совещания.

Что и говорить, итальянский фотокорреспондент Франко Росси заполучил сенсационные разоблачительные документы. Можно было понять беспокойство американских служб безопасности. Но, как они ни усердствовали, «обезвредить» Франко Росси им, по-видимому, не удалось. Несколько позже, уже в Москве, мне попался на глаза финский журнал «Суомен Кувалехти», в котором все это происшествие было подробно описано и проиллюстрировано фотоснимками.

Форд выступил на этом заседании вторым — после представителя Португалии. Как только было объявлено, что слово предоставляется президенту США, на галерее сразу стало тесно. Так же, как и вчера, перед выступлением Леонида Ильича Брежнева, все журналисты поспешили на свои места. Холлы и бары мигом опустели.

Скажу прямо, мне речь президента показалась вполне приемлемой. Прежде всего из-за отсутствия в ней демагогической полемики, свойственной выступлениям западных государственных деятелей в послевоенные годы. В самом начале своей речи Форд объявил, что пересек Атлантику и приехал сюда не для того, чтобы лишний раз напомнить о потенциале разрушения, которым обладают государства, не затем, «чтобы говорить о жестокой реальности продолжающихся идеологических разногласий, политического соперничества и военного соревнования».

— Я здесь,— продолжал Форд,— чтобы сказать моим коллегам: мы в долгу перед нашими детьми, перед детьми всех континентов. Мы не должны упустить ни одной возможности, ни одной минуты, мы не должны щадить себя и не позволять другим увиливать от выполнения чрезвычайно важной задачи построения лучшего и более спокойного мира...

Речь Форда была, кажется, длиннее других, но я слушал его внимательно, стремясь проникнуть в мысли этого рослого человека, внешне так непохожего на того, другого президента США — невысокого, тонкогубого, в очках с едва заметной оправой. Того, которого мне не раз довелось видеть в Бабельсберге, а потом не однажды читать или слушать по радио его речи. Он тоже говорил о высоких американских идеалах, об «американской мечте» обеспечить спокойную жизнь миллионам людей. А тем временем по его вине десятки тысяч японцев умирали медленной смертью, пораженные атомной радиацией, и корчились в гигантском костре мирные жители вьетнамской деревни Сонгми.

Я зиал, что коифронтация между Белым домом и Кремлем иачалась с того времени, когда Зимний Дворец, а потом и Кремль стали символами нового мира. Американские президенты меиялись, ожесточенное «перетягиваиие каната» продолжалось. Между США и СССР существовали разиогласия даже в годы второй мировой войны, когда мы выступали как союзники.

После визита в Америку Леонида Ильича Брежиева я был увереи, что иачалась иовая эра. Последующие годы, отделявшие этот визит от Хельсиикского совещаиия, доказали, что я был прав. В эти годы слово «разрядка» иепремеино присутствовало в речах не только социалистических, но н буржуазных политических деятелей. И на глазах миллионов людей оио постепеиио как бы материализовалось — в договорах, в переговорах об ограничеиии вооружений, о расширении культуриых связей.

И, судя по тому, что говорил сейчас Форд, Соедииеиные Штаты иамеревались и далее идти по пути разрядки. Он заявил в заключение:

— История будет судить об этом Совещаиии ие по тому, что мы здесь сегодия говорнм, а по тому, что мы сделаем завтра, ие по обещаниям, которые мы даем, а по обещаниям, которые мы выполияем.

Повторяю, в целом речь Форда мие поиравилась, и я аплодировал ей вместе со всем залом. Я искренне радовался, что по коренному, главиому вопросу — вопросу войны и мира,— всеми, кто выступал иа этом Совещании, высказаио едииое миеиие, разиогласий нет. Это уже потом, в Москве, когда я заново перечитывал стенограммы речей, от меия ие ускользиуло, что в иекоторых выступлеиях содержалась и некая «задияя мысль»...

Заседание закончилось выступлением Чаушеску. Перерыв был объявлеи иа два часа. Из них я должен был выделить какую-то долю времеии для американского телевидеиия. Надо выполнять свои обещания.

Я спустился в цокольиый этаж и иаправился к двери, иа которую кивнул мне вчера этот «Си Пи».

Когда Воронов открыл дверь, им овладело иедоумение. Он рассчитывал встретить здесь одного-двух американцев с ручной кинокамерой, посмотреть в объектив, сказать в микрофон иесколько слов, попрощаться и уйти обедать. В уме Воронов уже подготовил нужные слова.

Но, судя по всему, от него ждали здесь совсем иного. Броснлся в глаза большой полукруглый стол, за которым сиделн трн иностранца. Удивило изобилие техники: несколько операторов в комбинезонах стояли возле стационарных кинокамер, другие держали в руках переиосные, два «юпитера» располагались у стены и еще какой-то пульт неизвестного Воронову назначения.

Встретилн его радушно. Фитцджералд широким жестом пригласил Воронова к столу.

— Милости просим! Недаром говорят, что русские всегда держат свое слово.

— И в большом и в малом,— с любезной усмешкой ответил ему Вороиов. — Одиако из того, что я здесь вижу,— он повел взглядом по кинокамерам,— вы ожидаете если ие кого-то из президеитов, то как миииму миииистра.

— В эти дии встречи с ними ие такая уж редкость,— небрежиым тоиом ответил Фитцджералд. — Беседы с иими заполоиили всю мировую прессу. А вот интервью с советским журиалистом наверияка заинтересует телезрителей.

— Прежде всего, мистер Фитцджералд, мие хотелось бы узиать, кому я поиадобился? — спросил Вороиов. — То есть для какой компаиии вы работаете? Си-Би-Эс? Эи-Би-Си?

Ответ последовал тумаииый:

— Все, мистер Воронов, гораздо проще и сложнее. Нескольким журиалистам показалось, что новаторский характер Совещаиия требует отказа от рутииных методов оргаиизации информации. Здесь собрались тележуриалисты из разных страи. Мистер Уайт из Англии, мистер ван-Тиидеи из Голлаидии, ваш покорный слуга из Штатов. Вот мы и решили — благо ни пленкой, ни аппаратурой нас на время Совещания ие ограиичивают — провести несколько телеинтервью, так сказать, на свой страх и риск.

— Ну а что вы потом собираетесь делать с этими записями, которые, иасколько я поиимаю, вам никто ие заказывал? — продолжал допытываться Воронов.

— Когда задумаииая нами программа — мы решили иазвать ее «Мозаика» — будет готова, предложим ее купить любой телекомпаиии. И продадим той, которая дороже заплатит. — Последиюю фразу Фитцджералд произиес в явно шутливом тоие, но тут же перешел иа деловой: — Что же, приступим? Вашими собеседииками будут мистер Уайт, мистер ваи-Тиидеи — ои отлично говорит по-английски, иу и я, разумеется. Мы позволим себе задать вам некоторые вопросы, а вы...

— Простите,— прервал его Вороиов,— я чего-то ие поиял раиьше или ие поиимаю сейчас. Вчера вы мие предложили сказать иесколько слов о Совещаиии. Высказать о ием свое личное мнение. А теперь затевается нечто вроде дискуссии, причем я выступаю один, а против меия трое.

— Против вас?! — с делаиным ужасом воскликиул Фитцджералд. — Как вам могла прийти в голову такая иесуразиость? Разве посмеем мы выступать против советского журналиста, когда оттуда вон,— он махнул рукой в сторону зала,— доиоснтся едииодушиый хор мира и согласия?

— И все же... — иачал было Вороиов, но англичанин Уайт прервал его:

— Чего вы боитесь, мистер Воронов? Каких-либо конфронтаций? Но этот период прошел. Совещание подвело под ними черту. Это можно утверждать даже до подписания Заключительного акта!

Воронова опять задело слово «боитесь». Как часто употребляется оио на Западе при характеристике советских людей! Мы будто бы «боимся» всего: высказать собственное мнение, побеседовать с иностранцами, пойти в варьете, будучи за границей,

выступить по радио или телевидению, если не будет предварительных письменных вопросов, ответы на которые надо, конечно, согласовать чуть ли не с самим правительством...

— Бояться надо не мне, а вам, как показывает жизнь,— резковато возразил Воронов.

— Нам?! — переспросил американец и высоко поднял брови. — Чего же?

— Выстрела из-за угла. Впрочем, у вас теперь чаще стреляют в упор. Или с почтительного расстояния из винтовок со снайперским прицелом,— сказал Воронов. — Ладно, давайте начинать. Время идет...

Они расселись за полукруглым столом: Воронов — внутри «полуовала», его интервьюеры — напротив. Начались необходимые приготовления. Звукотехники попросили Воронова произнести что-нибудь: им надо было приспособить свою аппаратуру к звучанию его голоса. Потом поднесли к самым щекам Воронова экспонометры.

А тот в это время думал: «Уж коль влип в эту сомнительную историю, надо суметь достойно выглядеть перед будущими телезрителями. Не ограничиваться общими фразами! В устах крупного государственного деятеля они нередко звучат весомо. Если же такими фразами попытаюсь отделаться я, то буду выглядеть или попугаем, или недоумком».

— Все готово! — раздался голос одного из операторов в желтом комбинезоне.

— Отлично! — сказал Фитцджералд. — Свет!

Вспыхнули прожектора. Американец негромко хлопнул в ладоши, что означало «начали», и, уже глядя в объектив кинокамеры, заговорил хорошо поставленным голосом, мягким и вкрадчивым тоном, характерным для западных радио- и телекомментаторов-профессионалов:

— Леди и джентльмены! Мы ведем нашу передачу из Хельсинки, из Дворца «Финляндия-тало», где близится к концу столь долгожданное Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт совещания будет принят в ближайшие часы. Уже выступило большинство глав государств, в том числе президент Форд и советский лидер Брежнев. Мы сочли, что для вас будет небезынтересно услышать впечатления об этом Совещании от одного из тех, кто формирует общественное мнение России, я имею в виду советских журналистов. Хочу повторить, что мы ведем запись по крайней мере за час до того, как Заключительный акт будет принят. Следовательно, мы свободны в своих прогнозах. Наш выбор пал на мистера Воронова, которого я вам с удовольствием представляю. Он журналист-международник, обозреватель журнала «Иностранная политика». Но не только. Его биографии мог бы позавидовать не один из журналистов любой страны: мистер Воронов воевал, затем присутствовал на Потсдамской конференции, в качестве корреспондента побывал на корейской войне. В числе других журналистов он сопровождал мистера Брежнева во время его недавнего визита в Америку...

«Ах, черт побери! — мысленно воскликнул Воронов. — Значит, вчерашнее утверждение этого Фитцджералда, что он «наткнулся» на меня случайно чистая «липа». Все знает обо мне. Но откуда, от кого?»

Усилилось смутное подозрение, что дело здесь не чисто. Но камеры уже тихо жужжали, катушки магнитофонов крутились. Какой бы жест ни сделал сейчас Воронов, какое бы слово ни произнес — все равно это станет достоянием миллионной аудитории.

— Итак, наш первый вопрос,— сказал, обращаясь к Воронову, Фитцджералд. — Хотя Совещание еще не окончилось, сложилось ли у вас, мистер Воронов, вполне определенное мнение о нем? Каково оно? Каким вам представляется результат?

«Что ж,— обрадованно подумал Воронов,— такие вопросы естественны. Пока все идет нормально».

— Во-первых,— сказал он,— я считаю честью для себя выступить перед миллионной аудиторией западных телезрителей. Но, помня, что на телевидении главный враг для выступающего — это время, не стану терять его и начну прямо с существа дела. Итак, какими будут, с моей точки зрения, итоги Совещания? Попробую перечислить лишь некоторые. Признание нерушимости существующих европейских границ. Дополнение политической разрядки разрядкой военной. Сотрудничество в области экономики, торговли, культуры. Словом, это Совещание, как сказал в своем выступлении Леонид Брежнев, будет иметь всемирно-историческое значение. Он имел все основания для такого заявления.

Воронов сделал паузу, обвел взглядом своих оппонентов и увидел, что они согласно закивали головами.

— Мой американский коллега,— продолжал Воронов,— решил назвать здесь некоторые факты из моей скромной биографии и журналистской практики. В частности, связал мое имя с Потсдамской конференцией. Хочу уточнить: на самой конференции я не был, но в Потсдаме в то время находился в качестве журналиста.

— Вы видите прямую связь между Потсдамом и Хельсинки? — спросил англичанин.

— Прямую — нет. Но некоторую связь вижу.

— В чем?

— Ну, давайте вспомним, господа! Тридцать лет назад Европа еще лежала в руинах. Запах пороха еще отравлял воздух. Но великая победа Красной Армии и ее союзников над гитлеризмом уже предопределила возможность построения новой Европы, превращения ее в континент мира.

— Вы, кажется, влюблены в Потсдам? — не без иронии спросил голландец. — Это странно, для нас Потсдам — давно умершее и похороненное прошлое.

— Прошлое не умирает, сэр,— отрезал Воронов.— И не проходит бесследно. Оно всегда с нами.

— Интересная философско-социологическая концепция! — усмехнулся Фитцджералд. — Немного мистическая. Она принадлежит лично вам?

— Нет.

— Любопытно, кому же?

— Вашему соотечественнику Фолкнеру. Это его слова. Я бы к ним добавил: речь идет о хорошем прошлом.

— О, вы знаете Фолкнера?

— Почему же не знать? Мы издаем в несколько раз больше американских книг, чем вы советских.

— Оставим эту арифметику. Она давно набила всем оскомину. Вернемся к Потсдаму. Почему же после той конференции не воцарился мир?

Воронов пожал плечами.

— Мы уже тридцать лет живем без войны... Но я согласен с вами — это еще не тот мир, которого жаждет человечество. Его пытались и все еще пытаются отравить.

— Кто?

— К сожалению, политика некоторых тогдашних государственных деятелей Запада задержала возможность достижения подлинного мира.

— Я догадываюсь, что вы имеете в виду Соединенные Штаты и их президента Трумэна,— высказался голландец. — Не ошибаюсь?

— Мне бы не хотелось сейчас ворошить старое,— ответил Воронов,— но, раз вопрос задан, я вынужден на него ответить. — И тут же осведомился: — А как у нас дело со временем?

— Нам, кажется, предстоит затронуть интересные аспекты истории,— ответил американец. — Для этого найдется время. Пожалуйста, продолжайте.

— Спасибо,— кивнул ему Воронов. — Так вот, три десятилетия отделяют Потсдамскую конференцию от нынешнего Совещания. И почти все эти десятки лет вплоть до поездки товарища Брежнева в Америку прошли в бесплодной, навязанной нам «холодной войне».

— Кем навязанной? — резко спросил англичанин.

— Я надеюсь, что с тем периодом покончено окончательно и не хотел бы к нему возвращаться.

— Но почему же?! — возразил американец. — Почему бы нам,— повторил он,— не покончить с легендой о том, что «проклятый капиталистический Запад» и в первую очередь Америка виновны в том, что после Потсдама не воцарился мир на Земле? Кто изобрел баллистические ракеты? Кто создал организацию Варшавского Договора? Кто подавил венгерское и чехословацкое восстания?

«Ах ты, сукин сын!» — мысленно обругал его Воронов, при этом лихорадочно обдумывая: уйти ли от спора, ограничившись ссылкой на то, что не намерен ворошить старое, или... Да, лучше бы уйти от явно назревающей конфронтации. Но это означало бы для телезрителей, что американец прав, что советскому журналисту нечего ответить ему.

— Привилегией задавать вопросы обладаете только вы? — спросил Воронов. — Или и мне позволено спрашивать?

— Ну разумеется! — воскликнул Фитцджералд. — Мы всегда понимали свободу однозначно. Свобода— значит неограниченная свобода для всех.

— Отлично. Тогда разрешите кое-что напомнить и кое-что спросить. Напоминаю, что и ракеты и атомную бомбу мы создали через четыре года после того, как США заимели это оружие. И даже сбросили две атомные бомбы на Японию. Это раз. Варшавский Договор мы заключили спустя, кажется, шесть — не помню точно — лет после того, как вы создали антисоветский блок НАТО,— это два. Замечу также, что венгерское восстание спровоцировал Запад и нам пришлось ввести туда войска лишь после того, как неофашисты и переброшенные извне контрреволюционеры стали вешать на фонарях венгерских патриотов-коммунистов и им сочувствующих. Механика чехословацких событий была примерно схожей, однако введенные туда войска некоторых социалистических стран не убили и не ранили ни одного чеха или словака. Должен ли я напоминать вам о Вьетнаме и, в частности, о Сонгми?.. А теперь вопросы. Кто выступил в Фултоне с призывом к крестовому походу против Советского Союза? Кто рассчитывал, сколько атомных бомб и на какие советские города надо сбросить? Кто высадил свои войска в Южной Корее, в Индонезии? Кто начал интервенцию в Камбодже? Кто вдохновил фашистское отребье на переворот в Чили?..

Оппоненты Воронова меньше всего ожидали, что на их головы обрушится такое количество неопровержимых фактов. Они заметно растерялись и потому молчали. Воронов поспешил воспользоваться этим.

— Повторяю, мне не хотелось ворошить старое,— переводя дыхание, уже более спокойно продолжал он. — В эти великие дни память охотнее воскрешает другое. В шестьдесят шестом году, когда социалистические страны выступили с предложением созвать совещание, которое стало бы краеугольным камнем в фундаменте новой, мирной Европы, скажу откровенно, мне лично казалось, что для этого потребуется очень длительное время. Слишком велики были наслоения «холодной войны»! Страшно много разногласий предстояло преодолеть. Но прошло всего девять лет — миг в масштабах истории! — и вот мы присутствуем на этом Совещании. Не буду распространяться об усилиях моей партии, всего социалистического мира, чтобы идея Совещания из мечты стала бы явью. Символом этих усилий стала Программа мира, принятая на двадцать четвертом съезде нашей партии. Не могу не воздать должного и многим руководителям западного, капиталистического мира, которые осознали, что диктует им здравый смысл, и поддержали идею Совещания. Так, может быть, и мы сейчас, вместо того чтобы выяснять, кто и в чем виноват, воздадим должное победе здравого смысла над безумием?

В этот момент на другом столике, стоящем в отдалении, вспыхнула красная лампочка. Один из кинооператоров объявил:

— Пленка кончилась. Надо перезаряжать.

Свет «юпитеров» погас. Воронов посмотрел на часы. До начала заключительного совещания оставалось менее часа.

Фитцджералд встал, подошел к столику, на котором вспыхивала красная лампочка, приложил к уху трубку скрытого там в ящике телефона, произнес невнятно какое-то очень короткое слово, минуты

две слушал, потом опять спрятал трубку в стол и объявил хмуро:

— Другой телевизионный «пул» предупреждает, чтобы мы экономили время. Им тоже надо работать. И вообще... я вынужден констатировать, что из нашего замысла ничего не получилось.

— Какого замысла? — глядя на него в упор, спросил Воронов.

— Мы хотели мирного, дружеского обмена мнениями. А вы...

— Я?! — воскликнул Воронов. — Значит, это я, а не вы завели речь о недоброй памяти «холодной войне», ставя факты с ног на голову? На что же вы рассчитывали? На то, что я буду покорно молчать?

— Честно говоря, мы рассчитывали на то, что вы правильно оцениваете это Совещание.

— В каком смысле?!

— Ну... как компромисс. Мы признаем европейские границы, сотрудничаем в различных сферах материального и духовного бытия. А вы...

— А мы что же? — настороженно спросил Воронов.

— Ну, вы в какой-то мере приближаетесь к Западу. Отбрасываете свои догмы.

— Вы хотите сказать: идем на идейные уступки?

— Оставьте наконец ваш марксистский жаргон!— раздраженно сказал Уайт. — Мы надеемся, что в обмен вы хотя бы признаете право людей на свободу.

— Ах, это сладкое слово «свобода»! — иронически воскликнул Воронов. — Ладно, скажу вам то, что охотно могу повторить и перед микрофоном. У нас есть свобода. Свобода жить, учиться, лечиться, отдыхать, свобода выбрать по вкусу работу и получить ее. Вероятно, вы назовете все это пропагандой, хотя знаете, что факты против вас. А как бы вы ответили на мой вопрос: свобода неистощима?

— Не понимаю вас,— развел руками голландец.

— Сейчас объясню. Десятилетие или два десятка лет назад людям казалось, что природные ресурсы неистощимы и тратить их можно не считая. А теперь вот заговорили о надвигающемся энергетическом кризисе. Так вот, не кажется ли вам, что истощима и свобода, если ею пользоваться безрассудно? В пользовании свободой тоже есть свой критический рубеж, за которым начинается насилие: убийства людей на улицах, в том числе и президентов, одурманиванне себя и других наркотиками, садизм.

— Речь идет о свободе в понимании разумного человека, а не психопата.

— Но при деформированном понимании концепции свободы разумные люди, случается, становятся психопатами. У нас на этот счет принимаются меры предосторожности. И мы будем делать это впредь!..

— Все готово! — доложил один из операторов.

— Не надо,— махнул рукой Фитцджералд. — Теперь у нас и в самом деле уже не осталось времени.

Воронов встал.

— Я, кажется, разочаровал вас? — мягко, но с оттенком иронии спросил он.

— Мы допустили ошибку,— мрачно ответил американец.

— В том, что пригласили меня?

— Нет, что вы! — кисло возразил он. — Просто не учли лимит времени. Тем не менее спасибо вам. И простите, что за передачи такого рода у нас не предусмотрен гонорар.

— Буду считать, что получил его, если появлюсь на экранах вашего телевидения. Можно на это надеяться?

— Мы живем в дни надежд, мистер Воронов.

— Мы — да. А вы — тоже? Только кто и на что надеется? — вот в чем вопрос, как сказал бы Гамлет... Всего хорошего.

Наконец-то наступил долгожданный момент. Все главы делегаций сидят на возвышении, за длинным столом. Тридцать пять человек, одетых в темные костюмы. У подножия стола гирлянда цветов. В зале торжественное молчание. Важность того, что сейчас должно произойти, несомненно, ощущается каждым. Лес киноаппаратов на штативах вырос внизу, все объективы направлены на тех, кому История судила подписать уникальный документ. В центре их — Кекконен. В глубочайшей тишине голос его звучит громче обычного:

— Прошу исполнительного секретаря внести Заключительный акт.

Из своего далека я вижу, как на возвышение поднимается невысокий, тоже одетый во все черное человек. В руках он несет объемистую книгу в зеленой обложке, Кладет ее с края стола. Я замечаю время на своих часах. Вижу, как главы государств один за другим подписывают Акт — секретарь поочередно кладет его перед каждым.

Вот доходит очередь до Леонида Ильича. Он, как всегда, нетороплив. Похоже даже, что несколько медлит, скрепляя Заключительный акт своею подписью, будто хочет продлить торжественную минуту.

Волновался ли он при этом? Что чувствовал? Что ощущал?

Гадать не надо. Пять лет спустя Леонид Ильич сам прояснил многое, отвечая на вопросы редакции «Правды». Там есть такие слова:

«С волнением вспоминаю вторую половину дня 1 августа 1975 года. Тогда во Дворце конгрессов «Финляндия» руководители 33 европейских стран, США и Канады сели за одним столом рядом друг с другом и скрепили своими подписями Заключительный акт. Это был день больших надежд для народов. Это был и день реалистического взгляда в будущее, не лишенного тревог за то, каковым оно будет через 5 лет или десятилетие спустя».

Весь захваченный чувством радости, я в этот момент не думал о тревогах. А он думал о них. У него, наверное, уже тогда вызревала мысль, что день подписания Заключительного акта мог бы стать «Днем Европы» — праздником народным и в то же

время призывом к тому, чтобы разрядка и мир утвердились прочно.

Но, повторяю, о мыслях, владевших тогда Брежневым, мы узнали лишь через пять лет. А из тогдашних моих наблюдений вполне достоверны лишь некоторые, чисто внешние детали процесса подписания Акта. Я впервые заметил при этом, что Форд — левша, он подписывал документ левой рукой. Для Макарноса принесли специальную чернильницу и ручку, наверное, «освященные», подумал я.

Когда церемония подписания заканчивалась, я снова поглядел на часы — все заняло ровно семнадцать минут. Семнадцать минут, завершившие годы напряженной работы! Президент Кекконен произносит короткую заключительную речь. Ровно в семнадцать часов пятьдесят минут он торжественно провозглашает:

— Настоящим объявляю третий этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе завершенным.

Я встал в очередь к столу, на котором уже были разложены объемистые фолианты только что подписанного Акта. Потом отошел в сторону и стал перелистывать его... Да! Сюда, кажется, вошло все необходимое для обеспечения мира и безопасности в Европе. Три раздела. Границы, сокращение гонки вооружений, разрядка. Экономические и торговые отношения. Гуманитарный раздел...

Мне захотелось побыть одному, наедине с самим собой пережить переполнявшее меня чувство радости, восстановить в памяти своей все события последних трех дней. Вышел в парк и зашагал к поблескивавшему невдалеке заливу. На полпути услышал оклик:

— Майкл!

«Не оборачивайся, не оборачивайся!» — требовал какой-то внутренний голос, похожий на тот, какой твердил герою знаменитой повести Гоголя Хоме Бруту: «Не гляди!»

«Не вытерпел он и глянул...» Я хорошо помнил, что последовало затем у Гоголя. И все-таки тоже не выдержал и обернулся.

И увидел Брайта. Он приближался ко мне быстрыми шагами. Что оставалось делать? Бежать? Но метрах в десяти водная поверхность преграждала мне путь. Повернуть обратно? Это значило столкнуться лицом к лицу с Брайтом.

На самом берегу я вынужден был остановиться. Через минуту Брайт уже был рядом.

— Ты не хочешь видеть меня? Знаю. Презираешь? И это знаю...

Я молчал.

— Ты ни разу не встретил меня во время Совещания,— я постарался, чтобы такой встречи не произошло,— продолжал говорить Брайт. — Ты по отношению ко мне имеешь право на все: на ненависть, на презрение, на молчание. Но у меня тоже есть право. Единственное. И я от него не отступлюсь.

— Какое у тебя есть право, подонок? — спросил я.

— Право быть выслушанным. Я хочу говорить и буду говорить. А ты можешь молчать. Выслушать меня — единственное, о чем я прошу. После этого мы уже не увидимся. Никогда! Я постараюсь.

Что мне было делать? Повернуться и дать ему по морде — благо этого никто бы не заметил? Но драка?! Драка с этим человеком!.. Да это и не человек — мразь. Наверняка платный агент ЦРУ, ФБР или какие там еще существуют у них «спецслужбы»!

Я по-прежнему молчал, глядя на поверхность залива.

— Знаю, ты прочел мою книгу о Потсдаме... — начал было Брайт, но тут уже я не выдержал.

— Книгу?! — воскликнул я, оборачиваясь. — Ты называешь этот пасквиль, эту клевету, эту низкую ложь книгой?.. А когда начнешь поливать грязью Хельсинки? Завтра же или подождешь немного?

— Можешь оскорблять меня как хочешь,— с несвойственным ему смирением произнес Брайт. — Даже ударить. Я стерплю.

— Скажите, какой Иисус Христос явился! Он стерпит!

— И ты ни о чем не хочешь спросить меня? Ни одного человеческого слова не осталось для меня в твоем сердце?

— Я бы мог задать только один вопрос: как ты мог?! Но вопросы задаются людям. А ты слизняк. Предатель! Предал наше общее прошлое, нашу молодость, нашу дружбу, наши, пусть неоправдавшиеся надежды! Неужели Джейн не чувствует омерзения, когда ложится с тобой в постель? Неужели ты можешь смотреть в глаза сыну?

— Джейн давно не ложится со мной в постель, а глаза сына закрыты...

Брайт произнес это таким странным, таким отрешенным голосом, что я опять не вытерпел и, обернувшись, посмотрел ему в лицо. И оно показалось мне страшным. Мне почудилось, что за этой обвислой кожей ничего нет — ни мяса, ни сухожилий. Брайт походил на мумию, из которой все выпотрошили, а набальзамировать забыли...

— Ничтожество! — сказал я. — Что заставило тебя стать клеветником? Деньги? Но, судя по тому, что мне известно о твоем бунгало с бассейном, ты не умирал с голода... Семейные обстоятельства?.. Может быть, ты стал наркоманом и тебе потребовались деньги на очередную порцию марихуаны или героина?.. Или предложили повышение по службе?.. Видел я тебя на побегушках у Стюарта — такой службе не позавидуешь!.. Что же наконец заставило тебя пойти на подлог?

— Жизнь.

— О, знаем мы таких «жизнестрадальцев»! Скажите пожалуйста, жизнь его заставила! Обычное самооправдание проституток в моменты пьяного раскаяния. И что значит в твоем понимании «жизнь»? Ты живешь в мире бизнеса и доволен этим. Нет у тебя никаких убеждений, веришь ты только в доллар. Этот зеленый кусок бумаги для тебя все — и

бог и совесть! Так вот, пойди и скажи своей жене, что бывший твой товарищ, тот, который присутствовал на твоей помолвке с нею, назвал тебя подлецом. И сыну признайся, что ты предатель!

— У меня нет сына, Майкл,— тихо ответил Брайт, и я почему-то обратил внимание на то, что у него во рту недостает нескольких зубов.— У меня нет Джейн,— продолжал он.— У меня никого нет. Разве что Стюарту передать твои слова? Но он будет только рад такому моему унижению... Я сидел сейчас в соседней комнате и по отводному каналу от звукозаписывающей аппаратуры слушал твою дискуссию. Очень сожалею, что ее никто уже более не услышит. Стюарт приказал стереть всю запись с пленки. Он рассчитывал выставить тебя на посмешище. Загнать в капкан. Не получилось... Но такие, как он, не останавливаются на полпути. Эта зеленая книга их не удержит! — Он кивнул на Заключительный акт, который я прижимал к груди.

Что-то дрогнуло во мне. Но я приказал себе: не распускайся! Тем не менее подсознательно я уже сделал уступку Брайту! Нет, я не простил его, да он и сам еще ни слова не сказал в свое оправдание... Откуда им взяться, таким словам?.. Но я уступил ему уже потому, что позволил себе выслушать его. Ладно, плюнуть в физиономию ему еще успею. И как-то непроизвольно я снизошел до продолжения разговора с Брайтом:

— Три дня назад ты сам рассказывал мне, как преуспел, возвратившись с войны. Окончил колледж. Женился. Родил сына. Возглавил иностраный отдел какой-то там газеты. Значит, все это была ложь?

— Нет, правда,— покачал головой Брайт.— Сначала так и было.

— Кто же виноват, что потом, насколько я сейчас могу понять, все изменилось?

— Ты.

— Я?!

Это уж было сверхнахальством! Оболгал Потсдам, а теперь намерен оклеветать меня?

— Да, именно ты! — повторил Брайт с непонятной ожесточенностью. И добавил упавшим голосом: — Они так сказали.

— Кто «они», черт тебя побери со всеми твоими загадками?!

— Джентльмены из комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.

— Но при чем же тут я? И как ты попал в эту комиссию? Что, ты политический деятель, что ли? Кому ты там нужен?

— Будешь слушать?

— Буду,— пообещал я.— Говори.

Мы опустились на шелковистую траву и некоторое время оба молчали. Я выжидающе смотрел на Брайта. Но он, казалось, забыл о моем присутствии, глядя на водную гладь. Потом все-таки перевел взгляд на меня и заговорил:

— Тогда я тебе не врал. По возвращении из Германии действительно получил приличное пособие как ветеран войны, поступил в «Колумбийку», окончил колледж... Свадьбу с Джейн отпраздновали. Она тоже пошла в гору: после Потсдама к ней стали проявлять особое доверие, назначили старшей машинисткой... Я поступил в газету — тогда ветеранов брали охотно, это была «марка», престиж для газеты...

Он говорил с надрывом, но безостановочно, точно разматывал ссохнувшуюся от времени катушку воспоминаний, и при этом по-прежнему ни разу не посмотрел на меня. Неотрывно глядел в воду, как будто там, в ее глубине, видел что-то живое и обращался именно к нему, не ко мне:

— ...Глен родился в сорок девятом,— мы так назвали нашего парня. Он был хорошим мальчиком — милым, добрым и честным. Не таким, как я... Однажды Джейн сказала мне: «Послушай, Чарли, не довольно ли нам жить в этом заплеванном, многоэтажном доме и дышать автомобильными выхлопными газами? Ведь это вредно для Глена. Давай купим небольшой домик за городом». Необходимую для такого приобретения кругленькую сумму мы уже имели. Но была и другая возможность: получив банковский кредит, выплачивать стоимость дома в рассрочку... Какое это было счастливое, золотое время! После работы Джейн и я садились в наш старенький «форд»,— потом мы приобрели новый, тоже в рассрочку,— и рыскали по кругу радиусом до пятидесяти миль. Жить дальше пятидесяти миль от города, где имеешь постоянную работу, неудобно: в утренние часы на дорогах случаются пробки... Гордые, независимые люди со средствами, мы осматривали все, что нам предлагали агенты по продаже недвижимости, но с покупкой не спешили. Нам хотелось иметь дом по нашему вкусу: не двух- и не трехэтажный — он напоминал бы городской,— а именно бунгало — одноэтажное строение, достаточно вместительное однако. Пусть даже неказистое снаружи. Наших будущих гостей мы ошеломим внутренней отделкой жилья и обстановкой. Давно было решено, что у нас будет отличный бассейн! Я хотел, чтобы Глен научился плавать, вырос сильным, мужественным, спортивным, безбоязненно вступил бы в схватку с жизнью и завоевал бы в ней свое место... Сколько раз видел я на киноэкранах воплощенную «американскую мечту»: бунгало, увитое плющом, у подъезда — «кадиллак» или «паккард», в глубине цветочные клумбы, бассейн с голубой, подсвеченной изнутри водой, стол на пушистом, ослепительно зеленом травяном ковре, за столом средних лет джентльмен в соответствующих нынешней моде старых, видавших виды брюках, в рубашке с закатанными рукавами и в широкополой шляпе «Стэтсоне», рядом — красотка жена, похожая на Руфь Роллан или Пейрл Уайт — были у нас такие актрисы еще в немом кино,— на столе иллюстрированные журналы, бутылки, стаканы, сифон с газированной водой!.. Вот и нам хотелось обставить свою жизнь так же. И я почти не глядя подписывал счета, долговые обязательства — чего нам стесняться! Люди мы молодые, достаточно обеспеченные, с твердым заработком...

Этот тягучий рассказ Брайта, сперва заинтересовавший меня, чем дальше, тем все больше вызывал

досаду: на кой черт мне такие подробности? Ты сказал, что в твоих последующих несчастьях виноват я? Вот и объясни без демагогии, в чем тут дело. Я хорошо знал, что теперь уже весь мир предал не только проклятию, а и забвению имя сенатора-маньяка Маккарти, председателя комиссии по «охоте за ведьмами». Или о забвении говорить еще рано?

Брайт как бы прочел мои мысли. Он наконец посмотрел на меня и сказал то ли со злобой, то ли с горечью:

— Ждешь главного, Майкл-бэби? Сейчас получишь. Так вот, однажды среди утренней почты — газет, журналов и каталогов, которые выписывала Джейн,— я обнаружил длинный, узкий, светло-коричневый пакет с гербом Соединенных Штатов Америки в левом верхнем углу. Я надорвал конверт, вытащил вчетверо сложенный листок плотной бумаги и, прочитав его, узнал, что «комиссия по расследованию антиамериканской деятельности сената Соединенных Штатов Америки вызывает Чарльза Аллена Брайта для дачи показаний». Одновременно сообщалось, что неявка без уважительной причины будет рассматриваться как «неуважение к Конгрессу США».

Я не стал показывать письмо Джейн. Не хотел ее волновать. Был уверен, что это — чистое недоразумение. Конечно, я знал, что в Штатах уже действовал приказ Трумэна «о проверке лояльности», что Конгрессом приняты закон «Маккарэна — Вуда» — внутренней безопасности и закон «Маккарэна — Уолтера», об иммиграции и гражданстве, но не очень-то меня все это беспокоило. Когда мы с Джейн читали в газетах о «чистках» в Голливуде, в других фирмах и государственных учреждениях, то относились к этому не скажу что с одобрением, а скорее с безразличием, как к делам, нас совершенно не касающимся. Когда те же газеты, радио и телевидение начали с утра до вечера убеждать американцев, будто «комми» готовят против нашей страны заговор, будто они проникли в Госдеп и чуть ли не в Белый дом, мы готовы были поверить — дыма без огня не бывает...

— Дальше! — нетерпеливо воскликнул я.

— А дальше я отправился в Конгресс в назначенное мне время. Поднимался на Капитолийский холм, не имея еще понятия, что он станет для меня Голгофой.

— Давай дальше! — потребовал я с еще большей настойчивостью.

— Торопишь? Хорошо, буду лаконичнее,— пообещал Брайт. — Ты бывал когда-нибудь в нашем Конгрессе?

— Считай, что бывал,— ответил я, потому что во время одной моей командировки в Вашингтон много часов провел у телевизора, наблюдая, как в сенатской комиссии проходит расследование «уотергейтского дела».

— В таком случае тебе легче представить, как все происходило,— удовлетворенно ответил Брайт.— На председательском месте сидел кто-то из подручных Маккарти. Он удостоверился прежде всего в том, что я и есть Чарльз Аллен Брайт, потом потребовал, чтобы я поклялся на Библии, что буду говорить правду и только правду, а затем спросил: «Во время Конференции «Большой тройки» вы находились в Германии в качестве фотокорреспондента?» И даже не дождавшись моего утвердительного ответа, потребовал: «Расскажите, какие причины побудили вас вступить в сотрудничество с русским коммунистом, офицером Красной Армии майором Вороновым и в чем оно заключалось?» Я хотел было ответить, что все это ерунда, но тут же вспомнил о ходовом в то время обвинении «в неуважении к Конгрессу», по которому могли упечь в тюрьму любого человека, и счел более разумным рассказать всю правду...

— И что же ты им наговорил? — с возмущением спросил я.

— Только правду. То, что ты отдал мне твой фотоаппарат, когда я разбил свой. Что мы один раз были вместе в берлинском ресторане. Что однажды поссорились из-за фото, которое я напечатал в американской газете и которое тебе не понравилось. Что иногда встречались в пресс-клубе... Председатель заорал, что уже эти факты свидетельствуют о моих преступных связях с агентурой худшего врага Америки — большевистской России. Этим он вывел меня из терпения, Майкл. Вместо того чтобы покорно согласиться с ним, я ответил, что Россия была нашим военным союзником, что советские солдаты и офицеры проливали кровь и за нас — не только в Европе, а и в Маньчжурии, что решения Потсдамской конференции прямо говорят о необходимости мирного послевоенного сотрудничества... Тогда этот тип застучал своим молотком по столу и сказал, что хотя комиссии уже и так ясно, с кем она имеет дело, тем не менее у нее есть еще несколько вопросов. Верно ли, что во время пресс-конференции у Стюарта я поддерживал тебя сочувственными выкриками? Верно ли, что один или два раза посещал Карлсхорст, заезжал к тебе в Потсдам? Наконец, не для того ли я познакомил тебя с Джейн, машинисткой Госдепа, чтобы облегчить тебе получение каких-то секретных сведений? Тут уж и я перешел на крик. Заорал, что и сам я и Джейн — честные американские патриоты, что у нас с тобой совершенно разные политические взгляды, разные понятия о жизни. Председатель резко оборвал меня и отпустил, предупредив, однако, что я еще им понадоблюсь. А дня через три или четыре меня вызвал редактор моей газеты и сказал, что больше не нуждается в моих услугах. Я гордо — тогда еще гордо! — покинул его кабинет, уверенный, что любая другая редакция с удовольствием возьмет меня,— к тому времени у меня уже было кое-какое имя. Но я ошибся. Обойдя, наверное, десяток редакций и всюду получив отказ, я понял, что меня не возьмут нигде... «Черный список»... — Брайт помолчал немного, как бы что-то припоминая, и продолжал свою исповедь:

— Отразилась ли вся эта история на моих отношениях с Джейн? Сначала нет. Мне не стоило

больших трудов убедить ее, что ушел я из редакции по своей доброй воле, потому что поругался с редактором. Куда труднее оказалось скрыть, почему я каждый день возвращаюсь из города, как взмыленная лошадь, злым, раздражительным. Не знаю, что мешало мне рассказать ей всю правду с самого начала? Может быть, в глубине души боялся, что не встречу с ее стороны понимания...

Брайт снова умолк, а я вспомнил о нашем давнем разговоре у контрольно-пропускного пункта, о том, как мы спорили тогда о любви, о женском характере, об обязанностях мужа... Как он сказал в тот раз? Кажется, так: «Богатых и сильных женщины не предают, за них держатся. Бедняков же обманывают, от них в конечном итоге стремятся отделаться». Этим многое объяснялось мне теперь. Я понял, почему Брайт боялся быть откровенным с Джейн. Непроизвольно как-то вырвался у меня почти сочувственный вопрос:

— Что же произошло потом?

— А потом,— как бы в полусне произнес Брайт,— возвратившись однажды домой, я обнаружил, что дом пуст. Прислуга-негритянка, которую мы взяли в хорошие еще для нас времена, передала мне письмо. От Джейн. Она писала, что я предал ее, не рассказав, что в комиссии называлось ее имя. Если бы,— писала Джейн,— я сделал это, то она нашла бы способ предупредить события. Сама пошла бы туда без вызова и рассказала, как и зачем я привел к ней тебя. Нашла бы свидетелей нашей помолвки. А теперь перед ней дилемма: или уйти от мужа-антипатриота, развестись с ним, или немедленно покинуть службу. А найти другую — ее предупредили — будет невозможно... Джейн писала, что Глена пока заберет с собой, его дальнейшую судьбу должен решить суд при бракоразводном процессе... Вот такое это было письмо. И заканчивалось оно, как это ни странно, словами: «люблю, целую, Джейн».

«Боже мой! — подумал я. — Но ведь такими же точно словами заканчивает все свои послания мне моя Мария. Как лживы бывают иногда слова, как разнятся они по скрытому в них смыслу при одинаковом буквенном начертании!

Я люблю Марию и не сомневаюсь, что она действительно любит меня. Ничто не разлучит нас, кроме смерти. А эта Джейн?.. Она, видите ли, тоже «любит и целует», но при малейшей угрозе ее благополучию готова «упредить события» и всадить нож в спину «любимого» мужа... Две разных женщины? Нет, два разных мира!»

— Послушай,— сказал я,— но ведь с тех пор, как мы встречались в Потсдаме и Бабельсберге, прошли десятилетия. Потсдам стал далеким прошлым...

— А кто только что говорил, что прошлое не умирает? — спросил меня Брайт. — Кто говорил, что оно всегда с нами? А?

— Я говорил о том хорошем, что было в прошлом!

— Каждый берет из прошлого, что ему выгодно. Им было нужно раздавить меня этим прошлым.

— Как же ты пережил все это? — уже с явным сочувствием спросил я.

— У меня не было времени для переживаний. В тот же вечер ко мне явился агент по продаже недвижимости, тот самый, который помог нам купить бунгало. Он сказал, что располагает сведениями о моей некредитоспособности, а у него есть покупатель на этот дом... Потом пришло письмо из банка. Потом пожаловал банковский представитель... Взносы за дом и за обстановку в нем нами не были выплачены полностью. Короче говоря, через неделю я остался не только без жены и без сына, а и без крыши над головой. Кое-что, правда, из наших денежных взносов нам вернули, точно рассчитав, что полагается мне, а что Джейн и Глену. Я снял клетушку на восемнадцатом этаже городского дома, похожего на тюрьму и заселенного в основном неграми... Шло время. Я, как говорится, перебивался с хлеба на воду. И тогда-то случайно опять встретился со Стюартом. Он уже стал стопроцентным американцем, сменил жену, подданство, местожительство, получил состояние, купил газету. «Хочешь снова стать человеком? — спросил меня Стюарт. — Я помогу тебе. Напиши книжку о Потсдаме. Небольшую. Нужные фотографии мы подберем сами». «Но ее никто не издаст»,— усомнился я. «Издадут! — сказал он уверенно. — Слушай только, какой должна быть эта книга...» И я ее написал...

— Несчастный ты человек, Чарли,— заключил я после продолжительного молчания. — Ты считаешь, что покатился в пропасть, когда тебя выгнали из газеты. Нет, судя по твоему рассказу, тогда ты еще держался на ногах. Пал ты окончательно, когда взялся за перо.

— Нет, и тогда мне еще повезло,— живо откликнулся он. — Рухнул я, когда началась война во Вьетнаме и Глен получил призывную повестку. Об этом мне сообщила по телефону Джейн. Я помчался к ней. Застал ее в слезах,— Глен хотел пойти на призывной пункт и там у всех на глазах изорвать повестку. Вдвоем с Джейн мы стали умолять его не делать этого. Запомни, Воронов, умолять! После выхода книжки я ведь опять работал, на этот раз в газете у Стюарта, и поступок, задуманный Гленом, неизбежно опрокинул бы меня навзничь. Глен пожалел отца, сказал: «Хорошо, поеду воевать». Он был добрым парнем... И больше я уже не видел его. Даже мертвого. Глена привезли из Вьетнама в цинковом гробу, наглухо запаянном... Вот и все. А теперь встанем.

Брайт встал первым, и я невольно последовал его примеру.

— Ну что ж, бей! — сказал он, заложив руки назад и приближая ко мне свое лицо.

— Я бы ударил,— глухо сказал я, тоже отводя назад правую руку. — Но не тебя. Если бы я смог, то ударил бы мир, в котором ты живешь.

— Нельзя,— горько усмехнулся Брайт. — Хельсинки призывают нас к взаимопониманию и сотрудничеству.

— Не иронизируй. Этим не шутят. Мир — превыше всего.

— Значит, и со мной мир? — спросил Брайт, и выцветшие, погасшие глаза его наполнились слезами. — Я же все-таки не Стюарт,— продолжал он раздумчиво. — Такие, как Стюарт, на мир не пойдут. Ты думаешь, после Хельсинки они исчезнут? Не тешь себя иллюзиями.

Пять лет спустя я мог бы ответить ему словами Л. И. Брежнева: «Мы не раз предупреждали, и это затем подтверждалось: в политике разрядки могут быть свои приливы и отливы. Но при всем этом можно с основанием сравнить Заключительный акт с хорошим волнорезом, который противостоит тому, что подмывает устои разрядки».

Тогда эти слова еще не были произнесены. Я, кажется, воздержался от ответа Брайту, хотя понимал, что он прав, что за достигнутое в Хельсинки еще предстоит борьба, что враги мира не сложили свои потрепанные, запятнанные людской кровью знамена.

Брайт снова пристально глядел на воду, на этот раз, наверное, для того, чтобы скрыть от меня свои слезы. Внезапно спросил:

— Что это за рыбешки такие шныряют у берега? Они прямо как ящерицы.

Я посмотрел туда, куда он указывал пальцем. Да, действительно, какие-то странные и в самом деле чуть похожие на ящериц существа. Маленькие, юркие...

— Это саламандры, Брайт,— ответил я с усмешкой.

— Как ты сказал? — удивленно переспросил он.

— Саламандры. Ты не читал такую книгу «Война с саламандрами»? Впрочем, не знаю, издавалась ли она у вас.

— Когда?

— Давно. Еще перед войной. Фантастический роман.

— Кто автор?

— Карел Чапек. Чех.

— Про что эта книга?

— Где-то близ океанского острова люди обнаружили странных существ, похожих на ящериц. Людей удивила их исключительная сноровка в строительстве плотин, завалов. Возникло намерение использовать саламандр как своего рода роботов. Люди научили их многому, в том числе и владению современным оружием. Торговали ими, натравливали друг на друга. И вдруг саламандры объединились против людей. Стали взрывать целые материки, загонять своих поработителей в горы. Стремились превратить Землю в сплошной океан...

— А... потом? — спросил Брайт.

— Потом саламандры передрались между собой. И в борьбе за власть над миром уничтожили друг друга.

— А люди? Они остались?

— Их осталось немного. Те, кто успел укрыться в горах, убегая от наступающих океанских волн,— сказал я, стараясь вспомнить подробности книги, которая некогда потрясла меня. — Сменилось несколько поколений, пока людям удалось восстановить то, что было уничтожено саламандрами. Возникли легенды. Легенды о затонувших странах, предания о некоей Англии, о какой-то Франции... Об этих и других странах, якобы некогда существовавших, говорили так, как мы сегодня говорим об Атлантиде... Людям нескоро удалось восстановить цивилизацию,— еще долго разлагались трупы погибших в смертельной схватке саламандр, отравляя мир своим зловонием.

— Ты сказал, что это фантастический роман? — как-то робко, точно в самом деле не был уверен в утвердительном ответе, спросил Брайт.

— Да, конечно. Но он был написан накануне войны, развязанной фашистами.

— Значит, «да здравствуют Хельсинки»! И война саламандрам! — воскликнул Брайт.

— Войны не надо,— возразил я. — Просто не следует давать саламандрам воли. А то будет поздно.

— Ты думаешь, что эта книга,— он опять показал на мой зеленый фолиант,— станет для саламандр непреодолимой плотиной? Не обольщайся! Они будут грызть ее, пока не изгрызут в прах.

— Не выйдет! — сказал я. — Люди накопили достаточный опыт и не допустят этого. Не побегут в горы.

— Смотри! — воскликнул Брайт, продолжая глядеть на воду. — Теперь эти ящерки вообще исчезли! Может быть, услышали твои слова? Ни одной не вижу!

— Наверное, поняли, что у этих берегов им делать нечего,— усмехнулся я. — Поплыли искать другие.

— И как ты думаешь, найдут?

— Время покажет, Чарли. Время и люди. А теперь — прощай.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Роман Александра Чаковского «Победа» рассказывает о двух важнейших исторических событиях последних трех с половиной десятилетий — Потсдамской конференции 1945 года и Хельсинкской 1975 года.

Нет, по-видимому, никакой надобности убеждать читателя в необходимости исторического взгляда на сегодняшний день. Именно история сообщает ему дополнительную глубину, открывает те стороны и грани, которые в беспрерывной сутолоке бытия можешь не заметить, которые иногда кажутся случайными, необязательными.

Однако «Победа» Александра Чаковского не историческое исследование, а художественное произведение, целиком направленное своим публицистическим острием в сегодня, даже в завтра. Роман с переплетающимися человеческими судьбами, исследованием характеров как реальных исторических фигур, так и людей, целиком созданных творческим воображением автора.

Описываемые в нем события наполняются для нас живой человеческой плотью, радостью, горем, гневом, сомнениями, слезами, смехом — одним словом, жизнью людей, без которой нет художественного произведения.

Подзаголовок к «Победе» определяет жанр: политический роман. И вызывает, как надо полагать, немало вопросов читателей: в чем особенность такого жанра, не есть ли это просто характеристика темы?

Думаю, что наиболее точно на подобные вопросы ответил сам автор. В одном из интервью по поводу «Победы» он сказал: «Для политического романа характерны острая социальная направленность, постановка коренных проблем эпохи, отражение главных тенденций развития общественно-политической жизни. Сюжет такого романа организуется, движется вперед не столкновением частных судеб, не традиционной любовной историей. Нередко ими управляет открыто антагонистический социальный конфликт, в котором сталкиваются различные типы общественного сознания».

Я добавил бы к этому, что, видимо, политический роман предполагает еще и открытое провозглашение своей гражданской и политической позиции самим художником. В произведении автор ставит перед собой задачи большой общественной значимости. Это предопределяет и его активную позицию в вопросе об отношении к роли литературы в жизни как к могучему средству влияния на общественное сознание, а отсюда — на социально-политический процесс.

Главный предмет литературы — исследование человеческого характера. Истина, конечно, бесспорная. Но можно и нужно спорить о том, в чем же проявляется человеческий характер. Только ли в личной жизни? И что входит у современного человека в понятие «так называемой личной жизни»? Личная жизнь сегодня — это огромный мир, включающий в себя и работу, и общественную позицию, и, конечно, политику, которая давно уже перестала быть лишь предметом обсуждения в семейном кругу.

И автору, мне кажется, с полным успехом удалось выразить свою жизненную позицию не в сентенциях, не в умозрительных рассуждениях, а самой тканью произведения, остротой и накаленностью вопросов, поднятых в нем. Он проследил зависимость судеб мира от политических процессов, происходящих на планете, и, наоборот, зависимость этих процессов от л и ч н о й позиции каждого человека.

Но более всего ему удалось показать ту огромную работу нашей партии, нашего государства, которая стоит за двумя событиями — Потсдамом и Хельсинки, — являющимися двумя временными пластами, на которых строится роман.

Два рубежа повествования разделяют ровно три десятилетия, но их связывает множество нитей. И видимых, очевидных, и невидимых. И то и другое совещания были звеньями одной цепи, звеньями в нескончаемой работе по достижению прочного и справедливого мира в Европе и на всей земле. Они были примером того, как государства с различной социальной системой могут договариваться, могут добиваться разумных решений спорных вопросов, могут организовывать мир на разумных началах, идя на естественный политический компромисс, но никак не поступаясь своими убеждениями, не нарушая традиций и законов друг друга.

Герой, от имени которого ведется повествование, Михаил Воронов спрашивает своего коллегу из Польши, почему тот, будучи свидетелем Хельсинкского совещания, его очевидцем, собирается тем не менее писать книгу о Потсдамской конференции, на которой не был и не мог быть хотя бы потому, что «детей туда не пускали». И получает ответ: «Потому что историю нельзя рассекать на части, как, скажем, говядину, отбирая филейчики и бросая остатки собакам. Я не могу, не обратившись к Потсдаму, объяснить своим сверстникам и тем, кто моложе нас, как Польша вернула себе свои исконные земли. Не объяснишь и того, почему сегодня главы тридцати пяти государств, а не трех, как было в Потсдаме, собрались здесь, чтобы подтвердить главные из потсдамских решений. Не объяснишь без описания той борьбы, которую все эти годы вели ваша Коммунистическая партия и другие коммунистические партии за мир, за разрядку. Одно без другого — это начало без окончания или окончание без начала...»

В этом ответе заключена, мне кажется, позиция самого автора, который, избрав сложную форму романа, развивающегося во время Потсдамской конференции в 1945 году и Хельсинкского совещания 1975 года, прослеживает ту нить, которая крепко связывает, казалось бы, столь отдаленные друг от друга события... Эффект достигается неоднозначный. Дело не только в том, что мы узнаем, как справедливость, заложенная в Потсдаме, дала свои всходы в Хельсинки. Мы еще и постигаем — не только умом, но и сердцем, и в этом отличие художественного произведения от самого обстоятельного исторического исследования — как много сил вложила наша партия, чтобы обеспечить нашей стране и Европе мир вот уже в течение трех с половиной десятилетий. И как много врагов, казалось бы, у такой ясной, простой, бесспорной истины: мир лучше, чем война, мир должен быть долгим, прочным, справедливым.

Мы знаем, как после Потсдамской конференции усилилась атака милитаризма. Знаем, как почти в точной исторической параллельности после подписания Хельсинкского соглашения, испугавшись роста авторитета нашего государства, испугавшись потери своих позиций, пошли в контрнаступление силы войны, пытаясь остановить разрядку, сорвать ее, отбросить человечество на десятилетия назад к недоброй памяти годам «холодной», а может быть, и «горячей» войны.

И снова подтверждается, к сожалению, бесспорная истина: насколько тяжела и сложна дорога к миру, настолько накатана и «легка» дорога к войне.

И хотя сегодняшнее далеко не безоблачное развитие международных событий — за рамками романа, но, думаю, герой его — советский журналист Михаил Воронов не опустит руки, не отложит перо, не прекратит борьбы за мир, а усилит ее. Да и его американский коллега Брайт, человек сложной судьбы, далеко не всегда стоявший на разумных позициях, но к концу жизни ею же наученный пониманию, где же истинные друзья мира и где его враги, тоже, возможно, включится в борьбу за него.

Мира можно добиться. Можно и нужно! Всей своей сутью роман утверждает именно это. И недаром, конечно, Александр Чаковский дал ему название «Победа». Слово это здесь надо понимать расширительно. Это не только победа над фашистской Германией. Это и победа сил мира, разума над слепой силой фашизма и войны. Победа тех, кто верит: не для того человечество проделало весь свой многотрудный путь от пещерного бытия до великих достижений технической мысли, до высочайших проявлений человеческого духа, чтобы самоуничтожиться по прихоти кучки авантюристов. И еще, по-видимому, одно значение заключено в названии романа — победа идеалов добра и справедливости, победа великой мечты человечества о разумном устройстве жизни. Это победа идей социализма, которые, несмотря на все трудности, шествуют по миру, торжество советской социалистической идеологии, победа идей ленинизма.

ГЕНРИХ БОРОВИК

Александр Борисович Чаковский

ПОБЕДА

Политический роман

Книга третья

(Окончание)

Редактор З. РАДИШЕВСКАЯ

Художественный редактор *С. Гераскевич.* Технический редактор *Л. Ковнацкая.*
Корректоры *Г. Ганапольская, О. Стародубцева*

Сдано в набор 12.10.81. Подписано в печать 29.10.81. А08613. Формат 84×108 1/16. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. 8,4 усл. печ. л. 9,24 усл. кр.-отт. 11,64 уч.-изд. л. Тираж 2 540 000 экз. (2-й завод 505 001—2 390 000 экз.). Заказ 125. Цена 1 р. 02 к.

Адрес редакции: ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература» 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Чехов Московской обл. Зак.3150

ви-
ет
пся
іды
от
чей
ой,

по-
ар-
ть
чы.
ько

лю,
ар,
зи-
ію-

но,
еда
ит:
кой
це,
ты
ют

ак